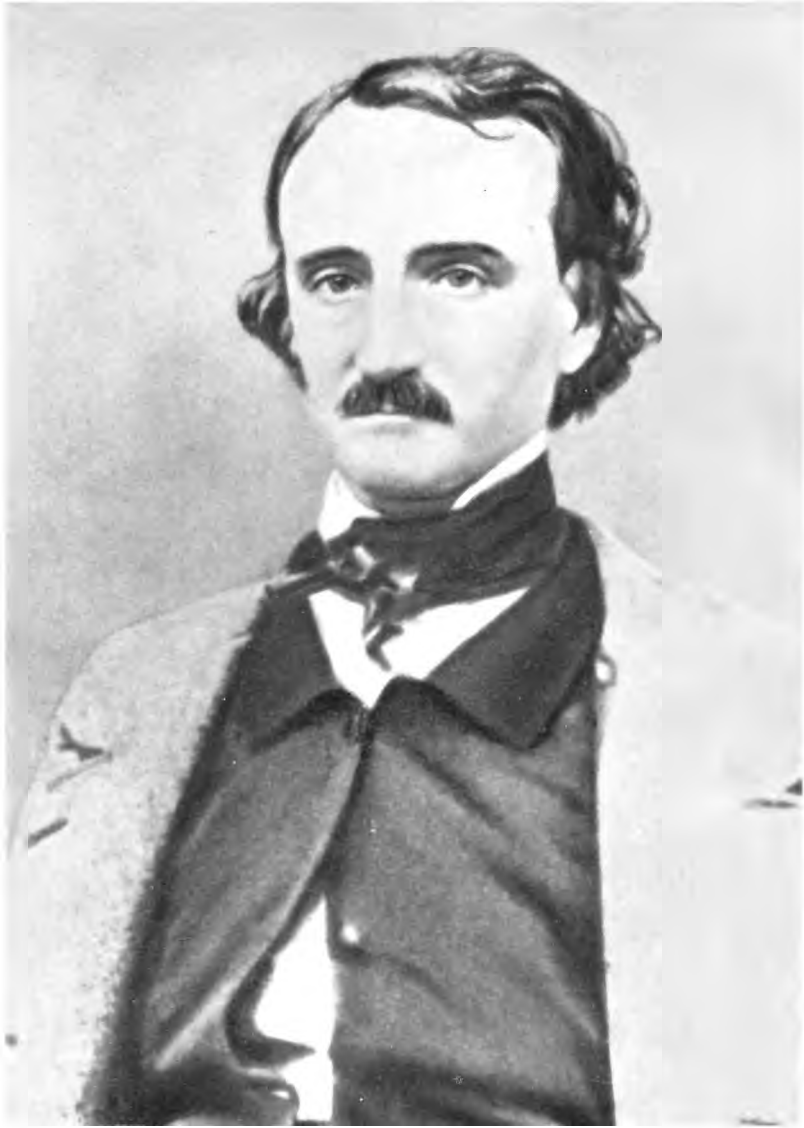


ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ

Э.А.По

✻
Эдгар А.
По



Эдгар Аллан По (1848)
Датерротип

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Edgar Allan Poe



THE COMPLETE TALES



Эдгар Аллан По



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ



Издание подготовили:

А. А. ЕЛИСТРАТОВА, А. Н. НИКОЛЮКИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“

Москва 1970

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ“

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,
А. А. Елистратова, В. М. Жирмунский, Н. И. Конрад (председатель),
Д. С. Лихачев, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Ю. Г. Оксман,
Ф. А. Петровский, А. М. Самсонов, С. Д. Сказкин, С. Л. Утченко*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
А. А. ЕЛИСТРАТОВА

ФОЛИО КЛУБ

*Тут хитрость в духе Макьявелли —
Ее не все понять сумели*.*

Батлер¹

Должен с сожалением сказать, что Фолио Клуб — не более как скопище скудоумия. Считаю также, что члены его столь же уродливы, сколь глупы. Полагаю, что они твердо решили уничтожить литературу, ниспровергнуть Прессу и свергнуть Правительство Имен Собственных и Местоимений. Таково мое личное мнение, которое я сейчас осмеливаюсь огласить.

А между тем, когда я, всего какую-нибудь неделю назад, вступал в это дьявольское объединение, никто не испытывал к нему более глубокого восхищения и уважения, чем я. Отчего в моих чувствах произошла перемена, станет вполне ясно из дальнейшего. Одновременно я намерен реабилитировать собственную личность и достоинство Литературы.

Обратившись к протоколам, я установил, что Фолио Клуб был основан как таковой — дня — месяца — года. Я люблю начинать с начала и питаю особое пристрастие к датам. Согласно одному из пунктов принятого в ту пору Устава, членами Клуба могли быть только лица образованные и остроумные; а признанной целью их союза было «просвещение общества и собственное развлечение». Ради этой последней цели на дому у одного из членов клуба ежемесячно проводится собрание, куда каждый обязан принести сочиненный им самим Короткий Рассказ в Прозе. Каждое такое сочинение читается автором перед собравшимися за стаканом вина, после обеда. Все, разумеется, соперничают друг с другом, тем более что автор «Лучшего Рассказа» становится *pro tem*** Председателем Клуба; должность эта весьма почетна, почти не сопряжена с расходами и сохраняется за занимающим ее лицом, пока его не вытеснит еще лучший рассказчик. И, наоборот, автор рассказа, признанного худшим, обязан оплатить обед и вино на следующем очередном собрании общества. Это оказалось отличным способом привлекать время от времени новых членов вместо какого-нибудь несчастливца, который, проиграв такое угощение два-три раза подряд, натурально отказывался и от «высокой

* Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворные переводы В. В. Рогова. Звездочкой отмечены переводы иноязычных выражений, цифрой со звездочкой — примечания Э. А. По.

** Временно (лат.).

чести» и от членства. Число членов Клуба не должно превышать одиннадцати. На это имеется ряд основательных причин, которые нет надобности излагать, но о которых догадается всякий мыслящий человек. Одна из них состоит в том, что первого апреля, в год триста пятидесятый перед Потопом, на солнце, как говорят, было ровно одиннадцать пятен. Читатель заметит, что в этом кратком очерке истории Общества я не даю воли своему негодованию и пишу с редким беспристрастием и терпимостью. Для ехрosé*, которое я намерен сделать, достаточно привести протокол собрания Клуба от прошлого вторника, когда я дебютировал в качестве члена этого общества, будучи избран вместо distinguished Огастеса Зачерктона, вышедшего из его состава.

В пять часов пополудни я, как было условлено, явился к мистеру Руж-э-Нуар, почитателю леди Морган², признанному в предыдущем месяце автором худшего рассказа. Я застал собравшихся уже в столовой и должен признать, что яркий огонь камина, комфортабельная обстановка комнаты и отлично сервированный стол, равно как и достаточная уверенность в своих способностях, настроили меня весьма приятно. Я был встречен с большим радушием и пообедал, крайне довольный вступлением в общество столь знающих людей.

Членами его были большей частью очень примечательные личности. Это был прежде всего мистер Щелк, председатель, чрезвычайно худой человек с крючковатым носом, бывший сотрудник «Обозрения для глупцов».

Был там также мистер Конволвулус Гондола, молодой человек, объездивший много стран.

Был Де Рерум Натура, эсквайр, носивший какие-то необыкновенные зеленые очки.

Был очень маленький человечек в черном сюртуке, с черными глазами.

Был мистер Соломон Гольфштрем, удивительно похожий на рыбу.

Был мистер Оррибиле Дикту, с белыми ресницами и дипломом Геттингенского университета.

Был мистер Блэквуд Блэквуд³, написавший ряд статей для иностранных журналов.

Был хозяин дома, мистер Руж-э-Нуар, поклонник леди Морган.

Был некий толстый джентльмен, восхищавшийся Вальтером Скоттом.

Был еще Хронологос Хронолог, почитатель Хорейса Смита⁴, обладатель большого носа, побывавшего в Малой Азии.

Когда убрали со стола, мистер Щелк сказал, обращаясь ко мне: «Полагаю, сэр, что едва ли есть надобность знакомить вас с правилами Клуба. Вам, я думаю, известно, что мы стремимся просвещать общество и развлекать самих себя. Сегодня, однако, мы ставим себе лишь эту вторую цель и ждем, чтобы и вы внесли свой вклад. А сейчас я приступлю к делу». Тут мистер Щелк, оставив от себя бутылку, достал рукопись и прочел следующее:

* Сообщения (франц.).

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero

*Martin Luther**

Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер² обо всех наших несчастьях вместе взятых) в значительной мере «vient de ne pouvoit être seule» **.¹*

Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей, почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с востока. И они, например, утверждали: «Душа» (привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином) «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux» ***.

Распря между домами Берлифитцингов и Метценгерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода столь же именитых не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания: «Страшен будет закат высокого имени, когда, подобно всаднику над конем, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».

Конечно, сами по себе слова эти маловразумительны, если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин, куда более

* При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью¹ (лат.).
Мартин Лютер.

** Пронстекает от того, что мы не умеем быть одни (франц.).

¹* Учение о метампсихозе решительно поддерживает Мерсье³ в «L'an deux mille quatre cent quarante», а И. Дизраэли говорит, что «нет ни одной другой системы⁴, столь же простой и восприятю которой наше сознание противилось бы так же слабо». Говорят, что ревностным поборником идеи метампсихоза была и полковник Итен Аллен⁵, один из «ребят с Зеленой горы».

*** Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (франц.).

ничтожных. Кроме же всего прочего смежность именей порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метценгерштейн. Подобное же лицемерие неслыханной у обычных феодалов роскоши меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых Берлифитцингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания, из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами, и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного, и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее влиятельный бесновался все более злобно.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, не примечательным ровно ничем, кроме безудержной, закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства, да разве тем еще, что был столь завзятым лошадиником и так помешан на охоте, что при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии у него, бывало, что ни день, то снова лов.

Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга. Фредерику в ту пору шел восемнадцатый год⁶. В городах восемнадцать лет — еще не возраст; но в дремучей глуши, в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.

В силу особых условий, оговоренных в духовной отцом, юный барон вступал во владение всем своим несметным богатством сразу же после кончины последнего. До него мало кому из венгерской знати доставались такие угодья. Замкам его не было счета. Но все их затмевал своей роскошью и грандиозностью размеров дворец Метценгерштейн. Угодья его были немерены, и одна только граница дворцового парка тянулась целые пятьдесят миль, прежде чем замкнуться.

После вступления во владение таким баснословным состоянием господина столь юного и личности столь заметной недолго пришлось гадать насчет того, как он проявит себя. И верно, не прошло и трех дней, как наследник переиродил самого царя Ирода⁷ и положительно посрамил расчеты самых зарубелых из своих выдавших виды холопов. Гнусные бесчинства, ужасающее вероломство, неслыханные расправы очень скоро убедили его трепещущих вассалов, что никаким раболепством его не умилостивишь, а совести от него и не жди, и, стало быть, не может быть ни малейшей уверенности, что не попадешь в безжалостные когти местного Калигулы⁸. На четвертую ночь запылали конюшни в замке Берлифитцинг, и стоустая молва по всей округе прибавила к страшному и без того списку преступлений и бесчинств барона еще и поджог.

Но пока длился переполох, поднятый этим несчастьем, сам юный вельможа сидел, видимо, весь уйдя в свои думы, в огромном, пустынном верхнем зале дворца Метценгерштейн. Бесценные, хотя и выцветшие от времени гобелены, хмуро смотревшие со стен, запечатали темные, величественные лики доброй тысячи славных предков. Здесь прелаты в горностаевых мантиях и епископских митрах по-родственному держали совет с всемогущим временщиком и сувереном о том, как не давать воли очередному королю, или именем папского всемогущества отражали скипетр сатанинской власти. Там высокие темные фигуры князей Метценгерштейн на могучих боевых конях, скачущих по телам поверженных врагов, нагоняли своей злобной выразительностью страх на человека с самыми крепкими нервами; а здесь обольстительные фигуры дам невозвратных дней лебедями проплывали в хороводе какого-то неземного танца, и его напев, казалось, так и звучит в ушах.

Но пока барон прислушивался или старался прислушаться к оглушительному гаму в конюшнях Берлифитцинга или, может быть, замышлял уже какое-нибудь бесчинство поновей и еще отчаянней, взгляд его невзначай обратился к гобелену с изображением огромного коня диковинной масти, принадлежавшего некогда сарацинскому предку враждебного рода. Конь стоял на переднем плане, замерев, как статуя, а чуть поодаль умирал его хозяин, заколотый кинжалом одного из Метценгерштейнов.

Когда Фредерик сообразил, наконец, на что невольно, сам собой обратился его рассеянный взгляд, губы его исказила дьявольская гримаса. Но оцепенение не прошло. Напротив, он и сам не мог понять, что за неодолимая тревога застигает, словно пеленой, все, что он видит и слышит. И нелегко ему было примирить свои дремотные, бессвязные мысли с сознанием, что все это творится с ним не во сне, а наяву. Чем больше присматривался он к этой сцене, тем невероятней казалось, что ему вообще удастся оторвать от нее глаза — так велика была притягательная сила картины. Но шум за стенами дворца вдруг стал еще сильней, и когда он с нечеловеческим усилием заставил себя оторваться от картины, то увидел багровые отблески, которые горящие конюшни отбрасывали в окна дворцового зала.

Но, отвлекшись было на миг, его завороченный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу, голова коня-великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он, словно скорбя, склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, которых прежде не было видно, смотрели теперь настойчиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы.

Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал, отбросил резкую, точно очерченную тень барона

прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного, ликующего убийцы, сразившего сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбиваясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти.

— Чья лошадь? Откуда? — спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним — живой двойник загадочного скакуна в гобеленовсм зале.

— Она ваша, господин, — отвечал один из конюхов, — во всяком случае другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке Берлифитцинг — вся взмыленная, словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скакунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего, и это совершенно непонятно — ведь он чудом уцелел от огня.

— Отчетливо видны еще и буквы „В. Ф. Б.“, выжженные на лбу, — вмешался второй конюх, — я решил, что они безусловно обозначают имя: „Вильгельм фон Берлифитцинг“, но все в замке в один голос уверяют, что лошадь не их.

— Весьма странно! — заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. — А лошадь, действительно, великолепна, чудо, что за конь! Хотя, как ты правильно заметил, норовиста, с такой шутки психи; что ж, ладно, — беру, — прибавил он, помолчав, — такому ли наезднику, как Фредерик Метценгерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга!

— Вы ошибаетесь, господин; лошадь, как мы, помнится, уже докладывали, не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не допустили бы такой оплошности, не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства.

— Да, конечно, — сухо обронил барон, и в тот же самый миг к нему, весь красный от волнения, подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куска гобелена. И принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова.

В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царил полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой; на лице его появилось выражение злобой решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки.

— Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берлифитцинга? — спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобрел к своей собствен-

ности, уже вели, беснующегося и рвущегося, по длинной аллее от дворца к конюшням.

— Нет! — отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. — Умер? Да что вы говорите!

— Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по моему, не самая печальная весть.

Мимолетная улыбка скользнула по губам барона: И как же он умер?

— Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда и, сам сгорел.

— В са-мом де-ле! — протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки.

— В самом деле, — повторил вассал.

— Прискорбно! — сказал юноша с полным равнодушием и неспеша повернул во дворец.

С того самого дня беспутного юного барона Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочарование многих хитроумных маменек, но еще меньше его новые замашки вязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая, единственная, по какому-то загадочному праву именовалась его другом.

Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. «Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением?..», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана?». «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет», — был высокомерный и краткий ответ.

Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берлифитцинга высказала даже уверенность, что «барон, видимо, отсиживается дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства; и ездит верхом, когда ему совсем не до езды, так как предпочитает водить компанию с лошадью». Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик вошедшего в семейный обычай злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам не удается выразиться выразительней.

Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверства и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты. Были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие — среди них не мешает упомянуть домашнего врача Метценгерштейнов, — кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и

нездоровой наследственности; среди черни же в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка.

Действительно, ни с чем не сообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденный зной или в глухую ночную пору, здоровый ли, больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так под стать его нраву.

Были также обстоятельства, которые вкупе с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то мистический, зловещий смысл. Замерив аккуратнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку. Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих; а что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то что подступить к коню, а хотя бы войти к нему в станок, за ограду. Не осталось без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырывался с пожарища у Берлифитцинга, трое конюхов переняли, обратав его арканом и цепною уздой, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схватки или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептикам и людям, которых ничем не преймешь; и рассказывали, будто временами лошадь начинала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь, — будто тогда и сам юный Метценгерштейн бледнел и шарахался от быстрого, пытливого взгляда ее чело-вечьих глаз.

Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня, — таких не водилось, разве что убогий уродец паж, служивший общим посмешищем и мнения которого никто бы и слушать не стал. Он же (если его догадки заслуживают упоминания хотя бы мимоходом) имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой прескачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования.

Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метценгерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона особого внимания, но домочадцы всполошились, когда через несколько часов, в его отсутствие высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метценгерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать.

Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым, насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий.

В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метценгерштейн, показался скакун, мчащийся всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому Князю Тьмы.

Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искаженное мукой лицо, сведенное судорогой тело говорили о нечеловеческом напряжении всех сил; но кроме одного-единственного короткого вскрика ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг, — и громкий, настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра; еще мгновение — и скакун единым махом пролетел в ворота и через ров, мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче.

И сразу же унялась ярость огненной бури, мало-помалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.

ГЕРЦОГ ДЕ Л'ОМЛЕТ

И вмиг попал он в климат попрохладней¹.

Каупер

Китс² умер от рецензии. А кто это умер от «Андромахи»^{1*}?³ Ничтожные душонки! Де л'Омлет погиб от ортолана⁷. L'histoire en est brève*. Дух Апиция⁸, помоги мне!

Из далекого родного Перу маленький крылатый путешественник, влюбленный и томный, был доставлен в золотой клетке на Шоссе д'Антен. Шесть пэров империи передавали счастливую птицу от ее царственной владелицы, Ла Беллиссимы, герцогу де л'Омлет.

В тот вечер герцогу предстояло ужинать одному. Уединившись в своем кабинете, он полулежал на оттоманке — на той самой, ради которой он нарушил верность своему королю, отбив ее у него на аукционе, — на пресловутой оттоманке Cadêt.

Он погружает лицо в подушки. Часы бьют! Не в силах далее сдерживаться, его светлость проглатывает оливку. Под звуки пленительной музыки дверь тихо растворяется, и нежнейшая из птиц предстает перед влюбленнейшим из людей. Но отчего на лице герцога отражается такой ужас?

— Horreur! — chien! — Baptiste! — l'oiseau! ah, bon Dieu! cet oiseau modeste que tu es déshabillé de ses plumes et que tu as servi sans papier! **. Надо ли говорить подробнее? Герцог умирает в пароксизме отвращения.

* * * * *

— Ха! ха! ха! — произнес его светлость на третий день после своей кончины.

— Хи, хи! хи! — негромко откликнулся Дьявол, выпрямляясь с надменным видом.

^{1*} Монфлери⁴. Автор «Parnasse Réformé» [«Преображенного Парнаса»⁵] заставляет его говорить в Гадесе⁶: «L'homme donc qui voudrait savoir ce dont je suis mort, qu'il ne demande pas s'il fut de fièvre ou de podagre ou d'autre chose, mais qu'il entende que ce fut de «L'Andromaque» [Если кто пожелал бы узнать, отчего я умер, пусть не спрашивает, от лихорадки или от подагры, или еще чего-либо, но пусть знает, что от «Андромахи»].

* Повесть об этом короткая (франц.).

** Ужас! — собака! — Батист! — птица, о боже! Эта скромная птица, с которой ты снял перья и которую подаешь без бумажной обертки! (франц.).

— Вы, разумеется, шутите, — сказал де л'Омлет. — Я грешил — *c'est vrai* * — но рассудите, дорогой сэр, — не станете же вы приводить в исполнение столь варварские угрозы!

— *Чего-й-то?* — переспросил его величество. — А ну-ка, раздевайся, да поживее!

— Раздеться? Ну, признаюсь! Нет, сэр, я не сделаю ничего подобного. Кто вы такой, чтобы я, герцог де л'Омлет, князь де Паштет, совершеннолетний, автор «Мазуркиады» и член Академии, снял по вашему приказу лучшие панталоны работы Бурдона, самый элегантный *robe-de-chambre* **, когда-либо сшитый Ромбером, — не говоря уж о том, что придется еще снимать и папильотки и перчатки. . .

— Кто я такой? Изволь. Я — Вельзевул⁹, повелитель мух. Я только что вынул тебя из гроба розового дерева, отделанного слоновой костью. Ты был как-то странно надушен, а поименован согласно накладной. Тебя прислал Белиал¹⁰, мой смотритель кладбищ. Вместо панталон, сшитых Бурдоном, на тебе пара отличных полотняных кальсон, а твой *robe-de-chambre* просто саван изрядных размеров.

— Сэр! — ответил герцог, — меня нельзя оскорблять безнаказанно. Сэр! Я не премину рассчитаться с вами за эту обиду. О своих намерениях я вас извещу, а пока, *au revoir* ***! — и герцог собирался уже откланяться его сатанинскому величеству, но один из придворных вернул его назад. Тут его светлость протер глаза, зевнул, пожал плечами и задумался. Убедившись, что все это происходит именно с ним, он бросил взгляд вокруг.

Апартаменты были великолепны. Даже де л'Омлет признал их *bien compte il faut* ****. Они поражали не столько длиной и шириной, сколько высотой. Потолка не было — нет — вместо него клубилась плотная масса огненных облаков. При взгляде вверх у его светлости закружилась голова. Оттуда спускалась цепь из неведомого кроваво-красного металла; верхний конец ее, подобно городу Бостону, терялся *parmi les nues* *****. К нижнему был подвешен большой светильник. Герцог узнал в нем рубин; но он изливал такой яркий и страшный свет, какому никогда не поклонялась Персия, какого не воображал себе гебр¹¹, и ни один мусульманин, когда, опьяненный опиумом, склонялся на ложе из маков, оборотясь спиной к цветам, а лицом к Аполлону. Герцог пробормотал проклятие, выражавшее явное одобрение.

Углы зала закруглялись, образуя ниши. В трех из них помещались гигантские изваяния. Их красота была греческой, уродливость — египетской, их *tout ensemble* ***** — чисто французским. Статуя, занимавшая

* Это правда (франц.).

** Халат (франц.).

*** До свидания (франц.).

**** Очень приличными (франц.).

***** В облаках (франц.).

***** Общий вид (франц.).

четвертую нишу, была закрыта покрывалом; ее размеры были значительно меньше. Но видна была тонкая лодыжка и ступня, обутая в сандалию. Де л'Омлет прижал руку к сердцу, закрыл глаза, открыл их и увидел, что его сатаниское величество покраснел.

А картины! Киприда! Астарта! Ашторет!¹² Их тысяча и все это — одно. И Рафаэль видел их! Да, Рафаэль побывал здесь; разве не он написал... и разве не тем погубил свою душу? Картины! Картины! О роскошь, о любовь! Кто, увидев эту запретную красоту, заметил бы изящные золотые рамы, сверкавшие, точно звезды, на стенах из гиацинта и порфира?

Но у герцога замирает сердце. Не подумайте, что он ошеломлен роскошью или одурманен сладострастным дыханием бесчисленных курильниц. C'est vrai que de toutes ces choses il a pensé beaucoup — mais! *. Герцог де л'Омлет поражен ужасом; ибо сквозь единственное занавешенное окно он видит пламя самого страшного из всех огней!

Le pauvre Duc! ** Ему кажется, что звуки, которые непрерывно проникают в зал через эти волшебные окна, превращающие их в сладостную музыку, — не что иное, как стоны и завывания казнимых грешников. А там? — Вон там, на той оттоманке? — Кто он? Этот petit-maitre *** — нет, божество — недвижный, словно мраморная статуя, — и такой бледный — et qui sourit, si amèremment ****?

Mais il faut agir ***** — то-есть, француз никогда не падает сразу в обморок. К тому же его светлость ненавидит сцены; и де л'Омлет овладевает собой. На столе лежит несколько рапир, в том числе обнаженных. Герцог учился фехтованию у Б. — Il avait tué ses six hommes *****. Значит, il peut s'échapper *****. Он выбирает два обнаженных клинка равной длины и с неподражаемой грацией предлагает их его величеству на выбор. Honte! ***** Его величество не умеет фехтовать. Mais il joue! ***** — Какая счастливая мысль! — Впрочем, его светлость всегда отличался превосходной памятью. Он заглядывал в «Diable» ***** сочинение аббата Гуалтье¹³. А там сказано, «que le Diable n'ose pas refuser un jeu d'écarté» *****.

Но есть ли шансы выиграть? Да, положение отчаянное, но решимость герцога — тоже. К тому же, разве он не принадлежит к числу посвященных? Разве он не листал отца Лебрена¹⁴? Не состоял членом

* Правда, обо всех этих вещах он много думал — но! (франц.).

** Бедный герцог! (франц.).

*** Щеголь (франц.).

**** Который улыбается так горько (франц.).

***** Но надо действовать (франц.).

***** Он убил шестерых противников (франц.).

***** Он может спастись (франц.).

***** Ужас! (франц.).

***** Но он играет! (франц.).

***** «Дьявола» (франц.).

***** Дьявол не смеет отказаться от партии экарте (франц.).

Клуба Vingt-Un*?). «Si je perds, — говорит он, — je serai deux fois perdu**, погибну дважды — voilà tout!*** (Тут его светлость пожимает плечами). Si je gagne, je reviendrai à mes ortolans — que les cartes soient préparées!****»

Его светлость — весь настороженность и внимание. Его величество — воплощенная уверенность. При виде их зрителю вспомнились бы Франциск и Карл¹⁵. Его светлость думал об игре. Его величество не думал; он тасовал карты. Герцог снял.

Карты сданы. Открывают козыря — это — да, это король! нет, дама! Его величество проклял ее мужеподобное одеяние. Де л'Омлет приложил руку к сердцу.

Они играют. Герцог подсчитывает. Талья окончилась. Его величество медленно считает, улыбается и отпивает глоток вина. Герцог сбрасывает одну карту.

— C'est à vous à faire***** — говорит его величество, снимая. Его светлость кланяется, сдает и подымается из-за стола, en présentant le Roi*****.

Его величество огорчен.

Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном¹⁶; герцог же на прощанье заверил своего партнера, «que s'il n'eût pas été De L'Omelette, il n'aurait point d'objection d'être le Diable»*****.

* Двадцать одно (франц.).

** Если проиграю, я погибну дважды (франц.).

*** Вот и все! (франц.).

**** Если выиграю, вернусь к своим ортоланам. — Пусть приготовят карты! (франц.).

***** Вам сдавать (франц.).

***** Предъявляя короля (франц.).

***** Что если бы он не был де л'Омлетом, он не возражал бы против того, чтобы быть Дьяволом (франц.).

НА СТЕНАХ ИЕРУСАЛИМСКИХ

*Intonsos rigidam in frontem ascendere canos
Passus erat...*

Lucan.*

Перевод: дикий кабан²

— Поспешим на стены, — сказал Абель-Фиттим, обращаясь к Бузи бен Леви и Симону фарисею в десятый день месяца Таммуза³, в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое⁴. — Поспешим на крепостной вал, примыкающий к Вениаминовым воротам, в граде Давидовом⁵, откуда виден лагерь необрезанных; ибо близится восход солнца, последний час четвертой стражи⁶, и неверные, во исполнение обещания Помпея⁷, приготовили нам жертвенных агнцев.

Симон, Абель-Фиттим и Бузи бен Леви были гизбаримами, то есть младшими сборщиками жертвований в священном граде Иерусалиме.

— Воистину, — отозвался фарисей, — поспешим, ибо подобная щедрость в язычниках весьма необычна, зато переменчивость всегда отличала этих поклонников Ваала⁸.

— Что они изменчивы и коварны, это столь же истинно, как Пятикнижие⁹, — сказал Бузи бен Леви, — но только по отношению к народу Адонаи¹⁰. Слыхано ли, чтобы аммонитяне¹¹ поступались собственной выгодой? Невелика щедрость поставлять нам жертвенных агнцев по тридцати серебряных сиклей¹² с головы!

— Ты забываешь, бен Леви, — промолвил Абель-Фиттим, — что римлянин Помпей, святотатственно осаждающий град Всевышнего, может подозревать, что купленных жертвенных агнцев мы употребим на потребности нашего тела, а не духа.

— Клянусь пятью углами моей бороды! — воскликнул фарисей, принадлежавший к секте так называемых топальщиков (небольшой группе праведников, которые так усердно истязали себя, ударяя ногами о мостовую, что были живым упреком для менее ревностных верующих и камнем преткновения на пути менее талантливых пешеходов). — Клянусь пятью углами этой бороды, которую мне, как священнослужителю, не дозволено брить! Неужели мы дожили до того, что римский богохульник, язычник и выскочка осмелился заподозрить нас в присвоении священных предметов на потребу плоти? Неужели мы дожили?..

* Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный¹... Лукан (лат.).

— Не станем допытываться о побуждениях филистимлянина ¹³, — прервал его Абель-Фиттим, — ибо сегодня впервые пользуемся его великодушием, а может быть жадной наживы. Поспешим лучше на городскую стену, дабы не пустовал жертвенник, чей огонь негасим под дождями небесными, а дымный столп неколеблем бурями.

Та часть города, куда поспешали наши почтенные гизбаримы и которая носила имя своего строителя царя Давида, почиталась наиболее укрепленной частью Иерусалима, ибо была расположена на крутом и высоком Сионском холме. Вдоль широкого и глубокого кругового рва, вырубленного в скалистом грунте, была воздвигнута крепкая стена. На стене, через равные промежутки, подымались четырехугольные башни белого мрамора, из которых самая низкая имела в вышину шестьдесят, а самая высокая — сто двадцать локтей. Но вблизи Вениаминовых ворот стена отступала от края рва. Между рвом и основанием стены возвышалась отвесная скала в двести пятьдесят локтей, составлявшая часть крутой горы Мориа. Таким образом, взойдя на башню, носившую название Адони-Бэзек, — самую высокую из всех башен вокруг Иерусалима, откуда обычно велись переговоры с осаждавшими, — Симон и его спутники могли видеть неприятельский лагерь с высоты, на много футов превышающей пирамиду Хеопса, а на несколько футов — даже храм Бела ¹⁴.

— Воистину, — вздохнул фарисей, опасливо взглянув с этой головокружительной высоты, — необрезанных — что песку в море или саранчи в пустыне! Долина Царя стала долиной Адоммина.

— А все же, — заметил бен Леви, — покажи мне хоть одного неверного — от алефа до тау ¹⁵ — от пустыни до крепостных стен, который казался бы крупнее буквы «иод» ¹⁶!

— Спускайте корзину с серебряными сиклями, — крикнул римский солдат грубым и хриплым голосом, казалось, исходившим из подземных владений Плутона, — спускайте корзину с проклятыми монетами, названия которых благородному римлянину не выговорить — язык сломаешь! Так-то вы благодарны нашему господину Помпею, который снизошел до ваших языческих нужд? Колесница Феба — истинного бога! — уже час, как катит по небу, а ведь вы должны были прийти на крепостную стену к восходу солнца. Эдепол ¹⁷! Или вы думаете, что нам, покорителям мира, только и дела, что дожидаться у каждой паршивой стены ради торга со всякими собаками? Спускайте, говорю! Да глядите, чтобы ваши дрянные монеты были новенькие и полновесные!

— Эль Элоим ¹⁸! — воскликнул фарисей, когда резкий голос центуриона прогремел среди скал и замер у стен храма. — Эль Элоим! Что еще за бог Феб? Кого призывает этот богохульник? Ты, Бузи бен Леви, начитан в писаниях необрезанных и жил среди тех, что имеют дело с терафимом ¹⁹; скажи, о ком толкует язычник? О Нергале ²⁰? Об Ашиме ²¹? О Нибхазе ²²? Тартаке ²³? Адрамелехе ²⁴? Анамелехе ²⁵? О Суккот-

Бенифе²⁶? О Дагоне²⁷? Белиале²⁸? Ваал-Перите²⁹? Ваал-Пеоре³⁰? Или Ваал-Зебубе³¹?

— Ни о ком из них. Но не отпускай веревку чересчур быстро; корзина может зацепиться за выступ вон той скалы и тогда горе нам! — ибо ценности святилища будут из нее извергнуты.

С помощью грубого приспособления тяжело нагруженную корзину спустили в толпу солдат; и сверху было смутно видно, как римляне собралась вокруг; но огромная высота и туман мешали разглядеть, что там делается.

Прошло полчаса.

— Мы опоздаем, — вздохнул по прошествии этого времени фарисей, заглядывая в пропасть, — мы опоздаем! Кафалим снимет нас с должности.

— Никогда больше не вкушать нам от тука земли³²! — подхватил Абель-Фиттим. — Не умащать бороды благовонным ладаном — не повиноваться чресел тонким храмовым полотном.

— Рака́³³! — выругался бен Леви. — Рака́! Уж не вздумали ли они украсть наши деньги? О, святой Моисей! Неужели они взвешивают священные сикли скинии³⁴?

— Вот наконец-то сигнал! — воскликнул фарисей. — Сигнал! Подымай, Абель-Фиттим! — Тяни и ты, Бузи бен Леви! — Либо филистимляне еще не отпустили корзину, либо господь смягчил их сердца, и они положили нам увесистое животное.

И гизбаримы из всех сил тянули за веревку, а корзина медленно поднималась среди сгустившегося тумана.

* * * * *

— Бошох хи! — вырвалось у бен Леви спустя час, когда на конце веревки обозначилось что-то неясное. — Бошох хи!

— Бошох хи! Вот тебе на! Это должно быть баран из энгедийских³⁵ роц, косматый, как долина Иосафата³⁶!

— Это первенец стада, — сказал Абель-Фиттим. — Я узнаю его по бляению и по невинным очертаниям тела. Глаза его прекраснее самоцветов из священного нагрудника³⁷, а мясо подобно меду Хеврона³⁸.

— Это тучный телец с пастбищ Васана³⁹, — промолвил фарисей. — Язычники поступили великодушно. Воспоем же хвалу. Вознесем благодарность на гобоях и псалтерионах. — Заиграем на арфах и на кимвалах — на цитрах и саквевутах⁴⁰.

Только когда корзина была уже в нескольких футах от гизбаримов, глухое хрюканье возвестило им приближение огромной свиньи.

— Эль Эману! — воскликнули все трое, возводя глаза к небу и выпуская из рук веревку, отчего освобожденная свинья полетела на головы филистимлян. — Эль Эману! С нами бог! Это трэфное мясо⁴¹!

БЕЗ ДЫХАНИЯ

(РАССКАЗ НЕ ДЛЯ ЖУРНАЛА «БЛЭКВУД»¹
И ОТНЮДЬ НЕ ИЗ НЕГО)

О, не дыши и т. д.

«Мелодии» Мура²

Самая жестокая судьба рано или поздно должна отступить перед тою неодолимой бодростью духа, какую вселяет в нас философия, — подобно гому, как самая неприступная крепость сдается под упорным натиском неприятеля. Салманассар³ (судя по священному писанию) вынужден был три года осаждать Самарию, но все же она пала. Сарданапал⁴ (см. у Диодора⁵) целых семь лет держался в Ниневии, но это ни к чему не повело. Силы Трои истощились через десять лет, а город Азот, — Аристей⁶ в этом ручается словом джентльмена, — тоже в конце концов открыл Псамметиху⁷ свои ворота, которые держал на запоре в течение пятой части столетия.

— Ах ты гадина! ах ты ведьма! ах ты мегера, — сказал я жене наутро после свадьбы, — ах ты чертова кукла, ах ты подлая, гнусная тварь, клоака порока, краснорожее исчадие мерзости, ах ты, ах ты... — В тот самый миг, когда я встал на дыпочки, схватил жену за горло и, приблизив губы к ее уху, собрался было наградить ее каким-нибудь еще более оскорбительным эпитетом, который, будучи произнесен достаточно громко, должен был окончательно доказать ее полнейшее ничтожество, — в тот самый миг, к своему величайшему ужасу и изумлению, я вдруг обнаружил, что *у меня захватило дух*.

Выражения: «захватило дух», «перехватило дыхание» и т. п. довольно часто употребляются в повседневном обиходе, но я, *bona fide**, никогда не думал, что ужасный случай, о котором я говорю, мог бы произойти в действительности. Вообразите — разумеется, если вы обладаете фантазией, — вообразите мое изумление, мой ужас, мое отчаяние!

Однако мой добрый гений еще ни разу не покидал меня окончательно. Даже в тех случаях, когда я от ярости едва в состоянии владеть собой, я все же сохраняю некоторое чувство собственного достоинства, *et le chemin des passions me conduit* (как лорда Эдуарда³ в «Юлии») *à la philosophie véritable***.

* По чистой совести (лат.).

** И дорога страстей ведет меня к истинной философии (франц.).

Хотя мне в первую минуту не удалось с точностью установить размеры постигшего меня несчастья, тем не менее я решил во что бы то ни стало скрыть все от жены — по крайней мере до тех пор, пока не получу возможность определить объем столь неслыханной катастрофы. И так, мгновенно придав моей искаженной бешенством физиономии кокетливое выражение добродушного лукавства, я потрепал свою супругу по одной щечке, чмокнул в другую и, не произнеся ни звука (о фурии! ведь я не мог), оставил ее одну дивиться моему чудачеству, а сам легким па-де-зефир выпорхнул из комнаты.

И вот я, являющий собой ужасный пример того, к чему приводит человека раздражительность, благополучно укрылся в своем будуаре живой, но со всеми свойствами мертвеца, мертвый, но со всеми наклонностями живых, — нечто противостественное в мире людей, — очень спокойный, но лишенный дыхания.

Да, лишенный дыхания! Я совершенно серьезно утверждаю, что полностью утратил дыхание. Его не хватило бы и на то, чтобы сдуть пушинку или затуманить гладкую поверхность зеркала, — даже если бы от этого зависело спасение моей собственной жизни. О злая судьба! Однако даже в этом первом приступе всепоглощающего отчаяния я все же обрел некоторое утешение. Тщательная проверка убедила меня в том, что я окончательно лишился дара речи, как мне показалось вначале, когда я не смог продолжать свою интересную беседу с женой. Речь у меня была нарушена лишь частично, и я обнаружил, что, стоило мне в ту критическую минуту понизить голос и перейти на гортанные звуки, — я мог бы и дальше изливать свои чувства. Ведь данная высота тона, как я сообразил, зависит не от потока воздуха, а от определенных спазматических движений, производимых мышцами гортани.

Я упал в кресло и некоторое время предавался размышлениям. Думы мои были, разумеется, весьма малоутешительны. Сотни смутных, печальных фантазий теснились в моем мозгу, и на мгновение у меня даже мелькнула мысль, не покончить ли с собой; но такова уж извращенность человеческой природы — она предпочитает отдаленное и неясное близкому и определенному. Итак, я содрогнулся при мысли о самоубийстве, как о самом ужасном злодеянии, одновременно прислушиваясь к тому, как полосатая кошка довольно мурлычет на своей подстилке и даже ньюфаундленд старательно выводит носом рулады, растянувшись под столом. Оба словно нарочно демонстрировали силу своих легких, явно насмехаясь над бессилием моих.

Терзаемый по страхом, то надеждой, я наконец услышал шаги жены, спускавшейся по лестнице. Когда я убедился, что она ушла, я с замиранием сердца вернулся на место катастрофы.

Тщательно заперев дверь изнутри, я предпринял лихорадочные поиски. Быть может, думал я, то, что я ищу, скрывается где-нибудь в темном углу, в чулане, или притаилось на дне какого-нибудь ящика. Может быть, оно имеет газообразную или даже оседаемую форму. Большинство

философов до сих пор придерживается весьма нефилософских воззрений на многие вопросы философии. Однако Вильям Годвин в своем «Мандевиле»⁹ говорит, что «невидимое — единственная реальность»; а всякий согласится, что именно об этом и идет речь в моем случае. Я бы хотел, чтобы здравомыслящий читатель подумал, прежде чем называть подобные открытия пределом абсурда. Ведь Анаксагор¹⁰, как известно, утверждал, что снег черный, и я не раз имел случай в этом убедиться.

Долго и сосредоточенно продолжал я свои поиски, но жалкой наградой за мои труды и рвение были всего лишь одна фальшивая челюсть, два турнюра, вставной глаз да несколько *billet-doux**, адресованных моей жене мистером Вовесьдух. Кстати, надо сказать, что это доказательство пристрастия моей супруги к мистеру Вовесьдух не причинило мне особого беспокойства. То, что миссис Духвон питает нежные чувства к существу, столь непохожему на меня, — вполне законное и неизбежное зло. Всем известно, что я дороден и крепок, хотя в то же время несколько мал ростом. Что же удивительного, если миссис Духвон предпочла моего тощего, как жердь, приятеля, нескладность которого вошла в поговорку. Но вернемся к моему рассказу.

Как я уже сказал, мои усилия оказались напрасными. Шкаф за шкафом, ящик за ящиком, чулан за чуланом — все подверглось тщательному осмотру, но все втуне. Была, правда, минута, когда мне показалось, что труды мои увенчались успехом, — роясь в одном несессере, я нечаянно разбил флакон гранжановского «Елея архангелов» (беру на себя смелость рекомендовать его как весьма приятные духи).

С тяжелым сердцем воротился я в свой будуар, чтобы измыслить какой-нибудь способ обмануть пронизательность жены хотя бы на то время, пока я успею подготовить все необходимое для отъезда за границу, — ибо на это я уже решился. В чужой стране, где меня никто не знает, мне, быть может, удастся скрыть свою ужасную беду, способную даже в большей степени, чем нищета, отвлечь симпатии толпы и навлечь на несчастную жертву вполне заслуженное негодование людей добродетельных и счастливых. Я колебался недолго. Обладая от природы прекрасной памятью, я целиком выучил наизусть трагедию «Метамора»¹¹. К счастью, я вспомнил, что при исполнении этой пьесы (или во всяком случае той ее части, которая составляет роль героя) нет никакой надобности в оттенках голоса, коих я был лишен, и что всю ее следует декламировать монотонно, причем должны преобладать низкие гортанные звуки.

Некоторое время я практиковался на краю одного болота, где было отнюдь не безлюдно, и поэтому мои упражнения не имели, по существу, ничего общего с аналогичными действиями Демосфена¹², а, напротив, основывались на моем собственном, специально разработанном методе. Чувствуя себя теперь во всеоружии, я решил внушить жене, будто мною внезапно овладела страсть к драматическому искусству. Это мне удалось

* Любовных записочек (франц.).

как нельзя лучше, и в ответ на всякий вопрос или замечание я мог своим замогильным лягушачьим голосом с легкостью продекламировать какой-нибудь отрывок из упомянутой трагедии, — любыми строчками из нее, как я вскоре с удовольствием отметил, можно было пользоваться при разговоре на любую тему. Не следует, однако, полагать, что, исполняя подобные отрывки, я обходился без косых взглядов, шарканья ногами, зубовного скрежета, дрожи в коленях или иных невыразимо изысканных телодвижений, которые ныне по справедливости считаются неизменным атрибутом популярного актера. В конце концов заговорили о том, не надеть ли на меня смирительную рубашку, но — хвала господу! — никто не заподозрил, что я лишился дыхания.

Наконец я привел свои дела в порядок и однажды на рассвете сел в почтовый дилижанс, направлявшийся в N, распространив среди знакомых слух, будто дело чрезвычайной важности срочно требует моего личного присутствия в этом городе.

Дилижанс был битком набит, но в неясном свете раннего утра невозможно было разглядеть моих спутников. Я позволил втиснуть себя между двумя джентльменами грандиозных размеров, не оказав сколько-нибудь энергичного сопротивления, а третий джентльмен, еще большей величины, предварительно попросив извинения за вольность, во всю длину растянулся на мне и, мгновенно погрузившись в сон, заглушил мои гортанные крики о помощи таким храпом, который вогнал бы в краску и ревушего быка Фаларида¹³. К счастью, состояние моих дыхательных способностей совершенно исключало возможность такого несчастного случая, как удушение.

Когда мы приблизились к окраинам города, уже совсем рассвело, и мой мучитель, пробудившись от сна и приладив свой воротничок, весьма учтиво поблагодарил меня за любезность. Но, увидев, что я остаюсь недвижим (все мои суставы были как бы вывихнуты, а голова свернута набок), он встревожился и, растолкав остальных пассажиров, в весьма решительной форме высказал мнение, что ночью под видом находившегося в полном здравии и рассудке пассажира им подсунули труп; при этом, желая доказать справедливость своего предположения, он изо всех сил ткнул меня большим пальцем в правый глаз.

Вслед за этим каждый пассажир (а их было девять) счел своим долгом подергать меня за ухо. А когда молодой врач поднес к моим губам карманное зеркальце и убедился, что я бездыханен, присяжные единогласно подтвердили обвинение моего преследователя, и вся компания выразила твердую решимость не только в дальнейшем не мириться с подобным мошенничеством, но и в настоящее время не ехать ни шагу дальше с подобной падалью.

В соответствии с этим меня вышвырнули из дилижанса перед «Воронном» (наш экипаж как раз проезжал мимо названной таверны), причем со мною не произошло больше никаких неприятностей, если не считать перелома обеих рук, попавших под левое заднее колесо. Кроме того, сле-

дует воздать должное кучеру — он не преминул выбросить вслед за мной самый объемистый из моих чемоданов, который, по несчастью, свалившись мне на голову, раскроил мне череп весьма любопытным и в то же время необыкновенным образом.

Хозяин «Ворона», человек весьма гостеприимный, убедившись, что содержимого моего сундука вполне достаточно, дабы вознаградить его за некоторую возню со мной, тут же послал за знакомым хирургом и передал меня в руки последнего вместе со счетом на десять долларов.

Совершив сию покупку, хирург отвез меня на свою квартиру и немедленно приступил к соответствующим операциям. Однако, отрезав мне уши, он обнаружил в моем теле признаки жизни. Тогда он позвонил слуге и послал его за соседом-аптекарем, чтобы посоветоваться, как поступить в столь критических обстоятельствах. На тот случай, если его подозрения, что я еще жив, в конце концов подтвердятся, он пока что сделал надрез на моем животе и вынул оттуда часть внутренностей для будущих анатомических исследований.

Аптекарь выразил мнение, что я в самом деле мертв. Это мнение я попытался опровергнуть, изо всех сил брыкаясь и корчась в жестоких конвульсиях, ибо операции хирурга в известной мере вновь пробудили мои жизненные силы. Однако все это было приписано действию новой гальванической батареи, при помощи которой аптекарь — человек действительно весьма сведущий — произвел несколько любопытнейших опытов, каковыми, ввиду моего непосредственного в них участия, я не мог не заинтересоваться самым пристальным образом. Тем не менее для меня явился источником унижения тот факт, что хотя я и сделал несколько попыток вступить в разговор, но до такой степени не владел даром речи, что не мог даже открыть рот, а тем более возражать против некоторых остроумных, но фантастических теорий, каковые я при иных обстоятельствах мог бы с легкостью опровергнуть благодаря близкому знакомству с гиппократовой патологией¹⁴.

Не будучи в состоянии прийти к какому-либо заключению, искусные медики решили оставить меня для дальнейших исследований и отнесли на чердак. Жена хирурга одолжила мне панталоны и чулки, а сам хирург связал мне руки, подвязал носовым платком мою челюсть, после чего запер дверь снаружи и поспешил к обеду, оставив меня наедине со своими размышлениями.

Теперь, к своему величайшему восторгу, я обнаружил, что мог бы говорить, если б только мои челюсти не были стеснены носовым платком. В то время как я утешался этой мыслью, повторяя про себя некоторые отрывки из «Вездесущности бога»¹⁵, как я имею обыкновение делать перед отходом ко сну, две жадные и сварливые кошки забрались на чердак сквозь дыру, подпрыгнули, издавая фиоритурь *à la Каталани*¹⁶, и, сев друг против друга прямо на моей физиономии, вступили в неприличный поединок за грошовое право владеть моим носом.

Однако, подобно тому, как потеря ушей способствовала восшествию персидского мага Гауматы¹⁷ на престол Кира, а отрезанный нос дал Зо-пиру¹⁸ возможность овладеть Вавилоном, так потеря нескольких унций моей физиономии оказалась спасительной для моего тела. Возбужденный болю и горя негодованием, я одним усилием разорвал свои путы и повязки. Пройдя через комнату, я бросил полный презрения взгляд на воюющие стороны и, распахнув, к их величайшему ужасу и разочарованию, оконные рамы, с необычайной ловкостью ринулся вниз из окна.

Грабитель почтовых дилижансов В., на которого я поразительно похож, в это самое время ехал из городской тюрьмы к виселице, воздвигнутой для его казни в предместье. Вследствие своей крайней слабости и продолжительной болезни он пользовался привилегией и не был закован в кандалы. Облаченный в костюм висельника, чрезвычайно напоминавший мой собственный, он лежал, вытянувшись во всю длину, на дне повозки палача (которая случайно оказалась под окнами хирурга в момент моего низвержения), не охраняемый никем, кроме кучера, который спал, и двух рекрутов шестого пехотного полка, которые были пьяны.

Злой судьбе было угодно, чтобы я спрыгнул прямо на дно повозки. В. — малый сообразительный — не преминул воспользоваться удобным случаем. Мгновенно поднявшись на ноги, он соскочил с повозки и, завернув за угол, исчез. Рекруты, разбуженные шумом, не сообразили, в чем дело. Однако, при виде человека — точной копии осужденного, — который стоял вовесь рост в повозке прямо у них перед глазами, они решили, что мошенник (они подразумевали В.) собирается удрать (их подлинное выражение), и, поделившись этим мнением друг с другом, они хлебнули по глотку, а затем сбили меня с ног прикладами своих мушкетов.

Вскоре мы достигли места назначения. Разумеется, мне нечего было сказать в свою защиту. Меня ожидала виселица. Я безропотно покорился своей неизбежной участи с чувством тупой обиды. Не будучи ни в коей мере киником¹⁹, я, должен признаться, чувствовал себя какой-то собакой. Между тем палач надел мне на шею петлю. Спускная доска виселицы упала.

Воздерживаюсь от описаний того, что я ощутил на виселице, хотя, конечно, я мог бы многое сказать на эту тему, относительно которой никто еще не высказывался с достаточной полнотой. Ведь, в сущности, чтобы писать о таком предмете, необходимо пройти через повешение. Каждому автору следует ограничиваться тем, что он испытал на собственном опыте. Так, Марк Антоний²⁰ сочинил трактат об опьянении.

Могу только упомянуть, что я отнюдь не умер. Тело мое действительно было повешено, но я никак не мог испустить дух, потому что у меня его уже не было; и должен сказать, что, если бы не узел под левым ухом (который на ощупь напоминал твердый крахмальный воротничок), я не испытывал бы особых неудобств. Что касается толчка, который был сообщен моей шее при падении спускной доски, то он лишь вернул на прежнее место мою голову, свернутую набок тучным джентльменом в дилижансе.

У меня были, однако, достаточно веские причины, чтобы постараться вознаградить толпу за ее труды. Все признали мои конвульсии из ряда вон выходящими. Судороги мои трудно было превзойти. Чернь кричала «бис». Несколько джентльменов упало в обморок, и множество дам было в истерике увезено домой. Один художник воспользовался случаем, чтобы наброском с натуры дополнить свою замечательную картину «Марсий»²¹, с которого сдирают кожу живьем.

Когда я достаточно развлек публику, власти сочли уместным снять мое тело с виселицы, тем более что к этому времени настоящий преступник был снова схвачен и опознан, — факт, оставшийся мне, к сожалению, неизвестным.

Много сочувственных слов было, разумеется, сказано по моему адресу, и, так как никто не претендовал на мой труп, поступил приказ похоронить меня в общественном склепе.

На это место, по истечении надлежащего срока, я и был водворен. Могильщик удалился, и я остался в одиночестве. В эту минуту мне пришло в голову, что строчка из «Недовольного» Марстона²²:

Радушна смерть, к ней всем открыты двери

содержит явную ложь.

Тем не менее я взломал крышку своего гроба и выбрался наружу. Кругом было страшно сыро и уныло, и я изнывал от скуки. Чтобы развлечься, я принялся бродить между аккуратно расставленными рядами гробов. Стаскивая гробы на землю один за другим, я вскрывал их и предавался рассуждениям о заключенных в них бранных останках.

— Это, — произнес я, споткнувшись о рыхлый, одутловатый труп, — это, без сомнения, был в полном смысле слова неудачник, несчастный человек. Ему суждена была жестокая судьба: он не ходил, а переваливался; он шел через жизнь не как человек, а как слон, не как мужчина, а как бегемот.

Его попытки передвигаться по прямой были обречены на неудачу, а его вращательные движения кончались полным провалом. Делая шаг вперед, он имел несчастье всякий раз делать два шага вправо и три влево. Его занятия ограничивались изучением поэзии Крабба²³. Он не мог иметь никакого представления о прелести пируэта. Для него па-де-папильон всегда был абстрактным понятием. Он никогда не восходил на вершину холма. Никогда, ни с какой вышки не созерцал он славных красот столицы. Жара была его заклятым врагом. Когда солнце находилось в созвездии Пса, он вел поистине собачью жизнь, — в эти дни ему снилась геенна огненная, горы, взгромоздившиеся на горы, Пелион — на Оссу²⁴. Ему не хватало воздуха, — да, если выразить это кратко, не хватало воздуха. Игру на духовых инструментах он считал безумием. Он был изобретателем самодвижущихся вееров и вентиляторов. Он покровительствовал Дюпону²⁵, фабриканту кузнечных мехов, и умер самым жалким образом, пытаясь выкурить сигару. Он внушает мне глубокий интерес, его судьба вызывает во мне искреннее сочувствие.

— Но вот, — сказал я злорадно, извлекая из гроба сухопарого, длинного, странного мертвеца, примечательная внешность которого неприятно поразила меня сходством с чем-то хорошо знакомым, — вот презренная тварь, не достойная ни малейшего сострадания. — Произнося эти слова, я, чтобы лучше разглядеть свой объект, схватил его двумя пальцами за нос, усадил и, держа таким образом на расстоянии вытянутой руки, продолжал свой монолог.

— Не достойная, — повторил я, — не достойная ни малейшего сострадания. Кому же, в самом деле, придет в голову сочувствовать тени? Да и разве не получил он сполна причитавшейся ему доли земных благ? Он был создателем высоких памятников, башен для литья дробы, громотводов и пирамидальных тополей. Его трактат «Тени и оттенки» обесмертил его имя. Он с большим талантом обработал последнее издание Саута²⁶ «О костях». В молодом возрасте поступил он в колледж, где изучал пневматику. Затем он возвратился домой, вечно болтал всякую чепуху и играл на валторне. Он покровительствовал волынщикам. Известный скороход капитан Баркли²⁷ ни за что не соглашался состязаться с ним в ходьбе. О'Ветри и Выдыхауэр были его любимыми писателями, а Физ²⁸ — его любимым художником. Он умер смертью славных, вдыхая газ, — *levique flatu corrumpitur* *, как *fama pudicitiae* ** у Иеронима^{1*}. Он несомненно был...

— Как вы смеете! Как... вы... смеете! — задыхаясь, прервал меня объект моей гневной филиппики и отчаянным усилием сорвал плавок, которым была подвязана его нижняя челюсть. — Как вы смеете, мистер Духвон, с такой дьявольской жестокостью зажимать мне нос?! Разве вы не видите, что они завязали мне рот? А вам должно быть известно, — если вам вообще что-либо известно, — каким огромным избытком дыхания я располагаю! Если же вам об этом неизвестно, то присядьте и убедитесь сами. В моем положении поистине огромное облегчение иметь возможность открыть рот... иметь возможность беседовать с человеком вроде вас, который не считает своим долгом каждую минуту прерывать нить рассуждений джентльмена. Следовало бы запретить прерывать друг друга... не правда ли?.. Прошу вас, не отвечайте... достаточно, когда говорит один человек... Рано или поздно я кончу, и тогда вы сможете начать... За каким чертом, сэр, принесло вас сюда?.. ни слова, умоляю... я сам пробыл здесь некоторое время... кошмарный случай!.. Слышали, наверное?.. ужасающая катастрофа!.. Проходил под вашими окнами... приблизительно в то время, когда вы помешались на драматическом искусстве... жуткое происшествие!.. Знаете выражение: «пере-

* От слабого дуновения погибает (лат.).

** Добрая слава целомудренности (лат.).

^{1*} *Tenera res in feminis fama pudicitiae est, et quasi flos pulcherrimus, cito ad levem marcessit auram, levique flatu corrumpitur, maxime, etc. — Hieronymus ad Salvinam* [Нежная вещь — добрая слава целомудренности и как прекрасный цветок вянет от легкого ветра, от слабого дуновения погибает... — Иероним²⁹ к Сальвиану].

хватило дыхание»? .. придержите язык, говорю я вам! .. так вот: я перехватил чье-то чужое дыхание! .. когда мне и своего всегда хватало... Встретил на углу Пустослова... не дал мне ни слова вымолвить... я ни звука произнести не мог... в результате припадок эпилепсии... Пустослов сбежал... черт бы побрал этих идиотов! .. Приняли меня за мертвого и сунули сюда... не правда ли, мило? Слышал все, что вы обо мне говорили... каждое слово — ложь... ужасно! .. поразительно! .. гнусно! .. мерзко! .. непостижимо! .. et cetera... et cetera... et cetera... *.

Невозможно представить себе, как я изумился, услышав столь неожиданную тираду, и как обрадовался, когда мало-помалу сообразил, что дыхание, столь удачно перехваченное этим джентльменом (в котором я вскоре узнал соседа моего Вовесьдуха), было то самое, которого я лишился в ходе беседы с женой. Время, место и обстоятельства дела не оставляли в том и тени сомнения. Однако я все еще держал мистера Вовесьдуха за его обонятельный орган — по крайней мере в течение того весьма продолжительного периода, пока изобретатель пирамидальных тополей давал мне свои объяснения.

К этому побуждала меня осторожность, которая всегда была моей отличительной чертой. На пути моего избавления, подумал я, лежит еще немало препятствий, которые мне удастся преодолеть лишь с величайшим трудом. Следует принять во внимание, что многим людям свойственно оценивать находящуюся в их владении собственность (хотя бы эти люди в данный момент и в грош ее не ставили, хотя бы собственность, о которой идет речь, доставляла им одни хлопоты и беспоконья) прямо пропорционально той выгоде, которую могут извлечь другие, приобретая ее, или они сами, расставаясь с нею. Не принадлежит ли мистер Вовесьдух к подобным людям? Не подвергну ли я себя опасности стать объектом его вымогательств, слишком явно выказывая стремление завладеть дыханием, от которого он в настоящее время так страстно желает избавиться? Ведь есть же на этом свете такие негодяи, подумал я со вздохом, которые не постесняются воспользоваться затруднительным положением даже ближайшего своего соседа; и (последнее замечание принадлежит Эпиктету³⁰) именно тогда, когда люди особенно стремятся сбросить с себя бремя собственных невзгод, они меньше всего озабочены тем, как бы облегчить участь своего ближнего.

Все еще не выпуская нос мистера Вовесьдуха, я счел необходимым построить свой ответ, руководствуясь подобными соображениями.

— Чудовище! — начал я тоном, исполненным глубочайшего негодования. — Чудовище и двудышащий идиот! Да как же ты, которого небу угодно было покарать за грехи двойным дыханием, — как же ты посмел обратиться ко мне с фамильярностью старого знакомого? «Каждое слово ложь»... подумать только! Да еще «придержите язык». Как бы не так! Нечего сказать, приятная беседа с джентльменом, у которого нормальное

* И прочее... и прочее... и прочее... (лат.).

дыхание! И все это в тот момент, когда в моей власти облегчить бремя твоих бедствий, отняв тот излишек дыхания, от которого ты вполне заслуженно страдаешь. — Произнеся эти слова, я, подобно Бруту, жду ответа³¹, и мистер Вовесьдух тотчас обрушился на меня целым шквалом протестов и каскадом извинений. Он соглашался на любые условия, чем я не преминул воспользоваться с максимальной выгодой для себя.

Когда предварительные переговоры наконец завершились, мой приятель вручил мне дыхание, в получении коего (разумеется, после тщательной проверки) я впоследствии выдал ему расписку.

Многие несомненно станут порицать меня за то, что я слишком поверхностно описал коммерческую операцию, объектом которой было нечто столь неосознаваемое. Мне, вероятно, укажут, что следовало остановиться более подробно на деталях этого происшествия, которое (и я с этим совершенно согласен) могло бы пролить новый свет на чрезвычайно любопытный раздел натурфилософии³².

На все это — увы! — мне нечего ответить. Намек — вот единственное, что мне дозволено. Таковы обстоятельства. Однако по здравом размышлении я решил как можно меньше распространяться о деле столь щекотливом, — повторяю, столь щекотливом и, сверх того, затрагивавшем в то время интересы третьего лица, гнев которого в настоящее время я меньше всего желал бы навлечь на себя.

Вскоре после этой необходимой операции мы предприняли попытку выбраться из подземных казематов нашего склепа. Соединенные силы наших вновь обретенных голосов были столь велики, что мы очень скоро заставили себя услышать. Мистер Ножницы, редактор органа виггов, опубликовал трактат «О природе и происхождении подземных шумов». Газета партии демократов незамедлительно поместила на своих столбцах ответ, за которым последовало возражение, опровержение и наконец подтверждение. Лишь после вскрытия склепа удалось разрешить этот спор: появление мистера Вовесьдуха и мое собственное доказало, что обе стороны были совершенно неправы.

Заканчивая подробный отчет о некоторых весьма примечательных эпизодах из моей и без того богатой событиями жизни, я не могу еще раз не обратить внимание читателя на преимущества такой универсальной философии, ибо она служит надежным и верным щитом против тех стрел судьбы, кои невозможно ни увидеть, ни ощутить, ни даже окончательно постигнуть. Уверенность древних иудеев, что врата рая не преминут раскрыться перед тем грешником или святым, который, обладая здоровыми легкими и слепую верой, возопит «аминь!», — была совершенно в духе этой философии. Совет Эпименида³³ (как рассказывает об этом философе Лаэртий³⁴ во второй книге своих сочинений) воздвигнуть алтарь и храм «надлежащему божеству», данный им афинянам в те дни, когда в городе свирепствовала моровая язва и все средства против нее были исчерпаны, — также совершенно в духе этой философии.

Литтлтон Бэрри

БОН-БОН

*Quand un bon vin meuble mon estomac,
Je suis plus savant que Balzac —
Plus sage que Pibrac;
Mon bras seul faisant l'attaque
De la nation Cossaque,
La mettroit au sac;
De Charon je passerois le lac
En dormant dans son bac;
J'irois au fier Eac,
Sans que mon coeur fit tic ni tac,
Présenter du tabac *.*

Французский водевиль

То обстоятельство, что Пьер Бон-Бон был restaurateur** необычайной квалификации, не осмелится, я полагаю, оспаривать ни единый человек из тех, кто в царствование... посещал маленькое Café в cul-de-sac Le Febvre*** в Руане. То обстоятельство, что Пьер Бон-Бон приобрел в равной степени сноровку в философии того времени, я считаю еще более неоспоримым. Его rôtés à la foie**** были несомненно безупречными, но где перо, которое воздаст должное его эссе sur la Nature*****,—его мыслям sur l'Âme*****—его замечаниям sur l'Esprit*****? Если его omelettes***** — если его frican-

* Когда я в глотку лью коньяк,
Я сам ученей, чем Бальзак¹,
И я мудрее, чем Пибрак²,
Мне выпочем любой казак.
Пойду на рать таких вояк
И запихну их в свой рюкзак.
Могу залезть к Харону в бак
И спать, пока вевет чужак.
А позови меня Эак³,
Опять не струшу я никак.
И сердце тут ни тик, ни так,
Я только гаряну: «Сыпь табак!» (франц.)
(Пер. В. В. Левика)

** Ресторатор (франц.).
*** Тупике Ле Февр (франц.).
**** Паштеты (франц.).
***** О природе (франц.).
***** О душе (франц.).
***** О разуме (франц.).
***** Омлеты (франц.).

deaux * были неоценимыми, то какой littérateur ** того времени не дал бы за одну «Idée de Bon-Bon» *** вдвое больше, чем за весь хлам «Idées» **** всех остальных savants *****? Бон-Бон обшаривал библиотеки, как не обшаривал их никто, — читал столько, что другому и в голову не могла бы закрасться мысль так много прочитать, — понимал столько, что другой и помыслить не мог бы о возможности столь многое понимать. И хотя в Руане, в эпоху его расцвета находились некие авторы, которые утверждали, будто его dicta ***** не отличается ни ясностью Академии, ни глубиной Ликейя ⁴, хотя, заметьте, его доктрины никоим образом не были всеобщим достоянием умов, отсюда все же не следует, будто они были трудны для понимания. По-моему, именно по причине их самоочевидности многие стали считать их непостижимыми. Именно Бон-Бону — однако не будем продвигаться в этом вопросе слишком далеко — именно Бон-Бону в основном обязан Кант ⁵ своей метафизикой. Первый из них на самом-то деле не был платоником, не был он, строго говоря, и последователем Аристотеля ⁶ и не растрчивал, словно некий самоновейший Лейбниц, драгоценные часы, кои можно было употребить на изобретенье fricassée ***** или, facili gradu ******, на анализ ощущений, в легкомысленных попытках примирить друг с другом упрямые масло и воду этического рассуждения. Никоим образом! Бон-Бон был ионийцем — в той же мере Бон-Бон был италийцем. Он рассуждал à priori — он рассуждал также à posteriori. Его идеи были врожденными — или же совсем наоборот. Он верил в Георгия Трапезундского ⁷. — Он верил в Бессарииона ⁸. Бон-Бон был ярко выраженным... бон-бонианцем.

Я говорил о компетенции этого философа как restaurateur. Да не помыслит, однако, кто-либо из моих друзей, будто, выполняя унаследованные им обязанности, наш герой страдал недооценкой их важности или достоинства. Отнюдь нет. Невозможно сказать, какая из сторон его профессий служила для него предметом наибольшей гордости. Он считал, что силы интеллекта находятся в тонкой связи с возможностями желудка. И в сущности я не стал бы утверждать, что он так уж расходился с китайцами, которые помещают душу в брюшную полость. Во всяком случае, думал он, правы были греки, употреблявшие одно и то же слово для обозначения разума и грудобрюшной преграды ^{1*}. Говоря все это, я вовсе не хочу выдвинуть обвинение в чревоугодии или какое-либо другое серьезное обвинение, в ущерб нашему метафизику. Если у Пьера

* Фрикандо — жареные кусочки наштигованного мяса или рыбы (франц.).

** Литератор (франц.).

*** «Идею Бон-Бона» (франц.).

**** «Идей» (франц.).

***** Ученых (франц.).

***** Афоризмы (лат.).

***** Фрикасе (франц.).

***** С легкостью (лат.).

^{1*} Φρένες (греч.).

Бон-Бона и были слабости — а кто из великих людей не имел их тысячами — если, повторяю, Пьер Бон-Бон и имел свои слабости, то они были слабостями незначительными, — недостатками, которые при другом складе характера рассматривались бы скорее как добродетели. Что касается одной из этих слабых струнок, то я бы даже не упомянул о ней в своем рассказе, если б она не выделялась с особой выпуклостью — наподобие резко выраженного *alto rilievo* * — из плоскости обычного расположения Бон-Бона. Он не упускал ни одной возможности заключить сделку.

Не то, чтобы он страдал алчностью — нет! Для удовлетворения нашего философа вовсе не нужно было, чтобы сделка шла ему на пользу. Если совершался товарообмен — любого рода, на любых условиях и при любых обстоятельствах — то много дней после этого торжествующая улыбка освещала лицо философа, а заговорщицкое подмигивание свидетельствовало о его прозорливости.

Не представляется удивительным, если столь своеобразный характер, как тот, о котором я только что упоминал, привлекает внимание и вызывает комментарии. Следовало бы поистине удивляться, если бы в эпоху, к которой относится наш рассказ, это своеобразие не привлекло бы внимания. Вскоре было замечено, что во всех случаях подобного рода ухмылка Бон-Бона имела склонность резко отличаться от той широкой улыбки, в которой он расплывался, приветствуя знакомых или смеясь собственным шуткам. Распространялись тревожные слухи, рассказывались истории о губительных сделках, заключенных в спешке и оплакиваемых на досуге; присовокуплялись примеры необъяснимых способностей, смутных вожделений и противоестественных наклонностей, насаждаемых автором всяческого зла в его собственных премудрых целях.

Наш философ имел и другие слабости — но они едва ли заслуживают серьезного исследования. К примеру, мало кто из людей неисчерпаемой глубины не имеет склонности к бутылке. Является ли эта склонность побудительной причиной подобной глубины или же скорее ее веским подтверждением — вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько я мог установить, не расценивал сей предмет как пригодный для детального исследования; — я придерживаюсь того же мнения. Однако же при всем потворстве этому предрасположению, столь классическому, не следует думать, будто *restaurateur* утрачивал ту интуитивную разборчивость, которая обычно характеризовала его *essais* ** и, в то же самое время, его *omeléttes*. При уединенных бдениях его жребий падал на *Vin de Bourgogne* ***, но находились и моменты, подходящие для *Côtes du Rhone* ****. С точки зрения Бон-Бона — сотерн относился к медуку⁹ так же, как Катулл¹⁰ — к Гомеру.

* Горельефа (ит.).

** Эссе (франц.).

*** Бургундское (франц.).

**** Котдюрон (франц.).

Он был не прочь позабавиться силлогизмом, потягивая сен-пере, но вскрывал сущность рассуждения за бокалом клодвужо и опрокидывал теорию в потоке шамбертена. Было бы прекрасно, если б столь же острое чувство умственности сопровождало его торговые склонности, о которых я говорил ранее, — однако последнее отнюдь не имело места. Если сказать по правде, так эта черта ума философического Бон-Бона стала принимать с течением времени характер странной напряженности и мистицизма и несла в себе значительную примесь *diablerie** излюбленных им германских авторов.

Войти в маленькое *Café* в *cul-de-sac* Le Febvre означало в эпоху нашего рассказа, войти в *sanctum*** гения. А Бон-Бон был гением. Не было в Руане *sous-cuisinier****, который не сказал бы вам, что Бон-Бон был гением. Даже его кошка знала это и не позволяла себе размахивать хвостом в присутствии гения. Его огромный пудель был знаком с этим фактом и при приближении своего хозяина выражал чувство собственного ничтожества смиренной благовоспитанностью, опаданьем ушей и опусканием нижней челюсти в манере, не вовсе недостойной собаки. Впрочем, верно, что многое в этом привычном уважении надлежало бы приписать внешности метафизика. Выдающаяся наружность, должен я сказать, действует даже на животных, и я готов допустить, что многое во внешнем человеческом облике *restaurateur* было рассчитано на то, чтобы производить впечатление на четвероногих. От великого коротышки — да будет мне дозволено употребить столь двусмысленное выражение — веет какой-то особой царственностью, которую чисто физические объемы сами по себе ни при каких обстоятельствах создать не способны. Бон-Бон едва достигал трех футов роста, и если голова его была преуморительно мала, то все же было невозможно созерцать округлость его живота, не ощущая великолепия, граничащего с возвышенным. В его размерах собакам и людям надлежало усматривать образец достижений Бон-Бона, в его обширности — достойное вместилище для бессмертной души философа.

Я мог бы здесь — если б мне того захотелось — подробно остановиться на экипировке и на других привходящих обстоятельствах, касающихся внешней стороны метафизика. Я мог бы намекнуть, что волосы нашего героя были острижены коротко, гладко зачесаны на лоб и увенчаны белым фланелевым коническим колпаком с кисточками — что его гороховый камзол не следовал фасону, который носили обычные *restaurateurs* того времени — что рукава были несколько пышнее, чем позволяла то господствующая мода — что обшлага их, в отличие от того, что было принято в ту варварскую эпоху, не были подбиты материей того же качества и цвета, что и само одеяние, но были прихотливо отделаны переливчатым генуэзским бархатом — что его ночные туфли, изящно украшенные фи-

* Дьявольщины (франц.).

** Святилище (лат.).

*** Поваренка (франц.).

лигранью, были ярко-пурпурного цвета и их можно было бы принять за изготовленные в Японии, если б не утонченная заостренность их носов и бриллиантовый блеск гаруса и шитья — что его штаны были из желтой атласной материи, называемой *aimable* *, — что его лазурно-голубой плащ, напоминающий своей формой халат, весь в малиновых узорах, небрежно струился с его плеч, подобно утреннему туману — и что *tout ensemble* ** вызвало следующие замечательные слова Беневенуты, импровизатриссы из Флоренции: «Быть может, Пьер Бон-Бон и явился к нам точно райская птица, но скорее всего он — воплощение райского совершенства». Я мог бы, повторяю, пуститься в детальное обсуждение всех этих предметов, если б я того захотел, — однако же я воздержусь; я оставляю чисто личные подробности авторам исторических романов — голый факт по своим этическим достоинствам куда выше таких деталей.

«Войти в маленькое *Café* в *cul-de-sac* *Le Febvre* означало», писал я выше, «войти в *sanctum* гения», но только будучи гением, можно было надлежащим образом оценить достоинства этого *sanctum*. У входа, исполняя роль вывески, раскачивался огромный фолиант, на одной стороне которого была изображена бутылка, а на другой — *râté*. На корешке виднелись большие буквы «*Oeuvres de Bon-Bon*» ***. Эта аллегория утонченно передавала двоякость занятий владельца.

Переступив порог, можно было тотчас окинуть взглядом всю внутренность дома. Длинная низкая комната старинной архитектуры составляла единственное помещение этого *Café*. В углу стояла кровать метафизика. Вереница занавесей и полог *à la Grecque* **** придавали ей классический, а вместе с тем и уютный вид. В углу, противоположном по диагонали, объединились в дружное семейство кухонные принадлежности и *bibliothèque* *****. Блюдо полемики мирно покоилось на кухонном столе. Тут — полный противень новейшей этики, там — котел *mélanges in duodecimo* *****, здесь — сочинения германских моралистов в обнимку с рашпером. Вилку для подрумянивания хлеба можно было отыскать рядом с Евсевием ¹¹, Платон прикорнул отдохнуть на сковороде, а современные писания были насажены на вертел.

В остальном *Café de Bon-Bon*, пожалуй, мало чем отличалось от обычных *restaurants* того времени. Прямо напротив двери зиял очаг, справа от него в открытом буфете виднелись устрашающие ряды бутылочных этикеток.

Здесь, суровой зимой — — года, около полуночи, Пьер Бон-Бон, выслушав замечания соседей по поводу его странных наклонностей и выпроводив их из своего дома, — здесь, повторяю, Пьер Бон-Бон запер за ними

* Любезная (франц.).

** Все в целом (франц.).

*** Сочинения Бон-Бона (франц.).

**** На греческий манер (франц.).

***** Библиотека (франц.).

***** Всякой всячины (франц.) в одну двенадцатую долю листа (лат.).

с проклятием дверь и погрузился, в не слишком мирном расположении духа, в объятия кожаного кресла перед вязанками хвороста, пылавшими в очаге.

Стояла одна из тех страшных ночей, которые выпадают раз или два в столетие. Снег валил с яростью, а весь дом до основания содрогался под струями ветра, которые, прорываясь сквозь щели в стене и вырываясь из дымохода, вздували занавеси у постели философа и приводили в беспорядок все хозяйство его манускриптов и сотейников. Внушительный фолиант качающийся снаружи вывески, отданной на ярость бури, зловеще скрипел под стонущий звук своих крепких дубовых кронштейнов.

В настроении, повторяю, отнюдь не миролюбивом, метафизик пододвинул свое кресло к обычному месту у очага. За день произошло много досадных событий, которые нарушили безмятежность его размышлений. Взявшись за *des oeufs à la Princesse* *, он нечаянно состряпал *omelette à la Reine* **. Открытие нового этического принципа свелось на нет опрокинутым рагу, а самой последней, но отнюдь не самой малой неприятностью было то, что философу поставили препоны при заключении одной из тех восхитительных сделок, доводить которые до успешного конца всегда служило ему особой отрадой. Однако, наряду со всеми этими необъяснимыми неприятностями, в приведенье его ума в раздраженное состояние не преминула принять участие и известная доля той нервной напряженности, на создание которой столь точно рассчитана ярость неистовой ночи. Подозвав легким свистом своего огромного черного пуделя, о котором мы упоминали ранее, и устроясь с недобрый предчувствием в кресле, он невольно окинул подозрительным и тревожным взглядом те отдаленные уголки своего жилища, непокорные тени которых даже красное пламя очага могло разогнать лишь частично. Закончив осмотр, точную цель которого, пожалуй, он и сам не понимал, философ придвинул к себе маленький столик, заваленный книгами и бумагами, и вскоре погрузился в правку объемистой рукописи, предназначенной к публикации на завтра.

Бон-Бон был занят этим уже несколько минут, как вдруг в комнате раздался внезапно чей-то плаксивый шепот:

— Мне ведь не к спеху, *monsieur* Бон-Бон.

— О, черт! — возопил наш герой, вскакивая на ноги, опрокидывая столик и с изумленьем озираясь вокруг.

— Он самый, — невозмутимо ответил тот же голос.

— Он самый? Кто это он самый? Как вы сюда попали? — выкрикивал метафизик, меж тем как взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину на кровати.

— Так вот, я и говорю, — продолжал незванный гость, не обращая никакого внимания на вопросы. — Я и говорю, что мне торопиться ни

* Глазунью а-ля принцесса (франц.).

** Омлет а-ля королева (франц.).

к чему. Дело, из-за которого я взял на себя смелость нанести вам визит, не такой уж неотложной важности, словом, я вполне могу подождать, пока вы не кончите ваше Толкование.

— Мое Толкование — скажите на милость! — откуда вы это знаете? Как вы догадались, что я пишу Толкование? — О, боже!

— Тсс... — пронзительно прошипел гость; и, быстро поднявшись с кровати, сделал шаг к нашему герою, меж тем как железная лампа, подвешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении.

Изумление философа не помешало ему подробно рассмотреть одежду и наружность незнакомца. Линии его фигуры, изрядно тощей, но вместе с тем необычайно высокой, подчеркивались до мельчайших штрихов потертым костюмом из черной ткани, плотно облегавшим тело, но скроенным по моде прошлого века. Это одеяние предзнаначало, безусловно, для особы гораздо меньшего роста, чем его нынешний владделец. Лодыжки и запястья незнакомца высывались из одежды на несколько дюймов. Пара сверкающих пряжек на башмаках отводила подозрение о нищенской бедности, создаваемое остальными частями одежды. Голова незнакомца была обнаженной и совершенно лысой, если не считать весьма длинной queue *, свисавшей с затылка. Зеленые очки с дополнительными боковыми стеклами защищали его глаза от воздействия света, а вместе с тем препятствовали нашему герою установить их цвет или их форму. На этом субъекте не было и следа рубашки; однако на шею с большой тщательностью был повязан белый замызганный галстук, а его концы, свисающие строго вниз, придавали незнакомцу (смею сказать неумышленно) вид духовной особы. Да и многие другие особенности его наружности и манер вполне могли бы подкрепить идею подобного рода. За левым ухом он носил некий инструмент, как делают это нынешние клерки, похожий на античный стилос. В нагрудном кармане сюртука виднелся маленький черный томик, скрепленный стальными застешками. Эта книга, случайно или нет, была повернута таким образом, что открывались слова «Rituel Catholique» **, обозначенные белыми буквами на ее корешке. Печать загадочной угрюмости лежала на мертвенно-бледной физиономии незнакомца. Глубокие размышления провели на высоком лбу свои борозды. Углы рта были опущены вниз с выражением самой покорной смиренности. Сложив руки, он подошел с тяжким вздохом к нашему герою, и весь его вид предельной святости не мог не располагать в его пользу. Последняя тень гнева исчезла с лица метафизика, когда, завершив удовлетворивший его осмотр личности посетителя, он сердечно пожал ему руку и подвел к креслу.

Было бы, однако, серьезной ошибкой приписать эту мгновенную перемену в чувствованиях философа одной из тех естественных причин,

* Здесь: косицы (франц.).

** Католический требник (франц.).

которые могли оказать здесь влияние. В самом деле, Пьер Бон-Бон, в той мере, в какой я был способен понять его характер, менее кого бы то ни было мог поддаться показной обходительности. Невозможно было предположить, чтобы столь тонкий наблюдатель людей и предметов не раскусил бы с первого взгляда подлинный характер субъекта, явившегося злоупотреблять его гостеприимством. Помимо всего прочего, заметим, что строение ног посетителя было достаточно примечательным — что он с легкостью удерживал на голове необычайно высокую шляпу, что на задней части его панталон было видно трепетное вздутие, а подрагивание фалд его сюртука было вполне осязаемым фактом. Судите же поэтому сами, с чувством какого удовлетворения наш герой увидел себя внезапно в обществе персоны, к которой он всегда питал самое безоговорочное почтение. Он был, однако, слишком хорошим дипломатом, чтобы хоть малейшим намеком выдать свои подозрения по поводу реального положения дел. Показывать, что он хоть сколько-нибудь осознает ту высокую честь, которой он столь неожиданно удостоился, не входило в его намерения. Напротив, он хотел вовлечь гостя в разговор и выудить у него кое-что из важных этических идей, которые могли бы, получив место в предвкушаемой им публикации, просветить человеческий род, а вместе с тем и обессмертить имя самого автора; идей, выработать которые, должен я добавить, вполне позволяя посетителю его изрядный возраст и его всем известная поднаторелость в этических науках.

Побуждаемый сими просвещенными взглядами, наш герой предложил джентльмену присесть, а сам, воспользовавшись случаем, подбросил в огонь несколько вязанок, поднял опрокинутый столик и расставил на нем несколько бутылок Mousseux *. Быстро завершив эти операции, он поставил свое кресло vis-à-vis** кресла своего партнера и стал ждать, когда же тот начнет разговор. Но даже план, разработанный с наибольшим искусством, часто опрокидывается при малейшей попытке его осуществить, и наш restaurateur был совершенно обескуражен первыми же словами посетителя.

— Я вижу, вы меня знаете, Бон-Бон, — начал гость, — ха! ха! ха! — хе! хе! хе! — хи! хи! хи! — хо! хо! хо! — ху! ху! ху! — и дьявол, тут же отбросив личину святости, разинул во всю ширь, от уха до уха рот, так что обнажился частокол клыкастых зубов, запрокинул назад голову и закатился долгим, громким, зловещим и неудержимым хохотом, меж тем, как черный пудель, припав задом к земле, принялся с наслаждением ему вторить, а пятнистая кошка, отпрянув неожиданно в самый дальний угол комнаты, стала на задние лапы и пронзительно завопила.

Философ же повел себя иначе; он был слишком светским человеком, чтобы смеяться подобно собаке или визгом обнаруживать кошачий испуг дурного тона. Он испытывал, следует признать, легкое удивление при

* Игристого (франц.).

** Напротив (франц.).

виде того, как белые буквы, составляющие слова «Rituel Catholique» на книге в кармане гостя, мгновенно изменили свой цвет и форму, и через несколько секунд на месте прежнего заглавия уже пылали красными буквами слова «Regître des Condamnes» *. Этим поразительным обстоятельством и объясняется тот оттенок смущения, который появился у Бон-Бона, когда он отвечал на слова своего гостя, и который, в противном случае, по всей вероятности, не наблюдался бы.

— Видите ли, сэр, — начал философ, — видите ли, по правде говоря... Я уверен, что вы... клянусь честью... и что вы прокл... то есть, я думаю, я полагаю... смутно догадываюсь... весьма смутно догадываюсь... о высокой чести...

— О! — а! — да! — отлично! — прервал философа его величество, — довольно, я все уже понял. — И вслед за этим он снял свои зеленые очки, тщательно протер стекла рукавом сюртука и спрятал очки в карман.

Если происшествие с книгой удивило Бон-Бона, то теперь его изумление сильно возросло от зрелища, представшего перед ним. Горя желанием установить, наконец, какого же цвета глаза у его гостя, Бон-Бон взглянул на них. И тут он обнаружил, что вопреки его ожиданиям цвет их вовсе не был черным. Не был он и серым, вопреки тому, что можно было бы предположить — не был ни карим, ни голубым — ни желтым — ни красным — ни пурпурным — ни белым — ни зеленым — и вообще не был никаким цветом, который можно сыскать вверху в небесах, или внизу на земле, или же в водах под землей. Словом, Пьер Бон-Бон не только увидел, что у его величества попросту нет никаких глаз, но и не мог обнаружить ни единого признака их существования в прежние времена, ибо пространство, где глазам полагается пребывать по естеству, было совершенно гладким.

Воздержание от вопросов по поводу причин столь странного явления вовсе не входило в натуру метафизика, а ответ его величества отличался прямотой, достоинством и убедительностью.

— Глаза! — мой дорогой Бон-Бон — глаза, говорите вы? — о! — а! — Понимаю! Нелепые картинки — не правда ль? — нелепые картинки, которые ходят среди публики, создали ложное представление о моей наружности. Глаза!!! — Конечно! Глаза, Пьер Бон-Бон, хороши на подходящем для них месте — их место на голове, скажете вы! — верно — на голове червя. Точно так же и вам необходимы эти окуляры, и все ж вы сейчас убедитесь, что мое зрение проникает глубже вашего. Вон там в углу я вижу кошку — миленькая кошка — взгляните на нее — понаблюдайте за ней хорошенько. Ну как, Бон-Бон, видите ли вы ее мысли — мысли, говорю я, — идеи — концепции, — которые зарождаются под ее черепной коробкой? Вот то-то же, не видите! Она думает, что мы восхищены длиной ее хвоста и глубиной ее разума. Только что она пришла к заключе-

* Реестр обреченных (франц.).

нию, что я — весьма важное духовное лицо, а вы — крайне поверхностный метафизик. Итак, вы видите, я не вполне слеп; но тому, кто имеет мою профессию, глаза, о которых вы говорите, были бы попросту обузой, того и гляди их выколят вилами или вертелом для подрумянивания грешников. Вам эти оптические штуковины необходимы, я готов это признать. Постарайтесь, Бон-Бон, использовать их хорошо; мое же зрение — душа.

С этими словами гость налил себе вина и, наполнив до краев стакан Бон-Бона, предложил ему выпить без всякого стеснения и вообще чувствовать себя совсем как дома.

— Неглупая вышла у вас книга, Пьер, — продолжал его величество, похлопывая с хитрым видом нашего приятеля по плечу, когда тот поставил стакан, в точности выполнив предписание гостя. — Неглупая вышла книга, клянусь честью. Такая работа мне по сердцу. Однако расположение материала, я думаю, можно улучшить, к тому же многие ваши взгляды напоминают мне Аристотеля. Этот философ был одним из моих ближайших знакомых. Я обожал его за отвратительный нрав и за счастливое умение попадать впросак. Есть только одна твердая истина во всем, что он написал, да и ту из чистого сострадания к его бестолковости я ему подсказал. Я полагаю, Пьер Бон-Бон, вы хорошо знаете ту восхитительную этическую истину, на которую я намекаю?

— Не могу сказать, чтоб я...

— Ну, конечно же! Да ведь это я сказал Аристотелю, что избыток идей люди удаляют через ноздри посредством чихания.

— Что, безусловно, -и-ик — и имеет место, — заметил метафизик, наливая себе еще один стакан муссо и подставляя гостю свою табакерку.

— Был там еще такой Платон, — продолжал Его Величество, скромно отклоняя табакерку и подразумеваемый комплимент, — был там еще Платон, к которому одно время я питал самую дружескую привязанность. Вы знали Платона, Бон-Бон? — ах, да, — приношу тысячу извинений. Однажды он встретил меня в Афинах, в Парфеноне, и сказал, что хочет разжиться идеей. Я посоветовал ему написать, что *ὁ νοῦς ἐστὶν αὐλός**. Он обещал именно так и поступить, и отправился домой, а я заглянул к пирамидам. Однако моя совесть грызла меня за то, что я высказал истину, хотя бы и в помощь другу, и, поспешив назад в Афины, я подошел к креслу философа как раз в тот момент, когда он выводил словечко «αὐλός». Я дал лямбде щелчка, и она опрокинулась; поэтому фраза читается теперь как «ὁ νοῦς ἐστὶν αὐτός»** и составляет, видите ли, основную доктрину его метафизики.

— Вы бывали когда-нибудь в Риме? — спросил restaurateur, прикончив вторую бутылку moussoux и доставая из буфета приличный запас шамбертена.

* Разум есть свирель (греч.).

** Разум есть глаз (испорч. греч.).

— Только однажды, monsieur Бон-Бон, только однажды. В то время, — продолжал дьявол, словно читая по книге, — в то время настал период анархии, длившийся пять лет, когда в республике, лишенной всех ее должностных лиц, не осталось иных управителей, кроме народных трибунов¹², да к тому же не облеченных полномочиями исполнительной власти. В то время, monsieur Бон-Бон, только в то время я побывал в Риме, и, как следствие этого, я не имею ни малейшего знакомства с его философией^{1*}.

— Что вы думаете — и-ик — думаете об — и-ик — Эпикуре?

— Что я думаю о ком, о ком? — переспросил с изумлением дьявол. — Ну, уж в Эпикуре вы не найдете ни малейшего изъяна! Что я думаю об Эпикуре! Вы имеете в виду меня, сэр? — Эпикур — это я! Я — тот самый философ, который написал все до единого триста трактатов, упоминаемых Диогеном Лаэртием¹⁴.

— Это ложь! — сказал метафизик, которому вино слегка ударило в голову.

— Прекрасно! — Прекрасно, сэр! — Поистине прекрасно, сэр! — проговорил его величество, по всей видимости весьма польщенный.

— Это ложь! — повторил restaurateur, не допуская возражений, — это — и-ик — ложь!

— Ну, ну, пусть будет по-вашему! — сказал миролюбиво дьявол, а Бон-Бон, побив его величество в споре, счел своим долгом прикончить вторую бутылку шамбертена.

— Как я уже говорил, — продолжал посетитель, — как я отмечал немного ранее, некоторые понятия в этой вашей книге, monsieur Бон-Бон, весьма outré^{**}. Вот, к слову сказать, что за окоlesiцу несете вы там о душе? Скажите на милость, сэр, что такое душа?

— Дуу — и-ик — ша, — ответил метафизик, заглядывая в рукопись, — душа несомненно...

— Нет, сэр!

— Безусловно...

— Нет, сэр!

— Неоспоримо...

— Нет, сэр!..

— Очевидно...

— Нет, сэр!

— Неопровержимо...

— Нет, сэр!

— И-ик!..

— Нет, сэр!

^{1*} Ils écrivaint sur la Philosophie (Cicero, Lucretius, Seneca) mais c'était la Philosophie Grecque. — Condorcet. Они писали о философии (Цицерон, Лукреций, Сенека), но то была греческая философия. — Кондорсе¹³ (франц.).

^{**} Вычурны (франц.).

— И вне всякого сомнения, ду...

— Нет, сэр, душа вовсе не это! (Тут философ, бросая по сторонам свирепые взгляды, воспользовался случаем прикончить без промедления третью бутылку шамбертена).

— Тогда — и — и — ик — скажите на милость, сэр, что ж — что ж это такое?

— Это несущественно, monsieur Бон-Бон, — ответил его величество, погружаясь в воспоминания. — Мне доводилось отвеживать — я имею в виду знавать — весьма скверные души, а подчас и весьма недурные. — Тут он причмокнул губами и, ухватясь машинально рукой за том, лежащий в кармане, затрясся в неудержимом припадке чиханья.

Затем он продолжал:

— У Кратина¹⁵ душа была сносною; у Аристофана — пикантною; у Платона — изысканною — не у вашего Платона, а у того, у комического поэта¹⁶; от вашего Платона стало бы дурно и Церберу — тьфу! Позвольте, кто ж дальше? Были там еще Невий¹⁷, Андроник¹⁸, Плавт и Теренций. А затем Луцилий¹⁹, Катулл, Назон²⁰, и Квинт Флакк²¹ — милыага Квинти, чтобы потешить меня, распевал *seculare* *, пока я подрумянивал его, в благодушнейшем настроении, на вилке. Но все ж им недоставало настоящего вкуса, этим римлянам. Один упитанный грек стоял дюжины, и к тому ж не начинал припахивать, чего не скажешь о квиригах²². Отведаем вашего сотерна!

К этому времени Бон-Бон твердо решил *nil admirari* ** и сделал попытку подать требуемые бутылки. Он услышал, однако, в комнате странный звук, словно кто-то махал хвостом. На этот, хотя и крайне недостойный со стороны его величества, звук, наш философ не стал обращать внимания, он попросту дал пуделю пинка и велел ему лежать смирно. Между тем посетитель продолжал свой рассказ:

— Я нашел, что Гораций на вкус очень схож с Аристотелем, — а вы знаете, я люблю разнообразие. Теренция я не мог отличить от Менандра²⁴. Назон, к моему удивлению, обманчиво напоминал Никандра²⁵ под другим соусом. Вергилий²⁶ сильно отдавал Феокритом. Марциал²⁷ напомнил мне Архилоха²⁸, а Тит Ливий²⁹ определенно был Полибием³⁰ и не кем другим.

— И — и-ик! — ответил Бон-Бон, а его величество продолжал:

— Но если у меня и есть *страстишка*, monsieur Бон-Бон, — если и есть *страстишка*, так это к философам. Однако ж, позвольте мне сказать вам, сэр, что не всякий чер... — я хочу сказать, не всякий джентльмен умеет *выбрать* философа. Те, что подлиннее, — не хороши, и даже лучшие, если их не зачистишь, становятся горклыми из-за желчи.

— Зачистишь?

* Юбилейный гимн (лат.).

** Ничему не удивляться²³ (лат.).

— Я хотел сказать, не вынешь из тела.

— Ну а как вы находите — и — и-ик — врачей?

— И не упоминайте о них! — мерзость! (Здесь его величество потянуло на рвоту). — Я откушал лишь одного ракалю Гиппократу — ну и вонял же он асафетидой³¹ — тьфу! тьфу! тьфу! — я подцепил простуду, полоща его в Стиксе, и вдобавок он наградил меня азиатской холерой.

— Ско — ик — тина! — выкрикнул Бон-Бон. — Клизтирная — и-и-ик — кишка! — и философ уронил слезу.

— В конце-то концов, — продолжал посетитель, — в конце-то концов, если чер... — если джентльмен хочет остаться в живых, он должен обладать хоть некоторыми талантами; у нас круглая физиономия — признак дипломатических способностей.

— Как это?

— Видите ли, иной раз бывает очень туго с провиантом. Надо сказать, что в нашем знойном климате зачастую трудно сохранить душу в живых свыше двух или трех часов; а после смерти, если ее немедленно не сунуть в рассол (а соленые души — совсем не то, что свежие), она начинает припахивать — понятно, а? Каждый раз опасаясь порчи, если получаешь душу обычным способом.

— И-ик! — И-ик! — Да как же вы там живете?

Тут железная лампа закачалась с удвоенной силой, а дьявол встал со своего кресла; однако же, с легким вздохом он занял прежнюю позицию и лишь сказал нашему герою вполголоса: — Прошу вас, Пьер Бон-Бон, не надо больше браниться.

В знак полного понимания и молчаливого согласия хозяин опрокинул еще один стакан, и посетитель продолжал:

— Живем? Живем мы по-разному. Большинство умирает с голоду, иные — питаются солониной; что ж касается меня, то я покупаю мои души *vivente согроге* *, в каком случае они сохраняются очень неплохо.

— Ну, а тело!? — и-ик — а тело!?

— Тело, тело — а причем тут тело? — о! — а! — понимаю! Что ж, сэр, тело *нисколько* не страдает от подобной коммерции. В свое время я сделал множество покупок такого рода, и стороны ни разу не испытывали ни малейшего неудобства. Были тут и Каин, и Немврод³², и Нерон, и Калигула, и Дионисий³³, и Писистрат³⁴, и тысячи других, которые во второй половине своей жизни попросту забыли, что значит иметь душу, а меж тем, сэр, эти люди служили украшением общества. Да взять хотя бы А., которого вы знаете столь же хорошо, как и я! Разве он не владеет всеми своими способностями, телесными и духовными? Кто напишет эпиграмму острее? Кто рассуждает остроумней? Но, погодите, договор с ним находится у меня здесь, в записной книжке.

* Здесь: в живом теле, на корню (лат.).

Говоря это, он достал красное кожаное портмоне и вынул из него пачку бумаг. Перед Бон-Бonom мелькнули буквы *Маки*³⁵... *Маза*³⁶..., *Робесп*³⁷... и слова *Калигула*, *Георг*³⁸, *Елизавета*³⁹. Его величество выбрал узенькую полоску пергамента и прочел вслух следующее:

— Сим, в компенсацию за определенные умственные дарования, а также в обмен на тысячу луидоров, я, в возрасте одного года и одного месяца, уступаю предьявителю данного соглашения все права пользования, распоряжения и владения тенью, именуемой моею душой. Подписано: А...^{1*} (Тут его величество прочел фамилию, указать которую более определенно я не считаю для себя возможным).

— Неглупый малый, — прибавил он, — но, как и вы, Бон-Бон, он заблуждался насчет души. Душа это тень! Как бы не так! Душа — тень! Ха! ха! ха! — хе! хе! — хе! — хо! хо! хо! Подумать только — фрикасе из тени!

— Подумать только — и-ик! — фрикасе из тени! — воскликнул наш герой, в голове у которого наступало прояснение от глубочайших мыслей, высказанных его величеством.

— Подумать только — фри-ик-касе из тени! Черт подери! — И-ик! — Хм! — Да будь я на месте — и-ик! — этого простофили! Моя душа, Мистер... Хм!

— Ваша душа, monsieur Бон-Бон?

— Да, сэр — и-ик! — моя душа была бы...

— Чем, сэр?

— Не тенью, черт подери!

— Вы хотите сказать...

— Да, сэр, моя душа была бы — и-ик! — хм! — да, сэр.

— Уж не станете ли вы утверждать...

— Моя душа особенно — и-ик! — годилась бы — и-ик! для...

— Для чего, сэр?

— Для рагу.

— Неужто?

— Для суфле!

— Не может быть!

— Для фрикасе!

— Правда?

— Для рагу и для фрикандо — послушай-ка, приятель, я тебе ее уступаю — и-ик — идет! — Тут философ шлепнул его величество по спине.

— Это немислимо! — невозмутимо ответил последний, поднимаясь с кресла. Метафизик недоуменно уставился на него.

— У меня их сейчас предостаточно, — пояснил его величество.

— Да — и-ик — разве? — сказал философ.

^{1*} Читать — Аруэ⁴⁰?

— Не располагаю средствами.

— Что?

— К тому ж, с моей стороны, было бы некрасиво. . .

— Сэр!

— Воспользоваться. . .

— И-ик!

— Вашим нынешним омерзительным и недостойным состоянием.

Гость поклонился и исчез — трудно установить, каким способом, — но бутылка, точным броском запущенная в «злодея», перебила подвешенную к потолку цепочку, и метафизик распростерся на полу под рухнувшей вниз лампой.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

*Qui n'a plus qu'un moment à vivre
N'a plus rien à dissimuler.*

*Quinault. — Atys**

О моей родине и о моей семье я могу сказать лишь немного. Пренебрежение и давность лет отделили меня от первой и сделали чужим второй. Состояние, полученное по наследству, обеспечило мне незаурядное образование, а склонность к умозрению позволила привести в порядок запасы, прилежно собранные в закрома ранним учением. Превыше всего наслаждался я этическими теориями германских философов; не оттого, что их красноречивое безумье вызывало во мне скороспелый восторг, нет, я наслаждался той легкостью, с которой привычка к строгому мышлению позволяла мне обнаруживать их ошибки. Меня часто упрекали в бесплодии моего гения; нехватку воображения ставили мне в укор как преступление; а пирронизм моих суждений² всегда пользовался дурной славой. И в самом деле, боюсь, что вкус к натуральной философии привил моему разуму склонность к ошибке, весьма распространенной в наш век, — я имею в виду привычку относить события, даже наименее для того подходящие, к принципам этой науки. В целом, однако, я отнюдь не принадлежал к тем, кого *ignes fatui*** предрассудков могут увлечь за строгие пределы истины. Все эти послышки, полагаю я, следовало изложить, дабы невероятный рассказ, к которому я теперь приступаю, рассматривался бы не как бред грубого воображения, но скорее как положительный опыт ума, для которого полеты фантазии всегда были чем-то мертвым и несуществующим.

После многих лет, проведенных в дальних странствиях, я отплыл в 18 — году из порта Батавия³, лежащего на богатом и многолюдном острове Ява, к архипелагу Зондских островов. Я плыл пассажиром, и ничто не побуждало меня к этому путешествию, кроме какого-то нервного беспокойства, преследовавшего меня, как злой дух.

Мы плыли на превосходном корабле, тонн четырехсот водоизмещением, построенном в Бомбее из малабарского тика, крепленного медными заклепками. Груз наш составлял сырой хлопок и масло с Лаккадивских

* Кому осталось жить одно мгновение,
Тому уж нечего скрывать.

Кино¹. „Атис“ (франц.).

** Блуждающие огоньки (лат.).

островов⁴. На борту находились также кокосовое волокно, коричневый пальмовый сахар, индийское масло из молока буйволицы, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Груз был уложен кое-как, и корабль шел валко.

Мы отплыли при легчайшем ветре и много дней держались у восточного берега Явы. Ничто не нарушало монотонности нашего путешествия, кроме случайных встреч с небольшими каботажными грабами с Архипелага, к которому мы направлялись.

Как-то вечером, облокотясь на юте о гакаборт, я наблюдал за весьма странным, одиноким облаком, видневшимся к норд-весту. Оно заслуживало внимания как из-за своего цвета, так и оттого, что было первым, увиденным нами после отплытия из Батавии. Я внимательно следил за облаком вплоть до заката, когда оно внезапно распространилось к востоку и западу, опоясав горизонт тонкой полоской тумана и приняв вид длинного и низкого побережья. Вскоре затем мое внимание привлек багровый цвет луны и совсем особый характер моря. С этим последним происходили какие-то быстрые перемены, а вода казалась необычайно прозрачной. Я мог отчетливо видеть дно и все же, бросив лот, обнаружил под кораблем пятнадцать фадомов⁵ глубины. Воздух стал теперь нестерпимо горячим и наполнился спиральными струйками испарений, вроде тех, что поднимаются над раскаленным железом. С наступлением ночи замерло малейшее дуновение ветра, и невозможно было представить себе более полный штиль. Свеча горела на полуюте совершенно ровным пламенем, а длинный волос, зажатый между большим и указательным пальцами, свисал без малейшего движения. Однако капитан заявил, что не видит никакого признака опасности, и приказал свернуть паруса и бросить якорь, так как корабль сносило к берегу. На вахту никого не поставили, и матросы, преимущественно малайцы, спокойно разлеглись на палубе. Я спустился вниз, отнюдь не освобождаясь от серьезного предчувствия беды. И в самом деле, все приметы предвещали самум. Я заговорил с капитаном о своих опасениях, однако он не обратил внимания на мои слова и не снизошел до того, чтобы удостоить меня ответом. Тревога мешала мне спать, и около полуночи я снова вышел на палубу. Когда я занес ногу на последнюю ступень трапа, меня заставил насторожиться громкий гул, словно вызванный быстрым вращением мельничного колеса, и, не успев понять, в чем дело, я почувствовал, как сотрясается весь корабль. В следующий миг разбушевавшаяся стихия швырнула корабль на бок и, промчавшись над нами, смыла с палубы все от носа до кормы.

Беспредельная ярость этого вихря оказалась во многом спасительной для корабля. Он весь ушел под воду, но из-за того, что вихрь сорвал мачты, через минуту тяжело вынырнул из воды и выпрямился, раскачиваясь под натиском бури.

Каким чудом я избежал гибели, сказать невозможно. Оглушенный сильным ударом воды, я увидел, придя в сознание, что зажат между ру-

лем и ахтерштевнем. С огромным усилием я встал на ноги, и ошеломленно оглядясь вокруг, решил поначалу, что мы попали в полосу бурунов — столь ужасным, превосходящим самое пылкое воображение, был водоворот нависшего над нами пенящегося океана. Немного погодя я услышал голос старого шведа, который нанялся на корабль в последний момент перед отплытием. Я позвал его, напрягая все силы, и он тут же, шатаясь, пробрался на корму. Вскоре мы убедились, что после катастрофы уцелели только мы. Вода смыла с палубы всех; капитан и штурманы погибли, должно быть, во сне, ибо вода залила каюты. Без чьей-либо помощи мы мало что могли сделать для спасения корабля, к тому же в первый момент наши усилия были парализованы ожиданием, что с минуты на минуту корабль пойдет ко дну. Якорный канат лопнул, конечно, как бечева, при первом же порыве урагана, иначе вода тотчас поглотила бы корабль. Теперь нас с ужасающей быстротой несло ветром, а волны перекатывались над нами. Остов кормы был сильно разбит, и почти все части корабля получили серьезные повреждения. Однако, к нашей огромной радости, помпы не засорились, и не произошло больших перемещений балласта. Наибольшая ярость урагана уже миновала, и разрушительная сила ветра не вызывала у нас особых опасений, но полное затишье рисовалось нам в мрачном свете. Мы были уверены, что от сильных волн, которые при этом возникнут, наш разбитый корабль неизбежно погибнет. Меж тем, как раз этому справедливому опасению, по всей видимости, не суждено было скоро оправдаться. Пять дней и пять ночей, на протяжении которых единственной пищей служил нам пальмовый сахар, добытый с огромным трудом на полубаке, наша посуда неслась вперед с быстротой, не поддающейся вычислению, подгоняемая частыми порывами ветра, которые, хотя и не равнялись по своей разрушительной силе первому дуновению самума, все же были ужасней любой бури, виденной мною ранее. На протяжении первых четырех дней нашим курсом с незначительными отклонениями был зюйд-ост-тэнь-зюйд, и мы шли, должно быть, вдоль берегов Новой Голландии⁶. На пятый день необычайно похолодало, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. — В болезненном желтом сиянье взшло солнце и вскарабкалось на несколько градусов над горизонтом — не излучая настоящего света. — Облаков не было видно, а ветер все крепчал и дул с судорожной, порывистой яростью. Около полудня, насколько мы могли судить о времени, наше внимание вновь привлек вид солнца. Оно излучало не свет в собственном смысле этого слова, а какое-то тусклое угрюмое свечение, не дающее отражений, словно его лучи были поляризованы. В последний момент, прежде чем погрузиться во взбухшее море, огненная сердцевина солнца внезапно погасла, словно потушенная какой-то необъяснимой силой, и лишь тусклый серебряный обод нырнул в бездонный океан.

Вотще ожидали мы наступления шестого дня — для меня он так и не наступил — для шведа никогда уж не наступит. Все застилала тьма,

черная, как смоль, мы ничего не могли бы различить и в двадцати шагах от корабля. Вечная ночь окутывала нас, не смягченная даже фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы заметили также, что буруны потеряли свой прежний вид, исчезла пена, сопровождавшая нас до сих пор, хотя буря продолжала реветь с неослабевающей яростью. Нас окружал ужас, непроглядная тьма, крошечная удушающая пустыня. — Суеверный страх мало-помалу закрался в душу старого шведа, меня же охватило безмолвное изумление. Мы оставили всякую заботу о корабле, более чем бесполезную, и, привязав себя, как могли, к уцелевшему основанию бизань-мачты, горестно вглядывались в окружающий нас океан. У нас не было возможности исчислить время, и мы не могли даже гадать о нашем местоположении. Мы сознавали, однако, что ушли к югу гораздо дальше любого из прежних мореходов, и были чрезвычайно изумлены, не встречая обычных ледяных преград. Меж тем каждое мгновение грозило стать последним — каждый водяной исполин стремился поглотить нас. Волны превосходили все, что я считал возможным, и только чудом мы избегали немедленного погребения. Мой спутник говорил мне о легкости нашего груза, напоминал об отличных качествах нашего корабля. Я же не мог избавиться от мысли о полной безнадежности самой надежды и угрюмо готовился к смерти, которую, казалось, ничто уж не могло отсрочить, меж тем как с каждой пройденной кораблем милей нагромождение черных гигантских волн становилось все более угрожающим. Временами мы задыхались, поднявшись выше полета альбатросов, — а временами летели вниз с головокружительной скоростью в какой-то водяной ад, где замирало всякое движение воздуха и ни единый звук не нарушал дрему морского дракона⁷.

Мы были как раз на дне такой пропасти, когда пронзительный крик моего спутника ворвался в тишину ночи. — «Смотри! Смотри! — кричал он мне прямо в уши. — Всемогущий боже! Смотри! Смотри!» При этих словах я увидел тусклый, угрюмый ореол красного света, который стекал по склонам огромной ложбины, где находился наш корабль, и бросал причудливые отблески на палубу. Подняв глаза вверх, я увидел зрелище, сковавшее льдом кровь в моих жилах. На ужасающей высоте, прямо над нами, на самом краю обрывистого спуска, навис гигантский корабль, водоизмещением, пожалуй, в четыре тысячи тонн. И хотя он был поднят на гребень волны, более чем в сотни раз превышавшей его собственную высоту, своими видимыми размерами он все же превосходил любой из ныне существующих линейных кораблей или кораблей Ост-Индской компании. Его огромный корпус цвета сажи не был украшен никакой резьбой. Медные пушки шеренгой выступали из открытых пушечных портов, а их полированная поверхность отражала огни бесчисленных боевых фонарей, которые раскачивались на его снастях. Но более всего нас поразило ужасом и изумило то, что в этом сверхъестественном море корабль под полными парусами шел прямо против ветра, навстречу неукротимому урагану. В первый момент нам был виден лишь нос

корабля, меж тем как исполин медленно вставал из темной адской пучины позади него. Мгновенье, полное напряженного ужаса, корабль помердл на гребне волны, как бы созерцая собственное превосходство, а затем вздрогнул, накренился и — пошел вниз.

В этот миг во мне внезапно возникло какое-то непонятное чувство самообладания. Я пробрался подальше на корму и без страха ожидал нависшей над нами гибели. Меж тем наш корабль устал, наконец, бороться и начал погружаться носом в море. Поэтому удар сорвавшейся вниз массы пришелся по той части корпуса, которая уже находилась под водой, и, как неизбежное следствие, с неодолимой силой швырнул меня на оснастку чужого корабля.

В момент моего падения корабль совершал поворот оверштаг и ложился на другой галс; возникшей суматохе я приписал то, что экипаж корабля не обратил на меня никакого внимания. Незамеченный, я довольно легко пробрался к главному люку, который был приоткрыт, и, улучив момент, спрятался в трюме. Вряд ли смогу я сказать, почему я это сделал. Быть может в основе моего поступка лежало не поддающееся определению чувство почтительного страха, овладевшее мной при первом же взгляде на этих мореплавателей. Я не стремился сразу же довериться людям, самый вид которых даже с первого взгляда вызывал столько сомнений, догадок и опасений. Я счел поэтому разумным соорудить себе убежище в трюме. Я сделал это, убрав несколько передвижных досок обшивки, что позволило мне проскользнуть без усилий между огромными шпангоутами корабля.

Едва я закончил работу, как шаги в трюме заставили меня укрыться в моем тайнике. Неверной, слабой походкой мимо прошел какой-то человек. Лица его я не видел, но мне удалось рассмотреть его внешность. Все говорило о его преклонном возрасте и дряхлости. Его колени сгибались под тяжестью лет, а тело сотрясилось от этого бремени. Глухим, прерывистым голосом он пробормотал себе под нос несколько слов на непонятном мне языке, и стал рыться среди диковинных инструментов и истлевших мореходных карт, сваленных кучей в углу. В его поведении причудливо смешивались капризное упрямство второго детства и величавость божества. Наконец, он вышел на палубу, и я его больше не видел.

* * * * *

Чувство, которому нет имени, овладело моей душой — ощущение, которое не поддается анализу, для которого уроки былых времен недостаточны, а грядущее, опасаясь, не даст никакого ключа. Для такого склада ума, как мой, зло таится в этом последнем обстоятельстве. Никогда — я ведь знаю, что никогда — меня не удовлетворит природа моих представлений. И все же не удивительно, что они столь неопределенны — ведь истоки их отличаются такой новизной. Каким-то новым чувством, какой-то новой сущностью прониклась моя душа.

* * * * *

Давно уж ступил я на палубу этого страшного корабля, и теперь лучи уготованной мне судьбы стали собираться в фокусе. Непостижимые люди! Погрузившись в размышления, которые мне разгадать не дано, они проходят, не замечая меня. Прятаться было бы с моей стороны чистейшим безумием, ибо они меня никогда не увидят. — Только что я прошел прямо перед глазами штурмана; недавно я дерзнул забраться в каюту самого капитана и взять оттуда принадлежности, которыми писал и пишу. Я буду время от времени продолжать свои записи. Быть может, конечно, мне так и не представится случай передать их миру, но я не упущу возможности сделать такую попытку. В последний момент я вложу эту рукопись в бутылку и брошу ее в море.

* * * * *

Произошел случай, который дал новый толчок моим размышлениям. Служат ли подобные события проявлением неуправляемой Случайности? Я осмелился выйти на палубу и, не обратив на себя внимания, улегся на дно ялика среди груды старых снастей и парусов. Раздумывая о странных особенностях моей судьбы, я машинально водил смоляной мазилкой по краям старательно свернутого лиселя, который лежал рядом со мной на бочонке. Лисель поднят теперь на мачту, и случайные мазки слились в слово ОТКРЫТИЕ.

За последнее время я сделал много наблюдений касательно устройства корабля. Несмотря на его хорошее вооружение, он все же, я думаю, не является военным кораблем. Его форма, такелаж и общее снаряжение — все говорит против догадок такого рода. Я легко могу понять, чем он не является; сказать же, чем он является, я опасаюсь, невозможно. Не знаю, как это происходит, но, когда я перебираю в уме необычайное строение корабля и его совсем особый рангоут, его огромные размеры и покрытые плесенью паруса, суровую простоту его носа и старинную форму кормы, в моем мозгу временами проносится ощущение чего-то знакомого, а вместе с этими смутными тенями воспоминаний всплывает почему-то мысль о древних чужеземных хрониках давно прошедших времен.

* * * * *

Я разглядывал шпангоуты корабля. Он построен из материала, который мне совершенно незнаком. Меня поразила одна особенность, делающая дерево непригодным для целей, к которым оно предназначалось. Я имею в виду его крайнюю пористость, независимо от сильной источен-

ности червями — последствия навигации в этих морях, — и независимо от гнилости, вызванной временем. Хотя это наблюдение и покажется, быть может, излишним, но дерево имело бы все признаки красного дуба, называемого испанским, если б испанский дуб был вспучен каким-то естественным способом.

При чтении только что написанной фразы мне вспомнилась занятая апофегма одного старого, закаленного бурями голландского морехода. «Это столь же верно, — говаривал он, когда кто-либо высказывал сомнение в правдивости его слов, — столь же верно, как то, что есть и такие моря, где сам корабль растет, словно живая плоть моряка».

* * * *

Около часа назад я отважился смешаться с группой матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания, и хоть я стоял в самой середине, казалось, совершенно не ощущали моего присутствия. Как и тот, кого я первым увидел в трюме, все они несли на себе печать седой старости. Их колени дрожали от дряхлости; бессилье согнуло их спину дугой; ветер гремел их сморщенной кожей; их голос был глух, дрожащ и прерывист; в глазах поблескивала влага ушедших годов, а седые волосы развевала страшная буря. Кругом на палубе были разбросаны математические инструменты диковинной, давно позабытой конструкции.

* * * *

Я упоминал некоторое время тому назад, что был поставлен лисель. С того момента корабль, повернувшись прямо против ветра, продолжал свой ужасный курс к югу, подняв каждый лоскут паруса от клотиков до утлегарей унтер лиселей, то и дело погружая из-за бортовой качки свои брам-нок-реи в самый ужасающий водяной ад, который мог явиться чьей-либо фантазии. Я только что покинул палубу, где не мог сохранять равновесие, хотя матросы не испытывали, по-видимому, особых неудобств. Мне представляется чудом из чудес то, что воды все еще не поглотили нашу громадину раз и навсегда. Мы несомненно обречены нависать над краем Вечности, так и не сделав последний прыжок в бездну. С огромных волн, в тысячу раз превышающих любую из виденных мной ранее, мы соскальзываем вниз с легкостью остроносой морской чайки, а водяные гиганты склоняют над нами свои головы, словно демоны морских глубин, словно демоны, которым дано лишь угрожать, но не дано уничтожить. Я вынужден приписать эти частые ускользания одной лишь естественной причине, которая может дать подобный эффект. Следует предположить, что корабль находится под воздействием какого-то бурного течения или сильного подводного противотока.

* * * * *

Я видел капитана лицом к лицу, в его собственной каюте — но, как я и ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. И хотя для случайного наблюдателя ничто во внешности капитана не обличало существа сверхъестественного, все же неодолимое чувство почтения и благоговейный трепет смешивались у меня с изумлением, когда я глядел на него. Он был почти одного роста со мной — около пяти футов восьми дюймов; имел ладную, крепко сбитую фигуру, но без излишней плотности и без каких-либо заметных особенностей. Однако неповторимостью выражения, разлитого по его челу, — удивительным, напряженным, пронизывающим свидетельством его огромного возраста, столь крайнего, столь предельного, породил он в моей душе какое-то чувство, какое-то непередаваемое настроение. Казалось, бесчисленные мириады лет наложили свой отпечаток на его лоб, хоть он почти не тронут морщинами. Его волосы, покрытые инеем, — летопись прошлого, покрытые инеем вежды — сивиллы грядущего. Пол в его каюте был завален странными фолиантами, забранными в железо, научными инструментами, рассыпающимися трухой, и мореходными картами древних, давно позабытых времен. Он сидел, склоня свою голову на руки, и впивался тревожными горящими глазами в какой-то документ, который я принял за бумагу от государя и который, во всяком случае, нес на себе подпись монарха. Капитан с брюзгливым упрямством, как и тот первый моряк, увиденный мною в трюме, пробормотал несколько тихих слов на чужом языке и, хотя он был рядом со мной, казалось, голос его достигает моих ушей с расстояния мили.

* * * * *

Дух Древности пропитывает весь этот корабль и все, что находится на нем. Матросы скользят, как призраки ушедших веков, в их глазах отражаются нетерпение и беспокойство. И когда в ослепительном свете боевых фонарей тени их фигур падают мне под ноги, меня охватывает чувство, неведомое мне ранее, хотя всю жизнь я занимался торговлей древностями и вобрал в себя столько видений упавших колонн Баальбека⁸, Тадмора⁹ и Персеполя¹⁰, что мой собственный дух превратился в руины.

* * * * *

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних страхов. Если раньше меня приводила в трепет неотступно следующая за нами буря, то не должен ли я застыть теперь от ужаса перед единоборством ветра и вод, перед единоборством, попытка передать которое словами «самум» и «смерч», примитивна и не достигает цели. Вблизи корабля только тьма вечной ночи и хаос волн, лишенных пены, но вдали, на расстоянии лиги,

по обе стороны корабля можно видеть, неясно и лишь временами, титанические твердыни из льда, вздымающиеся к пустынному небу и похожие на стены вселенной.

* * * * *

Как я и думал, корабль увлекает течение — если этим именем можно назвать поток, который с грохотом мчится к югу, под вой и рев белых льдин, подобно несущемуся стремглав водопаду.

* * * * *

Постигнуть ужас моих ощущений, я полагаю, невозможно; однако желание проникнуть в тайны этих страшных областей одерживает верх даже над моим отчаянием и примиряет меня с самой отвратительной смертью. Мы мчимся вперед, очевидно, за некой, не разделимой ни с кем тайной, за неким вожденным знаньем, достижение которого есть гибель. Быть может, течение влечет нас прямо к южному полюсу¹¹. Нужно признаться, что все говорит в пользу этого предположения, столь дикого на первый взгляд.

* * * * *

Матросы блуждают по палубе тревожным, неверным шагом; но в выраженье их лиц больше живой надежды, чем безразличного отчаяния.

Меж тем ветер по-прежнему дует нам в корму, а толпа парусов временами вырывает корабль из моря! О, ужас из ужасов! Справа и слева льды внезапно расступаются, и мы начинаем вращаться — огромными концентрическими кругами по кромке гигантского амфитеатра, вершинами стен теряющегося в далекой мгле. Мне оставлено мало времени для раздумий о моей судьбе. — Круги стремительно сжимаются — мы делаем безумный скачок в объятья водоворота — под гром океана, среди рева и рычания бури корабль наш содрогается — о боже! — и устремляется вниз!

* * * * *

Примечание: — Рассказ «Рукопись, найденная в бутылке», был первоначально опубликован в 1831 г., но лишь много лет спустя я ознакомился с картами Меркатора¹², на которых изображено, что океан устремляется в северный Полярный водоворот четырьмя потоками, дабы затем быть поглощенным в недрах земли. Сам Полюс изображен в виде черной скалы, вздымающейся на чудовищную высоту.

СВИДАНИЕ

*О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой*

*Генри Кинг¹, епископ Чичестерский.
Эпитафия на смерть жены.*

Злосчастный и загадочный человек! — смятенный ослепительным блеском своего воображения и падший в пламени своей юности! Вновь в мечтах моих я вижу тебя! Вновь твой облик возникает передо мною! не таким — ах! — каков ты ныне, в долине хлада и тени, но таким, каким ты *должен был быть* — расточая жизнь на роскошные размышления в граде неясных видений, в твоей Венеции — в возлюбленном звездами морском Элизуме², где огромные окна всех палаццо, построенных Палладио³, взирают с глубоким и горьким знанием на тайны тихих вод. Да! повторяю — каким ты *должен был быть*. О, наверное, кроме этого есть иные миры — мысли иные, нежели мысли неисчислимого человечества, суждения иные, нежели суждения софиста. Кто же тогда призовет тебя к ответу за содеянное тобою? Кто упрекнет тебя за часы ясновидения или осудит как трату жизни те из твоих занятий, что были только переплеском твоих неиссякаемых сил?

В Венеции, под крытою аркою, называемую там Ponte di Sospiri*, встретил я в третий или четвертый раз того, о котором повествую. С чувством смущения воскрешаю я в памяти обстоятельства той встречи. И все же я помню — ах! забыть ли мне? — глубокую полночь, Мост Вздохов, прекрасную женщину и Гений Возвышенного, реявший над узким каналом.

Стоял необычно темный для Италии вечер. Громадные часы на Пьяцце⁵ пробили пять. Площадь Кампанила⁶ была безлюдна и тиха, и огни в старом Дворце Дожей быстро гасли. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому Каналу. Когда же моя гондола проходила напротив устья канала Святого Марка, откуда-то со стороны его раздался женский голос, внезапно пронзивший тьму диким, истерическим, протяжным вскриком. Встревоженный этим звуком, я вскочил на ноги; а гондольер, выпустив единственное весло, безвозвратно потерял его в черной тьме, и вследствие этого мы были предоставлены на волю течения, в этом месте идущего из большего в меньший канал. Подобно некоему гигантскому черноперому кондору, мы медленно проплывали

* Мост Вздохов⁴ (ит.).

к Мосту Вздохов, когда сотни факелов, сверкающих в окнах и на лестнице Дворца Дожей, мгновенно превратили глубокий мрак в сверхъестественный сине-багровый день.

Младенец, выскользнув из рук матери, выпал сквозь верхнее окно высокого здания в глубокий, глухой канал. Тихие воды бесстрастно сомкнулись над жертвой; и хотя моя гондола была единственной в поле зрения, многие упорные пловцы уже находились в воде и тщетно искали на ее поверхности сокровище, которое, увы, можно было обрести лишь в ее глубине. На широких, черных мраморных плитах у дворцового входа стояла фигура, которую вряд ли кто-то из видевших ее тогда мог бы с тех пор забыть. То была маркиза Афродита — обожаемая всей Венецией — веселейшая из веселых — прекраснейшая из красивых — и, к сожалению, юная жена старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, ее первого и единственного, который сейчас, в глубине беспросветных вод, скорбно вспоминал ее нежные ласки и тратил свои хрупкие силы в попытках воззвать к ее имени.

Она стояла одна. Ее маленькие босые серебристые ноги мерцали в черном зеркале мраморных плит. Ее волосы, только что полураспущенные после бала, в потоках алмазов клубились вокруг ее античной головки кудрями, подобными завиткам гиацинта. Прозрачное белоснежное покрывало казалось едва ли не единственным одеянием ее хрупкого тела; но полнотный летний воздух был душен, горяч, бестрепетен, и ни единое движение этой, подобной изваянию, фигуры не всколыхнуло даже складки покрывала, как бы сотканного из легчайшей дымки, которое обволакивало ее, как массивный мрамор — Ниобею⁷. И все же — странно сказать — ее большие, блистающие глаза были устремлены не вниз, не к той могиле, где было погребено ее светлое упование, — но пристально взирали совсем в другом направлении! Тюрьма Старой Республики, по-моему, самое величественное здание во всей Венеции — но как могла эта дама столь пристально взирать на него, когда у ее ног захлебывалось ее родное дитя? И темная, мрачная ниша, зияющая прямо напротив ее покоев, — что же могло быть в ее тенях — в ее очертаниях — в ее угрюмых, увитых плющом карнизах, чего бы маркиза ди Ментони не видывала тысячу раз до того? Вздор — кто не знает, что в такие мгновения глаз, подобно разбитому зеркалу, умножает образы своего горя и видит близкую беду в бесчисленных отдаленных местах?

На много ступеней выше маркизы, под аркою шлюза стоял, разряженный, и сам Ментони, похожий на сатира. Время от времени он брел на гитаре, как бы томимый смертельной скукой, а в перерывах давал указания о спасении своего ребенка. Потрясенный до отупения, я оцепенел с тех пор, как только услышал крик, и, должно быть, предстал перед столпившимися взволнованными людьми злоещим, призрачным видением, когда, бледный, стоя неподвижно, проплыл мимо них в погребальной гондоле.

Все попытки оказались тщетными. Многие из самых настойчи-

вых в поисках умеряли свои усилия и сдавались унылому горю. Казалось, для младенца было мало надежды (а менее того для матери!), но сейчас, из упомянутой темной ниши в стене старой республиканской тюрьмы, расположенной напротив окон маркизы, в полосу света выступила фигура, закутанная в плащ, и, остановясь на мгновение перед головокругообразной крутизной, бросилась в воды канала. Еще через мгновение, когда этот человек стал, держа еще живого и дышащего младенца, рядом с маркизой, намокший плащ раскрылся, падая складками у его ног, и перед изумленными зрителями предстала стройная фигура некоего совсем молодого человека, имя которого тогда гремело почти по всей Европе⁸.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Сейчас она возьмет свое дитя — прижмет к сердцу — вцепится в маленькое тельце, осыплет его ласками. Увы! *другие* руки взяли дитя у незнакомца — *другие* руки взяли дитя и незаметно унесли во дворец! А маркиза! Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы собираются в ее глазах — глазах, что, подобно аканту у Плиния⁹, «нежны и почти влажны». Да! слезы собираются в этих глазах — и смотрите! дрожь пошла по всему ее телу, и статуя стала живой! Бледный мраморный лик и даже мраморные ноги, мы видим, внезапно заливают неукротимая волна румянца; ее хрупкое тело пронизывает легкий озноб, легкий, как дуновение среди пышных серебристых лилий в Неаполе.

Почему она покраснела? На этот вопрос нет ответа — быть может, потому, что пораженная ужасом мать второпях покинула укромный будуар, забыв обуть крошечные ноги и накинуть на свои тициановские плечи подобающий наряд. Какая сыщется иная возможная причина для подобного румянца? — для безумного взгляда умоляющих очей? — для необычайного колыхания трепетных персей? — для конвульсивного сжимания дрожащей руки? — той руки, что нечаянно, когда Ментони направился во дворец, опустилась на руку незнакомца. Какая сыщется причина для тихого — весьма тихого голоса, которым маркиза, прощаясь с незнакомцем, произнесла бессмысленные слова? «Ты победил, — сказала она (или я был обманут плеском воды), — ты победил — через час после восхода солнца — мы встретимся — да будет так!»

* * * * *

Шум толпы умолок, огни во дворце погасли, и незнакомец, которого я теперь узнал, один стоял на каменных плитах. Он содрогался от неподаваемого волнения и взглядом искал гондолу. Я не мог не предложить ему свою, и он принял мою услугу. Добыв на шлюзе весло, мы направились к его жилищу, а он тем временем быстро овладел собою и завел речь о нашем прежнем отдаленном знакомстве с большою и очевидною сердечностью.

Есть предметы, говоря о которых, мне приятно вдаваться в мельчайшие подробности. Личность этого незнакомца — буду аттестовать его

так, ибо тогда он еще являлся незнакомцем для всего мира — личность этого незнакомца один из таких предметов. Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной страсти его тело буквально *вырастало* и опровергало это утверждение. Легкая, почти хрупкая грация его фигуры заставляла ожидать от него скорее той деятельной решимости, высказанной им у Моста Вздохов, нежели геркулесовой мощи, которую, как было известно, он обнаруживал в случае большей опасности. Уста и подбородок божества, неповторимые, дикие, блестящие глаза, порою прозрачные, светло-карие, а порою сверкающие густою чернотой — изобилие черных кудрей, сквозь которые, светясь, проглядывало чело необычайной ширины, цветом сходное со слоновой костью, — таковы были его черты, и я не видел других, столь же классически правильных, кроме, быть может, у мраморного императора Коммода¹⁰. И все же его облик был таков, что подобных ему впоследствии никто не видывал. Он не обладал единым, постоянно ему присущим выражением, которое могло бы запечатлеться в памяти; облик его, единожды увиденный, мгновенно забывался, но забывался, оставляя неясное и непрестанное желание вновь вспомнить его. Не то чтобы никакая буйная страсть не отбрасывала четкое отражение на зеркало этого лица — но это зеркало, как зеркалам и свойственно, не оставляло на себе следа страсти, как только та проходила.

Прощаясь со мною в ночь нашего приключения, он просил меня, как мне показалось, весьма настоятельно, посетить его очень рано следующим утром. Вскоре после восхода солнца я, по его просьбе, прибыл к нему в палатку, одно из тех гигантских сооружений, исполненных мрачной, но фантастической пышности, что высятся над водами Большого канала невдалеке от Риальто¹¹. Меня провели по широкой, извилистой лестнице, выложенной мозаикой, в покои, чья непревзойденная пышность прямо-таки вырывалась сиянием сквозь открывающуюся дверь, роскошью ослепляя меня и кружа мне голову.

Я знал, что мой знакомец богат. Молва говорила о его состоянии так, что я даже осмеливался называть ее нелепым преувеличением. Но, оглядываясь, я не мог заставить себя поверить, будто есть в Европе хоть один подданный, способный создать царственное величие, что горело и пылало кругом.

Хотя, как я сказал, солнце взошло, но светильники все еще пылали. Судя по этому, а также по усталому виду моего знакомого, он всю прошлую ночь не отходил ко сну. В архитектуре и украшениях покоя проступала явная цель ослепить и ошеломить. В небрежении оставались *desoga** того, что специалисты называют *соответственностью* частей или выдержанностью стиля. Взгляд переходил с предмета на предмет, ни на чем не останавливаясь: ни на гротесках греческих живописцев, ни на статуях итальянской работы лучших дней, ни на огромных, грубых еги-

* Украшения (лат.).

петских изваяниях. Богатые драпировки в каждой части покоя колыхались под трепетные звуки грустной, заунывной музыки, доносящейся неведомо откуда. Чувства притуплялись от смешанных, перебивающих друг друга благовоний, клубящихся на причудливых витых курильницах вкупе с бесчисленными вспышками и мигающими языками изумрудного и фиолетового огня. Лучи только что взошедшего солнца озаряли все, вливаясь сквозь окна, в каждое из которых было вставлено по большому стеклу пунцового оттенка. Тысячекратно отражаясь там и сям от завес, что спадали с карнизов подобно потокам расплавленного серебра, лучи царя природы смешивались с искусственным освещением и ложились, как бы растекаясь по ковру из драгоценной золотой чилийской парчи.

— Ха! ха! ха! — ха! ха! ха! — засмеялся хозяин дома, жестом приглашая меня сесть, как только я вошел, и сам бросаясь на оттоманку и вытягиваясь во весь рост. «Я вижу, — сказал он, заметив, что я не сразу мог примириться с допустимостью столь необычного приветствия, — я вижу, что вы ошеломлены моими апартаментами — моими статуями — моими картинами — оригинальностью моих понятий по части архитектуры и обмеллировки! опьянели от моего великолепия, а? Но прошу извинить меня, милостивый государь (здесь тон его переменился и стал воплощением самой сердечности); прошу извинить меня за мой непристойный смех. У вас был такой ошеломленный вид. Кроме того, есть вещи настолько забавные, что человек должен или засмеяться, или умереть. Умереть, смеясь, — вот, наверное, самая великолепная из всех великолепных смертей! Сэр Томас Мор¹² — превосходнейший был человек сэр Томас Мор — сэр Томас Мор умер смеясь, как вы помните. А в «Абсурдностях» Равизия Текстора¹³ приводится длинный перечень лиц, умерших тою же славною смертью. Знаете ли вы, однако, — продолжал он задумчиво, — что в Спарте (которая теперь называется Палеохорами), что в Спарте к западу от цитадели, среди хаоса едва видимых руин, находится нечто наподобие доколя, на котором поныне различимы буквы ЛАЗМ. Несомненно, это часть слова ГЕЛАЗМА*. Так вот, в Спарте стояла тысяча храмов и алтарей, посвященных тысяче разных божеств. И странно до чрезвычайности, что алтарь Смеха пережил все остальные! Но в настоящем случае — тут его голос и манера странным образом переменились — я не имею права веселиться за ваш счет. У вас были основания изумляться. Вся Европа не в силах создать ничего прекраснее моей царской комнатки. Другие мои апартаменты ни в коей мере не похожи на этот — они просто-напросто ultra** модной безвкусицы. А это будет лучше моды, не правда ли? И все же стоит показать эту комнату, и она послужит началом последнего крика моды — разумеется, для тех, кто может себе это позволить ценою всего своего родового имени. Однако я уберегся от подобной профанации. За одним исключением, вы

* Смех (греч.).

** Верх (лат.).

единственный человек, не считая меня и моего камердинера, который был посвящен в тайны этого царского чертога с тех пор, как он обрел свой нынешний вид!»

Я поклонился с признательностью — ибо подавляющая пышность, благоговения и музыка, в соединении с неожиданною эксцентричностью его обращения и манер, помешали мне выразить словесно мою оценку того, что я мог бы воспринять в качестве комплимента.

— Здесь, — продолжал он, встав и опираясь о мою руку, по мере того как мы расхаживали вокруг покоя, — здесь живопись от греков до Чимабуэ¹⁴ и от Чимабуэ до нашего времени. Как видите, многое выбрано без малейшего внимания к мнениям Добродетели. Но все достойно украшать комнату, подобную этой. Здесь — некоторые шедевры великих художников, оставшихся неизвестными; здесь же — неоконченные эскизы работы мастеров, прославленных в свое время, даже имена которых, по прозорливости академий, были предоставлены безмолвию и мне. Что вы думаете, — спросил он, резко повернувшись ко мне, — что вы думаете об этой Мадонне della Pietà*?

— Это работа самого Гвидо¹⁵! — воскликнул я со всем энтузиазмом, мне присущим, ибо я пристально рассматривал ее все затмевающую прелесть. — Это работа самого Гвидо! — как могли вы ее добыть? Несомненно, для живописи она то же, что Венера для скульптуры.

— А! — задумчиво произнес он. — Венера? — прекрасная Венера? — Венера Медицейская? — с крошечной головкой и позолоченными волосами? Часть левой руки (здесь голос его понизился так, что был слышен с трудом) и вся правая суть реставрации, и в кокетство этой правой руки вложена, по моему мнению, аффектация в самом чистом виде. Что до меня, я предпочитаю Венеру Кановы! Аполлон тоже копия — тут не может быть сомнений — и какой же я слепой глупец, что не в силах увидеть хваленую одухотворенность Аполлона! Я не могу — пожалейте меня! — я не могу не предпочесть Антиноя¹⁶. Разве не Сократ сказал¹⁷, что ваятель находит свою статую в глыбе мрамора? Тогда Микеланджело был отнюдь не оригинален в своем двустышии:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto
Che un marmo solo in se non circunscriva**.

Было или должно было быть отмечено, что мы всегда чувствуем в манерах истинного джентльмена отличие от поведения черни, хотя и не могли бы вдруг точно определить, в чем это отличие состоит. В полной

* Скорбящая (ит.).

** И высочайший гений не прибавят
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке¹⁸

(Пер. А. М. Эфроса).

мере применяя это замечание к внешнему поведению моего знакомого, я чувствовал, что в тот богатый событиями рассвет оно еще более приложимо к его душевному складу и характеру. И я не могу лучше определить эту его духовную особенность, ставящую его в стороне от всех других людей, чем назвав ее *привычкой* к напряженному и непрерывному мышлению, определяющей его самые тривиальные действия — вторгающейся даже в его шутки — и вплетающейся даже в самые вспышки его веселости — подобно змеям, что выползают, извиваясь, из глаз смеющихся масок на карнизах персепольских храмов.

И все же я не мог не заметить, что сквозь его слова о пустяках, изрекаемые то торжественно, то легкомысленно, постоянно прорывается некий трепет — *дрожь*, пронизывающая его движения и речи, — непокойная взволнованность, казавшаяся мне необъяснимой, а порой и внушавшая тревогу. Часто он останавливался на середине фразы, явно забывая ее начало, и, казалось, прислушивался с глубочайшим вниманием, то ли ожидая чьего-то прихода, то ли вслушиваясь в звуки, должно быть, существовавшие лишь в его воображении.

Во время одного из этих периодов задумчивости или отвлечения от всего, переворачивая страницу «Орфея», прекрасной трагедии поэта и ученого Полициано¹⁹ (первой итальянской трагедии), которая лежала рядом со мною на оттоманке, я обнаружил пассаж, подчеркнутый карандашом. Это был пассаж, находящийся недалеко от конца третьего акта, проникнутый волнующим напряжением, — пассаж, который даже человек, запятанный пороком, не может прочитать, не испытывая озноб, рожденный неведомым ранее чувством, а женщина — без вздоха. Вся страница была залита свежими слезами; а на противоположном, чистом листе находились следующие строки, написанные по-английски — и почерком, столь несхожим с причудливым почерком моего знакомого, что лишь с известным трудом я признал его руку:

В твоём я видел взоре,
К чему летел мечтой —
Зеленый остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах —
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой нежный сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — но над былым
Мой дух простерт — без чувств — без слов —
Подавлен — недвижим!

Вновь не зажжется надо мной
 Любви моей звезда.
 «Нет, никогда — нет, никогда»
 (Так дюнам говорит прибой)
 Не полетит орел больной
 И ветвь, разбитая грозой,
 Вовек не даст плода!

Мне сны дарят отраду,
 Мечта меня влечет
 К пленительному взгляду
 В эфирный хоровод,
 Где вечно льет прохладу
 Плеск италийских вод.

И я живу, тот час кляня,
 Когда прибой бурливый
 Тебя отторгнул от меня
 Для ласки нечестивой —
 Из края, где, главу клоня,
 Дрожат и плачут ивы²⁰!

То, что эти строки написаны были по-английски — на языке, по моим предположениям, автору неизвестном, — не вызвало у меня удивления. Я слишком хорошо знал о многообразии его познаний и о чрезвычайной радости, которую он испытывал, скрывая их, чтобы изумляться какому-либо открытию в этом роде; но место и дата их написания, признаться, немало изумили меня. Под стихами вначале стояло слово «Лондон», впоследствии тщательно зачеркнутое, но не настолько, чтобы не поддаться прочтению пристальным взором. Я говорю, что это немало изумило меня, ибо я прекрасно помнил, что в одну из прежних бесед с моим знакомцем я особенно спрашивал у него, не встречал ли он когда-либо в Лондоне маркизу ди Ментони (которая несколько лет, предшествующих ее браку, жила в этом городе), и из его ответа, если только я не ошибся, я понял, будто он никогда не посещал столицу Великобритании. Заодно стоит здесь упомянуть, что я слышал не раз (не оказывая, разумеется, доверия сообщению, сопряженному со столь большим неправдоподобием), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по образованию был англичанин.

* * * * *

— Есть одна картина, — сказал он, не замечая, что я читал стихотворение, — есть одна картина, которую вы не видели. — И, отдернув какой-то полог, он открыл написанный во весь рост портрет маркизы Афродиты.

Искусство человека не могло бы совершить большего для изображения ее сверхчеловеческой красоты. Та же эфирная фигура, что прошлою ночью стояла передо мною на ступенях Дворца Дожей, стала передо мною вновь. Но в выражении ее черт, сияющих улыбками, еще таилась (непостижимая аномалия!) мерцающий отблеск печали, всегда неразлучной с совершенством прекрасного. Ее правая рука покоилась на груди, а левую она указывала вниз, на вазу, причудливую по очертаниям. Маленькая ножка, достойная феи, едва касалась земли; и, еле различимые в сиянии, что словно бы обволакивало и ограждало ее красоту, как некую святыню, парили прозрачные, нежные крылья. Я перевел взор на фигуру моего знакомого, и энергичные строки из чепменова²¹ «Бюсси д'Амбуа» непроизвольно затрепетали у меня на губах:

Он стоит,
Как изваянье римское! И будет
Стоять, покуда смерть его во мрамор
Не обратит!

— Ну, — наконец сказал он, поворачиваясь к массивному серебряному столу, богато украшенному эмалью, где стояли несколько фантастически расписанных кубков и две большие этрусские вазы той же необычайной формы, что и ваза на переднем плане портрета, и наполненные, как я предположил, иоганнисбергером²². — Ну, сказал он отрывисто, — давайте выпьем! Еще рано — но давайте выпьем. *В самом деле, еще рано, —* продолжал он задумчиво в то время, как херувим, опустив тяжелый золотой молот, наполнил покой звоном, возвещающим первый послерассветный час, — *в самом деле, еще рано — но не все ли равно? Давайте выпьем!* Совершим возлияние величавому солнцу, кое эти пестрые светильники и курильницы тщатся затмить! — И, заставив меня выпить стакан за его здоровье, он залпом осушил, один за другим, несколько кубков вина.

— Мечтать, — продолжал он, вновь принимая тон отрывистой беседы и поднося одну из великолепных ваз к ярко пылающей курильнице, — мечтать было делом моей жизни. И с этой целью я воздвиг себе, как видите, чертог мечтаний. Мог ли я воздвигнуть лучший в самом сердце Венеции? Правда, вы замечаете вокруг себя смешение архитектурных стилей. Чистота Ионии оскорблена здесь допотопными орнаментами, а египетские сфинксы возлежат на парчовых коврах. И все же конечный эффект покажется несообразным только робкому. Единство места и в особенности времени — пугала, которые устрашают человечество, препятствуя его созерцанию возвышенного. Я сам некогда был этому сторонник, но душа моя пресытилась подобными выпренными глупостями. Все, что ныне окружает меня, куда более отвечает моим стремлениям. Словно эти курильницы, украшенные арабесками, дух мой извивается в пламени, и это бредовое окружение готовит меня к безумнейшим зрелищам той страны сбывшихся мечтаний, куда я теперь поспешно

отбываю. — Он внезапно прервал свои речи, опустил голову на грудь и, казалось, прислушивался к звуку, мне неслышному. Наконец, он выпрямился во весь рост, устремил взор ввысь и выкрикнул строки епископа Чичестерского:

О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой.

В следующее мгновение, уступая силе вина, он упал и вытянулся на оттоманке.

Тут на лестнице раздались быстрые шаги, а за ними последовал громкий стук в двери. Я поспешил предотвратить новый стук, когда в комнату ворвался паж из дома Ментони и голосом, прерывающимся от нахлынувших чувств, пролепетал бессвязные слова: «Моя госпожа! — моя госпожа! — Отравлена! — отравлена! О, прекрасная Афродита!»

Смятенный, я бросился к оттоманке и попытался привести спящего в чувство, дабы он узнал потрясающую весть. Но его конечности окоченели — его уста посинели — его недавно сверкавшие глаза были заведены в смерти. Я отшатнулся к столу — рука моя опустилась на почернелый, покрытый трещинами кубок — и внезапное постижение всей ужасной правды вспышкой молнии озарило мне душу.

БЕРЕНИКА

*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem curas mea
aliquantulum fore levatas. —*

*Ebn Zaiat**

Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни наклало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль родится из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательницей, то оказывается, что причина — счастье, которое могло бы сбыться когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда, в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальных покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике, а еще больше в галерее старинной живописи, в обстановке библиотеки и, наконец, в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится, — словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать других не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных глубокого, духовного смысла, о звуках мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти, подобной тени чего-то, неясной, — изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

* Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (лат.) — *Ибн-Зайат* ¹.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося — но только кажущегося — небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгоцеем, то *ничего* нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда, с годами, подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то *поистине* странно было, как тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся было представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня *поистине* самим бытием, единственным и непреложным.

* * * * *

Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я — хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она — стремительная, прелестная; в ней жизнь была ключом, ей — только бы и резвиться на склонах холмов, мне — все корпеть над книгами отшельником; я — ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она — беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о теньях, которые могут лечь у ней на пути, ни о безмолвном полете часов, у которых крылья воронов. Береника!.. я зову ее: Береника! — и в ответ на это имя из серых руин моей памяти вихрем взвивается рой воспоминаний! Ах, как сейчас вижу ее перед собой, как в дни юности, когда она еще не знала ни горя, ни печалей! О, красота несказанная, волшебница! О, сильф в чащах Арнгейма²! О, наяда, плещущаяся в струях! А дальше... дальше только тайна и ужас, и повесть, которой лучше бы оставаться не рассказанной. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч, и все в ней переменилось до неузнаваемости у меня на глазах, а демон превращения вторгся и ей в душу, искавив ее нрав и привычки, но самой коварной и страшной была в ней подмена ее самой. Увы! разрушитель пришел и ушел! а жертва — где она? Я теперь и не знал, кто это... Во всяком случае, то была уже не Береника!

Из множества недугов, вызванных первым и самым роковым, произведшим такой страшный переворот в душевном и физическом состоянии моей кузины, как особенно мучительный и от которого нет никаких средств, следует упомянуть некую особую форму эпилепсии, припадки которой нередко заканчивались *трансом*, почти неотличимым от смерти; приходила в себя она по большей части с поразительной внезапностью. А тем временем собственная моя болезнь — ибо мне велели иначе ее и не именовать — так вот, собственная моя болезнь тем временем стреми-

тельно одолевала меня и вылилась, наконец, в какую-то еще невиданную и необычайную форму мономании, становившейся час от часу и что ни миг, то сильнее и взявшей надо мной в конце концов непостижимую власть. Эта мономания, если можно так назвать ее, состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называют *вниманием*. По-видимому, я выражаюсь не особенно вразумительно, но, боюсь, что это и вообще задача невозможная — дать заурядному читателю более или менее точное представление о той нервной *напряженности интереса* к чему-нибудь, благодаря которой вся энергия и вся воля духа к самососредоточенности поглощается, как было со мной, созерцанием какого-нибудь сущего пустяка.

Забывшись на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядывать, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное слово, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных, сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко.

Да не поймут меня, однако, превратно. Это несоразмерное по поводу, слишком серьезное и напряженное внимание к предметам и явлениям, которые сами по себе того совершенно не стоят, не следует смешивать с обычной склонностью заноситься в мыслях, которая присуща всем без исключения, а особенно натурам с пылким воображением. Оно не является даже, как может поначалу показаться, ни крайней степенью этого пристрастия, ни увлечением им до полной потери всякой меры; это — нечто по самой сути своей совершенно иное и непохожее. Бывает, например, что мечтатель или человек увлекающийся, заинтересовавшись каким-то явлением, — но, как правило, отнюдь не ничтожным, — сам того не замечая, упускает его из виду, углубляясь в дебри умозаключений и догадок, на которые навело его это явление, пока, наконец, уже на излете подобного парения мысли, — *чаще всего весьма возвышенного*, — не оканчивается, что в итоге *incitamentum*, или побудительная причина его размышлений, уже давно отставлена и забыта. У меня же исходное явление всегда было *самым незначительным*, хотя и приобретало, из-за моего болезненного визионерства, некое новое преломление и значительность, которой в действительности не имело. Мыслей при этом возникало немного, но и эти умозаключения неуклонно возвращали меня все к тому же явлению как к некоему центру. Сами же эти размышления *никогда* не доставляли радости. Когда же мечтательное забытье подходило к концу,

интерес к его побудительной причине, ни на минуту не упускавшейся из виду, возрастал уже до совершенно сверхъестественных и невероятных размеров, что и являлось главной отличительной чертой моей болезни. Одним словом, у меня, как я уже говорил, вся энергия мышления тратилась на *сосредоточенность*, в то время как у обычного мечтателя она идет на *полет мысли*.

Книги, которые я в ту пору читал, если и не были прямыми возбудителями моего душевного расстройства, то, во всяком случае, своей фантастичностью, своими мистическими откровениями безусловно отражали характернейшие признаки самого этого расстройства. Из них мне особенно памятен трактат благородного итальянца Целия Секундуса Куриона³ «De amplitudine beati regni Dei» *, великое творение Блаженного Августина⁴ «О граде божием» и «De carne Christi» ** Тертуллиана⁵, парадоксальное замечание которого «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est» ***, надолго захватило меня и стоило мне многих и многих недель упорнейших изысканий, так и закончившихся ничем.

Отсюда напрашивается сопоставление моего разума, который выбивало из колеи лишь соприкосновение с мелочами, с тем упоминаемым у Птолемея⁶ Гестифиона океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется асфоделью⁷. И хотя, на самый поверхностный взгляд, может показаться само собой разумеющимся, что перемена, произведенная в душевном состоянии Береники ее губительным недугом, должна была бы доставить обильную пищу самым лихорадочным и безумным из тех размышлений, которые я с немалым трудом пытался охарактеризовать; но ничего подобного на самом деле не было. Правда, когда у меня наступали полосы просветления, мне было больно видеть ее жалкое состояние, и, потрясенный до глубины души крушением этой благородной и светлой жизни, я, конечно же, то и дело предавался горестным думам о чудодейственных силах, которые произвели такую невероятную перемену с такой молниеносностью. Но на эти размышления мои собственные странности как раз не накладывали своего отпечатка; так же точно думало бы на моем месте большинство нормальных представителей рода человеческого. Оставаясь верным себе, мой расстроенный разум жадно упивался переменами в ее облике, которые хотя сказывались не столь уж заметно на *физическом* ее состоянии, но меня как раз и поражали более всего таинственной и жуткой подменой в этом существе его самого.

* «О величии блаженного царства божия» (лат.).

** «О пресуществлении Христа» (лат.).

*** Умер сын божий — заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно (лат.).

В самые золотые дни, какие знала ее необыкновенная красота, я не любил ее; конечно, именно так и было. При том отчужденном и совершенно необычном существовании, которое я вел, сердечных переживаний я не знал, и все увлечения мои были всегда чисто головными. На тусклом ли рассвете, меж рядами ли полуденных лесных теней и в ночном безмолвии библиотеки проходила она перед моими глазами, я видел в ней не живую Беренику во плоти, а Беренику-грезу; не земное существо, а некий его символ, не женщину, которой нельзя было не восхищаться, а явление, которое можно анализировать; не живую любимую, а тему самых глубоких, хотя и наиболее хаотических мыслей. *Теперь же...* теперь я трепетал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; однако, горюя о том, что она так жалка и безутешна, я напомнил себе, что когда-то она меня любила, и однажды, в недобрый час, заговорил о женитьбе.

И вот, уже совсем незадолго до нашего бракосочетания, в тот далекий зимний полдень, в один из тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица Гальциона^{1*}, я сидел во внутреннем покое библиотеки (полагая, что нахожусь в полном одиночестве). Но, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Было ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышались? Я не мог решить. Она стояла молча, а я... я ни за что на свете не смог бы ничего вымолвить! Ледяной холод охватил меня с головы до ног; невыносимая тревога сжала сердце, а затем меня захватило жгучее любопытство и, откинувшись на спинку стула, я на какое-то время замер и затаил дыхание, не сводя с нее глаз. Увы! вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры ни единым намеком не выдавала прежней Береники. Мой жадный взгляд обратился к ее лицу.

Лоб ее был высок, мертвенно бледен и на редкость ясен, волна некогда черных как смоль волос спадала на лоб, запавшие виски были скрыты густыми кудрями, переходящими в огненно-желтый цвет, и эта причудливость окраски резко дисгармонировала с печалью всего ее облика. Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы. Они раздвинулись, и в этой загадочной улыбке взору моему медленно открылись зубы преображенной Береники. Век бы мне на них не смотреть, о господи, а взглянув, тут же бы и умереть!

^{1*} «Ибо в виду того, что Юпитер дважды всякую зиму посылает по семь теплых дней кряду, люди стали называть эту ласковую, теплую пору колыбелью красавицы Гальционы»⁸ (лат.) — Симонид⁹.

* * * * *

Опомнился я оттого, что хлопнула дверь, и, подняв глаза, увидел, что кухня вышла из комнаты. Но из разоренного чертога моего сознания все не исчезало и, увы! уже не изгнать его было оттуда, — жуткое белое сияние ее зубов. Ни пятнышка на их глянце, ни единого потускнения на эмали, ни зазубринки по краям — и я забыл все, кроме этой ее мимолетной улыбки, которая осталась в памяти, словно выжженная огнем. Я видел их *теперь* даже ясней, чем когда смотрел на них. Зубы! зубы!.. вот они, передо мной, и здесь, и там, и всюду, и до того ясно, что дотронуться впору: длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ, как в ту минуту, когда она улыbnулась мне. А дальше *мономания* моя дошла до полного иступления, и я тщетно силился справиться с ее необъяснимой и всесильной властью. Чего только нет в подлунном мире, а я только об этих зубах и мог думать. Они манили меня, как безумца, одержимого одной лишь страстью. И видение это поглотило интерес ко всему на свете, так что все остальное потеряло всякое значение. Они мерещились мне, они, только они со всей их неповторимостью, стали смыслом всей моей душевной жизни. Мысленным взором я видел их то при одном освещении, то при другом. Рассматривал то в одном ракурсе, то в другом. Я присматривался к их форме и строению. Подолгу вникал в особенности каждого в отдельности. Размышляя, сличая один с другим. И вот, во власти видений, весь дрожа, я уже открывал в них способность что-то понимать, чувствовать и, более того, — иметь свое, независимое от губ, доброе или недоброе выражение. О мадемуазель Салле¹⁰ говорили: «*que tous ses pas étaient des sentiments*» *; а я же насчет Береники был убежден в еще большей степени, «*que toutes ses dents étaient des idées. Des idées!*» ** Ах, вот эта глупейшая мысль меня и погубила! *Des idées!* ах, *потому-то* я и домогался их так безумно! Мне мерещилось, что восстановить мир в душе моей, вернуть мне рассудок может лишь одно — чтобы они *до*стались мне.

А тем временем уже настал вечер, а там и ночная тьма — сгустилась, помедлила и рассеялась, и новый день забрезжил, и вот уже снова поползли вечерние туманы, а я так и сидел недвижимо все в той же уединенной комнате, я так и сидел, погруженный в созерцание, и все та же *phantasma* ***, мерещившиеся мне зубы, все так же не теряя своей страшной власти; такая явственная, до ужаса четкая, она все наплывала, а свет в комнате был то одним, то другим, и тени сменялись тенями. Но вот мои грезы прервал крик, в котором словно слились испуг и рас-

* Что каждый ее шаг исполнен чувства (*франц.*).

** Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! (*франц.*).

*** Призраки (*лат.*).

терянность, а за ним, чуть погодя, загудела тревожная многоголосица вперемешку с плачем и горькими стенаниями множества народа. Я встал и, распахнув дверь библиотеки, увидел стоящую в передней заплаканную служанку, которая сказала мне, что Береники... уже нет. Рано утром случился припадок падучей, и вот к вечеру могила уже ждет ее, и все сборы покойницы кончены.

* * * * *

Оказалось, я в библиотеке и снова в одиночестве. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после какого-то сумбурного, тревожного сна. Я понимал, что сейчас полночь, и ясно представлял себе, что Беренику схоронили сразу после заката. Но что было после, все это тоскливое время, я понятия не имел или, во всяком случае, не представлял себе хоть сколько-нибудь ясно. Но память о сне захлестывала жутью, — тем более гнетущей, что она была необъяснима, ужасом, еще более чудовищным из-за безотчетности. То была страшная страница истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями. Я пытался расшифровать их, но ничего не получалось; однако же все это время, все снова и снова, словно отголосок какого-то давно умолкшего звука, мне вдруг начинало чудиться, что я слышу переходящий в визг пронзительный женский крик. Я в чем-то замешан; в чем же именно? Я задавал себе этот вопрос вслух. И многоголосое эхо комнаты шепотом вторило мне: «В чем же?»

На столе близ меня горела лампа, а возле нее лежала какая-то коробочка. Обычная шкатулка, ничего особенного, и я ее видел уже не раз, потому что принадлежала она нашему семейному врачу; но как она попала сюда, ко мне на стол, и почему, когда я смотрел на нее, меня вдруг стала бить дрожь? Разобраться ни в том, ни в другом никак не удавалось, и в конце концов взгляд мой упал на раскрытую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были слова поэта Ибн-Зайата, странные и простые: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, sigas meas aliquantulum fore levatas». Но почему же, когда они дошли до моего сознания, волосы у меня встали дыбом и кровь застыла в жилах?

В дверь библиотеки тихонько постучали, на цыпочках вошел слуга, бледный, как выходец из могилы. Он смотрел одичалыми от ужаса глазами и обратился ко мне срывающимся, сдавленным, еле слышным голосом. Что он сказал? До меня доходили лишь отрывочные фразы. Он говорил о каком-то безумном крике, возмущившем молчание ночи, о сбегавшихся домочадцах, о том, что кто-то пошел на поиски в направлении крика: и тут его речь стала до ужаса отчетливой — он принялся нашептывать мне о какой-то оскверненной могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саване, но еще дышащей, корчащейся, — еще живой!

Он указал на мою одежду: она была перепачкана свежей землей, заскорузла от крови. Я молчал, а он потихоньку взял меня за руку: вся она была в отпечатках человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Несколько минут я присматривался: то был заступ. Я закричал, кинулся к столу и схватил шкатулку. Но все никак не мог ее открыть — сила была нужна не та; выскользнув из моих дрожащих рук, она тяжело ударилась оземь и разлетелась вдребезги; из нее со стуком рассыпались зуболюбные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слоновьего бивня костяшками, раскатившимися по полу врассыпную.

МОРЕЛЛА

Αὐτὸ καθ' αὐτὸ μεθ' αὐτοῦ, μονοειδὲς ἀεὶ ὄν.

Собой, только собой, в своем вечном единстве¹.

Платон. «Пир».

С чувством глубокой, но какой-то совсем особой привязанности думал я о Морелле. Еще в давние годы случай познакомил меня с Мореллой, и с первой же встречи душа моя возгорелась огнем, не известным мне ранее. Воспламенил мою душу не Эрос, и все горше и мучительней становилось растущее во мне убеждение, что я не могу ни определить диковинную природу этого огня, ни обуздать его смутный жар. И все же мы встретились, и судьба связала нас перед алтарем, хоть я не говорил о страсти и не помышлял о любви. Морелла, избегая общества и посвятив себя мне одному, сделала меня счастливым. Счастлив, кто видит чудо; — счастлив, кто видит сны.

Поистине глубокой была ученость Мореллы. Талант ее, клянусь самой надеждой на жизнь, не мерялся обычной мерой, а сила ума была необъятной. Я видел это и стал ее учеником. Вскоре, однако, я заметил — виной тому, возможно, служило образование, полученное ею в Пресбурге², — что она предлагает моему вниманию те мистические трактаты, которые обычно считают нагаром на ранней германской литературе³. По причине, мне неизвестной, они были любимым и неизменным предметом ее занятий, а со временем стали и моими, что следует приписать простому, но действительному влиянию примера и привычки.

Во всем этом, если я не ошибаюсь, разум мой участия не принимал. Идеальное, если я не утратил памяти, никак не повлияло на мои убеждения, а примесь мистицизма, изучаемого мной, нельзя было обнаружить, если только я не впадаю в глубокую ошибку, ни в мыслях моих, ни в делах. Уверенный в этом, я слепо отдался водительству моей жены и с недогнувшим сердцем вступил в запутанный лабиринт ее занятий. И в те минуты, когда, склонясь над запретными страницами, я чувствовал, как во мне возгорается запретный дух, в те минуты она касалась моей руки своей холодной рукой и, потревожив пепел потухшей философии, раздувала уголья едва слышимых странных слов, загадочный смысл которых потом еще долго горел в моей памяти. И тогда час уходил за часом, а я не мог отойти от Мореллы, погруженный в музыку ее голоса, — пока, наконец, в эту мелодию не закрадывалось звучание страха и на мою душу не падала тень. Я бледнел и содрогался от этих нездешних звуков.

И тогда восторг увядал и неожиданно претворялся в ужас, прекрасное становилось чудовищным, подобно Гинному, ставшему Ге-Енной⁴.

Излишне уточнять природу тех изысканий, которые, вырастая из упомянутых мною сочинений, столь долгое время составляли почти единственную тему наших бесед. Искушенный в предмете, который я назову, пожалуй, теологической этикой, постиг бы их тотчас, неискушенному, в любом случае, они будут малодоступны. Необузданный пантеизм Фихте⁵, модифицированная Παλιγγενεσία * пифагорейцев, и, прежде всего, доктрины Тождества, столь важные в учении Шеллинга⁷, неизменно захватывали живое воображение Мореллы. Тождество, именуемое личным, кажется, мистер Локк справедливо определил⁸ как свойство разумного существа оставаться самим собой. И поскольку личностью мы считаем эманацию интеллекта, наделенную разумом, а сознание — неизменный спутник мышления, именно оно делает нас тем, что мы называем *нашим Я*, отделяет нас от других существ, которые также мыслят, и придает нам наше личное тождество. Впрочем, рассмотрение principium individuationis **, т. е. идеи того тождества, которое со смертью безвозвратно утрачивается или же сохраняется навек, всегда вызывало во мне величайший интерес своими запутанными и тревожащими следствиями, а также, и ничуть не менее, той подчеркнутой и возбужденной манерой, с какой упоминала о них Морелла.

Пришло, однако, время, когда тайна моей жены стала тяготить меня, как наваждение: и тихое касание ее прозрачных пальцев, и приглушенная музыка ее голоса, и меланхолия, мерцавшая в ее глазах, стали для меня невыносимы. Она знала все это, но в речах ее я не слышал укора. Постигнув мою слабость или мое помрачение, она лишь улыбалась и называла это Судьбой. Постигнув, должно быть, и неведомую мне причину моего постепенного отчуждения, Морелла ни единым намеком не выдала мне истинной его природы. И все же была она женщиной и с каждым днем угасала. Настал день, когда на ее щеке загорелось алое пятно нестираемого румянца, а на бледном лбу проступили голубые жилки, и на одно мгновение все мое существо слилось в жалости к ней, но я тотчас же встретил взгляд ее глаз, говорящих о чем-то, и почувствовал слабость. Все предо мной покачнулось и стало кружиться, как у того, кто смотрит вниз, в непостижимую мрачную бездну.

Нужно ли говорить, сколь неотступно и страстно ждал я смерти Мореллы? Я ждал, но хрупкий дух все был неразлучен со своей земной оболочкой, все медлил на протяжении долгих дней, недель и томительных месяцев — пока наконец мои нервы, отданные на пытку, не одержали верх над моим разумом. В ярости от промедленья, с дьявольской жестокостью в сердце я проклял горечь всех этих дней, часов и мгновений, которые

* Здесь: «переселение души»⁶ (греч.).

** Индивидуального начала (лат.).

все удлинялись, — словно тени уходящего дня, по мере того как клонилась к закату ее нежная жизнь.

Но однажды, в осенние сумерки, когда ветры затихли в небесах, она призвала меня к своему изголовью. По земле стелился тусклый туман, теплый свет стал над водами, и яркой листвой октябрьских лесов с небесной тверди упала радуга⁹.

— Настал день меж дней, — сказала она, когда я приблизился, — день меж всех дней, когда обретаешь жизнь или смерть. Это — день сыновей земли и жизни, но это же — день дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее в лоб, и она продолжала:

— Я умираю, и все же буду я жить.

— Морелла!

— Так и не пришел день, когда ты полюбил бы меня, но той, пред кем содрогался ты при жизни, той станешь ты поклоняться после смерти.

— Морелла!

— Говорю тебе вновь, я умираю. Но в моем чреве таится залог той привязанности — сколь же ничтожной! — кою питал ты ко мне, Морелле. И когда мой дух отыдет, станет жить это дитя — твоё дитя и мое — дитя Мореллы. Дни твои будут меж тем днями печали — печали, что длится дольше всех чувств, как кипарис долговечнее всех деревьев. Ибо часы твоего счастья прошли, а радость не собирают в жизни дважды, словно розы Пестума¹⁰, цветущие дважды в год. Впредь ты не станешь, уподобляясь теосу¹¹, радоваться бегущим годам, но, позабыв и мирт и лозу, здесь, на земле, будешь носить свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морелла! — вскричал я. — Морелла! Откуда же знать тебе это? — Но она отвернула лицо к подушке, и легкий трепет прошел по всем ее членам. Она умерла, и голоса ее я больше не слышал.

Но все сбылось по ее предсказанию. Дитя, которому на ложе смерти она подарила жизнь, дитя, первый вздох которого совпал с последним дыханием матери, ее дитя, ее дочь, стала жить. Совершенным подобием уму и обличья усопшей стала она расти, и странен был этот рост. И тогда во мне возникла любовь, жарче которой нельзя испытать к жителю этой земли.

Вскоре, однако, небосвод этой чистой любви потемнел, горе, тоска и ужас сгустились на нем словно тучи. Станным, сказал я, был быстрый рост ребенка, развитие ума и перемены в обличье. Станным, поистине странным был быстрый рост ее тела, но страшным — о, каким страшным! — было смятение мыслей, теснящихся в моем мозгу, когда я следил за развитием ее ума. Разве могло быть иначе, если день ото дня открывал я в суждениях ребенка силы и способности взрослой женщины? Если уроки житейского опыта звучали из младенческих уст? Если стремленья и мудрость зрелого возраста светились в ее глазах, глубоких, как глаза философа? Когда, повторяю, все это стало очевидным для моих уstraшенных чувств, когда я не мог уже более ни скрывать это от самого себя, ни изъять из тех постижений, которые с трепетом принимал, надо ли

удивляться, если догадки, страшные, не дающие покоя догадки закрались в мой ум? Если разум мой вновь обратился к безумным рассказам и вызывающим ужас теориям покойной Мореллы? От глаз всего мира я скрыл существо, поклоняться которому было мне суждено судьбой, и в строгом уединении следил со смертельной тревогой за всем, что касалось моей любимой.

Шли годы, и день ото дня я смотрел на ее безгрешное, кроткое, столь много говорящее мне лицо и размышлял об ее облике, все более зрелом. День ото дня я видел в ребенке все новые черты сходства с матерью — видел печаль и смерть. И с каждым часом все сгущались эти тени подобья, становились все глубже и резче, все сложней, все ужасней в своих очертаниях. Ибо я мог еще выдержать сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался пред их совершенным тождеством — мог я вынести и подобье ее глаз глазам Мореллы, но и они часто смотрели мне в душу пристальным и пугающим взглядом самой Мореллы. И очертанья высокого лба, и завитки шелковистых волос, и прозрачные пальцы, погруженные в них, и печальная мелодия речи, и превыше всего — о, превыше всего! — слова и выражения усопшей на устах живой и любимой неотступно страшили меня, точили меня, словно червь, которому не дано умереть.

Так минули два пятилетия ее жизни, а меж тем моя дочь оставалась на этой земле безымянной. «Мое дитя» и «моя любовь» — отцовская привязанность внушала мне эти иносказанья, а суровое затворничество ее жизни устранило всякое иное общенье. Имя Мореллы умерло вместе с ней. Дочь не слышала от меня ни слова о матери, говорить о ней было мне невозможно. За все краткие годы своего бытия моя дочь не получила извне никаких впечатлений, кроме дозволенных узкими пределами ее замкнутого существования. И вот, наконец, мысль о крещении возникла в моем усталом и лихорадочном уме, суля тотчас избавить меня от ужасов моей судьбы. Но даже у крестильной купели я колебался, не зная, какое я выберу имя, и много имен — символов мудрого и прекрасного, древних и новых дней, имен моей родной страны и чужих земель, готово было сорваться с моих губ, как и много других имен — символов доброты, счастья и блага. Что же побудило меня потревожить память уже погребенной? Что за демон выдохнул из моих уст эти звуки, при одном лишь воспоминанье о которых кровь устремлялась алым потоком от висков к сердцу? Что за дух тьмы заговорил в тайниках моей души, когда под сумрачными сводами храма, в безмолвии ночи, я прошептал святому отцу это слово — Морелла? Кто же, как не дух тьмы, исказил гримасой черты моего ребенка и окрасил их красками смерти, когда, вздрогнув при этом едва уловимом звуке, она подняла свои померкшие глаза от земли к небесам и, упав на черные плиты усыпальницы наших предков, ответила мне — «Я здесь!»

Ясно, с холодной, бесстрастной ясностью, вошел этот звук мне в уши, и, как расплавленный свинец, шипя, проник в мой мозг. Уйти могут

годы, — годы, но память об этом мгновенье не уйдет никогда! Я не отверг лозу и цветы — но цикута и кипарис¹² затмили мне свет дня и ночи. Я не мерил пространств и не числил времен, и планета моя в небесах потускнела. Мрак покрыл землю, и, как тени, один за другим скользили мимо меня ее образы, но среди них я зрел лишь одну — Мореллу. И прибой бормотал лишь одно — Морелла. Но она умерла, и своими руками я отнес ее в склеп — и смеялся долгим и горестным смехом — ибо ни следа первой не было в усыпальнице, куда я принес вторую — Мореллу¹³.

СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТИ

... и весь народ
От изумления разинул рот.
Сатиры епископа Холла¹.

Я знаменит, то есть был знаменит, но я ни автор «Писем Юниуса»², ни Железная Маска³, ибо зовут меня, насколько мне известно, Робертом Джонсом, а родился я где-то в городе Бели-Берде⁴.

Первым действием, предпринятым мною в жизни, было то, что я обеими руками схватил себя за нос. Матушка моя, увидав это, назвала меня гением, а отец разрыдался от радости и подарил мне трактат о носологии. Его я изучил в совершенстве прежде, чем надел первые панталоны.

К тому времени я начал приобретать научный опыт и скоро постиг, что, когда у человека достаточно выдающийся нос, то он разносит дорогу к славе. Но я не обращал внимания ни на одну теорию. Каждое утро я дергал себя за нос разок-другой и пропускал рюмочек пять-шесть.

Когда я достиг совершеннолетия, отец мой как-то пригласил меня зайти к нему в кабинет.

— Сын мой, — спросил он, когда мы уселись, — какова главная цель твоего существования?

— Батюшка, — отвечал я, — она заключается в изучении носологии.

— Роберт, — осведомился он, — а что такое носология?

— Сэр, — пояснил я, — это наука о носгах.

— И можешь ли ты сказать мне, — спросил он, — что такое нос?

— Нос, батюшка, — начал я, весьма польщенный, — пытались многообразно охарактеризовать около тысячи исследователей. — (Тут я вытащил часы). — Сейчас полдень или около того, так что к полуночи мы успеем пройтись по всем. Итак, начнем: — Нос, по Бартолину⁵, — та выпуклость, тот нарост, та шишка, то...

— Полно, полно, Роберт! — перебил достойный старый джентльмен. — Я потрясен обширностью твоих познаний... Я прямо-таки... Ей-богу... — (Тут он закрыл глаза и положил руку на сердце.) — Поди сюда! — (Тут он взял меня за плечо). — Твое образование отныне можно считать законченным; пора тебе самому о себе позаботиться — и лучше всего тебе держать нос по ветру — вот так — так — так — (Тут он спустил меня с лестницы и вышвырнул на улицу.) — так что пошел вон из моего дома, и бог да благословит тебя!

Чувствуя в себе божественный *afflatus**, я счел этот случай скорее

* Вдохновение (лат.).

счастливым. Я решил руководствоваться отчим советом. Я вознамерился держать нос по ветру. И я разок-другой дернул себя за нос и написал брошюру о носологии.

Брошюра произвела в Бели-Берде фурор.

— Чудесный гений! — сказали в «Ежеквартальном».

— Непревзойденный физиолог! — сказали в «Вестминстерском».

— Умный малый! — сказали в «Иностранном».

— Отличный писатель! — сказали в «Эдинбургском».

— Глубокий мыслитель! — сказали в «Дублинском».

— Великий человек! — сказал «Бентли».

— Высокий дух! — сказал «Фрейзер».

— Он наш! — сказал «Блэквуд»⁶.

— Кто он? — спросила миссис Bas-Bleu*.

— Что он? — спросила старшая мисс Bas-Bleu.

— Где он? — спросила младшая мисс Bas-Bleu. — Но я не обратил на них ни малейшего внимания, а взял и зашел в мастерскую некоего живописца.

Герцогиня Шут-Дери позировала для портрета; маркиз Имя-Рек держал герцогиню пуделя; граф Как-Бишь-Его вертел в руках ее нюхательный флакон; а его королевское высочество Эй-не-Трожь облакачивался о спинку ее кресла.

Я подошел к живописцу и задрал нос.

— Ах, какая красота! — вздохнула ее светлость.

— Ах, боже мой! — прошепелявил маркиз.

— Ах, ужас! — простонал граф.

— Ах, мерзость! — буркнул его королевское высочество.

— Сколько вы за него возьмете? — спросил живописец.

— За его нос! — вскричала ее светлость.

— Тысячу фунтов, — сказал я, садясь.

— Тысячу фунтов? — задумчиво осведомился живописец.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Какая красота! — зачарованно сказал он.

— Тысячу фунтов! — сказал я.

— И вы гарантируете? — спросил он, поворачивая мой нос к свету.

— Гарантирую, — сказал я и как следует высморкался.

— И он совершенно оригинален? — осведомился живописец, почтительно касаясь его.

— Пф! — сказал я и скривил его набок.

— И его ни разу не воспроизводили? — справился живописец, рассматривая его в микроскоп.

— Ни разу, — сказал я и задрал его.

— Восхитительно! — закричал живописец, потеряв всякую осторожность от красоты этого маневра.

* Синий чулок (франц.).

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Именно, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Совершенно верно, — сказал я.

— Вы их получите, — сказал он. — Что за virtù*! — и он немедленно выписал мне чек и зарисовал мой нос. Я снял квартиру на Джермин-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом носа. Этот несчастный шалопаи, принц Уэльский, пригласил меня на ужин.

Мы все знаменитости и *recherchés* **.

Присутствовал новейший исследователь Платона. Он цитировал Порфирия⁷, Ямвлиха⁸, Плотина⁹, Прокла¹⁰, Гиерокла¹¹, Максима Тирского¹² и Сириана¹³.

Присутствовал сторонник самоусовершенствования. Он цитировал Тюрго¹⁴, Прайса¹⁵, Пристли¹⁶, Кондорсе¹⁷, де Сталь¹⁸ и «Честолюбивого ученого, страдающего недугом».

Присутствовал сэр Позитив Парадокс. Он отметил, что все дураки — философы, а все философы — дураки.

Присутствовал Эстетикус Этикс. Он говорил об огне, единстве и атомах; о раздвоении и прабитии души¹⁹; о родстве и расхождении; о примитивном разуме и гомеомерии²⁰.

Присутствовал Теологос Теологи. Он говорил о Евсевии²¹ и Арии²²; о ереси и Никейском соборе²³; о пюзеизме²⁴ и пресуществлении²⁵; о гомузии и гомуюзии²⁶.

Присутствовал мосье Фрикассе из Роше де Канкаля. Он упомянул мюритон с красным языком; цветную капусту с соусом *velouté*; телятину à la St. Menchoult; маринад à la St. Florentin и апельсиновое желе en *pot-aîques* ***.

Присутствовал Бибулус О'Бражник. Он вспомнил латур и маркбруннен; муссо и шамбертен; рошбур и сен-жорж; обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере. Он качал головой при упоминании о клодвужо²⁷ и мог с закрытыми глазами отличить херес от амонтильядо.

Присутствовал синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он трактовал о Чимабуэ²⁸, Арпино²⁹, Карпаччо³⁰ и Агостино³¹; о мрачности Караваджо, о приятности Альбано³², о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и об озорстве Яна Стеена³³.

Присутствовал президент Бели-Бердского Университета. Он держался того мнения, что луну во Фракии называли Бендидой³⁴, в Египте — Бубастидой³⁵, в Риме — Дианой, а в Греции — Артемидой.

Присутствовал паша из Стамбула. Он не мог не думать, что у ангелов

* Произведение искусства, редкость (ит.).

** Изысканные люди (франц.).

*** Французские названия различных блюд.

обличье лошадей, петухов и быков; что у кого-то в шестой небесной сфере семьдесят тысяч голов; и что земля покоится на голубой корове, у которой неисчислимо множество зеленых рогов.

Присутствовал Дельфинус Полиглот. Он сообщил нам, куда девались не дошедшие до нас восемьдесят три трагедии Эскила³⁶; пятьдесят четыре ораторских опыта Исея³⁷; триста девяносто одна речь Лисия³⁸; сто восемьдесят трактатов Феофраста³⁹; восьмая книга Аполлония⁴⁰ о сечениях конуса; гимны и дифирамбы Пиндара⁴¹; и тридцать пять трагедий Гомера Младшего⁴².

Присутствовал Майкл Мак-Минерал. Он осведомил нас о внутренних огнях и третичных образованиях; о веществах газообразных, жидких и твердых; о кварцах и мергелях; о сланце и турмалине; о гипсе и траппе; о тальке и кальции; о цинковой обманке и роговой обманке; о слюде и шифере; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и о чем вам угодно.

Присутствовал я. Я говорил о себе; о себе, о себе, о себе; о носологин, о моей брошюре и о себе. Я задрал мой нос и я говорил о себе.

— Поразительно умен! — сказал принц.

— Великолепен! — сказали его гости; и на следующее утро ее светлость герцогиня Шут-Дери нанесла мне визит.

— Ты пойдешь к Элмаку⁴³, красавчик? — спросила она, похлопывая меня под подбородком.

— Даю честное слово, — сказал я.

— Вместе с носом? — спросила она.

— Клянусь честью, — отвечал я.

— Так вот тебе, жизненочек, моя визитная карточка. Могу я сказать, что ты хочешь туда пойти?

— Всем сердцем, дорогая герцогиня.

— Фи, нет! — но всем ли носом?

— Без остатка, любовь моя, — сказал я; после чего дернул носом раз-другой и очутился у Элмака.

Там была такая давка, что стояла невыносимая духота.

— Он идет! — сказал кто-то на лестнице.

— Он идет! — сказал кто-то выше.

— Он идет! — сказал кто-то еще выше.

— Он пришел! — воскликнула герцогиня. — Пришел, голубчик мой! — и, крепко схватив меня за обе руки, троекратно поцеловала в нос. Это произвело немедленную сенсацию.

— Diavolo *! — вскричал граф Козерогутти.

— Dios guarda **! — пробормотал дон Стилетто.

— Mille tonnerres ***! — возопил принц де Ля Гуш.

* Дьявол! (ит.).

** Боже сохрани! (исп.).

*** Тысяча громов! (франц.).

— Tausend Teufel *! — проворчал курфюрст Крофшатцский.

Этого нельзя было снести. Я разгневался. Я резко повернулся к курфюрсту.

— Милсдарь, — сказал я ему, — вы скотина.

— Милсдарь, — ответил он после паузы, — Donner und Blitzen **!

Большого нельзя было и желать. Мы обменялись визитными карточками. На другое утро, под Чок-Фарм, я отстрелил ему нос — и поехал по друзьям.

— Bête! *** — сказал один.

— Дурак! — сказал второй.

— Болван! — сказал третий.

— Осел! — сказал четвертый.

— Кретин! — сказал пятый.

— Идиот! — сказал шестой.

— Убирайся! — сказал седьмой.

Я был убит подобным приемом и поехал к отцу.

— Батюшка, спросил я, — какова главная цель моего существования?

— Сын мой, — отвечивал он, — это все еще занятия носологией; но, попав в нос курфюрсту, ты перестарался и допустил перелет. У тебя превосходный нос, это так — но у курфюрста Крофшатцкого теперь вообще никакого нет. Ты проклят, а он стал героем дня. Согласен, что в Бели-Берде слава прямо пропорциональна величине носа, но — боже! — никто не посмеет состязаться со знаменитостью, у которой носа вообще нет.

* Тысяча чертей! (нем.).

** Гром и молния! (нем.).

*** Дурак! (франц.).

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ

*Мечтам безумным сердца
Я властелин огныне,
С горящим копьем и воздушным конем
Скитаюсь я в пустыне.*

Песня Тома из Бедлама¹

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, — я в этом не сомневаюсь, — будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты²) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый — совсем не по времени года, — без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех черт роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явле-

ния, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затыжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бургеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемежку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно.

Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma *. С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песка, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вдоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надежные руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные

* Твердой земле (лат.).

сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соблагволят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, — который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспособляться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпех, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое займодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам,

пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке³, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, — все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался усовестить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проект, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накопил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара

огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или по крайней мере он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упомяну об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиной, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат г. Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог

поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена что называется ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой, в качестве адьютантов, трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но хуже всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, — лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предложением и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, воспользовавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — 19°.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съехался, потом завертелся с ужасающей быстротой и наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиной, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был

удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонилось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно наклониться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то немногое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрыми четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоившаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока, наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло

случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет — продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, — он медленно шел в направлении вост-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соблагволят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, — нет, мне стало только невтерпех мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, — одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до *луны*. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие — бесспорно трудное и опасное — все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между *центрами* этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, — то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего останавлиюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над

поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов — около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопаки, под нами остается половина, — по крайней мере половина весомой массы воздуха, облегающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком⁴ и Био⁵, поднявшимися на 25 000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восемьюдесятью милями. Стало, быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем *ratio**. Отсюда ясно, что на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из вида защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу

* Здесь: порядке (лат.).

и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом⁶, сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше^{1*}. В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости по мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться — хотя бы вследствие просачиванья газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, — не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда

^{1*} Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами»: *Epicant Trabes quos docos vocant*. См. П л и н и й⁷, II, 26.

в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния — то есть не отразится на быстроте моего взлета, — так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни было смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться — даже, собственно говоря, быть почти уверенным, — что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема^{1*}. Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов — а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что, когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые — хотя далеко не все — соображения, которые легли

^{1*} После опубликования отчета Ганса Пфаала, я узнал, что известный аэронавт мистер Грин⁸ и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта⁹ об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, — вполне согласно с изложенной здесь теорией.

в основу моего плана путешествия на луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки — с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус — то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив спускающий аппарат и промолив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груды раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе величие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих

бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака — иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом — последствием могла быть — и была бы, по всей вероятности, — моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, — как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все же я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще с четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на

пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего при- падка она разрешилась тремя котятками. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлиала на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет — она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представлять мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза — от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотой, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние — следовательно, ниже горизонта. Отсюда — впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного — серого крапчатого красавца — и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом,

хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил голову на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я изготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточной эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, — на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, — не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым фута на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд, это грозило опасностью — но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда.

собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверх нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкосновения с легкими и становиться непригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпускании воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две — на три, потом замыкался, и так — несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затанул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или, скорее, за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, — да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение

последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132 000 футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обзреть не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из вида землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, — всей кучей, с невероятною быстротою, — и в несколько секунд исчезли из вида. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут — скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдали с грядями облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал,

что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, — чего я вовсе не ожидал, — что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе — она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть земли на востоке покрылась густою тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые губительные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного об-

новления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем повертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. — Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане,

можно было различить скопление каких-то темных пятен — без сомнения острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестящую линию, или полосу, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. — Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. — Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. — Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и несомненно увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный

тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. — Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра седьмого апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля. — Видимый диаметр земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизились в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направ-

лении, я бы вовсе не попал на луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в $5^{\circ}8'48''$. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. — Сегодня диаметр земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. — Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля. — Диаметр земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля. — Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достоин замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. — Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля. — Стремительное уменьшение диаметра земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию — то есть, иными словами, стремится прямо к луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля. — На земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил,

что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу землю и называются метеорами.

16 апреля. — Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля. — Сегодня — достопамятный день моего путешествия. Если припомните, тринадцатого апреля угловая величина земли достигала всего двадцати пяти градусов. Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого — еще значительно, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в $7^{\circ}15'$. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром семнадцатого апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! — мелькнуло в моем уме. — Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я, наконец, понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу под моими ногами, была луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот *bouleversement** не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению луны, — или, точнее, тяготение шара к земле будет слабее его

* Переворот (франц.).

тяготения к луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек — словом, каких бы то ни было водных бассейнов — сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех — трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетающих с громом мимо шара.

18 апреля. — Объем луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на луну, — несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г. Шретера из Лилиенталя¹⁰. Он наблюдал луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлинненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от земли, когда луна отстоит на 32° от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восьмидесятом втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем

третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска ^{1*}.

От степени сопротивления или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля.—Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился — после некоторого колебания — отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не последовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их, в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротой, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему? .. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от луны и стремился к ней со страшною быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, конденса-

^{1*} Гевелий ¹¹ пишет, что, наблюдая луну на той же высоте, в том же расстоянии от земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой луне.

Кассини ¹² часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что по крайней мере иногда лучи планет и звезд встречаются лунную атмосферу и преломляются в ней.

рующий прибор, каучуковую камеру и наконец все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большое в полумиле от поверхности. Осталось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно — и, может быть, навсегда, — покинутую мною, и увидел ее в виде большого, медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блеснувшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, — я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама, я благополучно завершил свое путешествие, — без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемым людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате луны и о странных колебаниях температуры — невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, — о постоянном перемещении влаги, вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении — его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей — придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем луны и определенным обитателем земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное — главное, ваши превосходительства, — об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне луны, которая, вследствие удивительного совпадения пе-

риодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это — и многое, многое еще — я охотно изложил бы в подобном сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения — принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, — я желаю выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его — один из жителей луны, которому я растолковал все что нужно, — к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга

Ганс Пфааль».

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, заverteлся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, — об этом и толковать нечего. Так по крайней мере поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, — а кто, кроме обитателя луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имя рек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имя рек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были наклеены на шар, — это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, — ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

* * * * *

Примечание¹³. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего с знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка¹⁴, но, так как оба рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутовском, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же предмете, мало того — в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, — то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым заметить в целях самозащиты, что его «*jeu d'esprit*»* была напечатана в «Сатерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, — то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние луны от земли в круглых цифрах составляет 240 000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 000 раз. Разделив на это число 240 000 (расстояние до луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель

* Игра ума (франц.).

видит на луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской гг. Гартлей и Грант в Домбартоне; но гг. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосяной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на земле: восток приходится налево, и т. д.

Мистер Локк, быть может сбитый толку неясными названиями «*Mare Nubium*», «*Mare Tranquillitatis*», «*Mare Fecunditatis*»*, которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровною.

Описание крыльев человека — летучей мыши на стр. 21 — буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса¹⁵. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

На стр. 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий,

* Облачное море, Море спокойствия, Море изобилия (лат.).

сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты — и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на луне, — что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымысленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымысленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека — летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру¹⁶ и Гершелю в начале статьи — «передача искусственного света с помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения», и проч. и проч., — относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд — предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность несомненно справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол, вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету — его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект — то есть на луну. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса¹⁷, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающею поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля — только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях — 5½, в центре — 5 дюймов. Фокусное расстояние — 50 футов. Вес — 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится:

«L'Homme dans la lune, ou le Voyage Chimérique fait au Monde de la lune, nouvellement decouvert par Dominique Gonzales, Aduanturier Espagnol, autrement dit le Courier volant. Mis en notre langve par J. B. D. A. Paris, chez François Piot, pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J. Goignard, au premier pilier de la grand' salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII» pp. 176.*

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu, — говорит он, — l'original de Monsieur D'Avisson, medecin des mieux versez qui soient aujourd'huy dans la conoissance des Belles Lettres, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'auoir non seulement mis en main ce Livre en anglois, mais encore le Manuscrit du Sieur Thomas D'Anan, gentilhomme Eccossois, recomman-dable pour sa vertu, sur la version duquel j'advoue j'ay tiré le plan de la mienne» **.

После разнообразных приключений во вкусе Жиль Блаза¹⁹, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмущившийся экипаж оставляет его вдвоем с служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (ganzas), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что перна-

* Человек на луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытй Домиником Гонзалесом¹⁸, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII, 176 стр.

** Оригинал я получил от г-на Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию английскую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования.

тые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает луны. Тут он находит среди прочих курьезов — население, которое вполне счастливо. Обитатели луны не знают законов; умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестьдесят футов и, выйдя, таким образом, из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствований автора:

«Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестили, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду и в бурю — я всегда находился между землей и луной. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов Зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания, как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака²⁰ не заслуживает внимания. В третьем томе «Американ куотерли ревью»²¹ помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», — разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к луне сильнее, чем

к земле, делает из него ящик и улетает на луну. «Бегство Томаса О'Рука» — не лишенный остроумия *jeu d'esprit*; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа, Томас, — лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, — улетает на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бей²².

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема — сравнение наших обычаев с обычаями жителей луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.

КОРОЛЬ ЧУМА

РАССКАЗ, СОДЕРЖАЩИЙ АЛЛЕГОРИЮ¹

*То боги позволяют венценосцам,
Что их в сословье подлом возмутит.*

*Бакхерст. «Трагедия
о Феррексе и Поррексе»².*

Однажды в октябре, около двенадцати часов ночи, в пору доблестного царствования третьего из Эдуардов³, два матроса из команды «Беззаботной», торговой шхуны, курсирующей между Слуйсом и Темзою, а тогда стоявшей на якоре именно в Темзе, были весьма изумлены, обнаружив себя сидящими в пивной, расположенной в приходе св. Андрея, что в Лондоне, — каковая пивная в качестве вывески имела изображение «Развеселого матросика».

Комната, неудобная, закопченная, низкая и во всех других смыслах схожая с заведениями подобного рода в те времена, — все же, по мнению гротескных групп, там и сям в ней расположившихся, в достаточной мере отвечала своему назначению.

Из них самую любопытную, а быть может и самую бросающуюся в глаза компанию, составляли, по-моему, два наших матроса.

Тот, кто казался старшим и кого его товарищ называл характерною кличкою «Рангоут», был и самый высокий из двоих. Рост его достигал едва ли не шести с половиною футов, и его постоянная сутулость казалась неизбежным последствием столь чудовищной высоты. Избыток роста, однако, более чем с лихвой искупался изъятиями иного рода. Он был чрезвычайно худ и мог бы, как утверждали его товарищи, в пьяном виде служить выпелом, а в трезвом — бушпритом. Но эти и подобные им шутки, видимо, никогда не оказывали действия ни на единый *musculus risorius** матроса. Выражение его лица, скуластого, горбоносого, подудоватого, с огромными белыми глазами навывкате, хотя и тупо равнодушное ко всему сущему, при этом было столь серьезно, что не поддавалось ни описанию, ни воспроизведению.

Матрос помоложе, если судить по наружности, являл собою полную противоположность своему спутнику. Он был не выше четырех футов. Неуклюжее, коренастое тело поддерживали толстые кривые ноги, а необычно короткие и плотные руки с громадными кулаками болтались по

* Мышцу смеха (лат.).

бокам наподобие лап морской черепахи. Поблескивали глубоко посаженные глазки неопределенного цвета. Нос утопал в круглом, пухлом, багровом лице; а толстая верхняя губа покоилась на еще более толстой нижней с видом самодовольной уверенности, усугублявшимся от привычки их обладателя время от времени облизываться. Он, по всей очевидности, относился к своему товарищу с чувством полууважительным, полускептическим; и порою смотрел ему в лицо, как заходящее алое солнце смотрит снизу вверх на утесы Бен Невиса⁴.

Многообразны и богаты событиями были в тот вечер скитания достойной пары по окрестным питейным заведениям. Самая обильная казна способна оскудеть, и наши друзья пришли в этот кабак с пустыми карманами.

В то самое время, когда, собственно, и начинается наше повествование, Рангоут и друг его Хью Брезент сидели посередине зала, положив локти на большой дубовый стол и подперев щеки ладонями. Из-за громадной бутылки «пенного», за которую еще не было заплачено, взирали они на многозначительные слова «Мела нет»⁵, к их изумлению и негодованию начертанные над дверью тем самым минералом, наличие которого надпись пыталась отрицать. Не то, чтоб можно было по всей строгости счесть питомцев моря наделенными даром расшифровывать письма — даром, среди простонародья их дней почитаемым немногим менее каббалистическим, нежели искусство писания, — но, если сказать правду, в самой форме букв был некий перекос — крен в подветренную сторону — который, по мнению обоих матросов, предвещал долгие шторма; и привел их к решению, если пользоваться аллегорическими словами самого Рангоута, «пустить в ход помпы, поставить паруса и бежать впереди ветра».

Соответственным образом расправившись с остатками эля и запахнув короткие бушлаты, они наконец рванулись на улицу. Хотя Брезент дважды закатывался в камин, приняв его за дверь, все же в конце концов их побег завершился удачею — и половина первого ночи застала наших, готовых на любые проделки, героев бегущими со всех ног по темному переулку к лестнице св. Андрея и преследуемыми взъяренной хозяйкой «Развеселого матросика».

В эпоху, когда протекало действие нашего богатого событиями повествования, а также на протяжении многих предыдущих и последующих лет, вся Англия, а столица ее в особенности, периодически оглашалась ужасным криком: «Чума!»⁶. Город был в огромной мере опустошен — и по тем страшным кварталам, сопредельным Темзе, где среди темных, узких, загаженных переулков, по преданию, родился Демон Чумы, рыскали одни лишь Тревога, Ужас и Суеверие.

Волею короля такие кварталы объявлены были запретными, и нарушать их жуткий покой возбранялось под страхом смерти. Но ни указ государя, ни огромные барьеры, возведенные у начала улиц, ни перспектива смерти, почти с полной вероятностью настигавшей несчастного, ко-

того никакая беда не в силах была удержать от дерзновенной попытки — ничто не спасало от еженощных грабежей опустелые и обезлюдившие жилища, очищаемые от всего, сделанного из железа, меди или свинца и способного принести хоть какой-нибудь доход.

Помимо всего прочего, обнаруживалось, как правило, после того, как каждую зиму убирали барьеры, что замки, засовы и тайные погреба весьма неудовлетворительно охраняли те обильные запасы вин и крепких напитков, которые их владельцы, боясь риска и хлопот, сопряженных с их перевозкой из лавок в запретных кварталах, решились доверить на время выезда столь ненадежной защите.

Но лишь весьма немногие из перепуганных жителей считали подобные происшествия делом рук человеческих. Духи Чумы, бесы мора, демоны заразы были в то время обычными пугалами; и каждый час рассказывали о них такие леденящие кровь истории, что все запретное скопление домов оказалось окутанным страхом, словно саваном, и часто самого грабителя спугивали ужасы, созданные его собственными преступлениями; и во всем обширном пространстве запретной части города царил мрак, тишина, зараза и смерть.

И один-то из этих ранее упомянутых зловещих барьеров, обозначавших границу запретных зачумленных кварталов, внезапно преградил путь Рангоуту и достойному Хью Брезенту, пробиравшимся по глухому переулку. О возвращении не могло быть и речи, исключалось и промедление, ибо погоня настигала их. Вскрабкаться по грубо сколоченным доскам для заправских моряков было безделицей; и, вдвойне разгоряченные бегом и выпивкой, они не мешкая перемахнули через ограду и, подбадривая себя криками и улюлюканьем, вскоре потерялись в зловонных и запутанных переулках.

Да, не будь они пьяны до утраты рассудка, ужас положения, в которое они попали, наверное, остановил бы их нетвердые шаги. В холодном воздухе стоял туман. Булыжники, вывороченные из мостовых, в беспорядке валялись среди густой травы, доходившей до щиколоток. Развалины домов загромождали улицы. Всюду разносилось самое омерзительное и ядовитое зловоние, а тот жуткий свет, что и порою полуночи мерцает во влажной и зараженной атмосфере, позволял увидеть, как лежат в закоулках и тупиках или гниют в лишенных окон строениях трупы многих ночных мародеров, остановленных чумою в самый момент грабежа.

Но ничто видимое или ощущаемое не в силах было удержать людей, храбрых от природы, а тогда в особенности, полных до краев отвагой и «пенным», готовых следовать прямо — насколько позволила бы их валька походка — прямо в зев Смерти. Вперед, все вперед шествовал хмурый Рангоут, заставляя мрачное безлюдье вновь и вновь отзывать эхом на его вопли, подобные страшным воинственным кличам индейцев; и вперед, все вперед катился толстяк Брезент, уцепившись за бушлат своего более прыткого товарища и значительно превосходя его самые

мощные голосовые усилия, издавая *in basso* * бычий рев во всю силу своих стенторовых ⁷ легких.

Наконец, они, судя по всему, достигли средоточия заразы. С каждым их шагом или рывком переулки делались все зловоннее и омерзительнее, все уже и запутаннее. То и дело с гниющих крыш над головою низвергались огромные балки и камни, и тяжесть их падения говорила о громадной высоте окрестных домов; требовались немалые усилия для того, чтобы продираться сквозь частые кучи мусора, и совсем нередко рука натывалась на скелет, а то и на труп, еще облеченный плотью.

Внезапно, когда матросы набрели на вход в высокое и зловещее здание, особо пронзительному крику возбужденного Рангоута ответил изнутри быстрый и нестройный хор бешеных, дьявольских воплей, похожих на смех. Не обескураженные этими звуками, хотя в подобное время и в подобном месте они могли бы остановить сердце, менее разгоряченное, двое пьяных очертя голову рванулись к двери, распахнули ее настежь и ввалились внутрь, шатаясь и изрыгая хулу.

Помещение, куда они попали, оказалось лавкою гробовщика, но сквозь открытый люк в углу недалеко от входа виднелся длинный ряд винных погребов, чья глубь, как свидетельствовал порою звук откупориваемых бутылок, была отменно заполнена надлежащим содержимым.

Посередине комнаты находился стол, в центре же его стоял ушат, видимо, с пуншем. Бутылки разных вин и напитков, а также кувшины, баклаги и суеи всякого вида и разбора в обилии уснащали стол. Вокруг него на гробовых козлах восседала компания из шести человек. Пытаюсь описать их по порядку.

Лицом ко входу и несколько возвышаясь над своими сотрапезниками, сидел субъект, казавшийся председателем собрания. Он был высок и худ, и Рангоут пришел в изумление, увидев кого-то более тощего, нежели он сам. Лицо этого человека было желто, как шафран, — но лишь одна черта его была настолько яркою, чтобы заслуживать подробного описания. Чертою этою был его лоб, столь необычно и отвратительно высокий, что он казался беретом или короною из плоти, нахлобученной ему на голову. Рот его был искривлен в пугающе приветливой улыбке, а глаза, как, впрочем, глаза всех присутствующих, остеклянели от винных паров. Этот господин от головы до ног был облачен в роскошно вышитый гробовой покров из шелкового бархата, в который небрежно драпировался на манер испанского плаща. Он то и дело с бойким и умудренным видом кивал головою, сплошь утыканною черными перьями с плюмажей на катафалке; а в правой руке держал колоссальную человеческую бедренную кость, которой, казалось, он неведомо почему только что огрел кого-то из присутствующих.

Прямо напротив него и спиною к двери находилась дама несколько не менее необычайного вида. Хотя стол же высокая, как только что

* Басом (ит.).

описанный субъект, она, не в пример ему, не имела никакого права жаловаться на неестественную худобу. По всему, она пребывала в последней стадии водянки; и фигура ее весьма напоминала огромную бочку октябрьского пива, стоявшую рядом с нею в углу. Лицо ее было необычайно полное, красное, круглое; и облик ее отмечала та же особенность или, вернее, тот же недостаток особенностей, что и упомянутый мною ранее применительно к председателю, — а именно то, что лишь одна черта ее лица была в достаточной мере выразительна для детальной характеристики; да и пронизательный Брезент мигом заметил, что подобное замечание было бы справедливо относительно каждого из присутствующих: любой из них как бы монополизировал некую часть лица. У дамы, о которой идет речь, этой частью был рот. Начинаясь у правого уха, он, словно ужасающая пропасть, простирался до левого, и маленькие сережки то и дело в него попадали. Однако она всемерно тщилась держать его закрытым и сохранять достоинство, одета же была в свеженакрахмаленный и отутуженный саван, доходящий ей до подбородка и украшенный брыжами из гофрированного миткаля.

По правую руку от нее сидела крохотная барышня, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальчиков этого нежного создания, ее мертвенно бледные губы, едва заметный румянец на землистом лице — все непрерываемо свидетельствовало о скоротечной чахотке. Тем не менее, ее отличал крайний *haut ton**; грациозная, *dégagee*** , она была наряжена в просторный и красивый саван из тончайшего индийского батиста; локоны струились по ее шее; нежная улыбка играла на ее устах; но ее нос, чрезвычайно длинный, тонкий, гибкий и прыщавый, свисал гораздо ниже ее рта и, несмотря на то, что она время от времени отодвигала его в сторону языком, придавал ее облику несколько двусмысленное выражение.

Напротив нее и слева от дамы, страдающей водянкою, сидел пухлый, сильный, подагрический старичок, чьи щеки покоились на плечах своего владельца, как два огромных бурдюка с портвейном. Скрестив руки и положив забинтованную ногу на стол, он словно бы считал себя достойным некоторого уважения. Он, по всей очевидности, гордился каждым дюймом своей наружности, но особенно радовался, привлекая внимание к яркому кафтану. Кафтан этот, говоря по правде, должен был стоить ему немалых денег и сшит был отменно по мерке, а перекроен был из какой-то разноцветной хоругви с вышитым по ней знаменитым гербом — такие хоругви и в Англии, и в других странах, согласно обычаю, вывешивают на домах знатных особ, когда там кто-нибудь опочивает.

Рядом с ним и по правую руку от председателя находился господин в длинных белых чулках и коротких бумажных панталонах. Тело его

* Светский тон, светские манеры (франц.).

** Непринужденная (франц.).

нелепо сотрясалось, ибо на него, как решил Брезент, «ужасти напали». Его недавно выбритые челюсти были натуго соединены муслиновой повязкой; а руки были связаны подобным же образом, что мешало ему вволю угощаться спиртным на столе; предосторожность, по мнению Рангоута, необходимая, ежели судить по его особо ненасытному и запьянцовскому виду. Тем не менее, его невиданные уши, которые никак нельзя было привязать, маячили в атмосфере помещения и иногда судорожно настораживались при звуке извлекаемой пробки.

В-шестых и в-последних, напротив него помещался весьма окостеневший субъект, который, будучи разбит параличом, должен был, если говорить серьезно, чувствовать себя весьма неловко в своем неудобном облачении. Облачен же он был довольно-таки необычно, в новый и нарядный гроб из красного дерева. Верхушка гроба давила ему на череп, нависая на манер капюшона и придавая лицу его неопишное своеобразие. По бокам гроба прорезаны были отверстия для рук — столь же ради удобства, сколь и для красоты; но подобное одеяние препятствовало облаченному в него сидеть так же прямо, как его сотрапезники; и он лежал, опираясь о козлы, под углом в сорок пять градусов, а его чудовищно выпученные глаза выкатывали ужасные белки к потолку, в абсолютном изумлении собственной величиною.

Перед присутствующими лежали черепа, служившие пиршественными кубками. Над головою висел человеческий скелет, привязанный веревкою за ногу к кольцу в потолке. Вторая нога, ничем не удерживаемая, торчала под прямым углом, и некрепко связанный скелет со стуком поворачивался по прихоти любого порыва ветра, случайно попадавшего в помещение. В черепной коробке этого мерзкого костяка помещались горячие угли, бросавшие прерывистый, но яркий свет на всю сцену; а гробы и другие похоронные принадлежности были высоко нагромождены по всей комнате и перед окнами, не давая проникнуть на улицу ни единому лучу.

При виде такого необыкновенного сборища и еще более необыкновенного убранства наши матросы не в силах были соблюдать необходимый декорум. Рангоут облокотился о стену, челюсть его отвалилась более обычного, а глаза выпучились доотказа; а Хью Брезент, согнувшись, коснулся носом стола, охватил колени и разразился долгим, буйным и громким смехом, весьма несвоевременным и неумеренным.

Но длинный председатель, не возмущаясь таким крайне грубым поведением, очень милостиво улыбнулся незваным гостям — величаво кивнул им черными перьями — и, встав, взял каждого из них за руку и отвел к сидениям, тем временем поставленным для пришедших кем-то из компании. Рангоут не оказал ни малейшего сопротивления, но уселся, как ему указывали; а кавалерственный Хью перенес свои козлы с места в головах стола поближе к маленькой чахоточной барышне в саване, превесело плюхнулся рядом с нею и, налив череп красного вина, залпом осушил его за продолжение знакомства. Окостеневший господин в гробу, казалось, был крайне возмущен таким дерзким поведением; и могли бы

возникнуть серьезные последствия, но председатель, постучав по столу, привлек внимание всех присутствующих следующей речью:

— Наш приятный долг при настоящем, столь счастливым событии...

— Тихо! — с очень серьезным видом перебил Рангоут. — Погодите-ка минуточку да скажите нам, кто вы такие есть, да какого черта вам здесь надобно, что разрядились вы по-бесовски да хлещете синюю погирель⁸, которую припас на зиму мой корабельный дружок, гробовщик Вилл Вимбл!

В ответ на эту непростительно грубую выходку вся компания стала подниматься с мест и издавать те же бешеные, дьявольские вопли, что ранее привлекли матросов. Но председатель сдержался первым и, с превеликим достоинством повернувшись к Рангоуту, продолжал:

— Весьма охотно удовлетворим мы всякое проявление разумного любопытства со стороны столь высоких, хотя и неприглашенных гостей. Знайте же, что я монарх сих владений и самодержавно здесь царствую под титулом «Король Чума Первый».

Этот покой, который вы несомненно и кощунственно сочли за лавку гробовщика Вилла Вимбла, человека, нам неведомого, чье плебейское наименование ни разу доньше не отягощало наш августейший слух, — этот покой, говорю я, является тронным залом нашего дворца и отведен для заседаний государственного совета и для иных возвышенных целей.

Благородная дама, сидящая напротив, — наша миропомазанная супруга, королева Чума. Другие высокопоставленные особы, лицезреть коих вы удостоились, все принадлежат к нашей фамилии, и их королевская кровь явствует из носимых ими титулов: его высочество эрцгерцог Чумоносный — его высочество герцог Чумовой — его высочество герцог Чумазый — и ее светлость эрцгерцогиня Чумичка.

Что до вашего вопроса о деле, ради которого мы держим здесь совет, — продолжал он, — да простится нам, ежели мы ответим, что оно касается только наших личных и августейших интересов и ни в коей мере не любопытно ни для кого, кроме нас самих. Но, принимая во внимание те права, на которые вы как гости и пришельцы можете претендовать, мы поясним вам, что сею ночью мы собрались тут, дабы путем глубоких исследований и подробных изучений рассмотреть, проанализировать и до конца определить не поддающийся уточнению характер — непостижимые качества и букет — оных бесценных сокровищ для вкуса, вин, элей и крепких напитков сей славной столицы; и этим не столько осуществить наши желания, сколько обеспечить истинное благосостояние того неземного государя, что правит всеми нами, владения которого беспредельны, а имя которому — Смерть.

— А имя которому — Деви Джонс⁹! — воскликнул Брезент, наливая и своей даме, и себе по черепу вина.

— Нечестивый смерд! — сказал председатель, обращая внимание на достойного Хью. — Нечестивый и подлый холоп! — мы сказали, что, принимая во внимание те права, кои даже применительно к твоей подлой

особе мы не желаем нарушать, мы снизошли до ответа на твои невежественные и неразумные расспросы. За ваше кощунственное вторжение в наш совет, мы считаем нашим долгом приговорить тебя и твоего спутника к штрафу, взимаемому путем выпивания каждым из вас по галлону черного жгута¹⁰ — выпив какое-то количество за процветание нашего королевства — и залпом — и преклонив колена — вы будете вольны или отправиться восвояси или остаться и удостоиться чести быть допущенными к нашему столу, в соответствии с тем, как кому из вас заблагорассудится.

— Никак этого не будет, — отвечал Рангоут, которому достоинство и власть короля Чумы, несомненно, внушили известную почтительность, почему он встал и старался не шататься, пока говорил, — ежели вашему величеству угодно, то никак этого не будет, чтобы я да погрузил себе в трюм хотя бы четвертую часть того, что ваше величество только что изволили упомянуть. Не говоря ничего о грузе, что я утром принял на борт в виде балласта и не упоминая всякие разные эли да водки, погруженные этим вечером в разных гаванях, я в настоящее время полон доотказа «пенным», принятым и сполна оплаченным под вывеской «Развеселого матросика». А поэтому да будет вашему величеству благоугодно считать желаемое сделанным — потому как я никоим образом не могу и не хочу проглотить хотя бы еще капельку — а менее всего хотя бы капельку того вонючего пойла, которое называется черным жгутом.

— Стоп! — перебил Брезент, изумленный длительностью речи своего спутника не менее, нежели причиною его отказа. — Стоп травить, Рангоут, салага ты этакая! Мои трюма еще вмещают, а вот ты, видать, малость перегружен; а касательно твоей доли, то чем тебе из-за нее шквал подымать, то уж лучше я у себя в трюме найду ей местечко, но...

— Подобное действие, — вмешался председатель, — отнюдь не соответствует условиям пени или приговора, распространяемого на обоих равномерно и, подобно установленному закону, ни в коей мере не подлежащего изменениям или пересмотру. Оговоренные условия должны быть выполнены в точности и без малейшего промедления — в противном случае мы повелеваем привязать вам шею к пяткам и надлежащим образом утопить за крамолу вон в той бочке октябрьского пива!

— Правильно! — правильно! — справедливый и правильный приговор! — достославное решение! — достойный, правильный, благочестивый суд! — разом закричала чумная фамилия. Король поднял брови, отчего лоб его покрывся бесчисленными морщинами; подагрический старичок засопел наподобие кузнечных мехов; чахоточная барышня помавала носом; господин в бумажных панталонах наострил уши; дама в саване принялась ловить ртом воздух, как издыхающая рыба; а обитатель гроба еще более окостенел и завел глаза.

— Хе! хе! хе! — засмеялся Брезент, пренебрегая всеобщим волнением. — Хе! хе! хе! — хе! хе! хе! хе! — хе! хе! хе! — я говорил, — ска-

зал он, — я говорил, пока мистер Король Чума не начал встречать, что двумя-тремя галлонами черного жгута больше или меньше для такого крепкого суденышка с неперегруженными трюмами вроде меня — пустяк, но ежели дело дошло до того, чтобы пить здоровье Дьявола (накажи его господь) да ползать на коленях перед этим королишкой — а ведь доподлинно, как то, что я грешник, я про него знаю, что он не кто иной, как Тим Баламут, актерщик! — так это дело совсем другого сорта и вовсе выше моего разумения.

Ему не дали спокойно договорить. При имени Тима Баламута все повскакали с мест.

— Измена! — закричал его величество Король Чума Первый.

— Измена! — сказал подагрический человек.

— Измена! — завопила эрцгерцогиня Чумичка.

— Измена! — пробормотал господин с подвязанной челюстью.

— Измена! — пробурчал обитатель гроба.

— Измена! измена! — заверещала ее большеротое величество; и, схватив сзади за штаны несчастного Брезента, который только начал наливать себе еще, она подняла его высоко в воздух и без лишних церемоний бросила в огромную разверстную бочку любимого им эля. Несколько секунд он то всплывал, то погружался, как яблоко в пуншевой кастрюле и наконец исчез в водовороте пены, которую ему легко удалось поднять барахтаясь в напитке, и без того пенном.

Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику. После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покотил ее. И хлынул поток такой бурный — такой бешеный — такой напористый — что комнату затопило от стены до стены — нагруженные столы перевернулись — козлы попадали — ушат с пуншем был повергнут в камин — а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги смаху налетали на битые бутылки. Страдавший «ужастями» моментально утонул — окостеневший господин отплыл в своем гробу — победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и прямоком пустился к «Беззаботной», а за ним на всех парусах следовал бесстрашный Хью Брезент, который два-три раза чихнул, а теперь пыхтел и задыхался, волоча за собою эрцгерцогиню Чумичку.

ТЕНЬ ПАРАБОЛА

Если я пойду и долиною тени¹...

Псалом Давида.

Вы, читающие, находитесь еще в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней. Ибо воистину странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. А увидев, иные не поверят, иные усумнятся, и все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, врезанных здесь железным стилосом.

Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования. Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду, над морем и над сушею, распростерлись черные крыла Чумы². И все же тем, кто постиг движения светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло; и мне, греку Ойносу, в числе прочих, было ясно, что настало завершение того семьсот девяносто четвертого года, когда с восхождением Овна планета Юпитер сочетается с багряным кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества.

Над бутылками красного хиосского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемаиде³, сидели мы ночью, всемером. И в наш покой вел только один вход: через высокую медную дверь; и она, вычеканенная искуснейшим мастером Коринносом, была заперта изнутри. Черные завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас Луну, зловещие звезды и безлюдные улицы — но предвещанье и память Зла они не могли отгородить. Вокруг нас находилось многое — и материальное и духовное — что я не могу точно описать — тяжесть в атмосфере... ощущение удушья... тревога — и, прежде всего, то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума почивают сном. Мертвый груз давил на нас. Он опускался на наши тела, на убранство зала, на кубки, из которых мы пили; и все склонялось и никло — все, кроме языков пламени в семи железных светильниках, освещавших наше пиршество. Вздыхаясь высокими, стройными полосами света, они горели, бледные и недвижные; и в зеркале, образованном их сиянием на поверхности круглого эбенового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глазах сотрапезников. И все же мы смеялись и

веселились присущим нам образом — то есть истерично; и пели песни Анакреона — то есть безумствовали; и жадно пили — хотя багряное вино напоминало нам кровь. Ибо в нашем покое находился еще один обитатель — юный Зоил. Мертвый, лежал он простертый, завернутый в саван — гений и демон сборища. Увы! он не участвовал в нашем веселье — разве что его облик, искаженный чумою, и его глаза, в которых смерть погасила моровое пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью, какое, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Но хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении и, пристально вперив мой взор в глубину эбенового зеркала, громко и звучно пел песни теосца⁴. Но понемногу песни мои прервались, а их отголоски, перекатываясь в черных, как смоль, завесах покоя, стали тихи, неразличимы и, наконец, заглохли. И внезапно из черных завес, заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень — подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры — но то не была тень человека или бога или какого-либо ведомого нам существа. И, зыблясь меж завес покоя, она в конце концов застыла на меди дверей. Но тень была неясна, бесформенна и неопределенна, не тень человека и не тень бога — ни бога Греции, ни бога Халдеи, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди дверей, под дверным сводом, и не двинулась, не проронила ни слова, она стала недвижно на месте, и дверь, на которой застыла тень, была, если правильно помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы семеро, увидев тень выходящего из черных завес, не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбенового зеркала. И наконец я, Ойнос, промолвив несколько тихих слов, спросил тень об ее обиталище и прозвании. И тень отвечала: «Я Тень, и обиталище мое вблизи от птолемаидских катакомб, рядом со смутными равнинами Элизума, сопредельными мерзостному Харонову проливу». И тогда мы семеро в ужасе вскочили с мест и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и, переливаясь из слога в слог, сумрачно поразили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч ушедших друзей.

ЧЕТЫРЕ ЗВЕРЯ В ОДНОМ (ЧЕЛОВЕКО-ЖИРАФ)

Chacun a ses vertus *

Кребийон. «Ксеркс»

Антиоха Эпифана² обычно отождествляют с Гогом из пророчеств Иезекииля³. Эта честь, однако, более подобает Камбизу⁴, сыну Кира. А личность сирийского монарха ни в коей мере не нуждается в каких-либо добавочных прикрасах. Его восшествие на престол, вернее, его захват царской власти за сто семьдесят один год до рождества Христова; его попытка разграбить храм Дианы в Эфесе⁵; его беспощадные преследования евреев⁶; учиненное им осквернение Святая Святыих⁷ и его жалкая кончина в Табе⁸ после бурного одиннадцатилетнего царствования — события выдающиеся и, следовательно, более отмеченные историками его времени, нежели беззаконные, трусливые, жестокие, глупые и своевольные деяния, составляющие в совокупности его частную жизнь и славу.

* * * * *

Предположим, любезный читатель, что сейчас — лето от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое⁹, и вообразим на несколько минут, что мы находимся недалеко от самого уродливого обиталища людского, замечательного города Антиохии. Правда, в Сирии и в других странах стояли еще шестнадцать городов, так наименованных, помимо того, который я имею в виду. Но перед нами — тот, что был известен под именем Антиохии Эпифаны ввиду своей близости к маленькой деревне Дафне, где стоял храм, посвященный этому божеству. Город был построен (хотя мнения на этот счет расходятся) Селевком Никанором¹⁰, первым царем страны после Александра Македонского, в память своего отца Антиоха, и сразу же стал столицей сирийских монархов. В пору процветания Римской империи в нем обычно жил префект восточных провинций; и многие императоры из Вечного Города (в особенности Вер¹¹ и Валент¹²) проводили здесь большую часть своей жизни. Но я вижу, что мы уже в городе. Давайте взойдем на этот парапет и окинем взглядом Эпифану и ее окрестности.

* У каждого свои добродетели¹ (франц.).

«Что это за бурная и широкая река, которая, образуя многочисленные водопады, прокладывает путь сквозь унылые горы, а затем — меж унылыми домами?»

Это Оронт; другой воды не видно, если не считать Средиземного моря, простирающегося широким зеркалом около двенадцати миль южнее. Все видели Средиземное море; но, уверяю вас, лишь немногие могли взглянуть на Антиохию. Под немногими разумею тех, что, подобно нам с вами, при этом наделены преимуществом современного образования. Поэтому перестаньте смотреть на море и направьте все внимание вниз, на громадное скопление домов. Припомните, что сейчас — лето от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое. Будь это позже — например, в лето от рождества Христова тысяча восемьсот сорок пятое¹³, — нам не довелось бы увидеть это необычайное зрелище. В девятнадцатом веке Антиохия находится — то есть Антиохия *будет* находиться в плачевном состоянии упадка. К тому времени город будет полностью уничтожен тремя землетрясениями. По правде говоря, то немногое, что от него тогда останется, окажется в таком разоре и запустении, что патриарху придется перенести свою резиденцию в Дамаск... А, хорошо. Я вижу, что вы вняли моему совету и используете время, обозревая местность — и теша

взгляд

Прославленную древностью, которой
Гордится этот город¹⁴.

Прошу прощения; я забыл, что Шекспир станет знаменит лишь тысячу семьсот пятьдесят лет спустя. Но разве я не был прав, называя Эпидифну уродливой?

«Город хорошо укреплен; и в этом смысле столько же обязан природе, сколько искусству».

Весьма справедливо.

«Здесь поразительно много величавых дворцов».

Согласен.

«А бесчисленные храмы, пышные и великолепные, выдерживают сравнение с лучшими образцами античного зодчества».

Все это я должен признать. Но тут же бесчисленное множество глинобитных хижин и омерзительных лачуг. Нельзя не увидеть обилия грязи в любой конуре, и, если бы не густые клубы языческого фимиама, то я не сомневаюсь, что мы бы учуяли невыносимое зловоние. Видели ли вы когда-нибудь такие невозможно узкие улицы, такие невероятно высокие дома? Как темно на земле от их тени! Хорошо, что висячие светильники на бесконечных колоннадах оставляют гореть весь день напролет, а то здесь царила бы тьма египетская.

«Да, странное это место! А это что за необычайное здание? Видите, оно возвышается над всеми остальными, а находится к востоку от того строения, очевидно, царского дворца!»

Это новый храм Солнца, которому в Сирии поклоняются под именем Эла Габала. Позже некий недоброй памяти римский император учредит его культ в Риме и заимствует от него свое прозвище — Гелиогабал¹⁵. Думаю, что вы хотели бы подглядеть, какому божееству поклоняются в этом храме. Можете не смотреть на небо: его Солнечного Сиятельства там нет — по крайней мере, того, которому поклоняются сирийцы. То божеество вы найдете внутри вон того храма. Оно имеет вид большого каменного столба с конусом или пирамидою наверху, что символизирует Огонь.

«Смотрите! — да что это за нелепые существа, полуголые, с размаляванными лицами, которые вопят и кривляются перед чернью?»

Некоторые из них скорохохи. Другие принадлежат к племени философов. Большинство из них, однако, — особенно те, что отделивают население дубинками, — суть важные вельможи из дворца, исполняющие по долгу службы какую-нибудь достохвальную царскую прихоть.

«Но что это? Боже! город кишит дикими зверями! Какое страшное зрелище! — какая опасная особенность!»

Согласен, это страшно; но ни в малейшей степени не опасно. Каждый зверь, если соизволите посмотреть, совершенно спокойно следует за своим хозяином. Некоторых, правда, ведут на веревке, но это, главным образом, меньшие или самые робкие особи. — Лев, тигр и леопард пользуются полной свободой. Их без труда обучили новой профессии, и теперь они служат *камердинерами*. Правда, случается, что Природа пытается восстановить свои права, но съедение воина или удушение священного быка — для Эпидафны такое незначительное событие, что о нем говорят разве лишь вскользь.

«Но что за необычайный шум я слышу? Право же, он громок даже для Антиохии! Он предвещает нечто из ряда вон выходящее».

Да, несомненно. Видимо, царь повелел устроить какое-то новое зрелище — бой гладиаторов на ипподроме — или, быть может, избивание пленных из Скифии — или сожжение своего нового дворца — или разрушение какого-нибудь красивого храма — а то и костер из нескольких евреев. Шум усиливается. Взрывы хохота возносятся к небесам. Воздух наполняется нестройными звуками труб и ужасным криком миллиона глоток. Давайте спустимся забавы ради и посмотрим, что там происходит! Сюда — осторожнее! Вот мы и на главной улице, улице Тимарха. Море людей устремилось в эту сторону, и нам трудно будет идти против его прилива. Он течет по аллее Гераклида, ведущей прямо от дворца, — так что, по всей вероятности, среди гуляк находится и царь. Да — я слышу клики глашатая, возвещающие его приближение в витиеватых восточных оборотах. Мы сможем взглянуть на его особу, когда он проследует мимо храма Ашимы¹⁶, а пока укроемся в преддверье капища; он скоро будет здесь. А тем временем рассмотрим это изваяние. Что это? А! это бог Ашима, собственной персоной. Вы видите, что он ни ягненок, ни козел, ни сатир; также нет у него большого сходства с аркадским Паном. И все-таки ученые последующих веков при-

писывали — прошу прощения, будут приписывать — эти обличья Ашиму Сирийскому. Наденьте очки и скажите, кто он. Кто он?

«Батюшки! Обезьяна!»

Именно — павиан; но от этого божественность его не меньше. Его имя — производное от греческого *Simia** — что за болваны археологи! Но смотрите! — смотрите! — вон сквозь толпу продирается оборванный мальчишка. Куда он идет? О чем он вопит? Что он говорит? А, он говорит, что царь движется сюда во главе торжественного шествия; что на нем полное царское облачение; что он только что собственноручно предал смерти тысячу закованных в цепи пленных израильтян! За этот подвиг оборвыш перевозносит его до небес! Чу! сюда движется толпа таких же голодранцев. Они сочинили латинский гимн^{1*}, восхваляющий отвагу царя, и поют его по мере своего продвижения:

Mille, mille, mille,
Mille, mille, mille,
Deccolavimus unus homo!
Mille, mille, mille, mille deccolavimus!
Mille, mille, mille,
Vivat qui mille mille occidit!
Tantum vini habet nemo
Quantum sanguinis effudit!

Что можно передать следующим образом:

Тысячу, тысячу, тысячу,
Тысячу, тысячу, тысячу
Мы поразили десницей одной!
Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу.
Слова припев этот пой!
Вновь повторю:
Слава царю!
Им тысяча смело была сражена!
Честь ему воздадим!
Больше одним
Крови пролито им,
Чем в Сирии целой — вина!

«Слышите трубы?»

Да — царь приближается! Смотрите! Все оцепенели от восторга и благоговейно возводят глаза к небесам! Он идет! — он приближается! — вот он!

* Обезьяна (греч.).

^{1*} Флавий Вописк¹⁷ указывает, что чернь пела приведенный гимн, когда во время сарматской войны Аврелиан собственноручно убил девятьсот пятьдесят врагов.

«Кто? — где? — царь? — я его не вижу — не могу сказать, что вижу». Тогда вы, должно быть, слепы.

«Очень может быть. И все же я ничего не вижу, кроме буйной толпы идиотов и сумасшедших, которые падают ниц перед гигантским жирафом и пытаются лобызнуть ему копыта. Смотрите! Зверь подделом сшиб кого-то из черни — и еще — и еще — и еще. Право, нельзя не похвалить эту скотину за то, какое прекрасное применение нашла она своим копытам».

Хороша чернь! — Да это же благородные и вольные граждане Эпидифны! Скотина, говорите? — Берегитесь, чтобы вас не услышали. Разве вы не видите, что у этой скотины человеческое лицо? Сударь вы мой, да этот жираф не кто иной, как Антиох Эпифан — Антиох Высокородный, царь сирийский, могущественнейший из всех самодержцев Востока! Правда, его иногда называют Антиохом Эпиманом — Антиохом сумасшедшим — но это потому, что не все способны оценить его заслуги. Так же очевидно, что сейчас он скрыт звериной шкурой и усердно старается изображать жирафа; но это делается для вящего укрепления его царского достоинства. Вдобавок, царь — гигантского роста, поэтому такое одеяние ему идет и не слишком велико. Мы можем, однако, предположить, что он его надел только по какому-то особо торжественному случаю. Вы согласитесь, что избивание тысячи евреев таким случаем является. Как величаво и надменно перемещается он на четвереньках! Его хвост, как видите, торжественно несут две его главные наложницы, Эллина и Аргелаида; и вся его наружность была бы бесконечно внушительна, если бы не глаза навывкате да не странный цвет лица, ставший безобразным под действием обильных возлияний. Проследуем за ним к ипподрому, куда он направляется, и послушаем триумфальную песнь, которую он запевает:

Нет царя, кроме Эпифана!
 Слава ему, слава!
 Нет царя, кроме Эпифана!
 Bravo! — Bravo!
 Нет царя, кроме Эпифана
 На земле и в небесах,
 Так погасим солнце,
 Повергнем храмы в прах!

Отлично, сильно спето! Жители величают его: «Первейший из Поэтов», а также «Слава Востока», «Отрада Вселенной» и «Замечательнейший из Камелеопардов». Его просят повторить песнь, и — слышите? — он снова поет ее. Когда он прибудет на ипподром, его наградят венком поэтов, предвосхищая его победу на будущих Олимпийских играх.

«Юпитер милостивый! Что происходит в толпе за нами?»

За нами, говорите? — а! — о! — вижу. Друг мой, хорошо, что вы сказали вовремя. Идемте-ка в безопасное место, да поскорее. Вот! — спря-

чемся под аркой этого акведука, и я не замедлю уведомить вас о причине возникшего волнения. Случилось так, как я и ожидал. Необычное появление жирафа с человеческой головой, как видно, нарушило правила приличия, общие для всех ручных зверей города. Из-за этого вспыхнул мятеж; и, как обычно бывает в подобных случаях, все попытки унять толпу окажутся бесплодными. Уже съели нескольких сирийцев; но мнение большинства четвероногих патриотов, по-видимому, склоняется к съедению камелеопарда. Вследствие этого «Первейший из Поэтов» бежит что есть силы на задних ногах. Вельможи бросили его на произвол судьбы, а наложницы последовали столь превосходному примеру. «Отрада Вселенной», в печальном ты положении! «Слава Востока», берегись, как бы тебя не разжевали! Поэтому не взирай так печально на свой хвост; он, несомненно, изваляется в грязи, и этому не поможешь. Так не оглядывайся на его неизбежное унижение; лучше мужайся, придай резвость стопам твоим и улепетьвай к ипподрому! Помни, что ты — Антиох Эпифан, Антиох Высокородный! — а также «Первейший из Поэтов», «Слава Востока», «Отрада Вселенной» и «Замечательнейший из Камелеопардов»! О небо! Сколь изумительную быстроту ты обнаруживаешь! Какую способность к бегу ты выказываешь! Беги, Первейший! — Bravo, Эпифан! — Молодец, Камелеопард! — Славный Антиох! — Он бежит! — он скачет! — он летит! Как стрела из катапульты, он приближается к ипподрому! Он бежит! — он визжит! — он там! И прекрасно; а то если бы, «Слава Востока», ты опоздал на полсекунды, все медвежата Эпифафны откусили бы от тебя по кусочку. Но пора — идемте! — нежные уши рожденных в наше время не вынесут оглушительного гомона, который вот-вот начнется в честь спасения царя! Слушайте! Он уже начался. Смотрите! — весь город на голове ходит.

«Право же, это самый многолюдный город Востока! Что за обилие народа! Что за смешение всех сословий и возрастов! Что за множество вероисповеданий и народностей! Что за разнообразие одежд! Что за вавилонское столпотворение языков! Что за рев зверей! Что за бречание струн! Что за скопление философов!»

Ну, идемте, идемте.

«Подождите минутку! На ипподроме какая-то суматоха; скажите, почему?»

Это? — а, ничего! Благородные и вольные граждане Эпифафны, будучи, как они заявляют, вполне убеждены в правоте, отваге, мудрости и божественности своего повелителя и, вдобавок, сумев воочию удостовериться в его сверхчеловеческом проворстве, считают не больше, чем своим долгом возложить на его главу (дополнительно к венку поэтов) венок победителей в состязаниях по бегу — венок, который, несомненно, он должен завоевать на следующей Олимпиаде и который поэтому ему вручают заранее.

МИСТИФИКАЦИЯ

Ну, уж коли ваши пассадо и монтанты ¹ таковы, то мне их не надобно.

Нед Ноулз ².

Барон Ритцнер фон Юнг происходил из знатного венгерского рода, все представители которого (по крайней мере, насколько проникают в глубь веков некоторые летописи) в той или иной степени отличались каким-либо талантом — а большинство из них талантом к тому виду grotesquerie *, живые, хотя и не самые яркие примеры коей дал Тик ³, состоявший с ними в родстве. Знакомство мое с бароном Ритцнером началось в великолепном замке Юнг, куда цепь забавных приключений, не подлежащих обнародованию, забросила меня в летние месяцы 18-- года. Там Ритцнер обратил на меня внимание, а я, с некоторым трудом, постиг отчасти склад его ума. Впоследствии, по мере того, как дружба наша, позволявшая это понимание, становилась все теснее, росло и понимание; и когда, после трехлетней разлуки, мы встретились в Г—не ⁴, я знал все, что следовало знать о характере барона Ритцнера фон Юнга.

Помню гул любопытства, вызванный его появлением в университетских стенах вечером двадцать пятого июня. Помню еще яснее, что, хотя с первого взгляда все провозгласили его «самым замечательным человеком на свете», никто не предпринял ни малейшей попытки обосновать подобное мнение. Его уникальность представлялась столь неопровержимой, что попытка определить, в чем же она состоит, казалась дерзкою. Но, покамест оставляя это в стороне, замечу лишь, что не успел он вступить в пределы университета, как начал оказывать на привычки, манеры, характеры, кошельки и склонности всех, его окружающих, влияние совершенно беспредельное и деспотическое и в то же время совершенно неопределенное и никак не объяснимое. Поэтому его недолгое пребывание образует в анналах университета целую эру, и все категории лиц, имеющих к университету прямое или косвенное отношение, называют ее «весьма экстраординарным временем владычества барона Ритцнера фон Юнга».

По прибытии в Г—н он пришел ко мне домой. Тогда он был неопределенного возраста, то есть не давал никакой возможности догадаться о своем возрасте. Ему могли дать пятнадцать или пятьдесят, а было ему двадцать один год семь месяцев. Он отнюдь не был красавцем — скорее наоборот. Контуры его лица отличались угловатостью и резкостью:

* Гротескного, причудливого (франц.).

вздернутый нос; высокий и очень чистый лоб; глаза большие, остекляненные; взор тяжелый, ничего не выражающий. По его слегка выпяченным губам можно было догадаться о большем. Верхняя так покоилась на нижней, что невозможно было вообразить какое-либо сочетание черт, даже самое сложное, способное произвести столь полное и неповторимое впечатление безграничной гордости, достоинства и покоя.

Несомненно, из вышеуказанного можно вывести, что барон относился к тем диковинным людям, встречающимся время от времени, которые делают науку *мистификации* предметом своих изучений и делом всей своей жизни. Особое направление ума инстинктивно обратило его к этой науке, а его наружность неизмеримо облегчила ему претворение в действительности его замыслов. Я непререкаемо убежден, что в прославленную пору, столь причудливо называемую временем владычества барона Ритцнера фон Юнга, ни один г-нский студент не мог хоть сколько-нибудь проникнуть в тайну его характера. Я и вправду держусь того мнения, что никто в университете, исключая меня, ни разу и не помыслил, будто он способен шутить словом или делом — скорее в этом заподозрили бы старого бульдога, сторожившего садовые ворота, призрак Гераклита⁵, или парик отставного профессора богословия. Так было, даже когда делалось очевидно, что самые дикие и непростительные выходки, шутовские бесчинства и плутни если не прямо исходили от него, то во всяком случае, совершались при его посредничестве или потворстве. С позволения сказать, изящество его мистификаций состояло в его виртуозной способности (обусловленной почти инстинктивным постижением человеческой природы, а также беспримерным самообладанием) неизменно представлять учиняемые им проделки совершающимися отчасти вопреки, отчасти же благодаря его похвальным усилиям предотвратить их ради того, дабы *Alma Mater** сохраняла в неприкосновенности свое благоприличие и достоинство. Острое, глубокое и крайнее огорчение при всякой неудаче столь достохвальных *тщаний* пронизывало каждую черточку его облика, не оставляя в сердцах даже самых недоверчивых из его однокашников никакого места для сомнений в искренности. Не менее того заслуживала внимания ловкость, с какою он умудрялся перемещать внимание с творца на творение — со своей персоны на те нелепые затеи, которые он измышлял. Я ни разу более не видывал, чтобы заправский мистификатор избежал естественного следствия своих маневров — всеобщего несерьезного отношения к собственной персоне. Постоянно пребывая в атмосфере причуд, друг мой казался человеком самых строгих правил; и даже домашние его ни на мгновение не думали о бароне Ритцнере фон Юнге иначе, как о человеке чопорном и надменном.

Во время его г-нских дней воистину казалось, что над университетом, точно инкуб⁶, распростерся демон *dolce far niente***.

* Мать-кормилица (название студентами университета) (лат.).

** Сладостного безделья (ит.).

тогда ничего не делали — только ели, пили да веселились. Квартиры многих студентов превратились в прямые кабаки, и не было среди них кабака более знаменитого или чаще посещаемого, нежели тот, что держал барон. Наши кутежи у него были многочисленны, буйны, длительны и неизменно изобиловали событиями.

Как-то раз мы затанули веселье почти до рассвета и выпили необычайно много. Помимо барона и меня, сборище состояло из семи или восьми человек, по большей части богатых молодых людей с весьма высокопоставленной родней, гордых своей знатностью и расширяемых повышенным чувством чести. Они держались самых ультралиберальных воззрений относительно дуэльного кодекса. Эти донкихотские понятия укрепились после знакомства с некоторыми недавними парижскими изданиями да после трех-четырёх отчаянных и фатальных поединков в Г—не; так что беседа почти все время вертелась вокруг захватившей всех злобы дня. Барон, в начале вечера необыкновенно молчаливый и рассеянный, наконец, видимо, стряхнул с себя апатию, возглавил разговор и начал рассуждать о выгоде и особенно о красоте принятого кодекса дуэльных правил с жаром, красноречием, убедительностью и восторгом, что возбудило пылкий энтузиазм всех присутствующих и потрясло даже меня, отлично знавшего, что в душе барон презирал именно то, что превозносил, в особенности же фанфаронство дуэльных традиций он презирал глубочайшим образом, чего оно и заслуживает.

Оглядываясь при паузе в речи барона (о которой мои читатели могут составить смутное представление, когда я скажу, что она походила на страстную, певучую, монотонную, но музыкальную проповедническую манеру Колриджа⁷⁾), я заметил на лице одного из присутствующих признаки даже большей заинтересованности, нежели у всех остальных. Господин этот, которого назову Германном, был во всех смыслах оригинал — кроме, быть может, единственной частности, а именно той, что он был отменный дурак. Однако ему удалось приобрести в некоем узком университетском кругу репутацию глубокого мыслителя-метафизика и, кажется, к тому же наделенного даром логического мышления. Как дуэлянт он весьма прославился, даже в Г—не. Не припомню, сколько именно жертв пало от его руки, но их насчитывалось много. Он был несомненно смелый человек. Но особенно он гордился доскональным знанием дуэльного кодекса и своей *утонченностью* в вопросах чести. Это было его коньком. Ритцнера, вечно поглощенного поисками нелепого, его увлечение давно уж вызывало на мистификацию. Этого, однако, я тогда не знал, хотя и понял, что друг мой готовит какую-то проделку, наметив себе жертвой Германна.

Пока Ритцнер продолжал рассуждения или, скорее, монолог, я заметил, что взволнованность Германна все возрастает. Наконец, он заговорил, возражая против какой-то частности, на которой Ритцнер настаивал, и приводя свои доводы с мельчайшими подробностями. На это барон пространно отвечал (все еще держась преувеличенно патетического тона)

и заключил свои слова, на мой взгляд, весьма бестактно, едкой и невежливой насмешкой. Тут Германн закусил удила. Это я мог понять по тщательной продуманности возражений. Отчетливо помню его последние слова. «Ваши мнения, барон фон Юнг, позвольте мне заметить, хотя и верны в целом, но во многих частностях деликатного свойства они дискредитируют и вас, и университет, к которому вы принадлежите. В некоторых частностях они недостойны даже серьезного опровержения. Я бы сказал больше, милостивый государь, ежели бы не боялся вас обидеть (тут говорящий ласково улыбнулся), я сказал бы, милостивый государь, что мнения ваши — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека».

Германн договорил эту двусмысленную фразу, и все взоры направились на барона. Он побледнел, затем густо покраснел; затем уронил носовой платок, и, пока он за ним нагибался, я, единственный за столом, успел заметить его лицо. Оно озарилось выражением присущей Ритцнеру насмешливости, выражением, которое он позволял себе обнаруживать лишь наедине со мною, переставая притворяться. Миг — и он выпрямился, став лицом к Германну; и столь полной и мгновенной перемены выражения я дотоле не видывал. Казалось, он задыхается от ярости, он побледнел, как мертвец. Какое-то время он молчал, как бы сдерживаясь. Наконец, когда это ему, как видно, удалось, он схватил стоявший рядом графин и проговорил, крепко сжав его: «Слова, кои вы, мингеер Германн, сочли приличным употребить, обращаясь ко мне, вызывают протест по столь многим причинам, что у меня нет ни терпения, ни времени, дабы причины эти оговорить. Однако, то, что мои мнения — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека — фраза настолько оскорбительная, что мне остается лишь одно. Все же меня вынуждает к известной корректности и присутствие посторонних и то, что в настоящий момент вы мой гость. Поэтому вы извините меня, ежели, исходя из этих соображений, я слегка отклонюсь от правил, принятых среди благородных людей в случае личного оскорбления. Вы простите меня, ежели я попрошу вас немного напрячь воображение и на единый миг счесть отражение вашей особы вон в том зеркале настоящим мингеером Германном. В этом случае не возникнет решительно никаких затруднений. Я швырну этим графином в вашу фигуру, отраженную вон в том зеркале, и так выражу по духу, если не строго по букве, насколько я возмущен вашим оскорблением, а от необходимости применять к вашей особе физическое воздействие я буду избавлен».

С этими словами он швырнул полный графин в зеркало, висевшее прямо напротив Германна, попав в его отражение с большою точностью и, конечно, разбив стекло вдребезги. Все сразу встали с мест и, не считая меня и Ритцнера, откланялись. Когда Германн вышел, барон шепнул мне, чтобы я последовал за ним и предложил свои услуги. Я согласился, не зная толком, что подумать о столь нелепом происшествии.

Дуэлянт принял мое предложение с присущим ему чопорным и сверхтонченным видом и, взяв меня под руку, повел к себе. Я едва не

расхохотался ему в лицо, когда он стал с глубочайшей серьезностью рассуждать о том, что он называл «утонченно необычным характером» полученного им оскорбления. После утомительных разглагольствований в собственном ему стиле, он достал с полок несколько заплесневелых книг о правилах дуэли и долгое время занимал меня их содержанием, читая вслух и увлеченно комментируя прочитанное. Припоминаю некоторые заглавия: «Ордонанс Филиппа Красивого⁸ о единоборствах», «Театр чести», сочинение Фавина⁹ и трактат Д'Одигье¹⁰ «О разрешении поединков». Весьма напыщенно он продемонстрировал мне «Мемуары о дуэлях» Брантома¹¹, изданные в 1666 году в Кельне, — драгоценный и уникальный том, напечатанный эльзевиром¹² на веленовой бумаге, с большими полями, переплетенный Деромом¹³. Затем он с таинственным и умудренным видом попросил моего сугубого внимания к толстой книге в восьмую листа, написанной на варварской латыни неким Эделеном¹⁴, французом, и снабженной курьезным заглавием «*Duelli Lex scripta, et pop; aliterque*»*. Оттуда он огласил мне один из самых забавных пассажей на свете, главу относительно «*Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se*»**, около половины которой, как он меня заверил, было в точности применимо к его «утонченно необычному» случаю, хотя я не мог понять ни слова из того, что услышал, хоть убейте. Дочитав главу, он закрыл книгу и осведомился, что, по-моему, надлежит предпринять. Я ответил, что целиком вверяюсь его тонкому чутью и выполняю все, им предлагаемое. Ответ мой, видимо, ему польстил, и он сел за письмо барону. Вот оно.

«Милостивый государь, — друг мой, г-н П., передаст Вам эту записку. Почитаю необходимым просить Вас при первой возможности дать мне объяснения о произошедшем у Вас сегодня вечером. Ежели на мою просьбу Вы ответите отказом, г-н П. будет рад обеспечить, вкпе с любым из Ваших друзей, коего Вы соблагovolите назвать, возможность для нашей встречи.

Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении.
Имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою,

Иоганн Германн».

«Барону Ритцнеру фон Юнгу,

18 августа 18- - г.»

Не зная, что еще мне делать, я доставил это послание Ритцнеру. Когда я вручил ему письмо, он отвесил поклон; затем с суровым видом указал

* «Закон дуэли, писанный и неписанный и прочее» (лат.).

** «Оскорбление прикосновением, словом и само по себе» (лат.).

мне на стул. Изучив картель, он написал следующий ответ, который я отнес Германну.

«Милостивый государь, — наш общий друг, г-н П., передал мне Ваше письмо, написанное сегодня вечером. По должном размышлении откровенно признаюсь в законности требуемого Вами объяснения. Признавшись, все же испытываю большие затруднения (ввиду *уточненно необычного* характера наших разногласий и личной обиды, мною нанесенной) в словесном выражении того, что в виде извинения требует от меня последовать, дабы удовлетворить всем самомаallestшим требованиям и всем многообразным оттенкам, заключенным в данном инциденте. Однако я в полной мере полагаюсь на глубочайшее проникновение во все тонкости правил этикета, проникновение, коим Вы давно и по справедливости славитесь. Будучи вследствие этого полностью уверен в том, что меня правильно поймут, прошу Вашего соизволения взамен изъявления каких-либо моих чувств отослать Вас к высказываниям сьера Эделена, изложенным в девятом параграфе главы «*Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se*» его труда «*Duelli Lex scripta, et non; aliterque*». Глубина и тонкость Ваших познаний во всем, там трактатом, будет, я вполне уверен, достаточна для того, дабы убедить Вас, что *самый факт* моей ссылки на этот превосходный пассаж должен удовлетворить Вашу просьбу объясниться, просьбу человека чести.

Примите уверения в глубочайшем к Вам почтении.

Ваш покорный слуга,

Фон Юнг».

«Господину Иоганну Германну,
18 августа 18 -- г.»

Германн принялся читать это послание со злобной grimасою, которая, однако, превратилась в улыбку, исполненную самого смехотворного самодовольства, как только он дошел до окошечка относительно «*Injuriae per applicationem, per constructionem et per se*». Дочитав письмо, он стал упрашивать меня с наилюбезнейшей из возможных улыбок присесть и ожидать, пока он не посмотрит упомянутый трактат. Найдя нужное место, он прочитал его про себя с величайшим вниманием, а затем закрыл книгу и высказал желание, дабы я в качестве доверенного лица выразил от его имени барону фон Юнгу полный восторг перед его, барона, рыцарственностью, а в качестве секунданта уверить его, что предложенное объяснение отличается абсолютной полнотою, безукоризненным благородством и, безо всяких оговорок, исчерпывающе удовлетворительно.

Несколько пораженный всем этим, я ретировался к барону. Он, казалось, принял дружелюбное письмо Германа как должное, и после нескольких общих фраз принес из внутренних покоев неизменный трактат «*Duelli Lex scripta, et non; aliterque*». Он вручил мне книгу и попросил просмотреть в ней страницу-другую. Я так и сделал, но безрезультатно.

татно, ибо оказался неспособен извлечь оттуда ни крупинки смысла. Тогда он сам взял книгу и прочитал вслух одну главу. К моему изумлению, прочитанное оказалось до ужаса нелепым описанием дуэли двух павианов. Он объяснил мне, в чем дело, показав, что книга *prima facie* * была написана по принципу «вздорных» стихов Дю Бартаса¹⁵, то есть слова в ней подогнаны таким образом, чтобы, обладая всеми внешними признаками разумности и даже глубины, не заключать на самом деле и тени смысла. Ключ к целому находился в том, чтобы постоянно опускать каждое второе, а затем каждое третье слово, и тогда нам представляли уморительные насмешки над поединками нашего времени.

Барон впоследствии уведомил меня, что он нарочно подsunул трактат Германну за две-три недели до этого приключения, будучи уверен, что тот, судя по общему направлению его бесед, внимательнейшим образом изучит книгу и совершенно убедится в ее необычайных достоинствах. Это послужило Ритцнеру отправной точкой. Германи скорее бы тысячу раз умер, но не признался бы в неспособности понять что-либо на свете, написанное о правилах поединка.

* На первый взгляд (лат.).

ТИШИНА ПРИТЧА

*Горные вершины дремлют;
В долинах, утесах и пещерах тишина.
Алжман¹*

— Внемли мне, — молвил Демон, возлагая мне руку на голову. — Край, о котором я повествую, — унылый край в Ливии, на берегах реки Заиры², и нет там ни покоя, ни тишины.

Воды реки болезненно шафранового цвета; и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются, бурно и судорожно, под алым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водяных лилий. Они вздыхают в безлюдье, и тянут к небу длинные, мертвенные шеи, и вечно кивают друг другу. И от них исходит неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают.

Но есть граница их владениям — ужасный, темный, высокий лес. Там, наподобие волн у Гебридских островов, непрестанно колышется низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие первобытные деревья вечно качаются с могучим шумом и грохотом. И с их уходящих ввысь вершин постоянно, одна за другою, падают капли росы. И у корней извиваются в непокойной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не перекачнутся, подобно водопаду, за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах. И по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и падал дождь; и, падая, то был дождь, но, упав, то была кровь. И я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову — и лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении.

И мгновенно сквозь прозрачный мертвенный туман поднялась багровая луна. И взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвенен, высок, — и утес был сер. На нем были высечены письмена. И по трясине, поросшей водяными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы прочитать письмена, высеченные на камне. Но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровей засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письмена, и письмена гласили: запустение.

И я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек; и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и

величав и завернут от плеч до ступней в тогу древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны — но лик его был ликом божества; и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот; и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращении к роду людскому и жажде уединения.

И человек сел на скалу и склонил голову на руку и смотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокойный кустарник, и на высокие первобытные деревья, и на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в сени водяных лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру, и на мертвенную желтую воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот, не умолкавший среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я спустился в трясину и направился по воде в глубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы услышали мой зов и пришли с бегемотом³ к подножью утеса и рычали, громко и устрашающе, под луной. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии проклятием буйства; и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури — и дождь бил по голове человека — и река вышла из берегов — и воды ее вспенились от мучений — и водяные лилии пронзительно кричали — и деревья рушились под натиском ветра — и перекатывался гром — и низвергалась молния — и утес был сотрясен до основания. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; — но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я разгневался и проклял проклятием тишины реку и лилии, ветер и лес, небо и гром и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и затихли. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе — и гром заглох — и молния не сверкала — и тучи недвижно повисли, и воды вернулись в берега и застыли — и деревья более не качались — и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали — и меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной, бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились; и они гласили: тишина.

И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письмена на утесе были: тишина. И человек затрепетал и отвернулся и кинулся прочь, так что я его более не видел».

* * * * *

Да, прекрасные сказания заключены в томах Волхвов — в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе и о Земле и о могучем море — и о Джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого тайлось и в речениях Сивилл; и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны⁴, — но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснейшей всех! И, завершив свой рассказ, Демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с Демоном, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног Демона и неотрывно смотрела ему в лицо.

ЛИГЕЙЯ

*И заложена там воля, ей же нет смерти. Кто ведает тайны
воли и силу ея? Понеже Бог — всемогущая воля, что проникает
во все сущее мощию своею. Человек не предается до конца анге-
лам, ниже самой смерти, но лишь по немощи слабыя воли своея.*

Джозеф Гленвилл¹

Сколь ни стараюсь, не могу припомнить, каким образом, когда или даже где именно познакомился я с госпожой Лигейей. С той поры минули долгие годы, и память моя ослабела от многих страданий. Или, быть может, я не могу теперь припомнить эти подробности, ибо, право же, характер моей подруги, ее редкостная ученость, ее неповторимая, но покойная красота и волнующая, покоряющая живость ее тихих, музыкальных речей полонили мое сердце со столь постепенным, но неукоснительным нарастанием, что остались незамеченными и неузнанными. И все же сдается мне, что сначала и очень часто встречал я ее в некоем большом, старом, приходящем в упадок городе близ Рейна. О родне своей — конечно же, она что-то говорила. Что род ее — весьма древний, не следует сомневаться. Лигейя! Лигейя! Поглощенный занятиями, более прочих мертвящими впечатления внешнего мира, одним лишь этим милым именем — Лигейя — я вызываю пред взором моего воображения образ той, кого более нет. И теперь, пока я пишу, — то внезапно припоминаю, что я никогда не знал фамилию той, что была моим другом и моею невестою, и стала участницей моих изысканий и, наконец, моею возлюбленною супругою. Был ли то шаловливый вызов со стороны моей Лигейи? или испытание силы любви моей — то, что я не должен был пускаться в расспросы на этот счет? или, скорее, мой собственный каприз — пылкое романтическое приношение на алтарь наипрастнейшей верности? Я лишь смутно припоминаю сам факт — удивляться ли тому, что я совершенно запамятовал обстоятельства, которые его породили или же ему сопутствовали? И, право, ежели тот дух, что наименован духом Возвышенного — ежели она, зыбкая и туманнокрылая *Аштофет*² египетских язычников предвещала горе чьему-нибудь браку, то, без всякого сомнения, моему.

Есть, однако, нечто, мне дорогое, в чем память мне не изменяет. Это — облик Лигейи. Ростом она была высока, несколько тонка, а в последние дни свои даже истощена. Напрасно пытался бы я живописать величие, скромную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и упругость ее поступи. Она появлялась и исчезала, словно тень. О ее

приходе в мой укромный кабинет я узнавал только по милой музыке ее тихого, нежного голоса, когда она опускала мраморные персты на мое плечо. Вовек ни одна дева не сравнилась бы с нею красотой лица. Его озаряла лучезарность грез, порожденных опиумом, — воздушное и возвышающее видение, своею безумной божественностью превосходящее фантазии, что осеняли дремлющие души дочерей Делоса³. И все же черты ее не имели той правильности, которою классические усилия язычников приучили нас безрассудно восхищаться. «Нет утонченной красоты, — справедливо подмечает Бэкон, лорд Верулам, говоря обо всех формах и гегега* прекрасного, — без некоей необычности в пропорциях»⁴. Все же, хоть я и видел, что черты Лигейи лишены были классической правильности — хоть я понимал, что красота ее была воистину «утонченная» и чувствовал, что в ней заключается некая «необычность», но тщетно пытался я найти эту неправильность и определить, что же, по-моему, в ней «странно». Я взирал на очертания высокого бледного лба — он был безукоризнен — о, сколь же холодно это слово, ежели говоришь о столь божественном величии! — цветом соперничал с чистой слоновой костью, широкий и властно покойный, мягко выпуклый выше висков; а там — черные, как вороново крыло, роскошно густые, в ярких бликах, естественно вьющиеся кудри, заставляющие вспомнить гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я смотрел на тонкие линии носа — только на изящных древнееврейских медальонах видывал я подобное совершенство. Та же роскошная гладкость, та же едва заметная горбинка, тот же плавный вырез ноздрей, говорящий о пылкой душе. Я любовался прелестными устами. В них воистину заключалось торжество горнего начала — великолепный изгиб короткой верхней губы — нежная, сладострастная дремота нижней — лукавые ямочки, красноречивый цвет зубы, что отражали с почти пугающей яркостью каждый луч небесного света, попадавший на них при ее безмятежной, но ликующе лучезарной улыбке. Я рассматривал форму ее подбородка — и здесь также обнаруживал широту, лишённую грубости, нежность и величие, полноту и одухотворенность — очертания, что олимпийцу Аполлону лишь в сновидении явил Клеомену⁵, сыну афинянина. И тогда я заглядывал в огромные глаза Лигейи.

Античность не дала нам идеала глаз. Быть может, именно в глазах моей подруги и заключалась тайна, о которой говорит лорд Верулам. Сколько я помню, они были намного больше обыкновенных человеческих глаз. Негою они превосходили и самые исполненные неги гавельи глаза у племени в долине Нурджахада⁶. Но лишь изредка — в пору крайнего волнения — эта особенность делалась у Лигейи слегка заметной. И в такие мгновения красота ее — быть может, это лишь представлялось моему разгоряченному воображению — красота ее делалась красотой существ, живущих над землею или вне земли, — красотой баснословных мусуль-

* Родах (лат.).

манских гурий. Зрачки ее были ослепительно черны, и осеняли их смоляные ресницы огромной длины. Брови, чуть неправильные по рисунку, были того же цвета. Однако «странность», которую я обнаруживал в глазах ее, по природе своей не была обусловлена их формой, цветом или блеском и должна, в конце концов, быть отнесена к их выражению. О, бессмысленное слово, за звучностью которого мы укрываем наше полное неведение духовного! Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов размышляя я об этом! О, как я пытался постичь это выражение целую летнюю ночь напролет! Что это было — то, глубочайшее демокритова колодца⁷ — что таилось в бездонной глубине зрачков моей подруги? Что это было? Меня обуяла жажда узнать. О, эти глаза! Эти огромные, сверкающие, божественные очи! Они стали для меня двойными звездами Леды⁸, а я — увлеченнейшим из астрологов.

Среди многочисленных непостижимых аномалий, которыми занимается наука о разуме, нет ничего более волнующего и вселяющего беспокойство, нежели тот факт — по моему, не замеченный учеными, — что при наших попытках воскресить в памяти что-либо давно забытое, мы часто оказываемся на самой грани припоминания, но так и не можем окончательно вспомнить. Подобным образом, как часто в моем пристальном изучении взора Лигейи чувствовал я, что близится полное понимание сути его выражения — чувствовал, что близится — вот-вот я пойму его — и наконец совершенно уходит! И (странная, о, странная тайна!) я обнаруживал в самых обыденных предметах аналогии этому выражению. Я хочу сказать, что, после того как красота Лигейи воцарилась в душе моей, словно в алтаре, многое в материальном мире внушало мне то же, что я ощущал вокруг и внутри себя, при взоре ее огромных лученосных очей. И все же я не мог ни определить это ощущение, ни подвергнуть его разбору, ни даже внимательно проследить за ним. Я узнавал его, повторяю, глядя на буйно растущую лозу — наблюдая за мотыльком, за бабочкой, за хризалидой, за стремительным водным потоком. Я чувствовал его при виде океана или при падении метеора. Я чувствовал его во взорах людей, доживших до необычно преклонных лет. И есть в небесах две-три звезды (в особенности одна, звезда шестой величины, двойная и переменная, видная около большой звезды в созвездии Лиры⁹), рассматривая которые в телескоп, я испытывал это же чувство. Оно переполняло меня при звуках некоторых струнных инструментов и нередко — при чтении некоторых мест в книгах. Среди других многочисленных примеров я отлично помню нечто в книге Джозефа Гленвилла, что (быть может, лишь диковинностью своей — кто скажет?) неизменно внушало мне это же чувство: — «И заложена там воля, ей же нет смерти. Кто ведает тайны воли и силу ея? Понеже Бог — всемогущая воля, что проникает во все сущее мощию своею. Человек не предается до конца ангелам ниже самой смерти, но лишь по немощи слабая воли своея».

Долгие годы и последующие размышления способствовали тому, что я и в самом деле установил некую отдаленную связь между этим выска-

званием английского моралиста и одной из сторон характера Лигейи. Сила в мыслях, действиях и речах, возможно, являлась в ней следствием или, по крайней мере, признаком того титанического волнения, которое за долгое время нашего союза не выражалось в иных и более прямых свидетельствах своего существования. Из всех женщин, когда-либо мне знакомых, она, внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя, была беспомощною жертвою бешеных коршунов неумолимой страсти. И о подобной страсти я не мог бы составить никакого понятия, ежели бы глаза ее не отверзались столь чудесным образом, внушая мне восторг и страх — если бы ее тихий голос не звучал столь ясно, гармонично и покойно, с почти волшебною мелодичностью — если бы не свирепая энергия (оказывающая удвоенное воздействие контрастом с ее манерой говорить) безумных слов, которые она постоянно изрекала.

Я упомянул об учености Лигейи — она была громадна — такой я не встречал ни у одной женщины. Лигейя обладала глубокими познаниями в области классических языков, и, насколько простирается мое собственное знакомство с современными европейскими наречиями, я и тут никогда не замечал у нее каких-либо пробелов. Да и в каком разделе, наиболее модном или наиболее непонятном из тех, что составляют хваленую академическую эрудицию, когда-либо я мог обнаружить у Лигейи недостаток знаний? Сколь неповторимо и волнующе одна эта черта характера жены моей лишь в последний период приковала мое внимание! Я сказал, что не встречал подобных знаний ни у одной женщины — но где существует мужчина, который постиг, и постиг успешно, все обширные отрасли моральных, физических и математических наук? Тогда я не видел того, что ныне мне совершенно ясно: что знания, накопленные Лигейей, были грандиозны, ошеломляющи; и все же я достаточно понимал ее бесконечное превосходство, дабы с детскою доверчивостью покориться ее путеводству в хаотичной области метафизических исследований, коими я был глубоко поглощен первые годы нашего брака. С каким безмерным торжеством — с каким живым восторгом — с какою огромною мерою всего, что есть неземного в упованиях, *ощутил* я, когда она была со мною во время моих занятий — но мало искал — и еще менее сознавал — ту восхитительную перспективу, что постепенно раскрывалась предо мною, по чьей дальней, роскошной и никем еще не пройденной тропе я мог бы в конце концов пройти к постижению мудрости, слышком божественной и драгоценной, дабы не быть запретной.

Сколь же остро, в таком случае, должно было быть мое огорчение, с каким через несколько лет обнаружил я, что мои справедливые ожидания отлетели от меня неведомо куда! Без Лигейи я был, что дитя, заблудившееся в ночной тьме. Лишь ее присутствие, ее чтения озарили мне ярким светом многие трансцендентальные тайны¹⁰, в которые мы были погружены. Без лучезарного сияния ее очей искристые золотые письма стали тусклее сатурнова свинца¹¹. А очи ее все реже и реже озаряли сиянием своим страницы, над которыми я сидел, не разгибаясь.

Лигейю поразила недуг. Безумный взор сверкал слишком — слишком ярко; бледные персты стали сквозить могильною прозрачностью; и голубые жилки на высоком челе вздувались и опадали при малейшем волнении. Я увидел, что она должна умереть — и душа моя вступила в отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом¹². И моя пылкая жена боролась, к моему изумлению, еще более напряженно, нежели я сам. Многие в ее строгом характере вселило в меня убеждение, будто смерть посетит ее без своих обычных ужасов; но нет! Слова бессильны передать сколько-нибудь верное представление о том, как ожесточенно сопротивлялась она Тени. Я стонал при этом горестном зрелище. Я попробовал было утешать ее — взывать к ее рассудку; но при напоре ее безумной жажды жизни — жизни — только жизни — и утешения, и рассуждения были в равной мере нелепы. Но до самого последнего мига, когда ее иступленный дух пошел до предела мук, наружная безмятежность ее облика пребывала неизменной. Ее голос стал еще мягче — но я не хотел бы останавливаться на буйном смысле тихо произносимых ею слов. Я едва не лишился разума, пока зачарованно внимал мелодии, превосходящей все земные мелодии — предположениям и посягновениям, ранее неизвестным ни одному смертному.

Что она любит меня, мне не следовало сомневаться; и я мог бы легко понять, что в таком сердце любовь не оставалась бы заурядным чувством. Но лишь с ее смертью я целиком постиг силу ее страсти. Долгие часы, держа меня за руку, она изливала предо мною свою пылающую преданность, граничащую с обожествлением. Чем заслужил я благодать подобных признаний? — чем заслужил я проклятие разлуки с моею подругой в тот самый час, когда я их услышал? Но об этом я не в силах говорить подробно. Лишь позвольте мне сказать, что в любви Лигейи, превосходящей женскую любовь, в любви, которой, увы! я был совершенно недостоин, я, наконец, узнал ее тягу, ее безумную жажду жизни, столь стремительно покидавшей ее. Именно эту безумную тягу — эту бешено иступленную жажду жизни — только жизни — я не в силах живописать — неспособен выразить.

В полночь, перед самой кончиной, властно поманив меня к себе, она приказала мне повторить вслух некие стихи, незадолго до того ею сочиненные. Я повиновался. Вот они:

Смотри: спектакль богат
 Порой унылых поздних лет!
 Сонм небожителей, крылат,
 В покровы тьмы одет,
 Повергнут в слезы и скорбит
 Над пьесой грез и бед,
 А музыка сфер надрывно звучит —
 В оркестре лада нет.

На бога мим любой похож;
 Они проходят без следа,
 Бормочут, впадают в дрожь —
 Марионеток череда,
 Покорна Неким, чей синклит
 Декорации движет туда-сюда,
 А с их кондоровых крыл летит
 Незримо Беда!

О, балаганной драмы вздор
 Забыт не будет, нет!
 Вотще стремится пестрый хор
 За Призраком вослед, —
 И каждый по кругу бежать готов,
 Продолжая бред:
 В пьесе много Безумья, больше Грехов,
 И Страх направляет сюжет!

Но вот комедиантов сброд
 Замолк, оцепенев:
 То тварь багровая ползет,
 Вмиг оборвав напев!
 Ползет! Ползет! Последний мим
 Попал в разверстый зев,
 И плачет каждый серафим,
 Клыки в крови узрев.

Свет гаснет — гаснет — погас!
 И все покрывается тьмой,
 И с громом завеса тотчас
 Опустилась — покров гробовой...
 И, вставая, смятенно изрек
 Бледнеющих ангелов рой,
 Что трагедия шла — «Человек»,
 В ней же Червь-победитель — герой¹⁸.

«Господи! — вскричала Лигейя, воспрянув и судорожно воздевая руки горе, как только я дочитал эти строки. — Господи! Отче небесный — неизбежно ли это? — не будет ли Победитель побежден хоть единожды? Или мы — не частица Твоя? Кто — кто ведает тайны воли и силу ее? — Человек не предается до конца ангелам, ниже самой смерти, но лишь по немощи слабыя воли своя».

И тогда ее белые руки бессильно упали, и она, как бы изнуренная нахлынувшими чувствами, торжественно опустилась на смертный одр. И с ее последними вздохами смешался неясный шепот ее уст. Я склонил

к ним ухо и вновь услышал заключительные слова отрывка из Гленвилла: «Человек не предается до конца ангелам, ниже самой смерти, но лишь по немощи славы воли своея».

Она умерла; и я, поверженный во прах скорбью, не в силах был долее выносить унылое одиночество моего жилья в смутном, приходящем в упадок городе близ Рейна. Я не испытывал недостатка в том, что свет называет богатством, Лигейя принесла мне его еще больше, гораздо, гораздо больше, нежели выпадает на долю смертного. Вследствие этого, после нескольких месяцев утомительных и бесцельных скитаний я приобрел и в известной мере заново отделал некое аббатство, о названии которого умолчу, в одной из самых пустынных малолюдных местностей прекрасной Англии. Суровое, наводящее тоску величие здания, почти полное запустение усадьбы, многие грустные и прославленные в веках воспоминания, с нею связанные, весьма гармонировали с чувством крайней потерянности, загнавшим меня в тот отдаленный и неприветливый край. И хотя снаружи аббатство, затянутое зеленою плесенью, претерпело очень мало изменений, я предался ребяческому капризу, быть может, с неясным упованием облегчить мою скорбь, и внутри разубрал жилище более чем по-царски. К подобным причудам я пристрастился еще в детстве, и ныне они возвратились ко мне, как бы впадшему в детство от горя. Увы, я чувствую, что можно было бы обнаружить признаки зарождающегося помешательства в роскошных и фантастических драпировках, в угрюмых египетских изваяниях, в хаосе карнизов и мебели, в сумасшедших узорах толстых парчовых ковров! Я стал покорным рабом опиума, и мои труды и приказания заимствовали окраску моих видений. Но не буду задерживаться на перечислении всех нелепостей. Скажу лишь об одном покое, навеки проклятом, куда в минуту умственного помрачения я привел от аналая как мою жену — как преемницу незабытой Лигейи — светлокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион из Тремейна.

Нет такой мельчайшей подробности в зодчестве и убранстве того брачного покоя, что ныне не предстала бы зримо предо мною. Где были души надменных родичей невесты, когда, снедаемые жаждою золота, они позволили деве, дочери, столь любимой, переступить порог покоя, убранного *таким образом*? Я сказал, что в точности помню любую мелочь покоя — но плачевно запомнил многое, более важное; а в фантастическом обличии покоя не было никакой системы, никакого порядка, ничего, способного удержаться в памяти. Комната помещалась в высокой башне аббатства, построенного на манер замка, была просторна и о пяти углах. Всю южную сторону пятиугольника занимало единственное окно — огромный кусок цельного стекла из Венеции — свинцового оттенка, так что лучи солнца или луны, проходя сквозь него, падали на все с жутким отсветом. Над верхнею частью этого громадного окна простиралась решетка, увитая старой лозой, что карабкалась вверх по массивным стенам башни. Потолок из мрачного дуба, сводчатый и

чрезвычайно высокий, испещряла резьба — очень странный, гротескный орнамент, полуготический, полудруидический¹⁴. Из самой середины этих унылых сводов на одной золотой цепи с длинными звеньями свисал огромный светильник из того же металла, сараинский по рисунку, и многочисленные отверстия в нем были пробиты с таким расчетом, дабы из них, извиваясь, как бы наделенные змеиной гибкостью, непрерывно выскальзывали многоцветные огни.

Несколько оттоманок и золотых восточных канделябров размещались в беспорядке; было там и ложе — супружеское ложе — в индийском стиле, низкое, вырезанное из тяжелого эбена, с пологом, подобным гробовому покрову. По углам покоя стояли на торцах гигантские саркофаги из черного гранита, доставленные из царских гробниц в окрестностях Луксора¹⁵, древние саркофаги, ставшие вечными изваяниями. Но главная фантастичность заключалась — увы! — в драпировках. Стены, гигантски — даже непропорционально — высокие, сверху донизу были увешаны тяжелыми, массивными вышивками — вышивками по такой же ткани, что служила и ковром на полу, и покрывалами для оттоманок и эбенового ложа, и пологом над ним, и роскошными волютами завес, частично скрывавшими окно. Материал этот был драгоценнейшая золотая парча. Ее беспорядочно покрывали арабески, каждая около фута в диаметре, черные, как смоль. Но эти фигуры приобретали характер арабесок лишь при рассматривании с определенной точки зрения. Благодаря некоему устройству, ныне распространенному, а восходящему к самой глубокой древности, они могли менять вид. Вначале они казались вошедшему просто уродливыми; но по мере приближения к ним это впечатление пропадало, и, пока посетитель шаг за шагом продвигался по комнате, он обнаруживал себя окруженным бесконечною вереницею жутких фигур, порожденных норманнским суеверием или возникающих в греховных сновидениях монаха. Фантасмагорический эффект бесконечно усугублялся от искусственно вызванного воздушного потока за драпировками, который сообщал всему непокойную и страшную живость.

В подобных-то палатах — в подобном-то брачном покое — проводил я с леди Ровеной нечестивые часы в первый месяц нашей брачной жизни — проводил их лишь с малым беспокойством. Что жену мою ужасал мой свирепый и тяжелый нрав — что она сторонилась меня и любила меня очень мало — я не мог не заметить; но это скорее доставляло мне удовольствие. Я питал к ней ненависть и отвращение, свойственные скорее демону, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с какою силою сожаления!) к Лигейе, любимой, царственной, прекрасной, погребенной. Я упивался воспоминаниями об ее чистоте, об ее мудрости, об ее возвышенной — ее неземной душе, об ее страстной любви, доходившей до полного самоотречения. И дух мой вполне и вволю пылал — огнями бóльшими, нежели все огни ее духа. В чаду моих опиумных грез (ибо я был постоянно окован узами этого зелья) я громко взывал к ней

порою ночного безмолвия или днем, среди тенистых лесных лошин, как будто дикий жар, высокая страсть, снедающий пламень моей тоски по ушедшей могли способствовать ее возврату на земные тропы, ею покинутые — ах, вправду ли навек?

Примерно в начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразила внезапный недуг, и исцеление ее тянулось долго. Лихорадка, ее изнурившая, лишала ее покоя по ночам; и в болезненной полудремоте она говорила о звуках и движениях внутри и вокруг башни, порожденных, как я заключил, ее расстроенным воображением, а быть может, фантазмагорическим видом самого помещения. Постепенно стала она поправляться — и, наконец, выздоровела. Но прошло совсем немного времени, и второй приступ, гораздо более жестокий, вновь поверг ее на ложе страданий; и от этого приступа тело ее, всегда хрупкое, так вполне и не оправилось. После этого и заболевания ее, и их частые повторения делались все страшнее и страшнее, вопреки и познаниям и великим усилиям ее врачей. В ходе ее недуга, который, очевидно, так завладел ее организмом, что излечить ее было свыше сил человеческих, я не мог не заметить, что усиливалась и ее нервная раздражительность, ее способность волноваться и пугаться по самому пустячному поводу. Все чаще и настойчивее заговаривала она о звуках — о неясных звуках — и о странных движениях за драпировками, о чем упоминала и ранее.

Как-то ночью, к концу сентября, она повела речь об этом мучительном предмете, более обычного пытаюсь направить на него мое внимание. Она только что очнулась от непокойной дремоты, а я следил за чертами ее изможденного лица со смешанным чувством нетерпения и неясного испуга. Я сидел в головах эбенового ложа на одной из индийских оттоманок. Она приподнялась и заговорила напряженным тихим шепотом о звуках, что тогда слышала она, но не я — о движениях, что тогда видела она, но не я. Ветер с шумом колыхал драпировки, и я хотел показать ей (чему, признаться, не вполне верил сам), что именно от него возникают почти неслышные вздохи и едва уследимые изменения арабесок. Но смертельная бледность, покрывшая ей лицо, доказала мне, что все попытки разуверить ее будут бесплодны. Казалось, она вот-вот лишится чувств, а все слуги находились далеко и не услышали бы зова. Я вспомнил, где стоит графин с легким вином, прописанным ей врачами, и поспешно пересек комнату, дабы принести его. Но, попав в лучи, исходящие от светильника, я обратил внимание на два поразительных обстоятельства. Я ощутил, как нечто невидимое, но осязаемое провело близ меня, и увидел, что на золотой ковер, в самой середине яркого светового круга, отброшенного светильником, легла тень — неясная, зыбкая тень, чьи очертания подобны очертаниям ангела — ее можно было счесть тенью тени. Но я был взбудоражен неумеренной дозой опиума, не придав этому значения и ничего не сказал Ровене. Найдя вино, я возвратился к ложу, наполнил бокал и поднес его к устам жены, терявшей сознание. Она, однако, почти пришла в себя и сама взяла

бокал, а я опустился рядом на оттоманку, не сводя глаз с больной. И тогда-то я отчетливо услышал легкие шаги на ковре у ложа; и через мгновение, пока Ровена подносила бокал к устам, я увидел — или это мне померещилось — что в бокал упали, словно из некоего незримого источника, три или четыре большие капли сверкающей жидкости рубинового цвета. Если я это и увидел, то Ровена — нет. Она без колебаний выпила вино, а я не стал говорить о явлении, которое, как я подумал, было всего-навсего внушено мне взвинченным воображением, доведенным до болезненной живости страхами жены, опиумом и поздним часом.

И все же не могу скрыть от самого себя, что сразу после падения рубиновых капель состояние моей жены стало резко ухудшаться; и на третью ночь, последовавшую за этой, руками слуг она была обряжена для гроба, а на четвертую я сидел один около ее тела, повитого саваном, в том фантастическом покое, куда она вошла как новобрачная. Предомною, словно тени, неистово пронеслись видения, порожденные опиумом. Я тревожно взирал на расставленные по углам саркофаги, на различные узоры драпировок и на извивы многоцветных огней в светильнике над головой. А когда я припомнил бывшее ранее, взор мой упал на круг, образованный пылением светильника, туда, где я видел неясную тень. Однако там ее больше не было; я вздохнул свободнее и оборотился к бледному, окоченелому телу, простертому на ложе. И тогда на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и тогда буйно и мятежливо вновь затопило мне сердце то невыразимое горе, с каким я взирал на нее, повитую саваном. Ночь пошла на убыль; но, все исполнен горьких дум о единственной, кого я истинно любил, я, не отводя взора, смотрел на тело Ровены.

Наверное, в полночь, а быть может, раньше или позже, ибо я не следил за временем, рыдание, тихое, нежное, но весьма отчетливое вывело меня из оцепенения. — Я почувствовал, что оно идет с эбенового ложа — со смертного одра. Я слушал, терзаемый суеверным страхом, — но звук не повторился. Я напряг зрение, пытаюсь заметить, не шевельнется ли труп — но ничего не увидел. И все же я не мог обмануться. Я слышал этот звук, сколь бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. Я настойчиво и неотрывно смотрел на тело. Много прошло минут, прежде чем случилось что-либо, способное пролить свет на эту загадку. Наконец, стало ясно, что легкий, очень бледный и едва заметный румянец появился на щеках и вдоль опавших жилок на веках умершей. Обуянный невыразимым ужасом, для передачи которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое не бьется, а члены окоченели. Но чувство долга, наконец, вернуло мне самообладание. Я не мог долее сомневаться, что мы поспешили с приготовлениями — что Ровена еще жива. Необходимо было тут же предпринять что-нибудь; но башня стояла совсем не в той стороне, где находилось крыло аббатства с помещениями для слуг — я бы не мог никого дозваться — их невозможно было позвать на помощь, не выходя надолго

из комнаты — а на это я не осмеливался. Поэтому я в одиночку напрягал все усилия, дабы возвратить дух, парящий поблизости. Однако, вскоре стало ясно, что она впала в прежнее состояние; румянец сошел с ланит и век, оставив более чем мраморную бледность; уста вдвойне сморщились и поджалась в ужасной grimase смерти; очень скоро поверхность тела стала омерзительно липкой и холодной; и немедленно наступило обычное ооченение. Я с содроганием откинулся на тахту, с которой был так резко поднят, и вновь начал страстно грезить наяву о Лигейе.

Так прошел час, когда (возможно ли?) второй раз в мое сознание проник некий неясный звук, идущий со стороны ложа. Я прислушался в крайнем ужасе. Снова этот звук — то был вздох. Бросившись к трупу, я увидел — отчетливо увидел — что уста затрепетали. Через минуту они расслабились и открыли яркую полосу жемчужных зубов. Теперь в сердце моем с глубоким ужасом, дотоле царившим там безраздельно, стало бороться изумление. Я почувствовал, что у меня потемнело в глазах, что рассудок мой помутился; и лишь бешеным усилием я заставил себя выполнять то, к чему снова призывал меня долг. Теперь румянец рдел кое-где на лбу, на щеках, на шее; все тело заметно пронизала теплота; ощущалось даже легкое биение сердца. Она жила; и с удвоенным жаром принялся я возвращать ее к жизни. Я растирал и омывал виски и руки, не забывая ничего, что мог бы подсказать опыт и основательное чтение медицинских книг. Но тщетно. Внезапно румянец исчез, пульс прекратился, губы по-мертвому опали, и еще через миг все тело стало холодным, как лед, посинело, ооченело, линии его расплылись — оно приобрело все отвратительные признаки многодневных насельников могилы.

И вновь погрузился я в грезы о Лигейе — и вновь (удивительно ли, что я дрожу, пока пишу все это?) вновь до ушей моих донеслось тихое рыдание со стороны эбенового ложа. Но к чему излагать в подробностях все несказанные ужасы той ночи? К чему задерживаться на рассказе о том, как, время от времени, почти до той поры, когда забрезжила заря, повторялась кошмарная драма оживания; как любой ужасающий возврат признаков жизни лишь погружал труп во все более суровую и необратимую смерть; как каждая агония представлялась борьбою с неким незримым супостатом; и как за каждым периодом борьбы следовала безумная перемена в наружном виде трупа? Нет, поспешу к развязке.

Ночь почти кончалась, и та, что была мертва, шевельнулась вновь, на этот раз с большею энергией, нежели ранее, хотя это и последовало за омертвением, наиболее ужасным по своей полной безнадежности. Я давно перестал бороться, да и двигаться и недвижимо, скованно сидел на оттоманке, беспомощная жертва урагана бешеных эмоций, из коих крайний ужас являлся, быть может, чувством наименее страшным и поглощающим. Повторяю: труп опять зашевелился, и на сей раз энергичнее прежнего. Краски жизни буйно бросились в лицо — ооченение миновало — и, если не считать того, что веки были крепко сжаты, а погребальные повязки и ткани все еще соединяли тело с могилою, то я мог бы подумать,

будто Ровена в самом деле и полностью сбросила с себя узы Смерти. Но если даже тогда я не мог целиком принять эту мысль, то я, по крайней мере, не мог более сомневаться, когда, встав с ложа, шатаюсь, нетвердыми шагами, не открывая глаз, как бы перепуганное страшным сновидением, то, что было повито саваном, решительно и ощутимо вышло на середину комнаты.

Я не дрожал — я не шелохнулся — рой невыразимых фантазий, навеянных ростом, осанкою, статью фигуры, вихрем пронесся в моем мозгу и обратил меня в камень. Я не шелохнулся — но пристально взирал. В мыслях моих царил безумный хаос — неукротимый ураган. Ужели и вправду передо мною стояла живая Ровена? Ужели и вправду это Ровена — светлокудрая и голубоглазая леди Ровена Тревенион из Тремейна? К чему — к чему сомневаться? Повязки туго обвивали рот — но, быть может, то не был рот живой леди Ровены? А щеки — розы цвели на них, словно в полдень ее жизни — да, в самом деле, это могли быть щеки леди Ровены. И подбородок с ямочками, совсем, как у здоровой, разве это не мог быть ее подбородок? — но что же, неужели она стала выше ростом за время своей болезни? Какое невыразимое безумие обуяло меня при этой мысли? Я прынул и очутился у ног ее! Она отшатнулась при моем касании и откинула размотанную ужасную ткань, скрывавшую ей голову, и в подвижном воздухе покоя заструились потоки длинных, разметанных волос; они были чернее, чем вороново крыло полуночи! И тогда медленно отверзлись очи стоявшей предо мною. «По крайней мере, в этом, — вскричал я, — я никогда — я никогда не ошибусь — это черные, томные, безумные очи — моей потерянной любви — госпожи — ГОСПОЖИ ЛИГЕЙИ!».

КАК ПИСАТЬ РАССКАЗ ДЛЯ «БЛЭКВУДА»

«Во имя пророка — фигу!»

Крик продавцов фи в Турции

Полагаю, что обо мне слышали все. Меня зовут синьора Психея Зенобия¹. Это достоверно мне известно. Никто кроме моих врагов не называет меня Сьюки Снобз. Мне говорили, что «Сьюки» является вульгарным искажением имени «Психея», а это — хорошее греческое имя, означающее «душа» (оно очень ко мне подходит, я — *сплошная душа!*), а также «бабочка»; ну, а это, несомненно, относится к моей внешности, когда я надеваю новое платье малинового атласа, с небесно-голубой арабской *мантильей*, с отделкой из зеленых *agraffas** и семью оборками из оранжевых *auriculas*** . Что касается фамилии Снобз — то на меня достаточно взглянуть, чтобы убедиться, что я не Снобз. Мисс Табита Турнепс распространила этот слух просто из зависти. Табита Турнепс! Этакая негодяйка! Но чего можно ожидать от турнепса? Интересно, помнит ли она старинную поговорку насчет «крови из турнепса»? (Не забыть напомнить ей об этом при первом случае). (Не забыть также показать ей нос). На чем, бишь, я остановилась? Ах, да! Меня уверяют, что Снобз — это искаженное «Зенобия»; что Зенобия была царицей (Я тоже. Доктор Денеггрош всегда называет меня царицей сердец); что Зенобия, как и Психея — слово греческое; что мой отец был «греком»², и, следовательно, я имею право на нашу фамилию — Зенобия, но никоим образом не Снобз. Никто кроме Табиты Турнепс не зовет меня Сьюки Снобз. Я — синьора Психея Зенобия.

Как я уже сказала, обо мне слышали все. Я — та самая Психея Зенобия, пользующаяся заслуженной известностью в качестве корреспондента *Союза Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красно-речивыми Излияниями*. Такое название придумал для нас доктор Денеггрош и придумал, как он говорит, потому, что оно звучит громко, точно пустая бочка из-под рома (Иногда он бывает грубоват, но какой это умный человек!) Все мы ставим эти буквы после наших фамилий, как это делают члены К.Х.О. — Королевского Художественного Общества — члены О.Р.П.З. — Общества по Распространению Полезных Знаний и т. п. Д-р Денеггрош говорит, что «П» означает «протухший» и что все

* Застежек (франц.).

** Здесь: розеток (лат.).

вместе должно читаться «Общество по Распознаванию Протухших Зайцев», а вовсе не общество лорда Брума³ — но доктор Денеггрош такой чудак! — не знаешь, когда он говорит с вами серьезно. Во всяком случае мы всегда прибавляем к нашим фамилиям буквы С. И. Н. И. Е. Ч. У. Л. О. Ч. К. И. — то есть Союз Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями — по букве на каждое слово, гораздо лучше, чем у лорда Брума. Доктор Денеггрош утверждает, будто эти буквы отлично нас описывают, но я право не понимаю, что он этим хочет сказать.

Несмотря на содействие доктора Денеггроша и усиленные старания самого общества привлечь к себе внимание, оно не имело большого успеха, пока туда не вступила Я. По правде сказать, члены общества позволяли себе чересчур легкомысленный тон. Еженедельные субботние доклады отличались более буффонством, нежели глубокомыслием. Так — какой-то гоголь-моголь. Никакого исследования первопричин или первооснов. Да и вообще никакого исследования. Ни малейшего внимания величайшей из проблем — проблеме всеобщего соответствия. Словом, ничего похожего на то, как пишу я. Все было на низком — весьма низком! — уровне. Ни глубины, ни эрудиции, ни философии — ничего того, что ученые зовут духовностью, а невежды — жеманством⁴.

Вступив в общество, я постаралась ввести там более высокие мысли и более изысканный слог, и всему свету известно, что это мне отлично удалось. Сейчас С. И. Н. И. Е. Ч. У. Л. О. Ч. К. И. сочиняют рассказы ничуть не хуже, чем даже в «Блэквуде». Я говорю о «Блэквуде» потому, что слышала, будто лучшие статьи на любую тему можно найти именно на страницах этого заслуженно знаменитого журнала⁵. Мы теперь во всем берем его за образец и поэтому быстро приобретаем известность. Ведь если взяться за дело умеючи, не так уж трудно написать настоящий блэквудовский рассказ. Разумеется, я не говорю о статьях политических. Все знают, как они составляются, с тех пор, как это объяснил доктор Денеггрош. Мистер Блэквуд берет портновские ножницы, а рядом стоят наготове трое учеников. Один подает ему «Таймс», другой — «Экзаминер», а третий — «Руководство по Динь-Бому» мистера Гальюна. Мистеру Блэквуду остается только вырезать и перемешивать. Делается это очень быстро. — «Экзаминер», «Динь-Бом», «Таймс» — потом «Таймс», «Динь-Бом» и «Экзаминер», — а затем «Таймс», «Экзаминер» и «Динь-Бом».

Но главным украшением журнала являются очерки и рассказы на различные темы; лучшие из них относятся к разряду *bizareries**, по выражению доктора Денеггроша (что бы это ни означало), тогда как все другие называют их *сенсационными*. Этот вид литературы я всегда высоко ценила, но о способах его создания узнала лишь после того, как недавно (по поручению общества) посетила мистера Блэквуда. Способ весьма

* Странностей (франц.).

прост, хотя и менее прост, чем для статей политических. Явившись к мистру Блэквуду и изложив ему пожелания нашего общества, я была принята им с большой учтивостью и приглашена к нему в кабинет, где получила точные указания относительно всей процедуры.

— Сударыня, — сказал он, явно пораженный моим величественным видом, ибо на мне было малиновое атласное платье с зелеными *agraffas* и оранжевыми *aurículas*, — сударыня, — сказал он, — прошу вас сесть. Дело обстоит следующим образом. Прежде всего автор сенсационных рассказов должен обзавестись очень черными чернилами и очень большим пером с очень тупым концом. И заметьте себе, мисс Психея Зенобия! — продолжал он после паузы, весьма внушительным и торжественным тоном, — заметьте себе, — это перо — никогда — не следует чинить! Вот, мам, в чем заключен весь секрет и самая душа сенсационного рассказа. Я берусь утверждать, что никто, даже величайший гений, никогда не писал — прошу меня понять — хороших рассказов хорошим пером. Можете не сомневаться; если рукопись легко разобрать, то ее не стоит и читать. Таков один из наших основных принципов, и если вы с ним не согласны, наша беседа окончена.

Он умолк. Не желая кончать беседу, я, разумеется, согласилась со столь очевидным положением, в котором, кстати, давно была убеждена. Он, видимо, остался доволен и продолжал меня настаивать.

— Быть может, мисс Психея Зенобия, с моей стороны было бы дерзостью указывать какой-либо наш рассказ или рассказы в качестве образца; и все же на некоторые из них я должен обратить ваше внимание. Позвольте припомнить. Был, например, «Живой мертвец»⁶ — отличная вещь! Там описаны ощущения одного джентльмена, которого похоронили, прежде чем он испустил дух, — бездна вкуса, ужаса, чувства, философии и эрудиции. Можно поклясться, что автор родился и вырос в гробу. Затем была у нас «Исповедь курильщика опиума»⁷ — великолепное сочинение! — богатство фантазии — глубокие мысли — острые замечания — много огня и пыла — и достаточная доза непонятного. Весьма увлекательный вздор, и читатель проглотил его с наслаждением. Говорили, что автором был Колридж⁸, — ничего подобного. Это было сочинено моим ручным павианом Джунипером за стаканом голландского джина с водой, «горячего и без сахара». (Этому я, пожалуй, не поверила бы, если бы не услышала от самого мистера Блэквуда.) А то еще был «Экспериментатор поневоле»⁹ — о джентльмене, которого запекли в печи, но он оттуда вышел целый и невредимый, хотя и печеный. Или «Дневник покойного врача»¹⁰, где все дело было в громких фразах и плохом греческом языке — и то и другое привлекает читателей. Или, наконец, «Человек в колоколе»¹¹ — вот это произведение, мисс Зенобия, я особенно рекомендую вашему вниманию. Там рассказано о молодом человеке, который засыпает под языком церковного колокола и просыпается от погребального звона. Эти звуки сводят его с ума, и он, вынув записную книжку, записывает свои ощущения. Ощущения — вот, собст-

венно, главное. Если вам случится утонуть или быть повешенной, непременно опишите ваши ощущения — вы заработаете на них по десять гиней за страницу. Если хотите писать сильные вещи, мисс Зенобия, уделяйте особое внимание ощущениям.

— Непременно, мистер Блэквуд, — сказала я.

— Отлично! — заметил он. — Такая ученица мне по душе. Надо, однако, ввести вас в курс некоторых подробностей сочинения настоящего блэквудовского рассказа с ощущениями — то есть такого, который я считаю во всех отношениях лучшим.

Первое, что требуется, это — попасть в такую передрагу, в какой не бывал еще никто и никогда. Вот, скажем, печь — это было отлично задумано. Но если у вас нет под рукой печи или большого колокола, и вы не можете упасть с воздушного шара, или погибнуть при землетрясении, или застрять в каминной трубе, вам придется удовольствоваться воображаемым переживанием чего-либо в этом роде. Однако я предпочел бы, чтобы ваше повествование подкреплялось фактами. Ничто так не помогает фантазии, как приобретенное опытом знание. «Правда, — как вы знаете, — всякой выдумки странней»¹² и к тому же от нее больше толку.

Тут я заверила его, что у меня имеется пара отличных подвязок, на которых я намерена немедленно удавиться.

— Неплохо! — сказал он, — действуйте, хотя это — прием уже несколько избитый. Можно, пожалуй, сделать лучше. Примите дозу пилюль Брандрета, а затем опишите ваши ощущения. Впрочем, мои инструкции одинаково применимы к любой катастрофе, а ведь легко может случиться, что по дороге домой вам проломают голову, или вы попадете под омнибус, или вас укусит бешеная собака, или вы утонете в сточной канаве. Однако продолжим.

Выбрав тему, вы должны будете затем подумать о тоне или манере изложения. Существует тон дидактический, тон восторженный, тон естественный — все они уже достаточно банальны. Есть также тон лаконичский или отрывистый, который сейчас в большом ходу. Он состоит из коротких предложений. Вот так. Короче. Еще короче. То и дело точка. Никаких абзацев.

Есть еще тон возвышенный, многословный, восклицательный. Его придерживаются некоторые из лучших наших романистов. Все слова должны кружиться, как волчки, и жужжать точно так же — это отлично заменяет смысл. Такой слог — лучший из всех возможных, если автору недосуг подумать.

Хорош также тон философский. Если вы знаете какие-нибудь слова подлиннее, тут им как раз найдется место. Пишите об ионийской¹³ и элейской¹⁴ школах — об Архите¹⁵, Горгии¹⁶ и Алкмеоне¹⁷. Упомяните о субъективности и объективности. Не забудьте обругать человека по фамилии Локк. Высказывайте как можно больше пренебрежения ко всему на свете, а если случится написать что-нибудь уж слишком несурзкое, не трудитесь вымарывать; просто сделайте сноску и скажите, что приве-

денной глубокой мыслью обязаны «Kritik der reinen Vernunft»* или «Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft»**. Будет выглядеть и научно, и — ну, и честно.

Существуют и другие, не менее известные, манеры, но я назову еще только две — трансцендентальную и смешанную. Достоинство первой заключается в том, что она проникает в суть вещей гораздо глубже всякой иной. Подобное ясновидение, при некотором умении, бывает весьма эффектно. Многое можно почерпнуть из журнала «Дайел»¹⁹, даже при беглом чтении. В этом случае следует избегать длинных слов; выбирайте короткие и пишите их вверх ногами. Загляните в том стихотворений Чаннинга²⁰ и процитируйте оттуда о «толстом человеке, будто бы что-то умеющем». Упомяните о Верховной Единственности. Но ни слова о Греховной Двоесущности. А главное, это — постичь искусство намека. Намекайте на все — и не утверждайте ничего. Если вам хочется сказать «хлеб с маслом», ни в коем случае не говорите этого прямо. Можете говорить обо всем, что так или иначе приближается к «хлебу с маслом». Можете намекнуть на гречишную лепешку, даже больше того — на овсяную кашу, но если вы в действительности имеете в виду хлеб с маслом, остерегайтесь, дорогая мисс Психея, сказать «хлеб с маслом».

Я заверила его, что больше не сделаю этого ни разу, пока жива. Он поцеловал меня и продолжал:

— Что касается манеры смешанной, то это просто разумное соединение, в равных долях, всех других манер на свете, а потому она одновременно и глубока, и возвышенна, и причудлива, и пикантна, и уместна, и прелестна.

— Предположим, что вы выбрали и тему и манеру. Остается самое важное — я бы сказал, суть — я имею в виду исполнение. Не может джентльмен — да, впрочем, и дама — вести жизнь книжного червя. А между тем совершенно необходимо, чтобы в вашем рассказе была видна эрудиция или, по крайней мере, большая общая начитанность. Сейчас я покажу вам, чем это достигается. Смотрите! (Тут он достал с полки три-четыре тома самого обыкновенного вида и принялся раскрывать их наугад). Пробежав почти любую страницу любой книги, вы легко заметите множество клочков учености или *bel-esprit****, как раз того, чем следует приправлять рассказ для «Блэквуда». Советую записать некоторые из них — сейчас я их вам прочту. Я разделю их на две рубрики: во-первых, *Пикантные Факты для Сравнений*; а во-вторых, *Пикантные Фразы для употребления при случае*. Записывайте. — И я стала записывать под его диктовку.

ПИКАНТНЫЕ ФАКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЙ. «Вначале было всего три музы — Мелета, Мнема, Аэда²¹ — музы размышления, памяти

* «Критике чистого разума» (нем.).

** «Метафизическим начальным основаниям естествознания»¹⁸ (нем.).

*** *Остроумия* (франц.).

и пения». Из этого небольшого факта при умелом пользовании можно извлечь очень много. Видите ли, он мало известен и выглядит *gêcherché**. Надо только преподнести его небрежно и как бы случайно.

Или еще: «Река Алфей²² протекала под морским дном и выходила наружу, сохраняя свои воды чистыми». Это, пожалуй, немного старо, но если должным образом приправить и подать, может показаться вполне свежим.

А вот кое-что получше. «Некоторым кажется, что персидский ирис обладает сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха». Очень тонко! Стоит немного повернуть и получится просто прелесть. Мы возьмем кое-что еще из ботаники. Ничто так хорошо не принимается публикой, особенно с помощью нескольких латинских слов. Пишите! «*Epidendrum Flos Aeris*» с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, даже будучи вырван с корнями. Туземцы подвешивают его на веревке к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет». Великолепно! Но хватит сравнений. Перейдем к Пикантным Фразам.

ПИКАНТНЫЕ ФРАЗЫ. «Классический китайский роман Ю-Киао-Ли»²³. Отлично! Умело вставив эти несколько слов, вы покажете основательное знакомство с языком и литературой Китая. Если воспользоваться ими, можно, пожалуй, обойтись без арабского, санскрита или чикасо²⁴. А вот испанский, итальянский, немецкий, латынь и греческий совершенно обязательны. Я подберу вам образцы каждого из них. Любой отрывок годится, потому что использование его в рассказе — это уж дело вашей изобретательности. А теперь пишите!

«*Aussi tendre que Zaïre*» — нежная, как Заира, — вот вам французская фраза. Имеется в виду частое повторение фразы «*la tendre Zaïre*» во французской трагедии того же названия²⁵. Приведя ее кстати, вы покажете не только ваши познания во французском языке, но и общую вашу начитанность и остроумие. Можно, например, сказать, что курица, которую вы ели (допустим, вы пишете о том, как подавились куриной костью), что эта курица далеко не была «*aussi tendre que Zaïre*». Пишите далее!

Ven muerte tan escondida,
Que no te sienta venir,
Porque el plazer del morir
No me torne á dar la vida.

Это по-испански — из Мигеля де Сервантеса: «Приди скорее, о смерть, но только не показывайся мне, чтобы радость, какую доставит мне твой вид, не возвратила меня к жизни»²⁶. Это можно вставить

* Изысканно (франц.).

весьма кстати, когда вы, подавившись куриной костью, корчитесь в предсмертной агонии. Пишите!

Il pover' huomo che non sen'era accorto,
Andava combattendo, ed era morto.

А это, как видите, по-итальянски — из Ариосто²⁷. Речь идет о славном герое, который в пылу битвы не замечает, что убит, и продолжает доблестно сражаться, хотя и мертв. Очевидно, что и это применимо к вашему случаю — ибо я уверен, мисс Психея, что вы будете дрыгать ножками еще часа полтора после того, как подавитесь до смерти этой самой куриной костью. Извольте записывать!

Und sterb' ich doch, so sterb' ich denn
Durch sie — durch sie!

А вот это по-немецки — из Шиллера: «Пусть это смерть — я смерть вкусил У ног, у ног, у милых ног твоих»²⁸. Здесь вы, понятно, обращаетесь к причине вашей гибели — к курице. В самом деле, какой разумный джентльмен (да и дама тоже) откажется умереть ради откормленного каплуна моллукской породы, начиненного каперсами и грибами и сервированного на блюде с гарниром из апельсинового желе en mosaïques* — Записывайте! (Так их подают у Тортони²⁹). Записывайте, прошу вас!

Вот отличная маленькая латинская фраза и притом редкая (латинские фразы надо выбирать возможно короче и изысканней — уж очень они становятся обиходны) — *ignoratio elenchî*³⁰. Кто-то совершил *ignogatio elenchî* — то есть понял ваши слова, но не мысль. Он попросту дурак. Какой-нибудь бедняга, с которым вы заговорили, когда подавились куриной костью, и который поэтому не вполне понял, о чем вы говорите. Бросьте в него этим *ignogatio elenchî*, и вы его сразу уничтожите. Если он осмелится возражать, можете ответить ему словами Лукана (вот они), что речи — всего лишь анемопае verborum — слова-анемоны³¹. Анемона красива, но лишена запаха. А если он начнет шуметь, обрушьте на него с *insomnia Jovis* — грезами Юпитера — так Силий Италик³² (вот он!) называет напыщенные и высокопарные рассуждения. Это наверняка поразит его в самое сердце. Ему останется только опрокинуться на спину и умереть. Итак, записывайте, прошу вас.

По-гречески надо что-нибудь красивое — вот, например, из Демосфена³³.
'Ανήρ ὁ φεύγων καὶ πάλιν μαχίσεται [Anēr o pheugon kai palin machesetai].
В «Гудибрасе»³⁴ есть недурной перевод —

В бой может вновь пойти беглец —
Не тот, кого настиг конец.

* В виде мозаики (франц.).

В рассказе для «Блэквуда» ничем так не блеснешь, как греческим языком. Одни буквы и те уж смотрят умно. Обратите внимание, мэм, какой пронизательный вид у этого Ипсилона! А Фи право мог бы быть епископом! А до чего хорош Омикрон! А поглядите на Тау! Одним словом, для настоящего рассказа с ощущениями нет ничего лучше греческого языка. В нашем случае применить его чрезвычайно просто. Выпалите цитату тоном ультиматума, с добавлением громового проклятия, прямо в лицо тупоголовому ничтожеству, не сумевшему понять ваших простых английских слов о куриной кости. Будьте уверены, он поймет намек и удалится.

Вот и все указания, какие мистер Блэквуд дал мне на этот предмет, но я почувствовала, что их вполне достаточно. Теперь я могла наконец написать настоящий блэквудовский рассказ, и я решила приступить к делу немедленно. Прощаясь со мной, мистер Блэквуд предложил приобрести мой рассказ, когда он будет написан; но так как он мог предложить всего пятьдесят гиней за страницу, я решила лучше отдать его нашему обществу, чем расстаться с ним за столь ничтожную сумму. Несмотря на такую скупость, этот джентльмен во всем прочем отнесся ко мне с большим уважением и был чрезвычайно учтив. Его прощальные слова глубоко запали мне в сердце; и я надеюсь, что всегда буду с признательностью их помнить.

— Дорогая мисс Зенобия, — сказал он со слезами на глазах, — не могу ли я чем-либо еще содействовать успеху вашего достохвального предприятия? Дайте подумать. Возможно, что вам не удастся в ближайшее время утонуть — или подавиться куриной костью — или быть повешенной — или укушенной — но постойте! Я вспомнил, что во дворе есть пара отличных бульдогов — превосходных, поверьте мне — свирепых и все такое прочее — самое для вас подходящее — они вас разорвут, вместе с aurículas, менее чем за пять минут (по часам!) — и подумайте только, что это будут за ощущения! Эй! Том! — Питер! — Дик, где ты там, негодяй? — выпусти их! — Но так как я страшно спешила и не имела ни минуты, пришлось, к сожалению, поторопиться, и я тотчас распрощалась — признаюсь, несколько поспешнее, чем предписано правилами вежливости.

Расставшись с мистером Блэквудом, я прежде всего хотела, согласно его советам, попасть в какую-нибудь беду и с этой именно целью провела большую часть дня на улицах Эдинбурга в поисках рискованных приключений, которые соответствовали бы силе моих чувств и размерам задуманного мною рассказа. Меня сопровождал при этом слуга-негр Помпей и собачка Диана, которых я привезла с собой из Филадельфии. Но только под вечер я сумела осуществить свою нелегкую задачу. Именно тогда произошло важное событие, послужившее темой нижеследующего рассказа в духе журнала «Блэквуд», написанного в смешанной манере.

ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КОСА ВРЕМЕНИ

*Что так безмерно огорчило вас,
Прекраснейшая дама?»¹*

«Комус»

Был тихий и ясный вечер, когда я вышла пройтись по славному городу Эдине². На улицах царил неописуемый шум и толкотня. Мужчины разговаривали. Женщины кричали. Дети вопили. Свиньи визжали. А повозки — те громыхали. Быки — те ревели. Коровы — те мычали. Лошади — те ржали. Кошки — те мяукали. Собаки — те танцевали. *Танцевали!* Возможно ли? *Танцевали!* Увы, подумала я, для меня пора танцев миновала! Так бывает всегда. Целый сонм печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта-созерцателя, в особенности гения, осужденного на непрестанное, постоянное и, можно сказать, *длительное* — да, *длительное и длящееся* — горькое, мучительное, тревожащее — и да позволено мне будет сказать — *очень* тревожащее воздействие ясного, божественного, небесного, возвышенного, возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной, *поистине* завидной — нет! самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной и, так сказать, самой *миленькой* (если мне простят столь смелое слово) *вещи* в целом мире (прости, любезный читатель!). Однако я позволила себе увлечься. Повторяю, в *такой* душе сколько воспоминаний способен пробудить любой пустяк! Собаки танцевали! А я — я не *могла!* Они резвились — я плакала. Они прыгали — я горько рыдала. Волнующая картина! Образованному читателю она несомненно напомнит прелестные строки о всеобщем соответствии в начале третьего тома классического китайского романа, великолепного *Пью-Чай-ли*.

В моих одиноких скитаниях по городу у меня было два смиренных, но верных спутника. Диана, милый мой пудель! Прелестное создание! На ее единственный глаз свешивался клочок шерсти, на шее был изящно повязан голубой бант. Диана была не более пяти дюймов росту, но голова ее была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, делал ее общей любимицей, и придавал этому незаурядному животному вид оскорбленной невинности.

А Помпей, мой негр! — милый Помпей! Как мне забыть тебя? Я опиралась на руку Помпея. Его рост был три фута (я люблю точность), возраст — семьдесят, а быть может и восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен. Рот его, равно как и уши, нельзя было назвать маленьким

Однако зубы его были подобны жемчугу, а огромные выпуклые бedки сверкали белизной. Природа не наделила его шейей, а щиколотки (что обычно для представителей его расы) поместила в середине верхней части стопы. Он был одет с удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шейного платка в девять дюймов и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде высокому и статному знаменитому доктору Денеггрошу. Это было отличное пальто. Хорошо скроенное. Хорошо сшитое. Пальто было почти новым. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы оно не попало в грязь.

Нас было трое, и двоих я уже описала. Был еще и третий — этим третьим была я сама. Я — синьора Психея Зенобия. А вовсе не Сьюки Снобз. У меня очень импонирующая наружность. В тот памятный день на мне было платье малинового атласа и небесно-голубая арабская мантилья. Платье было отделано зелеными аграфами и семью изящными оборками из оранжевых аурикул. И так, я была третьей. Был пудель. Был Помпей. И была я. Нас было трое. Говорят, что и фурий было первоначально всего три — Мельти, Нимми и Хетти — Размышление, Память и Пидиканье.

Опираясь на руку галантного Помпея и сопровождаемая на почтительном расстоянии Дианой, я шла по одной из людных и живописных улиц ныне опустелой Эдины. Внезапно моим глазам предстала церковь — готический собор — огромный, старинный, с высоким шпилем, уходящим в небо. Что за безумие овладело мною? Зачем поспешила я навстречу року? Меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда взглянуть на огромный город. Дверь собора была открыта, словно приглашая войти. Судьба моя решилась. Я вступила под мрачные своды. Где был мой ангел-хранитель — если такие ангелы существуют? *Если!* Короткое, но злое слово! Целый мир тайн, значений, сомнений и неизвестности заключен в твоих четырех буквах! Я вступила под мрачные своды! Я вошла; ничего не задев своими оранжевыми оборками, я прошла под порталом и оказалась в преддверии храма. Так, говорят, огромная река Альфред протекала под морским дном, не портясь и не промокая.

Я думала, что лестнице не будет конца. *Кругом!* Да, ступени шли кругом и вверх, кругом и вверх, кругом и вверх, пока мне и догадливому Помпею, на которого я опиралась со всей доверчивостью первой привязанности, не пришло в голову, что верхний конец этой колоссальной винтовой лестницы был случайно, а быть может и намеренно, снят. Я остановилась, чтобы передохнуть; и тут произошло нечто слишком важное как в моральном, так и в философском смысле, чтобы можно было обойти это молчанием. Мне показалось — я даже была уверена и не могла ошибиться — ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно наблюдала движения моей Дианы — повторяю, ошибиться я не могла — Диана — *почуяла крысу!* Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он — он согласился со мной. Сомнений быть не могло. Крысу почув-

яли — и почувяла ее Диана. Силы небесные! Как мне забыть глубокое волнение этой минуты? Увы! Что такое хваленый ум человека? Крыса! — она была тут, то есть где-то поблизости. Диана почувяла крысу. А я — я не могла! Так, говорят, прусский Ирис обладает для некоторых сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха.

Наконец лестница кончилась; всего три-четыре ступеньки отделяли нас от ее верхней площадки. Мы поднялись еще, и нам оставался только один шаг. Один шаг! Один маленький шаг! Сколько людского счастья или горя часто зависит от одного такого шага по великой лестнице жизни! Я подумала о себе, потом о Помпее, а затем о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготевшей над нами. Я подумала о Помпее — увы, я подумала о любви! Я подумала о многих ложных шагах, которые сделаны и еще могут быть сделаны. Я решила быть более сдержанной, более осторожной. Я отняла у Помпея свою руку и сама, без его помощи, преодолела последнюю ступеньку и взошла на колокольню. Мой пудель тотчас последовал за мной. Помпей остался позади. Стоя на верху лестницы, я ободряла его. Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, выпустил пальто, которое придерживал. Ужели боги не устанут нас преследовать? Пальто упало, и Помпей наступил на его длинные, волочившиеся полы. Он споткнулся и упал — такое следствие было неизбежно. Он упал вперед и своей проклятой головой ударился в мою — в мою грудь; увлекая меня за собою, он свалился на твердый, омерзительно грязный пол колокольни. Но моя месть была решительной, немедленной и полной. Яростно вцепившись обеими руками в его шерстистую голову, я выдрала большие клочья этой жесткой, курчавой черной шерсти и с презрением отшвырнула их прочь. Они упали среди колокольных веревок и там застряли. Помпей поднялся и не произнес ни слова. Он лишь жалобно посмотрел на меня своими большими глазами и — вздохнул. О боги — что это был за вздох! Он проник в мое сердце. А эти волосы — эта шерсть! Если бы я могла до нее дотянуться, я омыла бы ее слезами раскаяния. Но увы! Она была теперь недосыгаема. Качаясь среди колокольных веревок, она казалась мне все еще живою. Мне чудилось, что она встала дыбом от негодования. Так, говорят, *Хэппиденди Флос Аэрис* с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, если его выдернуть с корнями. Туземцы подвешивают его к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет.

Мы помирились и оглянулись вокруг себя, ища отверстия, из которого открывался бы вид на город Эдину. Окон там не было. Свет проникал в мрачное помещение только через квадратный проем диаметром около фута, находившийся футах в семи от пола. Но чего не совершит энергия истинного гения! Я решила добраться до этого отверстия. Под ним находилось множество колес, шестерен и других таинственных частей часового механизма, а сквозь отверстие шел от этого механизма железный стержень. Между колесами и стеной едва можно было протиснуться —

но я была исполнена отчаянной решимости и упорствовала в своем намерении. Я подозвала Помпея.

— Видишь это отверстие, Помпей? Я хочу оттуда выглянуть. Стань прямо под ним — вот здесь. Теперь вытяни руку, и я на нее встану — вот так. А теперь другую руку, Помпей, и я влезу тебе на плечи.

Он сделал все, чего я хотела, и, когда я выпрямилась, оказалось, что я легко могу просунуть в проем голову и шею. Вид открывался дивный. Ничто не могло быть великолепнее. Я только велела Диане вести себя смирно, а Помпея заверила, что буду его щадить и постараюсь не слишком давить ему на плечи. Я сказала, что буду с ним нежна — «*осси тандр ке бифштекс*»*. Проявив таким образом должное внимание к моему верному другу, я с восторгом и упоением предалась созерцанию пейзажа, столь услужливо представившегося моему взору.

Впрочем, на эту тему я не буду распространяться. Я не стану описывать город Эдинбург. Все побывали в Эдинбурге — древней Эдине. Я ограничусь важнейшими подробностями собственных злоключений. Удовлетворив отчасти свое любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я успела затем оглядеть церковь, в которой находилась, и изящную архитектуру ее колокольни. Я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов и снизу должно было казаться дырочкой для ключа, какие бывают у французских карманных часов. Оно несомненно предназначалось для того, чтобы часовой мастер мог просунуть руку и в случае надобности перевести стрелку изнутри. Я с изумлением увидела также, насколько велики эти стрелки, из которых более длинная имела в длину не менее десяти футов, а в самом широком месте — около девяти дюймов ширины. Стрелки были, как видно, из твердой стали, и края их казались очень острыми. Заметив эти и некоторые другие подробности, я снова обратила свой взор на великолепную панораму, расстилавшуюся внизу, и погрузилась в ее созерцание.

Спустя несколько минут меня отвлек от этого голос Помпея, который заявил, что дольше не может выдержать, и попросил, чтобы я была так добра и слезла. Требование было неблагоразумным, и я ему это высказала в довольно пространной речи. Он отвечал, но явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик сказала ему, что он дурак, совершил «*игнорабус*» и «*клянчит*»; что все его понятия — «*инсоммари явис*», и слова не лучше — какие-то «*аниманиаборы*». Этим он, по-видимому, удовлетворился, а я вернулась к созерцанию.

Через какие-нибудь полчаса после нашей словесной стычки, все еще поглощенная божественным ландшафтом, расстилавшимся подо мною, я вздрогнула от прикосновения чего-то очень холодного, слегка нажавшего мне сзади на шею. Излишне говорить, как я перепугалась. Я знала, что Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, по моему строгому при-

* Нежна, как бифштекс (испорч. франц.).

казу, сидит на задних лапках в дальнем углу помещения. Что же это могло быть? Увы! Я слишком скоро это узнала. Слегка повернув голову, я к своему величайшему ужасу увидела, что огромная, блестящая минутная стрелка, подобная мечу, обращаясь вокруг циферблата, достигла моей шеи. Я поняла, что нельзя терять ни секунды. Я рванулась назад — но было слишком поздно. Я уже не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она попала и которая продолжала смыкаться с ужасающей быстротой. Ужас этого мгновения невозможно себе представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было пытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась все ниже, ниже и ниже и все ближе ко мне. Я позвала на помощь Помпея, но он сказал, что я его обидела, назвав старым дураком, который клянчит. Я громко позвала Диану, но та ответила только «вау, вау» и еще, что я «не велела ей ни в коем случае выходить из угла». Итак, от моих спутников нечего было ждать помощи.

Между тем массивная и страшная *Коса Времени* (ибо теперь я поняла буквальное значение этой классической фразы) продолжала свое безостановочное движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на целый дюйм впился в мое тело, и мысли мои начали мешаться. Я видела себя то в Филадельфии, в обществе статного доктора Денеггроша, то в приемной мистера Блэквуда, где слушала его драгоценные наставления. А потом вдруг нахлынули сладостные воспоминания о прежних, лучших днях, и я перенеслась в то счастливое время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был менее жестокосерд.

Тиканье механизма забавляло меня. Повторяю — *забавляло*, ибо теперь мое состояние граничило с полным блаженством, и каждый пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее *тик-так, тик-так, тик-так* звучало в моих ушах дивной музыкой и порою даже напоминало прекрасные проповеди доктора Оллапода³. А крупные цифры на циферблате — какой умный у них был вид! Они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне понравилось исполнение ее цифрой V. Она, несомненно, получила отличное воспитание. В ней не было ничего вульгарного, а в движениях — ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, крутясь на своем остром конце. Я попыталась было предложить ей стул, ибо она казалась утомленной танцем — и только тут вполне поняла свое безвыходное положение. Поистине безвыходное! Стрелка врезалась мне в шею уже на два дюйма. Я ощущала нестерпимую боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно повторяла прекрасные стихи поэта Мигеля де Сервантеса:

Ванни Бюрен⁴, тан эскондида,
Квори но ти сенти венте
Полк на пляже делли мори
Номми, торни, дари види.

Но меня ожидало новое бедствие, невыносимое даже для самых крепких нервов. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как трудно будет без них обойтись, один из них вывалился и, скатившись с крутой крыши колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания. Не столь обидна была потеря глаза, сколько нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он глядел на меня, после того как выпал. Он лежал в водосточном желобе у меня под носом и напускал на себя важность, которая была бы смешна, если бы не была противна. Никогда еще ни один глаз так не хлопал и не подмигивал. Подобное поведение моего глаза не только раздражало меня своей явной дерзостью и гнусной неблагодарностью, но и причиняло мне крайнее неудобство вследствие средства, которое всегда существует между двумя глазами одной и той же голы, какое бы расстояние их ни разделяло. Поэтому я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с мерзавцем, лежавшим у меня перед носом. Вскоре, однако, пришло облегчение, так как выпал и второй глаз. Он упал туда же, куда его собрат (возможно, тут был сговор). Они вместе выкатились из водостока, и я, признаться, была рада от них избавиться.

Стрелка врезалась мне в шею уже на четыре с половиной дюйма, и ей оставалось только перерезать последний лоскуток кожи. Я испытывала полное счастье, ибо сознавала, что всего через несколько минут придет конец моему неприятному положению. В этих ожиданиях я не обманулась. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка продвинулась на своем страшном пути настолько, что перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделалась от моего туловища. Она скатилась сперва по стене колокольни, на миг задержалась в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, оказалась посреди улицы.

Должна откровенно признаться, что теперь мои ощущения приняли чрезвычайно странный — нет, более того, таинственный и непонятный характер. Мое сознание находилось одновременно и тут, и там. Головой я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена именно в туловище. Желая прояснить свои мысли на этот счет, я полезла в карман за табакеркой, но, достав ее и попытавшись обычным образом применить щепотку ее приятного содержимого, я тотчас поняла свою несостоятельность и кинула табакерку вниз, своей голове. Она с большим удовольствием понюхала табак и улыбулась мне в знак признательности. Вскоре после этого она обратилась ко мне с речью, которую я плохо расслышала за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить при таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Аристо:

Иль повер омо ке нон серри корти
И лиху бился тенти эрри мёртви,

сравнивая меня таким образом с героем, который в пылу битвы не заметил, что он мертв, и продолжал доблестно сражаться. Теперь ничто уже не мешало мне сойти с моего возвышения, что я и сделала. Но что уж такого особенно странного увидел во мне Помпей, я и поныне не знаю. Он разинул рот до ушей, а глаза зажмурил так крепко, точно собирался колоть орехи между век. Затем, сбросив свое пальто, он метнулся к лестнице и исчез. Я бросила вслед негодяю страстные слова Демосфена:

Эндрю О'Флегетон, как можешь бросать меня?

и повернулась к своей любимице, к одноглазой лохматой Диане. Увы! Что за страшное зрелище предстало моим глазам! Неужели это крыса юркнула только что в нору? А это — неужели это обглоданные кости моего ангелочка, съеденного злобным чудовищем? О боги! Что я вижу — не тень ли это, не призрак ли, не дух ли моей любимой собачки сидит в углу с такой меланхолической грацией? Но чу! Она заговорила, и о небо! на языке Шиллера:

Унт штаббн дак, зо штаббн дун
Дук зи! Дук зи!

Увы! Сколько правды в ее словах!

Пусть это смерть — я смерть вкусил
У ног, у ног, у милых ног твоих.

Нежное создание! Она тоже пожертвовала собою ради меня. Без собаки, без негра, без головы, что еще остается несчастной синьоре Психее Зенонии? Увы — ничего! Все кончено.

ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ

Который час?

Известное выражение

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является — или, увы, являлся — голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может лишь весьма немногие из моих читателей в нем побывали. Поэтому, ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно, если я сообщу о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить общественное сочувствие к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно произошедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что мой добровольный долг будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, которыми всегда должен отличаться тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с эпитафиями и медалями, я могу утверждать о Школькофрене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает в настоящее время. Однако замечу, сокрушаясь, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений об этом щекотливом вопросе — из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны — не могу выбрать ни одного, которое можно бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она гласит: «Лексема «фремен» является этимологическим дублетом слова «ремень», что связывается с производством свиноводства в городе, а вследствие этого и производством изделий из свиной кожи». Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculae de Rebus Praeterveteris»*, сочинения Брюхенгромма. Также смотри Вандерстер-

* Небольшие речи о давнем прошлом (лат.).

в ен. De Derivationibus * (стр. 27—5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где тоже можно ознакомиться с постраничными примечаниями Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюккена¹.

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, как было сказано выше, не может быть сомнения, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может заметить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, — около четверти мили в окружности, — и со всех сторон его обступают отлогие холмы, перейти которые еще никто не отважился. Поэтому все горожане с достаточным основанием считают, что по ту сторону холмов вообще ничего нет.

По краям долины (совершенно ровной и полностью вымощенной плоскими кафлями) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем — идущая по кругу дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак нельзя отличить одно от другого. Ввиду большой древности, архитектура у них довольно странная, тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков — красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; над первыми этажами, неуклюже громоздясь, выступают вторые. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши обильно разубраны черепицей с длинными завитками. Деревянные части — темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но вырезают они их отлично, и притом с поразительной изобретательностью — везде, где только найдется место для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратными кафлями; стулья и столы сделаны из дерева, похожего на черное, с тонкими изогнутыми ножками. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются по середине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

* Об образованиях (лат.).

Очаги в домах большие и глубокие, с изогнутыми таганями устрашающего вида. Над вечно горящим огнем — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает добрая хозяйка дома. Обычно это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и оранжевыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли — из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее маленькие тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешиванья свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетицией.

Сами мальчики — их трое — присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные кафтаны с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке — маленькие пузатые часы. Затянутся они — и посмотрят на часы, посмотрят — и затянутся. Тучная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетицией, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, — так что об этом можно не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько крупнее и дыма он пускает больше. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, — а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и по крайней мере один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши — все очень маленькие, кругленькие, масляные и смышленные человечки с большими, как блюда, глазами и толстыми двойными подбородками, а кафтаны у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо крупнее, нежели у простых обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;

«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и

«Что мы будем сидеть возле наших часов и нашей капусты».

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на ко-

торой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города — знаменитые часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов — по одному на каждую из сторон колокольни, — так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный звонарь, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершеннейший вид синекуры, ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случилось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. С глубочайшей древности, упоминания о которой сохранились в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!», все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского звонаря совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиный взирают на него снизу вверх с чувством почтения. Фалды его кафтана *гораздо* длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот *гораздо* больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди»; и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на краже холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на феномен, не отрывая второго глаза от башенных часов.

Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спустился с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый большой лوماка из всех, каких когда-либо видели в Школькофремене. Цветом лица он напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза — как горошины, и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакены и усы скрывали остальную часть его лица. Голова была не покрыта, волосы аккуратно завернуты в папильотки. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки

и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. С одной стороны он прижимал к себе локтем громадную шляпу, с другой — скрипку, почти в пять раз больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он, сбегая с прискоком с холма и выделявая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и, когда он, выделявая курбеты, влетел в городок, тупые носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толкой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь нагло свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот щеголеватый негодяй возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счет.

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй — до полудня оставалось всего полминуты — врзался прямо в их гуцу: тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пирует и «па-де-зефир», вспорхнул прямо на башню, где пораженный звонарь сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь полой скрипки со столь толстым звонарем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному акту мести побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Видимо, в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

— Раз! — сказали часы.

— Расс! — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!» — сказали его часы; «расс!» — сказали часы его фроу; и «расс!» — сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетицией на хвостах у кошки и у свиньи.

— Два! — продолжал большой колокол; и —

— Тфа! — повторили все за ними.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! — сказал колокол.

— Три! Тшетири! Пнать! Тшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять! — ответили остальные.

— Одиннадцать! — сказал большой.

— Отиннатсать! — подтвердили маленькие.

— Двенадцать! — сказал колокол.

— Тфенатсать! — согласились все, удовлетворенно понизив голос.

— Унд тфенатсать тшасофф и есть! — сказали все старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

— Тринадцать! — сказал он.

— Дер Тейфель! — ахнули старички, бледнея, роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен.

— Дер Тейфель! — стонали они. — «Дряннатсать! Дряннатсать! — Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!»

К чему попытки описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.

— Што с моим шифотом? — взревели все мальчики. — Я целый тшас колотаю!

— Што с моей капустой? — визжали все фроу. — Она за тшас вся расфарилась!

— Што с моей трупкой? — бранились все старички. — Дондер унд блитцен; она целый тшас, как покасла! — И в гневе, они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

В то же время все капустные кочаны покраснели, и, казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бесноватые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что металась, царапалась, повсюду совалясь, визжали и верещали, вопили и лищали, кидались людям в лицо и забирались под юбки, — словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какое только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь звонаре. В зубах злодей держал веревку от колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, и страшно, стервец, рисовался, играя «Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти»².

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, выставив этого малого с колокольни.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗРУБИЛИ В КУСКИ

ПОВЕСТЬ О ПОСЛЕДНЕЙ БУГАБУСКО-КИКАПУСКОЙ¹ КАМПАНИИ

*Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau!
La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau.*

Cornille.*

Не могу припомнить, когда и где я впервые познакомился с этим красавцем-мужчиной — бrevet³-бригадным генералом Джоном А. Б. В. Смитом. Кто-то меня ему *представил*, в этом я совершенно уверен — в каком-то собрании, это я знаю точно, — посвященном, конечно, чему-то необычайно важному, — в каком-то доме, я ни минуты в том не усомнюсь, — только где именно, я почему-то никак не могу припомнить. Сказать по чести, при этом я испытывал некое смущение и тревогу, помешавшие мне составить хоть сколько-нибудь определенное впечатление о месте и времени нашего знакомства. По природе я очень нервен — у нас это в роду, и тут уже я ничего не могу поделать. Малейший намек на таинственность, любой пустяк, не совсем мне понятный, мгновенно приводит меня в самое жалкое состояние.

Во всем облике упомянутого господина было что-то ... как бы это сказать... замечательное, — да, *замечательное*, хотя слово это слишком невыразительно и не может передать всего, что я подразумеваю. Росту в нем было, должно быть, футов шесть, а вид чрезвычайно властный. Была во всей его манере некая *air distingué* **, выдающая высокое воспитание, а возможно, и происхождение. В этом вопросе — вопросе о внешности Смита — я хотел бы позволить себе горькое удовольствие быть точным. Его шевелюра сделала бы честь самому Бруту — по блеску и пышности ей не было равных. Цвет воронова крыла — и тот же цвет, или, вернее, отсутствие цвета в его божественных усах. Вы замечаете, конечно, что о последних я не могу говорить без восторга; я не побоюсь сказать, что под солнцем не было других таких усов. Они обрамляли, а кое-где и прикрывали несравненные уста. Зубы бесподобной формы

* Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин!

Увы! Моей души одна из половинок другою сражена.

Корнель (франц.)

** Изысканность (франц.).

блистали невероятной белизной, и в подобающих случаях из его горла лился голос сверхъестественной чистоты, мелодичности и силы. Что до глаз, то и тут мой новый знакомец был наделен совершенно исключительным. За каждый из них можно было, не дрогнув, отдать пару обычных окуляров. Огромные, карие, они поражали глубиной и сиянием, и слегка косили — чуть-чуть, совсем немного, как раз столько, сколько требуется, чтобы придать взору интересную загадочность.

Такой груди, как у генерала, я в своей жизни безусловно не встречал. При всем желании, в ней нельзя было найти ни единого дефекта. Она на редкость шла к плечам, которые вызвали бы краску стыда и неполноценности на лице мраморного Аполлона. У меня к хорошим плечам страсть — смею сказать, что никогда ранее не видел такого совершенства. Руки у него имели форму безукоризненную. Не менее выразительны были и нижние конечности. Это были прямо-таки не ноги, а *plus ultra** прекрасных ног. Любой знаток нашел бы их безупречными. Они были не слишком толсты, и не слишком тонки, без грубости, но и без излишней хрупкости. Более изящного изгиба, чем в его *os femoris*** я и представить не могу, а *fibula**** его слегка выгибалась сзади как раз настолько, сколько необходимо для истинно пропорциональной икры. Мне очень жаль, что мой юный и талантливый друг, скульптор Дребезино не видел ног бретв-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита.

Но хоть мужчин с такой великолепной внешностью на свете совсем не так много, как звезд в небе или грибов в лесу, все же я не мог заставить себя поверить, что то *поражительное* нечто, о котором я говорил, — тот странный аромат *je ne sais quoi*****, который витал вокруг моего нового знакомого, — крылся, — нет, этого не может быть! — исключительно в телесном его совершенстве. Возможно, дело тут было в его *манере*, — впрочем, и тут я ничего не могу утверждать наверняка. В осанке его была некая принужденность, хоть я и побоюсь назвать ее чопорностью; в каждом движении некая прямоугольная рассчитанность и точность, которая в фигуре более мелкой слегка отдавала бы высокомерием, позой или напыщенностью, но в господине масштабов столь внушительных вполне объяснялась сдержанностью или даже *hauteur****** весьма приятного свойства, короче, чувством достоинства, вполне естественным при таких колоссальных пропорциях.

Любезный приятель, представивший меня генералу Смигу, шепнул мне кое-что о нем на ухо. «Замечательный человек — человек *весьма* замечательный — о-о! один из *самых* замечательных людей нашего века! Любимец дам — немудрено — репутация героя».

* Здесь: идеал (лат.).

** Бедренной кости (лат.).

*** Малая берцовая кость (лат.).

**** Чего-то неопределенного (франц.).

***** Гордостью (франц.).

— Тут у него нет соперников — отчаянная голова, настоящий лев, можете мне поверить, — шептал мой приятель, еще пуше понижая при этих словах голос и приводя меня в крайнее волнение своим таинственным тоном. — Настоящий лев, можете мне поверить. Да, он себя показал в последнем сражении с индейцами племени бугабу и кикапу — в болотах на крайнем юге. (Тут мой приятель широко открыл глаза). Господи боже — гром и молния! — кровь потоками — чудеса храбрости! — конечно, слышали о нем? Знаете, он тот самый человек...

— Вот он, тот самый человек, который мне нужен. Как поживаете, мой друг? Что подельваете? Душевно рад вас видеть, — перебил тут моего приятеля подошедший генерал, тряся ему руку и отвешивая мне, когда я был ему представлен, деревянный, но низкий поклон. Помню, я подумал (и мнение свое я не изменил), что никогда в жизни не слышал голоса звучнее и чище, не видел зубов такой белизны; впрочем, должен признаться, что пожалел о том, что нас прервали, ибо мой приятель своим шопотом и недомолвками возбудил во мне живейший интерес к герою бугабуско-кикапурской кампании.

Впрочем, блестящее остроумие бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита вскоре полностью рассеяло эту досаду. Приятель нас тут же оставил, и мы имели долгий tête-à-tête не только приятный, но и весьма поучительный. Мне не доводилось встречать человека, который так легко и в то же время с таким глубоким знанием говорил бы на самые разные темы. И все же он с достойной скромностью избегал касаться предмета, более всего меня волновавшего, — я говорю о таинственных обстоятельствах бугабуской войны; я же, со своей стороны, из вполне понятной деликатности не решался завести о них разговор первым, хотя, признаться, мне чрезвычайно этого хотелось. Я заметил также, что доблестный воин предпочитал философские темы и что с особым вдохновением говорил он о необычайных успехах механики. О чем бы я ни заводил речь, он неизменно возвращался.

— Нет, но вы только подумайте, — говорил он, — мы удивительный народ и живем в удивительный век. Парашюты и железные дороги, капканы на людей и скорострельные ружья! На всех морях наши суда, и с минуты на минуту откроется регулярное сообщение — на воздушных шарах Нассау⁴ — между Лондоном и Тимбукту⁵ — билет в один конец всего двадцать фунтов стерлингов! А кто измерит огромное влияние на жизнь общества — на искусство — торговлю — литературу — исследование — великих принципов электромагнетизма! И это далеко не все, позвольте мне вас заверить. Изобретениям поистине нет конца. Самое удивительное — самое хитроумное — и позвольте вам заметить, мистер... мистер... Томпсон, — если не ошибаюсь? — так вот, позвольте вам заметить, что самые полезные — действительно полезные механические приспособления что ни день появляются, как грибы после дождя, если можно так выразиться, — или, если употребить еще более свободное сравнение, плодятся... гм... как кролики... как кролики, мистер

Томпсон ... вокруг нас ... и гм ... гм ... гм ... возле нас!

Разумеется, меня зовут совсем не Томпсон, но стоит ли говорить, что я попросился с генералом Смитом, чувствуя, что мой интерес к нему возрос неизмеримо, преклоняясь перед его даром собеседника и гордясь тем, что мы живем в век удивительных открытий. Впрочем, любопытство мое не было удовлетворено, и я решил, не откладывая, расспросить своих знакомых о самом бривет-бригадном генерале и особенно о великих событиях *quorum pars magna fuit** во время бугабуской и кикапуской кампании.

Случай мне вскоре представился — и я не замедлил (*horrresco referens***) им воспользоваться — в церкви достопочтенного доктора Трамтарарамма, где однажды в воскресенье во время проповеди я очутился на скамье бок о бок с моей достойнейшей и обаятельнейшей приятельницей мисс Табитой Т. Увидев это, я поздравил себя — не без весьма серьезных оснований — с чрезвычайно удачным положением дел. Если кто-нибудь и знал что-нибудь о бривет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите, то — тут я ни на минуту не сомневался — то была мисс Табита Т. Мы переглянулись, а затем приступили *sotto voce**** к быстрому *tête-à-tête*.

— Смит! — отвечала она в ответ на мою взволнованную просьбу. — Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Господи, я думала, вы о нем все знаете! Век открытий! Удивительный век! Ужасная история — кровавая банда негодяев, эти кикапу — дрался, как герой, — чудеса храбрости — бессмертная слава! Смит! Бривет-бригадный генерал Джон А. Б. В.! Да, знаете, это тот самый человек...

— Человек, — загремел тут во весь голос доктор Трамтарарамм и так грохнул по кафедре, что у нас зазвенело в ушах, — человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальями. Как цветок, он выходит и опадает⁷... — Дрожая, я отпрянул от мисс Табиты, поняв по покрасневшему лицу богослова, что гнев, едва не оказавшийся для кафедры роковым, был вызван нашим перешептыванием. Делать нечего — я покорился судьбе и со смирением мученика выслушал в благоговейном молчании эту прекрасную проповедь.

Следующий вечер застал меня в театре «Чепуха», куда я явился, правда, с некоторым опозданием, в уверенности, что стоит мне только зайти в ложу очаровательных Арабеллы и Миранды Познаванти, всегда поражающих меня своей добротой и всеведением, как любопытство мое будет удовлетворено. Зал был переполнен — в тот вечер Кульминант, этот превосходный трагик, играл Яго, и мне было нелегко объяснить, чего я хочу, ибо ложа наша была крайней и прямо-таки нависала над сценой.

* В коиx сыграл он немалую роль⁸ (лат.).

** Страшно сказать (лат.).

*** Понизив голос (итал.).

— Смит! — сказала мисс Арабелла. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.?

— Смит! — протянула задумчиво Миранда. — Боже! Видали вы когда-нибудь такую несравненную фигуру?

— Никогда, сударыня, но скажите, прошу вас. . .

— Такую несравненную грацию?

— Никогда, даю вам слово! Но, умоляю, скажите мне. . .

— Такое прекрасное чувство сцены?

— Сударыня!

— Такое тонкое понимание подлинных красот Шекспира? Вы только взгляните на эту ногу!

— Черт! — И я повернулся к ее сестре.

— Смит! — сказала она. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? Страшные негодяи, эти бугабу! Дикари — и все такое — но мы живем в век изобретений! Удивительный век! — Смит! — Да! великий человек — отчаянная голова! — вечная слава! — чудеса храбрости! — Никогда о нем не слышали! (Вопль) Господи, да это тот человек. . .

— Вы человек или нет! Где ваше сердце? ⁸ — заорал тут Кульминант мне прямо в ухо, грозясь кулаком с такой наглостью, которой я не намерен был сносить. Я немедленно покинул мисс Познаванти, отправился за кулисы и задал этому жалкому негодю такую трепку, какая, надеюсь, запомнилась ему на всю жизнь.

Я был уверен, что на *soirée* * у прелестной вдовушки миссис Кетлин О'Вист меня не ждет подобное разочарование. Не успел я усесться за карточный стол *vis-à-vis* с моей хорошенькой хозяйкой, как тут же завел речь о тайне, разрешение которой стало столь важным для спокойствия моей души.

— Смит! — сказала моя партнерша. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? — невероятные негодяи эти кикапу! Это вист, мистер Глупп, — не забывайте, пожалуйста! Впрочем, в наш век изобретений, в этот, можно сказать, великий век — век *par excellence* ** — вы говорите по-французски? — просто герой — отчаянная голова! — нет червей, мистер Глупп? Я этому не верю! — вечная слава и все такое — чудеса храбрости! Никогда не слышали?! Какая фигура! А какие ман. . .

— Манн! *Капитан* Манн! — завопила тут какая-то дамочка из дальнего угла. — Вы говорите о капитане Манне и его дуэли? О, пожалуйста, расскажите, я должна это услышать. — Прошу вас, миссис О'Вист, продолжайте, — о, пожалуйста, расскажите нам все! — И миссис О'Вист рассказала — бесконечную историю о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили ⁹, — а лучше б и застрелили, и

* Вечере (франц.).

** В истинном значении этого слова (франц.).

повесили сразу! Да! Миссис О'Вист вошла в азарт, ну а я — я вышел из комнаты. В тот вечер не было уже никакой надежды узнать что-либо о бривет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите.

Я утешал себя мыслью, что не вечно же судьба будет ко мне так неблагоприятна, и потому решил смело потребовать информации на рауте у этого ангела, этой чаровницы, изящнейшей миссис Пируэтт.

— Смит! — сказала миссис Пируэтт, кружась со мной в *pas-de-zéphyr*.

— Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история с этими бугабу, не так ли? — ужасные создания эти индейцы! — тяните носок, тяните носок! Мне просто стыдно за вас! — человек необычайного мужества, бедняга! — но наш век — век удивительных изобретений! — о боже, я совсем задохнулась — отчаянная голова — чудеса храбрости! — никогда не слышали?! — Я не могу этому поверить! — Придется мне сесть и все вам рассказать — Смит! да это тот самый человек. . .

— Век, век, а я вам говорю, Бронзовый век, — вскричала тут мисс Синье-Чулоок, когда я подвел миссис Пируэтт к креслу. — Говорят вам, «Бронзовый век», а вовсе не «Бронзовый внук». Тут мисс Синье-Чулоок властным тоном подозвала меня; пришлось мне волей-неволей оставить миссис Пируэтт, чтобы сказать решающее слово в споре о какой-то поэме лорда Байрона¹⁰. Без долгих размышлений я тут же заявил, что она, конечно, называется «Бронзовый внук» и ни в коем случае не «Бронзовый век», но, вернувшись к креслу миссис Пируэтт, обнаружил, что она исчезла, и тут же удалился, проклиная мисс Синье-Чулоок и всю ее фамилию.

Дело принимало нешуточный оборот, и я решил, не тратя попусту времени, навестить моего ближайшего друга Теодора Клеветона, ибо я понимал, что у него-то я получу хоть какие-то сведения.

— Сми-ит! — сказал он, растягивая, по обыкновению, слога. — Сми-ит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Дикая история с этими ки-капу-у, не так ли? — нет, правда? — отчаянная голова-а ужасно жаль, честное слово! — век удивительных изобретений! — чудеса-а хра-а-брости! — кстати, слышали вы о капитане Манне?

— К черту капитана Манна! — отвечал я. — Продолжайте, прошу вас. . .

— Гм. . . ну, что ж. . . совершенно *la tête cho-o-ose**, как говорят у нас во Франции. Смит? Бригадный генерал Джон А. Б. В.? Ну, знаете ли (тут мистер Клеветон почему-то приставил палец к носу) — не хотите же вы сказать, что никогда не слышали об этой истории — нет, вы признайтесь честно, положи руку на сердце. — Смит? Джон А. Б. В.? Господи! да это же человек. . .

— Мистер Клеветон, — сказал я с мольбой, — неужто это человек в маске?

* То же самое (франц.).

— Не-ет! — протянул он лукаво. — Но и с лу-уны¹¹ он тоже не свалился!

Ответ этот я счел за рассчитанное и прямое оскорбление, а потому тут же в глубоком возмущении покинул этот дом, решив призвать своего друга, мистера Клеветона к ответу за его невоспитанность и недостойное джентльмена поведение.

Тем временем, однако, я не имел мысли отказаться от получения столь важных для меня сведений. Мне оставалось лишь одно. Направиться прямо к источнику. Явиться к самому генералу и потребовать, языком простым и понятным, ответа на эту проклятую тайну. Тут уж не ускользнешь. Я буду краток, властен, деловит, прост, как Писание, и лаконичен, как Тацит¹² и Монтескье¹³.

Было еще утро, когда я нанес свой визит, и генерал совершал туалет, но я объяснил, что у меня к нему срочное дело, и старый негр-камердинер провел меня в спальную, где и оставался во все время моего визита. Войдя в спальную, я оглянулся, ища глазами хозяина, но не тотчас увидел его. На полу, возле моих ног, лежал большой узел какой-то странной рухляди, и так как я был в тот день очень не в духе, я пнул его ногой.

— Гха! гха! не очень-то это любезно, я бы сказал, — проговорил узел каким-то необычайно тихим и тонким голосом, похожим не то на писк, не то на свист. Такого в своей жизни я еще не слышал.

— Гха! Не очень-то это любезно, я бы заметил. . .

Я чуть не вскрикнул от ужаса и отскочил в дальний конец комнаты.

— Господи боже, мой милый друг! — просвистел узел. — В чем. . . в чем. . . нет, в чем же дело? Вы, видно, меня совсем не узнаете.

Что я мог на это ответить? Что?! Я повалился в кресло и — открыв рот и выпучив глаза — стал ждать объяснения этого чуда.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? — прокричало чудовище, производя на полу какие-то странные манипуляции, — похоже, что оно натягивало чулок. Впрочем, нога почему-то была одна и, сколько я ни смотрел, второй ноги я так и не обнаружил.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? Помпей, дай сюда эту ногу! — Тут Помпей подал узлу прекрасную пробковую ногу, обутую и затянутую в лосину, которая и была мгновенно прикручена, после чего узел поднялся с пола прямо у меня на глазах.

— Ну, и кровавая была бойня! — продолжал он свой монолог. — Впрочем, когда воюешь с бугабу и кикапу, было бы глупо предполагать, что отделаешься простой царапиной. Помпей, где же рука? Давай ее сюда, да поскорее! (Поворачиваясь ко мне): — Томас¹⁴ набил себе руку на пробковых ногах, но если вам, мой дорогой друг, когда-нибудь понадобится рука, позвольте мне порекомендовать вам Бишопу. — Тут Помпей привинтил ему руку.

— Да, жаркое было дело! Надевай мне плечи и грудь, пес! Лучшие плечи делает Петитт, но за грудью лучше обратиться к Дюкрау.

— За грудью! — произнес я.

— Помпей, куда же ты запропастился с этим париком? Скальпирование — очень неприятная процедура, но зато у Де Л'Орма можно приобрести такой прекрасный скальп.

— Скальп!

— Эй, черномазый, мои зубы! Хорошие челюсти лучше сейчас же заказать у Пармли — цены высокие, но работа отличная. Я, правда, проглотил великолепную челюсть, когда этот огромный бугабу проломил мне голову прикладом.

— Прикладом! Проломил! Пресветлый боже!

— А-а, кстати, где мой пресветлый глаз? Эй, Помпей, ввинти мне глаз, негодяй! Эти кикапу выдавливают глаза довольно быстро, но доктора Уильямса все же зря оклеветали, вы даже представить себе не можете, как хорошо я вижу его глазами.

Понемногу мне стало ясно, что этот предмет, который стоял передо мной, этот предмет был не что иное, как мой новый знакомец, бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит. Усилиями Помпея в его внешности произведены были разительные перемены. Один только голос все еще немало меня тревожил, но даже явная эта тайна вскоре получила объяснение.

— Помпей, черномазый мерзавец, — пропищал генерал. — Ты, видно, хочешь, чтоб я ушел без неба?

На что негр, бормоча извинения, приблизился к своему хозяину, с видом бывшего жокея открыл ему рот и очень ловко вставил ему какую-то ни на что не похожую штуку, назначение которой было мне совсем непонятно. Однако в лице генерала немедленно произошла разительная перемена. А когда он опять заговорил, в голосе его вновь зазвучала вся та глубокая мелодичность и звучность, которая поразила меня при нашем первом знакомстве.

— Черт бы побрал этих мерзавцев! — сказал он таким зычным голосом, что я положительно вздрогнул. — Черт бы их побрал! Они не только вбили мне в глотку все небо, но еще и позаботились о том, чтобы отрезать семь восьмых — никак не меньше! — моего языка. Впрочем, в Америке есть Бонфанти, — равного ему не сыщешь! — все эти предметы он делает бесподобно. Я могу с уверенностью рекомендовать его вам (тут генерал поклонился) — поверьте, я это делаю с величайшим удовольствием.

Я, как полагается, ответил на его любезное предложение, и тут же с ним распрощался, составив себе полное представление о том, в чем тут дело, и получив разъяснение тайны, которая мучила меня так долго. Все было ясно. Случай был прост. Бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит был тот самый человек — тот самый человек, которого изрубили в куски.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

*Son coeur est un luth suspendu;
Sitôt qu'on le touche il résonne.*

*De Béranger**

В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеро́в. Не знаю, отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю «невыносимую», ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид — на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья — на хмурые стены — на пустые окна, похожие на глаза, — на редкую, высохшую осоку — и на редкие белые стволы гнилых деревьев — и испытал совершенный упадок духа, который могу изо всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума, — горький возврат к действительности — ужасное падение покрывала. Сердце леденело, замирало, ныло — ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же — подумал я — что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеро́в? Тайна оказалась неразрешимой; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что, хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление, им производимое; и, последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего черного озера, невозмутимо мерцавшего рядом с домом, и посмотрел вниз — но с еще большим содроганием — на отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы, окна.

* Его сердце — вислящая лютя,
Коснешься — и она зазвучит!

Де Беранже (франц.)

И все же я предполагал провести несколько недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества; но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо — письмо от него — на которое, ввиду его отчаянной настойчивости, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге — об изнуряющем его душевном расстройстве — и о снедающем желании видеть меня, его лучшего, да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большее — очевидная *пылкость* его мольбы — не оставили мне места для колебаний; и я незамедлительно откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным.

Хотя в отрочестве мы были очень близки, я по-настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времен отличался необычно душевною чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведений искусства, а с недавних пор — в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже не к привычным и легко узнаваемым красотам музыки, но к ее изыскам. Узнал я и весьма замечательный факт: что родословное древо Ашеров никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей; иными словами, что весь род продолжался по прямой линии и что так было всегда, лишь с весьма незначительными и скоропреходящими исключениями. Быть может, раздумывая я, мысленно дивясь, сколь полно облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев, и гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй — быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну в конце концов так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чудное и двузначное наименование «Дом Ашеров» — наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок.

Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт — взгляд на отражения в воде — лишь углубил необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной — почему бы не назвать ее так? — моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, ждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странною фантазией — фантазией, воистину столь нелепою, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так обвинил воображение, что вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им да ближайшим окрестностям —

атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но поднявшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера — нездоровая и загадочная, оупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка.

Отогнав от души то, что не могло не быть грезой, я с большею пристальностью осмотрел истинное обличие здания. Казалось, главной его чертою была крайняя ветхость. Века сильно переменили его цвет. Все здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкою, спутанною сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте; и глазам представало вопиющее несоответствие между все еще безупречной соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многие напоминало мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожимом ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спустилась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера.

Заметив все это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий лакей повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многие по дороге туда, не знаю уж каким образом, усиливали неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг — резьба потолков, мрачные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантастические латы, громышавшие от моих шагов, — было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное — и я не мог этого не признать — я все же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину.

Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, остроконечные окна находились так высоко от черного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны; однако глаз тщетно пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбою потолке. На стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферою скорби. Все пронизывала суровая, глубокая и безысходная мрачность.

Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими

в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели; и несколько мгновений, пока он молчал, я взирал на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица; большие влажные глаза, полные несравненного блеска; губы, довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку; тонкий нос еврейского типа, но с необычно широкими для подобной формы ноздрями; изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперед, что говорило о душевной слабости; волосы мягче и тоньше паутины — эти черты, в сочетании с непропорционально высоким лбом, составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих черт и их выражения так их меняла, что я усумнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном.

В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность — некий алогизм; и я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь — крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен и его письмом, и некоторыми особенностями его отроческих лет, и выводами, сделанными из наблюдений над свойствами его необычного организма и темперамента. Он был то оживлен, то подавлен. Голос его резко переходил от неуверенной дрожи (когда бодрость совершенно угасала) к того рода энергической сжатости — тому крутому, неторопливому и гулкому произношению — тем тяжеловесным, уравновешенным, безукоризненно модулированным гортанным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности.

Таким-то образом говорил он о цели моего посещения, о горячем желании повидать меня и об облегчении, им от меня ожидаемом. Он довольно пространно объяснил мне то, что считал природою своей болезни. То был, по его словам, врожденный и наследственный недуг, лекарство от которого он отчаялся найти — просто-напросто нервное расстройство, тут же прибавил он, которое, несомненно, скоро пройдет. Выразалось оно в обилии противоестественных ощущений. Иные из них меня интересовали и повергли в растерянность; хотя, быть может, повлияли отдельные его слова и общая манера повествования. Он очень страдал от

болезненной обостренности чувств; он мог есть лишь самую пресную пищу; он мог носить одежду только из определенной материи; всякий запах цветов угнетал его; свет, даже тусклый, терзал ему глаза; и лишь особые звуки струнных инструментов не вселяли в него ужас.

Я понял, что он во власти ненормальной разновидности страха. «Я погибну, — сказал он, — я должен погибнуть от этого прискорбного помешательства. Так, так, а не иначе, наступит меня конец. Я боюсь грядущих событий, не их самих, а того, что они повлекут за собою. Дрожь пронизывает меня при мысли о любом, пусть самом ничтожном случае, способном воздействовать на мою непереносимую душевную чувствительность. Нет, меня отвращает не опасность, а ее абсолютное выражение — ужас. При моих плачевно расшатанных нервах я чувствую, что рано или поздно придет время, когда я вынужден буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком, во время какой-нибудь схватки с угрюмым призраком — страхом».

Постепенно я узнал из несвязных и малопонятных намеков еще об одной необычной черте его душевного состояния. Он был окован некоторыми суеверными представлениями относительно своего жилища, откуда он в течение многих лет ни разу не выезжал, — относительно влияния о предполагаемой силе которого он поведал в выражениях, чрезмерно туманных, дабы их здесь пересказывать, — влияния, какое известные особенности зодчества и материала его фамильного замка ввиду многолетней привычки обрели над его душою, — таков был эффект, произведенный обликом серых башен и стен и тусклого озера, куда они все смотрели, на духовное начало его существования.

Однако он признался, хотя и не сразу, что столь обуявшая его необычная унылость во многом зависела от более естественной и более веской причины: от беспощадной и длительной болезни — говоря по правде, от несомненно приближающегося угасания — нежно любимой сестры, его единственного друга на протяжении долгих лет, последней из его родни на свете. Ее кончина, сказал он с незабываемой горечью, ее кончина оставит его (его, безнадёжного, хрупкого) последним в древнем роде Ашеров. Пока он говорил это, леди Маделина (так ее звали) прошла по отдаленной части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на нее с полным изумлением и не без испуга; и все же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотри на нее, я цепенел. Когда, наконец, за нею закрылась дверь, я тотчас, бессознательно и нетерпеливо, повернулся к брату; но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность еще сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились обильные, жаркие слезы.

Болезнь леди Маделины долго ставила втупик ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь;

но в сумерки того дня, когда я приехал (как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат), она сдалась обессиливающему могуществу разрушительницы; и я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним и что я более не увижу ее — по крайней мере, живую.

Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени; и это время я был поглощен настойчивыми попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, все глубже допуская меня к тайникам его души, тем с большею горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и непреременная особенность, изливался на все духовное и материальное единым и непрерывным излучением тоски.

Вовеки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом наедине с властелином Дома Ашеров. И все же мне бы не удалась никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фон Вебера². Из картин, которые разрабатывала его изощренная фантазия и которые, мазок за мазком, наделялись зыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную, что необъяснимую — из его картин (как живо ни стоят сейчас предо мною их образы) я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю, поддающуюся словесному выражению. Полною простотою, наюгу четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере, для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, кои моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез Фюзели³.

Одно из фантазмагорических творений моего друга, не столь беспощадно отвлеченное, хотя и в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неизмеримо длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землю. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света; и все-таки по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием.

Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшим для страдальца невыносимую всякую музыку, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которую он был ограничен, — гитара — в значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая легкость его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий (ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами) итогом той напряженной умственной собранности и сосредоточенности, о коей я упоминал ранее как о наблюдаемой лишь в мгновения особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого разума пошатнулся. Стихи, озаглавленные «Заколдованный чертог»⁴, звучали приблизительно, а быть может, и в точности, так:

I

Добрых ангелов обитель,
 Расцветал зеленый лог;
 Там, равнины повелитель,
 Воздымал главу чертог.
 Где владенья Мысли были,
 Он стоял!
 Век над лучшим краем крылий
 Серафим не простираал.

II

Золотистые знамена
 Осеняли светлый кров
 (Было так во время оно,
 В бездне веков);
 И каждый ветерок, что вился
 Вокруг знамен,
 От пышной крыши уносился
 Благоуханьем напоен.

III

Виден странникам в долине
 Танец был сквозь два окна,
 Духов, полных благостыни;
 Лютя там была слышна.

Что наполнила волной гармоний
 Роскошный зал —
 Порфиородный там на троне
 Властитель края восседал.

IV

Сияли на вратах чертога
 Рубины, перлы в те года —
 Лилось там много, много, много
 Искрящихся всегда
 Прелестных Звуков без начала,
 Чья цель была
 Петь гимны, дабы в них звучала
 Уму владетеля хвала.

V

Но в черных ризах злые духи
 Напали на чертог царя;
 (Ах, восскорбим: среди разрухи
 Не запылает вновь заря!)
 И прошлой славы ликованье
 Во всем краю кругом —
 Лишь полустертое преданье
 О сгинувшем былом.

VI

И видят путники в долине:
 Сквозь окна льется красный свет
 И чудища кружатся ныне
 Под музыку, где лада нет;
 А в своде врат поблекших вьется
 Нечистых череда,
 Хохочут — но не улыбнется
 Никто и никогда.

Отлично помню, что эта баллада наводила нас на цепь размышлений, делавших ясною одну мысль Ашера, о коей упоминаю не ради ее новизны (ибо так думали и другие)^{1*}, но из-за упорства, с каким он ее отстаивал. Мысль эта, в общем, сводилась к мнению о том, что все растительное наделено чувствительностью⁸. Но в его расстроенном воображении

^{1*} Уотсон⁵, д-р Персиваль⁶, Спалланцани⁷ и в особенности епископ Ландафф. — См. «Очерки по химии», том V.

эта идея приобрела более дерзновенный характер и, при некоторых случаях, вторглась в царство неорганической материи. У меня нет слов, дабы выразить всю меру и бесконечную полноту его убежденности. Представление это, однако, связано было (как я намекал ранее) с серыми камнями его дедовской усадьбы. Чувствительность этого дома, по его понятиям, образована была методом соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшею их и стоящие окрест гнилые деревья — и, прежде всего, длительной, ничем не смущаемой незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность эта существует, заключалось, по его словам (и, пока он говорил это, я вздрогнул), в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен. Последствия можно было усмотреть, добавил он, в том безгласном, но неослабном и ужасающем влиянии, что долгие века ваяло судьбы его рода и сделало его таким, каким я теперь его вижу, — таким, каким он стал. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и я от них воздержусь.

Наши книги — книги, что многие годы составляли немаловажную часть умственной жизни больного, — как и следовало предполагать, пребывали в строгом соответствии с его фантастическими понятиями. Мы внимательно перечитывали такие труды, как «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе⁹; «Бельфагор» Макиавелли¹⁰; «Небо и ад» Сведенборга¹¹; «Подземное путешествие Николаса Климма» Хольберга¹²; «Хиромантию» Роберта Флада¹³, Жана д'Эндажине¹⁴ и Делашамбра¹⁵; «Путешествие в голубую даль» Тика¹⁶ и «Город Солнца» Кампанеллы¹⁷. Любимую книгую Ашера был изданный в восьмую листа томик — «Directorium Inquisitionum», сочинение доминиканца Эймерика де Жиронна¹⁸; а некоторые строки Помпония Мелы¹⁹, посвященные древним африканским сатирам и эгиптянам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу, напечатанную готическим шрифтом в четвертую листа, — руководство некоей забытой церкви — «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae».

Я не мог не подумать о странных обрядах²⁰, описанных в этой книге, и об ее неизбежном влиянии на больного, когда как-то вечером, отрывисто уведомив меня о том, что леди Маделины не стало, он высказал намерение на две недели (до окончательного погребения) поместить ее тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина, приводимая в обоснование столь необычайного решения, была такова, что я не счел себя вправе оспаривать ее. Он решился на подобный поступок (как он мне объяснил), размышляя об особом заболевании усопшей, о некоторых настоятельных и неотвязных расспросах со стороны ее врачей, а также ввиду того, что фамильное кладбище находилось далеко и в открытом месте. Не стану отрицать, что, припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытал желания противодействовать тому, что

почел, в крайнем случае, лишь безвредною и вполне естественною предосторожностью.

По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоем, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили (и который не отпирали так долго, что наши факелы, полупогасшие в спертom воздухе, не давали нам возможности много рассмотреть), был маленький, сырой, не допускающий решительно никакого света; пролегал он на большой глубине и прямо под тою частью здания, где находилась моя спальня. По-видимому, в далекие феодальные времена он нес худший из видов службы подземелья в донжоне²¹, а впоследствии им пользовались для хранения пороха или какого-либо иного легко воспламеняющегося вещества, ибо часть пола и весь длинный сводчатый коридор, ведущий к склепу, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь также была укреплена подобным образом. От своего огромного веса она, двигаясь на шарнирах, издавала необычайно резкий скрежет.

Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявшие в этой обители ужаса, мы частично отодвинули еще не привинченную крышку гроба и стали взирать на лик лежащей в нем. Поразительное сходство брата с сестрою впервые бросилось мне в глаза; и Ашер, вероятно, угадав мои мысли, неясно произнес несколько слов, из коих я узнал, что они с успехом — близнецы и что меж ними всегда существовала мало постижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мертвой — ибо мы не могли смотреть на нее без содрогания. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила, как это обычно бывает при всех заболеваниях, по природе сугубо каталептических, легкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительно застывшую улыбку на устах, что так ужасает у мертвецов. Мы завинтили крышку и, заперев железную дверь, с трудом проследовали в немногим менее мрачные апартаменты наверху.

И вот, по прошествии нескольких тяжелых дней, характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения. Его обычная манера держаться исчезла. Его обычные занятия оказались заброшены или забыты. Он бесцельно метался из комнаты в комнату — торопливо, неровным шагом. Бледность его приобрела, если только это возможно, еще более жуткий оттенок — но блеск в глазах его совершенно погас. Раннее голос его иногда звучал глухо, но не теперь; дрожь, трепет, как бы внушенные крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право, мне порою казалось, что его постоянно взволнованный ум пребывает в бредни с некою гнетущею тайною и Ашер напрягается, тщась накопить достаточно сил, чтобы ее поведать. А порою мне приходилось относить все это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия, потому что я наблюдал, как долгие часы он с видом глубочайшей поглощенности сидел, уставясь в одну точку, будто прислушиваясь к некоему воображаемому звуку. Не удивительно, что его состояние ужасало и заражало меня.

Я чувствовал, что мною медленно и неуловимо овладевает неистовое влияние его фантастических, но властных кошмаров.

Я в полной мере испытал власть подобных ощущений, отходя ко сну на седьмой или восьмой вечер после того, как мы отнесли леди Маделину в склеп. Сон и не приближался к моему ложу — а часы текли и текли. Я старался отогнать рассудком охватившую меня нервозность. Я пытался внушить себе, что многое, если не все, из ощущаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне — изодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали вокруг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб постепенно пронизал меня всего; и, наконец, инкуб беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал ее, приподнялся на подушках и, пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался — не знаю, почему, разве что бессознательно — к неким тихим и зыбким звукам, неведомо откуда с большими перерывами доходившим ко мне, когда буря притихала. Обуянный всемогущим чувством ужаса, необъяснимого и непереносимого, я торопливо оделся (ибо чувствовал, что тою ночью мне более не уснуть) и попытался избавиться от моего плачевного состояния, стремительно распахивая взад и вперед по комнате.

Я успел пройти таким образом лишь несколько раз, когда внимание мое привлекли легкие шаги на смежной лестнице. Я вмиг узнал поступь Ашера. Еще мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошел, держа лампу. Он был, по обыкновению, мертвенно бледен — но в глазах его сквозил род безумной веселости — во всем его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня — но что угодно было предпочтительнее моего столь долгого одиночества, и я даже приветствовал его приход как несущий мне облегчение.

— И вы не видели? — отрывисто спросил он после того, как несколько мгновений смотрел, уставясь прямо перед собою, — так не видели? Но постойте! увидите. Сказав это и осторожно прикрыв лампу, он подбежал к одному из окон и рывком распахнул его грозе.

Буйная ярость ворвавшегося вихря чуть не сбила нас с ног. Да, ночь была бурная, но сурово прекрасная, неповторимая по безумной жути и красоте. Видимо, поблизости начался ураган, ибо направление ветра часто и резко менялось; а чрезвычайная плотность туч (они свисали так низко, что давили на башни замка) не мешала нам видеть, как, подобно живым существам, металась они, сталкиваясь, но не уносясь вдаль. Я сказал, что их чрезвычайная плотность не мешала нам это видеть — хотя не проглядывали ни звезды, ни луна, не сверкала и молния. Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всем наземном вблизи от нас, мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что обволакивал дом.

— Вам не надобно — вы не должны это видеть! — дрожа, сказал

я Ашеру и с дружеской настойчивостью увел его от окна и усадил. — То, что так взбудоражило вас, всего лишь довольно-таки обычное электрическое явление — а быть может, его породили омерзительные гнилотные миазмы озера. Давайте закроем окно — воздух очень холодный и для вас опасный. Вот один из ваших любимых рыцарских романов. Я буду читать, а вы слушайте — и так мы вдвоем скоротаем эту ужасную ночь.

Старинный том, взятый мною, был «Безрассудное свидание», сочинение сэра Лонселота Кеннинга²²; но я назвал его любимым романом Ашера скорее в виде невеселой шутки, нежели всерьез; ибо, говоря по правде, немногое нашлось бы в этой неуклюжей, лишенной воображения и многословной книге, способное заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако это была единственная книга под рукой, и я питал смутную надежду, что волнение, охватившее его, может уменьшиться именно от крайней нелепости того, что я собирался читать. Суди я по чрезмерной, взвинченной живости, с какою он слушал или как бы слушал чтение, я мог бы поздравить себя с успехом моего замысла.

Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования, Этельред, после тщетных попыток мирно войти в обиталище пустычника, решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова:

«И Этельред, от природы бесстрашный, а ныне еще более могучий от крепости выпитого вина, не стал долее вести речи с пустынником, упрямым и злобным, но, чувствуя, как льет дождь, и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробоину просунул руку в железной перчатке; он с силою рванул, дернул и начал крушить, так что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатился по всему лесу».

Дочитав эту фразу, я встрепенулся и на мгновение замолк, ибо мне почудилось (хотя я тотчас подумал, что моя возбужденная фантазия меня обманывает) — мне почудилось, будто из какой-то весьма отдаленной части замка до слуха моего дошло нечто, по точному своему подобию могущее быть эхом (но, разумеется, весьма приглушенным и тихим) именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сэр Лонселот Несомненно, я заметил его благодаря совпадению; ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме все возрастающей грозы тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал:

«Но славный рыцарь Этельред, войдя в дверь, был разгневан и изумлен, не увидев и следа злобного пустычника; вместо него ужасный чешуйчатый дракон с огненным языком восседал, сторожа золотой чертог, вымощенный серебром; а на стене висел щит из сверкающей меди с такою надписью:

Кто увидет сюда, тот в боях знаменит;
Кто дракона убьет, тот добудет щит.

И Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове, а тот пал пред ним и испустил свой чумной дух с воплем столь гнусным и пронзительным, что Этельреду пришлось закрыть себе уши ладонями от мерзкого крика, подобного же никогда ранее не слыживали».

Тут я снова замолк, теперь уже от потрясения — ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал (хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шел) тихий и несомненно далекий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет — точное соответствие возникшему в моем воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель.

Пусть при этом необычайном совпадении я был обуян тысячею различивших чувств, среди которых главенствовали изумление и крайний ужас, я все же сохранил достаточно присутствие духа, дабы не тревожить замечаниями чувствительные нервы моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он расслышал эти звуки; но, вне всякого сомнения, за последние несколько минут он странно переменялся. Сидя вначале напротив меня, он постепенно повернул кресло так, чтобы находиться лицом к двери; и поэтому я видел его только в профиль, хотя не мог не заметить, что губы его шевелились, словно он что-то беззвучно шептал. Он уронил голову на грудь — но я знал, что он не спит, ибо глаза его были широко раскрыты и неподвижны. Опровергали эту мысль и его телодвижения — он раскачивался из стороны в сторону, плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив все это, я продолжал читать сочинение сэра Лонселота:

«И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, с коего спали чары, убрал с дороги простертый пред ним труп и отважно направился по серебряному замковому полу к стене, где висел щит; а щит не дожидаясь его прихода, но пал к его ногам на серебряный пол с оглушительным, устрашающим и звонким лязгом».

Не успел я произнести эти слова, как — словно бы и вправду в тот миг медный щит тяжело обрушился на серебряный пол — я услышал далекий, гулкий, явно приглушенный лязг. Полностью утратив самообладание, я вскочил на ноги; но Ашер по-прежнему не переставал раскачиваться. Я кинулся к его креслу. Он с застывшим, каменным лицом, неподвижно смотрел прямо перед собою. Но, как только я положил ему руку на плечо, он содрогнулся с головы до ног: болезненная улыбка затрепетала на его устах; и я увидел, что он забормотал — тихо, торопливо, бессвязно, как бы не сознавая моего присутствия. Низко наклонившись к нему, я наконец понял ужасающий смысл его слов.

— Не слышу? — нет, слышу и слышал. Давно — давно — давно — много минут, много часов, много дней я это слышу — и все же не смел, о, сжальтесь надо мною, несчастным! — я не смел — не смел говорить об этом! Мы положили ее в могилу живою! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Теперь я говорю вам, что слышал ее первое слабое

движение в гулком гробу. Я слышал это — много, много дней назад — но я не смел — я не смел говорить! А теперь — сегодня — Этельред — ха! ха! — треск ломаемой двери пустытника, предсмертный крик дракона, лязг щита — не сказать ли лучше: взламывание гроба, скрежет железной двери ее тюрьмы, ее шаги по медному полу склепа? Ох! Куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать меня в поспешности? Не слышу ли я ее поступь на лестнице? Не чую ли тяжкое, странное биение ее сердца? Безумец! — тут он яростно прынул на ноги и пронзительно закричал, как бы с насадой извергая душу. — *Безумец! Говорят вам, что сейчас она стоит за дверью!*

И, точно сверхчеловеческая энергия его слов обладала силою заклинания, огромные старинные створы, на которые он указывал, тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий эбеновый зев. Это было делом грозового порыва — но за дверьми и в самом деле высилась повитая саваном фигура леди Маделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение, следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на ее исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, — а затем с тихим стенанием пала на грудь брата и в жестоких, теперь уж последних предсмертных схватках повлекла его на пол, труп и жертву предвиденных им ужасов.

Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние; ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна, и яркие лучи ее пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась — дохнул бешеный ураган — передо мною разом возник весь лунный диск — голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены — раздался долгий, бурливый, оглушительный звук, подобный голосу тысячи водных потоков, и глубокое тусклое озеро у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками Дома Ашеров.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

Об этом что сказать? Что скажет совесть,
Угрюмый призрак на пути моем?

Чемберлен¹. „Фаронида“

Позвольте мне называться Вильямом Вильсоном. Не стоит осквернять чистую страницу, лежащую передо мною, моим подлинным наименованием. Оно и без того слишком часто было объектом презрения, ужаса и отвращения со стороны моего рода. Не разнесли ли негодующие ветры его непревзойденную гнусность по отдаленнейшим краям земного шара? О, самый отверженный отщепенец из отщепенцев! — не мертв ли ты навеки для земли? — для ее почестей, ее цветов, ее золотых упований? — и туча, густая, унылая и бескрайняя, не встала ли навеки между твоими упованиями и небом?

Я не стал бы, даже если бы мог, здесь и ныне, описывать последние годы моей жизни, годы несказанного падения и непростительных преступлений. В эту пору, в эти последние годы я падал все ниже и ниже, о начале же моего падения я намерен сейчас поведать. Обычно падение свершается постепенно. С меня же добродетель слетела в единое мгновение, как падает сброшенный плащ. От сравнительно мелких пакостей я прошел шагами гиганта к грехам, превосходящим грехи Элагабала². Какая случайность — какое единое происшествие привело меня к этому? Запаситесь терпением и дайте мне рассказать все до конца. Смерть приближается, и тень, ей предшествующая, своею темнотою утишает мой дух. Проходя сквозь этот туманный дол, я жажду сочувствия — чуть не сказал: «жалости» — моих ближних. Я желал бы убедить их, что являюсь в известной мере жертвою начал, не подвластных человеческой воле. Хотел бы я, чтобы они усмотрели в приводимых здесь подробностях некий малый оазис *фатальности* в пустыне заблуждений. Пусть они признают — а они не могут не признать — что, хоть и в другие времена подвергался человек великим искушениям, но вовеки не подвергался подобному — и, конечно, вовеки не ведал подобного падения. И не потому ли не ведал он и подобных страданий? Разве я воистину жил не во сне? И разве сейчас я не умираю, жертва ужаса и тайны безумнейшего из подлунных видений?

Я отпрыск рода, все представители которого отличались легко возбудимым воображением и темпераментом; и еще во дни моего раннего младенчества стало ясно, что я полностью унаследовал фамильные черты характера. По мере моего роста они развивались все сильнее, становясь

по многим причинам источником серьезных тревог для моих друзей и прямого вреда мне самому. Я сделался своенравным, подвластным неразумнейшим капризам, жертвою самых неукротимых страстей. Бесхарактерные, отягченные духовными изъянами, близкими моим собственным, родители мои могли только в ничтожной мере обуздывать дурные наклонности, которыми я отличался. Некоторые слабые и неумелые попытки привели к их полному поражению и, разумеется, к моему безграничному торжеству. С тех пор мое слово стало в доме законом; и в возрасте, когда еще немногие дети перестают ходить на помочах, я был предоставлен моей собственной воле и стал негласным властителем моих поступков.

Самые ранние воспоминания о моей школьной жизни³ связаны с большим домом елизаветинских времен, стоявшим в окутанной туманами английской деревне, где росло много гигантских корявых деревьев и где все дома были очень стары. Поистине, это почтенное старое селение казалось приснившимся и весьма умиротворяло. Я и теперь как будто чувствую живительную прохладу его аллей, погруженных в глубокую тень, вдыхаю аромат бесчисленных кустов и который раз испытываю невыразимое наслаждение, заслышав гулкий звук церковного колокола, каждый час внезапно и ворчливо вторгавшегося в тишь сумерек, покоивших сон резной готической колокольни.

Пожалуй, наибольшую радость — насколько я сейчас вообще способен испытывать какую-либо радость — доставляет мне припоминание мельчайших подробностей о школе и ее делах. Мне, постигнутому бедою — бедою, увы! слишком подлинною — мне простятся поиски утешения, пусть хрупкого и кратковременного, в зыбкости некоторых случайных частных. При этом они, совершенно незначительные и даже сами по себе ничтожные, приобретают в моем воображении мимолетную важность, будучи связаны с временем и местом, которые явили первые неясные предвещения удела, впоследствии выпавшего мне. Так дайте же вспомнить.

Дом, как я сказал, был стар и неправильной формы. Всю усадьбу окружала высокая и крепкая кирпичная стена, сверху обмазанная известкой и утыканная битым стеклом. Эта стена, похожая на тюремную, очерчивала границы наших владений; все, что находилось по другую ее сторону, мы видели только три раза в неделю — один раз по субботам после полудня, когда в сопровождении двух надзирателей нам всем классом дозволялось в правильном строю совершать краткие прогулки по окрестным полям — и дважды по воскресеньям, когда подобным же образом мы маршировали к заутрене и вечерне в единственную церковь деревни. В этой церкви глава нашей школы был пастором. Дивясь и недоумевая, смотрел я на него с галереи, пока торжественным и замедленным шагом восходил он на кафедру! Велелепный, с благостно чинным видом, в торжественном облачении, ниспадавшем лоснящимися складками, в парике, столь тщательно напудренном, столь жестком и столь обширном, — он ли, совсем недавно, брюзгливо сморщенный, обсыпанный нюха-

тельным табаком, вершил с ферулой в руке драконовы законы училища? О гигантский парадокс, слишком, слишком чудовищный, чтобы поддаться разрешению!

В углу массивной стены хмурились еще более массивные ворота, усеянные железными шипками и увенчанные зубчатыми железными шипами. Как устрашали нас эти ворота! Они открывались только при трех периодических отбытиях и прибытиях, упомянутых ранее; и тогда в малейшем скрипе огромных петель мы находили обилие тайн — бесконечную материю для глубокомысленных высказываний или еще более глубокомысленных размышлений.

Обширная усадьба имела форму неправильного многоугольника. Три или четыре самых больших угла образовывали площадку для игр, гладкую, покрытую мелким и твердым гравием. Прекрасно помню, что там не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-либо подобного. Разумеется, она помещалась позади дома. Перед фасадом был разбит маленький цветник, усаженный буксом и другим кустарником, но в эту священную часть мы попадали уж в очень редких случаях — таких, как первое прибытие в школу или окончательный отъезд оттуда, или, быть может, тогда, когда кто-нибудь из родителей или друзей приезжал за нами, и мы радостно отправлялись домой на летние или рождественские каникулы.

Но школа! — что это было за причудливое старинное здание! — мне оно воистину казалось волшебным дворцом. Его извилистым коридорам и непостижимым закоулкам, право же, не было конца. В каждый данный момент затруднительно было сказать точно, на каком из двух этажей вы находитесь. Из одной комнаты в другую непременно вели три-четыре ступеньки вверх или вниз. Боковые ходы были бесчисленны — невообразимы — они так вились и запутывались, что наши самые точные понятия о доме в целом мало чем отличались от наших представлений о бесконечности. За пять лет моего пребывания в училище я так и не смог точно определить, в каком именно его крыле находился небольшой дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати-двадцати ученикам.

Классная комната была самая большая в здании — и, как мне тогда невольно казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая и удручающе низкая, с заостренными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном, внушавшем ужас углу располагалось отгороженное пространство футов в восемь или десять — *sanctum** главы нашей школы, преподобного доктора Бренсби⁴, на время занятий. Это было солидное сооружение с тяжелой дверью — все мы охотнее согласились бы погибнуть от *reine forte et dure*** , нежели бы открыть ее в отсутствие «*Domini*»***. В других углах находились два похожих чулана, к коим мы

* *Sanctum* [*sanctorum*] (лат.) — святая святых.

** Боли сильной и продолжительной (франц.) — средневековый термин для обозначения пыток.

*** Господина (лат.) — обращение, принятое в школах и семинариях.

испытывали куда меньше почтения, но все же немало их боялись. В одном из них преподавал «классик», в другом — «англичанин и математик». Беспорядочно расставленные по классной комнате, сдвинутые под разными углами, без конца пересекались неисчислимые скамейки и парты, черные, старые, обветшалые, отчаянно загроможденные захватанными книжками, и так исчерченные всяческими инициалами, именами, написанными полностью, карикатурными изображениями и прочими преумноженными созданиями ножа, что они вконец лишились того немногого из их первоначальной формы, что отличало их в давно миновавшие дни. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водою, а в другом — колоссальные часы.

Окруженный массивными стенами сего досточтимого училища, я провёл, пока еще без скуки или отвращения, годы третьего пятилетия моей жизни. Расцветающий детский ум не нуждается во внешнем мире и его событиях для занятий или развлечений; и очевидное унылое однообразие школьной жизни изобиловало более сильными волнениями, нежели те, что в юные годы я почерпнул в разгуле, а в пору возмужалости — в преступлении. И все же я должен предположить, что мое умственное развитие в самом начале заключало в себе много необычного — даже *outré* *. Вообще у людей зрелого возраста от событий самых ранних лет очень редко остаются определенные впечатления, разве лишь неясная память о жалких радостях и фантазмагорических страданиях. Со мною не так. Должно быть, в детстве я с энергией взрослого прочувствовал то, что теперь нахожу напечатленным в памяти столь же глубоко, живо и прочно, как *exergues* ** карфагенских медалей ⁵.

А на деле — если судить, как судит свет, — сколь мало можно припомнить! Пробуждение по утрам, ежевечерний отход ко сну; зубрежка; устные ответы; свободные часы и прогулки; времяпрепровождение, ссоры и шалости на площадке для игр — все это, благодаря давно забытому колдовству воображения, влекло за собою бездну чувств, целый мир многообразных событий, целую вселенную различных эмоций, самых страстных и волнующих дух. *Oh, le bon temps, que ce siècle de fer! ****.

Говоря по правде, своею пылкостью, энтузиазмом и властностью природы я скоро начал выделяться среди однокашников и постепенно, но естественно стал главенствовать надо всеми, кто не очень превосходил меня годами, — за единственным исключением. Исключение это составлял некий ученик, который, хотя и не находился в родстве со мною, но носил то же имя и ту же фамилию, что и я, — обстоятельство, в общем, мало удивительное, ибо, несмотря на знатное происхождение, я носил одно из тех обыденных имен, которые, благодаря установленному испокон веков обыкновению, кажутся неотъемлемым достоянием черни. Поэтому

* Причудливого, ненормального (франц.).

** Надписи (франц.).

*** О, какое хорошее время этот железный век! (франц.).

в настоящем повествовании я назвал себя Вильямом Вильсоном — вымышленным именем, не столь уж отличным от подлинного. И только мой тезка, единственный из тех, что образовывали, по школьной фразеологии, «наш круг», осмеливался состязаться со мною в классных занятиях, в играх и потасовках на рекреационной площадке, отказывался слепо верить моим суждениям и повиноваться моим приказам — короче, он тщился противостоять моей воле в любой области. Ежели и есть на свете высший и неограниченный деспотизм, то это деспотизм, выказываемый в отроческие годы главарем над менее энергическими натурами своих товарищей.

Бунт Вильсона повергал меня в величайшую растерянность; тем более, что, невзирая на браваду, с каковою при посторонних я обходился с ним и его притязаниями, я втайне чувствовал, что боюсь его, и не мог не сознавать, что равенство со мною, которого он так легко достиг, — доказательство его несомненного превосходства, ибо я не был им побежден лишь ценою постоянной борьбы. И все же это превосходство — даже это равенство — было на самом деле признано лишь мною самим; наши одноклассники, по какой-то непостижимой слепоте, казалось, и не подозревали об этом. И в самом деле, его соперничество, его сопротивление и в особенности его дерзкое и упрямое вмешательство в мои намерения были столь же скрыты, сколь и недвусмысленны. Он казался лишенным и честолюбия, толкавшего меня главенствовать, и яростной энергии, делавшей мое главенство достижимым. Можно было предположить, что его соперничество вызывалось единственно капризным желанием обескуражить, ошеломить или подавить меня; хотя временами я не мог не заметить со смешанным чувством изумления, униженности и раздраженности, что со своими оскорблениями, обидами и противоречиями он сочетал некую им решительно не соответствующую и, разумеется, весьма мне неприятную *сердечность* обращения. Я мог только предположить, что это непонятное поведение было порождено законченным самодовольством, принявшим вульгарное обличие покровительства и заступничества.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вкупе с тождественностью наших имен и случайностью, по которой мы поступили в школу в один и тот же день, и пустила в ход среди старшекласников предположение, будто мы были братья. Обычно старшие школьники не выказывают столь пристального любопытства к делам младших. Я сказал или должен был сказать ранее, что Вильсон не был связан с моим семейством даже в наималейшей степени. Но если бы мы были братьями, то уж близнецами: покидая учебное заведение доктора Бренсби, я ненадолго узнал, что мой тезка родился девятнадцатого января 1813 года⁶ — и это в некоторой мере примечательное совпадение, потому что это число — точный день моего появления на свет.

Может показаться странным то, что, несмотря на постоянную тревогу, причиняемую мне соперничеством Вильсона, и его невыносимое стремле-

ние во всем мне противоречить, я не мог заставить себя полностью возненавидеть его. Да, почти каждый день между нами происходили ссоры, во время которых он, публично уступая мне пальму первенства, каким-то образом давал мне понять, что заслужил-то ее он; и все же гордость с моей стороны и неподдельное достоинство — с его вели к тому, что мы не переставали «водиться», в то время как многие родственные черты наших характеров пробуждали во мне чувство, которому, вероятно, лишь установленные меж нами отношения препятствовали вырасти в дружбу. Право, трудно определить или даже описать те чувства, что я по-настоящему питал к нему. То была пестрая и разнородная смесь, в которой заключалась доля грубой враждебности, еще не ставшей ненавистью, немного почтения, побольше уважения, много страха и целая бездна тревожного любопытства. Необходимо добавить для моралиста, что мы с Вильсоном были самые неразлучные из приятелей.

Несомненно, эта ненормальность наших взаимоотношений направила все мои атаки против него (а их было много, явных и скрытых) в русло насмешек или розыгрышей (причиняющих боль под личиною бесхитростной веселости), а не по пути более серьезной и последовательной враждебности. Но мои усилия в этом смысле отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже будучи замыслены с особым остроумием, потому что в характере моего тезки было много той скромной и сдержанной строгости, которая, давая своему обладателю возможность наслаждаться едкостью собственных шуток, сама не таит в себе ничего уязвимого и не подает решительно никаких поводов для смеха над собою. Я нашел у моего соперника лишь одну ахиллесову пяту, и она, эта его странность, обусловленная, быть может, врожденным недугом, была бы пощажена любым противником, менее, чем я, озадаченным выбором средств; мой соперник отличался слабостью органов речи и голосовых связок, не позволявшей ему когда-либо говорить громче *очень тихого шепота*. Этим его недостатком я и пользовался, когда только представлялась возможность.

Вильсон оплачивал мне разными способами; но один род его насмешек надо мною бесил меня сверх всякой меры. Как его пронырливость впервые обнаружила, что подобная мелочь способна досадить мне, — загадка, которую я так и не в силах был разрешить; но, обнаружив эту мелочь, он постоянно изводил меня ею. Я всегда питал отвращение к моей несветской фамилии и заурядному, если не плебейскому, имени. Они отравляли мне слух; и когда в день моего приезда в училище прибыл какой-то другой Вильям Вильсон, я озлился на него за имя и испытал к этому имени удвоенное отвращение, потому что его носит кто-то неизвестный, произносить это имя станут вдвое чаще, и этот чужой будет неразлучен со мною, а его поступки, в обычном течении школьных дел, из-за омерзительного совпадения начнут неизбежно смешивать с моими.

Зародившееся подобным образом чувство досады крепло с каждым случаем, выявлявшим сходство, внутреннее или внешнее, между моим

соперником и мною. Тогда я еще не обнаружил того примечательного факта, что мы ровесники; но я видел, что мы одного роста, заметил, что мы прямо-таки удивительно похожи друг на друга и общими контурами фигуры и чертами лица. Раздражал меня и слух о нашем родстве, прошедший по старшим классам. Одним словом, ничто так не волновало меня (хотя я тщательно скрывал это волнение), как какое-либо упоминание о сходстве в нашей наружности, образе мыслей или свойствах. Но, по правде говоря, у меня не было оснований предполагать, что (за исключением вопроса о родстве и кроме самого Вильсона) кто-либо из наших однокашников это сходство обсуждал или даже заметил. Что он его заметил во всех его проявлениях и наблюдал его так же пристально, как и я, было очевидно; но то, что в подобных обстоятельствах он усмотрел столько возможностей досаждать мне, может быть приписано, как я сказал ранее, лишь его незаурядной проницательности.

Он задался целью передразнивать меня, доведя подражание моим движениям и речи до совершенства, и роль свою выполнял великолепно. Скопировать мою одежду было легко; мою походку и осанку он усвоил без труда; несмотря на свой врожденный дефект, он не упустил даже голоса. Более громкие ноты он, разумеется, и не пытался воспроизводить, но тон — тон был тождествен моему; и его единственный в своем роде шепот стал эхом моего.

Сколь сильно досаждало мне это утонченное изображение (назвать его карикатурой было бы несправедливо), не буду и пытаться описывать. Я утешался лишь одним: тем, что это изображение, по-видимому, заметил только я и что мне придется терпеть понимающие и странно саркастические улыбки лишь со стороны моего тезки. Довольный тем, что добился задуманного, он, казалось, посмеивался втайне над нанесенною им ранюю и был, так характерно для себя, полон пренебрежения к всеобщему восторгу, который могли бы возбудить его остроумные усилия. То, что школа в самом деле не постигала его замыслы, не замечала их выполнение и не участвовала в его насмешках, в течение многих беспокойных месяцев являлось для меня неразрешимой загадкой. Быть может, изящество его изображения делало его трудно замечаемым; или, скорее, моей безопасностью я был обязан утонченному поведению копииста, который, пренебрегая буквой (единственным, что усматривает в картине тупица), полностью выражал дух оригинала, и лишь я один видел это и огорчался.

Я уже не раз говорил об отвратительной снисходительности, которую он напускал на себя, обращаясь ко мне, и о его нередком и назойливом вмешательстве в мое волеизъявление. Это вмешательство часто приобретало форму бесцеремонных советов, советов, даваемых не в открытую, а намеками или обиняком. Я принимал их с отвращением, крепнувшем по мере того, как я рос. И все же, через столько лет, да будет мне позволено воздать ему должное и признать, что я не в силах припомнить ни одного случая, когда предложение моего соперника можно было бы

назвать ошибкою или сумасбродством, присущими его незрелым летам и кажущейся неопытности; что, по крайней мере его нравственное чувство, если не его общая одаренность и житейская мудрость, было куда острее, нежели мое; и что сегодня я мог бы стать лучше и, следовательно, счастливее, когда бы реже отвергал советы, даваемые многозначительным шепотом, советы, которые я всем сердцем ненавидел и озлобленно отвергал.

А так я делался упрямее и упрямее под его противным мне надзором и день ото дня все более открыто возмущался тем, что казалось мне в нем невыносимую надменностью. Я говорил, что в первые годы нашего совместного учения чувства, которые я питал к нему, могли бы с легкостью вырасти в дружбу; но за последние месяцы моего пребывания в училище, хотя он, несомненно, в какой-то мере унялся, мои чувства, в обратной пропорции, приобрели черты прямой ненависти. Один раз он, мне кажется, увидел это и впоследствии избегал меня или делал вид, что избегает.

Примерно в то же самое время, если память мне не изменяет, когда при одной буйной сшибке он, сверх обыкновения, пренебрег осторожностью и начал говорить и действовать с откровенностью, в значительной степени его натуре не свойственной, я обнаружил — или мне показалось, что обнаружил — в его речи, манере держаться, облики — нечто сперва ошеломившее, а после заинтересовавшее меня тем, что воскресило неясные видения моего раннего младенчества, рой бессмысленных и бесвязных воспоминаний о поре, когда и самая память моя еще не родилась. Я не могу лучше описать угнетавшее меня ощущение, чем назвав его уверенностью в том, что я знал стоявшего передо мною когда-то очень давно, в бесконечно далеком прошлом. Заблуждение это, однако, пропало столь же быстро, сколь и появилось; и я упоминаю о нем лишь для того, дабы определить день последней беседы, которую я вел с моим паразитическим тезкой.

В громадном старом доме, при бесчисленном множестве помещений, было несколько обширных покоев, смежных друг с другом, где спало большинство учеников. Но имелось там (что неизбежно в здании, возведенном по столь беспорядочному плану) много закутков и закоулков, случайных выступов постройки, также превращенных в дортуары хитроумной экономией доктора Бренсби; но, будучи просто-напросто чуланами, они могли вместить лишь по одному жильцу. Один из этих маленьких апартаментов занимал Вильсон.

Как-то ночью, к концу моего пятого школьного года, сразу после упомянутой сшибки, обнаружив, что все объята сном, я встал с постели и, взяв лампу, прокрался по лабиринту узких коридоров из своего дортуара в спальню моего соперника. Я давно замышлял сыграть с ним одну из злых шуток, которые дотоле неизменно кончались неудачей. Теперь же я вознамерился привести мой замысел в исполнение и дать ему почувствовать всю степень озлобленности, которая меня обуяла. Дойдя до его

чулана, я бесшумно вошел в него, оставив снаружи лампу, прикрытую абажуром. Я сделал шаг вперед и вслушался в его спокойное дыхание. Уверясь, что он спит, я вернулся, взял лампу и, держа ее, снова подошел к постели, завешанной плотным пологом. Выполняя задуманное, я медленно и тихо отдернул полог, и тогда яркие лучи озарили спящего, а взор мой впился ему в лицо. Я взглянул — и ледяное оцепенение мгновенно пронизало меня. Грудь моя вздымалась, колени подкашивались, духом моим сполна овладел беспочвенный, но невыносимый ужас. Задыхаясь, я приблизил лампу к лицу спящего. И это — это черты Вильяма Вильсона? И хотя я видел, что это его лицо, я трясся, как в лихорадке, предполагая иное. Да что же в нем так ошеломило меня? Я вглядывался, а в мозгу моем проносился вихрь бессвязных мыслей. Не таким он являлся — нет, не таким — в часы бодрствования. То же имя! Тот же облик! Тот же день прибытия в училище! И потом, его бессмысленное и упрямое подражание моей походке, моему голосу, моим привычкам, моим манерам! Неужели же возможно представить в пределах вероятности, будто *увиденное мною сейчас* — лишь следствие постоянного упражнения в этой издевательской имитации? Охваченный ужасом, дрожа от озноба, я погасил лампу, бесшумно вышел из комнаты и тотчас покинул это старое училище, дабы никогда в него не возвращаться.

Через несколько месяцев, проведенных дома в полной праздности, я оказался учащимся в Итоне. Краткого перерыва было достаточно, дабы воспоминания о событиях в училище доктора Бренсби потускнели или, по крайней мере, значительно переменялись эмоции, с какими я о них вспоминал. Трагедия и суть нашей вражды более не существовали. Теперь я осмеливался сомневаться в свидетельстве моих чувств; а если когда-либо и вспоминал о прошлом, то лишь для того, чтобы подивиться беспредельности человеческого легковерия и улыбнуться буйной силе воображения, полученного мною по наследству. И навряд ли этот скептицизм мог уменьшиться от моего образа жизни в Итоне. Водоворот безумного разгула, в который я там немедленно и отчаянно погрузился, смыл все, кроме пены моих прошедших часов, разом захлестнул все веские или серьезные впечатления и оставил памяти лишь самые легкомысленные стороны моего прежнего существования.

Но я не хочу прочерчивать здесь во всех подробностях стезю моего гнусного распутства — распутства, что бросало вызов законам, но ускользало от бдительности итонских властей. Три года безумств, прошедшие без пользы, лишь укоренили во мне привычки к пороку и увеличили в необычной степени мое физическое развитие, когда, после недели, посвященной бездушному разгулу, я пригласил к себе на тайный кутеж небольшую компанию самых развратных приятелей. Мы собрались поздно ночью, ибо наш дебош мы предполагали усердно длить до утра. Лилось вино, не было недостатка и в других, быть может, более опасных соблазнах, и серая заря едва заметно забрезжила на востоке, когда наш бредовой разгул достиг апогея. Разгоряченный до безумия картами и ви-

ном, я упорно пытался провозгласить тост, особо кощунственный, когда мое внимание внезапно отвлекла дверь апартамента, резко, но не до конца раскрывшаяся, и идущий снаружи взволнованный голос слуги. Он сказал, что кто-то, видимо, очень настоятельно требует беседы со мной в вестибюле.

Я был донельзя взбудоражен вином, и неожиданное вторжение скорее обрадовало, нежели удивило меня. Шатаясь, я тут же двинулся вперед, и несколько шагов привели меня в прихожую дома. В этой маленькой, низкой комнате не висело ни одной лампы, и она не была освещена ничем, кроме еле видной зари, пробивавшейся сквозь полукруглое окно. Переступив порог, я увидел фигуру юноши примерно одного со мною роста и одетого в белый кашемировый халат, скроенный по той же новой моде, что и надетый в ту пору на мне. Это я мог рассмотреть при слабом свете, но черты его лица я не в силах был различить. Как только я вошел, он торопливо приблизился ко мне, раздраженно и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне на ухо: «Вильям Вильсон».

Я мгновенно отрезвел.

В манере незнакомца, в том, как он грозил мне дрожащим пальцем, держа его перед светом, было нечто, исполнившее меня невыразимым изумлением; но не это с такою силою потрясло меня. Нет, меня потряс зловеющий характер этого торжественного предостережения, сделанного неповторимым, тихим, шипящим голосом; и, паче всего, характер, тон, ключ этих немногих, простых и знакомых слогов, произнесенных шепотом; они повлекли за собою рой воспоминаний о прошедших днях и поразили мне душу подобно удару гальванической батареи. Прежде чем я смог прийти в себя, он исчез.

Хотя случай этот и произвел сильное действие на мое расстроенное воображение, но оно оказалось столь же мимолетно, сколь и живо. Правда, несколько недель я или занимался усердными розысками, или же был окутан тучею тягостных размышлений. Я не пытался скрыть от самого себя личность странного человека, что с такою настойчивостью вмешивался в мои дела и досаждал мне вкрадчивыми советами. Но кто и что такое этот Вильсон? — откуда он? — каковы его цели? Ни на один из этих вопросов я не мог получить удовлетворительного ответа и лишь узнал, что неожиданный несчастный случай в его семье вынудил его покинуть училище доктора Бренсби в тот самый день, когда и я бежал оттуда. Но через краткий промежуток времени я перестал думать об этом предмете, будучи целиком поглощен моим предполагаемым отбытием в Оксфорд. Вскорости я туда и отправился, по безрассудному тщеславию моих родителей экипированный и снабженный ежегодным содержанием, позволявшим предаваться роскошному образу жизни, уже столь любезному сердцу моему, и состязаться в расточительстве с наименнейшими наследниками богатейших и знатнейших родов Великобритании.

Склонный предоставленными мне возможностями к пороку, я с удвоенным жаром дал волю моему врожденному темпераменту и пренебрегал даже простейшими правилами приличия, погружаясь в безумный разгул. Но останавливаться на подробностях моих сумасбродств было бы нелепо. Скажу только, что по части расточительства я переиродил Ирода⁷ и связал мое имя со множеством новоизобретенных видов беспутства, снабдив отнюдь не кратким приложением длинный каталог пороков, бытовавших тогда в самом распущенном университете Европы.

Однако с трудом верится, что я и тогда настолько пограл правила благородного человека, что ознакомился с гнуснейшими приемами ремесла игрока-профессионала и, преуспев в этой презренной науке, постоянно в ней упражнялся за счет неразумных моих однокашников ради увеличения моих и без того огромных доходов. Тем не менее, так оно и было. И сама чудовищность этого преступления противу всякой честности и порядочности служила, несомненно, причиною безнаказанности, с каковою оно совершалось. И в самом деле, самые отпетые из моих собутыльников скорее бы усомнились в яснейших свидетельствах своих чувств, нежели заподозрили бы в подобном Вильяма Вильсона — веселого, откровенного, душа нараспашку — самого великодушного и щедрого студента в Оксфорде, того, безрассудство которого (как говорили его прехлебатели) было лишь безрассудством юности да буйной фантазии, проступки — лишь неподражаемыми причудами, а чернейшие пороки — лишь следствием безгранично широкой натуры?

Когда я в течение двух лет успешно подвизался на этом поприще, в университет поступил юноша из аристократов-парвеню, Гленденнинг — по гласу молвы, столь же богатый, как Ирод Аттик⁸, и столь же легко разбогатевший. Я вскоре обнаружил, что он пустоголов, и, разумеется, наметил его как достойный объект для упражнений в моем мастерстве. Я часто садился с ним за карты и сумел, по обычной тактике игрока, дать ему выиграть значительные суммы, дабы тем вернее запутать его в мои тенета. Наконец, когда все задуманное созрело, я встретился с ним (намереваясь сделать эту встречу последнею и решающею) в комнатах еще одного студента (мистера Престона⁹), который в равной степени был хорош с нами обоими, но, надо отдать ему справедливость, не питал и отдаленного подозрения относительно моих замыслов. Для лучшей обстановки я ухитрился созвать компанию человек в восемь или десять и весьма озаботился, дабы предложение сыграть в карты показалось случайным и исходило из уст самой моей предполагаемой жертвы. Чтобы сказать короче о столь гнусном предмете, ничто из отвратительных уловок, обычных в подобных случаях, не было упущено, и надобно только по справедливости удивляться, что находятся еще столь многие глупцы, способные этим уловкам поддаться.

Мы затянули игру допоздна, и мне наконец удалось оставить Гленденнинга моим единственным противником. Игра была моя любимая — экарте. Прочие из присутствующих, захваченные нашей игрою, бросили карты

и обступили нас в качестве зрителей. Новоиспеченный аристократ, кого в начале вечера я ухитрился изрядно подпойть, тасовал, сдавал, играл весьма взвинченно, что, как мне казалось, могло объясняться — отчасти, но не целиком — его опьянением. За весьма короткий срок он задолжал мне большую сумму, после чего, залпом выпив большой бокал портвейна, предпринял именно то, чего я хладнокровно ожидал, — предложил удвоить наши и без того крупные ставки. С отменно разыгранной неохотой и лишь после того, как я довел его многократно повторенным отказом до резких слов, придавших моему согласию оттенок задетого самолюбия, я, наконец, изъявил готовность. Результат, разумеется, лишь доказал, что он целиком в моих руках: менее чем через час он учетверил свой долг. Незадолго до того с лица его начал сходить жаркий румянец, вызванный вином; но теперь, к моему изумлению, я заметил, что он стал воистину пугающе бледен. Я сказал: к моему изумлению. Мои усердные расспросы привели к тому, что я считал Гленденнинга несметно богатым; и сумма, которую он покамест проиграл, хотя и была сама по себе велика, но, по моим предположениям, ее потеря не могла столь серьезно раздосадовать его и уж тем более столь сильно потрясти. Легче всего было предположить, будто на него подействовало только что выпитое вино; и, скорее дабы поддержать свою репутацию в глазах наблюдателей, нежели с какою-либо менее своекорыстной целью, я собирался решительно настоять на прекращении партии, когда какие-то слова стоящих рядом и вырвавшееся у Гленденнинга восклицание, исполненное крайнего отчаяния, дали мне понять, что я послужил причиной его полного разорения при обстоятельствах, которые, делая его предметом общей жалости, оборонили бы его от злых посягательств и самого нечистого.

Трудно сказать, как бы я повел себя. Плачевное положение моей жертвы повергло всех в растерянность и уныние; и на некоторое время воцарилось глубокое молчание; пока оно длилось, я не мог не почувствовать, как щеки мои пылают под горящими, презрительными взорами менее развращенных из нашей компании. Признаюсь даже, что на краткий миг невыносимый груз волнения был снят с моей груди внезапно и необычайно последовавшим вмешательством. Широкие, тяжелые складные двери стремительным рывком распахнулись настежь, что, как по волшебству, враз погасило все свечи в комнате. Пока они еще горели, мы едва успели заметить, что вошел незнакомец, примерно моего роста, наглухо закутанный в плащ. Темнота, однако, была полная; и мы могли только *чувствовать*, что он стоит среди нас. Прежде, чем мы оправились от крайнего изумления, рожденного подобной бесцеремонностью, мы услышали голос незваного гостя.

— Джентльмены, — сказал он тихим, отчетливым, незабываемым шепотом, от которого озноб пронизал меня до мозга костей, — джентльмены, прошу простить мое поведение, но меня зовет к нему мой долг. Без сомнения, вы не осведомлены относительно истинной сущности лица, только что выигравшего у лорда Гленденнинга крупную сумму в экарте. Вслед-

ствие этого я сообщу вам, как скорейшим и вернейшим образом почерпнуть эти самонужнейшие сведения. Сблаговолите осмотреть подкладку обшлага на его левом рукаве, а также некоторые маленькие свертки, кои можно обнаружить в несколько чересчур обширных карманах его вышитого халата.

Пока он говорил, стояла такая тишина, что можно было бы услышать, как упадет на пол булавка. Окончив, он тотчас исчез — столь же внезапно, сколь и появился. Могу ли — в силах ли я описать мои чувства? Сказать ли, что я испытал все муки преисподней? Но, право же, размышлять мне было некогда. Многие руки сразу же грубо схватили меня; немедленно снова зажгли свет. Начался обыск. В подкладке обшлага нашли все ключевые карты, необходимые для выигрыша в экарте, а в карманах моего халата — несколько колод, неотличимых от тех, которыми мы играли, с тем единственным исключением, что мои были, как говорят специалисты, из числа *arrondées* *, с козырными онерами, чуть выпуклыми по бокам. В подобном случае жертва игрока, снимая карты, как водится, вдоль, неизбежно снабжает противника козырными онерами; а сам игрок, снимая карты поперек, никоим образом не сдаст партнеру ничего, способствующего выигрышу.

Любой взрыв негодования, последовавший за этим открытием, в меньшей степени действовал бы на меня, нежели то молчаливое презрение или сдержанный сарказм, которыми оно было встречено.

— Мистер Вильсон, — сказал наш хозяин, нагибаясь, чтобы поднять из-под ног очень дорогой плащ на бесценном меху, — мистер Вильсон, это принадлежит вам. (Стояла холодная погода, и, выходя от себя, я накинул плащ на халат, а в гостях сбросил его на пол). Полагаю, что излишне искать здесь (он оглядел складки плаща с язвительной улыбкой) дальнейших доказательств вашего мастерства. Право же, с нас довольно. Надеюсь, вы понимаете, что вам надлежит покинуть Оксфорд — во всяком случае, немедленно покинуть эти стены.

Униженный, поверженный во прах, я, быть может, ответил бы на эти оскорбительные слова немедленным рукоприкладством, если бы мое внимание не было в тот миг всецело поражено другим. Мой плащ был подбит редкостным мехом; насколько редкостным, насколько дорогим, не смею и сказать. Его покрой был измышлен моей фантазией, ибо в легкомысленной области щегольства я изошрялся до пределов нелепости. И поэтому, когда мистер Престон протянул мне плащ, поднятый с пола у дверей, то с изумлением, почти переходящим в ужас, я увидел, что мой плащ перекинут у меня через руку (что, несомненно, я сделал, сам того не замечая) и что плащ, предлагаемый мне, даже и в наимельчайшей детали совершенно тождествен моему. Я помнил, что невероятный пришелец, со столь катастрофическими для меня последствиями обличивший меня, был запахнут в плащ, а кроме меня самого никто из нашей компании

* Округленные (франц.).

плаща не носил. Сохраняя хоть какое-то присутствие духа, я взял у Престона плащ; незаметно накрыл им свой; оставил апартаменты, окинув собравшихся взглядом, полным презрения и решимости; и на следующее утро, еще до рассвета, обуянный муками ужаса и позора, поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Бегство было тщетно. Мой злой рок, словно бы в упоении, преследовал меня и воистину доказал, что проявления его таинственной власти только начались. Не успел я ступить на землю Парижа, как получил новое доказательство ненавистного участия этого самого Вильсона в моих делах. Годы летели, а я не знал облегчения. Злодей! — как не вовремя, но с какою призрачною торжественностью встал он в Риме между мною и предметом моих исканий! И в Вене тоже — и в Берлине — и в Москве! Да и где не было у меня причины проклинать его в душе? Наконец, от его непостижимого гнета я бежал, охваченный паникой, как от чумы; но хоть на самый край света, *бегство было тщетно.*

И вновь и вновь, в сокровенных беседах с моей душою, задавал я вопросы: «Кто он? — откуда он? — чего добивается?» Но я не мог найти ответа. И я разбирал до мельчайших подробностей виды, способы, главные черты его дерзновенного надзора. Но я располагал слишком малым, чтобы строить какие-либо догадки. Правда, можно было усмотреть, что все многочисленные разы, когда путь его скрещивался с моим, он срывает те из моих замыслов или препятствовал тем из моих деяний, что, в случае удачи, могли бы обернуться большим злом. Но, ей-ей, плохое это оправдание для того, чтобы столь самовластно мною распоряжаться! Плохое возмещение за столь назойливое, столь оскорбительное попрание моего естественного права поступать, как мне заблагорассудится!

Я также вынужден был заметить, что мой мучитель в течение весьма длительного времени (при этом чудесно и тщательно соблюдая свою прихоть одеваться совершенно тождественно со мною) умудрялся при всех многообразных вмешательствах в мое волеизъявление ни на один миг не показать мне свое лицо. Кем бы ни был Вильсон, это, по крайности, было с его стороны капризом или сумасбродством. Мог ли он хоть на мгновение предположить, будто в моем итонском предостерегателе — в оксфордском погубителе моей чести, — в том, кто свел на нет мои честолюбивые стремления в Риме, мою месть в Париже, мою страстную любовь в Неаполе, или то, что он называл моим стяжательством, в Египте — что в нем, моем архисупостате и злом гении, я не узнал того самого Вильяма Вильсона моих школьных дней, — тезку, однокашника, соперника, — внушавшего ненависть и страх соперника из училища доктора Бренсби? Невозможно! Но поспешу к последней, чреватой событиями сцене этой драмы.

Дотоле я безропотно подчинялся властному гнету. Чувство глубокого трепета, с которым я постоянно взирал на возвышенную натуру, на величественную мудрость, на очевидную вездесущность и всеведение Вильсона, добавлялось к постоянному ощущению ужаса, внушаемого мне

некоторыми другими чертами его характера и моими собственными предположениями, и вселило в меня сознание моей полной слабости и беззащитности, а отсюда и сознание необходимости полного, хотя и гнетуще неохотного, подчинения его произволу. Но последние дни и безудержно пил; и действие вина на унаследованный мною буйный нрав все увеличивало и увеличивало мою строптивость и нетерпение. Я начал роптать — колебаться — противиться. И только ли фантазия вынуждала меня поверить, что с увеличением моей твердости твердость моего мучителя соответственно уменьшается? Как бы то ни было, во мне начала разгораться надежда, которая и зародила в моих затаенных помыслах суровое и отчаянное решение — более не подчиняться давнему гнету.

В Риме, во время карнавала¹⁰ 18. года я отправился на маскарад в палатцу неаполитанского герцога Ди Брольо. Я совершал возлияния более обильные, нежели всегда, от чего духота и толчея в залах стали нестерпимо раздражать меня. Немало сердило меня и то, что сквозь лабиринт толпы приходилось прямо-таки пробиваться; ибо я нетерпеливо искал (не буду говорить, с какой недостойной целью) молодую, веселую, прекрасную жену дряхлого и скорбного главою Ди Брольо. Ранее она с бесстыдной доверительностью посвятила меня в тайну своего маскарадного костюма, и теперь, заметив ее в толпе, я спешил оказаться в ее обществе. В тот же миг я ощутил легкое прикосновение к плечу, и в ушах моих раздался тот приснопамятный, тихий, проклятый шелот.

В полном бешенстве бросился я на чинившего мне препоны и яростно схватил его за воротник. Одет он был, как я и ожидал, совсем как я, в испанский плащ из синего бархата, с пунцовым поясом вокруг талии, к которому была привешена рапира. Черная шелковая маска полностью скрывала его лицо.

— Негодяй! — сказал я голосом, хриплым от ярости, причем каждый слог как бы подогревал мой гнев. — Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Ты не будешь — не будешь травить меня всю жизнь! Следуй за мною, или я заколю тебя на месте! — я резко повернулся и прошел из танцевального зала в смежную комнату, таща его за собою, чему он не противился.

Войдя в маленькую прихожую, я иступленно отшвырнул его. Он ударился об стену, а я с бранью закрыл дверь и приказал ему защищаться. Он замешкался лишь на мгновение; затем, легко вздохнув, молча обнажил клинок и стал в позицию.

Да, поединок был недолог. Меня охватили все виды необузданного волнения, и в одной руке я ощутил энергию и силу целой толпы. За несколько секунд я с бешеным напором прижал его к стене и, видя его целиком в моей власти, обуянный звериной яростью, несколько раз вонзил клинок ему в грудь.

В это мгновение кто-то попытался открыть дверь. Я поспешил предотвратить вторжение, после чего немедленно вернулся к моему умирающему противнику. Но какая человеческая речь способна в достойной мере

передать то изумление, тот испуг, что испытал я при зрелище, мне представшем? Краткого мига, пока я повернулся к двери, оказалось достаточным, дабы, по всей видимости, произвести существенную перемену в дальнем конце комнаты. Большое зеркало — так вначале померещилось мне в смятении — стояло там, где я его ранее не замечал; и когда, исполненный крайнего ужаса, я стал подходить к нему, мой собственный образ, но с побледневшими, забрызганными кровью чертами двинулся мне навстречу слабой, шатающейся походкой.

Я говорю: так мне померещилось, но так не было. Это был мой противник — это был Вильсон, и он стоял передо мною, терзаем предсмертною мукой. Его маска и плащ лежали на полу, где он их бросил. Каждая нить в его одеянии, — каждая линия в безошибочно узнаваемых, неповторимых чертах его лица полностью, абсолютно совпадали с моими собственными!

Это был Вильсон; но он более не шептал, и я мог бы представить, что говорю я сам, когда он промолвил:

«Ты победил, и я сдаюсь. Но отныне мертв и ты — мертв для Земли, для Неба, для Надежды! Во мне ты существовал — и убедись по этому облику, по твоему собственному облику, сколь бесповоротно смертью моей ты погубил себя».

РАЗГОВОР ЭЙРОС И ХАРМИОНЫ¹

Πῦρ σοι προσοίω

Я принесу тебе огонь.

Эврипид². «Андромаха».

Эйрос. Почему ты зовешь меня Эйрос?

Хармиона. Ты будешь зваться так отныне и вовеки. Забудь и мое земное имя и зови меня Хармионой.

Эйрос. Да, это не сон!

Хармиона. Снов более нет с нами; но речь об этих тайнах впереди. Мне отрадно видеть, что тобою сохранены подобие жизни и разум. Теневая пелена сошла с твоих глаз. Исполнишь смелости и ничего не бойся. Назначенные тебе дни оцепенения миновали; и завтра я сама посвящу тебя во все радости и чудеса твоего нового существования.

Эйрос. И вправду, я совсем не чувствую оцепенения. Неистовый недуг и ужасная тьма оставили меня, и мне более не слышен бешеный, стремительный, ужасный звук, подобный «шуму от множества вод»³. И все же чувства мои в смятении, Хармиона, от остроты восприятия нового.

Хармиона. Через несколько дней все это пройдет; — но я вполне тебя понимаю и сочувствую тебе. Прошло десять земных лет с той поры, как я испытала то, что испытываешь ты, но память об испытанном все же свежа. Все страдания, уготованные тебе в Эдеме, теперь позади.

Эйрос. В Эдеме?

Хармиона. В Эдеме.

Эйрос. О боже! — сжался надо мной, Хармиона! — меня подавляет величие всего — неведомое, ставшее ведомым — Грядущее, слитое с царственным и определенным Настоящим.

Хармиона. Не пытайся разрешить эти вопросы. Речь о них будет завтра. Волнение твоего неокрепшего ума утешится простыми воспоминаниями. Не смотри ни окрест, ни вперед — но только назад. Я сгораю от нетерпения услышать подробности о грандиозном событии, забросившем тебя к нам. Поведай мне о нем. Побеседуем о привычных предметах на старом привычном языке мира, погибшего столь ужасно.

Эйрос. О, ужасно, ужасно! — да, это не сон.

Хармиона. Снов более нет. Меня много оплакивали, Эйрос?

Эйрос. Оплакивали, Хармиона? О, горько. До самого последнего часа над твоим семейством нависала туча безысходного горя и благочестивой скорби.

Хармиона. И тот последний час — поведай о нем. Не забывай, что, помимо краткого известия о самой катастрофе, я ничего не знаю. Когда,

покинув человечество, я прошла через Могилу в Ночь — в ту пору, если я верно помню, бедствия, постигшего вас, никак не ожидали. Но ведь я была мало сведуща в предсказаниях умозрительной философии тех дней.

Эйрос. Как ты сказала, бедствия, постигшего нас, совершенно не ждали; но подобные невзгоды на протяжении долгого времени составляли для астрономов предмет обсуждения. Едва ли стоит говорить тебе, друг мой, что, когда ты ушла от нас, люди истолковали те места из наших священных писаний, где повествуется об окончательной гибели всего сущего от огня, как относящиеся лишь к земному шару. Но касательно сил, посредством которых свершится наша гибель, все предположения были ошибочны, начиная с той эпохи развития астрономии, когда перестали считать, что кометы способны уничтожить нас огнем. Была точно установлена весьма невысокая плотность этих небесных тел. Заметили, что они проходят среди спутников Юпитера без какого-либо значительного изменения массы или орбит этих второстепенных планет. Мы давно рассматривали этих небесных скитальцев как крайне разреженные газобразные скопления, никак не способные причинить вред нашему весоному шару даже в случае соприкосновения. Но соприкосновения мы ни в коей мере не опасались, ибо элементы комет были досконально известны. Что среди них должно искать носителя огненной гибели, много лет считалось недопустимой идеей. Но последнее время причудливые фантазии и вера в чудеса странным образом распространились по свету; и хотя подлинное предчувствие грядущей катастрофы укоренилось лишь среди немногих невежд, но после того, как астрономы объявили о новой комете⁴, эта весть была принята всеми с какой-то тревогой и недоверием.

Немедленно определили элементы незнакомой кометы, и все наблюдатели сразу признали, что ее траектория в перигелии проходит очень близко от земли. Двое или трое второстепенных астрономов настоятельно утверждали, что соприкосновение неизбежно. Не могу должным образом выразить тебе, какой эффект произвело это сообщение. Несколько дней люди не в силах были поверить утверждению, которое их разум, погруженный в будничные заботы, никак не мог осмыслить. Но правда о чем-то жизненно важном быстро доходит до понимания даже самых тупоумных. Наконец, все увидели, что астрономия не лжет, и принялись ожидать комету. Ее приближение на первых порах не казалось особо стремительным; да и вид ничем не поражал. Она была тускло красная, с еле видным хвостом. Семь или восемь дней мы не замечали значительного увеличения ее диаметра и видели лишь частичное изменение ее цвета. Тем временем повседневные дела оказались в забросе, и всеобщий интерес был направлен на все расширяющееся обсуждение природы кометы, начатое людьми с философским складом ума. Даже величайшие невежды напрягали свои дремлющие способности ради рассуждений о комете. *Теперь* ученые не тратили ни интеллекта, ни души на то, чтобы рассеять страхи или защитить любимую теорию. Выбиваясь из сил, они

искали правильного взгляда. Они мучительно добивались совершенства знаний. Истина восстала в чистоте силы своей и в беспредельном величии, и мудрые благоговейно простерлись перед нею.

Мнение, будто земной шар или его обитатели подвергнутся урону от предполагаемого соприкосновения с кометой, с каждым часом теряло вес среди мудрых; и мудрым теперь предоставлялась свобода власти над разумом и фантазией толпы. Было доказано, что плотность ядра кометы значительно ниже плотности самого разреженного из наших газов; настойчиво подчеркивали факт прохождения подобного небесного гостя среди спутников Юпитера, не имевший никаких опасных последствий, что весьма споспешествовало уменьшению ужаса. Богословы с усердием, вызванным страхом, занимались библейскими пророчествами и толковали их народу с прямолинейностью и простотою, дотоле неведомой. Представление о том, что окончательная гибель земли настанет от огня, внедрялось с упорством, убеждавшим всех; а что кометы состоят не из пламени (как поняли к тому времени все) — было истиной, в огромной мере ослабившей всеобщее предчувствие предсказанной беды. Заметно было, что принятые суеверия и заблуждения черни относительно эпидемий и войн — заблуждения, широко распространенные при появлении любой кометы — теперь были совершенно неведомы. Словно бы неким судорожным усилием разум в единый миг низверг суеверие с престола. В повышенной любознательности черпал силу и слабейший ум.

В мельчайших подробностях изучался вопрос: каких малых зол можно ожидать от соприкосновения с кометой. Ученые говорили о незначительных геологических сдвигах, о вероятных изменениях климата, а следовательно, и растительности; о возможных магнитных и электрических влияниях. Многие держались того мнения, что никаких видимых или заметных перемен вообще не последует. Покамест продолжались подобные дискуссии, предмет их постепенно приближался, его диаметр возрастал, сияние делалось все ярче. По мере приближения кометы росла тревога человечества. Все дела людские приостановились.

Настало время, когда комета в конце концов достигла величины, превосходящей величину всех подобных явлений, ранее отмеченных. Теперь люди, отбросив всякую оставшуюся надежду на ошибку астрономов, уверились в неотвратимой беде. Ужас потерял свою призрачность. Сердца смелейших бешено стучали. Однако оказалось довольно совсем немногих дней, дабы растворить и подобные чувства в других, вовсе уж непереносимых. Мы не могли более подходить к неведомой комете с какими-либо привычными мерками. Ее исторические признаки исчезли. Она тяготила нас ужасающею новизною внушаемых эмоций. Каждый из нас видел в ней не астрономический феномен, но инкуба⁵ на сердце, тень на разуме. С непостижимой стремительностью она превратилась в гигантский покров разреженного пламени, простертый от горизонта до горизонта.

Еще день, и люди вздохнули свободнее. Стало ясно, что мы уже находимся в сфере влияния кометы; и все-таки живем. Мы даже ощущали

необычную телесную гибкость и живость ума. Была очевидна крайняя разреженность кометы, ужасавшей нас: все небесные тела были ясно видны сквозь нее. Тем временем растительность земли заметно изменилась; и мы уверовали по этому ранее предсказанному обстоятельству в прозорливость мудрых. Буйная, роскошная листва, неведомая ранее, покрыла каждое растение.

Еще день — а зло все же не настигло нас до конца. Стало очевидным, что первым дойдет до нас ядро. Все люди безумно изменились; и первое ощущение боли послужило яростным сигналом для всеобщего плача и ужаса. Первое ощущение боли пришло от резкого стеснения грудной клетки и легких и от невыносимой сухости кожи. Нельзя было отрицать, что наша атмосфера поражена; начались споры о составе атмосферы и о допустимых в ней изменениях. Итоги исследования пропустили по всем людским сердцам электрическую искру глубочайшего ужаса.

Давно было известно, что окружающий нас воздух представляет собою смесь кислорода и азота в пропорции двадцати одной доли кислорода к семидесяти девяти азота на каждые сто в атмосфере. Кислород, источник сгорания и проводник тепла, самое могучее и действенное вещество в природе, был абсолютно необходим для поддержания жизни. Азот, напротив, был неспособен поддерживать жизнь или огонь. Противоестественный избыток кислорода привел бы, как было удостоверено, именно к такому подъему жизненных сил, какой мы незадолго до того испытали. Следование за этой идеей, ее развитие и породило ужас. К чему привело бы полное удаление азота? К воспламенению, неотвратимому, всепожирающему, повсеместному, немедленному; — полностью сбудутся, в мельчайших и устрашающих подробностях, пламенные, вселяющие ужас обличения из пророчеств Священного Писания.

Есть ли нужда, Хармиона, живописать ничем не сдерживаемое исступление человечества? Разреженность кометы, ранее вселявшая в нас надежды, стала теперь источником горестного отчаяния. В ее газообразной неосязаемости мы ясно усмотрели свершение Судьбы. Тем временем прошли еще сутки, унося с собою последнюю тень Надежды. Мы задыхались в стремительно изменяющемся воздухе. Алая кровь, бурля, пронеслась по тесным сосудам. Исступленный бред обуял всех людей; простерев оцепенелые руки к грозящим небесам, они пронзительно кричали, охваченные трепетом. И тут на нас надвинулось ядро разрушительницы; даже здесь, в Эдеме, я содрогаюсь, говоря об этом. Позволь мне быть краткой — краткой, как время, в которое постигла нас гибель. Какой-то миг сверкал зловещий, яростный свет, пронизывающий все. Тогда — позволь мне склониться, Хармиона, пред бесконечным величием всемогущего бога! — тогда раздался громовой, все наполняющий звук, словно бы исходящий из ЕГО уст; а вся масса эфира, в которой мы существовали, в единый миг вспыхнула неким пламенем, ослепительной яркости и все-сжигающему жару которого нет имени даже среди ангелов в горнем Небе чистого знания. Так завершилось все ⁶.

ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗИК НОСИТ РУКУ НА ПЕРЕВЯЗИ

Ежели кому из джентльменов интересно, то можете сами поглядеть — у меня на визитных карточках так прямо черным по розовой глянцево́й бумаге значится: «Сэр Патрик О'Грандисон, баронет; приход Блумс-бери, Рассел-Сквер, Саутгемптон-роуд, 39». И ежели кому хочется знать, кто у нас цвет галантности и вершина бон-тона во всем Лондоне, то это как раз я самый и есть. И ничего удивительного (так что можете не воротить носы), ведь уже битые полтора месяца, что я джентльмен, с тех пор как я перестал быть ирландцем и пошел в баронеты, живу — что твой император, уже и образование получил и галантному обхождению обучился. Ох, вам небось охота хоть краем глаза взглянуть, как сэр Патрик О'Грандисон, баронет, выходит, разодетый в пух и прах, чтобы ехать в эту самую оперу, или же садится в бричку и едет кататься в Гайд-Парк! А какая у меня вальяжная фигура! Элегант! Из-за этой фигуры все дамы влюбляются в меня. Ведь во мне росту — любо-дорого посмотреть — добрых шесть футов да еще и три дюйма в придачу. А какая грация, какое сложение сверху донизу! Это вам не три фута с малостью, что росточку в нем — в этом паршивом иностранце-французике, который через дорогу живет и целый божий день с утра до ночи — себе на горе — пялится и зырится на хорошенькую вдовушку миссис Джем, мою соседку (да благословит ее бог!) и самую что ни на есть добрую знакомую. Вы только взгляните — видите? У паршивца рожа кислая и левая рука на перевязи. А почему — сейчас все как есть толком разобъясню.

Дело-то нехитрое вот в чем. В первый же день, как я приехал из славного Коннаута¹ и красотка-вдовушка меня молодца в окошко на улице увидела, — тут же сердце свое мне и отдала. Я это сразу заметил, понятно? Меня не проведешь — не таковский. Вижу: она окошко торопливо распахивает, глаза разинула, таращит, а потом подносит к одному этакое стеклышко в золотой оправе, и дьявол меня заграбастай, ежели взгляд ее сквозь стеклышко не сказал мне яснее слов: «Ах! Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баронет, и низкий поклон! Вы, как погляжу, воистину из джентльменов джентльмен, клянусь душой, и я, ей же ей! ваша, мой дорогой, в любое время дня и ночи — только кликните». Ну, а уж я не из тех, кого можно переплюнуть в галантности. Я отвесил ей поклон, да такой — вы бы видели! А затем сдернул шляпу с головы одним широким рывком и обоими глазами ей подмигнул, словно бы говоря: «Верное слово, вы — премилая крошка, миссис Джем,

моя красавица, и захлебнуться мне в ирландской топи болотной, ежели я, сэр Патрик О'Грандисон, баронет, собственной персоной, не готов сей же миг сдвинуть вас в жарких объятиях и показать вам, как любят у нас в Лондондерри!».

Ну, наавтра утром я как раз сидел и думал, не требует ли от меня галантность послать моей вдовушке любовную писульку, как вдруг входит лакей ливрейный и подает мне разрисованную эдакую визитную карточку, а на ней, он говорит, написано (я сам гравированные слова с завитками не разбираю по причине того, что левша): «мусью» там, «граф», «фу-ты-ну-ты», «мэтр дю-танц» и прочая галиматья — имя и прозвания этого паршивого иностранца-французика, что через дорогу живет.

И тут как раз он сам входит, отвечает мне поклон по высшему разряду и говорит, что, мол, только взял на себя смелость сделать мне честь нанести мне краткий визит, и как припустил, припустил, а я ни боже мой не понимаю, чего он лопочет. Одно только слышу: «Пули-ву, вули-ву», — и среди прочего наговорил он мне с три короба разного вранья, что будто бы он, видите ли, без ума от любви к моей вдовушке миссис Джем и что она будто бы питает любовь к нему!

Услышав такое, я, сами понимаете, чуть не взбесился, но вспомнил, однако, что я — сэр Патрик О'Грандисон, баронет, и что хороший тон не допускает, чтобы галантный джентльмен давал волю гневу, ну, я вида не подаю, словно бы мне дела нет, балакаю с ним по-дружески, и немного погодя он вдруг — бац! предлагает, чтобы мы вместе пошли прямо к вдовушке и он представит меня мадаме со всеми онерами.

«Ты слышишь, — говорю я про себя. — Ну и везет же тебе, Патрик! Погоди, сейчас он увидит, в кого влюблена без памяти миссис Джем, в тебя, молодца, или же в этого мусью Мэтр дю-танца».

И пошли мы к вдовушке в соседний дом, и ежели вы скажете, что все там было бон-тон и элегантно, то не ошибетесь. Ковер лежал во весь пол, в углу — фордыбьяно, и фисгармошка, и еще черт те что, а в другом углу — диванчик, такой распрекрасный, что в мире не сыскать, а на нем — ангельчик прелестный, миссис Джем собственной персоной.

— Свет доброго утра вам, миссис Джем, — говорю я и отвешиваю ей такой изысканный, элегантный поклон, что у вас бы голова кругом пошла.

А французик-иностранец лопочет:

— Вули-ву, пули-ву, ляп-тяп, и дорогая миссис Джем, вот этот джентльмен — не кто другой, как достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, мой самый что ни на есть добрый друг и знакомый.

Вдовушка встает с дивана и делает мне изысканный реверанс, какого свет не видывал, и снова садится, ангелочек-ангелочком. Смотрю, провалиться мне, если этот паршивый мусью Мэтр дю-танц в тот же миг не усаживается подле по правую ее ручку. Ух ты черт! Я думал, у меня глаза так прямо и выскочат, до того я разозлился. Но, однако, потом говорю про себя: «Ах так! Вот вы как, мусью Мэтр дю-танц?» И в тот же миг тоже усаживаюсь подле хозяйки по левую ручку — знай, мусью,

наших! Ну, вы бы посмотрели, как изысканно и элегантно я ей подмигнул при этом обоими глазами прямо в лицо!

Но французишка даже и не заподозрил меня ни в чем. Знай себе любезничает с хозяйкой, старается изо всей своей мочи. «Вули-ву, — говорит, — пули-ву. И тяп-ляп».

«Ничего не выйдет, мусью лягушатник», — думаю я про себя. И тоже стал разговаривать что было мочи. И так я ее заговорил моей изысканной, элегантною беседой про милые болота Коннаута, что она только меня одного и слушала. Под конец подарила она меня такой прелестной улыбкой от уха до уха, что я сразу осмелел и пожал ей кончик мизинца самым что ни на есть галантным манером, а сам знай гляжу на нее во все глаза.

И подумайте только, что за хитрая плутовка, лишь только она увидела, что я ей лапку пожимаю, она ее цап — и за спину. Мол, что вы, сэр Патрик О'Грандисон, вот теперь вам будет удобнее, а то право же, хороший тон не допускает, чтобы вы мне ручкужимали прямо на глаза у этого иностранца-французика мусью Мэтр дю-танца.

Я ей в ответ подмигнул, словно говоря: «Ладно, что до хитростей, то можете на сэра Патрика положиться». И эдак не спеша приступаю к делу. Вы бы умерли, если б видели, как я помаленьку, остороженько просунул руку между спинкой дивана и спиной хозяйки. А там — ее лапка дожидается, словно говорит: «Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баронет». Ну, я ее пожал слегка, так только, для начала, самую малость, боясь, не дай бог, показаться грубым. И, ах ты боже мой! она мне отвечает самым легким и нечувствительным пожатием, какое мне в жизни доставалось. «Кровь и гром, сэр Патрик, — думаю я про себя, — ты один и не кто другой — самый красивый и самый счастливый ирландец изо всех сыновей славного Коннаута». И тут уж я жму ей лапку ото всей души, и она, моя красавица, тоже жмет мне руку в ответ вполне чувствительно. Но вы бы лопнули от смеха, видя глупое зазнайство французика, — он так перед ней рассыпался, и ухмылялся, и лопотал, и бормотал, что в жизни я не слыхивал ничего подобного. И пусть дьявол меня заграбастает, ежели я вдруг своими глазами не увидел, как он возьми да подмигни ей. Ох, ну и разозлился же я, не дай вам господи!

— Разрешите, — говорю, — уведомить вас, мусью Мэтр дю-танц, — эдак вежливо говорю, ничем меня не возьмешь, — что хороший тон не допускает пляиться и зыриться на благородную женщину, тем паче таким вот, как вы. И с этими словами снова пожимаю ей лапку, словно хочу сказать: «Ни боже мой, не сомневайтесь, мое сокровище, сэр Патрик — ваша надежная защита». И снова чувствую ответное пожатие, словно она мне отвечает: «Правда ваша, сэр Патрик, — а мне это понятнее всяких слов. — Правда ваша, клянусь душой, вы — джентльмен что надо, и это как бог свят». Да еще открывает свои ясные буркалы во всю ширь, так что они у нее едва вовсе не выскочили, и смотрит сначала в сердцах

на мусью Лягушатника, а потом на меня с улыбкой, что твой солнечный свет.

— Ах так! — говорит этот наглец, — Вот оно что! И вули-ву, пули-ву, — и вбирает голову в плечи все глубже и глубже, а рот изгибает дугой углами вниз — и ни гу-гу.

Сами понимаете, дальше — больше, сэр Патрик совсем рассвирепел, потому что французиска снова подмигивает моей вдовушке, а вдовушка снова мне руку жмет, словно говоря: «Ну-ка, покажите ему, сэр Патрик О'Грандисон, клянусь душой!».

Издад я могучее проклятье: — Ах, ты, — говорю, — паршивый лягушатник и такой-рассякой такой-то сын! — Но в эту минуту что бы вы думали она делает? Вскакивает с дивана, словно ужаленная, и бегом к дверям. А я гляжу ей вслед и совершенно ничегошеньки понять не могу. Видите ли, ведь я-то знал про себя, что далеко она не уйдет, не сбежит вот так вниз по лестнице за здорово живешь: я же ее за руку держу и ни на минуту не отпускаю. Вот я и говорю:

— Не кажется ли вам, мадам, что вы самую что ни на есть чуточку поторопились? Назад, назад, моя красавица, и тогда я отпущу вашу лапку. — Но она пулей сбежала вниз по лестнице, и тогда я обернулся и посмотрел на этого иностранца-французика. Вот тебе на! Провалиться мне, ежели я не его паршивую лапу держу в своей руке. Так значит... да ведь тогда... словом, так.

Ну, я тут чуть не умер от смеха, до того потешно было смотреть на французиску, когда он сообразил, что вовсе не вдовушку держал все это время за лапку, а сэра Патрика О'Грандисона. Сам дьявол никогда не видел такой вытянутой рожи! Ну, а достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, не таковский, чтобы из себя выходить из-за какой-то небольшой ошибки. В одном только можете поручиться (и не ошибетесь): перед тем как отпустить французиске руку — а сделал я это не раньше, чем лакеи миссис Джем вытолкали нас обоих взащей, — я так ему сжал ее на прощанье, что из нее получился малиновый джем.

— Вули-ву, — говорит он, — пули-ву. И черт драл.

Вот в чем истинная причина, что он носит левую руку на перевязи.

**ДНЕВНИК ДЖУЛИУСА РОДМЕНА,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ОПИСАНИЕ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕРЕЗ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ,
СОВЕРШЕННОГО ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ**

**Глава I
Вводная**

Благодаря редкой удаче, мы имеем возможность предложить читателям под этим заглавием весьма примечательную и несомненно весьма интересную повесть. Публикуемый нами дневник не только содержит описание *первой* удачной попытки преодолеть гигантскую преграду, какою является высочайшая горная цепь, тянущаяся от Ледовитого Океана на севере до перешейка Дариен на юге и образующая на всем своем протяжении отвесную стену, сверху опущенную снегом; что еще важнее, в нем приведены подробности путешествия по огромной территории, лежащей за этими горами, которая *доныне* считается совершенно неизвестной и на всех картах страны помечена как «*неисследованная*». К тому же это — единственная неисследованная часть северо-американского материка. А поскольку это так, наши друзья простят нам некоторую *восторженность*, с какой мы предлагаем дневник вниманию читателей. Чтение его вызвало и у нас самих больший интерес, чем любое другое повествование такого рода. Мы не считаем, что наше личное знакомство с тем, благодаря кому рукопись станет достоянием читателей, играет при этом сколько-нибудь значительную роль. Мы убеждены, что все наши читатели признают вместе с нами необычайную занимательность и важность описанных в ней событий. Личные качества человека, бывшего главою и душою экспедиции и одновременно ее летописцем, придали написанному большую долю романтичности, весьма не похожей на статистическую скуку, отличающую большинство подобных описаний. М-р Джеймс Э. Родмен, от которого мы получили рукопись, хорошо известен многим читателям нашего журнала¹; он частично унаследовал черты, омрачившие молодые годы его деда, м-ра Джулиуса Родмена, автора записок. Мы имеем в виду наследственную ипохондрию. Именно этот недуг был главной причиной, побудившей его предпринять описанное им необычайное путешествие. Охота и трапперство, о которых говорится в начале дневника, были, насколько мы можем судить, лишь предлогами, которыми он оправдывал перед собственным рассудком свою дерзкую и необычную попытку. Нам кажется несомненным (и читатели с нами со-

гласяся), что его влекло единственно стремление найти среди первобытной природы тот душевный покой, которого он в силу особенностей своего характера не мог обрести среди людей. Он бежал в пустыню как бегут к другу. Только при такой точке зрения удастся примирить многие строки его повести с обычными нашими понятиями о мотивах человеческих поступков.

Так как мы решили опустить две страницы рукописи, где м-р Родмен описывает свою жизнь до поездки по Миссури, следует указать, что он родился в Англии, происходил из хорошей семьи, получил отличное образование, а затем, в 1784 г. (в возрасте около восемнадцати лет) эмигрировал в нашу страну вместе с отцом и двумя незамужними сестрами. Семья жила сперва в Нью-Йорке; но затем переехала в Кентукки и поселилась весьма уединенно на берегу Миссисипи, там, где сейчас Миллз Пойнт впадает в реку. Здесь осенью 1790 года скончался старый м-р Родмен; а в следующую зиму в течение нескольких недель погибли от оспы обе его дочери. Вскоре затем (весной 1791 года) сын, м-р Джулиус Родмен, отправился в путешествие, о котором рассказывается ниже. Возвратясь из него в 1794 г., как сказано далее, он поселился близ Абингдона в Виргинии; здесь он женился, имел троих детей и здесь же доныне проживает большинство его потомков.

М-р Джеймс Родмен сообщил нам, что его дед вел только краткий дневник своего трудного путешествия и что переданная нам рукопись была написана на основе этого дневника лишь много лет спустя, по настоянию г-на Андре Мишо, ботаника, автора трудов *Flora Boreali Americana** и *Histoire des Chênes d'Amérique*** . Напомним, что г-н Мишо² предложил свои услуги президенту Джефферсону³, когда тот впервые задумал послать экспедицию через Скалистые Горы. Предложение его было принято, и он даже доехал до Кентукки, но здесь его догнало распоряжение французского посланника, находившегося в то время в Филадельфии, в котором ему приказывали отказаться от его намерения и избрать другую местность для ботанических исследований, порученных ему его правительством. Руководство задуманной экспедицией досталось м-ру Льюису⁴ и м-ру Кларку, которые и завершили ее с успехом.

Но г-н Мишо так и не увидел рукописи, написанной специально для него; считалось, что она была утеряна тем юношей, которому была вручена для передачи г-ну Мишо в его временном местожительстве возле Монтичелло. Никто не пытался ее разыскать, ибо м-р Родмен, вследствие особых черт своего характера, мало этим интересовался. Как ни странно, но нам кажется, что он ничего не предпринял бы для опубликования результатов своей необычайной экспедиции и что он переписал и дополнил свой дневник единственно, чтобы сделать приятное г-ну Мишо. Даже проект м-ра Джефферсона, который в ту пору возбуждал всеобщий инте-

* Флора Северной Америки (лат.).

** Описание американских дубов (франц.).

рес и считался чем-то совершенно новым, вызвал у героя нашей повести лишь несколько общих замечаний, адресованных членом его семьи. О собственном своем путешествии он никогда не рассказывал и скорее даже избегал этой темы. Он скончался до возвращения Льюиса и Кларка; а рукопись, врученная посланцу для передачи г-ну Мишо, была обнаружена лишь около трех месяцев назад в потайном ящике секретера, принадлежавшего м-ру Джулиусу Родмену. Кто положил ее туда — неизвестно; все родственники м-ра Родмена утверждают, что спрятал ее не он; однако мы, при всем нашем уважении к его памяти, а также к м-ру Джеймсу Родмену (которому мы более всего обязаны), считаем, что предположение, будто автор рукописи каким-то образом вернул ее себе и спрятал, как раз весьма правдоподобно и вполне согласуется со свойственной ему болезненной чувствительностью.

Мы ни в коем случае не хотели ничего менять в повествовании м-ра Родмена, и единственная вольность, какую мы допустили в отношении его рукописи, это — некоторые сокращения. Слог ее едва ли нуждался в исправлениях; он прост и весьма выразителен и свидетельствует о глубоком восхищении путешественника величавыми зрелищами, которые день за днем представляли его глазам. Его повесть, даже там, где говорится о жестоких лишениях и опасностях, написана с увлечением, раскрывающим нам все особенности его характера. Он пылко любил Природу и поклонялся мрачным и суровым ее зрелищам пожалуй даже больше, чем когда она представляла светлой и безмятежной. Огромную и зачастую страшную чащу лесов он прошел с восторгом в сердце, вызывающим у нас зависть. Именно такому человеку подобало путешествовать среди угрюмого безмолвия, которое он описывает с такой явной охотой. Он обладал подлинной способностью воспринимать и чувствовать. Вот отчего мы считаем его рукопись сокровищем, в своем роде непревзойденным и даже не имеющим себе равных.

То, что повесть эта была до сего времени утеряна, что даже сам факт, что м-р Родмен пересек Скалистые Горы до экспедиции Льюиса и Кларка, остался неизвестным и не упоминается ни одним из географов, описавших Америку (таких упоминаний, насколько мы смогли установить, не существует), является чрезвычайно странным. Единственное упоминание об этом путешествии, как нам удалось узнать, содержится в неопубликованном письме г-на Мишо, находящемся в архиве некоего м-ра Уайетта в Шарлотсвилле, штат Виргиния. Там о нем говорится мимоходом как о «гигантском замысле, блестяще осуществленном». Если существуют другие упоминания об экспедиции, они нам неизвестны.

Прежде чем предоставить слово самому м-ру Родмену, нелишне будет вспомнить о других открытиях в северо-западной части нашего материка. Положив перед собою карту Северной Америки, читатель лучше сможет следить за нашими замечаниями.

Как мы видим, материк простирается от Северного Ледовитого Океана, то есть примерно от 70-й северной параллели до 9-й и от

56-го меридиана к западу от Гринвича до 168-го. На всей этой огромной территории уже побывал цивилизованный человек, и весьма значительная часть ее заселена. Однако большое пространство еще помечено на всех наших картах как «неисследованное» и по сей день считается таковым. С юга оно ограничено 60-й параллелью, с севера — Ледовитым Океаном, с востока — Скалистыми Горами, а с запада — владениями России. *И все же м-ру Родмену принадлежит честь первого прохождения через этот совершенно дикий край; наиболее интересные подробности публикуемой нами повести касаются его приключений и открытий в тех местах.*

Самыми ранними путешествиями белых людей по Северной Америке были экспедиции Эннепена⁵ и его спутников в 1698 году; но так как он побывал главным образом в ее южной части, мы не считаем нужным говорить об этом подробнее.

М-р Ирвинг в своей «Астории»⁶ называет капитана Джонатана Карвера⁷ первым, кто попытался пересечь материк от Атлантического до Тихого Океана; но тут он, по-видимому, ошибается, ибо в одном из дневников сэра Александра Маккензи⁸ говорится о двух таких попытках, предпринятых Пушной Компанией Гудзонова залива, — одной в 1758 году, а одной еще в 1749; однако обе оказались, как видно, неудачными, ибо никаких отчетов о них не сохранилось. Капитан Карвер совершил свое путешествие в 1763 г., вскоре после приобретения Канады Великобританией. Он намеревался пересечь материк между 43-м и 46-м градусами северной широты и достичь побережья Тихого Океана. Целью его было установить протяженность материка в наиболее широкой части и выбрать на западном побережье место для правительственного поста, который служил бы базой для поисков северо-западного пути, а также связал бы Гудзонов залив с Тихим Океаном. Он полагал, что река Колумбия, носившая тогда название Орегон, впадает в море где-то возле пролива Анниан; и тут он думал устроить пост. Он считал также, что поселение в этой местности откроет новые возможности для торговли и установит более прямое сообщение с Китаем и с британскими владениями в Ост-Индии, нежели прежний путь вокруг Мыса Доброй Надежды. Однако попытка перевалить через горы ему не удалась.

Следующей по времени важной экспедицией в северной части Америки была экспедиция Самюэля Хирна⁹, который в 1769, 1770, 1771 и 1772 годах прошел в северо-западном направлении от форта Принца Уэльского на Гудзоновом заливе до берегов Северного Ледовитого Океана в поисках медных залежей.

Затем надлежит отметить вторую попытку капитана Карвера, предпринятую им в 1774 году совместно с Ричардом Уитвортом^{9а}, членом парламента и богатым человеком. Мы упоминаем об этом предприятии только из-за широкого размаха, с каким оно было задумано, ибо осуществлено оно не было. Руководители экспедиции предполагали взять с собою пятьдесят-шестьдесят человек моряков и механиков, подняться

по одному из рукавов Миссури, поискать в горах истока Орегона и спуститься по этой реке до ее предполагаемого устья возле пролива Анниан. Здесь думали построить форт, а также суда для дальнейших плаваний. Осуществлению этих замыслов помешала американская революция.

Канадские миссионеры уже в 1775 г. вели пушную торговлю на берегах Саскачевана, на 53° северной широты и 102° западной долготы; а в начале 1776 года мистер Джозеф Фробишер¹⁰ достиг в том направлении 55° северной широты и 103° восточной долготы.

В 1778 году мистер Питер Бонд на четырех каное прошел до Лосиной реки, в 30 милях южнее ее слияния с Горным озером.

Теперь следует упомянуть еще об одной попытке, с самого начала неудачной, пересечь наиболее широкую часть материка от океана до океана. Публике о ней почти ничего не известно; она упоминается одним только мистером Джефферсоном, да и то вскользь. Мистер Джефферсон рассказывает, как его посетил в Париже Ледьярд¹¹, жаждавший новых предприятий после своего удачного путешествия с капитаном Куком; и как он (мистер Джефферсон) предложил ему добраться по суше до Камчатки, переправиться на русском судне в Нутку, спуститься до широты, на которой протекает Миссури, а затем, по этой реке — в Соединенные Штаты. Ледьярд согласился при условии, что получит разрешение русского правительства. Этого мистеру Джефферсону удалось добиться, но путешественник прибыл из Парижа в Санкт-Петербург, когда императрица уже уехала на зиму в Москву. Не имея средств, чтобы без крайней надобности задерживаться в Санкт-Петербурге, он продолжал путь, получив паспорт у одного из консулов, но в двухстах милях от Камчатки был задержан чиновником императрицы, которая передумала и решила запретить поездку. Его посадили в закрытую повозку и, погоняя без устали день и ночь, доставили к границам Польши, где и отпустили. Мистер Джефферсон, говоря о предприятии Ледьярда, ошибочно называет его «первой попыткой исследовать западную часть северо-американского материка».

Следующей важной экспедицией было замечательное путешествие сэра Александра Маккензи, совершенное в 1789 году. Он отправился из Монреаля, прошел по реке Утавас, по озерам Нипписинг и Гурон, вдоль северного берега Озера Верхнего, так называемым Большим Волоком, а оттуда — вдоль реки Дождевой, по озерам Лесному и Боннет, верхней частью озера Собачья Голова, по южному берегу озера Виннипег, по Кедровому Озеру и, мимо устья Саскачевана, к Осетровому Озеру; оттуда он волоком перебрался на Миссисипи и по озерам Черного Медведя, Примо и Бизоньему добрался до высокой горной цепи, идущей с северо-востока на юго-запад; дальше его путь лежал по Лосиной реке к Горному озеру, по Невольничьей реке к озеру Невольничье, вдоль северного берега этого озера до реки Маккензи, а уж по ней, наконец, в Полярное море. Это было огромное путешествие, во время которого он подвергался

бесчисленным опасностям и терпел самые тяжкие лишения. Спустившись по реке Маккензи до ее устья, он прошел вдоль подножья восточного склона Скалистых Гор, однако через горы не перевалил. Правда, весной 1793 года, отправившись из Монреаля и проделав свой прежний путь до устья Унджиги, или реки Мира, он затем поднялся по этой реке, проник в горы на уровне 56-й широты, повернул к югу, достиг реки, которую назвал Лососевой (ныне река Фрейзер), и по ней вышел в Тихий океан, примерно на 40-й параллели северной широты.

Памятная экспедиция капитанов Льюиса и Кларка была совершена в 1804—1805 и 1806 годах. В 1803 году, в связи с истечением срока договора с индейскими племенами о факториях, мистер Джефферсон, в секретном послании конгрессу от 18 января, рекомендовал некоторые изменения в договоре (распространявшие его на индейские территории на Миссури). Для подготовки путей было предложено послать экспедицию, которая прошла бы Миссури до ее истоков, перевалила через Скалистые Горы, а там искала наиболее удобного водного пути к Тихому океану. Этот план был полностью осуществлен; капитан Льюис исследовал (но не «открыл», как сообщает мистер Ирвинг) верховье реки Колумбия и прошел по ней до ее устья. Верховье Колумбии посетил и Маккензи еще в 1793 г.

Одновременно с экспедицией Льюиса и Кларка вверх по Миссури, майор Зебулон М. Пайк¹² прошел вверх по Миссисипи, проследив течение этой реки вплоть до ее истоков в озере Итаска. Вернувшись оттуда, он, по распоряжению правительства, отправился на запад от Миссисипи и за годы 1805—1806 и 1807 побывал в верховье реки Арканзас (за Скалистыми Горами, на 40° северной широты), пройдя по рекам Оседж и Канзас до истоков Платы.

В 1810 году мистер Дэвид Томпсон¹³, пайщик Северо-Западной Пушной компании, отправился из Монреаля с многочисленной группой, чтобы пересечь материк и выйти к Тихому Океану. Первая половина его пути совпадала с маршрутом Маккензи в 1793 г. Целью его было предвосхитить намерение мистера Джона Джейкоба Астора¹⁴, а именно, основать факторию в устье реки Колумбия. Большая часть его людей покинула его на восточных склонах гор; однако ему удалось перевалить через них и с оставшимися восемью спутниками достичь северного рукава Колумбии, по которому он спустился, проделав по нему значительно больший путь, чем какой-либо белый человек до него.

В 1811 году осуществил свое замечательное предприятие мистер Астор, во всяком случае ту его часть, которая относилась к путешествию через материк. Поскольку м-р Ирвинг уже познакомил читателей с подробностями этого путешествия, мы упомянем о нем лишь в немногих словах. О цели его уже только что говорилось. Путь экспедиции (возглавлявшейся м-ром Уилсоном Прайсом Хантом¹⁵) шел из Монреаля, вверх по Утавас, через озеро Ниписсинг и ряд мелких озер и рек до Мичилимакинака, иначе называемого Мэкинуа, оттуда через Зеленую

Бухту и реки Лисью и Висконсин до Prairie du Chien*; оттуда по течению Миссисипи до Сен-Луи; затем вверх по Миссури до поселения индейцев арикара, между 46-м и 47-м градусами северной широты, в 1430 милях выше устья реки; а там, держа на юго-запад, через горы, примерно у верховьев Платы и Йеллоустона, и по южному рукаву Колумбии — к морю. Два маленьких отряда этой экспедиции на обратном пути совершили весьма опасные и богатые приключениями путешествия по материку.

Следующим важным этапом были путешествия майора Стивена Х. Лонга¹⁶. В 1823 г. он добрался до истоков реки Сент-Питер, до озера Виннипег, Лесного и многих других. О более недавних экспедициях капитана Бонвиля¹⁷ и других едва ли нужно говорить, ибо они еще свежи у всех в памяти. О приключениях капитана Бонвиля хорошо рассказал мистер Ирвинг. В 1832 г. отправившись из Форта Оседж, он перевалил через Скалистые Горы и почти три года провел за ними. На территории Соединенных Штатов осталось очень мало областей, где в недавние годы не побывал бы ученый или искатель приключений. Но на обширные пустынные земли к северу от наших владений и к западу от реки Маккензи еще не ступала, насколько известно, нога цивилизованного человека, за исключением мистера Родмена и его маленького отряда. Что касается первенства в переправе через Скалистые Горы, то из сказанного нами явствует, что его не следовало бы приписывать Льюису и Кларку, поскольку это удалось Маккензи в 1793 году; а самым первым был, в сущности, мистер Родмен, преодолевший этот гигантский барьер еще в 1792 году. Таким образом, мы имеем немало оснований предложить нашу необычайную повесть вниманию читателей.

[Редакторы «Джентлменз мэгезин»]

Глава II

После смерти отца и обеих сестер я утратил всякий интерес к нашей плантации у Пойнта и за бесценок продал ее м-сье Жюно. Я и прежде подумывал отправиться траппером вверх по Миссури, а теперь решил снарядить туда экспедицию за пушниной, которую рассчитывал продать в Петит Кот агентам Северо-Западной Пушной компании. Я полагал, что таким образом, имея хоть сколько-нибудь предприимчивости и мужества, можно заработать куда больше денег, чем я мог бы это сделать любым другим способом. Охота и трапперство всегда меня привлекали, хотя прежде я не думал делать из них промысел; мне очень хотелось исследовать запад нашей страны, о котором мне часто рассказывал Пьер Жюно. Он был старшим сыном соседа, купившего мой участок. Это был человек со странностями и несколько эксцентрический, но при всем том — один

* Собачьей Прерии (франц.).

из добрейших людей на свете и никому не уступавший в мужестве, хотя и не наделенный большой физической силой. Он был родом из Канады, и, побывав раз или два в небольших поездках по поручениям Пушной компании, в качестве *voyageur**, любил называть себя таковым и рассказывать о своих путешествиях. Отец мой очень любил Пьера, и я тоже был о нем высокого мнения; он пользовался расположением моей младшей сестры Джейн, и я думаю, что они поженились бы, если бы богу было угодно сохранить ей жизнь.

Когда Пьер узнал, что я еще не решил, чем заняться после смерти отца, он принялся уговаривать меня снарядить небольшую экспедицию по реке и вызвался в ней участвовать; склонить меня к этому ему оказалось нетрудно. Мы решили подняться по Миссури, насколько окажется возможно, занимаясь в пути охотой и трапперством, и не возвращаться, прежде чем не добудем достаточно шкур, чтобы составить себе состояние. Отец Пьера не возражал и дал ему около трехсот долларов, после чего мы отправились в Петит Кот, чтобы приобрести снаряжение и набрать возможно больше людей для экспедиции.

Петит Кот^{1*} представляет собой маленький поселок на северном берегу Миссури, милях в двадцати от места ее слияния с Миссисипи. Он лежит у подножья невысоких холмов, на уступе, расположенном так высоко над рекой, что туда не достигают июньские паводки. Верхняя часть поселка насчитывает не более пяти-шести домов, притом деревянных; но на другом его конце находится часовня и около двенадцати или пятнадцати добротных домов, которые тянутся вдоль реки. В поселке около сотни жителей, большей частью креолов из Канады. Они весьма ленивы и не пытаются возделывать окружающую их плодородную землю, разве только кое-где разбили сады. Главным их занятием является охота и скупка у индейцев пушнины, которую они перепродают агентам Северо-Западной компании. Мы надеялись без труда найти здесь и спутников и снаряжение, но были разочарованы, ибо поселок оказался во всех отношениях слишком беден, чтобы снабдить нас всем необходимым для удобства и безопасности путешествия.

Нам предстояло ехать в самое сердце края, кишевшего индейскими племенами, о которых мы знали лишь понаслышке и которые мы имели все основания считать свирепыми и коварными. Поэтому было особенно важно запастись оружием и боеприпасами, а также иметь достаточно людей; а если мы хотели получить от экспедиции выгоду, надо было взять с собой достаточно вместительные каное для шкур, которые мы рассчитывали добыть. Мы приехали в Петит Кот в середине марта, но лишь в конце мая нам удалось подготовиться к путешествию. Пришлось дважды посылать вниз по реке, в Пойнт, за людьми и припасами, причем то и другое обошлось нам крайне дорого. Нам так и не удалось бы

* Здесь: разъездного агента (франц.).

^{1*} Нынешний город Сент-Чарлз. — [Редакторы «Джентлменз мэгезин»].

достать множества вещей, совершенно необходимых, если бы Пьер не встречал людей, возвращавшихся из поездки вверх по Миссисипи, из которых он завербовал шестерых самых лучших и, кроме того, раздобыл у них каноэ, или пирогу, и приобрел большую часть излишка их провизии и боеприпасов.

Эта своевременная подмога позволила нам еще до первого июня приготовиться к путешествию. Третьего июня (1791 года) мы простились с нашими друзьями в Петит Кот и отправились в путь. Наша группа насчитывала всего пятнадцать человек. Из них пятеро были канадцами из Петит Кот, которые все уже побывали в поездках вверх по реке. Они были хорошими гребцами и отличными товарищами по части французских песен и выпивки; в этом за ними никто не мог угнаться, хотя они редко напивались так, чтобы быть непригодными к делу. Они были всегда веселы и всегда готовы работать, но охотниками были посредственными, а в бою, как вскоре выяснилось, на них нельзя было положиться. Из этих пятерых канадцев двое взялись служить переводчиками на первые пятьсот-шестьсот миль пути вверх по реке (если только нам удастся пройти так далеко), а затем мы надеялись найти индейца, который в случае надобности мог бы переводить; впрочем, мы решили избегать, насколько возможно, встреч с индейцами и лучше самим заняться трапперством, чем, при нашей малочисленности, идти на столь опасное дело, как торговля. Мы постановили соблюдать осторожность и попадаться им на глаза только в тех случаях, когда этого невозможно будет избежать.

Те шестеро, которых Пьер набрал на судне, возвращавшемся по Миссисипи, были людьми совсем иного рода, чем канадцы. Пятеро из них были братьями по фамилии Грили (Джон, Роберт, Мередит, Фрэнк и Пойндекстер), и трудно было бы сыскать более отважных и храбрых парней. Джон Грили был самым старшим и слыл первым силачом, а также лучшим стрелком во всем Кентукки, откуда они были родом. Он был шести футов ростом, необычайно крепок и широк в плечах. Подобно большинству людей, наделенных большой физической силой, он был чрезвычайно добродушен и за это очень любим всеми нами. Остальные четверо братьев тоже были сильны и хорошо сложены, хотя и не могли сравниться с Джоном. Пойндекстер был так же высок, но очень тощ и вид имел необычайно свирепый, хотя, подобно своему старшему брату, отличался миролюбивым нравом. Все они были опытными охотниками и отличными стрелками. Братья охотно приняли предложение Пьера ехать с нами, и мы условились, что они получат из прибыли нашего предприятия такую же долю, что и я, и Пьер; то есть мы должны были разделить всю прибыль на три части — одну мне, другую Пьеру, а третью пятерым братьям.

Шестой человек, завербованный нами на судне, также был хорошим приобретением. Это был Александр Уормли, родом виргинец, человек весьма своеобразный. Он был в свое время проповедником, а затем вообразил себя пророком, отпустил длинную бороду и волосы, ходил босой

и всюду держал пылкие речи. Теперь у него появилась другая мания, и он мечтал найти золотые россыпи в каких-нибудь неприступных местах. Это было у него несомненным помешательством, но во всем остальном он был удивительно разумен и сообразителен. Он был хорошим гребцом и хорошим охотником, отличался большой храбростью, а кроме того немалой физической силой и быстрыми ногами. Я очень рассчитывал на его энтузиазм и, как оказалось, не обманулся.

Остальные двое были: негр по имени Тоби, принадлежавший Пьеру Жюно, и незнакомец, который повстречался нам в лесу возле Миллз Пойнт и немедленно присоединился к нам, едва мы упомянули о своих намерениях. Его звали Эндрью Торнтон; он также был виргинцем и, кажется, из очень хорошей семьи — из Торнтонов, проживающих на севере штата. Он уехал из Виргинии около трех лет назад и все это время скитался по Западу в сопровождении одного лишь огромного пса ньюфаундлендской породы. Он не промышлял пушнины и, как видно, не имел иной цели, кроме удовлетворения своей страсти к бродяжничеству и приключениям. У вечернего костра он часто занимал нас рассказами о своих странствиях и о лишениях, какие он терпел в лесах, говоря о них с прямою и серьезностью, не позволявшими усомниться в его правдивости, хотя многое походило на сказку. Впоследствии мы убедились на опыте, что опасности и тяготы, каким подвергается одинокий охотник, навряд ли могут быть преувеличены и что трудно изобразить их слушателям достаточно яркими красками. Я очень полюбил Торнтона с первого же раза, как увидел его.

О Тоби я сказал всего несколько слов, а между тем он был в нашей экспедиции далеко не последним. Он много лет прожил в семье старого м-сье Жюно и показал себя верным слугой. Для такого предприятия, как наше, он был, пожалуй, чересчур стар, но Пьер не захотел его оставить. Впрочем, он сохранил еще силы и выносливость. Пьер был, вероятно, самым слабосильным из всех, но обладал зато большою рассудительностью и несокрушимым мужеством. Он был чудаковат и порою несдержан, что нередко приводило к ссорам, а раза два поставило под угрозу успех всей экспедиции; но это был верный друг, и за одно это я считал его неоценимым спутником.

Я описал всех членов нашей экспедиции, сколько их было при выезде из Петит Кот^{1*}. Для людей и поклажи, а также для доставки обратно пушнины, которую мы думали добыть, у нас имелись две большие лодки. Меньшая представляла собой берестяную пирогу, сшитую волок-

^{1*} М-р Родмен не описывает себя самого; а между тем без портрета руководителя описание группы было бы неполным. «Ему было около двадцати пяти лет, — сообщает м-р Джеймс Родмен в особой приписке, лежащей сейчас перед нами, — когда он отправился вверх по реке. Это был человек сильный и подвижной, хотя и невысокий ростом — не более пяти футов и пяти-шести дюймов; плотного сложения, с несколько кривыми ногами. Лицо его было еврейского типа, губы тонкие, выражение лица сумрачное». — [Редакторы «Джентлменз мэгазин»].

нами из корней ели и проконопаченную сосновой смолой — настолько легкую, что ее без труда несли шесть человек. Она имела двадцать футов в длину и могла идти на веслах — их могло быть от 4-х до 12-ти. При полной нагрузке она погружалась в воду примерно на восемнадцать дюймов, а пустая — не более чем на десять. Вторую лодку, плоскодонную, нам сделали в Петит Кот (пирога была куплена Пьером у компании, встреченной на Миссисипи). Эта была тридцати футов в длину и при полной нагрузке имела осадку в два фута. Переднюю часть ее занимала палуба в двадцать футов, а под ней — каютка с плотно закрывающейся дверью; там, потеснившись, могли уместиться все члены экспедиции, ибо лодка была очень широкой. Эта часть ее была непроницаема для пуль; промежуток между двух слоев дубовых досок был законопачен пенькой; кое-где мы просверлили маленькие отверстия, чтобы в случае нападения стрелять в противника, а также следить за ним; вместе с тем эти отверстия, при закрытой двери, давали доступ воздуху и свету; на случай надобности у нас имелись для них прочные затычки. Остальная, десятифутовая часть палубы была открытой; здесь было место для шести весел, но чаще всего судно двигалось при помощи шестов, которыми мы работали, переходя вдоль палубы. Была у нас также короткая мачта, которая легко ставилась и снималась; она устанавливалась в семи футах от носа; при благоприятном ветре мы подымали на ней большой прямоугольный парус, а при встречном — убирали его вместе с мачтой.

В особом отделении, отгороженном в носовой части, мы везли десять бочонков хорошего пороха и соответственное количество свинца, из десятой части которого уже были отлиты ружейные пули. Здесь мы спрятали также маленькую медную пушку с лафетом, в разобранном виде, чтобы занимала меньше места; ибо мы считали, что она может пригодиться. Эта пушка была одной из трех, привезенных на пироге по Миссури испанцами за два года до того, и вместе с пирогой пошла ко дну в нескольких милях от Петит Кот. Песчаная мель так сильно изменила русло в том месте, где опрокинулась пирога, что одну из пушек обнаружил какой-то индеец; с несколькими помощниками он доставил ее в поселок, где продал за галлон виски. Тогда жители Петит Кот вытащили и остальные две. Пушки были очень маленькие, но из хорошего металла и искусной работы, с чеканкой, изображавшей змей, которая бывает иногда на французских полевых орудиях. При пушках было пятьдесят железных ядер, и они также достались нам. Я рассказываю о том, как к нам попала пушка, потому что она, как будет сказано ниже, сыграла важную роль в наших делах. Кроме того, у нас имелось пятнадцать запасных винтовок, упакованных в ящики, которые мы тоже поместили на носу, вместе с прочими тяжестями. Это мы сделали для того, чтобы нос глубоко сидел в воде; так лучше, когда в реке много коряг и всякого топляка.

Другого оружия у нас также было достаточно; у каждого был надежный топорик и нож, не говоря о ружье и патронах. В обе лодки поло-

жили по походному котелку, по три больших топора, бечеву, по две клеенки, чтобы укрывать, если понадобится, наш товар, и по две большие губки для вычерпывания воды. У пироги также имелась маленькая мачта с парусом (о которой я забыл упомянуть), а для починок — запас смолы, бересты и «ватапе»¹⁸. Там же мы везли и все товары для индейцев, какие сочли нужным захватить и приобрели на том же судне, ходившем по Миссисипи. Мы не собирались торговать с индейцами, но эти товары были нам предложены по дешевке, и мы решили взять их на всякий случай. Они состояли из шелковых и бумажных платков, ниток, лесок и бечевы; шапок, обуви и чулок, мелкого ножевого и скобяного товара; коленкора, пестрых ситцев и других манчестерских изделий; табаку в пачках, валяных одеял, а также стеклянных побрякушек, бус и т. п. Все это было упаковано небольшими частями так, чтобы каждый из нас мог нести по три таких пакета. Провизия также была удобно упакована и распределена на обе лодки. Всего у нас было двести фунтов свинины, шестьсот фунтов галет и шестьсот фунтов пеммикана. Последний мы взяли в Петит Кот у канадцев, которые сказали нам, что его берут во все большие экспедиции Северо-Западной Пушной компании, когда опасаются, что не добудут достаточно дичи. Он готовится особым образом. Постное мясо крупных животных нарезается тонкими ломтиками и валится на деревянной решетке над небольшим огнем или выставляется на солнце (как в нашем случае), а иногда и на мороз. Когда оно таким образом провялено, его толкут между двумя тяжелыми камнями, и оно может сохраняться несколько лет. Однако при хранении в больших количествах оно весной начинает бродить, и если его хорошенько не проветрить, оно скоро портится. Нутряной жир растапливают вместе с жиром огузка и смешивают в равных частях с толченым мясом; затем его кладут в мешки, и оно готово к употреблению и очень вкусно, даже без соли и овощей. Самый лучший пеммикан делается с добавлением костного мозга и сушеных ягод и является весьма вкусным блюдом^{1*}. Виски мы везли в оплетенных бутылках по пять галлонов в каждом; таких у нас было двадцать, то есть всего сто галлонов.

Когда мы погрузили все припасы и всех пассажиров, включая собаку Торнтонна, оказалось, что свободного места почти не остается, разве что в большой каюте, которую мы не загрузили, чтобы спать в ней в дурную

^{1*} Пеммикан, описанный м-ром Родменом, представляет для нас нечто совершенно новое и совсем не похож на тот, о котором наши читатели несомненно узнали из записок Перри¹⁹, Росса²⁰, Бэка²¹ и других северных путешественников. Тот, как мы помним, готовится посредством длительной варки постного мяса (из которого тщательно удален жир), пока оно не уварится в густую массу. К этой массе добавляются в изобилии пряности и соль, так что даже небольшое ее количество считается весьма питательным. Впрочем, один американский хирург, который имел возможность наблюдать процесс пищеварения через открытую рану в желудке пациента, доказал, что для этого процесса важен именно объем и что концентрация питательных веществ является поэтому в значительной степени бессмыслицей. — [Редакторы «Джентлменз мэгезин»].

погоду; здесь у нас хранилось только оружие и боеприпасы, да еще несколько бобровых капканов и медвежья шкура. Теснота подсказала нам мысль, которую надо было осуществить в любом случае, а именно: оставить четырех человек, чтобы шли вдоль берега и стреляли для нас дичь, а одновременно вели разведку, предупреждая нас о появлении индейцев. Для этого мы обзавелись двумя хорошими лошадьми; одну дали Роберту и Мередиту Грили, которые должны были следовать южным берегом, другую — Фрэнку и Пойндкестеру Грили, которым предстояло идти по северному берегу. Лошади предназначались для перевозки подстреленной дичи.

Это заметно разгрузило наши лодки, где теперь нас оставалось одиннадцать человек. В меньшую лодку сели двое из Петит Кот, а также Тоби и Пьер Жюно. В большой поместился Пророк (как мы его называли), он же Александр Уормли, Джон Грили, Эндрю Торнтон, трое из Петит Кот и я, да, кроме того, собака Торнтона.

Иногда мы шли на веслах, но большей частью подтягивались, держась за ветви деревьев, росших по берегу, или, где позволяла местность, вели лодки на буксире, что было легче всего; одни шли по берегу и тянули, другие оставались в лодках, отпихиваясь от берега баграми. Очень часто мы все работали баграми. В этом способе передвижения (он хорош, когда на дне не слишком много ила или пльвунов, а глубина не слишком велика) канадцы весьма искусны, так же как и в гребле. Они пользуются длинными, твердыми и легкими баграми с железными наконечниками; вооружившись ими, они идут к носу судна, по равному числу людей с каждого борта; затем становятся лицом к корме и достают баграми дно; крепко упираясь в него, каждый нажимает на конец багра плечом, подложив подушку; идя вдоль судна, они с большой силой толкают его вперед. С такими баграми не нужен рулевой, так как багры направляют судно с удивительной точностью.

Пользуясь всеми этими способами, а иногда, при быстром течении или на мелководье, вынужденные пробираться вброд и тащить наши лодки, мы начали свое богатое событиями путешествие вверх по Миссури. Шкуры, являвшиеся основной целью экспедиции, мы должны были добывать главным образом охотой и трапперством, стараясь оставаться незамеченными и не прибегая к торгу с индейцами, ибо знали их по опыту за коварный народ, с которым столь малочисленной экспедиции, как наша, лучше не иметь дела. Меха, которые добывались в этих местах нашими предшественниками, включали бобра, выдру, куницу, рысь, норку, ондатру, медведя, обычную лису, лису мелкой породы, росомуху, енота, ласку, волка, бизона, оленя и лося; но мы решили ограничиться наиболее ценными из них.

Великолепная погода в день нашего отъезда из Петит Кот вселила в нас надежду и настроила всех чрезвычайно весело. Лето еще только начиналось, и ветер, который сперва сильно дул нам навстречу, дышал весенней негой. Солнце светило ярко, но еще не жгло. Лед на реке уже

сошел, и обильные воды скрыли от глаз илистые наносы, которые при низкой воде так портят вид берегов Миссури. Сейчас река величаво текла мимо одного из берегов, заросшего ивой и канадским тополем, и мощно била в крутые утесы другого берега. Глядя вверх по реке (она здесь уходила прямо на запад, пока вода не сливалась вдали с небом) и размышляя об обширных пространствах, по которым протекли эти воды, — пространствах, еще не известных белому человеку и быть может изобилующих редчайшими творениями бога, — я почувствовал никогда прежде не испытанное волнение и втайне решил, что только неодолимые препятствия помешают мне плыть по этой величавой реке дальше всех моих предшественников. В эти минуты я ощущал в себе сверхчеловеческие силы и испытывал такой душевный подъем, что лодка показалась мне тесной. Мне хотелось быть на берегу вместе с братьями Грили и вприпрыжку мчаться по прерии, давая волю обуревавшему меня чувству. Эти чувства полностью разделял со мною Торнтон; его живой интерес к нашему предприятию и восхищение окружавшею нас красотой особенно расположили меня к нему с той минуты. Никогда в жизни я не испытывал так сильно, как тогда, потребность в друге, с которым я мог бы беседовать свободно и не боясь быть неверно понятым. Внезапная потеря всех близких, отнятых у меня смертью, опечалила, но не подавила мой дух, обратившийся за утешением к девственной Природе; но оказалось, что ее созерцанием и навеваемыми ею размышлениями можно насладиться вполне только в обществе человека, способного чувствовать одинаково со мной. Торнтон был именно тем, кому я мог излить переполненную душу и высказать самые бурные чувства, не опасаясь насмешек и даже с уверенностью, что найду в нем столь же восторженного слушателя. Ни прежде, ни после я не встречал никого, кто бы так понимал мое отношение к природе; уже одного этого было достаточно, чтобы связать меня с ним крепкой дружбой. Все время, пока длилась наша экспедиция, мы были близки, как могут быть близки братья, и я ничего не предпринимал, не посоветовавшись с ним. Я был дружен также и с Пьером, но с ним меня не связывала общность мыслей — эта прочнейшая из всех связей между людьми. Хотя и чувствительный по натуре, Пьер был чересчур легкомысленным, чтобы понять мой благоговейный восторг.

Первый день нашего путешествия не ознаменовался никакими примечательными событиями, не считая того, что к вечеру мы с некоторым трудом прошли мимо устья большой пещеры, находившейся на южном берегу реки. Пещера выглядела очень мрачно; она находилась у подножья огромного, футов в двести, утеса, несколько вдававшегося в реку. Мы не могли ясно разглядеть глубину пещеры, но в высоту она имела футов шестнадцать-семнадцать, а в ширину не менее пятидесяти^{1*}.

^{1*} Упоминаемая здесь пещера известна купцам и речникам под названием «Таверни». На утесах видны причудливые рисунки, которые некогда весьма почитались

Течение в том месте весьма быстрое, а так как утес не позволял идти бечевой, то миновать его оказалось очень трудно; для этого всем, кроме одного человека, пришлось перебраться в большую лодку. Один из нас остался в пироге и укрепил ее на якоре ниже пещеры. Взявшись все за весла, мы провели большую лодку по трудному месту, а пироге бросили канат, с помощью которого потянули ее за собою, когда прошли достаточно вверх по течению. За этот день мы прошли мимо рек Боном и Оседж Фам, с двумя небольшими притоками и несколькими островками. Несмотря на встречный ветер, мы сделали около двадцати пяти миль и расположились на ночлег на северном берегу, у подножья холма, немного ниже порога, называемого Дьябль.

4 июня. Рано утром Фрэнк и Пойндекстер Грили принесли нам жирного оленя, которым все мы с большим удовольствием позавтракали, а затем бодро продолжали путь. У порога Дьябль течение с большой силой бьет о скалы, вдающиеся в реку с юга и сильно затрудняющие плавание. Немного выше нам повстречалось несколько плывунов, доставивших много хлопот; в этом месте берег все время осыпается и с течением времени сильно изменит русло. В восемь часов подул свежий ветер с востока, и с его помощью мы поплыли быстрее, так что к вечеру сделали, вероятно, тридцать миль или более. С севера мы миновали реку Дю Буа, приток, называемый Шарите*, и несколько маленьких островков. Вода в реке быстро прибывала; мы остановились на ночлег под купою канадских тополей, так как на самом берегу не оказалось места, пригодного для лагеря. Погода была отличная, и я был чересчур взволнован, чтобы уснуть; попросив Торнтонна сопровождать меня, я пошел прогуляться по окрестностям и возвратился только перед рассветом. Остальные впервые разместились в каюте, и она оказалась достаточно просторной, чтобы вместить еще пять-шесть человек. Ночью их

индейцами. Эта пещера, по словам капитана Льюиса, имеет в ширину 120 ф., в высоту 20, в глубину 40, а высота нависшей над нею скалы составляет почти 300 ф. Мы хотим обратить внимание читателя на то обстоятельство, что данные мистера Родмена неизменно оказываются скромнее данных капитана Льюиса. При всей своей явной восторженности наш путешественник никогда не преувеличивает фактических данных. В этом случае, как во многих других, его указания на размеры (в полном смысле этого слова) нигде не преувеличены, как доказываются позднейшими сведениями. Мы считаем это весьма ценной чертой; и она несомненно внушает полное доверие к его описаниям тех мест, о которых мы знаем только с его слов. Что касается впечатлений, тут мистери Родмену свойственно сгущать краски. Так, например, описываемую пещеру он называет очень мрачной, но эту окраску ей придает его собственное сумрачное настроение в час, когда он плыл мимо. Это следует помнить при чтении его записок. Фактов он никогда не преувеличивает; его впечатления от этих фактов могут показаться преувеличенными. Но в этих преувеличениях нет никакой фальши; все дело в чувстве, вызываемом у него увиденными предметами. Колорит, который может показаться кричащим, для него был единственно верным. — [Редакторы «Джентлменз мэгезин»].

* Вероятно, Ла Шаррет. Дю Буа — это, несомненно Вуд Ривер. — [Редакторы «Джентлменз мэгезин»].

потревожил странный шум на палубе, причину которого не удалось выяснить, ибо когда некоторые выбежали посмотреть, там никого не было. Судя по их описанию шума, я заключил, что это могла быть индейская собака, которая учуяла свежее мясо (вчерашнюю оленину) и пыталась унести часть его. Это объяснение вполне меня удовлетворило; однако происшествие показало нам, как опасно не выставлять по ночам часовых; мы решили на будущее держаться этого правила.

[Описав первые два дня пути словами мистера Родмена, мы не последуем за ним до устья Платт, которого он достиг десятого августа. Эта часть реки настолько известна и столько раз описана, что еще одно описание было бы излишним, тем более, что эти страницы записок не содержат ничего, кроме общих сведений о местности и обычных подробностей охоты или управления лодками. Экспедиция трижды останавливалась, чтобы заняться трапперством, но без особого успеха; поэтому было решено продвинуться дальше в глубь края, прежде чем всерьез добывать пушнину. За два месяца, описание которых мы опускаем, в записках отмечено всего два сколько-нибудь важных события. Одним из них была гибель одного из канадцев, Жака Лозанн, от укуса гремучей змеи; вторым — появление испанских чиновников, посланных комендантом провинции, чтобы перехватить экспедицию и заставить ее повернуть назад. Однако старший из них так заинтересовался экспедицией и почувствовал такую симпатию к мистеру Родмену, что нашим путешественникам разрешили плыть дальше. Временами появлялись мелкие группы индейцев из племен оседж и канзас, не проявлявшие, впрочем, никакой враждебности. Оставшиеся четырнадцать путешественников десятого августа 1791 года достигли устья реки Платт, где мы их на некоторое время покинем].

Глава III

[Достигнув устья реки Платт, наши путешественники сделали трехдневную остановку, во время которой они сушили и проветривали шкуры и провизию, мастерили новые весла и багры и чинили берестяную пирогу, получившую сильные повреждения. Охотники в изобилии доставляли дичь, которой до краев загрузили лодки. Там было вдоволь оленей, а также индеек и жирных куропаток. Кроме того, путешественники лакомились различными видами рыб, а неподалеку от берега нашелся отличный дикий виноград. Индейцы не показывались уже более двух недель, ибо начался охотничий сезон, и они несомненно ушли в прерию охотиться на бизонов. Прекрасно отдохнув, путешественники снялись с лагеря и поплыли дальше вверх по Миссури. Здесь мы снова приводим подлинный текст дневника].

14 августа. — Идем при отличном юго-восточном ветерке, держась южного берега и используя водовороты; идем очень быстро, несмотря на течение, которое на середине чрезвычайно сильно. В полдень мы остано-

вились, чтобы осмотреть любопытные холмы на юго-западном берегу, где почва на пространстве более 300 акров значительно понижается. Поблизости находится большой водоем, который, очевидно, вобрал воду со всей низины. По ней всюду разбросаны курганы различной высоты и формы, из песка и глины; самые высокие находятся ближе всего к реке. Я не мог решить, были ли эти холмы естественными или насыпными. Можно было бы предположить, что они насыпаны индейцами, если бы не общий характер почвы, по которой, видимо, прошли бурные воды^{1*}. Здесь мы провели остаток дня, проделав всего двадцать миль.

15 августа. — Сегодня дул сильный и неприятный встречный ветер, и мы прошли всего пятнадцать миль и то с большим трудом, а на ночь расположились под обрывом на северном берегу — первым обрывом на этом берегу, какой нам встретился от самой реки Нодавэй. Ночью полил проливной дождь; братья Грили пригнали лошадей и укрылись в каюте. Роберт вместе с лошадей переплыл реку с южного берега, а потом отправился в пироге за Мередитом. Эти подвиги он совершил словно шутя, хотя ночь выдалась на редкость темная и бурная, а вода в реке сильно поднялась. Мы все уютно поместились в каюте, ибо снаружи было довольно холодно, и Торнтон долго занимал нас рассказами о своих приключениях с индейцами на Миссисипи. Его огромный пес, казалось, с величайшим вниманием вслушивался в каждое его слово. Рассказывая что-либо особенно неправдоподобное, Торнтон с полной серьезностью призывал его в свидетели. «Нэп, — говорил он, — помнишь, как было дело?» или: «Нэп может это подтвердить, — верно, Нэп?», и пес при этом таращил глаза, высовывал огромный язык и кивал кудлатой головой, словно говоря: «Верно, как Библия». Зная, что он был нарочно обучен этому фокусу, мы все равно не в силах были удержаться от смеха всякий раз, как Торнтон к нему обращался.

16 августа. — Сегодня рано утром миновали остров и приток шириною около пятнадцати ярдов, а двенадцатью милями дальше — большой остров, расположенный посредине реки. Сейчас по северному берегу все время тянется возвышенность — прерия и лесистые холмы, — а по южному — низина, поросшая канадским тополем. Река крайне извилиста и течет не так быстро, как ниже впадения Платт. Леса стало меньше; если встречается, то большей частью вяз, канадский тополь, гикори и грецкий орех, иногда дуб. Почти весь день дул сильный ветер, и при содействии ветра и течения мы успели до ночи пройти 25 миль. Лагерь разбили на южном берегу, на равнине, заросшей высокой травой, с множеством сливовых деревьев и кустов смородины. Над ней подымался крутой лесистый холм; взойдя на него, мы увидели другую прерию, тянувшуюся примерно на милю, а за ней — еще одну, насколько хватал

^{1*} Сейчас установлено, что эти курганы указывают место древнего селения некогда могучего племени оттов. Почти истребленные постоянными войнами, отты отделились под покровительство племени поуни и поселились к югу от реки Платт, милях в тридцати от ее устья. — [Редакторы «Джентлменз мэгезин»].

глаз. С горы над нашей стоянкой открывался один из прекраснейших ландшафтов в мире ^{1*}.

17 августа. — Мы остались здесь на весь день и занялись различными делами. Позвав с собою Торнтон с его собакой, я немного прошел к югу и был очарован пышной красотой местности. Эта прерия превосходила все, о чем рассказывается в сказках «Тысячи и одной ночи». По берегам притока в изобилии росли цветы, казавшиеся скорее творениями искусства, нежели природы, — так богато и причудливо сочетались их яркие цвета. От их пьянящего аромата в воздухе было почти душно. Там и сям, среди океана пурпурных, синих, оранжевых и алых цветов, качавшихся под ветром, попадались зеленые островки деревьев. Эти купы состояли из величественных лесных дубов; трава под ними казалась ковром из нежнейшего зеленого бархата, а по могучим стволам взбирались пышные лозы, отягощенные сладкими зрелыми гроздьями. Вдали величаво текла Миссури; многие разбросанные по ней настоящие острова были сплошь покрыты сливовыми и другими деревьями; кое-где острова пересекались в разных направлениях узкими и извилистыми тропами, похожими на аллеи английского парка; на них мы постоянно видели то лося, то антилопу, которые, очевидно, и протоптали их. На закате мы возвратились в лагерь в восхищении от нашей прогулки. Ночь была теплая, и нам сильно досаждали москиты.

18 августа. — Сегодня мы проходили место, где река сужается почти до 200 ярдов, но течет быстро и загромождена древесными стволами. Большая лодка напоролась на корягу и до половины наполнилась водой, прежде чем мы ее вызволили. Из-за этого пришлось остановиться и осмотреть наши вещи. Часть сухарей подмокла, но порох остался сухим. На это ушел весь день, и мы сделали всего пять миль.

19 августа. — Сегодня вышли в путь рано и успели много пройти. Погода была прохладная и облачная, а в полдень нас окатил ливень. По южному берегу миновали приток, устье которого почти загорожено большим песчаным островом причудливой формы. После этого прошли еще пятнадцать миль. Холмы теперь отступают от реки и отстоят друг от друга на 10—20 миль. На северном берегу много хорошего леса, на южном — очень мало. Вдоль реки тянется великолепная прерия, а на самом берегу мы собираем виноград четырех или пяти сортов, вкусный и совершенно зрелый, в том числе отличный крупный виноград пурпурного цвета. Наши охотники с обоих берегов пришли на ночь в лагерь и принесли больше дичи, чем мы могли осилить, — куропаток, индеек, двух оленей, антилопу и множество желтых птиц с черными полосами на крыльях; последние оказались удивительно вкусными. За этот день мы прошли около 20 миль.

20 августа. Сегодня утром река полна песчаных мелей и других преград; однако мы не унывали и к ночи добрались до устья довольно

^{1*} Утесы Совета. — [Редакторы «Джентлменз магезин»].

большого притока в 20 милях от предыдущего ночлега. Этот приток расположен на северном берегу; напротив его устья лежит большой остров. Здесь мы разбили лагерь, решив остаться на четыре или пять дней для ловли бобров, так как заметили вокруг много бобровых следов. Этот остров — одно из самых сказочных мест в мире; он преисполнил меня восхитительными и новыми впечатлениями. Все окружающее походило больше на сны, которые я видел в детстве, чем на действительность. Берега полого спускались к воде и были покрыты, точно ковром, мягкой ярко-зеленой травой, видной даже под водой, на некотором расстоянии от берега; особенно с севера, где в реку впадал приток с прозрачной водой. Весь остров, размером примерно в двадцать акров, был окаймлен канадскими тополями; их стволы были увиты виноградными лозами со множеством гроздьев, сплетавшимися так тесно, что это едва позволяло разглядеть реку. Внутри этого круга трава была несколько выше и грубее, в бледно-желтую или белую продольную полоску; она издавала удивительно приятный аромат, напоминавший запах ванили, но гораздо сильнее, так что весь окружающий воздух был им напоен. Очевидно, английская глицерия относится к тому же семейству, но значительно уступает этой по красоте и аромату. Трава повсюду была усеяна бесчисленными яркими цветами, большей частью очень душистыми — голубыми, белыми, ярко-желтыми, пурпурными, малиновыми, ярко-алыми, а иногда — с полосатыми лепестками, подобно тюльпанам. Местами виднелись группы вишневых и сливовых деревьев; по всему берегу острова вились многочисленные узкие тропинки, протоптанные лосями или антилопами. Посреди его, из отвесной скалы, сплошь покрытой мхом и цветущей лозой, пробивался родник с прозрачной и вкусной водою. Все это удивительно походило на искусно разбитый сад, но было несравненно красивей, напоминая волшебные сады, о которых можно прочесть в старинных книгах. Мы были в восторге от местности и приготовились разбить свой лагерь среди всего этого безлюдного великолепия.

[Здесь экспедиция провела неделю, в течение которой осмотрела прилегающую местность во многих направлениях и добыла некоторое количество шкур, главным образом на упомянутом выше притоке. Погода стояла отличная, и путешественники предавались в этом земном раю ничем не омраченному блаженству. Однако мистер Родмен не забывал о необходимых предосторожностях и каждую ночь выставлял часовых, пока остальные веселились, собравшись в лагере. Никогда еще они так не пировали и не пили. Канадцы показали себя с самой лучшей стороны, когда требовалось спеть песню или осушить кружку. Они только и делали, что стряпали, ели, плясали и во все горло пели веселые французские песни. Днем им обыкновенно поручали охрану лагеря, пока более солидные участники экспедиции уходили охотиться или ставить капканы. Однажды мистеру Родмену представилась отличная возможность наблюдать повадки бобров; его рассказ об этих своеобразных жи-

вотных весьма интересен, тем более, что в некоторых отношениях значительно отличается от других имеющихся описаний.

Как обычно, его сопровождал Торнтон со своей собакой, и они прошли вдоль небольшого притока к его верховьям на возвышенности, примерно в 10 милях от реки. Наконец они добрались до места, где сооруженная бобрами запруда образовала большое болото. В одном его конце густо росли ивы; некоторые нависали над водой, и в этом месте наши путешественники увидели несколько бобров. Они подкрались к ивам и, приказав Нептуну лежать поодаль, сумели, незамеченные, влезть на толстое дерево, с которого могли вблизи наблюдать все происходящее.

Бобры чинили часть своей запруды, и можно было видеть весь ход работ. Строители по одному подходили к краю болота, держа в зубах небольшие ветки. Каждый шел к плотине и тщательно укладывал ветку в продольном направлении там, где запруду прорвало. Сделав это, он тут же нырял, а через несколько секунд появлялся на поверхности с комом ила, из которого он сперва выжимал большую часть влаги и которым затем обмазывал только что уложенную ветку, орудуя задними лапами и хвостом (последний служил ему мастерком). После этого он уходил, а за ним быстро следовал второй член общины, прodelьвавший то же самое.

Таким образом повреждение в запруде быстро чинилось. Родмен и Торнтон более двух часов наблюдали за этой работой и свидетельствуют о высокой искусности строителей. Но едва бобр отходил от края болота за новой веткой, они теряли его из виду среди ив, к большому своему огорчению, ибо хотели проследить все его действия. Однако, взобравшись несколько выше по дереву, они скоро все увидели. Бобры, как видно, свалили небольшой клен и обгрызли с него почти все тонкие ветки; несколько бобров обгрызали оставшиеся ветки и направлялись с ними к плотине. Тем временем большая группа животных окружила гораздо более толстое и старое дерево и также готовилась его свалить. Вокруг дерева собралось около шестидесяти бобров; шесть-семь из них работало одновременно: если один из них уставал, он отходил и его место занимал другой. Когда наши путешественники увидели этот клен, он был уже сильно подгрызен, но только со стороны, обращенной к болоту, на краю которого он рос. Надрез имел в ширину почти фут и был сделан так чисто, точно его вырубали топором; а земля вокруг была усаяна тонкими, как соломинки, длинными щепками, которые животные выгрызли, но не съели, так как, видимо, едят только кору. Работая, некоторые из них сидели на задних лапах, как часто сидят белки, и грызли ствол, опираясь передними лапами о край выемки и глубоко засунув туда головы; два бобра целиком влезли внутрь и лежа усердно работали зубами; там их часто сменяли другие.

Хотя путешественники сидели в весьма неудобных позах, им так хотелось увидеть, как упадет клен, что они оставались на своем посту до заката, то есть целых восемь часов. Больше всего хлопот им причинил

Нептун, которого с трудом удавалось удерживать от того, чтобы он не кинулся в болото за работниками, чинившими запруду. Производимый им шум несколько раз спугивал грызунов, которые все как один насто-раживались и долго прислушивались. Однако к вечеру пес прекратил свои выходы и лежал спокойно; а бобры работали без устали.

На закате среди лесорубов было замечено волнение; все они разом отбежали к той стороне дерева, которая не была повреждена. Спустя мгновение оно начало клониться на подгрызенную сторону, пока не со-шлись края надреза, но все еще не падало, поддерживаемое отчасти нетронутой корой. На нее-то и накинuloсь теперь столько работников, сколько могло уместиться, и она очень быстро была перегрызена; тогда огромный ствол, которому уже был искусно придан нужный наклон, упал с громким треском, расстилая свои верхние ветви по поверхности болота. Закончив это дело, артель, очевидно, решила, что заслужила отдых, и, прекратив работу, бобры принялись гоняться друг за другом в воде, ныряя и шлепая хвостами по поверхности.

Приведенное здесь описание порубок, производимых бобрами, является наиболее подробным из всех, какие мы читали, и не содержит сомнений в сознательности всех действий животного. Из него ясно следует, что бобры намеренно валят дерево в направлении к воде. Вспомним, что капитан Бонвиль отрицает эту предполагаемую мудрость животного и считает, что его цель не идет дальше того, чтобы свалить дерево, без каких-либо тонких расчетов относительно того, как это делать. Такие расчеты, по его мнению, приписываются бобрам из-за того, что все деревья, растущие у воды, либо наклонены к ней, либо тянутся туда своими наиболее крупными ветвями, находя именно там больше всего света, про-стора и воздуха. Он полагает, что бобр, естественно, берет за ближай-шие деревья, то есть крайние к воде, а они, будучи подгрызены, падают именно на сторону воды. Мысль эта представляется убедительной, но она отнюдь не исключает сознательного намерения в действиях бобра, кото-рый по уму стоит в лучшем случае ниже многих видов низших живот-ных — несравненно ниже муравьиного льва, пчел и коралловых полипов. Скорее всего бобр, если бы он имел выбор между двумя деревьями, из которых одно тяготело бы к воде, а другое — нет, свалил бы первое, не соблюдая описанных предосторожностей, в данном случае излишних, но соблюдал бы их, сваливая второе.

Далее в дневнике сообщаются другие сведения о повадках этого своеобразного зверька и о том, как путешественники на него охотились; ради связности повествования мы приводим их здесь. Основной пищей бобрам служит кора, и они запасают ее на зиму в большом количестве, тщательно выбирая нужный им сорт. За корой отправляется все посе-ление бобров, насчитывающее иной раз две и три сотни животных; они проходят мимо зарослей по видимости одинаковых деревьев, пока не найдут того, что им нравится. Тогда они валят дерево, отгрызают самые молодые ветки, разгрызают их на куски равной длины и обдирают с них

кору, которую сносят к ближайшему ручью, текущему к их поселению, и по нему сплавляют. Иногда они запасают такие отрезки ветвей, не обдирая с них кору; тогда они тщательно убирают из своего жилья эти древесные отходы и, как только кора съедена, относят их на некоторое расстояние. Весной самцы никогда не бывают дома, а кочуют поодиночке или по два и три и тогда теряют обычную осторожность, легко становясь добычей траппера. Летом они возвращаются к своему клану и вместе с самками начинают делать запасы на зиму. Будучи раздражены, они, как говорят, проявляют крайнюю свирепость.

Иногда их можно поймать на суше, особенно весной, когда самцы часто отдаляются от воды в поисках пищи. Застигнутых таким образом, их легко убить ударом палки; но самым верным способом является капкан. Это простое сооружение, куда животное попадает лапой. Траппер обычно помещает его у берега, под самой поверхностью воды, прикрепив короткой цепью к шесту, воткнутому в ил. В отверстие капкана вставляется тонкая веточка; другой ее конец выходит на поверхность воды и пропитывается жидкой приманкой, своим запахом привлекающей бобров. Почувяв этот запах, животное трется носом о ветку и при этом наступает на капкан; тот захлопывается, и бобр пойман. Капкан делается очень легким, для удобства переноски, и добыча легко могла бы уплыть вместе с ним, не будь он прикреплен к шесту цепью; — ничто другое не может устоять против зубов бобра. Опытный траппер легко обнаруживает присутствие бобров в любом пруду или реке по тысяче признаков, ничего не говорящих неопытному наблюдателю.

Многие из бобров-лесорубов, за которыми столь внимательно наблюдали двое из путешественников, попали впоследствии в капкан, и их великолепный мех стал добычей трапперов, порядком опустошивших норы на болоте. В других водах, поблизости, им также удалось немало поживиться; и им надолго запомнился островок в устье одного притока, названный ими Бобровым. Двадцать седьмого числа того же месяца они покинули это райское местечко, очень довольные, и, продолжая свое, пока еще не слишком богатое событиями, плавание вверх по реке, первого сентября без особых приключений достигли устья большой реки, впадающей в Миссури с юга, которую они называли Смородиновой из-за обилия этих ягод по берегам; но это была, без сомнения, река Кикурр. В дневнике за этот период упоминаются большие стада бизонов, повсюду темневшие среди прерии, а также остатки укреплений на южном берегу реки, почти напротив южной оконечности острова, впоследствии названного Бонóm Айленд. Подробное описание этих укреплений в основном совпадает с тем, которое дают капитаны Льюис и Кларк. С севера путешественники миновали реки Малая Сиу, Флойд, Большая Сиу, Уайт Стоун и Жак, а с юга — приток Вавандисенш и реку Уайт Пейнт; но нигде долго не задерживались. Они миновали также большое селение племени омаха, о котором дневник даже не упоминает. В то время это селение насчитывало не менее трехсот жилищ и давало приют многочис-

ленному и могучему племени; но оно несколько удалено от берегов Миссури, и лодки вероятно прошли мимо него ночью — ибо из опасения наткнуться на индейцев сиу экспедиция стала теперь передвигаться по ночам. Со 2-го сентября мы продолжаем рассказ словами мистера Родмена].

2 сентября. Мы достигли мест, где, по слухам, следует опасаться индейцев, и стали продвигаться с величайшей осторожностью. Здешняя местность населена индейцами сиу, племенем воинственным и свирепым, которое не раз проявляло враждебность к белым и, как известно, непрестанно воюет со всеми соседними племенами. Канадцы немало говорили об их свирепости, и я очень опасался, как бы эти трусы при случае не сбегали и не вернулись на Миссисипи. Чтобы им было труднее это сделать, я снял одного из них с пироги, а на его место посадил Пойндекстера Грили. Все братья Грили пришли с берега, отпустив лошадей на волю. Теперь мы разместились следующим образом: в пироге — Пойндекстер Грили, Жюно, Тоби и один из канадцев; в большой лодке — я, Торнтон, Уормли, Джон, Фрэнк, Роберт и Мередит Грили, трое канадцев и собака. Мы выехали с наступлением сумерек и благодаря свежему ветру с юга успели пройти немало, хотя в темноте нам сильно мешали мели. Однако мы безостановочно продвигались вперед, а незадолго до рассвета вошли в устье притока и укрыли лодки в кустах.

3 и 4 сентября. Эти два дня лил дождь и бушевал ветер, так что мы не покидали своего укрытия. Дурная погода очень нас угнетала, а рассказы канадцев о свирепых сиу также не улучшали настроения. Мы собрались в каюте большой лодки и стали держать совет относительно дальнейшего пути. Братья Грили высказались за смелый бросок через опасную местность и утверждали, что рассказы путешественников страдают преувеличениями и что сиу будут лишь слегка досаждать нам, не вступая в бой. Однако Уормли и Торнтон, а также Пьер (все — хорошо знакомые с повадками индейцев) считали, что лучше действовать так, как до сих пор, хотя это могло надолго нас задержать. Я был того же мнения; идя, как мы шли до тех пор, мы могли избежать стычки с сиу, а промедление я не считал большой бедой.

5 сентября. Двинулись в путь ночью и проделали около десяти миль, а затем стало светать, и мы, как и раньше, спрятали лодки в узком притоке, весьма удобном для этой цели, ибо его устье было почти целиком перегороджено лесистым островком. Снова начался проливной дождь, и мы промокли до нитки, прежде чем проделали все необходимое и могли укрыться в каюте. Ненастная погода действовала угнетающе; особенно приуныли канадцы. Мы находились теперь в узкой части реки, с быстрым течением; с обеих сторон над водой нависали утесы, густо поросшие липой, дубом, черным орехом, вязом и каштанами. Мы знали, что в такой теснине трудно оставаться незамеченными, даже ночью, и наши опасения очень усилились. Мы решили не отправляться дальше до поздней ночи и двигаться с большой осторожностью. А тем временем мы выставили

часового на берегу и еще одного — в пироге, пока остальные осматривали оружие и боеприпасы, готовясь к худшему.

Около десяти часов мы собрались отплыть, как вдруг наша собака тихо зарычала; это заставило нас всех схватиться за ружья; однако причиной тревоги оказался одинокий индеец племени понка, который, не таясь, подошел к часовому, стоявшему на берегу, и протянул руку. Мы привели его на борт и угостили виски, отчего он сделался весьма общителен и рассказал, что его племя, живущее в нескольких милях ниже по течению, уже не первый день наблюдает наше передвижение; но что понка настроены дружелюбно и не тронут белых людей, а когда мы пойдём в обратный путь, готовы к меновому торгу. Его послали предостеречь белых против сиу, известных грабителей, которые устроили засаду в двадцати милях выше, где река образует излучину. Их там — три отряда, сообщил он, и они намерены убить нас всех, в отместку за оскорбление, много лет назад нанесенное их вождю неким французским траппером.

Глава IV

[Мы покинули наших путешественников пятого сентября, в ожидании нападения сиу. Преувеличенные слухи о свирепости этого племени внушили экспедиции сильное желание избежать встречи; но из сообщения дружелюбного понки явно следовало, что встреча неизбежна. Путешественники отказались от ночных передвижений, признав эту тактику неправильной, и постановили действовать решительно и выказывать полное бесстрашие. Остаток ночи прошел в военных приготовлениях. Большую лодку освободили, насколько было возможно, для этой цели, придав ей самый грозный вид, какой сумели. В числе прочих приготовлений к обороне путешественники подняли снизу пушку и установили ее на палубе, над каютой, приготовив и пули для пальбы картечью. Перед восходом солнца путешественники отплыли с вызывающей смелостью, при сильном попутном ветре. Чтобы враг не увидел признаков страха или подозрительности, канадцы запели, а все остальные подхватили удалую походную песню, так что по лесу пошел гул, и бизоны в изумлении глядели им вслед.

Как видно, индейцы сиу были для мистера Родмена жупелом *par excellence**, и он особо останавливается на их военных подвигах. Из его подробного описания нравов этого племени мы приводим лишь то, что содержит нечто новое или имеет важное значение. Название «сиу» дано этим индейцам французами; англичане превратили его в «сью». Кажется, их туземное название — *даркоты*²². Они жили некогда на Миссисипи, но постепенно расширили свои владения и к тому времени, когда писался дневник, занимали почти всю обширную территорию

* В особенности, по преимуществу (франц.).

между Миссисипи, Саскачеваном, Миссури и Красной рекой, впадающей в озеро Виннипег. Они делились на множество кланов. Собственно даркотоми были виноваканты, которых французы называли *Gens du Lac**; их было примерно пятьсот воинов, живших по обоим берегам Миссисипи, вблизи водопада Св. Антония. Соседями виновакантов, жившими к северу от них, на реке Сент-Питер, были ваппатоми, насчитывавшие около двухсот воинов. Выше по реке Сент-Питер жила группа в сто человек, которая называла себя ваппитути, а у французов была известна как *Gens des Feuilles***. Еще выше по реке, в ее верховьях, обитали сисситуни, числом около двухсот. На Миссури жили янктоны и тетоны. Первые делились на две ветви, северную и южную, из которых первая, насчитывавшая около пятисот человек, кочевала в долине, откуда начинаются реки Красная, Сиу и Жак. Южная ветвь владела землей между рекой Де Мойн и реками Жак и Сиу. Но самыми свирепыми из всех сиу слышат тетоны; а они делятся на четыре племени: саони, миннакенози, окайденди и буа-брюле. Последние, те, что подкарауливали наших путешественников в засаде, были самыми дикими и грозными из всех; их насчитывалось около двухсот, и они жили по обоим берегам Миссури, вблизи рек, которым капитаны Льюис и Кларк дали название реки Белой и реки Тетон. Ниже реки Шайенн жили окайденди, в количестве полтораста человек. Миннакенози, числом двести пятьдесят, занимали землю между Шайенн и Ватарху; а саони, наиболее крупный из кланов тетонов, насчитывавший до трехсот воинов, жили вблизи Вареконн.

Кроме этих четырех племен — коренных сиу — было еще пять отколовшихся, которые назывались ассинибойны. Из них ассинибойны мена-топа, в количестве двухсот, жили на Мышиной реке, между рекой Ассинибойн и Миссури; двести пятьдесят *Gens des Feuilles* занимали оба берега реки Белой; Большие Дьяволы, насчитывавшие четыреста пятьдесят человек, кочевали в верховьях реки Дикобразов и реки Молочной, а еще две группы, названия которых не упомянуты, бродили вдоль Саскачевана, общим числом около семисот. Эти отколовшиеся группы часто воевали с материнским племенем сиу.

Внешний облик сиу обычно уродлив; их конечности, по нашим понятиям о пропорциях тела, слишком коротки по сравнению с туловищем; у них выступающие скулы и выпуклые, тусклые глаза. Мужчины бреют голову, оставляя лишь длинную прядь на макушке, которая спускается им на плечи в виде косы; эту прядь они очень холят, но иногда срезают, по случаю особого торжества или траура. Вождь сиу в полном боевом облачении представляет поразительное зрелище. Все его тело вымазано жиром и углем. Рубаха из шкур достигает талии и подпоясана кушаком примерно в дюйм шириною, из такой же шкуры или материи; к нему прикреплено одеяло или шкура, продетая между ног. На плечах у него

* Озерные люди (франц.).

** Лиственные люди (франц.).

плащ из отбеленной шкуры бизона, которую в хорошую погоду носят мехом внутрь, а в дождь — мехом наружу. Плащ достаточно велик, чтобы можно было завернуться в него целиком, и часто украшен иглами дикобраза (которые гремят при движениях воина), а также множеством грубо нарисованных эмблем, указывающих на воинственность его владельца. На голове вождя укреплено ястребиное перо и иглы дикобраза. Вместо панталон — поножи из выделанной шкуры антилопы, с боковыми швами дюйма в два шириною и украшениями из прядей волос, взятых у какого-нибудь оскальпированного врага. Мокасины сшиты из шкуры лося или бизона мехом внутрь; в торжественных случаях вождь волочит за каждым из мокасин хорьковую шкурку. Сиу питают пристрастие к этому неприятному животному и любят делать из его шкуры кисеты и другие вещи.

Замечательна также одежда жены вождя. Ее длинные волосы разделены пробором и спускаются по спине или собраны в подобие сетки. Мокасины ее не отличаются от мужниных, но поножи достигают только колен, где их прикрывает неуклюжая рубаха из лосиных шкур, которая спускается до лодыжек, а сверху укрепляется веревкой. В талии она обычно подпоясана, а поверх всего накинут плащ из бизоньей шкуры, такой же, как у мужчин. Вигвамы тетонов хорошо построены; они делаются из отбеленных бизоньих шкур и укрепляются на шестах.

Это племя наводняет берега Миссисипи на протяжении более ста пятидесяти миль; по большей части это прерия, на которой местами встречаются холмы. Последние неизменно прорезаны глубокими оврагами и лощинами, которые в середине лета пересыхают, а в период дождей служат руслом мутных и бурных потоков. Их края как вверху, так и внизу заросли густым кустарником, но преобладает открытая ветрам безлесная низина, поросшая буйной травой. Почва сильно насыщена разнообразными минералами, в том числе глауберовой солью, медью, серой и квасцами, которые окрашивают воды реки и сообщают ей отвратительный запах и вкус. Из диких животных чаще всего встречаются бизоны, олени, лоси и антилопы. Здесь мы опять даем слово автору дневника].

6 сентября. Плыли по открытой местности; погода стояла отличная, так что все мы были настроены довольно бодро, несмотря на ожидание нападения. До сих пор мы еще не видели ни одного индейца и быстро продвигались по их опасным владениям. Я, однако, слишком хорошо знал тактику дикарей, чтобы не понимать, что за нами неустанно наблюдают, и был уверен, что тетоны не преминут оказаться в первой же лощине, где им будет удобно притаиться.

Около полудня один из канадцев заорал: «Сиу! Сиу!» и указал на длинную и узкую расселину, которая пересекала прерию слева от нас и тянулась от берега Миссури к югу, насколько хватал глаз. Это ущелье было руслом притока, но сейчас воды там было мало, и берега представляли собой высокие стены. С помощью подзорной трубы я тотчас обнаружил причину тревоги. По ущелью спускался цепочкой большой отряд

конных индейцев, явно намереваясь застигнуть нас врасплох. Их выдали перья головных уборов, которые то и дело показывались над краем ущелья, там где неровности почвы заставляли их подниматься. Именно по движениям перьев мы увидели, что они едут верхом. Отряд приблизился очень быстро, и я велел грести во всю мочь, чтобы пройти устье притока прежде, чем они его достигнут. Увидев, по ускоренному ходу лодок, что мы их заметили, индейцы испустили клич, выскочили из ущелья и помчались на нас; их было около сотни.

Положение наше становилось тревожным. В любом другом месте, пройденном за тот день, я не так опасался бы нападения этих разбойников; но здесь берега были очень высокими и отвесными, какими бывают берега у притоков, так что дикари отлично видели нас сверху, тогда как пушка, на которую мы возлагали такие надежды, не могла быть на них наведена. В довершение наших трудностей течение посредине реки было столь быстрым и сильным, что мы не могли преодолевать его иначе, как бросив оружие и изо всех сил налегая на весла. У северного берега было чересчур мелко даже для пироги, и если мы вообще хотели продвигаться вперед, необходимо было держаться на расстоянии брошенного камня от левого, то есть южного, берега, где мы были совершенно беззащитны против сию, но зато могли быстро двигаться с помощью шестов и ветра, а также используя водовороты. Если бы дикари напали на нас здесь, не думаю, чтобы мы уцелели. Все они были вооружены луками, стрелами и маленькими круглыми щитами, представляя очень живописное и красивое зрелище. У некоторых из вождей копья были украшены затейливыми вымпелами; вид их был весьма воинственный.

Но то ли наша удача, то ли недогадливость индейцев весьма неожиданно вывела нас из затруднения. Подскакав к краю обрыва над нашей головой, дикари снова завопили и принялись делать жесты, которыми — как мы сразу поняли — предлагали нам высадиться на берег. Этого требования я ожидал и решил, что всего благоразумнее будет не обращать на него внимания и продолжать путь. Мой отказ остановиться имел по крайней мере то хорошее действие, что очень озадачил индейцев, которые ничего не могли понять и когда мы двинулись дальше, не отвечая на сигналы, глядели на нас с самым комическим изумлением. Затем они стали возбужденно переговариваться и, убедившись, что нас не поймешь, ускакали в южном направлении, оставив нас столь же удивленными, как и обрадованными их отступлением.

Мы постарались воспользоваться благоприятным моментом и изо всех сил работали шестами, чтобы до возвращения наших врагов миновать крутые берега. Спустя часа два мы снова увидели их вдалеке, к югу от нас, причем число их значительно увеличилось. Они приближались во весь опор и вскоре были уже у реки; но теперь наша позиция была куда более выгодной, ибо берега были отлогими и на них не было деревьев, которые могли бы укрыть дикарей от наших выстрелов. Да и течение уже не было здесь столь сильным, и мы могли держаться середины реки. Индейцы,

как видно, уезжали только затем, чтобы раздобыть переводчика, который появился на крупном сером коне и, заехав в реку, насколько было возможно, на ломаном французском языке предложил нам остановиться и сойти на берег. На это я, через одного из канадцев, ответил, что ради наших друзей сию мы охотно остановились бы ненадолго и побеседовали, но не можем, ибо это неуютно нашему великому талисману (тут канадец указал на пушку), который очень спешит и которого мы боимся ослушаться.

После этого они снова начали взволнованно совещаться, сопровождая это усиленной жестикуляцией, и, видимо, не знали, что делать. Тем временем лодки стали на якорь в удобном месте, и я решил, если нужно, сразиться немедленно и постараться дать такой отпор разбойникам, чтобы внушить им на будущее спасительный страх. Я считал, что сохранить с сию дружественные отношения было почти невозможно, ибо в душе они оставались нашими врагами, и только убеждение в нашем мужестве могло удерживать их от грабежа и убийств. Согласиться на их требование сойти на берег и, быть может, даже купить себе, с помощью даров и уступок, временную безопасность, было бы всего только полумерой, а не решительным пресечением зла. Рано или поздно они наверняка захотели бы насладиться мезтью и если сейчас и отпустили бы нас, то могли напасть потом, когда преимущество было бы на их стороне и когда мы едва сумели бы отбить нападение, а не то что внушить им страх. В нашей теперешней позиции мы могли дать им урок, который запомнится, а такого случая может больше не быть. Поддержанный в своем мнении всеми, за исключением канадцев, я решил держаться дерзко и не избегать столкновения, а скорее вызвать его. Это было самым правильным. У дикарей, видимо, не было огнестрельного оружия, не считая старого карабина одного из вождей; а их стрелы не могли бить метко с того расстояния, какое нас разделяло. Что касается их численности, она нас не слишком заботила. Все они находились сейчас под прицелом нашей пушки.

Когда канадец Жюль окончил речь о нашем великом талисмане, которого мы не хотели беспокоить, а среди дикарей улеглось вызванное этим волнение, переводчик заговорил снова и задал три вопроса. Он желал узнать, во-первых, есть ли у нас табак, виски или ружья; во-вторых, не нужна ли нам помощь сию в качестве гребцов на большой лодке, которую они предлагают провести вверх по Миссури до владений племени рикари, больших негодяев; а, в-третьих, не является ли наш великий талисман всего-навсего огромным зеленым кузнечиком.

На эти вопросы, заданные с большой важностью, Жюль, выполняя мои указания, ответил следующим образом. Во-первых, у нас масса виски и табака и неисчерпаемые запасы оружия и пороха; но наш великий талисман только что поведал нам, что тетоны — еще большие негодяи, чем рикари, — что они нам враги — что они уже много дней поджидают нас, чтоб убить — и чтоб мы им ничего не давали и не вступали с ними

в сношения; поэтому мы боимся что-либо им дать, если бы и хотели, чтоб не рассердился великий талисман, с которым шутки плохи. Во-вторых, после такой аттестации тетонов мы не можем и думать взять их гребцами; а в-третьих, их счастье, что великий талисман не расслышал последнего их вопроса насчет «огромного зеленого кузнечика», иначе им (сиу) пришлось бы очень худо. Наш великий талисман совсем не кузнецик, и в этом они скоро *удостоверятся*, на свою же беду, если немедленно не уйдут прочь.

Несмотря на грозившую нам опасность, мы с трудом сохраняли серьезность при виде глубокого изумления и почтения, с каким дикари слушали наш ответ; и я полагаю, что они бы тотчас же поспешили рассеяться, если бы не неудачные слова о том, что они *бóльшие* негодяи, чем рикари. Это, очевидно, являлось для них величайшим оскорблением и вызвало ярость. Мы слышали, как они возбужденно повторили «рикари!», «рикари!» и, насколько мы могли судить, разделились во мнениях; одни указывали на могущество великого талисмана, другие не желали стерпеть неслыханно оскорбительного высказывания, в котором они были названы *бóльшими* негодяями, чем рикари. Мы между тем продолжали держаться на середине реки, твердо решив вкатить негодяям порцию нашей картечи при первом же проявлении враждебности с их стороны.

Но вот толмач на сером коне снова заехал в воду и сказал, что считает нас за полные ничтожества — что все бледнолицые, какие до тех пор проплыли вверх по реке, показывали себя друзьями сиу и делали им ценные подарки — что они, тетоны, решили не пускать нас дальше, пока мы не сойдем на берег и не отдадим все наши ружья и виски и половину запасов табака — что мы, несомненно, состоим в союзе с рикари (которые сейчас воюют с сиу) и везем им боевые припасы, а это недопустимо — и, наконец, что они невысокого мнения о нашем великом талисмани, ибо он нам солгал насчет замыслов тетонов и несомненно является просто *бóльшим* зеленым кузнечиком, хотя мы это и отрицаем. Последние слова о кузнечике были подхвачены всем сборищем и выкрикивались во все горло, чтобы сам великий талисман наверняка расслышал это оскорбление. Тут они пришли в настоящее неистовство; пустив лошадей в галоп, они описывали круги, делая, в знак презрения к нам, непристойные жесты, размахивая копьями и прицеливаясь из луков.

Я знал, что за этим последует атака и решил начать первым, прежде чем кто-либо из нас будет ранен их стрелами — от промедления мы ничего не выигрывали, а быстрыми и решительными действиями могли выиграть все. Я выждал удобный момент и дал команду стрелять, которая была тотчас выполнена. Результат был разительный и вполне отвечал нашим целям. Шестеро индейцев было убито и втрое больше — тяжело ранено. Остальные пришли в величайший ужас и смятение и вскачь умчались по прерии, а мы перезарядили пушку, подняли якоря и смело пошли к берегу. Когда мы его достигли, там не видно было ни одного тетона, кроме раненых.

Я поручил лодки попечению Джона Грили и троих из канадцев, а сам с остальными высадился и, подойдя к одному из дикарей, раненному тяжело, но не опасно, вступил с ним в беседу при посредстве Жюля. Я сказал, что белые хорошо относятся к сиу и ко всем индейским племенам; что единственной целью нашего прихода является ловля бобров и знакомство с прекрасной страной, которую Великий Дух даровал краснокожим людям; что как только мы добудем нужное количество шкур и осмотрим все, что хотели повидать, мы вернемся к себе домой; что, по слухам, сиу, а в особенности тетоны, — большие забияки, и мы поэтому взяли с собой для защиты наш великий талисман; что он сейчас сильно раздражен против тетонов за оскорбительное отождествление с зеленым кузнечиком (каковым он не был); что я с большим трудом удержал его от погони за убежавшими воинами и от расправы с ранеными; и умиротворил его только тем, что лично поручился за хорошее поведение индейцев. Эту часть моей речи бедняга выслушал с большим облегчением и протянул мне руку в знак дружбы. Я пожал ее и обещал ему и его товарищам свое покровительство, если нас не потревожат, и подкрепил обещание двадцатью свертками табака, несколькими ножами, бусами и красной фланелью для него и остальных раненых.

Все это время мы зорко следили за беглецами. Раздавая подарки, я увидел некоторых из них вдалеке; их наверняка видел и раненый, но я счел за лучшее сделать вид, будто я никого не заметил, и вскоре вернулся к лодкам. Этот эпизод занял не менее трех часов, и только в четвертом часу пополудни мы смогли снова пуститься в путь. Мы спешили изо всех сил, ибо я хотел до наступления темноты уйти как можно дальше от поля боя. Сильный ветер дул нам в спину, а течение все более слабело по мере того, как река становилась шире. Поэтому мы шли очень быстро и к девяти часам вечера достигли большого лесистого острова у северного берега и вблизи устья притока. Здесь мы решили устроить стоянку, и едва ступили на берег, как один из братьев Грили подстрелил отличного бизона, которых тут было множество. Выставив на ночь часовых, мы поужинали бизоньим горбом, запивая его виски в количествах вполне достаточных. Затем мы обсудили события дня, которые большинство моих людей приняло как отличную шутку; мне, однако, было не до веселья. До этого я еще ни разу не проливал человеческой крови; и хотя разум твердил мне, что я избрал наиболее мудрый, а в конечном итоге несомненно и наиболее милосердный путь, совесть отказывалась прислушаться даже к разуму и упорно шептала: «ты пролил человеческую кровь». Часы тянулись медленно; заснуть я не мог. Наконец занялась заря, и свежая роса, свежий ветерок и улыбки цветов снова вдохнули в меня мужество и дали мыслям иной ход, позволивший мне более трезво взглянуть на содеянное и правильно оценить его необходимость.

7 сентября. Выехали рано и много успели пройти при сильном и холодном восточном ветре. Около полудня достигли верхнего ущелья так

называемой Большой Излучины, где река дает добрых тридцать миль крюку, тогда как напрямик по суше это расстояние составляет не более полутора тысяч ярдов. В шести милях дальше находится приток шириною около 35 ярдов, впадающий в реку с юга. Местность выглядит весьма необычно; оба берега реки на много миль густо усеяны круглыми валунами, смытыми с утесов, и представляют очень своеобразное зрелище. Фарватер здесь очень мелкий и полон плавучих. Из деревьев чаще всего встречается кедр, а прерия покрыта колючей опунцией, среди которой нашим людям нелегко было пробираться в мокасинах.

На закате, стремясь обойти быстрину, мы имели несчастье посадить нашу большую лодку левым бортом на край песчаной мели, причем лодка так накренилась, что, несмотря на все наши усилия, едва не наполнилась водой. Вода успела подмочить порох и почти все товары, предназначенные для индейцев. Едва лишь лодка накренилась, все мы выпрыгнули в воду чтобы поддержать накренившийся борт. Положение было трудное, ибо наших сил едва хватало на то, чтобы не дать лодке опрокинуться, и у нас не было ни одной пары свободных рук для другой работы. Когда мы уже были готовы отчаяться, песок под лодкой неожиданно осел, и все таким образом выправилось. Русло реки в этих местах изобилует подобными зыбучими песками, которые перемещаются очень быстро и без видимой причины. Это — твердый и мелкий желтый песок, который блестит, как стекло, когда высохнет, и почти неосязаем.

8 сентября. Мы все еще находились в краю тетонов и были постоянно настороже, останавливаясь возможно реже и только на островах, которые изобиловали самой разнообразной дичью — бизонами, лосями, оленями, козами, чернохвостыми оленями и антилопами, а также различными породами ржанок и казарок. Козы совсем не пугливы и безбороды. Рыба не так обильна, как ниже по течению. В лошине на одном из малых островков Джон Грили подстрелил белого волка. Из-за трудного фарватера и частой необходимости вести лодки на буксире мы в этот день продвинулись мало.

9 сентября. Погода становится заметно холоднее, что заставляет нас спешить и скорее миновать страну сиу, ибо зимовать по соседству с ними было бы весьма опасно. Мы старались всю и плыли очень быстро, под песни и выкрики канадцев. По временам мы видели издали одинокого тетона, но никто нас не тревожил, и мы приободрились. За день мы проплыли 28 миль и, настроенные очень весело, заночевали на большом острове, изобиловавшем дичью и густо заросшем канадским тополем.

[Опускаем приключения мистера Родмена вплоть до десятого апреля. В конце октября экспедиция без особых происшествий достигла небольшого притока, который назвали ручьем Выдр; пройдя по нему примерно милью, до подходящего островка, путешественники построили там бревенчатое укрепление, где и зазимовали. Место это расположено чуть выше старых поселений индейцев рикари. Группы этих индейцев несколько раз навестили путешественников и вели себя весьма дружелюбно; они про-

слышали о стычке с тетонами и были очень довольны ее исходом. Сиу больше не беспокоили путешественников. Зима прошла благополучно и без особых происшествий. Десятого апреля экспедиция снова отправилась в путь].

Глава V

10 апреля 1792. Погода вновь настала отличная, и это нас чрезвычайно подбодрило. Солнце набирало силу, а река совершенно освободилась ото льда, как заверили нас индейцы, миль на сто вперед. Мы с искренним сожалением простились с Маленькой Змеей [вождем рикари, который в течение зимы оказывал путешественникам много знаков дружбы] и с его людьми и, позавтракав, тронулись в путь. Перрин [агент Пушной Компании Гудзонова залива, ехавший в Петит Кот], вместе с тремя индейцами, провожал нас первые десять миль, а затем попрощался и вернулся в селение, где (как мы узнали позднее) погиб от руки какой-то сквау, которую он оскорбил. Расставшись с агентом, мы поспешили дальше вверх по реке и прошли немало, несмотря на сильное течение. Под вечер Торнтон, который уже несколько дней жаловался на недомогание, сильно расхворался; настолько, что я хотел вернуться вместе со всеми в нашу хижину и там подождать его выздоровления; но он так энергично этому воспротивился, что я был вынужден уступить. Мы устроили ему удобную постель в каюте и окружили заботой; но у него началась сильная горячка и по временам бред, так что я очень опасался, что мы его потеряем. Однако мы продолжали упорно идти вперед и к ночи прошли двадцать миль — совсем неплохо для одного дня.

11 апреля. Погода все еще отличная. Вышли рано, при благоприятном ветре, очень нам помогавшем; и если бы не болезнь Торнтона, все мы были бы в отличном настроении. Ему становилось все хуже, и я не знал, что предпринять. Мы делали все, чтобы больному было легче. Канадец Жюль приготовил питье из местных трав, которое вызвало у больного пот и заметно снизило жар. На ночь мы причалили к северному берегу; трое охотников вышли в прерию при луне и вернулись в час пополуночи, без ружей, но с жирной антилопой.

Они рассказали, что, пройдя много миль в глубь местности, достигли берегов красивейшего ручья, где с тревогой увидели большой отряд сиу саони, которые тут же взяли их в плен и привели на другой берег потока, поместив за загородкой из сучьев и глины, где находилось целое стадо антилоп. Животные продолжали входить в этот загон, устроенный так, чтоб из него нельзя было выбраться. Индейцы проделывают это ежегодно. Осенью антилопы, в поисках пищи и укрытия, уходят из прерии в гористую местность к югу от реки. Весной они снова переходят ее целыми стадами и тогда их легко заманить в загоны, подобные только что описанному.

Охотники (Джон Грили, Пророк и один из канадцев) почти не надеялись вырваться из рук индейцев (которых было не менее пятидесяти) и приготовились к смерти. Грили и Пророка обезоружили и связали по рукам и ногам; но канадца, по какой-то не вполне понятной причине, не связали; у него только отобрали ружье, но оставили ему охотничий нож (который дикари, вероятно, не заметили, ибо он носил его в футляре, прикрепленном к краге) и вообще обращались с ним совершенно иначе, чем с остальными. Это и дало им всем возможность спастись.

Когда их схватили, было, вероятно, часов девять вечера. Луна ярко светила, но так как погода для этого времени года была необычно прохладной, индейцы зажгли два больших костра, на достаточном расстоянии от загона, чтобы не пугать антилоп, которые продолжали туда входить. На этих кострах они жарили дичь, когда охотники неожиданно наткнулись на них, выйдя из-за деревьев. Грили и Пророка, обезоруженных и связанных крепкими ремнями из бизоньей кожи, бросили под деревом, неподалеку от огня; а канадцу, под охраной двух дикарей, позволили сесть у одного из костров, в то время как остальные индейцы собрались вокруг другого, большего. Время тянулось медленно, и охотники ежеминутно ожидали смерти; ремни были затянуты так туго, что причиняли связанным нестерпимые муки. Канадец пытался заговорить со своей охраной, в надежде ее подкупить и освободиться, но его не понимали. Около полуночи у большого костра произошло смятение из-за того, что несколько крупных антилоп ринулось на огонь. Животные прорвались через глиняную стену загона и, обезумев от страха, бросились на свет костра, как это делают ночью насекомые. Должно быть саони не ожидали ничего подобного от этих, обычно робких, животных, ибо они сильно испугались; а когда, через минуту после первых, на них понеслось все пленное стадо, испуг перешел в панику. Охотники рассказали, что творилось нечто необычайное. Животные совершенно обезумели; по словам Грили (отнюдь не склонного к преувеличениям), их безудержный, стремительный бег сквозь пламя и через толпу испуганных дикарей представлял не только удивительное, но и жуткое зрелище. Они сметали все на своем пути; проскочив сквозь большой костер, они тут же ринулись на малый, расшвыривая горящие головешки; потом, ошеломленные, снова повернули к большому костру и так несколько раз, пока костры не стали гаснуть, а тогда они, одно за другим, вихрем умчались в лес.

В этой сумасшедшей свалке многие индейцы оказались повалены на землю, а некоторые наверняка тяжело, если не смертельно, ранены острыми копытами скачущих антилоп. Иные плашмя легли на землю и тем спаслись. Пророк и Грили, находившиеся далеко от огня, были в безопасности. Канадец сразу же свалился под ударами копыт, на несколько минут лишившимися его сознания. Очнулся он почти в полной темноте, ибо луна скрылась за плотной грозовой тучей, а костры почти погасли, не считая разметанных там и сям головешек. Индейцев рядом с ними не

было, и он, мгновенно решив бежать, добрался, как сумел, до дерева, под которым лежали его товарищи. Их пути были быстро разрезаны, и все трое, что было сил, побежали к реке, не думая о ружьях и о чем-либо ином кроме спасения. Пробежав несколько миль и убедившись, что за ними никто не гонится, они замедлили бег и остановились у ручья напиться. Здесь-то они и обнаружили антилопу, которую, как я уже говорил, доставили к лодкам. Бедное животное лежало на берегу ручья, тяжело дыша и не в силах двинуться. У него была сломана нога и обгорело все тело. Это несомненно было одно из тех, кому они были обязаны своим спасением. Если бы имелась хоть какая-нибудь надежда на то, что оно может оправиться, охотники из благодарности пощадили бы его; но оно было тяжело покалечено, и они прикончили его и принесли нам, а мы отлично позавтракали на следующее утро его мясом.

12, 13, 14 и 15 апреля. Все эти четыре дня мы плыли без каких-либо происшествий. Днем стояла отличная погода, но ночи и утренние зори были очень холодные, с заморозками. Дичи было много. Торнтон все еще хворал, и его болезнь несказанно тревожила и огорчала меня. Мне очень недоставало его общества; я убедился, что он был почти единственным членом экспедиции, которому я мог вполне довериться. Этим я хочу сказать только, что он был почти единственным, с которым я мог или хотел делиться всеми своими дерзкими надеждами и фантастическими планами, — но это не значит, что среди нас был кто-либо, не заслуживавший доверия. Напротив, все мы стали точно братья, и у нас ни разу не было сколько-нибудь серьезных разногласий. Всех нас связывала общая цель, а вернее сказать, мы оказались путешественниками без особых целей — кроме удовольствия. Что думали канадцы, я не сумел бы сказать с уверенностью. Они, разумеется, много толковали о выгодах нашего предприятия и особенно о своей предполагаемой доле в добыче; и все же мне кажется, что они не слишком были ею озабочены, ибо это были самые простодушные и безусловно самые услужливые парни на свете. Что до остальных членов нашего экипажа, то я нисколько не сомневаюсь, что о денежной выгоде от экспедиции они помышляли меньше всего. За время пути не раз явственно обнаружилось чувство, которое, в той или иной степени, овладело каждым из нас. Вещи, которые в городах считались бы наиболее важными, здесь расценивались как нечто, не стоящее серьезного обсуждения, и достаточно было пустячного предложения, чтобы их отодвинули на задний план или вовсе забыли. Люди, проделавшие не одну тысячу миль по пустынной местности, где их подстерегали величайшие опасности, и терпевшие самые страшные лишения якобы для того, чтобы добыть пушнину, редко давали себе труд сохранить добытое и без сожаления готовы были покинуть целый тайник, полный отборных бобровых шкур, ради удовольствия проплыть по какой-нибудь романтической реке или проникнуть в опасную скалистую пещеру в поисках минералов, о ценности которых они ничего не знали и которые при первом же случае тоже бросали как ненужный балласт.

В этом я был сердцем с ними; и должен сказать, что, чем дальше мы плыли, тем меньше я интересовался главной задачей экспедиции и тем больше был готов свернуть с пути ради праздной забавы — если только это слово правильно выражает глубокое и сильное волнение, с каким я созерцал чудеса и величавую красоту этих первозданных мест. Не успевал я осмотреть одну местность, как меня охватывало непреодолимое желание идти дальше и исследовать другую. Однако я пока еще чувствовал себя чересчур близко к человеческому жилью, чтобы это вполне удовлетворяло мою пламенную страсть к Природе и к неизведанному. Я не мог не знать, что какие-то цивилизованные люди, пусть немногие, успели опередить меня; что чьи-то глаза прежде моих зачарованно глядели на окружающий ландшафт. Если б не эта неотвязная мысль, я, конечно, чаще задерживался бы и уходил в сторону, чтобы осмотреть местность, прилегающую к реке, а то и проникнуть дальше в глубь края, лежавшего к северу и к югу от нашего пути. Но мне не терпелось плыть дальше — попасть, если возможно, за крайние пределы цивилизованного мира — взглянуть, если удастся, на исполинские горы, о существовании которых мы знали только из сбивчивых рассказов индейцев. Этих конечных целей и надежд я не поверял вполне никому, кроме Торнтону. Он поддерживал мои самые фантастические планы и полностью разделял владевшее мною романтическое настроение. Поэтому я так сокрушался о его болезни. А ему день ото дня становилось хуже, и мы не в силах были ему помочь.

16 апреля. Сегодня лил холодный дождь и дул сильный ветер, вынудивший нас простоять на якоре всю первую половину дня. В четыре часа пополудни мы тронулись в путь и к ночи прошли пять миль. Торнтону стало значительно хуже.

17 и 18 апреля. Оба дня стояла неприятная сырая погода, все с тем же холодным северным ветром. На реке нам часто встречались крупные льдины, а сама река сильно вздулась и помутнела. Нам приходилось трудно, и продвигались мы медленно. Торнтон, казалось, был при смерти, и я решил остановиться на первом же удобном месте, чтобы выждать исхода его болезни. Поэтому в полдень мы ввели лодки в широкий приток, впадавший в реку с юга, и расположились лагерем на его берегу.

25 апреля. Здесь мы оставались до сегодняшнего утра, когда, к общей нашей великой радости, Торнтону стало настолько лучше, что можно было продолжать путь. Наступила отличная погода, и мы весело шли красивейшими местами, не встречая ни одного индейца и никаких особых приключений, вплоть до последнего дня апреля, когда мы достигли страны манданов, вернее, манданов, миннетари и анахауэев; ибо все эти три племени живут рядом, в пяти селениях. Еще не так давно у манданов было девять селений, примерно в восьмидесяти милях ниже по реке; развалины их мы миновали, не зная, что это такое — семь к западу и два к востоку от реки; но оспа и старые враги, сиу, сильно уменьшили их

численность; оставшаяся горсточка поселилась на нынешнем месте. [Здесь мистер Родмен дает довольно подробное описание миннетари и анахауэев, называемых также вассатунами; но мы опускаем его, ибо оно мало чем отличается от других известных описаний этих племен.] Манданы встретили нас весьма дружелюбно, и мы пробыли вблизи них три дня, которые употребили на починку пироги и другого снаряжения. Мы достали у них изрядный запас сушеной кукурузы разных сортов, которую дикари хранят зимой в ямах возле своих вигвамов. Пока мы гостили у манданов, нас навестил вождь племени миннетари, по имени Ваукерасса, который был очень учтив и оказал нам немалые услуги. Сына этого вождя мы уговорили сопровождать нас до развилки в качестве переводчика. Мы преподнесли отцу несколько подарков, которыми он остался весьма доволен^{1*}. Первого мая мы простились с манданами и двинулись дальше.

1 мая. Погода стояла теплая, и местность становилась все красивее, ибо все вокруг зеленело. Листья на канадском тополе уже достигли величины пятишиллинговой монеты, и многие цветы распустились. Здесь начинаются более обширные, чем прежде, низины, густо заросшие лесом. Много канадского тополя и обычной, а также красной ивы, и изобилие розовых кустов. За приречной низиной тянулась сплошная огромная безлесная равнина. Почва была необычайно плодородна. Дичи было больше, чем где-либо до тех пор. Впереди нас по обоим берегам шло по охотнику, и сегодня они принесли лося, козла, пять бобров и множество ржанок. Бобры совсем не пугливы и легко ловятся. В качестве пищи мясо этого животного — настоящее *bonne bouche**, в особенности хвост, несколько клейкий, наподобие плавников палтуса. Одного бобрового хвоста достаточно, чтобы сытно накормить трех человек. К ночи мы успели пройти двадцать миль.

2 мая. Утром дул отличный попутный ветер, так что до полудня мы шли под парусами, но затем он уж слишком усилился, и мы остановились до конца дня. Охотники вышли на промысел и вскоре вернулись с огромным лосем, которого Нептун свалил после долгой погони, ибо он был лишь слегка ранен крупной дробью. Он имел шесть футов в высоту. В сумерках добыли еще антилопу. Завидя наших людей, она помчалась, как стрела, но вскоре остановилась и вернулась, видимо, из любопытства, а потом снова поскакала. Это повторялось несколько раз, причем она подходила все ближе, пока не приблизилась на расстояние ружейного выстрела, и тут Пророк ее подстрелил. Она оказалась тощей и к тому же котной. При всей их необычайной быстроте, эти животные плохо плавают и часто, пытаясь переправиться через реку, становятся добычей волков. За сегодняшний день мы прошли двенадцать миль.

^{1*} Вождь Ваукерасса упоминается капитанами Льюисом и Кларком, которых он также навестил.

* Лакомство (франц.).

3 мая. Утром шли очень быстро и к вечеру успели сделать не менее тридцати миль. Дичи по-прежнему много. Вдоль берега лежало множество трупов бизонов, которых пожирали волки. При нашем приближении они неизменно убегали. Мы не знали, чем объяснить гибель бизонов, но, спустя несколько недель, загадка разъяснилась. Добравшись до места, где берега обрывисты, а вода под ними глубока, мы увидели большое стадо плывущих бизонов и остановились, чтобы их наблюдать. Они спускались наискось по течению и, очевидно, вошли в реку из ущелья в полумиле выше, где берег отлого спускался к воде. Доплыв до западного берега, они не смогли взобраться по обрыву, а вода была там слишком глубока, чтобы они могли стоять. После тщетных попыток удержаться на крутом и скользком глинистом склоне, они повернули и поплыли к другому берегу, где их встретила та же неприступная круча и где повторились те же напрасные попытки выбраться на сушу. Они повернули в другой раз, в третий, в четвертый и в пятый — подплывая к берегу почти в том же самом месте. Вместо того, чтобы дать течению снести себя к более удобному берегу (всего на какую-нибудь четверть мили ниже), они старались удержаться на одном месте и для этого плыли под острым углом к течению, прилагая огромные усилия, чтобы их не снесло. После пятой попытки бедные животные были так измучены, что явно не могли дольше держаться. Они отчаянно бились, пытались выбраться на берег; одному или двум это почти удалось, как вдруг, к большому нашему огорчению (ибо мы не могли без сострадания наблюдать их мужественные усилия), земля над ними поползла и засыпала нескольких животных, а берег не стал от этого удобнее для подъема. Тут остальные издали жалобное мычание, вернее, стон, исполненный такой муки и отчаяния, какие невозможно себе вообразить; забыть его я никогда не смогу. Некоторые попытались еще раз переплыть реку, несколько минут бились в волнах и утонули, окрасив воду кровью, хлынувшей из их ноздрей в момент агонии. Большая же часть, испустив стон, апатично покорилась своей участи, перевернулась на спину и пошла ко дну. Так утонуло все стадо; ни одно животное не спаслось. Спустя полчаса река выбросила их трупы неподалеку, на низкий берег, куда они так легко могли бы добраться, если б не их тупое упрямство.

4 мая. Погода стоит превосходная, и мы с помощью теплого южного ветра прошли до вечера двадцать пять миль. Торнтон настолько оправился, что помогал вести лодки. Под вечер он пошел со мной в прерию на западном берегу, где мы увидели множество ранних весенних цветов, какие не встречаются в населенных местах. Многие из них были удивительно красивы и ароматны. Попадались нам и разнообразная дичь, но мы по ней не стреляли, будучи уверены, что наши охотники и без того принесут больше, чем мы сможем съесть; а бесцельного истребления живых существ я не одобряю. На обратном пути нам повстречались два индейца из племени ассинибойн, которые шли за нами до самых лодок. Они не выказывали никакого недоверия, напротив, шли с нами открыто и

смело; поэтому мы очень удивились, когда они, дойдя до пироги на расстояние брошенного камня, неожиданно повернули и со всех ног побежали в прерию. Отбежав довольно далеко, они взошли на холмик, с которого виден берег реки. Здесь они легли на живот и, опершись подбородком на руки, уставились на нас с величайшим изумлением. В подзорную трубу я мог рассмотреть их лица, выражавшие изумление и испуг. Так они смотрели на нас долго. Потом, повинувшись какому-то внезапному побуждению, поспешно поднялись и бегом удалились в том направлении, откуда пришли.

5 мая. Когда мы рано утром собирались в путь, большая группа ассинибойнов внезапно бросилась к нашим лодкам и, прежде чем мы успели оказать сопротивление, захватила пирогу. В ней в то время находилась только Жюль, который спасся, прыгнув в воду, а затем влез в большую лодку, уже готовую отплыть. Индейцев привели те двое, что посетили нас накануне; они, должно быть, подкрались совершенно неслышно, ибо у нас, как обычно, были выставлены часовые, но даже Нептун не дал знать о приближении чужих.

Мы готовились открыть по врагу огонь, когда Мискуош (наш новый переводчик — сын Ваукерассы) объяснил нам, что ассинибойны явились как друзья и сейчас выражают это знаками. Мы считали, что разбойничий захват лодки — отнюдь не наилучший способ выказывать дружбу, но готовы были выслушать этих людей и велели Мискуошу спросить их, почему они так поступили. Они ответили заверениями в уважении; и мы в конце концов выяснили, что у них нет никаких дурных намерений, а только жгучее любопытство, которое они просят нас удовлетворить. Оказывается, те два индейца, которые накануне так удивили нас своим странным поведением, были поражены чернотой нашего негра Тоби. Они никогда не видели и даже не слышали о чернокожих, и надо признать, что их изумление не было лишено оснований. К тому же, Тоби был преуродливым старым джентльменом со всеми характерными чертами своей расы — толстыми губами, огромными выкаченными белками, приплюснутым носом, большими ушами, огромной шапкой волос, выпяченным животом и кривыми ногами. Рассказав о нем своим соотечественникам, оба индейца не встретили доверия и рисковали навсегда прослыть лгунами и обманщиками; тогда, чтобы доказать правдивость своего рассказа, они взялись привести к лодкам все селение. Внезапное нападение, как видно, было просто следствием нетерпения ассинибойнов, все еще сомневавшихся, ибо они не проявили после этого ни малейшей враждебности и вернули нам пирогу, как только мы обещали дать им вволю рассмотреть старого Тоби. Последний всем этим очень забавлялся и тотчас сошел на берег, *in naturalibus* *, дабы любознательные туземцы могли ознакомиться с ним во всех подробностях. Их удивление было велико, а удовлетворение — полное. Сперва они не верили своим глазам, плевали на палец и

* В натуральном виде (лат.).

терли кожу негра, чтобы убедиться, что она не окрашена. Шерстистая голова вызвала одобрительные возгласы, особенное же восхищение возбуждали кривые ноги. А когда наш безобразный приятель исполнил джигу, восторг достиг апогея, восхищению не было предела. Будь у Тоби хоть капля честолюбия, он мог бы немедленно сделать карьеру и взойти на трон ассинибойнов под именем короля Тоби Первого.

Это происшествие задержало нас почти до вечера. Обменявшись с туземцами приветствиями и подарками, мы приняли предложение шестерых из них помочь нам грести первые пять миль, что было весьма кстати и за что мы высказали признательность Тоби. Тем не менее за день мы прошли всего двенадцать миль и остановились на ночлег на красивейшем острове, который надолго нам запомнился благодаря добытой там вкусной рыбе и дичи. В этом прелестном местечке мы провели два дня, угощаясь, веселясь, не заботясь о завтрашнем дне и обращая очень мало внимания на резвившихся вокруг нас многочисленных бобров. На этом острове мы без труда добыли бы сотню и даже две шкур. А мы добыли их всего двадцать. Остров расположен в устье довольно большой реки, текущей с юга, там где Миссури поворачивает на запад. Это примерно 48-я широта.

8 мая. Продолжали путь при благоприятном ветре и хорошей погоде и, сделав миль двадцать пять, достигли большой реки, впадающей в Миссури с севера. Однако при впадении она очень узка, не шире дюжины ярдов, и совершенно занесена илом. Немного выше она очень красива, имеет в ширину ярдов семьдесят-восемьдесят, очень глубока и течет по живописной долине, изобилующей дичью. Наш новый проводник сообщил нам ее название, но я его не записал^{1*}. Здесь Роберт Грили подстрелил несколько гусей, которые строят гнезда на деревьях.

9 мая. Поодаль от берегов почва во многих местах покрыта белым налетом, оказавшимся солью. Мы прошли всего пятнадцать миль из-за различных мелких неполадок, а ночь провели на берегу, в зарослях канадского тополя и кроличьих ягод.

10 мая. Сегодня холодно и дует сильный ветер, правда попутный. Прошли немало. Холмы имеют здесь резкие зубчатые очертания с обнаженной скалистой породой; некоторые очень высоки и, по-видимому, размыты водой. Мы подобрали несколько окаменевших щепок и костей; повсюду разбросан уголь. Река становится очень извилистой.

11 мая. Почти весь день были задержки из-за дождя и порывистого ветра. К вечеру разъяснилось, и подул попутный ветер; пользуясь им, мы успели до ночлега пройти десять миль. Поймали несколько жирных бобров, а на берегу подстрелили волка. Он, как видно, отбился от большой стаи, которая рыскала вокруг нас.

12 мая. Пройдя десять миль, причалили к небольшому обрывистому островку, чтобы починить кое-что из нашего снаряжения. Когда мы уже

^{1*} Вероятно, Уайт-Эрс Ривер. — [Редакторы «Джентлмена мэгезина»].

готовились плыть дальше, один из канадцев, который шел впереди всех и опередил нас на несколько ярдов, внезапно с громким воплем исчез из виду. Мы немедленно подбежали туда и от души посмеялись, обнаружив, что он всего лишь упал в пустой саче*, откуда мы быстро его извлекли. Впрочем, если бы он был один, неизвестно, как бы он выбрался. Мы тщательно осмотрели тайник, но нашли там только несколько пустых бутылок; не было ничего, что помогло бы определить, кто прятал там имущество: французы, англичане или американцы; а нам хотелось это знать.

13 мая. Добрались до слияния Миссури с Йеллоустон, пройдя за день двадцать пять миль. Здесь Мискуош простился с нами и отправился домой.

Глава VI

За последние два-три дня местность показалась нам унылой в сравнении с той, которая уже сделалась нам привычна. Она стала в общем более ровной; лес растет лишь вдоль самого берега, а вдали его почти или совсем нет. Когда появлялись холмы, мы замечали признаки угольных залежей, а в одном месте был мощный пласт битума, изменявший цвет воды на протяжении нескольких сот ярдов. Течение стало медленнее, а вода — прозрачнее; утесы и мели встречаются реже, хотя обходить их все так же трудно. Непрерывно лил дождь, и на берегах стало так скользко, что идти бечевой было почти невозможно. Воздух сделался неприятно холодным, а поднимаясь на невысокие прибрежные холмы, мы видели в расщелинах немало снега. Справа вдалеке виднелось несколько индейских стойбищ, по-видимому временных и недавно покинутых. В этих местах не видно постоянных поселений; это, должно быть, излюбленные охотничьи угодья соседних племен — что подтверждают и многочисленные встречавшиеся нам следы охоты. Племя миссурийских миннетари, как известно, добирается в поисках дичи до большой развилки на южном берегу; а ассинибойны поднимаются еще выше по течению. Мискуош сообщил нам, что дальше и до самых Скалистых Гор мы не встретим вигвамов, кроме вигвамов тех миннетари, которые живут на низком, то есть южном берегу Саскачевана.

Дичи здесь великое множество и самой разнообразной: лоси, бизоны, толстороги, мазамы, медведи, лисы, бобры и т. д. и т. д. и бесчисленное количество диких птиц. Рыбы также очень много. Ширина реки часто меняется — от двухсот пятидесяти ярдов до таких мест, где течение бежит между утесов, разделенных всего какой-нибудь сотнею футов. Поверхность этих скал большею частью представляет собой желтоватую каменную породу с примесью обгорелой земли, пемзы и минеральных солей. В одном месте ландшафт разительно меняется; холмы по обе стороны отступают далеко от реки, а на ней появляется множество краси-

* Тайник (франц.).

вых мелких островков, заросших канадским тополем. Низина, видимо, очень плодородна; к северу она расширяется, образуя три большие долины. Здесь, как видно, находится крайняя северная оконечность горной цепи, через которую так долго течет Миссури и которую туземцы называют Черными Холмами. Переход от горной местности к равнинной заметен по воздуху, который здесь сух и чист; настолько, что это было заметно по швам наших лодок и немногим математическим инструментам.

На самом подходе к развилкам начался сильный дождь, а на реке то и дело попадались препятствия, отнимавшие много сил. Местами берег был такой скользкий, а глинистая почва так размякла, что приходилось идти босиком, ибо в мокасинах нельзя было удержаться. На берегу было много луж стоячей воды, которые мы переходили вброд, погружаясь иной раз по грудь. А потом приходилось пробираться среди огромных мелей и острой кремневой гальки, как видно, образовавшихся из обломков утесов, упавших en masse*. Иногда попадался глубокий овраг или ущелье, которое мы одолевали с величайшим трудом; однажды, когда мы протаскивали мимо такого ущелья большую лодку, веревка (старая и истертая) не выдержала, и лодку снесло течением на скалистый выступ посредине реки, где было так глубоко, что снять ее оттуда удалось лишь с помощью пириги, а это заняло целых шесть часов.

Как-то нам встретилась с южной стороны высокая черная стена, возвышавшаяся над всеми прочими утесами и тянувшаяся примерно на четверть мили; потом пошла открытая равнина, а мили через три — снова такая же стена, с той же стороны, но из светлой породы, вышиной не менее двухсот футов; дальше — снова равнина или долина и вновь причудливого вида стена, на этот раз с северной стороны, вышиною не менее двухсот пятидесяти футов, а толщиной примерно футов в двенадцать, весьма похожая на искусственное сооружение. Эти утесы, отвесно встающие из воды, выглядят весьма необычно. Последний состоит из очень мягкого белого песчаника, на котором вода легко оставляет следы. Вверху его проходит некое подобие фриза или карниза, образованного несколькими тонкими горизонтальными прослойками твердого белого камня, не поддающегося действию дождей. Над ними лежит слой темной, жирной почвы, отступающей от берега примерно на милю, а там вздымаются новые отвесные утесы, пятисот и более футов вышиной. Поверхность этих удивительных утесов естественно исчерчена множеством борозд, проделанных в мягкой породе дождями, так что богатое воображение легко может увидеть в них гигантские памятники, воздвигнутые человеком и исписанные иероглифами. Иногда встречаются ниши (подобные тем, куда ставят в храмах статуи), образованные выпадением больших кусков песчаника; местами виднеются как бы лестницы и длинные коридоры — там, где случайные трещины в твердом каменном карнизе позволили дождям равномерно вымывать более мягкую породу, лежа-

* Целиком (франц.).

щую ниже. Мы плыли мимо этих необыкновенных скал при ярком свете луны, и я никогда не забуду, как они возбуждали мое воображение. То были настоящие волшебные замки (такие я видел во сне), а щебетание бесчисленных ласточек, гнездившихся в отверстиях, которые изрешетили всю скалу, немало способствовало такой иллюзии. Рядом с этими стенами иногда тянутся более низкие, от двадцати до ста футов вышиною, а в толщину от одного до пятнадцати, тоже отвесные и очень правильной формы. Они образованы черноватыми камнями, по-видимому, из суглинка, песка и кварца, совершенно симметричной формы, хотя и разных размеров. Чаще всего квадратные, иногда удлиненные (но неизменно прямоугольные), они лежат один над другим так правильно, точно их клал смертный каменщик; каждый верхний камень прикрывает и скрепляет стык двух нижних, совсем как кирпичная кладка. Иногда эти удивительные сооружения тянутся параллельно, бывает, что по четыре в ряд; иногда они отступают от реки и теряются среди холмов; иногда пересекаются под прямым углом, как бы огораживая большие искусственные сады, а растительность внутри этих стен такова, что часто усиливает это впечатление. Где стены всего тоньше, там кладка помельче и наоборот. Ландшафт этой части бассейна Миссури мы сочли самым удивительным, если не самым прекрасным из всего нами виденного. Он оставил у меня впечатление чего-то нового, своеобразного и незабываемого.

Прежде чем достичь развилки, мы добрались до крупного острова на северном берегу; в расстоянии мили с четвертью от него, на южном берегу, лежит низина, густо заросшая отличным лесом. Дальше пошли мелкие островки, и к каждому из них мы на несколько минут приставали. Затем мы миновали с северной стороны совершенно черный утес и два островка, где не было ничего примечательного. Еще через несколько миль встретился довольно большой остров у оконечности скалистого мыса и два другие, поменьше. Все они покрыты лесом. В ночь на 13 мая Мискуош указал нам устье большой реки, которая в европейских поселениях известна под названием Йеллоустон, а у индейцев зовется Амагеаза^{1*}. Мы разбили лагерь на южном берегу, на красивой равнине, поросшей канадским тополем.

14 мая. Все рано проснулись и поднялись, ибо мы достигли весьма важного пункта, и прежде чем идти дальше, надо было убедиться, по которому из двух больших рукавов, находившихся перед нами, будет лучше плыть. Большинство хотело плыть вверх по одному из них, сколько будет возможно, чтобы достичь Скалистых Гор, где, быть может, удалось бы отыскать верховье большой реки Ареган, о которой все индейцы, с какими мы беседовали, говорили, что она течет в великий Тихий Океан. Я также стремился туда, ибо там моему воображению рисовался

^{1*} Тут имеется некоторое несоответствие, которое мы не сочли нужным исправлять, ибо мистер Родмен, быть может, и прав. Согласно Льюису и Кларку, индейцы племени миннетари называют Амагеазой не Йеллоустон, но саму Миссури.

целый мир волнующих приключений; однако я предвидел множество трудностей, которые нам неминуемо встретятся, если мы попытаемся это сделать, располагая столь скудными сведениями о крае, который предстоит пройти, и о населяющих его туземцах; о них мы знали только, что это — наиболее свирепые из северо-американских индейцев. Я боялся также, что мы попадем не на тот рукав и окажемся в лабиринте затруднений, от которых люди могут пасть духом. Впрочем, эти мысли недолго меня тревожили, и я немедленно принялся исследовать близлежащую местность; нескольких человек я послал по берегу каждого из рукавов, чтобы выяснить, какой из них полноводнее, а сам, вместе с Торнтоном и Джоном Грили, начал восхождение на возвышенность, расположенную на развилке, откуда должен был открыться вид на всю окрестность. Мы увидели тянущуюся во всех направлениях огромную равнину, где волновалась под ветром густая трава и кишели бесчисленные стада бизонов и стаи волков, а порой попадались антилопы. На юге долину пересекала цепь высоких снежных гор, которая шла с юго-востока к северо-западу и там резко обрывалась. За нею виднелся еще более высокий хребет, на северо-западе уходящий за горизонт. Оба рукава реки представляли волшебное зрелище, убегая вдаль подобно двум длинным змеям и постепенно утончаясь, чтобы затеряться в туманной дали двумя серебряными нитями. Однако по их направлению мы не могли установить, куда они в конце концов текут, и сошли вниз в полной растерянности.

Осмотр обоих рукавов вблизи мало что прибавил. Северный оказался глубже, зато южный был шире, а по количеству воды они мало различались. Первый был окрашен, как и вся Миссури, а русло второго было устлано гравием, что свойственно обычно рекам, которые текут с гор. Наконец мы избрали для продолжения нашего пути северный рукав, как более удобный, но он так быстро становился мельче, что через несколько дней мы не смогли пользоваться большой лодкой. Мы сделали трехдневную остановку и за это время добыли много отличных шкур, а потом сложили их, вместе со всеми запасами, в хорошо устроенном саче на маленьком островке, в какой-нибудь миле ниже слияния рек^{1*}. Мы запакли также много дичины, особенно оленины, и несколько ножек засолили

^{1*} Caches — это ямы, которые часто выкапывают трапперы и торговцы пушниной, чтобы на время отлучки прятать меха или другое имущество. Для этого прежде всего выбирают укромное и сухое место. Очерчивают круг около двух футов диаметром, внутри которого тщательно срезают дерн. Затем роют яму глубиною в фут, которую затем расширяют, пока она не достигнет восьми-десяти футов в глубину и шести-семи в ширину. Вырытая земля аккуратно складывается на какую-нибудь шкуру, чтобы не оставалось ее следов на траве, а по окончании работы сбрасывается в ближайшую реку или прячется как-либо иначе. Саче вся выстилается сухими прутьями и сеном или шкурами, и внутри нее можно целыми годами надежно хранить почти любое имущество, каким владеет человек в лесной глуши. Когда оно сложено в яме и тщательно укрыто бизоньими шкурами, сверху все засыпают землей, а землю утапывают. Потом укладывают на прежнее место дерн, а точное местонахождение тайника отмечают с помощью зарубок на соседних деревьях или как-либо еще.

и закоптили впрок. Поблизости оказалась в изобилии опунция, а в низинах и оврагах много аронии. Много было также белой и красной смородины (еще неспелой) и крыжовника. На шиповнике уже появились бесчисленные бутоны. Мы снялись с лагеря утром, в отличном настроении.

18 мая. День был погожий, и мы бодро двигались вперед, несмотря на постоянные препятствия в виде мелей и выступов, которыми изобилвала река. Люди все как один были полны веселой решимости идти дальше и только и говорили, что о Скалистых Горах. Оставив наши шкуры, мы значительно облегчили лодки, и нам стало гораздо легче вести их против быстрого течения. Река была усеяна островами, и мы причаливали почти к каждому. К ночи мы достигли покинутой индейской стоянки подле обрыва с темной глинистой почвой. Нас очень тревожили гремучие змеи, а перед рассветом пошел сильный дождь.

19 мая. Мы не успели еще далеко продвинуться, как рукав сильно изменился; его то и дело преграждали песчаные мели или валы мелкого гравия, так что мы с величайшим трудом вели мимо них большую лодку. Два человека, посланных в разведку, доложили, что дальше русло становится шире и глубже, и это вновь придало нам мужества. Мы проделали десять миль и заночевали на одном из островков. На юге оказалась необычная гора конической формы, целиком покрытая снегом.

20 мая. Русло стало лучше, и мы почти без препятствий прошли шестнадцать миль мимо своеобразной глинистой равнины, почти лишенной растительности. Ночь мы провели на большом острове, поросшем высокими деревьями, из которых многие были нам неизвестны. Здесь мы провели пять дней, так как пирога нуждалась в починке.

В эти дни произошел важный эпизод. Берега Миссури в здешних местах круты и состоят из особой голубой глины, которая после дождя становится чрезвычайно скользкой. От самой воды и дальше, примерно на сотню ярдов, берега образуют отвесные уступы, пересеченные в разных направлениях глубокими и узкими щелями, промытыми в очень давние времена действием воды с такой правильностью, что они похожи на искусственные каналы. При впадении в реку эти узкие ущелья выглядят очень своеобразно и с противоположного берега при свете луны представляются гигантскими колоннами, возвышающимися на берегу. С верхнего уступа весь спуск к реке кажется нагромождением мрачных развалин. Растительности не видно нигде.

Джон Грили, Пророк, переводчик Жюль и я однажды утром после завтрака отправились на верхний уступ южного берега, чтобы обозреть окрестность, а точнее, попытаться что-то увидеть. С большим трудом и многими предосторожностями мы достигли плоскогорья напротив нашей стоянки. Здешняя прерия отличается от обычной тем, что на много миль вглубь заросла канадским тополем, кустами роз, красной ивой и ивой широколистной; а почва тут зыбкая, местами болотистая, как обычно на низменностях; она состоит из черноватого суглинки, на треть из песка, и, если пригоршню ее бросить в воду, она растворяется точно

сахар, с обильными пузырями. Кое-где мы заметили вкрапления соли, которую мы собрали и употребили в пищу.

Взобравшись на плоскогорье, мы сели отдохнуть, но тотчас же были претержены громким рычанием, раздавшимся из густого подлеска прямо позади нас. Мы в ужасе вскочили, ибо оставили ружья на острове, чтобы без помех карабкаться на утесы, и имели при себе только пистолеты и ножи. Едва мы успели обменяться несколькими словами, как из-за розовых кустов на нас бросились с разинутой пастью два огромных бурых медведя (первые, какие повстречались нам за все время). Эти животные внушают сильный страх индейцам, и немудрено; ибо это в самом деле страшилища, наделенные огромной силой, неукротимой свирепостью и поразительной живучестью. Убить их пулей почти невозможно, разве лишь прямо в мозг, а он у них защищен двумя крупными мускулами по бокам лба и выступом толстой лобной кости. Известны случаи, когда они жили по нескольку дней с полдюжиною пуль в легких и даже с тяжкими повреждениями сердца. Нам бурый медведь до тех пор не встречался ни разу, хотя часто попадались его следы в иле и на песке, а они бывали длиною почти в фут, не считая когтей, и восьми дюймов в ширину.

Что же нам было делать? Вступать в бой с таким оружием, как у нас, было бы безумием; и глупо было надеяться убежать в прерии; ибо, во-первых, медведи шли на нас именно оттуда, а во-вторых, уже вблизи утесов подлесок из шиповника, карликовой ивы и других был так густ, что мы не смогли бы пробраться; а если бы мы побежали вдоль реки, между этими зарослями и подножьем утеса, медведи мигом нас нагнали бы, ибо по болоту мы не смогли бы бежать, тогда как широкие, плоские лапы медведя ступали бы там легко. Как видно, эти мысли (которые долгие выразить словами) одновременно мелькнули у каждого из нас; ибо все мы сразу бросились к утесам, забыв об опасности, которая подстерегала нас и там.

Первый обрыв имел в вышину футов тридцать или сорок и был не слишком крут; глина была там смешана с верхним слоем почвы, так что мы без особого труда спустились на первую из террас, преследуемые разъяренными медведями. Когда мы туда добрались, для размышлений уже не было времени. Нам оставалось либо схватиться со злобными зверями тут же, на узком выступе, либо спускаться со следующего обрыва. Этот был почти отвесным, в глубину имел около семидесяти футов и почти весь был покрыт голубой глиной, намокшей от недавних дождей и скользкой, как стекло. Канадец, обезумев от страха, сразу кинулся к обрыву, соскользнул с него с огромной быстротой и, не удержавшись, покатился со следующего. Мы потеряли его из виду и, разумеется, решили, что он разбился, ибо не сомневались, что он будет скользить с откоса на откос, пока не упадет в реку с высоты более полтора фута футов.

Если бы не пример Жюля, мы в нашей крайности, вероятнее всего, попытались бы спуститься; но то, что произошло с ним, заставило нас поколебаться, а звери тем временем догнали нас. Впервые в жизни

я столкнулся так близко со свирепым диким зверем и не стыжусь признаться, что нервы мои не выдержали. Я был близок к обмороку, но громкий крик Грили, которого схватил первый из медведей, побудил меня к действию, и тут я ощутил свирепую радость битвы.

Один из зверей, достигнув узкого выступа, где мы стояли, кинулся на Грили, свалил его на землю и вонзил свои огромные зубы в пальто, которое тот, к счастью, надел из-за холодной погоды. Второй, скорее катясь, чем сбегая, с обрыва, так разбежался, что, достигнув нас, не смог остановиться, и половина его туловища повисла над пропастью; он качнулся в сторону, обе правые лапы его оказались в пустоте, а левыми он неуклюже удерживался. Находясь в этом положении, он ухватил Уормли зубами за пятку, и я на мгновение испугался, ибо тот, в ужасе вырываясь, невольно помогал медведю утвердиться на краю обрыва. Пока я стоял, оцепенев от ужаса, и не в состоянии чем-либо помочь, башмак и мокасин Уормли остались у зубов у зверя, который полетел вниз, на следующий выступ, но там удержался благодаря своим огромным когтям. Тут как раз позвал на помощь Грили, и мы с Пророком бросились к нему. Мы оба разрядили пистолеты в голову медведя; и я уверен, что мой наверняка ее прострелил, так как я приставил пистолет к самому его уху. Однако он казался скорее рассерженным, чем раненым; и выстрел оказал лишь то действие, что он отпустил Грили (которому не успел причинить вреда) и пошел на нас. Теперь мы могли надеяться только на ножи, и даже отступление вниз, на следующий уступ, было для нас невозможно, ибо там находился второй зверь. Мы стали спиной к откосу и приготовились к смертельной схватке, не чая помощи от Грили (которого считали тяжело раненым), как вдруг раздался выстрел, и огромный зверь свалился у наших ног, когда мы уже ощущали у самого лица его горячее и зловонное дыхание. Наш избавитель, много раз за свою жизнь сражавшийся с медведем, выстрелил зверю в глаз и пробил мозг.

Взглянув вниз, мы увидели, что упавший туда второй медведь тщетно пытается добраться до нас — но мягкая глина оседала под его когтями, и он тяжело сползал вниз. Мы несколько раз выстрелили в него, не причинив, однако, вреда, и решили оставить его там в добычу воронам. Я не думаю, чтоб он сумел выбраться. А мы почти полмили медленно двигались вдоль выступа, на котором оказались, пока не нашли тропинку, выведшую нас наверх, в прерию, так что до лагеря мы добрались лишь поздней ночью. Жюль был уже там, живой, но весь в ушибах — настолько, что не сумел толком рассказать, что с ним случилось и где он оставил нас. При падении он задержался в одной из расщелин третьего уступа и спустился по ней к берегу реки.

ДЕЛЕЦ

«Система — душа всякого бизнеса»

Старая пословица¹

Я — делец. И приверженец системы. Система — это, в сущности, и есть самое главное. Но я от всего сердца презираю глупцов и чудаков, которые разглагольствуют насчет порядка и системы, ровным счетом ничего в них не смысла, — строго придерживаются буквы, нарушая самый дух этих понятий. Такие люди совершают самые необычные поступки, но «методически», как они говорят. Это, на мой взгляд, просто парадокс: порядок и система приложимы только к вещам самым обыкновенным и очевидным, а экстравагантным совершенно несвойственны. Какой смысл может быть заключен в выражении «порядок шалопайства» или, например, «система прихоти»?

Взгляды мои по этому вопросу, возможно, никогда не были бы столь определенными, если бы не счастливое происшествие, случившееся со мною совсем еще в юном возрасте. Однажды, когда я производил гораздо больше шума, нежели то диктовалось необходимостью, добрая старуха-ирландка, моя нянюшка (которую я не забуду в моем завещании) подняла меня за пятки, покрутила в воздухе, пожелала мне как «визгуну проклятому» провалиться и ударом о спинку кровати промяла мне посредине голову, точно шапку. Этим была решена моя судьба и заложены начатки моего благосостояния. На теменной кости у меня в тот же миг вскочила шишка, и она впоследствии оказалась самой что ни на есть настоящей *шишкой порядка*. Вот откуда у меня страсть к системе и упорядоченности, благодаря которой я стал таким выдающимся дельцом.

Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении — просто ослы, чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило, из него не бывает исключений. Из гения, например, никогда не получится делец, как из жиды не получится благотворитель или из сосновой шишки — мускатный орех. Эти людишки вечно пускаются во всевозможные немислимые и глупые предприятия, никак не соответствующие правильной порядку вещей, и нипочем не займутся настоящим делом. Так что гения сразу можно отличить по тому, чем он в жизни занимается. Если вам попадет человек, который тшится быть купцом или промышленником, который выбрал для себя табачное или хлопковое дело и тому подобную чертовщину; который хочет стать галантерейщиком, мыловаром или еще кем-нибудь в таком же роде, а то еще строит из себя ни много ни мало, как адвоката, или кузнеца, или врача — словом, зани-

мается чем-то необычным — можете не сомневаться: это — гений, и значит, согласно тройному правилу, осел.

Я вот, например, — не гений. Я — просто делец, бизнесмен. Мой гроссбух и приходо-расходная книга докажут вам это в одну минуту. Замечу без ложной скромности, они у меня всегда в образцовом порядке, поскольку я склонен к аккуратности и пунктуальности. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не сравниться. Более того, дела, которыми занимаюсь я, всегда находятся в согласии с обыденными людскими привычками моих ближних. Хотя за это мне приходится благодарить вовсе не моих на редкость недалеких родителей — они-то уж постарались бы сделать из меня отъявленного гения, не вмешайся своевременно мой ангел-хранитель. В биографическом сочинении правда — это все, тем более, в автобиографическом. И, однако, кто мне поверит, если я расскажу, — а ведь мне не до шуток — что пятнадцати лет меня родной отец задумал определить в контору к одному почтенному торговцу скобяными товарами, у которого, как он говорил, было «превосходное дело». Превосходное дело, как бы не так! Итог был тот, что по прошествии двух или трех дней меня отослали назад в лоно моей тупоумной семьи с высокой температурой и с резкими болями в теменной кости вокруг моего органа порядка. Я едва не отдал душу богу, шесть недель провел между жизнью и смертью, врачи потеряли всякую надежду — и так далее. Но хоть я и принял страдания, все же я был благодарен судьбе. Мне повезло — я не стал почтенным торговцем скобяными товарами, за что и возблагодарил помянутое возвышение у меня на темени, ставшее орудием моего спасения, равно как и ту добрую женщину, которая в свое время меня им наградила.

Обычные мальчишки убегают из дому в возрасте десяти-двенадцати лет. Я лично подождал, пока мне исполнится шестнадцать. Я, может быть, и тогда бы не сбежал, если бы не подслушал ненароком, как моя старушка-мать вела разговор о том, что мол надобно меня пристроить по бакалейной части. «По бакалейной части» — подумать только! Я сразу же принял решение убраться подальше и принятсья, по возможности, за какое-нибудь действительно приличное дело, чтобы не зависеть впредь от прихотей этих двух старых фантазеров, норовящих того и гляди не мытьем так катаньем сделать из меня гения. Намерение мое с первой же попытки увенчалось успехом, и к тому времени, когда мне сравнялось восемнадцать лет, у меня уже было большое и доходное дело по линии *портновской ходячей рекламы*.

И удостоился я этой почетной должности исключительно благодаря приверженности к системе, являющейся моей характерной чертою. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, равно как и мою отчетность. По своему опыту могу сказать, что не деньги, а система делает человека — за исключением той части его индивидуальности, которая изготавливается портным — моим нанимателем. Ровно в девять часов каждое утро я являлся к нему за очередным одеянием. В десять часов

я уже был на каком-нибудь модном променаде или в другом месте общественного увеселения. Точность и размеренность, с какой я поворачивал мою видную фигуру, выставляя напоказ одну за другой все детали облачившего ее костюма, были предметом неизменного восхищения всех специалистов. Полдень еще не наступал, как я уже приводил в дом моих нанимателей, господ Крой, Шил и К⁰, нового заказчика. Говорю это с гордостью — но и со слезами на глазах, ибо их фирма выказала низкую неблагодарность. Представленный мною небольшой счетец, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались, ни один джентльмен, понимающий тонкости нашего дела, не назовет дутым. Впрочем, об этом, смею с гордостью и удовлетворением заметить, читателю дается возможность судить самому.

Причитается

*от господ Крой, Шил и К⁰, портных,
мистеру Питеру Профиту, ходячей рекламе*

Долл.

Июля 10	За прохаживание, как обычно, и привод одного заказчика	00,25
Июля 11	То же	25
Июля 12	За одну ложь второго сорта: всучил покупателю побуревший черный материал как якобы темно-зеленый	25
Июля 13	За одну ложь первого сорта экстра: выдал бумажный плис за драп-велюр	75
Июля 20	За покупку совершенно нового бумажного воротничка, чтобы лучше оттенить темно-серое пальто	2
Августа 15	За ношение короткого фрака с двойными прокладками на груди (температура — 76° в тени)	25
Августа 16	За стояние в течение трех часов на одной ноге для демонстрации нового фасона штрипок к панталонам — из расчета по 12 ¹ / ₂ центов за одну ногу	37 ¹ / ₂
Августа 17	За прохаживание, как обычно, и привод крупного заказчика (толстый мужчина)	50
Августа 18	То же, то же (средней упитанности)	25
Августа 19	То же, то же (тщедушный и неприбыльный)	6

Итого 2 долл. 96¹/₂ центов

Пункт, по которому разгорелись особенно жаркие споры, касался весьма умеренной суммы в 2 цента за бумажный воротничок. Но, клянусь честью, этот воротничок вполне стоил двух центов. В жизни я не выдывал воротничка изящнее и чище. И у меня есть основания утвер-

ждать, что он помог реализации трех темно-серых пальто. Но старший партнер фирмы не соглашался положить за него больше одного цента, и вздумал даже показывать мне, как из двойного листа бумаги можно изготовить целых четыре таких воротничка. Едва ли стоит говорить, что я от своих принципов не отступился. Дело есть дело, и подходить к нему следует только по-деловому. Какой же это порядок — обсчитывать меня на целый цент? Чистое надувательство из пятидесяти процентов, вот как я это называю. Можно ли его принять за систему? Я немедленно покинул службу у господ Крой, Шил и К⁰ и завел собственное дело по бельмовой части — одно из самых прибыльных, благородных и независимых среди обычных человеческих занятий.

И здесь моя неподкупная честность, бережливость и строгие правила бизнесмена снова пришлось как нельзя кстати. Предприятие процветало, и вскоре я уже был видной фигурой в своем деле. Ибо я не разменивался на всякие новомодные пустяки, не старался пускать пыль в глаза, а твердо придерживался добрых честных старых приемов этой почтенной профессии — профессии, которой, без сомнения, держался бы и по сей день, если бы не досадная случайность, происшедшая однажды со мною, когда я совершал кое-какие обычные деловые операции. Известно, что когда какой-нибудь старый толстосум, или богатый наследник-вертопрах, или акционерное общество, которому на роду написано вылететь в трубу, — словом, когда кто-нибудь затевает возвести себе хоромы, ничего нет лучше, как воспрепятствовать такой затее, всякий дурак это знает. Приведенное соображение и лежит в основе бельмового бизнеса. Как только дело у наших предполагаемых строителей примет достаточно серьезный оборот, вы тихонько покупаете клочок земли на краю облюбованного ими участка, или же бок о бок с ним, или прямо напротив. Затем ждете, пока хоромы не будут уже наполовину возведены, а тогда нанимаете архитектора с тонким вкусом, и он строит вам у них под самым носом живописную мазанку, или азиатско-голландскую пагоду, или свинарник, или еще какое-нибудь замысловатое сооружение в эскимосском, кикапуском² или готтентотском стиле. Ну и понятно, нам не по средствам снести его за премию всего из пятисот процентов от наших первоначальных затрат на участок и на штукатурку. По средствам нам это, я спрашиваю? Пусть мне ответят другие дельцы. Самая мысль эта абсурдна. И тем не менее одно наглое акционерное общество сделало мне именно такое предложение — именно такое! Разумеется, я на эту глупость ничего не ответил, и в ту же ночь вынужден был пойти и измазать сажей их строящиеся хоромы, я чувствовал, что это мой долг. Безмозглые же злодеи упекали меня в тюрьму; и, когда я оттуда вышел, собратья по бельмовой профессии поневоле должны были прекратить со мной знакомство.

Профессия *рукоприкладства*, которой мне пришлось заняться после этого, чтобы заработать себе хлеб насущный, не вполне соответствовала моей нежной конституции, — и, однако же, я приступил к делу с откры-

той душой и убедился, что моя сила, как и прежде, в тех твердых навыках методичности и аккуратности, которые вбила в меня эта замечательная женщина, моя старая нянька, — право, я был бы низким подлецом, если бы не помянул ее в моем завещании. Так вот, соблюдая в делах строжайшую систему и аккуратно ведя приходо-расходные книги, я сумел преодолеть немало серьезных трудностей и в конце концов добиться вполне приличного положения в своей профессии. Думаю, что мало кто делал дела удачнее, чем я. Приведу здесь страницу или две из моего журнала — это избавит меня от необходимости трубить о самом себе, что, по-моему, недостойно человека с возвышенной душой. Другое дело журнал, он не даст солгать.

«1 янв. Новый год. — Встретил на улице Скока, навеселе. Нота бене: подойдет. Чуть позднее встретил Груба, пьяного встельку. Нота бене: тоже годится. Внес обоих джентльменов в мой гроссбух и завел на каждого открытый счет.

2 янв. — Видел Скока на бирже, подошел к нему и наступил на ногу. Он размахнулся и кулаком сбил меня с ног. Отлично! Встал на ноги. Затруднения с моим поверенным Толстосуммом. Я хотел за ущерб тысячу, а он говорит, что за одну такую несерьезную затрещину больше пятисот нам с них не содрать. Нота бене: расстаться с Толстосуммом, у него нет совершенно никакой системы.

3 янв. — Был в театре, искал Груба. Он сидел сбоку в ложе во втором ряду между толстой дамой и тощей дамой. Разглядывал их в театральный бинокль, пока толстая дама не покраснела и зашептала что-то на ухо Г. Тогда зашел в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло — не дернул. Высморкался, попробовал еще раз — бесполезно. Тогда уселся и подмигнул тощей, после чего, к моему величайшему удовлетворению, был поднят им за шиворот и вышвырнут в партер. Вывих шеи и первоклассный перелом правой ноги. Торжествуя, вернулся домой и записал на него пять тысяч. Толстосумм говорит, что выгорит.

15 февр. — Пошел на компромисс в деле мистера Скока. Сумма в пятьдесят центов заприходована — о чем см.

16 февр. — Сбит с ног этим хулиганом Грубом, каковой сделал мне подарок в пять долларов. (Судебные издержки — четыре доллара двадцать пять центов. Чистый доход — см. приходо-расходную книгу — семьдесят пять центов)».

Итого, за самый короткий срок чистой прибыли не менее одного доллара двадцати пяти центов — и это только от Скока и Груба. Притом, заверяю читателя, что вышеприведенные выписки из моего журнала взяты наудачу.

Однако старая — и мудрая — пословица говорит, что здоровье дороже денег. Эта профессия оказалась несколько слишком тяжелой для моего слабого организма, и потому, обнаружив в один прекрасный день, что я измордован до полной неузнаваемости, так что знакомые, встречаясь со мною на улице, даже и не догадывались, что проходят мимо Питера

Профита, я подумал, что лучшее средство от этого — сменить профессию. По каковой причине я обратил мои взоры к пачкотне и занимался ею несколько лет.

Хуже всего в этом деле то, что слишком многие им увлекаются и поэтому конкуренция очень уж высока. Всякий дурак, у которого не хватает мозгов для того, чтобы преуспеть в качестве ходячей рекламы, или в бельмовом бизнесе, или в рукоприкладстве, конечно, считает, что пачкотня как раз по нему. Но думать, будто для пачкотни не требуется мозгов, величайшее заблуждение. Наоборот. И в особенности тут необходима система — без нее как без рук. Я вел всего только розничное дело, но благодаря моей старой привычке к порядку, неплохо в нем преуспел. Прежде всего я с большим тщанием подошел к выбору подходящего перекрестка и за все время ни разу не поднял метлу ни в каком другом месте. Позаботился я также и о том, чтобы под рукой у меня всегда была отличная, удобная лужа. Этим способом я приобрел твердую репутацию человека, на которого можно положиться, а это, поверьте мне, для всякого дельца добрая половина успеха. Не было случая, чтобы кто-нибудь, кто швырнул мне монетку, не перешел на моем перекрестке улицу в чистых панталонах. И поскольку мои положительные деловые привычки были каждому известны, никто не пытался поживиться за мой счет. Попробовал бы только! Я сам не из тех, кто занимается вымогательством, но уж и меня тоже не тронь. Конечно, против банков, этих обдирал, я был бессилен. Я от них копейки не видел, отчего и терпел большие лишения. Но ведь это не люди, а корпорации, а у корпораций, как известно, нет ни тела, которое можно поколотить, ни души, которую можно предать вечному проклятью.

Я с успехом вел свое прибыльное дело, пока в один злосчастный день не принужден был к слиянию с сапого-собако-марательством, каковое занятие в некотором роде подобно моему, однако далеко не столь почетно. Правда, местоположение у меня было отличное, в самом центре, а щетки и вакса — высшего качества. И песик мой отличался упитанностью и был большой специалист по разного рода обнюхиваниям. У него уже имелся изрядный стаж, и дело свое он понимал, могу сказать, превосходно. Работали мы обычно так. Помпейчик, вывалявшись хорошенько в грязи, сидит, бывало, паинькой на пороге соседней лавки, пока не появится какой-нибудь франт в начищенных сапогах. Тогда он устремляется ему навстречу и трется о блестящие голенища. Франт отчаянно ругается и начинает озираться в поисках чистильщика. А тут как раз я, сижу на самом виду, и в руках у меня вакса и щетки. Работы не больше, чем на минуту, и шесть пенсов в кармане. На первых порах этого вполне хватало — я ведь не жадный. Зато пес мой оказался жадным. Я выделил ему третью долю доходов, а он счел уместным потребовать половину. На это я пойти не мог — мы поссорились и расстались.

Потом я какое-то время крутил шарманку и могу сказать, дело у меня шло совсем недурно. Работа эта простая, немудреная, особых талантов не

требует. За безделицу покупаете музыкальный ящик и, чтобы привести его в порядок, открываете крышку и раза три ударяете по его нутру молотком. От этого звук несравненно улучшается, что для дела особенно важно. После этого остается взвалить шарманку на плечо и идти куда глаза глядят, покуда не попадетсЯ вам дверь с обтянутым замшей висЯчим молотком, а перед нею насыпанная на мостовой солома. Под этой дверью надо остановиться и завести шарманку, всем своим видом показывая, что намерен так стоять и крутить хоть до второго пришествия. Рано или поздно над вами распахивается окно, и вам бросают шестипенсовик, сопровождая подношение просьбой «заткнуться и проваливать». Мне известно, что некоторые шарманщики и в самом деле считают возможным «проваливать» за названную сумму, но я лично полагал, что вложенный капитал слишком велик и не позволяет «проваливать» меньше, чем за шиллинг.

Это занятие приносило мне немалый доход, но как-то не давало полного удовлетворения, так что в конце концов я его бросил. Ведь я все же был поставлен в невыгодные условия, у меня не было обезьянки, — и потом улицы в Америке так грязны, а демократический сброд до того бесцеремонен и толпы злых мальчишек слишком уж надоедливы.

Несколько месяцев я был без работы, но потом сумел устроиться при лже-почте, ибо испытывал к этому делу пылкий интерес. Занятие это весьма простое и притом не вовсе бездоходное. К примеру, рано утром я подготавливал пачку лже-писем — на листке бумаги писал что-нибудь на любую тему, что ни придет в голову, лишь бы позагадочнее, и ставил какую-нибудь подпись, скажем, Том Добсон или Бобби Томпкинс. Потом складывал листки, запечатывал сургучом, лепил поддельные марки с поддельными штемпелями якобы из Нового Орлеана, Бенгалии, Ботани-Бея и прочих удаленных мест и спешил вон из дому. Мой ежеутренний путь вел меня от дома к дому, которые посolidнее. Я стучался, вручал письма и брал суммы, причитающиеся по наложенному платежу. Платили, не раздумывая. Люди всегда с готовностью платят за письма — такие дураки, — и я без труда успевал скрыться за углом прежде, чем они прочитывали мое послание. Единственное, что плохо в этой профессии, это что нужно очень много и очень быстро ходить и беспрестанно менять маршруты. И, кроме того, я испытывал укоры совести. Признаться, я терпеть не могу, когда ругают ни в чем неповинного человека, а весь город так честил Тома Добсона и Бобби Томпкинса, что просто слушать было больно. И я в отвращении умыл от этого дела руки.

Восьмым и последним моим занятием было кошководство. Я нашел его в высшей степени приятным, доходным и совершенно не обременительным. Страна наша, как известно, наводнена кошками. Бедствие это достигло в последнее время таких размеров, что на последней сессии Законодательного совета была внесена петиция о помощи, под которой стояло множество подписей, в том числе людей самых уважаемых. Совет высказал рассудительность необыкновенную и, приняв на той памятной

сессии целый ряд здравых и мудрых постановлений, увенчал их Актом о кошках. Новый закон в своей первоначальной редакции предлагал премию (по четыре пенса) за кошачью голову, но Сенату удалось протолкнуть поправку к основному параграфу, с тем чтобы заменить слово «голову» на слово «хвост». Поправка эта была столь неоспоримо уместна, что Сенат проголосовал за нее *pet. sup.**

Лишь только новый закон был подписан губернатором, как я тут же вложил всю мою движимость в приобретение кисок. Вначале я, ввиду ограниченности средств, кормил их одними мышами, поскольку они дешевы, но мои питомцы с такой невероятной быстротой выполняли библейский завет, что я вскоре счел возможным быть с ними пощедрее и баловал их устрицами и черепаховым супом. Их хвосты по сенатской ставке приносят мне отличный доход, ибо я открыл способ с помощью макассарского масла³ снимать по три урожая в год. К тому же я с радостью обнаружил, что славные животные скоро привыкают к этой процедуре и сами предпочитают, чтобы хвосты им отрубали. Словом, теперь я состоятельный человек и сейчас занят тем, что торгую себе поместье на берегу Гудзона.

* *Nemine contradicente* — никто против (лат.).

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul. —

La Bruyère.*

О некоей немецкой книге хорошо было сказано, что «es lässt sich nicht lesen» — она не позволяет себя читать. Есть тайны, которые не позволяют себя разгласить. Каждую ночь умирают в постелях люди, хватая руки преподобных исповедников и жалобно смотря им в глаза, — умирают с отчаянием в сердце, захлебываясь ужасными тайнами, которые не терпят раскрытия. Порою, увы, совесть человеческая возлагает на себя ношу, столь преисполненную ужасом, что сбросить ее можно только в могилу. И поэтому суть всех преступлений остается скрытой.

Как-то недавно, осенью, под вечер, сидел я у большого окна кофейни Д. . . в Лондоне. Несколько месяцев я болел, а теперь выздоровевал и с возвратом сил обнаружил себя в счастливом настроении, прямо противоположном скуке, — в состоянии острейшей восприимчивости, когда с умственного взора спадает пелена — ἀχλὺς ἢ πρὶν ἐπ' ἑν ** — и разум, будучи наэлектризован, столь же превосходит свои обыденные свойства, сколь живой, но откровенный рассудок Лейбница — хаотическую и непоследовательную реторику Горгия². Просто дышать — и то было удовольствием; и многие естественные источники боли внушали прямую радость. Я испытывал покойный, но пылкий интерес ко всему. С сигарою в зубах и газетою на коленях, почти всю послеполуденную пору я развлекался, то просматривая газетные объявления, то наблюдая за разношерстной компанией собравшихся в зале, а то глядя сквозь мутные оконные стекла наружу.

Улица, одна из главных в городе, весь день была запружена толпою. Но с приближением темноты народ стал ежеминутно прибывать; а к тому времени, как зажгли фонари, два густых, непрерывных людских потока катились мимо дверей. В эту именно пору вечера я впервые оказался в подобном положении, и поэтому бурливое море человеческих голов исполнило меня ощущением, восхитительным по новизне. В конце концов, я пренебрег всем в отеле и всецело погрузился в созерцание улицы.

Сперва наблюдения мои носили характер абстрактный и обобщающий. Я рассматривал прохожих в целом и думал о них собирательно. Скоро, однако, я перешел к подробностям и начал с пристальным вниманием

* Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни¹. — Лабрюйер (франц.).

** Пелена, нависавшая прежде (греч.).

разглядывать бесчисленное разнообразие фигур, одежд, осанок, походок, обликов и выражений лиц.

В огромном большинстве проходящие имели вид довольный и деловой и думали, казалось, только о том, как бы им пробраться сквозь толчею. У них были сведенные брови, быстрые взгляды; когда их толкали, они не сердились, но оправляли одежду и спешили далее. Другие, также многочисленные, отличались непокойными движениями; раскрасневшись, они жестикулировали и говорили сами с собою, как бы именно в самой гуще людской испытывая одиночество. Встречая помеху на пути, они вдруг переставали бормотать, но удваивали жестикуляцию и выжидали с вымученною улыбкою на устах, когда людской поток схлынет и им можно будет продолжать путь. Ежели их толкали, они подобострастно кланялись тем, кто их толкал, и казались совершенно растерянными. В этих двух больших категориях людей не наблюдалось ничего определенного, кроме того, что я заметил. Одежда их относилась к разряду той, что называют приличной. Они были, несомненно, дворяне, коммерсанты, юристы, лавочники, биржевые маклеры — евпатриды³ и обыватели — люди праздные и люди, занятые своими собственными делами — поглощенные деловыми заботами. Я не уделял им особого внимания.

Племя клерков мигом бросалось в глаза; и в нем я обнаружил два замечательных разряда. Были здесь младшие клерки из недавно учрежденных и крикливо рекламируемых фирм — молодые господинчики в тугих сюртуках, глянцевитых сапогах, отменно напомаженные, с презрительно скривленными губами. Оставляя в стороне известную шустрость, которую, за неимением лучшего слова, можно назвать *клеркетством*, манеры этих лиц представлялись точною копией того, что составляло великосветский шик год или полтора назад. Они облачались в осанку с барского плеча; — и это, по-моему, наилучшим образом определяет их словие.

Разряд старших клерков из солидных фирм или «положительных ма-лых» безошибочно узнавался по хорошо сидящим, сшитым на заказ черным или коричневым сюртукам и панталонам, белым галстухам и жилеткам, тупоносым, крепким башмакам и толстым чулкам или гетрам. Все они были лысоваты, у каждого правое ухо, оттого что за него часто закладывали перо, странным образом оттопыривалось. Я заметил, что все они снимают и надевают шляпу обеими руками и носят часы, снабженные короткими и массивными золотыми цепочками старинного образца. Они отличались позою респектабельности, ежели только возможна такая почтенная поза.

Попадалось много крикливо одетых личностей, о которых я легко догадался, что они принадлежат к породе карманников высокого класса, кишаших во всех больших городах. Я с большим любопытством следил за этими господами и не в силах был вообразить, как могут их принимать за джентльменов сами джентльмены. Ширина их обшлагов вкупе с чрезмерною развязностью в обращении тотчас изобличала их.

Игроки, коих я усмотрел немало, опознавались с еще большею легкостью. Они носили все возможные костюмы — от наряда отчаянного армарочного щеголя-задиры, с бархатной жилеткою, цветистою косынкою, золочеными цепочками и филигранными пуговицами, до строгого священнического облачения, безо всяких решительно украшений, то есть одежды, менее всего способной возбудить подозрения. И все-таки любой из них выделялся землистым цветом лица, мутными глазами, сжатыми бледными губами. Я мог, сверх того, всегда узнать их еще по двум чертам: по сторожко тихому голосу и по большому пальцу, более обыкновенного отстоящему от ладони под прямым углом. Очень часто в обществе этих шулеров я примечал людей несколько другого склада, но все же родственной им породы. Их можно определить как авантюристов. В налетах на публику они образовывали два батальона: франтов и военных. Отличительная черта первых — улыбки и длинные локоны; вторых — венгерки и хмурое выражение лица.

Опускаясь ступенью ниже по лестнице того, что называется благопристойностью, я обнаружил более утаенные и глубокие предметы для размышлений. Я увидел евреев-разносчиков, на чьих лицах, отмеченных выражением безнадежной приниженности, вспыхивали ястребиные взоры; дюжих нищих-профессионалов, угрожающих беднякам более достойным, которых одна лишь крайняя нужда погнала на вечерние улицы за подаяннем; жутких, хилых инвалидов, безошибочно отмеченных дланью смерти, что едва протискивались сквозь толпу нетвердым шагом, умоляюще заглядывая в лицо всякому, как бы в поисках какого-либо нечаянного утешения, какой-то утраченной надежды; скромных девушек, что возвращались после дрящейся допоздна работы в свои безотрадные дома и отшатывались, скорее со слезами, нежели с негодованием, от неизбежных наглых взглядов; падших женщин всех родов и возрастов — прямую красавицу во цвете лет, приводящую на память статую, упоминаемую Лукианом⁴, статую из паросского мрамора, внутри набитую нечистотами — гадкую, бесповоротно погибшую прокаженную в отрепьях — морщинистую, усыпанную драгоценностями, размалеванную старуху, делающую последнее усилие быть молодой — девочку, еще не сформировавшуюся, но от долгого опыта мастерицу в ужасных кокетствах своего ремесла, снедаемую яростным желанием быть сочной равною своим старшим сестрам по разврату; пьяниц, неисчислимых и неопикуемых — иные в тряпках и лоскутках, выписывающие ногами вензеля, неспособные вымолвить и слово, в синяках, с погасшими глазами — иные в целых, хотя и замаранных одеждах, идущие молодцевато и слегка враскачку, добродушные, румяные, с толстыми чувственными губами — иные в костюмах, некогда хороших, да и сейчас тщательно вычищенных — иные двигались неестественно твердым и пружинистым шагом, но были пугающе бледны, с дикими, омерзительно красными глазами; а иные хватились дрожащими пальцами за все, что попадалось им на пути в толпе; а помимо них, видел я пирожников, носильщиков, угольщиков, трубо-

чистов; шарманщиков, вожakov обезьянок, балладников — и певцов, и продавцов; оборванных ремесленников и изнуренных мастеровых всякого рода, — и все было преисполнено шумною, бьющей через край жизненною силою, от коей страдал слух и болели глаза.

Ночь становилась более глубокой, углубляясь и мой интерес к зрелищу; ибо коренным образом переменялся не только общий характер толпы (более приличные ее черты исчезали с постепенным уходом порядочной части публики, а те, что грубее, делались все резче и рельефнее по мере того, как позднее время выводило из нор все, что есть гнусного), но лучи газовых фонарей, вначале слабые в борьбе с умирающим днем, наконец, одержали верх и залили все судорожным и вульгарным блеском. Все было темно и при этом великолепно — наподобие эбена, с которым сравнивали стиль Тертуллиана⁵.

Бредовые эффекты освещения захватили меня, и я начал изучать отдельные лица; и хотя стремительность, с какою поток жизни пронесся перед окном, позволяла мне бросить на каждое из них не более одного взгляда, все же мне казалось, что, при тогдашнем странном состоянии моего ума, я часто мог даже за краткий миг прочесть историю долгих лет.

Прижавшись лбом к стеклу, я подобным образом занимался изучением толпы, когда внезапно в поле моего зрения попал дряхлый старик, лет шестидесяти пяти — семидесяти, чей облик мгновенно привлек и поглотил все мое внимание совершенною неповторимостью выражения. Чего-либо, имеющего с этим выражением хотя бы отдаленное сходство, я никогда дотоле не видывал. Отлично помню, что, заметив его, я прежде всего подумал, что, если бы его увидел Ретц⁶, то он бы в значительной мере предпочел его своим собственным воплощениям врага рода человеческого. Пока я пытался за краткий миг моего первого взгляда хоть как-то разобраться в полученном впечатлении, в голове моей парадоксально возникли представления об осторожности, обширном уме, нищете, скряжничестве, хладнокровии, злобности, кровожадности, злорадстве, веселости, крайнем ужасе, бесконечном — глубочайшем отчаянии. Я почувствовал несказанную взволнованность, изумление, одержимость. «Что за безумная повесть, — сказал я себе, — начертана в этом сердце!» И возникло страстное желание не упускать старика из виду — побольше узнать о нем. Торопливо надев пальто и схватив шляпу и трость, я вышел на улицу и начал пробиваться сквозь толпу в том направлении, куда, как я видел, пошел старик, потому что он успел скрыться. Хотя и не без труда, я все же сумел его увидеть, подобрался и последовал за ним на близком расстоянии, но с осторожностью, дабы не быть замеченным.

Теперь я мог рассмотреть его как следует. Он был малого роста, очень тощий и, видимо, очень хилый. Одежда его была вся перепачкана и в лохмотьях; но, когда он время от времени попадал под яркий свет фонаря, я видел, что рубашка его, хотя и засалена, но из тончайшей материи; и, если только зрение меня не обманывало, то сквозь прореху

в его *roquelair'e* *, застегнутом на все пуговицы и, видимо, с чужого плеча, в который он был завернут, я мельком заметил бриллиант и кинжал. Эти наблюдения увеличили мое любопытство, и я решил следовать за незнакомцем, куда бы он ни направился.

Совсем стемнело, и над городом навис густой и сырой туман, перешедший в непрерывный крупный дождь. Эта перемена оказала на толпу забавное действие: все тотчас переполошились и попрятались под бесчисленными зонтиками. Коляхание, толчея, гомон удесяттерились. Что до меня, то я не обращал на дождь особого внимания — застарелая лихорадка делала влажность воздуха опасно приятною. Обвязав рот платком, я продолжал путь. В течение получаса старик ковылял по огромному проспекту; я шел прямо у его локтя, боясь упустить его из поля зрения. Он ни разу не оглянулся и не заметил меня. Потом он завернул за угол и пошел по другой улице, хотя и густо заполненной людьми, но менее, нежели та, что он оставил. Здесь стало очевидным, что его поведение изменилось. Он пошел медленнее и как бы более бесцельно — все сильнее мешкая. Он постоянно переходил с одной стороны улицы на другую без видимых к тому причин; но все еще была такая давка, что каждый раз при подобном переходе мне приходилось держаться очень близко от него. Улица была длинная и узкая, и он ковылял по ней почти час, в течение которого толпа постепенно поредела и осталось примерно то число прохожих, какое обычно видно в полдень на Бродвее около парка, — столь велика разница между населением Лондона и самого многолюдного из американских городов. Второй поворот вывел нас на ярко освещенную площадь, где кипела жизнь. К незнакомцу возвратилась прежняя осанка. Он опустил подбородок на грудь, глаза его под сведенными бровями бешено забегали во все стороны, глядя на всех, кто его толкал. Он шел вперед настойчиво и неуклонно. Однако я поразился, когда увидел, что, обойдя кругом всю площадь, он повернулся и двинулся тем же самым путем, но в обратном направлении. Еще более был я изумлен, когда увидел, что этот круг он описал несколько раз — и однажды едва не заметил меня, резко оборотившись.

В этом занятии он провел еще час, к концу которого прохожие мешали нам гораздо меньше, нежели вначале. Лил сильный дождь; в воздухе похолодало; и народ расходился по домам. С нетерпеливым жестом старик метнулся в относительно опустелый переулок, с четверть мили длиною. По нему он устремился с проворством, невообразимым для человека его лет и весьма затруднившим мое за ним следование. Еще через несколько минут мы попали на большой и бойкий базар, расположение которого незнакомец, видимо, хорошо знал, и там вновь он стал вести себя, как прежде, когда бесцельно сновал взад и вперед, пробиваясь сквозь толпу продавцов и покупателей.

* Сюртуке до колен (франц.).

Те полтора часа или около того, что мы там провели, с моей стороны требовалась большая осторожность, дабы не упустить его и вместе с тем не привлечь его внимания. По счастью, благодаря моим каучуковым калошам я мог двигаться решительно безо всякого звука. Старик и на мгновение не заметил, что я за ним слежу. Он входил в лавку за лавкой, не приценивался, не говорил ни слова, но глядел на все предметы диким и пустым взором. К тому времени я был совершенно изумлен его образом действий и принял твердое решение не расставаться с ним, пока хоть в какой-то мере не удовлетворю мое любопытство относительно него.

Часы громко пробили одиннадцать, и базар начал быстро пустеть. Лавочник, закрывая витрину ставнею, толкнул старика, и в тот же миг я увидел, как по его телу прошла сильная судорога. Он метнулся наружу, нетерпеливо оглянулся окрест и с невероятною быстротою пробежал по многим извилистым, безлюдным переулкам, пока мы снова не попали на огромный проспект, откуда и начали наше странствие — на улицу, где стоит Отель Д... Ее облик, однако, изменился. Все еще ярко горел газ; но хлестал свирепый дождь, и народу было мало. Незнакомец поблуднел. Он задумчиво прошагал небольшое расстояние по недавно многолюдной улице, затем с тяжелым вздохом двинулся по направлению к реке и, пропетляв по бесчисленным закоулкам, вышел, наконец, к фасаду одного из главных театров города. Его как раз собирались закрывать, и зрители хлынули на улицу. Я увидел, что, смешиваясь с толпою, старик жадно вобрал в себя воздух, как бы задыхаясь; но мне почудилось, будто напряженно страдальческое выражение его лица в известной мере смягчилось. Он вновь опустил голову на грудь и стал таким, каким я впервые увидел его. Я заметил, что он двинулся в сторону, куда направилось большинство зрителей, — но в целом я терялся, пытаясь проникнуть в смысл его действий.

По мере его движения людей становилось меньше, и он снова сделался нерешительным и робким. Какое-то время он следовал по пятам за компаниею из десяти-двенадцати гуляк; но от нее отделялся то один, то другой, пока в узком, мрачном и малолюдном переулке не осталось всего трое. Незнакомец остановился и какое-то мгновение казался погруженным в раздумье; затем, со всеми признаками волнения, пустился по дороге, приведшей к черте города, в местность, весьма отличную от тех, по каким мы дотеле проходили. То был самый отвратительный квартал Лондона, отмеченный плачевнейшей печатью самой ужасающей бедности и самого отчаянного преступления. При тусклом свете случайного фонаря высокие, ветхие, источенные червями доходные дома словно бы разваливались на глазах во все стороны, так что с трудом можно было различить и намек на проход между ними. Булыжники валялись как попало, вывороченные из своих гнезд на мостовой буйно растущую травю. Омерзительные нечистоты гнили в засоренных канавах. Во всей атмосфере царило запустение. Но, по мере нашего продвижения, медленно, но верно

оживали звуки человеческой жизни, и наконец показались самые отпетые из лондонских жителей, большими компаниями шатавшиеся туда-сюда. Старик вновь загорелся, как загорается фонарь перед тем, как погаснуть. Снова он задвигался пружинистою походкою. Когда мы завернули за угол, яркий свет внезапно ударил нас по глазам, и мы оказались перед одним из огромных пригородных храмов Пьянства, перед одним из дворцов дьявола Джина.

Почти светало; но несколько несчастных пропойц все еще толкались, входя и выходя в аляповато раскрашенные двери. Радостно вскрикнув, старик протиснулся внутрь, и сразу же к нему вернулась прежняя осанка; он начал без видимой цели расхаживать взад и вперед среди сборища. Однако прошло недолгое время, и все ринулись к выходу в знак того, что хозяин закрывает свое заведение на ночь. И нечто сильнейшее отчаяния прочитал я тогда на лице единственного в своем роде существа, за которым следил с таким упорством. Но старик не замешкался, а с бешеною энергией направил шаг в самое сердце могучего Лондона. Долго и стремительно бежал он, а я следовал за ним, ошалев от изумления, но твердо решив не бросать расследование, целиком поглотившее меня. Тем временем встало солнце, и когда мы вновь достигли самой многолюдной улицы огромного города, той, где находится Отель Д., на ней бурлила людская сумятица и сутолока, едва ли меньше той, что я наблюдал прошлым вечером. И здесь долгое время среди все возраставшей толчи я продолжал следовать за незнакомцем. Но, как обычно, он шагал взад и вперед и весь день не покидал шумную улицу. Когда же начали опускаться тени второго вечера, я смертельно устал и, остановясь прямо перед незнакомцем, пристально посмотрел ему в лицо. Он не заметил меня, но продолжал размеренное хождение, а я бросил его и погружился в думы. «Старик, — сказал я себе, — олицетворенный дух глупого преступления. Он отказывается быть один. Он — человек толпы. Тщетно было бы следовать за ним, ибо я не узнаю большего ни о нем, ни о его делах. Худшее сердце на свете — книга, более гнусная, нежели «Hortulus Animae»*, и, быть может, лишь одно из знамений великого милосердия божия — то, что «es lässt sich nicht lesen».

* «Садик души»? (лат.).

УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, — уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун «Захоронения в урнах»¹.

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе мало доступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому, как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то *прояснить или распутать*. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении пронизательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом *par excellence**. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе — еще не значит анализировать. Шахматист², например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а только несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что неприятная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь *решает* внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и много-

* По преимуществу (франц.).

значны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли, и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла³ (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И, хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онер за онером по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что

ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи⁴ (совершенно напрасно по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18.. года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье Ш. Огюстом Дюпенем. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода⁵, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги — вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неудержимостью и свежестью его воображения. Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и оставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно

пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья⁶; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли б маньяками, хотя и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту *bizarrerie**, как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души⁷ и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать нашего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а, может быть, и большого ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведаст живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля⁸. Каждый думал, по-видимому, о своем, и

* Странность, чудачество (франц.).

в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете»⁹.

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьезно, — это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о... — Тут я остановился, чтобы убедиться, точно ли он знает, о ком я думал.

— ... о Шантильи, — закончил он. — Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его щедедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quopdam* сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона¹⁰ и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради бога, свой метод, — настаивал я, — если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли. — Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик, — ответил мой друг, — навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne**.

— Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie***.

— Извольте, я объясню вам, — вызвался он. — А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс¹¹, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

* Некогда (лат.).

** И ему подобных (лат.).

*** Очковирательство (франц.).

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие и, кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов. Мой друг между тем продолжал:

— До того, как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на грудь булыжника, сваленного там, где камешки чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на грудь булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина¹² и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пушей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах, и, кстати, об учении Эпикура, а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, — то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в зломном выпад против Шантливи во вчерашней «Musée» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum*.

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион — когда-то он писался Урион, — мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантливи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклятие. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном

* Утратила былое звучание первая буква¹³ (лат.).

сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытаться счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Gazette des Tribunaux» *, наткнулись мы на следующую заметку:

«НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала только некая мадам Л'Эспане с незамужней дочерью, мадемуазель Камиллой Л'Эспане. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем, пришлось прибегнуть к лому, и с десятков соседей в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед откровенным зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспане! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с ка-

* «Судебная газета» (франц.).

кими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

«ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ.

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания.

*Полина Дюбур*¹⁴, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жила дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспане была гадалкой, этим и кормилась. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже более шести лет как поселились в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери, да кое-когда привратника, да раз восемь-десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо заходил. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за ис-

ключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать-тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, — и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертельной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacré» и «diable»*. Визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глубокая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что говорил итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacré» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu»**.

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспане имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет.

* «Проклятие» и «черт» (франц.).

** Боже мой (франц.).

Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспане до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспане; она взяла у него один мешочек, а старуха — другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacré» и «mon Dieu!». Слова сопровождалось шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стопа, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели слышали перебранку, и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не понимает, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, запле-

тающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались вверх. Труп мадемуазель Л'Эспане был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспане задушена, — убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia *, равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению мосье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намек на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

* Берцовая кость (лат.).

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена¹⁵, требовавшего подать себе свой «*robe-de-chambre pour mieux entendre la musique*»*. Если они кое-что и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока¹⁶, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца¹⁷. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же, поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г. — мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы, не мешкая, отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней,

* «Халат, чтобы лучше слышать музыку» (франц.).

сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая *loge de concierge**. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к выходу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспане и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в «*Gazette des Tribunaux*», — и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец, мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как *je les ménageais*** — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, — возразил Дюпен, — то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же, они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспане, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую,

* Привратничья (франц.).

** Я им потакал (франц.).

хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, неповинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монолог. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обоим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, только чтобы показать ход моих рассуждений: у мадам Л'Эспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще, — возразил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не

к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, «он по-немецки не понимает». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации — «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил итальянец»; не владея этим языком, он, как испанец, ссылается «на интонацию». Поистине, странно должна звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

— Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспане! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне, либо, в крайнем случае, в смежной комнате, — а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов

на восемь-десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать *à posteriori**. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекло их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворяясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, взлезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется, — но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и на-

* На основании опыта, исходя из опыта (франц.).

жал пружину, во всех отношениях схожую со своей соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всех отношениях походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей своей убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, сломавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Не было заметно ни малейшей трещинки. Нажав на пружину, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно — опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца скрылся в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью, — пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду *fergrades*, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую — с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно хвататься руками. Ставни в доме мадам Л'Эспане шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахать ставень над изголовьем кровати, он

окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода на окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, — и это главное — хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слова...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена, так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почему знать, может быть, в комод и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспане и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, — зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь деньги-то он не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием

той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежедневно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыжавших ни о какой теории вероятности, — а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги — означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычно преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется невероятная сила, чтобы затолкать тело в трубу — *снизу вверх*, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда — *сверху вниз*...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каменной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать-тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, — красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспане. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьен считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, — и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также совершенно нечленораздельной речью. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние, — сказал я, — бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо, — одобрительно заметил Дюпен, — в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспане. Что вы о них скажете?

— Дюпен, — воскликнул я, вконец обескураженный, — это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю, — возразил Дюпен. — Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспане, а в заключении господ Дюма и Этьена фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы может судить, — продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, — дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует, — остановил меня Дюпен. — Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже, — сказал я наконец, — что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь, — сказал Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье¹⁸.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев, — сказал я, закончив чтение, — в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако, как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «*mon Dieu!*» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня, а тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «*Le Monde*» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, — это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«**ПОЙМАН** в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю, — возразил Дюпен. — И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы, — вы знаете эти излюбленные моряками *queues**. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громо-

* Здесь: косицы; буквально: хвосты (франц.).

отводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в моем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав, — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойти по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен, к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он, рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции век не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове, — предупредил меня Дюпен, — только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему, матрос, — высокий плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и *mustachio** больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшатальским¹⁹ акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель, — приветствовал его Дюпен. — Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр, и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

* Усы (ит.).

— Вот уж не знаю, — ответил он развязным тоном. — Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозничий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостовериться свои права?

— За этим дело не станет, мосье!

— Прямо жалко расстаться с ним, — продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром, — заверил его матрос. — У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкнемся!

— Что ж, — сказал мой друг, — очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель, — успокоил его Дюпен. — Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет, — сказал он, помолчав. — Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно, моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все, как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не

натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, — это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, — он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна, сидела перед зеркалом и собиралась бриться, в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, — а там и на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспане, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настеж ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарabкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но, поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспане и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал Л'Эспане за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на

ночь), и в подражание парикмахеру поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец, он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи, недолго думая, швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер, и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимающиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, повидимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в *Jardin des Plantes**. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпенем явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

— Пусть ворчит, — сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. — Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил прстивника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова без тела, как изображают богиню Лаверну²⁰, или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый, в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «*de nier ce qui est, et d'expliquer ce que n'est pas*»**.

* Ботанический сад (франц.).

** Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует²¹ (франц.).

НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ¹

Пути господни в Природе и в Предначертаниях — не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокрита² колодца.

Джозеф Гленвилл³

Мы очутились на вершине самой высокой скалы. В течение нескольких минут старик, по-видимому, не мог говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и уж во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непринужденно разлегся, что большая часть его туловища оказалась на весу над бездной и держалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, — этот «маленький утес» поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцевиито-черной каменной глыбой футов на полтора выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить, — сказал мой проводник, — ведь я вас только за тем сюда и привел, чтобы показать вам место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, — над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена⁴. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше, — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось *Mare Tenebrarum** в описании нубийского географа⁵. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, насколько мог охватить глаз, простирались гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал, как бы заслонивших весь мир. Их злоедающая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клочкотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то, что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок, — продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу — Амбарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подалее, между Моске и Вургом, — Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту

* Море мрака (лат.).

я заметил, что эти всплески на море или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время, как я следил за ним) это течение приобрело чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В каких-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — пролепетал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, середине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса⁶, пожалуй, самое подробное изо всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, — во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске, — говорит он, — глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских сажений; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили⁷. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепка на них торчит, как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются через каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в мясопустное воскресенье⁸, он бушевал с такой силой и грохотом, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок сажений» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу Флегетон⁹, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то маловероятном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко — урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и

они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Ферё, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива, сдавленные между грядями скал и рифов, яростно взмываются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер¹⁰ и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара в какой-нибудь отдаленной его части, например в Ботническом заливе, как определенно утверждают иные. Это, само по себе нелепое, утверждение, сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но, когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот, — сказал старик, — так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме...

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу.

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном, тонн этак на семьдесят, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако изо всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промышлять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно без всякого риска рыбачить в любое время, — поэтому все и предпочитают охотиться там. Однако здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того, что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтоб вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение

Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и чуть не подошли с голоду, потому что, едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм, и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрились всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема; хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях — и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля 18-- года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсегена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уж собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса прежде, чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир¹¹, уцепился что есть силы за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, — и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым¹². Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суднышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и каким-то образом нас вынесло наверх. Я был точно в каком-то столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подалее от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье, — подумал я. — Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она осветила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью. О боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог слышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный, как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал всюду.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот

водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои сами собой судорожно сомкнулись.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном свисте, — представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности выби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью, и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустия некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помutilo мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого иступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на

смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плавали, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Грозное, всеобъемлющее величие — вот все, что открылось моему зрению. Когда

я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говорю — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину; но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругом и кругом не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильнее разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в kloкочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, — и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припоминал весь тот

разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большой частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепка на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило — чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы — цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось в сущности естественным следствием той формы, какую имели плавающие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой¹ *.

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать нитов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двигаться с места. Заставить его было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата

¹ * См. *Архимед. De incidentibus in fluido*, lib. 2 [«О плавающих телах», кн. 2].

его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой он был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего дорогого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого мной ужаса. Меня подобрала мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные, как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите этому больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

ОСТРОВ ФЕИ

Nullus enim locus sine genio est.

*Servius **

«La musique, — пишет Мармонтель² в тех «Contes Moraux»^{1*}, которым во всех наших переводах упорно дают заглавие «Нравственные повести», как бы в насмешку над их истинным содержанием, — la musique est le seul des talents qui jouissent de lui-même; tous les autres veulent des témoins»^{2*}. Здесь он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их творить. Талант музыкальный, не более всякого другого, в силах доставлять наслаждение в отсутствие второго лица, способного оценить упражнения в нем. И то, что он создает *эффекты*, коими вполне можно наслаждаться в одиночестве, лишь роднит его с другими талантами. Идея, которую писатель не то не сумел ясно выразить, не то принес в жертву присущей его нации любви к острой фразе, — несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку самого высокого рода наилучшим образом можно оценить, когда мы совсем одни. С положением, выраженным таким образом, немедленно согласится всякий, кто любит музыку и ради ее самой и ради ее духовного воздействия. Но есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду человеческому, — и, быть может, единственное — которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею счастье, испытываемое от созерцания природы. Воистину, человек, желающий узреть славу божию на земле, должен узреть ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь — не только человеческая, но в любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли, — портит пейзаж и враждует с духом — покровителем местности. Говоря по правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на все вззирающие свысока, — я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного ощущениями и душою, — целого, чья форма (сферическая) наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья робкая прислужница — луна; чей покорный богу властелин — солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — о некоем божестве; чье наслаждение — в познании; чьи судьбы

* Ибо нет места без своего духа-покровителя. *Сервий*¹ (лат.).

^{1*} *Мораух* — здесь производное от *моэус* и означает «о нравах».

^{2*} Музыкальность — единственный талант, который довольствуется сам собою; все остальные требуют второго лица (*франц.*).

теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об animalculae *, кишащих у нас в мозгу, — вследствие чего существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным, подобно тому, как, наверное, мы представляемся этим animalculae.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас — невзирая на нудные рацеи наиболее невежественной части духовенства — что пространство и, следовательно, объем, имеют важное значение для Всевышнего. Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего количества тел без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму, дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности, расположенной иначе. И бесконечность пространства — не довод против мысли о том, что бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение материи жизненною силою является принципом и, насколько мы можем судить, ведущим принципом в деяниях божества, то вряд ли будет логичным предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения — божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизнях, меньших и больших, и все в пределах божественного духа? Коротко говоря, мы в своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во вселенной больше, нежели те «глыбы долины»³, которые он возделывает и презирает, отказываясь видеть в них душу — лишь на том основании, что он действий этой души не замечал^{1*}.

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок того, что будничным мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым, глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах, было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и созерцаю один. Какой это насмешливый француз^{2*} сказал относительно известного произведения Циммермана⁵, что «la solitude est une belle chose; mais il faut quelqu'un

* Микроскопических существах (лат.).

^{1*} Говоря о приливах, Помпоний Мела⁴ в своем трактате «De situ orbis» утверждает, что «или мир — огромное животное, или...» и т. д.

^{2*} Бальзак; передаю общий смысл — точных слов не помню.

pour vous dire que la solitude est une belle chose» *? Остроумие этой фразы нельзя отрицать; но подобной необходимости и нет.

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий ручей и остров. Порою июньского шелеста листья я неожиданно наткнулся на них и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть окружающее дано было мне одному — настолько оно походило на призрачное видение.

По всем сторонам — кроме западной, где начинало садиться солнце, — поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад небесных закатных потоков.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густою зеленью.

Так тень и берег слиты были,
Что словно в воздухе парили,

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения.

С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял и рдел под бросаемыми искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами. Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделями⁶. Было что-то от Востока в очертаниях и листве деревьев — гибких, веселых, прямых, — ярких, стройных и грациозных — с корою гладкой, глянцевиной и пестрой. Все как бы пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с небес не слетало ни дуновения, но все колыхалось — всюду порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам^{1*}.

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета; они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине. Трава была темна, словно хвоя кипариса, и

* Одиночество — прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество — прекрасная вещь (франц.).

^{1*} Florem putares nare per liquidum aethere. — P. Commire. [Ты полагаешь, что цветок рождается из текучего эфира. Отец Коммир¹].

ника в бессилии; там и сям среди нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие рутой и розмарином. Тень от деревьев тяжело ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере того, как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в грезы. «Если и был когда-либо очарованный остров, — сказал я себе, — то это он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли это зеленые могилы? — расстаются ли они со своею милою жизнью, как люди? Или, умирая, они скорее грустно иставают, мало-помалу отдавая жизнь богу, как эти деревья отделяют от себя тень за тенью теряя свою субстанцию? И не может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево — к воде, которая впитывает его тень, все чернея и чернея?»

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились и кружились вокруг острова, качая большие, ослепительно белые куски платановой коры, которые так проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во что угодно, — пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне, держа до призрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее казался радостным — но скорбь исказила его, как только она попала в тень. Плавню скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах. «Круг, только что описанный феей, — мечтательно подумал я, — равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от нее и была поглощена темною водою, от чего чернота воды стала еще чернее».

И вновь показался челн и фея на нем, но в облике ее сквозила забота и сомнение, а легкая радость уменьшилась. И вновь она вплыла из света во тьму (которая мгновенно сгустилась), и вновь ее тень, отделяясь, погрузилась в эбеновую влагу и поглотилась ее чернотой. И вновь и вновь проплывала она вокруг острова (пока солнце поспешно уходило ко сну), и каждый раз, выходя из темноты, она становилась печальнее, делалась более слабой, неясной и зыбкой, и каждый раз, когда она переходила во тьму, от нее отделялась все более темная тень, растворяясь во влаге, все более черной. И наконец, когда солнце совсем ушло, фея, лишь бледный призрак той, какою была до того, печально вплыла в эбеновый поток, а вышла ли оттуда — не могу сказать, ибо мрак объял все кругом, и я более не видел ее волшебный облик.

БЕСЕДА МОНОСА И УНЫ

Μελλόντα ταῦτα.

То в будущем.

Софокл. «Антигона»¹.

Уна. «Новое рождение»²?

Монос. Да, прекраснейшая и любимейшая Уна, «новое рождение». Над загадочным смыслом этих слов я долго раздумывал, отвергая толкования священнослужителей, пока сама Смерть не раскрыла мне тайну.

Уна. Смерть!

Монос. Как странно, милая Уна, повторяешь ты мои слова! Я замечаю также неровность твоей поступи и радостную тревогу твоего взора. Ты растеряна и подавлена величавой новизною Жизни Вечной. Да, я говорил о Смерти. И как по-особому звучит здесь это слово, в былом вселявшее ужас во все сердца, покрывавшее плесенью все отрады!

Уна. Ах, Смерть, призрак, что восседал на всех пиршествах! Как часто, Монос, мы терялись в предположениях относительно ее природы! Как загадочно обуздывала она блаженство человеческое, говоря ему: «Доселе и не далее!»³ Та искренняя взаимная любовь, что пылала в наших сердцах, мой Монос, — о, сколь самонадеянно были мы убеждены, испытывая счастье при ее первом проблеске, что наше счастье возрастет вместе с нею! Увы! По мере ее роста рос в наших сердцах и ужас перед тем злым часом, что спешил разлучить нас навеки! И так, со временем, любовь стала причинять муки. Тогда ненависть явилась бы милостью.

Монос. Не говори здесь об этих горестях, дорогая Уна, — теперь ты моя, моя навеки!

Уна. Но память страданий прошлого — разве она не отрада в настоящем? Я еще многое поведаю о том, что было. Но прежде всего я сгораю от желания узнать о твоём пути через темный Дол и Тень.

Монос. Когда же лучезарная Уна понапрасну просила о чем-либо ее Моноса? Я перескажу все до мельчайших подробностей — но с чего начать мне мое страшное повествование?

Уна. С чего?

Монос. Да.

Уна. Я поняла тебя, Монос. В Смерти мы оба узнали о склонности людской к определению неопределяемого. Поэтому я не скажу: начни с мгновения, когда жизнь прекратилась, — нет, начни с того печального, печального мига, когда жар схлынул и ты погрузился в бездыханное и недвижимое оцепенение, а я опустила тебе веки пылкими перстами любви.

Монос. Сначала два слова, моя Уна, касательно общего состояния человечества в ту эпоху. Ты припомнишь, что двое или трое мудрецов из числа наших пращуров — мудрецов разумом, а не славой мирскою — отважились усомниться в том, что термин «улучшение» подобает прогрессу нашей цивилизации. В каждом из пяти или шести столетий, непосредственно предшествовавших нашему упадку, рождался какой-то могучий ум, смело встававший на защиту тех принципов, чья истинность ныне предстает нашему освобожденному рассудку столь самоочевидной, — тех принципов, что должны были бы научить наш род скорее повиноваться зову законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через длительные промежутки появлялся какой-нибудь великий ум, который видел в каждом шаге вперед практической науки некий шаг назад в смысле истинной полезности. Время от времени поэтический интеллект — тот интеллект, что, как теперь мы чувствуем, является самым возвышенным, — ибо истины, полные для нас наиболее долговечного значения, достижимы лишь путем *аналогии*, доказательной для одного лишь воображения и бессильной перед ничем не подкрепленным рассудком, — время от времени этот поэтический интеллект делал новый шаг в развитии неясной философской мысли и обретал в мистической параболе, повествующей о древе познания и запретном плоде, приносящем смерть, точное указание на то, что познание не пристало человеку в пору младенчества его души. И они, поэты, что жили и гибли, окруженные презрением «утилитаристов»⁴ — сиречь низменных педантов, присвоивших себе титул, подобающий лишь презираемым, — они, поэты, размышляли — в унынии, но не без мудрости, — о стародавних днях, когда нужды наши были столь же просты, сколь живы были наши утехы, — о днях, когда не ведали слова *веселость*, ибо столь торжественно и величаво было счастье, — о священных, царственных, блаженных днях, когда голубые реки струились, не перекрытые плотинами, среди неразрытых холмов в дальнюю лесную глушь, первозданную, благоуханную и неизведенную.

И все же эти благородные исключения из общего самоуправства лишь укрепляли его, рождая в нем противодействие. Увы! настал злейший из наших злых дней. Великое «движение»⁵ — таково было его избитое название — продолжалось: смута, тлетворная и телесно и духовно. Промысел — промыслы возвысились и, заняв престол, заковали в цепи интеллект, возведший их к верховной власти. Человек не мог не признать величие Природы и поэтому впал в детский восторг от достигнутой и все возрастающей власти над ее стихиями. И, надменный бог в своем представлении о себе, он впал в ребяческое неразумие. Как можно было предположить, исходя из причины его расстройств, его заразила страсть к системе и абстракции. Он запутался в обобщениях. Среди прочих странных идей обрела почву идея всеобщего равенства; и пред ликом аналогий и бога — невзирая на упреждения, громогласно сделанные законами *градаши*, столь явно объемлющими все сущее на Земле и Небе, — были предприняты безумные попытки установления всеобщей Демократии. Но это зло по необходимости

было рождено главным злом — Познанием. Человек не мог и знать и подчиняться. Тем временем выросли бесчисленные города, громадные и задымленные. Зеленая листва увядала под горячим дыханием горнов. Прекрасный лик Природы был обезображен, словно после какой-либо мерзостной болезни. И мнится мне, милая Уна, что даже наше дремавшее чувство, говорящее о принуждении и насилии, еще могло бы тогда остановить нас. Но теперь делается ясным, что мы сами уготовили себе гибель извращением нашего вкуса, или, скорее, слепым небрежением его развитием в школах. Воистину, при этом кризисе один лишь вкус — то качество, которое, находясь между чистым интеллектом и нравственным чувством, не могло быть презрено безнаказанно, — один лишь вкус тогда еще мог неприметно вернуть нас к Красоте, Природе и Жизни. Но горе духу чистого созерцания и царственной интуиции Платона! Горе *μουσική**, которую он справедливо почитал достаточной для воспитания души! Горе ему и ей! — ибо в них была особо отчаянная нужда, когда их постигло полное забвение или полное презрение^{1*}.

Паскаль⁷, философ, которого мы оба любили, сказал — и как справедливо! — «*que tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment*»** и вполне возможно, что чувство естественного, если бы время позволило, могло бы вернуть прежнее главенство над жестоким математическим рассудком школ. Но так не было суждено. Преждевременно вызванная умеренностью знаний, наступила дряхлость мира. Большинство человечества этого не видело, или, живя энергической, но несчастливой жизнью, притворялось, что не видит. Меня же летописи Земли научили усматривать в величайшем разрушении плату за высочайшую цивилизацию. Я почерпнул предвидение нашего Рока из сравнения простого и выносливого Китая с зодчим Вавилоном, с астрологом Египтом, с Нубией, более хитроумной, нежели они, бурной матерью всех промыслов. В истории^{2*} этих стран мне сверкнул луч из Будущего. Присущие трем последним государствам вычуры были локальными заболеваниями Земли, и в падении каждого мы видели применение местного лекарства; но для мира, зараженного

* Музыка (*греч.*).

^{1*} «Трудно найти лучший [метод воспитания], чем тот, что уже найден опытом столь многих веков; его можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души». — «Государство»⁶, кн. 2.

«По этой причине музыкальное образование чрезвычайно важно, ибо оно дает Ритму и Гармонии проникнуть в душу как можно глубже, полняя ее прекрасным и наделяя человека чувством прекрасного; он будет любоваться прекрасным и восхвалять его; с восторгом примет его к себе в душу, обретет в нем пищу для души и совет с ним свое существование». — Там же, кн. 3.

Музыка (*μουσική*) у афинян значила гораздо более, нежели у нас. Она обнимала не только гармонию ритма и мотива, но и поэтический стиль, чувство и творчество — все в самом широком смысле слова. Изучение музыки для них являлось фактически общим развитием вкуса, чувства прекрасного — в отличие от разума, изучающего только истинное.

** Что всякое наше рассуждение готово уступить чувству (*франц.*).

^{2*} От греческого *ιστορησις* — созерцать.

целиком, я видел возрождение только в смерти. Для того, чтобы род человеческий не прекратился, он должен был, как открылось мне, испытать «новое рождение».

И тогда-то, прекраснейшая и дражайшая, мы стали каждый день погружаться в грезы. Тогда-то в сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда израненная промыслом поверхность Земли, пройдя пурификацию^{1*}, которая одна сможет стереть ее непристойные прямоугольники, вновь облачится в зелень, горные склоны и улыбочивые райские воды и станет постепенно достойным обиталищем человеку — человеку, очищенному Смертью, — человеку, для чьего возвышенного ума познание тогда не будет ядом, — искупленному, возрожденному, блаженному и тогда уже бессмертному, но все же *материальному* человеку.

Уна. Я отлично помню эти разговоры, дорогой Монос; но эпоха огненной катастрофы была не так близка, как мы верили и как заставляла нас верить упомянутая тобою испорченность. Люди жили и умирали, каждый сам по себе. Заболел и ты и сошел в могилу; и вскоре за тобою последовала твоя верная Уна. И хотя с той поры миновало столетие, конец которого вновь соединил нас, и пусть на его протяжении наши дремлющие чувства не томились долгою разлукою, но все же, мой Монос, это было столетие.

Монос. Скажи лучше: точка в неопределенной бесконечности. Несомненно, я умер в пору одряхления Земли. Измученный тревогами, рожденными всеобщей смутой и разложением, я пал жертвою свирепой лихорадки. После немногих дней, исполненных страдания, и многих — исполненных бредовых грез, пронизанных экстазом, проявления которого ты считала страданиями, а я жаждал тебя разуверить, но не мог — через несколько дней на меня сошло, как ты сказала, бездыханное и недвижимое оцепенение; и его называли *Смертью* те, кто стоял вокруг меня.

Слова зыбки. Мое состояние не лишило меня способности воспринимать. Я усмотрел в нем известное сходство с полным покоем того, кто после долгой и глубокой дремоты лежит недвижимо в летний полдень и к кому начинает постепенно возвращаться сознание — от того, что он выспался, а не от каких-либо внешних помех его сну.

Я перестал дышать. Пульс затих. Сердце не билось. Волевым началом не оставило меня, но было бессильно. Чувства необычно обострились, хотя часто и беспорядочно заимствовали одно у другого свои функции. Вкус и обоняние нерасторжимо смешались и стали единым чувством, ненормальным и напряженным. Розовая вода, которою ты нежно увлажняла мне губы до последнего часа, пробуждала во мне отрадные грезы о цветах, о фантастических цветах, куда более прекрасных, нежели любые цветы старой Земли, о цветах, чьи прообразы мы видим расцветающими здесь вокруг нас. Веки, бескровные и прозрачные, не препятствовали зрению.

^{1*} Слово «пурификация» (очищение), видимо, соотнесено здесь с греческим корнем πῦρ — «огонь».

Так как волевое начало бездействовало, глазные яблоки не могли вращаться в орбитах — но все предметы в поле зрения были видны с большею или меньшею отчетливостью; лучи, попадавшие на наружную сетчатку³ или в угол глаза, производили более сильное действие, нежели те, что касались передней поверхности. И все же в первом случае эффект был столь ненормален, что я воспринимал его только в качестве звука — приятного или резкого в зависимости от того, были ли предметы, находящиеся сбоку от меня, светлыми или темными по тону, закругленными или угловатыми по очертаниям. В то же время слух, хотя и крайне возбужденный, не менял своей природы, оценивая реальные звуки с удивительной точностью. Осознание претерпело более любопытную перемену. Его впечатления поступали с запозданием, но держались очень долго, неизменно разрешаясь огромным физическим наслаждением. Так, то, что твои милые персты нажали мне на веки, сначала я ощутил только зрением, и лишь через много времени после того, как ты отняла их, все мое существо преисполнилось неизмеримым чувственным восторгом. Я говорю — чувственным. Все мои восприятия были сугубо чувственны по природе. Показания, сообщаемые пассивному мозгу чувствами, ни в коей мере не осмыслились умершим рассудком. Было немного больно и очень приятно; но моральных страданий или отрад никаких. Так, твои иступленные рыдания влились в мой слух со всеми горестными каденциями, и были восприняты все вариации их скорбного строя; но для меня они звучали нежно и музыкально, не более; они не давали угасшему рассудку никакого представления о породившем их горе; а крупные слезы, долго падавшие мне на лицо, говоря очевидцам о разбитом сердце, охватывали меня всего экстазом — и только. И это воистину была Смерть, о которой стоявшие рядом почтительно говорили таким шепотом, а ты, милая Уна, — с громкими стенаниями и задыхаясь.

Меня обрядили во гроб — три или четыре темные фигуры, озабоченно сновавшие взад и вперед. Пересекаясь с прямой моего зрения, они воспринимались мною как формы; но, переходя вбок от меня, давали мне понятие о пронзительных криках, стогах и других иступленных выражениях страха, ужаса и горя. Ты одна, облаченная в белое, двигалась музыкально во всех направлениях.

День угасал; и, пока убывал свет, мною овладевала смутная неловкость — волнение, подобное тому, что испытывает спящий, когда грубые звуки действительности все время поражают его слух, — тихий отдаленный звон, похожий на колокольный, торжественный, с длинными, но равномерными перерывами, смешивающийся с меланхолическими грезами. Настала ночь, а с ее тенями мною овладела тягостная тревога. Ясно ощущимая, она давила на мои члены, как некий изнурительный груз. Слышалась также звук, подобный стону, несколько напоминающий отдаленный рокот прибоя, но более длительный; он возник с началом сумерек и усиливался по мере того, как сгущалась тьма. Внезапно в комнату внесли огонь, и раскаты превратились в частые, но неравномерные взрывы того же звука,

только менее унылого и менее отчетливого. Тягостное состояние значительно облегчилось; и, исходя от пламени каждой лампы (а их было много), в мой слух вливалась непрерывная, монотонная мелодия. И когда, дорогая Уна, ты приблизилась к одру, на котором я был простерт, и тихо села рядом, а твои сладостные уста, прижимаясь к моему лбу, источали благоухание, в груди моей трепетно возникло, мешаясь с сугубо физическими ощущениями, порожденными обстоятельствами, нечто родственное самому чувству, — полупризнание, полутотклик на твою искреннюю любовь и скорбь; но это чувство не укоренилось в недвижимом сердце и, право же, казалось скорее тенью, нежели реальностью, и быстро поблекло, вначале став полным бездействием, а затем — чисто физической отрадой, как и прежде.

И тогда из обломков и хаоса обычных чувств как бы возникло во мне шестое, совершенное. В нем обрел я бурное наслаждение — но все еще физическое, поскольку в нем не было места пониманию. Движение в теле полностью прекратилось. Не сокращалась ни одна мышца; не напряглась ни один нерв; не трепетала ни одна артерия. Но в мозгу как бы всплыло то, о чем никакие слова не могут дать человеческому разуму хотя бы смутное представление. Позволь мне назвать его качательной пульсацией ума. Это было внутреннее воплощение абстрактной идеи *Времени*, доступной человеку. Путем абсолютного выравнивания этого движения — или чего-то подобного — были установавлены циклы небесных орбит. С его помощью я определил ошибку часов на каминной полке, а также часов, принадлежавших тем, кто присутствовал. Тиканье всех часов звучно отдавалось у меня в ушах. Малейшее отклонение от истинной меры — а этим отклонениям не было числа — действовало на меня так же, как на земле пограние абстрактных истин способно воздействовать на нравственное чувство. Хотя никакие два часовых механизма в комнате не отсчитывали секунды точно в унисон, все же я без труда различал звуки и ошибки каждого. И это — это острое, совершенное, самодовлеющее чувство *протяженности* во времени — это чувство, существующее (ибо ни один человек не в силах представить его) независимо от какого-либо чередования событий, — эта идея — это шестое чувство, рождающееся из праха остальных, было первым шагом вневременной души на пороге временной Вечности.

Была полночь; ты все еще сидела рядом со мною. Все другие оставили покой Смерти. Меня положили в гроб. Лампы мигали; я знал это по дрожи монотонных звуков. Но внезапно отчетливость и сила этих звуков стала убывать. Наконец, они замолкли. Аромат в моих ноздрях исчез. Зрение больше не отражало никаких форм. Тягостный Мрак перестал давить мне на грудь. Тупой удар, похожий на электрический, пронизал мое тело, после чего полностью исчезло самое понятие о соприкосновении. Все, что человек называет чувством, смешалось воедино в сознании существования, единственном оставшемся, и в непреходящем чувстве протяженности во времени. Смертное тело, наконец, получило удар десницы смертельного *Разложения*.

Но не все ощущения исчезли: летаргическое наитие оставило мне что-то небольшое. Я сознавал ужасные перемены, которым теперь подвергалась плоть, и, подобно тому, как спящий порою ощущает присутствие кого-то, над ним склонившегося, так и я, милая Уна, в оцепенении чувствовал, что ты сидишь рядом со мною. И когда настал следующий полдень, я как-то еще сознавал то, что разлучило тебя со мною, что замкнуло меня в гробу, что поместило меня на катафалк, что доставило меня к могиле, что опустило меня в могилу, что засыпало меня тяжелою землею и так оставило меня среди черноты и гниения для сурового и скорбного сна с червями.

И здесь, в темнице, скрывавшей мало тайн, миновали дни и недели и месяцы; и душа пристально следила за каждой пролетающей секундой и без усилия отмечала ее полет — без усилия и без цели.

Прошел год. Сознание того, что я *есмь*, с каждым часом тускнело, в значительной мере вытесняясь всего лишь сознанием *положения в пространстве*. Идея сущности сливалась с идеей *места*. Узкое пространство, вплотную окружавшее то, что некогда было телом, теперь само становилось телом. Наконец, как часто бывает со спящим (только при помощи сна и мира сна можно вообразить *Смерть*), — наконец, как порою на Земле случается с погруженным в глубокий сон, когда какой-нибудь скользнувший блик света полупробудит его, оставив наполовину погруженным в сновидения, так и мне, заключенному в строгие объятия *Тени*, явился тот *самый* свет, который один был бы в силах тронуть меня, — свет непреходящей *Любви*. Над могилою, где я лежал во мраке, трудились люди. Они раскидали влажную землю. На мои истлевающие кости опустился гроб Уны.

И вновь все опустело. Призрачный свет погас. Слабое трепетание заглохло. Протекали многие десятилетия. Прах вернулся в прах. Не стало лица у червей. Чувство того, что я *есмь*, наконец, ушло, и взамен ему — взамен всему — воцарились, властные и вечные, самодержцы *Место* и *Время*. И для того, что *не было*, — для того, что не имело формы, — для того, что не имело мысли, — для того, что не имело ощущений, — для того, что было бездушно, но и нематериально, — для всего этого *Ничто*, все же бессмертного, могила еще оставалась обитающим, а часы распада — братьями.

НЕ ЗАКЛАДЫВАЙ ЧЕРТУ СВОЕЙ ГОЛОВЫ.

РАССКАЗ С МОРАЛЬЮ

«Con tal que las costumbres de un autor» — пишет дон Томас де Лас Торрес¹ в предисловии к своим «Любовным стихам», — «sean puras u castas, importa muy poco que no sean igualmente severas sus obras», что в переводе на простой язык значит: если нравственность самого автора не вызывает сомнений, неважно, что за мораль содержится в его книгах. Мы полагаем, что дон Торрес за это утверждение находится сейчас в чистилище. Поэтической справедливости ради стоило бы продержать его там до тех пор, пока его «Любовные стихи» не будут распроданы или не покроются на полках пылью из-за отсутствия читателей. В каждой книге должна быть мораль; и, что гораздо важнее, критики давно уже обнаружили, что в каждой книге она есть. Не так давно Филипп Меланхтон² написал комментарий к «Войне мышей и лягушек»³, где доказал, что целью поэта было возбудить отвращение к мятежу. Пьер Ла Сен⁴ пошел дальше, заявив, что поэт имел намерение внушить молодым людям, что в еде и питье следует соблюдать умеренность. Точно таким же образом Якобус Гюго⁵ утверждает, что в лице Эвнея⁶ Гомер изобразил Жана Кальвина⁷, в Антиное⁸ — Мартина Лютера, в лотофагах⁹ — вообще протестантов, а в гарпиях — голландцев. Новейшие наши схоласты столь же проникательны. Эти молодцы находят скрытый смысл в «Допотопных»¹⁰, нравотучение в «Поухатане»¹¹, новую философию в «Робине-Бобине»¹² и трансцендентализм в «Мальчике-с-пальчике». Словом, они доказали, что если уж кто-нибудь берется за перо, то обязательно с самыми глубокими мыслями. Так что авторам теперь не о чем беспокоиться. Романист, к примеру, может совершенно не думать о морали. Она в книге есть — где именно, неизвестно, но есть, — а в остальном, пусть критики и мораль позаботятся о себе сами. А когда пробьет час, все, что хотел сказать этот господин (я имею в виду, конечно, романиста), и все, чего он не хотел сказать, все предстанет на суд в «Дайселе»¹³ или в «Даун-Истере»¹⁴, равно как и то, что он должен был хотеть, и то, что он явно собирался хотеть, — словом, в конце концов, все будет в порядке.

Итак, нет никаких причин для обвинений, взведенных на меня некоторыми неучами, — что я якобы не написал ни одного морального рассказа или, вернее, рассказа с моралью. Не этим критикам выводить меня на чистую воду, не им читать мне мораль, — впрочем, тут я умолкаю. Пройдет совсем немного времени, и «Североамериканское трехмесячное обозрение»¹⁵ заставит их устыдиться собственной глупости. Тем временем, чтоб избежать расправы — чтоб смягчить выставленные против меня обвинения —

я предлагаю вниманию публики нижеследующую печальную историю, историю, мораль которой совершенно ясна и несомненна, ибо всякий, кто только захочет, может узреть ее в заглавии, напечатанном крупными буквами. Прошу воздать мне должное за этот прием, гораздо более остроумный, чем у Лафонтена и всех прочих, что приберегают нравоучение до самой последней минуты, а потом подсовывают его вам в конце, словно изжеванный окурок.

Defuncti injuria ne afficiantur * — таков был закон двенадцати таблиц¹⁶, а De mortuis nil nisi bonum ** тоже прекрасное изречение, хоть покойный, о котором идет здесь речь, возможно, всего лишь покойный старый диван. Вот почему я далек от мысли поносить моего почившего друга, Тоби Накойчерта. Жизнь у него, правда, была собачья, да и умер он, как собака¹⁸; но он не несет вины за свои грехи. Они были следствием некоторого врожденного недостатка его матери. Когда он был еще младенцем, она порола его на совесть: выполнять свой долг всегда доставляло ей величайшее наслаждение — на то она и была натурой рационалистической, а дети — что твои свиные отбивные или нынешние оливы из Греции — чем больше их бьешь, тем лучше они становятся. Но — бедная женщина! на свое несчастье она была левшой, а детей лучше вовсе не пороть, чем пороть слева. Мир вертится справа налево, и если пороть дитя слева направо, ничего хорошего из этого не выйдет. Каждый удар в нужном направлении выколачивает из дитяти дурные наклонности, а отсюда следует, что порка в противоположном направлении, наоборот, вколачивает в него определенную порцию зла. Я часто присутствовал при этих экзекуциях и уже по тому, как Тоби при этом брыкался, понимал, что с каждым разом он становится все неисправимее. Наконец, сквозь слезы, стоявшие в моих глазах, я узрел, что он отпетый негодяй, и однажды, когда его отхлестали по щекам так, что он совсем почернел с лица и вполне сошел бы за маленького африканца, я не выдержал, пал тут же на колени и зычным голосом предрек ему скорую погибель.

Сказать по правде, он так рано вступил на стезю порока, что просто диву даешься. Пяти месяцев от роду он нередко приходил в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. В шесть я поймал его на том, что он жует колоду карт. В семь он только и делал, что тискал младенцев женского пола. В восемь он наотрез отказался подписать обет трезвости. И так из месяца в месяц он все дальше продвигался по этой стезе; а когда ему исполнился год, он не только отрастил себе усы и ни за что не желал их сбрить, но и приобрел недостойную джентльмена привычку ругаться, божиться и биться об заклад.

Это его в конце концов и погубило, как, впрочем, я и предсказывал. Склонность эта «росла и крепла вместе с ним»¹⁹, так что, возмужав, он что ни слово, предлагал биться с ним об заклад. Нести что-нибудь в за-

* Правонарушение мертвого неподсудно (лат.).

** О мертвых ничего, кроме хорошего¹⁷ (лат.).

клад он и не думал — о нет! Не такой он был человек, надо отдать ему должное, — да он скорее стал бы нести яйца! Это была просто форма, фигура речи — не более. Подобные предложения в его устах не имели решительно никакого смысла. Это были простые, хоть и не всегда невинные, присказки — риторические приемы для закругления фразы. Когда он говорил: «Готов прозакладывать тебе то-то и то-то», — никто никогда не принимал его всерьез, и все же я считал своим долгом вмешаться. Привычка эта безнравственна — так я ему и сказал. Вульгарна — в этом он может положиться на меня. Общество ее порицает — это чистейшая правда. Она запрещена специальным актом Конгресса — не стану же я ему лгать. Я уговаривал — бесполезно. Я выговаривал — тщетно. Я просил — он скалился зубами. Я умолял — он заливался смехом. Я проповедовал — он издевался. Я грозился — он осыпал меня бранью. Я дал ему пинка — он кликнул полицию. Я взял его за нос — он сморкнулся мне прямо в руку и заявил, что готов прозакладывать голову черту: больше я этого опыта не повторю.

Бедность была другим пороком, коим Тоби Накойчерт обязан был врожденному недостатку своей матери. Он был беден до отвращения, а потому, естественно, в риторических его фигурах никогда не слышался звон монет. Я не припомню, чтоб он хоть раз сказал «Бьюсь об заклад на доллар». Нет, обычно он говорил «Готов спорить на что угодно», или «Пари на что угодно», или «Пари на любую ерунду», или, наконец, что звучало, пожалуй, гораздо внушительнее, — «Готов заложить черту голову!»

Эта последняя формула, видно, нравилась ему больше других, возможно, потому, что риску тут было всего меньше, а Накойчерт в последнее время стал крайне бережлив. Поймай его даже кто-нибудь на слове, что ж — невелика потеря! Ведь голова-то у него тоже была невелика. Впрочем, все это просто мои догадки, и я отнюдь не уверен, что поступаю правильно, приписывая ему эти мысли. Как бы то ни было, выражение это с каждым днем нравилось ему все больше, несмотря на чудовищное неприличие ставить в заклад, словно банкноты, собственные мозги, но этого мой друг не понимал, — в силу своей испорченности, несомненно. Кончилось тем, что он отказался от всех других формул и предался этой с таким усердием и упорством, что я только диву давался. Впрочем, все это немало меня сердило, как сердят меня любые обстоятельства, которых я не понимаю. Тайна заставляет человека думать — а это вредно для здоровья. Признаюсь, было нечто неуловимое в манере, с которой мистер Накойчерт выговаривал эту ужасную фразу, — нечто неуловимое в самом произношении — что поначалу меня занимало, но понемногу стало приводить в смущение — за неимением лучшего слова, позвольте назвать это чем-то странным, хоть мистер Колридж назвал бы это мистическим, мистер Кант — пантеистическим, мистер Карлейль — казуистическим, а мистер Эмерсон — сверхвопросическим. Мне это не нравилось. Душа мистера Накойчерта была в опасности. Я решил пустить в ход все свое красноречие и спасти его. Я поклялся послужить ему так же, как святой Патрик²⁰ в ирландской хронике послужил жабе, то есть «пробудить в нем сознание

собственного положения». Я тотчас приступил к этой задаче. Снова я прибегнул к уговорам. Опять я собрал все свои силы для последней попытки.

Как только я закончил свою проповедь, мистер Накойчерт повел себя самым непонятным образом. Несколько минут он молчал — только смотрел с любопытством мне в лицо. Потом склонил голову набок и вздернул брови. Потом развел руками и пожал плечами. Потом подмигнул правым глазом. Потом повторил эту операцию левым. Потом крепко зажмурил оба. Потом так широко раскрыл их, что я начал серьезно опасаться за последствия. Затем приложил большой палец к носу и произвел остальными неисчисляемыми движениями. Наконец подбоченился и благоволил ответить.

Мне припоминаются лишь основные пункты этой речи. Он будет мне очень признателен, если я буду держать язык за зубами. Ему мои советы не требуются. Он презирает все мои инсинуации. Он уже не мальчик и может позаботиться о себе сам. Я, видно, думал, что имею дело с младенцем? Мне что — не нравится его поведение? Я что — решил его оскорбить? Я что — совсем дурак? А моей родительнице известно, что я покинул домашний очаг? Он задает мне этот вопрос как человек чести и почтет своим долгом поверить мне на слово. Еще раз — он требует от меня ответа: знает ли моя матушка, что я убежал из дому? Мое смущение меня выдает — он черту голову готов прозакладать, что ей это неизвестно.

Мистер Накойчерт не стал дожидаться моего ответа. Он круто повернулся и без дальнейших околичностей покинул меня. Оно и к лучшему: чувства мои были задеты. Я даже рассердился. Я готов был, против обыкновения, поймать его на слове — и с удовольствием отплатил бы ему за оскорбление, выиграв для Врага Человеческого небольшую головку мистера Накойчерта, — конечно, маменька моя прекрасно знала о сугубо временном характере моей отлучки.

Но Khoda shefa midêhed — Господь ниспошлет облегчение, — как говорят мусульмане, когда наступишь им на ногу. Я был оскорблен при исполнении долга, и я снес обиду, как мужчина. Однако мне все же казалось, что я сделал все возможное для этого несчастного, и я решил не докучать ему более своими советами, но предоставить его самому себе — и собственной совести. Впрочем, хоть я и решил воздерживаться от увещаний, все же я не мог вовсе оставить его на произвол судьбы. Мало того, я даже потакал некоторым из наименее предосудительных его склонностей, и подчас, со слезами на глазах, хвалил его злые шутки, как хвалит привереда-гурман злую горчицу, — до того сокрушали меня его нечестивые речи.

В один прекрасный день, взявшись под руки, мы отправились с ним прогуляться к реке. Через реку был переброшен мост, и мы решили пройти по нему. Мост, для защиты от непогоды, был крытый, в виде галереи, в стенах которой проделано было несколько окошек, так что внутри было жутковато и темно. Войдя с яркого солнечного света под сумрачные своды, я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Однако несчастный Накойчерт был по-прежнему весел и тут же предложил заложить свою голову черту в знак того, что я просто нюня. По всей видимости, он нахо-

дился в чрезвычайно приподнятом расположении духа. Он был необыкновенно говорлив — что невольно навело меня на самые мрачные подозрения. Не исключено, думал я, что у него припадок трансцендентализма. Впрочем, я недостаточно знаком со всеми признаками этой болезни для того, чтобы с уверенностью ставить диагноз; и, к несчастью, поблизости не было никого из моих друзей из «Дайела». Я упоминаю об этом прежде всего потому, что у бедного моего приятеля появились, как мне показалось, некоторые симптомы шутовской горячки, заставившей его валять дурака. Ему зачем-то понадобилось перепрыгивать через все, что ни встречалось нам по пути, или подлезать вниз на четвереньках, то вопя во весь голос, а то шепча какие-то странные слова и словечки, — и все это с самым серьезным выражением лица. Я, право, не знал — жалеть мне его или надавать пинков. Наконец, пройдя почти весь мост до конца, мы увидели, что путь нам преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки. Я спокойно толкнул перекладину и прошел, как это обычно и делается. Но для мистера Накойчерта это было, конечно, слишком просто. Он, разумеется, заявил, что должен через нее перепрыгнуть, да еще и сделать курбет в воздухе. По совести говоря, я был уверен, что он этого сделать не может. Лучшим прыгуном-курбетистом через всякого рода заборы был мой друг мистер Карлейль, но я-то твердо знал, что он так прыгнуть не может, куда уж там Тоби Накойчерту. А потому я прямо ему заявил, что он жалкий хвостун и сделать этого не сумеет. В чем я впоследствии раскаялся — ибо он тут же объявил, что сумеет, *пусть черт возьмет его голову*.

Несмотря на прежнее свое решение, я открыл было рот, чтобы пожуричь его за божбу, как вдруг услышал у себя за спиной легкое покашливание, словно кто-то тихонько произнес: «*Кхе!*» Я вздрогнул и с удивлением огляделся. Наконец взгляд мой упал на небольшого хромого господина преклонных лет и почтенной наружности, стоявшего в укромном уголке у стены. Вид у него был самый достойный — он был облачен во все черное, рубашка блистала белизной, уголки воротничка были аккуратно подвернуты, высокий белый галстук подпирал подбородок, а волосы были расчесаны, как у девушки, на ровный пробор. Руки он в задумчивости сложил на животе, а глаза закатил под самый лоб.

Вглядевшись пристальнее, я заметил, что ноги у него прикрыты черным шелковым фартуком, и это показалось мне странным. Не успел я, впрочем, и слова сказать об этом удивительном обстоятельстве, как он остановил меня, снова промолвив: «*Кхе!*»

На это замечание я не тотчас нашелся что ответить. Дело в том, что на рассуждения такого лаконичного свойства отвечать вообще практически невозможно. Мне даже известен случай, когда одно трехмесячное обозрение *растерялось* от единого слова: «*Вранье!*» Вот почему я не стыжусь признать, что тут же обратился за помощью к мистеру Накойчерту.

— Накойчерт, — сказал я, — что с тобой? Ты разве не слышишь, этот господин сказал «*Кхе!*»? — С этими словами я строго взглянул на своего друга, ибо, признаюсь, я вконец растерялся, а когда растеряешься, при-

ходится хмурить брови и принимать суровый вид, чтобы не выглядеть совсем дураком.

— Накойчерт, — заметил я (это прозвучало как ругательство, хоть смею вас заверить, у меня этого и в мыслях не было). — Накойчерт, — проговорил я, — этот господин говорит «Кхе!»

Я не собираюсь утверждать, что слова мои отличались глубоким смыслом, но впечатление от наших речей, как я замечаю, далеко не всегда пропорционально их смыслу в наших глазах. Швырни я в мистера Накойчерта пексановскую бомбу²¹ или обрушь я на его голову «Поэтов и поэзию Америки»²², он и тогда не был бы так огорошен, как услышав эти простые слова: «Накойчерт — что с тобой? — ты разве не слышишь — этот господин сказал «Кхе!».

— Не может быть, — прошептал он, меняясь в лице, словно пират, завидевший, что их настигает военный корабль. — Ты уверен, что он именно так и сказал? Что же, я, видно, попался — не праздновать же мне теперь труса. Остается одно — кхе!

Услышав это, пожилой господин просветлел — бог знает, почему. Он покинул свое укромное местечко у стены, подковылял, любезно улыбаясь, к Накойчерту, схватил его за руку и сердечно потряс ее, — глядя все это время ему прямо в лицо с выражением самой искренней и нелিপеприятной благосклонности.

— Накойчерт, я совершенно уверен, что вы выиграете, Накойчерт, — проговорил он с самой открытой улыбкой, — но все же надо произвести опыт. Пустая проформа, знаете ли...

— Кхе, — отвечал мой приятель, снимая с глубоким вздохом свой сюртук, повязываясь по талии носовым платком, опуская концы губ и подымая очи к небесам, отчего лицо его приняло самое невероятное выражение, — кхе! — И, помолчав, он снова промолвил: «кхе!» — другого слова я так от него больше и не услышал. — Ага, — подумал я, не высказывая, впрочем, своих мыслей вслух, — Тоби Накойчерт молчит — такого еще не бывало! Это, несомненно, следствие его прежней болтливости. Одна крайность влечет за собой другую. Интересно, помнит ли он, как ловко он меня допрашивал в тот день, когда я прочел ему свое последнее наставление? Во всяком случае, от трансцендентализма он теперь излечился.

— Кхе, — отвечал тут Тоби, словно читая мои мысли, с видом задумчивым и покорным.

Тут пожилой господин взял его под руку и отвел в глубь моста, подалее от калитки.

— Любезный друг, — сказал он, — для меня дело чести предоставить вам нужный разбег. Подождите здесь, пока я не займу своего места у калитки, откуда мне будет видно, насколько изящно и трансцендентально вы возьмете этот барьер, — и не забудьте про курбет в воздухе. Конечно, все это пустая проформа... Я сосчитаю «раз—два—три—пошли». При слове «пошли» бегите, но никак не раньше. — Затем он занял свою позицию у калитки, минутку помолчал, словно в глубоком раздумье,

а затем *взглянул* вверх и, как мне показалось, легонько усмехнулся. Потом потуже затянул свой фартук, потом пристально посмотрел на Тоби Накойчерта и, наконец, произнес условный сигнал:

— *Раз, два, три — пошли!*

На слове «пошли», не раньше и не позже, мой бедный друг сорвался в галоп. Калитка была не так высока, как стиль мистера Лорда²³, но и не так низка, как стиль его критиков. В целом я был совершенно уверен, что он без труда ее перепрыгнет. А если нет? — вот именно в том-то и дело, — что, если нет? — По какому праву, — сказал я про себя, — этот господин заставляет других прыгать? Да кто он такой, этот старикашка? Предложи он мне прыгнуть, я ни за что не стану — это уж точно, плевать мне на этого старого черта. Как я уже сказал, мост был крытый, в виде такой нелепой галереи, и все слова отдавались в нем пренеприятнейшим эхом, — обстоятельство, которое я особо отметил, произнеся последние два слова.

Но что я сказал и что я подумал и что я услышал — все это заняло лишь миг. Не прошло и пяти секунд, как бедный мой Тоби прыгнул, выдвывая ногами в воздухе всевозможные фигуры. Я видел, как он взлетел вверх и сделал курбет над самой калиткой, но по какой-то совершенно необъяснимой причине через нее он так и не перепрыгнул. Впрочем, весь прыжок был делом одного мгновения; предаваться глубоким размышлениям у меня попросту не было времени. Не успел я и глазом моргнуть, как мистер Накойчерт упал навзничь с той же стороны калитки, с какой прыгнул. В тот же миг я заметил, что пожилой господин со всех ног бежит, прихрамывая, прочь, поймав и завернув в свой фартук что-то, тяжело упавшее сверху, из-под темного свода прямо над калиткой. Всему этому я немало поразился; впрочем, времени размышлять не было, ибо Накойчерт лежал, как-то особенно притаясь, и я решил, что он обижен в лучших своих чувствах и нуждается в моей поддержке. Я поспешил к нему и обнаружил, что ему, как говорится, был нанесен серьезный урон. Сказать по правде, он попросту лишился своей головы, и как я ни искал, мне так и не удалось ее нигде найти. Тогда я решил отвести его домой и послать за гомеопатами. Меж тем в голове у меня мелькнула одна мысль — я распахнул ближайшее окошко в стене и тут же узрел печальную истину. Футах в пяти над самой калиткой шла поперек узкая железная полоса, укреплявшая, как и ряд других, перекрытие на всем его протяжении. С острым ее краем, как видно, и пришла в непосредственное соприкосновение шея моего несчастного друга.

Он ненадолго пережил эту ужасную потерю. Гомеопаты давали ему недостаточно малые дозы, да и то, что давали, он не решался принять. Вскоре ему стало хуже, и, наконец, он скончался (да послужит его кончина уроком любителям бурных развлечений). Я оросил его могилу слезами, добавил диагональную полосу к его фамильному гербу²⁴, а весь скромный счет на расходы по погребению отправил трансценденталистам. Эти мерзавцы отказались его оплатить — тогда я вырыл тело мистера Накойчерта и продал его на мясо для собак.

ЭЛЕОНОРА

Sub conservatione formae specificae salva anima. —

*Raymond Lully**

Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не происходит ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видят сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновеньями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого знания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают они в безбрежный океан «света неизреченного»² и вновь, словно мореплаватели нубийского географа³, «*aggressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi*» **.

Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состояние неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событиях, образующих первую пору моей жизни, и состояние сомнения и тени, относящихся к настоящему и воспоминаньям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. А потому рассказу о ранних моих днях — верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей доверия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь; или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.

Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора — это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал ненароком в эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжело нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и, чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев,

* При сохранении особой формы душа остается неприкосновенной. *Раймунд Лулли*¹ (лат.).

** Вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем (лат.).

растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире, — я, моя кухня и мать ее.

Из угрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все — все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и, наконец, исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще угрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижном покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.

Берега этой реки — и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую глубь ее потоков, до ложа из гальки на дне, все это — и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели⁴, и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе Господней.

Тут и там над этой травой, словно порожденья причудливых снов, вздымались стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной — нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листов, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев⁵, воздающих хвалу своему властелину Солнцу.

Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на исходе третьего пятилетия ее жизни, и четвертого пятилетия — моей; мы сидели, сомкнув объятия под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день, и даже назавтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячей блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменялось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветенья. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфоделей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный

фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал, наконец, колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете — кроме голоса Элеоноры. И огромное облако, которое давно замечали мы возле Геспера⁶, выплыло, сверкая золотом и багрянцем, и, мирно встав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока наконец не коснулось краями верхушек гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.

Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.

И, наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому, как в песнях певца Шираза⁷ во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.

Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди, — подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в сумерках на берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня подарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Его и ее, святую, чье жилище будет в Элизинуме⁸, если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решусь говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у ней с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала: за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если не дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии — вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадиланиц. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.

Истинно излагал я все до сего мгновенья. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю. — Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменялось. Звездоподобные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края, где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинули Долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью, в самый дальний конец края, и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще золотой арфы, волшебней всего — кроме голоса Элеоноры, — начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.

Но обет, данный Элеонорой, не был забыт — я слышал звон небесных кадилъниц, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжко стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз, — о только раз! — я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.

Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стала меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных радостей мира.

* * * * *

Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие и пышность блестящего двора, и упонительный звон оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянило мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов; ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце — к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозаб-

вении любви. Разве могла моя страсть к девочке из долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклонением, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был ангельский лик Эрменгарды! — и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О божественный свет Эрменгарды! — и, глядя в самую глубь ее всепомнящих очей, я думал только о них — и о ней.

Я обвенчался; и не трепетал той кары, которую призывал на себя; и горечь ее меня миновала. И раз — но только раз! — в ночной тиши сквозь решетку окна послышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:

— Спи с миром! — ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получил отпущение — почему, узнаешь на небесах — от клятвы, данной Элеоноре.

ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ

«У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!» — воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, — между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!
Vide ton verre plein! *

— Любезный дядюшка, — обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, — вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что ... что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

— Гм, — ответствовал дядюшка. — Умник. Продолжай.

— Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы в сущности вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы однако, дядюшка, шутник!

— Ха-ха, — сказал он. — Черта с два. Ну, так что же?

— Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того... касательно срока... ну, вы понимаете, дядюшка... срока, когда вам было бы удобнее всего... ну, покончить это дело со свадьбой?

— Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

* Наполни опять свой пустой стакан!

Осуши свой полный стакан! (франц.).

— Ах, точно?

— Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

— А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину — скажем в нынешнем году или чуть позже, — это тебе не подходит?

— Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

— Ну, ладно, Бобби, мой мальчик, — ты ведь славный мальчик, верно? — коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз так и быть уважу.

— О, дядюшка!

— Молчите, сэр — (заглушая мой голос). — На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие — а заодно и приданое, не будем забывать о приданом — постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну, так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно — точно-хонько, сэр! — тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю! Ты меня слышал? Ну, что уставился, разиня рот? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я — человек слова! А теперь ступай прочь. — И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, «английский славный джентльмен»¹ был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями — в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенный, кругленький, гневливый человек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая в сущности самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что, по первому взгляду, легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «Нет!» — бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он рано или поздно — порой очень поздно — не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгуемая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особливо к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье², чьи язвительные слова: «А quoi un poète est-il bon?»* — имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как пес plus ultra** логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Как-то,

* Что проку от поэта? (франц.).

** Предел (лат.).

в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация, он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «Poeta nascitur pop fit» * надо переводить как «Поэт у нас-то дурью набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «виталиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа — а это все-таки будет рассказ — подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем⁴, что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня, как родного сына — почти так же сильно, как он любил Кейт, — и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежедневно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, — но такова уж моя натура, и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длину свою влачащих»⁵. Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать, и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет — это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «rière de résistance» ** (в терминологии господ Юда⁶ и Карема⁷) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмущался бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно решил нас поженить, и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завестись с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей он, я думаю, просто не мог не заупрямиться.

* Повтом рождаются, а не становятся³ (лат.).

** В кулинаруи — самое сытное блюдо в меню (франц.).

Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямства, которое считаю, наоборот, его сильной стороной — *assurément ce n'était pas sa faiblesse**. Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям et id genus omne** ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему, он, безусловно, был человек слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав по примеру современных бардов и ораторов на *prolegomena**** имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так — по велению Судеб, — что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю — было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

Капитан Пратт: М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год — ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон: Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

Дядя: Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол...

Кейт (прерывая): И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя: Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус...

* Это, безусловно, не было его слабостью (франц.).

** И всей такого рода (лат.).

*** Введение (греч.).

Кейт: Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды.

Дядя: Вот именно! Один двигался на Запад, а другой на Восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус...

Я (поспешно): Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером — и вы, Смизертон, — расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист...

Пратт: В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз...

Кейт: Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье сегодня.

Дядя: Разумеется.

Пратт: Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я...

Смизертон (с изумлением): Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье?

Все: Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя: Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт: Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон: Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении): Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы — сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно; мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это; он тоже прав. Мы все правы, и стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав): А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада на восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя: Да, да, конечно. Доктор О'Бол...

Смизертон (заглушая его): То есть, сэр, скорость его вращения — тысяча миль в час. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на час раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгону ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще тысяча миль — на три часа, и так далее, покуда я не возвращусь в эту же точку, проделав путь

в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив Лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгону ваше время. Вы понимаете?

Дядя: Но О'Болтус...

Смизертон (очень громким голосом): Капитан же Пратт, напротив отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от Лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя: Ах ты, черт, действительно... Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я — человек слова, это каждому известно. И потому, ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на это?

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Замок, в который мой камердинер осмелился вломиться, чтобы мне, пораженному тяжким недугом, не ночевать под открытым небом, являл собою одно из тех нагромождений уныния и пышности, что в жизни хмурятся среди Апеннин столь же часто, сколь и в воображении госпожи Радклиф¹. По всей видимости, его покинули ненадолго и совсем недавно. Мы расположились в одном из самых маленьких и наименее роскошных апартаментов. Он находился в отдаленной башне здания. Его богатое старинное убранство крайне обветшало. На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками. К этим картинам, висевшим не только на стенах, но и в бесконечных уголках и нишах, неизбежных в здании столь причудливой архитектуры, я испытывал глубокий интерес, вызванный, быть может, начинающимся у меня жаром; так что я попросил Педро закрыть тяжелые ставни — уже наступил вечер — зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полог из черного бархата. Я пожелал этого, чтобы отдаться если не сну, то хотя бы созерцанию картин и изучению томика, найденного на подушке и посвященного их разбору и описанию.

Долго, долго я читал — и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные, блаженные часы, и настала глубокая полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу.

Но это произвело совершенно неожиданное действие. Лучи бесчисленных свечей (их было очень много) осветили нишу комнаты, дотоле погруженную в глубокую тень, отбрасываемую одним из столбов балдахина. Поэтому я увидел ярко освещенной картину, ранее мною вовсе не замеченную. Это был портрет юной, только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, сначала неясно было и мне самому. Но пока мои веки оставались опущены, я мысленно отыскал причину. Я хотел выиграть время для размышлений — удостовериться, что зрение меня не обмануло, — успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда. Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину.

Теперь я не мог и не хотел сомневаться, что вижу правильно, ибо первый луч, попавший на холст, как бы отогнал сонное оцепенение, овладевавшее моими чувствами, и разом возвратил меня к бодрствованию.

Портрет, как я уже сказал, изображал юную девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой *виньеточной* манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли². Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом. Как произведение искусства ничто не могло быть прекраснее этого портрета. Но ни его выполнение, ни нетленная красота изображенного облика не могли столь внезапно и сильно взволновать меня. Я никак не мог принять его в полудремоте и за живую женщину. Я сразу увидел, что особенности рисунка, манера живописи, рама мгновенно заставили бы меня отвергнуть подобное предположение — не позволили бы мне поверить ему и на единый миг. Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час, полулежа и не отрывая взгляд от портрета. Наконец, постигнув истинный секрет произведенного эффекта, я откинулся на подушки. Картина заворожила меня абсолютным *жизнеподобием* выражения, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и страх. С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее место. Не видя более того, что столь глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описание картин и их истории. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие неясные и странные слова:

«Она была дева редчайшей красоты, и веселость ее равнялась ее очарованию. И отмечен злым роком был час, когда она увидела живописца и полюбила его и стала его женою. Он, одержимый, упорный, суровый, уже был обручен — с Живописью; она, дева редчайшей красоты, чья веселость равнялась ее очарованию, вся — свет, вся — улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь Живопись, свою соперницу; боялась только палитры, кистей и прочих властных орудий, лишивших ее созерцания своего возлюбленного. И она испытала ужас, услышав, как живописец выразил желание написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и послушлива и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. Но он, живописец, был упоен трудом своим, что длился из часа в час, изо дня в день. И он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам; и он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены; она увядала, и это замечали все, кроме него. Но она все улыбалась и улыбалась, не жалуясь, ибо видела, что живописец (всюду прославленный) черпал в труде своем жгучее упоение, и работал днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его и все же с каждым днем делалась удрученнее и слабее. И вправду, некоторые, видевшие портрет, шепотом говорили о сходстве, как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством. Но наконец, когда труд близился к завершению, в башню

перестали допускать посторонних; ибо в пылу труда живописец впал в исступление и редко отводил взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. И он не желал видеть, что оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И, когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен; и на один лишь миг живописец застыл, замороженный своим созданием; но в следующий, все еще не отрываясь от холста, он затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: «Да это воистину сама Жизнь!», внезапно повернулся к своей возлюбленной: — *Она была мертва!*»

МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ

Долгое время «Красная Смерть» опустошала страну. Никакой мор не был еще столь беспощаден или столь отвратителен. Кровь была ее знаменем и ее печатью — алость и ужас крови. Острые боли, внезапное головокружение, — а затем кровь, что обильно хлынет сквозь поры, и гибель. Багровые пятна на теле и в особенности на лице были запретным знаком заразы, что лишал ее жертву помощи и сочувствия ближних. И первые спазмы, ход и завершение болезни были делом получаса.

Но принц Просперо был жизнерадостен, неустрашим и находчив. Когда народ в его владениях наполовину вымер, он призвал к себе тысячу здоровых и неунывающих друзей из числа рыцарей и дам своего двора и с ними удалился в одно из принадлежащих ему аббатств, построенное наподобие замка. То было просторное и великолепное здание, рожденное эксцентрическим, но царственным вкусом самого принца. Аббатство окружала крепкая и высокая стена с железными воротами. Придворные, войдя, принесли кузнечные горны и увесистые молоты и заклепали болты изнутри. На случай неожиданных порывов отчаяния или неистовства, они решили не оставить никаких возможностей для входа или выхода. Аббатство было в обилии снабжено припасами. При таких мерах предосторожности придворные могли надеяться на спасение от мора. Внешний мир был предоставлен самому себе. А покамест предаваться скорби или размышлениям не имело смысла. Принц позаботился о развлечениях. Там были буффоны, там были импровизаторы, там были балетные танцовщики, там были музыканты, там была Красота, там было вино. Все это, с безопасностью впридачу, было внутри. Снаружи была Красная Смерть.

И к концу пятого или шестого месяца затворничества, когда мор свирепствовал с особою яростью, принц Просперо пригласил тысячу друзей на бал-маскарад, исполненный самого необычайного великолепия.

Он являл собою роскошное зрелище, этот маскарад. Но сперва дайте рассказать о комнатах, где он проходил. Их было семь, достойных императора. Однако во многих дворцах такие покои образуют длинную и прямую анфиладу, а створчатые двери распахиваются почти до самых стен, поэтому мало что препятствует видеть все разом. Здесь же было совсем по-иному, как и следовало ожидать от любви герцога к *bizarre**. Апартаменты располагались столь причудливо, что взор охватывал немногим более одного зараз. После каждых двадцати или тридцати ярдов

* Странному, причудливому (франц.).

был крутой поворот, а со всяким поворотом — новый эффект. Направо и налево, в середине каждой стены, вытягивалось высокое, узкое готическое окно, обращенное в закрытый коридор, что шел вдоль всех изгибов здания. Цвет оконных стекол менялся в соответствии с оттенком, преобладающим в убранстве залы. Самая восточная, например, была драпирована голубым — и ярко-голубыми были ее окна. Украшения и gobелены второй залы были пурпурного цвета, и оконные стекла здесь были пурпурные. Третья была вся зеленая, и окна также. Четвертая была отделана и освещена оранжевым, пятая — белым, шестая — фиолетовым. Потолок и стены седьмой залы плотно обтягивал черный бархат, что ниспадал тяжкими складками на ковер того же материала и цвета. И лишь в этой залы окна не соответствовали убранству. Здесь их стекла были багровые — густого цвета крови. И ни в одной из зал, среди обилия разбросанных там и сям или свисающих с потолка золотых украшений не горело ни одной лампы или люстры. Внутри помещения не было какого-либо света, исходящего от лампы или свечи. Но в коридорах снаружи под каждым окном стояло по тяжелому треножнику с жаровнею, что слала лучи сквозь цветное стекло и ярко освещала комнату. И так создавалось множество пестрых и фантастических эффектов. Но в западной, черной залы свет от жаровен, струящийся на темные драпировки сквозь стекла кровавого цвета, производил до крайности жуткое действие и придавал лицам вошедших столь безумное выражение, что немногим из числа гостей доставало смелости вообще ступить в ее пределы.

В этом покое и высились у западной стены гигантские эбеновые часы. Их маятник раскачивался с глухим, тяжелым, монотонным лязгом; и, когда минутная стрелка замыкала круг на циферблате, медное горло часов издавало звук — ясный, громкий, глубокий и чрезвычайно музыкальный, но такой странный и резкий, что, по прошествии каждого часа, музыкантам приходилось прерывать игру и внимать ему; и танцоры поневоле переставали кружиться в вальсе; и всю веселую компанию овладевало недолгое смущение; и, пока еще звенели куранты на часах, замечалось, что бледнеют и самые беззаботные, а более степенные и пожилые проводят рукою по лбу, как бы погружаясь в хаос мыслей и раздумий. Но когда отзвуки замирали, то сборище вмиг пронизывал бездумный смех; музыканты с улыбками переглядывались, как бы дивясь собственному неразумию и нервозности, и шепотом обещали друг другу, что часы, пробив в следующий раз, не возбудят в них никаких подобных чувств; а по прошествии шестидесяти минут (что заключает три тысячи шестьсот секунд быстролетного Времени) вновь били часы, рождая то же смущение, трепет и думы, что и прежде.

Но, несмотря на это, шло веселое и великолепное празднество. Вкусы герцога отличались необычностью. Он обладал тонким чувством цвета и способностью создавать эффекты. Модой ради моды он пренебрегал. Его планы отличались смелостью и размахом, и замыслы были отмечены

варварским блеском. Иные сочли бы его помешанным. Его приближенные чувствовали, что это не так. Но надо было находиться рядом с принцем, видеть и слушать его, дабы *увериться*, что это не так.

Все семь покоев для этого пышного праздника были убраны в значительной мере под его наблюдением, а маски и костюмы создавались по прихоти его вкуса. Не сомневайтесь в их гротескности. Там было много блеска, мишуры, остроты и фантазмагоричности — немало от того, что впоследствии увидели в «Эрнани»¹. Там были фигуры, напоминающие арабески несоразмерными конечностями и несуразными украшениями. Там было многое, что казалось порожденным бредовыми видениями сумасшедшего. Там было много красивого, много разнузданного, много *bizarré*, кое-что ужасное, и немало способного возбудить отвращение. В семи покоях толпился рой сновидений. И они вились то здесь, то там, принимая цвет комнат, и звуки оркестра казались эхом их шагов. И вот бьют эбеновые часы в бархатной зале. И тогда все на миг замирает, и ничего не слышно, кроме голоса часов. Рой сновидений застыл на месте. Но смолкают куранты — лишь мгновение они звучали — и бездумный, немного сдавленный смех воспаряет вослед улетающему звону. И вновь растекается музыка, оживает рой сновидений, вьется то здесь, то там, еще веселее прежнего, принимая окраску разноцветных окон, сквозь которые струятся лучи от жаровен. Но в самую западную из зал теперь не направляется ни одна маска; ибо ночь убывает; и сквозь стержня кровавого цвета струится еще более алое сияние; и смоляная чернота драпировок гнетет; и тому, чья стопа касается смоляного ковра, слышится в эбеновых часах глухой звон, исполненный еще более мрачного смысла, нежели доходящий до тех, кто предается веселью в более отдаленных покоях.

Но другие покои были тесно запружены масками, и в них лихорадочно бился пульс жизни. И веселье клокотало, пока часы, наконец, не начали бить полночь. И тогда, как я уже говорил, музыка прервалась; и танцоры перестали кружиться в вальсе²; и, как прежде, все смущенно замерло. Но теперь часы должны были пробить двенадцать ударов; и, быть может, случилось так, что чем больше проходило времени, тем больше дум пронеслось в головах гостей, склонных к размышлениям. И, быть может, случилось и так, что до того, как совсем умолкли отзвуки последнего удара часов, многие в толпе почувствовали присутствие фигуры в маске, ранее ни единым из них не замеченной. И, когда шепотом распространилась повсюду весть о пришельце, постепенно среди всех собравшихся поднялся гул, ропот, выражающий неудовольствие, недоумение — а там, наконец, испуг, ужас и гадливость.

В сборище, столь фантастическом, как изображенное мною, никакое заурядное обличье, разумеется, не могло бы произвести подобного действия. Говоря по правде, маскарадные вольности в ту ночь были почти неограничены; но все же новый гость переиродил Ирода³ и перешел даже границы неопределенных понятий принца о декоруме. Есть струны

в сердце самого легкомысленного, кои нельзя тронуть, не возбуждая волнения. Даже у самого потерянного, кому и жизнь и смерть — одинаково шутки, найдется нечто, над чем шутить нельзя. И теперь каждый из присутствующих вполне постиг, что в костюме и манерах неизвестного нет ни остроумия, ни пристойности. Он был высок и тощ, и с головы до ног окутан саваном. Маска, скрывавшая его лицо, так походила на облик окоченелого мертвеца, что и самый пристальный взгляд с трудом заподозрил бы обман. И все же это могло бы сойти ему с рук, если даже не встретить одобрение предававшихся буйному веселью. Но он зашел чересчур далеко и принял обличье Красной Смерти. Его одеяние было забрызгано кровью — и его широкий лоб, да и все лицо покрывали ужасные багровые капли.

Когда взгляд принца Просперо упал на эту призрачную фигуру (которая медленно и торжественно, как бы пытаясь полнее выдержать роль, расхаживала взад и вперед среди вальсирующих), то в первый миг его передернуло, то ли от ужаса, то ли от омерзения; он тотчас же покраснел от ярости.

«Кто смеет, — хрипло спросил он у стоявших рядом придворных, — кто смеет оскорблять нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и сорвать маску — дабы мы знали, кого придется с восходом повесить на парашете!»

В голубой, или восточной, зале стоял принц Просперо, когда говорил эти слова. Они прозвенели по всем комнатам громко и отчетливо, ибо принц был вспыльчив и силен, а музыка смолкла по мановению его руки.

В голубой комнате стоял принц, окруженный кучкою бледных придворных. Сначала, как только он заговорил, они слегка подались в сторону незваного гостя, который в ту пору также находился неподалеку и теперь уверенным и величественным шагом приблизился к говорящему. Но некий ужас, коему нет имени, охватил всех от безумной заносчивости ряженого, и никто не протянул руку, дабы схватить его; так что он беспрепятственно прошел на расстоянии ярда от особы принца; и, пока многолюдное собрание, как бы в едином порыве, отшатнулось к стенам, он, никем не задержанный, все тем же торжественным и размеренным шагом прошеествовал через голубую комнату в пурпурную — через пурпурную в зеленую — через зеленую в оранжевую — оттуда же в белую — а там и в фиолетовую, и никто не предпринял решительной попытки задержать его. Но тогда принц Просперо, разъярясь от гнева и стыда за свою недолгую трусость, вихрем промчался через шесть покоев, и никто не последовал за ним, ибо всех сковал смертельный ужас. Он занес обнаженный кинжал и приблизился, стремительно и грозно, на три или четыре фута к удаляющейся фигуре, когда та, дойдя до конца бархатной залы, внезапно повернулась лицом к преследователю. Раздался пронзительный крик — и кинжал, сверкая, упал на смоляной ковер, где через мгновение, мертвый, распростерся принц Просперо. И тогда, призвав иступленную отвагу отчаяния, гости, как один, ринулись в черную залу к маске,

чья высокая, прямая фигура застыла в тени эбеновых часов, — и у них перехватило дух от невыразимого ужаса, когда они обнаружили, что под зловещими одеяниями и трупобразною личиною, в которые они свирепо и грубо вцепились, нет ничего осязаемого⁴.

И стало понятно, что пришла Красная Смерть. Она явилась, яко тать в нощи. И один за другим падали гости в забрызганных кровью залах веселья и умирали, каждый в том исполненном отчаяния положении, в каком упал. И жизнь эбеновых часов кончилась вместе с жизнью последнего из веселившихся. И огни треножников погасли. И Тьма, и Тлен, и Красная Смерть обрели безграничную власть надо всем.

ПОМЕСТЬЕ АРНГЕЙМ

*Прекрасной даме был подобен сад,
Блаженно распростертой в полусне,
Смежив под солнцем утомленный взгляд.
Поля небесные синели мне,
В цветении лучей сожмнувшись в вышине,
Роса, блестя у лилий на главе
И на лазурных листьях и в траве,
Была, что звездный рой в вечерней синеве.*

Джайлс Флетчер¹

От колыбели до могилы в паруса моего друга Эллисона дул попутный ветер процветания. И я употребляю слово «процветание» не в сугубо земном смысле. Для меня оно тождественно понятию «счастье». Человек, о котором я говорю, казался рожденным для предвозвещения доктрин Тюрго, Прайса, Пристли и Кондорсе² — для частного воплощения всего, что считалось химерою перфекционистов³. По моему мнению, недолгая жизнь Эллисона опровергала догму о существовании в самой природе человека некоего скрытого начала, враждебного блаженству. Внимательное изучение его жизни дало мне понять, что нарушение немногих простых законов гуманности обусловило несчастье человечества — что мы обладаем еще неразвитыми началами, способными принести нам довольство, — и что даже теперь, при нынешнем невежестве и безумии всех мыслей относительно великого вопроса о социальных условиях, не лишено вероятности, что отдельное лицо, при неких необычайных и весьма благоприятных условиях, может быть счастливым.

Мнений, подобных этому, целиком придерживался и мой молодой друг, и поэтому следует принять во внимание, что ничем не омраченная радость, которой отмечена его жизнь, была в значительной мере обусловлена заранее. И в самом деле, очевидно, что, располагая он меньшими способностями к бессознательной философии, которая порою так успешно заменяет жизненный опыт, мистер Эллисон обнаружил бы себя свергнутым самою своею невероятною жизненною удачею во всеобщий водоворот горя, разверзтый перед всеми, наделенными чем-либо незаурядным. Но я отнюдь не ставлю себе целью сочинение трактата о счастье. Идеи моего друга можно изложить в нескольких словах. Он допускал лишь четыре простые основы или, точнее говоря, четыре условия блаженства. То, что он почитал главным, были (странно сказать!) всего лишь физические упражнения на свежем воздухе. «Здоровье, достигаемое иными средствами, — говорил

он, — едва ли достойно зваться здоровьем». Он приводил как пример блаженства охоту на лис и указывал на землекопов как на единственных людей, которые как сословие могут по справедливости почитаться счастливее прочих. Его вторым условием была женская любовь. Третьим, и наиболее трудно осуществимым, было презрение к честолюбивым помыслам. Четвертым была цель, которая требовала постоянного к себе стремления; и он держался того мнения, что степень достижимого счастья пропорциональна духовности и возвышенности этой цели. Замечателен был непрерывный поток даров, которые фортуна в изобилии обрушивала на Эллисона. Красотою и грацией он превосходил всех. Разум его был такого склада, что приобретение познаний являлось для него не трудом, а скорее наитием и необходимостью. Он принадлежал к одной из знатнейших фамилий империи. Его невеста была самая прелестная и самая верная из женщин. Его владения всегда были обширны; но, когда он достиг совершеннолетия, обнаружилось, что судьба сделала его объектом одного из тех необычайных своих капризов, что потрясают общество и почти всегда коренным образом переменяют моральный склад тех, на кого направлены.

Оказалось, что примерно за сто лет до совершеннолетия мистера Эллисона в одной отдаленной провинции скончался некий мистер Сибрайт Эллисон. Этот джентльмен скопил огромное состояние и, не имея прямых потомков, измыслил прихотливый план: дать своему богатству расти в течение ста лет после своей смерти. Мудро, до мельчайших подробностей, распорядившись различными вложениями, он завещал всю сумму ближайшему из своих родственников по фамилии Эллисон, который будет жить через сто лет. Было предпринято много попыток отменить это необычайное завещание; но то, что они носили характер *ex post facto**, обречало их на провал; зато было привлечено внимание ревностного правительства и удалось провести законодательный акт, запрещающий подобные накопления. Этот акт, однако, не помешал юному Эллисону в свой двадцать первый день рождения вступить во владение наследством своего предка Сибрайта, составлявшим *четыреста пятьдесят миллионов долларов*^{1*}.

Когда стали известны столь огромные размеры унаследованного богатства, то, разумеется, начали строить всяческие предположения относи-

* Предпринятых задним числом (лат.).

^{1*} Случай, подобный вымышленному здесь, не так давно произошел в Англии. Фамилия счастливого наследника — Теллусон⁴. Впервые я увидел сообщение об этом в «Путевых заметках» принца Пюклера-Мускау⁵, который пишет, что унаследованная сумма составляет девяносто миллионов фунтов, и справедливо замечает, что «в размышлениях о столь обширной сумме и о службе, которую она может сослужить, есть даже нечто возвышенное». Для соответствия со взглядами, исповедуемыми в настоящем рассказе, я последовал сообщению принца, хотя оно и непомерно преувеличено. Набросок и фактически первая часть настоящего произведения была обнародована много лет назад⁶ — до выхода в свет первого выпуска восхитительного романа Сю «Вечный жид»⁷, на идею которого, быть может, навели его записки Мускау.

тельно того, как им распорядятся. Величина и безусловное наличие суммы привели в растерянность всех, размышлявших об этом предмете. Про обладателя какого-либо *умопостигаемого* количества денег можно было вообразить что угодно. Владей он богатствами, только превосходящими богатства любого гражданина, легко было представить себе, что он пустится в безудержный разгул соответственно модам своего времени — или займется политическими интригами — или начнет метить в министры — или купит себе высокий титул — или примется коллекционировать *целые* музеи *virtù** — или станет щедрым покровителем изящной словесности, наук, искусств — или свяжет свое имя с благотворительными учреждениями, известными широкою сферою деятельности. Но при столь невообразимом богатстве, действительным владельцем которого сделался наследник, чувствовалось, что эти цели, да и все обычные цели представляют слишком ограниченное поле. Обратились к цифрам, и они лишь привели в смущение. Стало ясно, что даже при трех процентах годовых капитал принесет не менее тринадцати миллионов пятисот тысяч годового дохода; что составляло миллион сто двадцать пять тысяч в месяц; или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть долларов в день; или тысячу пятисот сорок один доллар в час; или двадцать шесть долларов в каждую быстролетную минуту. И вследствие этого обычные предположения решительно отбросили. Не знали, что и вообразить. Некоторые даже предположили, будто мистер Эллисон избавится по крайней мере от половины своего состояния, — ибо такое множество денег уж совершенно ни на что не нужно — и обогатит целую рать родственников разделом избытков. Ближайшим из них он и в самом деле уступил то весьма необычное богатство, которым владел до получения наследства.

Однако я не был удивлен, узнав, что он давно принял решение по вопросу, послужившему среди его друзей поводом для многих обсуждений. И я не очень-то изумился, обнаружив, что именно он решил. В отношении частной благотворительности он успокоил свою совесть. В возможность отдельного человека хоть как-либо, в прямом значении слова, улучшить общее состояние человечества он (мне жаль в этом признаться) мало верил. В целом, к счастью или нет, он в значительной степени был предоставлен самому себе.

Он был поэт в самом благородном и широком смысле слова. Кроме того, он постиг истинную природу, высокие цели, высшее величие поэтического чувства. Он бессознательно понял, что самое полное, а, быть может, единственно возможное удовлетворение этого чувства заключается в созидании новых форм прекрасного. Некоторые странности, исходящие то ли из его раннего образования, то ли из самой природы его ума, придали всем его этическим представлениям характер так называемого материализма; и, быть может, это и внушило ему убеждение, что наиболее плодотворная, если только не единственная область воистину поэтического деяния заклю-

* Произведений искусства, редкостей (ит.).

чается в создании новых видов чисто материальной красоты. И случилось так, что он не стал ни музыкантом, ни поэтом — если употреблять последний термин в его повседневном значении. А может быть, он пренебрег такую возможностью просто в соответствии со своим убеждением, что одно из основных условий счастья на земле заключается в презрении к честолюбивым помыслам. И, право, не вероятно ли, что если высокий гений по необходимости честолюбив, то наивысший чуждается того, что зовется честолюбием? И не может ли быть так, что иной, более великий, нежели Мильтон, оставался доволен, пребывая «немым и бесславным»⁸? Я убежден, что мир никогда не видел — и если только цепь случайностей не вынудит ум благороднейшего склада к низменным усилиям, то мир никогда и не увидит — полную меру победоносного свершения в самых богатых возможностями областях искусства, на которую вполне способна природа человеческая.

Эллисон не стал ни музыкантом, ни поэтом, хотя не жил на свете человек, более глубоко поглощенный музыкой и поэзией. Весьма возможно, что при других обстоятельствах он стал бы живописцем. Скульптура, хотя она и сугубо поэтична по природе своей, слишком ограничена в размахе и результатах, и поэтому не могла когда-либо обратить на себя его пристальное внимание. Я успел упомянуть все отрасли искусства, на которые поэтическое чувство, по общепринятому мнению, распространяется. Но Эллисон утверждал, что наиболее богатая возможностями, наиболее истинная, наиболее естественная и, быть может, наиболее широкая отрасль его пребывает в необъяснимом небрежении. Никто еще не относил декоративное садоводство к видам поэзии; но друг мой полагал, что оно предоставляет истинной Музе великолепнейшие возможности. И вправду, здесь простирается обширнейшее поле для демонстрации фантазии, выражаемой в бесконечном сочетании форм невиданной ранее красоты; и элементы, ее составляющие, неизмеримо превосходят все, что может дать земля. В многообразных и многокрасочных цветах и деревьях он усматривал самые прямые и энергичные усилия Природы, направленные на сотворение материальной красоты. И в направлении или в концентрации этих усилий — точнее, в приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле, — в применении лучших средств — в трудах ради полнейшего совершенства — и заключалось, как он понял, исполнение не только его судьбы как поэта, но и высокой цели, с коей божество наделило человека поэтическим чувством.

«В приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле». Объясняя это выражение, мистер Эллисон во многом приблизил меня к разгадке того, что всегда казалось мне загадочным: разумею тот факт (его же опсорит разве лишь невежда), что в природе не существуют сочетания элементов пейзажа, равного тем, что способен сотворить гениальный живописец. Не сыщется в действительности райских мест, подобных тем, что сияют нам с полотен Клода⁹. В самых пленительных из естественных ландшафтов всегда сыщется избыток или недостаток чего-

либо — многие избытки и многие недостатки. Если составные части и могут по отдельности превзойти даже наивысшее мастерство живописца, то в размещении этих частей всегда найдется нечто, могущее быть улучшенным. Коротко говоря, на широких естественных просторах земли нет точки, внимательно смотря с которой взор живописца не найдет погрешностей в том, что называется «композицией» пейзажа. И все же, до чего это непостижимо! В иных областях мы справедливо привыкли считать природу непревзойденной. Мы уклоняемся от состязаний с ее деталями. Кто дерзнет воспроизводить расцветку тюльпана или улучшать пропорции ландыша? Критическая школа, которая считает, что скульптура или портретная живопись должны скорее возвышать, идеализировать натуру, а не подражать ей, пребывает в заблуждении. Все сочетание черт человеческой красоты в живописи или скульптуре лишь приближаются к прекрасному, которое живет и дышит. Этот эстетический принцип верен лишь применительно к пейзажу; и, почувствовав здесь его верность, из-за опрометчивой тяги к обобщениям критики почли, будто он распространяется на все области искусства. Я сказал: *почувствовав*, ибо это чувство — не аффектация и не химера. И в математике явления — не точнее тех, которые открываются художнику, почувствовавшему природу своего искусства. Он не только предполагает, но положительно знает, что такие-то и такие-то, на первый взгляд, произвольные сочетания материи образуют — и лишь они образуют — истинно прекрасное. Его мотивы, однако, еще не дозрели до выражения. Потребен более глубокий анализ, нежели тот, что ведом ныне, дабы вполне их исследовать и выразить. Тем не менее, художника в его инстинктивных понятиях поддерживают голоса всех его собратьев. Пусть в «композиции» будет недостаток; пусть в ее простое расположение форм внесут поправку; пусть эту поправку покажут всем художникам на свете; необходимость этой поправки признает каждый. И даже еще более того: для улучшения композиционного изъяна каждый из содружества в отдельности предложил бы одну и ту же поправку.

Повторяю, что материальная природа подлежит улучшению лишь в упорядочении элементов пейзажа и, следовательно, лишь в этой области возможность ее усовершенствования представлялась мне неразрешимую загадкою. Мои мысли о настоящем предмете ограничивались предположением, будто природа вначале тщилась создать поверхность земли в полном согласии с человеческими понятиями о совершенной степени прекрасного, высокого или живописного; но что это начальное стремление не было выполнено ввиду известных геологических нарушений — нарушений форм и цветовых сочетаний, подлинный же смысл искусства состоит в исправлении и сглаживании подобных нарушений. Однако убедительность такого предположения значительно ослаблялась сопряженною с ним необходимостью расценивать эти геологические нарушения как противоестественные и не имеющие никакой цели. Эллисон высказал догадку, что они предвещают *смерть*. Объяснил он это следующим образом: допустим, что вначале на долю человека предназначалось бессмертие. Тогда первоначаль-

ный вид земной поверхности, отвечающий блаженному состоянию человека, не просто существовал, но был сотворен по расчету. Геологические же нарушения предвещали смертность, приуготовленную человеку в дальнейшем.

«Так вот, — сказал мой друг, — то, что мы считали идеализацией пейзажа, может таковою быть и в действительности, но лишь со смертной, или *человеческой, точки зрения*. Каждая перемена в естественном облике земли может, по всей вероятности, оказаться изъяном в картине, если вообразить, что картину эту видят целиком — во всем ее объеме — с точки, далекой от поверхности земли, хотя и не за пределами земной атмосферы. Легко понять, что поправка в детали, рассматриваемой на близком расстоянии, может в то же время повредить более общему или *цельному впечатлению*. Ведь *могут быть* существа, некогда люди, а теперь людям невидимые, которых издалека наш беспорядок может показаться порядком, наша неживописность — живописною; одним словом, это земные ангелы, и необозримые декоративные сады обоих полушарий бог, быть может, скомпоновал для их, а не для нашего созерцания, для их восприятия красоты, восприятия, утонченного смертью».

Во время обсуждения друг мой процитировал некоторые отрывки из сочинения о декоративном садоводстве, автор которого, по общему мнению, успешно трактовал свою тему:

«Собственно есть лишь два стиля декоративного садоводства. Первый стремится напомнить первоначальную красоту местности, приспособляясь к окружающей природе; деревья выращивают, приводя их в гармонию с окрестными холмами или долинами; выявляют те приятные сочетания размеров, пропорций и цвета, которые, будучи скрыты от неопытного наблюдателя, повсеместно обнаруживаются перед истинным ценителем природы. Результат этого естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий — в преобладании здоровой гармонии и порядка — нежели в создании каких-либо особых чудес или красот. У искусственного стиля столько же разновидностей, сколько существует индивидуальных вкусов, подлежащих удовлетворению. В известном смысле он соотносится с различными стилями архитектуры. Возьмите величественные аллеи и уединенные уголки Версаля, итальянские террасы, разновидности смешанного староанглийского стиля, родственного готике или елизаветинскому водчеству. Что бы ни говорили против злоупотреблений в искусственном стиле садоводства, привнесение искусства придает саду большую красоту. Это отчасти радует глаз благодаря наличию порядка и плана, отчасти благодаря интеллектуальным причинам. Терраса с обветшалой, обросшей мохом балюстрадой напоминает прекрасные облики проходивших по ней в былые дни. И даже малейший признак искусства свидетельствует о заботе и человеческом участии».

«Из того, что я ранее заметил, — продолжал Эллисон, — вы поймете, что я отвергаю выраженную здесь идею о возврате к естественной красоте

данной местности. Естественная красота никогда не сравнится с созданной. Конечно, все зависит от выбора места. Сказанное здесь о выявлении приятных сочетаний размеров, пропорций и цвета — лишь неясные слова, потребные для сокрытия неточной мысли. Прочитанная фраза может значить что угодно, или ничего, и никуда нас не приводит. Что истинный результат естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот — положение, пригодное более для низменного стадного восприятия, нежели для пылких мечтаний гения. Негативные достоинства, здесь подразумеваемые, относятся к воззрениям той неуклюжей критической школы, которая в словесности готова почитать апофеозом Аддисона¹⁰. А ведь правда, что добродетель, состоящая единственно в уклонении от порока, непосредственно воздействует на рассудок и поэтому может быть отнесена к *правилам*, но добродетель более высокого рода, пылающая в мироздании, постижима только по своим следствиям. Правила применимы лишь к заслугам отречения — к великолепию воздержания. Вне этих правил критическое искусство способно лишь строить предположения. Можно научить построению «Катона», но тщетны попытки рассказать, как замыслить Парфенон или «Ад»¹¹. Однако создание готово; чудо совершилось, и способность воспринимать делается всеобщей. Обнаруживается, что софисты негативной школы, которые по своей неспособности творить насмеялись над творчеством, теперь громче всех расточают похвалы творению. То, что в своем зачаточном состоянии возмущало их ограниченный разум, по созревании неизменно исторгает восхищение, рожденное их инстинктивным чувством прекрасного.

«Наблюдения автора относительно искусственного стиля, — продолжал Эллисон, — вызывают меньше возражений. То, что добавление искусства придает саду большую красоту, справедливо, так же как и упоминание о свидетельстве человеческого участия. Выраженный принцип неоспорим — но и вне его может заключаться нечто. В следовании этому принципу может заключаться цель — цель, недостижимая средствами, как правило, доступными отдельным лицам, но которая, в случае достижения, придавала бы декоративному саду очарование, далеко превосходящее то очарование, что возникает от простого сознания человеческого участия. Поэт, обладая денежными ресурсами, был бы способен, сохраняя необходимую идею искусства или культуры, или, как выразился наш автор, участия, придать своим эскизам такую степень красоты и новизны, дабы внушить чувство вмешательства высших сил. Станет ясно, что, добиваясь подобного результата, он сохраняет все достоинства участия или *плана*, в то же время избавляя свою работу от жесткости или техницизма земного *искусства*. В самой дикой глуши — в самых нетронутых уголках девственной природы — очевидно *искусство* творца; но искусство это очевидно лишь для рассудка и ни в каком смысле не обладает явную силою чувства. Предположим теперь, что это сознание плана, созданного Всемогушим, *понижится на одну ступень* — придет в нечто, подобное гармонии или соответствию

с сознанием человеческого искусства — образует нечто среднее между тем и другим: — вообразим, к примеру, ландшафт, где сочетаются простор и определенность — который одновременно прекрасен, великолепен и *странен*, и это сочетание показывает, что о нем заботятся, его возделывают, за ним наблюдают существа высшего порядка, но родственные человеку — тогда сознание *участия* сохраняется, в то время как элемент искусства приобретает характер промежуточной или вторичной природы — природы, которая не бог и не эманация бога, но именно природа, то есть нечто, сотворенное ангелами, парящими между человеком и богом».

И посвятив свое огромное богатство осуществлению подобной грезы — в простых физических упражнениях на свежем воздухе, обусловленных его личным надзором над выполнением его замыслов, — в вечной цели, созданной этими замыслами, — в возвышенной духовности этой цели — в презрении к честолюбивым помыслам, которое эта цель позволила ему всемерно ощутить, — в неиссякаемом источнике, утолявшем без пресыщения главную страсть его души, жажду прекрасного; и, сверх всего, в сочувствии женщины, чары и любовь которой обволокли его существование царственной атмосферой рая, Эллисон думал обрести и обрел избавление от обыденных забот рода человеческого вкупе с большим количеством прямого счастья, нежели представлялось госпоже де Сталь¹² в самых восторженных ее мечтах.

Я не надеюсь дать читателю хоть какое-то отдаленное представление о тех чудесах, которые моему другу удалось осуществить. Я хочу описать их, но меня обескураживает трудность описания. Я останавливаюсь на полпути между подробностями и целым. Быть может, лучшим способом явится сочетание и того и другого в их крайнем выражении.

Первый шаг мистера Эллисона заключался, разумеется, в выборе места; и едва начал он раздумывать об этом, как внимание его привлекла роскошная природа тихоокеанских островов. Он уж решился было отправиться путешествовать в южные моря, но, поразмыслив в течение ночи, отказался от этой идеи. «Будь я мизантроп, — объяснял он, — подобная *местность* подошла бы мне. Ее полная уединенность и замкнутость, затруднительность прибытия и отбытия составили бы в этом случае главную прелесть ее; но пока что я еще не Тимон¹³. В одиночестве я ищу покоя, но не уныния. Да ведь будет и много часов, когда от поэтических натур мне потребуются сочувствие сделанному мною. В том случае мне надобно искать место недалеко от многолюдного города — а близость его, вдобавок, послужит мне лучшим подспорьем в выполнении моих замыслов».

В поисках подходящего места, подобным образом расположенного, Эллисон путешествовал несколько лет, и мне позволено было сопровождать его. Тысячу участков, приводивших меня в восторг, он отвергал без колебаний по причинам, в конце концов убеждавшим меня в его правоте. Наконец, мы достигли возвышенного плоскогорья, отличающегося удивительно плодородной землею и очень красивого, откуда открывался панорамический

вид обширнее того, что открывается с Этны, и, по мнению Эллисона, равно как и моему, превосходящий вид с прославленной горы в отношении всех истинных элементов живописного.

«Я сознаю, — сказал искатель, вздохнув с глубоким удовлетворением, после того, как зачарованно взирал на эту сцену около часа, — я знаю, что здесь на моем месте девять десятых из самых придирчивых ничего бы не пожелали. Панорама воистину великолепна, и я восторгался бы ею, если бы великолепие ее не было бы чрезмерно. Вкус всех когда-либо знакомых мне архитекторов заставляет их ради «вида» помещать здания на вершинах холмов. Ошибка очевидна. Величие в любом своем выражении, особенно же в смысле протяженности, удивляет и волнует — а затем утомляет и гнетет. Для недолгого впечатления не может быть ничего лучшего, но для постоянного созерцания — ничего худшего. А для постоянного созерцания самый нежелательный вид грандиозности — это грандиозность протяженности, а худший вид протяженности — это расстояние. Оно враждебно чувству и ощущению *замкнутости* — чувству и ощущению, которые мы пытаемся удовлетворить, когда удаляемся «на покой в деревню». Смотря с горной вершины, мы не можем не почувствовать себя затерянными в пространстве. Павшие духом избегают подобных видов, как чумы».

Только к концу четвертого года наших поисков мы нашли местность, которую Эллисон остался доволен. Разумеется, излишне говорить, где она расположена. Недавняя смерть моего друга привела к тому, что некоторому разряду посетителей был открыт доступ в его поместье *Арнгейм*¹⁴, и оно снискало себе род утаенной славы, хотя и значительно большей по степени, но сходной по характеру со славой, которую так долго отличался Фонткилл¹⁵.

Обычно к Арнгейму приближались по реке. Посетитель покидал город ранним утром. До полудня он следовал между берегов, исполненных спокойной, безмятежной красоты, на которых паслись бесчисленные стада овец — белые пятна среди яркой зелени холмистых лугов. Постепенно создавалось впечатление, будто из края землешагцев мы переходим в более дикий, пастушеский, — и впечатление это понемногу растворялось в чувстве замкнутости — а там и в сознании уединения. По мере того, как приближался вечер, русло сужалось; берега делались все более и более обрывисты, покрыты более густой, буйной и суровой по окраске растительностью. Вода становилась прозрачнее. Поток струился по тысяче излучин, так что вперед было видно не далее, чем на фулонг¹⁶. Каждое мгновение судно казалось заключенным в заколдованный круг, обнесенный непреодолимыми и непроницаемыми стенами из листьев, накрытый крышею из ультрамаринового атласа и без пола — а киль с завидной ловкостью балансировал на киле призрачной ладьи, которая, перевернувшись по какой-то случайности вверх дном, плыла, постоянно сопутствуя настоящему судну ради того, чтобы держать его на поверхности. Теперь русло проходило по *ущелью* — пусть термин этот не вполне годится,

я употребляю его лишь потому, что в языке нет слова, которое лучше бы обозначило самую примечательную, хотя и не самую характерную черту местности. На ущелье она походила лишь высотой и параллельностью берегов и ничем другим. Берега (между которыми прозрачная вода по-прежнему спокойно струилась) поднимались до ста, а порою и до ста пятидесяти футов и так наклонялись друг к другу, что в весьма большой мере заслоняли дневной свет; а длинный, перистый мох, в обилии свисавший с кустов, переплетенных над головою, придавал всему погребальное уныние. Поток извивался все чаще и все запутаннее, как бы петляя, так что путешественник давно уж терял всякое понятие о направлении. Кроме того, его охватывало восхитительное чувство странного. Мысль о природе оставалась, но характер ее казался подвергнутым изменениям, жуткая симметрия, волнующее единообразие, колдовская упорядоченность наблюдались во всех ее созданиях. Ни единой сухой ветви — ни увядшего листа — ни случайно скатившегося камешка — ни полоски бурой земли нигде не было видно. Хрустальная влага плескалась о чистый гранит или о незапятнанный мох, и резкость линий восхищала взор, хотя и приводила в растерянность.

Пройдя по этому лабиринту в течение нескольких часов, пока сумрак сгушался с каждым мигом, судно делало крутой и неожиданный поворот и внезапно, как бы упав с неба, оказывалось в круглом водоеме, весьма обширном по сравнению с шириною ущелья. Он насчитывал около двухсот ярдов в диаметре и всюду, кроме одной точки — расположенной прямо напротив входящего судна, — был окружен холмами, в общем одной высоты со стенами ущелья, хотя и совсем другого характера. Их стороны сбегали к воде под углом примерно в сорок пять градусов, и от подошвы до вершины их обволакивали роскошнейшие цветы; вряд ли можно было бы заметить хоть один зеленый лист в этом море благоуханного и переливчатого цвета. Водоем был очень глубок, но из-за необычайно прозрачной воды дно его, видимо, образованное густым скоплением маленьких круглых алебастровых камешков, порою было ясно видно — то есть, когда глаз мог позволить себе не увидеть в опрокинутом небе удвоенное цветение холмов. На них не росло никаких деревьев и даже кустов. Зрителя охватывало впечатление пышности, теплоты, цвета, покоя, гармонии, мягкости, нежности, изящества, сладострастия и чудотворного, чрезвычайно заботливого ухода, внушавшего мечтания о новой породе фей, трудолюбивых, наделенных вкусом, великолепных и изысканных; но, пока взор скользил сверху по многоцветному склону от резкой черты, отмечавшей границу его с водою, до его неясно видной вершины, растворенной в складках свисающих облаков, то, право, трудно было не вообразить панорамический поток рубинов, сапфиров, опалов и золотых ониксов, беззвучно низвергающихся с небес.

Внезапно вылетев в эту бухту из мрачного ущелья, гость восхищен, но и ошеломлен, увидев шар заходящего солнца, которое, по его предположениям, давно опустилось за горизонт, — но оно встает перед ним, обра-

зую единственный предел бесконечной перспективы, видной в еще одной расщелине среди холмов.

Но тут путник покидает судно, на котором следовал дотоле, и спускается в легкую пирогу из слоновой кости, снаружи и внутри испещренную яркими арабесками. Острый нос и острая корма челна высоко вздымаются над водою, так что в целом его форма напоминает неправильный полумесяц. Он покоится на глади водоема, исполненный горделивой грации лебедя. На палубе, устланной горностаевым мехом, лежит единственное весло из атласного дерева, легкое, как перышко; но нигде не видно ни гребца, ни слуги. Гости уверяют, что судьба о нем позаботится. Большое судно исчезает, и он остается один в челне, по всей видимости, недвижимо стоящем посередине озера. Но, размышляя о том, что ему предпринять далее, он ощущает легкое движение волшебной ладьи. Она медленно поворачивается, пока нос ее не начинает указывать на солнце. Она движется, мягко, но равномерно ускоряя ход, а легкая рябь, ею поднятая, как бы рождает, ударяясь в борт, божественную мелодию — как бы единственно возможное объяснение успокоительной, но грустной музыки, источник которой, растерянно оглядываясь окрест, путник напрасно ищет.

Ладья идет ровно и приближается к утесистым вратам канала, так что его глубины можно рассмотреть яснее. Справа поднимается высокая цепь холмов, покрытых дикими и густыми лесами. Заметно, однако, что восхитительная чистота на границе берега и воды остается прежней. Нет и следа обычного речного мусора. Пейзаж слева не столь суров, и его искусственность более заметна. Берег здесь поднимается весьма отлого, образуя широкий газон, трава на котором похожа более всего на бархат, а ярким цветом выдерживает сравнение с чистейшим изумрудом. Ширина плато колеблется от десяти до трехсот ярдов; оно доходит до стены в пятьдесят футов, которая тянется, бесконечно извиваясь, но все же в общем следует направлению реки, пока не теряется из виду, удаляясь к западу. Стена эта образована из цельной скалы и создана путем стесывания некогда неровного обрыва на южном берегу реки; но никаким следам рук человеческих не дозволено было остаться. Обработанный камень как бы окрашен столетиями, он густо увешан и покрыт плуццом, коралловой жимолостью, шиповником и ломоносом. Тождество верхней и нижней линий стены ясно оттеняется там и сям гигантскими деревьями, растущими поодиночке и маленькими группами как вдоль плато, так и по ту сторону стены, но в непосредственной к ней близости; так что очень часто ветви (особенно ветви черных ореховых деревьев) перегибаются и окунают свисающие конечности в воду. Что дальше — мешает увидеть непроницаемая листовая завеса.

Все это видно во время постепенного продвижения челна к тому, что я назвал вратами перспективы. По мере приближения, однако, путник замечает, что сходство с ущельем пропало; слева открывается новый выход из бухты — туда же тянется и стена, по-прежнему следуя общему направлению потока. Вдоль этого нового русла видно не очень далеко, потому

что поток вместе со стеною все еще загибается влево, пока обоих не поглощает листва.

Тем не менее, ладья волшебным образом скользит в извилистый канал; и здесь берег, противоположный стене, оказывается похож на берег, противоположный стене в канале. Высокие холмы, порою по высоте равные горам и покрытые буйной и дикой растительностью, все же не дают увидеть то, что вдали.

Спокойно, хотя и с несколько большей скоростью двигаясь вперед, путник после многих коротких поворотов видит, что дальнейшую дорогу ему преграждают гигантские ворота или скорее дверь из отполированного золота, покрытая сложной резьбой и чеканкой и отражающая отвесные лучи к тому времени стремительно заходящего солнца, от чего весь окрестный лес как будто охвачен огненными языками. Дверь врезана в высокую стену, которая здесь кажется пересекающей реку под прямым углом. Однако через несколько мгновений становится видно, что главное русло все еще описывает широкую и плавную дугу влево и стена, как прежде, идет вдоль потока, а от него ответвляется довольно большой рукав и, протекая с легким плеском под дверь, скрывается из глаз. Челн входит в рукав и приближается к воротам. Тяжкие створы медленно и музыкально распахиваются. Ладья проскальзывает между ними и начинает неудержимое нисхождение в обширный амфитеатр, полностью опоясанный лиловыми горами, чьи подножья омывает серебристая река. И разом является взору Арнгеймский Эдем. Там льется чарующая мелодия; там одурманивает странный, сладкий аромат; там сновиденно свиваются перед глазами высокие, стройные восточные деревья — там раскидистые кусты — стаи золотых и пунцовых птиц — озера, окаймленные лилиями, — луга, покрытые фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами, — длинные, переплетенные извивы серебристых ручейков — и воздымается полуготическое, полумаавританское нагромождение, волшебно парит в воздухе, сверкает в багровых закатных лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сифид, фей, джинов и гномов.

ТАЙНА МАРИ РОЖЕ^{1*}

ПРОДОЛЖЕНИЕ «УБИЙСТВ НА УЛИЦЕ МОРГ»

Es giebt eine Reihe idealischer Begebenheiten, die der Wirklichkeit parallel läuft. Selten fallen sie zusammen. Menschen und Zufälle modifizieren gewöhnlich die idealische Begebenheit, so dass sie unvollkommen erscheint, und ihre Folgen gleichfalls unvollkommen sind. So bei der Reformation: statt des Protestantismus kam das Lutherthum hervor.

«Есть идеальные сочетания событий, которые развертываются параллельно фактически происходящим. Совпадают они редко. Люди и обстоятельства, как правило, искажают идеальную последовательность событий, и в той же мере, в какой она искажена, и последствия их оказываются уже не теми, какими могли бы быть. Так с Реформацией; вместо протестантизма явилось лютеранство».

*Новалис** Moralische Ansichten*.*

Мало кто, даже из самых невозмутимых мыслителей, не испытывал подчас безотчетно тревожной готовности поверить в сверхъестественные силы, пораженный совпадениями, кажущимися настолько странными, что ум не может признать их просто совпадениями. Справиться с таким настрое-

^{1*} При первой публикации «Мари Роже» нижеследующие подстрочные замечания были сочтены необязательными; но по истечении нескольких лет после трагедии, на которой основан этот рассказ, будет уместно включить их и заодно сказать несколько слов относительно общего замысла. Некая юная девица, *Мери Сесили Роджерс*, была убита в окрестностях Нью-Йорка, и, хотя ее гибель вызвала большую тревогу, которая долго не могла улечься, тайна этого убийства все еще оставалась неразгаданной к тому времени (ноябрь 1842 года), когда был написан и опубликован рассказ. Рассказывая в нем будто бы о судьбе некой парижской гризетки, автор буквально следовал основным фактам подлинного убийства Мери Роджерс, изменив лишь несущественные подробности. Таким образом, все рассуждения по поводу вымышленной истории вполне применимы к пояснению правды в подлинной, раскрытие истины относительно ее и было целью рассказа.

«Тайна Мари Роже» писалась вдали от места преступления, и все расследование дела было предпринято на основе лишь тех данных, которые можно было почерпнуть из газет. Поэтому многое из того, чем автор сумел бы воспользоваться по-своему, случись ему побывать на месте и ознакомиться с обстановкой лично, оказалось упущенным. И тем не менее не будет нескромностью заметить, что, несмотря на это, показания *двух лиц* (одно из них соответствует мадам Делюк, выведенной в рассказе), данные в разное время много спустя после появления рассказа в печати, полностью подтвердили не только общие выводы, но и все без исключения подробности, на основании которых это заключение было выведено и которые были намечены в рассказе предположительно.

^{2*} Псевдоним фон Гарденберга¹.

* Нравственные воззрения (нем.).

нием — ибо чисто логической последовательностью подобное впечатление отличается лишь в самой неполной мере — справиться с ним до конца, как правило, удается, только обратившись к учению о случайностях или, как оно точно именуется, — к счислению вероятностей. Счисление же это в сущности, — чистая математика; так, вопреки самой своей природе, точнейшая из всех наук оказывается применимой к исследованию самых призрачных и неуловимых явлений в области духа.

То из ряда вон выходящее событие, подробности которого здесь будут рассказаны, следует рассматривать как первичную линию развития почти непостижимых совпадений, вторичную же, которая в итоге и развилась полностью, читатель найдет в недавнем убийстве Мери Сесили Роджерс, случившемся в Нью-Йорке.

* * * * *

С год назад, когда я в рассказе «Убийства на улице Морг» попытался дать некоторые представления о необыкновенно оригинальном складе ума моего друга шевалье Ш. Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я вернусь к той же теме. Я ставил своей целью обрисовать этот ум; замысел полностью удался, благодаря необычайному происшествию, давшему Дюпену случай проявить свои исключительные способности. Я мог бы привести и другие примеры, но ничего нового уже не сказал бы. Однако после недавних событий, развивавшихся столь неожиданно, возникает необходимость прибавить несколько новых черточек, которые и сами по себе стоят целого откровения. А за последнее время я слышался столько небывающих, что отмалчиваться и дальше мне, некогда лично видевшему и слышавшему все, как было, просто не к лицу.

Разобравшись в трагической гибели мадам Л'Эспане и ее дочери, наш шевалье тут же забыл об этом происшествии и снова погрузился в обычную свою угрюмую задумчивость. Я же, и сам склонный к отрешенности, с готовностью поддался его настроению, и мы зажили по-прежнему, все в тех же комнатах в предместье Сен-Жермен, и, не заботясь о будущем, мирно забылись в настоящем, и в грезах наших ткалась призрачная ткань, застилающая окружавшую нас пошлую действительность.

Но и от грез нас иногда отрывали. Как и следовало ожидать, роль, в которой выступил мой друг в драме на улице Морг, не могла не поразить воображение парижской полиции. Имя Дюпена вошло у ее ищущих в разговорку. Поскольку простота умозаключений, путем которых он пришел к разгадке тайны, оставалась неизвестной даже префекту, да и вообще ни одной живой душе, кроме меня, то, разумеется, не было ничего удивительного в том, что на него взирали чуть ли не как на мага и чародея, а исключительные аналитические способности шевалье сочли за интуицию. Если бы он объяснился начистоту и удовлетворил их любопытство, эти заблуждения были бы рассеяны, но ему было просто лень, да и очень уж претила возня с делом, потерявшим весь свой интерес. Так и получилось,

что в полиции на него смотрели как на оракула, и не мало было дел, для разрешения которых префектура пыталась заручиться сотрудничеством Дюпена. Одним из самых примечательных было дело об убийстве некоей молодой девицы по имени Мари Роже.

События эти разыгрались года через два после страшного происшествия на улице Морг. Мари, имя и фамилия которой по созвучию сразу же заставляют вспомнить о злосчастной нью-йоркской «табачнице», была единственной дочерью вдовы Эстель Роже. Отец умер, когда девочка была еще маленькой, и после его смерти мать и дочь жили вместе на улице Паве Сен-Андре^{1*}; мать содержала пансион, дочь помогала; перемены начались лишь года за полтора до убийства, о котором идет речь в нашей повести. Все шло хорошо, пока дочери не сравнялся двадцать один год и ее поразительную красоту не заметил один парфюмер, державший лавку в нижнем пассаже Пале-Рояля; клиентуру его составляли главным образом те опасные проходимцы, которыми кишат тамошние кварталы. Мосье Ле Блан^{2*} понял, какая находка для его парфюмерной хорошенькая Мари; выгодные условия, предложенные им, были с готовностью приняты девицей, хотя мать отнеслась ко всему этому без особого восторга.

Расчеты лавочника полностью оправдались, и скоро, благодаря чарам бойкой гризетки, о его парфюмерной заговорили. Мари прослужила у него уже около года, как вдруг, к величайшему недоумению поклонников, исчезла. Мосье Ле Блан не мог сказать ничего вразумительного, мадам Роже не находила себе места от тревоги и ужаса. Газеты живо заинтересовались этим происшествием, и полиция уже была готова приступить к самому серьезному расследованию, но тут, ровно через неделю, в одно прекрасное утро Мари, живая и невредимая, хотя и заметно чем-то угнетенная, снова, как ни в чем не бывало, появляется за прилавком. Всякие расследования, начатые в официальном порядке, были, разумеется, тотчас же прекращены, и дело замято. Мосье Ле Блан по-прежнему отговаривался полным неведением. Мари и мадам Роже на все расспросы отвечали, что эту неделю она провела у родных в деревне. На том дело и кончилось и забылось; а вскоре наша девица под предлогом, что ей проходу не стало от нескромного любопытства, распростилась с мосье Ле Бланом и укрылась у матери на улице Паве Сен-Андре.

Года через три после ее возвращения, близкие встревожились из-за нового ее внезапного исчезновения. Прошло три дня, а о ней не было ни слуху ни духу. На четвертый ее мертвой выловили в Сене^{3*} у берега напротив улицы Паве Сен-Андре, недалеко от пустырей у заставы дю Руль^{4*}.

Жестокий характер убийства (а что это — именно убийство, было ясно с первого взгляда), молодость и красота жертвы, а главное, ее слава поко-

1* Нассау-стрит.²

2* Андерсон.

3* В Гудзоне.

4* Уихоукен.

рительницы сердец — все как нарочно сошлось, чтобы взвинтить чувства впечатлительных парижан. И я не припомню ни одного подобного происшествия, которое вызвало бы столь же бурный отклик. На несколько недель эта животрепещущая тема заставила забыть самые злободневные вопросы политической жизни. Префект не знал ни сна, ни отдыха, вся парижская полиция просто с ног сбивалась.

На первых порах после того, как обнаружили труп, никто не допускал и мысли, что убийце удастся надолго ускользнуть от преследования. И только через неделю спохватились, что надо назначить награду, да и то расщедрились всего на тысячу франков. Между тем полиция, хотя и не проявляла особой находчивости, не дремала, множество народу было допрошено, правда, совершенно безрезультатно; оттого же, что время шло, а на разгадку тайны не было и намека, общее раздражение возрастало. К концу десятого дня решили удвоить первоначально назначенную сумму; когда же прошла вторая неделя, а дело так и не прояснилось, и недовольство парижан, и вообще недолголюбивающих полицию, нашло себе выход в нескольких серьезных *émeutes* *, — префект назначил сумму в двадцать тысяч франков «за указание убийцы» или, если таковых окажется несколько, «за указание любого из убийц». В объявлении о награде обещалось полное помилование каждому замешанному в убийстве, явившемуся с доносом на сообщников; вместе с этим официальным бюллетенем, как приложение к нему, всюду был расклеен листок с обращением комитета частных лиц, обещающего награду в десять тысяч франков сверх суммы, назначенной префектурой. Таким образом, общая сумма награды достигала теперь целых тридцати тысяч франков — цифры совершенно баснословной, если учесть, что девица была из мещанской семьи, а в больших городах подобные злодеяния — дело самое привычное.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства должна вот-вот разъясниться. Но хотя в двух-трех случаях были произведены аресты, обещавшие пролить свет на тайну, никаких доказательств причастности заподозренных к убийству не нашлось, и они были тут же отпущены. Как ни трудно поверить, но со дня, когда нашли мертвое тело, прошла, также безрезультатно, и третья неделя, а до нас с Дюпенем не доходили даже отголоски этих событий, взбудораживших общественное мнение. Мы так увлеклись изысканиями, за которыми позабыли все на свете, что за месяц ни разу не вышли из дома проветриться, к нам тоже никто не заглядывал, а в газетах мы просматривали вскользь только важнейшие политические заметки. Первые сведения об убийстве доставил нам Г. собственной персоной. Он зашел к нам среди дня 13 июля 18... года и засиделся за полночь. Самолюбие его было глубоко уязвлено тем, что, как он ни старался выследить убийц, все шло насмарку. На карту поставлена его репутация, как выразился он в высоком стиле, отличающем истинного парижанина. Более того — для него это вопрос чести. Взоры

* Беспорядки (франц.).

всего общества обращены на него, и, мы можем ему поверить, нет таких жертв, перед которыми он остановится, только бы раскрыть эту тайну. Он заключил свою прозвучавшую довольно комично речь комплиментом, как он любезнейшим образом выразился, «такту» Дюпена и тут же без обиняков сделал ему безусловно выгодное предложение, точные условия которого я оглашать, пожалуй, не в праве, что, впрочем, и не имеет прямого отношения к сути моего рассказа.

Комплимент мой друг со всей учтивостью отклонил, а предложение принял, хотя верным это дело назвать было никак нельзя. Как только соглашение было достигнуто, префект пустился излагать свои соображения, перемежая их пространными комментариями фактических данных, которыми мы в ту пору еще не располагали. Несмотря на мои робкие намеки, на которые я под конец отважился, он рассуждал без устали и, безусловно, со знанием дела до тех пор, пока ночь не стала сонно клониться к утру. Дюпен сидел в своем излюбленном кресле, прямой и чопорный, — живое воплощение почтительного внимания. С самого начала беседы он не снимал очков, и, заглянув невзначай за их зеленые стекла, я убедился, что он проспал непробудным сном все эти каторжные семь-восемь часов, пока префект не удалился, — разве что только не храпел.

С утра я получил в префектуре все материалы, какие им удалось собрать, а в редакциях газет — по экземпляру каждого номера, в котором печатались хоть мало-мальски существенные сведения об этом печальном деле. Если отбросить явно досужие домыслы, то из всей груды этих материалов можно было извлечь следующее:

Мари Роже ушла от матери, из дома на улице Паве Сен-Андре, около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18... года. Уходя, она сказала мосье Жаку Сент-Эсташу ^{1*}, что проведет день у тетки, проживающей на улице де Дром; больше об этом ее намерении не слышал никто. Улица де Дром — это короткий, узкий, но очень людный проезд неподалеку от реки, и, если идти кратчайшим путем, примерно в двух милях от пансиона мадам Роже. Сент-Эсташ — поклонник, пользовавшийся особой благоклонностью Мари, с которой он был к тому времени помолвлен, снимал комнату и столовался здесь же, в пансионе. К вечеру он должен был зайти за своей нареченной и проводить ее домой. Однако под вечер зарядил проливной дождь, и, решив, что она заночует у тетки (как уже случалось не раз при подобных обстоятельствах), Сент-Эсташ счел, что их уговор теряет силу. Уже к ночи слышали, как мадам Роже (болезненная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что не видать ей больше Мари; но тогда этим словам не придали значения.

В понедельник стало известно, что девица и не показывалась на улице де Дром; она не вернулась домой и к вечеру, и только тогда были приняты розыски по городу и в ближайших предместьях. Но лишь на четвертые сутки выяснилось, что с ней. В тот день (среда 25 июня) некто

^{1*} Пейну.

мосье Бове ^{1*}, обследовавший со своим другом в поисках Мари береговой участок неподалеку от заставы дю Руль в районе выхода к реке улицы Паве Сен-Андре, услышал, что рыбаки доставили к берегу выловленное в реке мертвое тело. Увидав покойницу, Бове после некоторой заминки удостоверил, что это — труп продавщицы из парфюмерной. Его друг опознал ее еще более решительно.

Лицо было покрыто черной запекшейся кровью, кровь шла и горлом. Пены, обычной у утопленников, не было. Клетчатка сохранила пигментацию. Вокруг горла виднелись кровоподтеки и следы пальцев. Руки были сложены на груди и уже заоченели. Правая стиснута в кулак, левая — полуразжата. Левая в запястье — дважды окольцована ссадинами, явно от веревок или веревки, обкрученной в два витка. Правая рука в запястье и вся спина, особенно у лопаток, — сильно ободраны. Чтобы отбуксировать тело к берегу, рыбаки привязали его веревкой, но от нее ссадин не появилось. Шея сильно вздулась. Ножевых ран и синяков от ударов на трупе не обнаружили. Кусок узкой тесьмы оказался затянутым вокруг шеи с такой силой и так глубоко врезался в тело, что его не сразу заметили; он был завязан тугим узлом чуть ниже левого уха. Уже от одного этого смерть была неминуемой. В медицинском заключении утверждалось, что пострадавшая была целомудренна. Ее, отмечалось в нем далее, зверски изнасиловали. Состояние трупа позволяло близким легко опознать покойницу.

Все на ней было изорвано и растерзано. Из платья, от края подола до пояса, была выдрана полоса примерно в фут шириной, но не оторвана совсем. Трижды обкрутив вокруг талии, ее завязали на спине петлей. Сорочка под платьем была из дорогого муслина, и из нее выдрана полоса дюймов в восемнадцать шириной, вырвали ее ровно и очень аккуратно. Она осталась свободно накинутой на шею, концы связаны тугим узлом. Шляпка — подвязана двумя шнурками, стянутыми поверх обрывка тесьмы и куска муслина. Шнурки завязывала явно не женская рука — слип-нотом или, иначе, морским узлом.

После установления личности труп, против обыкновения, не отправили в морг (каковую формальность сочли не обязательной), а сразу предали земле неподалеку от места, где его доставили на берег. Стараниями Бове, дело удалось кое-как замять, и только через несколько дней тревожные слухи о нем возымели действие. Наконец, делом занялся один еженедельник ^{2*}, тогда труп эксгумировали и заново исследовали; но ничего нового установить не удалось. Разве что только на этот раз одежда была предъявлена матери и близким покойницы, и те в один голос подтвердили, что именно эти вещи были на девушке, когда она уходила из дома.

А тем временем общее возбуждение росло не по дням, а по часам. Кого-то арестовывали и кого-то выпускали. Особенно серьезные подозре-

^{1*} Кроммелин.

^{2*} «Нью-Йорк мэръкьюри».

ния возбудил Сент-Эсташ, который к тому же поначалу не сумел объяснить толком и по порядку, как он провел то воскресенье, когда Мари ушла из дома. Впоследствии, однако, он представил мосье Г. письменное показание под присягой с отчетом за каждый час того злосчастного дня, признанное совершенно удовлетворительным. Поскольку время шло, а дело не двигалось с места, поползли сотни самых разноречивых слухов, а журналисты принялись строить догадки. Из таковых наибольший интерес вызвала версия, будто Мари Роже и не думала умирать, а в Сене выловили труп какой-то другой несчастной. Лучше всего привести для читателя несколько выдержек, в которых это предположение высказывается. Ниже следующие отрывки — дословный перевод из «L'Etoile»^{1*}, газеты, которая и вообще ведется мастерски:

«Мадемуазель Роже оставила материнский кров воскресным утром 22 июня 18... года, с тем, якобы, чтобы навестить тетку или кого-то еще из родных или близких на улице де Дром. С тех пор ее никто не видел. Всякий ее след сразу же теряется, и о ней нет никаких вестей... Во всяком случае, пока еще никто не заявлял, что хотя бы видел ее в то воскресенье после ухода из дома... Далее: у нас нет данных, что Мари Роже оставалась в живых после девяти часов 22 июня, зато доподлинно известно, что до девяти она была жива. В четверг, в двенадцать часов дня, вылавливают тело какой-то женщины, всплывшее у берега возле заставы дю Руль. Значит, оно пробывало в воде, если даже допустить, что Мари Роже была брошена в реку всего через три часа после своего ухода, только три дня, считая с момента, когда она вышла на улицу, — трое суток с точностью до одного часа. Но ведь только по недомыслию можно предполагать, что ее успели убить, — если убита была действительно она, — в такое раннее время, что убийцы могли бросить тело в реку до полуночи. Виновные в таких чудовищных преступлениях скорее станут действовать в потемках, а не при свете дня... Таким образом, мы убеждаемся, что если мертвой в реке выловили Мари Роже, то она могла находиться в воде только двое с половиной суток, от силы — трое. Опыт свидетельствует, что утопленники или трупы, брошенные в воду сразу после убийства, всплывают только по прошествии самого малого от шести до десяти суток; ранее разложение не достигнет той стадии, когда тело поднимается на поверхность. Даже если над затонувшим телом, не пробывшим еще под водой по крайней мере пять-шесть суток, выстрелить из пушки и оно всплывает, то, если ему не мешать, тут же затонет снова. Так вот и спрашивается: что же это за неведомая сила вызвала в данном случае отклонение от правил, установленных самой природой?.. Если бы этот истерзанный труп пролежал на берегу до ночи со вторника на среду, то удалось бы напасть и на след убийц. Но сомнительно, что труп уже успел бы всплыть и в том

^{1*} Нью-йоркский «Бразер Джонатан», выходящий под редакцией Х. Хастингса Уэлда³, эсквайра.

случае, если бы его бросили в реку через два дня после убийства. И уже совершенно ни с чем не сообразно, чтобы злодеи, способные на такое убийство, бросили тело в воду, не привязав груза, чтобы оно сразу пошло ко дну; ведь принять такую меру предосторожности ничего не стоило».

Далее редактор доказывает, что тело должно было оставаться в воде «не какие-нибудь дня три, а по крайней мере пятью три», если разложение успело разрушить его настолько, что Бове с трудом узнал покойницу. Последний пункт, однако, был полностью опровергнут. Продолжаю перевод:

«Каковы же, собственно, те доказательства, которые, по словам мосье Бове, убедили его окончательно, что покойница и есть именно Мари Роже? Он завернул рукав платья и заявил, что приметы сходятся, это — она. Люди добрые поняли это так, что речь идет о каких-нибудь достаточно характерных шрамах. Он же протер руку и отыскал на ней *волоски* — пустяк, на наш взгляд, вообще не являющийся приметой и ничего не доказывающий — все равно, что отыскать в рукаве руку. В ту среду мосье Бове не ночевал дома, но в семь часов вечера мадам Роже передали от него, что следствие еще не закончено. Если мадам Роже, при ее возрасте и в том горе, в каком она была, действительно не могла прийти сама (что более чем вероятно), то должен же был среди близких найтись хоть один, кто счел бы нелишним явиться оказать содействие следствию, если они допускали мысль, что труп мог быть телом Мари. Не явился никто. О том, чтобы сходить помочь, на улице Паве Сен-Андре не было и речи, соседи по дому и не слышали об этом. Мосье Сент-Эташ, возлюбленный и будущий муж Мари, постоялец ее матери, уверяет, будто впервые услышал, что нашли тело его нареченной, только на следующее утро, когда к нему зашел мосье Бове и рассказал о случившемся. И, зная, что это была за весть, мы просто поражаемся невозмутимости, с какой ее выслушали».

Таким образом газета старалась создать впечатление о равнодушии родных и близких Мари, несовместимом с предположением, что они допускали, будто найденная покойница — Мари. Газета не останавливалась и перед инсинуациями — будто бы Мари, заручившись поддержкой друзей, решила скрыться из города по причинам, бросающим тень на ее девичью непорочность; друзья же, когда в Сене выловили покойницу, по виду чем-то напоминающую скрывающуюся девицу, воспользовались случаем и присочинили, в расчете на человеческую доверчивость, историю, будто она погибла. Но и на этот раз «L'Etoile» слишком зарвалась. Было положительно доказано, что равнодушие родных существовало лишь в воображении газеты, что старая женщина совсем обессилела, от горя себя не помнила и ни на что не была годна; что Сент-Эташ принял роковую весть не то чтобы невозмутимо, а пришел в такое отчаяние и настолько обезумел, что мосье Бове упросил одного друга и родственника оставаться

при нем неотлучно и глаз с него не спускать и не пустил его к покойнице, когда ее обследовали после эксгумации. Более того, несмотря на попытки «L'Etoile» представить дело таким образом, будто вторично покойница была похоронена на казенный счет и предложение похоронить ее на льготных условиях в отдельной, а не общей могиле было отвергнуто семьей и будто ни один представитель семейства не почтил своим присутствием похорон... вопреки, повторяю, ухищрениям «L'Etoile» упрочить впечатление, которое ей хотелось создать, голословность *всех* этих утверждений была доказана неопровержимо. Позднее газета подкапывается уже и под самого Бове. Предоставим слово редактору:

«Дело принимает новый оборот. Нам сообщают, что на днях, когда некая мадам Б. случайно оказалась у дома мадам Роже, вышедший из дома мосье Бове сказал ей, что вот-вот должен прийти жандарм, так пусть она, мадам Б., не вздумает заговаривать с жандармом до его (мосье Бове) возвращения, он сам уладит дело... Похоже на то, будто мосье Бове захватил все это дело в свои руки так, что и не подступишься. И куда ни податься, всюду он тут... Невестя почему он вообразил, что полиция должна обращаться за содействием только к нему, и представители мужской половины этого семейства жалуются, что он оттирает их как-то очень уже странно. Почему-то его явно не устраивало, чтобы родню допустили взглянуть на покойницу».

Приводился следующий факт, долженствующий придать подозрениям, которые навлекались на Бове, своеобразный оттенок. Кто-то из знакомых, зайдя к нему в контору за несколько дней до исчезновения девицы и не застав, заметил розу, воткнутую в замочную скважину двери, и имя «Мари», написанное на грифельной дощечке.

В общем же в прессе преобладало мнение, что Мари стала жертвой шайки оголтелых мерзавцев, что ее завезли за реку, изнасиловали и убили. «Le Commercial»^{1*}, издание очень влиятельное, давало решительный отпор этой полюбившейся толпе версии. Приведу две-три выдержки с ее полос:

«Мы убеждены, что до сих пор все поиски шли по ложному следу, поскольку он вел к заставе дю Руль. Исключена всякая возможность, чтобы личность, столь известная тысячам людей, как эта молодая особа, прошла три квартала и ее никто не заметил, а никто бы не забыл, что видел ее, — она возбуждала любопытство. Когда же она вышла, улицы были полны народа... Немыслимо, чтобы ей удалось пройти до заставы дю Руль или до улицы де Дром, и ее не узнала по крайней мере дюжина людей; однако пока не слышно было, что кто-нибудь видел ее вне стен материнского дома, и кроме свидетельства о ее намерении, нет *никаких доказательств*, что она вообще покидала его стены. Платье на ней было

^{1*} Нью-йоркский «Джорнел ов коммерс».

разорвано, обкручено вокруг тела и завязано, что дало возможность перенести ее, как тюк. Если бы убийство совершилось у заставы дю Руль, то это бы не понадобилось. Само по себе появление всплывшего тела у Заставы не дает указаний на то, где именно его бросили в воду. Кусок материи в два фута длиной, и в один шириной, оторванный от одной из юбок злополучной девицы, был обмотан под подбородком вокруг шеи и завязан на затылке, явно с целью заглушить крики. Это дело рук молодых, у которых носовые платки не водятся».

За день-два до появления у нас префекта полиция получила исключительной важности сведения, полностью опровергающие главные доводы «Le Commercial». Двое парнишек, сыновья некоей мадам Делюк, шнырявших в рощице близ заставы дю Руль, забрались невзначай в частый кустарник, где наткнулись на три-четыре крупных валуна, сложенных так, что образовалось своего рода креслице со спинкой и подставкой для ног. На верхнем камне была брошена белая нижняя юбка, на среднем — шелковый шарфик. Здесь же оказались, кроме того, зонтик, перчатки и носовой платок. На платке было вышито «Мари Роже». Обрывки платья были найдены по соседству в колючих зарослях ежевики. Трава вокруг была вытоптана, кустарник переломан — все говорило об отчаянной борьбе. Ограда между кустарником и рекой оказалась поваленной, следы на земле свидетельствовали о том, что здесь протащили волоком какую-то тяжелую ношу.

Выражая единодушное мнение всей парижской прессы, еженедельник «Le Soleil»^{1*} следующим образом комментировал открытие:

«Судя по всему, обнаруженные предметы пролежали на месте находки недели три-четыре; они насквозь проволгли от дождя и слиплись от плесени. Они успели зарастить травой. Шелк на зонтике еще сохранял прочность, но ткань его села. Верхняя часть зонта, где он собирался и складывался, прогнила от плесени и, как только его раскрыли, лопнула. . . Кустарник выдрал из одежды клочки дюйма по три в ширину и по шести в длину. Один из этих обрывков — от подола платья, со следами штопки; второй — от юбки. Вырваны они ровной полосой и повисли на колючках кустарника на высоте около фута от земли. . . Не остается сомнений, что место, на котором произошло это чудовищное зверство, — установлено».

За этим открытием последовали новые. Мадам Делюк показала, что содержит при дороге гостиницу; это почти у самой реки, по соседству с заставой дю Руль. Окрестности вокруг безлюдные, просто глухие. Чуть ли не каждое воскресенье тут наплыв всякого городского сброда, переправляются отсюда на ту сторону реки. Часов около трех в то зло-

^{1*} Филадельфийская «Сетерди ивнинг пост», редактируемая Ч. Питерсоном⁴, эсквайром.

счастное воскресенье в гостиницу заходила барышня в сопровождении очень смуглого молодого человека. Посидели какое-то время. Отсюда они направились в лес поблизости. Мадам Делюк обратила внимание на платье девицы, потому что почти точь-в-точь такое же носила одна ее умершая родственница. А шарфик ей особенно запомнился. Вскоре сюда явилась целая ватага сущих висельников, горланили тут, напили, наели и убрались, не заплатив, в том же направлении, что и молодой человек с барышней; вернулись эти бесстыдники, когда смеркалось, и через реку гребли так, словно спешили поскорее унести ноги.

А уже совсем затемно мадам Делюк и ее старший сын услышали женский крик где-то неподалеку от гостиницы. Кричали отчаянно, но почти тотчас же крик и оборвался. Мадам Делюк опознала не только шарфик, найденный в кустарнике, но и платье, снятое с покойницы. Затем кучер омнибуса, некий Валанс^{1*}, показал, что видел в то воскресенье, как Мари Роже переправлялась на пароме через Сену с каким-то загорелым молодчиком. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться никак не мог. Вещи, найденные в кустарнике, родные Мари признали безоговорочно.

Подборка газетных материалов, составленная мной по указанию Дюпена, включала еще один, последний пункт; но он и сам по себе достаточно красноречив. Оказывается, сразу же после того, как нашли вещи, о которых только что была речь, — неподалеку от кустарника, где, как предполагали, над ней надругались, обнаружили бездыханное, то есть почти уже бездыханное, тело суженого Мари, Сент-Эсташа. Рядом валялся пустой пузырек с этикеткой: «Лауданум». Дыхание Сент-Эсташа сильно отдавало ядом. Он умер, так и не заговорив. При нем оказалась записка, всего несколько слов — о любви к Мари и о решении покончить с собой.

— Вряд ли нужно говорить вам, — сказал Дюпен, тщательно изучив мои заметки, — что это дело гораздо более мудреное, чем на улице Морг, от которого оно отличается весьма существенно. Это — очень жестокое, но самое обыкновенное убийство. В нем нет ничего *outré*^{*}. Обратите внимание, что именно поэтому и сочли, что раскрыть тайну будет просто, а именно это и создает трудности. Вот почему на первых порах решили, что объявлять награду не нужно. У мирмидонян⁵ Г. хватило ума сообразить, как и почему могло такое зверство совершиться. Они могли представить себе способ — множество способов — его совершения и мотив... сколько угодно мотивов преступления; а поскольку не исключено было, что одна из их догадок могла оказаться правильной, то они и решили, что находятся на верном пути. Но уже то, как легко было представить себе одинаково правдоподобно возможности этого убийства совершенно по-разному, указывало, что разобраться в нем будет не просто. Как я уже говорил, в поисках истины разум ориентируют отступления от рутины,

^{1*} Эдем.

* Из ряда вон выходящего (франц.).

нарушающие ее единообразие, и правильна в случаях, подобных теперешнему, не постановка вопроса: «Что же, собственно, произошло?», а вопрос: «Что произошло такого, чего ни разу не происходило до этого?» Осматривая квартиру мадам Л'Эспане^{1*}, агенты Г. растерялись и совершенно пали духом от той самой *необычности* убийства, которая для строго систематичного интеллекта явилась бы обнадеживающим признаком, и вместе с тем, тот же интеллект в полном отчаянии от рутинности всего, на что ни взгляни в деле этой продавщицы из парфюмерной, а молодцов из префектуры эта рутинность заставляла заранее торжествовать.

В деле мадам Л'Эспане и ее дочери мы с самого начала знали наверняка, что произошло именно убийство. Возможность самоубийства заведомо отпадала. Сейчас мы тоже вправе сразу же исключить мысль о самсубийстве. Состояние трупа, выловленного у заставы дю Руль, было таково, что этот существенный вопрос может считаться исчерпанным. Зато возникает предположение, что убитая — не та самая Мари Роже, за указание убийцы или убийц которой объявлена награда и относительно которой — только ее и никого другого — мы договаривались с префектом. Повадки этого джентльмена нам обоим знакомы. С ним держи ухо востро. Если мы поведем розыски от мертвого тела и доберемся до убийцы, но вместе с тем установим, что убитая — не Мари; или если мы начнем от живой Мари, и отыщем ее, а она, оказывается, не убита, — в обоих случаях мы терпим одни убытки, ибо мы имеем дело не с кем-нибудь, а с мосье Г. А потому в наших интересах — хотя с точки зрения правосудия это и не самое главное — сначала удостовериться в тождестве убитой, которую нашли, с Мари Роже, которая исчезла.

— На публику доводы «L'Etoile» произвели сильное впечатление, и сама газета глубоко прониклась сознанием их серьезности — посмотрите только, с какой важной миной она начинает свой очередной опус на эту тему: «В сегодняшних утренних газетах, — вещает она, — говорится об *убедительности* нашей статьи в номере за понедельник». На мой взгляд, убеждает эта их статья разве что в чрезмерном рвении ее сочинителя. Учтем еще, что для наших газет сенсация и внимание читателей важнее служения истине. Вторая цель преследуется лишь постольку, поскольку это не в ущерб достижению первой. Пресса же, которая вторит ходячему мнению (как бы оно основательно ни было), не завоеует толпы. Внушить массе почтение к своему уму способен лишь тот, кто грубо ниспровергает мнение большинства. Так что истолкованию фактов в обличительном духе обеспечен такой же быстрый и широкий успех у толпы, как и пасквилью в литературе. В обоих случаях именно такой успех самый дешевый.

— Я веду к тому, что «L'Etoile» увлеклась версией, будто Мари Роже здравствует и поныне, не столько поверив в такую возможность сама, сколько потому, что такое предположение соединяло пасквиль с мелодрамой, чем и подкупало читателей. Разберем аргументацию этой газеты

^{1*} Смотри «Убийства на улице Морг».

по пунктам, и постараемся не дать себя запутать ее непоследовательностью.

Прежде всего автор хочет доказать, будто краткость времени, прошедшего после исчезновения Мари, исключает возможность, что это ее труп всплыл в реке. А потому и необходимо сократить этот промежуток до возможно меньших размеров. И, идя к своей цели напролом, наш умник сразу же начинает с необоснованных утверждений. «Только по недомыслию можно предположить, — вещает он, — что ее убили, если убита действительно она, в такой еще ранний час, что убийцы успели бросить труп в реку до полуночи». Мы, естественно, сразу же ставим вопрос: а почему? Почему предположить, что ее убили *через пять минут* после ее ухода, можно только по недомыслию? Почему нельзя иначе, как по недомыслию, допустить, что ее убийство могло прийтись на любой час в то воскресенье? Ведь до сих пор убийства случались в любое время дня и ночи. И, когда бы именно, с девяти утра до без четверти двенадцати ночи это ни произошло, можно было успеть «бросить труп в реку до полуночи». Утверждение сделано с задней мыслью, — что в воскресенье ее еще не убивали, и если мы спустим «L'Etoile» это ее умозаклечение, то с ней уже сладу не будет. Как бы рассуждение, начинающееся словами, что только «по недомыслию можно предположить, что ее убили... и так далее...», ни излагалось на страницах «L'Etoile», по-настоящему ход мысли автора был примерно таким: «только по недомыслию можно предположить, что ее убили, если убита действительно она, в столь еще ранний час, что убийцы успели бросить в реку до полуночи; нельзя, говорим мы, допустить все это и в то же время согласиться с мыслью (с которой мы решили согласиться заранее), что труп был брошен в реку не иначе, как только *после полуночи*», — высказывание тоже не очень последовательное, но не столь бессмысленное, как опубликованное в газете.

— Если бы речь шла только о том, — продолжал Дюпен, — чтобы доказать несостоятельность всех рассуждений «L'Etoile», я бы не стал и связываться. Но дело не в «L'Etoile», а в истине. Сами по себе слова во взятом нами отрывке имеют одно значение, и мы его выяснили, но надо еще разобраться и в скрытом смысле этих слов — в выводе, который слова эти явно — хотя это и не заладилось — должны были внушить обиняком. Эти писакки хотели сказать, что, в какое бы время дня или ночи ни произошло это убийство в воскресенье, вероятно, чтобы убийцы решили *перенести труп* к реке до полуночи. А отсюда само собой напрашивается заключение, против которого я решительно протестую, будто убийство произошло в таком месте и при таких обстоятельствах, что без переноски трупа к реке убийцам было не обойтись. Но ведь убийство могло произойти и на самом берегу, даже на воде; а тогда какая разница, день или ночь; тогда чего же проще: сбросить тело в воду — и дело с концом; тут и думать нечего. Поймите меня правильно — я не строю догадок, так оно было или не так, не высказываю

своего мнения. И рассмотрение фактической стороны дела пока не входит в мои намерения. Я хочу только предостеречь вас против самой манеры «L'Etoile» строить все свои рассуждения, обратив ваше внимание на ее *ex parte* * отношение к делу с самого же начала.

— Итак, ограничив время по своему усмотрению, заключив, что если эта покойница — действительно Мари, то тело могло пробыть в воде лишь самый малый срок, газета продолжает:

«Все данные опыта убеждают, что утопленники или трупы, брошенные в воду сразу после убийства, всплывают не раньше, чем через шесть — через десять суток, когда разложение еще только-только становится достаточно полным, чтобы дать телу возможность подняться на поверхность. Даже если над затонувшим телом произвести пушечный выстрел раньше, чем через пять-шесть суток самое малое, и оно всплывет, то сразу затонет снова, если его не подхватить».

— Это утверждение было с готовностью принято всеми парижскими газетами, кроме «Le Moniteur»^{1*}. Последний попробовал было возразить на часть приведенных выкладок относительно «затонувших тел», ссылаясь на пять-шесть примеров, когда утопленники всплывали раньше срока, объявленного в «L'Etoile» минимальным. Но очень уж жалка, с философской точки зрения, эта попытка «Le Moniteur» опровергнуть общий тезис «L'Etoile» ссылками на отдельные примеры. Да наберись вместо пяти хоть пятьдесят примеров, когда утопленники всплывали всего через два-три дня, все пятьдесят можно рассматривать лишь как исключение из правила, на которое ссылается «L'Etoile», если не опровергнуть само правило. Согласие же, что общее правило именно таково (против чего «Le Moniteur» и не возражает, настаивая лишь, что бывают и исключения), оставляет позицию «L'Etoile» неколебимой, так как оппонент добивается таким образом лишь признания некоторой *вероятности*, что в отдельных случаях тело может всплыть и раньше трех дней; и все преимущества так и будут оставаться за «L'Etoile», пока в ходе этой детской игры с присчитыванием исключений по одному их не наберется достаточно для установления нового правила, исключающего первое.

— Вам уже ясно, что если уж спорить с «L'Etoile», то начинать надо с самого правила; вот и удостоверимся в *основательности* такового. Ведь, вообще говоря, человеческое тело не может быть ни намного тяжелее, ни намного легче воды в Сене; иными словами, удельный вес человеческого тела в нормальных условиях примерно равен [удельному] весу пресной воды; вытесняемой телом при погружении. Разжиревшие или очень упитанные и мелкокостные плавучее тощих, костистых, женщины — мужчин; на удельном весе речной воды сказывается в определенной мере влияние

* Предвзятое (лат.).

^{1*} «Нью-Йорк коммершиел эдвертайзер» под ред. полковника Стоуна¹.

морских приливов. Но, безотносительно к их влиянию, можно утверждать, что само собой человеческое тело тонет лишь в исключительных случаях. Почти каждый, попав в реку, сможет держаться на воде, если предоставить удельному весу воды самому сложиться с его собственным, как им положено природой; то есть погрузиться как можно полней, чтобы над водой оставалось чем меньше, тем лучше. Самое правильное положение для не умеющего плавать — вертикальное, как при ходьбе, посильнее запрокинув голову назад, чтобы из воды выглядывали лишь рот и ноздри. Держась таким образом, мы окажемся на плаву, не прилагая к тому ни малейших усилий. Ясно, однако, что подобное равновесие тела и вытесненной им воды чрезвычайно зыбко, и любой пустяк тут же сместит его в ту или иную сторону. Рука, например, протянутая над водой, лишаясь таким образом опоры, создает добавочную нагрузку, достаточную, чтобы с головой уйти под воду; но достаточно же и чуть придержаться за любую случайно подвернувшуюся деревяшку — и вы сможете поднять голову над водой и даже осмотреться. Ну, а не умеющие плавать, порываясь выскочить из воды, размахивают руками и стараются держать голову прямо. В результате, вода заливает ноздри и рот, человек захлебывается и, силясь глотнуть воздуха под водой, набирает ее полные легкие. Вода переполняет и желудок, общий вес тела увеличивается за счет разницы между весом воздуха, заполнявшего эти полости, и залившей их жидкости. Обычно это утяжеляет тело настолько, что его потянет ко дну; иначе обстоит с мелкокостными, рыхлыми, ожиревшими. Такие, едва утонув, тут же всплывают.

— На дне реки утопленник остается, пока в силу тех или иных причин удельный вес его тела снова не станет меньше удельного веса воды, вытесненной при его погружении. Это вызывается разложением, но не только. В результате разложения образуются газы, в изобилии скопляющиеся в клетчатке и распирающие внутренние полости, что и придает утопленникам жуткий, *вздувшийся* вид. При большом нагнетании газов объем тела заметно увеличивается, общая же его масса или вес не прибавляются соответственно; удельный вес тела становится меньше удельного веса вытесненной воды, и тело показывается на поверхности. Но разложение может пойти по-разному в зависимости от бесчисленного множества самых разнообразных причин, убыстряется или замедляется под воздействием множества факторов; оттого, например, теплое или холодное случится время года, насыщена ли вода солями или чиста, глубокое ли место или отмель, проточная ли вода или стоячая; от индивидуальных особенностей организма, от состояния здоровья человека перед гибелью. Таким образом, просто невысказано хотя бы приблизительно установить срок, когда тело должно всплыть под воздействием разложения. При одних условиях всплывет, не пройдет и часа, при других — возможно, и никогда. Существуют химические вещества, присутствие которых в составе органических тканей *навсегда* предохраняет их от разложения; например, двухлористая ртуть; но, кроме того, образование газов в же-

лудке, как правило, идет и от уксусного брожения растительной пищи, да и в других полостях газы могут скопиться не только за счет разложения, а опережая его, так что их скопление может и раньше увеличить объем тела настолько, что оно всплывет. Пушечная пальба сообщает воде колебание, и больше ничего. Оно может освободить тело от ила и тины, в которых оно застряло, дав ему всплыть, если действие других факторов уже подготовило его; или может, шелохнув тело, нарушить то внутреннее равновесие, которое удерживало скопившиеся в клетчатке газы от выделения во внутренние полости, отчего последние расширяются.

— Представляя себе теперь общую теорию вопроса, мы легко проверим правильность утверждений «L'Étoile». «Все данные опыта, — уверяет газета, — убеждают, что утопленники или трупы, брошенные в воду сразу после убийства, всплывают не раньше, чем через шесть — через десять суток, когда разложение еще только-только становится достаточно полным, чтобы дать телу возможность подняться на поверхность. Даже если над затонувшим телом произвести пушечный выстрел раньше, чем через пять-шесть суток самое малое, и оно всплывет, то сразу затонет снова, если его не подхватить».

— Весь этот отрывок оказывается сплошной чепухой. Никакие данные опыта не убеждают, что для разложения *требуется* непременно от шести до десяти дней, чтобы оно достигло той фазы, когда «затонувшее тело» всплывет. И теория и практика убеждают, что для установления этого срока нет и не может быть общего правила. Более того — если уж тело всплывет от пушечного выстрела, то никак не «затонет снова, если его не подхватить», поскольку разложение, стало быть, уже достигло той фазы, когда образовавшиеся газы распирают полости. Хотелось бы, однако, привлечь ваше внимание к сделанной здесь оговорке насчет различия между «утопленниками» и «трупами, брошенными в воду сразу после убийства». Хотя автор как будто и признает, что это не одно и то же, фактически он пишет их в одну рубрику без разбора. Мы выяснили, почему тело тонущего становится тяжелее вытесняемой им воды и что он не тонул бы, если бы не рвался выбиться на поверхность, не колотил руками по воде и не захлебывался, забывая удерживать дыхание при погружении, от чего вода замещает в легких воздух. Но ведь трупы, «брошенные в воду сразу после убийства», не колотят по воде руками и не ловят воздуха ртом, а *потому, как правило, не тонут* — обстоятельство, автору «L'Étoile» явно неведомое. В таком случае мертвое тело скрывается под водой только после полного разложения, когда плоть уже отстанет от костей, — *не раньше*.

— Что же теперь прикажете делать с доказательствами, будто выловленная в реке покойница не может оказаться Мари Роже, поскольку труп всплыл всего через три дня после исчезновения последней? Ведь это — женщина, так что, случись ей утонуть, и то она не обязательно тут же пошла бы ко дну; а погрузившись, могла всплыть через двадцать четыре часа или раньше. Но никто не допускает мысли, что она утонула; а

раз ее бросили в воду уже мертвой, то тело могло всплыть хоть тотчас же.

— «Но, — возвещает «L'Etoile», — если бы этот истерзанный труп пролежал на берегу до ночи со вторника на среду, то удалось бы напасть на следы убийц». Тут не сразу и сообразишь, что собственно хочет сказать этот умник. А он решил заранее отвести соображение, противоречащее его теории, а именно — что за два дня на берегу тело разложилось бы больше, чем в воде. Он допускает, что в таком случае оно могло всплыть и в среду, и убежден, будто только поэтому оно и всплыло. Вот он и заторопился с доказательствами, что труп не оставался на берегу, ибо, в противном случае, «удалось бы напасть на следы убийц». Вы, кажется, улыбнулись этому sequitur *. Вы не можете представить себе, каким образом от срока пребывания трупа на берегу следы убийц должны умножиться. Я — тоже.

— «И уже совершенно ни с чем не сообразно, — продолжает газета, — чтобы злодеи, способные на такое убийство, бросили тело в воду, не привязав груза, чтобы оно сразу пошло ко дну; ведь принять такую меру ничего не стоило». Обратите внимание, как смешно оборачивается это заключение! Все, даже «L'Etoile», согласны, что женщина, чей труп нашли, была убита. Признаки убийства несомненны. Наш умник собирается доказать, что эта покойница — не Мари; и только. Он хочет убедить, что Мари не была убита, а не в том, будто это труп не убитой. Но из его замечания вытекает со всей очевидностью именно последнее. Есть труп, к которому не привязали груза. Убийцы не бросили бы его в воду без груза. Стало быть, убийцы и не бросали его в воду. Вот и все, что доказывается. К вопросу об установлении личности еще не подошли, поэтому «L'Etoile» спешит, пока не поздно, опровергнуть то, что только миг назад признала. «Мы нисколько не сомневаемся, — заявляет газета, — что женщина, труп которой нашли, была убита».

— Нашему хитрецу и еще не раз случается перехитрить самого себя, даже все в этой же части статьи. Он, как я уже отмечал, явно задался целью сократить, насколько возможно, промежуток времени между исчезновением Мари и находкой трупа. А вместе с тем особо подчеркивает то обстоятельство, что никто не видел девушку после ухода из дома. «Нет ни одного подтверждения, — говорит он, — что Мари Роже оставалась в живых после девяти часов утра в воскресенье, 22 июня». Он рассуждает явно ex parte **, и в его же интересах было пренебречь этим моментом, ибо ему явно не хочется, чтобы объявился кто-нибудь, видевший Мари, скажем, в понедельник или во вторник, а ведь тогда промежуток, урезать который автор так старается, значительно сократился бы сам собой, а следовательно, по его же логике, и вероятность, что этот труп — тело нашей гризетки, резко уменьшилась бы. Забавно все же, что «L'Etoile» особенно на-

* Следует (лат.).

** Предвзято (лат.).

пирает на этот пункт в полной уверенности, что прибавит таким образом к своим доводам нечто новое.

— Пересмотрим теперь рассуждения газеты, относящиеся к опознанию покойницы, сделанному Бове. Говоря о *волосках* на руке, «L'Etoile» передегивает самым бессовестным образом. Мосье Бове — совсем не такой дурак, ему и в голову не пришло бы устанавливать личность убитой только по каким-то волоскам на руке. Волоски на руке найдутся у кого угодно. Бове совсем не так выразился, как передает «L'Etoile», которая, *опустив подробности*, искавила общий смысл его показания. Он, конечно же, говорил о каких-то особенностях этих волосков. Чем-то, вероятно, запоминающихся — цветом, толщиной, длиной или по тому, как они росли.

— «Нога у нее, — продолжает газета, — была маленькой, но ведь такие же у тысяч женщин. Подвязка и туфля — тоже не доказательства: и туфли и подвязки поступают в продажу целыми партиями. То же самое скажем и об искусственных цветах на шляпке. Мосье Бове требует, чтобы обратили особое внимание на то обстоятельство, что пряжка оказалась сдвинутой, чтобы сузить подвязку по ноге. Нет смысла придавать этому значение, потому что большинство женщин покупает подвязки без примерки именно с тем, чтобы заняться их подгонкой дома, не в магазине же это делать». Трудно поверить, что наш умник говорит всерьез. Если бы мосье Бове, искавший Мари, оказался перед покойницей того же роста, комплекции и внешне похожей на исчезнувшую, он уже был бы вправе (независимо от того, как она одета) заключить, что его поиски окончены. А если притом же он обнаружит еще особого вида волоски на руке, такие же, какие ему запомнились у живой Мари, его предположение вполне законно должно укрепиться и превратиться в полную уверенность; ибо любая характерная особенность этой отметинки превращает ее в таком случае уже в особую примету. Если же к тому же ножки у Мари были маленькие, и у покойницы такие же, вероятность, что это — именно Мари, возрастает уже не в простой арифметической, а в геометрической прогрессии, или кумулятивно. Прибавьте еще туфли — именно такие, какие были на ней в тот злосчастный день, — и, хотя таких туфель, возможно, и «поступают в распродажу целые партии», можно смело считать, что вероятность превратилась в достоверность. Мелочь, которая сама по себе не могла служить установлению личности, становится, в совокупности с другими подробностями, неопровержимым доказательством. Если же вдобавок еще и цветы на шляпке такие же, как у пропавшей без вести, то каких же вам еще доказательств? Достаточно и одного цветка, а если их, как и у той, тоже два, три или больше? Каждый новый цветок, увеличивающий счет совпадений, уже не прибавляет доказательства, а умножает их в сотни, тысячи раз. Обнаружим на покойнице еще такие же подвязки, как носила живая, — и поиски новых доказательств будут почти уж нелепостью. Но оказывается, что и пряжка на подвязках сдвинута так же, как совсем недавно сделала Мари. Теперь сомнение граничит уже с тупостью или притворством. А разговоры «L'Etoile», будто подобное суживание подвя-

зок — дело само собой разумеющееся, свидетельствуют только об упрямстве и нежелании расстаться с собственным заблуждением. Ведь раз подвязка с пряжкой — резиновая, значит подобные переделки, как правило, *не требуются*. Вещам, которые растягиваются и сами принимают нужный размер, дополнительная подгонка требуется крайне редко. И если Мари пришлось суживать подвязки, то это — случай, конечно, по-своему беспрецедентный. Поэтому их вполне достаточно для ее опознания. Но на убитой не только оказались именно эти подвязки с исчезнувшей девицы или ее туфли, или ее цветы на шляпке, или такая же, как у нее, нога, такая же отметинка на руке, такие же рост и комплекция и та же внешность, а *все вместе*. Если бы и теперь редактор «L'Etoile» искренне сомневался в ее тождестве, то с ним и без специальной комиссии de lunatico inquirendo * все было бы ясно. Он решил пуститься на обычные адвокатские каверзы, адвокаты же сами по большей части мыслят в духе казенной судейской логики. А я бы заметил, к слову сказать, что многие показания, которые суд не считает за доказательство вообще, являются для строгого ума лучшими из всех возможных. Ибо суд, руководствуясь общими критериями оценки показаний, признанными и установленными раз и навсегда, старается не отклоняться с проторенного пути и не вникать в частные особенности каждого отдельного случая. И непоколебимая верность единому критерию в сочетании с нетерпимостью к не подходящим под общую мерку исключениям, безусловно, надежно обеспечивает достижение возможного максимума правды в течение длительного времени. Таким образом, в целом подобная практика мудра, но в отдельных случаях она же порождает вопиющие ошибки ^{1*}.

— Разделаться же с напраслиной, которую возвели на Бове, ничего не стоит. Вы уже постигли сущность этой превосходной личности. Романтически настроенный *непоседа* без царя в голове. Человек подобного склада всегда, стоит ему войти в раж, ведет себя донельзя подозрительно с точки зрения людей вдумчивых и недоброжелательных. Мосье Бове (как это следует из ваших заметок) имел личную беседу с редактором «L'Etoile» и кровно оскорбил последнего, осмелившись высказать мнение, что убитая, несмотря на теорию, созданную редактором, если смотреть на дело здраво, и есть Мари. «Он упорно твердит, — пишут газеты, — что эта убитая — Мари, но не может привести ни одного доказательства,

* Обследование умственных способностей (лат.).

^{1*} «Всякая теория, исходящая из квалификации явления в целом, воздерживается от его истолкования по различным связям, в зависимости от которых оно может рассматриваться; тот, кто согласует события с вызвавшими их причинами, тем самым уже отказывается судить о них по их результатам. Так, юриспруденция всех народов подтверждает, что как только право превращается в науку и систему, оно перестает быть воплощением справедливости. Об ошибках, к которым ведет гражданское право слепая приверженность к систематизации, можно составить представление по наблюдению за тем, как часто законодательная власть оказывается вынужденной браться за восстановление справедливости, которую установленная ею же система нарушила». — Лендор ¹.

кроме тех, что мы уже прокомментировали, столь же убедительного и для других». Так вот, помимо того, что более неопровержимого и «столь же убедительного и для других» доказательства, чем он уже привел, не требуется, можно возразить, что легко понять человека, который, будучи сам глубоко убежден в чем-то, не находит довода, который внушил бы его веру другим. Ведь, узнавая кого-нибудь, совершенно не отдаешь себе отчета о признаках, по которым узнал. Каждый из нас узнает своего соседа, но чаще всего вопрос *почему* застает нас врасплох. У редактора «L'Etoile» не было оснований негодовать на немотивированную уверенность мосье Бове.

— Те сомнительные обстоятельства, которые навлекли на него подозрения, объясняются куда проще, если согласиться, что это — *романтически настроенный непоседа*, а не с намеками нашего умника, будто здесь дело нечисто. Решив же судить о нем более снисходительно, мы легко пойдем и розу, воткнутую в замочную скважину, и «Мари» на грифельной дощечке, и «отстранение родственников», и «нежелание, чтобы их допустили взглянуть на покойницу», и внушение, сделанное им мадам Б., чтобы та не пускалась в разговоры с жандармом до его (Бове) возвращения, и, наконец, решение, что «расследование дела никого, кроме него, не касается». Ну, конечно же, Бове волочился за Мари, а она строила ему глазки, и для него было вопросом самолюбия, чтобы остальные думали, будто у нее с ним полная близость и доверенность. На том я и покончу с этим вопросом, и, учитывая, что факты полностью опровергли басню «L'Etoile» насчет *равнодушия* матери и родных, несовместимого с предположением, что покойница — продавщица из парфюмерной, можно двинуться дальше, так как личность убитой можно считать установленной.

— А что вы скажете, — спросил я его тогда, — о соображениях «Le Commercial»?

— В принципе они заслуживают большего внимания, чем все высказанное в прессе по этому делу. Заключение из взятых посылок сделано продуманно и сильно, но сами предпосылки, по крайней мере в двух случаях, основаны на неточном наблюдении. «Le Commercial» уверяет, будто Мари попала в лапы банде отпетых негодяев, едва успев отойти от дома. «Совершенно исключено, — утверждает газета, — чтобы личность, столь известная тысячам людей, как эта молодая особа, могла пройти три квартала незамеченной». Эта мысль обличает парижского старожилу, человека известного и чьи регулярные пешие маршруты по городу не выходят из района вокруг общественных учреждений. По опыту он знает, что *ему* не пройти и дюжины кварталов от своей *редакции*, чтобы его не заметили, не окликнули, не поздоровались. И, прикинув, скольких людей он знает сам и сколько знает его, сопоставляя собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной, он упускает из виду огромную разницу между ними и приходит к заключению, что и ее, когда она пройдет по улице, узнают точно так же, как и его. Так могло бы случиться, только если бы и она ходила изо дня в день все

тем же путем в пределах столь же ограниченного района, как он. Он ходит из дома и домой всегда в одно и то же время, в пределах округа, кишашей людьми, которых заставит заметить его особу общность профессиональных интересов. Мари же, наверное, чаще ходила сегодня одной дорогой, завтра — другой. А в данном случае она скорее всего пошла путем, возможно, почти нехоженым и непривычным. Параллель, которую мы представили себе, могла возникнуть у редактора «Le Commercial» только благодаря мысленному сопоставлению двух человек, которые пройдут по городу из конца в конец. Если условиться, что знакомых у обоих поровну, то и вероятности, что каждый встретит их столько же, сколько и другой, тоже будут равны. Вполне возможно, и, по-моему, скорее всего, так оно и было, что Мари ходила из дома к тетке каждый раз другой дорогой, не встречая знакомых или хотя бы знавших, кто она такая. Рассматривая этот вопрос, для большей ясности следует помнить еще и о той огромной диспропорции, которая существует между числом знакомых даже у самой большой парижской знаменитости и общей цифрой населения самого Парижа.

— Но при всех условиях убедительность этого довода «Le Commercial» будет заметно ослаблена, если принять в расчет час, когда девица отправилась в город. «Когда она вышла, — пишет «Le Commercial», — улицы были полны народа». Вот уж нет! Было девять утра. Так вот, улицы в этот час, действительно, всегда многолюдны в будние дни, а не по воскресеньям. В девять часов по воскресеньям парижане еще дома и собираются в церковь. Ни один мало-мальски наблюдательный человек не мог не обратить внимания на непривычную пустынную утреннего города примерно с восьми до десяти по воскресеньям. Улицы оживают с десяти до одиннадцати, а не в такую рань, как указано в газете.

— Есть и еще один пункт, где наблюдательность как будто изменила «Le Commercial». «Клок материи в два фута длиной и в один шириной, оторванный от одной из юбок несчастной, — говорится в газете, — был обмотан под подбородком вокруг шеи и завязан на затылке — явно с целью заглушить крики. Это дело рук молодцов, у которых носовые платки не водятся». Насколько обоснованно это соображение в целом, мы еще успеем выяснить; но под «молодцами, у которых носовых платков не водятся», редактор подразумевает самые последние отбросы общества. Однако именно эта публика, как оказывается на поверку, ни за что не выйдет без платочка, хоть последнюю рубаху скинут. Вы, конечно, имели не раз случай убедиться, что именно платочек стал в последние годы предметом, без которого законченный парижский подонок просто не мыслит своего существования.

— А что мы скажем, — спросил я, — о заметке в «Le Soleil»?

— Ее сочинителю родиться бы попугаем, ему просто не повезло, а то быть бы ему гордостью всего попугайского племени. Этот, не мудрствуя лукаво, знай себе повторяет все высказывания прессы по данному вопросу подряд, подбирая их с похвальным усердием там и сям, где напечатывают.

«Судя по всему, — рассуждает он, — обнаруженные предметы пролежали на месте находки, по крайней мере, недели три-четыре; и, таким образом, не остается сомнений, что место этого чудовищного преступления — установлено». Факты, приведенные здесь «Le Soleil», естественно, не устраняют моих сомнений насчет места убийства; мы рассмотрим их в свое время обстоятельно, когда перейдем к следующему разделу нашего разбора.

— Пока же займемся другим вопросом. Вы, конечно, обратили внимание на то, как спустя рукава прошло исследование трупа. Конечно, для установления личности много времени не требуется, но были и другие обстоятельства, которые следовало выяснить. Был ли труп *обобран*? Были ли у девицы при себе драгоценности, когда она уходила из дома? и если да, то оставались ли они при ней, когда ее нашли уже мертвой? Это очень существенные вопросы, а никаких показаний по ним не имеется; есть и другие, столь же важные, о которых не подумали. И разбираться в них нам придется самим. Роль Сент-Эсташа в этой истории следует пересмотреть заново. Я ни в чем не подозреваю его, но давайте уж по порядку. Убедимся окончательно в достоверности *представленных им показаний* насчет его местонахождения в разное время дня в то воскресенье.

В такого рода показаниях можно понаписать всякого. Если в его показаниях все в порядке, — он нам больше не нужен. Его самоубийство, возбуждающее серьезные подозрения, если в его показаниях обнаружится заведомая ложь, в случае, если таковой в них не окажется, станет совершенно понятным и не должно будет отвлекать нас от расследования дела.

— Пока же не будем ломать себе голову над загадками самой этой трагедии, и изучим повнимательнее ее внешнее обрамление. Одна из самых типичных в расследованиях, подобных нашему, ошибок состоит в том, что ограничиваются рассмотрением происшествий, имеющих лишь самое прямое отношение к делу, совершенно игнорируя побочные, косвенные. Порочность судебной практики в том и состоит, что она ограничивает опрос свидетелей и прения сторон тем, что представляется непосредственно относящимся к делу. Однако опыт показывает, а философски мыслящий ум всегда будет доказывать, что огромная, пожалуй, даже большая часть истины выясняется из фактов, которые, на первый взгляд, словно бы и не относятся к делу. Следуя духу, если не сказать прямо — букве, этого закона, современная наука решила *включать непредвиденное в свои расчеты*. Но, кажется, я выражаюсь не совсем ясно? История человеческого знания свидетельствует, что именно побочным явлениям, случайным фактам, непредусмотренным результатам мы обязаны столькими величайшими открытиями, и повторяется это на всем протяжении истории настолько регулярно, что дальнейший прогресс требует, чтобы мы не только понимали возможность, но и представляли себе огромное значение тех открытий, которые появятся в будущем случайно и совершенно не в тех областях, где их ожидают. В наши дни философская мысль уже не признает предвидения, основывающегося на повторяемости явлений. Фундаментальное значение получает *случайность*. Мы научились

рассчитывать ее с абсолютной точностью. Мы подчиняем неразличимое в будущем и недоступное воображению математической формуле, уже ставшей школьной премудростью.

— Повторяю, общепризнанно, что *большая* часть истины открылась в побочных явлениях; и, следуя духу закона, заключенного в этом факте, я приостанавливаю свои раскопки на вытоптанной и оскуделой почве в пределах самого этого события и обращаюсь к происшествиям, имевшим место в то время, как оно совершалось. Вы займетесь показаниями Сент-Эсташа, а я тем временем пошире обследую газеты. Пока мы только развели поле исследования, и странно будет, если обстоятельный просмотр прессы не доставит нам теперь каких-то подробностей, которые дадут *направление* главному поиску.

Следуя наставлениям Дюпена, я тщательно проверил показания. Все они полностью подтвердились, Сент-Эсташ был чист. А мой друг занимался, как мне представлялось, самой бессмысленной чепухой, уйдя с головой в изучение бесчисленных газетных подшивок. К концу недели он положил передо мной следующие выдержки:

«Года три с половиной тому назад такой же переполох, как сейчас, поднялся из-за исчезновения все той же пресловутой Мари Роже из парфюмерной мосье Ле Блана в Пале-Рояль. К концу недели, однако, она снова появилась за прилавком, живая и невредимая, разве что чуть побледневшая. Мосье Ле Блан и мать объясняли, что она просто уезжала погостить в деревню; и дело вскоре было замято. Отсюда мы заключаем, что и теперешнее ее исчезновение — выходка в том же роде, и через неделю или через месяц она снова окажется среди нас». — *«Вечерняя газета», понедельник, 23 июня*^{1*}.

«Вчерашняя вечерняя газета напоминает о предыдущем таинственном исчезновении мадемуазель Роже. Доподлинно известно, что ту неделю, когда ее не было в парфюмерной Ле Блана, она провела с одним молодым офицером флота, сльвущим отъявленным развратником. Кажется, они поссорились, что, к счастью, и заставило ее вернуться домой. Сейчас этот Лотарио⁸ проживает в Париже, и имя его нам прекрасно известно, но, по вполне понятным причинам, мы не намерены предать его гласности». — *«Le Mercure», утренний выпуск за вторник 24 июня*^{2*}.

«Неслыханное, зверское надругательство было совершено позавчера в окрестностях города. Один почтенный горожанин с женой и дочерью договорился — дело уже было к вечеру — с шестью молодыми парнями, рыскавшими от нечего делать в лодке взад и вперед у берега Сены, чтобы они перевезли его с семейством через реку. Когда лодка пристала к берегу, трое пассажиров сошли и уже успели отойти от места, где причалили, настолько, что лодки уже не было видно, как вдруг дочь спохватилась, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним и была схва-

^{1*} Нью-йоркский «Экспресс».

^{2*} Нью-йоркский «Геролд».

чена этой бандой, они завезли ее на самую стремнину, заткнули рот и по-скотски надругались над ней, а потом высадили на берег недалеко от того места, где она с родителями села в эту лодку. Пока этим мерзавцам удалось ускользнуть, но полиция уже напала на их след, и скоро не один, так другой из них будет в ее руках». — «Утренняя газета», 26 июня^{1*}.

«Мы получили два-три сообщения, цель которых взвалить вину за недавно произошедшее насилие на некоего Манне^{2*}; но, поскольку официальное дознание полностью оправдало вышеупомянутого господина, а сообщения, сделанные в письмах, присланных на нашу газету, отличаются скорее благими намерениями, чем доказательностью, мы считаем целесообразным воздержаться от их публикации». — «Утренняя газета», 28 июня.

«Мы получили, по всей видимости, от совершенно разных лиц несколько очень убедительно составленных писем, авторы которых уверены, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из бесчисленных хулиганских банд, которыми по воскресеньям кишат парижские пригороды. Наше мнение решительно склоняется к тому же заключению. В ближайших номерах мы постараемся отвести на своих страницах место для обсуждения этой темы». — «Вечерняя газета», вторник 31 июня^{3*}.

«В понедельник некий речник с баржи, служащий при таможне, заметил пустую лодку, плывущую по течению Сены. Паруса оказались свернутыми на дне лодки. Таможенник пришвартовал ее у речной пристани. К утру лодку угнали, и никто из служащих пристани не знал, как было дело. Руль от лодки находится в настоящее время в конторе пристани». — «Le Diligence», четверг, 26 июня^{4*}.

Прочтя эти разрозненные выдержки, я не увидел в них ничего интересного и никак не мог взять в толк, какое нам до них дело; к нашим розыскам они, по-моему, отношения не имели. Я подождал, что скажет Дюпен.

— Пока, — сказал он, — на первых двух выдержках можно не останавливаться. Я выписал их для вас, просто чтобы проиллюстрировать нерадивость нашей полиции, которая, насколько я понял со слов префекта, даже и не справлялась, что это за моряк, который здесь упоминается. Но ведь только глупцу может быть не ясно, что мысль о связи между первым и вторым исчезновениями Мари напрашивается сама собой. Предположим, первый побег к возлюбленному действительно кончился ссорой и возвращением соблазненной домой. Тогда есть все основания допустить, что второй побег из дома (если знать наверняка, что это был именно побег) скорее означает возобновление посулов все того же соблазнителя, а не увлечение кем-то другим — «возрождение» прежней

^{1*} Нью-йоркский «Курир энд энкуайерер».

^{2*} Кроме Манне, были заподозрены и взяты под арест еще несколько человек, всех выпустили за полным отсутствием улик.

^{3*} Нью-йоркская «Ивнинг пост».

^{4*} Нью-йоркский «Стандарт».

атоиц* представляется в данном случае более вероятным, чем начало новой. Десять шансов против одного, что она снова послушалась именно того, к кому однажды уже бежала, а не поддалась уговорам другого. Кстати, обратите внимание, что между первым, о котором мы знаем, и вторым, о котором говорим предположительно, побегами прошло всего на несколько месяцев больше обычного срока дальних плаваний у наших военных моряков. Помешала ли в тот раз злодею необходимость уходить в море, и теперь он при первой же возможности вернулся к гнусным замыслам, которых тогда не успел осуществить? Обо всем этом мы не знаем ничего.

— Вы, конечно, можете возразить, что вторичное ее исчезновение не было побегом, и все это одни домыслы. Правильно; но разве исключено, что такое намерение у нее было? Кроме Сент-Эсташа да еще, пожалуй, Бове, мы не назовем ни одного признанного, явного поклонника, ухаживающего за Мари открыто, не таясь. Ни о ком больше не было слышно. Кто же этот тайный любовник, о котором родственникам (во всяком случае, большинству родственников) ничего не известно, а Мари встречается с ним в то воскресное утро и настолько послушна, что с готовностью остается с ним вдвоем, когда уже вечерние тени пали на пустынные рощи у заставы дю Руль? Кто же он, спрашиваю я, этот тайный любовник, о котором родные, или большинство родни, и не слыхали? И что означает загадочное пророчество, оброненное мадам Роже: «Боюсь, что не видать мне больше Мари»?

— Но если маловероятно, чтобы мадам Роже была посвящена в план побега, то почему бы нам тем не менее не допустить, что у нашей девицы такой план все-таки был? Перед уходом она сказала, что хочет проведать тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером. Что ж, на первый взгляд, это действительно веский довод против моих предположений; но давайте рассуждать. Известно, что она встретила какого-то знакомого и поехала с ним за реку, а к трем часам они появились у заставы дю Руль. Но, уезжая со своим приятелем, она (независимо от того, каковы были ее планы и догадывалась ли о них мадам Роже) должна была подумать о недоумении и подозрениях Сент-Эсташа, когда, явившись в условленный час на улицу де Дром, он узнает, что она там и не появлялась, а вернувшись, встревоженный этим открытием, в пансион, увидит, что ее все нет. Она, повторяю, не могла не предвидеть этих последствий. Она, конечно же, предвидела заранее и досаду Сент-Эсташа, и подозрения, которые возникнут у домашних. Вряд ли она надеялась легко отговориться, вернувшись; но если, скажем, она и не собиралась возвращаться, то эти неизбежные нарекания ее не могли беспокоить.

— Рассуждала она, по всей видимости, следующим образом: «Я должна встретиться с одним человеком, чтобы бежать с ним, или с другой целью, а какой именно, — это уж мое дело. Надо, чтобы нам

* Любви (франц.).

не могли помешать; чтобы нас не настигли, нужно выгадать побольше времени; пусть думают, что я в гостях у тети и пробуду у нее весь день; я попрошу Сент-Эсташа не заходить за мной, пока не стемнеет, тогда дома не будут беспокоиться, что меня нет; именно так я и выиграю больше всего времени. Если я запрещу Сент-Эсташу заходить за мной, пока не стемнеет, то раньше он, конечно, и не явится; если же я не условлюсь с ним, то запас времени у меня убавится, потому что меня хватятся дома гораздо раньше, и поднимется переполох. Если бы я собиралась вернуться, решив только поразвлечься с этим человеком, тогда не было бы расчета просить Сент-Эсташа зайти за мной, ибо, явившись, он, конечно, сообщает, что я его просто дурачу, о чем ему бы ни за что не догадаться, если бы я ушла из дома, не сказавшись, вернулась за светом и сказала, что была в гостях у тети. Но поскольку я решила уйти из дома совсем, или на несколько недель, или скрываться, пока мое убежище не откроют, — то мне бы сейчас только выиграть время, все остальное пока неважно».

— Вы уже обратили в ваших заметках внимание, с какой готовностью подхватила молва объяснение этой печальной истории тем, что девица стала жертвой хулиганской шайки. Ну, а при известных условиях общим мнением пренебрегать не следует. Когда оно возникает стихийно и безыскусно, оно подобно тем озарениям, которые даны только гению. И в девяти случаях из ста я приму его приговор без рассуждений. Но только при условии его полной внутренней независимости. Это должен быть в самом строгом смысле *глас народа*, а признаки посторонних влияний бывают почти неуловимы, так что их иной раз и не докажешь. В данном же случае, сдается мне, «общее мнение» насчет банды сложилось под впечатлением от одного происшествия, к делу совершенно не относящегося, — оно изложено в третьей выдержке из моей подборки. Весь Париж взволнован находкой трупа Мари Роже, девицы молодой, прелестной и пользующейся большой популярностью. Тело со следами зверского насилия выловлено в реке. А тут становится известно, что тогда же, или примерно в то же время, когда, по всей видимости, эта девица была убита, банда молодых бездельников, хотя до убийства у них и не дошло, надругалась над другой девицей так же, как надругались над той, которую потом убили. Удивительно ли, что полученные людьми сведения об одном насилии повлияли на их догадки о другом, об обстоятельствах которого ничего не известно? Общее мнение никак не могло определиться и только и ждало какого-нибудь указания, а если придерживаться известного о другом недавнем насилии, то все, казалось, вставало на свои места! Мари к тому же нашли в реке, а на этой реке и было, как известно, только что совершено насилие. Аналогия между двумя происшествиями напрашивалась настолько очевидно, что оставалось бы только диву даваться, если бы толпа не заметила ее и не вяла этой подсказке. По существу же, известное об одном нападении может наводить лишь на ту мысль о другом, случившемся в то же время, что оно должно было произойти *как-то иначе*.

Было бы поистине чудом, если бы, в то время, как банда вырожденцев совершала где-то подлейшее насилие, в одном с ней городе такая же банда совершала в таких же точно окрестностях ту же гнусность, действуя точно теми же приемами! Но именно такому сочетанию поистине чудесных совпадений и склоняет нас поверить *поддавшееся* случайному впечатлению общественное мнение.

— Прежде, чем перейти к следующим вопросам, давайте рассмотрим предполагаемое место убийства в кустарнике у заставы дю Руль. От зарослей этих, хотя и густых, рукой подать до проезжей дороги. В самой гуще их находятся три-четыре больших валуна, сложенных креслом, со спинкой и подставкой для ног. На верхнем лежала нижняя белая юбка; на следующем — шелковый шарфик. Зонтик, перчатки и носовой платочек нашлись там же. Платок с меткой: «Мари Роже». Ключья одежды повисли на ближних кустах. Трава была вытоптана, кусты переломаны, и все вокруг говорило о борьбе не на жизнь, а на смерть.

— Несмотря на шумиху, поднятую прессой, когда набрели на этот кустарник, и на единодушное решение, что место преступления здесь, для сомнений на этот счет были серьезные основания. Можно верить или не верить, что драма разыгралась именно здесь, — сомнения остаются сомнениями. Если бы преступление, как и полагала «Le Commercial», действительно произошло неподалеку от улицы Паве Сен-Андре, убийцы, конечно, пришли бы в ужас от того, что общее внимание так безошибочно направлено в их сторону; люди, которым хитрости не занимать, старались бы на их месте придумать, как отвлечь от себя внимание. А поскольку заросли у заставы де Руль уже были на подозрении, то решение подбросить туда вещи убитой должно было напрашиваться само собой. Вопреки уверенности «Le Soleil», ничто не подтверждает, что эти находки не пролежали в кустарнике всего несколько дней; зато есть множество косвенных соображений, убеждающих, что они не могли оставаться там с того рокового воскресенья не замеченными целых двадцать дней, пока их не нашли мальчишки. «Они *насквозь* проволгли от дождя и слиплись от плесени, — повторяет «Le Soleil» вслед за другими газетами. — Они успели зарости травой. Шелк на зонтике еще сохранял прочность, но ткань его села. Верхняя часть зонта, где он собирался и складывался, вся сгнила от этой плесени и, как только его раскрыли, лопнула». Очевидно, что о траве, которой они «успели зарости», сообщается со слов, а стало быть уже по воспоминаниям двух мальчуганов, первыми заметивших эти вещи, которые они тут же собрали и отнесли домой. Но ведь трава, особенно при теплой, сырой погоде (какая и стояла в ту пору, когда совершилось убийство), вырастает не меньше, чем на один-два дюйма за день. Зонтик, оставленный на свежевзрыхленной почве, мог за одну только неделю зарости травой так, что его не отыщешь. О плесени, покрывшей вещи, редактор «Le Soleil» пишет так прочувствованно, что в коротком отрывке ввертывает это словечко дважды; но разве ему неизвестно, что такое плесень? Неужели он никогда не слышал, что это — один из множества

классов fungus*, самая характерная особенность которых в том и состоит, что за двадцать четыре часа они успевают вырасти и сойти?

— Таким образом, самая беглая проверка убеждает, что приведенные с таким торжеством доказательства, будто вещи пролежали в кустарнике «по меньшей мере три-четыре недели», критики не выдерживают. С другой же стороны, никак себе не представишь, что эти вещи могли пролежать в зарослях больше недели, дольше, чем от воскресенья до воскресенья. Каждому, кто хоть сколько-нибудь знает парижские окрестности, известно, как трудно найти в них *укромный уголок*, разве что совсем подалеже, за пригородами. И отыскать себе в ближних лесах и рощах под Парижем уединенное местечко, которое бы еще не заметили и не облюбовали, — нечего и думать. Пусть какой-нибудь любитель природы, которого дела не отпускают из нашей великой столицы с ее пылью и духотой, попробует, даже в будний день, утолить жажду уединения на лоне природы среди всей той благодати, которая открывается сразу же за городом. Куда он ни ступит, всюду очарование полян будет тут же улетучиваться от возгласов, а там и появления собственной персоной какого-нибудь громалы или целой подгулявшей компании. И уж совсем безнадежно искать уединения в чаще. Именно сюда и норовит забиться самый грязный сброд, именно здесь святилище-природу и оскверняют подлее всего. И на душе у нашего бесприютного скитальца станет до того мутно, что он кинется со всех ног в свой полный скверны Париж, который покажется ему теперь менее ненавистным, потому что в этой клоаке та же нечисть хоть не так заметна, как за городом. Но если городские окрестности выдерживают такие нашествия по будним дням, то что же тогда по воскресеньям! И заметьте, — когда на работу идти не надо, а обычного простора ее преступным склонностям вдруг не оказывается, городская чернь устремляется за город отнюдь не из любви к сельским идиллиям, которые она всей душой презирает, а чтобы оказаться *подалеже* от присмотра. Шалопая влечет не столько свежий воздух и лесная зелень, сколько *возможность* гульнуть на воле, как в городе не разгуляешься. Здесь, в придорожной харчевне или под сенью дерев, когда рядом одни разгулявшиеся собутыльники, беснуясь, как сумасшедший, чтобы раз доказать, как ему весело, вкушает он вперемишку блаженство свободы и ром. И каждый беспристрастный наблюдатель подтвердит, что только чудом могли бы эти пресловутые вещи пролежать в кустарнике в парижских окрестностях от воскресенья до воскресенья, и на них *никто* не наткнулся.

— Но не мало и других оснований усомниться, что вещи эти не были подброшены, чтобы отвлечь внимание от настоящего места преступления. Прежде всего, заметьте, пожалуйста, *дату* их находки. Сопоставьте ее теперь с числом, которым помечена пятая газетная выдержка в моей подборке. Как видите, находка последовала почти сразу за посыпавшимися в редакцию посланиями. Хотя составлены они как будто по-разному и по-

* Грибков (лат.).

ступили от разных лиц, послания эти тем не менее в один голос твердят о банде, совершившей будто бы это преступление именно у заставы дю Руль. Спору нет, мальчики нашли вещи убитой совсем не потому, что эти письма были посланы в газету и подсказали направление поисков; но трудно избавиться от подозрения, что мальчики не находили вещей в кустарнике раньше по той простой причине, что их там раньше и не было, а подбросили их тогда же или чуть *раньше*, чем письма были посланы в газету, и не кем иным, как самими же преступниками.

Чаша эта не похожа на другие и единственная в своем роде. На редкость густая. А посреди естественно выгороженного ею убежища три необычных валуна, *сложенных сиднем, со спинкой и подставкой для ног*. И находилась эта затейливо устроенная чаша совсем под боком, и *пятидесяти метров не будет* от дома мадам Делюк, ребята которой все время лазали по кустарнику в поисках сассафраса⁹. Можно смело ставить тысячу против одного, что и *дня* не проходило, чтобы они — не один, так другой, — не забирались в этот тенистый тронный зал посидеть по-царски на каменном троне, воздвигнутом здесь самой природой. Опротчетливое такое пари сочтут только те, кто либо никогда не был мальчишкой, либо забыл ребячьи повадки. Повторяю, просто уму непостижимо, как могли эти вещи пролежать там незамеченными хоть день-другой; так что есть все основания подозревать, что подброшены они туда были совсем недавно, хотя безграмотные писаки из «Le Soleil» и убеждены в обратном.

— Но есть и еще более веские основания для уверенности, что их подкинули; я попрошу вас обратить внимание на кричащую искусственность их расположения. Белая юбка — на *верхнем* камне; шелковый шарфик — на *среднем*; зонтик, перчатки, носовой платочек с вышитым на нем именем: «Мари Роже» — разложены вокруг. Именно такое расположение и постарался бы придать вещам человек недалекий, желая, чтобы они выглядели разбросанными *в естественном беспорядке*. На самом же деле, все это выглядит крайне неестественно. Скорее представляешь их себе разбросанными по земле, затоптанными. В таком тесном месте, как эта прогалинка, юбка и шарфик вряд ли улежали бы там, на камнях, когда бо-ролись сразу несколько человек, — их бы смахнули. «Все говорило, — так и сказано в отчете, — об упорной борьбе: трава вытоптана, кусты — переломаны», а юбка и шарфик лежат себе, словно их по полкам разложили. «Кустарник выдрал из одежды клоки дюйма примерно по три в ширину и по шесть — в длину. *Вырваны они ровной полосой*». Здесь есть фраза, которой «Le Soleil» не придает значения, но которая крайнестораживает. Клоки материи описаны как «вырванные ровной полосой»; но вырвать их так можно было только намеренно и — руками. Чтобы колючка кустарника «вырвала» клочок из материи такой плотности, — случай *из ряда вон выходящий*. Сама же фактура ткани такова, что, зацепившись за колючку или за гвоздь, материя рвется под прямым углом, линии разрыва расходятся вкось совершенно симметрично от точки, где матерью пропорола колючка; и вряд ли мыслимое дело, чтобы при этом клочок вырвался

«ровной полосой». Я таких случаев не помню, да и вы тоже. Чтобы оторвать от материи кусок ровной полосой, потребуется одновременное приложение двух равных сил, действующих в противоположных направлениях. Прилагая одну силу, оторвать ровную полоску от куска материи, например, от носового платка, можно только вдоль по краю, с угла. Но у подола платья край сплошной. А вырвать колючкой клоч материи ровной полосой из середины платья, где нет края, можно только чудом, сотворить которое ни одна колючка не в состоянии. Но даже если рвать от края, понадобятся две колючки, рвущие материю одна в двух направлениях, другая — в одном. И то если край подола не подшит. Если же подшит, то лучше и не пытаться. Мы убедились, сколько осложнений приходится учитывать, когда речь идет о том, чтобы «вырвать» клоч материи «колючками», а нам еще втолковывают, будто их вырвано сразу несколько. «Один из этих обрывков» к тому же еще — «от подшивки на подоле платья!», а другой — «от юбки», иначе говоря, вырван колючками ровной полосой из середины юбки, где и края-то не имеется! В такие басни не грешно и не поверить; но еще больше, чем все эти неувязки, вместе взятые, создает уверенность, что здесь дело нечисто, то поразительное обстоятельство, что убийцы, у которых хватило предусмотрительности убрать труп, оставляют на месте преступления столько улик. Не подумайте, я не говорю, что убийство совершилось не здесь, в зарослях. Может быть, было совершено здесь, а скорее всего, в доме мадам Делюк. Но в сущности это не столь уж важно. Ведь главное для нас — найти не место преступления, а самих преступников. И мои пространные рассуждения должны были, во-первых, показать, сколь неуместен апломб «Le Soleil», и как опрометчиво она берется судить о деле, в котором ничего не смыслит; а, во-вторых, и это — главное, подвести вас как можно естественней к продолжению наших выкладок относительно участия в убийстве банды.

— Начнем с того, что результаты медицинского обследования трупа поистине ужасны. Однако же заключение врача, что преступников было несколько, фактам не соответствует и совершенно беспочвенно; когда оно появилось в печати, все знающие парижские патологоанатомы подняли его — и поделом — на смех. Не потому, что подобная возможность исключалась в принципе, но факты этого заключения не подтверждали; не справедливее ли в таком случае сделать на их основании противоположный вывод?

— Теперь — относительно «следов борьбы»; позвольте вас спросить: о чем, по общему мнению, должны были они говорить? О банде. А не вернее будет сказать — о том, что банды не было? Какое же сопротивление, не говоря уж о столь яростном и упорном, что «следы борьбы» видны во всех направлениях, могла бы оказывать банде громил слабенькая, беспомощная девица? Несколько здоровенных ручищ сдавили бы ее так, что не пикнешь, — и все. Жертва, ни жива и ни мертва, — в их полной власти. Как вы сами понимаете, возражения эти сводятся прежде всего к тому, что если нападение произошло в кустарнике, то преступников не могло

быть несколько. А стоит нам представить себе, что напал один, тогда, но только в таком случае, и борьба должна была, по всей вероятности, идти такая отчаянная и упорная, что «следы» ее совершенно отчетливы.

— Но это не все. Как я уже говорил, сам факт, что убийцы могли бросить вещи в кустарнике, должен возбудить подозрения. Просто не представляю себе, что такие улики могли оставить на месте преступления по недосмотру. Ведь унесли же труп, не спасовали, а гораздо более явная улика, чем труп (лицо которого вскоре стало бы неузнаваемым из-за разложения), — платок с именем убитой — остается предательски лежать на месте преступления. Банда такой оплошности не допустила бы. Такой промах мог совершить только тот, кто действовал в одиночку. Давайте подумаем. Человек только что совершил убийство. И вот он один на один с той, которая уже отошла в мир теней. Перед ним бездыханное тело, оно нагоняет ужас. Ненствоваство страсти прошло без следа, и душой овладевает простой человеческий страх перед делом рук своих. Будь с ним сообщники, он сохранил бы присутствие духа. А он — один на один с мертвой... Он трепещет, он не может опомниться. Но убрать труп надо во что бы то ни стало. Он тащит мертвую к реке, оставив прочие улики на месте, потому что ведь, пожалуй, и невозможно захватить все разом, проще вернуться за оставленным потом. А путь к реке тяжек, а страх все растет. Жизнь, шумящая где-то поодаль, то и дело напоминает о себе. И не раз он то ли слышит, то ли они ему просто мерещатся шаги непрошеного соглядатая. Даже огни города приводят в смятение. Наконец, после множества долгих задержек, в полном изнеможении, он дотащился до берега и избавляется от своей страшной ноши, возможно воспользовавшись лодкой. Но сулите ему теперь любые сокровища, грозите ему любой карой — ничто не погонит одинокого убийцу еще раз той же вымотавшей все его силы опасной тропой к кустарнику, где все полно воспоминаний, от которых кровь стынет в жилах. И он не возвращается, решив, будь что будет. Ему уже не вернуться туда и при всем желании. Им владеет одна мысль — поскорее отсюда. Ему уже никогда не вернуться к этим страшным зарослям, от которых он бежит, словно грозная расплата уже наступает его.

— А если бы орудовала банда? Они действуют скопом, и это внушает им уверенность в себе; хотя ее-то как раз настоящему громиле и без того не занимать стать, а ведь именно из самого отчаянного сброда испокон веков и сколачиваются банды. Их много, говорю я, поэтому они не растеряются, не сробеют, подобно убийце, цепенеющему от страха в одиночестве. Случилось что упустить одному, другому, даже третьему, — четвертый позаботится. Они бы ничего не оставили; их несколько, и им ничего не стоит унести все сразу. Незачем будет и возвращаться.

— А, кроме того, «из платья, от края подола до пояса была выдрана полоса примерно в фут шириной, но не оторвана совсем; трижды обкрутив вокруг талии, ее завязали на спине петлей». Цель ясна — чтобы сподручней было ухватиться при переносе тела. А стали бы несколько человек возиться с этим? Будь их трое или четверо, взяли бы труп за руки и за

ноги, — вот и все, да так и легче нести. Такое приспособление годилось только для одного; и теперь нам понятно также, почему «ограда между кустарником и рекой оказалась поваленной, следы на земле свидетельствуют о том, что здесь протащили волоком какую-то тяжелую ношу!» Стали бы несколько человек еще валить ограду, перетаскивать волоком труп, который им ничего не стоило мигом *передать* друг другу с рук на руки через какую угодно ограду? Если бы труп уносили несколько человек, то откуда бы появиться на земле *следы* тела, которое тащили волоком?

— Рассмотрим теперь замечание «Le Commercial», которое я уже отчасти разбирал. «Кусок материи в два фута длиной и в один шириной, оторванный от одной из юбок злополучной девицы, — пишет газета, — был обмотан под подбородком вокруг шеи и завязан на затылке, по всей видимости, чтобы заглушить крики. Это дело рук молодых, у которых носовые платки не водятся».

— Я уже замечал, что ни один уважающий себя подонок без платочка не выйдет. Но сейчас меня интересует другое. Что этим обрывком материи воспользовались не за неимением носового платка, как вообразила «Le Commercial», явствует из того, что платок бросили в кустарнике; а что он не предназначался «заглушать крики», ясно из того, что в дело употребили именно эту повязку, а не платок, который гораздо больше подходил для такой цели. В протоколе говорилось, что эта полоса материи была «свободно накинута на шею, концы — завязаны тугим узлом». Сказано не очень вразумительно, но по существу выходит совсем не то, что описано в «Le Commercial». Ширина полосы — восемнадцать дюймов, а стало быть, хоть это и всего-навсего муслин, достаточно было сложить ее в несколько раз или скрутить жгутом, — и получалась прочнейшая перевязь. Так ее и скрутили. Вот мое заключение: убийца у Мари был один; отнеся труп на какое-то расстояние (от кустарника или от другого какого-нибудь места), держа тело на весу за повязку вокруг талии, он убедился, что так ему далеко свою ношу не унести — тяжело. Он решает тащить ее волоком, тут и *появляется* след на земле. Теперь ему нужно что-нибудь вроде веревки — тащить тело. Привязать мертвую можно за руку или за ногу, удобней всего — за шею, тогда голова не даст привязи соскользнуть. Безусловно, первая мысль убийцы была о повязке, закрученной вокруг талии. Она, конечно, была бы в самый раз, но ее надо *разматывать*, а с петлей, которую он затащил, пришлось бы повозиться, да она была еще и не до конца «оторвана» от платья. Проще оторвать новую полосу от юбки. Он и вырвал, привязал за шею покрепче и *поволок* свою жертву к реке. То, что к этой «повязке», несмотря на лишнюю возню с ее изготовлением и хотя с ней было не так уж сподручно, все-таки пришлось прибегнуть, что без нее было не обойтись, свидетельствует, что необходимость в ней возникла при обстоятельствах, когда платка уже не было под рукой; иными словами, как мы себе и представляли, — уже не в кустарнике (если убийство происходило там), а по пути к реке.

— Но, скажете вы мне, ведь в показаниях мадам Делюк(!) особо оговаривается, что некая банда слонялась где-то неподалеку от зарослей примерно тогда же, когда, видимо, и произошло убийство. Допустим. Не поручусь, однако, что *в то время*, когда разыгралась эта трагедия, в тех же окрестностях не слонялось с дюжину банд вроде той, которую описала мадам Делюк. Но обратила на себя негодующее внимание мадам Делюк, показания которой к тому же даны с большим запозданием и не внушают особого доверия, только та, которая, по словам этой почтенной и не упустившей ни одной подробности старушки, вдоволь отведала ее пирожков, бренди, а платить и не подумала. Et hinc illae lrae*.

— Но каковы показания мадам Делюк дословно? «Ввалилась целая ватага сущих висельников, горланили тут, напили, наели и убралась, не заплатив, в том же направлении, что и молодой человек с барышней; вернулись эти бесстыдники, когда уже смеркалось, и через реку гребли так, словно спешили поскорее ноги отсюда унести».

— Ну так вот, эта самая «спешка» вполне могла представиться мадам Делюк и несколько большей, чем было на самом деле, так как она продолжала оплакивать свои пошедшие этой орде на потраву пироги и пиво¹⁰, за которые, видимо, все еще питала слабую надежду получить возмещение. Иначе разве запомнилась бы ей их *поспешность*, поскольку ведь *уже смеркалось*? Ничего особенного в том не было, самые отчаянные головорезы *заторопятся* восвояси, если надвигается гроза, а переправляться через широкую реку надо на жалких лодчонках, и *дело к ночи*.

— Я сказал: к ночи; потому что *ночь еще не наступила*. Еще только начинало *смеркаться*, когда неуместная поспешность этих «бесстыдников» окончательно расстроила мадам Делюк. Но ведь известно, что тем же вечером мадам Делюк и ее старший сын «услышали женский крик где-то неподалеку от гостиницы». Каковы подлинные слова мадам Делюк относительно времени, когда раздался крик, — вечером, но когда именно? «*Уже совсем затемно*», — говорит она. Но «*уже совсем затемно*», значит, *темнота* так или иначе *уже наступила*; а «*еще только смеркалось*» — что день еще не погас. И, стало быть, банда отплыла с заставы дю Руль несколько *раньше*, чем мадам Делюк услышала (?) крики. Но, хотя эта путаница в выражениях повторяется дословно во всех перепечатках показаний этой свидетельницы, ни одна газета и ни один мирмидонянин из полиции не заметили этой вопиющей неувязки.

— В опровержение версии насчет *банды* приведу еще один, и последний, но зато, насколько я могу судить, совершенно неотразимый довод. Учитывая объявление огромной награды и полного помилования любому участнику преступления, донесшему на сообщников, просто невозможно представить себе, чтобы никто из *банды* вконец оскотиневших негодяев или любой иной группы сообщников уже давно не выдал бы сотоварищей. Дело в том, что каждый в такого рода бандах не столько даже

* И отсюда гнев (лат.).

ладок на деньги или дрожит за свою шкуру, сколько боится, что его выдадут. Он спешит донести на остальных первым, пока не донесли на него. Раз тайна до сих пор не разглашена, значит, ее умеют хранить. Страшную правду обо всем этом черном злодействе знает кто-то один, ну, двое живых да Всевышний.

— А теперь подытожим небогатые, но верные результаты нашего затянувшегося разбора. У нас остаются на выбор два предположения: либо это какой-то несчастный случай, произошедший в гостинице мадам Делюк, либо — убийство, совершенное в зарослях возле заставы дю Руль любовником или дружкой, отношения с которым у нашей девицы успели зайти довольно далеко и тщательно скрывались. Дружок этот был на редкость смугл. Загар, эта петля — скорее, «строп», «морской узел», которыми завязаны шнуры от шляпки, обличают в нем моряка. А то, что погибшая — девица бойкая, но отнюдь не из доступных, сходится с ним, указывает, что это не простой матрос, а особа поважнее. Чему вполне соответствует и грамотность и внушительная манера выражаться, отличающие подметные письма в газеты. Подробности первого побега, о котором вспоминала «Le Mercure», дают основание думать, что этот моряк и есть тот самый «офицер флота», о котором известно, что он первым совратил несчастную на путь, приведший ее к гибели.

— Это подозрение как нельзя более подтверждается еще и тем, что наш темноликий как в воду канул. Попутно отметим, что он как-то особенно темен лицом; то был, конечно, не просто очень сильный загар, раз это оказалось единственным, что запоминалось в нем одновременно и Валансу, и мадам Делюк. Но почему этот человек не объявляется? Убит все той же бандой? Но тогда почему остались следы только убитой девицы? А ведь в таком случае оба убийства произошли, безусловно, в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от обоих одним способом. Можно, однако, предположить, что этот человек жив, но помалкивает из страха, что его могут обвинить в убийстве. Но подобная догадка может объяснить его поведение лишь сейчас, когда нашлись свидетели, видевшие его с Мари; а не сразу после убийства. Первым побуждением человека невинного было бы заявить о нападении и помочь опознать негодяев. Ведь это было самое разумное. Его видели с девицей. Они переправлялись на открытом пароме на ту сторону Сены. Последний дурак и то сообразил бы, что донос на убийцу — самое верное: единственное средство самому избежать подозрений. Ведь если он в ночь с того рокового воскресенья на понедельник сам и не убивал, то не может не знать об убийстве, — одно из двух. И только допустив такое невозможное предположение, что ни то, ни другое, мы найдем оправдание тому, что он, если жив, до сих пор не указал убийцу.

— Как же нам подступиться к выяснению истины? Вот увидите, возможностей приблизиться к ней будет появляться тем больше и вырисовываться они будут тем отчетливее, чем дальше пойдет у нас дело. Разберемся как следует во всех обстоятельствах ее первого побега. Выясним

всю подноготную об этом «офицере», узнаем, что с ним и где он находился во время убийства. Сличим повнимательней одно с другим все посланные в вечернюю газету письма, указывавшие на банду. После чего сличим их и по стилю, и по почеркам с полученными несколько раньше в утренней газете, в которых так бессовестно оговаривали Маннэ. Затем сравним те и другие с письмами этого офицера. И постараемся путем повторных расспросов мадам Делюк с ее парнишками и этого кучера Валанса разузнать что-нибудь еще о нашем «темноликом» — о внешности, о манере держаться. Не может быть, чтобы мы, если найдем к ним подход, не добыли каких-нибудь сведений по интересующему нас вопросу (или еще и по другим) — сведений, сообщить которые самим им просто в голову не приходило. Установим поскорее, что стало с лодкой, которую речник с баржи подобрал на реке утром в понедельник, 23 июня, и которую немногим раньше, чем был выловлен труп, угнали с пристани, не сказавшись дежурному и оставив руль от нее в конторе. Действуя с подбавляющей осмотрительностью и настойчивостью, мы доберемся до этой лодки; ее легко опознает лодочник, а кроме того, в нашем распоряжении еще и руль от нее. А руль от парусной лодки — не такая вещь, с потерей которой примирятся, не предприняв розысков. Позвольте заодно еще вопрос. Объявления о подобранной лодке нигде не давали. Ее без лишних слов препроводили к пристани, а затем молчком угнали. Но откуда же тогда ее хозяин или временный владелец знал уже к утру во вторник о местонахождении лодки, доставленной туда только накануне, если только он не связан со службой на воде настолько прочно, что постоянно в курсе всех больших и малых тамошних дел, последних событий и слухов?

— Когда речь шла об убийце, в полном одиночестве тянущем волоком свою ношу к реке, я не исключал возможности, что он воспользовался лодкой. Мари Роже была спущена в воду с лодки. Иначе и быть не могло. Труп нельзя было оставлять на прибрежных отмелях — опасно. Непонятные ссадины на спине и плечах жертвы — от шпангоутов на дне лодки. Понятно теперь также, почему к телу не привязали груза. Если бы труп бросали в воду с берега, груз бы, конечно, привязали. Объяснить его отсутствие можно лишь тем, что убийца отвалил от берега, не прихватив его с собой второпях. А когда стал спускать тело в воду, то, несомненно, заметил свой промах, но ничего подходящего под рукой не оказалось. Но он уже был готов на любой риск, только бы не возвращаться больше к этому проклятому берегу. Избавившись от трупа, убийца спешит в город. Там, у какого-нибудь глухого причала, он сойдет на берег. Ну, а лодка, зачалит ли он ее? Он слишком спешит, и ему, конечно, не до того. Более того, у него было бы такое чувство, словно он сам же пришвартовывает к причалу собственного своего обличителя. Естественно, больше всего ему хочется избавиться от всего, что так или иначе может его выдать. И он непременно оттолкнет лодку, чтобы ее унесло течением. Последуем же за нашим воображением дальше. Наутро этот выродок остолбенеет от ужаса, увидев, что лодку задержали и она стоит под

присмотром в районе, куда он заглядывает не раз ежедневно по привычке или — по долгу службы. И той же ночью он, так и не посмея потребовав руль, угоняет ее. Где же теперь эта ладья без руля? С ее поисков мы и начнем. Стоит нам только напасть на ее след — и победа за нами. Лодка тотчас же приведет нас — мы и удивиться не успеем, к человеку, который подрядил ее в то роковое воскресенье. И доказательство к доказательству сами подберутся так, что убийце некуда будет податься.

[По соображениям, от уточнения которых мы воздерживаемся, но которые многие наши читатели поймут и сами, мы берем на себя смелость сделать пропуск в той части предоставленной нам рукописи, в которой описаны со всей обстоятельностью события, развернувшиеся после того, как Дюпен подобрал этот, пока еще явно ненадежный, ключ к загадке. Считаю целесообразным лишь вкратце подтвердить, что успех превзошел самые смелые надежды, и префект, хотя и скрепя сердце, выполнил все условия заключенного им с шевалье соглашения совершенно безупречно. Далее мы приводим заключительную часть рукописи мистера По. — *Ред.¹ **.]

Пусть меня не поймут превратно: я говорю лишь о совпадениях, не более того. И я свое сказал, больше мне прибавить по этому вопросу уже нечего. В моей душе вера в сверхъестественное как-то не укоренилась. Природа и ее Творец — не одно и то же, и люди мыслящие не станут с этим спорить. Столь же бесспорно и то, что второй из них, сотворивший первую, мог бы, при желании, диктовать ей свою волю и преобразовать ее. Я оговариваю: «при желании», ибо под вопросом в данном случае остается наличие таковой его воли, а не то, что осуществить ее в его полной власти, как заключает логика скудных умов. Дело не в том, что Божество не может обновлять данные им законы, а в том, что мы превращаемся в богохульников, воображая, будто может возникнуть потребность в их обновлении. При сотворении своем эти законы были указаны так, что охватывали заранее всю совокупность явлений, которые могли открыться в грядущем. *Бог вне времени.*

— Так повторяю же, что только совпадения и имелись в виду в моем рассказе. И далее: из моего изложения само собой вытекает, что между судьбой бедняжки Мери Сесили Роджерс и судьбой нашей пресловутой Мари Роже — вплоть до наступления решающего этапа ее истории, существует некая параллель, от размышлений над поразительной точностью которой разум испытывает смущение. Да, да, такая параллель напрашивается сама собой. Ни в коем случае не следует, однако, думать, будто, продолжив свою скорбную повесть о Мари, начиная с момента, когда дело перешло в наши руки, и пройдя вслед окутавшей ее тайны до самого ее *dénoûement* *, я имел скрытый умысел незаметно навести чита-

¹* Редакция журнала, в котором появилась первая публикация.

* Развязка (франц.).

теля на мысль продлить эту параллель или, тем более, хотел внушить, будто меры, принятые в Париже для изобличения убийцы нашей гризетки, или меры, намеченные в итоге сходных умозаключений, привели бы и в данном случае к тем же результатам.

— Ибо, что касается последних предположений, то следует принять в расчет, что самая незаметная нетождественность параллельных фактов этих двух дел способна в таком случае привести к просчетам, так как будет все больше отклонять эти два потока событий в разные стороны один от другого — точно так же, как в арифметике ошибка, сама по себе, может быть, и пустяковая, приводит, умножаясь в каждом новом звене последовательных вычислений, в итоге к ответу, чудовищно не совпадающему с правильным. Что же касается первого моего предостережения, то не следует забывать, что то самое счисление вероятностей, на которое я уже ссылался, отмечает всякую мысль о продолжении установившейся между двумя убийствами параллели, отмечает ее с безоговорочностью и настоятельностью, возрастающими прямо пропорционально тому, насколько далеко эту параллель уже провели, и тем больше, чем точнее она до сих пор получалась. Это — одна из тех изумительных пропорций, которые, хотя они, казалось бы, взывают к уму безотносительно к математике, тем не менее в полной мере доступны лишь математикам. Труднее ничего и не придумать, чем, например, пробовать убедить самого что ни на есть обычного читателя, будто уже факта, что у игрока в кости дважды подряд выпали одни шестерки, более чем достаточно, чтобы биться об какой угодно заклад, что на третий раз у него все шестерки не выпадут. Как правило, здравый смысл восстает против подобного убеждения. Он не улавливает, из чего это следует, что два выбрасывания костей, которые только что проделаны и, стало быть, — уже дело прошлое, к которому нет и возврата, могут оказать какое-нибудь влияние на третье выбрасывание, которое само по себе еще только предстоит. Шанс на выпадение шестерок в третий раз представляется точно таким же, как и во всяком ином случае, как всегда, то есть зависящим только от различных комбинаций, в которых могут выпасть кости при их бросании. И такое соображение кажется настолько само собой очевидным, что попытка возразить против него вызывает чаще всего лишь ироническую улыбку, как явно не заслуживающая внимания. Не берусь в рамках данного рассказа, которые слишком для того тесны, обличать кроющееся здесь недомыслие, глубочайшее недомыслие, порядком отдающее суеверием; ну, да мудрым, конечно, все и так ясно. Довольствуемся же лишь той оговоркой, что так образуется одна из бесчисленного множества систем заблуждений человеческих, с которыми Разуму приходится сталкиваться постоянно из-за своей страсти добираться до истины со всей обстоятельностью.

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

*Impia tortorum longos hic turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patriâ, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent*.*

*[Четверостишие, сочиненное для ворот рынка,
который решено разбить на месте
Якобинского клуба в Париже¹]*

Я устал, смертельно устал от этой затянувшейся пытки; и, когда, наконец, меня развязали и я смог сесть, я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор, страшный смертный приговор еще отчетливо прозвучал в моих ушах, но сразу вслед за тем голоса инквизиторов слились в далекий, невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то *кружения* — быть может, напомнив шум мельничного колеса. И то — лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Зато некоторое время я еще видел — и с какой ужасающей, чудовищной отчетливостью! Я видел губы судей, облаченных в черное. Мне они казались белыми — блее листа, на котором я пишу эти строки, и тонкими, до уродливости тонкими; их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности, непреклонной решимости и угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моею Судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как легка, едва заметно колышутся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на семи длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами милосердия, белыми, стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти; но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи, ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как, должно быть, сладок могильный

* Кровью невинных несытая, шайка убийц нечестивых
Долго лелеяла здесь злое безумье свое.
Ныне разрушен застенок, родина ныне свободна;
В логово лютых смертей жизнь и спасенье пришли (лат.).

покой. Она пришла осторожно и бесшумно и, казалось, задолго до того, как разум постиг ее до конца; но в тот самый миг, когда мой дух воспринял ее отчетливо и окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли, точно по волшебству, длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак; все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением — так душа нисходит в Аид. А затем — беспредельная тишина, покой и ночь.

Это был обморок, и все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать, — скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытии — нет, мало! — в бреду — мало! — в обмороке — мало! — в могиле... да! даже в могиле что-то остается. А иначе бессмертие наше — пустой звук! Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем паутину какого-то сновидения. Но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось, — до того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени: сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом — чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли воскресить в памяти впечатления первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое — эта бездна? Как отличить ее тени от теней могилы?.. Однако если впечатления, оставленные тем, что я называл первой ступенью, нельзя оживить силою воли, то разве не появляются они сами спустя долгое время — непрошенные, неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях ни причудливых замков, ни до боли знакомых лиц; он не заметит парящих в воздухе печальных образов, незримых толпе; он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка; он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавшие его внимания.

Среди частых и сосредоточенных попыток вспомнить, среди напряженных усилий свести воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха; случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз — все вниз, вниз, вниз! до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска. Еще они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиною в этом сердце. Затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей все, — словно те, кто нес меня (о, этот путь!), переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного, тяжкого труда. Вслед за тем душу пронизывают апатия и тоска; и

наконец все захлестывает *безумие* — безумие памяти, вступившей в запретные области.

Совершенно неожиданно возвращаются движение и звук — громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах. Затем — провал: пустота, ничего, кроме пустоты. Затем снова звук, движение, прикосновение, и какая-то дрожь пронизывает все мое существо. Затем простое ощущение бытия, без всякой мысли — состояние, которое долго не проходит. И вдруг — *мысль*, и ужас, пострясший меня с головы до пят, и напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспмятство. Затем стремительное воскрешение духа и успешная попытка пошевелиться. И тут — полное и ясное воспоминание о процессе, судьях, траурных драпировках, о приговоре, о слабости, об обмороке. Затем — абсолютное забвение всего, что последовало; лишь гораздо позже и ценою самых напряженных усилий мне удалось, хотя и смутно, восстановить все это в памяти.

Я еще долго не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немалое время, в продолжение которого я силился сообразить, где я и что со мною случилось. Я не хотел и не решился обратиться за ответом к зрению, страшась первого взгляда на то, что меня окружало. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня, и я весь замирал при мысли о том, что сейчас подниму веки и... не увижу ничего. Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце, я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался: густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаюсь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен, и мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв: такая мысль — вопреки всему, что мы читаем в романах, — совершенно не совместима с реальным существованием. Но где же я и что со мной? Я знал, что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на аутодафе и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гекатомбы, которая будет совершена лишь через несколько месяцев? Нет, этого быть не может: ведь обычно жертву вели на заклание без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя темница, как и все камеры смертников в Толедо, была вымощена камнем и свет все же проникал в нее.

Вдруг — страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу; на короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги, каждая жилка во мне дрожала. Я испуганно шарил вокруг себя во всех направлениях. И, хотя руки встречали одну лишь пустоту, я не решился ступить ни шагу — боясь натол-

кнуться на стену склепа. Обильный пот выступил изо всех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. Наконец мука неизвестности сделалась нестерпимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки и с таким напряжением лова хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезали из орбит. Я ступил раз, другой, третий — много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее: теперь мне казалось бесспорным, что моя участь — не самая страшная из всех возможных.

И пока я продолжал по-прежнему осторожно пробираться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах Толедо. Удивительные рассказы ходили об этих темницах; правда, я всегда считал их пустыми баснями, и все же они были до того странными и жуткими, что их повторяли только шепотом. Предстояло ли мне погибнуть голодной смертью в мире подземного мрака? или какая-нибудь иная, еще более тяжкая участь ожидала меня? Что концом моего заключения будет смерть, и смерть утонченно жестокая, я не сомневался — слишком уж хорошо знал я своих судей. Способ и срок — вот все, что меня занимало и не давало мне покоя.

Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена, по-видимому, каменной кладки — очень гладкая, осклизлая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая со всею предосторожностью недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы: я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке, не заметив этого, — настолько неразлично однообразной казалась стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда, — но его не оказалось; вместо прежнего платья на мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить начало пути. Возникшее затруднение было ничтожным, но расстройство мыслей делало его, на первый взгляд, непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину, под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Так, по крайней мере, я думал; но я не принял в расчет ни возможных размеров темницы, ни собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружилось последствие крайнего истощения сил: я остался лежать навзничь и, так и не поднявшись, скоро уснул.

Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя хлеб и кувшин. Я был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись, жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрал, наконец, до обрывка саржи. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а теперь еще сорок восемь. Таким образом, всего получа-

лось сто шагов; и, полагая ярд равным двум шагам, я решил, что моя тюрьма имеет пятьдесят ярдов в окружности. Но, так как во многих местах стена выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания sklepa, — я не мог отделаться от мысли, что это все-таки склеп.

Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели и, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал ступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом я прошел шагов десять-двенадцать, когда запутался в подоле своего балахона и упал, как подкошенный, лицом вниз.

Я не сразу вспомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство; очень быстро, однако ж, еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем: мой подбородок касался пола камеры, но губы и верхняя половина головы как бы повисли в воздухе, хотя, по-видимому, были опущены несколько ниже подбородка. В то же время лоб окутали какие-то холодные испарения, и специфический запах гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у самого колодца, я ухитрился отковырнуть маленький кусочек цемента и бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зиявшего передо мной провала; наконец, сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и так же быстро захлопнули дверь у меня над головой, слабый луч света неожиданно прорезал мрак и так же неожиданно погас.

Теперь я понял, какая участь была мне уготована, и благословлял случай, который меня спас. Еще один шаг — и мир никогда больше не увидел бы меня. Смерть, талько что пролетевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках или той же смерти, но в самых страшных пытках нравственных. Меня, видимо, приберегали для последнего: долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от звука собственного голоса, и вообще трудно было выбрать жертву более подходящую для той пытки, которая меня ожидала.

Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подле нее, чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев: воображение уже рисовало их мне во множестве, по всей темнице. В ином состоянии духа я, вероятно, нашел бы в себе мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими

бедствиями, — но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок я не мог забыть того, что читал об этих колодцах: они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нить жизни *мгновенно*.

Много часов подряд возбуждение не давало мне уснуть, но, в конце концов, я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, нашел подле себя хлебца и воду. Меня томила жгучая жажда, и я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья: не успел я допить до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном — сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю; но, когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастическом, зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройство моей тюрьмы.

Оказалось, что я сильно ошибся: протяженность стен не превышала двадцати пяти ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги — вот уже поистине бессмысленной: ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размеры темницы? Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаясь объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил. Наконец, меня осенило. В первую половину обследования я насчитал пятьдесят два шага; в момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход sklepa. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое большей, чем она была на самом деле. Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа.

Заблуждался я и относительно очертаний своей тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов, и отсюда пришел к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы, — с такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от летаргии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами, или нишами, расположенными на неодинаковом расстоянии одна от другой. В целом же камера была квадратная. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенною рукой и другие, менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что, хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись, — словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине зияло круглое от-

верстие колодца, пасти которого мне удалось избежать; но других колодцев, кроме этого, в моей темнице не было.

Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо мое собственное положение за время сна резко переменялось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанный к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, — но лишь настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едою, стоявшей подле на полу. К своему ужасу, я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю «к ужасу» — потому что меня томила нестерпимая жажда. Вероятно, в намерения моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо.

Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в тридцати или сорока футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура, написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура Времени, каким его обычно изображают, только вместо косы оно держало в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня всмотреться в него повнимательнее. И, когда я пристально глядел прямо вверх (маятник находился как раз надо мною), мне вдруг почудилось, что он движется. В следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше — изумления. Устав, наконец, наблюдать за этими однообразными движениями, я принялся смотреть по сторонам.

Легкий шум донесся до моих ушей, и, взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бегавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах — поспешно, жадно, привлеченные запахом мяса. Мне стоило немало труда удержать их на расстоянии от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть, и час (я мог судить о времени лишь очень приблизительно), прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлиннились примерно на целый ярд. Вместе с тем и скорость стала гораздо больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно опустился. Теперь я рассмотрел — надо ли говорить, с каким ужасом? — что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиной с фут (от рога до рога); кончики рогов были обращены вверх, а лезвие казалось острым, как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался — тоже, как бритва, — и был, по-видимому, массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким свистом рассекал воздух.

Так вот, значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках! То, что я разгадал тайну колодца, стало известно инквизиторам, — колодца, ужасам которого обрекали дерзких, нераскаившихся грешников вроде меня; колодца, который был, по слухам, прообразом ада — *Ultima Thule* * всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец; а я знал, что неожиданность, внезапность были неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этих стенах. Но я оступился раньше, чем следовало, и это нарушило дьявольский план низвержения преступника в бездну, а потому (иного выхода не было) меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная! Я даже улыбнулся при мысли о таком применении такого слова.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах более чем смертельного ужаса, в продолжение которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией, удлиняясь так медленно, что, казалось, протекали века, пока это становилось заметным, — все ниже и ниже опускался маятник! Прошли дни, может быть, много дней — и вот он уже проносится так близко, что веет мне в лицо едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился, я непрестанно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх, навстречу размахам чудовищного ятагана. А потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно, улыбаясь сверкающей смерти, словно дитя — редкостной игрушке.

И снова — провал, глубочайшее забытьё; оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим: ведь демоны инквизиции (я знал это наверное) следили за мной и, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю — нет, больше! — невыразимую усталость и слабость, словно после долгого, изнурительного поста. Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами. И, когда я положил первый кусок в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости... надежды. Я — и надежда? Нет, невозможно, насовместно! Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобий, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародыше. Я ощущал радость и надежду, но я ощущал также, что они увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их... вернуть: долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы, всех способностей. Я превратился в слабоумного, в идиота.

Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он прoderет саржу моего халата, он будет уходить и воз-

* Здесь: последним пределом (лат.).

вращаться, уходить и возвращаться, уходить и возвращаться — снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов (футов тридцать, а то и больше), на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он будет продираТЬ мой халат — и только. На этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить дальнейший спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения.

Вниз — тихо и непреклонно маятник сползал вниз. Я находил какое-то иступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо — влево — то удаляясь — то снова приближаясь — визжа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл — в зависимости от того, какие чувства брали верх.

Вниз, вниз — уверенно и безжалостно! Вот он уже проносится в трех дюймах от моей груди. Я извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, — но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.

Вниз, вниз — все так же упорно, все так же неотвратно! Я задыхался и корчился при каждом взмахе, пытаюсь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния; видя его приближение, я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением — о! несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, какое ничтожное движение механизма обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была надежда: слыша ее голос, трепетали нервы... скамейка точно уходила в пол... То была надежда — та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слово утешения.

Я увидел, что еще десять-двенадцать взмахов, и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал думать. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы которыми я обвит, — это цельный кусок. Я был связан одним-единственным ремнем. Первый же удар острого, как бритва, полумесяца, — при условии, что он заденет ремень, — рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустиТЬ стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь! Каким смертоносным может

оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремешь у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, — но на пути губительного полумесяца их не было.

Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была, — я не могу описать ее иначе, — зыбкая и бесформенная прежде половина того плана избавления, о котором я уже упоминал: другая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я держал в руках всю мысль полностью — пусть бледную, пусть едва ли здоровую и не совсем отчетливую, но всю целиком, и тут же с лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению.

Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами — хищными, наглыми, алчными: их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. «Чем же они обычно питаются в этом подземелье?» — думал я.

Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и, в конце концов, невольное однообразие этого движения лишило его всякой действительности. Прожорливые грызуны то и дело впились мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремешь повсюду, куда только смог дотянуться; потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание.

В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменой — внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать «подпругу». Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нисколько их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремешем. Они теснили и сталкивали друг друга, их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее, их холодные губы тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью; чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута — и я понял, что дело идет к концу. Я отчетливо чувствовал, как ослабевают путы. Я знал,

что в нескольких местах они уже, должно быть, разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать неподвижно.

Я не ошибся в своих расчетах, и мое терпение не было тщетным! Наконец-то я почувствовал себя свободным. Обрывки ремня свисали на пол. Но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек саржу халата, он разрезал белье; еще два размаха — и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой, и мои избавители с шумом кинулись кто куда. Ровным движением — осторожно, медленно, вбок и назад — я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недосыгаем для кривого лезвия. Что бы ни случилось дальше, в этот миг я был свободен.

Свободен — и в когтях у инквизиции! Едва я поднялся со своего деревянного ложа — ложа ужаса! — и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось, и какая-то невидимая сила подняла его вверх, через потолок. Это было уроком для меня, уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен! Ха! Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я обвел беспокойным взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение, — сначала я не мог сообразить, какое именно, — произошло в обличии камеры. Дрожа от возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит тот фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель шириною в полдюйма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен; таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался выглянуть через эту щель, но, разумеется, безуспешно.

Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что, хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским, призрачным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей, с жуткою, чудовищной живостью пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным.

Нематериальным — как бы не так! До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа. Удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался! Я судорожно ловил ртом воздух! Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей — о-о-о! самых безжалостных,

самых неумолимых среди исчадий ада! Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходящее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжение какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть значение того, что я увидел. Но в конце концов оно пробилось... силой проложило себе путь в сознание... ожогом врезалось в мой содрогающийся рассудок! О! Язык мне не повинуется... О! какой ужас... ужас, не сравнимый ни с чем на свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал.

Жар быстро усиливался и, трясаясь словно в приступе лихорадки, я снова поднял глаза. Опять перемены — на этот раз заметно переменялась форма темницы. Как и раньше, первая попытка правильно оценить или хотя бы понять, что творится вокруг, была безуспешной. Но растерянность и сомнения были недолги. Дважды ускользнув от смерти, я заставил инквизиторов поспешить с возмездием, повелитель ужасов не был более склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Теперь я увидел, что два ее железных угла сделались острыми, а два других — в согласии с этим — тупыми. Это страшное различие стремительно возрастало с каким-то глухим грохотом, а может быть, и стоном. В одно мгновение комната приняла форму ромба. Но движение стен не остановилось... и сам я уже не надеялся, да и не хотел, чтобы оно остановилось. Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты — риза вечного успокоения. «Смерть, — твердил я, — любая смерть, только не в колодеце!» Глупец! Как это я сразу не догадался, что именно в колодеце должно загнать меня раскаленное железо! Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог — в силах ли я был не отступить перед их напором? А ромб делался все уже, уже — с быстротою, не оставлявшей времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находилась в точности над зияющей пропастью. Я пятился назад, но сдвигающиеся стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше не сопротивлялся, но предсмертные муки моей души излились в одном громком, долгом, последнем вопле отчаяния. Я чувствовал, что балансирую на самом краю... Я отвернул лицо...

И вдруг... Нестройный гул человеческих голосов! Громкий рев, словно взвыли тысячи труб! Резкий, скрипучий удар, словно грянули тысячи громов! Огненные стены отпрянули! Чья-то протянутая рука поймала мою руку в то самое мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Ласаль². Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках ее врагов.

СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ

Ну, да! Я нервен, нервен ужасно — дальше уж некуда; всегда был и остаюсь таким; но откуда вы взяли, что я — сумасшедший? Болезнь лишь обострила мою восприимчивость, а не нарушила, не притупила ее. Особенно же изошрился мой слух. Я слышал все сущее в небесах и в недрах. Я слышал многое в преисподней. Какой же я сумасшедший? Вот послушайте только! да заметьте, как здраво и гладко поведу я свой рассказ.

Затрудняюсь определить, как этот замысел пришел мне на ум; но, как только возник, мне не стало от него покоя ни днем, ни ночью. Сам старик тут был ни при чем. Никакого взрыва ненависти не было и в помине. Я любил старика. Он мне ничем не досадил. Не обидел меня ни разу. На деньги его я не зарился. По-моему, все дело в этом глазище... — ну да! именно в нем. Один глаз у него был точь-в-точь, как у грифа, — водянисто-голубой, подернутый блестящей пленкой. Когда он смотрел на меня, у меня каждый раз кровь стыла в жилах, и вот, как-то незаметно, не сразу, я и додумался прикончить старика, чтоб не видать больше этого глаза веки.

А теперь — главное, вы вообразили, будто я сошел с ума. Но сумасшедшие же ничего не смыслят. А посмотрели бы вы на меня! Посмотрели бы вы только, до чего хитро все было обдуманно, как все учтено, предусмотрено заранее, до чего ловко я прикидывался, затеяв это дело! Никогда еще я не был так добр к старику, как последнюю неделю до убийства. По ночам же, около полуночи, я отпирал замок на его двери и чуть открывал ее... о, совсем неслышно! Приотворив настолько, что пройдет голова, я просовывал в дверь потайной фонарь, закрытый со всех сторон, так что свету не просочиться, а уж тогда просовывал и голову. Ох, и посмеялись бы вы, если б видели, до чего же ловко я ее просовывал! Я продвигался вперед медленно... бесшумно, чтоб не спугнуть сон старика. Чтобы просунуть голову в дверь настолько, что станет видно старика на постели, уходил час. Ха! хватило бы ума у сумасшедшего на такие штуки? А затем, когда голова уже проникнет к нему в комнату, я осторожно приоткрывал фонарь... да, да, осторожно, осторожно (потому что железные петли чуть поскрипывали); и ровно настолько, чтобы пропустить один-единственный луч, который и направлял на это его грифово око. И такие штуки я проделывал семь бесконечных ночей подряд, всегда ровно в полночь; но глаз оказывался закрытым, и свершить задуманное было невысказимо, потому что не сам же старик донимал меня, а только его Дурной Глаз. А по утрам, только займется день,

я входил к нему как ни в чем не бывало, подбадривал его, дружески окликал по имени и интересовался, как он провел ночь. Так что, как видите, старик должен был просто читать в мыслях, чтобы заподозрить, что еженощно, ровно в двенадцать, я подглядываю за ним в дверь, пока он спит.

На восьмую ночь я отворял дверь еще с большей оглядкой, чем всегда. Минутная стрелка на часах движется быстрее, чем кралась моя рука. Никогда еще не чувствовал я себя таким всеведущим. Я еле сдерживал ликование, которое так и рвалось из груди. Подумать только, — я здесь, не спеша, отворяю его дверь, а он ни сном, ни духом не чуяет моих происков, моих тайных помыслов. От такой мысли я тихонько хихикнул; и, кажется, он услышал, потому что вдруг метнулся на кровати, словно вспугнутый. Так вот, вы, возможно, подумаете, что я тут же назад; вот и нет. В его комнате было черным-черно, тьма кромешная (ведь ставни затворялись наглухо из страха перед грабителями), и я знал, что ему не разглядеть, как открывается дверь, и не переставал потихоньку открывать ее — еще, а ну еще.

Я просунул голову и уж собрался было подсветить фонарем, но тут мой палец соскользнул со спуска шторы — старик резко приподнялся на кровати с криком: «Кто там?»

Я замер на месте, и ни звука. Битый час простоял я не шелохнувшись, но все было не слышно, чтобы он лег. Он сидел на постели и прислушивался, совсем как бывало я, ночь за ночью, — все прислушивался к возне жучка-точильщика в стене.

И вот я услышал слабый стон и тут же узнал его, этот стон смертельного ужаса. Ни от боли, ни от горя так не застонут; ох, нет! то был глухой, сдавленный звук, такой вырывается из самых глубин души, когда ужас затопит ее так, что уже невмоготу. Мне ли не знать его. Сколько ночей, каждый раз ровно в двенадцать, когда все спит, исторгали его из груди моей, словно из гулкого колодца, страхи, терзавшие меня. Так мне ли, говорю я, не знать его. Я знал, каково сейчас старику, и, хоть и посмеивался про себя, жалел его. Я-то знал, что с тех пор, как я услышал, что он завозился на постели, он так все и лежит, глаз не сомкнув. И страхи одолевают его все сильнее. Он старается убедить себя, что они беспричинны, и — не получается. Он все уговаривает себя: «Там ничего, то был лишь ветер в трубе камина; только мышка пробежала»; или: «то просто сверчок стрекотнул, вот и все». Да, такими именно уговорами и старался он успокоить себя, приободрить; но все было попусту. Все попусту, потому что Смерть, подобравшаяся вплотную, уже черной тенью маячила перед ним, и тень эта уже обволакивала жертву. И томительный гнет этой бесплотной тени заставлял его, не слыша и не видя, чутая мое присутствие.

Долго, терпеливо караулил я его, и все не слышно было, чтобы он лег; тогда я решился приоткрыть маленькую, маленькую щелку в фонаре. И вот, приоткрываю — вы не представляете себе, до чего тихо и осто-

рожно, пока наконец, один-единственный лучик, тонкий, как нить паутины, не протянулся сквозь щелку; и прямо на это птичье око.

Оно смотрело, широко-широко открытое, и, лишь взглянув на него, я пришел в ярость. Я видел его с предельной ясностью — водянисто-голубоватое, подернутое пленкой, от гнусного вида которой меня мороз пробирал до мозга костей; но ни лица, ни самого старика мне не было видно; потому что, словно по наитию, я направил луч прямо на эту проклятую точку.

Да, ведь я, кажется, уже говорил вам, что вы принимаете за помешательство сверхъизощреннейшую чувствительность? Так вот, продолжаю — тогда-то мне и послышался какой-то тихий, неясный, торопливо частящий звук, словно тикают часы, укутанные в вату. И этот звук тоже был моим добрым знакомым. То стучало сердце старика. И от его ударов я дошел до белого каления, как солдат, приходящий в раж от барабанного боя.

Но я и тут сдержался и затаился еще больше. Я почти не дышал. И старался не спускать луча с его глаза. А тем временем проклятый барабан, его сердце, бил все сильнее. Бой его становился все чаще и чаще, оно колотилось с каждым мгновением все громче и громче. Старик, верно, был в ужасе неопишущем! А оно стучало все раскатистей, говорю вам, что ни миг, все громче! вы следите? Я вам говорил, что у меня нервы — ну да, нервы. Тогда же, в глухую полночь, в мертвой тиши старого дома, этот дикий стук нагнал на меня такого страха, с которым не совладаешь. И все-таки еще несколько минут я сдерживал себя и стоял не шелохнувшись. А бой все громче, громче! Я думал, сердце его не выдержит. И тут новая тревожная мысль: сосед же услышит! Час старика пробил! С оглушительным воплем я засветил фонарь вовсю и ринулся в комнату. Он вскрикнул раз... всего раз. Я мигом стащил его на пол и привалил тяжелой постелью. Я еще улыбнулся, радуясь, что пока все идет как по-писаному. Но минуты шли за минутами, а сердце, хоть и слабо, но все прослушивалось. Теперь, однако, мне это было нипочем: через стену не услышат. Наконец, — остановилось. Старик умер. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был уже покойником. Я положил руку ему на сердце и долго не снимал. Не шелохнется. Вот и успокоился. Больше его глаз не будет меня смущать.

Если вы и теперь еще считаете меня сумасшедшим, то расстанетесь с этой мыслью, когда узнаете, до чего тонко все было проведено с уборкой трупа. Ночь была на исходе, и я работал без передышки, но бесшумно. Сначала я разрубил тело на части. Отсек голову, руки, ноги.

Потом я поднял три половицы в его комнате и засунул все это под настил. И снова настлал поднятые доски, да так ловко и умело, что глаз человеческий, будь то хоть его око, ничего и не заметит — все как было. Замывать было нечего, нигде ни от чего ни единого пятнышка, а уж кровавых пятен и подавно. Раз уж я взялся за дело! На то и чан, из него не расплещется; ха! ха!

Дело было сделано в четыре утра; но темно еще было, как ночью. Когда колокол отзвонил четвертый удар, в уличную дверь постучали. Я пошел открывать как ни в чем не бывало, чего мне было теперь бояться? Вошли трое, отрекомендовавшиеся со всей учтивостью: полиция. Посреди ночи сосед услышал какой-то крик; ему показалось, будто что-то неладно; донесли в участок, и вот они (чины полиции) отряжены сделать обыск.

Я улыбнулся — чего же мне было бояться? Попросил джентльменов проходить — пожалуйста, пожалуйста. Кричал я, пояснил я им; во сне. Старик, вернул я походя, сейчас в отъезде, поехал в деревню. Я провел гостей по всему дому. Попросил искать, пусть обыщут как следует. Наконец, проводил их — в его комнату. Я показал им все его богатство — вот оно, в целости и сохранности. В восторге от того, до чего же я уверен в себе, притащил туда стулья — пусть отдохнут; непременно, непременно, ведь устали же; свой же стул я — таким себя победителем чувствовал, что все мне было нипочем, — поставил прямо на те доски, под которыми покоились бранные останки моей жертвы.

Полицейские остались довольны. Мое поведение говорило само за себя. Держался я на редкость непринужденно. Они сидели, и, поскольку я отвечал на их вопросы все шуточками да прибаутками, сами разболтались. Но вскоре я почувствовал, что бледнею, захотелось, чтобы они ушли. Голова разболелась, в ушах словно какой-то звон; а они все сидят и болтают. А звон, казалось, все приближался: он не умолкал и становился все слышнее; чтобы заговорить это наваждение, я не умолкал ни на миг, а он все не унимался, прорывался все ясней, пока я наконец не сообразил, что он мне не просто чудится.

Теперь я уже, конечно, просто побелел, но речь моя лилась еще вольней, во весь голос. А звук все нарастал, ну, что мне было делать? Он сочился негромко, жиденько, с частыми перебойми — совсем как тиканье часов, укутанных в вату. Я уже дышал со всхлипом, а представители власти все не слышали его. Я зачастил еще быстрее, еще речистей, но потикиванье неумолимо нарастало. Я вскочил, понес какую-то чепуху, я уже почти кричал, бешено жестикулируя, — а оно все сильней. Да что же они все не уходят? Я метался по комнате, меряя ее из конца в конец огромными тяжелыми шажищами, словно вид гостей приводил меня в исступление; а оно — еще того сильнее. О, господи! да что же мне делать? Я был весь взмылен, я уже заговаривался, ругался! Я вертелся вместе со стулом, на котором сидел, елозил с ним вместе взад-вперед, скребя по полу все на том же месте, по этим самым половицам, а гул заглушал и этот скрежет и все остальное, он нарастал непрерывно. Все громче, громче, громче! А гости знай себе болтают в полное удовольствие да улыбаются. Да как же они не слышат? Нет, нет, Творец вседержитель! Да слышали они! Не верили мне! Знали! — и просто потешались над моим ужасом! — так мне тогда и подумалось и сейчас все еще думается. Но будь что будет, только бы не эта пытка! Хватит вы-

ставлять себя на посмешище, лопнуло мое терпение! Я видеть больше не мог этих притворных улыбочек! Я понял, что если не закричу, то вот она, смерть моя! а оно: еще — чу!.. громче! громче! громче! громче!..

— Изверги! — закричал я, — нечего прикидываться, хватит! Я признаюсь — я убил! Отдирайте половицы! Да, вот здесь, здесь! Это стучится его проклятое сердце!

ЗОЛОТОЙ ЖУК

*Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.
Тарантула укусил его...*

«Все не правы»¹

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри² и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, — можно увидеть ключую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой, как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высокоценного английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати-двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многие в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позапывал бы Сваммердам³. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни

угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18.. года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двусторчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка черных, как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову...

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, — вмешался Юпитер, — жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи, только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь

ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда, — промолвил он наконец, — обойдусь этим. — Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же, — сказал я, наглядевшись на него вдосталь, — это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. *Форменный череп!*

— Череп? — отозвался Легран. — Пожалуй что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Легран, — сказал я ему, — но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно, — отозвался он с некоторой досадой, — но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг, — сказал я ему. — Вы нарисовали довольно порядочный *череп*, готов допустить даже, хоть я и полный профан в вопросах остеологии, что вы нарисовали *замечательный* череп, и, если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его *Scarabeus carui hominis** или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

* Жук-человеческая голова⁴ (лат.).

— Не стоит волноваться, — сказал я, — может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. — И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как две капли воды, *походил на череп*.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намекаясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал блее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова устался на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я считал за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, — решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее, чем обычно.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога, уж не случилось ли чего дурного с моим другом?

— Ну, Юп, — сказал я, — что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что же он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

— Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не сердчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропал до ночи.

Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся. . .

— Как? Что? Отлупить его? . . . Нет, Юпитер, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что, как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

— После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день и приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук наверно и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану! Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слышал про таких золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

«Дорогой — !

Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie*? Нет, это, конечно, не так.

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да и рассказывать ли вообще.

* Резкость (франц.).

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил крупнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день, *solus* * в горах на материке. Только, кажется, нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. *Очень* прошу вас. Мне нужно увидаться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело *великой важности*. Ваш, как всегда

Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна, что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего хорошего. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его

* Один (лат.).

самочувствию и не зная, о чем еще говорить, — я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком! Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье, — продолжал Легран, торжествуя и усмехаясь, — он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойдя, принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и действительно блестящими, как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уже строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами, — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, — я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука. . .

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Лягте сейчас же в постель, и я пробуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс, — сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего — в постель. А затем. . .

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным, — ответил я, — но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решил я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь, — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я решил пока ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо действительные энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножья почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз, в долину, лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли, наконец, к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну... Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму!

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но, если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. — Всегда вы браните старого негра. А я пошутил и только! Что я боюсь жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или *Liriodendron Tulipiferum*, — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилки ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он поднимался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос, как будто издали:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран вне себя от волнения, — ты полезешь по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой! Что же делать? — воскликнул Легран, как видно в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. — Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. — Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать!

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не очень гнилая.

— Она, конечно, гнилая, — ответил негр, немного спустя, — да не такая гнилая. Пожалуй и немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран, испытывая, видимо, облегчение. — Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра!

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз и если ты будешь держать

жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься вниз.

— Хорошо, масса Вилл, лезу, — очень быстро ответил Юпитер, — а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран. — Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный. — Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

— Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки... Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в десять-двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек в том самом месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще

пятьдесят футов. Юпитер с косою в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, взял сам лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к подобным забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если б я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук «из чистого золота».

Такие мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрее и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран, а я был бы только рад, если бы с помощью постороннего человека смог вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом большую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом

углубили яму еще на два фута. Результаты остались теми же. Мой золотискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер, по знаку своего господина, стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер выпучил глаза, раскрыл широко рот и, уронив враз лопаты, упал на колени.

— Каналья, — с трудом процедил Легран сквозь сжатые зубы, — проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на *правый* глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

— За дело! — сказал Легран. — Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер, — сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножья дерева, — говори: как был прибит череп, к ветке лицом или наружу?

— Наружу, масса, чтобы вороны могли клевать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указал пальцем на *правый* глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но, хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое

действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напаять ему намордник и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через несколько секунд он отрыл два человеческих скелета, а, вернее, груды костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить свою просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку; лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой — в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение — и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровище, не передать словами. Прежде всего, я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был поражен словно громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровище свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу и господина — к порядку: нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшись, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, под утро, мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остаток добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжелой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще каких-то монет, нам совсем неизвестных. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочесть на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправы и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадилъниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукра-

шенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещей, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уже не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизм, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда, наконец, мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Лэгран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылал и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать, — заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но, как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого

другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы его, конечно, заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, предчувствие той разгадки, которую столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он и я, одновременно, увидели этот пергамент; он показался тогда мне бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхность. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро опустил жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может, боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естественным. Я в свою очередь сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нашупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую *связь* событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент — *не бумага*, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для

ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на *форму* пергамент. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить.

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я, примерно, так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако, помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел к столу. Ну а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Лево́й рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте *под влиянием тепла*.

Вы, конечно, слышали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно писать невидимо и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру⁵ в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка, — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамент, — *выделялся отчетливее*. Значит действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа просту-

пили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была не коза.

— Не коза так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть, — ответил Легран, — сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде⁶? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. Подпись я говорю, потому что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном, по диагонали, углу в свою очередь наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук — из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришлось на тот самый день, выпадающий, может быть, *раз в году*, когда мы топим камин. А ведь без камин и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если пират отрыл бы сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было означено местонахождение клада, помешала Кидду найти и забрать его. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Дово-

дилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. И так, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешают грязь, наростая на пергаменте. Я взял пергамент и осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал его еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам ее покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки:
53 # # + 305) 6 *; 4826) 4 # .) 4 # #; 806 *; 48 + 8 || 60)) 85;;] 8 *;; # * 8 + 83 (88) 5 * +; 46(; 88 * 96 * ?; 8) * # # (; 485) ; 5 * + 2 : * # # (; 4956 * 2 (5 * = 4) 8 || 8 *; 4069285) ;) 6 + 8) 4 # # #; 1 (# 9; 4 8081; 8 : 8 # 1; 48 + 85; 4) 485 + 528806 * 81 (# 9; 48; (88; 4 (# ? 34; 48) 4 # #; 161; : 188; # ?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент, — меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды⁷ я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же, — сказал Легран, — она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, — шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, какую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится

к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами *kid* и *Kidd* возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей⁸ скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал: криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимение *я* или союз *и*), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
"	;	"	27	раз
"	4	"	19	"
")	"	16	"
"	#	"	15	"
"	*	"	14	"
"	5	"	12	"
"	6	"	11	"
"	+	"	8	"
"	1	"	7	"
"	0	"	6	"
"	9 и 2	"	5	"
"	: и 3	"	4	раза
"	?	"	3	"
"		"	2	"
"	= и]	"	1	раз.

В английской письменной речи самая частая буква — *e*. Далее идут в нисходящем порядке *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z*. Буква *e*, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву *e* английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква

е очень часто удваивается, например в словах meet или fleet, speed или seed, seen, beep, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это e. Самое частое слово в английском — определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков ; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что точка с запятой — это буква t, а 4 — h. Вместе с тем подтверждается, что 8 действительно e. Мы сделали важный шаг.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода — ; 4 8. Идущий сразу за 8 знак ; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем начиная с него шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t. eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания *th*, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы поочередно. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t. ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — r, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree.

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание ; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree; 4 (# ? 34 the

Заменим уже известные знаки буквами:

the tree thr # ? 3h the

А неизвестные знаки точками:

the tree thr... h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово — through (через). Это открытие дает нам еще три буквы о, и и г, обозначенные в криптограмме знаками $\#$? и 3.

Внимательно взглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83 (88

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква d обозначена знаком $\#$.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

; 4 8 (; 8 8*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th. rtee

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились i и n, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

5 3 $\#$ $\#$ $\#$ $\#$

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

good

Недостающая буква конечно a, и, значит, два первых слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы:

5	означает	a
$\#$	"	d
8	"	e
3	"	g
4	"	h
6	"	i
*	"	n
$\#$	"	o
("	r
;	"	t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

«A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's seat — twenty-one degrees and thirteen minutes — northeast and by north — main branch seventh limb east side — shoot from the left eye of the death's-head — a bee-line from the tree through the shot fifty feet out». [Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо—северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов].

— Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен, — сказал Легран, — текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо—северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены, — сказал я, — но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время, — сказал Легран. — Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с Сэлливановым островом какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessop), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком,

выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло значить только одно — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо—северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Спустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо—северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Ориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии, или просвете, в листе громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие открыло меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямою», то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно, — сказал я, — и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листе дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, заметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но наавтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит, — сказал я, — первый раз мы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало и, когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище — здесь, наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Может быть, вы и правы, хотя лично я думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее...

— Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что ж, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в своем уме, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос. Откуда эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут возможна, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если он владелец сокровища, в чем я лично не сомневаюсь, — не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А быть может, потребовался целый десяток — кто скажет?

ЧЕРНЫЙ КОТ

Не жду и не требую доверия к чудовищной, но житейски обыденной повести, к изложению которой приступаю. Поистине безумна была бы такая надежда, если уж мой разум и то отрекается от своих же собственных показаний. А я не сошел с ума и, ручаюсь, не брежу. Но завтра мне умирать, и сегодня хочется облегчить душу. Чтобы перейти прямо к делу, постараюсь ясно и покороче, без комментариев представить людям добрым череду мелких домашних неурядиц. Из-за них я жил в страхе, мучился и погиб. Воздержусь, однако, от их истолкования. Мне от них только жутко, а многим все эти перипетии покажутся не то, чтобы страшными, а скорее уж *bagotques* *. Со временем же, не исключено, что сыщется кто-то поумней и объяснит этот фантазм так, что все окажется проще простого, — ум поспокойнее, тверже, логичней, не мечущийся, не то, что у меня, установит в стечении обстоятельств, которые я описываю в священном ужасе, всего лишь ряд причин и следствий, вытекающих друг из друга как нельзя естественней.

С малолетства я отличался кротостью и добротой. Мягкосердечие мое было столь явно и нескрываяемо, что стало у приятелей притчей. Особую слабость питал я к животным, и, поскольку родители мне потакали, то каких только зверушек у меня не водилось. С ними я по большей части и проводил досуги, и не было у меня большей отрады, чем кормить их и холить. Причуда эта с годами усилилась, и, уже взрослым, именно в ней я обрел одну из самых неизменных утех. Тем, кто имел возможность оценить преданность и понятливость какой-нибудь собачонки, вряд ли нужно объяснять, сколько прелести в том находишь. Ведь бескорыстие и самоотверженность любви животного сами по себе покоряют сердце каждого, кому доводилось убедиться, как недорого стоит дружба людская, как недолговечна верность человеческая.

Женился я рано и, к радости моей, нашел в жене родную душу. Видя мою любовь к домашним животным, она при каждом удобном случае доставала их мне и всегда угождала. Мы держали птиц, золотых рыбок, славного пса, кроликов, обезьянку и кота.

Этот последний был на диво огромен и просто красавец; сплошь черный и поразительного ума зверь. Говоря о его уме, жена, хоть суеверностью и не отличалась, не упустит, бывало, случая помянуть старинное народное поверье на счет черных кошек — будто то ведьмы так меняют свой облик. Говорилось это *просто так*, и рассказано мной без всякой задней мысли, просто к слову пришлось.

* Здесь: нелепыми (франц.).

Плутон — так звали кота — был моим баловнем, и мы с ним вечно возились. Ел он всегда только из моих рук и во дворе не отставал от меня ни на шаг — куда я, туда и он. Нелегко бывало отвадить его, чтобы не увязывался за мной и на улицу.

Так мы дружили с ним несколько лет, а между тем я (горько каюсь) безобразно спивался, отчего душевное мое здоровье и нрав пострадали самым плачевным образом. День ото дня я становился все угрюмей, раздражительней, все нетерпимей к окружающим. Меня и самого коробило от того, как я стал покрикивать на жену. А там дошло и до рукоприкладства. Вполне понятно, что и любимцам моим приходилось теперь несладко из-за моего тяжелого нрава. Я уже не только держал их в черном теле, но и мучил. К Плутону, однако, я еще благоволил, так что с ним пока не доходило до тех расправ, какие я без зазрения совести учинял над кроликами, обезьянкой и даже собакой, стоило им только по неосторожности или от избытка чувств сунуться ко мне. Но недуг мой — а есть ли напасть хуже алкоголизма! — одолевал меня все злее, и вот, наконец, даже Плутону, который уже начинал стареть, а потому и превращаться в брызгу... самому Плутону стало тоже доставаться, когда я был не в духе.

Однажды, когда я, порядком пьяный, ввалился ночью домой после очередной вылазки в один из полюбившихся мне городских вертепов, мне померещилось, что кот меня сторонится. Я сгреб его, а он, когда я на него вдруг набросился, с перепугу чуть куснул меня за руку, и ранка-то была пустяковая. Мгновенно демон безумия овладел мною. Я уже себя не помнил. Вещая моя душа, казалось, тотчас же отлетела, словно вспугнутая, и все во мне задрожало от такой злобы, какая бывает только по наущению хуже бесовского — от джина. Я вынул из жилетного кармана перочинный нож; раскрыл, хватаю бедное животное за глотку и не спеша вырезаю ему глаз! Горько мне теперь, совестно описывать гнусное мое зверство.

Когда поутру в голове прояснилось... когда сон рассеял помрачение этой дикой ночи, я ужаснулся и устыдился, чувствуя себя преступником; но покаяние выходило какое-то, мягко говоря, худосочное, не от всей души. Я снова пустился во все тяжкие и вскоре утопил в вине воспоминания о деле рук своих.

В положенный срок кот потихоньку оправился. Правда, пустая глазница выглядела ужасно, но от боли он больше как будто не страдал. Он расхаживал по дому, как ни в чем не бывало, но, как и следовало ожидать, в страхе убегал, стоило мне приблизиться. Я еще не совсем загрубел и на первых порах огорчался от столь явной неприязни, ведь еще недавно он так любил меня. Но смущение не замедлило смениться раздражением. А там уж разыграл на полную и безвозвратную мою гибель бес противоречия. Философия совершенно игнорирует это явление. Я же скорей усомнюсь, есть ли у меня душа, чем в том, что потребность перечить заложена в нашем сердце от природы — одна из тех первозданных и

самых неотъемлемых наших особенностей, в которых начало начал всего поведения человеческого. Кто ж не ловил себя сотни раз на подлости или глупости, на которые нас подбило только сознание, что так поступать *не* положено? Разве не тянет нас то и дело, рассудку вопреки, поглумиться над *законом* единственно потому, что мы сознаем его непреложность? Вот бес противоречия и обуял меня, повторяю, на полную мою погибель. То была непостижимая потребность души *распалить* себя, надругаться над собственной своей природой, осквернять только ради скверны; она-то и побудила меня, изуевич безответное животное, не останавливаться на полпути, а довести дело до конца. Однажды я преспокойно накинул ему петлю на шею и повесил на суку; повесил, а у самого слезы ручьем, и раскаяние гложет сердце; повесил его, *потому что* знал, как он любит меня, и *потому что* понимал, что он ничем передо мной не провинился; повесил его, *потому что* знал, что это — грех, смертный грех, и я почти наверняка обрекаю свою бессмертную душу на такую отверженность, что на меня, если такое только мыслимо вообще, уже не простирается даже не знающее границ всепрощение всемилостивого и всевысшего господа.

Той же ночью, после дня, когда было совершено это злодейство, я был разбужен криками: «Пожар!» Полог моей кровати пылал. Весь дом был залит ослепительным светом. Мы с женой и служанкой еле спаслись, чуть не сгорев заживо. Разорение было полное. Все мое добро поглотил огонь, и я впал в самое безысходное отчаяние.

Я не суеверен и не хочу представить дело так, будто между постигшим меня бедствием и моим душегубством есть некая причинная связь. Просто, перебирая цепочку фактов, я стараюсь, чтобы каждое звено было на своем месте, в целостности и сохранности. Днем я отправился на пепелище. Все стены, кроме одной, обрушились внутрь дома. Уцелела лишь легкая внутренняя перегородка, в которую упиралось изголовье моей кровати. Штукатурка на ней почти не пострадала от огня — обстоятельство, которое я отнес за счет того, что она еще не успела просохнуть. Народ устроил перед этой стенкой настоящую давку, многие в толпе, казалось, высматривали очень внимательно и с живейшим интересом что-то на одной из ее частей. Слова «непонятно!», «необъяснимо!» и другие в том же роде возбудили во мне любопытство. Я подошел и увидел резко выступивший на побелке *барельеф* — фигуру гигантского *кота*. Изображение было выполнено с точностью поистине поразительной. Вокруг шеи животного была веревка.

Сначала, когда это видение — ибо иначе его и не назовешь — предстало перед моими глазами, моему изумлению и ужасу не было предела. Но, пораскинув умом, я в конце концов сообразил, в чем дело. Кот, припомнилось мне, был повешен в саду, неподалеку от дома. Когда весть о пожаре всполошила людей, в сад набилось множество народу. . . кто-то из толпы, должно быть, перерезал веревку и швырнул животное мне в окно спальни. По-видимому с намерением разбудить меня. Когда стены рушились, их обвал вдавил жертву моей жестокости в еще сыроватый под

побелкой грунт; а тогда уж известь, огонь и выделившийся из трупа ammonia * довели портрет до полного совершенства.

Хотя разум, вопреки совести, оказавшейся не столь сговорчивой, охотно внял этим доводам, воображение мое после только что пережитого было болезненно воспаленным. Несколько месяцев подряд кот-призрак преследовал меня неотступно, и тогда же сердце мне начало как-то щемить, словно бы снова заговорила — но то было не так — чуть ли не сама совесть. А там, час от часу не легче, я стал оплакивать потерю этой твари и приглядывать себе по грязным кабакам, из которых теперь не вылезал, нового друга сердечного того же рода и племени и хотя бы приблизительно тех же статей.

Как-то раз засиделся я, отупев, в одном более чем подозрительном кабаке, как вдруг меня поразило что-то черное, раскинувшееся на верхнем днище огромной бочки с джином или ромом, из каких главным образом и состояла обстановка здешней обители. Несколько минут я внимательно разглядывал, что это там на крышке, удивляясь теперь уже тому, что приметил эту диковину только сейчас. Подхожу; тронул рукой. Так и есть: черный кот — громадина с Плутона ростом и весь был бы как тот, если бы не одно. У Плутона на всей шкуре не было ни одной светлой волосинки, а у этого большое, но нечеткое белое пятно почти во всю грудь.

Едва я коснулся его, он тут же встал, громко замурылкал, потеряв мою руку, явно обрадованный, что я не прошел мимо. Такого именно, как этот зверь, мне и было нужно. Я, не сходя с места, предложил трактирщику отступного за кота, но трактирщик не признал его своим, понятия о нем не имел, в первый раз видел.

Я все гладил кота, и, когда стал уходить, тот собрался со мной. Я не возражал и по дороге то и дело нагибался погладить его. Когда мы добрались, он мигом освоился у нас как дома и с той же минуты оказался в великой милости у жены.

Меня же, как я вскоре почувствовал, он все больше тяготил. А я-то думал, что будет совсем иное; однако, сам не знаю отчего и почему, но его неподдельная любовь была мне противна, злила. Медленно, но верно гадливость и раздражение вырастали в жгучую ненависть. Я сторонился этой твари, невесть откуда взявшаяся совесть и память о недавнем свирепом бесчинстве не позволяли мне разделаться с ним. За несколько недель я ни разу не прибил его, да и вообще пальцем не тронул; но постепенно, мало-помалу, я уже и видеть его не мог от омерзения и при его приближении молча исчезал, словно боясь подцепить чуму.

Моя ненависть, несомненно, усиливалась от того, что, как выяснилось уже наутро, после его водворения к нам, у него, опять-таки точь-в-точь как у Плутона, тоже не было глаза. Этим он, однако, только еще больше полюбился моей жене, у которой, как я уже говорил, сердце было необык-

* Аммиак (лат.).

новенно отзывчивым, как и мое в те былые времена, когда за доброту мою мне было дано столько простых и чистых радостей.

Однако, чем ненавистней кот становился мне, тем, как будто, милей ему — я. Он таскался за мной по пятам с упорством, о котором мне трудно дать читателю ясное представление. Стоило мне сесть, как он тут как тут, свертывался клубком под стулом или вскакивал мне на колени и лез со своими нежностями, от которых меня с души воротило. Стоило мне встать — и он путался на ходу под ногами, чуть не опрокидывая на пол или же, вцепившись своими острыми когтями в одежду, карабкался мне на грудь. Однако, как ни подмывало меня тогда хватить его разок, чтобы дух из него вон, я не давал себе воли, отчасти памятуя о недавнем преступлении, но, главное — признаваться, так уж сразу, — я трепетал перед этим зверем и ничего не мог с собой поделать.

Не то, чтобы мне мерещилась какая-то чистая физическая опасность, но иначе как и определить мой страх перед ним. Не без смущения — да, даже здесь, в темнице, я стыжусь подобной слабости, — должен признаться, что мой панический ужас перед этим зверем достиг апогея из-за одной химеры, такой, что пустяковой ничего себе не представишь. Жена не раз обращала мое внимание на рисунок белого пятна, о котором уже говорилось и кроме которого ничто не отличало этого загадочного зверя от загубленного мной. Читатель припомнит, что первоначально пятно было большим, но бесформенным, но мало-помалу — так, что и не уследишь, и рассудок мой долго не мог примириться, что это не наваждение, — весь его рисунок стал беспощадно ясен. То была точная копия приспособления, от одного названия которого меня дрожь берет — вот главное, отчего я терпеть его не мог, боялся и, *наберись я духу*, это страшилище только бы и видели: там было, говорю я, запечатлено ужасное и нечестивое устройство... виселица! .. о, унылое, беспощадное орудие страшения и возмездия, муки и смерти!

Теперь я был конченным человеком, хуже самого жалкого из людей. И *какая-то тварь* бессловесная, сородича которой я истребил и хоть бы что... *какая-то гадина* обрекла меня, меня — человека, созданного по образу и подобию божью, на такие немислимые муки! Увы! Теперь я уже не знал ни сна, ни покоя. Днем некуда было деться от этой твари, а по ночам я ежечасно срывался с постели от кошмарных сновидений, но тут же лицо мне обдавало жаркое дыхание этой *мрази*, навалившейся на меня всей своей тушей — живой вес кошмара, которого не стряхнуть, который вечно давил мне на *сердце*!

Под этой пыткой во мне стерся последний слабый след добра. Только злые мысли и шли на ум — самые черные, безрадостные, самые подлые мысли, и я упивался ими. Из раздражительного меланхолика вырос человеконенавистник, которому все не то и не так; а когда я вдруг начинал в ярости кидаться, как бешеный, что теперь вошло у нас в обычай и чему я предавался самозабвенно, — самой многострадальной и кроткой из моих жертв — *увы!* — была моя безответная жена.

Однажды мы спустились с ней зачем-то по хозяйству в подвал нашего ветхого дома, пристанища нашей бедности. Кот кинулся за мной очертя голову по крутой лестнице и чуть не сбил с ног, чем привел меня в бешенство. Схватив топор и в дикой ярости разом забыв о жалких страхах, что до сих пор связывали мне руки, я замахнулся на животное так, что удар, пришлось он по цели, был бы смертельным. Но жена перехватила мою руку. Доведенный этим вмешательством до исступления, я вырвался и раскроил ей топором череп. Она упала мертвая, не издав и стона.

Совершив это гнусное убийство, я отнюдь не потерял головы, а тут же, не мешкая, стал обдумывать, куда бы мне девать труп. Я понимал, что вынести его из дома так, чтобы соседи не увидели, не удастся ни днем, ни ночью. Планов возникло множество. Сначала мне пришло в голову разорубить тело на мелкие куски и сжечь по частям. Потом я решил вырыть могилу в погребе. Подумывал я и о том, не бросить ли его в колодезь во дворе; или — заколотить в ящик и тем же порядком, как товар на продажу, подрядить грузчика, забрать ящик из дома. Наконец, я напал на решение, которое показалось мне похитрее, чем все эти уловки. Я решил замуровать труп в подвале, по примеру средневековых монахов, которые, по сохранившимся сведениям, замуровывали свои жертвы.

Подвал вполне годился для подобной цели. Стены были непрочной кладки и недавно покрыты грубой штукатуркой, которой подвальная сырость не давала затвердеть. Что того еще лучше — в одной из стен имелась впадина, предназначенная то ли для вытяжки, то ли для топки, заложённая кирпичом, так что стена ничем не отличалась от остальных. Я не сомневался, что без труда разберу кладку на этом участке, помещу труп в нишу и восстановлю стену, все как было, никто и не додумается.

И я не ошибся в своих расчетах. Ломом я легко разобрал кладку в этом месте, аккуратно прислонил тело к задней стенке впадины и подпер его в этом положении, не давая упасть, восстановить же стену в прежнем виде не представляло особого труда. Разведя известку и добавив песку и щетины, я замешал раствор, стараясь, чтобы он был неотличим от прежнего, и тщательно покрыл им новую кладку. Кончив работу, я убедился, что дело сделано на совесть. Стена выглядела так, что не придерешься, как будто ее и не думали перебирать заново. Весь сор был тщательнейшим образом убран с пола. Я огляделся взором победителя и сказал себе: «Здесь-то уж я потрудился не даром».

Затем я первым делом принялся за розыски этой твари, которая накликала такое бедствие, потому что решил наконец бесповоротно убить его. Попадись он мне тогда, не было бы ему, конечно, спасенья, но оказалось, что, набравшись страху от того, как безудержен я во гневе, этот мошенник почел за благо не попадаться мне под сердитую руку. Не сказать и не передать, с каким облегчением я вздохнул, убедившись, что эта гнусная тварь исчезла. Не появился он и ночью, и в кои-то веки с тех пор, как он втерся к нам в дом, я хотя бы спал крепко и безмятежно; да, спал себе, хоть и принял на душу убийство!

Прошел еще день, потом — еще, а мой мучитель все не появлялся. Снова я стал дышать всей грудью. Чудовище перепугалось так, что его и след простыл, и — с глаз долой! Радость моя была безмерной. Страшное преступление почти и не тяготило меня. Произведен был небольшой допрос, но у меня на все был готов ответ. Приходили даже с обыском, но, само собой, ничего не нашли. За будущее нечего было тревожиться, и оно мне казалось самым радужным.

На четвертые сутки после убийства ко мне нагрянули из полиции и давай снова допытываться, что да как. Однако, в полной уверенности, что до моего тайника им век не докопаться, я себе и в ус не дул. Представители власти потребовали, чтобы я был при них неотлучно во время поисков. Обшарили все углы и закоулки. Наконец, уже в третий или четвертый раз, спустились в подвал. Ни единый мускул у меня не дрогнул. Сердце билось ровно, как у спящих сном праведника. Я прошелся по подвалу из конца в конец. Полиция во всем удостоверилась и уже готова была отбыть. Ликование так переполняло меня, что удержаться не было сил. Меня так и подмывало на радостях вернуть хоть словечко, чтобы их уверенность в моей невинности удвоилась.

— Джентльмены, — сказал я наконец, когда вся компания поднялась уже по лестнице, — мне очень приятно, что ваши подозрения рассеялись. Желаю вам здравствовать и быть чуточку полюбезней. Между прочим, джентльмены, ведь дом этот . . . его строили на совесть (меня до того разбирала охота поболтать непринужденно, что я уж и сам не знал, что несу), с позволения сказать, *преотлично* построено. Вот, стены. . . вы уже уходите, джентльмены? . . . Прочно сложены эти стены, — и тут я, просто уж из озорства, громко постучал случившейся у меня в руках тростью в ту часть кладки, за которой стоял труп моей благоверной.

И — да оборонит меня Всевышний и да не оставит в когтях Архидиавола! Не успело эхо моих ударов замереть, как мне отозвался голос из могилы! . . . крик — сначала приглушенный и прерывистый, как всхлипывания плачущего ребенка, а затем взмывший до протяжного, оглушительного, неумолчного воя, — какой-то совершенно не людской и не звериный вопль, рев с подвываньем, в котором слились ужас и ликование; такой мог вырваться разве что из преисподней, исторгнутый одновременно из глоток корчащихся грешников и радующихся их мукам чертей.

О том, что творилось у меня в голове, не стоит и говорить. Весь обмякнув, я, шатаясь, добрал до противоположной стены. На миг люди, задержавшиеся на лестнице, остолбенели от ужаса и изумления. Затем с дюжину крепких рук изо всех сил навалилось на стену. Она рухнула. Покойница, уже сильно тронутая тлением, покрытая запекшейся кровью, предстала в полный рост на общее обозрение. На голове у нее восседал, во весь зев разинув окровавленную пасть, проклятый зверь с горящим единственным глазом, чье коварство довело меня до убийства и чей обличающий голос предал в руки палача. Я замуровал это чудовище вместе с убитой!

НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА

*Гули, гули, гули,
А тебя надули!*

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал иеремиаду о ростовщичестве и звался Иеремиа Бентам¹. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нила² и был, в узком смысле, великий человек. Другой дал имя³ самой важной из точных наук и был великим человеком в широком смысле слова — я бы сказал даже, величайшим.

Понятие «надувательства», — вернее, отвлеченная идея, заключающаяся в глаголе «надувать», — знакомо каждому. Но самый акт, *надувательство* как единичное действие, с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству как таковому, но человеку как животному, которое надувает. Напади в свое время на эту мысль Платон, ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ошипанной курицы⁴.

Ему был задан очень остроумный вопрос: «Не будет ли ошипанная курица, безусловно являющаяся «двуногим существом без перьев», согласно его же собственному определению, человеком?» Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек — это животное, которое надувает; и кроме человека ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ошипанных кур ничего не может сделать.

То, что составляет существо, основу, принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характеризующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует; лиса плурует; хорек хитрит — человек надувает. Надувать — таков его жребий. «Человек рожден, чтоб плакать»⁵, — сказал поэт. Но это не так: он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни — его жизненная задача — его *предназначение*. Поэтому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже «отпетый».

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное, его составными частями являются: мелкий размах, корысть, упорство, выдумка, дерзость, невозмутимость, оригинальность, нахальство и *ухмылка*.

Мелкий размах. — Надувала работает с небольшим размахом. Его операции — операции малого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнись он на крупную спекуляцию, и он сразу же утратит свои характерные особенности, и это уже будет не надувала, а так называемый «финансист», каковой термин передает все аспекты понятия «надувательства», за исключением его масштаба. Таким

образом, надувала может быть рассмотрен как банкир *in petto**, а «финансовая операция» — как надувательство в Бробдингнег⁶. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с «Флакком»⁷ — как мастодонт с мышью — как хвост кометы с хвостиком поросенка.

Корысть. — Надувалаой руководит корысть. Он не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности — свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает Номер Первый. А вы — Номер Второй и должны сами о себе позаботиться.

Упорство. — Надувала упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто привести в отчаяние. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели, и

*Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto***,

— так и он не выпускает свою добычу.

Выдумка. — Надувала горазд на выдумки. Он обладает большой изобретательностью. Способен на хитрейшие замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любого положения. Если бы он не был Александром, то желал бы быть Диогеном⁹. Не будь он надувалоой, он мастерил бы патентованные крысолочки или ловил на удочку форель.

Дерзость. — Надувала дерзок. Он — бесстрашный человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надувала получился бы из Дика Терпина¹⁰; чуть поменьше болтовни — из Даниела О'Коннела¹¹, а лишний фунт-другой мозгов — из Карла Двенадцатого.

Невозмутимость. — Надувала невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь не было. Не поддается суете. Его никто не выведет из себя — даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен — «как светлая улыбка леди Бэри»¹². Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Байй¹³.

Оригинальность. — Надувала оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него — собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что раздобыл его неоригинальным надувательством.

Нахальство. — Надувала нахален. Он ходит вразвалку. Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. Хохочет вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

Ухмылка. — Настоящий надувала венчает все эти свойства ухмылкой. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закон-

* В миниатюре, в уменьшенном виде (лат.).

** Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры⁸ (лат.).

чен день трудов — когда дело сделано поздно вечером у себя в каморке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. И по завершении всего этого надувала широко скалит зубы. Это — не гипотеза, а нечто само собой разумеющееся. Я рассуждаю à priori*, ибо надувательство без ухмылки — не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества. Первым надувалой, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли наши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа «преданий старины»¹⁴, удовлетворюсь кратким обзором «примеров наших дней».

Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму процентов на двадцать ниже ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет свой адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер — дивана нет. Проходит следующий день — все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал — кроме надувалы, проникнувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захоти мы сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, раздосадованный, что оставил бумажник в кармане другого сюртука, и говорит приказчику так:

— Мой дорогой сэр, бог с ним со всем. Сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо? ... Хотя постойте, кажется, у меня и там нет мелочи меньше пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

— Очень хорошо, сэр, — отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков, — говорит он себе, — которые бы просто положили товар

* Исходя из общих соображений (лат.).

подмышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар».

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему совершенно случайно встречается давешний господин и восклицает:

— А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе пять долларов — я ей оставил указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо мне. серебро мне как раз кстати: я должен зайти на почту. Прекрасно! Один, два... это не фальшивый четвертак? ... три, четыре — все верно! Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри, не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге — и, однако, очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что не такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и чувствует обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отвалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться так дешево, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей очевидностью доказывает, что первый сборщик пошлин — надувала и ранее произведенный сбор — надувательство.

Или еще нечто в этом роде. От пристани с минуты на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается, как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто из джентльменов потерял бумажник?» — кричит он. Никто с уверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его — ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя.

— Время не ждет, — говорит капитан.

— Ради всего святого, повремените хоть несколько минут, — просит господин с бумажником. — Настоящий владелец должен объявиться с минуты на минуту.

— Нельзя! — отвечает корабельный вседержитель. — Эй, вы там! Отдать концы!

— Ах, ну что же мне делать? — восклицает нашедший в великом беспокойстве. — Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр (здесь он обращается к господину, стоящему на пристани), вы глядите честным человеком. Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо

поместить объявление. Дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты...

— Меня? Нет, *вас!* Ведь это *вы* нашли бумажник.

— Ну, если *вы настаиваете*, я готов принять маленькое вознаграждение — только, чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только сотенные! Вот незадача! Сотня — это слишком много, без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

— Отдать концы! — командует капитан.

— Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше *вам*...

— Отдавай концы!

— Ничего! — кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике. — Сейчас все устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет пятьдесят долларов и бросает господину на берегу бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что «банкноты на большую сумму» — не более как грубая подделка и вся эта история — первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надувала располагается на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина — один цент с пешехода, два — с лошади или осла, и так далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняются, и надувала возвращается домой, разбогатев на пятьдесят-шестьдесят тяжким трудом заработанных долларов. Сбор денег с большого количества народу — занятие в высшей степени утомительное.

А вот тонкое надувательство. Друг надувалы владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надувала покупает дюжины две таких бланков и ежедневно окунает по одному бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает его ей на съедение. По наступлению срока расплаты по долговому обязательству надувала и надувателя собака являются в гости к другу, где речь тут же заходит о долге. Друг вынимает расписку из своего *escritoire* * и готов протянуть ее надувале, как вдруг собака надувалы подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надувала не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только ему его предъявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувалы оскорбляет на улице даму. Сам надувала бросается ей на помощь, и, любовно отколовив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до

* Бювар (франц.).

дверей ее дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается. «Неужели же, сэр, — лепечет она, — нет никакого способа мне выразить мою благодарность?»

— Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама решается немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надувала подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее разглядывает и говорит:

— Нет, не нравится мне этот табак. Натe, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди подается и выпивается, и надувала направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его:

— По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой.

— Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак?

Что же вам еще надо?

— Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак.

— Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, чего не брал?

— Но, сэр, — бормочет буфетчик, совершенно растерявшись, — но, сэр...

— Никаких «но», сэр, — обрывает его надувала в величайшем негодовании. — Знаем мы ваши штучки, — и, ретируясь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, самая простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление в одной из многих газет большого города.

Надувала заимствует из этого объявления факты, изменив заглавие, общую фразеологию и адрес. Оригинал, скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: «Утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, № 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом: «Потерян» и адрес указан: Дик-стрит, № 2 или Гарри-стрит, № 3. Кроме того, копия помещена одновременно в пяти или шести газетах, а во времени отстает со своим появлением от оригинала всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И, разумеется, пять или шесть шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по

адресу, указанному надувалой, а не в дом настоящего владельца. Надувала уплачивает вознаграждение, получает драгоценность и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в сорок-пятьдесят долларов, прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом номер такой-то по сямой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо всяких расспросов. Дня два спустя, в то время, как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сямой-то улице раздается звонок; слуга открывает; посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдет позже. «Ни в коем случае!» — восклицает слуга, и — «Ни в коем случае!» — восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рассматривают, шумно узнают, выплачивают вознаграждение и посетителя чуть ли не взащей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке неодобрение, ибо они заплатили сорок или пятьдесят долларов за *fac-simile** ее бриллиантового перстня — *fac-simile*, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта наука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для каковой цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое сравнительно недавно произошло у нас в городе, а впоследствии было не без успеха повторено и в некоторых других, не менее значных местностях Штатов. В город неведомо откуда приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, но скромно, просто — белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства; мягкие, широкие штилеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, респектабельный, трезвый *deux par excellence*** — один из тех суровых и по видимости жестких, а в душе мягких людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, каковые герои, как из-

* Копию (лат.).

** Прежде всего (франц.).

вестно, одной рукой раздают гиней, а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут из человека все до сотой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. И вообще предпочитает снять комнату и поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит, единственное его условие — это что за квартиру он будет платить точно по первым числам каждого месяца (сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов утра *первого* числа каждого месяца и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли в глаза. — «За богатой вывеской, — провозглашает он, — редко бывает по-настоящему солидное дело», — замечание, столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии, на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг — объявление, наподобие нижеследующего, которое помещается в одной из главных деловых газет города, взимающих по шести пенсов за объявление. (До более дешевых газет он не снисходит: во-первых, они недостаточно солидны, а во-вторых, требуют платы вперед, а наш господин, как в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана.)

«Требуется. — Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалованье. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие и не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, поскольку будущие обязанности клерков связаны с большой ответственностью и поскольку через их руки будут проходить значительные суммы, сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих убедительных свидетельств о строгих нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между десятью и одиннадцатью часами утра и четырьмя и пятью часами дня к господам

Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К^о

в доме № 110 по Сучкью-стрит».

К тридцать первому числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Ком-

пания человек пятнадцать-двадцать молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт — какой же делец в таких вопросах торопится? — так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности своего направления ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои пятьдесят долларов — просто для порядка — от respectable фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа следующего месяца, хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета — упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на -кью, без сомнения, сурово выбранил бы ее, когда бы его удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтенный господин — *p. e. i.*, каковые буквы расшифровываются людьми знающими как начальные классической латинской фразы: *non est inventus* *. Между тем, молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно стирает карандашную надпись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии, на широких полях Притчей Соломоновых.

* Не найден (лат.).

ОЧКИ

Некогда принято было насмехаться над понятием «любовь с первого взгляда»; однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма или магнетовэстетики заставляют предполагать, что самыми естественными, а, следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце, точно электрическая искра, — словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины.

Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод — мне не исполнилось и двадцати двух лет. Моя нынешняя фамилия — весьма распространенная и довольно-таки плебейская — Симпсон. Я говорю «нынешняя», ибо я принял ее всего лишь в прошлом году, ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника, Адольфуса Симпсона, эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя — но только фамилию, а не имя; имя мое — Наполеон Бонапарт.

Фамилию Симпсон я принял неохотно; ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией — Фруассар и считаю, что мог бы доказать свое происхождение от бессмертного автора «Хроник»¹. Если говорить о фамилиях, отмечу кстати любопытные звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий мосье Фруассар из Парижа. Моя мать, вышедшая за него в возрасте пятнадцати лет, — урожденная Круассар, старшая дочь банкира Круассара; а супруга того, вышедшая замуж шестнадцати лет, была старшей дочерью некоего Виктора Вуассара. Мосье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией — Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком; а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцати лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было, четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой, что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и неприятных *provisio* *.

Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую девять человек из десяти

* Условиях (лат.).

назовут красивой. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос — довольно правильной формы. Глаза больше и серые; и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался. Ничто так не безобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что касается монокля, в нем есть какая-то жеманность и фатоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого. Но довольно этих подробностей, не имеющих, в сущности, большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический; я горяч, опрометчив и восторжен и всегда был пылким поклонником женщин.

Однажды прошлой зимой в театре П. я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали оперу, в афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда не без труда протиснулись.

В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального fanatico *, было всецело поглощено сценой; а я тем временем разглядывал публику, по большей части представлявшую élite ** нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на prima donna ***, как вдруг его приковала к себе дама в одной из лож, прежде мной не замеченная.

Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что в первые несколько минут оставалось не видным, но фигура была божественна — никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции и даже это кажется мне смехотворно слабым.

Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой; но тут передо мной была воплощенная грация, beau idéal **** моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком, благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлость фигуры, ее touppes ***** были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой Психеи; очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались изящным убором из gaze aérienne *****, на-

* Фанатика (ит.).

** Избранную часть, цвет (франц.).

*** Примадонну, певицу, исполняющую главную роль (ит.).

**** Идеал (франц.).

***** Осанка (франц.).

***** Воздушного газа (франц.)

помнившим мне о *ventum textilem** Апулея². Правая рука покоилась на барьере ложи и своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой, облегающий рукав, из какой-то тонкой ткани, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавшей на кисти руки, оставляя наружи лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиантовым кольцом, несомненно огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным *aigrette*** из драгоценных камней, который яснее всяких слов свидетельствовал как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы.

Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о «любви с первого взгляда». Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое, магнетическое влечение души к душе, казалось, приковало не только мой взор, но все мои помыслы и чувства к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял — я почувствовал — я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился — даже прежде чем увидел лицо любимой. Так сильна была сжигавшая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты еще невидимого мне лица оказались самыми заурядными — настолько причудлива природа единственной истинной любви и так мало она зависит от внешних условий, которые только по видимости рождают и питают ее.

Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону, и я увидел ее профиль. Красота его даже превзошла мои ожидания — и, однако, что-то в нем разочаровало меня, хотя я не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал «разочаровало», но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик матроны или мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто — какая-то непостижимая тайна — что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив, вместе с тем, мой интерес. Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое безумство. Если бы дама была в одиночестве, я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней; но, по счастью, с ней были двое — мужчина и поразительно красивая женщина, по виду несколько моложе ее.

Я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным старшей из дам или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересесть к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен,

* Ткани воздушной (лат.).

** Плюмажем, пучком (франц.).

а неумолимые законы приличия запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем, даже если бы он у меня оказался, — но его не было, и я был в отчаянии.

Наконец мне пришлось в голову обратиться к моему спутнику.

— Толбот, — сказал я, — у вас есть бинокль. Дайте его мне.

— Бинокль? Нет. К чему мне бинокль? — И он нетерпеливо повернулся к сцене.

— Толбот, — продолжал я, теребя его за плечо, — послушайте! — Видите вон ту ложу? Вон ту. Нет, соседнюю — встречали вы когда-нибудь такую красавицу?

— Да, хороша, — сказал он.

— Интересно, кто такая?

— Бог ты мой, неужели вы не знаете? «Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь»³. Это известная мадам Лаланд — первая красавица — о ней говорит весь город. Безмерно богата, к тому же — вдова, завидная партия — и только что из Парижа.

— Вы с ней знакомы?

— Да, имею честь.

— А меня представите?

— Разумеется, с большим удовольствием; но когда?

— Завтра в час дня я зайду за вами в отель Б.

— Отлично; а сейчас помолчите, если можете.

В этом мне пришлось подчиниться Толботу; ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене.

Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне наконец посчастливилось увидеть ее en face *. Лицо ее было прелестно — но это подсказало мне сердце, еще прежде чем Толбот удовлетворил мое любопытство; и все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец я решил, что это должно быть выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лицо части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость, то есть делало несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической природы.

Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно, желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того чтобы вторично отвернуться, взяла двойной лорнет, висевший у нее на поясе, поднесла

* Спереди (франц.).

его к глазам — навела — и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала.

Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен — но именно поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла и возмутить, и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно — с такой *nonchalance* * — с такой безмятежностью — словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства, и единственными моими чувствами были удивление и восторг.

Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегло оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут.

Поведение, столь необычное в американском театральном зале, привлекло общее внимание и вызвало в публике движение и шепот, которые на миг смутили меня, но, казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство — если это было любопытством — она опустила лорнет и снова спокойно обратила лицо к сцене, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как действовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины.

Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти обратился к сопровождавшему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне.

Затем мадам Лаланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за лорнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило и потрясло меня.

Эти необычайные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда, как мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон.

Она сильно покраснела — отвела глаза — медленно и осторожно огляделась, видимо желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным — а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом.

* Небрежностью (франц.).

Я уже сгорал от стыда за совершенную мною бестактность и ожидал немедленного скандала; в уме моем промелькнула предстоящая наутро неприятная встреча на пистолетах. Но тут я с большим облегчением увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу; и пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление — мое глубокое изумление — и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза, а затем, с легкой улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову.

Невозможно описать мою радость — мой восторг — мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. Я любил. То была моя первая любовь — так я чувствовал. То была любовь — безграничная — неизъяснимая. То была «любовь с первого взгляда», и с первого же взгляда меня оценили и ответили мне *взаимностью*.

Да, взаимностью. Как мог я в этом усумниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы столь прекрасной — столь богатой — несомненно образованной и отлично воспитанной — занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какую, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? Да, она полюбила меня — она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным — столь же беззаветным — столь же бескорыстным — и столь же безмерным, как мое! Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная суতোлка. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не сумев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что назавтра Толбот представит меня ей по всей форме.

Этот день, наконец, настал; то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до «часу дня» ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель Б. — и спросил Толбота.

— Нету, — ответил слуга — собственный лакей Толбота.

— Нету? — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов. — Это, любезный, совершенно невысказанно и невозможно. Как это нету?

— Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же как позавтракал, уехал в С. — и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.

Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, il fanatico, совершенно позабыл о своем обещании — позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего: я подавил, как сумел, свое раздражение и

уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все — а многие и в лицо — но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.

— Клянусь, вот и она! — вскричал один из приятелей.

— Изумительна хороша! — воскликнул второй.

— Сущий ангел! — промолвил третий.

Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда с нею в ложе.

— Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит, — заметил тот из троих, кто заговорил первым.

— Да, поразительно, — сказал второй, — до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад, в Париже. Все еще хороша — не правда ли, Фруассар, то бишь, Симпсон?

— Все еще? — переспросил я; почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей она все равно, что свечка рядом с вечерней звездой — или светлячок по сравнению с Антаресом⁴.

— Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.

На этом мы расстались; а один из трио принялся мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:

Ninon, Ninon, Ninon à bas —
A bas Ninon De L'Enclos! *

Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигающую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того — ослативила ангельскою улыбкой, ясно говорившей, что я узнан.

Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений и, наконец, в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о Тол-

* Долой Нинон, Нинон, Нинон —
Долой Нинон де Ланкло⁵! (франц.).

боте в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное «еще не приезжал».

Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд — парижанка, недавно приехала из Парижа — она могла ведь и уехать обратно — уехать до возвращения Толбота — а тогда будет потеряна для меня навеки. Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я последовал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства. Я писал свободно, смело — словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл — даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах — о своих немалых средствах — и предложением руки и сердца.

Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.

Да, *пришел*. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд — от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза — ее чудесные глаза — не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась честного голоса природы — щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она не отвергла мое предложение. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:

«Мосье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его *contrée* *. Я приехал недавно и не был еще случай его *étudier* **.

С эта извинения, я скажу, *hélas!* *** Мосье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? *Hélas!* Я уже слишком много сказать.

Эжени Лаланд».

Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот *все еще* не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о

* Страны (франц.).

** Изучить (франц.).

*** Увы! (франц.).

страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела — но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее — умерить мой пыл — читать успокоительные книги — не пить ничего крепче рейнвейна — и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено все тем же слугой со следующей карандашной надписью — негодяй уехал к своему господину:

«Уехали вчера из С., а куда и надолго ли — не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши Вашу руку, потому что Вам всегда спешно.

Ваш покорный слуга

Стаббс».

Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу, — но от гнева было мало пользы, а от жалоб — ни малейшего утешения.

Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже послужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же, после обмена письмами что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумерках теплого летнего дня я дождался случая и подошел к ней.

Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия оборочительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.

Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умоляя ее согласиться на немедленный брак.

Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях — об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и теперь нам не удастся скрыть, когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы

неприлично поспешным — неудобным — *outré* *. Все это она высказала с очаровательной *paiveté* **, которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением — вспышкой — минутной фантазией — непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока она говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас — и вдруг, нежным пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.

Я отвечал, как умел, — как умеют одни лишь истинно влюбленные. Я пространно и убедительно говорил о своей любви, о своей страсти — о ее дивной красоте и о моем безмерном восхищении. В заключение я энергично указал на опасности, окружающие любовь — ту истинную любовь, чей путь никогда не бывает гладким, и вывел отсюда, что путь этот надлежит по возможности сократить.

Последний мой довод, казалось, несколько поколебал ее суровую решимость. Она смягчилась; но оставалось еще одно препятствие, о котором, по ее словам, я должным образом не подумал. Вопрос был щекотливый — женщине особенно не хотелось бы его касаться; делая это, она пересиливала себя, но ради *меня* она готова на любую жертву. Она имела в виду *возраст*. Знаю ли я — точно ли я знаю, какая разница в годах нас разделяет? Когда муж бывает на несколько лет и даже на пятнадцать-двадцать лет старше жены, это свет считает допустимым и даже одобряет; но чтобы жена была старше мужа, этого мадам Лаланд *никогда* не одобряла. Подобное противоестественное различие слишком часто, увы! бывает причиной несчастливой супружества. Она знает, что мне всего лишь двадцать два года; а вот мне, возможно, *не* известно, что моя Эжени значительно старше.

В этих словах звучало душевное благородство, достоинство и прямота, которые очаровали меня — привели в восхищение — и еще прочнее привязали к ней. Я едва мог сдерживать свой безмерный восторг.

— Прелестная Эжени! — вскричал я; — о чем Вы толкуете? Вы несколько старше меня годами. Что ж из того? Обычай света — всего лишь пустые условности. Для такой любви, как наша, не все ли равно — год или час? Вы говорите, что мне всего двадцать два, хотя мне уже почти двадцать три. Ну а Вам, милая Эжени, не может быть более — более чем — чем —

Тут я остановился, надеясь, что мадам Лаланд договорит за меня и назовет свой возраст. Но француженка редко отвечает прямо и на щекотливый вопрос всегда имеет наготове какую-нибудь увертку. В этом случае

* Вызывающим (*франц.*).

** Наивностью (*франц.*).

Эжени, перед тем искавшая что-то у себя на груди, уронила в траву медальон, который я немедленно подобрал и подал ей.

— Возьмите его! — сказала она с самой оборвожительной своей улыбкой. — Примите его от той, которая здесь так лестно изображена. К тому же, на обороте медальона вы, быть может, найдете ответ на свой вопрос. Сейчас слишком темно — вы рассмотрите его завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний *levée* *. Обещаю, что вы услышите неплохое пение. Мы, французы, не столь чопорны, как вы, американцы, и я без труда проведу вас к себе, как будто старого знакомого.

Она оперлась на мою руку, и я проводил ее домой. Особняк ее был красив и, кажется, обставлен со вкусом. Об этом, впрочем, я едва ли мог судить, ибо к тому времени совсем стемнело, а в лучших американских домах редко зажигают лампы в летние вечера. Разумеется, спустя час после моего прихода в большой гостиной зажгли карсельскую лампу под абажуром; и я смог увидеть, что эта комната была убрана с необыкновенным вкусом и даже роскошью; но две соседние, в которых главным образом и собрались гости, в течение всего вечера оставались погруженными в весьма приятный полумрак. Это отличный обычай, дающий гостям возможность выбирать между светом и сумраком, и нашим заморским друзьям следовало бы принять его немедленно.

Проведенный там вечер был, несомненно, счастливейшим в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкальные дарования своих друзей; я услышал пение, лучше которого еще не слышал в домашних концертах, разве лишь в Вене. Много было также талантливых исполнителей на музыкальных инструментах. Пели главным образом дамы и все — по меньшей мере хорошо. Когда собравшиеся требовательно закричали «Мадам Лаланд», она, не жеманясь и не отнекиваясь, встала с шезлонга, где сидела рядом со мною, и, в сопровождении одного-двух мужчин, а также подруги, с которой была в опере, направилась к фортепиано, стоявшему в большой гостиной. Я охотно сам проводил бы ее туда, но чувствовал, что обстоятельства моего появления в доме требовали, чтобы я не был слишком на виду. Поэтому я был лишен удовольствия смотреть на певицу — но мог слышать ее.

Впечатление, произведенное ею на слушателей, было потрясающим, но на меня действие ее пения было еще сильнее. Я не сумею описать его должным образом. Отчасти оно вызывалось переполнявшей меня любовью; но более всего — глубоким чувством, с каким она пела. Никакое мастерство не могло придать арии или речитативу более страстной *выразительности*. Ее исполнение романса из «Отелло»⁶, — интонация, с какою она пропела слова «*Sul mio sasso*» ** из «Капулетти»⁷, донныне звучат в моей памяти. В низком регистре она поистине творила чудеса. Голос ее

* Прием (франц.).

** Над моим утесом (ит.).

обнимал три полные октавы, от контральтового D до верхнего D сопрано, и хотя он был достаточно силен, чтобы наполнить Сан Карло⁸, она настолько владела им, что с легкостью справлялась со всеми вокальными сложностями — восходящими и нисходящими гаммами, каденциями и фиоритурами. Особенно эффектно прозвучал у нее финал «Сомнамбулы»⁹:

Ahl non giunge uman pensiero
Al contento ond'io son piena *

Тут, в подражание Малибран¹⁰, она изменила сочиненную Беллини фразу, взяв теноровое G, а затем сразу перебросив звук G на две октавы вверх.

После этих чудес вокального искусства она вернулась на свое место рядом со мной, и я в самых восторженных словах выразил ей мое восхищение. Я ничего не сказал о моем удивлении, а между тем я был немало удивлен, ибо некоторая слабость и как бы дрожание ее голоса при разговоре не позволяли ожидать, что пение ее окажется столь хорошо.

Тут между нами произошел долгий, серьезный, откровенный и никем не прерываемый разговор. Она заставила меня рассказать о моем детстве и слушала с напряженным вниманием. Я не утаил от нее ничего — я не чувствовал себя вправе что-либо скрывать от ее доверчивого и ласкового участия. Ободренный ее собственной откровенностью в деликатном вопросе о возрасте, я сознался не только в многочисленных дурных привычках, но также и в нравственных и даже физических недостатках, что требует гораздо большего мужества и тем самым служит вернейшим доказательством любви. Я коснулся студенческих лет — мотовства — пирушек — долгов — и любовных увлечений. Я пошел еще дальше и признался в небольшом легочном кашле, который мне одно время докучал — в хроническом ревматизме — в наследственном расположении к подагре и, наконец, в неприятной, но доныне тщательно скрываемой слабости зрения.

— Что касается последнего, — сказала, смеясь, мадам Лаланд, — то вы напрасно сознались, ибо без этого признания вас никто бы не заподозрил. Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, — и тут мне, несмотря на царивший в комнате полумрак, почудилось, что она покраснела, — помните ли вы, *mon cher ami* **, средство для улучшения зрения, которое и сейчас висит у меня на шее?

Говоря это, она вертела в руках тот самый двойной лорнет, который привел меня в такое смущение тогда в опере.

— Еще бы не помнить! — воскликнул я, страстно сжимая нежную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была роскошная и затейливая игрушка, богато украшенная резьбой, филигранью и драгоценными

* Ум человеческий постичь не может
Той радости, которой я полна (ит.).

** Дорогой друг (франц.).

камнями, высокая стоимость которых была мне видна даже в полумраке.

— Eh bien, mon ami *, — продолжала она с empressement **, несколько меня удивившей. — Eh bien, mon ami, вы просите меня о даре, который называете бесценным. Вы просите моей руки и притом завтра же. Если я уступаю вашим мольбам — и, вместе, голосу собственного сердца — разве нельзя и мне требовать исполнения одной, очень маленькой, просьбы?

— Назовите ее! — воскликнул я так пылко, что едва не привлек внимание гостей, и готовый, если б не они, броситься к ее ногам. — Назовите ее, моя любимая, моя Эжени, назовите! — но ах! Она уже исполнена прежде, чем высказана.

— Вы должны, mon ami, — сказала она, — ради любимой вами Эжени побороть маленькую слабость, в которой вы мне только что сознались, — слабость скорее моральную, чем физическую и, поверьте, недостойную вашей благородной души — несовместимую с вашей прирожденной честностью — и которая наверняка навлечет когда-нибудь на вас большие неприятности. Ради меня вы должны победить кокетство, которое, как вы сами признаете, заставляет вас скрывать близорукость. Ибо вы скрываете ее, когда отказываетесь прибегнуть к обычному средству против нее. Словом, вы меня поняли; я хочу, чтобы вы носили очки, — тсс! Вы ведь уже обещали, ради меня. Примите же от меня в подарок вот эту вещицу, что я держу в руке; стекла в ней отличные, хотя ценность оправы и невелика. Видите, ее можно носить и так — и вот так — на носу, как очки, или в жилетном кармане в качестве лорнета. Но вы, ради меня, будете носить ее именно в виде очков и притом постоянно.

Должен признаться, что эта просьба немало меня смутила. Однако условие, с которым она была связана, не допускало ни малейших колебаний.

— Согласен! — вскричал я со всем энтузиазмом, на какой я был в тот миг способен. — Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден.

После этого разговор у нас перешел на подробности нашего завтрашнего плана. Толбот, как я узнал от своей нареченной, как раз вернулся в город. Я должен был немедленно с ним увидаться, а также нанять экипаж. Гости разойдутся не ранее чем к двум часам, и тогда, в суматохе разъезда, мадам Лаланд сможет незаметно в него сесть. Мы поедем к дому одного священника, который уже будет нас ждать; тут мы обвенчаемся,

* Так вот, мой друг (франц.).

** Поспешностью, готовностью (франц.).

простимся с Толботом и отправимся в небольшое путешествие на Восток, предоставив фешенебельному обществу города говорить о нас все, что ему угодно.

Уговорившись обо всем этом, я тотчас отправился к Толботу, но по дороге не утерпел и зашел в один из отелей, чтобы рассмотреть портрет в медальоне; это я сделал при мощном содействии очков. Лицо на миниатюрном портрете было несказанно прекрасно! Эти большие лучезарные глаза! — этот гордый греческий нос! — эти пышные темные локоны! — «О, — сказал я себе, ликуя, — какое поразительное сходство!» На обратной стороне медальона я прочел: «Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев».

Я застал Толбота дома и немедленно сообщил ему о своем счастье. Он, разумеется, выразил крайнее удивление, однако от души меня поздравил и предложил помочь, чем только сможет. Словом, мы выполнили наш план; и в два часа пополудни, спустя десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд — то есть с миссис Симпсон — в закрытом экипаже, с большой скоростью мчавшемся на северо-восток.

Поскольку нам предстояло ехать всю ночь, Толбот посоветовал сделать первую остановку в селении К. — милях в двадцати от города, чтобы позавтракать и отдохнуть, прежде чем продолжать путешествие. И вот, ровно в четыре часа утра, наш экипаж подъехал к лучшей тамошней гостинице. Я помог своей обожаемой жене выйти и тотчас же заказал завтрак. В ожидании его нас провели в небольшую гостиную, и мы сели.

Было уже почти, хотя и не совсем, светло; и глядя в восхищении на ангела, сидевшего рядом со мною, я вдруг вспомнил, что, как ни странно, с тех пор как я впервые увидел несравненную красоту мадам Лаланд, я еще ни разу не созерцал эту красоту вблизи и при свете дня.

— А теперь, *mon ami*, — сказала она, взяв меня за руку и прервав таким образом мои размышления, — а теперь, *mon cher ami*, когда мы сочтались нерасторжимыми узами — когда я уступила вашим пылким мольбам и исполнила уговор, я надеюсь, вы не забыли, что и вам надлежит кое-что для меня сделать и сдержать свое обещание. Как это было? Дайте вспомнить. Да, вот точные слова обещания, которое вы дали вчера вечером своей Эжени. Слушайте! Вот, что вы сказали: «Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос, и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден». Вот точные ваши слова, милый супруг, не правда ли?

— Да, — ответил я; у вас отличная память; и поверьте, прекрасная моя Эжени, я не намерен уклоняться от выполнения этого пустяшного обещания. Вот! Смотрите. Они мне даже к лицу, не так ли? — И, придав лорнету форму очков, я осторожно водрузил их на подобающее место; тем време-

она выходил мсье Фруассар. Вы будет сказать, что эти тоже не есть почтенный фамиль?

— Фруассар! — сказал я, чувствуя, что близок к обмороку; — неужели действительно Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар?

— Да! — ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги — да! Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Но мсье Фруассар — это один большой, как говорит, дюрак — один очень большой осёл, как вы сам — потому что оставлял *la belle France** и ехал этой *stupide Amérique*** — а там имел один *ошень* глупи, *ошень-ошень* глупи сын, так я слышал, но еще не видал, и мой подруга, мадам Стефани Лаланд, тоже не видал. Его имя — Наполеон Бонапарт Фруассар. Вы может говорить, что это не почтенный фамиль?

То ли продолжительность этой речи, то ли ее содержание привели миссис Симпсон в настоящее исступление. С большим трудом закончив ее, она вскочила со стула, как одержимая, уронив при этом на пол турнюр величиною с целую гору. Она скалила десны, размахивала руками и, засучив рукава, грозилась мне кулаком; в заключение она сорвала с головы шляпку, а с нею вместе — огромный парик из весьма дорогих и красивых черных волос, с визгом швырнула их на пол и, растоптав ногами, в совершенном остервенении сплелась на них какое-то подобие фанданго.

Я, между тем, ошеломленно опустил на ее стул. «Муассар и Вуассар», — повторяя я в раздумье, пока она выкидывала одно из своих коленец. «Круассар и Фруассар», — твердил я, пока она заканчивала другое. «Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарт Фруассар! — Да знаешь ли ты, невыразимая старая змея, ведь это я — я — слышишь? — *я-а-а!* Наполеон Бонапарт Фруассар — это я, и будь я проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!

Мадам Эжени Лаланд, *quasi**** Симпсон — по первому мужу Муассар — действительно приходилась мне прапрабабушкой. В молодости она была очень хороша собой и даже в восемьдесят два года сохранила величавую осанку, скульптурные очертания головы, великолепные глаза и греческий нос своих девических лет. Добавляя к этому жемчужную пудру, румяна, накладные волосы, вставные зубы, турнюр, а также искусство лучших парижских модисток, она сохраняла не последнее место среди красавиц — *un peu passées***** французской столицы. В этом отношении она могла соперничать с прославленной Нинон де Ланкло.

Она была очень богата; оставшись вторично вдовою, на этот раз бездетной, она вспомнила о моем существовании в Америке и, решив сделать меня своим наследником, отправилась в Соединенные Штаты в сопровождении дальней и на редкость красивой родственницы своего второго мужа — мадам Стефани Лаланд.

* Прекрасную Францию (франц.).

** Дурацкую Америку (франц.).

*** Почти (франц.).

**** Несколько поблекших (франц.).

В опере моя прапрабабка заметила мой устремленный на нее взор; поглядев на меня в лорнет, она нашла некоторое фамильное сходство. Заинтересовавшись этим и зная, что разыскиваемый ею наследник проживает в том же городе, она спросила обо мне своих спутников. Сопровождавший ее джентльмен знал меня в лицо и сообщил ей, кто я. Это побудило ее оглядеть меня еще внимательнее и, в свою очередь, придало мне смелость вести себя уже описанным нелепым образом. Впрочем, отвечая на мой поклон, она думала, что я откуда-либо случайно узнал, кто она такая. Когда я, обманутый своей близорукостью и косметическими средствами относительно возраста и красоты незнакомой дамы, так настойчиво стал расспрашивать о ней Толбота, он, разумеется, решил, что я имею в виду ее молодую спутницу и в полном соответствии с истиной сообщил мне, что это «известная вдова, мадам Лаланд».

На следующее утро моя прапрабабушка встретила на улице Толбота, своего старого знакомого по Парижу, и разговор, естественно, зашел обо мне. Ей рассказали о моей близорукости, всем известной, хотя я этого не подозревал; и моя добрая старая родственница, к большому своему огорчению, убедилась, что я вовсе не знал, кто она, а просто делал из себя посмешище, ухаживая на виду у всех за незнакомой старухой. Решив проучить меня, она составила с Толботом целый заговор. Он нарочно от меня прятался, чтобы не быть вынужденным представить меня ей. Мои расспросы на улицах о «прелестной вдове, мадам Лаланд» все, разумеется, относили к младшей из дам; в таком случае стал понятен и разговор трех джентльменов, встреченных мною по выходе от Толбота, так же как и их упоминание о Нинон де Ланкло. При дневном свете мне не пришлось видеть мадам Лаланд вблизи; а на ее музыкальном *soirée* * я не смог обнаружить ее возраст из-за своего глупого отказа воспользоваться очками. Когда «мадам Лаланд» просили спеть, это относилось к младшей; она и подошла к фортепиано, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня и дальше в заблуждении, поднялась одновременно с нею и вместе с нею пошла в большую гостиную. На случай, если бы я захотел проводить ее туда, она намеревалась посоветовать мне оставаться там, где я был; но собственная моя осторожность сделала это излишним. Арии, которые так меня взволновали и еще раз убедили в молодости моей возлюбленной, были исполнены мадам Стефани Лаланд. Лорнет был мне подарен в назидание и чтобы добавить соли к насмешке. Это дало повод побранить меня за кокетство, каковое назидание так на меня действовало.

Излишне говорить, что стекла, которыми пользовалась старая дама, были ею заменены на пару других, более подходящих для моего возраста. Они действительно оказались мне как раз по глазам.

Священник, будто бы сочетавший нас узами брака, был вовсе не священником, а закадычным приятелем Толбота. Зато он искусно правил

* Вечере (франц.).

лошадьми и, сменив свое облачение на кучерскую одежду, увез «счастливую чету» из города. Толбот сидел с ним рядом. Негодяи, таким образом, присутствовали при развязке. Подглядывая в полуотворенное окно гостиничной комнаты, они потешались над *dénoement** моей драмы. Боюсь, как бы не пришлось вызвать их обоих на дуэль.

Итак, я не стал мужем своей прапрабабушки; и это сознание несказанно меня радует — но я все же стал мужем мадам Лаланд — мадам Стефани Лаланд, с которой меня сосватала моя добрая старая родственница, сделавшая меня к тому же единственным наследником после своей смерти — если только она когда-нибудь умрет. Добавлю в заключение, что я навсегда покончил с *billets doux*** и нигде не появляюсь без ОЧКОВ.

* Развязкой (франц.).

** Любовными письмами (франц.).

ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ, ПЕРЕДАННАЯ СРОЧНО ЧЕРЕЗ НОРФОЛК! ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ЗА ТРИ ДНЯ! НЕБЫВАЛЫЙ УСПЕХ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА М-РА МОНКА МЕЙСОНА И ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА, ДЛИВШЕГОСЯ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЧАСОВ ОТ КОНТИНЕНТА ДО КОНТИНЕНТА, М-Р МЕЙСОН, М-Р РОБЕРТ ХОЛЛЕНД, М-Р ХЕНСОН², МИСТЕР ХАРРИСОН ЭЙНСВОРТ³ И ЧЕТВЕРО ДРУГИХ ЛИЦ НА УПРАВЛЯЕМОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «ВИКТОРИЯ» ПРИБЫЛИ НА О-В СЭЛЛИВАН, ОКОЛО ЧАРЛСТОНА, ШТАТ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА! — ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА!

[Приводимая ниже *jeu d'esprit* *, снабженная вышеприведенным заголовком, набранном крупным шрифтом и щедро пересыпанным восклицательными знаками, впервые появилась в качестве достоверного известия в ежедневной газете «Нью-Йорк сан» и отлично выполнила свою задачу: доставила любопытным неудобоваримую пищу на несколько часов, отделяющих в Чарлстоне одну почту от другой. Погоня за «единственной газетой, располагающей подробностями», превзошла всякое вероятное; да и в самом деле, если (как утверждают некоторые) «Виктория» и не совершила такого перелета, нет никаких причин, почему она не могла бы его совершить].

Наконец-то великая задача разрешена! Отныне не только земля и океан, но и воздух покорен наукой и станет для человечества общедоступным и удобным путем сообщения. Совершен перелет через *Атлантический Океан на Воздушном шаре!* — причем совершен без затруднений — по-видимому, без серьезной опасности — при исправном действии всего устройства — и за невероятно короткий срок: семьдесят пять часов от берега до берега! Благодаря энергии одного из наших корреспондентов в Чарлстоне⁴ (штат Южная Каролина) мы первые имеем возможность сообщить читателям подробности этого необычайного путешествия, начатого в субботу 6-го числа текущего месяца, в 11 часов утра, и закончившегося в среду 9-го, в 2 часа пополудни. Участниками полета были: сэр Эверард Брингхерст; м-р Осборн⁵, племянник лорда Бентинка⁶; известные авронавты м-р Монк Мейсон и м-р Роберт Холленд; м-р Харрисон Эйнсворт, автор «Джека Шеппарда» и других произведений; м-р Хенсон, изобретатель предыдущей, неудавшейся летательной машины, и два матроса из Вулвича — всего восемь человек. Точность приводимых ниже подробностей гарантируется, так как все они, за одним небольшим исключением, *verbatim* ** списаны с путевого журнала, который вели м-р Монк Мейсон

* Шутка (франц.).

** Дословно (лат.).

и м-р Харрисон Эйнсворт, любезно давшие нашему корреспонденту, сверх этого, множество устных объяснений относительно шара, его устройства и прочих предметов, представляющих интерес. Единственные изменения в полученной рукописи имели целью придать поспешным записям нашего корреспондента м-ра Форсита большую связность.

Воздушный шар

Две явные неудачи — м-ра Хенсона и сэра Джорджа Кейли⁷ — значительно ослабили за последнее время интерес публики к воздухоплаванию. В основе проекта м-ра Хенсона (который даже ученые вначале сочли вполне осуществимым) была наклонная плоскость, помещенная на известной высоте и получающая первоначальный толчок от внешнего двигателя, а затем приводимая в движение вращением ударяющихся лопастей, формой и числом подобных крыльям ветряной мельницы. Однако опыты с моделями, проведенные в Галерее Аделаиды, показали, что движение этих лопастей не только не толкает летательную машину вперед, но, напротив, мешает полету. Единственной движущей силой оказался импульс, создающийся снижением наклонной плоскости, причем при недвижных лопастях он уносил машину дальше, чем когда они находились в движении, — что достаточно доказывало их бесполезность; а при отсутствии движущей силы, которая одновременно *поддерживала бы* аппарат в воздухе, он, разумеется, опускался на землю. Это поддало сэру Джорджу Кейли мысль приспособить пропеллер к чему-то такому, что может самостоятельно держаться в воздухе, — то есть к воздушному шару; новым, или оригинальным, здесь был лишь способ осуществления. Свою модель сэр Джордж демонстрировал в Политехническом Институте. И здесь движущая сила прилагалась к расчлененной поверхности, то-есть к лопастям, которые приводились во вращение. Их было четыре, но они оказались не способными двигать шар или содействовать его подъему. Словом, изобретение потерпело полную неудачу.

Вот тогда-то м-р Монк Мейсон (чей полет на воздушном шаре «Нас-сау» в 1837 г. из Дувра в Вейльбург произвел такую сенсацию) решил применить для движения в воздухе принцип архимедова винта, справедливо объясняя неудачу проектов м-ра Хенсона и сэра Джорджа Кейли применением отдельных лопастей, расчленявших плоскость. Первый публичный опыт был им произведен в помещении Виллиса, но позднее он передал свою модель Галерее Аделаиды.

Как и у сэра Джорджа Кейли, его шар имел форму эллипсоида. Длина его составляла 13 ф 6 дюймов, высота — 6 ф 8 дюймов. Он вмещал около трехсот двадцати кубических футов газа и, при применении чистого водорода и тотчас по наполнении, пока газ не успевал частично разложиться или выйти, — обладал подъемной силой в двадцать один фунт. Общий вес его составлял семнадцать фунтов, так что около четырех фунтов оставалось

в запасе. Под шаром помещалась легкая деревянная рама длиною около девяти футов, прикрепленная к нему с помощью обычной сетки. К раме была подвешена плетеная лодочка или корзина.

Винт модели состоит из оси, сделанной из полой латунной трубки длиною в восемнадцать дюймов, в которую под углом в пятнадцать градусов пропущено несколько двухфутовых спиц из стальной проволоки, выступающих на один фут с каждого конца трубки. Наружные концы этих спиц соединены посредством скреп из сплюсненной проволоки — и все это образует остов винта, обтянутый промасленным шелком с прорезями, натянутым так, чтобы представлять достаточно гладкую поверхность. Концы оси винта поддерживаются опорами из полой латунной трубки, прикрепленной к обручу. В нижних концах этих трубок имеются отверстия, в которых вращаются шкворни оси. Из конца оси, ближнего к пассажирской корзине, выходит стальной стержень, соединяющий винт с шестерней пружинного устройства, находящегося в корзине. С помощью этой пружины винту придают быстрое вращение, сообщающее поступательное движение всему воздушному шару. Руль позволяет легко поворачивать шар в любом направлении. Для своих размеров пружина обладает большой мощностью и за первый оборот может поднять 45-фунтовый груз на вал диаметром в четыре дюйма, причем по мере вращении мощность увеличивается. Вес пружины составляет восемь фунтов шесть унций. Руль представляет собой легкую тростниковую раму, обтянутую шелком, по форме напоминающую ракетку; в длину он имеет около трех футов, наибольшую ширину — один фут, а весит около двух унций. Его можно ставить *горизонтально*, поворачивать вверх или вниз, а также вправо и влево, что позволяет аэронавту использовать сопротивление воздуха, создаваемое при наклонном положении руля, в любом направлении; воздушный шар при этом поворачивается в направлении противоположном.

Эта модель (которую мы, за недостатком времени, описали лишь приблизительно) подверглась испытанию в Галерее Аделаиды, где развила скорость до пяти миль в час; но, как ни странно, вызвала очень мало интереса по сравнению со своим предшественником — сложным аппаратом м-ра Хенсона; так привыкли люди пренебрегать всем, что им кажется простым. Все считали, что для решения великой задачи воздухоплавания необходимо особо сложное применение какого-либо из самых хитроумных законов динамики.

Однако м-р Мейсон был так уверен в конечном успехе своего изобретения, что решил немедленно соорудить, если возможно, воздушный шар достаточных размеров, чтобы испытать его в длительном путешествии — сперва он предполагал лететь через Ламанш, как это сделал ранее на шаре «Нассау». Для осуществления своего замысла он прибег к поддержке сэра Эверарда Брингхерста и м-ра Осборна, известных своими научными познаниями и в особенности интересом к воздухоплаванию. По желанию м-ра Осборна работы держались в строгой тайне, в которую

были посвящены только лица, непосредственно занятые сооружением шара (под наблюдением м-ра Мейсона, м-ра Холленда, сэра Эверарда Брингхерста и м-ра Осборна) в поместье этого последнего, возле Пенструала, в Уэлсе. В прошлую субботу шар был показан м-ру Хенсону и его другу м-ру Эйнсворту, когда они были приняты в число участников полета. Нам неизвестна причина, по которой в состав экспедиции включили также двух матросов — но через день или два мы сообщим нашим читателям все подробности этого необычайного путешествия.

Оболочка шара сделана из шелка, покрытого лаком из растворенного каучука. Она очень велика и вмещает более 40 000 куб. футов газа; но, поскольку вместо более дорогого и неудобного водорода в нем применен светильный газ, подъемная сила аэростата тотчас по наполнении не превышает 2500 фунтов. Светильный газ не только значительно дешевле, но легче добывается и хранится.

Его широким применением в воздухоплавании мы обязаны м-ру Чарлзу Грину⁸. До его открытия заполнение оболочки шаров было не только крайне дорогим, но и ненадежным. Нередко два и даже три дня тратились на тщетные попытки достать нужное количество водорода, чтобы наполнить шар, из которого он стремился утечь вследствие своей крайней легкости и сродства с окружающей атмосферой. Даже достаточно совершенный шар, в котором светильный газ целиком сохраняется в течение шести месяцев, не изменяя при этом своего качества, не мог бы удерживать такого же количества водорода в течение шести недель.

При подъемной силе в 2500 фунтов и общем весе около 1200 фунтов оставался запас в 1300; из них 1200 приходилось на балласт, размещенный в мешках различного размера, на которых был обозначен вес, — а также на снасти, барометры, телескопы, запас провизии на две недели, бочонки с водой, плащи, саквояжи и другие необходимые предметы, в том числе кофейник для приготовления кофе с помощью гашеной извести, что позволяло обойтись без огня, если бы этого потребовали соображения безопасности. Все это, за исключением балласта и немногих других вещей, было подвешено к верхнему обручу. Пассажирская корзина относительно меньше и легче, чем в модели. Она сплетена из легких прутьев, но, несмотря на хрупкий вид, необыкновенно прочна. Глубина ее около четырех футов. Руль относительно гораздо больше, чем на модели, тогда как винт значительно меньше. Кроме того, шар снабжен малым якорем и гидрором; последний имеет очень большое значение. Здесь необходимо дать некоторые объяснения тем из читателей, кто незнаком с воздухоплаванием.

Поднявшись в воздух, шар подвергается действию множества факторов, изменяющих его вес, а это увеличивает или уменьшает его подъемную силу. Так, например, на оболочке может осесть роса весом до нескольких сот фунтов; тогда приходится выбрасывать часть балласта, чтобы шар не пошел вниз. Когда балласт сброшен, а солнце высушило росу и одновременно вызвало расширение газа внутри оболочки, шар вновь начинает

быстро подыматься. Остановить подъем приходится (вернее, *приходилось* до того, как м-р Грин применил гайдроп) только одним способом: выпуская через клапаны часть газа; однако при этом соответственно уменьшалась подъемная сила, так что даже самый лучший аэростат быстро истощал весь свой запас и должен был опуститься. Вот что являлось главной помехой для длительных полетов.

Гайдроп устраняет эту помеху безо всякого труда. Он представляет собой просто очень длинный канат, опущенный из корзины для удержания шара примерно на одной высоте. Если, скажем, на оболочке осела влага, и аэростат в результате этого начинает снижаться, ему уже не надо выбрасывать балласт, чтобы уменьшить общий вес, ибо вес можно уменьшить ровно на столько, на сколько нужно, опуская на землю соответствующий отрезок каната. Если, напротив, вес чрезмерно уменьшается, и шар стремится подняться, этому может немедленно противодействовать вес отрезка каната, подбираемого с земли. Таким образом шар может быть удержан почти на одной и той же высоте, а запас газа и балласта сохраняется почти неизменным. При полете над водным пространством применяются маленькие медные или деревянные бочонки, наполненные какой-либо жидкостью, более легкой, чем вода. Они плывут по поверхности воды, выполняя ту же роль, какую выполняет на суше волоочащийся канат. Вторым важным назначением гайдропа является указывать *направление* полета шара. На суше, как и на воде, канат *волочит*ся, тогда как шар свободно летит; поэтому при движении последний всегда находится впереди; сравнивая с помощью компаса относительное положение их обоих, определяют *курс*. Точно так же угол, образуемый канатом и вертикальной осью шара, указывает *скорость* движения. Когда этого угла нет, то есть когда канат опущен перпендикулярно земле, это значит, что шар недвижим; чем больше угол, иначе говоря, чем больше шар обгоняет конец каната, тем, значит, больше скорость; и наоборот.

Поскольку первоначальным намерением было перелететь Ламанш и опуститься возможно ближе к Парижу, путешественники, чтобы избавиться от лишних формальностей, заранее запаслись паспортами для всех частей европейского континента, с обозначением цели полета, как это было сделано и при полете «Нассау»; однако неожиданные события сделали эти паспорта излишними.

Шар был надут в субботу утром, 6-го числа, во дворе Вил-Вор Хаус — поместья м-ра Осборна, находящегося примерно в одной миле от Пенструталя, в Северном Уэлсе; в 11 ч. 7 мин., когда все было готово к полету, шар отвязали, и он медленно полетел в направлении на юг, причем в первые полчаса ни винт, ни руль не применялись. Далее мы приводим бортовой журнал, переписанный м-ром Форситом с рукописи м-ра Монка Мейсона и м-ра Эйнворта. Журнал заполнен рукой м-ра Мейсона, а ежедневные приписки делались м-ром Эйнвортом, который подготовил и вскоре опубликует более подробный и, несомненно, чрезвычайно увлекательный отчет о полете.

Бортовой журнал

Суббота 6 апреля. Все трудоемкие приготовления были сделаны еще с вечера, а сегодня на рассвете мы начали надувать шар; однако из-за густого тумана и сырости, которая пропитала складки шелка и затрудняла работу, мы закончили ее лишь к одиннадцати часам. После этого, в отличном настроении, отвязались и медленно поднялись, при легком ветре с севера, понесшем нас в сторону Ламанша.

Подъемная сила оказалась больше ожидаемой; когда мы поднялись выше утесов и попали на солнце, подъем сильно ускорился. Я, однако, не хотел в самом начале полета выпускать газ и решил продолжать подъем. Скоро мы поднялись на всю длину нашего гайдроп; но даже когда он был совсем поднят с земли, мы продолжали быстро подниматься. Шар был необычайно устойчив и выглядел очень красиво. Спустя около 10 мин. после взлета барометр показал высоту в 15 000 футов. Погода стояла на редкость хорошая, и вид на лежавшую под нами местность — весьма романтический с любой возвышенности — сейчас был особенно великолепен. Многочисленные ущелья из-за наполнявшего их густого тумана казались озерами, а беспорядочно громоздившиеся на юго-востоке остроконечные скалы и вершины очень походили на огромные города восточных сказок. Мы быстро приближались к горам Юга, но летели достаточно высоко, чтобы безопасно их миновать. Через несколько минут мы весьма эффектно пролетели над ними: м-р Эйнсворт и матросы удивились тому, что из нашей корзины они казались совсем невысокими, ибо при взгляде со столь большой высоты неровности земной поверхности почти совершенно сглаживаются.

В половине двенадцатого, продолжая лететь на юг, мы увидели Ламанш; а спустя четверть часа под нами уже виднелась полоса прибоя, и мы летели над морем. Теперь мы решили выпустить достаточно газа, чтобы можно было опустить на воду наш гайдроп с прикрепленными к нему буйками. Это было немедленно сделано, и мы стали понемногу опускаться. Через двадцать минут первый из буйков достиг поверхности воды, а после того как ее коснулся и второй, шар остался уже на одном уровне. Теперь нам было важно проверить работу руля и винта, и мы привели их в действие, чтобы больше повернуть на восток, к Парижу. С помощью руля мы тотчас же осуществили желаемое изменение направления и полетели почти под прямым углом к ветру; тогда мы привели в движение пружину винта и с радостью убедились, что он толкает нас в нужном направлении. Тут мы трижды три раза прокричали «ура» и сбросили в море бутылку с листом пергамента, где кратко описывался принцип нашего аппарата. Однако, едва лишь мы кончили радоваться, как произошло нечто непредвиденное и немало нас смутившее. Ближайший к корзине конец стального стержня, соединяющего пружину с пропеллером, внезапно соскочил со своего места (из-за нечаянного резкого движения одного из наших матросов, качнувшего корзину) и сразу же

повис на шкворне оси винта, за пределами досягаемости. Пока мы пытались его поймать и были всецело этим заняты, восточный ветер, который все время крепчал, понес нас к Атлантическому Океану. Мы вскоре оказались над океаном, летя со скоростью не менее 50-ти или 60-ти миль в час и, прежде чем сумели закрепить стержень и сообразили, что происходит, были уже над мысом Клир⁹, оставшемся примерно в сорока милях к северу от нас. Вот тут м-р Эйнсворт высказал необычайное, но, на мой взгляд, ничуть не безрассудное или фантастическое предложение, немедленно поддержанное м-ром Холлендом, а именно: воспользоваться уносившим нас сильным ветром и вместо того, чтобы возвращаться в Париж, попытаться достичь побережья Северной Америки. После краткого раздумья я охотно согласился с этим смелым замыслом, против которого возражали (как ни странно) лишь оба матроса. Но мы были в большинстве, мы успокоили их опасения и решительно продолжали путь. Теперь мы правили прямо на запад, но, поскольку тянувшиеся по воде буи немало замедляли наше движение, а шар и без того легко нам повиновался, как при подъеме, так и при спуске, мы сперва выбросили пятьдесят фунтов балласта, а затем (с помощью ворота) на столько подтянули гайдроп, чтобы он не находился в воде. Результатом этого было немедленное и значительное увеличение скорости; по мере того как ветер крепчал, она становилась почти невообразимой; гайдроп летел за корзиной, точно выпел за кораблем. Излишне говорить, что берег очень скоро скрылся из глаз. Мы пролетели над множеством различных судов, из которых лишь немногие пытались идти против ветра, а большинство лежало в дрейфе. На каждом из них наше появление вызывало величайший восторг, что чрезвычайно нам нравилось, в особенности двум матросам, которые, хлебнув джина, как видно, отбросили всякие сомнения и страхи. Многие суда падали из пушек; на всех нас приветствовали громкими «ура» (удивительно отчетливо слышными) и махали шляпами и платками. Так продолжалось весь день, без особых происшествий, а когда наступила темнота, мы приблизительно подсчитали проделанный путь. Он был равен не менее чем пятистам милям, а вероятнее всего — значительно больше. Пропеллер все время находился в действии и, несомненно, немало ускорял наш полет. После захода солнца ветер перешел в настоящий ураган; расстилавшийся под нами океан был ясно виден благодаря фосфорическому свечению воды. Ветер всю ночь дул с востока, суля нам успех. Мы немало страдали от холода и неприятной сырости, но просторная корзина позволяла нам улечься, и с помощью плащей и одеял мы кое-как согрелись.

P. S. [рукой м-ра Эйнсворта]. Минувшие девять часов, бесспорно, были самыми волнующими в моей жизни. Я не представляю себе ничего более возвышающего душу, чем неведомые опасности и новизна подобного предприятия. Дай бог, чтобы оно удалось! Я молюсь об удаче не просто ради безопасности собственной незначительной особы, но ради победы человеческого разума — и какой победы! Впрочем, возможность ее настолько

очевидна, что остается лишь удивляться, отчего люди не попытались счастья раньше.

Достаточно, чтобы такой ветер, как нынешний, мчал шар пять-шесть дней (а эти ветры часто длятся и дольше), и путешественник легко преодолеет за это время расстояние от побережья до побережья. При таком ветре просторы Атлантики — не более чем озеро. А сейчас меня более всего поражает глубокое безмолвие, царящее на море под нами, несмотря на волнение. Воды не возносят голоса к небесам. Огромный светящийся океан извивается и бьется, не издавая жалоб. Гигантские валы похожи на множество огромных немых демонов, мечущихся в бессильной ярости. В такую ночь, какова для меня нынешняя, человек *живет* — она равна целому столетию повседневности — нет, я не променял бы этого восторга даже на столетие будничного существования.

Воскресенье, 7-го [рукой м-ра Мейсона]. Нынче утром ветер с 10-ти упал до 8—9-ти узлов и несет нас со скоростью тридцати морских миль в час или более. При этом направление его заметно переместилось к северу; сейчас, на закате солнца, мы держим на запад главным образом с помощью винта и руля, которые служат нам отлично. Конструкция представляется мне во всех отношениях удачной; задачу передвижения по воздуху в любом направлении (кроме разве прямо навстречу урагану) я считаю решенной. Против вчерашнего ураганного ветра мы не могли бы лететь; но могли бы, если нужно, подняться выше него. А против обычного свежего ветра мы, несомненно, можем двигаться с помощью винта. Сегодня в полдень, выбрасывая балласт, мы поднялись на высоту почти 25 000 футов. Это мы сделали в поисках более благоприятного воздушного течения, но не нашли ничего лучше того, в котором находимся сейчас. Чтобы перелететь этот маленький пруд, у нас достаточно газа, если бы даже полет затянулся недели на три. У меня нет ни малейшего сомнения в успехе нашего предприятия. Его трудности сильно преувеличивались из-за некоторых неверных представлений. Я могу выбрать попутное воздушное течение, а если даже все они окажутся неблагоприятными, можно неплохо двигаться с помощью винта. Особых происшествий не было. Ночь обещает быть ясной.

P. S. [написано м-ром Эйнсвортом]. Отмечать почти нечего, кроме того факта (весьма меня удивившего), что на высоте, равной Котопаху¹⁰, я не испытывал ни особого холода, ни головной боли, ни затруднений в дыхании; то же и м-р Мейсон, м-р Холланд и сэр Эверард. М-р Осборн пожаловался на стеснение в груди, но оно скоро прошло. Весь день мы летели с большой скоростью и сейчас, должно быть, проделали уже более половины пути. Мы обогнали не менее 20—30-ти различных судов, и у всех вызывали радостное изумление. Оказывается, перелет через океан в аэростате вовсе уж не столь труден. *Omne ignotum pro magnifico**. *Мет.*: на высоте 25 000 футов небо кажется почти черным, а звезды

* Все неизвестное кажется грандиозным¹¹ (лат.)

видны очень ясно; поверхность моря представляется не выпуклой (как можно было бы ожидать), но заметно вогнутой^{1*}.

Понедельник, 8-го [рукою м-ра Мейсона]. Сегодня утром у нас снова были неполадки со стержнем винта, который придется полностью переделать во избежание серьезной аварии. — Я имею в виду стальной стержень, а не лопасти. Последние сделаны как нельзя лучше. Весь день дует сильный и устойчивый ветер с северо-востока; до сих пор судьба нам явно благоприятствует. Перед рассветом мы были встревожены странными звуками и сотрясением внутри шара, сопровождавшимися быстрым кажущимся снижением азростата. Причиной этого явилось расширение газа вследствие повышения температуры воздуха и вызванное этим растрескивание ледяной корки, которая образовалась за ночь на поверхности сетки. Мы сбросили находившимся внизу судам несколько бутылок. Видели, что одна из них была подобрана крупным судном — очевидно, одним из пакетботов нью-йоркской линии. Пытались разобрать его название, но не уверены, что сумели. М-р Осборн с помощью подзорной трубы прочел нечто вроде «Аталанты». Сейчас 12 часов ночи, и мы продолжаем быстро лететь почти прямо на запад. Океан сильно фосфоресцирует.

P. S. [рукой м-ра Эйнсворта]. 2 ч. ночи, ветер почти стих, насколько я могу судить — однако судить трудно, поскольку мы движемся *по ветру*. Я не спал со времени вылета из Вил-Вора и больше не в силах бодрствовать, надо вздремнуть. Очевидно, мы уже находимся недалеко от американского побережья.

Вторник, 9-го [рукой м-ра Эйнсворта]. Час пополудни. Видны низкие берега Южной Каролины. Великое предприятие завершено. Мы перелетели Атлантический океан — легко перелетели его на воздушном шаре! Слава богу! Кто после этого скажет, что на свете есть что-либо невозможное?

На этом бортовой журнал кончается. Некоторые подробности посадки были сообщены м-ру Форситу м-ром Эйнсвортом. Было почти полное безветрие, когда путешественники завидели берег, немедленно узанный обоими моряками и м-ром Осборном. Так как у последнего имелись зна-

^{1*} *Примечание.* — М-р Эйнсворт не пытается объяснить это явление, вполне, однако, объяснимое. Линия, проведенная с высоты 25 000 футов перпендикулярно к поверхности земли или моря, образует один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого идет от образованного прямого угла к горизонту, а гипотенуза — от горизонта к шару. Но высота в 25 000 футов — это почти ничто в сравнении с длиной линии, уходящей к горизонту. Другими словами, основание и гипотенуза этого воображаемого треугольника так длинны по сравнению с перпендикулярным катетом, что первое и второе можно считать почти параллельными. Таким образом горизонт представляется аэронавту на уровне его корзины. Но, поскольку лежащая под ним точка кажется, и действительно находится, на большом расстоянии от него, она тем самым кажется лежащей значительно ниже горизонта. Отсюда впечатление *вознотости*; оно сохраняется, пока высота подъема не станет настолько значительной по сравнению с расстоянием до горизонта, что кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет. Тогда земля представится выпуклой, как оно и есть.

комые в форте Моултри¹², было решено опуститься вблизи него. Шар подвели к берегу (был отлив, и твердый, гладкий песок отлично подходил для высадки); опустили якорь, который сразу же хорошо зацепился. Обитатели острова и форта, разумеется, сбежались толпою посмотреть на шар, но долго отказывались поверить, что он действительно перелетел Атлантический океан. Якорь был брошен ровно в 2 часа пополудни; таким образом все путешествие заняло семьдесят пять часов, или даже меньше, считая от побережья до побережья. Оно прошло без серьезных происшествий и каких-либо опасностей. Шар легко удалось привязать и выпустить газ; и когда рукопись, по которой мы составили наше сообщение, была отправлена из Чарлстона, путешественники еще находились в форте Моултри. Дальнейшие их намерения пока неизвестны; но в понедельник, а самое позднее во вторник, мы с уверенностью обещаем нашим читателям дополнительные сведения.

Вот, бесспорно, самое, поразительное, самое интересное и самое важное путешествие, когда-либо совершенное или хотя бы предпринятое человеком. Какие великие последствия оно может иметь, сейчас предсказать еще невозможно.

ПОВЕСТЬ СКАЛИСТЫХ ГОР

Осенью 1827 года¹, поселясь вблизи Шарлотсвилла, штат Виргиния, я свел печальное знакомство с мистером Огастесом Бедлоу. Этот молодой джентльмен, замечательный во всех отношениях, пробудил во мне любопытство и глубокий интерес. Его духовные и родственные связи не поддавались разгадке. Мне не удалось составить представление о его семье, и я так и не смог установить, откуда он прибыл. Даже в самом его возрасте — хоть я и говорю о нем как о молодом джентльмене — было нечто, вызывавшее у меня серьезные сомнения. Безусловно, он казался молодым — и стремился подчеркнуть это в разговоре, — но все же бывали мгновения, когда без малейшего труда я мог бы подумать, что ему уже сто лет. Однако самым удивительным был внешний вид этого человека. Очень высокий и тощий, он сильно сутулился. Его конечности были необычайно длинными и исхудалыми, лоб — низким и широким. В лице не было ни кровинки. Рот был большим и подвижным, а зубы, хотя и здоровые, — столь неровными, что никак не походили на человеческие, которые мне когда-либо доводилось видеть. Его улыбка, вопреки всему, нисколько не отталкивала, хоть никогда и не менялась. То была улыбка глубокой меланхолии, равномерной и непрерывной печали. Его глаза — неестественно большие, были круглыми, как у kota; зрачки их к тому же суживались или расширялись при усилении или ослаблении света, точно в-точь, как это наблюдается у представителей кошачьей породы. В момент возбуждения белки его глаз светились с непостижимой яркостью, — казалось, будто они испускают лучи не отраженного, а какого-то своего, внутреннего света, подобно свече или солнцу; в обычном же состоянии они были безжизненны и тусклы, подернуты пленкой, что наводило на мысль о глазах трупа, давно уже преданного земле.

Эти внешние особенности, видимо, сильно досаждали Бедлоу — он постоянно намекал на них, не то объясняясь, не то оправдываясь, что произошло на меня при первой встрече тягостное впечатление. Вскоре, однако, я привык к этому, и моя стесненность прошла. Казалось, он старался внушить, не утверждая этого прямо, что физически отнюдь не всегда был таким — что раньше он отличался красотой, превосходящей обычную, и что лишь длинный ряд приступов невралгии довел его до теперешнего состояния. На протяжении многих лет за ним наблюдал врач по фамилии Темплтон — старый джентльмен, лет, пожалуй, семидесяти, — которого Бедлоу встретил впервые в Саратогe. Советы этого врача, к которым Бедлоу прибегал еще в Саратогe, принесли ему огромную пользу (так он, во всяком случае, думал). Тогда Бедлоу — человек состоятель-

ный — заключил с доктором Темплтоном договор, по которому последний соглашался за щедрое ежегодное вознаграждение посвятить все свое время и медицинский опыт наблюдению за этим больным.

В молодые годы доктор Темплтон любил путешествовать и, находясь в Париже, стал во многом последователем учения Месмера². Чисто магнетическими приемами ему удалось облегчить острые боли своего пациента. Этот успех, конечно, внушил последнему некоторую веру в теорию, из коей были выведены эти приемы. Однако врач, как свойственно всем энтузиастам, стремился полностью обратить ученика в свою веру и столь преуспел в этом, что побудил страдальца подвергнуться многочисленным экспериментам. Частое повторение таковых привело к исходу, ставшему за последние годы весьма обычным и почти не привлекающим ныне внимания, однако в те годы, о которых я здесь пишу, он был почти неизвестен в Америке. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бедлоу мало-помалу установился весьма определенный и резко выраженный гаррот, или магнетический контакт. Я не берусь все же утверждать, будто этот гаррот выходил за пределы обычной способности к усыплению; однако последняя достигала огромной силы. Первая попытка погрузить пациента в магнетический сон совершенно не удалась месмеристу. При пятой или шестой он достиг весьма относительного успеха, и то лишь после долгого напряжения. Только при двенадцатой успех стал полным. После этого воля пациента быстро подчинилась воле врача, и, когда я впервые познакомился с ними обоими, малейшее усилие оператора, даже если больной не знал о присутствии последнего, почти тотчас же вызывало сон. Теперь, в 1845 году³, тысячи людей повседневно становятся свидетелями подобных чудес, и я осмеливаюсь писать об этих на первый взгляд невозможных явлениях как о чем-то вполне реальном.

По темпераменту Бедлоу был в высшей степени чувствителен, возбудим и склонен к восторженности. Его воображение — на редкость творческое и энергичное — несомненно обретало еще большую силу от приемов морфия, вошедших у него в привычку. Он проглатывал огромные количества этого снадобья и без него счел бы свое существование невозможным. Бедлоу имел обыкновение принимать большую дозу каждое утро тотчас же после завтрака, или, вернее, тотчас же вслед за чашкой крепкого кофе, ибо до полудня он ничего не ел. После этого в полном одиночестве или сопровождаемый только собакой, он подолгу бродил среди унылых и диких холмов, лежащих к западу и к югу от Шарлотсвилла и носящих там гордое имя Скалистых гор.

Однажды в хмурый, теплый, туманный день, когда ноябрь был почти на исходе, в период того странного *interregnum** во времена года, которое в Америке называют индейским летом, мистер Бедлоу, как обычно, отправился бродить по холмам. День прошел, а путешественник все не возвращался.

* Междуцарствие (лат.).

Около восьми часов вечера, когда мы, серьезно встревоженные его затянувшимся отсутствием, уже собирались отправиться на поиски, он неожиданно появился, во всегашнем своем здравии, только возбужденный более обычного. Рассказ о предпринятой им экспедиции и о задержавших его событиях поистине ошеломил нас.

— Как вы помните, — начал он, — я покинул Шарлотсвилл около девяти часов утра. Я тотчас направился в сторону гор и часов около десяти вошел в ущелье, совершенно мне не знакомое. С большим интересом следовал я по этой извилистой теснине. Окружающая природа едва ли заслуживала названия величественной, однако было в ней неописуемое запустение, восхищавшее меня своей урюмостью. Пустыньность этих мест казалась совершенно нетронутой. Я не мог отделаться от мысли, что нога человека никогда раньше не ступала по зеленому дерну и серым камням, по которым шел я. Вход в это ущелье столь замкнут и столь недоступен, что попасть в него можно, по сути дела, только при определенном стечении обстоятельств. Поэтому никоим образом не исключено, что я и был тем первым искателем приключений — первым и единственным, — который когда-либо проник в эти глухие места.

Густая, совсем особенная дымка или мгла, характерная для индейского лета, плотно покрывала все вокруг, и, несомненно, способствовала усилению смутных образов, создаваемых окружающими меня предметами. Столь густым был этот любезный мне туман, что я различал не более двенадцати ярдов необычайно извилистой дороги, лежащей предо мной. Солнца не было видно, и вскоре я уже не имел ни малейшего представления, в какую сторону я иду. Тем временем морфий начал оказывать свое обычное действие: он вызывал какой-то особый интерес ко всему внешнему миру. Трепетание листа — оттенок травинки — трилистник клевера — гуденье пчелы — сиянье капель росы — дыханье ветра — ускользающие запахи леса — меня окружал целый мир многозначительных намеков — веселый и пестрый хоровод прихотливых восторженных мыслей.

Погруженный в них, я шел еще несколько часов. Туман меж тем так сгустился, что под конец мне пришлось идти наощупь. И тогда мной овладело беспокойство, не поддающееся описанию, — какая-то нервная дрожь и нерешительность. — Я не осмеливался сделать ни шагу из боязни сорваться в пропасть. Мне вспомнились к тому же странные рассказы про эти Скалистые горы, про неведомые свирепые племена, обитающие здесь в пещерах и роцах. Тысячи смутных видений угнетали меня и лишали уверенности — видений, тем сильнее приводивших в отчаяние, чем более они были смутными. Внезапно мое внимание привлек громкий бой барабана.

Мое удивление, разумеется, было безмерным; барабан в этих горах неизвестен. Даже трубный глас архангела не вызвал бы во мне столь сильного удивления. Но тут же возник еще более поразительный источник тревоги и интереса. Что-то бешено загремело и зазвенело, словно связка огромных ключей, — и через мгновение мимо пронесся с пронзитель-

ным воплем полуобнаженный темнолицый человек. Он промчался так близко, что на своем лице я ощутил его горячее дыхание. В одной руке он держал какое-то орудие — набор стальных колец — и сильно потрясал ими на бегу. Едва он скрылся в тумане, как с разинутой пастью и пылающими глазами вслед за ним промчался, тяжело дыша, огромный зверь. Я не мог ошибиться. Это была гиена.

Вид этого чудовища скорее ослабил, чем усилил мои страхи, — теперь я вполне уверился, что сплю, и попытался привести себя в бодрствующее состояние. Я смело и быстро пошел вперед, я тер глаза, я громко кричал. Я щипал себя за руки. Неожиданно моему взору предстал маленький родник и, наклонясь, я смочил водой руки, голову и шею. Вода, должно быть, рассеяла обманчивые ощущения, которые перед тем досаждали мне. Я поднялся, как мне казалось, обновленным и с твердостью и спокойствием продолжил свой путь в неведомое.

Наконец, сломленный напряжением и какой-то гнетущей духотой, я уселся под деревом. В то же мгновение слабый луч солнца пробился к земле, и тень от древесной кроны упала на траву, легкая, но вполне отчетливая. Ее вид поразил меня до оцепенения: несколько минут я всматривался в нее, а затем поднял голову. Дерево было пальмой.

В страшном возбуждении я быстро встал — мысль, что я сплю, больше мне не помогала. Я видел, я знал, что вполне владею всеми своими чувствами, — и они внесли теперь в мою душу целый мир новых неповторимых ощущений. Жара тотчас же стала нестерпимой. Повяло странным ароматом. Неясный, ровный гул, словно от полноводной, но медленно текущей реки, достиг моих ушей, смешанный с каким-то особым говором огромной толпы.

Пока я прислушивался, находясь в том состоянии крайнего изумления, которое я напрасно старался бы описать, резкий порыв ветра, словно по мановенью чародея, сорвал пелену тумана.

Я находился у подножья высокой горы и смотрел на обширную равнину, по которой протекала излучинами величественная река. У края этой реки раскинулся восточный город, о каких мы читаем в арабских сказках, только вид его был еще более неповторимым. С того места, высоко над городом, где я стоял, мне был виден каждый его уголок и каждый закоулок, словно вычерченные на карте. Бесчисленные улицы причудливо пересекались по всем направлениям, напоминая скорее длинные, извилистые аллеи. Толпы обитателей заполняли их до предела. Дома поражали взгляд дикой живописностью. Куда ни глянешь, — мешанина балконов, веранд, минаретов, часоен и навесных башенок, покрытых причудливой резьбой. На базарах были выставлены в бесконечном разнообразии и количестве дорогие товары — шелка, муслины, ослепительные ножи и кинжалы и великолепные камни и драгоценности. Повсюду виднелись флаги и паланкины, носилки со знатными дамами под покрывалом, слоны в пышном убранстве, причудливо изваянные идолы, барабаны, флажки и гонги, серебряные и позолоченные булавы. А среди всей этой толпы, ее оглушительного шума,

всеобщей путаницы и смешения, — среди тысяч и тысяч черных и желтых людей в тюрбанах, плащах, с развевающимися бородами, бродили в бесчисленном множестве быки, разукрашенные лентами, меж тем как мориады мерзких и все же священных обезьян с визгом и болтовней цеплялись за карнизы мечетей или карабкались по минаретам и навесным башенкам. От улиц, заполненных людьми, спускались к берегам реки бесчисленные ступени, ведущие к местам купаний, тогда как сама река, казалось, с трудом пробивает себе путь среди обширных флотилий тяжело груженных судов, которые повсюду отягощали ее гладь. За пределами города частыми группами росли величавые пальмы и кокосы вместе с какими-то гигантскими невиданными деревьями огромного возраста. То здесь, то там виднелось рисовое поле, крытая тростником хижина, водоем, случайный храм, цыганский табор или же стройная девушка с кувшином на голове, направляющая свой одинокий путь к берегам этой царственной реки.

Вы скажете теперь, конечно, что я грезил; но это не так. В том, что я видел и слышал, что ощущал и что думал, не было ничего от характерных особенностей сна, которых ни с чем не спутаешь. Все было строго согласовано и реально. Сначала, сомневаясь в своем бодрствовании, я принял серию проверок, которые скоро убедили меня, что я действительно не сплю. Ведь если кто-либо спит и во сне подозревает, что он спит, то попытка проверить подозрение всегда завершается успехом, а спящий просыпается почти немедленно. Так, Новалис⁴ не ошибается, когда говорит: «Мы близки к пробуждению, если снится нам, что мы спим». Если бы я увидел этот город, как я его описываю, и не заподозрил бы, что это сон, тогда виденье и в самом деле могло бы оказаться сном; поскольку же, возникнув, оно подверглось моему сомнению, а затем проверке, я должен отнести его к разряду иных феноменов.

— Я бы не стал утверждать, что в этом вы ошибаетесь, — заметил доктор Темплтон, — но продолжайте. Вы встали и спустились в город?

— Я встал, — продолжал Бедлоу, разглядывая доктора с видом глубочайшего изумления, — я встал, как вы говорите, и спустился в город. На пути я попал в бесконечную толпу простого народа, заполонившую все подступы к городу, которая двигалась в одном направлении и в каждом действии проявляла самое несдержанное возбуждение. Внезапно, подчиняясь непостижимому импульсу, я проникся глубоким интересом к происходящему. Казалось, я чувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не понимал, в чем она должна состоять. К толпе, которая меня окружала, я испытывал, однако, чувство глубокой враждебности. Я выскользнул из толпы и, быстро достигнув города кружным путем, вошел в него. Повсюду царил дикая смута и раздор. Небольшой отряд людей в полуиндийской, полоевропейской одежде, во главе с несколькими офицерами в униформе, похожей отчасти на британскую, пытался очистить улочки от сброда, обладавшего огромным перевесом. Подняв оружие павшего офицера, я присоединился к слабейшей стороне и с нервной яростью отчаяния вступил в бой неизвестно с кем. Вскоре

толпа подавила нас численностью, и нам пришлось укрыться в каком-то маленьком павильоне. Мы забаррикадировались в нем и на время оказались в безопасности. Сквозь смотровое оконце под самой крышей павильона я увидел огромную толпу, которая окружила нарядный дворец, нависший над рекой, и с бешеной яростью его штурмовала. В этот момент некий женоподобный человек спустился из верхнего окна дворца по веревке, сделанной из тюрбанов сопровождавших его людей. Рядом стояла лодка, в которой он и бежал на противоположный берег реки.

И тут моей душой овладело какое-то новое стремление. Я произнес торопливую, но решительную речь и, склонив нескольких сотоварищей на свою сторону, бросился с ними в безумную вылазку из павильона. Мы ворвались в толпу, его окружавшую. Поначалу она отступила, потом вновь сомкнулась, яростно напала на нас и вновь отступила. Тем временем нас отнесло далеко от павильона, и мы совсем потерялись и запутались среди узеньких улочек с высокими нависшими домами, под выступы которых никогда не заглядывало солнце. Сброд яростно наседал, беспрестанно тревожа нас копьями и осыпая дождем стрел. Эти последние были весьма замечательными, они напоминали волнистый малайский крик⁵. С древком наподобие ползущей змеи, длинные и черные, они были снабжены отравленной бородкой. Одна из стрел ударила меня в правый висок. Я покачулся и упал. Мгновенно меня охватила смертельная слабость. Я весь напрягся, я судорожно глотнул воздух. Я умер.

— Теперь-то уж вы не станете утверждать, — проговорил я, улыбаясь, — будто все ваше приключение не было сном. Будете ли вы уверять, что вас уже нет в живых?

Произнося эти слова, я, разумеется, ждал со стороны Бедлоу энергичного отпора; но, к моему изумлению, он заколебался, вздрогнул, страшно побледнел и сохранил молчание. Я посмотрел на Темплтона. Он сидел, напряженно выпрямясь на своем стуле, — зубы у него стучали, а глаза выходили из орбит. «Продолжайте», — хрипло проговорил он наконец, обращаясь к Бедлоу.

— Долгие минуты, — продолжал этот последний, — моим единственным чувством, единственным ощущением, было ощущение тьмы и небытия, сознание смерти. Наконец, мою душу как бы пронизал внезапный, резкий словно электрический удар. С этим толчком вернулось чувство упругости и света. Этот последний я не увидел — я его только почувствовал. Почти в то же мгновение я, казалось, поднялся над землей, но я не обладал никаким телесным, видимым, слышимым или осязаемым воплощением. Толпа исчезла. Смятенье кончилось. Город был сравнительно спокоен. Подо мною лежал мой труп со стрелой в виске, с сильно вздувшейся обезображенной головой. Однако всего этого я не видел — я это чувствовал. Ничто меня не трогало. Даже мой труп представлялся мне чем-то совсем посторонним. Желаний у меня не было, но что-то все-таки побуждало меня к движению, и я выплыл из города, следуя тем же окольным путем, каким я вошел в него. Достигнув той точки горного прохода, где

я встретил гиену, я опять испытал удар, словно от гальванической батареи; желая, а вместе с ними чувство тяжести и материальности, вернулся ко мне. Я вновь стал самим собой и поспешно направил свои шаги к дому, — меж тем происшедшее не потеряло своей живости — и даже теперь я ни на миг не могу заставить свой разум считать это сном.

— Это и не был сон, — сказал Темплтон с видом глубочайшей серьезности, — однако трудно сказать, как это следовало бы назвать иначе. Предположим лишь, что душа современного человека стоит на грани каких-то ошеломляющих психических открытий. Удовлетворимся этим предположением. Что же до остального, тут я должен дать некоторые разъяснения. Вот акварельный рисунок, который я показал бы вам ранее, если б тому не препятствовало какое-то необъяснимое чувство страха.

Мы посмотрели на рисунок, который Темплтон положил перед нами. Я не увидел в нем ничего примечательного, однако впечатление, произведенное им на Бедлоу, было потрясающим. Взглянув на рисунок, он едва не потерял сознание. А между тем это был всего лишь миниатюрный портрет, признаюсь, сверхъестественно точный, изображавший столь примечательные черты его собственного лица. Таковы были, по меньшей мере, мои мысли, когда я разглядывал портрет.

— Обратите внимание на дату, — сказал Темплтон, — ее еще можно различить здесь внизу: 1780. В этом году и был сделан портрет. Это изображение моего покойного друга — некоего мистера Олдеба — к которому я очень привязался в Калькутте, во время правления Уоррена Гастингса⁶. Мне было тогда всего двадцать лет. Когда я впервые увидел вас, мистер Бедлоу, в Саратогге, именно ваше сверхъестественное сходство с этим изображением побудило меня свести с вами знакомство, искать вашей дружбы и заключить соглашение, которое сделало меня вашим постоянным компаньоном. Добиваться этого меня побуждали отчасти, а быть может и в основном, печальные воспоминания об умершем, отчасти же — тревожное и не вполне свободное от ужаса любопытство, касающееся вас самого.

— В вашем подробном рассказе о виденье, возникшем перед вами в горах, вы описали со скрупулезной точностью индийский город Бенарес на Священной реке. Смута, побоище и резня действительно имели место при мятеже Шейт-Синга⁷, который произошел в 1780 г., когда жизни Гастингса угрожала прямая опасность. Человек, бежавший по веревке из тюрбанов, был сам Шейт-Синг. Отряд в павильоне состоял из сипаев⁸ и британских офицеров под предводительством Гастингса. Я был в их числе и сделал все возможное, пытаюсь предотвратить отчаянную и роковую вылазку офицера, который пал в заполненных толпой улочках от отравленной стрелы бенгальца. Офицер этот был моим лучшим другом. Это был Олдеб. Из этой рукописи (тут говорящий вынул тетрадь, многие страницы которой казались только что написанными) мы можете увидеть, что в то самое время, когда в горах вам виделись все эти события, здесь, дома, я был занят их подробным описанием на бумаге.

Примерно через неделю после этого разговора в шарлотсвиллской газете появилось следующее сообщение:

«Нам выпал прискорбный долг известить о кончине мистера Огастеса Бедло, джентльмена, любезные манеры и многочисленные добродетели которого уже давно снискали ему любовь граждан Шарлотсвилла.

Мистер Бедло в течение нескольких лет был подвержен невралгии, которая часто грозила ему фатальным исходом; однако невралгию следует считать лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственной причиной было нечто совсем особенное. За несколько дней до кончины во время прогулки в Скалистых Горах мистер Бедло простудился и заболел легкой лихорадкой, сопровождавшейся сильным приливом крови к голове. Стремясь облегчить страдания, доктор Темплатон прибег к местному кровопусканию. Больному были поставлены пиявки на виски. В утрашающе короткий срок пациент умер, и тогда обнаружилось, что в кувшин с пиявками, по несчастной случайности, попала одна из тех ядовитых червеобразных кровожорок, которых время от времени находят в соседних прудах. Этот червь присосался к маленькой артерии на правом виске. Из-за близкого его сходства с медицинской пиявкой ошибку заметили слишком поздно.

Н. В. — Ядовитую кровожорку Шарлотсвилла можно отличить от медицинской пиявки по ее черному цвету и особенно по волнистым или червеобразным движениям, которые весьма напоминают движения змеи».

Обсуждая с редактором упомянутой газеты этот замечательный случай, я вдруг решил спросить его, почему фамилия покойного была дана в газете как Бедло.

— Полагаю, — сказал я, — что у вас есть причины для подобного написания, однако я всегда считал, что фамилия Бедлоу пишется с буквой «у» на конце.

— Причины? — переспросил он. — Нет! Это просто типографская опечатка. Эта фамилия везде и всюду пишется как Бедлоу, с буквой «у», я никогда и не слыхивал, чтоб она писалась иначе.

— Значит, — пробормотал я, поворачиваясь, чтобы уйти, — значит, и в самом деле, правда всякой выдумки странней⁹, ибо что же такое фамилия Бедлоу без буквы «у» на конце, как не фамилия Олдеб, написанная наоборот? А этот человек мне говорит, что здесь типографская опечатка!

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ ПОХОРОНЫ

Есть сюжеты поразительно интересные, но и настолько кошмарные, что литература не может узаконить их, не отступив от своего назначения. И придумывать их писателю не следует, иначе он вызовет только досаду и отвращение. Только суровость и величие самой правды дает полную и благоговейную уверенность в необходимости их воплощения. У нас дух захватывает от «мучительного упоения» описаниями переправы через Березину, Лиссабонского землетрясения¹, Лондонской чумы², резни в Варфоломеевскую ночь или гибели ста двадцати трех узников, задохнувшихся в Черной яме в Калькутте³. Но потрясает в этих описаниях именно факт, действительность, история. Окажись они выдумкой, — мы прочли бы их с отвращением.

Я привел из истории несколько классических примеров катастроф, поражающих нас своим величием, но особенно трагический характер сообщают каждой из них ее неслыханные размеры. Однако же, в долгом, скорбном перечне человеческих несчастий немало найдется и таких, когда человек становится единственной жертвой страданий, еще больших, чем на этих несметных торжищах гибели и опустошения. Ведь есть та степень муки и такое бездонное отчаяние, до которых можно довести только одного, отдельно взятого человека, а не много народу сразу. От самых чудовищных мук страдают всегда единицы, а не массы, и возблагодарим Господа за это его милосердие!

Самое же тяжкое из всех испытаний, когда-либо выпадавших на долю смертного, — погребение заживо. А подобные случаи — не редкость, совсем не редкость, с чем люди мыслящие вряд ли станут спорить. Границы между жизнью и смертью темны и очень приблизительны. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Известно, что при некоторых заболеваниях создается видимость полного прекращения жизнедеятельности, хотя это еще не конец, а только задержка. Всего лишь пауза в ходе непостижимого механизма. Проходит определенный срок, — и, подчиняясь какому-то скрытому от нас, таинственному закону, магические рычажки и чудесные колесики снова заводятся. Серебряная струна была спущена не совсем, золотая чаша еще не расколота вконец. А где же тем временем витала душа?

Но помимо вывода à priori *, что каждая причина влечет за собой свое следствие, и случаи, когда жизнь в человеке замирает на неопределенный срок, вполне естественно, должны иногда приводить к преждевременным

* До опыта (лат.).

похоронам, — безотносительно к подобным, чисто умозрительным, заключениям, прямые свидетельства медицинской практики и житейского опыта подтверждают, что подобныя погребений действительно не счесть. Я готов по первому же требованию указать хоть сотню таких случаев, за подлинность которых можно ручаться. Один из них весьма примечателен, к тому же и его обстоятельства, вероятно, еще памятны кое-кому из читающих эти строки, — произошел он сравнительно недавно в городке близ Балтимора, где вызвал большое смятение и наделал много шума. Жена одного из самых уважаемых граждан, известного адвоката и члена конгресса, заболела вдруг какой-то непонятной болезнью, перед которой искусство врачей оказалось совершенно бессильным. Страдала она неизменно, а затем умерла, или ее сочли умершей. Никто не заподозрил, да никому и в голову, конечно, не могло прийти, что смерть еще не наступила. Все признаки были как нельзя более убедительны. Лицо, как всегда у покойников, осунулось, черты заострились. Губы побелели, как мрамор. Взор угас. Тело остыло. Пульса не стало. Три дня тело оставалось в доме, оно уже совсем окоченело и стало словно каменным. В конце концов с похоронами пришлось поторопиться, так как показалось, что труп уже разлагается.

Женщину захоронили в фамильном склепе, и три года туда никто не заглядывал. На четвертый год усыпальница была открыта — доставили саркофаг; но, увы! какой страшный удар ожидал мужа, собственноручно отпиравшего склеп! Едва двери растворились, фигура в белом с сухим треском повалилась ему в объятия. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване.

После обстоятельного расследования выяснилось, что она пришла в себя примерно на вторые сутки после захоронения, билась в гробу, пока тот не упал с подставки или специального выступа на пол, раскололся, и ей удалось выбраться. Налитая доверху керосиновая лампа, которую по оплошности забыли в гробнице, вся выгорела, хотя масло могло и просто улетучиться. На площадке у входа, откуда ступени спускались в эту камеру ужаса, был брошен большой обломок гроба, которым она, видимо, колотила в железную дверь, силясь привлечь внимание. Потом, выбившись из сил, она лишилась чувств или тогда же и умерла от ужаса, а когда падала, саван зацепился за железную обшивку с внутренней стороны двери. В таком положении она и оставалась, так и истлела — стоя.

А один случай погребения заживо произошел в 1810 году во Франции при таких обстоятельствах, которые убеждают в правильности поговорки, что правда всякой выдумки странней. Героиней этой истории стала мадам-муазель Викторина Лафуркад⁴, молодая девица из знатной семьи, богатая и собою красавица. Среди ее бесчисленных поклонников был Жюльен Боссюе, бедный парижский littérateur* или журналист. Его одаренность и обаяние снискали ему внимание богатой наследницы, которая, казалось,

* Литератор (франц.).

подлюбила его всем сердцем; но аристократическая гордость рассудила по-своему — девушка отвергла его и вышла замуж за некоего мосье Ренелля, банкира и довольно видного дипломата. После женитьбы, однако, сей джентльмен стал относиться к ней весьма пренебрежительно, возможно, и просто держал в черном теле. Несколько лет она влачила самое жалкое существование, а потом умерла... во всяком случае, состояние ее настолько походило на смерть, что все были введены в заблуждение. Ее схоронили — не в склепе, а в неприметной могилке на деревенском кладбище у нее на родине. Обезумев от отчаяния, терзаясь воспоминаниями о единственной и несравненной, влюбленный едет из столицы в глухую провинцию, к ней на могилу, возымев романтическое намерение вырыть покойницу и взять ее чудные волосы. Он прибывает на место. В полночь выкапывает гроб, поднимает крышку и уже готов срезать волосы, как вдруг замирает на месте — глаза любимой открываются. Несчастную похоронили живой! Жизнь еще теплилась в ней, и ласки возлюбленного пробудили от летаргии, которую приняли за смерть. Босское тотчас же перенес ее в деревенскую гостиницу. Будучи человеком, сведущим в медицине, он понял, что для восстановления ее сил нужны самые сильнодействующие стимуляторы — за ними дело не стало. И вот жизнь вернулась к ней. Она узнала своего избавителя. И оставалась у него, пока здоровье ее понемногу не восстановилось. Женское сердце не камень, и последнего урока, преподанного любовью, оказалось достаточно, чтобы смягчить его. Она принесла его в дар Босское. К мужу она уже не возвращалась и, так не сообщив ему о своем воскресении из мертвых, бежала с возлюбленным в Америку. Двадцать лет спустя они вернулись во Францию, уверенные, что годы изменили внешность Викторины настолько, что друзья не узнают ее. Но их расчеты не оправдались, и при первой же встрече мосье Ренелль узнал жену и заявил свои супружеские права. Она отклонила его требование вернуться, и суд взял ее сторону, решив, что, в силу исключительности обстоятельств дела и за истечением давности, брак может считаться расторгнутым не только по совести, но и по закону.

Лейпцигский «Хирургический журнал», — журнал в высшей степени авторитетный и заслуживший настолько добрую славу, что не мешало бы кому-нибудь из американских книготорговцев заняться его переизданием у нас в переводе на английский, — помещает в последнем номере отчет об одном несчастном случае, имеющем отношение к нашей теме.

Некий артиллерийский офицер, мужчина гигантского роста и несокрушимого здоровья, был сброшен необъезженной лошадей, очень сильно ударился при падении головой, тотчас же лишившись сознания; на черепе была легкая трещина, но жизнь его была вне опасности. Трепанация прошла как нельзя лучше. Ему отворили кровь и приняли все необходимые меры. Но он начал цепенеть, положение становилось все более катастрофическим, и в конце концов решили, что он умер.

Погода стояла теплая, и схоронили его с поспешностью просто неприличной на кладбище из тех, что попроще. Похороны состоялись в четверг.

В воскресенье на кладбище повалили гуляющие, и к полудню какой-то крестьянин поднял страшный переполох, уверяя, что когда он сидел на могиле нашего офицера, то ясно почувствовал толчки, словно кто-то возится под землей. Сначала на клятвенные заверения этого чудака почти не обращали внимания, но ужас его был неподделен, и он твердил свое с таким упорством, что народ забеспокоился. Мигом появились лопаты, разрыть могилу, — до того неглубокую, что стыдно сказать, — было делом нескольких минут, и вот появилась голова ее постояльца. Казалось, он был мертв; но он почти прямо сидел в гробу, крышку которого после нечеловеческих усилий ему удалось приподнять.

Его немедленно доставили в ближайшую больницу, и врачи сказали, что он жив, только в состоянии асфиксии. Через несколько часов он пришел в себя, стал узнавать знакомых и урывками рассказал, чего ему пришлось натерпеться в могиле.

По его словам выходило, что, очнувшись, он пробыл под землей более часа в полном сознании, а потом лишился чувств. Могилу закидали на скорую руку, не утрамбовав рыхлую землю, так что воздух все-таки проникал, и офицер мог дышать. Он услышал, как над ним топчется множество народа, и силился подать о себе весть. Глубокий сон слетел с него, рассказывал он, от громкого гула над землей, и, едва придя в себя, он сразу осознал весь ужас своего положения.

Этот мученик, как сказано в отчете, шел на поправку и уже явно был на пути к полному выздоровлению, но стал жертвой невежественного лекарского эксперимента. К нему подключили гальваническую батарею, и, в сильнейших конвульсиях, которые это иной раз вызывает, он испустил дух.

Поскольку речь зашла о гальванической батарее, мне припомнился один и действительно из ряда вон выходящий случай, замечательный тем, что именно электрический ток вернул к жизни молодого лондонского адвоката, двое суток пролежавшего в могиле. Это случилось в 1831 году, и это происшествие долго оставалось злобой дня.

Мистер Эдуард Степлтон скончался как будто от тифозной горячки, сопровождавшейся какими-то необычными симптомами, чрезвычайно заинтересовавшими медиков. После того как смертельный исход, казалось, уже наступил, они обратились к близким за разрешением на вскрытие *post mortem* *, но те отказали. Врачи же, которых, как известно, подобными отказами не смущишь, решили получить тело после похорон и вскрыть его тайком без помех. Договориться с одной из бесчисленных лондонских шаек похитителей трупов было делом нехитрым, и на третью ночь числившийся в покойниках был открыт из могилы в восемь футов глубиной и положен в операционной одной частной лечебницы.

Уже сделали было легкий длинный надрез в районе брюшной полости, но совсем не обычный для покойника вид жертвы и полное отсутствие

* Посмертно (лат.).

признаков разложения навели медиков на мысль попробовать на нем действие электричества. Эксперимент следовал за экспериментом, но общая картина была такой же, как обычно при действии током на труп; только разве раз-другой судороги были почти как у живого.

Времени оставалось уже в обрез. Вот-вот должен был забрезжить рассвет, и, наконец, решили приступить к вскрытию немедленно. Но один студент жаждал проверить собственную теорию и все приставал, чтобы батарею подключили к грудной мышце. Сделали на скорую руку надсечку, однако, как только приложили провод, покойник одним стремительным, но вполне собранным движением сорвался со стола и шагнул на середину комнаты; несколько секунд он стоял, осматриваясь вокруг тяжелым взглядом, и — заговорил. Понять, что он сказал, было невозможно, но то были явно какие-то слова, произнесенные совершенно членораздельно. Он умолк и тяжело повалился на пол.

На миг врачи замерли от ужаса, но, собравшись, что действовать надо, не мешкая, тут же взяли себя в руки. Было ясно, что мистер Степлтон жив, и это — только глубокий обморок. Когда ему дали эфир, он пришел в себя; вскоре он поправился и был снова в кругу друзей, от которых, однако, подробности его воскрешения скрывали, пока опасность рецидива не миновала. Можно себе представить их изумление, их восторги.

Но самое поразительное в этой необыкновенной истории одно утверждение мистера С. Он уверяет, что сознание ни на миг не покидало его полностью, и, хотя и смутно и путанно, но он понимал все, что с ним было после того, как врачи констатировали смерть, и до момента, когда он упал в обмороке в больнице. «Я жив», — вот что он безуспешно силился сказать, когда понял, что попал в операционную.

Подобных историй можно было бы привести еще не мало, но, по-моему, это уже лишнее; факт, что преждевременные похороны происходят, и без того совершенно очевиден. Если же мы усвоим, что преждевременные похороны тем и отличаются, что узнавать о них удастся лишь в исключительно редких случаях, то нельзя будет не согласиться, что такие, которые так и остаются неизвестными, случаются, возможно, чуть ли не каждый день. Ведь право же, вряд ли укажешь кладбище, на котором, если его случалось перекопать, не находили бы скелетов, положение которых внушает самые ужасные подозрения.

Страшные подозрения, но насколько же страшней оказаться и самому приговоренным! Решительно ни при каких иных условиях нельзя представить себе таких невероятных душевных и физических мук, как при погребении заживо. Нестерпимо теснит в груди, удушливы испарения сырой земли, все тело туго спеленато саваном; со всех сторон сомкнуты твердые стенки последнего приюта, тьма вечной ночи, и все словно затоплено морем безмолвия, и он уже здесь, Червь-Победитель — его не увидишь, но он уже осязаем; а ты лежи и думай, что на воле — воздух, трава, вспоминай милых друзей, которые примчались бы, как на крыльях, на выручку, прослышь они только о постигшей тебя беде, и знай, — не про-

слышат, и ты уже все равно что покойник; и, верьте слову, от таких мыслей в сердце, которое еще не перестало биться, проникает такой нечеловеческий, такой невыносимый ужас, перед которым должно отступить самое смелое воображение. Мы не слышали, чтобы на земле были подобные муки, ничего хоть наполовину столь же ужасного не может привидеться нам и в снах об адской пучине. Вот почему все рассказы о преждевременных похоронах полны для нас глубокого интереса, который, однако, из-за благоговейного ужаса перед самой темой, поставлен в прямую зависимость от нашего убеждения в их фактической достоверности. Теперь мне остается поделиться тем, что я узнал сам, пережитым лично мной.

Несколько лет подряд у меня были приступы необычной болезни, которую врачи, за неимением более точного наименования, называют каталепсией. Хотя ее возбудители, причины предрасположенности к ней все еще не выяснены, и даже диагноз в отдельных случаях затруднителен, внешние признаки и приметы изучены вполне. Формы, которые она принимает, отличаются одна от другой, если не ошибаюсь, главным образом большей или меньшей интенсивностью. Случается, что больной пролежит в резко выраженном летаргическом состоянии всего день или меньше. Он в полном забытии и совершенно недвижим; но сердцебиение, хоть и невнятно, все-таки прослушивается, тепло сохраняется, слабый румянец еще проступает на щеках, и, если поднести к губам зеркало, удастся заметить признаки потаенной, неровной, несмелой работы легких. А бывает, такой транс длится неделями, даже месяцами, и самый добросовестный и проникательный врач фактически уже бессилён отличить состояние больного от признанного нами за полный и окончательный расчет с жизнью. Как правило, избавляет такого больного от погребения только то, что близкие знают о его недуге, и это, естественно, заставляет их быть бдительными, тем более, что признаков разложения не появляется. Прогрессирует эта болезнь, к счастью, не так быстро. Первые же ее признаки уже не оставляют сомнений, надо только не упустить их появления. Со временем приступы становятся все характернее и продолжительней. В этом — главная гарантия от погребения. Несчастного, у которого первый приступ окажется — как иногда и случается — исключительным по силе, почти наверняка препроводят в могилу живым.

Мой собственный случай не прибавит ничего существенного к описаниям этой болезни в медицинской литературе. Временами я без всякой видимой причины постепенно погружался в полуобмороч-полупрострацию, и в этом состоянии, — когда ничего не болит, но нет сил шелохнуться, и уже и не мыслишь, а есть лишь смутное представление, что жив и рядом, у постели, люди, — я пребывал до наступления кризиса, который сразу возвращал меня к действительности. А иной раз болезнь поражала меня внезапно и сразу. Вдруг появлялась ломота, все во мне немело, начинало знобить, голова кружилась, и я тут же терял сознание. А затем неделями только пустота, потемки, молчание, и одно вселенское Ничто. Слово меня не

стало на свете. После подобных приступов я приходил в себя лишь постепенно и тем медленней, чем внезапней они меня настигали. Как одинокий бездомный нищий, неприкаянно проплутав по улицам долгую зимнюю ночь, ждет-не дожидается наступления дня, так же и я томился, пока долгожданный рассвет не озарит душу.

В остальном же здоровье мое как будто не оставляло желать лучшего, да и эти приступы в общем тоже не отражались на моем самочувствии, и единственным болезненным симптомом была одна характерная особенность сна в обычном, нормальном состоянии. Проснувшись, я обычно долго еще не мог опомниться, ничего не соображал, был в полной растерянности, так как умственные мои способности и особенно память восстанавливались не скоро.

Физически я нисколько не страдал, но душевным мукам не было конца. Мрачные фантазии одолевали меня все больше. Я все твердил «об эпитафиях, гробницах и червях»⁵. Я предался думам о смерти, и предчувствие, что меня похоронят живым, преследовало меня неотступно. Эта страшная угроза, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем эти мысли доводили меня до изнеможения, ночью — сводили с ума. Едва на землю сходила зловещая мгла, меня начинало трясти от страха, я дрожал, как перья плюмажей на катафалке. Только после долгой, упорной борьбы, когда естество мое уже не выдерживало бдения, сдавался я сну, весь содрогаясь при мысли, что, быть может, проснусь я уже в могильном жилище. А заснуть — значило провалиться в пучину кошмарных видений, над которыми, осеняя их огромными черными крыльями, владычицей парила сама потусторонность.

Из бесчетного множества мрачных видений, которые мучили меня во сне, приведу одно-единственное. Помнится, что в тот раз мой каталептический транс был необыкновенно долгим и глубоким. И вдруг чья-то ледяная рука легла мне на лоб, и еле внятный голос шепнул мне на ухо слово «вставай!».

Я сел и выпрямился. Тьма была крошечная. Я не мог разглядеть того, кто разбудил меня. И не в состоянии был припомнить, когда я впал в транс, где остался лежать. Я все сидел, не двигаясь, силясь собраться с мыслями, когда холодная рука грубо схватила мою в запястье и нетерпеливо рванула, а прерывистый голос заговорил опять:

— Вставай! разве я не велел тебе встать?

— А кто? .. — взмолился я, — кто ты?

— У меня нет имени в краях, где я теперь обитаю, — печально отозвался голос, — я был смертным, теперь — демон. Я был беспощаден, а стал жалостлив. Ты слышишь, как я дрожу. При каждом слове у меня зубы стучат, но не от стужи в ночи бескрайней. А от невыносимого ужаса. Как ты можешь мирно спать? Я не знаю покоя от вопля этих вселенских терзаний. Видеть их свыше моих сил. Так вставай же! Вступим вместе в вечную ночь, и я отворю перед тобой могилы. Не сама ли это скорбь? ..
Смотри!

Я вгляделся, — и невидимый собеседник, все еще сжимавший мне руку, заставил разверзнуться все могилы на земле, и в каждой засветилось слабое фосфорическое свечение гнили, так что стали видны их сокровенные глубины, и я увидел закутанных в саваны покойников, почивших последним, скорбным сном среди червей. Но, увы! Действительно усопшие были в меньшинстве, на много миллионов было больше тех, что и не смыкали глаз, всюду слышалась беспомощная возня, и всем было тягостно и тревожно, и в глубинах каждой из бесчисленных ям слышался тоскливый шелест погребальных одежд. А среди тех, что, казалось, мирно почили, я увидел великое множество лежащих не в той или не совсем в той торжественной и принужденной позе, в какой укладывают покойников в гробу. Я все смотрел, а голос снова воззвал ко мне:

— «Это ли... о! Это ли не печальное зрелище?» — но прежде чем я нашелся с ответом, неизвестный отпустил мою руку, фосфорические светильники погасли, и все могилы были разом завалены, а из них неслись вопли отчаяния, сливаясь в единое стенание, в котором снова отдалось эхом: «Это ли... о боже! Это ли не самое печальное из зрелищ?»

Наяву же я влачил свои дни, изнывая под гнетом ночных кошмаров, подобных рассказанному. Нервы мои совершенно истрепались, я стал жертвой вечного ужаса. Я боялся ездить верхом, гулять, избегал всяких развлечений, если надо было выбраться из дома. По правде говоря, если рядом не было людей, знающих о моей каталепсии, я считал себя обреченным — случись у меня припадок, меня, конечно, заркоут, не дожидаясь, пока выяснится действительное положение вещей. Я уже не полагался на заботливость и преданность самых дорогих друзей! Я уже стал опасаться, не надоед ли я им, и как бы они теперь, чего доброго, не воспользовались первым же затянувшимся припадком, чтобы избавиться от меня навсегда. И тщетны были их попытки разуверить меня самыми торжественными обещаниями. Я заставил их поклясться всем святым, что они ни при каких обстоятельствах не похоронят меня, пока разложение не станет настолько явным, что долше хранить тело окажется невозможным. Но ни голос рассудка, никакие увещевания не могли унять ужаса. Я тщательно продумал меры предосторожности, которые необходимо было предпринять.

В частности, я перестроил семейный склеп, чтобы он легко открывался изнутри. Достаточно было малейшего нажатия на длинный шест, протянутый в самую глубь гробницы, чтобы железные створки у входа мгновенно распахнулись. Я позаботился, чтобы в склепе было много воздуха и света, специальные запасники с пищей и водой были расположены так, что достаточно было протянуть руку из приготовленного для меня гроба. Гроб этот внутри обили мягкой теплой прокладкой; крышка той же конструкции, что и наружная дверь склепа, была снабжена пружинным механизмом, так что стоило лишь чуть шевельнуться в гробу — и вы оказывалось на свободе. Кроме того, под сводом склепа был подвешен большой колокол, веревку от которого, по моим указаниям, должны были, пропустив сквозь отверстие в гробу, привязать мне к руке⁶. Но, увы!

разве уберешься от того, что на роду написано? Как ни хитри, а раз уж преждевременное погребение предопределено судьбой, то его и не миновать!

Однажды я снова, как бывало уже не раз, вернулся из небытия, и сознание робко, неверно начало возвращаться ко мне. Медленно, с мучительной неторопливостью занималась в душе унылая, мглстая денница прозрения. Сонная одурь. Тупая, гнетущая апатия. Равнодушие, безнадежность, немощность. Затем появился звон в ушах, а несколько погодя началось покалывание и пощипывание в конечностях, потом наступил блаженный покой; казалось, он длится вечность, но вместе с тем уже чувствовался прилив сил, уже можно было попытаться собраться с мыслями; затем, после нового короткого провала в небытие, сознание проясняется. Наконец, вздрогнули веки, и сразу же словно током ударило, и меня охватил ужас, смертельный и безотчетный, от которого вся кровь прилила к сердцу. И вот появляются первые связные мысли. Начинает оживать и память. И вот что-то словно припоминается, сначала едва-едва, а затем уже настолько ясно, что я отдаю себе отчет в собственном состоянии. И представляю себе, что это — пробуждение не просто от сна. Я вспоминаю, что был приступ катаlepsии. И тут же, словно яростный, океанский прилив, мой содрогнувшийся разум настаивает и захлестывает сознание все той же жуткой опасности, все та же роковая, всеподчиняющая мысль.

И, весь во власти этого наваждения, я замер недвижно. А почему? Я не решался шелохнуться. Я боялся убедиться, что на этот раз предназначенное мне все-таки сбылось, но в глубине души уже знал, что так оно и есть — свершилось. Отчаяние, подобного которому никакое иное бедствие не может вызвать, — только отчаяние дало мне наконец решимость поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Было темно... тьма-тьмушная. Я чувствовал, что приступ прошел. Я знал, что перелом в ходе болезни давно наступил. Я понимал, что зрение восстановлено, но не видел ни зги — одна только тьма, непроглядность и беспросветность вечной ночи.

Я крикнул было, но губы и присохший к гортани язык судорожно силились издать крик, а голоса не было; легкие сдавило, словно на грудь мне взвалили целую гору, я задыхался, каждый глоток воздуха стоил таких усилий, что сердце заходило.

Приоткрыв рот, когда попытался закричать, я убедился, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. Я почувствовал также, что лежу на каком-то жестком ложе, крепко стиснутый с боков. То я все не решался шевельнуть ни рукой, ни ногой, теперь же яростно взметнул вверх обе руки, лежавшие скрещенными на животе. Руки ударились в тяжелую доску, протянувшуюся надо мной не более чем в шести дюймах от лица. Все было ясно — меня все-таки упрятали в гроб.

И тут, когда отчаянию уже не было предела, светлым ангелом снизошла надежда — я вспомнил о предпринятых мной мерах предосторожности. Я весь подобрался и резко рванулся, сляясь откинуть крышку гроба, — она

не поддавалась. Я ощупал запястья в поисках веревки от колокола, но ее не было. Надежды-утешительницы как не бывало, и теперь отчаяние, еще более беспощадное, чем прежде, овладело мной полностью, ибо не мог же я не отдавать себе отчета в том, что значит отсутствие обивки, приготовленной мною столь любовно, а ко всему прочему, не оставляя ни малейшего сомнения, вдруг резко пахло сырой землей. Все стало беспощадно ясно: я лежал не в склепе. Приступ настиг меня где-то далеко от дома, среди чужих — где именно и каким образом, я не мог вспомнить; и незнакомые люди зарыли меня, как собаку, заколотили в простой гроб и навеки оставили глубоко, глубоко в какой-то плохонькой безымянной могиле.

Как только эта страшная мысль проникла в сознание, я снова закричал, что было мочи. И на этот раз — во весь голос. Долгий, дикий, неумолчный крик, вопль смертельной муки отдался по всему царству подземной ночи.

— Эй! эй, ты, — отозвался чей-то грубый голос.

— Что еще за чертовщина? — произнес второй.

— А ну, вылезай! — сказал третий.

— Что ты орешь, как резаный? — проговорил четвертый, и тут меня схватили, рванули безо всяких церемоний, — и я мигом очутился в обществе самого грубого мужичья. Очнулся я от забытья сам, и уже бодрствовал, а теперь, очутившись перед ними, вспомнил все как было.

Приключение это случилось неподалеку от Ричмонда, в штате Виргиния. Мы с другом отправились поохотиться за несколько миль вниз по течению Джеймс-ривер. К ночи нас настигла гроза. Единственным укрытием поблизости оказалась каюта стоявшего на якоре небольшого шлюпа, груженого огородной землей. Устроившись поудобней, мы заночевали на шлюпе. Я улегся на койке, которых на этой посудине и было-то всего две, а что за ложе на шлюпе в шестьдесят-семьдесят тонн водоизмещения, понятно без слов. Там, где я улегся, даже и подстилки не было. Поперек это ложе было не шире восемнадцати дюймов. На такой же примерно высоте приходилась над лежаком палуба. И я еле втиснулся туда. Но заснул крепко, и все, что мне представилось, было не сном, не наваждением, а естественным следствием положения, в котором я очутился, моей навязчивой идеи и того, как долго и мучительно не могу я обычно прийти в себя и особенно овладеть памятью после сна. Выволокли меня люди оказались командой шлюпа и рабочими, которых подрядили сгрузить землю. От этого груза и пахло землей. Повязка, которой я был затянут под подбородком, оказалась шелковым платком, которым я повязался за неимением ночного колпака, спать без которого не привык.

Тем не менее, пока пытка моя длилась, она, без сомнения, ничуть не уступала мукам действительно попавшего в загробный мир. Они были так ужасны, что разум не в силах охватить их жути; но нет худа без добра — та же встряска властно направила мои мысли по новому руслу. Я воспрянул духом, взял себя в руки. Я отправился повидать свет. Я зажил деятельной жизнью. Мне стало дышаться вольней. Мысли мои больше

не обращались к смерти. Я бросил книги по медицине. Бьюкена⁷ я спалил. И больше не зачитывался «Ночными думами»⁸ и никакой зауспокойной риторикой, никакими страшными баснями в том же роде. Словом, стал другим человеком и жил по-человечески. С той памятной ночи я навсегда избавился от мрачных предчувствий, а там как рукой сняло и мою немочь, катаlepsию, которая и была-то, пожалуй, больше их следствием, чем причиной.

Бывает временами, что даже ясному взору разума наша земная юдоль покажется мало чем уступающей преисподней; но воображение человеческое — не Каратида⁹, которой дозволено вступать безнаказанно во все ее пещеры. Увы! Конечно же, вся темная рать страхов перед потусторонним — не только плод воображения; но как тех демонов, что были спутниками Афрасиаба¹⁰ в его путешествии по Оксусу¹¹, их нельзя будить, а то они пожрут нас; да починут они самым непробудным сном, иначе нам не сдобровать.

МЕСМЕРИЧЕСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Как бы сомнительны ни оставались пока попытки дать месмеризму ¹научное объяснение, поразительность его результатов признана почти безоговорочно. Упорствуют лишь записные скептики, не верящие ни во что просто из принципа, — народ никчемный и доброго слова не стоящий. Теперь мы бы стали ломиться в открытые двери, принявшись доказывать, что человек способен, воздействуя на партнера только усилием воли, привести того в патологическое состояние, необычность которого в том, что оно по своим признакам очень близко напоминает смерть, или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека; что, когда человек находится в подобном состоянии, органы чувств почти теряют восприимчивость; но зато по каналам, пока неизвестным, он воспринимает с исключительной чуткостью явления, обычным органам чувств не доступные; более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и озаренность; между ним и внушающим ему свою волю устанавливается глубочайшее взаимопонимание, и, наконец, восприимчивость человека к подобному внушению растет в прямой зависимости от частоты и регулярности повторения сеансов, одновременно с чем и поразительные явления, сопровождающие их, обнаруживают себя все полней и отчетливей.

Все эти положения, повторяю, суть общие прописи месмеризма, так что и нет нужды докучать ими читателям. Цель у нас совершенно иная. Я решил, чего бы это мне ни стоило и назло всем злопыхателям и маловерам, просто изложить поподробней и без всяких комментариев в высшей степени примечательное содержание моей беседы с человеком, бодрствующим во сне.

Я долгое время пользовал с помощью месмерического воздействия человека, о котором в дальнейшем пойдет речь (мистера Вэнкерка), и резкое усиление внушаемости, а также повышенная месмерическая восприимчивость уже, как и положено, были достигнуты. Много месяцев подряд он боролся с чахоткой, открытый процесс протекал мучительно, и мне удалось посредством ряда манипуляций несколько облегчить его страдания, и вот в ночь со среды на четверг пятнадцатого числа текущего месяца меня позвали к его одру.

Больного мучили острые боли в области сердца, он еле дышал, налицо были все признаки астмы. Как правило, ему при этих спазмах приносили облегчение горчичники, прикладывавшиеся к нервным центрам, но на этот раз, сколько их ни прикладывали, они никакого действия не оказывали.

Когда я вошел, он поздоровался с приветливой улыбкой; несмотря на страдания, он, казалось, был бодр и ясен духом.

— Сегодня я послал за вами, — сказал он, — не за тем, чтобы вы избавили меня от страданий, — я хочу, чтобы вы удовлетворили мое любопытство по поводу некоторых ощущений, поразивших меня в прошлый раз, которые чрезвычайно заинтересовали меня и озадачили. Вы помните, как недоверчиво относился я до сих пор к вопросу о бессмертии души. Не могу отрицать, что где-то, и похоже, как раз в той самой душе, существования которой я не признавал, всегда жила смутная догадка о ее бытии. Но в уверенность она никак не превращалась. И тут я просто терялся. Вполне понятно, что все попытки разобраться логически лишь укрепляли мое недоверие. Мне посоветовали обратиться к Кузену². Я изучал его взгляды и по его собственным трудам и по книгам его европейских и американских последователей. Мне, например, достали «Чарлза Элвуда» мистера Браунсона³. Я читал эту книгу особенно вдумчиво. В целом она показалась мне логичной, но, к сожалению, элементарной логики явно недостает именно тем ее частям, в которых обосновывается неверие ее героя. В итоге, — что, как мне кажется, просто бросается в глаза, — ему, при всем его уме, не удастся убедить даже самого себя. В конце он, подобно правительству Тринкуло⁴, уже просто не помнит, о чем шла речь сначала. Короче говоря, я довольно скоро понял, что если человека и можно убедить в его бессмертии, то одними лишь чисто умозрительными теориями, которые испокон веков в таком почете у моралистов Англии, Франции, Германии, тут не обойтись. Умозрения, пожалуй, и заняты и по-своему небесполезны, но для постижения духа нужно что-то другое. Я пришел к выводу, что так уж все мы, видно, устроены, и философия так никогда и не приучит нас рассматривать качества как нечто предметное само по себе. Мы, может быть, и рады бы, но ни ум, ни чувство не приемлют этого.

Так вот, повторяю, я лишь смутно чувствовал в себе душу, но разумею — не верил. Но в последнее время это чувство во мне заметно углубилось, разум же настолько далеко пошел ему навстречу, что сейчас я уже затрудняюсь определить, где кончается одно и где начинается другое. При этом же оказалось нетрудно убедиться, что это положение — результат месмерического воздействия. Объяснить свою мысль яснее я мог бы, только высказав предположение, что месмерическое озарение позволяет мне схватывать самый ход рассуждений, который, пока я нахожусь в этом необычном состоянии, я могу проследить, но который — такова сама месмерическая феноменальность подобного состояния — становится недоступен моему пониманию в нормальных условиях, в сознании остаются лишь *результаты* этих рассуждений. Бодрствующему во сне рассуждения и вывод — то есть причина и конечный результат — даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается — да и то, пожалуй, лишь частично — один результат.

— Эти соображения навели меня на мысль, что если, когда я буду усыплен, мне задать искусней ряд наводящих вопросов, то из этого, пожалуй, вышел бы толк. Вы часто наблюдали, на какое глубокое самопостижение способен бодрствующий во сне — удивительную осведомленность, которую

он обнаруживает по части особенностей месмерического транса; на эту его способность к углублению в себя лучше всего и ориентироваться, чтобы составить подобный катехизис по всем правилам.

Я, разумеется, согласился на предложенный эксперимент. Несколько пассив погрузили мистера Вэнкерка в месмерический сон. Он сразу же задышал легче, и, казалось, все его муки тут же как рукой сняло. Разговор принял вот какой оборот: *В.* в нашем диалоге — это больной, *П.* — я сам.

П. Вы спите?

В. Да — нет; я предпочел бы заснуть покрепче.

П. (продлав еще ряд пассив). А теперь?

В. Теперь да.

П. Что вы думаете об исходе вашей теперешней болезни?

В. (после долгих колебаний, говорит словно через силу). Только смерть.

П. Печалит ли вас мысль о смерти?

В. (не задумываясь). Нет — нет!

П. Разве подобная перспектива прельщает вас?

В. Если бы я бодрствовал, мне хотелось бы умереть, а сейчас мне все равно. Месмерическое состояние настолько близко к смерти, что мне хорошо и так.

П. Будьте добры, объяснитесь, мистер Вэнкерк.

В. Я бы рад, но боюсь, мне эта задача не по плечу. Вы задаете не те вопросы.

П. Как же тогда мне вас спрашивать?

В. Вы должны начать с самого начала.

П. С начала! Но где оно, это начало?

В. Вы же знаете, что начало есть бог (Сказано это было глухим, прерывистым голосом и, судя по всему, с глубочайшим благоговением.)

П. Так что же такое бог?

В. (несколько минут остается в нерешимости). Я не знаю, как это объяснить.

П. Разве бог — не дух?

В. В бытность свою наяву я знал, что вы понимаете под словом «дух», но теперь оно для меня — слово и больше ничего... Такое же, к примеру, как истина, красота — то есть обозначение какого-то качества.

П. Но ведь бог нематериален?

В. Нематериальности не существует. Это просто слово. То, что нематериально, не существует вообще, если только не отождествлять предметы с их свойствами.

П. А бог, стало быть, материален?

В. Нет. (Этот ответ просто ошеломил меня.)

П. Так что же он в таком случае?

В. (после долгого молчания, бессвязно). Я представляю себе, но словами это передать трудно. (Снова долгое молчание.) Он не дух, ибо он — сущий. И вместе с тем он и не материален в вашем понимании. Но есть также и ступени превращений материи, о которых человеку ничего не

известно; более простые и примитивные пробуждают более тонкие и изощренные, более изощренные пронизывают собою более простые. Атмосфера, например, возбуждает электричество, а электричество насыщает собой атмосферу. Градации материи восходят все выше, по мере утраты ею плотности и компактности, пока мы не добираться до материи, уже совершенно лишенной предметности — нерасторгаемой и единой; и здесь закон, побуждающий к действию силы и проникновения, преобразуется. Эта первоматерия, или нерасторжимая материя, не только проникает собой все сущее, но и побудительная причина всего сущего и, таким образом, сама в себе и есть все сущее. Эта материя и есть бог. И то, что люди силятся воплотить в слове «мысль», есть эта материя в движении.

П. Метафизики утверждают, что всякое деяние сводится к движению и мысли, и что вторая является прообразом первого.

В. Да, утверждают; и мне теперь ясно, в чем здесь заблуждение. Движение — это действие духа, а не мысли. Нерасторжимая материя, или бог, в покое и есть (насколько мы можем приблизиться к пониманию этого) то, что люди называют духом. А сила самопобуждаемого движения (по своему конечному результату эквивалентного человеческой воле) в нерасторжимой материи является результатом ее неделимости и вседушности, — как это происходит, я не знаю и теперь ясно понимаю, что никогда уже и не узнаю. Но нерасторжимая материя, приведенная в действие законом или свойством, заключенным в ней самой, и есть мысль.

П. Не можете ли вы уточнить понятие, которое вы называете «нерасторжимой материей»?

В. Известные людям вещества, по мере восхождения материи на более высокие ступени, становятся все менее доступными чувственному восприятию. Возьмем, например: металл, кусок древесины, каплю воды, воздух, газ, теплоту, электричество, светоносный эфир. Мы же называем все эти вещества и явления материей, охватывая таким образом единым и всеобщим определением все материальное; но так или иначе, а ведь не может быть двух представлений, более существенно отличных друг от друга, чем то, которое связано у нас в одном случае с металлом и в другом — со светоносным эфиром. Как только дело доходит до второго, мы чувствуем почти неодолимую потребность отождествить его с бесплотным духом или с пустотой. И удерживает нас от этого только то соображение, что он состоит из атомов; но даже и тогда мы ищем себе опору в понятии об атоме как о чем-то, хотя бы и в бесконечно малых размерах, но все-таки имеющем плотность, осязаемость, вес. Устраните понятие о его атомистичности, — и мы уже не в состоянии будем рассматривать эфир как вполне реальное вещество, или, во всяком случае, как материю. За неимением лучшего определения, нам пришлось бы называть его духом. Сделаем, однако, от рассмотрения светоносного эфира еще один шаг дальше и представим себе вещество, которое настолько же бесплотней эфира, насколько эфир бесплотней металла, — и мы, наконец, приблизимся (во-

преки всем ученым догмам) к массе, единственной в своем роде, — к не-расторжимой материи. Потому что, хотя мы и примираемся с бесконечной малостью самих атомов, бесконечная малость пространства между ними представляется абсурдом. Ибо тогда непременно возникло бы какое-то критическое состояние, какая-то степень разреженности, когда, если атомы достаточно многочисленны, промежуточное пространство между ними должно было бы совершенно исчезнуть и вся их масса — абсолютно уплотниться. Ну, а поскольку само понятие об атомистической структуре в данном случае исключается, природа этой массы неизбежно сводится теперь к нашему представлению о духе. Совершенно очевидно, однако, что наше вещество по-прежнему остается материей. По правде говоря, мы ведь не можем уяснить себе, что такое дух, поскольку не в состоянии представить себе то, чего не существует. И обольщаемся мыслью, будто составили себе о нем какое-то понятие потому только, что обманываем себя представлением о нем как о бесконечно разреженном веществе.

П. По-моему, ваша мысль об абсолютном уплотнении наталкивается на одно возражение, которое невозможно оспаривать; оно заключено в том ничтожно малом сопротивлении, которое испытывают небесные тела при своем обращении в мировом пространстве, — сопротивлении, которое, как теперь установлено со всей очевидностью, существует в *каких-то* размерах, но настолько мало, что его совершенно не заметило даже Ньютонovo всевидящее око. Мы знаем, что сопротивление тел зависит главным образом от их плотности. Абсолютное уплотнение даст абсолютную плотность. А там, где нет промежуточного пространства, не может быть и податливости. И абсолютно плотный эфир был бы для движения звезд преградой бесконечно более могучей, чем если бы они двигались в алмазной или железной среде.

В. Легкость ответа на ваше возражение прямо пропорциональна кажущейся невозможности на него ответить. Если уж говорить о движении звезды, то ведь совершенно одно и то же, звезда ли проходит через эфир или эфир сквозь звезду. И самое странное заблуждение в астрономии — это попытка совместить постоянно наблюдаемое замедление хода комет с их движением в эфире; потому что, какую бы большую разреженность эфира ни допустить, он бы остановил все обращение звезд гораздо раньше срока, положенного астрономами, которые всячески стараются смазать этот вопрос, оказавшийся выше их понимания. С другой же стороны, замедление, которое в действительности имеет место, можно было бы предвидеть заранее, учитывая трение эфира, мгновенно проходящего сквозь светило. В первом случае действие замедляющей силы должно быть единовременным и всецело замкнутым в себе самом, во втором — оно накапливается нескончаемо.

П. Но разве во всем этом — в вашем отождествлении простейшей материи с богом — нет некоторого непочтения? (*Усыпленный не сразу понял, что я имею в виду, и мне пришлось повторить свой вопрос.*)

В. А вы можете объяснить, почему материя менее почтенна, чем дух? Но вы забыли, что та материя, о которой я говорю, и есть во всех отношениях именно тот самый «дух», «душа», о которых твердят ученые; она наделена всеми их высшими способностями и, более того, остается в то же самое время тем, что те же ученые называют «материей». Бог и все способности, приписываемые «духу», — это всего лишь совершеннейшее состояние материи.

П. Вы, стало быть, утверждаете, что нерасторжимая материя в движении есть мысль.

В. В общем это движение есть вселенская мысль вселенского разума. Эта мысль созидает. Все, что сотворено, — это не более, как мысль бога.

П. Вы говорите — «в общем».

В. Да. Вездесущий дух — это бог. Для каждого нового отдельного бытия необходима материя.

П. Но вы говорите сейчас о «духе» и «материи» точь-в-точь, как метафизики.

В. Да — во избежание путаницы. Когда я говорю «дух», то имею в виду нерасторжимую материю или сверхматерию, под «материей» предполагается все остальное.

П. Вы говорили о том, что «для каждого нового отдельного бытия необходима материя».

В. Да, дух, существующий исключительно сам по себе, — только бог. Для сотворения самостоятельного, мыслящего существа необходимо воплощение частицы духа божия. Так человек получает личное бытие. Без воплощения в телесную оболочку он был бы просто богом. Ну, а обособленное движение частных воплощений нерасторжимой материи — это мысль человеческая, точно так же, как общее ее движение — мысль божия.

П. Так, по вашим словам, выходит, расставшись с телом, человек станет богом?

В. (после мучительных колебаний). Я не мог так сказать, это — абсурд.

П. (справляется по своей записи). — Вы сказали, что «без воплощения в телесную оболочку человек был бы богом».

В. И воистину. Таким образом, человек стал бы богом — избавился бы от отдельности своего бытия. Но такого освобождения от плоти ему не дано или, во всяком случае, никогда такого с ним не бывает; иначе нам пришлось бы представить себе деяние божие обращающимся вспять на самого бога — бессмысленным и бессмысленным. Человек — творение. Творения — суть мысли божьи. А мысль по самой своей природе преходяща.

П. Не совсем понял. Вы говорите, что человеку не дано веками со- влечь с себя телесную оболочку?

В. Я говорю, что он никогда не будет бестелесным.

П. Поясните.

В. Есть два вида телесности: зачаточная и полная — соответствующие состоянием гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом «смерть», —

всего лишь мучительное преображение. Наше нынешнее воплощение переходяще, предварительно, временно. А грядущее — совершенно, законченно, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам.

П. Но ведь метаморфоза гусеницы известна нам досконально.

В. Нам — безусловно, но не гусенице. Вещество, из которого состоит наше рудиментарное тело, по своим свойствам не выходит из пределов восприятия органов этого тела, или, точнее, — наши рудиментарные органы соответствуют веществу, из которого вылеплено наше рудиментарное тело, но материи нашего окончательного претворения они не соответствуют. И таким образом конечная наша телесность недоступна нашим рудиментарным чувствам, и мы способны ощущать лишь оболочку, которая спадет, чтобы истлеть, освободив скрытую форму; но и эта сокровенная форма, и оболочка равно доступны восприятию тех, кто уже достиг конечного бытия.

П. Вы часто говорили, что месмерическое состояние очень походит на смерть. Как это надо понимать?

В. Когда я говорю, что оно похоже на смерть, я имею в виду, что оно приближается к конечному бытию; потому что, когда я погружаюсь в транс, мои рудиментарные чувственные восприятия временно выключаются, и я воспринимаю внешние явления прямо, без опосредствования их органами чувств, а через посредника, который будет мне служить в предстоящей жизни, в которой нет нашей упорядоченности.

П. Нет упорядоченности?

В. Да, ведь органы — это приспособления, с помощью которых человек приводится в осмысленное отношение к одним видам и формам материи, а к другим — не приводится. Человеческие органы приспособлены к условиям рудиментарного бытия, и только к ним; и совершенно понятно, что предстоящее бытие человека не нуждается ни в какой организации, ибо оно подчинено прямо божьей воле, то есть движению нерасторжимой материи. Вы сможете создать себе ясное понятие о теле конечного претворения, если представите себе его как сплошной мозг. Оно не таково; но такого рода допущение все-таки приблизит вас к пониманию, что же оно такое. От светящегося тела исходят волны в светоносный эфир. Он, в свою очередь, передает их на сетчатую оболочку глаза, от которой они передаются зрительному нерву. Нерв сообщает их мозгу; мозг — нерасторжимой материи, проходящей сквозь него. Движение этой последней есть мысль, волна которой начинает свой бег с перцепции. Так сознание в рудиментарной жизни сообщается с внешним миром, восприятие этого внешнего мира ограничено в рудиментарной жизни возможностями ее органов. А в предстоящей, не регламентированной органикой, жизни внешний мир воспринимается всем телом (которое состоит из вещества, наделенного, как я уже говорил, примерно теми же свойствами, что и мозг), и нет между ними никакого посредника, кроме эфира, даже еще более бесконечно разреженного, чем светоносный эфир; и все тело вибрирует вместе с этим эфиром, передавая свои колебания нерасторжимой

материи. Именно отсутствию локализованности нашего восприятия органами чувств мы и обязаны в предстоящем бытии почти беспредельной восприимчивостью. Для рудиментарных существ органы чувств — клетки, в которых их держат, пока не оперятся.

П. Вы говорите о рудиментарных «существах». Но разве есть, кроме человека, еще и другие мыслящие существа?

В. Бесконечное многообразие разреженной материи в космических туманностях, планетах, солнцах и других телах, не являющихся ни туманностями, ни планетами, ни солнцами, единственно и предназначено для локализованных органов чувств бесчисленных рудиментарных существ. Все эти тела необходимы для рудиментарной жизни, для предстоящего бытия, иначе их и не существовало бы вовсе. Каждое из них заселено определенной породой рудиментарных мыслящих существ, живущих органической жизнью. В общем свойства органов чувств меняются в зависимости от места обитания этих существ. Когда же наступает смерть, или — метаморфоза, все эти создания, приобщаясь к предстоящей жизни, бессмертию и всех тайн, кроме одной, совершают любое действие и переносятся куда угодно, и для этого им не нужно ничего, кроме проявления воли; они обитают уже не на звездах, представляющихся нам единственной достоверностью и единственно для размещения которых, как мы в слепоте своей полагаем, пространство и создано, — а прямо в мировом пространстве, в бесконечности, сама истинносущностная безмерность которой поглощает эти звездные островки, не давая ангелам даже задерживать на них внимания, как словно бы их и не было.

П. Вот вы говорите, что «если бы не их необходимость для рудиментарной жизни, то звезд бы не существовало». Но откуда берется эта необходимость?

В. В неорганической жизни, как и в неживой материи вообще, не может быть никаких препятствий действию одного простого и не имеющего себе подобия закона — божественной воли. Чтобы создать ему сопротивление, и была сотворена органическая материя, органическая жизнь (сложная, собственносущностная, стойкая в сопротивлении этому закону).

П. Но зачем же понадобилось создавать ему сопротивление?

В. Результатом подчинения закону является совершенство, истинность, счастье как отсутствие страданий. Результатом же нарушения закона становятся несовершенство, несправедность и страдание как таковое. Из-за помех его осуществлению, которые возникают в силу множественности, сложности и собственносущности законов органической жизни и материи, становится практически возможной какая-то мера воздаяния за нарушение высшего закона. Так, невозможное в неорганической жизни, страдание становится возможным в органической.

П. А какая благая цель при этом достигается?

В. Все сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. Обстоятельное исследование убеждает, что наслаждение во всех случаях является не чем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом

виде наслаждение — фикция. Радость нам дается лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать блаженства. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание немислимо, отсюда — необходимость органической. Страдания в начальной, земной жизни являются залогом блаженства конечной, небесной жизни.

II. Вы употребили также и еще одно выражение, смысла которого я не уразумел: *«истинносущностная безмерность бесконечности»*.

В. По всей видимости, причина этого в том, что само понятие *«сущность»* является у вас недостаточно общим. Его следует рассматривать не как качество, а как ощущение: умыслящих существ оно является восприятием приспособления материи к собственному их устройству. На земле найдется немало такого, существования чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере видимо и осязаемо, мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделенных органичностью, для ангелов, — вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, все, что мы определяем словом *«пространство»*, для них — вещественнейшая реальность, и в то же время звезды — именно в силу того, что мы считаем доказательством их материальности, — оказываются вне восприятия ангелов, и эта их невосприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя — в силу тех своих свойств, которые заставляют ее казаться нам не материей вообще, — не поддается восприятию органической.

В то время, как усыпленный уже еле слышно договаривал эти последние слова, я заметил, что лицо его приняло странное выражение, которое встревожило меня и вынудило тут же разбудить его. Но не успел я этого сделать, как он с просветленной улыбкой, озарившей все лицо, откинулся на подушку и испустил дух. Я обратил внимание, что не прошло и минуты, как тело успело окоченеть и стало словно каменным. Лоб его был холоден, как лед. Так обычно бывает лишь после того, как рука Азраила⁵ уже долго сжимала человека. Неужели и вправду усыпленный мной со своими последними рассуждениями обратился ко мне уже из царства теней?

ДЛИННЫЙ ЛАРЬ

Несколько лет тому назад я взял себе место на добром пакетботе капитана Харди «Независимость»¹, идущем из Чарлстона (Южная Каролина) в Нью-Йорк. При благоприятной погоде мы собирались отплыть пятнадцатого (дело было в июне), а четырнадцатого я отправился на корабль, чтобы проверить, все ли в порядке в моей каюте.

Я узнал, что пассажиров на корабле будет много, особенно дам. В пассажирском списке я нашел несколько знакомых имен и от души обрадовался, увидев среди них мистера Корнелиуса Уайетта, молодого художника, к которому питал я чувства самые дружеские. Мы были с ним товарищами по Ш-скому² университету, где проводили немало времени в обществе друг друга. Он обладал обычным темпераментом человека талантливо — смесь мизантропии, обостренной чувствительности и восторженности. Со всем тем в груди его билось сердце доброе и верное, равного которому я не знал.

Я заметил, что на его имя были записаны три каюты, а заглянув снова в список пассажиров, увидел, что он нанял их для себя, жены и двух своих сестер. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки, одна над другой. Разумеется, койки были так необычайно узки, что там и одному едва хватало места; и все же я не понимал, к чему нанимать три каюты для четырех человек. В то время мною владело то странное расположение духа, когда придаешь несообразное значение пустякам; признаюсь, к стыду своему, что я принялся строить самые невероятные и неуместные предположения насчет этой лишней каюты. Конечно, это несколько меня не касалось; с тем большей настойчивостью пытался я разгадать эту тайну. Наконец, нашел я решение, такое простое, что только подивился, почему оно не пришло мне на ум раньше. «Ну, разумеется, это каюта для служанки», — сказал я про себя. — «Что ж я, глупец, не догадался об этом сразу!» Тут я снова обратился к списку — и ясно увидел, что друзья мои путешествуют без служанки, хотя поначалу, видно, и намеревались взять ее с собой, ибо в списке первоначально стояло «со служанкой», но потом слова эти были зачеркнуты. «Ну, тогда это багаж, который нежелательно помещать в трюм, — решил я, — что-то, что всегда должно быть на глазах... А-а, догадался, — это картина или что-нибудь в этом роде... Так вот о чем он вел переговоры с этим итальянским евреем Николино!» Догадка эта меня успокоила, и я на время забыл о своем любопытстве.

С обеими сестрами Уайетта я был хорошо знаком — это были весьма любезные и остроумные девицы. Зато жену его я ни разу не видел —

женился он недавно. Впрочем, он часто с обычной своей восторженностью говорил о ее необычайной красоте, уме и благородстве, и потому я искренне желал с ней познакомиться.

В день, когда я явился на корабль (это было четырнадцатого), капитан сообщил мне, что они ждут и Уайетта с его спутницами, и я задержался на час дольше, в надежде быть представленным молодой жене моего друга, — но мне передали их извинения. «Миссис Уайетт несколько нездоровится, и она поднимется на корабль лишь завтра, в час отплытия».

На следующий день я уже направлялся из своего отеля на пристань, когда меня перехватил капитан Харди. «В силу некоторых обстоятельств», — сказал он (бессмысленный, но удобный оборот речи), — он склонен думать, что «Независимость» задержится еще на день или два, и что как только все будет готово, он пошлет известить меня об этом». Это мне показалось странным, ибо с юга дул свежий попутный ветер, — но что это были за «обстоятельства», я так и не узнал, как ни расспрашивал, и потому мне не оставалось ничего другого, как возвратиться домой и постараться умерить свое нетерпение.

С неделю не получал я от капитана обещанного знака. Но, наконец, меня вызвали, и я, не мешкая, явился на корабль. Как всегда перед отплытием, на борту толпились пассажиры; на палубе царил суматоха. Уайетт прибыл минут через десять после меня, с женой и двумя сестрами. Художник был в своем обычном мизантропическом настроении. Впрочем, я слишком к этому привык, чтобы обращать на это особое внимание. Он даже не представил меня своей жене; поневоле этот долг вежливости пришлось исполнить его сестре Мериэн, милой и умной девушке, которая без долгих слов нас познакомила.

Лицо миссис Уайетт было закрыто густой вуалью, и, когда она подняла ее в ответ на мой поклон, я был, признаюсь, поражен до глубины души. Я был бы поражен еще более, если бы опыт многих лет не научил меня не слишком полагаться на моего друга-художника, когда он предавался восторженным описаниям женской красоты. Я слишком хорошо знал, с какой легкостью он воспаряет в высоты идеального, когда речь идет о красоте.

Сказать по правде, миссис Уайетт, как ни старался я убедить себя в противном, показалась мне решительно дурнушкой, и никак не более того. Если она и не была положительно нехороша собой, то, на мой взгляд, была от того весьма недалеко. Правда, одета она была весьма изысканно — что ж, верно, она покорила сердце моего друга возвышенным умом и сердцем, очарование которых долговечнее. Сказав несколько слов, она тут же вслед за мистером Уайеттом удалилась в каюту.

Любопытство мое пробудилось вновь. Служанки с ними не было — в этом я мог не сомневаться. Что ж! Я стал высматривать багаж. Спустя какое-то время на пристани появилась тележка с довольно длинным сосновым ларем, которого, видно, только и ждали. Его погрузили — мы тотчас подняли паруса и в самое короткое время благополучно прошли отмель и оказались в открытом море.

Ларь, о котором идет речь, был, как я уже сказал, довольно длинным. В нем было футов шесть в длину, а в ширину — около двух с половиной; я разглядел его внимательно, так как во всем люблю точность. Формой он был весьма необычен, и, стоило мне его увидеть, как я поздравил себя со своей догадкой. Я, как вы помните, решил, что друг мой везет с собой картины или, по крайней мере, картину; мне было известно, что в течение нескольких недель он вел переговоры с Николино, и вот передо мною — ларь, в котором, судя по его форме, могла находиться только копия «Тайной вечери» Леонардо, та самая копия работы Рубини³ младшего из Флоренции, которая, как мне было известно, была какое-то время в руках Николино. Тут мне все было ясно. Я только посмеивался, думая о своей проицательности. Что до искусства, то раньше Уайетт не имел от меня никаких тайн, но теперь он явно хотел меня обскакать и тайком, под самым моим носом, привезти в Нью-Йорк прекрасную картину, в надежде, что я ничего об этом не узнаю. Я решил вдоволь над ним посмеяться — и сейчас и впоследствии.

Одно меня раздосадовало: ларь не поместили в свободную каюту. Его поставили в каюте Уайеттов, — там он и остался, заняв чуть не весь пол, — что было, конечно, чрезвычайно неудобно для художника и его жены, ибо вар или краска, которым сделана была на нем надпись, испускал самый неприятный, а на мой взгляд, и просто нестерпимый запах. На крышке размашистыми буквами было выведено: «Миссис Аделаида Кэртис, Олбани, Нью-Йорк. От Корнелиуса Уайетта, эсквайра. Не переморачивать! Обращаться с осторожностью!»

Мне, надо сказать, было известно, что миссис Аделаида Кэртис из Олбани это мать миссис Уайетт; впрочем, я считал весь адрес шуткой, предназначенной специально для отвода глаз. Я был совершенно уверен, что ларь и его содержимое так и останутся в стенах студии моего мизантропического друга, что на Чэмберс-стрит в Нью-Йорке.

Погода первые три или четыре дня стояла прекрасная, хотя ветер дул нам прямо в лицо, внезапно переменявшись на северный сразу же после того, как мы потеряли из виду берег. Пассажиры были в веселом и общительном настроении. Я должен, впрочем, сделать исключение для Уайетта и его сестер, которые были весьма холодны и, я бы даже сказал, нелюбезны со всеми прочими пассажирами. Поведение Уайетта меня не очень удивляло. Он был угрюм еще более обычного, — вернее, он был попросту мрачен, но от него можно было ждать любой странности. Что до сестер, однако, то я считал их поведение непростительным. Большую часть пути они провели одни в своей каюте, и, несмотря на все мои старания, решительно отказывались знакомиться с кем бы то ни было из пассажиров.

Зато миссис Уайетт была гораздо любезней. Вернее, она была разговорчивой, а разговаривать в морском путешествии — само по себе заслуга немалая. С дамами она вскоре вступила в чрезвычайно близкую дружбу и, к величайшему моему удивлению, проявила весьма недвусмысленную

готовность кокетничать с мужчинами. Всех нас она очень забавляла. Я говорю «забавляла» — и право не знаю, как это объяснить. Дело в том, что я скоро обнаружил, что мы чаще смеялись не с ней, а над нею. Мужчины ничего о ней не говорили, но дамы вскоре объявили ее «кособой добродушной, внешности самой заурядной, совершенно необразованной и положительно вульгарной». Все только диву давались, как мог Уайетт вступить в этот брак. Богатство — таков был общий глас, но я-то знал, что дело не в этом; ибо Уайетт не раз говорил мне, что жена не принесла ему ни доллара в приданое и не имела в этом смысле никаких надежд на будущее. Он женился, говорил он, по любви и только по любви, и жена его этой любви была более чем достойна. Вспоминая об этих словах, я, признаюсь, терялся в догадках. Неужто он потерял рассудок? Что еще оставалось мне думать? Он, такой тонкий, такой пронизательный, такой строгий, так быстро чувствующий любую фальшь, так глубоко понимающий прекрасное! Правда, она-то в нем, видно, души не чаяла, — в его отсутствие она непрестанно цитировала своего «дорогого супруга мистера Уайетта», чем вызывала всеобщие насмешки. Вообще говоря, слово «супруг» было — тут я позволю себе употребить одно из собственных ее деликатных выражений — было вечно «на самом кончике ее языка». Меж тем всему кораблю было известно, что он ее явно избегал и большую часть времени проводил один, запершись в каюте, где, можно сказать, и жил, предоставив своей жене развлекаться, как ей заблагорассудится, в шумном обществе, собиравшемся в салоне.

Из всего, что я видел и слышал, я заключил, что художник по какой-то непонятной прихоти судьбы или, возможно, в порыве слепой и восторженной страсти связал себя с существом, стоящим значительно ниже его, что и привело к естественному результату — скорому и полному отвращению. Я всем сердцем жалел его — и все же не мог по одному этому простить ему скрытности относительно «Тайной вечери». За это я положил еще с ним рассчитаться.

Однажды он вышел из своей каюты и я, взяв его, как обычно, под руку, стал прогуливаться с ним по палубе. Он был все в том же мрачном расположении духа, которое, правда, в данных обстоятельствах казалось мне вполне объяснимым. Говорил он мало — и то хмуро и с явным усилием. Раза два я рискнул пошутить, но он только криво улыбнулся в ответ. Бедняга! — я вспомнил о его жене и подивился, как он вообще может притворяться веселым. Я решил дать ему осторожно понять скрытыми намеками и двусмысленными замечаниями на тему о длинном ларе, что совсем не так уж прост, чтобы стать жертвой его невинной мистификации. Для начала я намеревался намекнуть, что кое-что подозреваю. Я сказал что-то о «необычайной форме этого ларя», притом ухмыльнулся, подмигнул и легонько ткнул его пальцем в грудь.

Невинная эта шутка вызвала, однако, такую реакцию, что мне немедленно стало ясно: Уайетт, конечно, сошел с ума. Сначала он уставился на меня так, словно не понимал, что я нашел тут смешного; но по мере

того, как смысл моих слов медленно проникал в его сознание, глаза его выходили из орбит. Он побагровел, потом побледнел, как мертвец, — затем, словно развеселясь от моего намека, разразился безудержным смехом, который, к величайшему моему удивлению, продолжался, все усиливаясь, минут десять или того более. В заключение он ринулся ничком на палубу. Я кинулся его поднимать — он казался мертвым.

Я кликнул на помощь, и с величайшим трудом мы привели его в чувство. Опомившись, он что-то долго и невнятно говорил. Наконец, ему пустили кровь и уложили в постель. На следующее утро он был совершенно здоров, во всяком случае, физически. О рассудке его я, конечно, не говорю. Во всю остальную часть пути я его избегал, следуя совету капитана, который, казалось, разделял мои опасения относительно безумия Уайетта, но просил не говорить об этом ни одной душе на борту.

Вскоре после этого случая произошли некоторые другие события, которые лишь усилили владевшее мною любопытство. Вот что, в частности, произошло. Я нервничал — пил слишком много крепкого зеленого чая и плохо спал ночь — вернее, две ночи я, можно сказать, не спал вовсе. А надо вам заметить, что моя каюта выходила в салон или в столовую, как, впрочем, каюты всех холостяков на корабле. Три каюты, которые занимал Уайетт, сообщались с холлом, который отделял от салона тонкая раздвижная дверь, никогда не запиравшаяся даже ночью. Так как мы почти постоянно шли под ветром, и притом нешуточным, корабль сильно кренился на борт; когда ветер бил в правый борт, дверь в салон отъезжала в сторону, да так и оставалась, ибо никому не хотелось вставать и закрывать ее снова. Когда же раздвижная дверь и дверь в мою каюту были открыты (а моя дверь из-за жары стояла всегда открытой), мне с моей койки был виден холл или, вернее, та его часть, где находились двери кают мистера Уайетта. Так вот, в те две ночи (правда, они шли не подряд одна за другой), когда я не мог заснуть, я ясно видел, как часов в одиннадцать миссис Уайетт появлялась, крадучись, из каюты мистера Уайетта, своего мужа, и направлялась в свободную каюту, где и оставалась до рассвета, когда по зову мужа она возвращалась назад. Было ясно, что по сути они разошлись. Они жили врозь — безусловно, в ожидании окончательного развода; в том-то, очевидно, и заключалась тайна свободной каюты.

Было и другое обстоятельство, которое крайне меня заинтересовало. В бессонные ночи внимание мое привлекли какие-то странные, осторожные, глухие звуки, которые раздавались в каюте мистера Уайетта, как только жена его удалялась в свободную каюту. Напряженно прислушавшись к ним, я смог, наконец, после некоторого размышления разгадать их смысл. Звуки эти производил художник, открывая длинный ларь, стоящий в его каюте, с помощью долота и деревянного молотка, обернутого какой-то мягкой, шерстяной или бумажной материей, чтобы смягчить и заглушить стук.

Мне чудилось, что я безошибочно улавливал тот миг, когда он освобождает крышку, угадываю, когда он и вовсе ее снимает, когда кладет на нижнюю койку в своей каюте, — о последнем, к примеру, я догадывался по тому, как крышка негромко ударялась о деревянные края койки, куда он старался положить ее как можно тише — ибо на полу для нее уже не было места. Потом наступала мертвая тишина. И в обе ночи до самого рассвета я ничего больше не слышал; только какой-то тихий протяжный звук — не то плач, не то стон, настолько глухой, что почти и вовсе неразличимый. А, впрочем, все это, скорее всего, было порождением моей фантазии. Я говорю — звуки эти походили на плач и стоны, но, конечно, то было что-то иное. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Мистер Уайетт, без сомнения, просто предавался, как обычно, одному из любимейших своих занятий — давал волю своей восторженности художника. Он вскрывал заколоченный ларь, чтобы порадовать свой взор заключенным в нем сокровищем. Конечно, для плача здесь вовсе не было поводов. Вот почему я повторяю, что, верно, все это было плодом моего воображения, взбудораженного зеленым чаем добрейшего капитана Харди. За несколько минут до рассвета в обе ночи, о которых я говорю, я отчетливо слышал, как мистер Уайетт клал крышку на ларь и осторожно вколачивал гвозди на прежние места. Прделав все это, он выходил из своей каюты, полностью одетый, и вызывал миссис Уайетт из ее каюты.

Мы были в море неделю и уже миновали мыс Гаттерас⁴, как вдруг поднялся страшный юго-западный ветер. Мы были отчасти к тому подготовлены, ибо вот уже несколько дней как погода хмурилась. Все паруса были убраны, и, так как ветер крепчал, мы, наконец, легли в дрейф, оставив только контр-бизань и фок-зейль на двойных рифах.

В таком положении мы оставались двое суток — наш пакетбот показал себя славным судном и почти не набрал воды. На исходе вторых суток, однако, шторм перешел в ураган, наш задний парус изорвало в клочки, и вал за валом с чудовищной силой обрушились на нашу палубу. Мы потеряли трех матросов, камбуз и чуть не всю обшивку левого борта. Не успели мы прийти в себя, как передний парус тоже был сорван. Тогда мы подняли штурм-стаксель, и несколько часов все шло совсем неплохо — корабль выдерживал натиск волн значительно лучше прежнего.

Шторм, однако, не стихал, и мы не видели никакой надежды на затишье. Снасти расшатались и не выдерживали нагрузок, а на третий день, часов в пять пополудни под натиском ветра свалилась наша бизань-мачта. Более часа пытались мы отделаться от нее, корабль страшно качало, и мы ничего не могли сделать: тут на корму поднялся шкипер и объявил, что в трюме воды на четыре фута. В довершение всего мы обнаружили, что насосы наши засорились и от них уже мало проку.

Смятение и отчаяние охватили всех, — однако мы попытались облегчить корабль, выбросив за борт весь груз, который можно было вытащить из трюма, и срубив оставшиеся две мачты. Это нам, наконец,

удалось, но с насосами мы справиться не могли, а между тем вода все прибывала.

На закате ветер значительно ослаб, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны разошлись и показалась полная луна — счастливое обстоятельство, вселившее в наши души надежду.

С невероятными трудностями мы спустили, наконец, на воду бот, в который уселись матросы и большая часть пассажиров. Они немедленно отплыли и, претерпев немало лишений, на третий день благополучно прибыли в Окраокскую бухту.

Четырнадцать пассажиров и капитан остались на борту, решив доверить свою судьбу небольшой шлюпке, укрепленной на корме. Без труда спустили мы ее за борт, но едва коснувшись воды, она чуть не перевернулась, и только чудом удалось нам ее спасти. В нее-то и сели капитан с женой, мистер Уайетт со своими спутницами, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, и я с негром, который был у меня в услужении.

Разумеется, мы ничего с собой не взяли, кроме самых необходимых инструментов, провианта, да платья, что было на нас. Никому и в голову не пришло пытаться спасти что-нибудь из вещей. Представьте же себе наше изумление, когда, не успели мы отойти на несколько сажень от корабля, как мистер Уайетт поднялся с места и хладнокровно потребовал от капитана Харди, чтобы шлюпка повернула назад, ибо он должен забрать из каюты свой ларь!

— Сядьте, мистер Уайетт, — отвечал капитан сурово. — Вы нас опрокинете, если не будете сидеть совершенно спокойно. Мы и то уже в воде по самый борт.

— Ларь! — закричал мистер Уайетт, все еще стоя. — Слышите, ларь! Капитан Харди, вы не можете мне отказать! Нет, вы мне не откажете. Он весит совсем немного ... не весит ничего ... почти ничего ... Во имя вашей матери, — во имя неба — спасением вашей души *заклинаю* вас: вернемся за ларем!

Казалось, капитан на мгновение заколебался, тронутый мольбой художника, но тут к нему вернулась его суровость, и он проговорил:

— Вы с ума сошли, мистер Уайетт. Я не могу вас послушаться. Садитесь, говорю я, а не то вы нас опрокинете. И не... Держите его! Хватите его! Он хочет прыгнуть за борт! А-а! Я так и знал... Он прыгнул!

Мистер Уайетт действительно прыгнул за борт. Мы были от корабля с подветренной стороны. Нечеловеческим усилием схватился он за канат, свисавший с палубы. Миг — и он уже был на борту и кинулся в свою каюту.

Меж тем нас относил все дальше от корабля; уйдя из-под его защиты, мы оказались во власти волн, все еще бушевавших на море. Мы напрягли все силы, стараясь повернуть назад, но нашу лодку несло, как щепку в бурю. Мы поняли, что участь несчастного решена.

Расстояние между нами и кораблем все увеличивалось, но тут мы увидели, как наш безумец — иначе его не назовешь — показался на трапе, волоча за собою с поистине исполинской силой длинный ларь. Пораженные, глядели мы, как он быстро обмотал трехдюймовой веревкой сначала ларь, а потом себя самого. Секунда — и ларь с художником были в воде, и тут же исчезли — навеки.

Мы подняли весла и горестно смотрели туда, где исчез несчастный. Потом принялись грести с удвоенной силой. В течение часа никто не произнес ни слова. Наконец, я решился нарушить молчание.

— А вы заметили, капитан, как быстро они пошли ко дну? Не правда ли, удивительно? Признаться, когда я увидел, что он привязал себя к ларю и отдался на волю океана, я все еще надеялся, что ему удастся спастись.

— Немудрено, что они пошли ко дну камнем, — отвечал капитан. — Они скоро всплывут, конечно, но не раньше, чем растает вся соль.

— Соль! — вскричал я.

— Молчите, — проговорил капитан, указывая на жену и сестер покойного. — Мы поговорим об этом в более подходящее время.

Мы испытали множество лишений и едва избежали гибели, но судьба нам покровительствовала, равно как и нашим друзьям в боте. После четырех дней страданий, полумертвые от истощения, мы высадились на берег против острова Ронок. Там мы пробыли с неделю; грабители нас не тронули; и, наконец, нам удалось добраться до Нью-Йорка.

Месяц спустя после гибели «Независимости», прогуливаясь как-то по Бродвею, я встретил капитана Харди. Разговор, естественно, тут же зашел о катастрофе и особенно о печальной участи бедного Уайетта. Вот что рассказал мне капитан.

Художник взял каюты для себя, жены, сестер и горничной. Жена его действительно была женщина прелестная и образованная. Утром четырнадцатого июня (день, когда я впервые явился на корабль) она внезапно заболела и умерла. Молодой муж был вне себя от горя — но обстоятельства не позволяли ему отложить путешествие в Нью-Йорк. Необходимо было доставить тело его обожаемой жены ее матери; в то же время он хорошо знал о распространенном суеверии. Девять из десяти пассажиров скорее отказались бы от своих мест, чем пуститься в плавание на корабле с покойником.

В этом затруднительном положении капитан Харди посоветовал набальзамировать тело и, уложив его в насыпанный солью ларь нужного размера, доставить на корабль под видом багажа. О кончине миссис Уайетт решено было молчать, а так как известно было, что художник взял место для своей жены, потребовалось, чтобы кто-нибудь принял на время путешествия ее роль. На это без особого труда склонили горничную покойной. От лишней каюты, поначалу предназначенной для этой девушки, отказываться не стали. Разумеется, мнимая жена спала в ней по ночам. Днем же исполняла, как умела, роль своей госпожи, — с которой,

как выяснили заранее, никто из пассажиров не был знаком. Мое заблуждение, как легко себе представить, было следствием нрава слишком легкомысленного, слишком любознательного и слишком импульсивного. Странно только одно: с тех пор я редко сплю спокойно по ночам. Как я ни повернусь, все то же лицо преследует меня. Все тот же истерический смех звучит в моих ушах и будет, верно, звучать вечно.

АНГЕЛ НЕОБЪЯСНИМОГО ЭКСТРАВАГАНЦА

Был холодный ноябрьский вечер. Я только что покончил с весьма плотным обедом, в составе коего не последнее место занимали неудобоваримые французские *truffe* *, и теперь сидел один в столовой, задрав ноги на каминную решетку и облокотясь о маленький столик, нарочно передвинутый мною к огню, — на нем размещался мой, с позволения сказать, десерт в окружении некоторого количества бутылок с разными винами, коньяками и ликерами. С утра я читал «Леонида» Гловера¹, «Эпигониаду» Уилки², «Паломничество» Ламартина³, «Колумбиаду» Барло⁴, «Сицилию» Такермана⁵ и «Достопримечательности» Грисволда⁶ и потому, признаюсь, слегка отупел. Сколько я ни пытался взбодриться с помощью лафита, все было тщетно, и с горя я развернул попавшуюся под руку газету. Внимательно изучив колонку «Сдается дом» и колонку «Пропала собака», и две колонки «Сбежала жена», я храбро взялся за передовицу и прочел ее с начала до конца, не поняв при этом ни единого слова, так что я даже подумал, не по-китайски ли она написана, и прочел еще раз, с конца до начала, ровно с тем же успехом. Я уже готов был отшвырнуть в сердцах

Сей фолиант из четырех страниц,

Что критики от критиков не знал⁷, —

когда внимание мое остановила одна заметка.

«Многочисленны и странны пути, ведущие к смерти. Одна лондонская газета сообщает о таком удивительном случае. Во время игры в так называемые «летучие стрелы», в которой партнеры дуют в жестяную трубку, выстреливая в цель длинной иглой, некто вставил иглу острием назад и сделал сильный вдох перед выстрелом — игла вошла ему в горло, проникла в легкие, и через несколько дней он умер».

Прочитав это, я пришел в страшную ярость, сам толком не знаю, почему. «Презренная ложь! — воскликнул я. — Жалкая газетная утка. Лежащая стряпня какого-то газетного писаки, сочиняющего немислимые происшествия. Эти люди пользуются удивительной доверчивостью нашего века и употребляют свои мозги на изобретение самых невероятных историй, необъяснимых случаев, как они это называют, однако для мыслящего человека (вроде меня, — добавил я в скобках, машинально дернув себя за

* Трюфели (франц.).

кончик носа), для ума рассудительного и глубокого, каким обладаю я, сразу ясно, что удивительное количество этих так называемых необъяснимых случаев за последнее время и есть самый что ни на есть необъяснимый случай. Что до меня, то я лично отныне не верю ничему, что хоть немного отдает необыкновенным.

— Майн готт, тогда ты польшой турак! — возразил мне на это голос, удивительнее которого я в жизни ничего не слышал. Поначалу я принял было его за шум в ушах (какой слышишь иногда спьяну), но потом сообразил, что он гораздо больше походит на гул, издаваемый пустой бочкой, если бить по ней большой палкой; так что на этом бы объяснении я и остановился, когда бы не членораздельное произнесение слогов и слов. По натуре я нельзя сказать чтобы нервный, да и несколько стаканов лафита, выпитые мною, придали мне храбрости, так что никакого трепета я не испытал, а просто поднял глаза и не спеша, внимательно огляделся, ища непрошеного гостя. Однако никого не увидел.

— Кхе-кхе, — продолжал голос, между тем как я озирался вокруг, — ты ферно пьян, как свинья, раз не фидишь меня, федь я сижу у тебя под носом.

Тут я и в самом деле надумал взглянуть прямо перед собой и действительно, вижу — против меня за столом сидит некто, прямо сказать, невообразимый и трудно описуемый. Тело его представляло собой винную бочку или нечто в подобном роде и вид имело вполне фальстафовский. К нижней ее части были приставлены два бочонка, по всей видимости, исполнявшие роль ног. Вместо рук на верху туловища болтались две довольно большие бутылки горлышками наружу. Головой чудовищу, насколько я понял, служила гессенская фляга, из тех, что напоминают большую табакерку с отверстием в середине. Фляга эта с (воронкой на верхушке, сдвинутой набекрень на манер кавалерийской фуражки) стояла на бочке ребром и была повернута отверстием ко мне, и из этого отверстия, поджатого, точно рот жеманной старой девы, исходили раскатистые, гулкие звуки, которые это существо, очевидно, пыталось выдать за членораздельную речь.

— Ты, говорю, ферно пьян, как свинья, — произнес он. — Сидишь прямо тут, а меня не фидишь. И верно глуп, как осел, что не феришь писанному в газетах. Это — прафда. Все как есть — прафда.

— Помилуйте, кто вы такой? — с достоинством, хотя и слегка озадаченно спросил я. — Как вы сюда попали? И что вы тут такое говорите?

— Как я сюда попал, не тфоя забота, — отвечала фигура. — А что я гофору, так я гофору то, что надо. А кто я такой, так я затем и пришел сюда, чтобы ты это уфидел сфоими глазами.

— Вы просто пьяный бродяга, — сказал я. — Я сейчас позвоню в звонок и велю моему лакею вытолкать вас взашей.

— Хе-хе-хе! — засмеялся он. — Хо-хо-хо! Да ты федь не можешь!

— Что не могу? — возмутился я. — Как вас прикажете понять?

— Позфонить не можешь, — отвечал он, и нечто вроде ухмылки растянуло его злобный круглый ротик.

Тут я сделал попытку встать на ноги, дабы осуществить мою угрозу, но негодяй преспокойно протянул через стол одну из своих бутылок и ткнул меня в лоб, отчего я снова упал в кресло, с которого начал было подниматься. Вне себя от изумления я совершенно растерялся и не знал, как поступить. Он же, между тем, продолжал говорить:

— Сам фидишь, лучше фсего тебе сидеть смирно. Так фот, теперь ты узнаешь, кто я. Фзгляни на меня! Смотри хорошенько! Я — Ангел Необъяснимого.

— Необъяснимо, — ответил я. — У меня всегда было такое впечатление, что у ангелов должны быть крылышки.

— Крылышки! — воскликнул он, сразу распаясь. — Фот еще! На что они мне? Майн готт! Разфе я цыпленок?

— Нет, нет, — поспешил я его уверить, — вы не цыпленок. Отнюдь.

— Тогда сиди и феди себя смирно, не то опять получишь от меня кулаком по лбу. Крылья имеет цыпленок, и софа в лесу имеет крылья, и черти с чертенятами, и главный тойфель, но ангелы крыльеф не имеют, а я — Ангел Необъяснимого.

— И какое же у вас ко мне дело?

— Тело? — воскликнула эта комбинация предметов. — Как же ты турно фоспитан, если спрашиваешь у тшентльмена, и к тому же ангела, о теле!

Таких речей я, понятно, даже от ангела снести не мог; поэтому, призвав на помощь всю мою храбрость, я протянул руку, схватил со столика солонку и запустил в голову непрошеному гостю. Однако то ли он пригнулся, то ли я плохо целился, но все, чего я добился, это разнес вдребезги стекло на циферблате каминных часов. Ангел же, со своей стороны, не оставил мои действия без внимания, ответив на них тремя новыми затрещинами, не менее увесистыми, чем первая. Я принужден был покориться, и стыдно признаться, но на глаза мои то ли от боли, то ли от обиды набежала слеза.

— Майн готт! — промолвил Ангел Необъяснимого, сразу заметно подобрев. — Майн готт, этот человек либо очень пьян, либо горько страдает. Тебе нельзя пить крепкую, надо разбафлять водой. Ну, ну, на-ка, фыпей фот этого, мой труг, и не плачь.

И Ангел Необъяснимого до краев наполнил мой бокал (в котором примерно на треть было налито портвейну) какой-то бесцветной жидкостью из своих рук-бутылок. Я заметил, что на них вокруг горлышка были наклейки со словами «Kirschenwasser»*.

Доброта и внимание Ангела несколько успокоили меня и, наконец, с помощью воды, которой он неоднократно доливал мое вино, я вернул себе присутствие духа настолько, чтобы слушать его удивительные речи.

* Вишневая настойка (нем.).

Я даже не пытаюсь пересказать здесь все, что от него услышал, но в общем я понял так, что он является неким гением, по чьему велению случаются все *contretemps** рода человеческого, чье дело — устраивать все те *необъяснимые случаи*, что постоянно озадачивают скептиков. Раза два во время разговора, когда я отваживался выразить ему мое полнейшее недоверие, он страшно свирепел, так что в конце концов я почел за благо помалкивать и не оспаривать его утверждений. Он продолжал разглагольствовать, а я откинулся в кресле, закрыл глаза и только забавлялся тем, что жевал изюм, а череночки разбрасывал по комнате. Но через некоторое время Ангел вдруг возомнил, что и это для него оскорбительно. В страшном гневе он вскочил, надвинул воронку на самые глаза и с громовым проклятием произнес какую-то угрозу, которой я не понял, после чего отвесил низкий поклон и удалился, пожелав мне словами архиепископа из «Жиль Блаза»⁸ «*beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens*»**.

Его уход принес мне облегчение. Несколько стаканчиков лафита, которые я выпил, вызвали у меня сонливость, и я был более чем расположен вздремнуть минут пятнадцать, как обычно после обеда. В шесть часов мне предстояло важное свидание, пропустить которое я ни в коем случае не мог. Накануне истек срок страховки на мой дом, и поскольку возникли кое-какие разногласия, было решено, что я приду на заседание правления страховой компании и на месте договорюсь о возобновлении страховки. Подняв глаза к каминным часам (мне так хотелось спать, что вытащить часы из кармана просто не было сил), я с удовольствием обнаружил, что у меня в запасе целых двадцать пять минут. Было половина шестого, до страховой конторы ходьбы от силы пять минут, а моя сиеста ни разу в жизни не затягивалась дольше двадцати пяти. Так что я мог не беспокоиться и не мешкая погрузился в сон.

Проснувшись, я снова взглянул на каминные часы и право, почти готов был поверить в пресловутые необъяснимые случаи, когда обнаружил, что вместо обычных пятнадцати-двадцати минут проспал всего три, ибо до назначенного мне часа все еще оставалось добрых двадцать семь минут. Тогда я снова сладко задремал, но, когда, наконец, опять проснулся, то, к величайшему моему изумлению, на часах все еще было без двадцати семи минут шесть. Я вскочил, снял их с каминной полки — они стояли. Мои карманные часы показывали половину восьмого; я проспал добрых два часа и в страховую контору, естественно, опоздал. «Неважно, — сказал я себе, — зайду завтра утром и извинюсь. Однако что могло произойти с часами?» Я внимательно осмотрел их, и оказалось, что один из черенков от изюма, которые я разбрасывал по комнате во время рассуждений Ангела, влетел через разбитое стекло циферблата прямо в скважину для завода и торчал оттуда, препятствуя вращению минутной стрелки.

* Неполадки (франц.).

** Всяких благ и вдобавок немножко здравого смысла (франц.).

— Ага, — сказал я, — понятно. Такие вещи говорят сами за себя. Вполне естественная случайность, со всяким может произойти.

Тут не над чем было ломать голову, и в положенный час я отправился спать. В спальне, поставив свечку на тумбочку у кровати, я сделал было попытку проштудировать несколько страниц из книги «Вездесущность бога»⁹, однако, к сожалению, менее чем за двадцать секунд погрузился в сон, а свеча так и осталась гореть у моего изголовья.

Спал я тревожно — во сне мне без конца являлся Ангел Необъяснимого. Мне мерещилось, будто он стоит у меня в ногах, раздвигает шторы и гулким, отвратительным голосом винной бочки грозит мне ужасной мезью за неуважительное с ним обращение. Кончил он свою длинную гневную речь тем, что сорвал с головы фуражку-воронку, вставил ее мне в глотку и буквально затопил меня вишневой настойкой, которую изливал непрерывной струей из правой длиннорлой бутылки, заменявшей ему руку. Он все лил и лил, мне стало невмоготу, я не вытерпел и проснулся — и как раз успел заметить, как крыса убегает в подполье с моей зажженной свечой в зубах, однако помешать ей в этом уже не успел. Очень скоро я почувствовал сильный душливый запах: стало совершенно ясно, что дом горит. Через несколько минут языки пламени вырвались на волю и с невероятной быстротой охватили здание. Все пути отступления из моей спальни были отрезаны — оставалось только окно. Люди, толпившиеся на улице, быстро раздобыли длинную лестницу, подняли и приставили ее к подоконнику. По этой лестнице я стал торопливо спускаться, как вдруг прежирный боров, — чье округлое брюхо, да и вообще весь облик и выражение морды напомнили мне Ангела Необъяснимого, — так вот этот боров, мирно дремавший в грязи по соседству, ни с того ни с сего надумал вдруг почесать левое плечо и не нашел ничего лучшего, как воспользоваться для этой цели лестницей, на которой я находился. Я кувырком полетел вниз и, преследуемый неудачами, сломал руку.

Это несчастье, а также потеря страховки и еще более серьезная утрата всей шевелюры, под корень спаленной пожаром, настроили меня на серьезный лад, так что в конце концов я принял решение жениться. В городе у нас жила богатая вдова, безутешно оплакивавшая как раз кончину седьмого мужа, и ее-то страждущей душе я и предложил бальзам моих сердечных признаний. Она стыдливо даровала мне свое согласие. Я с восторгом и благодарностью пал к ее ногам. Тогда, зардевшись, она склонила головку, и ее роскошные локоны соприкоснулись с моими, — доставшимися мне во временное пользование от Гранжана. Как именно случилось, что они переплелись, не знаю, но с колен я поднялся без парика, с голой сияющей лысиной, а негодующая вдова — вся опутанная чужими волосами. Так рухнули мои надежды на прекрасную вдову — из-за случайности, предвидеть которую, правда, было совершенно невозможно, но которую вызвала цепь вполне естественных причин.

Однако я не отчаялся и предпринял осаду сердца не столь неумолимого. И снова в течение короткого времени судьба благоприятствовала мне,

но, как и в предыдущий раз, все сорвалось из-за вмешательства пустячной случайности. Встретившись однажды с моей нареченной на улице, запыленной избранным обществом нашего города, я поспешил было ответить ей один из моих самых изысканных поклонов, как вдруг в глаз мне влетела крупца некоей посторонней материи, и я на какое-то время совершенно ослеп. Не успело зрение мое ко мне возвратиться, как уже моя возлюбленная исчезла, оскорбленная до глубины души таким, как она считала, вызывающим поступком — пройти мимо и не заметить ее! Пока, растерявшись от неожиданности (хотя это могло бы случиться со всяким смертным), я стоял, все еще не владея зрением, ко мне приблизился Ангел Необъяснимого и с любовью, какой я от него вовсе не ожидал, предложил свою помощь. Бережно и весьма искусно исследовав мой пострадавший глаз, он объяснил, что в него *попало*, извлек это — что бы оно ни было — и мне сразу стало легче.

Тогда я решил, что настала пора мне умереть (раз уж судьба меня так преследует), и с этим намерением направился к ближайшей речке. Там, сняв одежду (ибо нет никаких причин нам умирать в ином виде, чем мы появились на свет), я бросился в воду вниз головой. Видела все это только одинокая ворона, которая отбилась от своего племени, соблазнившись проспиртованным зерном. И эта самая ворона, лишь только я плюхнулся в воду, не нашла ничего лучше, как ухватить в клюв самый важный предмет моего туалета и полететь прочь. Тогда, отложив исполнение моего самоубийственного замысла до другого времени, я спешно сунул нижние конечности в рукава и пустился вдогонку за грабительницей со всей скоростью, какую предписывала потребность и допускала возможность. Но злой рок по-прежнему преследовал меня. Я бежал во всю прыть, задрал голову в небо и все внимание сосредоточив на похитительнице моей собственности, как вдруг почувствовал, что мои ноги уже больше не касаются terra firma *: оказалось, что я сорвался и лечу в пропасть, на дне которой я неизбежно переломал бы себе все кости, если бы, по счастью, не успел ухватиться за волочившийся канат — гайдроп летевшего надо мною воздушного шара.

Едва только успел я настолько оправиться от растерянности, чтобы осознать, перед какой страшной опасностью я стою, вернее, вишу, как я тут же во всю силу легких принялся оповещать об этой опасности находящегося надо мною аэронавта. Долгое время мои старания оставались безуспешны. То ли этот дурак меня не видел, то ли, подлец, не обращал внимания. Его летательный аппарат, между тем, быстро взмывал ввысь, и с такой же быстротой падали мои силы. Я уже готов был смириться с неизбежной гибелью и покорно свалиться в море, но тут настроение мое вновь поднялось, ибо сверху раздался гулкий голос, лениво напевавший какую-то оперную арию. Я поглядел вверх — на меня смотрел Ангел Необъяснимого. Сложив руки на груди, он свесился за борт

* Твердой земли (лат.).

гондолы; во рту у него торчала трубка, он ею попыхивал и имел вид человека, весьма довольного и собой и белым светом. У меня уже не оставалось сил говорить, и я только устремил на него умоляющий взор.

Он смотрел мне прямо в лицо, но несколько минут не произносил ни слова. Затем, наконец, переложил трубку из правого угла рта в левый и соблаговолил заговорить.

— Кто фы такой? — спросил он. — И какофо тойфеля фам надо?

На столь вопиющее нахальство, жестокосердие и притворство я мог ответить только кратким призывом:

— Помогите!

— Фам помочь? — переспросил этот злодей. — Ну уж нет. Фот фам бутылка — не зефайте, она фам поможет!

С этими словами он выпустил из рук тяжелую бутылку с Kirschenwasser и попал ею мне прямо по темени, так что у меня создалось впечатление, будто она вышибла мне все мозги. Под этим впечатлением я уже готов был разжать руки и с миром отдать богу душу, но меня остановил окрик Ангела, который велел мне держаться.

— Тержись! — крикнул он. — Не надо торопиться. Хочешь еще бутылочку? Или ты уже тофольно отрезфел и пришел в себя?

В ответ я поспешил дважды помотать головой. Отрицательно — в знак того, что еще одна бутылка мне сейчас не очень нужна; и утвердительно, желая этим заверить его, что я совершенно трезв и полностью пришел в себя. Ангел немного смягчился.

— Тогта, значит, ты, наконец, поферил? — спросил он. — Ты теперь феришь в необъяснимое?

Я снова кивнул утвердительно.

— И феришь в меня, Ангела Необъяснимого?

Я опять кивнул.

— И признаешь, что ты пьян фстельку и глуп как осел?

И я снова кивнул.

— Раз так, положи прафую руку в лефый карман панталон в знак полного подчинения Ангелу Необъяснимого.

Этого я по очевидным причинам сделать не мог. Начать с того, что левая рука у меня была сломана при падении с пожарной лестницы, так что если бы я разжал теперь правую руку и выпустил канат, то выпустил бы его безвозвратно. Кроме того, у меня не было панталон, и чтобы их получить, я должен был догнать ворону. Вследствие всего этого я вынужден был, к величайшему моему сожалению, отрицательно покачать головой, желая этим сообщить Ангелу, что в данный момент мне было бы несколько затруднительно удовлетворить его вполне разумные требования! Но лишь только я перестал качать головой, как...

— Ну, и катись ко фсем чертям! — рявкнул с неба Ангел Необъяснимого.

При этом он полоснул острым ножом по канату, на котором я висел, а так как в это самое мгновение мы пролетали над моим домом (который

за время моих странствий успели заново отстроить), вышло так, что я угодил прямо в дымоход и обрушился в камин у себя в столовой.

Когда я пришел в себя (ибо падение порядком меня оглушило), оказалось, что сейчас около четырех часов утра. Я лежал ничком на том самом месте, куда упал с воздушного шара, лицом уткнувшись в холодную золу вчерашнего огня, а ногами попирая обломки опрокинутого столика, а вокруг валялись всевозможные остатки десерта, вперемешку с газетой, несколькими разбитыми стаканами и бутылками и пустым графином из-под вишневой настойки. Так отомстил мне Ангел Необъяснимого.

«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СИЕ!»

Мне предстоит сейчас, сыграв роль Эдипа, разгадать загадку Рэттлборо. Я намерен открыть вам — ибо, кроме меня, этого никто не может сделать, — секрет хитроумной выдумки, без которой не бывает бы чуду в Рэттлборо — чуду единственному и неповторимому, истинному, общепризнанному, бесспорному и неоспоримому чуду; оно раз и навсегда положило конец неверию среди местных жителей и вернуло к старушечьему ханжеству всех, кто прежде, не помышляя ни о чем, кроме плоти, отваживался щеголять скептицизмом.

Это случилось — я постараюсь избежать неуместно-легкомысленного тона — летом 18. года. Мистер Барнабас Челноук, один из самых состоятельных и самых уважаемых жителей города, исчез за несколько дней перед тем при обстоятельствах, дававших повод для весьма мрачных подозрений. Мистер Челноук выехал из Рэттлборо верхом рано утром в субботу; путь его лежал в город, что в пятнадцати милях от Рэттлборо, и он намеревался возвратиться в тот же день к вечеру. Два часа спустя лошадь вернулась назад без всадника и без вьюков, которые мистер Челноук приторочил к седлу перед отъездом. К тому же, она была ранена и покрыта грязью. Все это, вместе взятое, разумеется, весьма встревожило друзей пропавшего; а когда в воскресенье утром стало известно, что мистер Челноук все еще не появился, весь городок поднялся и en masse * отправился на розыски тела.

Самым настойчивым и энергичным организатором этих поисков был близкий друг мистера Челноука, некий мистер Чарлз Душкинс или, как решительно все его называли, — «Чарли Душкинс», или — «старина Чарли Душкинс». Есть ли тут какое-нибудь удивительное совпадение или самое имя неувовимо влияет на характер — это я никогда толком не мог понять; но факт остается фактом: еще не существовало на свете человека по имени Чарлз, который не был бы храбрым, честным, открытым и добродушным малым, душа на распашку: и голос у него звучный, внятный и ласкающий слух, и глаза всегда глядят прямо на вас, словно говоря: «У меня совесть чиста, мне бояться некого, и, уж во всяком случае, ни на какую низость я не способен». Вот почему всех приветливых и беззаботных людей наверняка зовут Чарлз.

Итак, «старине Чарли Душкинсу», — хоть он и появился в городке всего месяцев шесть назад или около того и хотя прежде никто не слышал о нем, — не стоило ни малейшего труда завязать знакомства со всеми

* Сообща, толпой (франц.).

уважаемыми гражданами Рэттлборо. Любой из них, не задумываясь, ссудил бы ему под честное слово хоть тысячу; что же касается женщин, то невозможно даже представить себе, чего бы они ни сделали, лишь бы угодить «старине Чарли». И все только потому, что при крещении его нарекли Чарлзом — и, следовательно, он уже не мог не обладать тем открытым лицом, которое, как говорится, служит лучшей рекомендацией.

Я уже упомянул о том, что мистер Челноук считался одним из самых уважаемых и, несомненно, самым состоятельным человеком в Рэттлборо, а «старина Чарли Душкинс» был с ним так близок — ну, прямо брат родной! Оба старых джентльмена жили рядом, и хотя мистер Челноук едва ли хоть раз побывал в гостях у «старины Чарли» и, как хорошо было известно, никогда не садился у него за стол, все же, как я только что заметил, это нисколько не мешало их тесной дружбе: дня не проходило без того, чтобы «старина Чарли» раза три-четыре не заглянул к соседу справиться, как дела, весьма часто оставался завтракать или пить чай и почти ежедневно — обедать; а уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, пожалуй, и не считаешь. Любимым напитком «старины Чарли» было шато-марго, и глядя, как этот почтенный джентльмен вливает себе в глотку кварту за квартию, мистер Челноук, казалось, радовался от всей души. И вот однажды, когда головы наполнились винными парами, а бутылки соответственно опустели, мистер Челноук, хлопнув своего закадычного друга по спине, объявил ему: «Знаешь, что я тебе скажу, старина Чарли? Ей-богу, ты самый славный малый, какого мне доводилось встречать на своем веку, и раз тебе нравится хлестать вино этаким вот манером, так будь я проклят, если не подарю тебе большущий ящик шато-марго! Разрази меня бог (у мистера Челноука была прискорбная привычка божиться, хоть он и редко заходил дальше таких выражений, как «Разрази меня бог» или «Ей же ей» или «Чтоб мне провалиться»), — разрази меня бог, — продолжал он, — если я сегодня же после обеда не отправлю в город заказ на двойной ящик самого лучшего шато, какое только удастся сыскать, и я подарю его тебе, да подарю! — молчи, не возражай мне — непременно подарю, слышишь? И дело с концом! Так смотри же — на днях тебе его привезут, — как раз тогда, когда ты и ждать-то не будешь!» Я упомянул об этом небольшом проявлении щедрости со стороны мистера Челноука лишь для того, чтобы показать вам, насколько близкими были отношения двух друзей.

Так вот, в то воскресное утро, о котором идет речь, когда стало уже совершенно ясно, что с мистером Челноуком случилось что-то неладное, никто, по-моему, не был потрясен глубже, чем «старина Чарли Душкинс». В первую минуту, услышав, что лошадь вернулась домой без хозяина и без седельных вьюков, вся залитая кровью, струившейся из раны, — пистолетная пуля пробила насквозь грудь несчастного животного, хоть и не уложила его на месте, — услышав об этом, он весь побелел, как

будто пропавший был его любимым братом или отцом, и задрожал всем телом, словно в тяжком пароксизме лихорадки.

Сначала он был слишком поглощен своим горем для того, чтобы начать действовать или обдумать какой-либо план, и даже довольно долго уговаривал остальных друзей мистера Челноука не поднимать пока шума: лучше всего-де подождать немного — скажем неделю-две, или месяц-другой, — авось что-нибудь да выяснится или, глядишь, появится и сам мистер Челноук, собственной персоной, и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь домой. Я полагаю, вам не раз случалось замечать это желание повременить, помешкать у людей, которых гложет мучительная скорбь. Душа их словно оцепенела, они испытывают ужас перед всяким подобием действия и ни на что в мире не променяют возможности лежать в постели и, как выражаются пожилые дамы, «лежать свое горе», иными словами — все вновь и вновь оплакивать случившееся несчастье.

Жители Рэтлборо были очень высокого мнения об уме и рассудительности «старины Чарли», и большинство склонялось к мысли, что он прав и что не следует поднимать шум, «пока что-нибудь не выяснится», — как выразился сей почтенный старый джентльмен; и я полагаю, что в конце концов на том бы все и порешили, если бы не крайне подозрительное вмешательство племянника мистера Челноука, молодого человека, ведущего весьма беспорядочный образ жизни и к тому же наделенного отвратительным характером. Этот племянник, по имени Шелопайн, и слышать не хотел о том, что «нужно, де, сидеть спокойно», и настоятельно требовал немедленно начать поиски «тела убитого». Именно так он и выразился, и мистер Душкинс тогда же справедливо заметил, что «это выражение, по меньшей мере, странное». Последнее замечание «старины Чарли» также произвело большое впечатление на собравшихся, и слышали даже, как кто-то весьма внушительно спросил: «Каким образом могло случиться, что молодой мистер Шелопайн столь хорошо знаком со всеми обстоятельствами исчезновения своего богатого дяди, и чувствует себя вправе ясно и недвусмысленно утверждать, будто дядя его *убит*? После этого некоторые из присутствовавших обменялись колкостями и резкостями, а в особенности «старина Чарли» и мистер Шелопайн; последнее, впрочем, никого особенно не удивило, ибо вот уже три-четыре месяца как между ними не было и намек на приязнь, а однажды дошло даже до того, что мистер Шелопайн ударом кулака сбил с ног друга своего дяди якобы за какую-то чрезмерную вольность, которую тот позволил себе в доме дяди, где проживал и племянник. Говорят, что в ту минуту «старина Чарли» явил собою образец выдержки и христианского смирения. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и даже не попытался воздать обидчику злом за зло. Он только пробормотал несколько слов, что мол «за все расквитается с ним при первом же удобном случае» — естественное и вполне понятное изливание гнева, еще ничего, впрочем, не означавшее и, вне всякого сомнения, тут же забытое.

Как бы то ни было (случай этот не имеет ни малейшего касательства к тому, о чем здесь идет речь), известно, что граждане Рэттлборо, главным образом послушавшись уговоров мистера Шелопайна, решили, наконец, разойтись и приступить к розыскам исчезнувшего мистера Челноука. Я хочу сказать, что таково было самое первое их решение. Когда никто уже более не сомневался, надо ли начинать розыски, было высказано мнение, что участники поисков должны, конечно, разойтись в разные стороны, иными словами — разбиться на группы для более тщательного обследования местности. Но «старина Чарли» с помощью цепи остроумных рассуждений (я уж теперь не помню, каких именно), в конце концов, убедил собравшихся, что этот план — самый неразумный из всех возможных; да, убедил — всех, кроме мистера Шелопайна. Итак, условились, что поиски, упорные и весьма обстоятельные, будут вести горожане en masse во главе с самим «старинною Чарли».

Что касается последней детали этого решения, то лучшего предводителя, чем «старина Чарли», найти было невозможно: каждый знал, что взор у него острее, чем у рыси. Однако, хоть он и заглядывал со своим отрядом в разные ямы и укромные уголки, хоть он и водил его по дорогам, о существовании которых никто и не подозревал, и хотя поиски продолжались непрерывно, днем и ночью, почти целую неделю, все же никаких следов мистера Челноука обнаружить не удалось. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», не надо понимать меня буквально, потому что какие-то следы, конечно, были. Путь несчастного джентльмена удалось проследить по отпечаткам подков его лошади (на этих подковах была особая метка) до определенного пункта, примерно в трех милях к востоку от городка, на большой дороге, ведущей в соседний город. Здесь следы сворачивали на глухую тропинку; она шла прямо через лес и снова выходила на большую дорогу, сокращая путь примерно на полмили. Отпечатки подков привели, наконец, к заболоченному озерку, скрывавшемуся в зарослях ежевики справа от тропинки, и на берегу озерка все следы терялись. Заметно было, однако, что здесь происходила какая-то борьба и, по-видимому, с тропинки в воду волокли какое-то большое и тяжелое тело, гораздо больше и тяжелее человеческого. Дно озерка дважды тщательно обшарили, но ничего не нашли, и горожане, разочаровавшись и не веря в успех, уже готовы были отправиться дальше, когда провидение внушило мистеру Душкинсу счастливую мысль спустить воду совсем. Этот план был встречен возгласами одобрения и восторженными похвалами проницательности и уму «старинны Чарли». Так как многие запаслись лопатами на случай, если придется выкапывать труп, воду отвели легко и быстро; и едва лишь показалось покрытое илом дно, как на самой середине был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствовавшие немедленно признали часть одежды мистера Шелопайна. Жилет был весь изодран и испачкан кровью, и сразу же нашлись люди, которые отчетливо помнили, что он был на своем владенье в то самое утро, когда мистер Челноук отправился

в город. Нашлись и другие, готовые, в случае надобности, присягнуть, что той одежды, о которой идет речь, на мистере Шелопайне в течение всей остальной части столь памятного дня не было; но не оказалось никого, кто стал бы утверждать, что хоть раз видел ее на мистере Шелопайне после исчезновения мистера Челноука.

Дело принимало серьезный для мистера Шелопайна оборот, и, как доказательство, неоспоримо подтверждающее возникшие против него подозрения, было отмечено, что он побелел, как стена, а на вопрос, может ли он что-нибудь сказать в свое оправдание, не мог ответить ни слова. Вслед за тем немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его разгульный образ жизни, покинули его, бежали все до одного и даже ухитрились перекричать старых и откровенных врагов, требуя немедленного ареста преступника. Тем ярче засияло на этом фоне великодушие мистера Душкинса. Он выступил с горячей и чрезвычайно красноречивой защитой мистера Шелопайна и неоднократно ссылался на то, что от чистого сердца простил этому несдержанному молодому джентльмену — «наследнику достойного мистера Челноука» — оскорбление, которое он (молодой джентльмен), бесспорно в пылу гнева, счел возможным нанести ему (мистеру Душкинсу). Да, он искренне прощает его; и что касается его (мистера Душкинса), то он никак не намерен доводить до крайности подозрения, которые — увы, этого нельзя отрицать — возникли против мистера Шелопайна; он (мистер Душкинс) сделает все, что в его силах, употребит весь тот скромный запас красноречия, которым он располагает, для того, чтобы... чтобы... ну, скажем, выставить в более благоприятном свете — насколько совесть ему позволит — наиболее тяжелые детали этого и впрямь до крайности запутанного дела.

Мистер Душкинс продолжал в том же духе еще с полчаса, которые послужили к вящему прославлению как его ума, так и сердца. Но ведь слова подобных добряков так редко отвечают истинным их намерениям; охваченные самым горячим желанием помочь другу, они теряют голову и окончательно запутываются во всевозможных *contre-temps** и *mal à proposisms*** и таким образом — часто с самыми лучшими намерениями — приносят делу несравненно больше вреда, чем пользы.

Так случилось и теперь, невзирая на все красноречие «старшины Чарли». Хоть он и не щадил своих сил, действуя в интересах заподозренного, все же, по какой-то необъяснимой причине, каждое слово, слетавшее с уст мистера Душкинса и непреднамеренно, но вполне очевидно направленное к тому, чтобы возвеличить оратора в глазах его слушателей, лишь укрепляло подозрения, уже возникшие против того, чьим адвокатом он выступал, и разжигало ярость толпы.

Одним из самых досадных промахов, допущенных оратором, было упоминание о том, что заподозренный — «наследник достопочтенного

* Здесь: недоразумениях (франц.).

** Неуместных оговорок (франц.).

джентльмена старого мистера Челноука». И в самом деле, раньше это никому и в голову не приходило. Помнили только, что год или два назад дядя (у которого не было никаких других родственников, кроме племянника), грозился лишить его наследства, а потому все и всегда считали это дело решенным — очень уж простодушны были граждане Рэтлборо. Но замечание, оброненное «старинной Чарли», сразу же заставило их призадуматься и напомнило о том, что иногда угрозы могут оказаться только угрозами, не больше. И сразу же встал вполне естественный вопрос — *сui bono?* — вопрос, который еще более упрямо, чем жилет, возлагал бремя страшного обвинения на плечи молодого человека. Здесь, — так как я опасаясь, что меня могут понять неправильно, — разрешите мне на мгновение отвлечься: я хотел бы лишь заметить, что чрезвычайно лаконичная и простая латинская фраза, которую я употребил, неизменно переводится и истолковывается неверно. «*Сui bono*» во всех модных романах и вообще в романах — например, у миссис Гор¹ (автора «Сесила»), особы, которая приводит цитаты на всех языках, от халдейского до наречия племени чикасо², и в своих систематических занятиях по необходимости пользуется услугами мистера Бекфорда³, — во всех, повторяю, модных романах, от Булвера и Диккенса⁴ до Зашибигрош и Эйнсворта⁵, два коротеньких латинских слова *сui bono* переводятся «с какой целью?» или (будто это *quo bono*) «чего ради?» А между тем их подлинное значение — «в чью пользу». *Сui* — кому, *bono* — на благо? Это чисто юридическая формула, и применяется она как раз в делах, подобных описываемому нами, — когда вероятный субъект деяния устанавливается в зависимости от вероятной выгоды, которую может принести тому или иному лицу совершение этого деяния. И вот, в данном случае, вопрос *сui bono* бросал весьма густую тень на мистера Шелопайна. Его дядя, составив завещание в его пользу, потом начал грозить ему лишением наследства. Но угроза не была выполнена: старое завещание, по-видимому, изменено не было. Если бы оно было изменено, единственным возможным мотивом для убийства могла бы оказаться обычная жажда мести; однако даже в этом случае злое чувство могло бы уступить надежде вновь снискать благосклонность дяди. Но коль скоро завещание осталось неизменным, а угроза изменить его продолжала висеть над головою племянника, тут уж сразу становился очевидным самый сильный из всех возможных стимулов к зверской расправе. Именно так и порешили, выказав при этом свою глубочайшую проницательность, достойные граждане Рэтлборо.

В соответствии с этим мистер Шелопайн был немедленно арестован, и толпа, еще немного поискав и порыскав, отправилась домой, держа своего пленника под стражей. По пути, однако, открылось новое обстоятельство, укрепившее прежние подозрения. Кто-то увидел, как мистер Душкинс, который, в силу ревностного своего усердия, все время держался немного впереди остальных, вдруг пробежал несколько шагов, нагнулся и, по-видимому, поднял какой-то небольшой предмет, лежавший

в траве. Заметили также, что, быстро осмотрев этот предмет, он попытался, правда довольно неуверенно, спрятать его в карман сюртука; но эта попытка была, как я уже сказал, обнаружена и, разумеется, предупреждена. Тут-то и выяснилось, что находка мистера Душкинса — не что иное, как испанский нож, в котором не меньше десятка свидетелей сразу же опознали вещь, принадлежащую мистеру Шелопайну. Более того: на рукоятке были выгравированы его инициалы. Нож был раскрыт, и лезвие испачкано кровью.

Виновность племянника не вызвала больше сомнений и, немедленно по прибытии в Рэттлборо, он был доставлен к следователю для допроса.

Здесь дело снова приняло крайне неблагоприятный оборот. Арестованный, в ответ на вопрос, где он находился в то утро, когда исчез мистер Челноук, имел дерзость подтвердить, что в то самое утро он охотился с ружьем на оленей неподалеку от озера, в котором, благодаря сообразительности мистера Душкинса, был обнаружен запятнанный кровью жилет.

Тут вышеозначенный джентльмен выступил вперед и со слезами на глазах попросил разрешения дать показания. Он заявил, что непреклонное чувство долга, которое он питает по отношению к своему творцу, а равно и по отношению к своим собратьям здесь, на земле, не позволяет ему более хранить молчание. До сих пор искренняя привязанность к молодому человеку (несмотря на последнюю его резкую выходку, направленную против него, мистера Душкинса) заставляли его строить всевозможные гипотезы, какие только могло подсказать воображение, чтобы как-нибудь объяснить то, что представлялось подозрительным в обстоятельствах, столь решительно говоривших против мистера Шелопайна; но эти обстоятельства становятся теперь *слишком* убедительными. . . *слишком* обличающими; он не станет больше колебаться, — он расскажет все, что знает, хотя его (мистера Душкинса) сердце от столь горестного усилия готово разорваться. Далее он утверждал, будто во второй половине дня накануне отъезда мистера Челноука в город этот достойный старый джентльмен, в его (мистера Душкинса) присутствии намекнул своему племяннику, что завтрашнюю поездку он предпринимает для того, чтобы положить в «Сельскохозяйственный и промышленный банк» чрезвычайно крупную сумму; при этом упомянутый мистер Челноук прямо и недвусмысленно объявил упомянутому племяннику о своем бесповоротном решении уничтожить прежнее завещание и не оставить ему ни гроша. Он (свидетель) далее торжественно призвал обвиняемого ответить, являются или не являются его (свидетеля) показания, которые он только что дал, истиной во всех своих существенных подробностях. К великому удивлению всех присутствующих, мистер Шелопайн открыто признал, что все это — *истина*.

Тогда следователь счел своим долгом отправить двух констеблей с наказом обыскать комнату, которую занимал обвиняемый в доме своего дяди. Констебли не замедлили вернуться и принесли с собой знакомый

многим коричневый кожаный бумажник, оправленный узкой полоскою стали, с которым старый джентльмен не расставался вот уже много лет. Однако его драгоценное содержимое исчезло, и следовательно безуспешно старался выпытать у арестованного, на что он употребил деньги или куда он их спрятал, — мистер Шелопайн упорно утверждал, что знает ничего не знает. Констебли обнаружили также, под матрасом несчастного, рубашку и шейный платок — оба помеченные его инициалами и оба пропитанные кровью жертвы.

При таком-то стечении обстоятельств было доставлено известие, что лошадь убитого только что пала в своем стойле от раны, которую получила в памятный для всех день, и мистер Душкинс высказался в том смысле, что должно учинить немедленное *post mortem** вскрытие животного — быть может удастся обнаружить пулю. Так и сделали, и вот, словно для того, чтобы рассеять последние сомнения в виновности арестованного, мистеру Душкинсу, после долгого исследования грудной полости лошади, удалось найти и извлечь пулю; весьма необычные размеры ее, как было установлено экспертизой, в точности совпадали с калибром ружья мистера Шелопайна; с другой стороны, ни у кого в городке и его окрестностях не было второго ружья с таким же стволом. Но и это еще не все: на пуле оказалось подобие трещинки или бороздки, проходившей под прямым углом к обычному шву; расследование показало, что бороздка эта как раз соответствует случайной неровности или выступу в литейной форме, принадлежавшей — по его собственному признанию — обвиняемому. Осмотрев найденную пулю, следовательно отказался выслушивать дальнейшие показания и тут же объявил, что арестованный будет предан суду. Он решительно отклонил просьбу выпустить мистера Шелопайна на поруки, хотя мистер Душкинс весьма горячо протестовал против такой суровости и вызвался даже внести в залог любую сумму, какую только потребуют власти. Впрочем, великодушные «старшины Чарли» вполне соответствовало общему характеру его поведения, доброжелательству и рыцарской любезности, от которых он ни разу не отступал за все время своего пребывания в Рэттлборо. В данную минуту этот достойный человек был до такой степени увлечен порывом чрезмерно горячего сострадания, что, изъявляя намерение взять на поруки своего юного друга, видимо совсем забыл, что у него самого (мистера Душкинса) нет и гроша за душой.

Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Когда мистер Шелопайн, под громкие проклятия всего Рэттлборо, предстал перед судом во время ближайшей сессии, цепь косвенных улик (ставшая еще нерасторжимее в силу некоторых дополнительных порочащих фактов, утаить каковые от блюстителей правосудия мистеру Душкинсу помешала его необычайно чуткая совесть) была признана до такой степени исчер-

* Посмертное (лат.).

пывающей и столь убедительной, что присяжные, не покидая своих мест, немедленно вынесли вердикт: «Виновен в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах». Вскоре вслед за тем несчастный выслушал смертный приговор и был препровожден в окружную тюрьму, где ему предстояло ожидать неумолимого возмездия.

А тем временем «старина Чарли Душкинс» за благородное свое поведение сделался особенно дорог честным гражданам Рэттлборо. Он стал в десять раз популярнее, чем раньше. И, — вполне естественно, — в ответ на гостеприимство, которое ему оказывали, он волей-неволей должен был отказаться от строжайшей бережливости, на которую до сей поры его обрекала бедность; в его доме стали весьма часты маленькие réunions*; на них царили шутка и веселье... разумеется, слегка омраченные мелькающими подчас воспоминаниями о тяжелой и печальной участи, которая угрожала племяннику незабвенного друга нашего хлебосольного хозяина.

В один прекрасный день сей великодушный старый джентльмен был приятно изумлен, получив письмо следующего содержания:

„Чарлзу Душкинсу, эсквайру.

Дорогой сэръ! В соответствии с заказом, сделанным нашей фирме около двух месяцев назад нашим уважаемым клиентом мистером Барнабасом Челноуком, имеем честь отгрузить сегодня утром в Ваш адрес двойной ящик шато-марго марки „Антилопа“ с лиловой печатью; номер и маркировку ящика см. на полях.

*Остаемся, сэръ,
готовые к услугам*

Свиноу, Тиноу, Глиноу и К^о

Город --, 21 июня, 18..

P. S. Ящик будет доставлен Вам фурионом на следующий день после получения настоящего письма. Просим засвидетельствовать наше почтение мистеру Челноуку.

С., Т., Г. и К^о

Чарлзу Душкинсу, эскв.,
Рэттлборо. От С., Т., Г. и К^о
Шат. Мар. — А — № 1. — 6 дюж. бутылко
(1/2 гросса)

Дело в том, что мистер Душкинс после смерти мистера Челноука оставил всякую надежду когда-нибудь получить обещанное шато-марго, а потому, получив его теперь, усмотрел в этом некий дар, ниспосланный ему провидением. Охваченный неудержимой радостью, он решил дать

* Сборища (франц.).

назавтра *petit souper** и пригласил большую компанию друзей, чтобы вместе распить дар старого доброго мистера Челноука. Не то чтобы он упомянул «доброго мистера Челноука», приглашая к себе гостей, — нет, он долго думал и решил вовсе не упоминать об этом. Если память мне не изменяет, он и словом не обмолвился о том, что получил шато-марго в подарок. Он просто попросил друзей помочь ему распить вино замечательного качества и с тончайшим букетом, которое он выписал из города несколько месяцев назад и которое завтра должно прибыть. Я часто недоумевал, почему старина Чарли решил скрыть, что это вино — подарок его старого друга, но так и не мог понять толком соображений, заставлявших его хранить молчание, хотя какие-то высокие и весьма великодушные соображения у него, бесспорно, были.

Наконец наступило завтра, и в доме мистера Душкинса собралось многочисленное и в высшей степени респектабельное общество. Тут было чуть не полгорода (и я в том числе), но час шел за часом, гости уже успели самым усердным образом воздать должное роскошному ужину, которым их угостил «старина Чарли», а шато-марго, к великому огорчению хозяина, все еще не появлялось. Но в конце концов оно все-таки прибыло — чудовищно огромный ящик, смею вас заверить, — и так как настроение у всех присутствовавших было преотличное, *pet. cop.*** решили поставить ящик на стол и вскрыть немедленно.

Сказано — сделано. Я тоже приложил руку, и в мгновение ока мы водрузили ящик на стол, посреди бутылок и стаканов, немалое число которых было перебито в ходе этой операции. Тут «старина Чарли», изрядно пьяный и раскрасневшийся, с комически важным видом занял место во главе стола и принялся неистово колотить по столу графином, призывая собравшихся соблюдать порядок «при церемонии вскрытия сокровища».

После нескольких громогласных призывов к спокойствию оно было, наконец, полностью водворено и, как нередко бывает в подобных случаях, воцарилась глубокая и многозначительная тишина. Меня попросили поднять крышку, и я, разумеется, согласился с величайшей охотой. Я всунул в щель долото и только успел несколько раз легонько стукнуть по нему молотком, как вдруг доски отскочили и в тот же миг из ящика стремительно поднялся и сел прямо перед хозяином, весь покрытый пятнами и запекшейся кровью, уже начавший разлагаться труп убитого мистера Челноука; секунду-другую он пристально и скорбно глядел своими потухшими, тронутыми тлением глазами в лицо мистера Душкинса, потом медленно, но отчетливо и выразительно проговорил: «Ты еси муж, сотворивый сие!»⁶ и, словно до конца удволетворенный своим деянием, перевалился через край ящика, разметав по столу руки.

* Скромный ужин (франц.).

** Единогласно (лат.).

То, что за этим последовало, не поддается никакому описанию. Свалка у дверей и окон была невообразимая, и немало крепких мужчин буквально чувств лишились от ужаса. Но после того как первый, безумный, неистовый взрыв страха миновал, все взоры обратились к мистеру Душкинсу. Проживи я и тысячу лет, мне не забыть выражения смертной муки, застывшего на этом белом, как мел, лице, еще так недавно пылавшем от вина и от упоения своим торжеством. Несколько минут он сидел неподвижно, будто мраморное изваяние; пристальный взгляд его остановившихся глаз был, казалось, обращен внутрь и погружен в созерцание его собственной жалкой и преступной души. Наконец, словно возвращаясь в этот мир, глаза его сверкнули каким-то неожиданным блеском; содрогнувшись, он быстро вскочил со стула, тяжело рухнул головой на стол, так что она коснулась трупа, и с уст его быстро и бурно полилось признание в том самом гнусном преступлении, за которое мистер Шелопайн был заключен в тюрьму и приговорен к смерти.

То, что рассказал убийца, сводилось приблизительно к следующему: он следовал за своей жертвой почти до самого озера, здесь выстрелил в лошадь из пистолета, уложил всадника ударом рукоятки, завладел бумажником и, полагая, что лошадь мертва, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на берегу озера. Труп мистера Челноука он взвалил на спину собственной лошади и увез его далеко в лес, чтобы спрятать в надежном месте.

Жилет, бумажник, нож и пулю он подбросил — для того, чтобы отомстить мистеру Шелопайну. Находку окровавленного шейного платка и рубашки тоже подстроил он.

По мере того, как это леденящее кровь повествование близилось к концу, слова злодея звучали все более глухо и невнятно. Когда же показания его были исчерпаны, он выпрямился, отшатнулся от стола и упал — мертвый.

* * * * *

Способ, посредством которого удалось вырвать это своевременное признание, был, несмотря на свою действенность, очень прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Душкинса неприятно поразило меня и с самого начала вызвало подозрения. Я был при том, как мистер Шелопайн ударил его, и выражение дьявольской злобы, которое скользнуло тогда по его лицу, каким бы мимолетным оно ни было, убедило меня, что он неукословно выполнит свою угрозу отомстить при первой же возможности. Итак, я был уже подготовлен к тому, чтобы взглянуть на маневры «старинны Чарли» совсем иными глазами, чем добрые граждане Рэттлборо, и сразу же отметил, что все изобличительные находки — прямо или косвенно — связаны с ним. Но до конца открыл мне глаза на истинное положение вещей эпизод с пулей, найденной мистером Душкинсом в теле лошади. Я-то не забыл, — хоть горожане и забыли, — что кроме отвер-

ствия, через которое пуля вошла в тело, было и другое, через которое она вышла. А раз ее нашли в туше, уже после того, как животное испустило дух, я был уверен, что пулю подложил тот, кто нашел ее. Окровавленная рубашка и шейный платок подтвердили мысль, на которую меня навела пуля, ибо кровь, при ближайшем рассмотрении, оказалась превосходным красным вином — не более того. Когда я начал обдумывать все эти факты и сопоставил их с необъяснимо возросшими за последнее время щедростью и расходами мистера Душкинса, я укрепился в своих подозрениях, которые не стали слабее от того, что я ни с кем ими не поделился.

Тем временем я приступил к систематическим тайным поискам трупа мистера Челноука, производившимся, по достаточно веским соображениям, как можно дальше от тех мест, куда водил своих приверженцев мистер Душкинс. В результате через несколько дней я набрел на старый высохший колодец, прятавшийся в зарослях ежевики; и тут, на дне, я обнаружил то, что искал.

Случилось так, что я был невольным свидетелем того разговора между двумя друзьями, когда мистер Душкинс ухитрился выманить у своего гостеприимного хозяина обещание подарить ему ящик шато-марго. На этом неопределенном обещании я и сыграл. Я раздобыл кусок тугого китового уса, протолкнул его в глотку трупа и дальше вниз, а самый труп положил в старый ящик из-под вина, постаравшись при этом так согнуть тело, чтобы вместе с ним согнулся и китовый ус. Понятно, что мне пришлось сильно нажать на крышку, чтобы удержать ее, пока я заколачивал гвозди. И я, разумеется, предвидел, что стоит их выдернуть — и крышка *отлетит*, а тело *выпрямится*.

Запаковав указанным образом ящик, я маркировал его, проставил номер и написал адрес — так, как об этом рассказывалось выше; а затем, отправив письмо от имени виноторговцев, клиентом которых был мистер Челноук, наказал своему слуге по моему знаку подвезти ящик на тачке к дверям мистера Душкинса. Что касается слов, которые должен был произнести мертвец, то здесь я с уверенностью полагался на свой талант чревопещателя: именно на него я и рассчитывал, надеясь вырвать признание у злодея.

Вот, кажется, и все, больше объяснять нечего. Мистер Шелопайн был немедленно освобожден из-под стражи, получил состояние своего дяди, извлек полезный урок из выпавших на его долю испытаний, начал новую жизнь и с тех пор был неизменно счастлив.

ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosius acumine nimio. —
Seneca.*

Как-то вечером в Париже, осенью 18. года, вскоре после наступления темноты я сидел со своим другом Ш. Огюстом Дюпенем в его тихой небольшой библиотеке, или, вернее, в хранилище для книг au troisième No. 33 Rue Dunôt Faubourg St. Germain** и, прислушиваясь к завыванию ветра на дворе, услаждал свою душу размышлениями и пенковой трубкой. Битый час мы хранили молчание, всецело погруженные, как показалось бы случайному наблюдателю, в созерцание причудливых облаков дыма, наполнивших комнату. Что до меня, однако, то мысли мои были заняты некоторыми событиями, о которых мы беседовали ранее в тот вечер, — я имею в виду историю на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему я невольно вздрогнул, когда дверь распахнулась и в комнату вошел наш старый знакомый, мосье Г., префект парижской полиции.

Мы встретили его приветливо; хоть многое в нем заслуживало презрения, но человек он был презабавный, — к тому же мы не видели его несколько лет. Мы сумерничали, и Дюпен тут же встал, чтобы зажечь лампу, но снова уселся в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами, или, скорее, узнать мнение моего друга об одном служебном происшествии, причинившем немало неприятностей.

— Если дело это требует размышления, — заметил Дюпен, задувая спичку, поднесенную было к фитилю, — лучше рассматривать его в темноте.

— Еще одна из ваших странных затей, — заметил префект, имевший обыкновение называть «странным» все, что превышало его разумение, и окруженный, вследствие того, со всех сторон «странностями».

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, предложив гостю трубку и пододвинув ему удобное кресло.

— Но что же случилось сейчас? — спросил я. — Надеюсь, больше никто никого не убивал?

— Нет, нет, это история совсем иного рода. Конечно, дело это самое простое, и я не сомневаюсь, что мы вполне с ним справимся и сами. Но я

* Для мудрости нет ничего ненавистнее мудрствования. Сенека¹ (лат.).

** В Сен-Жерменском предместье, на улице Дюно, № 33, четвертый этаж (франц.).

подумал, что Дюпену интересно будет услышать подробности, потому что дело это странное до крайности.

— Простое и странное? — повторил Дюпен.

— Ну да, конечно... или, вернее, нет. По правде говоря, мы все весьма озадачены, ибо дело это такое простое, и все же оно ставит нас в тупик.

— Возможно, именно эта простота и сбивает вас с толку, — заметил мой приятель.

— Что за чепуха! — воскликнул префект, заливаясь громким смехом.

— Возможно, тайна эта слишком прозрачна, — сказал Дюпен.

— Господи помилуй! Нет, вы когда-нибудь слышали такое?

— Слишком очевидно...

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! — хохотал наш гость, веселясь от души. — Ах, Дюпен, вы меня уморите!

— Но в чем же все-таки дело? — спросил я.

— Да я вам расскажу, — отвечал префект с расстановкой, выпуская длинную, ровную струю дыма и устраиваясь поудобнее в кресле. — Расскажу в нескольких словах, но, прежде чем начать, мне хотелось бы предупредить вас, что дело это требует полнейшей тайны и что я наверняка потеряю свой пост, если станет известно, что я кому-то о нем поведал.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или остановитесь, — сказал Дюпен.

— Так вот, мне стало известно (заметьте, сведения эти идут из очень высокого источника, доступного только мне), что из королевских покоев похищен некий документ чрезвычайной важности. Похититель известен — сомнений здесь быть не может: его видели в момент похищения. Известно также, что документ все еще находится в его руках.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это явствует, — ответил префект, — из характера самого документа, равно как и из отсутствия неких результатов, которые бы непременно воследовали, если б похититель выпустил его из рук, вернее, если б он использовал его в целях, для которых оно было похищено.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Что ж, я рискну заметить, что документ этот дает его обладателю некую власть в некоей области, в коей власть эта имеет огромную ценность.

Префект любил выражаться дипломатически.

— И все же я не понимаю, — сказал Дюпен.

— Не понимаете? Гм... предъявление этого документа третьему лицу, которого мы оставим безымянным, затронет честь одной особы чрезвычайно высокого рода. Обстоятельство это дает обладателю документа определенную власть над высокочтимой особой, спокойствие и честь которой он подвергает опасности.

— Но эта власть, — вмешался я, — будет зависеть от того, известно ли похитителю, что он известен пострадавшей. Кто же осмелится...

— Вор, — сказал Г., — это министр Д., который осмелится на все, достойное и недостойное мужчины. Способ похищения был столь же хитроумен, сколь смел. Документ, о котором идет речь (откровенно говоря, это письмо), был получен пострадавшей, когда она находилась одна в королевском boudoir. За чтением этого письма ее застало второе высокородное лицо, от которого в особенности ей хотелось его скрыть. Она попыталась сунуть письмо в ящик, но не успела и была вынуждена положить его на стол. Адресом, правда, оно лежало вверх, и, так как текст письма был таким образом скрыт, оно не обратило на себя внимания. В эту минуту входит министр Д. Его острый взгляд мгновенно замечает письмо, он узнает руку, написавшую адрес, видит замешательство особы, которой оно адресовано, и угадывает ее тайну. После короткого делового разговора, который, как всегда, он заканчивает очень быстро, он вынимает письмо, весьма похожее на то, о котором идет речь, развертывает, делает вид, что читает его, а затем кладет рядом с первым, потом снова минут пятнадцать беседует о делах государственных. Наконец, уходя, забирает со стола письмо, ему никак не принадлежащее. Законная его владелица все видит, но, конечно, не смеет ничего сказать в присутствии третьего лица, стоящего рядом. А министр удаляется, оставив на столе собственное письмо самого пустого содержания.

— Вот вам условие, — сказал мне Дюпен, — необходимое, как вы говорили, для полноты власти: вор знает, что потерпевшей известно, кто является вором.

— Да, — заметил префект, — вот уже несколько месяцев, как вор злоупотребляет полученной властью в весьма опасных политических целях. Потерпевшая особа с каждым днем все более убеждается в необходимости получить письмо обратно. Но, конечно, это невозможно сделать открыто. В конце концов, в отчаянии она передала это дело мне.

— Само собой разумеется, — сказал Дюпен, окутываясь клубами дыма. — Более мудрого агента нельзя, я думаю, ни найти, ни желать.

— Вы мне льстите, — отвечал префект. — Впрочем, возможно, что такое мнение и существует.

— Очевидно, письмо, — сказал я, — как вы сами заметили, все еще у министра, ибо обладание письмом, а не его использование, дает министру власть. С использованием письма эта власть пропадает.

— Совершенно верно, — согласился Г., — из этого я и исходил. Прежде всего я позаботился о том, чтобы произвести тщательнейший обыск в особняке, где живет министр. Основная трудность заключалась здесь в том, чтобы провести его без ведома министра. Помимо всего прочего, меня предупредили, что опасность будет особенно велика, если мы дадим ему повод заподозрить наш план.

— Но, — сказал я, — вы ведь достаточно au fait* в такого рода поисках. Парижская полиция не раз этим занималась.

* Опытны (франц.).

— Безусловно, поэтому-то я и не терял надежды. К тому же привычки министра давали мне большое преимущество. Нередко он не возвращается домой до утра. Слуг у него совсем не много. Спят они довольно далеко от комнат своего господина и, так как большинство из них из Неаполя, их нетрудно напоить. Как вы знаете, у меня есть ключи, с помощью которых можно открыть любые двери в Париже. Вот уже три месяца, как я провожу чуть не каждую ночь в особняке Д. и лично руковожу поисками. Тут замешана моя честь, к тому же, сказать вам по правде, награда обещана огромная. Вот почему я не бросал поисков до тех пор, пока не убедился, что вор не уступает мне в хитрости. Готов поручиться, что я заглянул во все углы, во все тайники, где только можно было спрятать этот документ.

— Но разве нельзя предположить, — заметил я, — что письмо, хоть и находится у министра, в чем, по-видимому, сомневаться не приходится, спрятано где-либо в ином месте.

— Вряд ли это возможно, — сказал Дюпен. — Положение дел при дворе сейчас таково, что письмо должно всегда находиться под рукой, чтобы его можно было предъявить в любую минуту. В этом особый смысл тех интриг, в которых, как известно, замешан министр, и это для него не менее важно, чем то, что письмо находится у него.

— Как вы сказали? Чтобы его можно было предъявить? — спросил я.

— Вы хотите сказать, *уничтожить*, — сказал Дюпен.

— Совершенно верно, — заметил я. — Тогда, конечно, письмо у него в доме. Вряд ли министр носит его с собой — об этом и говорить нечего.

— Это совершенно исключено, — сказал префект. — Дважды его останавливали — будто бы грабители — и тщательным образом обыскивали. Я сам при этом присутствовал.

— Вы могли бы этого и не делать, — заметил Дюпен. — Ведь Д., насколько я понимаю, не так уж глуп и, конечно, ждал таких нападений. Это в порядке вещей.

— Не так уж глуп? — сказал Г. — Да ведь он поэт, а от поэта до глупца рукой подать.

— Совершенно верно, — заметил Дюпен, задумчиво выпуская из своей трубки клубы дыма, — хоть я и сам когда-то грешил рифмоплетством.

— Может быть, вы расскажете об обыске подробнее? — предложил я.

— Что ж, торопиться нам было некуда, мы обыскали буквально все. Опыт у меня в этих делах огромный. Я осмотрел весь дом, комнату за комнатой, положив неделю на каждую, — конечно, искали мы только по ночам. Сначала мы изучили мебель в каждой из комнат. Мы заглянули во все ящички, — вы, вероятно, знаете, что для хорошего агента «тайников» не существует. «Тайник» при обыске пропустит только олух. Это же так просто. У каждого шкафа есть определенная вместимость, определенный объем — их следует проверить. К тому же, правила у нас разработаны весьма подробно. Тут мы и волоска бы не проглядели. После шкафов и секретеров мы принялись за кресла. Подушки мы протыкали

длинными тонкими иглами — вам приходилось видеть, как я ими действую. Со столов мы снимали верхнюю доску.

— Зачем?

— Подчас, желая что-нибудь спрятать, снимают со стола или иной мебели такого рода верхнюю доску, выдалбливают в ножке углубление, прячут туда предмет, а потом снова кладут верх на место. В тех же местах используют и ножки кроватей или подпорки балдахинов — в верхней их части или нижней.

— А разве нельзя определить пустоту простукиванием? — спросил я.

— Нет, если, спрятав туда предмет, ее заложили ватой. К тому же, нам приходилось работать бесшумно.

— Но ведь нельзя же снять все доски, разобрать на части всю мебель, в которой легко сделать такой тайник! Письмо легко скатать в тоненькую трубочку, не толще вязальной спицы, и вставить — ну, хотя бы в перекладину кресла. Вы ведь не разбирали на части все кресла?

— Нет, если, спрятав туда предмет, ее заложили ватой. К тому же, мы осмотрели перекладки во всех креслах в особняке, мало того, — все стыки во всей прочей мебели. Будь там хоть малейшие следы недавнего вмешательства, мы бы тотчас заметили. Соринка, и та была бы видна, словно большое яблоко. Любая трещинка в клее, любая царапинка в стыках не ускользнули б от нашего взгляда.

— Вы, конечно, осмотрели зеркала между рамами и стеклом, перетрясли постели и постельное белье, а также ковры и шторы?

— Разумеется. Покончив с мебелью, мы принялись за дом. Мы разделили всю его площадь на квадраты и пронумеровали их, чтобы не пропустить ни одного; а потом дюйм за дюймом осмотрели с лупой, как и раньше, весь особняк, а также два прилегающих к нему дома.

— Два прилегающих дома! — воскликнул я. — Однако пришлось же вам потрудиться!

— Да, но награда предложена баснословная.

— Вы не забыли об участках при домах?

— Они вымощены брусчаткой. Хлопот тут было сравнительно немного. Мы изучили мох меж камнями — он был нетронут.

— Вы перебрали, очевидно, бумаги Д. и книги в его библиотеке?

— Безусловно. Мы заглянули во все конверты и папки; книги мы не просто перетрясли, как это делают некоторые полицейские, мы перелистали по листику все тома. Мы измерили с точностью до миллиметра толщину каждого переплета и необычайно придирчиво осмотрели их с лупой. Если бы переплет обнаружил следы недавних изменений, это не избежало бы нашего внимания. Пять-шесть томов, только что принесенных от переплетчика, мы осторожно исследовали длинными иглами в продольном направлении.

— Вы изучили полы под коврами?

— Несомненно. Мы сняли все ковры и осмотрели с лупой половицы.

— Обои на стенах?

— Да.

— Вы заглянули в подвалы?

— Конечно.

— Значит, — сказал я, — вы допустили просчет, и письма, вопреки вашим предположениям, в его комнатах нет.

— Боюсь, что вы правы, — сказал префект. — Скажите, Дюпен, что бы вы мне посоветовали?

— Снова тщательно все обыскать.

— В этом нет никакой нужды, — отвечал Г. — Я головой ручаюсь, что письма в особняке нет.

— Больше мне вам посоветовать нечего, — сказал Дюпен. — У вас, разумеется, есть точное описание письма.

— Ну, конечно! — Тут префект вынул памятную книжку и прочел подробнейшее описание внутреннего и особенно внешнего вида пропавшего документа. Закончив чтение, он вскоре и удалился в таком подавленном настроении, в каком мне не доводилось еще видеть нашего доброго знакомого.

С месяц спустя он снова нанес нам визит, застав нас все за тем же занятием. Он выбрал трубку и кресло и завел речь о всяких пустяках. Наконец, я сказал:

— Послушайте, Г., а как же похищенное письмо? Вы, верно, согласились в конце концов, что нашего министра не перехитрит?

— Да, черт бы его побрал! Я все же повторил обыск, как предлагал Дюпен, — напрасные старания! Впрочем, я так и думал.

— А какая, вы говорите, предложена награда? — спросил Дюпен.

— О-о, очень большая — очень щедрая награда — мне не хотелось бы называть точную сумму... Скажу лишь одно: я лично готов выдать чек на пятьдесят тысяч франков тому, кто доставит мне это письмо. С каждым днем необходимость найти его становится все настоятельнее. На днях награда была удвоена. Но будь она даже утроена, я все равно не мог бы сделать больше.

— Ну, знаете, — протянул Дюпен, попыхивая трубкой. — По правде... говоря, Г., ... вы же не исчерпали... всех возможностей в этом деле. Вы могли бы... по-моему, еще кое-что... сделать, а?

— Но как? Каким образом?

— Что ж... пф-ф-ф! пф-ф-ф!.. вы могли бы... пф-ф-ф! обратиться к кому-либо за советом. Помните историю, которую рассказывают про Абернети²⁾

— Нет, пропади он пропадом!

— Конечно, пусть себе пропадает. Только однажды некий богатый скупой задумал получить от Абернети консультацию даром. Заведя для этой цели общий разговор в одном частном обществе, он поведал своему врачу о болезни какого-то вымышленного лица. «Предположим, — сказал скупой, — что симптомы у него такие-то. Скажите, доктор, что бы вы по-

советовали ему предпринять?» — «Предпринять?! — сказал Абернети. — Предпринять?! Обратиться к врачу, разумеется!».

— Но, — возразил префект, слегка смутившись, — я именно и хочу просить совета, и готов за него заплатить. Я действительно дам пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае, — произнес Дюпен, открывая ящик стола и вынимая оттуда чековую книжку, — вы можете выписать чек на упомянутую сумму мне. Когда он будет подписан, я передам вам письмо.

Я был потрясен. У префекта вид был такой, будто земля вдруг разверзлась у него под ногами. Несколько минут он оставался нем и недвижим, очевидно, не веря собственным ушам, — рот у него был открыт, глаза, казалось, выступили из своих орбит; затем, верно опомнившись, он схватил перо и, то и дело останавливаясь и глядя в пространство, выписал чек на пятьдесят тысяч франков, подписал его и подал через стол Дюпену. Последний внимательно проверил чек и положил в бумажник, после чего отомкнул *écritoire* *, вынул оттуда письмо и передал его префекту. Тот схватил его вне себя от радости, развернул дрожащими руками, торопливо пробежал, рванулся к двери, остановился и, наконец, махнув рукой на все приличия, ринулся вон, так и не произнеся ни звука с той минуты, как Дюпен попросил его выписать чек.

Когда мы остались вдвоем, мой друг снизошел до объяснений.

— Парижские полицейские, — сказал он, — по-своему очень способные люди. Они настойчивы, изобретательны, хитры и знают до тонкости все, что от них требуется по долгу службы. Вот почему, когда Г. описал нам, как он производил обыск в особняке Д., я ни минуты не сомневался в том, что сделано это самым удовлетворительным образом, — насколько это вообще в его силах.

— Насколько это вообще в его силах?

— Да, — сказал Дюпен. — Метод обследования был в своем роде превосходен, да и осуществлялся наилучшим образом. Будь письмо в круге их поисков, эти молодцы, безусловно, его бы обнаружили.

Я только рассмеялся, но Дюпен, по-видимому, был совершенно серьезен.

— Да, метод был по-своему хорош, исполнение еще того лучше, — единственный недостаток заключался в том, что он неприменим в данном случае и к данному человеку. У префекта есть ряд чрезвычайно хитроумных приемов, некое подобие прокрустова ложа, в которое он старается втиснуть все свои замыслы. Однако он то и дело попадает впросак — забирая то слишком глубоко, то слишком мелко, так что нередко любой мальчишка проявит больше сообразительности, чем он. Я знал одного такого школьника, который в свои восемь лет вызывал всеобщее восхищение искусством играть в «чет и нечет». Игра эта очень проста, играют в нее камешками. Один игрок зажимает в руке несколько штук, а второй

* Здесь: настольный письменный прибор в футляре (франц.).

должен угадать, четное там число или нечетное. Если угадает, значит выиграл камешек, если же нет — проиграл. Мальчик, о котором я говорю, обыгрывал всех в школе. Разумеется, у него был некий принцип, основанный на наблюдении и оценке сообразительности своих противников. Скажем, играет с ним совершенный простофиля, зажал в кулак камешки и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник говорит: «Нечет» и проигрывает, зато во второй раз он выигрывает, ибо тут он размышляет так: «У этого простофили в первый раз был чет, а хитрости у него как раз настолько, чтобы во второй раз взять нечет. Скажу-ка я «нечет». Он говорит «нечет» — и выигрывает. Ну, а с простофилей рангом выше он рассуждает так: «Этот голубчик помнит, что в первый раз я сказал «нечет». Значит, во второй раз ему захочется, как и первому, попросту заменить «нечет» на «чет», но тут он решит, что это слишком просто и остановится, как и в первый раз, на «чете». Скажу-ка я «чет». Говорит «чет» — и выигрывает. Так вот, способ мышления у школьника, которого товарищи прозвали «счастливчик», что это в конечном счете такое?»

— Всего-навсего, — сказал я, — отождествление своего интеллекта с интеллектом противника.

— Безусловно, — сказал Дюпен. — Когда я спросил своего школьника, каким образом он достигает столь *полного* отождествления, в чем, собственно, и кроется его успех, он сказал мне следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, насколько добр или зол мой партнер и что он при этом думает, я стараюсь придать своему лицу такое же, как у него выражение, а потом жду, какие у меня при этом появятся мысли и чувства». Принцип моего школьника лежит в основе всей мнимой мудрости, которую приписывают Ларошфуко³ и Лабрюйеру⁴, Макиавелли и Кампанелле⁵.

— А отождествление своего интеллекта с интеллектом противника, — сказал я, — зависит, если я правильно вас понял, от точности оценки интеллекта противника.

— В практическом смысле — да, — отвечал Дюпен. — Префект и его приспешники ошибаются столь часто потому, что, во-первых, не умеют отождествлять, а, во-вторых, плохо понимают или вовсе не понимают интеллект того, с кем имеют дело. Они размышляют лишь о том, что им самим кажется хитростью и в поисках спрятанного, берут во внимание лишь те способы, к которым прибегли бы *сами*. Они правы в одном — их собственная хитрость есть точное воспроизведение хитрости и изобретательности большинства, но, если хитрость отдельного преступника не совпадает по своему характеру с их хитростью, они встают в тупик. Это всегда случается, когда она выше их собственной, а часто и тогда, когда она ниже. Принцип у них всегда неизменен; побуждаемые в лучшем случае необычайной срочностью или неслыханной наградой, они лишь усиливают, доводят до крайности свои обычные практические приемы, однако в принципе ничего в них не меняют. Скажем, в случае с Д. — из-

менили они хоть на йоту принцип своих действий? Что значат все эти сверления, протыкания, выстукивания, разглядывания с лупой и деления площади на квадратные дюймы, и нумерация этих квадратов, — что все это такое, как не доведение до крайности одного-единственного принципа или совокупности принципов расследования, которые опираются на одну-единственную совокупность представлений о человеческой хитрости, к которой после долгих лет службы пришел префект? Разве вы не видите, для него само собой разумеется, что все станут прятать письмо, если не в ножке кресла, то по крайней мере в каком-нибудь углу или щели от глаз подальше, следуя тому же ходу мысли, по которому человек прячет письмо в ножке кресла? И разве не видите вы также, что такие *recherchés** потайные места пригодны лишь для заурядных случаев и прибегают к ним лишь люди ума заурядного, ибо во всех случаях сокрытия, когда предметом распоряжаются таким *recherché* способом, способ этот прежде всего направляется на ум и таким образом успех поисков зависит не от пронизательности, а всего лишь от усердия, терпения и настойчивости, а там, где случай значителен или, что в глазах блюстителя закона то же, где награда велика, все эти свойства никогда не подводили? Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря, что, находишь похищенное письмо в сфере поисков префекта, другими словами, совпадай принципы похитившего с принципами префекта, найти его не составило бы большого труда. Этого, однако, не случилось, и префект совершенно растерялся; конечная причина его поражения кроется в том, что он предположил, будто министр — глупец, ибо он приобрел известность как поэт. Все глупцы — поэты, это префект знает *инстинктивно* и, сделав отсюда вывод, что все поэты — глупцы, он совершил обычную ошибку *non distributio medii***.

— Но разве поэт это министр? — спросил я. — Я знаю, что их два брата, и оба приобрели известность своими сочинениями. Министр, насколько я помню, написал ученый труд о дифференциальном исчислении. Он математик, а не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю — он и то и другое. Как математик и поэт он должен рассуждать хорошо; будь он только математиком, он не умел бы рассуждать вовсе и находился бы таким образом во власти префекта.

— Вы удивляете меня своими рассуждениями, — сказал я, — которые противоречат общепринятому мнению. Не хотите же вы зачеркнуть прекрасно усвоенную мудрость веков: математический ум всегда считался умом *par excellence****.

— *Il y a à parier*, — отвечал Дюпен, цитируя Шамфора⁷, — *que toute idée publique, toute convention reçue, est une sottise, car elle a convenu au*

* Изысканные (франц.).

** Нерасчленение среднего⁶ (лат.).

*** В истинном значении этого слова (франц.).

plus grand nombre *. Математики, в этом я с вами согласен, много потрудились, чтобы сделать всеобщим заблуждение, о котором вы говорите, и которое, тем не менее, остается заблуждением, как его ни выдавай за правду. С усердием, достойным лучшего применения, они ввели, скажем, термин «анализ» в применении к алгебре. Виновники именно этого превратного толкования — французы, но если термин имеет какое-то значение, если слова получают какой-то смысл от употребления, то «анализ» так же означает «алгебру», как латинское «ambitus» ** — «амбицию», «religio» *** — «религию» или «homines honesti» **** порядочных людей.

— Кое-кто из парижских алгебраистов вам этого не простит, — сказал я. — Впрочем, продолжайте.

— Я подвергаю сомнению годность, а, следовательно, и ценность того разума, который культивируется в любом специфическом виде, кроме абстрактно логического. Особому сомнению я подвергаю разум, взращенный на математических штудиях. Математика это наука о форме и количестве, математический ум — это всего лишь логика в приложении к наблюдениям над формой и количеством. Величайшее заблуждение состоит в том, что мы предполагаем, будто законы науки, которая зовется чистой алгеброй, суть законы абстрактные, или всеобщие. Заблуждение это настолько чудовищно, что я никак не могу понять, каким образом оно стало универсальным. Математические аксиомы не обладают всеобщей истинностью. То, что справедливо для науки об отношениях — для формы и количества, зачастую оказывается чудовищным вздором в применении, скажем, к морали. В этой области обычно оказывается, что сумма частей не равняется целому. В химии эта аксиома также неверна. Неверна она и для определения мотива действия, ибо два мотива каждый известной побудительной силы при сложении совсем не обязательно приобретают силу, равную сумме слагаемых. Существует множество других математических истин, которые являются истинами лишь в пределах науки об отношениях. Но математик по привычке исходит из этих истин, имеющих известный предел, как если бы они имели всеобщее и безусловное применение, — впрочем, так полагает весь свет. Брайант⁸ в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник заблуждений, говоря, что «хотя в языческие мифы никто не верит, все же мы постоянно забываем об этом и делаем из них выводы, как если бы они реально существовали». Алгебраисты, однако, будучи сами язычниками, верят в «языческие басни» и делают отсюда выводы не столько из забывчивости, сколько из необъяснимого умопомрачения. Короче, мне так и не встретился ни один математик, на которого можно было бы положиться за пределами совпадающих корней, ни один, который не верил бы втайне в один догмат: что

* Можно побиться об заклад, что любое ходячее мнение, любая общепризнанная условность глупы, ибо понравились большинству (франц.).

** Хождение вокруг, обхаживание (лат.).

*** Совестливость (лат.).

**** Честные люди (лат.).

$x^2 + px$ всегда, абсолютно и безусловно, равняется q . Попробуйте, скажите кому-нибудь из этих господ, что, как вы полагаете, бывают случаи, когда $x^2 + px$ не совсем равняется q . Разъясните ему, что вы имеете в виду, а потом бегите без оглядки, ибо он, безусловно, постарается сбить вас с ног.

В ответ на это я только рассмеялся, а Дюпен продолжал:

— Я хочу сказать, что если б министр был всего лишь математиком, префекту не пришлось бы выписывать мне чек. Однако я знал, что он и математик, и поэт, а потому применил к нему систему измерений, достойную его масштаба, учитывая при этом окружающие его обстоятельства. Знал я также, что он придворный и к тому же смелый *intrigant**. Такой человек, размышляя я, конечно, не может не знать обычных методов блюстителей закона. И, конечно, он не мог не предвидеть — события показали, что он действительно их предвидел, — совершенных на него нападений. Разумеется, он предусмотрел, размышляя я, тайные обыски в его комнатах. Частые ночные отлучки, которые так радовали префекта, вселяя в него надежду на успех, я считал всего лишь *уловками*, рассчитанными на то, чтобы дать полицейским возможность устроить тщательный обыск и тем скорее навести их на мысль, к которой Г. в конце концов и пришел, а именно, что письма в особняке нет. Я чувствовал, что вся цепь этих рассуждений, которые я так подробно сейчас вам излагаю и которых в своих поисках неизменно держатся блюстители закона, я чувствовал, что вся цепь этих рассуждений не могла не прийти в голову министру. Это неизбежно должно было привести к тому, что он с презрением отверг все обычные «тайники». У него хватит ума, размышляя я, заметить, что для префекта с его иглами, лупами и буравами самое хитрое, самое потайное место в его особняке будет открыто, словно самый обычный шкаф. Словом, я видел, что ходом событий он вынужден будет искать спасения в простоте, даже если не склонится к нему одним уморассуждением. Вероятно, вы помните, как безудержно хохотал префект, когда при первом нашем свидании я предположил, что тайна эта, как ни странно, потому-то, возможно, и доставляет ему столько хлопот, что она так необычайно проста и очевидна?

— Как же, — сказал я, — помню, как он развеселился. Я думал, с ним судороги будут от смеха.

— Материальный мир, — продолжал Дюпен, — изобилует полнейшими аналогиями миру духовному; вот почему риторическая догма, что сравнение или метафора могут не только украсить описание, но и усилить доказательство, приобретает вид достоверности. Принцип *vis inertiae*** , к примеру, видно, одинаков как в физике, так и в метафизике. Если в первой мы справедливо замечаем, что большее тело труднее привести в движение, чем меньшее, и что возникающий при этом *momentum**** со-

* Интриган (франц.).

** Сила инерции (лат.).

*** Импульс (лат.).

размерен этой трудности, то не менее справедливо и то, что в последней интеллекты большей способности или силы, хоть они и могучее, и постоянней, и значительней в своем движении, чем интеллекты дюжинные, все же сдвинуть труднее, и на первых порах они полны смущения и неуверенности. И вот еще — вы когда-нибудь замечали, какая из уличных вывесок более всего привлекает внимание?

— Никогда об этом не думал, — сказал я.

— Существует игра в загадки, — продолжал Дюпен, — в нее играют над картой. Одна сторона загадывает слово — название города, реки, государства или империи, — словом, любое слово из тех, что напечатаны на пестрой и разнокалиберной поверхности карты, другая должна его отгадать. Новичок обычно старается сбить противников с толку, задумывая названия, напечатанные самым мелким шрифтом, но игрок опытный выбирает слова, которые крупными литерами тянутся через всю карту. Эти слова, так же как вывески и объявления, написанные слишком крупно, ускользают от нашего внимания именно потому, что они слишком на виду. Физическая слепота здесь в точности соответствует духовной, вследствие которой ум отказывается замечать то, что слишком явно и очевидно. Но все это, разумеется, выше или ниже понимания префекта. Он ни разу не задумался над тем, что не исключено, а скорее даже — вполне возможно, что министр положил письмо прямо у всех под носом, полагая, что это наилучший способ помешать кое-кому его обнаружить.

Однако, чем больше я размышлял над блистательной, безрассудной, безоглядной изобретательностью Д., над тем, что документ, если он хочет им воспользоваться, должен всегда быть у него *под рукой*, и над результатами обыска, показавшими как нельзя яснее, что в обычной сфере поисков этого достойного чиновника письма не было, тем более я убеждался, что для того, чтобы спрятать письмо, министр прибегнул к простому и остроумному способу — он отказался от всяких попыток его спрятать.

Придя к этому выводу, я обзавелся зелеными очками и в одно прекрасное утро зашел — совершенно случайно, конечно, — в особняк к нашему министру. Я застал Д. дома, он зевал, скучал, слонялся по комнатам и, как всегда, уверял, что умирает от еппи*. Я не знаю человека энергичнее, но таким он бывает только, когда никто его не видит.

Не желая ему уступить, я посетовал на слабость зрения и принялся оплакивать необходимость носить очки, под прикрытием которых меж тем я осторожно и внимательно осматривал кабинет, делая вид, что занят исключительно разговором со своим хозяином.

Особое внимание я обратил на огромный письменный стол, возле которого он сидел и на котором в беспорядке лежали всевозможные письма, бумаги, какие-то музыкальные инструменты и несколько книг. Но как я ни смотрел, я не обнаружил здесь ничего особенно подозрительного.

Наконец, в который раз окидывая взглядом комнату, я заметил кар-

* Скука (франц.).

тонное саше для визитных карточек с дешевой отделкой и грязной голубой лентой, которое небрежно болталось на бронзовой ручке чуть ниже каминной полки. В саше, в котором было три или четыре отделения, лежали пять-шесть карточек и одинокое письмо. Последнее было порядком захватано и измято. Оно было разорвано чуть не пополам, словно сначала его хотели вовсе разорвать за ненадобностью, а потом передумали и бросили так. На нем красовалась огромная черная печать с монограммой Д., адрес на нем был написан мелким женским почерком, к тому же и адресовано оно было Д., то есть самому министру. Его небрежно и даже, казалось, презрительно сунули в одно из верхних отделений саше.

Как только я увидел это письмо, я тотчас решил, что его-то я и ищу. Конечно, выглядело оно совсем иначе, чем то, подробное описание которого читал нам префект. На этом письме стояла огромная черная печать с монограммой Д., на том — небольшая красная с гербом герцога С. Адресовано это письмо было Д. мелким женским почерком, там же на конверте стояло имя некой августейшей особы, выведенное смело и размашисто; лишь размером они походили одно на другое. Но нарочитость этого контраста, которая была чрезмерной; грязь; захватанный, рваный вид, столь явно противоречащий истинным привычкам Д. к методичности и заставляющий предположить некий умысел; желание убедить в полной никчемности этого документа; все это, равно как и то, что лежал он на самом виду, будто для того, чтобы любой посетитель мог его видеть, что полностью отвечало выводам, к которым я пришел ранее, — все это, повторяю, весьма способно было навести на подозрение того, кто явился сюда, весьма к подозрению склонным.

Я, как мог, затянул свой визит и, не прерывая оживленной беседы с министром на тему, которая, как я знал, всегда его занимала и волновала, сосредоточил все свое внимание на письме. Внимательно рассмотрев его, я постарался запомнить до мелочей его вид и положение и неожиданно сделал открытие, уничтожившее последние мои сомнения. Разглядывая края письма, я заметил, что они были смяты больше, чем, строго говоря, то было необходимо. Так выглядит плотная бумага, если ее сложить, прижав прессом, а потом развернуть и сложить по тем же сгибам в обратную сторону. Этого открытия было достаточно. Мне стало ясно, что письмо вывернули, словно перчатку, наизнанку, написав на нем новый адрес и заново запечатав. Я простился с министром и ушел, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с увлечением продолжили нашу беседу. В разгар нашего разговора прямо под окнами раздался громкий, словно из пистолета, выстрел, затем громкие крики и вопли перепуганной толпы. Д. кинулся к окну, распахнул его и выглянул наружу. Я же подошел к саше, вынул письмо, положил его в карман, заменив его facsimile* (внешнего вида, конечно), которое я заранее

* Точное воспроизведение документа (франц.).

приготовил дома, весьма успешно воспроизведя монограмму Д. с помощью печатки из хлебного мякиша.

Волнение на улице вызвал какой-то безумец с мушкетом в руках. Окруженный женщинами и детьми, он вдруг решил из него выпалить. Впрочем, оказалось, что выстрел был холостым, и беднягу отпустили подобру-поздорову, сочтя безумным или пьянчужой. Когда он исчез за углом, Д. отвернулся от окна, где, заполучив необходимый мне предмет, стоял с ним рядом и я. Вскоре я с ним простился. (Мнимый безумец был моим человеком.)

— Но какую цель вы преследовали, — спросил я, — заменив письмо на facsimile? Не лучше ли было открыто схватить его в первый же визит и уйти?

— Д., — ответил Дюпен, — человек отчаянный, его не испугаешь. К тому же было бы ошибкой полагать, что в особняке нет преданных ему людей. Сделай я такую безумную попытку, вряд ли мне удалось бы покинуть общество министра живым. И мои милые парижане больше обо мне бы и не услышали. Но, помимо этих соображений, была у меня и некая цель. Вам известны мои политические склонности. В этом деле все мои симпатии были на стороне дамы. Полтора года министр держал ее в своей власти. Однако теперь роли переменялись, ибо он, не подозревая о том, что письма у него больше нет, будет, конечно, как и прежде, ее шантажировать и тем вернее навлечет на себя полное политическое банкротство. Падение его будет не только молниеносным, но и весьма скандальным. Что бы ни говорили о *facilis descensus Avernus* *, но во всяком деле подыматься гораздо легче, чем опускаться, как говаривала, бывало, Каталани ¹⁰ о пении. В настоящем случае у меня нет ни сочувствия, ни даже жалости — к тому, кто спускается. Он — *monstrum horrendum* **, человек одаренный, но беспринципный. Признаюсь, правда, что мне было бы любопытно узнать, что именно он подумает, когда, встретив отпор со стороны той, кого префект величает «некой особой», прочтет, наконец, письмо, которое я оставил ему в саше.

— Как? Разве вы что-нибудь там написали?

— Как вам сказать... Положить туда чистый лист бумаги мне казалось как-то неловко, — это было бы попросту оскорблением. Когда-то в Вене Д. сыграл со мной злую шутку, и я вполне благодушно сказал ему, что я ее не забуду. И вот, зная, что ему будет небезынтересно узнать, кто же его так провел, я решил, что обидно будет не дать ему хоть какого-то ключа. Он мой почерк хорошо знает — вот я и написал ему на чистом листе:

Un dessein si funeste,

S'il n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste ***.

— Это из «Атрея» ¹² Кребийона.

* Легкости сошествия в преисподнюю ⁹ (лат.).

** Страшное чудовище ¹¹ (лат.).

*** Такой пагубный план достоин если не Атрея, то Фiestа (франц.).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАКВАС ТАМА, ЭСКВАЙРА

(БЫВШИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «АБРАКАДАБРА»)

Написано им самим

Я уже в годах, и так как мне известно, что Шекспир и мистер Эммонс¹ скончались, то не исключено, что даже я могу умереть. Мысль об этом побуждает меня оставить литературное поприще и почить на лаврах. Но я горю желанием ознаменовать мое отречение от литературного скипетра каким-нибудь ценным даром потомству, и, пожалуй, самое лучшее — это описать начало моей карьеры. Право же, имя мое так долго и часто мелькало перед глазами публики, что я не только считаю совершенно естественным вызванный им интерес, но и готов удовлетворить то крайнее любопытство, которое им возбуждено. Действительно, долг всякого, кто достигает величия, — оставлять на пути своего восхождения вехи, которые могут помочь другим стать великими. Поэтому в настоящем труде (у меня была мысль озаглавить его «Материалы к литературной истории Америки») я предполагаю подробно рассказать о тех пусть еще слабых и робких, но знаменательных первых шагах, которые вывели меня на широкую дорогу, ведущую к вершине славы.

Об очень отдаленных предках распространяться излишне. Мой отец, Томас Там, эскв., в течение многих лет был самым известным в Фат-сити парикмахером — фирма «Томас Там и К⁰». Его заведение служило прибежищем для знатных людей города, особенно журнальной братии — сословия, которое всем внушает глубокое почтение и страх. Что касается меня лично, я смотрел на представителей этого сословия как на богов и с жадностью впивал живительную влагу мудрости и остроумия, которая потоками лилась с их священных уст во время операции, именуемой «намыливанием». Появление у меня первой вспышки творческого вдохновения следует отнести к той достопамятной эпохе, когда знаменитый редактор «Слепня» в перерывах упомянутой выше ответственной операции прочел конклаву наших подмастерьев неподражаемую поэму «Настоящего Брильянтина Тама» (названного так по имени его талантливой изобретателя, моего отца), за сочинение каковой был вознагражден с королевской щедростью фирмой «Томас Там и К⁰, парикмахеры».

Гениальные строфы во славу «Брильянтина Тама» впервые, говорю я, заронили во мне искру божью. Недолго думая, я решил стать великим человеком, а для начала — великим поэтом. В тот же вечер упал я перед отцом на колени.

— Отец, — сказал я, — прости меня! Но душа моя не приемлет мыльной пены. Я не хочу быть парикмахером. Я хочу стать редактором... хочу стать поэтом... хочу слагать стихи во славу «Брильянтина Тама». Прости меня и помоги стать великим!

— Дорогой мой Каквас, — отвечал отец (меня окрестили Каквасом в честь богатого родственника, носившего это прозвище), — мой дорогой Каквас, — сказал он, поднимая меня с пола за уши, — Каквас, дитя мое, ты славный малый и душой весь в отца. Голова у тебя огромная, и в ней должно быть много мозгов. Я давно это заметил и потому имел намерение сделать тебя адвокатом. Но адвокаты теперь не в моде, а профессия политика невыгодна. Словом, ты рассудил мудро, нет ничего лучше, чем ремесло редактора, а если ты станешь еще и поэтом, — ими, кстати, становится большинство редакторов, — ты сразу убьешь двух зайцев. Я поддержу тебя на первых порах. Я предоставляю в твое распоряжение чердак, дам перо, чернила, бумагу, словарь рифм и экземпляр «Слепня». Надеюсь, ты не станешь требовать большего?

— Я был бы неблагодарной свиньей, если б посмел, — с подъемом отвечал я. — Щедроты ваши беспредельны. Я отплачу вам тем, что сделаю вас отцом гения.

Так закончилась моя беседа с лучшим из людей, и сразу же по ее окончании я ревностно принялся сочинять стихи, так как на них главным образом основывал свои надежды воссесть со временем на редакторское кресло.

Первые пробы моего пера убедили меня, что строфы «Брильянтина Тама» служат мне скорее помехой, чем подспорьем. Их великолепие не столько просветляло, сколько ослепляло меня. Созерцание их совершенств и сопоставление с недоносками моего поэтического воображения повергало меня в уныние, и долгое время усилия мои оставались тщетными. Наконец меня осенила одна из тех неповторимо оригинальных идей, которые время от времени все же озаряют ум гения. Вот ее сущность, точнее — вот как она была осуществлена. Роясь в старой книжной лавчонке, на глухой окраине города, я откопал среди хлама несколько древних, никому не известных или совершенно забытых книг. Букинист уступил мне их за бесценок. Из одной, по-видимому перевода «Ада» какого-то Данте, я с примерным усердием выписал большой отрывок о некоем Уголино², у которого была куча детей-сорванцов. Из другой, содержавшей множество старинных театральные пьес какого-то автора³ (фамилию не помню), я тем же способом и с таким же тщанием извлек множество стихов о «неба серафимах», «блаженном духе», «демоны проклятом» и тому подобном. Из третьей, сочинения слепца⁴, не то грека, не то чоктоса⁵, — не стану же я утруждать себя запоминанием всякого пустяка, — я заимствовал около пятидесяти стихов о «гневе Ахиллеса», «приношениях» и еще кое о чем. Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом⁶, я взял несколько страниц, где говорилось сплошь о «граде» и «свете не-

бесном»; и, хотя не дело слепого писать о свете, стихи все же были недурны.

Сделав несколько тщательных копий, я под каждой поставил подпись «Оподельдок» (имя красивое и звучное) и послал, каждую в отдельном конверте, во все четыре ведущих наших журнала с просьбой поместить немедленно и не тянуть с выплатой гонорара. Однако результат этого столь хорошо продуманного плана (успех которого избавил бы меня от многих забот в дальнейшем) убедил меня, что не всякого редактора можно одурачить, и нанес *сoup de grâse** (как говорят во Франции) по моим зарождающимся упованиям (как говорят на родине трансценденталистов⁷).

Словом, все журналы, все как один, учинили мистеру «Оподельдоку» полный разгром в своих «Ежемесячных репликах корреспондентам». «Трамтарарам» отдалел его таким манером:

«Оподельдок» (кто бы он ни был) прислал нам длинную *тираду* о сумасброде, названном Уголино, многодетном родителе, которому следовало драть своих сорванцов ремнем и отправлять их спать без ужина. Вся эта история не только банальна, но и скучна до зевоты. «Оподельдок» (кто бы он ни был) лишен всякого воображения, а воображение, по нашему скромному мнению, не только душа ПОЭЗИИ, но и сердце ее. «Оподельдок» (кто бы он ни был) имеет наглость требовать, чтобы мы немедленно напечатали его чепуху и «не тянули с выплатой гонорара». Мы не печатаем и не покупаем подобной галиматьи. Впрочем, можно не сомневаться, что всю ту дрянь, которую он способен намарать своим пером, охотно возьмут в редакциях «Горлодера», «Сластены» или «Абракадабры».

Надо сказать, что с «Оподельдоком» обошлись слишком немилосердно, но обиднее всего было слово ПОЭЗИЯ, напечатанное крупным шрифтом. Сколько желчи было влито в эти шесть букв!

Не менее бесцеремонно отделили «Оподельдока» в «Горлодере», который писал так:

«Мы получили крайне странное и возмутительное послание от субъекта (кто бы он ни был), подписавшегося «Оподельдок» и оскорбившего тем самым величие прославленного римского императора, носившего это имя⁸. К письму «Оподельдока» приложены бессмысленные и омерзительные вирши «неба серафимах» и «демонe проклятом», столь омерзительные, что их мог сочинить только сумасшедший вроде «Оподельдока» или Нанта Ли⁹. И вот нас скромно просят выплатить гонорар за этот архивздор. Нет, сэр, увольте! За такую чепуху мы не платим. Обратитесь в

* Последний удар, которым добивают жертву, чтобы прекратить ее страдания (франц.).

«Трамтарарам», «Сластену» или в «Абракадабру». Эти *повременные* издания охотно примут у вас всякую литературную дребедень и охотно пообещают заплатить за нее».

Бедному «Оподельдоку» крепко досталось; но в данном случае острие сатиры было обращено против «Трамтарарама», «Сластены» и «Абракадабры», которые язвительно — и к тому же курсивом — названы «*повременными*», что должно было поразить их в самое сердце.

Не менее взыскательным оказался «Сластена», который изъяснился так:

«Некий *субъект*, коему доставляет удовольствие называть себя «Оподельдоком» (в сколь низменных целях употребляются порой имена прославленных мертвецов!), препроводил нам свои стишонки (строк пятьдесят-шестьдесят), начинающиеся таким манером:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал...¹⁰

и т. д. и т. п.

Почтительно уведомляем «Оподельдока» (кто бы он ни был), что самый зашудалый наборщик нашей типографии сочиняет *куплетики* получше этих. «Оподельдок» не в ладу с *размером*. Ему надо научиться подсчитывать слоги. И как ему пришло в голову, что *мы* (никто другой, а именно *мы!*) решимся осквернить страницы нашего журнала такой беспардонной чепухой, — уму непостижимо. По совести сказать, вся эта белиберда едва-едва подойдет для «Трамтарарама», «Горлодера», «Абракадабры» — органов печати, которые без зазрения совести публикуют «Напевы Матушки-Гусыни»¹¹ как оригинальное лирическое произведение. И «Оподельдок» (кто бы он ни был) еще имеет наглость требовать *гонорар* за свою галиматью! Да понимает ли «Оподельдок» (кто бы он ни был), в состоянии ли он понять, что, озолоти он нас, мы не станем его печатать!»

Вчитываясь в эти строки, я чувствовал, как становлюсь все меньше и меньше; когда же я увидел, с каким презрением редактор называет мое произведение «стишонками», весу во мне осталось не более унции. И мне стало искренне жаль беднягу «Оподельдока». Но «Абракадабра» оказалась, если это возможно, еще менее снисходительной, чем «Сластена». Именно «Абракадабра» писала:

«Жалкий стихоблуд, подписывающийся «Оподельдоком», настолько глуп, что вообразил, будто *мы* поместим и *оплатим* бессмысленную, безграмотную и выпренную белиберду, которую он прислал нам и представ-

ление о которой можно составить по следующим хоть сколько-нибудь *вразумительным* строкам:

О, свет небес, их отпрыск первородный,
Священный град...¹²

«Хоть сколько-нибудь *вразумительным*», говорим мы. Не будет ли «Опodelьдок» (кто бы он ни был) столь любезен разъяснить нам, каким это образом «град» может быть «священным»? До сих пор мы полагали, что град — это *замерзший дождь*. Не сообщит ли он вместе с тем, каким образом замерзший дождь может быть одновременно «священным градом» (оставим это выражение на совести автора) и «отпрыском», — ибо последним термином (если мы хоть чуточку смыслим в английском языке) обозначают только грудных младенцев в пределах шестинедельного возраста. Не стоит и обсуждать подобную нелепость. А вот «Опodelьдок» (кто бы он ни был) с беспримерным нахальством полагает, что мы не только поместим его напыщенный вздор, но и (он так и пишет, черным по белому) *выплатим за него гонорар!*

Прелестно, не правда ли? Бесподобно! Мы не прочь проучить этого новоиспеченного строчкогона за его самомнение, действительно опубликовав его поэтические излияния *verbatim et literatim**, так, как они вышли из-под его пера. Мы не знаем худшего наказания, и мы *применили бы* его, если б не боялись наскучить нашим читателям.

Рекомендуем «Опodelьдоку» (кто бы он ни был) посылать свои будущие произведения, написанные в том же духе, в «Трамтарарам», в «Сластену» или в «Горлодер». Эти напечатают. Эти ежемесячно печатают такую же дрянь. Посылайте им. Мы же не позволим безнаказанно оскорблять себя».

Этот отзыв доконал меня; что до «Трамтарарама», «Горлодера» и «Сластены», то я не могу себе представить, как они это вынесли. Их тиснули мельчайшим *миньоном* (ядовитый намек: вот, мол, какие вы маленькие и подленькие), а Мы взирали на них с высоты гигантских прописных!.. О, это *слишком* убийственно!.. Им плевали в лицо, их втаптывали в грязь! Будь я на месте любого из этих журналов, я бы не пожалел сил, — уж я бы посадил «Абракадабру» на скамью подсудимых, я бы подвел ее под статью закона «Об охране животных от жестокого обращения!» Что до «Опodelьдока» (кто бы он ни был), то этот субъект окончательно вывел меня из терпения и больше не вызывал у меня сочувствия. Он остался в дураках (кто бы он ни был) и получил пинков ровно столько, сколько заслуживал.

Результат моих опытов с древними книгами убедил меня, во-первых, в том, что «честность — лучшая политика», и, во-вторых, что если мне не

* Дословно (лат.).

удалось написать стихи удачнее мистера Данте, обоих слепцов и других представителей допотопной литературной братии, то хуже них писать невозможно. Я собрался с духом и решил сочинить нечто «совершенно оригинальное» (как пишут на обложках журналов), каких бы трудов мне это ни стоило. За образец я снова взял великолепные строфы редактора «Слепня», написанные в честь «Брильянтина Тама», и, восплавав духом соперничества, решил создать оду на ту же возвышенную тему.

Первая строка не вызвала серьезных затруднений. Вот она:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»...

Однако, внимательно просмотрев в справочнике все общеупотребительные рифмы к «Там», я убедился в тщетности дальнейших попыток. Тогда я прибег к родительской помощи, и соединенными усилиями нашей мысли спустя несколько часов мы с отцом сочинили стихотворение:

*Писать стихи о «Брильянтине Тама»... —
Нелегкий труд, скажу вам прямо.
Точка (стоп).
(Подпись) — Сноб.*

Конечно, опус этот не был слишком пространным, но «пора понять», как сказано в «Эдинбургском обозрении»¹³, что достоинство литературного произведения не определяется его размером. Что касается требования «Ежеквартального обозрения»¹⁴ «много и упорно учиться», то смысл его туманен. В общем, я был доволен первой пробой пера, и возникал только вопрос о том, куда бы ее пристроить. Отец советовал послать стихи в «Слепень», но два обстоятельства побудили меня отклонить его предложение: я опасался вызвать у редактора зависть, и к тому же мне было известно, что он не склонен платить за оригинальные произведения. Тщательно все взвесив, я предназначил мои стихи для страниц «Сластены», журнала более солидного, и стал с нетерпением, но покорный судьбе, ждать дальнейшего развития событий.

В следующем же номере я с радостью увидел мое стихотворение на первой странице, оно было опубликовано полностью в сопровождении следующих примечательных слов, напечатанных курсивом и в скобках:

[Обращаем внимание наших читателей на публикуемые ниже восхитительные стансы «Брильянтин Тама». Нет нужды говорить об их великолепии и пафосе; их невозможно читать без слез. Тем, кто с отвращением вспоминает снотворные строки, написанные на ту же возвышенную тему грязной лапой редактора «Слепня», рекомендуем сравнить оба эти произведения.]

Р. S. Сгораем от нетерпения разгадать тайну, которую скрывает псевдоним «Сноб». Можем ли мы надеяться побеседовать с автором лично?]

Все это нисколько не расходилось с истиной, но, признаюсь, несколько превзошло мои ожидания, — пусть былое непонимание ляжет вечным позором на мою родину и человечество. Однако я, не теряя времени даром, отправился к редактору «Сластены» и, к великому моему счастью, застал этого джентльмена дома. Он приветствовал меня с искренней почтительностью, в которой сквозило отеческое и покровительственное восхищение, вызванное, конечно, моим крайне юным и беспомощным видом. Пригласив меня сесть, он сразу же заговорил о моем стихотворении, но скромность да не позволит мне повторить те тысячи комплиментов, которые он расточал. Впрочем, похвалы мистера Краба (такова была фамилия редактора) отнюдь не являлись набором льстивых фраз. Он разобрал мое произведение с полной непринужденностью и знанием дела, смело указав мне на ряд ничтожных погрешностей, что высоко подняло его в моих глазах. Разумеется, речь зашла о «Слепне», и, надеюсь, я никогда не навлеку на себя столь взыскательной критики и столь ядовитых насмешек, какими мистер Краб осыпал это злополучное издание. Я привык считать редактора «Слепня» чуть ли не сверхчеловеком, но мистер Краб рассеял мое заблуждение. Он обрисовал литературную и приватную жизнь «Кровососной Мухи» (так язвительно назвал мистер Краб редактора «Слепня», своего конкурента) в их истинном свете. Он, «Кровососная Муха», дрянь, каких мало. Он прескверный сочинитель. Продажный писака и фигляр. Мерзавец. Он написал трагедию — и вся страна хохотала до упаду, написал фарс — и вселенная залилась слезами. А кроме того, он не погнушался настроичить на него (мистера Краба) пасквиль и обозвать его «ослом». Если я пожелаю высказать свое мнение о мистере «Кровососной Мухе», страницы «Сластены», заверил меня мистер Краб, всегда в полном моем распоряжении. Тем временем, поскольку «Слепень» не преминет обрушиться на меня за мою попытку соперничать с автором «Брильянтина Тама», он (мистер Краб) берет непосредственно на себя защиту моих личных и прочих интересов. И если я в два счета не выйду в люди, то не по его (мистера Краба) вине.

Мистер Краб прервал на секунду свою речь (последнюю ее часть я никак не мог понять), и я осмелился намекнуть на гонорар, который ожидал получить за свои стихи, согласно объявлению на обложке «Сластены», гласившему, что он («Сластена») «щедро оплачивает все принятые материалы, нередко тратя на одно маленькое стихотворение сумму, превышающую годовой расход «Трамтарарама», «Горлодера» и «Абракадабры» вместе взятых».

Едва я произнес слово «гонорар», мистер Краб широко раскрыл глаза, затем рот, напомнив своим видом испуганную старую утку, которая тщетно силится крикнуть. В таком виде он пребывал (то и дело хватаясь за голову, словно в крайней растерянности), пока я не выложил ему почти все, что хотел сказать.

Когда я умолк, он в изнеможении откинулся на спинку кресла, беспомощно опустив руки, но все так же по-утиному разинув рот. Я молчал,

озадаченный столь необычным поведением. Вдруг он вскочил и потянулся к звонку, но, коснувшись его, видимо изменил свое намерение, каково бы оно ни было, нырнул под стол и тут же вылез, держа в руках дубинку. Поднял ее (затрудняюсь сказать, с какой целью), однако в тот же миг кроткая улыбка осветила его лицо, и он спокойно опустился в кресло.

— Мистер Там, — сказал он (я заранее послал ему визитную карточку), — мистер Там, вы ведь молоды, даже очень?

Я согласился, присовокупив, что еще не достиг совершеннолетия.

— Ах, вот как! — сказал он. — Очень хорошо! Все понятно без слов! Вас интересует вопрос о компенсации, это естественно... можно сказать, вполне и безусловно. Но гм... э... э... *первое* выступление в печати... первое, говорю я... и не в обычая нашего журнала платить за... понимаете, а? Дело в том, что в подобных обстоятельствах обыкновенно мы оказываемся *получателями*. (Мистер Краб ласково улыбнулся, сделав ударение на слове *получатели*.) В большинстве случаев *нам платят* за то, что мы помещаем первую пробу пера... особенно если это стихи. Во-вторых, мистер Там, мы придерживаемся правила никогда не платить тем, что во Франции называют *argent comptant**, — вы понимаете, конечно. Спустя три-шесть месяцев после публикации... или через годик-два... мы не против того, чтобы выдать обязательство сроком на девять месяцев, если твердо знаем, что «погорим» через полгода. Я *уверен*, мистер Там, что мои разъяснения вполне удовлетворят вас.

Мистер Краб умолк, и на его глазах выступили слезы.

Огорченный до глубины души тем, что явился, пусть невольно, причиной страданий столь замечательного и столь отзывчивого человека, я поспешил извиниться и успокоить его, заверив в полном совпадении наших взглядов и в моем полном понимании деликатности его положения. Изложив все это изящным слогом, я удалился.

В одно прекрасное утро, вскоре после этого, «я проснулся и узнал, что я знаменит»¹⁵. О степени моей славы лучше всего судить по отзывам печати того дня. Эти отзывы, как будет видно дальше, представляют собой критические заметки о номере «Сластены» с моими стихами и являются вполне убедительными, исчерпывающими и ясными, за исключением, пожалуй, иероглифической подписи: «*Ser. 15—I t.*»** — в конце каждой заметки.

«Олух», журнал необычайно разборчивый, известный трезвостью литературных оценок, «Олух», говорю я, высказался так:

«СЛАСТЕНА!» Октябрьский номер этого прелестного журнала превосходит все предшествующие и стоит вне конкурса. Великолепием печати и бумаги, количеством и совершенством иллюстраций, литературными достоинствами опубликованных в номере материалов «Сластена» так же похож на своих старомодных конкурентов, как Гиперион¹⁶ на Сатира.

* Наличными (франц.).

** *Ser. 15—I t.* = September 15—Instant—Сентября 15—текущего года (лат.).

Правда, «Трамтарарам», «Горлодер» и «Абракадабра» превосходят его своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает такие громадные расходы, остается для нас загадкой. Верно, его тираж равен 100 000 экземпляров, и число его подписчиков за последний месяц увеличилось на одну четверть; но, с другой стороны, он выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Говорят, что мистер Плутосел получил не менее тридцати семи с половиной центов за свою неподражаемую статью «О свиньях». С таким редактором, как мистер Краб, и с такими именами в списке сотрудников, как Сноб и Плутосел, успех «Сластены» обеспечен. Идите и подпишитесь. *Ser. 15—1 t.*».

Признаюсь, я был польщен этим восторженным отзывом со стороны столь почтенного органа, как «Олук». Поместив мое имя, то есть мой *pot de suette** перед великим Плутослом, он оказал мне любезность, весьма приятную и вполне заслуженную.

Затем мое внимание привлекли следующие строки в «Гадине» — журнале, знаменитом своей прямоотой и свободой. . . полной свободой льстить и раболепствовать перед теми, кто дает званые обеды:

«Октябрьская книжка «Сластены» появилась ранее всех других журналов и бесконечно превосходит их роскошью оформления и богатством содержания. Мы допускаем, что «Трамтарарам», «Горлодер» и «Абракадабра» выделяются своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает столь непомерные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 200 000 экземпляров, и за последние две недели число его подписчиков увеличилось на одну треть, но, с другой стороны, он ежемесячно выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Нам известно, что мистер Пустомеля получил не менее пятидесяти центов за свою последнюю «Монодию в грязной луже». Среди литераторов, поместивших в этом номере свои произведения, мы видим (кроме его выдающегося редактора) такие имена, как Сноб, Плутосел и Пустомеля. И все же, думается нам, наиболее значительным произведением в номере, не считая примечаний от редакции, является поэтическая жемчужина «Сноба» «Брильянтин Тама» — пусть наши читатели не судят по заглавию, будто этот несравненный *biyou*** имеет сходство с галиматьей, написанной на ту же тему презренным субъектом, самое имя которого невыносимо для слуха уважающего себя человека. Подлинные стихи о «Брильянтине Тама» возбудили всеобщее любопытство и страстное желание узнать, кто же скрывается под псевдонимом «Сноб», желание, которое мы в силах удовлетворить. «Сноб» — *pot de plume**** Каквас Тама, уроженца нашего города,

* Псевдоним (франц.).

** Сокровище, драгоценность (франц.).

*** Псевдоним (франц.).

родственника великого мистера Какваса (в честь которого он и назван), связанного различными нитями с самыми знатными семьями штата. Его отец, Томас Там, эскв., богатый коммерсант в Фат-сити. Сер. 15—1 т.».

Эта великодушная оценка тронула меня до глубины души, особенно потому, что исходила от столь светлого, кристально чистого источника, как «Гадина». Слово «галиматъя» в применении к «Брильянтину Тама», опубликованному в «Кровососной Мухе», я нашел как нельзя более уместным и выразительным. В то же время слова «жемчужина» и «bijou», примененные к моему произведению, показались мне несколько бесцветными. Им не хватало экспрессии. Они были недостаточно *gropoulos** (как говорят во Франции).

Едва я кончил читать «Гадину», как мой друг сунул мне в руку экземпляр «Крота» — журнала, пользовавшегося высокой репутацией благодаря пронизательности своих суждений вообще и откровенному, честному и беспристрастному тону передовиц в особенности. «Крот» отзывался о «Сластене» так:

«Мы только что получили октябрьскую книжку «Сластены» и должны заявить, что никогда при чтении нами периодических изданий ни один номер не доставлял нам столь изысканного наслаждения. Мы не зря говорим об этом. «Трамтарараму», «Горлодеру» и «Абракадабре» не мешает присматривать за своими лаврами. Спору нет, эти издания превосходят всех и вся крикливой заносчивостью, но в остальном — подавайте нам «Сластену»! Как удастся этому прославленному журналу выдерживать столь чудовищные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 300 000 экземпляров, и за последнюю неделю число его подписчиков возросло на половину, но суммы, которые он ежемесячно выплачивает авторам, все же баснословно велики. Нам известно из достоверных источников, что мистер Пустомеля получил не менее шестидесяти двух с половиной центов за свою последнюю повесть из семейной жизни «Кухонное полотенце».

Лежащий перед нами номер украшают произведения мистера Краба (выдающегося редактора), Сноба, Плутосла, Пустомели и других; но после неподражаемых творений самого редактора мы особое предпочтение отдаем поэтическому алмазу, граненному пером восходящего таланта, подписывающегося «Сноб» — *nom de guerre*, — он вскоре, мы это предсказываем, затмит славу «Боза»¹⁷. Под «Снобом», как нам известно, скрывается мистер Каквас Там, единственный наследник богатого местного коммерсанта Томаса Тама, эскв., и близкий родственник знаменитого мистера Какваса. Прелестное стихотворение мистера Тама озаглавлено

* Здесь: точны (франц.).

«Брильянтин Тама», — заглавие, кстати сказать, не совсем удачное, так как некий пройдоха, связанный с продажной прессой, уже вызвал к нему отвращение всего города, написав изрядную порцию белиберды на ту же тему. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-нибудь спутал эти два произведения. *Ser. 15—It.*

Благосклонное одобрение такого проницательного журнала, как «Крот», наполнило мою душу восторгом. Единственное возникшее у меня возражение сводилось к тому, что лучше было бы написать не «пройдоха», а «гнусный и презренный злодей, мерзавец и пройдоха». Это, на мой взгляд, звучало бы более изысканно. Следует также признать, что выражение «поэтический алмаз» едва ли обладает достаточной силой, чтобы передать то, что «Крот» хотел сказать о великолепии «Брильянтина Тама».

Вечером того же дня, после того, как я прочел отзывы «Олуха», «Гадины» и «Крота», мне попался экземпляр «Долгоножки», журнала, известного широтой своих взглядов. Именно «Долгоножка» писала:

«Сластена!» Читатель уже держит в руках октябрьскую книжку этого роскошного журнала. Спор о превосходстве решен окончательно, и отныне было бы абсурдом со стороны «Трамтарарама», «Горлодера» или «Абракадабры» делать судорожные попытки завоевать первенство. Эти журналы превосходят «Сластену» нахальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену!» Как этот прославленный журнал выдерживает явно непомерные расходы, остается загадкой. Правда, его тираж достигает почти 500 000 экземпляров, и за последние два дня число его подписчиков возросло на семьдесят шесть процентов, но вместе с тем суммы, ежемесячно выплачиваемые журналом своим авторам, баснословно велики. Нам известно, что мадемуазель Плагиатон получила не менее восьмидесяти семи с половиной центов за свой превосходный р-революционный рассказ «В Йорке бродит черный кот, в Нью-Йорке — наоборот».

В настоящем номере наиболее талантливые материалы принадлежат, разумеется, перу редактора (достопочтенному мистеру Крабу), но в нем немало великолепных произведений и таких авторов, как Сноб, мадемуазель Плагиатон, Плутосел, миссис Фальшивочка, Пустомеля, миссис Пасквильянтка, наконец последний в списке, но не из последних — Шарлатан. Мир еще не знал столь бесценной плеяды гениев.

Стихотворение за подписью «СНОБ» справедливо вызывает всеобщий восторг и, по нашему мнению, заслуживает еще больших похвал. «Брильянтин Тама» — так называется этот шедевр красноречия и мастерства. Кое у кого из наших читателей может возникнуть смутное, но достаточно неприятное воспоминание о стихотворении (?) с таким же названием, подлой стряпне продажного писаки, побирушки и головореза, находящего применение своей способности плодить мерзости и кровно связанного, как мы полагаем, с одним из непристойных изданий, выпускаемых в черте нашего города; мы просим читателей, ради всего святого, не путать эти

два произведения. Автором «Брильянтина Тама» является, насколько нам известно, Каквас Там, эскв., джентльмен, одаренный гением, и ученый. «Сноб» — всего лишь *pot de guerre*. Сер. 15—It.

Я едва сдерживал негодование, читая заключительные строки диатрибы¹⁸. Для меня было ясно, что уклончивая, чтобы не сказать уступчивая, манера выражаться... намеренная снисходительность, с какой «Долгоножка» разглагольствовала об этой свинье, редакторе «Слепня», — для меня, я подчеркиваю, было очевидно, что мягкость выражений вызвана не чем иным, как пристрастным отношением к «Слепню», явным стремлением «Долгоножки» поддержать за мой счет его репутацию. В самом деле, всякий легко может убедиться, что если бы «Долгоножка» действительно хотела сказать все, как есть, а не делала вид, то она («Долгоножка») могла подобрать выражения более решительные, резкие и гораздо более подходящие к случаю. Слова и выражения «продажный писака», «побирушка», «плодить мерзости», «головорез» столь (не без умысла) бесцветны и неопределенны, что лучше бы вовсе ничего не говорить об авторе гнуснейших стихов, когда-либо написанных представителем рода человеческого. Все мы отлично знаем, как можно изругать, слегка похвалив, и, наоборот, кто усомнится в тайном намерении «Долгоножки» слегка поругать, чтобы прославить?

Мне, собственно, было наплевать на то, что «Долгоножка» болтает о «Слепне». Но тут речь шла обо мне. После возвышенного тона, в каком «Олух», «Гадина» и «Крот» высказались о моих способностях, слишком уж безучастно звучали слова захудалой «Долгоножки»: «джентльмен, одаренный гением, и ученый». Джентльмен — это точно! И я тут же решил добиться от «Долгоножки» письменного извинения или вызвать ее на дуэль.

Поглощенный этой задачей, я стал думать, кого из друзей направить с поручением к «досточтимой» «Долгоножке», и, поскольку редактор «Сластены» выказывал мне явные знаки расположения, я в конце концов решил прибегнуть к его помощи.

До сих пор не могу найти удовлетворительного объяснения весьма странному выражению лица и жестам, с которыми мистер Краб слушал меня, пока я излагал ему свой план. Он повторил сцену со звонком и дубинкой и не преминул по-утиному раскрыть рот. Был такой момент, когда мне казалось, что он вот-вот крикнет. Но припадок прошел, как и в тот раз, и он начал говорить и действовать, как разумное существо. Однако он отказался выполнить поручение и убедил меня вовсе не посылать вызов, хотя и признал, что ошибка «Долгоножки» возмутительна, особенно же неуместны слова «джентльмен» и «ученый».

В конце беседы мистер Краб, выказывая, по-видимому, чисто отеческую заботу о моем благополучии, заявил, что я могу хорошо подработать и в то же время упрочить свою репутацию, если соглашусь иногда исполнять для «Сластены» роль Томаса Гавка.

Я попросил мистера Краба объяснить мне, кто такой мистер Томас Гавк и что от меня требуется, чтобы исполнять его роль.

Тут мистер Краб снова «сделал большие глаза» (как говорят в Германии), но, оправившись в конце концов от приступа изумления, пояснил, что слова «Томас Гавк» он употребил, дабы избежать просторечного и вульгарного «Томми», а вообще-то следует говорить Томми Гавк или Томагавк, и что «исполнять роль томагавка» — значит разносить, запугивать, словом, всячески изничтожать свору неугодных нам авто-ров.

Я заверил моего патрона, что если в этом все дело, то я с готовностью возьму на себя роль Томаса Гавка. Тогда мистер Краб предложил мне не терять времени и для пробы сил разделить редактора «Слепня» со всей злостью, на какую я только способен. И я тут же, не покидая редакции, выполнил это поручение, написав рецензию на оригинальный текст «Брильянтина Тама», которая заняла тридцать шесть страниц «Сластены». Я убедился, что исполнять роль Томаса Гавка куда легче, чем писать стихи; я строго следовал определенной системе, поэтому мне было нетрудно обстоятельно и со вкусом делать свое дело. Работал я так. Я приобрел на аукционе (по дешевке) «Речи» лорда Брума¹⁹, «Полное собрание сочинений» Коббета²⁰, «Новый словарь вульгаризмов», «Искусство посрамлять» (полный курс), «Самоучитель площадной брани» (ин-фолио) и «Льюис Г. Кларк²¹ о языке». Эти труды я основательно изодрал скребницей, затем, бросив клочки в сито, тщательно отсеял все мало-мальски пристойное (суший пустяк), а крепкие выражения запихнул в большую оловянную перечницу с продольными дырками, в них фразы проходили целиком и без задержки. Смесь была готова к употреблению. Когда требовалось исполнить роль Томаса Гавка, я смазывал лист писчей бумаги белком гусиного яйца, затем, изодрав предназначенное к разбору произведение тем же способом, каким я раздирал книги, только более осторожно, чтобы на каждом клочке осталось по слову, я бросал их в ту же перечницу, завинчивал крышку, встряхивал и высыпал всю смесь на смазанный белком лист, к которому она мгновенно прилипала. Эффект получался изумительный. Просто сердце радовалось! Прямо скажу, никому не удавалось создать что-либо, хотя бы близко напоминающее мои рецензии, которые я изготовлял таким простым способом на удивление всему миру. Правда, первое время меня несколько смущала — вследствие застенчивости, вызванной неопытностью, — некоторая бессвязность, какой-то оттенок *vizagge* (как говорят во Франции), присущий моим рецензиям в целом. Все фразы вставали не на свое место (как говорят англосаксы). Многие строились шиворот-навыворот, иные даже вверх ногами, и не было ни одной, которая от этой путаницы не утратила бы в какой-то степени своего смысла. Только изречения мистера Льюиса Кларка оказались столь категорическими и стойкими, что, по-видимому, не смущались самыми необычными положениями и выглядели одинаково довольными и веселыми, — стояли они вверх или вниз ногами.

Трудно сказать, какая судьба постигла редактора «Слепня» по напечатании моей рецензии на его «Брильянтин Тама». Вероятнее всего, он умер, изойдя слезами. Во всяком случае, он мгновенно исчез с лица земли, и с тех пор даже призрака его никто не видел.

С этим делом было покончено, фурии умиротворены, и я сразу завоевал особую благосклонность мистера Краба. Он доверил мне свои тайны, определил меня в «Сластене» на постоянную должность Томаса Гавка и, не имея пока возможности назначить мне содержание, разрешил широко пользоваться его советами.

— Дорогой мой Каквас, — сказал он мне однажды после обеда. — Я ценю ваши способности и люблю вас, как сына. Вы станете моим наследником. После смерти я откажу вам «Сластену». А пока я сделаю из вас человека... сделаю... только слушайте моих советов. Прежде всего надо избавиться от этого старого кабана.

— Кабана? — с любопытством спросил я. — Свины, да? .. арег* (как говорят по-латыни)? .. где свинья? .. кто свинья? ..

— Ваш отец, — отвечал он.

— Совершенно верно, — сказал я. — Свинья.

— Вам надо сделать карьеру, Каквас, — продолжал мистер Краб, — а этот ваш наставник висит у вас, словно жернов на шее. Нам надо его отсечь. (Тут я вынул нож.) Нам надо отсечь его, — продолжал мистер Краб, — раз и навсегда. Он нам ни к чему... ни к чему. Дайте ему пинка или поколотите палкой, — словом, сделайте что-нибудь в этом роде.

— А что вы скажете, — вкрадчиво вставил я, — если я сначала дам ему пинка, потом поколочу палкой и приведу в себя, дернув за нос?

Мистер Краб задумчиво посмотрел на меня и ответил:

— Я нахожу, мистер Там, то, что вы предлагаете, очень удачным... это замечательно, так сказать, само по себе... Но парикмахеры народ бывалый, и, учитывая все за и против, я полагаю, что после того, как вы проделаете над мистером Томасом Тамом намечаемые вами операции, неплохо бы подбить ему кулаком оба глаза, да так, чтобы он закаялся следить за вами на увеселительных прогулках. Вот тогда, мне кажется, с вашей стороны будет сделано все возможное. Впрочем, не мешало бы искупать его разок-другой в сточной канаве и передать в руки полиции. На следующее утро вы в любой час можете явиться в полицейский участок и заявить под присягой, что на вас было совершено нападение.

Я был весьма тронут добрыми чувствами, побудившими мистера Краба дать мне такой превосходный совет, и не замедлил воспользоваться им. В итоге я избавился от старого кабана, почувствовал себя джентльменом и вздохнул свободно. Правда, нехватка денег служила некоторое время для меня источником неудобств, но в конце концов, посмотрев повнимательнее в оба и увидев, что творится у меня под самым носом, я понял, как уладить такую вещь. Прошу учесть: я сказал «вещь», потому что

* Кабан (лат.).

по-латыни, насколько известно, «вещь» значит — res. Кстати, относительно латыни: пусть-ка кто-нибудь скажет мне, что значит quosunque* или что такое modo? **

План мой был чрезвычайно прост. Я купил за бесценок шестнадцатую долю «Зубастой Черепахи» — вот и все. Дело было сделано, и я положил денежки в карман. Конечно, надо было уладить еще кое-какие пустяки, не предусмотренные планом. Но это уж явилось следствием... результатом. Например, я обзавелся пером, чернилами и бумагой и пустил их в оборот с бешеной энергией. Написав журнальную статью, я озаглавил ее «Чик-чирик» автора «Брильянтина Тама» и послал в «Абракадабру». Однако в «Ежемесячных репликах корреспондентам» мою статью назвали «пустой болтовней»; тогда я переменял заглавие на «Ку-ка-ре-ку» Каквас Тама, эскв., автора оды в честь «Брильянтина Тама» и редактора «Зубастой Черепахи». С этой поправкой я снова отправил статью в «Абракадабру», а в ожидании ответа ежедневно печатал в «Черепахе» по шести столбцов философических, можно сказать, размышлений о литературных достоинствах журнала «Абракадабра» и личных качествах его редактора. Спустя несколько дней «Абракадабра» убедилась, что произошла досадная ошибка: она «спутала глупейшую статью «Ку-ка-ре-ку», написанную каким-то безвестным невеждой, с драгоценной жемчужиной под тем же заглавием, творением Каквас Тама, эскв., знаменитого автора «Брильянтина Тама». «Абракадабра» выразила «глубокое сожаление по поводу вполне понятного недоразумения» и, кроме того, обещала поместить подлинник «Ку-ка-ре-ку» в очередном номере журнала.

Без сомнения, я так и думал... Я, право же, думал... думал в то время... думал потом... и не имею никаких оснований думать иначе теперь, что «Абракадабра» действительно ошиблась. Я не знаю никого, кто бы с наилучшими намерениями делал так много самых невероятных ошибок, как «Абракадабра». С этого дня я почувствовал симпатию к «Абракадабре», вследствие чего вскоре смог уяснить подлинное значение ее литературных достоинств и не терял случая поговорить о них в «Черепахе». И, представьте, странное совпадение, одно из тех воистину поразительных совпадений, которые наводят человека на серьезное раздумье: точно такой же коренной переворот во мнениях, точно такое же решительное bouleversement*** (как говорят французы), точно такой же всеобъемлющий шиворот-навыворот (позволю себе употребить это довольно сильное выражение, заимствованное у племени чоктосов), какой совершился pro et contra**** между мной, с одной стороны, и «Абракадаброй» — с другой, снова имел место при таких же обстоятельствах немного спустя в моих отношениях с «Горлодером» и «Трамтарарамом».

* Куда бы ни (лат.).

** Только (лат.).

*** Потрясение, переворот (франц.).

**** За и против (лат.).

Так одним гениальным ходом я одержал полную победу — «набил потуже кошелек»²² и, можно сказать, уверенно и честно начал блестящую и бурную карьеру, которая сделала меня знаменитым и сейчас позволяет мне сказать вместе с Шатобрианом: «Я делал историю» — «J'ai fait l'histoire».

Да, я делал историю. С того славного времени, о котором я повествую, мои дела, мои труды являются достоянием человечества. Они известны всему миру. Поэтому нет необходимости подробно описывать, как, стремительно возвышаясь, я унаследовал «Сластену», как я слил этот журнал с «Трамтарарамом», как потом приобрел «Горлодера» и как наконец заключил сделку с последним из оставшихся конкурентов и объединил всю литературу страны в одном великолепном всемирно известном журнале:

«Горлодер, Сластена, Трамтарарам
и
АБРАКАДАБРА»

Да, я делал историю. Я достиг мировой славы. Нет такого уголка земли, где бы имя мое не было известно. Возьмите любую газету, и вы непременно столкнетесь с бессмертным Каквас Тамом: мистер Каквас Там сказал то-то, мистер Каквас Там написал то-то, мистер Каквас Там сделал то-то. Но я скромн и покидаю мир со смирением. В конце концов что такое то неизъяснимое, что люди называют «гением»? Я согласен с Бюффеном²³... с Хогартом²⁴... в сущности говоря, «гений» — это усердие.

Посмотрите на меня!.. Как я работал... как я трудился... как я писал! О боги, разве я не писал! Я не знал, что такое «досуг». Днем я сидел за столом, наступала ночь, и я — несчастный труженик — зажигал полуночную лампаду. *Надо было видеть* меня. Я наклонялся вправо. Я наклонялся влево. Я сидел прямо. Я откидывался на спинку кресла. Я сидел tête baissée* (как говорят на языке кикапу²⁵), склонив голову к белой, как алебастр, странице. И во всех положениях я... писал. И в горе и в радости я... писал. И в холоде и в голоде я... писал. И в солнечный день, и в дождливый день, и в лунную ночь, и в темную ночь я... писал. *Что я писал* — это неважно. Как я писал — стиль — вот в чем соль. Я перенял его у Шарлатана... бамм!.. дзинь! Тарарахх!!! — и предлагаю вам его образчик.

* Склонив голову (франц.).

ЛОСЬ

(УТРО НА ВИССАХИКОНЕ)

Природу Америки часто противопоставляют, и в общем и в частности, пейзажам Старого Света — особенно Европы; причем и та и другая имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано обеими сторонами, кое-что остается еще добавить.

Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно принимают наше северное и восточное побережье за всю Америку или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают — ибо еще меньше знают — великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения рая. Эти путешественники по большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных *достопримечательностей* страны — Гудзона, Ниагары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, Огайо, прерий и Миссисипи. Все они, разумеется, весьма достойны внимания даже тех, кто только что взбирался к рейнским замкам или бродил там,

где мчится Рона,
Лазурная, подобная стреле¹.

Однако это *еще не все*, чем мы можем похвастать; и я даже осмеливаюсь утверждать, что на территории Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти неисследованные места, которые подлинный художник или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет *всем и каждому* из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей.

В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов даже наиболее неторопливых из наших туристов — и тем более недоступны иностранцу, который, обязавшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить этот заказ не иначе как проехав пароходом и поездом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям!

Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самая прекрасная. Никакой вымысел не сумеет с нею сравниться. Самое богатое воображение сможет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно *красота* является ее определяющим призна-

ком. Величавого здесь почти или вовсе нет. Слегка волнистая местность, пересеченная причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными, пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, — все это составляет в долине Луизианы самый сладостный и роскошный на свете ландшафт.

Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним не поездом, не паромом, не дилижансом, не в собственной карете и даже не верхом — но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расщелины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, — иначе он не увидит подлинного, невыразимого словами великолепия нашей страны.

На большей части европейской земли в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый франтоватый турист может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок; настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Старого и Нового Света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее известными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго.

Речные пейзажи бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в большой степени объясняется легкостью путешествия по реке по сравнению с путешествием в горах. Точно так же, крупным рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду достается незаслуженно большая доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках.

Разительным примером может служить Виссахикон — ручей (ибо его, пожалуй, не назовешь ничем иным), впадающий в реку Скулкил примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но скорее всего его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А между тем всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, тогда как более крупная и судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится в качестве одной из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега — по крайней мере в окрестностях Филадельфии — болотисты, как и берега Делавэра, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь.

Только после того, как Фанни Кембл² в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту

реки, протекающей под самым их носом, эта красота — о которой они прежде разве лишь подозревали — была открыта несколькими отважными пешеходами из числа местных жителей. «Дневник» открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторая», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья — по той простой причине, что там кончается проезжая дорога. Я советую отважному путнику, который желает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона; пробираясь вдоль берега или же по воде, в лодке, он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды.

Я уже говорил, или мне следовало сказать, что речка эта — узкая. Берега ее почти всюду круты и состоят из высоких холмов, ближе к воде поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется *ligodendron tulipiferum* *. У самой воды гранитные берега четко очерчены или опущены мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие плато, поросшие сочной травой, — самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах, так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелрозское аббатство³, и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце; ибо узкое ущелье, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти мрачный колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом.

Недавно я отправился туда описанным выше путем и провел в лодке большую часть жаркого дня. Понемногу усыпленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней — того «доброе старое времени», когда еще не было Демона Машин, когда пикники были неведомы, «водные уголья» не покупались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось и краснокожий. Пока эти грезы постепенно овладевали мною, ленивый ручей успел пронести меня вокруг одного мыса, а за ним, в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах, показался второй. Это был отвесный утес, далеко вдававшийся в реку и гораздо более напоминавший

* Тюльпанное дерево (лат.).

пейзажи Сальватора⁴, чем все, только что прошедшее передо мною. Зрелище, представшее мне на этом утесе, хотя и весьма необычайное в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило — настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва — или это мне привиделось? — вытянув шею, насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное удивление, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились мне вместе с краснокожими людьми.

Я сказал, что в первые мгновения это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только дивится, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я встал на одно колено, но пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой послышалось быстрое и осторожное «т-сс!», «т-сс!». Мгновение спустя, из чащи, осторожно раздвигая кусты и стараясь ступать бесшумно, появился негр. Он держал пригоршню соли и, протягивая ее лосю, приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился; дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя узду.

Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый ручной зверь, собственность английской семьи, имевшей неподалеку усадьбу.

ТЫСЯЧА ВТОРАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ

«Правда всякой выдумки странней»¹.

Старая пословица

Когда мне недавно представился случай, занимаясь одним ориенталистским исследованием, заглянуть в «Таклинетли» — сочинение, почти неизвестное даже в Европе (подобно «Зохару» Симона Иохайдеса²), и, насколько я знаю, не цитированное ни одним американским ученым, исключая, кажется, автора «Достопримечательностей американской литературы»³ — итак, когда мне представился случай перелистать некоторые страницы первого, весьма любопытного сочинения, я был немало удивлен, обнаружив, что литературный мир донныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, как она описана в «Арабских ночах»⁴, и что приведенная там *déroucement** не то чтобы совсем неверна, но далеко не доведена до конца.

Любознательного читателя, интересующегося подробностями этой увлекательной темы, я вынужден отослать к самому «Таклинетли», а пока позволю себе вкратце изложить то, что я там прочел.

Как мы помним, согласно общепринятой версии сказок, некий царь, имея серьезные основания приревновать свою царицу, не только казнит ее, но клянется своей бородой и пророком ежедневно брать в жены красивейшую девушку своей страны, а на следующее утро отдавать ее в руки палача.

После того как царь уже много лет выполнял этот обет с набожностью и аккуратностью, снискавшими ему репутацию человека праведного и разумного, его посетил как-то под вечер (несомненно в час молитвы) великий визирь, чьей дочери пришла в голову некая мысль.

Ее звали Шехерезадой, а мысль состояла в том, чтобы избавить страну от разорительного налога на красоту или погибнуть при этой попытке, по примеру всех героинь.

Вот почему, хотя год, как оказалось, не был високосным (что сделало бы ее жертву еще похвальнее), она посылает своего отца, великого визиря, предложить царю ее руку. Это предложение царь спешит принять (он и сам имел подобное намерение и откладывал его со дня на день только из страха перед визирем), но при этом очень ясно дает понять всем участникам дела, что визирь визирем, а он, царь, отнюдь не намерен отступать от своего обета или поступаться своими привилегиями.

* Развязка (франц.).

Поэтому, когда прекрасная Шехерезада пожелала выйти за царя и вышла-таки, наперекор благоразумному совету отца не делать ничего подобного, — когда она, повторяю, захотела выйти замуж и вышла, то ее прекрасные черные глаза были открыты на все последствия такого поступка.

Однако у этой мудрой девицы (несомненно, читавшей Макиавелли⁵) имелся весьма остроумный план. В брачную ночь, не помню уж под каким благовидным предлогом, она устроила так, что ее сестра заняла ложе в достаточной близости от ложа царственных супругов, чтобы можно было без труда переговариваться; и незадолго до первых петухов сумела разбудить доброго государя, своего супруга (который относился к ней ничуть не хуже из-за того, что наутро намеревался ее удавить), итак, она сумела (хотя он, благодаря чистой совести и исправному пищеварению, спал весьма крепко) разбудить его, рассказывая сестре (разумеется, вполголоса) захватывающую историю (если не ошибаюсь, речь там шла о крысе и черной кошке). Когда занялась заря, оказалось, что рассказ не вполне окончен, а Шехерезада, натурально, не может его окончить, ибо ей пора вставать и быть раздавленной — процедура едва ли более приятная, чем повешение, хотя и несколько более благородная.

Здесь я вынужден с сожалением отметить, что любопытство царя взяло верх даже над его религиозными принципами и заставило его на сей раз отложить до следующего утра исполнение его обета, с целью и надеждой услышать ночью, что же случилось, наконец, с крысой и черной кошкой (кажется, именно черной).

Однако ночью леди Шехерезада не только покончила с черной кошкой и крысой (крыса была голубая), но как-то незаметно для себя пустилась рассказывать запутанную историю (если не ошибаюсь) о розовом коне (с зелеными крыльями), который скакал во весь опор, будучи заведен синим ключом. Эта повесть заинтересовала царя еще больше, чем первая, а поскольку к рассвету она не была окончена (несмотря на все старания царицы быть раздавленной вовремя), пришлось еще раз отложить эту церемонию на сутки. Нечто подобное повторилось и в следующую ночь с тем же результатом; а затем еще и еще раз, так что в конце концов наш славный царь, лишенный возможности выполнять свой обет в течение целых тысячи и одной ночи, либо забывает о нем к тому времени, либо снимает его с себя по всем правилам, либо (что всего вероятнее) посылает его к черту, а заодно и своего духовника. Во всяком случае Шехерезада, происходившая по прямой линии от Евы, и, должно быть, получившая по наследству все семь корзин рассказней, которые эта последняя, как известно, собрала под деревьями райского сада, — Шехерезада, говорю я, одержала победу, и подать на красоту была отменена.

Такая развязка (а именно она приведена в общеизвестном источнике) несомненно весьма приятна и прилична — но увы! подобно очень многим приятным вещам скорее приятна, чем правдива; возможности исправить

ошибку я всецело обязан «Таклинетли». «Le mieux, — гласит французская пословица, — est l'ennemi du bien» *; и сказав, что Шехерезада унаследовала семь корзин болтовни, мне следовало добавить, что она отдала их в рост, и их стало семьдесят семь.

— Милая сестрица, — сказала она в ночь тысяча вторую (здесь я *verbatim* ** цитирую «Таклинетли»), милая сестрица, — сказала она, — теперь, когда улажен неприятный вопрос с петлей, а ненавистная подать, к счастью, отменена, я чувствую за собой вину, ибо утаила от тебя и царя (который, к сожалению, храпит, чего не позволил бы себе ни один джентльмен) окончание истории Синбада-Морехода. Этот человек испытал еще множество других, более интересных приключений кроме тех, о каких я поведала; но мне, по правде сказать, в ту ночь очень хотелось спать, и я поддалась искушению их сократить — весьма дурной поступок, который да простит мне Аллах. Но исправить мое упущение не поздно и сейчас; вот только ушипну пару раз царя и разбуду его хоть настолько, чтобы он прекратил этот ужасный храп, а тогда расскажу тебе (и ему, если ему будет угодно) продолжение этой весьма замечательной повести.

Сестра Шехерезады, по свидетельству «Таклинетли», не выказала при этих словах особого восторга; но царь, после должного числа щипков, перестал храпеть и произнес «гм!», а затем «х-хо!»; и тогда царица, поняв эти слова (несомненно арабские) в том смысле, что он — весь внимание и постарается больше не храпеть — царица, повторяю, уладив все это к своему удовольствию, тотчас же принялась рассказывать историю Синбада-Морехода.

— Под старость (таковы были слова Синбада, переданные Шехерезадой), — под старость, много лет проживши дома на покое, я вновь ощутил желание повидать чужие страны; однажды, не предупредив о своем намерении никого из домашних, я увязал в тюки кое-какие товары из тех, что подороже, а места занимают мало, и наняв для них носильщика, отправился вместе с ним на берег моря, чтобы дождаться там какого-нибудь корабля, который доставил бы меня в края, где мне еще не удалось побывать.

Сложивши тюки на песок, мы сели в тени деревьев и стали глядеть на море, надеясь увидеть корабль, но в течение нескольких часов ничего не было видно. Наконец мне послышалось странное жужжание или гудение; носильщик, прислушавшись, подтвердил, что он также его слышит. Оно становилось все громче, и у нас не было сомнения, что издававший его предмет приближается к нам. Наконец мы увидели на горизонте темное пятнышко, которое быстро росло и скоро оказалось огромным чудищем, плывшим по морю, выставляя на поверхность большую часть туловища. Оно приближалось с невиданной быстротой, вздымая

* Лучшее — враг хорошего (франц.).

** Дословно (лат.).

грудью пенные волны и освещая море далеко тянувшейся огненной полосой.

Когда оно приблизилось, мы смогли ясно его разглядеть. Длина его равнялась трем величайшим деревьям, а ширина была не меньше, чем у большой залы твоего дворца, о величайший и великодушнейший из калифов. Тело его, не похожее на тело обычных рыб, было твердым, как скала, и совершенно черным в той части, что виднелась над водой, не считая узкой кроваво-красной полосы, которой оно было опоясано. Брюхо его, скрытое под водой и видимое лишь по временам, когда чудовище подымалось на волнах, было сплошь покрыто металлической чешуей, а цветом напоминало луну в тумане. Спина была плоской и почти белой, и из нее торчало шесть шипов, длиною едва ли не в половину туловища.

Это ужасное существо, по-видимому, не имело рта; но словно в возмещение этого недостатка, было снабжено по крайней мере восемьюдесятью глазами, вылезавшими из орбит, как у зеленых стрекоз, и расположенными вокруг всего тела в два ряда, один над другим, параллельно красной полосе, которая, видимо, заменяла брови. Два или три из этих страшных глаз были гораздо больше остальных и казались сделанными из чистого золота.

Хотя чудовище, как я уже сказал, приближалось к нам с огромной скоростью, оно, несомненно, двигалось с помощью волшебства — ибо не имело ни плавников, как рыба, ни перепончатых лап, как у утки, ни крыльев, как у раковины-кораблика, подгоняемой ветром; но и не извивалось, как это делает угорь. Голова и хвост были у него совершенно одинаковой формы; но возле этого последнего имелись два небольших отверстия, служивших ноздрями, через которые чудовище выдыхало с большой силой и неприятным пронзительным звуком.

Наш ужас при виде отвратительного создания был велик; но еще большим было наше изумление, когда, всмотревшись в него вблизи, мы заметили на его спине множество тварей, величиной и обликом похожих на людей, только вместо одежды, подобающей людям, облаченных (вероятно, от природы) в уродливые и неудобные оболочки, с виду матерчатые, но прилегающие так плотно к коже, что они придавали бедным созданиям потешный и неуклюжий вид и, видимо, причиняли сильную боль. На макушках у них были квадратные коробки, которые сперва показались мне тюрбанами, но я скоро заметил, что они крайне тяжелы и плотны и заключил, что их назначение состоит в том, чтобы прочнее удерживать на плечах головы этих существ. Вокруг шеи у них были черные ошейники (несомненно, знаки рабства), какие мы надеваем на собаку, только гораздо более широкие и жесткие, так что бедняги не могли повернуть головы, не поворачиваясь одновременно всем туловищем, и были обречены созерцать собственные носы, дивясь их необычайно курносой форме.

Когда чудовище почти вплотную приблизилось к берегу, где мы стояли, один из его глаз внезапно выставился вперед и изрыгнул сноп огня,

сопровождавшийся густым облаком дыма и шумом, который можно сравнить лишь с раскатами грома. Едва дым рассеялся, мы увидели, что одна из диких животных человекоподобных тварей стоит подле головы чудовища с большой трубой в руке, через которую (приставив ее ко рту) она обратилась к нам, издавая громкие, резкие и неприятные звуки, которые мы приняли бы за слова, если бы они не исходили из носа.

На это обращение я не знал, как отвечать, ибо не понимал, что говорилось; в своей растерянности я обратился к носильщику, едва не лишившемуся чувств от страха, и спросил, какой породы, по его мнению, это чудовище и что за существа копошатся у него на спине. Носильщик, сотрясаясь от ужаса, пролепетал, что однажды уже слышал о таком морском звере, что это — свирепый демон с горячей серой вместо внутренностей и огнем вместо крови, сотворенный злыми джиннами на мучение людям; а создания на его спине — паразиты, вроде тех, что иногда заводятся на собаках и кошках, только крупнее и злее; что они имеют свое назначение, хотя и пагубное; ибо, кусая и жала чудовище, доводят его до бешенства, заставляющего его рычать и творить всяческое зло, осуществляя тем самым мстительный и коварный замысел злых джиннов.

Это объяснение побудило меня пуститься наутек; ни разу не оглянувшись, я со всех ног побегал к холмам; носильщик кинулся бежать с такой же быстротой, но в противоположную сторону, спасая мои тюки, которые он, несомненно, сберег в целости, — этого, впрочем, я не могу утверждать, ибо не помню, чтобы с тех пор с ним встречался.

Что касается меня, то человекоподобные паразиты (которые высадились на берег в лодках) пустились за мною в погоню, и скоро я был схвачен, связан по рукам и ногам и доставлен на спину чудовища, немедленно отплывшего в море.

Теперь я горько раскаивался в безрассудстве, заставившем меня покинуть домашний очаг, чтобы подвергать свою жизнь подобным опасностям; но, так как сожаления были бесполезны, я решил не унывать и постарался снискать расположение человеко-животного, владевшего трубой, который, очевидно, имел какую-то власть над своими спутниками. Это мне настолько удалось, что спустя несколько дней оно уже оказывало мне различные знаки благосклонности, а затем даже взяло на себя труд обучать меня основам того, что в своем тщеславии считало языком, так что я смог свободно с ним объясняться и сообщить о своем пылом желании повидать свет.

— *Уошиш скуошиш, скуик, Синбад, хэй дидл дидл, грант энд грамбл, хисс, фисс, уисс*, — сказал он мне однажды после обеда, — но прошу прощения! Я позабыл, что ваше величество незнакомы с наречием кок-неев⁶ (это нечто среднее между ржанием и кукареканьем). С вашего позволения я переведу. «Уошиш скуошиш» и т. д., то есть: «Я рад, любезный Синбад, что ты оказался отличным малым; мы сейчас совершаем, как это называется, кругосветное плавание, и раз уж тебе так хочется повидать свет, я, так и быть, бесплатно повезу тебя на спине чудовища».

Когда леди Шехерезада дошла до этого места, сообщает «Таклинетли», царь повернулся с левого бока на правый и промолвил:

— Поистине, *весьма* удивительно, дорогая царица, что ты опустила эти последние приключения Синбада. Я, знаешь ли, нахожу их крайне занимательными и необычайными.

После того как царь высказал таким образом свое мнение, прекрасная Шехерезада вернулась к своему повествованию:

«Продолжая свой рассказ калифу, Синбад сказал так: «Я поблагодарил человеко-животное за его доброту и скоро совершенно освоился на спине чудовища, с невероятной быстротой плившего по океану, хотя поверхность последнего в той части света отнюдь не плоская, но выпуклая, наподобие плода граната, так что мы все время плыли то в гору, то под гору».

— Это мне кажется очень странным, — прервал царь.

— Тем не менее, это чистая правда, — ответила Шехерезада.

— Сомневаюсь, — возразил царь; — но прошу тебя, продолжай рассказ.

— Так я и сделаю, — сказала царица.

«Чудовище, — так продолжал Синбад, обращаясь к калифу, — плыло, как я уже говорил, то вверх, то вниз, пока мы наконец не достигли острова, имевшего в окружности много сотен миль и, однако, выстроенного посреди моря колонией крошечных существ, вроде гусениц»^{1*}.

— Гм! — сказал царь.

«Оставив позади этот остров, — продолжал Синбад (ибо Шехерезада не обратила внимания на неучливое замечание супруга), — оставив позади этот остров, мы прибыли к другому, где деревья были из массивного камня, столь твердого, что о него вдребезги разбивались самые острые топоры, которыми мы пытались их срубить»^{2*}.

^{1*} Коралловые полипы.

^{2*} Одним из величайших природных чудес Техаса является окаменевший лес у истоков реки Пасиньо. Он состоит из нескольких сот стоящих стоймя деревьев, обратившихся в камень. Другие деревья, продолжающие расти, окаменели частично. Вот поразительный факт, который должен заставить естествоиспытателей изменить существующую теорию окаменения». — *Кеннеди*?

Это сообщение, вначале встреченное недоверчиво, было впоследствии подтверждено открытием совершенно окаменевшего леса в верховьях реки Шайенн или Шьенн, текущей с Черных Холмов в Скалистых горах.

Едва ли существует на земле более удивительное зрелище как для геолога, так и с точки зрения живописности, чем каменный лес вблизи Канра. Миновав гробницы калифов, сразу же за городскими воротами, путешественник направляется к югу, почти под прямым углом к дороге, идущей через пустыню в Суэц и, проделав несколько миль по бесплодной низменности, покрытой песком, галькой и морскими ракушками, влажными, точно их оставил вчерашний прилив, пересекает гряду низких песчаных холмов, которая некоторое время тянулась вдоль его пути. Предстоящее перед ним зрелище необыкновенно странно и уныло. На много миль вокруг простирается поваленный мертвый лес — бесчисленные обломки деревьев, ставших камнем и звенящих под копытами коня, как чугун. Дерево приобрело темно-бурый цвет, но полностью сохранило свою форму; обломки имеют в длину от одного до пятна-

— Гм! — снова произнес царь, но Шехерезада, не обращая на него внимания, продолжала рассказ Синбада.

«Миновав и этот остров, мы достигли страны, где была пещера, уходившая на тридцать или сорок миль в глубину земли, а в ней — больше дворцов, и притом более обширных и великолепных, чем во всем Дамаске и Багдаде. С потолка этих дворцов свисали мириады драгоценностей, подобных алмазам, но размерами превышающих рост человека; а среди подземных улиц, образованных башнями, пирамидами и храмами, текли огромные реки, черные, как черное дерево, где обитали безглазые рыбы»^{1*}.

— Гм! — сказал царь.

«Затем мы попали в такую часть океана, где была высокая гора, по склонам которой струились потоки расплавленного металла, иные — двенадцати миль в ширину и шестидесяти миль в длину^{2*}, а из бездонного отверстия на ее вершине вылетало столько пепла, что он совершенно затмил солнце и вокруг стало темнее, чем в самую темную полночь, так что даже на расстоянии полутора ста миль от горы нельзя было различить самых светлых предметов, как бы близко ни подносить их к глазам^{3*}.

— Гм! — сказал царь.

«Отплыв от этих берегов, чудовище продолжало свой путь, пока мы не прибыли в страну, где все было словно наоборот — ибо мы увидели там большое озеро, на дне которого, более чем в ста футах от поверхности, зеленел роскошный лес»^{4*}.

— Хо! — сказал царь.

дцати футов, а в толщину — от полфута до трех; они лежат так тесно, что египетский ослик едва пробирается между ними, а выглядят так естественно, что в Шотландии или Ирландии местность могла бы сойти за огромное осушенное болото, где извлеченные наружу стволы гниют под солнцем. Корни и сучья часто вполне сохранились, а иногда можно различить даже отверстия, проточенные под корой червями. Сохранились тончайшие волокна заболони и строение сердцевины — их можно рассматривать при любом увеличении. И все это настолько окаменело, что способно царапать стекло и принимает какую угодно шлифовку. — *«Азиатик мэгезин»*¹.

^{1*} Мамонтова пещера⁹ в Кентукки.

^{2*} В Исландии, в 1783 году.

^{3*} «В 1766 году, при извержении вулкана Гекла, подобные тучи настолько затемнили небо над Глаумбой, находящейся более чем в пятидесяти лье от вулкана, что жителям приходилось пробираться ошупью. В 1794 году, во время извержения Везувия в Казерте, в четырех лье от него, можно было ходить только с факелами. Первого мая 1812 года туча вулканического пепла и песка, извергнутая вулканом на острове св. Винченца, застлала весь остров Барбадос, и там настала такая тьма, что в полдень, под открытым небом, нельзя было различить ближайшие деревья и другие предметы и даже белый платок, на расстоянии шести дюймов от глаз». — *Меррей*¹⁰, стр. 215, *Phil. edit.*

^{4*} «В 1790 году, во время землетрясения в Каракасе, гранитная подпочва осела и образовала озеро диаметром в восемьсот ярдов, а глубиной от восьмидесяти до ста футов. На этом месте находилась часть леса Арипао, и деревья в течение нескольких месяцев оставались зелеными под водой». — *Меррей*, стр. 221.

«Еще несколько сот миль пути, и мы очутились в таком климате, где в плотном воздухе держались железо и сталь, как у нас — пух»^{1*}.

— Враки! — сказал царь.

«Плывя дальше в том же направлении, мы достигли прекраснейшей страны в целом свете. Там протекала красивая река длиною в несколько тысяч миль. Эта река была необыкновенно глубока и более прозрачна, чем янтарь. В ширину она имела от трех до шести миль, а на берегах, подымавшихся отвесно на высоту тысячи двухсот футов, росли вечноцветущие деревья и неувядаемые благоуханные цветы, превращавшие всю местность в сплошной роскошный сад; но эта цветущая страна звалась царством Ужаса и ступить в нее — значило неминуемо погибнуть»^{2*}.

— Гм! — сказал царь.

«Мы поспешили покинуть этот край и спустя несколько дней прибыли в другой, где с изумлением увидели мириады чудовищ, имевших на голове рога, острые, как косы. Эти отвратительные существа роют в земле обширные логова в форме воронок и выкладывают их края камнями, размещенными один над другим так, что обрушиваются, едва лишь на них наступит какое-нибудь другое животное, и оно попадает в логово чудовища, которое высасывает из него кровь, а труп с пренебрежением отбрасывает на огромное расстояние от этих пещер смерти»^{3*}.

— Фу ты! — сказал царь.

«Продолжая наш путь, мы повидали край, изобилующий растениями, которые растут не на земле, а в воздухе^{4*}. Есть и такие, что растут на других растениях^{5*} или произрастают на теле живых существ^{6*} или ярко светятся^{7*}; есть такие, которые способны передвигаться куда за-

^{1*} Самая твердая сталь, какая была когда-либо изготовлена, с помощью паяльной трубки может быть превращена в неосязаемую пыль, способную легко держаться в атмосферном воздухе.

^{2*} Область Нигера. См. «Колониял мэгезин» Симмондса¹¹.

^{3*} *Murmelion*, или муравьиный лев. Слово «чудовище» одинаково применимо как к большим аномалиям, так и к малым, а эпитет «обширный» является относительным. Нора муравьиного льва обширна по сравнению с норкой обыкновенного рыжего муравья. А песчинка — это ведь тоже «камень».

^{4*} *Epidendron*¹², *Flos Aëris* из семейства *Orchideae* растет, прикрепившись только поверхностью корней к дереву или другому предмету, и не извлекает из него питательных веществ — питание ему доставляет исключительно воздух.

^{5*} *Paraviti* вроде удивительного *Rafflesia Arnoldi*.

^{6*} *Shou*¹³ доказывает существование особой категории растений, растущих на теле животных, — *Plantae Epizooe*. К ним относятся *Fuci* и *Algae*. Мистер Дж. Б. Вильямс, из Салема, штат Массачусетс, подарил «Национальному Институту» новозеландское насекомое, приложив следующее описание: «Hotte», несомненно представляющее собой гусеницу или червя, находят у подножья дерева *Rata*, а из головы его прорастает росток. Это необыкновенное насекомое вползает на деревья *Rata* и *Puriri*, проникает в дерево сверху и проедает его ствол, пока не доберется до корня; вылезши оттуда, оно умирает или погружается в спячку, а из его головы начинает расти росток; тело насекомого сохраняется полностью и становится тверже, чем оно было при жизни. Из этого насекомого туземцы готовят краску для татуировки».

^{7*} В шахтах и в естественных пещерах находят род тайнобрачного *fungus* (грибкового), испускающего сильное свечение.

хотят^{1*}; а что еще удивительнее, мы обнаружили цветы, которые живут, дышат, произвольно двигают своими членами и вдобавок обладают отвратительной человеческой склонностью порабощать другие существа и заключать их в мрачные одиночные темницы, пока те не выполнят заданную работу»^{2*}.

— Пхе! — сказал царь.

«Покинув эту страну, мы вскорости достигли другой, где пчелы и птицы являются столь гениальными и учеными математиками, что ежедневно преподают уроки геометрии самым ученым людям. Когда тамошний царь предложил награду за решение двух весьма трудных задач, они также были решены — одна пчелами, а другая птицами; но, поскольку царь держал их решение в тайне, математики лишь после многолетних трудов и исследований, составивших бесчисленное множество толстых томов, пришли наконец к тем же решениям, какие были немедленно даны пчелами и птицами»^{3*}.

— О, бог ты мой! — сказал царь.

«Едва скрылась из виду эта страна, как мы оказались вблизи другой, где с берега над нашими головами полетела стая птиц шириною в милю, а длиною в двести сорок миль; так что, хотя они летели со скоростью мили в минуту, потребовалось не менее четырех часов, чтобы над нами пролетела вся стая, в которой были миллионы миллионов птиц»^{4*}.

^{1*} Орхидея, скабиоза и валлиснерия.

^{2*} «Трубчатый венчик этого цветка (*Aristolochia Clematitis*), оканчивающийся вверху язычком, внизу расширяется в виде шарика. Трубчатая часть усеяна внутри жесткими волосками, направленными книзу. В шарообразном расширении находится пестик, состоящий только из завязи и рыльца, вместе с окружающими тычинками. Однако, поскольку тычинки короче завязи, пыльца с них не может попасть на рыльце, ибо цветок до опыления стоит вертикально. Таким образом без посторонней помощи пыльца попадала бы на дно цветка. В этом случае Природа предусмотрела помощь в виде *Tipula Pennicornis*, маленького насекомого, которое проникает в трубчатый венчик в поисках меда, спускается на дно и копошится там, пока не покроется пылью; не находя оттуда выхода вследствие расположения волосков, которые направлены книзу и сходятся подобно проволочкам мышеловки, насекомое мечется туда и сюда и тычется во все уголки, не раз проползая и по рыльцу, на котором оставляет достаточно пыльцы для опыления; а когда цветок клонится книзу, волоски прижимаются к стенкам венчика и позволяют насекомому легко выбраться наружу». — *Преподобный П. Кейт*¹⁴. «Система физиологической ботаники».

^{3*} Пчелы — с тех пор как существуют — строят свои ячейки с такими именно стенками, в таком именно количестве и под таким именно наклоном, которые, как было доказано (путем весьма сложных математических выкладок), дают им наибольший простор, совместимый с максимальной прочностью их сооружения.

В конце прошлого столетия среди математиков возник замысел «определить наилучшую форму для крыльев ветряной мельницы, при любых возможных расстояниях от вращающихся лопастей, а также от центров вращения». Проблема эта крайне сложна, ибо требует нахождения наилучшего положения при бесконечном числе расстояний и бесконечном числе точек. Известнейшие математики много раз пробовали ее решить, а когда решение было найдено, люди обнаружили, что его можно найти в устройстве птичьих крыльев со времен первой птицы, поднявшейся в воздух.

^{4*} Он наблюдал стаю голубей, пролетавшую между Франкфортом и территорией

— Черт-те что! — сказал царь.

«Не успели мы избавиться от этих птиц, которые доставили нам немало хлопот, как были напуганы появлением птицы иного рода, несравненно более крупной, чем даже птица Рух¹⁶, встречавшаяся мне во время прежних путешествий; ибо она была больше самого большого из куполов над твоим сералем, о великодушнейший из калифов. У этой страшной птицы не было видно головы, а только одно брюхо, удивительно толстое и круглое, из чего-то мягкого, гладкого, блестящего, в разноцветную полосу. Чудовищная птица уносила в когтях в свое заоблачное гнездо целый дом, с которого она сорвала крышу и внутри которого мы явственно различили людей, очевидно в отчаянии ожидавших своей страшной участи. Мы кричали что было мочи, надеясь напугать птицу и заставить ее выпустить добычу, но она только запыхтела и зафыркала, точно разозлилась, и уронила нам на голову мешок, оказавшийся полным песку».

— Чепуха! — сказал царь.

«Тотчас же после этого приключения мы достигли материка, который, несмотря на свою огромную протяженность и плотность, целиком покоился на спине небесно-голубой коровы, имевшей не менее четырехсот рогов»^{1*}.

— Вот этому я верю, — сказал царь, — ибо читал нечто подобное в книге.

«Мы прошли под этим материком (проплыв между ног коровы) и спустя несколько часов оказались в стране поистине удивительной, которая, по словам человеко-животного, была его родиной, населенной такими же, как он, созданиями. Это очень возвысило человеко-животное в моих глазах; и я даже устыдился презрительной фамильярности, с какою до тех пор с ним обращался, ибо обнаружил, что человеко-животные являются нацией могущественных волшебников; в мозгу у них водятся черви^{2*}, которые, извиваясь там, несомненно возбуждают усиленную работу мышления».

— Вздор! — сказал царь.

«Эти волшебники приручили несколько весьма странных пород животных, например лошада с железными костями и кипящей водой вместо крови. Вместо овса она обычно питается черными камнями; но, несмотря на столь твердую пищу, обладает такой силой и резвостью, что может везти тяжести, превосходящие весом самый большой из здешних храмов, и притом со скоростью, какой не достигает в полете большинство птиц»^{3*}.

Индианы, шириною не менее мили; перелет продолжался четыре часа, а это, при скорости одна миля в минуту, дает расстояние в 240 миль; таким образом, считая по три голубя на квадратный ярд, в стае было 2,230.272.000 голубей. — *Лейтенант Ф. Холл*¹⁶. «Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам».

^{1*} «Земля покоится на корове голубого цвета, у которой четыреста рогов». — *Коран в переводе Сейла*¹⁷.

^{2*} *Eptozoa*, или кишечных червей, нередко обнаруживают в мышцах и в мозгу человека. — *См. Уайет*¹⁸. «Физиология», стр. 143.

^{3*} На Западной железной дороге, между Лондоном и Эксетером, достигнута скорость в 71 милю в час. Состав весом в 90 тонн примчался от вокзала Паддингтон в Дидкот (53 мили) за 51 минуту.

— Чушь! — сказал царь.

«Видел я также у этого народа курицу без перьев, но ростом больше верблюда; вместо мяса и костей у нее железо и кирпич; кровь ее, как и у лошади (которой она приходится сродни), состоит из кипящей воды, и, подобно ей, она питается одними лишь деревяшками или же черными камнями. Эта курица часто приносит в день по сотне цыплят, которые потом еще несколько недель остаются в утробе матери»^{1*}.

— Бредни! — сказал царь.

«Один из этих могучих чародеев сотворил человека из меди, дерева и кожи, наделив его такой мудростью, что он может обыграть в шахматы кого угодно на свете, кроме великого калифа Гаруна-аль-Рашида^{2*}. Другой чародей (из таких же материалов) создал существо, посрамившее даже своего гениального создателя; ибо разум его столь могуч, что за секунду оно производит вычисления, требующие труда пятидесяти тысяч человек в течение целого года^{3*}. А еще более искусный волшебник создал нечто, не похожее ни на человека, ни на животное, но обладающее мозгом из свинца и какого-то черного вещества вроде дегтя, а также пальцами, действующими с невообразимой быстротой и ловкостью, так что оно без труда могло бы сделать за час целых двадцать тысяч списков Корана, и притом с такой безошибочной точностью, что ни один из них не отличался бы от другого даже на волосок. Это создание наделено таким могуществом, что единым дыханием возводит и свергает величайшие империи; но мощь его используется как во благо, так и во зло».

— Нелепость! — сказал царь.

«Среди этого народа чародеев был один, в чьих жилах текла кровь саламандр; ибо он мог как ни в чем не бывало сидеть и покуривать свою трубку в раскаленной печи, пока там готовился его обед^{4*}. Другой обладал способностью превращать обыкновенные металлы в золото, даже не глядя на них^{5*}. Третий имел столь тонкое осязание, что мог изготавливать проволоку, невидимую глазу^{6*}. Четвертый обладал такой быстротой соображения, что мог сосчитать все отдельные движения упругого тела, колеблющегося со скоростью девятисот миллионов раз в секунду»^{7*}.

— Ерунда! — сказал царь.

«Был и такой чародей, что с помощью флюида, которого еще никто не видел, мог по своей воле заставить трупы своих друзей размахивать

1* *Escalobion* [Инкубатор¹⁹].

2* Автоматический игрок в шахматы Мельцеля²⁰.

3* Счетная машина Бэббиджа²¹.

4* Шабер²², а после него сотня других.

5* Электротипия.

6* Волластон²³ изготовил для телескопа платиновую проволоку толщиной в одну восемнадцатитысячную дюйма. Увидеть ее можно было только под микроскопом.

7* Ньютон доказал, что под действием фиолетового луча спектра ретина²⁴ глаза колеблется 900 000 000 раз в секунду.

руками, дрыгать ногами, драться и даже вставать и плясать^{1*}. Другой настолько развил свой голос, что он был слышен из края в край земли^{2*}. У третьего была столь длинная рука, что, находясь в Дамаске, он мог написать письмо в Багдаде и вообще на любом расстоянии^{3*}. Четвертый повелевал молнией и мог призвать ее с небес, а призвав, забавлялся ею, точно игрушкой. Пятый брал два громких звука и творил из них тишину. Шестой из двух ярких лучей света извлекал густую тьму^{4*}.

Еще один изготовлял лед в раскаленной печи^{5*}. Еще один приказывал солнцу рисовать свой портрет, и солнце повиновалось^{6*}. Еще один брал это светило, а также луну и планету, взвешивал их с большой точностью, а затем исследовал их недра и определял плотность вещества, из которого они состоят. Впрочем, весь тамошний народ настолько искусен в волшебстве, что не только малые дети, но даже обычные кошки и собаки без труда видят предметы либо вовсе не существующие, либо такие, которые исчезли с лица земли за двадцать тысяч лет до появления самого этого народа^{7*}.

^{1*} Вольтов столб.

^{2*} Электрический телеграф передает сообщение моментально, во всяком случае для любого земного расстояния.

^{3*} Электротелеграфный печатающий аппарат.

^{4*} Обычные в естественных науках опыты. Если два красных луча из двух источников света пропустить через темную камеру так, чтобы они падали на белую поверхность, а разница в их длине была 0,0000258 дюйма, их яркость удвоится. Так же будет, если разница в длине равна любому кратному этой дроби, представляющему собой целое число. Если эти кратные — 2 1/4, 3 1/4 и т. п., получаем яркость одного луча; а кратные 2 1/2, 3 1/2 и т. п. дают полную темноту. Для фиолетовых лучей мы имеем подобное явление при разнице длины в 0,000157 дюйма; те же результаты дают и все другие лучи спектра, причем разница в их длине равномерно возрастает от фиолетовых к красным.

Аналогичные опыты со звуками дают подобный же результат.

^{5*} Поместите платиновый тигель над спиртовкой и раскалите его докрасна; влейте туда серной кислоты, которая обладает чрезвычайной летучестью при обычных температурах, но в раскаленном тигле будет стойкой, и ни одна капля не испарится — ибо она окружена собственной атмосферой и не соприкасается со стенками сосуда. Если теперь добавить туда несколько капель воды, кислота немедленно войдет в соприкосновение с раскаленными стенками тигля и превратится в пары серной кислоты, притом так быстро, что одновременно уйдет и тепло воды, и на дно сосуда выпадет кусочек льда; если поторопиться и не дать ему растаять, можно извлечь из раскаленного докрасна сосуда кусок льда.

^{6*} Дагерротип.

^{7*} Хотя скорость света составляет 200 000 миль в секунду, расстояние до ближайшей, насколько мы знаем, из неподвижных звезд (Сириуса) так бесконечно велико, что его лучам требуется не менее трех лет, чтобы достичь Земли. Для более отдаленных звезд, по скромному подсчету, нужно 20 и даже 1000 лет. Таким образом, если они исчезли 20 или 1000 лет назад, они сейчас еще видны нам по свету, испускаемому их поверхностью 20 или 1000 лет назад. Что многие из тех звезд, которые мы ежедневно видим, уже угасли, возможно и даже более того — вероятно.

Гершель-старший утверждает, что свет самой отдаленной туманности, видимой в его большой телескоп, доходит до Земли за 3 000 000 лет. В каком случае для некоторых звезд, ставших видимыми благодаря инструменту лорда Росса²⁵, это должно быть по меньшей мере 20 000 000 лет. (Примечание Грисволда)].

— Невероятно! — сказал царь.

«Жены и дочери этих могущественных чародеев, — продолжала Шехерезада, ничуть не смущаясь многократными и весьма невежливыми замечаниями супруга, — жены и дочери этих великих магов обладают всеми талантами и прелестями и были бы совершенством, если бы не некоторые роковые заблуждения, от которых пока еще бессильно избавиться их даже чудодейственное могущество их мужей и отцов. Заблуждения эти принимают то один вид, то другой, но то, о котором я говорю, постигло их в виде турнюра».

— Чего? — переспросил царь.

«Турнюра, — сказала Шехерезада. Один из злобных джиннов, вечно готовых творить зло, внушил этим изысканным дамам, будто то, что мы зовем телесной красотой, целиком помещается в некоей части тела, расположенной пониже спины. Идеал красоты, как они считают, прямо висит от величины этой выпуклости; так как они вообразили это уже давно, а подушки в тех краях дешевы, там не помнят времен, когда можно было отличить женщину от дромадера...»

— Довольно! — сказал царь. — Я не желаю больше слушать и не стану. От твоего вранья у меня и так уже разболелась голова. Да и утро, как я вижу, уже наступает. Сколько бишь времени мы женаты? — У меня опять проснулась совесть. Дромадер! Ты, кажется, считаешь меня ослом. Короче говоря, пора тебя удавить.

Эти слова, как я узнал из «Таклинетли», удивили и огорчили Шехерезаду; но, зная царя за человека добросовестного и неспособного нарушить слово, она покорилась своей участи, не сопротивляясь. Правда, пока на ней затягивали петлю, она обрела немалое утешение в мысли, что столько еще осталось нерассказанным и что ее раздражительный супруг наказал себя, лишившись возможности услышать еще много удивительного.

РАЗГОВОР С МУМИЕЙ

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче, вместо того, чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобру-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем легкий. Я страстный любитель гренков с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждала, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без какой-либо приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении сладостного отдыха до полудня преклонил голову на подушку и как человек с совершенно незапятнанной совестью немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрапнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед за этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продирал глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Йейбогуса. В ней значилось:

«Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец, благодаря упорству и дипломатии, добился от дирекции Городского музея согласия на обследование мумии — вы помните, какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разумеется, в том числе, Мумия уже у меня дома, и мы начнем разматывать ее сегодня в одиннадцать часов вечера.

Всегда ваш

Йейбогус».

Дойдя до слова «Йейбогус», я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе, с нетерпением ожидающих моего прибытия. Мумия лежала расprostертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Йейбогуса, капитаном Артуром Ментиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями — ее стены были сплошь покрыты фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музею в том самом виде, в каком впервые попала на глаза капитану Ментикю, — саркофаг оставался не вскрыт. И так он простоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто отдают себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (*platanus*), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, *papier-mâché** из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки — сцены похорон и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письмена, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон¹, который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как «Бестолково».

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но когда, наконец, мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем — его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым

* Папье-маше (франц.).

и третьим ящиками не было — стенки одного вплотную прилегли к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли самую мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым слоем лака, раззолоченный и испещренный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры — по всей видимости, портреты набальзамированных лиц. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имени и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе, подобное, так сказать, ожерелье стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрасном состоянии были и зубы, и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфоры и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших тогда не знал, что цельные, или не вскрытые мумии — явление, не столь уж и редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали надрез сбоку живота, после чего групп обривали, мыли и засаливали, и только затем, по прошествии нескольких недель приступали к собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Йейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы уже собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех- или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то во всяком случае оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых

в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски *tunica albuginea* *.

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был *встревожен* этим явлением, «встревожен» — не совсем то слово. Думаю, что если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Йейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Букингема, я надеюсь, не достанет храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальнейшим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого пальца правой ноги. Был сделан надрез над наружной *os sesamoideum pollicis pedis* ** и тем самым обнажен корень *musculus abductus* ***. Снова наладив батарею, мы подействовали током на расщепленный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным толчком, так брыкнула доктора Йейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно на улицу.

Мы все *en masse* **** ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испытуемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

* Белки глаз (лат.).

** Сесамовидная кость большого пальца ноги (лат.).

*** Отводящей мышцы (лат.).

**** Всем скопом (франц.).

Эффект — морально и физически, в прямом и в переносном смысле — был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнес² в пантомиме; во-вторых, он чихнул; в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Йейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Букингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

— Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Йейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему, бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти можно сказать, родились там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий, — право же, уж кто-кто, а *вы* могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, но преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы дозволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Йейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все ударились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу «все наоборот» и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень натурально и непринужденно, и потому речи ее не прозвучали так жутко, как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг — подальше от египетского кулака. Доктор Йейбогус побагровел и устался в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Букингом низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

— Что же вы не отвечаете, мистер Букингом? Вы слышали, о чем вас спрашивают? *Виньте-ка* палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Букингем вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же вознаградил себя за это тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских печатнях так плохо с египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) — через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Букингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилён сообщить египтянину смысл термина «политика», куда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноносого субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Точно так же мистеру Букингему не удавалось выразить современное понятие «прорехи в экономике» до тех пор пока, сильно побледнев, он (по совету доктора Йейбогуса) не решился снять свой новехенький сюртук и показать спину крахмальной сорочки.

Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил, главным образом, о той великой пользе, какую приносит науке распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта операция принесет ему, одной мумифицированной личности по имени Бестолковое, он кончил свою речь, намекнув (право, это был не больше, чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Йейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковое нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал всем присутствующим руки.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, перебинтовали колено и налепили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковое) слегка дрожит — без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно голубых клетчатых панталон со штрипками,

розовую, в полоску chemise *, широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было, примерно, два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести еще сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потрясающий факт, что Бестолковое оказался живым.

— На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть, — заметил мистер Букингем.

— Что вы! — крайне удивленно ответил граф. — Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец-молодцом.

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каковых было скоро выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

— Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения, — пояснил Букингем. — Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

— В чем, в чем? — переспросил граф.

— В асфальтовых смолах.

— А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе — сулема.

— Вот еще чего мы никак не можем понять, — сказал доктор Йейбогус. — Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

— Если б я действительно, как вы говорите, умер, — отвечал граф, — весьма вероятно, что я бы и сейчас оставался мертвым, ибо я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамировать. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамирования?

— М-м, не совсем, знаете ли.

* Сорочку (франц.).

— Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, но следует вам сказать, что бальзамировать — значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолютно все процессы. Я употребляю слово «животный» в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и витальное бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была ментальная и полная остановка всех животных функций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея³ и поэтому был забальзамирован *живым*, как вы можете теперь убедиться.

— К роду Скарабея? — воскликнул доктор Йейбогус.

— Да. Скарабей был *insignium**, своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

— Но как это связано с тем, что вы остались живы?

— Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно неудобно.

— Я понял, — сказал мистер Букингем. — Стало быть, все попадающиеся нам *цельные* мумии принадлежали к роду Скарабеев?

— Без сомнения.

— Я думал, — кротко заметил мистер Глиддон, — что Скарабей — один из египетских богов.

— Из египетских богов? — вскочив, воскликнула мумия.

— Да, — подтвердил известный путешественник.

— Мистер Глиддон, вы меня удивляете, — произнес граф, снова усевшись в кресло. — Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем *одному богу*. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего лишь символами, *media*** при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

Наступила пауза. Потом доктор Йейбогус продолжил разговор.

— Правильно ли будет предположить на основании ваших слов, — спросил он, — что в Нильских катакомбах лежат и другие мумии из рода Скарабеев, сохранившие состояние витальности?

— В этом не может быть сомнения, — отвечал граф. — Все Скарабеи, по случайности бальзамированные живо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали *нарочно*, тоже могут отыскаться, по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

* Эмблемой (лат.).

** Посредниками (лат.).

— Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает «забальзамировали нарочно»? — попросил я.

— С великим удовольствием, — отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый вопрос, который задал ей я лично.

— С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность, а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям, с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамировать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени — допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч., под общим именем исправлений и добавлений, до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И найдя, убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого-историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправкам живых свидетелей, длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

— Прошу прощения, — проговорил тут доктор Йейбогус, кладя ладонь на руку египтянина. — Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минуту перебить вас.

— Сделайте одолжение, сэр, — ответил граф, убирая руку.

— Я только хотел задать вопрос, — сказал доктор. — Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли, в среднем, доля истины в этой каббале.

— В этой каббале, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

— А раз так, — продолжал доктор, — то, поскольку мы точно устано-

вили, что с момента ваших похорон прошло по крайней мере пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись богатые данные о том, что так интересует все человечество, — о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

— Что это значит, сэръ? — спросил граф Бестолково.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чужеземец смог его понять. Наконец, тот с сомнением сказал:

— То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении человеческого рода. Он употреблял, кстати, имя *Адам*, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) — в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара.

Здесь мы все легонько пожалы плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Букингом скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолково и сказал:

— Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

— Признаюсь, — любезнейшим тоном ответил граф, — что опять не вполне понимаю вас. Не могли ли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых явствовало, что прототипы наших Галля⁴ и Шпурцгейма⁵ пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации Месмера⁶ — не более как жалкие фокусы, в сравнении с длинными чудодействиями фиванских savans*, которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

* Мудрецов (франц.).

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал выпрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал), да еще к некоему Плутарху⁷, написавшему труд «*De facie lunae*»*.

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским⁸. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камни, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Йейбогус, и при этом довольно неудачно.

— А наша архитектура! — воскликнул он к глубокому возмущению обоих путешественников, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно. — Посмотрите фонтан на Боулинг-Грин⁹ у нас в Нью-Йорке! Или — если это сооружение уж слишком величаво для сопоставления — возьмите здание Капитолия в Вашингтоне!

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные черты и пропорции упомянутого сооружения. Только в портале, с жаром восклицал он, имеется ни много ни мало, как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой!

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного из главных зданий в городе Азнаке¹⁰, который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в предместье, именуемом Карнаком¹¹, был портал из ста сорока четырех колонн по тридцати семи футов в обхвате и в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому portalу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не беретя положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят-шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны, допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда

* «О лике, видимом на луне» (лат.).

напихать штук этак двести или триста. В сущности-то это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте, да и вообще нигде и никогда не было.

Тут я спросил графа, что он скажет о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. По его мнению, они довольно надежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и монолитные обелиски ста пятидесяти футов высотой.

Я сослался на наши могучие механические двигатели.

Он согласился, сказал, что слышал об этом кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пяты арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака.

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об артезианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса¹² рабочие обнаружили древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами.

Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием «Дайел»¹³, и от туда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют «великим движением», или «прогрессом».

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался.

Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования *ad libitum** и не имея над собой короля.

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно позабавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться, и положили великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то

* Вдоволь (лат.).

пятнадцатую, не то двадцатую, в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал ¹⁴.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — *Толла*.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро, прошипел, что я и без того достаточно обнаружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слышал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де-Ко ¹⁵.

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготовлять «Слабительное Йейбогуса» или «Пилюли Брандрета ¹⁶».

С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его унижение. Я взял шляпу, сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена — мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне давно поперек горла стала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же, мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2045 году. Так что, я вот только побреюсь и выпью чашку кофе и не мешкая отправлюсь к Йейбогусу — пусть меня забальзамируют лет на двести.

СИЛА СЛОВ

Ойнос. Прости, Агатос, немощь духа, лишь недавно наделенного бессмертием!

*Агатос*¹. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что следовало бы просить прощения. Даже и здесь познание не приобретается наитием. Что до мудрости, вопрошай без стеснения ангелов, и дастся тебе!

Ойнос. Но я мечтал, что в этом существовании я сразу стану всеведущим и со всеведением сразу обрету счастье.

Агатос. Ах, не в познании счастье, а в его приобретении! Вечно познавая, мы вечно блаженны; но знать все — проклятие нечистого.

Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?

Агатос. Это (ибо он и Всеблаженнейший) должно быть единственным, неизвестным даже ему.

Ойнос. Но если познания наши растут с каждым часом, ужели мы наконец не узнаем всего?

Агатос. Направь взор долу, в бездну пространств! — попытайся продвинуть его вдоль бесчисленных звездных верениц, пока мы медленно проплываем мимо — так — и так! — и так! Разве даже духовное зрение не встречает повсюду преграды бесконечных золотых стен вселенной? — стен из мириад сверкающих небесных тел, одною своею бесчисленностью слитых воедино?

Ойнос. Вижу ясно, что бесконечность материи — не греза.

Агатос. В Эдеме нет грез, но здесь говорят шепотом, что единственная цель бесконечности материи — создать бесконечное множество источников, у которых душа может утолять жажду познания, вечно неутолимую в пределах материи, ибо утолить эту жажду — значит уничтожить бытие души. Вопрошай же меня, мой Ойнос, без смущения и страха. Ну же! — оставим слева громозвучную гармонию Плеяд и воспарим от престола к звездным лугам за Орион, где вместо фиалок и нарциссов расцветают тройные и троецветные солнца.

Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы в пути, наставь меня! — вещай мне привычным земным языком. Я не понимаю твоих слов: только что ты намекнул мне на образ или смысл того, что, будучи смертными, мы привыкли наименовать Творением. Не хочешь ли ты сказать, что Творец — не Бог?

Агатос. Я хочу сказать, что божество не творит.

Ойнос. Поясни.

Агатос. Только вначале оно творило². Те кажущиеся создания, которые ныне во всей вселенной постоянно рождаются для жизни, могут считаться лишь косвенными или побочными, а не прямыми или непосредственными итогами божественной творческой силы.

Ойнос. Среди людей, мой Агатос, эту идею сочли бы крайне еретической.

Агатос. Среди ангелов, мой Ойнос, очевидно, что она — всего лишь простая истина.

Ойнос. Насколько я могу тебя покамест понять, от некоторых действий того, что мы называем Природой или естественными законами, при известных условиях возникает нечто, имеющее полную *видимость* творения. Я отлично помню, что незадолго до окончательной гибели Земли было поставлено много весьма успешных опытов того, что у некоторых философов хватило неразумия назвать созданием *animalculae* *.

Агатос. Случай, о которых ты говоришь, на самом деле являлись примерами вторичного творения — *единственной* категории творения, имевшей место с тех пор, как первое слово вызвало к жизни первый закон.

Ойнос. А ужели звездные миры, что ежечасно вырываются в небеса из бездны небытия, — ужели все эти звезды, Агатос, не сотворены самим Царем?

Агатос. Позволь мне попытаться, мой Ойнос, ступень за ступенью подвести тебя к желаемому пониманию. Ты отлично знаешь, что, подобно тому, как никакая мысль не может погибнуть, так же всякое действие рождает бесконечные следствия. К примеру, когда мы жили на Земле, то двигали руками, и каждое движение сообщало вибрацию окружающей атмосфере. Эта вибрация беспредельно распространялась, пока не сообщала импульс каждой частице земного воздуха, в котором с той поры и *навсегда* нечто было определено единым движением руки. Этот факт был хорошо известен математикам нашей планеты. Они достигали особых эффектов при сообщении жидкости особых импульсов, что поддавалось точному исчислению — так что стало легко определить, за какой именно период импульс данной величины опояшет земной шар и окажет воздействие (вечное) на каждый атом окружающей атмосферы. Идя назад, они без труда могли по данному эффекту в данных условиях определить характер первоначального импульса. А математики, постигшие, что следствия каждого данного импульса абсолютно бесконечны и что часть этих следствий точно определима путем алгебраического анализа, а также то, что определение исходной точки не составляет труда — эти ученые в то же время увидели, что сам метод анализа заключает в себе возможности бесконечного прогресса, что его совершенствование и применимость не знают пределов, за исключением умственных пределов тех, кто его совершенствует и применяет. Но тут наши математики остановились.

Ойнос. А почему, Агатос, им следовало идти дальше?

Агатос. Потому что им пришли в голову некоторые соображения, полные глубокого интереса. Из того, что они знали, можно было вывести, что наделенному бесконечным знанием, сполна постигнутому *совершенство* алгебраического анализа не составит труда проследить за каждым импульсом, сообщенным воздуху, а также межвоздушному эфиру — до

* Микроскопических существ (лат.).

отдаленнейших последствий, что возникнут даже в любое бесконечно отдаленное время. И в самом деле, можно доказать, что каждый такой импульс, *сообщенный воздуху, должен в конечном счете* воздействовать на каждый обособленный предмет в *пределах вселенной*; — и существо, наделенное бесконечным знанием, — существо, которое мы вообразим, — способно проследить все отдаленные колебания импульса — проследить по восходящей все их влияния на каждую частицу материи — вечно по восходящей в их модификациях старых форм — или, иными словами, *в их творении нового* — пока не найдет их *наконец-то* бездейственными, отраженными от престола божества. И не только это, но если в любую эпоху дать ему некое явление — например, если предоставить ему на рассмотрение одну из этих бесчисленных комет — ему бы не составило труда определить аналитическим путем, каким первоначальным импульсом она была вызвана к существованию. Эта возможность анализа в абсолютной полноте и совершенстве — эта способность во все эпохи относить все следствия ко всем причинам, конечно, является исключительной прерогативой божества — но в любой степени, кроме абсолютного совершенства, эту способность обладают в совокупности все небесные Интеллекты³.

Ойнос. Но ты говоришь всего-навсего об импульсах, сообщаемых воздуху.

Агатос. Говоря о воздухе, я касался только Земли; но общее положение относится к импульсам, сообщаемым эфиру, — а также как эфир, и только эфир, пронизывает все пространство, то он и является великой средой творения.

Ойнос. Стало быть, творит всякое движение, независимо от своей природы?

Агатос. Так должно быть; но истинная философия давно учит нас, что источник всякого движения — мысль, а источник всякой мысли...

Ойнос. Бог.

Агатос. Я поведал тебе как сыну недавно погибшей прекрасной Земли, *Ойнос*, об импульсах земной атмосферы.

Ойнос. Да.

Агатос. И пока я говорил, не проскользнула ли в твоём сознании некая мысль о *материальной силе слов*? Разве каждое слово — не импульс, сообщаемый воздуху?

Ойнос. Но почему, *Агатос*, ты плачешь? — и почему, о почему крыла твои никнут, пока мы парим над этой прекрасной звездой — самой зеленой и все же самой ужасной изо всех, увиденных нами в полете? Ее лучезарные цветы подобны волшебному сновидению — но ее яростные вулканы подобны страстям смятенного сердца.

Агатос. Это так! — это так! — Три столетия миновало с той поры, как, ломая руки и струя потоки слез у ног моей возлюбленной — я создал эту мятежную звезду моими словами — немногими фразами, полными страсти. Ее лучезарные цветы — и вправду самые дорогие из моих несбывшихся мечтаний, а яростные вулканы — и вправду страсти самого смятенного и нечестивого из сердец.

БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ

В рассмотрении способностей и наклонностей — *prima mobilia* * человеческой души — френологи¹ не уделили места побуждению, которое, хотя по всей очевидности и существует как одно из врожденных, изначальных, непреодолимых чувств, но в равной степени было упущено из виду и всеми моралистами, их предшественниками. По чистой гордыне разума все мы упустили его из виду. Мы позволили его существованию ускользнуть от наших чувств единственно по недостатку веры, будь то вера в Апокалипсис или вера в Каббалу². Само представление о нем никогда не приходит нам в голову просто потому, что в нем нет никакой надобности. Мы не видим нужды в этом влечении, в этой склонности. Мы не можем постичь его необходимость. Мы не понимаем, да и не могли бы понять, ежели представление об этом *primum mobile* и возникло бы — мы не могли бы понять, каким образом оно способно приблизить человечество к его целям, временным или вечным. Нельзя отрицать, что френология и, в весьма значительной степени, вся метафизика были состряпаны à priori **. Выдумывать схемы, диктовать цели богу принялся не человек, способный понимать и наблюдать, а скорее человек интеллекта и логики. Охватив подобным образом, к собственному удовлетворению, замыслы Иеговы, он построил из этих замыслов бесчисленные системы мышления. В области френологии, например, мы сначала решили, по вполне естественным основаниям, что божество повелело, дабы человек принимал пищу. Затем мы наделили человека органом питания, бичом, с помощью которого божество вынуждает человека принимать пищу, желает он того или нет. Во-вторых, установив, что бог повелел человеку продолжать род, мы немедленно обнаружили и орган любострастия. Так же обстояло с воинственностью, с воображением, с причинностью, с даром созидания — коротко говоря, с каждым органом, выражает ли он какую-либо склонность, моральную особенность или же чисто интеллектуальную черту. И в этих схемах *principia* *** человеческих действий последователи Шпурцгейма³, верно или нет, частично или в целом, но все же лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и определяя все из заранее предустановленных судеб рода человеческого и целей творца.

Было бы мудрее, было бы безопаснее, если бы наша классификация (раз уж мы должны классифицировать) исходила из того, как человек обычно

* Перводвигателей (лат.).

** До и вне опыта (лат.).

*** Первопричин (лат.).

или иногда поступает, а не из того, как, по нашему убеждению, предназначило ему поступать божество. Ежели мы не в силах постичь бога в его зримых деяниях, то как нам познать его непостижимые мысли, рождающие эти деяния? Ежели нам непонятны его объективные создания, то как его понять в его свободных желаниях и фазах созидания?

Индукция, à posteriori*, вынудила бы френологию признать изначально и врожденным двигателем человеческих действий парадоксальное нечто, которое за неимением более точного термина можно назвать *противоречивостью* или *упрямством*. В том смысле, который я имею в виду, это — *mobile*** без мотива, мотив не *motivirt****. По его подсказу мы действуем без какой-либо постижимой цели; или, если это воспримут как противоречие в терминах, мы можем модифицировать это суждение и сказать, что по его подсказу мы поступаем так-то именно потому, что так поступать *не должны*. Теоретически никакое основание не может быть более неосновательным; но фактически нет основания сильнее. С некоторыми умами и при некоторых условиях оно становится абсолютно неодолимым. Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая — и ничто иное — вынуждает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая тенденция поступать себе во вред ради вреда не поддается анализу или отысканию в ней скрытых элементов. Это врожденный, изначальный, элементарный импульс. Знаю, мне возразят, будто наше стремление упорствовать в поступках именно от сознания того, что мы в них упорствовать *не должны*, является лишь разновидностью черты, которую френология называет *воинственностью*. Но самый беглый взгляд докажет ошибочность подобного предположения. В основе френологической «воинственности» лежит необходимость самозащиты. В ней — наша охрана от повреждений физического характера. Ее суть — в обеспечении нашего благосостояния; и стремление к нему возбуждается одновременно с ее развитием. Следовательно, стремление к благосостоянию должно быть возбуждено одновременно с любой разновидностью «воинственности», но в том, что я называю *противоречивостью*, не только не возникает стремление к благосостоянию, но нами движет, и весьма сильно, чувство прямо противоположное.

Обращение к собственной душе окажется, в конце концов, лучшим ответом на только что отмеченную софистику. Всякий, кто доверчиво и внимательно вопрошает свою душу, не будет отрицать, что особенность, о которой идет речь, безусловно коренная черта. Она непостижима столь же, сколь и очевидна. Нет человека, который когда-нибудь не мучился бы, например, непреодолимым желанием истерзать слушателя многословием своих речей. Говорящий сознает, что вызывает недовольство:

* После опыта (лат.).

** Побудительная причина (франц.).

*** Мотивированный (искаж. нем.).

он всемерно хочет угодить собеседнику; обычно он изъясняется кратко, гочно и ясно; самые лаконичные и легкие фразы вертятся у него на языке; лишь с трудом он удерживается от их произнесения; он боится разгневаться того, к кому обращается; и все же его поражает мысль, что если он будет отклоняться от своего предмета и нанизывать отступления, то гнев может возникнуть. Одной подобной мысли достаточно. Неясный порыв вырастает в желание, желание — в стремление, стремление — в неудержимую жажду, и жажда эта (к глубокому огорчению и сожалению говорящего), несмотря на все могущие возникнуть последствия, удовлетворяется.

Перед нами работа, требующая скорейшего выполнения. Мы знаем, что оттягивать ее губительно. Мы слышим трубный зов: то кличет нас к немедленной, энергической деятельности важнейшее, переломное событие всей нашей жизни. Мы пылаем, снедаемые нетерпением, мы жаждем приняться за труд — предвкушение его славного итога воспламеняет нам душу. Работа должна быть, будет сделана сегодня, и все же мы откладываем ее на завтра; — а почему? Ответа нет, кроме того, что мы испытываем желание поступить наперекор, сами не понимая, почему. Наступает завтра, а с ним еще более нетерпеливое желание исполнить свой долг, но по мере роста нетерпения приходит также безымянное, прямо-таки ужасающее — потому что непостижимое — желание медлить. Это желание усиливается, пока пролетают мгновения. Близок последний час. Мы содрогаемся от буйства борьбы, проходящей внутри нас, борьбы определенного с неопределенным, материи с тенью. Но если единоборство зашло так далеко, то побеждает тень, и мы напрасно боремся. Бьют часы, и это похоронный звон по нашему благополучию. В то же время это — петушиный крик для призрака, овладевшего нами. Он исчезает — его нет — мы свободны. *Теперь мы готовы трудиться. Увы, слишком поздно!*

Мы стоим на краю пропасти. Мы всматриваемся в бездну — мы начинаем ощущать дурноту и головокружение. Наш первый порыв — отдалиться от опасности. Непонятно почему, мы остаемся. Постепенно дурнота, головокружение и страх сливаются в некое облако — облако чувства, которому нельзя отыскать название. Мало-помалу, едва заметно, это облако принимает очертание, подобно дыму, что вырвался из бутылки, заключавшей джинна, как сказано в «Тысяче и одной ночи». Но из нашего облака на краю пропасти возникает и становится осязаемым образ куда более ужасный, нежели какой угодно сказочный джинн или демон, и все же это лишь мысль, хотя и страшная, леденящая до мозга костей бешеным упоением, которое мы находим в самом ужасе. Это всего лишь представление о том, что мы ощутим во время стремительного низвержения с подобной высоты. И это падение — эта молниеносная гибель — именно потому, что ее сопровождает самый жуткий и отвратительный изо всех самых жутких и отвратительных образов смерти и страдания, когда-либо являвшихся нашему воображению, — именно поэтому и становится желаннее. И так как наш рассудок яростно уводит нас от края пропасти — потому мы с такой настойчивостью к нему приближаемся. Нет

в природе страсти, исполненной столь демонического нетерпения, нежели страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок. Попытаться хоть на мгновение думать означает неизбежную гибель; ибо рефлексия лишь внушает нам воздержаться, и потому, говорю я, мы и не можем воздержаться. Если рядом не найдется дружеской руки, которая удержала бы нас, или если нам не удастся внезапным усилием отшатнуться от бездны и упасть навзничь, мы бросаемся в нее и гибнем.

Можно рассматривать подобные поступки как нам вздумается, и все равно будет ясно, что исходят они единственно от духа *Противоречия*. Мы совершаем их, ибо чувствуем, что не должны их совершать. Никакого объяснимого принципа за ними не кроется; и, право, мы могли бы счесть это стремление поступать наперекор прямым подсказкам нечистого, ежели бы порою оно не служило добру.

Я сказал все это, дабы в какой-то мере ответить на ваш вопрос — дабы объяснить вам, почему я здесь — дабы оставить вам нечто, имеющее хоть слабую видимость причины тому, что я закован в эти цепи и обитаю в камере смертников. Не будь я столь пространным, вы или могли бы понять меня совсем уж превратно, или, заодно с чернью, сочли бы меня помешанным. А так вы с легкостью увидите, что я — одна из многих неисчислимых жертв Беса Противоречия.

Никакой поступок не мог быть взвешен с большей точностью. Недели, месяцы я обдумывал способ убийства. Я отверг тысячу планов, ибо их выполнение влекло за собою вероятность случайного раскрытия. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я обнаружил в них описание того, как мадам Пило была поражена почти фатальным недугом при посредстве отравленной свечи. Идея эта мгновенно привлекла меня. Я знал, что тот, кого я наметил в жертвы, имел привычку читать в постели. Знал я также, что его комната тесна и плохо проветривается. Но нет нужды докучать вам излишними подробностями. Нет нужды описывать нехитрые уловки, при помощи которых я подменил свечу из шандала в его спальне другою, сделанною мною самим. На следующее утро его нашли мертвым в постели, и заключение коронера гласило: «Смерть от руки божией».

Унаследовав его состояние, я многие годы благоденствовал. Мысль о разоблачении ни разу не посещала мой мозг. От остатков роковой свечи я самым тщательным образом избавился. Я не оставил и тени улики, при помощи которой возможно было бы осудить меня за преступление или даже заподозрить в нем. Непостижимо, сколь полное чувство удовлетворения возникало в моем сердце, пока я размышлял о совершенной моей безопасности. Весьма длительное время я упивался этим чувством. Оно доставляло мне больше истинного наслаждения, нежели все мирские преимушества, истекающие из моего греха. Но наконец наступила пора, когда отрадное чувство едва заметно превратилось в неотвязную и угнетающую мысль. Именно ее неотвязность и угнетала. Я едва был в силах избавиться от нее хотя бы на миг. Нередко у нас в ушах, или, вернее, в памяти, вертится припев какой-нибудь пошлой песни или ничем не примечатель-

ные обрывки оперы. И мучения наши не уменьшатся, если песня сама по себе будет хороша, а оперный мотив — достоин высокой оценки. Подобно этому и я, наконец, начал ловить себя на том, что постоянно думаю о своей безопасности и едва слышно повторяю себе под нос: «Нечего бояться».

Однажды, прогуливаясь по улицам, я внезапно заметил, что бормочу эти привычные слова вполголоса. В припадке своеволия я переименовал их следующим образом: «Нечего бояться — нечего бояться — да — если только я по глупости сам не сознаюсь!»

Не успел я выговорить эти слова, как ледяной холод окатил мне сердце. У меня был известный опыт подобных припадков противоречия (природу которых я старался вам объяснить), и я отчетливо вспомнил, что ни разу мне не удалось успешно противостоять их натиску. И ныне то, что я сам себе небрежно внушил — будто я могу оказаться таким глупцом, что сознаюсь в совершенном мною убийстве — возникло передо мною, как самопривидение моей жертвы, — и поманило меня к смерти.

Сперва я попытался стряхнуть с души этот кошмар. Я ускорил шаг — пошел быстрее — еще быстрее — наконец, побежал. Я испытывал бешеное желание завопить во весь голос. Каждая последующая волна мысли обдавала меня новым ужасом, ибо, увы! я хорошо, слишком хорошо сознавал, что в моем положении *подумать* значит погибнуть. Я все ускорял шаг. Я метался, как сумасшедший, по запруженным толпами улицам. Наконец, прохожие встревожились и начали меня преследовать. И тогда я почувствовал, что судьба моя свершилась. Я бы вырвал себе язык, если бы мог — но в ушах у меня прогремел грубый голос — чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я повернулся, задыхаясь. На единый миг я ощутил все муки удушья; я ослеп, оглох, голова моя кружилась; и тогда, как мне показалось, некий невидимый дьявол ударил меня своею широкою ладонью в спину. Долго скрываемая тайна вырвалась из моей души.

Говорят, что произношение мое было весьма отчетливо, хотя я чрезмерно подчеркивал каждый слог и бешено торопился, как бы опасаясь, что меня перебьют до завершения кратких, но веских фраз, которые обрекли меня палачу и преисподней.

Поведав все, необходимое для моего полнейшего юридического осуждения, я упал без чувств.

Но к чему говорить еще? Сегодня я в этих кандалах — и здесь! Завтра я буду без цепей! — но где?

СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРРО

Осенью 18. . года, путешествуя по самым южным департаментам Франции, я оказался в нескольких милях от одного *Maison de Santé*, или частной лечебницы для душевнобольных, о которой я много слышал от знакомых парижских врачей. Я никогда не бывал в подобного рода заведениях и вот, решив не упускать представившейся мне возможности, предложил своему попутчику (господину, с которым случайно познакомился несколькими днями раньше) сделать небольшой крюк и потратить часок-другой на осмотр лечебницы. Но спутник мой отказался, сославшись, во-первых, на то, что очень спешит, и, во-вторых, на вполне естественное чувство страха перед умалишенными. Впрочем, он просил меня не стесняться и сказал, что соображения вежливости не должны помешать мне удовлетворить свое любопытство; он добавил, что поедет не спеша и что я смогу догнать его сегодня же или, в крайнем случае, завтра. Когда мы прощались, мне пришлось в голову, что доступ в лечебницу может быть затруднен и меня, пожалуй, не впустят туда; опасениями на этот счет я поделился со своим спутником. Он ответил, что затруднения действительно могут возникнуть, если только я не знаком лично с главным врачом, мосье Майяром и не располагаю никакими рекомендательными письмами: ведь порядки в таких частных заведениях гораздо более строгие, чем в казенных больницах. Сам он, как выяснилось, познакомился где-то с Майяром несколько лет назад и берется проводить и представить меня; ему же самому чувство страха, о котором он говорил, не позволяет переступить порог этого дома.

Я поблагодарил его, и мы свернули с большой дороги на заросший травой проселок. Не прошло и получаса, как он почти совсем затерялся в густом лесу у подножия горы. Мы проехали около двух миль сквозь эту сырую мрачную чащу, и вот наконец нашим взорам предстал *Maison de Santé*. Это был причудливой постройки *château**, столь пострадавший от времени, такой обветшалый и запущенный, что, право, казалось невероятным, чтобы здесь жили люди. При виде этого дома я содрогнулся от страха, остановил лошадь и был уже готов повернуть назад. Впрочем, вскоре я устыдился своей слабости и продолжал путь.

Мы подъехали к воротам. Я заметил, что они приотворены и какой-то человек выглядывает из-за них. В следующее мгновение этот человек вышел нам навстречу, окликнул моего спутника по имени, радушно пожал

* Замок (франц.).

ему руку и попросил спешиться. Это был сам мосье Майяр, видный и красивый джентльмен старого закала — с изящными манерами и тем особым выражением лица, важным, внушительным и полным достоинства, которое производит столь сильное впечатление на окружающих.

Мой друг представил меня, сообщил о моем желании осмотреть больницу и, выслушав заверения мосье Майяра в том, что мне будет уделено все возможное внимание, тут же откланялся. С тех пор я больше его не видел.

Когда он уехал, главный врач провел меня в маленькую, но чрезвычайно изящно убранную гостиную, где все свидетельствовало о тонком вкусе: книги, рисунки, горшки с цветами, музыкальные инструменты и многое другое. В камине весело пылал огонь. За фортепьяно сидела молодая, очень красивая женщина и пела арию из какой-то оперы Беллини. Увидев гостя, она прервала пение и приветствовала меня с очаровательной любезностью. Говорила она негромко, во всей манере сквозила какая-то покорная мягкость. Мне почудилась скрытая печаль в ее лице, удивительная бледность которого была, на мой вкус, не лишена приятности. Она была в глубоком трауре и пробуждала в моем сердце смешанное чувство уважения, интереса и восхищения.

Мне приходилось слышать в Париже, что заведение мосье Майяра основано на тех принципах, которые в просторечии именуются «системой поблажек», что наказания здесь не применяются вовсе, что даже к изоляции стараются прибегать пореже, что пациенты, находясь под тайным надзором, пользуются, на первый взгляд, немалой свободой и что большинству из них разрешается разгуливать по дому и саду в обычной одежде, какую носят здоровые люди.

Памятуя обо всем этом, я держался весьма осмотрительно, беседуя с молодой дамой, ибо полной уверенности, что она в здравом уме, у меня не было; и точно, в глазах ее я заметил какой-то беспокойный блеск, который почти убедил меня в противном. Поэтому я ограничивался общими темами и такими замечаниями, которые, по моему разумению, не могли рассердить или взволновать даже сумасшедшего. На все, что я говорил, она отвечала вполне разумно, а собственные ее высказывания были исполнены трезвости и здравого смысла. Однако продолжительные занятия теорией тапиа* научили меня относиться с недоверием к подобным доказательствам душевного равновесия, и на протяжении всего разговора я сохранял ту же осторожность, какую проявил в самом начале.

Вскоре появился расторопный лакей в ливрее и с подносом в руках. Я занялся принесенными им фруктами, вином и закусками, а дама тем временем покинула комнату. Когда она ушла, я повернулся к хозяину и вопрошающе взглянул на него.

* Безумия (греч.).

— Нет, — сказал он, — нет, что вы! Это моя родственница — племянница, весьма образованная женщина.

— О, тысяча извинений! — воскликнул я. — Простите мне мою ошибку, но вы, бесспорно, и сами понимаете, чем ее можно оправдать. Превосходная постановка дела здесь у вас хорошо известна в Париже, и я счел вполне возможным... вы понимаете...

— Да, да! Не стоит об этом говорить! Скорее уж мне надлежит благодарить вас за вашу похвальную осторожность. Редко встретишь в молодых людях такую осмотрительность, и я могу привести не один пример весьма плачевных *contre-temps* *, которые были следствием легкомыслия наших посетителей. Пока действовала моя прежняя система и пациентам предоставлялось возбуждения где им вздумается, они часто впадали в состояние крайнего возбуждения по вине неблагоприятных посетителей, приезжавших осматривать наш дом. Поэтому мне пришлось ввести систему жестких ограничений, и теперь в лечебницу не допускается ни один человек, чья способность соответствующим образом держать себя внушала бы сомнения.

— Пока действовала ваша *прежняя* система? — повторил я вслед за ним. — Правильно ли я понял вас? Значит, «система поблажек», о которой я столько слышан, больше не применяется?

— Да, — ответил он. — Вот уже несколько недель, как мы решили отказаться от нее навсегда.

— Не может быть! Вы меня удивляете!

— Мы сочли совершенно необходимым, сэр, — сказал он со вздохом, — вернуться к традиционным методам. *Опасность*, связанная с «системой поблажек», значительна, а преимущества ее сильно преувеличены. Уж если эта система и подвергалась где-нибудь добросовестной проверке, так именно у нас, сэр, смею вас заверить. Мы делали все, что подсказывала разумная гуманность. Как жаль, что вы не побывали у нас прежде, — вы бы могли обо всем судить сами. Насколько я понимаю, «система поблажек» знакома вам во всех подробностях, не так ли?

— Не совсем так. Все мои сведения — из третьих или четвертых рук.

— Что ж, в общих чертах я определил бы ее, пожалуй, как такую систему, когда больного *ménagent* ** и во всем ему потакают. Что бы сумасшедшему ни взбрело в голову — он не встречает ни *малейшего* противодействия с нашей стороны. Мы не только не мешали, но, напротив, потворствовали их причудам, на этом были основаны многие случаи излечения, и к тому же — наиболее устойчивого. Нет для ослабевшего, больного рассудка аргумента более убедительного, нежели *argumentum ad absurdum* ***. Были у нас, например, пациенты, вообразившие себя цыплятами. Лечение состояло в том, что мы признали их фантазии фактом и настаивали на нем: бранили больного за бестолковость, если он недо-

* Недоразумений (франц.).

** Щадят (франц.).

*** Доказательство посредством приведения к нелепости (лат.).

статочно глубоко сознавал этот факт, и на этом основании кормили его в течение целой недели только тем, что едят цыплята. Какая-нибудь горсть зерна и мелких камешков творила в таких случаях настоящие чудеса.

— Но разве к подобного рода потачкам сводилось все?

— Ну, разумеется, нет. Значительную роль играли нехитрые развлечения — такие, как музыка, танцы, всякого рода гимнастические упражнения, карты, некоторые книги и так далее. Мы делали вид, будто лечим каждого от какого-нибудь заурядного телесного недуга, и слово «безумие» никогда не произносилось. Было очень важно заставить каждого сумасшедшего наблюдать за поступками всех остальных. Дайте понять умалишенному, что вы полагаетесь на его благоразумие и сообразительность, — и он ваш телом и душой. Действуя таким образом, мы избавились от необходимости содержать целый штат надзирателей, которые обходятся недешево.

— И у вас не было никаких наказаний?

— Никаких.

— И вы никогда не изолировали своих пациентов?

— Крайне редко. Время от времени с кем-нибудь из них случался неожиданный припадок буйства или наступало обострение болезни. Тогда мы помещали больного в отдельную камеру, чтобы он не влиял заражающе на других, и он оставался там до тех пор, пока не представлялась возможность передать его в руки родных; буйных мы не держим, обычно их увозят в казенные больницы.

— А теперь все у вас по-новому, и, вы полагаете, лучше, чем прежде?

— Да, бесспорно. У этой системы были свои слабые и даже опасные стороны. Теперь она, к счастью, уже изгнана во Франции из всех Maisons de Santé.

— Ваши слова, — возразил я, — изумляют меня до крайности; я был твердо уверен, что нет сейчас во всей стране ни одного заведения, где применяется какой-либо иной метод лечения душевных болезней.

— Вы еще молоды, друг мой, — отвечал хозяин, — но придет время, и обо всем, что происходит на свете, вы научитесь судить самостоятельно, не полагаясь на чужую болтовню. Ушам своим не верьте вовсе, а глазам — только наполовину. Так вот и с нашим Maison de Santé: какой-нибудь невежда ввел вас в заблуждение, это ясно. Впрочем, после обеда, когда вы как следует отдохнете с дороги, я с великим удовольствием покажу вам дом и познакомяю вас с системой, которая, по моему мнению, а также по мнению всех, кому случилось видеть ее в действии, несравненно эффективнее всего, что удавалось раньше придумать.

— Это ваша собственная система? — спросил я. — Вы сами ее создали?

— Да, и я горд, что могу назвать ее своей — во всяком случае, до некоторой степени.

Так мы беседовали с мосье Майяром час или два, в продолжение которых он показывал мне сад и оранжерею.

— Ваше знакомство с пациентами придется несколько отложить, — объявил он. — Для впечатлительного ума всегда есть что-то более или

менее гнетущее в таких зрелищах, а я не хотел бы лишать вас аппетита перед обедом. Мы непременно пообедаем. Я угощу вас телятиной а-ля Мену с цветною капустой в соусе *velouté* * и вы запьете ее стаканом кло-де-вужо. Тогда уж мы как следует укрепим ваши нервы.

В шесть позвали к обеду; мой хозяин провел меня в *salle à manger* **, просторную комнату, где нас уже ждало весьма многочисленное общество — всего человек двадцать пять — тридцать. Это были, по-видимому, люди знатного происхождения и, несомненно, наилучшего воспитания, хотя должен признаться, что наряды их показались мне непомерно роскошными, как-то слишком грубо напоминавшими показную пышность *vieille cour* ***. Мое внимание привлекли дамы: они составляли почти две трети приглашенных, и некоторые были одеты так, что парижанин не нашел бы в их туалетах даже намека на то, что сегодня принято считать хорошим вкусом. Так, многие женщины в возрасте никак не менее семидесяти оказались прямо-таки обвешанными драгоценностями — кольцами, браслетами, серьгами, а их грудь и плечи были бесстыдно обнажены. Я заметил также, что очень немногие наряды были хорошо сшиты, — во всяком случае, очень немногие из них хорошо сидели на своих владельцах. Оглядевшись, я заметил красивую девушку, которой мосье Майяр представил меня в маленькой гостинной; но каково же было мое изумление, когда я увидел на ней юбку с фижмами, туфли на высоком каблучке и грязный чепец из брюссельских кружев, который был ей настолько велик, что лицо выглядело до смешного маленьким. Когда я видел ее в первый раз, она была в глубоком трауре, что очень к ней шло. Одним словом, в одежде всех собравшихся чувствовалось нечто странное — нечто такое, что в первую минуту снова вернуло меня к прежним мыслям о «системе поблажек», и я подумал, что мосье Майяр решил до конца обеда держать меня в неведении относительно того, кто такие наши соседи: по-видимому, он опасался, что обед за одним столом с сумасшедшими не доставит мне особенного удовольствия. Однако я сразу же вспомнил рассказы парижских друзей о южанах — какой это странный, эксцентричный народ и как упорно они держатся за свои старые понятия, — а разговор с двумя-тремя гостями немедленно и окончательно рассеял все мои подозрения.

Что касается самой столовой, то ей не хватало изящества, хотя, пожалуй, в удобстве и достаточно больших размерах ей нельзя было отказать. Ковра на полу не было, — впрочем, во Франции часто обходятся без ковров, — не было и занавесей на окнах, ставни были закрыты и заперты крепкими железными засовами, положенными крест-накрест, какие мы видим обыкновенно на ставнях лавок. Столовая, как я успел установить, занимала одно из прямоугольных крыльев *château*. Окна выходили на три стороны, а дверь — на четвертую; всего я насчитал не меньше десяти окон.

* Здесь: под бархатным соусом (франц.).

** Столовую (франц.).

*** Старого двора (франц.).

Стол был сервирован роскошно, сплошь уставлен блюдами и ломился от всевозможных тонких яств. Это поистине варварское изобилие не поддается описанию. Мяса было столько, что хватило бы для пира сынов Енаковых¹. Никогда в жизни не видывал я столь широкого, столь необузданного расточения жизненных благ. Но вкуса во всем этом ощущалось очень немного, и мои глаза, привыкшие к ровному мягкому свету, жестоко страдали от ослепительного сверкания бесчисленных восковых свечей в серебряных канделябрах, которые были расставлены на столе и по всей комнате — везде, где только удалось найти для них место. Прислуживало несколько расторопных лакеев, а за большим столом в дальнем углу сидел человек семь-восемь со скрипками, флейтами, тромбонами и барабаном. Эти молодцы жестоко досаждали мне за обедом, извлекая время от времени из своих инструментов бесконечно разнообразные звуки, которые должны были изображать музыку, и, по-видимому, доставляли большое удовольствие всем присутствовавшим, за исключением меня.

В общем, я никак не мог избавиться от мысли, что во всем происходящем перед моими глазами очень много *bizarre**, но ведь в конце-то концов на свете встречаешь людей любого склада, с любым образом мыслей, любыми традициями и привычками. К тому же я достаточно путешествовал, чтобы стать приверженцем принципа *nil admirari***², и вот, сохраняя полное хладнокровие, я занял место по правую руку от хозяина и, отнюдь не страдая отсутствием аппетита, воздал должное щедрому угощению, которое передо мною стояло.

Беседа за столом была оживленной и общей. Дамы, как водится, болтали без умолку. Вскоре я убедился, что общество почти целиком состояло из людей образованных; а сам хозяин оказался неисчерпаемым источником веселых анекдотов. Видимо, он любил поговорить о своих обязанностях директора *Maison de Santé*, и вообще все присутствовавшие, к великому моему изумлению, с большой охотой рассуждали о помешательстве. Забавные истории относительно разных «пунктиков» пациентов следовали одна за другой.

— Был у нас здесь один тип, — заявил низенький толстяк, сидевший справа от меня, — был у нас здесь один тип, который вообразил себя чайником. К слову сказать, прямо поразительно, как часто в мозгу у помешанных застревает именно эта бредовая идея. Едва ли найдется во Франции хоть один сумасшедший дом без такого человека-чайника. *Наш* господин был чайником английского производства и каждое утро исправно начищал себя оленьей замшей и мелом.

— А еще, — подхватил высокий мужчина, сидевший напротив, — был у нас здесь не так давно один субъект, который вбил себе в голову, что он осел, — говоря в переносном смысле, он был совершенно прав, этого нельзя не признать. И какой же беспокойный был пациент, сколько трудов нам

* Причудливого, странного (франц.).

** Ничему не удивляться² (лат.).

стоило держать его в узде! Одно время он не желал есть ничего, кроме чертополоха; но от этой фантазии мы его живо избавили, настаивая на том, чтобы он ничего другого не ел. А к тому же он еще постоянно лягался — вот так... вот так...

— Мосье де Кок, извольте вести себя прилично, — прервала оратора пожилая дама, сидевшая рядом с ним. — Поосторожнее, прошу вас, не дрыгайте ногами. Вы мне испортили все платье, а ведь оно парчовое! Разве так уж необходимо, в самом деле, иллюстрировать свою мысль столь наглядным способом? Наш друг легко понял бы вас и без того. Честное слово, вы почти такой же осел, каким воображал себя тот бедняга. У вас все это так естественно получается, право!

— Mille pardons! Ma'mselle! * — отвечал мосье де Кок, выслушав такое внушение. — Тысяча извинений! У меня и в мыслях не было причинить вам хоть малейшее неудобство! Мадемуазель Лаплас, мосье де Кок имеет честь пить за ваше здоровье!

И с этими словами мосье де Кок низко поклонился, весьма церемонно поцеловал кончики своих пальцев и чокнулся с мадемуазель Лаплас.

— Разрешите мне, топ апи, — сказал мосье Майяр, обращаясь ко мне, — разрешите предложить вам кусочек этой телятины а-ля святой Мену — она бесподобна, вот увидите!

В это мгновение трое дюжих лакеев после долгих усилий благополучно водрузили наконец на стол огромное блюдо, или, вернее, целую платформу, на которой, как я сначала решил, покоилось monstrum, horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum **. При ближайшем рассмотрении оказалось, впрочем, что это всего-навсего маленький тенок: он был зажарен целиком и стоял на коленях, а во рту у него было яблоко, — так обычно жарят в Англии зайцев.

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — ответил я. — Сказать по правде, я не такой уж поклонник телятины а-ля святой... как бишь вы ее назвали? Мне кажется, что желудок мой с ней не справится. Попробую-ка я, с вашего разрешения, кролика, — вот только тарелку переменю.

На столе было еще несколько блюд поменьше, с обыкновенной, как мне показалось, крольчатиной по-французски, — лакомейший torseau ***, смею вас заверить.

— Пьер, — крикнул хозяин, — перемените господину тарелку и положите ему ножку этого кролика au chat ****.

— Этого... как?

— Этого кролика au chat.

— Гм, благодарю вас, не стоит, пожалуй. Лучше я возьму себе ветчины. «Никогда не знаешь толком, чем тебя кормят за столом у этих провин-

* Тысяча извинений, мамзель! (франц.).

** Страшное, нечто огромное, жуткое, детище мрака³ (лат.).

*** Кусочек (франц.).

**** Под кошку (франц.).

циалов, — подумал я про себя. — Благодарю покорно, не нужно мне ни их кроликов под кошку, ни в равной мере *кошек под кролика*».

— А еще, — подхватил оборвавшуюся было нить разговора какой-то гость с бледным, как у мертвеца, лицом, сидевший на конце стола, — а еще, припоминаю, был у нас однажды среди прочих забавных чудаков пациент, который упорно утверждал, будто он кордовский сыр, и ходил повсюду с ножом в руке, приставая к приятелям и умоляя их отрезать у него ломтик от ноги.

— Да, несомненно он был полный идиот, — вмешался тут еще кто-то, — но все же его и сравнивать нельзя с тем экземпляром, который каждому из нас известен, за исключением лишь вот этого приезжего господина. Я говорю о человеке, который принимал себя за бутылку шампанского и то и дело откупоривался, стреляя пробкой и шипя, — вот таким манером...

Тут говоривший (на мой взгляд, это было верхом невоспитанности) засунул большой палец правой руки за левую щеку и выдернул его со звуком, напоминавшим хлопанье пробки, а затем, подражая пенящемуся шампанскому и ловко прижимая язык к зубам, издал резкий свист и шипение, не прекращавшиеся в течение нескольких минут. Я отчетливо увидел, что такое поведение пришлось не совсем по вкусу мосье Майяру, но он не промолвил ни слова, и в разговор вступил очень тощий и очень маленький человечек в большом парике.

— А еще был здесь один простофиля, — сказал он, — которому казалось, что он лягушка. К слову сказать, он ни капельки не походил на лягушку. Жаль, что вам не довелось встретиться с ним, сэр, — продолжал тощий господин, обращаясь ко мне, — вы получили бы истинное наслаждение, видя, какой естественности ему удалось достигнуть. Если, сэр, этот человек не был лягушкой, то я могу только выразить сожаление по этому поводу. Ах, уж это его кваканье — вот так: о-о-гх! о-о-о-гх! Прекраснейший звук в мире! Си-бемоль, да и только! А когда он, бывало, выпьет стаканчик-другой вина да положит локти на стол — вот так! — да растянет рот до ушей — вот так! — да как заворочает глазами — вот так! — да как заморгает с быстротою, уму непостижимой, — ну, сэр, тут уж (беру на себя смелость прямо заявить вам об этом), тут уж вы решительно остолбенели бы, восхищаясь талантами этого человека!

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — отозвался я.

— А еще, — сказал кто-то из сидевших за столом, — был здесь премиальный проказник, который принимал себя за понюшку табака и все страдал, что никак не может зажать самого себя между указательным и большим пальцами.

— А еще был здесь некто Жюль Дезульер. Вот уж у него действительно были какие-то странные фантазии: он помешался на том, будто он тыква, и без конца надоедал кухарке, умоляя запечь его в пирог, — но кухарка с негодованием отказывалась. Что до меня, то я далеко не уверен, что этот пирог с тыквой а-ля Дезульер, был бы таким уж невкусным блюдом!

— Удивительно! — воскликнул я и вопрошающе взглянул на мосье Майяра.

— Ха-ха-ха! — заливался смехом этот джентльмен. — Хе-хе-хе! хи-хи! хо-хо-хо! ху-ху-ху! Право же, великолепно! Не удивляйтесь, mon ami, наш друг — остряк, этакий, знаете ли, drôle *, не принимайте его всерьез!

— А еще, — раздался голос с другого конца стола, — еще был здесь один шут гороховый — тоже выдающаяся личность в своем роде. Он свихнулся от любви и вообразил, будто у него две головы: одна — Цицерона, а другая — составная: от макушки до рта — Демосфенова, а ниже, до подбородка, — лорда Брума⁴. Может быть, он и ошибался, но он любого сумел бы убедить в своей правоте — уж очень был красноречив! У него была настоящая страсть к публичным выступлениям, страсть непреодолимая и необузданная. Бывало, как вскочит на обеденный стол — вот так!.. — и как...

Тут сосед и, по-видимому, один из приятелей говорившего, положил ему руку на плечо и прошептал на ухо несколько слов; тот немедленно оборвал свою речь и опустился на стул.

— А еще, — заявил во всеуслышание, перестав шептать, приятель предыдущего оратора, — был здесь Буллар-волчок. Я называю его волчком потому, что им овладела забавная, но вовсе не столь уж нелепая фантазия — будто он стал волчком. Вы бы от смеха померли, если б на него поглядели. Он мог вертеться на одном каблуке целый час без передышки — вот так...

Тут приятель, которого он сам только что уговорил, оказал ему в точности такую же услугу.

— А все-таки, — крикнула во всю мочь старая леди, — ваш мосье Буллар в лучшем случае — сумасшедший, и к тому же крайне глупый сумасшедший. Человек-юла! Слыханное ли это дело, позвольте спросить? Чепуха! Вот мадам Жуаёз — та была гораздо благоразумнее, как вам известно. У нее тоже была своя фантазия, но фантазия, исполненная здравого смысла и доставлявшая удовольствие всякому, кто имел честь быть знакомым с этой особой. После долгих размышлений она обнаружила, что по какой-то случайности обратилась в молодого петушка и стала держать себя соответствующим образом. Она хлопала крыльями поразительно удачно — вот так! вот так! А ее пение — ах, оно было просто восхитительно! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку-у-у-у-у!

— Мадам Жуаёз, прошу вас вести себя прилично! — вмешался тут наш хозяин, весьма рассерженный. — Либо держите себя так, как подобает даме, либо сейчас же уйдите вон из-за стола! Выбирайте!

Мадам Жуаёз (я был немало удивлен, услышав, как после описания мадам Жуаёз, только что сделанного пожилой дамой, ее называют этим же

* Проказник (франц.).

именем) вспыхнула до корней волос и была, казалось, до крайности сконфужена выговором. Она опустила голову и не произнесла в ответ ни звука. Но другая, на сей раз более молодая леди, поддержала разговор. Это была моя старая знакомая — красивая девушка из маленькой гостиной.

— О, мадам Жуаёз и в самом деле была дура! — воскликнула она. — Зато во взглядах Эжени Сальсафетт действительно чувствовался трезвый ум. Это была очень красивая и до болезненности скромная молодая дама, которая считала обычный способ одеваться непристойным и хотела изменить его так, чтобы быть вне, а не внутри своего платья. В конце концов это не так уж сложно. Вы должны только сделать так... а потом так... так... так... и так...

— Mon Dieu! Мадемуазель Сальсафетт, — раздался одновременно десяток голосов. — Что вы задумали? Довольно! Достаточно! Нам уже вполне ясно, как это делается! Хватит! Хватит! — И несколько человек вскочило со своих мест, чтобы помешать мадемуазель Сальсафетт предстать перед нами в костюме Венеры Медицейской, но вдруг, как бы завершая эту эффектную сцену, раздались громкие, пронзительные крики и вопли, доносившиеся откуда-то из центральной части *château*.

На мои нервы эти вопли произвели очень тяжелое впечатление, но все же я не мог не почувствовать искреннего сострадания ко всей остальной компании: за всю мою жизнь не видел я у нормальных людей такого смертельного испуга. Все они побелели, как стена, и, съезжившись на своих стульях, дрожали и лязгали зубами от страха, прислушиваясь, не повторятся ли звуки снова. И они повторились — громче и, как мне показалось, ближе, а потом в третий раз — очень громко, а потом в четвертый, — но сила их явно пошла на убыль. Когда не осталось больше сомнений, что шум затихает, настроение собравшихся мгновенно улучшилось, все опять оживилось, опять посыпались забавные истории. Тут я рискнул осведомиться о причине недавнего смятения.

— Сущая *bagatelle**, — заявил мосье Майяр. — Мы уже привыкли к подобным происшествиям и не обращаем на них внимания. Время от времени сумасшедшие поднимают вой: один начинает, другой подхватывает, как бывает иной раз по ночам в собачьих сворах. Иногда, правда, такой *concerto*** воплей сопровождается попыткой вырваться на свободу; в этих случаях некоторая опасность, конечно, существует.

— А сколько больных у вас на попечении?

— В настоящее время не более десяти.

— В основном женщины, я полагаю?

— О нет, одни мужчины, и к тому же здоровенные, скажу я вам.

— Вот как? А я всегда был уверен, что большинство сумасшедших — особы женского пола.

* Безделица (франц.).

** Концерт (итал.).

— Обычно это так, но не всегда. Еще недавно здесь было что-то около двадцати семи пациентов; не менее восемнадцати из этого числа были женщины. Но затем положение резко изменилось, как видите.

— Да, резко изменилось, как видите, — вмешался господин, который, брыкаясь, едва не переломал ноги мадемуазель Лаплас.

— Да, резко изменилось, как видите, — подхватили хором все собравшиеся.

— Эй, вы, попрдержите языки! — закричал в сильном гневе хозяин.

Немедленно воцарилась мертвая тишина, продолжавшаяся около минуты. А одна леди поняла требование мосье Майяра буквально и, высунив язык, оказавшийся необыкновенно длинным, покорно схватила его обеими руками да так и держала до конца обеда.

— А эта дама, — сказал я, наклонившись к мосье Майяру и обращаясь к нему шепотом, — эта милая леди, которая недавно говорила и кукарекала... она... я полагаю, безобидна, вполне безобидна... а?

— Безобидна?! — воскликнул он в неподдельном изумлении. — То есть как это? Что вы имеете в виду?

— Чуть-чуть не в себе, — сказал я, притрагиваясь к своей голове. — По-моему, она не особенно... не опасно больна, а?

— Mon Dieu! Что это вы придумали?! Эта леди — мадам Жуаёз, мой близкий, старый друг; она так же абсолютно здорова, как я сам. У нее есть свои маленькие странности, это верно, но вы ведь сами знаете... старые женщины... все очень старые женщины страдают этим в той или иной мере.

— Разумеется, — сказал я, — разумеется... А остальные леди и джентльмены...

— Мои друзья и помощники, — закончил мосье Майяр, выпрямляясь с высокомерным видом, — мои очень близкие друзья и сослуживцы.

— Как? Все до одного? — спросил я. — И женщины тоже?

— Ну конечно! Нам бы без них не управиться. Никто в мире не ухаживает за сумасшедшими лучше, чем они. У них, знаете ли, свои приемы: эти блестящие глаза оказывают изумительное действие — что-то вроде зачаровывающего змеиного взгляда, знаете ли.

— Да, разумеется, — подтвердил я, — разумеется! Но в них есть что-то чудное, они немного не того, а? Вам не кажется?

— Чудное? Немного не того? Вам в самом деле так кажется? Бесспорно, мы не слишком-то любим стеснять себя здесь, на Юге... делаем, что хотим, наслаждаемся жизнью... и всякое такое, знаете ли...

— Да, разумеется, — подтвердил я, — разумеется.

— А потом, может быть, это кло-де-вужо слишком крепкое, знаете ли, слишком забористое... вы меня поняли, не так ли?

— Да, разумеется, — подтвердил я, — разумеется. Кстати, мосье, вы, кажется, говорили, что новая система, которую вы ввели взамен прославленной «системы поблажек», отличается крайней строгостью и суровостью. Верно ли я вас понял?

— Отнюдь нет. Правда, режим у нас крутой, но это неизбежно. Зато такого ухода, как у нас (я имею в виду медицинский уход), никакая другая система больному не даст.

— А эта новая система создана вами?

— Не вполне. В известной мере ее автором может считаться профессор Смоль, о котором вы, несомненно, слышали; а с другой стороны, я счастлив заявить, что отдельными деталями своего метода я обязан знаменитому Перро, с которым вы, если не ошибаюсь, имеете честь быть близко знакомым.

— Мне очень стыдно, но я должен сознаться, что никогда до сих пор не слыхал даже имен этих господ.

— Боже правый! — воскликнул мой хозяин, резко отодвинув свой стул назад и воздев руки к небу. — Нет, я несомненно ослышался! Ведь не хотите же вы сказать, что никогда не слыхали ни об учнейшем докторе Смоле, ни о знаменитом профессоре Перро?!

— Вынужден признаться в моем невежестве, — ответил я, — но истина превыше всего. Однако при этом я чувствую себя просто поверженным в прах — какой позор: ничего не знать о работах этих без сомнения выдающихся людей! Я обязательно разыщу их сочинения и буду изучать их с особым вниманием. Мосье Майяр, после ваших слов мне действительно — поверьте! — действительно стыдно за себя!

Так оно и было.

— Оставим это, мой милый юный друг, — произнес ласково мосье Майяр, пожимая мне руку. — Выпейте-ка со мной стаканчик сотерна.

Мы выпили. Собравшиеся последовали нашему примеру, потом еще раз, еще раз, и так без конца. Они болтали, шутили, смеялись, делали глупость за глупостью; визжали скрипки, грохотал барабан, как медные быки Фаларияда⁵ ревели тромбоны, и сцена, становясь, по мере того как винные пары затуманивали головы, все более ужасной, наконец превратилась в какой-то шабаш *in petto**. Тем временем мы — мосье Майяр и я, — склонившись над стаканами сотерна и вужо, стоявшими перед нами, продолжали наш разговор, повысив голос до крика: слово, произнесенное обычным тоном, имело не больше шансов дойти до слуха собеседника, чем голос рыбы со дна Ниагарского водопада.

— Сэр, — прокричал я в ухо мосье Майяру, — сэр, перед обедом вы упомянули об опасности, связанной со старой «системой поблажек». Что вы имели в виду?

— Да, — отвечал он, — время от времени у нас действительно складывалось очень опасное положение. Всех причуд умалишенных не предугадаешь, и, по моему мнению, равно как и по мнению доктора Смоля и профессора Перро, никогда нельзя оставлять их без всякого присмотра. Вы можете в течение того или иного времени делать так называемые «поблажки» умалишенному, но в конце концов он все же весьма склонен

* Здесь: в зародыше (итал.).

к буйству. С другой стороны, его хитрость настолько велика, что вошла в поговорку. Если он что-нибудь задумал, то скрывает свой план с изобретательностью, поистине уму непостижимой. А ловкость, с которой он симулирует здоровье, ставит перед философами, изучающими человеческий разум, одну из наиболее загадочных проблем. Когда сумасшедший кажется совершенно здоровым — самое время надевать на него смирительную рубашку.

— Но та опасность, дорогой сэр, о которой вы говорили... судя по вашему собственному опыту... по опыту управления этой лечебницей... есть ли у вас реальные основания считать предоставление свободы умалишенным делом рискованным?

— В этом доме... по моему собственному опыту?.. Что ж, пожалуй, да. Например, не так давно в этом самом доме произошел необыкновенный случай. «Система поблажек», как вам известно, была тогда в действии, и пациенты делали что хотели. Они вели себя удивительно хорошо, даже слишком хорошо! Любой здравомыслящий человек догадался бы, что тут зреет какой-то адский замысел, — уже судя по одному тому, как удивительно хорошо вели себя эти субъекты. И вот в одно прекрасное утро надзиратели оказались связанными по рукам и ногам и были брошены в изоляторы, как будто сумасшедшими были они, а настоящие сумасшедшие, присвоив себе обязанности надзирателей, взяли их охранять.

— Да не может быть! Никогда в жизни не слыхивал я о такой нелепости!

— Факт! Все это случилось по вине одного болвана — сумасшедшего: почему-то он вбил себе в голову, что открыл новую систему управления, лучше всех старых, которые были известны прежде, — систему, когда управляют сумасшедшие. Вероятно, он хотел проверить свое открытие на деле, — и вот он убедил всех остальных пациентов присоединиться к нему и вступить в заговор для свержения существующих властей.

— И он действительно добился своего?

— Вне всякого сомнения. Надзирателям вскорости пришлось поменяться местами со своими поднадзорными, и даже более того: сумасшедшие прежде разгуливали на свободе, а надзирателей немедленно заперли в изоляторы и обходились с ними, к сожалению, до крайности бесцеремонно.

— Но, я полагаю, контрпереворот не заставил себя ждать? Такое положение дел не могло сохраниться надолго. Крестьяне из соседних деревень, посетители, приехавшие, чтобы осмотреть заведение, — ведь они подняли бы тревогу!

— Вот тут-то вы и ошибаетесь. Глава бунтовщиков был слишком хитер. Он вовсе перестал допускать посетителей и сделал исключение только для одного молодого джентльмена, с виду весьма недалекого, опасаться которого не было никаких оснований. Он принял его и показал ему дом — просто для развлечения, чтобы немного позабавиться на его счет. Помогив его вволю, он отпустил его и выставил за ворота!

— А сколько же времени держал этот сумасшедший бразды правления?
— О, очень долго, с месяц-то наверняка, а сколько точно — не скажу. Для сумасшедших это были славные денечки, можете мне поверить! Они сбросили свои обноски и свободно распоряжались всем платьем и драгоценностями, какие нашлись в доме. Вина́ в подвалах *château* было хоть отбавляй, а ведь что касается выпивки, то в ней сумасшедшие знают толк, тут они настоящие дьяволы. И, скажу вам, жили они недурно.

— Ну а лечение? Какие новые методы лечения применил вождь бунтовщиков?

— Что ж, сумасшедшему, как я уже говорил, далеко не обязательно быть дураком, и я убежден, что его метод лечения оказался гораздо удачнее прежнего. Право же, это была превосходная система — простая, ясная, никакого беспокойства, прелесть да и только! Это была...

Тут речь моего хозяина неожиданно прервал новый взрыв воплей. в точности походивших на те, что уже раз привели в замешательство всю компанию. Но теперь, по всей видимости, люди, издававшие эти вопли, быстро приближались.

— Боже мой! — воскликнул я. — Сумасшедшие вырвались на волю, это ясно как день!

— Боюсь, что вы правы, — согласился мосье Майяр, страшно побледнев.

Не успел он произнести эти слова, как под окнами раздались громкие крики и проклятия; и сразу же стало ясно, что какие-то люди снаружи пытаются ворваться в комнату. В дверь чем-то колотили, по-видимому кувалдой, а ставни кто-то неистово тряс, стараясь сорвать.

Поднялась ужасная сумятица. Мосье Майяр, к моему крайнему изумлению, юркнул за буфет. Я ожидал от него большего самообладания. Оркестранты, которые вот уже с четверть часа были, по-видимому, слишком пьяны, чтобы заниматься своим делом, все разом вскочили на ноги, бросились к инструментам и, вскарабкавшись на свой стол, дружно заиграли «Янки Дудл»⁶, исполнив его на фоне всего этого шума и гама, может быть не совсем точно, но зато с воодушевлением сверхъестественным.

Тем временем на главный обеденный стол вскочил, опрокидывая бутылки и стаканы, тот самый господин, которого недавно с таким трудом удалось удержать от этого поступка. Устроившись поудобнее, он начал произносить речь, и она, несомненно, оказалась бы блестящей, если бы только была малейшая возможность ее услышать. В ту же минуту человек, питавший пристрастие к волчкам, принялся с неисчерпаемой энергией кружиться по комнате, вытянув руки под прямым углом к туловищу, так что он, и правда, в точности походил на волчок и сшибал с ног всех, кто попадался ему на пути. А тут еще, услышав бешеное хлопанье пробки и шипение шампанского, я обнаружил в конце концов, что оно исходит от того субъекта, который во время обеда изображал бутылку этого благородного напитка. Затем и человек-лягушка принялся квакать

с таким усердием, как будто от каждого издаваемого им звука зависело спасение его души. Вдобавок ко всему, над этой дикой какофонией раздавался неумолкающий рев осла. Что касается моей старой приятельницы мадам Жуаёз, то мне было от души жаль бедняжку, до того она была потрясена: она стояла в углу у камина и непрерывно кукарекала во весь голос: «Ку-ка-ре-е-е-ку-у-у!»

И тут события достигли, так сказать, кульминационного пункта, наступила развязка драмы. Поскольку, не считая криков, воя и кукареканья, никакого сопротивления натиску снаружи оказано не было, то очень скоро все десять окон вылетели почти одновременно. Мне никогда не забыть того чувства изумления и ужаса, с которым я глядел, как, прыгая в эти окна, обрушиваясь вниз и смешиваясь с нами *pêle-mêle**, колотя по чем попало, лягаясь, царапаясь и истошно вопя, в зал ворвалась целая армия каких-то существ, которых я принял за шимпанзе, орангутангов или громадных черных бабуинов⁷ с мыса Доброй Надежды.

Я получил страшный удар, и скатившись под диван, лежал не шевелясь. Пробыв в таком положении больше часа, на протяжении которого я внимательнейшим образом прислушивался к тому, что происходило в комнате, я дождался благоприятного завершения этой трагедии. Оказалось, что мосье Майяр, излагая мне историю сумасшедшего, который подговорил своих товарищей взбунтоваться, просто-напросто рассказывал о своих собственных подвигах. Года два-три тому назад этот джентльмен действительно был главным врачом этой лечебницы, но сам помещался и превратился, таким образом, в пациента. Мой попутчик, который меня представил, ничего об этом не знал. Захватив врасплох надзирателей (их было десять человек), сумасшедшие прежде всего как следует вымазали их смолой, потом старательно вываляли в перьях и наконец заперли в подвале, в изоляторах. Так они пробыли в заключении больше месяца, и все это время мосье Майяр благородно снабжал их не только смолой и перьями (которые были составными частями его «системы»), но также хлебом в известном количестве и водою — в изобилии. Эту последнюю им ежедневно накачивали в камеры насосом. В конце концов один из них выбрался через сточную трубу и освободил всех остальных.

«Система поблажек», с необходимыми поправками, вновь заняла свое место в *château*. Все же я не могу не согласиться с мосье Майяром, что его «метод лечения» был в своем роде чрезвычайно удачен. Как он справедливо заметил, это была система простая, ясная, никакого беспокойства не доставляла, никакого — даже самого ничтожного!

Должен только добавить, что все мои поиски сочинений доктора Смоля и профессора Перро, — а в погоне за ними я обшарил все библиотеки Европы, — окончились ничем, и я по сей день не достал ни одного из их трудов.

* Беспорядочно, в одну кучу (франц.).

ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МИСТЕРОМ ВАЛЬДЕМАРОМ

Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки, хотя бы на время, или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование — именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне — в публике распространились неверные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.

Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты — насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему.

В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам месмеризма¹, а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение — никто еще не подвергался месмерическому воздействию *in articulo mortis**. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии действию гипноза; во-вторых, ослаблено ли оно при этом или же усилено; а в-третьих, в какой степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти заинтересовали меня более всего — в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности.

Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе «*Bibliotheca Forensica*»** и авторе (под nom de plume*** Иссахара Маркса) польских переводов «Валленштейна»² и «Гаргантюа». Мистер Вальдемар, с 1839 года проживавший главным образом в Гарлеме (штат Нью-Йорк), обращает (или обращал) на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой — нижние конечности у него очень походили на ноги Джона Рандолфа³, — а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик. Он был чрезвычайно нервен и, следовательно, был подходящим объектом для гипнотических опытов. Раза два или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не

* В состоянии агонии (лат.).

** Судебной библиотеки (лат.).

*** Псевдонимом (франц.).

оправдал ожиданий, которые естественно вызывала его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается *clairvoyance** то опыты с ним вообще не дали надежных результатов. Свои неудачи в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чахотку. О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и не вызывающем сожалений.

Когда у меня возникли приведенные выше вопросы, я, естественно, вспомнил о мистере Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философскую твердость, чтобы опасаться возражений с его стороны; и у него не было в Америке родных, которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю «к моему удивлению», ибо хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он их одобрял. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода; и мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, когда доктора предскажут его кончину.

Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мистера Вальдемара следующую собственноручную записку:

Любезный П.!

Пожалуй, вам следует приехать *сейчас*. Д. и Ф. в один голос утверждают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они вычислили довольно точно.

Вальдемар

Я получил эту записку через полчаса после того как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его десять дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое время. Лицо его приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу. Мокрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. Он ясно говорил — без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние, — а когда я вошел, писал что-то карандашом в записной книжке. Он полулежал, обложенный подушками. При нем были доктора Д. и Ф.

Пожав руку Вальдемара, я отвел этих джентльменов в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвествилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных

* Ясновидения (франц.).

каверн, а в одном месте имелась сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обызвествление шло необычайно быстро; еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены лишь в последние три дня. Помимо чахотки, у больного подозревали аневризм аорты, однако обызвествление не позволяло диагностировать его точно. По мнению обоих докторов, мистер Вальдемар должен был умереть на следующий день (воскресенье) к полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера.

Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться; однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера.

После их ухода я откровенно заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно о предполагаемом опыте. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я не чувствовал себя вправе начинать подобное дело, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика (мистера Теодора Л-ла), с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я намеревался дождаться врачей; но пришлось начать раньше, во-первых, по настоянию мистера Вальдемара, а во-вторых, потому, что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал.

Мистер Л-л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей *verbatim** или с некоторыми сокращениями.

Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить возможно явственнее, что он (мистер Вальдемар) по доброй воле подвергается в своем нынешнем состоянии месмеризации.

Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно: «Да, я хочу подвергнуться месмеризации», и тут же добавил: «Боюсь, что вы слишком долго медлили».

Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Первое прикосновение моей руки к его лбу сразу подействовало, но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого, когда пришли, как было условлено, доктора Д. и Ф. Я в нескольких словах объяснил им, чего я добиваюсь, и, так как они не возражали, установив, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от боковых пассов к продольным и устремив взгляд на правый глаз умирающего.

* Дословно (лат.).

К этому времени пульс у него уже не ощущался, а хриплое дыхание вырывалось с промежутками в полминуты.

В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились, то есть не стали слышны; дыхание осталось все таким же редким. Конечности больного были холодны, как лед.

Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки месмерического состояния. В остеклевенных глазах появился тот тоскливо устремленный *внутрь* взгляд, который наблюдается только при гипнотическом сне и на счет которого невозможно ошибиться. Несколькими быстрыми боковыми пассажами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими — закрыл их. Этим я, однако, не удовольствовался и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги были вытянуты, руки положены вдоль тела, на некотором расстоянии от бедер. Голова была слегка приподнята.

Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мистера Вальдемара. Проведя несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий гипнотический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л-л, сиделка и служитель также остались.

Мы не тревожили мистера Вальдемара почти до трех часов пополудни; подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он находился перед уходом доктора Ф., то есть он лежал в том же положении; пульс не ощущался; дыхание было очень слабым (и заметным лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам); глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее это отнюдь не была картина смерти.

Приблизившись к мистеру Вальдемару, я попробовал повести его руку за своей, тихонько водя ею перед ним. Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хотя и слабо, последовала за всеми движениями моей. Я решил попытаться с ним заговорить.

— Мистер Вальдемар, — спросил я, — вы спите? — Он не отвечал, но я заметил, что губы его дрогнули, и повторил вопрос снова и снова. После третьего раза по всему его телу пробежала легкая дрожь; веки приоткрылись, обнаружив полоски белков; губы нехотя задвигались, и из них слышался едва различимый шепот:

— Да, сейчас сплю. Не будите меня! Дайте мне умереть так!

Я ощупал его тело, оказавшееся по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повиноваться движениям моей. Я снова спросил спящего:

— А как боль в груди, мистер Вальдемар?

На этот раз он ответил немедленно, но еще тише чем прежде:

— Ничего не болит — умираю.

Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед восходом солнца и был несказанно удивлен, застав пациента еще живым. Пощупав у спящего пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, ответ заставил себя ждать несколько минут; за это время умирающий словно собирался с силами, чтобы заговорить. Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти неслышно:

— Да, все еще сплю — умираю.

По моему, вернее, по желанию врачей, мистера Вальдемара надо было теперь оставить в его, по видимости, спокойном состоянии вплоть до наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос.

В это время в лице спящего произошла заметная перемена. Глаза его медленно раскрылись, зрачки закатились, кожа приобрела трупный оттенок, не пергаментный, но скорее белый, как бумага, а пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно погасли. Я употребляю это слово потому, что их внезапно исчезновение напомнило мне именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала; нижняя челюсть отвалилась с отчетливым стуком, и в широко раскрывшемся рту показался распухший и почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти; но так страшен был в тот миг вид мистера Вальдемара, что все отпрянули от постели.

Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказать мне верить. Однако мое дело — просто продолжать рассказ.

Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижных разинутых челюстей послышался голос — такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно по той простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда — и считаю сейчас — характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас — по крайней мере до меня — словно издали или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятым), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.

Я говорю о «звуках» и «голосе». Этим я хочу сказать, что звуки были вполне — и даже пугающе — членораздельными. Мистер Вальдемар *заговорил* — явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал: — Да — нет — я спал — а теперь — теперь — я умер.

Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, ледящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Л-л (студент-медик) лишился чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты и ни за что не захотели вернуться. Собственные мои ощущения я не берусь описывать. В течение почти часа мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л-ла. Когда он очнулся, мы снова занялись мистером Вальдемаром.

Состояние его оставалось во всем таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. Я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком месмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. Казалось, он пытался ответить, но усилия оказывались недостаточными. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих гипнотическую *связь*. Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии усыпленного. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л-лом.

После полудня мы снова пришли взглянуть на пациента. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли его разбудить, однако скоро все согласилось, что ничего хорошего мы этим не достигнем. Было очевидно, что смерть (или то, что под нею обычно разумеют) была приостановлена действием гипноза. Всем нам было ясно, что, разбудив мистера Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть.

С тех пор и до конца прошлой недели — в течение почти семи месяцев — мы ежедневно посещали дом мистера Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время спящий оставался в точности таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно.

В прошлую пятницу мы, наконец, решили разбудить или попытаться разбудить его; и (быть может) именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения.

Чтобы вывести мистера Вальдемара из гипнотического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было частичное опущение радужной оболочки глаз. Мы отметили, что это движение зрачков сопро-

вождалось обильным выделением (из-под век) желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом.

Мне предложили воздействовать, как прежде, на руку пациента. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?

На щеки мгновенно вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее задергался, во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченеными), и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес:

— Ради бога! — скорее! — скорее! — усыпите меня, или скорее! — разбудите! скорее! — *Говорят вам, что я умер!*

Я был потрясен и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попытался снова усыпить пациента, но, не сумев этого сделать из-за полного ослабления воли, я пошел в обратном направлении и столь же энергично принялся его будить. Скоро я увидел, что мне это удается — по крайней мере я рассчитывал на полный успех — и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения пациента.

Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто.

Пока я торопливо проделывал гипнотические пассы, а с языка, но не с губ, страдальца *рвались* крики: «умер!», «умер!», все его тело — в течение минуты или даже быстрее — осело, расплзлось, *разложилось* под моими руками. На постели перед нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса.

СФИНКС

Во время страшного владычества холеры в Нью-Йорке¹ я воспользовался приглашением одного из моих родственников провести у него две недели в *cottage orné** на берегу Гудзона. В нашем распоряжении были все обычные летние развлечения; прогулки по лесу, рисование с натуры, катание на лодках, рыбная ловля, купание, музыка и книги позволили бы нам провести время довольно приятно, если бы не страшные известия, каждое утро доходившие к нам из огромного города. Не было дня, чтобы мы не узнавали о смерти того или иного знакомого. По мере усиления эпидемии мы научились ежедневно ожидать потери кого-то из друзей. Под конец мы со страхом встречали появление любого вестника. Самый ветер с юга, казалось, дышал смертью. Эта леденящая мысль всецело завладела моей душой. Ни о чем другом я не мог говорить, думать или грезить во сне. Мой хозяин отличался меньшей впечатлительностью и, хотя был сильно подавлен, всячески старался подбодрить меня. Его философский ум никогда не поддавался призракам. К реальным ужасам он был достаточно восприимчив, но их тени не вызывали у него страха.

Его старания рассеять мое болезненное, мрачное настроение оказывались почти безуспешны по вине некоторых книг, которые я обнаружил в его библиотеке. Их содержание было способно вызвать к жизни все семена наследственных суеверий, таившиеся в моей душе. Я прочел эти книги без его ведома, и он поэтому зачастую не мог понять причин, столь сильно действовавших на мое воображение.

Любимой темой моих разговоров были приметы и знамения — веру в знамения я одно время готов был отстаивать почти всерьез. На эту тему у нас происходили долгие и оживленные споры; он говорил о полной беспочвенности подобных верований, я же утверждал, что убеждение, возникающее в народе совершенно стихийно — никем не внушенное, — само по себе содержит несомненную долю истины и имеет право на уважение.

Дело в том, что вскоре по приезде в коттедж со мной произошло нечто до того необъяснимое и зловещее, что мне простительно было счесть это предзнаменованием. Я был настолько подавлен и вместе с тем озадачен, что прошло много дней, прежде чем я решился рассказать об этом моему другу.

На исходе очень жаркого дня я сидел с книгою в руках возле открытого окна, откуда открывался вид на берега реки и на отдаленный холм, который с ближайшей к нам стороны оказался почти безлесным вследствие так называемого оползня. Мысли мои уже давно отвлеклись от книги и пере-

* Даче, загородном домике (франц.).

неслись в соседний с нами город, где царило уныние и ужас. Подняв глаза от страницы, я увидел обнаженный склон, а на нем — отвратительного вида чудовище, которое быстро спустилось с холма и исчезло в густом лесу у его подножия. При появлении этого существа я сперва подумал, не сошел ли я с ума, и во всяком случае не поверил своим глазам; прошло немало времени, пока я убедился, что не безумен и не сплю. Но если я опишу чудовище, которое я ясно увидел и имел время наблюдать, пока оно спускалось по склону, читателям еще труднее, чем мне, будет в него поверить.

Размеры чудовища, о которых я судил по стволам огромных деревьев, мимо которых оно двигалось, — немногих лесных гигантов, устоявших во время оползня, — были значительно больше любого из океанских судов. Я говорю «судов», ибо чудовище напоминало их своей формой — корпус нашего семидесятичетырехпушечного военного корабля может дать довольно ясное представление о его очертаниях. Рот у него помещался на конце хобота длиной в шестьдесят-семьдесят футов, а толщиной примерно с туловище слона. У основания хобота чернели кочья густой шерсти — больше чем на шкурах дюжины бизонов; оттуда торчали книзу и вбок два блестящих клыка вроде кабаньих, только несравненно больше. По обе стороны хобота тянулось по гигантскому рогу футов в тридцать-сорок, призматическому и казавшемуся хрустальным — в них ослепительно отражались лучи заходящего солнца. Туловище было клинообразным и острием направлено вниз. От него шли две пары крыльев, каждая длиной почти в сто ярдов; они располагались одна над другой и были сплошь покрыты металлической чешуей, где каждая чешуйка имела в диаметре от десяти до двенадцати футов. Я заметил, что верхняя пара соединялась с нижней толстой цепью. Но главной особенностью этого страшного существа было изображение черепа, занимавшее почти всю его грудь и ярко белевшее на его темном теле, словно тщательно выписанное художником. Пока я глядел на устрашающее животное и особенно на рисунок на его груди с ужасом и предчувствием близкой беды, которое я не в силах был побороть никакими усилиями разума, огромные челюсти, помещавшиеся на конце его хобота, внезапно раскрылись, и из них раздался громкий и горестный вопль, прозвучавший в моих ушах зловеющим предвестием; едва чудовище скрылось внизу холма, как я без чувств упал на пол.

Когда я очнулся, первым моим побуждением было, разумеется, сообщить моему другу все, что я видел и слышал, — и я затрудняюсь объяснить чувство отвращения, которое почему-то меня удержало.

Но как-то вечером, дня через три или четыре после этого события, мы вместе сидели в комнате, где мне предстало видение; я сидел в том же кресле у окна, а он полулежал вблизи от меня на софе. Вызванные временем и местом ассоциации побудили меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал меня до конца, сперва смеясь от души, а затем сделался необычайно серьезен, словно не сомневался в моем помешательстве. В эту минуту я снова ясно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него. Мой друг внимательно посмотрел, но стал уверять, что ничего не

видит, хотя я подробно описал ему, как оно спускается по оголенному склону холма.

Моему ужасу не было предела, ибо я счел видение предвестием моей смерти или, еще хуже, симптомом надвигающегося безумия. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я открыл глаза, видения уже не было.

К моему хозяину, напротив, вернулось в значительной мере его прежнее спокойствие, и он очень подробно расспросил меня о внешнем виде фантастического создания. Когда я вполне удовлетворил его на этот счет, он испустил глубокий вздох облегчения, точно избавился от непосильного бремени, и с хладнокровием, показавшимся мне жестоким, вернулся к прерванному разговору о некоторых вопросах умозрительной философии. Помню, что он между прочим особенно подчеркнул мысль, что главным источником всех человеческих заблуждений является склонность разума недооценивать или переоценивать какой-либо предмет из-за простой ошибки в определении расстояния. «Так, например, — сказал он, — для правильной оценки влияния, какое окажет на человечество повсеместное распространение демократии, непременно следовало бы принимать во внимание отдаленность эпохи, когда это распространение завершится. А между тем можете ли вы указать хотя бы одного автора, пишущего о формах правления, который считал бы этот вопрос достойным внимания?»

Тут он на мгновение остановился, подошел к книжному шкафу и достал элементарный курс естественной истории. Попросив меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было разбирать мелкую печать, он сел в мое кресло у окна и, открыв книгу, продолжал почти тем же тоном, что и прежде.

— Если бы не ваше подробное описание чудовища, — сказал он, — я, пожалуй, не смог бы показать вам, что это такое. Прежде всего позвольте прочесть вам школьное описание рода *Sphinx*, семейство *Crepuscularia*, отряд *Lepidoptera*, класс *Insecta*, то есть насекомых. Вот это описание:

«Четыре перепончатых крыла, покрытых цветными чешуйками с металлическим блеском; рот в виде закрученного хоботка, образованного продолжением челюстей; по сторонам его — зачатки жвал и пушистые щупики. Нижняя пара крыл соединена с верхней посредством жестких волосков; усики в виде удлиненной призматической булавы; брюшко заостренное. Сфинкс Мертвая Голова иногда внушает немалый страх непросвещенным людям из-за печального звука, который он издает, и эмблемы смерти на его щитке».

Он закрыл книгу и наклонился вперед, чтобы найти в точности то положение, в котором сидел я, когда увидел чудовище.

— Ну да, вот оно! — воскликнул он, — сейчас оно ползет вверх, и должен признать, вид у него необыкновенный. Однако оно не так велико и не так удалено от вас, как вы воображали; оно ползет по паутине, которую какой-нибудь паук протянул вдоль оконной рамы, и я вижу, что длина его — не более одной шестнадцатой дюйма, и такое же расстояние — одна шестнадцатая дюйма — отделяет его от моего зрачка.

БОЧОНОК АМОНТИЛЬЯДО

Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено; но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.

Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, — для того, чтобы удобнее надуть английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.

Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, — как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.

Я сказал ему:

— Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.

— Что? — сказал он. — Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!

— У меня есть сомнения, — ответил я, — и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

- У меня сомнения.
- Амонтильядо!
- И я должен их рассеять.
- Амонтильядо!
- Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези. Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет. . .
- Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.
- А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.
- Идемте.
- Куда?
- В ваши погреба.
- Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези. . .
- Я не занят. Идем.
- Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.
- Все равно, идем. Простуда — это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези — он не отличит хереса от амонтильядо.
- Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.
- Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернуться не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.
- Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов, Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезорров.
- Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.
- Где же бочонок? — сказал он.
- Там, подальше, — ответил я. — Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья. Как она сверкает!
- Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.
- Селитра? — спросил он после молчания.
- Селитра, — подтвердил я. — Давно ли у вас этот кашель?
- Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!

В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.

— Это пустяки, — выговорил он наконец.

— Нет, — решительно сказал я, — вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы вознаграждаемой утратой. Другое дело я — обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболели, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези...

— Довольно! — воскликнул он. — Кашель — это вздор, он меня не убьет. Не умру же я от кашля.

— Конечно, конечно, — сказал я, — и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медака защитит нас от вредного действия сырости.

Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.

— Выпейте, — сказал я, подавая ему вино.

Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.

— Я пью, — сказал он, — за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Эти склепы, — сказал он, — весьма обширны.

— Монтрезоры — старинный и плодовитый род, — сказал я.

— Я забыл, какой у вас герб?

— Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.

— А ваш девиз?

— *Nemo me impune lacessit* *.

— Недурно! — сказал он.

Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку выше локтя.

— Селитра! — сказал я. — Посмотрите, ее становится все больше. Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель...

— Кашель — это вздор, — сказал он. — Идем дальше. Но сперва еще глоток медака.

Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял.

* Никто не оскорбит меня безнаказанно¹ (лат.).

Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Значит, вы не принадлежите к братству.

— Какому?

— Вольных каменщиков².

— Нет, я каменщик, — сказал я.

— Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?

— Да, да, — ответил я. — Да, да.

— Знак, — сказал он, — дайте знак.

— Вот он, — ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.

— Вы шутите, — сказал он, отступая на шаг. — Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.

— Пусть будет так, — сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели, вместо того чтобы гореть ярким пламенем.

В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, — точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем³. Три стены были украшены таким образом; с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую грудку. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша, размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.

Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.

— Войдите, — сказал я. — Амонтильядо там. А что до Лукрези...

— Лукрези невежда, — прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг — и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг — и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого — замок. Несколько секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу.

— Проведите рукой по стене, — сказал я. — Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас — вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей власти.

— Амонтильядо! — вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.

— Да, — сказал я, — амонтильядо.

С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу.

Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий, и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряды. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.

Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке, и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и кричавший умолк.

Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил восьмой, девятый и десятый ряды. Я довел почти до конца одиннадцатый и последний, оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортунато.

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палатку — хи-хи-хи! — за бокалом вина — хи-хи-хи!

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палатке... и синьора Фортунато и гости? .. Пойдемте.

— Да, — сказал я. — Пойдемте.

— Ради всего святого, Монрезор!

— Да, — сказал я. — Ради всего святого.

Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпенье. Я громко позвал:

— Фортунато!

Молчание. Я позвал снова.

— Фортунато!

По-прежнему молчание. Я просунул факел в незаделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало: конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнюю ограду из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. *In pace requiescat!* *

* Да почиет в мире! ⁴ (лат.).

MELLONTA TAUTA *

Редактору «Ледиз бук»

Имею честь послать вам для вашего журнала материал, который вы, надеюсь, поймете несколько лучше, чем я. Это перевод, сделанный моим другом Мартином Ван Бюрен Мэвисом² (иногда называемым Пророком из Покипси³) со странной рукописи, которую я, около года назад, обнаружил в плотно закупоренной бутылке, плававшей в *Mare Tenebrarum* ** — море это отлично описано нубийским, географом⁴, но в наши дни посещается мало, разве только трансценденталистами и ловцами редкостей.

Преданный вам

Эдгар А. По

С борта воздушного шара «Жаворонок»

1 апреля 2848

Ну-с, дорогой друг, за ваши грехи вы будете наказаны длинным, болтливым письмом. Да, повторяю, за все ваши выходки я намерена покарать вас самым скучным, многословным, бессвязным и бестолковым письмом, какое только мыслимо. К тому же я томлюсь в тесноте на этом мерзком шаре, вместе с сотней-другой *capaille* ***, отправившихся в *увеселительную* поездку (странное понятие об увеселениях имеют иные люди!), и, очевидно, не ступлю на *terra firma* **** по крайней мере месяц. Поговорить не с кем. Делать нечего. А когда нечего делать — это самое подходящее время для переписки с друзьями. Видите теперь, отчего я пишу это письмо, — из-за своей *еппи* ***** и ваших прегрешений.

Итак, достаньте очки и приготовьтесь скучать. Во время этого несносного полета я намерена писать вам ежедневно.

Ах, когда же наконец человеческий ум создаст нечто *Новое*? Неужели мы осуждены вечно терпеть бесчисленные неудобства воздушного шара? Неужели *никто* не изобретет более быстрого способа передвижения? По-моему, эта мелкая рысца — сущая пытка. Честное слово, мы делаем не более ста миль в час, с тех пор как отравились! Птицы, и те нас обго-

* То в будущем¹ (греч.).

** Море мрака (лат.).

*** Сброда (франц.).

**** Твердую землю (лат.).

***** Скуки (франц.).

няют, во всяком случае некоторые из них. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю. Разумеется, наше движение кажется медленнее, чем оно есть в действительности, ибо вокруг нас нет предметов, которые позволили бы судить о нашей скорости, а также потому, что мы летим по ветру. Конечно, когда нам встречается другой шар, мы замечаем собственную скорость, и тогда, надо признать, дело выглядит не столь уж плохо. Хотя я и привыкла к этому способу передвижения, у меня кружится голова всякий раз, когда какой-нибудь шар пролетает в воздушном течении прямо над нами. Он всегда кажется мне гигантской хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в когтях. Один такой пролетел над нами сегодня на восходе солнца и настолько близко, что его гайдроп задел сетку, на которой подвешена наша корзина, и немало нас напугал. Наш капитан сказал, что если бы наша оболочка была сделана из дрянного лакированного «шелка», применявшегося пятьсот и тысячу лет назад, мы наверняка получили бы повреждения. Этот шелк, как он мне объяснил, был тканью, изготовленной из внутренностей особого земляного червя. Червя заботливо откармливали тутовыми ягодами — это нечто вроде арбуза — а когда он был достаточно жирен, его размальывали. Полученная паста в первоначальном виде называлась *папирусом*, а затем подвергалась дальнейшей обработке, пока не превращалась в «шелк». Как это ни странно, он некогда очень ценился в качестве материи для женской одежды! Из него же обычно делались и оболочки воздушных шаров. Впоследствии, по-видимому, удалось найти лучший материал в семенных коробочках растения, которое в просторечии называлось *euphorbium*, а тогдашним ботаникам было известно под названием молочая. Этот вид шелка за особую прочность называли шелковым бекингом и обычно покрывали раствором каучука, кое в чем, видимо, похожего на *гуттаперчу*, широко применяемую и в наше время. Каучук иногда называли также гуммиластиком или гуммиарабиком; это несомненно был один из многочисленных видов *грибов*. Надеюсь, вы не станете теперь отрицать, что я в душе археолог.

Кстати, о гайдропях — наш только что сбил человека с борта одного из небольших пароходиков на магнитной тяге, которыми кишит поверхность океана, — измещением около шести тысяч тонн и, очевидно, безобразно перегруженного. Этим малым судам следовало бы запретить перевозить больше установленного числа пассажиров. Разумеется, человека не приняли обратно на борт, и он вскоре исчез из виду вместе со своим спасательным кругом. Как я рада, дорогой друг, что мы живем в истинно прсвещенный век, когда отдельная личность ничего не значит. Подлинное Человеколюбие заботится только о массе. Кстати о Человеколюбии — известно ли вам, что наш бессмертный Уиггинс не столь уж оригинален в своей концепции Социальных Условий и т. п., как склонны думать его современники? Пандит уверяет меня, что те же мысли и почти в той же форме были высказаны около тысячи лет назад одним ирландским философом, носившим имя Фурже⁵ — потому что он торговал в розницу

фуражом. А уж Пандит знает, что́ говорит; никакой ошибки тут быть не может. Удивительно, как подтверждается ежедневно глубокомысленное замечание индуса Арис Тоттля⁶ (цитирую по Пандиту): «Вот и придется нам сказать, что не однажды и не дважды или несколько раз, но почти до бесконечности одни и те же взгляды имеют хождение среди людей».

2 апреля. — Окликнули сегодня магнитный катер, ведающий средней секцией плавучих телеграфных проводов. Я слышала, что, когда Хорзе⁷ впервые сконструировал этот тип телеграфа, никто не знал, как проложить провода через океан, а сейчас нам просто непонятно, в чем заключалась трудность! Такова жизнь. *Tempora mutantur** — извините, что цитирую этруска. Что бы мы делали без атлантического телеграфа? (Согласно Пандиту, древняя форма этого прилагательного была «атлантический».) Мы на несколько минут легли в дрейф, чтобы задать катеру ряд вопросов, и в числе других интересных новостей услышали, что в Африке бушует гражданская война, а чума делает свое благое дело и в Европе и в Айшии. Подумать только, что раньше, до того как Гуманизм озарил философию своим ярким светом, человечество считало Войну и Чуму бедствиями. В древних храмах даже молились об избавлении людей от этих бед (!). Право, трудно понять, какую выгоду находили в этом наши предки! Неужели они были так слепы, что не понимали, насколько уничтожение какого-нибудь миллиарда отдельных личностей полезно для общества в целом?

3 апреля. — Очень интересно взбираться по веревочной лестнице на верхушку шара и обозревать оттуда окружающее. В корзине, как вы знаете, видимость не так хороша — по вертикали мало что можно увидеть. Но там, где я сейчас пишу это письмо, на открытой площадке, усталой роскошными подушками, отлично видно во все стороны. Сейчас я как раз вижу множество воздушных шаров, представляющих весьма оживленное зрелище, а в воздухе стоит гул многих миллионов голосов. Я слышала, что, когда Брин (Пандит утверждает, что правильнее будет: Дрин⁹), считающийся первым аэронавтом, доказывал возможность двигаться в воздухе во всех направлениях и для этого подниматься или опускаться, пока не попадешь в нужное воздушное течение, современники не хотели об этом слышать и считали его за одаренного безумца — а все потому, что тогдашние философы (?) объявили это неосуществимым. Право, я совершенно не постигаю, как такая очевидная вещь могла быть недоступна пониманию древних savans**. Впрочем, во все времена самые большие препятствия прогрессу Искусств чинили так называемые люди науки. Конечно, наши ученые далеко не столь нетерпимы, как прежние, — ах, на эту тему я могу сообщить нечто удивительное. Представьте себе, что всего каких-нибудь тысячу лет назад философы освободили людей от странного заблужде-

* Времена меняются⁸ (лат.).

** Ученых (франц.).

ния — будто бы постижение. Истины возможно лишь двумя путями! Хотите верить, хотите — нет! Оказывается, в очень далекие и темные времена жил турецкий (а возможно индусский) философ по имени Арис Тоттль. Этот человек ввел, и во всяком случае проповедовал, так называемый дедуктивный, или *априорный* метод исследования. Он начинал с *аксиом*, то есть «самоочевидных истин», а от них «логически» шел к результатам. Его лучшими учениками были Невклид¹⁰ и Кэнт¹¹. Так вот, Арис Тоттль владел умами вплоть до появления некоего Хогга¹², прозванного «Эттрикский пастух», который предложил совершенно иной метод, названный им *à posteriori**, или *индуктивным*. Он полагался исключительно на Ощущения. От фактов, которые он наблюдал, анализировал и классифицировал, — их высокопарно называли *instantiæ patuæ***,— он шел к общим законам. Одним словом, система Ариса Тоттля основывалась на *пошмена****; система Хогга — на *phenomena*****. Восхищение новой теорией было столь велико, что Арис Тоттль утратил всякое значение; правда, позднее он вернул свои позиции и ему позволили разделить трон Истины со своим более современным соперником. *Savans* стали считать метод Ариса Тоттля и метод *беконовский* единственными путями к познанию. Надо заметить, что слово «беконовский» было введено в качестве более благозвучного и пристойного эквивалента слова «хогговский».

И уверяю вас, дорогой друг, что я излагаю все это объективно и по самым надежным источникам; понятно, насколько эта явно нелепая концепция задерживала прогресс всякого истинного знания, которое почти всегда развивается интуитивно и скачкообразно. Старая же система сводила научное исследование к продвижению *ползком*; в течение сотен лет влияние Хогга было столь велико, что по существу закрыло путь всякому подлинному мышлению. Никто не решался провозгласить ни одной истины, если был обязан ею только собственному *Духу*. Пусть даже эта истина была *доказуема*, все равно тогдашних твердолобых *savans* интересовало только *путь*, каким она была достигнута. На результат они не ждали и *смотреть*. «Каким путем?» — вопрошали они, — «покажите, каким путем». Если оказывалось, что этот путь не подходил ни под Ариса (по-латыни: *Овна*), ни под Хогга, ученые не шли дальше, а попросту объявляли «теоретика» *глупцом* и знать не хотели ни его, ни его открытия.

Между тем, ползучая система не давала возможности постичь наибольшего числа истин, даже за долгие века, ибо подавление *воображения* является таким злом, которого не может искупить никакая *точность* старых методов исследования. Заблуждение этих гурманцев, рандуссов, аглинчан

* Букв. «от последующего», т. е. исходя из опыта (лат.).

** Природными данностями (лат.).

*** Вещах в себе (лат.).

**** Явлениях (лат.).

и амриканцев (последние, кстати сказать, являются нашими предками) было подобно заблуждению человека, который полагает, что видит предмет тем лучше, чем ближе подносит его к глазам. Они ослепляли себя соверчением мелких подробностей. Когда они рассуждали по-хогговски, их «факты» отнюдь не всегда были фактами — но это бы еще не имело большого значения, если бы они не утверждали, что факты *должны* быть таковыми, раз таковыми кажутся. Когда они шли за Овном, их путь получался едва ли не извилистей его рогов, ибо у них *никогда не оказывалось* аксиомы, которая была бы действительно аксиомой. Надо было быть совершенно слепым, чтобы не видеть этого даже в те времена, ибо уже тогда многие из давно «установленных» аксиом были отвергнуты. Например, «*Ex nihilo nihil fit*»^{*}; «Никто не может действовать там, где его нет»; «Антиподов не существует»; «Из света не может возникнуть тьма» — все эти и десяток других подобных положений, прежде безоговорочно принимавшихся за аксиомы, в то время, о котором я говорю, уже были признаны несостоятельными. До чего же нелепа была упорная вера в «аксиомы» как неколебимые основы Истины! Тщету и призрачность всех их аксиом можно доказать даже цитатами из наиболее серьезных тогдашних логиков. А кто был у них наиболее серьезным логиком? Минутку! Пойду спрошу Пандита и мигом вернусь... Вот! Передо мною книга, написанная почти тысячу лет назад, а недавно переведенная с аглиского — от которого, кстати, произошел, видимо, и амриканский. Пандит говорит, что это — несомненно лучшее из древних сочинений по логике. Автором его (в свое время очень чтимым) был некто Миллер или Милль¹⁴; сохранились сведения, что у него была лошадь по имени Бентам¹⁵. Заглянем, однако, в его трактат.

Вот! «Способность или неспособность познать что-либо», — весьма резонно замечает мистер Милль, — ни в коем случае не должна приниматься за критерий неопровержимой истины». Ну, какой нормальный человек *нашего времени* станет оспаривать подобный трюизм? Приходится лишь удивляться, почему мистер Милль вообще счел нужным указывать на нечто столь очевидное. Пока все хорошо — но перевернем страницу. Что же мы читаем? «Противоречащие один другому факты не могут быть оба верны — то есть не уживаются в природе». Здесь м-р Милль хочет сказать, что, например, дерево должно либо быть деревом, либо нет и не может одновременно быть и деревом и не деревом. Отлично; но я спрашиваю его, *отчего?* Он отвечает следующим образом, именно следующим образом: «Потому что невозможно постичь, как противоречащие друг другу вещи могут быть обе верны». Но ведь это вовсе не ответ, как сам же он признает; ведь признал же он только что за очевидную истину, что «способность или неспособность познать ни в коем случае не должна приниматься за критерий истины».

* Ничто не происходит из ничего¹³ (лат.).

Однако эти древние возмущают меня не столько тем, что их логика, по собственному их признанию, совершенно несостоятельна, беспочвенна и непригодна, сколько той надменностью и тупостью, с какой они налагали запрет на все *иные* пути к Истине, на все *иные* способы ее достичь, кроме двух абсурдных путей — где надо либо ползти, либо карабкаться, — на которые они осмелились обречь Душу, тогда как она стремится прежде всего *парить*.

Кстати, дорогой друг, эти древние догматики ни за что не догадались бы, — не правда ли? — каким из их двух путей была достигнута наиболее важная и высокая из *всех* их истин. Я имею в виду закон Тяготения. Ньютон обязан им Кеплеру. А Кеплер признавал, что *угадал* свои три закона — те три важнейших закона, которые привели великого английского математика к его главному принципу, основному для всей физики, за которым начинается уже Царство Метафизики. Кеплер *угадал* их — иными словами, *вообразил*. Он был истинным «теоретиком» — это слово, ныне священное, некогда было презрительной кличкой. Ну, как сумели бы эти старые кроты объяснить, каким из двух «путей» специалист по криптографии расшифровывает особо сложную криптограмму и по какому из них Шампольон направил человечество к тем непреходящим и почти неисчислимым истинам, которые явились следствием прочтения им Иероглифов?

Еще два слова на эту тему, которая вам уже наверное наскучила. Не странно ли *свыше всякой меры*, что при их вечной болтовне о путях к Истине эти рутинеры не нашли самой широкой дороги к ней, той, которая сейчас видна нам так ясно, — дороги Последовательности? Не странно ли, что из созерцания творений бога они не сумели извлечь наиболее важного факта, а именно, что абсолютная последовательность *должна быть* и абсолютной истиной? Насколько упростился путь прогресса после этого недавнего открытия! Исследования были отняты у кротов, рывшихся в земле, и поручены единственному подлинным мыслителям — людям пылкого воображения. Они *теоретизируют*. Воображаете, какое презрение вызвали бы мои слова у наших пращуров, если бы они могли сейчас видеть, что я пишу! Повторяю, эти люди *теоретизируют*; а затем остается эти теории выправить, систематизировать — постепенно очищая их от примесей непоследовательности — пока не выявится абсолютная последовательность, а ее — именно потому, что это *есть* последовательность, — даже тупицы признают за абсолютную и бесспорную истину.

4 апреля. — Новый газ творит чудеса в сочетании с новой, усовершенствованной гуттаперчей. Насколько наши современные воздушные шары надежны, комфортабельны, легко управляемы и во всех отношениях удобны! Сейчас один из таких огромных шаров приближается к нам со скоростью по крайней мере ста пятидесяти миль в час. Он, по-видимому, полон пассажиров — их три или четыре сотни — но тем не менее *парит* на высоте около мили, презрительно поглядывая сверху на нас бедных.

И все же сто и даже двести миль в час — это, в сущности, медленно. Помните наш поезд, мчавшийся через Канадский материк? — добрых триста миль в час — вот это уже было недурно. Правда, никакого обзора — оставалось только флиртовать, угощаться и танцевать в роскошных салон-вагонах. А помните, какое странное возникало чувство, когда из бешено мчащегося вагона перед нами на мгновение мелькал внешний мир? Все сливалось в сплошную массу. Что касается меня, то я, пожалуй, предпочитала тихоходный поезд, миль на сто в час. Там разрешены остекленные окна — их даже можно открывать — и с некоторой отчетливостью видеть местность... Пандит говорит, что Канадская железная дорога была проложена почти девятьсот лет назад! Он утверждает даже, будто еще можно различить следы дороги, оставшиеся именно от тех далеких времен. Тогда, по-видимому, было всего две колеи; у нас, как вы знаете, их двенадцать; а скоро будут добавлены еще три или четыре. Древние рельсы были очень тонкими и лежали так близко один к другому, что езда по ним, согласно нынешним понятиям, была делом весьма легкомысленным, чтобы не сказать опасным. Даже современная ширина колеи — пятьдесят футов — считается едва достаточной для безопасности движения. Я тоже не сомневаюсь, что какая-то колея должна была существовать уже в весьма давние времена, как утверждает Пандит; мне кажется бесспорным, что в какой-то период — разумеется, не менее семисот лет назад, — Северный и Южный Канадские материки составляли одно целое; так что канадцы по необходимости должны были иметь трансконтинентальную железную дорогу.

5 апреля. — Погибаю от *эпидемии*. Кроме Пандита, не с кем поговорить, а он, бедняга! способен беседовать только о древностях. Он весь день занят тем, что пытается убедить меня, будто у древних амриканцев было самоуправление! — ну где это слыхана подобная нелепость? — будто они жили неким сообществом, где каждый был сам по себе, вроде «луговых собак», о которых мы читаем в преданиях. Он говорит, будто они исходили из чрезвычайно странного принципа, а именно: что все люди рождаются свободными и равными — и это наперекор законам *гравитации*, столь отчетливо проявляющимся всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Каждый у них «голосовал», как это называлось, то есть вмешивался в общественные дела, пока наконец не выяснилось, что общее дело всегда — ничье дело и что «Республика» (так именовалась эта нелепость) по существу не имеет правительства. Рассказывают, впрочем, будто первым, что поколебало самодовольство философов, создавших эту «Республику», явилось ошеломляющее открытие, что всеобщее избирательное право дает возможности для мошенничества, посредством которого любая партия, достаточно подлая, чтобы не стыдиться этих махинаций, всегда может собрать любое число голосов, не опасаясь помех или хотя бы разоблачения. Достаточно было немного поразмыслить над этим открытием, чтобы стало ясно, что мошенники обязательно возьмут верх и что республиканское правительство может

быть только жульническим. Но пока философы краснели, устыдясь своей неспособностью предвидеть это неизбежное зло, и усердно изобретали новые учения, появился некий молодчик по имени *Чернь*, который быстро решил дело, забрав все в свои руки и установив такой деспотизм, рядом с которым деспотизм легендарных Зерона и Геллофагабала¹⁶ был почтенным и приятным. Этот *Чернь* (кстати сказать, иностранец) был, как говорят, одним из гнуснейших созданий, когда-либо обременявших землю. Он был гигантского роста — нагл, жаден и неопрятен; обладал злобностью быка, сердцем гиены и мозгами павлина. В конце концов он скончался от избытка собственной энергии, которая его истощила. Однако и от него была своя польза — как вообще от всего, даже самого гадкого — он преподавал человечеству урок, которого оно не забывает донныне, а именно: никогда не идти наперекор аналогиям, существующим в природе. Что касается Республиканского принципа, то ему на земле не находится даже аналогий — не считая «*клубовых собак*», — а это исключение если что-либо доказывает, так только то, что демократия является отличной формой правления — для собак.

6 апреля. — Вчера ночью нам была отлично видна *Альфа Лиры*; диск ее, если смотреть в подзорную трубу нашего капитана, стягивает угол в пол-градуса и очень похож на наше солнце, как оно видно в туманный день невооруженным глазом. Кстати, *Альфа Лиры*, хотя и несравненно большего размера, вообще весьма похожа на солнце и своими пятнами, и своей атмосферой, и многими другими особенностями. О бинарной зависимости, существующей между этими двумя светилами, стали догадываться лишь в последние сто лет — так говорит мне *Пандит*. Несомненное движение нашей системы в небесах принималось (как это ни странно!) за вращение ее вокруг колоссальной звезды, находящейся в центре галактики. Считали, что именно вокруг этого светила или, во всяком случае, вокруг центра притяжения, общего для всех планет *Млечного Пути* и находящегося предположительно вблизи *Альционы*, в *Созвездии Плеяд*, вращаются все эти планеты, причем наша оборачивается вокруг него за 117 000 000 лет! Нам, при нашем уровне знаний, после крупных усовершенствований телескопа и т. п., разумеется, трудно понять, на каком основании возникла подобная идея. Первым, кто ее провозгласил, был некто *Мадлер*¹⁷. Надо полагать, что к этой странной гипотезе его привела вначале простая аналогия; но если так, ему следовало хотя бы держаться аналогий и далее, развивая ее. Он предположил существование большого центрального светила — и тут он был последователен. Однако это центральное светило динамически должно было быть больше, чем все окружающие светила, взятые вместе. А тогда можно было бы спросить: «Почему же его не видно?» — особенно нам, находящимся в середине скопления, именно там, где должно бы находиться это немислимое центральное солнце, или во всяком случае *вблизи* него. Вероятно, астроном ухватился здесь за гипотезу о несветящемся теле и сразу перестал прибегать к аналогиям. Но, даже допустив, что централь-

ное светило не излучает света, как сумел он объяснить его невидимость, когда вокруг со всех сторон сияли бесчисленные солнца? Несомненно, что в конце концов он стал говорить лишь о центре притяжения, общем для всех вращающихся небесных тел, но для этого ему опять-таки пришлось оставить аналогии. Наша система действительно вращается вокруг общего центра притяжения, но это объясняется существованием настоящего солнца, чья масса более чем уравнивает остальную систему. Математическая окружность представляет собой кривую, состоящую из бесконечного числа прямых; но это представление об окружности, которое в земной геометрии считается именно математическим, в отличие от практического, оно-то именно и является *практическим*, единственным, которое мы имеем право принять для исполненных окружностей, с какими приходится иметь дело, по крайней мере, мысленно, когда мы воображаем вращение нашей системы и соседних с нею вокруг некоей точки в центре галактики. Пусть самое смелое человеческое воображение сделает хотя бы попытку постичь подобную окружность! Едва ли будет парадоксом сказать, что даже молния, *вечно* мчащаяся по этой невообразимой окружности, будет *вечно* мчаться по прямой. Нельзя допустить, что путь нашего солнца по этой окружности и вращение всей нашей системы по такой орбите может, в восприятии человека, отклониться в малейшей степени от прямой даже за миллион лет; а между тем древних астрономов, как видно, удалось убедить, что за краткий период их астрономической истории — то есть за какие-нибудь ничтожные две-три тысячи лет — появилась заметная кривизна! Непонятно, как такие соображения сразу же не указали им на истинное положение вещей — а именно, на двойное обращение нашего солнца и Альфы Лиры вокруг общего центра притяжения.

7 апреля. — Продолжали вчера ночью наши астрономические развлечения. Отчетливо видели пять астероидов Нептуна и с большим интересом наблюдали, как кладут огромный пятовый камень на дверные перекрытия в новом храме в Дафнисе на Луне. Любопытно, что столь миниатюрные и мало похожие на людей создания обладают техническими способностями, намного превосходящими наши. Трудно также поверить, что огромные глыбы, которые они с легкостью передвигают, на самом деле весят так мало, хотя об этом напоминает нам наш разум.

8 апреля. — Эврика! Пандит может блеснуть. Сегодня нас окликнули с канадского воздушного шара и забросили нам несколько свежих газет; в них содержатся чрезвычайно любопытные сообщения о канадских, а точнее американских древностях. Вы, должно быть, знаете, что вот уже несколько месяцев рабочие роют новый водоем в Парадизе, главном увеселительном саду императора. Парадиз с незапамятных времен был, *собственно говоря*, островом — то есть (уже во времена древнейших письменных памятников, какие сохранились) был ограничен с севера речушкой, вернее, очень узким морским протоком. Этот проток постепенно расширился, и сейчас он имеет в ширину милю. В длину остров имеет девять

миль; ширина в разных местах весьма различна. Все это пространство (как говорит Пандит) около восьмисот лет назад было сплошь застроено домами, достигавшими иногда двадцати этажей, так как земля (по неизвестной причине) была именно в этой местности особенно дорога. Однако сильнейшее землетрясение 2050 года настолько разрушило город (ибо он был, пожалуй, великоват для того, чтобы назвать его деревней), что самые усердные из наших археологов так и не смогли найти на этом месте достаточно материала (в виде монет, медалей или надписей), чтобы составить себе хоть самое общее понятие о нравах, обычаях и пр. и пр. прежних жителей. Почти все, что нам было до сих пор о них известно, это — что они принадлежали к дикому племени Никербокеров¹⁸, населявшему материк ко времени его открытия Рекордером Райкером, кавалером Ордена Золотого Руна. Впрочем, совершенно дикими они не были, ибо на свой лад развивали некоторые искусства и даже науки. О них рассказывают, что они во многом обнаруживали смывленность, но были одержимы странной манией: строить «церкви» — так назывались на древне-американском языке пагоды, где поклонялись двум идолам, звавшимся Богатством и Модой. Говорят, что в конце концов остров на девять десятых состоял из церквей. А женщины были у них обезображены разросшимися выпуклостями пониже спины — хотя это уродство, совершенно неизвестно почему, считалось у них красотой. Сохранилась пара чудом уцелевших изображений этих диковинных женщин. Они действительно выглядят очень странно, напоминая одновременно индюка и драматера.

Эти немногие мелочи составляли почти все, что нам было известно о древних Никербокерах. Но сейчас, копая землю в центре императорского сада (который, как вы знаете, занимает весь остров), рабочие откопали обтесанный гранитный куб весом в несколько сот фунтов. Он был в хорошей сохранности и, как видно, почти не пострадал от землетрясения, которое погребло его под слоем земли. К одной из его поверхностей была прикреплена мраморная доска, а на ней (подумать только!) надпись — ясно различимая надпись. Пандит просто вне себя от восторга! Когда доску сняли, под ней оказалось углубление, а в нем — свинцовый ящик, заполненный различными монетами, длинный свиток каких-то имен, несколько печатных листов, похожих на газеты, и другие материалы, столь ценные для археолога! Все это, несомненно, — подлинные американские древности, оставшиеся от племени Никербокеров. В газетах, которые забросили в корзину нашего воздушного шара, помещено много снимков с монет, рукописей, печатных документов и др. Привожу, чтобы вас позабавить, текст никербокеровской надписи на мраморной доске:

ЭТОТ КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ПАМЯТНИКА
ДЖОРДЖУ ВАШИНГТОНУ
ЗАЛОЖЕН С ПОДОБАЮЩЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОСТЬЮ
19 ОКТЯБРЯ 1847 ГОДА,
В ГОДОВЩИНУ СДАЧИ ЛОРДА КОРНВАЛЛИСА ¹⁹
ГЕНЕРАЛУ ВАШИНГТОНУ В ЙОРКТАУНЕ
В ГОД Н. Э. 1781-ЫЙ
ТРУДАМИ
НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ПАМЯТНИКА ВАШИНГТОНУ

Таков дословный перевод надписи, сделанный самим Пандитом, так что никакой ошибки быть не может. Из этих немногих дошедших до нас слов мы узнаём ряд важных вещей, в том числе тот интересный факт, что уже тысячу лет назад настоящие памятники вышли из употребления — как и следовало — и люди стали довольствоваться, как и мы сейчас, простым заявлением о своем намерении воздвигнуть памятник когда-нибудь в будущем; для этого тщательно закладывали краеугольный камень «один, совсем один» (простите эту цитату из великого амриканского поэта Бентона! ²⁰), в залог великодушного намерения. Из той же интересной надписи мы можем с несомненностью установить способ, а также место и объект примечательной сдачи, о которой идет речь. Место указано ясно: Йорктаун (где бы он ни был), а что касается объекта, им был генерал Кормваллис (очевидно, торговал кормами). Именно его и сдали. Надпись увековечила сдачу — чего? ну разумеется «лорда Кормваллиса». Неясным остается только одно: куда эти дикари могли его сдавать. Однако, если вспомнить, что дикари наверняка были каннибалами, то мы придем к выводу, что сдавали его на колбасу. А как именно происходила сдача лорда Кормваллиса (на колбасу), сказано со всей ясностью: «трудами нью-йоркской ассоциации по установке памятника Вашингтону» — это, несомненно, была благотворительная организация, занимавшаяся закладкой краеугольных камней. — Но, Боже! Что случилось? Оказывается шар лопнул и нам предстоит падение в море. Поэтому я едва успею добавить, что бегло ознакомилась с фотографическими копиями тогдашних газет и обнаружила, что великими людьми среди тогдашних амриканцев был некто Джон, кузнец, и некто Захарий, портной ²¹.

До свиданья, до встречи. Не важно, дойдет ли до вас это письмо; ведь я пишу исключительно для собственного развлечения. Тем не менее я запечатаю его в бутылку и брошу в море.

Неизменно ваша
Пандита.

ПРЫГ-СКОК

Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король¹. Казалось, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутовском роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники. Они ходили на короля и тем, что все были тучные, гладкие мужчины, равно как и неподражаемые шутники. То ли люди тучнеют от шуток, то ли в самой тучности заключено нечто, предрасполагающее к шутливости, я никогда не мог в точности определить; но, без сомнения, тощий шутник — *gara avis in terris* *.

Относительно изысков или, как он выражался, «кудреватости» остроумия король очень мало беспокоился. Он особенно ценил *размах* шутки и ради него мирился с ее *длиннотами*. Он бы предпочел «Пантагрюэля» Рабле вольтерову «Задигу»² и, в общем, грубые проказы куда более отвечали его вкусу, нежели словесные остроты.

В пору, к которой относится мое повествование, профессиональные шуты еще не вполне вышли из моды при дворах. Некоторые из великих континентальных «самодержцев» все еще заводили шутов в дурацких колпаках и соответственных нарядах, и в службу им вменялось в любой момент быть наготове и острить ради крох с королевского стола.

Наш король, само собой разумеется, не отказался от «дурака». Дело в том, что ему *требовалось* нечто глупое — хотя для того, дабы уравновесить весомую мудрость семерых мудрецов, служивших ему министрами, не говоря уж о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, однако, не был только шутом. В глазах короля ценность его утраивалась тем, что он был вдобавок карлик и калека. В те дни карлики встречались при дворах так же часто, как и шуты; и многие самодержцы сочли бы затруднительным коротать дни (а дни при дворе тянутся несколько долее, нежели где-нибудь еще), не имея разом и шута, с кем смеяться, и карлика, над кем смеяться. Но, как я ранее заметил, шутят в девяноста девяти случаях из ста неповоротливые толстяки — и оттого король был в немалой мере доволен собою, ибо принадлежавший ему Прыг-Скок (так звали дурака) являл собою тройное сокровище в одном лице.

Наверное. имя «Прыг-Скок» ему не дали при крещении, но единогласно присвоили семь министров ввиду его неспособности двигаться, как

* Редкая птица на земле (лат.).

все. Прыг-Скок был в силах перемещаться лишь рывками, вприпрыжку, не то скача, не то виляя, чем, по мнению некоторых, напоминал лягушонка — и движение это бесконечно развлекало и утешало короля, ибо (невзирая на то, что его распирало от жира и самодовольства) весь двор считал короля мужчиною хоть куда.

Но хотя Прыг-Скок из-за уродливых нижних конечностей мог передвигаться лишь с великим трудом как на улице, так и в помещении, руки его, видимо, были наделены поразительною силою, как будто природа решила возместить изъян его ног, дав ему возможность совершать всяческие чудеса ловкости там, где оказались бы деревья, веревки или все, по чему можно карабкаться. При подобных упражнениях он скорее напоминал белку или мартышку, нежели лягушонка.

Не могу в точности сказать, откуда он был родом, но из какого-то варварского края, о котором никто никогда не слышал, весьма отдаленного от двора нашего короля. Прыг-Скок и юная девушка, тоже карлица, лишь немногим по величине его превосходящая (хотя изящно сложенная и чудесная танцовщица), были силою отторгнуты от своих семейств в сопредельных провинциях и посланы в дар королю одним из его неизменно победоносных полководцев.

Не удивительно, что при подобных обстоятельствах между маленькими пленниками завязалась тесная дружба. Очень скоро они сделались близкими друзьями. Хотя Прыг-Скок и шутил вовсю, но его не любили, и он мало чем был в силах помочь Пушинке, но ею благодаря ее грациозности и очаровательной прелести, все восхищались, ласкали ее, так что она завоевала большое влияние; и при любой возможности употребляла его на пользу шуту.

В какой-то большой праздник — не припомню, в какой именно — король решил устроить маскарад, а когда маскарад или нечто подобное имело быть при нашем дворе, то обыкновенно призывали на помощь дарования и шута и танцовщицы. Прыг-Скок в особенности был столь изобретателен в измышлении всяческих потешных шествий, придумывании новых персонажей и сочинении костюмов для маскированных балов, что, казалось, без его участия ничего и сделать было нельзя.

Подшел вечер, назначенный для празднества. Под наблюдением Пушинки роскошную залу обставили всем, способным придать блеск маскараду. Весь двор ожидал его с нетерпением. Что до костюмов и масок, то можно смело предположить, что каждый что-нибудь придумал. Многие выбрали себе роли за неделю, а то и за месяц; и дело обстояло так, что в этом смысле все приняли какое-то решение — кроме короля и семи его министров. Почему мешкали они — не могу вам сказать, разве что шутки ради. Более вероятно, что они затруднялись на чем-либо остановиться из-за своей изрядной толщины. Во всяком случае, время шло; и в виде последнего средства они позвали танцовщицу и шута.

Когда два маленьких друга явились на зов короля, то увидели, что он сидит и пьет вино с семью министрами; но государь, видимо, пребывал

в весьма дурном расположении духа. Он знал, что Прыг-Скок не любит вина; ибо оно доводило бедного уродца почти до иступления; а иступление — чувство не из приятных. Но его величество любил пошутить, и его забавляло, когда Прыг-Скок по его принуждению пил и (как выражался король) «веселился».

— Поди сюда, Прыг-Скок, — сказал он, как только шут со своею приятельницей вошли в комнату, — выпей-ка этот бокал за здоровье твоих далеких друзей (тут Прыг-Скок вздохнул), а потом порадуй нас своими выдумками. Нам нужны костюмы — понимаешь, костюмы для маскарада — что-нибудь новенькое — из ряда вон выходящее. Нам наскучило это вечное однообразие. А ну, пей! Вино прояснит тебе ум.

Прыг-Скок попытался, по обыкновению, отшутиться, но не мог. Случилось так, что как раз был день рождения несчастного карлика, и приказ выпить за «далеких друзей» вызвал у него слезы. Много крупных, горьких капель упало в кубок, пока он брал его из рук тирана.

— А! ха! ха! ха! — загрохотал тот, когда карлик с неохотою осушил чашу. — Видишь, что может сделать бокал хорошего вина! Да глаза у тебя прямо-таки заблестели!

Бедняга! его большие глаза скорее сверкали, а не блестели; ибо вино оказало на его легко возбудимый мозг действие столь же сильное, сколь и мгновенное. Он нервно поставил кубок и обвел собравшихся полубезумным взором. Всех, видимо, позабавила удачная королевская «шутка».

— А теперь к делу, — сказал премьер-министр, очень толстый мужчина.

— Да, — сказал король, — Ну-ка, Прыг-Скок, помоги нам. Нам нужны характерные костюмы, молодец ты мой; всем нам не хватает характера — всем — ха! ха! ха! — и, так как король всерьез считал это шуткою, семерка начала ему вторить.

Прыг-Скок тоже засмеялся, но слабо и как бы машинально.

— Ну, ну, — с нетерпением сказал король, — неужели ты ничего не можешь нам предложить?

— Я пытаюсь придумать что-нибудь новенькое, — отвечал карлик рассеянно, ибо вино совсем помутило его рассудок.

— Пытаешься! — свирепо закричал тиран. — Что значит — пытаешься? А, понимаю. Ты не в себе и хочешь еще вина. А ну-ка, выпей! — и он до краев наполнил бокал и протянул калеке, а тот, задыхаясь, отупело смотрел на него.

— Пей, говорят тебе, — заорал изверг. — Не то, черт меня дери...

Карлик замялся. Король побагровел от бешенства. Придворные захихикали. Пушинка, мертвенно бледная, бросилась к креслу государя и, пав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, явно изумляясь ее дерзости. Он словно растерялся, не зная, что делать или говорить — как наилучшим образом выразить свое возмущение. Наконец, не проронив ни звука, он отшвырнул ее и выплеснул содержимое наполненного до краев кубка прямо ей в лицо.

Несчастливая едва могла подняться и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Около полминуты царил такая мертвая тишина, что можно было бы услышать, как падает лист или перо. Ее нарушил тихий, но резкий скрежет, который, казалось, доносился из всех углов разом.

— Ты — ты — ты — ты это зачем? — спросил король, яростно поворачиваясь к шуту.

Тот, казалось, в значительной степени оправился от опьянения и, пристально, но спокойно глядя прямо в лицо тирану, лишь воскликнул:

— Я — я? Да как бы я мог?

— Звук, вероятно, шел снаружи, — заметил один из придворных. — По-моему, это попугай у окна точил клюв о прутья клетки.

— И в самом деле, — отозвался король, как бы весьма успокоенный этим предположением, — но, клянусь моей рыцарской честью, я готов был дать присягу, что скрежетал зубами этот бродяга.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком завзятый шутник, чтобы возражать против чьего-либо смеха) и выставил напоказ большие, крепкие и весьма безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько заблагорассудится государю. Монарх утихомирился; и, осушив без особо заметных дурных последствий еще кубок, Прыг-Скок сразу и с воодушевлением занялся маскарадными планами.

— Не знаю, какова тут связь, — заметил он, очень спокойно и с таким видом, словно вовсе и не пил, — но тотчас после того, как ваше величество изволили ударить девчонку и выплеснуть вино ей в лицо — тотчас же после того, как ваше величество изволили это сделать и покамест попугай за окном издавал эти странные звуки, пришла мне в голову одна отменная потеха — одна из забав у меня на родине — у нас на маскарадах ее часто затевают, но здесь она будет совершенно внове. Однако, к сожалению, для нее требуются восемь человек и . . .

— Пожалуйста! — вскричал король и засмеялся, радуясь тому, с какою пронизательностью заметил совпадение. — Ровным счетом восемь — я и семеро моих министров. Ну! Так что же это за потеха?

— Называется она, — отвечал уродец, — Восемь Скovaných Орангутангов, и при хорошем исполнении смеху не оберешься.

— Мы ее исполним, — заметил король, приосанясь и подмигивая обоими глазами.

— Прелесть игры, — продолжал Прыг-Скок, — заключается в страхе, который она вызывает у женщин.

— Славно! — хором проревели монарх и его министры.

— Я выряжу вас орангутангами, — пояснил свою идею карлик, — уж предоставьте это мне. Сходство будет так разительно, что на маскараде все примут вас за настоящих зверей — и, разумеется, их ужас не уступит по силе их потрясению.

— Ох, это восхитительно! — воскликнул король. — Прыг-Скок! я озолочу тебя.

— Цепи надобны для того, чтобы лязгом усилить переполох. Предполагается, что все вы сбежали от ваших сторожей. Ваше величество не в силах представить, какой эффект производят на маскараде восемь орангутангов, которых почти все присутствующие сочтут за настоящих, когда они с дикими воплями ворвутся в толпу изящно и роскошно одетых кавалеров и дам. *Контраст* неподражаем.

— Уж конечно, — сказал король; и все торопливо поднялись с мест (времени оставалось немного), дабы приступить к осуществлению замысла, предложенного шутом.

Его способ экипировки был весьма прост, но для его цели достаточно. В эпоху, о которой идет речь, орангутангов очень редко видели в какой-либо части цивилизованного мира; и, так как наряды, предложенные карликом, делали ряженых достаточно похожими на зверей и более чем достаточно гадкими, то их верность природе сочли обеспеченной.

Король и министры сперва облачились в плотно облегающие сорочки и панталоны в виде трико. Затем одежду пропитали дегтем. Тут кто-то предложил перья; но предложение было тотчас же отвергнуто карликом, который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной демонстрации, что шерсть такой твари, как орангутанг, гораздо более успешно изобразит *льняная кудель*. И соответственно толстым слоем кудели облепили слой дегтя. Затем достали длинную цепь. Сперва ею опоясали короля и *завязали* ее; за ним — одного из министров, и тоже завязали; и всех остальных — по очереди, подобным же образом. Когда с этим было покончено, король и министры отошли как можно дальше один от другого, образуя круг; и ради большей натуральности Прыг-Скок протянул остаток цепи крест-накрест поперек круга, как в наши дни делают на Борнео охотники на шимпанзе и других крупных обезьян.

Маскарад имел быть в большой круглой зале, очень высокой и пропускающей свет солнца только через люк в потолке. По вечерам (то есть в ту пору, на которую зала специально была рассчитана) ее освещала главным образом большая люстра, свисающая на цепи из середины люка; как водится, люстру поднимали и опускали при помощи противовеса; но (чтобы не портить вида) он помещался снаружи за куполом.

Залу убрали под наблюдением Пушинки; но, видимо, в некоторых частностях она следовала рассудительным советам своего друга карлика. По его предложению в этот вечер люстру убрали. Капли воска (а в такой вечер их было решительно невозможно избежать) нанесли бы основательный ущерб пышным нарядам гостей, которые при большом скоплении не могли бы все держаться в стороне от центра залы, то есть не под люстрой. В разных частях залы, так, чтобы не мешать гостям, добавили кенкетов; и в правую руку каждой из пятидесяти или шестидесяти кариад вставили по факелу, пропитанному благовониями.

Восемь орангутангов, следуя совету шута, терпеливо дожидались полуночи (когда зала должна была доотказа наполниться масками), прежде чем появиться на людях. Но не успел еще замолкнуть бой часов, как они ворвались или, вернее, вкатились все разом — ибо цепи мешали им, от чего при входе каждый из них споткнулся, а некоторые упали.

Среди гостей поднялась невероятная тревога, исполнившая сердце короля восторгом. Как и ожидали, многие из присутствующих поверили, будто эти свирепого вида твари — и в самом деле *какие-то* звери, хотя бы и не орангутанги. Многие женщины от страха лишились чувств; и если бы король не позаботился запретить в зале ношение оружия, то он с министрами мог бы очень быстро заплатить за свою потеху кровью. А так — все ринулись к дверям; но король приказал запереть их сразу после его появления; и, по предложению шута, ключи отдали ему.

Когда смятение достигло апогея и каждый думал только о собственной безопасности (а давка в перепуганной толпе и в самом деле представляла немалую и *подлинную* опасность), можно было заметить, что цепь, которую втянули, убрав люстру, начала очень медленно опускаться, пока крюк на ее конце не повис в трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его друзей, враскачку пройдя по зале во всех направлениях, наконец остановились на ее середине и, разумеется, в непосредственном соприкосновении с цепью. Пока они стояли подобным образом, карлик, неслышно следовавший за ними по пятам, подстрекая их поддерживать сумятицу, схватил их цепь в том месте, где две ее части пересекались в центре и под прямым углом. Туда его скоростью мысли он продел крюк, с которого обычно свисала люстра; и тотчас некая невидимая сила потянула цепь от люстры так высоко вверх, что крюк оказался вне пределов досягаемости и, как неизбежное этому следствие, орангутанги очутились очень близко друг от друга и лицом к лицу.

К тому времени гости в какой-то мере оправились от испуга; и, начиная понимать, что все происшествие — тщательно обдуманная проказа, громко захохотали над положением, в какое попали обезьяны.

— Предоставьте их мне! — закричал Прыг-Скок, легко перекрывая шум своим резким, пронзительным голосом. — Предоставьте их мне. По-моему, я их знаю. Взглянуть бы хорошенько, и уж *я-то* скажу вам, кто они такие.

Тут он ухитрился по головам толпы добраться к стене; выхватив у карриатиды факел, он тем же самым путем возвратился на середину залы — с ловкостью мартышки вспрыгнул на голову королю — оттуда вскарабкался на несколько футов вверх по цепи — и опустил факел, рассматривая орангутангов и по-прежнему крича: «Уж *я-то* сейчас узнаю, кто они такие!»

И пока все сборище (включая обезьян) корчилось от смеха, шут вдруг пронзительно свистнул; цепь рывком взлетела футов на тридцать — и с нею орангутанги, которые в отчаянии барахтались между полом и люком в потолке. Прыг-Скок, держась за цепь, оставался на том же

расстоянии от мнимых обезьян и по-прежнему (как ни в чем не бывало) тыкал в них факелом, как бы пытаясь разглядеть, кто они.

При этом взлете все были настолько повержены в изумление, что с минуту стояла мертвая тишина. Ее нарушил тот же самый тихий, резкий скрежет, что привлек внимание советников и короля, когда тот выплеснул вино в лицо Пушинке. Но сейчас не могло быть никакого сомнения, откуда исходил звук. Его издавали клыкообразные зубы карлика, и он с пеной у рта скрипел и скрежетал зубами и с маниакальным иступлением, жадно смотрел на запрокинутые лица короля и семи его спутников.

— Ага! — наконец сказал разъяренный шут. — Ага! Теперь я начинаю понимать, кто они такие! Тут, делая вид, что он хочет рассмотреть короля еще более пристально, карлик поднес факел к облеплявшему короля слою кудели, и та мгновенно вспыхнула ярким и жгучим пламенем. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов бешено запылали под вопли сраженной ужасом толпы, которая смотрела на них снизу, не в силах оказать им ни малейшей помощи.

Понемногу языки пламени, усиливаясь, вынудили шута вскарабкаться выше по цепи; и при его движении все снова на краткий миг погрузилось в молчание. Карлик воспользовался им и снова заговорил:

— Теперь я хорошо вижу, — сказал он, — какого сорта люди эти ряженые. Это могущественный король и семеро его тайных советников, — король, который не стесняется ударить беззащитную девушку, и семеро его советников, которые потакают его гнусной выходке. Что до меня, я всего-навсего Прыг-Скок, шут — и это моя последняя шутка.

Ввиду высокой воспламеняемости кудели и дегтя, на который она была налеплена, карлик едва успел закончить свою краткую речь, как месть совершилась. Восемь трупов раскачивались на цепях — смрадная, почерневшая, омерзительная, бесформенная масса. Уродец швырнул в них факелом, вскарабкался, не торопясь, к потолку и скрылся в люке.

Предполагают, что Пушинка, ожидавшая его на крыше, была сообщницей своего друга в его огненном мщении и что им вместе удалось бежать к себе на родину, ибо их более не видели.

ФОН КЕМПЕЛЕН И ЕГО ОТКРЫТИЕ

После весьма детальной и обстоятельной работы Араго¹, — я не говорю сейчас о резюме, опубликованном в «Журнале Простака»² вместе с подробным заявлением лейтенанта Мори, — вряд ли меня можно заподозрить в том, что, предлагая несколько беглых замечаний об открытии фон Кемпелена³, я претендую на *научное* рассмотрение предмета. Мне хотелось бы, прежде всего, просто сказать несколько слов о самом фон Кемпелене (с которым несколько лет тому назад я имел честь быть лично немного знакомым), ибо все связанное с ним не может не представлять и сейчас интереса, и, во-вторых, взглянуть на *результаты* его открытия в целом и поразмыслить над ними.

Возможно, однако, что тем поверхностным наблюдениям, которые я хочу здесь высказать, следует предпослать решительное опровержение распространенного, по-видимому, мнения (возникшего, как всегда бывает в таких случаях, благодаря газетам), что в открытии этом, как оно ни поразительно, что не вызывает никаких сомнений, у фон Кемпелена *не было предшественников*.

Сошлюсь на стр. 53 и 82 «Дневника сэра Хамфри Дэви»⁴ (Коттл и Манро, Лондон, 150 стр.). Из этих страниц явствует, что прославленный химик не только пришел к тому же выводу, но и предпринял также *весьма существенные шаги в направлении того же эксперимента*, который с таким триумфом завершил сейчас фон Кемпелен. Хотя последний нигде ни словом об этом не упоминает, он, *безусловно* (я говорю это, не колеблясь, и готов, если потребуется, привести доказательства), обязан «Дневнику», по крайней мере первым намеком на свое начинание. Не могу не привести два отрывка из «Дневника», содержащие одно из уравнений сэра Хамфри, хотя они и носят несколько технический характер. [Поскольку мы не полагаем необходимыми алгебраическими символами и поскольку «Дневник» можно найти в библиотеке Атенеума⁵, мы опускаем здесь некоторую часть рукописи мистера По. — Издатель.]

Подхваченный всеми газетами абзац из «Курьера в карьер», в котором заявляется, что честь открытия принадлежит якобы некоему мистеру Джульстону из Брунсвика в штате Мен, сознаюсь, в силу ряда причин представляется мне несколько апокрифическим, хотя в самом этом заявлении нет ничего невозможного или слишком невероятного. Вряд ли мне следует входить в подробности. В мнении своем об этом абзаце я исхожу в основном из его *стиля*. Он не производит правдивого *впечатления*. Люди, излагающие *факты*, редко так заботятся о дне и часе, и точном местоположении, как это делает мистер Джульстон. К тому же, если

мистер Джульстон действительно натолкнулся, как он заявляет, на это открытие в означенное время — почти восемь лет тому назад — как могло случиться, что он тут же, *не медля ни минуты*, не принял мер к тому, чтобы воспользоваться огромными преимуществами, которые это открытие предоставляет если не всему миру, то лично ему, — о чем не мог не догадаться и деревенский дурачок? Мне представляется совершенно невероятным, чтобы человек заурядных способностей мог сделать, как заявляет мистер Джульстон, такое открытие и вместе с тем действовать, *по признанию самого мистера Джульстона*, до такой степени, как младенец — как желторотый птенец! Кстати, кто такой мистер Джульстон? Откуда он взялся? И не является ли весь абзац в «Курьере в карьер» фальшивкой, рассчитанной на то, чтобы «наделать шума»? Должен сознаться, все это чрезвычайно отдает подделкой. По скромному моему понятию, на сообщение это никак нельзя полагаться, и если бы я по опыту не знал, как легко *мистифицировать* мужей науки в вопросах, лежащих за пределами обычного круга их исследований, я был бы глубоко поражен, узнав, что такой выдающийся химик, как профессор Дрейпер⁶, всерьез обсуждает притязания мистера Джульстона (или, возможно, мистера Джуликстона?).

Однако вернемся к «Дневнику сэра Хамфри Дэви». Сочинение это не предназначалось для публикации даже после смерти автора, — человеку, хоть сколько-нибудь сведущему в писательском деле, легко убедиться в этом при самом поверхностном ознакомлении с его стилем. На стр. 13, например, посередине, там, где говорится об опытах с закисью азота, читаем: «Не прошло и тридцати секунд, как дыхание, продолжаясь, стало постепенно затихать, затем *возникло* аналогичное легкому давлению на все мускулы». Что *дыхание* не «затихало», ясно не только из последующего текста, но и из формы множественного числа «стали». Эту фразу, вне сомнения, следует читать так: «Не прошло и полуминуты, как дыхание продолжалось, [а эти ощущения] стали постепенно затихать, затем *возникло* [чувство], аналогичное легкому давлению на все мускулы».

Множество таких примеров доказывает, что рукопись, столь поспешно опубликованная, содержала всего лишь *черновые наброски*, предназначенные исключительно для автора, — просмотр этого сочинения убедит любого мыслящего человека в правоте моих предположений. Дело в том, что сэр Хамфри Дэви менее всего был склонен к тому, чтобы *компрометировать* себя в вопросах науки. Он не только в высшей степени не одобрял шарлатанство, но и смертельно боялся *прослыть* эмпириком; так что, как бы ни был он убежден в правильности своей догадки по интересующему нас вопросу, он никогда не позволил бы себе *выступить* с заявлением до тех пор, пока не был бы готов к наглядной демонстрации своей идеи. Я глубоко убежден в том, что его последние минуты были бы омрачены, узнай он, что его желание, чтобы «Дневник» (во многом содержащий самые общие соображения) был сожжен, будет оставлено без внимания, как, по всей видимости, и произошло. Я говорю «его желание», ибо, уверен, что

невозможно сомневаться в том, что он намеревался включить эту тетрадь в число разнообразных бумаг, на которых поставил пометку «Сжечь». На счастье или несчастье они уцелели от огня, покажет будущее. В том, что отрывки, приведенные выше, вместе с аналогичными им другими, на которые я ссылаюсь, натолкнули фон Кемпелена на догадку, я совершенно уверен; но, повторяю, лишь будущее покажет, послужит ли это важное открытие (важное при любых обстоятельствах) на пользу всему человечеству или во вред. В том, что фон Кемпелен и его ближайшие друзья соберут богатый урожай, было бы безумием усомниться хоть на минуту. Вряд ли будут они столь легкомысленны, чтобы со временем не «реализовать» своего открытия, широко приобретая дома и земли, вкупе с прочей недвижимостью, имеющей непреходящую ценность.

В краткой заметке о фон Кемпелене, которая появилась в «Семейном журнале»⁷ и многократно воспроизводилась в последнее время, переводчик, взявший, по его собственным словам, этот отрывок из последнего номера пресбургского «Шнельпост», допустил несколько ошибок в понимании немецкого оригинала. «Viele»* было искажено, как это часто бывает, а то, что переводится как «печали», было, по-видимому, «Leiden», что, при правильной понимании [«страдания»] дало бы совершенно иную окраску всей публикации. Но, разумеется, многое из того, что я пишу, — всего лишь догадка с моей стороны.

Фон Кемпелен, правда, далеко не «мизантроп», во всяком случае внешне, что бы там ни было на деле. Мое знакомство с ним было самым поверхностным, и вряд ли я имею основание говорить, что хоть сколько-нибудь его знаю; но видется и беседовать с человеком, который получил или в ближайшее время получит такую колоссальную известность, в наши времена не так-то мало.

«Литературный мир»⁸ с уверенностью говорит о фон Кемпелене как об уроженце Пресбурга (очевидно, его ввела в заблуждение публикация в «Семейном журнале»); мне очень приятно, что я могу категорически, ибо я слышал об этом из собственных его уст, заявить, что он родился в Утике, штат Нью-Йорк, хотя родители его, насколько мне известно, родом из Пресбурга. Семья эта каким-то образом связана с Мельцелем⁹, коего помнят в связи с шахматным автоматом. [Если мы не ошибаемся, изобретателя этого автомата звали не то Кемпелен, не то фон Кемпелен, не то как-то вроде этого. — Издатель.] Сам фон Кемпелен невысок ростом и тучен, глаза большие, масляные, голубые, волосы и усы песочного цвета, рот широкий, но приятной формы, прекрасные зубы и, кажется, римский нос. Одна нога с дефектом. Обращение открытое и вся манера отличается *bonhomie*** . В целом во внешности его, речи, поступках нет и намек на «мизантропию». Лет шесть назад мы жили с неделю вместе в «Отеле герцога» в Провиденсе, Род-Айленд; предполагаю, что я имел случай бесе-

* Многое (нем.).

** Добродушием (франц.).

довать с ним, в общей сложности, часа три-четыре. Беседа его не выходила за рамки обычных тем; и то, что я от него услышал, не заставило меня заподозрить в нем ученого. Уехал он раньше, чем я, направляясь в Нью-Йорк, а оттуда — в Бремен. В этом-то городе и узнали впервые о его великом открытии, вернее, там-то впервые о нем и заподозрили. Вот, в сущности, и все, что я знаю о бессмертном ныне фон Кемпелене. Но мне казалось, что даже эти скудные подробности могут представлять для публики интерес.

Совершенно очевидно, что добрая половина невероятных слухов, распространенных об этом деле, — чистый вымысел, заслуживающий доверия не больше, чем сказка о волшебной лампе Аладдина; и все же тут, так же как и с открытиями в Калифорнии, — приходится признать, что правда подчас бывает всякой выдумки странней. Во всяком случае следующий анекдот почерпнут из столь надежных источников, что можно не сомневаться в его подлинности.

Во время своей жизни в Бремене фон Кемпелен не был хоть сколько-нибудь обеспечен; часто — и это хорошо известно — ему приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям для того, чтобы раздобыть самые ничтожные суммы. Когда поднялся шум из-за поддельных векселей фирмы Гутсмут и К^о, подозрение пало на фон Кемпелена, ибо он к тому времени обзавелся недвижимой собственностью на Гасперитч-лейн и отказывался дать объяснения относительно того, откуда у него взялись деньги на эту покупку. В конце концов его арестовали, но, так как ничего решительно против него не было, по прошествии некоторого времени он был освобожден. Полиция, однако, внимательно следила за каждым его шагом; таким образом было обнаружено, что он часто уходит из дому, идет всегда одним и тем же путем и неизменно ускользает от наблюдения в лабиринте узеньких кривых улочек, который на воровском жаргоне зовется Дондергат. Наконец, после многих безуспешных попыток обнаружили, что он поднимается на чердак старого семиэтажного дома в переулочке под названием Флетплатц: нагрянув туда нежданно-негаданно, застали его, как и предполагали, в самом разгаре фальшивых операций. Волнение его, как передают, было настолько явным, что у полицейских не осталось ни малейшего сомнения в его виновности. Надев на него наручники, они обыскали комнату или, вернее, комнаты, ибо оказалось, что он занимает всю *mansarde* *.

На чердак, где его схватили, выходил чулан размером десять футов на восемь, там стояла химическая аппаратура, назначение которой так и не установлено. В одном углу чулана находился небольшой горн, в котором пылал огонь, а на огне стоял необычный двойной тигель — вернее, два тигля, соединенных трубкой. В одном из них почти до верха был налит расплавленный свинец, — впрочем, он не доставал до отверстия трубки, расположенного близко к краю. В другом находилась какая-то жидкость.

* Чердак, мансарда (франц.).

которая в тот момент, когда вошли полицейские, бурно кипела, наполняя комнату клубами пара. Рассказывают, что, увидав полицейских, фон Кемпелен схватил тигель обеими руками (которые были защищены рукавицами — впоследствии оказалось, что они асбестовые) и вылил содержимое на плиты пола. Полицейские тут же надели на него наручники; прежде чем приступить к осмотру помещения, они обыскали его самого, но ничего необычного на нем найдено не было, если не считать завернутого в бумагу пакета; как было установлено впоследствии, в нем находилась смесь антимония¹⁰ и какого-то неизвестного вещества, в почти (но не совсем) равных пропорциях. Попытки выяснить состав этого вещества не дали до сих пор никаких результатов; не подлежит сомнению, однако, что в конце концов они увенчаются успехом.

Выйдя вместе с арестованным из чулана, полицейские прошли через некое подобие передней, где не обнаружили ничего существенного, в спальню химика. Они перерыли здесь все столы и ящики, но нашли только какие-то бумаги, не представляющие интереса, и несколько настоящих монет, серебряных и золотых. Наконец, заглянув под кровать, они увидели старый большой волосяной чемодан без петель, крючков или замка, с небрежно положенной наискось крышкой. Они попытались вытащить его из-под кровати, но обнаружили, что даже объединенными усилиями (а там было трое сильных мужчин) они «не могут сдвинуть его ни на дюйм», что крайне их озадачило. Тогда один из них залез под кровать и, заглянув в чемодан, сказал:

— Немудрено, что мы не можем его вытащить. Да он до краев полон медным ломом!

Упершись ногами в стену, чтобы легче было тянуть, он стал изо всех сил толкать чемодан, в то время как товарищи его изо всех своих сил тянули его на себя. Наконец, с большим трудом чемодан вытащили из-под кровати и рассмотрели содержимое. Мнимая медь, заполнявшая его, была вся в небольших гладких кусках, от горошины до доллара величиной; куски эти были неправильной формы, хотя все более или менее плоские, словно свинец, который выплеснули расплавленным на землю и дали там остыть. Никому из полицейских и на ум не пришло, что металл этот, возможно, вовсе не медь. Мысль о том, что это золото, конечно, ни на минуту не мелькнула в их головах; как там могла родиться такая дикая фантазия? Легко представить себе их удивление, когда на следующий день всему Бремену стало известно, что «куча меди», которую они с таким презрением привезли в полицейский участок, не дав себе труда прикарманить ни кусочка, оказалась золотом — золотом не только настоящим, но и гораздо лучшего качества, чем то, которое употребляют для чеканки монет, — золотом абсолютно чистым, незапятнанным, без малейшей примеси!

Нет нужды излагать здесь подробности признания фон Кемпелена (вернее, того, что он нашел нужным рассказать) и его освобождения, ибо все это публике уже известно. Ни один здравомыслящий человек не ста-

нет больше сомневаться в том, что фон Кемпелену на деле удалось осуществить — по мысли и по духу, если и не по букве — старую химеру о философском камне. К мнению Араго следует, конечно, отнестись с большим вниманием, но и он не вовсе непогрешим, и то, что он пишет о *бисмуте* в своем докладе Академии, должно быть воспринято *cum grano salis**. Как бы то ни было, приходится признать, что до сего времени все попытки анализа ни к чему не привели; и до тех пор, пока фон Кемпелен сам не пожелает дать нам ключ к собственной загадке, ставшей достоянием публики, более чем вероятно, что дело это на годы останется *in statu quo***.

В настоящее время остается лишь утверждать, что «чистое золото можно легко и спокойно получить из свинца в соединении с некоторыми другими веществами, состав которых и пропорции неизвестны».

Многие задумываются, конечно, над тем, к каким результатам приведет в ближайшем и отдаленном будущем это открытие — открытие, которое люди думающие не преминут поставить в связь с ростом интереса к золоту, связанным с последними событиями в Калифорнии¹¹; а это соображение неизбежно приводит нас к другому — исключительной *несвоевременности* открытия фон Кемпелена. Если и раньше многие не решались ехать в Калифорнию, опасаясь, что золото, которым изобилуют тамошние прииски, столь значительно упадет в цене, что целесообразность такого далекого путешествия станет весьма сомнительной, — какое же впечатление произведет *сейчас* на тех, кто готовится к эмиграции, и особенно на тех, кто уже прибыл на прииски, сообщение о потрясающем открытии фон Кемпелена? Открытие, смысл которого состоит попросту в том, что, помимо существенного своего значения для промышленных нужд (каково бы ни было это значение), золото *сейчас* имеет или, по крайней мере, будет скоро иметь (ибо трудно предположить, что фон Кемпелен сможет долго хранить свое открытие в тайне) ценность не большую, чем свинец, и значительно меньшую, чем серебро. Строить какие-либо прогнозы относительно последствий этого открытия чрезвычайно трудно, однако можно с уверенностью утверждать одно, что сообщение об этом открытии полгода назад оказало бы решающее влияние на заселение Калифорнии.

В Европе пока что наиболее заметным последствием было то, что цена на свинец повысилась на двести процентов, а на серебро — на двадцать пять.

* С крупницей соли, т. е. с осторожностью (лат.).

** Без перемен (лат.).

КАК БЫЛА НАБРАНА ОДНА ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА

Поскольку доподлинно известно, что «мудрецы пришли с Востока»¹, а мистер Вабанк Напролом прибыл именно с востока, то из этого следует, что мистер Напролом был мудрецом; если же нужны дополнительные доказательства, они также имеются — мистер Напролом был Редактором. Единственной его слабостью являлась раздражительность; а упрямство, в котором его упрекали, было отнюдь не слабостью, ибо он справедливо считал его своей сильной стороной. Оно было его достоинством, его добродетелью, и понадобилась бы вся логика Браунсона², дабы убедить его, что это «нечто иное».

Я доказал, что Вабанк Напролом был мудрецом; мудрость изменила ему лишь однажды, когда он, покинув Восточные штаты — родину мудрецов — переселился на Запад, в город Александрвеликиополис или что-то в этом роде.

Надо, впрочем, отдать ему справедливость: когда он окончательно решил обосноваться в упомянутом городе, он полагал, что в той части страны не существует газет, а следовательно, и редакторов. Основывая «Чайник», он надеялся иметь в этой области монополию. Я убежден, что он ни за что не поселился бы в Александрвеликиополисе, когда бы знал, что в том же самом Александрвеликиополисе проживал джентльмен по имени (если не ошибаюсь) Джон Смит, который уже много лет нагуливал там жир, редактируя и издавая «Александрвеликиопольскую Газету». Не будь он введен в заблуждение, мистер Напролом не оказался бы в Алекс — будем для краткости называть его «Ополисом» — но раз уж он там оказался, то решил оправдать свою репутацию твердого человека и остаться. Итак, он остался, более того — распаковал печатный станок, шрифты и т. д. и т. п., снял помещение как раз напротив редакции «Газеты» и на третий день по приезде выпустил первый номер «Александрополя», то есть «Опольского Чайника»; если память мне не изменяет, именно так называлась новая газета.

Передовица, надо признать, была блестящая — чтобы не сказать сокрушительная. Она гневно обличала, в общих чертах, всё; а редактора «Газеты» разносила в клочья уже во всех подробностях. Иные из сарказмов Напролома были столь жгучи, что Джон Смит, который здравствует и поныне, всегда с тех пор казался мне чем-то вроде саламандры. Не берусь приводить дословно всю статью «Чайника», но один из ее абзацев гласил:

«О, да! — О, мы понимаем. — О, разумеется! Наш сосед через улицу — гений. — О, бог мой! — куда мы идем? О tempora! О Мориц!»³.

Столь едкая и, вместе с тем, классическая филиппика произвела на мирных доселе жителей Ополуса впечатление разорвавшейся бомбы. На улицах собирались группы возбужденных людей. Каждый с неподдельным волнением ждал ответа достойного Смита. На следующее утро ответ появился:

«Позволим себе привести следующую заметку из вчерашнего номера «Чайника»: «О, да! — О, мы понимаем. — О, разумеется! — О, бог мой! О темпора! О Мориц!» Одним словом, сплошные «О»! Поэтому мысль автора и ходит кругами, и ни ему, ни его рассуждениям не видно ни начала, ни конца. Мы убеждены, что этот бездельник не способен написать ни слова без «О». Что это у него за привычка? Кстати, уж слишком он поспешил сюда с Востока. Интересно, он и там не расставался со своим «О»? О, как же он жалок!»

Негодование мистера Напролома при этих лживых инсинуациях я не берусь описывать. Однако, вследствие привычки, — которая даже угря заставила освоиться со сдиранием шкуры, — нападки на его порядочность рассердили его меньше, чем можно было ожидать. Больше всего он был разъярен насмешками над его стилем! Как! Он, Вабанк Напролом, не способен написать ни слова без «О»? Он докажет наглцу, что это не так. Да! Он докажет этому щенку, что это далеко не так! Он, Вабанк Напролом из Лягуштауна, покажет мистеру Джону Смигу, что может, если ему заблагорассудится, написать целый абзац — да что там абзац! — целую статью, где презренная гласная не будет употреблена ни разу — ни единого разу. Впрочем, нет; это было бы уступкой упомянутому Джону Смигу. Он, Напролом, не намерен менять свой слог в угоду капризам какого бы то ни было мистера Смита. Прочь, низкое подозрение! Да здравствует «О»! Он не отступит от «О». Будет О-кать сколько ему вздумается.

Исполненный решимости и отваги, великий Вабанк в ближайшем номере «Чайника» отозвался лишь следующей лаконичной, но решительной заметкой:

«Редактор «Чайника» имеет честь уведомить «Газету», что он («Чайник») в завтрашнем утреннем выпуске намерен доказать ей («Газете»), что он («Чайник») способен быть — и будет — независим в вопросах стиля; что он («Чайник») намерен выразить ей («Газете») уничтожающее презрение, с каким гордый и независимый «Чайник» относится к нападкам «Газеты», и для этого напишет специальную передовицу, где отнюдь не намерен избегать употребления великолепной гласной — эмблемы Вечности — оскорбившей не в меру чувствительную «Газету», о чем и доводит до общего сведения ее («Газеты») покорный слуга «Чайник». «На том и покончим с Букингом!»⁴.

Во исполнение сей зловещей угрозы, которую он скорее выразил туманным намеком, нежели ясно сформулировал, великий Напролом не внял молениям о «материале», послал к черту метранпажа, когда тот (метранпаж) попытался убеждать его («Чайник»), что давно пора сда-

вать номер; не стал ничего слушать и просидел до рассвета за сочинением следующей поистине беспримерной заметки:

«Вот, Джон, до чего дошло! Говорили ослу — получишь по холке. Не совался бы в воду, не спросив броду. Уходи скорей восвояси, подбру-поздорову! Каждому в Онополисе омерзело твое рыло. Осел, козел, обормот, кашалот из Конкордских болот — вот ты кто! Бог мой, Джон, что с тобой? Не вой, не ной, не мотай головой, пойди домой, утопи свое горе в бочонке водки».

Изнуренный этим титаническим трудом, великий Вабанк, разумеется, уже не мог в тот вечер заняться чем-либо еще. Твердо, спокойно, но с сознанием своей силы, он вручил рукопись ожидавшему мальчишке-наборщику и неспешно направился домой, где с большим достоинством лег в постель.

Мальчишка, которому была вверена рукопись, бегом поднялся по лестнице к наборной кассе и немедленно принялся набирать заметку.

Прежде всего — поскольку заметка начиналась со слова «Вот» — он запустил руку в отделение заглавных «В» и с торжеством вытащил оттуда одно из них. Окрыленный успехом, он стремительно кинулся за строчным «О» — но кто опишет его ужас, когда рука его вернулась из ящика без ожидаемой литеры? Кто изобразит его изумление и гнев, когда он убедился, что напрасно шарит по дну *пустого* ящика? В отделении для строчных «О» не было ни единой буковки; а заглянув с опаской в отделение заглавных «О», он, к великому своему ужасу, обнаружил и там ту же картину. Не помня себя, он прежде всего побежал к метранпажу. — Сэр! — крикнул он, не переводя духу. — Чего же тут наберешь, когда ни одного тебе «О»?

— То есть как? — проворчал метранпаж, очень злой из-за того, что задержался на работе так поздно.

— А так, что во всей кассе ни одного, хоть большого, хоть маленького.

— Куда ж они к черту подевались?

— Не знаю, сэр, — сказал мальчишка, — а только парень из «Газеты» что-то целый вечер здесь отирался, так может это он спер?

— Чтоб ему сдохнуть! Конечно, он, — ответил метранпаж, багровея от ярости, — а ты вот что, Боб, ты у нас молодец, стащи-ка и ты у них все «и». Кровь из носу, а пусть и у них так, разрази их гром.

— Есть! — откликнулся Боб, подмигивая. — Уж я им *задам*, я им *пропишу*. А только как же с заметкой? Ее надо в *завтрашний*, а то хозяин так всыпет, что. . .

— Да уж это как пить дать, — прервал метранпаж, тяжело вздыхая и упирая на слово «пить»; — А *очень* она длинная, Боб?

— Не так чтобы *очень*, — сказал Боб.

— Ну ты уж как-нибудь постарайся, набери, ведь *спешно*, — сказал метранпаж, у которого работы было по горло; — сунь там что-нибудь вместо «О», все равно эту ерунду никто читать не станет.

— *Ладно*, — ответил Боб. — *Замётано*. — И поспешил к наборной кассе, бормоча по дороге: — Ничего себе выражается, а еще говорит, не

ругаюсь. Поди, значит, и пусти им кровь из носу. Ладно! Это мы можем. — Дело в том, что Боб, в свои двенадцать лет и при четырех футах росту, готов был драться с кем угодно.

Упомянутая замена букв — отнюдь не редкий случай в типографиях; и почти всегда при этом, не знаю уж почему, недостающую букву заменяют буквой «х». Возможно, это объясняется тем, что эта буква всегда имеется в наборной кассе в избытке; так по крайней мере было в старину, и наборщики привыкли прибегать к ней при заменах. Боб также посчитал бы за ересь употребить для замены другую букву, а не привычную «х».

— Заменять, так заменять, — сказал он себе, с удивлением читая заметку, — но в жизни не видел, чтобы столько этих самых «О» зараз.

Он заменял решительно и твердо, и с этими заменами заметка вышла в свет.

Наутро население Онополиса было ошеломлено следующей удивительной передовицей «Чайника»:

«Вхт, Джхи, дх чегх дхшлх! Гхвхрили хслу — пхлучишь пх ххлаке. Не схвался бы в вхду, не спрхсив брхду. Уххди скхрей вхсвхяси пх дхбру-пх здхрхву! Каждхму в Хнхпхлисе хмерзелх твхе рылх. Хсел, кхзел, хбхрмхт, кашалхт из Кхнхрдских бхлхт — вхт ты ктх! Бхг мхй, Джхи, чтх с тхбхй? Не вхй, не нхй; не мхтай гхлхвхй, пхйди дхмхй, утхпи свхе гхре в бхчхнке вхдки».

Эта таинственная и кабалистическая заметка наделала невообразимого шуму. Первым впечатлением публики было, что в непонятных иероглифах кроется некий дьявольский заговор; и все бросились на квартиру Напролома, намереваясь вымазать его смолой, но его нигде не оказалось. Он исчез неизвестно куда, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу.

За отсутствием законного объекта, народный гнев в конце концов улегся, оставив, в виде осадка, самые разнообразные мнения о злополучном событии.

Кто-то сказал, что Напролом просто хотел, чтоб похотали.

Другой — что он храбрец.

Третий — что он хулиган и хам.

Четвертый — что это хула на все хорошее.

Пятый — что надо хранить заметку для потомства.

Что Напролом был доведен до крайности — это было ясно всем; ну, а раз этого редактора обнаружить не удалось, стали поговаривать, что следовало бы линчевать второго.

Большинство, однако, считало, что дело это — если хорошенько подумать — очень хитрое. Даже городской математик признался, что не в силах разобраться в столь сложной проблеме.

Мнение наборщика Боба (который ни словом не проговорился насчет «замен») не встретило, на мой взгляд, должного внимания, хотя он высказывал его открыто и безбоязненно. Он утверждал, что дело тут ясное: мистер Напролом хлестал спиртное с утра до вечера, ну а во хмелю, конечно, хорохорился.

ДОМИК ЛЭНДОРА

ДОПОЛНЕНИЕ К «ПОМЕСТЬЮ АРНГЕЙМ»

Прошлым летом, во время пешего путешествия по одному-двум приречным графствам штата Нью-Йорк, однажды, когда день клонился к вечеру, я обнаружил, что сбился с пути. Местность была замечательно холмиста; и тропинка, по которой я шел, в течение часа так петляла и запутывалась, пытаясь удержаться в долине, что я не мог более определить, в каком направлении находится прелестная деревенька Б., где я намеревался заночевать. Строго говоря, солнце днем, почитай, и не светило, хотя и стояла тягостная жара. Все обволакивала туманная дымка, какая бывает порою бабьего лета, что, разумеется, увеличивало мою неуверенность. Не то, чтоб это меня беспокоило. Если бы я не дошел до деревни к закату или даже затемно, то более чем вероятно, что мне попадется какая-нибудь маленькая голландская ферма или нечто подобное — хотя вообще-то окрестность (быть может, потому, что она более живописна, нежели пригодна для земледелия) была заселена в очень малой степени. Во всяком случае, если бы мой ранец послужил мне подушкой, а мой пес — часовым, бивуак на открытом воздухе освежил бы меня. Поэтому я шел, не торопясь и не волнуясь — Понто нес мое ружье — пока, наконец, я не стал размышлять, ведут ли куда-нибудь многочисленные прогалины, и одна из них как раз навела меня на несомненную проезжую дорогу. Ошибиться было невозможно. Ясно виднелись следы легких колес; и хотя высокие кусты и разросшийся подлесок сходились над головою, но они не воспрепятствовали бы проезду даже виргинского горного фургона — самого высокого экипажа из ему подобных. Дорога, однако, не считая того, что пролегла в лесу — если не будет чрезмерным назвать лесом подобное скопление тонких деревьев — и не считая отчетливых следов колес — ничем не походила ни на какую дорогу, мною дотоле виденную. Следы, о которых я говорю, были едва заметны, отпечатанные на упругой, но приятно влажной поверхности того, что больше всего напоминало зеленый генуэзский бархат. Ясно, что это была трава, но такую траву редко увидишь за пределами Англии — такую короткую, густую, ровную и яркую. Ничто не мешало ходу колес — ни единой щепочки или сухой ветки. Камни, некогда преграждавшие дорогу, были тщательно *размещены* — а не отброшены — по обеим сторонам тропы, определяя ее границы полуточным, полунебрежным, но весьма живописным образом. Между камнями пышно разрослись дикие цветы.

Что обо всем этом подумать, я, конечно, не знал. Несомненно, здесь было искусство — это меня не удивило: все дороги, в обычном смысле

слова, суть произведения искусства; не могу сказать, что удивлял избыток обнаруживаемого искусства; все, что было сделано, могло быть сделано именно здесь с использованием природных «возможностей» (как выражаются в книгах о декоративном садоводстве) — и с очень малой затратой труда и денег. Нет; не изобилие, а качество искусства заставило меня сесть на окруженный цветами камень и в течение целого часа растерянно и восторженно любоваться волшебною тропею. Чем дольше я смотрел, тем яснее становилось одно: работою руководил художник, и художник, наделенный острейшим чувством формы. С крайнею заботою соблюдена была надлежащая середина между аккуратностью и грациозностью, с одной стороны, и *pittresco* * в истинном значении итальянского термина — с другой. Прямых линий было немного, а длинные и непрерывные и вовсе отсутствовали. Одинаковый линейный или цветовой эффект был виден с каждой данной точки зрения обычно дважды, но не чаще того. Всюду в пределах единства наблюдалось разнообразие. Это был образец «композиции», в которую и самый придирчивый критический вкус не мог бы предложить улучшений.

Вступив на эту дорогу, я повернул направо и теперь, встав, продолжал путь в том же направлении. Тропа так извивалась, что ни на миг я не видел впереди себя более чем на два или на три шага. Характер дороги ни в чем существенном не менялся.

Затем слух мой уловил мягкий рокот воды — и несколько мгновений спустя, сделав более крутой поворот, нежели до того, я увидел, что прямо передо мною у подножия пологого спуска стоит какое-то здание. Я ничего не мог ясно рассмотреть из-за тумана, окутавшего маленькую долину внизу. Однако перед самым закатом солнца подул нежный ветерок; и, пока я стоял на верху откоса, туман постепенно развеялся клочьями и пополз по ложине.

Когда она целиком открылась мне — постепенно, как я описываю, по частям: тут покажется дерево, там блеснет водная гладь, а там станет видна труба на крыше дома, — мне померещилось, будто передо мною одна из тех хитроумных иллюзий, которые иногда демонстрируют под названием «туманных картин».

Однако к тому времени, как туман совершенно рассеялся, солнце зашло за пологие холмы, а оттуда, как бы с легким *chassez* ** к югу, снова переместилось в поле зрения, струя пурпурное сияние сквозь расселину в западной части долины. И тогда мгновенно, как бы по волшебству, стала отчетливо видна вся долина и все вокруг.

При первом взгляде, как только солнце соскользнуло за горизонт, я испытал то, что испытывал в детстве от финальной сцены хорошо поставленного театрального зрелища или мелодрамы. Соблюдалась даже

* Живописным (*итал.*).

** Здесь: поворотом (*франц.*).

фантастичность освещения; потому что свет солнца прорывался сквозь расселину, переливаясь оранжевыми и лиловыми оттенками; а ярко-зеленая трава долины отбрасывала блики на все предметы, отражаясь от туманной завесы, все еще висящей над головою, как бы в нежелании покинуть навсегда столь чарующе прекрасное место.

Маленькая долина, в которую я заглянул из-под туманного полога, длиною не превосходила четырехсот ярдов; в ширину же насчитывала от пятидесяти до ста пятидесяти, быть может, двухсот ярдов. Она была уже всего в северной своей части, отчасти расширяясь к югу. Самая широкая часть ее простиралась ярдах в восьмидесяти от южной оконечности. Пологие скаты, окружающие долину, вряд ли можно было бы назвать холмами, разве только на северной ее стороне. Здесь отвесная скала из гранита поднималась на высоту примерно в девяносто футов; и, как я упоминал, долина в этом месте была не шире пятидесяти футов; но, по мере движения к югу, путник находил справа и слева склоны менее высокие, менее крутые и менее скалистые. Одним словом, от севера к югу все понижалось и сглаживалось; но при этом всю долину, за исключением двух мест, окружали возвышенности. Об одном из этих мест я уже говорил. Оно было расположено на северо-западе и там, как я ранее описывал, заходящее солнце устремлялось в амфитеатр сквозь глубокую расселину в граните; эта трещина, если можно судить на глаз, в самом широком месте расходилась на десять ярдов. Видимо, она образовывала естественный коридор, ведущий к незнакомым горам и чащам. Другой выход находился точно на юге долины. Здесь в целом склоны были едва заметны, простираясь с востока к западу примерно на сто пятьдесят ярдов. В середине находилось углубление на одном уровне с долиною. Что до растительности, то она, как и все здесь, смягчалась и сглаживалась к югу. На севере — под утесистым обрывом — в нескольких шагах от края — вздымались великолепные стволы каштанов, ореховых деревьев, а кое-где — дубов; и крепкие горизонтальные ветви, особенно у ореховых деревьев, простирались далеко за край обрыва. Продвигаясь к югу, путешественник вначале видел такие же деревья, но менее высокие и не столь похожие на деревья с полотен Сальватора¹; потом он замечал и менее суровый вяз, а за ним — белую акацию и сассафрас²; их сменяли еще более мягкие по очертаниям липа, красноцвет, катальпа³ и клен, а их — еще более грациозные и скромные породы. Южный выход полностью оброс диким кустарником, среди которого лишь изредка попадались белые тополя или серебристые ивы. На дне самой долины (следует помнить, что растительность, о которой шла речь, находилась только на склонах и на утесах) видны были три одиноких дерева. Одно из них, вяз, большой и стройный; он стерег южные врата долины. Другое — ореховое дерево, гораздо выше вяза, хотя оба они были весьма красивы; оно как бы опекало северо-западный вход, воздымаясь из груды камней в самом зеве ущелья и простирая свой стройный стан почти под углом в сорок пять градусов далеко в освещенный солнцем амфитеатр. А примерно

в тридцати ярдах к востоку от этого дерева видна была краса долины, вне всякого сомнения, самое великолепное дерево изо всех, что я видел, если, пожалуй, не считать итчиатуканских кипарисов. Это было трехствольное тюльпанное дерево — *Liriodendron Tulipiferum* — семейства магнолиевых. Три ствола начинали едва заметно расходиться на высоте около трех футов от земли и отстояли друг от друга не более, нежели на четыре фута в том месте, где самый большой из стволов зеленел листвою, то есть на высоте футов в восемьдесят. Ничто не превзошло бы красотой форму дерева или гляцевитую, яркую зелень его листьев. Шириною они насчитывали целых восемь дюймов; но красоту их полностью затмевало пышное великолепие многозобильных цветов. Вообразите себе миллион огромных, роскошнейших тюльпанов! Только так читатель и сможет составить хоть какое-нибудь представление о картине, про которую я хотел бы рассказать. Добавьте к этому горделивую стройность гладких колоннообразных стволов, из которых самые большие доходили до четырех футов в диаметре и возвышались на двадцать футов от земли. Бесчисленные цветы, смешиваясь с цветами других деревьев, едва ли менее красивых, но бесконечно менее величественных, наполняли долину ароматом, превосходящим все арабские благовония⁴.

Долина была покрыта травой, такой же, что и на дороге, но, быть может, еще более восхитительно мягкой, густой, бархатистой и чудесно зеленою. Трудно было представить себе, как добились такой красоты.

Я говорил о двух входах в долину. По северо-западному протекал ручей, покрытый легкою пеною, и с тихим ропотом струился по расселине, пока не ударялся о груды камней, из которой вздымалось одинокое ореховое дерево. Опоясав ее, ручей шел к северо-востоку, оставляя тюльпанное дерево футах в двадцати к югу, и не менял направления, пока не приближался к средней точке между восточной и западной границами долины. Здесь он несколько раз извивался, поворачивал под прямым углом и следовал на юг, все время петляя, пока не впадал в маленькое озеро неправильной (говоря неточно, овальной) формы, которое блестело у нижнего края долины. Озеро это в самой широкой своей части достигало, быть может, ста ярдов в диаметре. Никакой хрусталь не превзошел бы чистотою его влаги. Дно его, ясно видимое, целиком усевала ослепительно белая галька. Берега, покрытые описанною ранее изумрудною травой, не опускались, а скорее стекали в чистый небосвод, и небосвод этот был столь ясен, порою столь безупречно отражал все над собою, что немалых трудов стоило определить, где кончается настоящий берег и где начинается призрачный. Форели и рыбы родственных им пород, которыми пруд был наполнен почти до тесноты, прямо-таки казались летучими рыбами. Почти невозможно было разувериться в том, что они парят в воздухе. Берегистой челн, покоившийся на водной глади, каждым своим волоконцем отражался в ней с точностью, которую не превзошло бы и тщательнейшим образом отполированное зеркало. Островок, утопавший в пышных, весе-

лых цветах, едва оставлявших место для живописного домика, видимо, птичника, поднимался из воды недалеко от северного берега, с которым его соединял мостик, на вид необычайно легкий и крайне примитивный. Его образовывала одна доска из тюльпанного дерева, толстая и широкая. Длинною она была сорока футов и соединяла берега, легко, но заметно выгибаясь в арку, что не позволяло ей качаться. Из южной оконечности озера вытекало продолжение ручья, который, извиваясь на протяжении, быть может, тридцати ярдов, наконец проходил сквозь «углубление» (ранее описанное) посередине южного входа и, низвергаясь с отвесного стофутowego обрыва, незаметно впадал в Гудзон.

Глубина озера местами доходила до тридцати футов — но ручеек редко превосходил глубиною три фута, в ширину же достигал не более восьми. Его берега и дно были такие же, что и у пруда, — и если уж можно было там к чему-нибудь придраться, то разве к чрезмерной опрятности, шедшей в ущерб живописности.

Зеленая трава там и сям разнообразилась декоративными кустами, такими, как гортензия или гевея; а чаще того — геранью, цветущей в великом обилии и разнообразии. Горшки с этими цветами были тщательно врыты в землю для видимости свободного произрастания. Помимо всего этого, на зеленом бархате луга белели овцы — их довольно большое стадо гуляло по долине, а с ними — три ручных оленя и множество уток яркого пера. Очень большой мастиф⁵, казалось, зорко сторожил всех вообще и каждого в отдельности.

Скалы на западе и на востоке — там, где в верхней части амфитеатра границы становились более или менее обрывисты, — поросли густым плющом, так что лишь изредка можно было заметить голый камень. Подобным же образом северный обрыв покрывали виноградные лозы редкостной пышности; иные росли из почвы у подножья утеса, иные — на его выступах.

Легкое возвышение, образующее южную границу этого маленького поместья, завершалось аккуратной каменной стеною, достаточно высокой для того, чтобы не позволить оленям уйти. Более нигде никаких изгородей не было видно, потому что в других местах искусственной ограды и не требовалось: к примеру, если бы какая-нибудь отбившаяся от стада овца попыталась покинуть долину сквозь расщелину, то через несколько ярдов обнаружила бы, что путь ей преграждает отвесная скала, с которой падает каскад, привлечший мое внимание, когда я начал приближаться к помещению. Коротко говоря, единственным входом и выходом служили ворота в проходе между скалами, на несколько шагов ниже той точки, где я остановился для обозрения местности.

Я описал вам весьма извилистый путь ручья на всем его протяжении. Два его главных направления, как я сказал, были сначала с запада на восток, а затем с севера на юг. На повороте ручей шел назад, почти замыкая круг, и образовывал полуостров, площадью около одной шестнадцатой акра. На этом полуострове стоял жилой дом — и когда я хочу

сказать, что дом этот, подобно адской террасе, увиденной Ватеком⁶, «était d'une architecture inconnue dans les annales de la terre»*, я разумею лишь то, что общий вид его крайне поразил меня сочетанием новизны и скромности — одним словом, поэтичностью (ибо только употребленными словами я бы мог дать наиболее строгое определение поэтичного в отвлеченном смысле) — и я не хочу сказать, что в нем было хоть что-либо outré**.

Да, вряд ли сыскалось бы что-нибудь скромнее и непритязательнее этого домика. Чудесный эффект, им производимый, исходил из его живописной композиции. Смотря на него, я мог бы вообразить, будто его создал своей кистью некий прославленный пейзажист.

Место, с которого я впервые увидел домик, было почти, но не самым лучшим для его обозрения. Поэтому опишу его таким, каким я увидел его впоследствии — с каменной стены на южной стороне амфитеатра.

Основная часть здания насчитывала около двадцати четырех футов в длину и шестнадцать в ширину — никак не более. Общая высота его, от земли до конька крыши, не могла превышать восемнадцать футов. К западному концу здания примыкала пристройка, меньшая во всех измерениях на треть; линия ее фасада отстояла от линии фасада главной части ярда на два; и крыша, разумеется, была значительно ниже той, к которой примыкала. Под прямым углом к ним, от тыльной части здания — не строго посередине его — отходила другая пристройка, очень маленькая, в общем на одну треть меньше западного крыла. Крыши больших помещений были очень круты, — опускаясь от коньковой балки, они образовывали большие вогнутые плоскости и простирались фута на четыре дальше стен, служа навесами двух веранд. Эти навесы, разумеется, не нуждались в подпорках, но так как по виду казалось, что нуждаются, то были снабжены легкими и совсем простыми столбами, и только по углам. Крыша северной пристройки была попросту продолжением главной крыши. Между основной частью и западным крылом поднималась очень высокая и довольно тонкая квадратная труба, сложенная из крепких голландских кирпичей, то черных, то красных, с небольшим карнизом, выступающим на верхушке. Крыши также далеко выступали: в главной части около четырех футов к востоку и двух к западу. Парадная дверь находилась не точно посередине главного здания, а чуть к востоку, два же окна фасада — чуть к западу. Эти последние не доходили до земли, но все же были значительно длиннее и уже обычного — одностворчатые, как двери, — а стекла большие и ромбовидные. Верхняя половина двери была стеклянная, тоже со стеклами в виде ромбов, закрываемая на ночь ставнею. Дверь западного крыла, очень простая, помещалась в его торцовой части, единственное окно его выходило на юг. В северном крыле

* По архитектуре являл собою нечто, неизвестное в летописях земли (франц.).

** Преувеличено (франц.).

наружной двери не было, и окно его, тоже единственное, выходило на восток.

Глухая стена восточного торца оживлялась лестницей (с балюстрадою), пересекавшей ее по диагонали с юга. Ступени ее вели под широко выступавшим навесом на мансарду или скорее на чердак — в нем было единственное окно с северной стороны, и служил он, видимо, кладовою.

У веранд при главной части здания и при западном его крыле полов, как водится, не было; но у дверей и под каждым окном, угнездясь в восхитительном дерне, лежали большие, плоские, неправильные по форме гранитные плиты, при любой погоде служившие удобной опорой. Тропинки, выложенные такими же плитами — без *чрезмерной* подгонки, но с частыми промежутками, заполненными бархатистым дерном, — вели в разных направлениях от дома: к хрустальному ручью шагах в пяти, к дороге, к флигелям, стоявшим к северу, на том берегу ручья и скрытым несколькими акациями и катальпами.

Не более чем в шести шагах от парадной двери высился мертвый ствол фантастической груши, так покрытый от подножья до макушки пышными цветами бегонии, что требовалось немалое внимание, дабы определить, что же это такое. Ветви этого дерева были увешаны разнообразными клетками. В одной, плетенке цилиндрической формы, веселился пересмешник; в другой — иволга; в третьей — дерзкий трупиял⁷ — а из трех или четырех более хрупких узилищ доносилось громкое пение канареек.

Вокруг столбов веранд вились благоуханная жимолость и жасмин; а из угла, образованного главной частью здания и западным крылом, разбегалась виноградная лоза невиданной густоты и пышности. Не зная преград, она карабкалась на крышу пониже — а затем и на более высокую; извивалась по коньку последней, выбрасывая усики направо и налево, пока не доходила, наконец, до восточного края и не сползала, волочась по ступенькам.

Весь дом с пристройками был возведен из старомодного голландского гонта — широкого, с незакругленными углами. Особенность этого материала заключается в том, что дома, из него выстроенные, кажутся шире в нижней части, нежели в верхней — на манер египетской архитектуры; и в настоящем случае этот весьма живописный эффект усиливали бесчисленные горшки с пышными цветами, почти скрывавшие основание дома.

Дом был выкрашен тускло-серой краской; и художник легко себе представляет, что за счастливое сочетание образовывал этот нейтральный оттенок с ярко-зеленой листвою тюльпанного дерева, частично осенявшего коттедж.

Если, как я описывал, смотреть на здания, стоя у каменной стены, то они представляли в очень выгодном свете — ибо вперед выступал юго-восточный угол — так что глаз охватывал оба фасада сразу, с живописной восточной стороною, и в то же время видел достаточную часть северного крыла, хорошенькую крышу беседки, и почти половину легкого мостика, пересекавшего ручей в непосредственной близости от главных зданий.

Я оставался на гребне холма не очень долго, но достаточно для того, чтобы во всех подробностях рассмотреть вид подо мною. Было ясно, что я сбился с пути в деревню и поэтому по праву путника мог открыть ворота и хотя бы спросить дорогу; и, без дальнейших церемоний, я направился внутрь.

Тропинка внутри ворот вела по естественному выступу и понемногу плавно опускалась по склону скал на северо-востоке. Она повела меня к подножью обрыва в северной стороне, оттуда — через мост и, обогнув дом с восточной его оконечности, подвела к парадному. Я заметил, что флигели пропали из вида.

Когда я поворачивал за угол, ко мне в напряженной тишине по-тигриному прынул мастиф. Однако в залог дружбы я протянул ему руку — и я не встречал еще собаку, способную воспротивиться, когда подобным образом взывают к ее вежливости. Пес не только захлопнул пасть и завил хвостом, но и дал мне лапу — а затем распространил свою любезность и на Понто.

Не обнаружив звонка, я постучал тростью в полуоткрытую дверь. И тут же к порогу приблизилась фигура — молодая женщина лет двадцати восьми — стройная или скорее даже хрупкая, чуть выше среднего роста. Пока она приближалась, с некоторой не поддающейся описанию скромною решимостью, я сказал себе: «Право же, я увидел совершенство естественного, нечто прямо противоположное заученной грациозности». Второе впечатление, произведенное ею на меня, и куда более живое, нежели первое, было впечатление *горячего радушия*. Столь ярко выраженная, я бы сказал, *возвышенность* или чуждость низменным интересам, как та, что сияла в ее глубоко посаженных глазах, никогда еще дотоле не проникала мне в самое сердце сердца⁸. Не знаю почему, но именно это выражение глаз, а иногда и губ — самая сильная, если не единственная чара, способная вызвать у меня интерес к женщине. «*Возвышенность*», — если мои читатели вполне понимают, что я хотел бы выразить этим словом — «возвышенность» и «женственность» кажутся мне обратимыми терминами; и, в конце концов, то, что мужчина по-настоящему *любит* в женщине — просто-напросто ее *женственность*. Глаза Энни (я услышал, как кто-то внутри позвал ее: «Энни, милая!») были «одухотворенно серого» цвета; ее волосы — светло-каштановые; вот все, что я успел в ней заметить.

По ее приглашению, весьма учтивому, я вошел в дом и сперва очутился в довольно широкой прихожей. Я пришел главным образом для *наблюдений* и поэтому обратил внимание, что справа от меня находилось окно, такое, как на фасаде; налево — дверь, ведущая в главную комнату; а прямо передо мною открытая дверь давала мне увидеть маленькую комнату, одной величины с прихожей, обставленную как кабинет, в котором большое окно фонарем выходило на север.

Пройдя в гостиную, я оказался в обществе *мистера Лэндора* — ибо, как я узнал впоследствии, такова была его фамилия. В обращении он был

приветлив, даже сердечен; но именно тогда мое внимание более привлекала обстановка жилья, столь меня заинтересовавшего, нежели облик его хозяина.

В северном крыле, как я теперь увидел, помещалась спальня, дверь соединяла ее с гостинойю. К западу от двери выходило на ручей единственное окно. В западной стене гостиной был камин и дверь, ведущая в западное крыло — вероятно, в кухню.

Ничто не могло бы суровою простотою превзойти обмезблировку комнаты. Пол устилаал ковер превосходной выработки — с круглыми зелеными узорами по белому полю. На окнах висели занавески из белоснежного жаконета: они были достаточно пышны и ниспадали к полу *резкими*, быть может, чрезмерно жесткими складками — и доходили точно до пола. Стены были оклеены бумажными французскими обоями весьма тонкого вкуса, с бледно-зеленым зигзагообразным орнаментом по серебряному полю. Стена оживлялась тремя изысканными литографиями Жюльена⁹ *à trois couleurs**, повешенными без рамы. Одна из них изображала сцену восточной роскоши или, скорее, сладострастия; другая — карнавальный эпизод, исполненный несравненного задора; третья — голову гречанки, и лицо, столь божественно прекрасное и в то же время со столь дразнящею неопределенностью выражения, никогда дотоле не привлекало моего внимания.

Более основательная мебель состояла из круглого стола, нескольких стульев (в том числе большой качалки) и софы или, скорее, небольшого дивана; материалом ему служил простой клен, окрашенный в молочно-белый цвет, слегка перемежаемый зелеными полосками; сидение плетеное. Стулья и стол — того же стиля; но *формы* их всех, очевидно, являлись порождением ума, который измыслил и весь «участок»; ничего изящнее и представить себе невозможно.

На столе лежали несколько книг, стоял большой квадратный флакон из хрусталя с какими-то новыми духами; простая *астральная* (не солнечная) лампа¹⁰ из матового стекла, с итальянским абажуром, и большая ваза, полная великолепных цветов. Цветы с многообразной яркой окраской и нежным ароматом были единственным, что находилось в комнате только ради украшения. Камин почти целиком занимала ваза с яркой геранью. На треугольных полках по всем углам стояли такие же вазы, отличные друг от друга лишь своим прелестным содержимым. Один-два букета поменьше украшали каминную полку, а поздние фиалки усеивали подоконники открытых окон.

Цель настоящего рассказа заключается единственно в том, чтобы дать подробное описание жилища мистера Лэндора, *каким я его нашел*.

* Трехцветные (франц.).

1 Янв. 1796. Сегодня — в мой первый день на маяке — я вношу эту запись в дневник, как уговорился с Дегрэтом. Буду вести дневник насколько *смогу* аккуратно — но кто знает, что может случиться, когда человек остается, вот так, совершенно один, — я могу заболеть, а может быть и хуже... Покуда все хорошо! Катер едва спасся, но стоит ли об этом вспоминать, раз уж я добрался *сюда* в целости? На душе у меня становится легче при одной мысли, что впервые в жизни я буду совершенно *один*; нельзя же считать «обществом» Нептуна, как он ни велик. Вот если бы в «обществе» я нашел половину той *верности*, что у этого бедного пса, я, вероятно, не разлучился бы с «обществом», даже на год... Что меня удивляет больше, так это затруднения, с которыми столкнулся Дегрэт, когда хлопотал получить для меня эту должность — для меня, знатного человека! И это не потому, что совет попечителей сомневался в моей способности справиться с огнем маяка. Ведь и до меня с ним справлялся *один* человек — и справлялся не хуже, чем команда из троих, которую к нему обыкновенно ставят. Обязанности эти — пустяшные, а печатная инструкция составлена как нельзя яснее. Взять в спутники Ордорфа было просто невозможно. Я не смог бы работать над книгой, если бы он был тут со своей несносной болтовней — не говоря уж о неизменной пенковой трубке. К тому же, я хочу быть именно *один*... Странно, что до сих пор я не замечал, как уныло звучит самое слово — «один»! Мне даже начинает казаться, будто эти цилиндрические стены рождают какое-то особое эхо — впрочем, чепуха! Одиночество начинает-таки действовать мне на нервы. Нет, *этак* не годится. Я не позабыл предсказания Дегрэта. Надо поскорее подняться к фонарю и хорошенько оглядеться, «чтобы увидеть, что можно». Не очень-то много тут увидишь. Волнение на море, как будто, начало утихать, но все же катеру нелегко будет добраться до дому. Они едва ли завидят Норланд¹ раньше полудня завтрашнего дня — а ведь до него вряд ли более 190 или 200 миль.

2 Янв. Нынешний день я провел в каком-то экстазе, который не в силах описать. Моя страсть к одиночеству не могла бы получить лучшей пищи — не могу сказать *удовлетворения*, ибо я, кажется, никогда не смог бы насытиться блаженством, какое я испытал сегодня.

...Ветер к рассвету стих, а после полудня заметно успокоилось и море... Даже в подзорную трубу ничего не видно, кроме океана и неба, да еще иногда чаек.

3 Янв. Весь день стоит мертвый штиль. К вечеру море стало точно стеклянное. Показалось несколько обрывков водорослей, но кроме них

весь день *ничего* — даже ни единого облачка... Я занялся осмотром маяка... Он очень высок — как я убеждаюсь на собственном нелегком опыте, когда приходится взбираться по бесконечным ступеням — почти 160 футов от самой низкой отливной отметки до верхушки фонаря. А внутри башни расстояние до вершины составляет не менее 180 футов — таким образом пол расположен на 20 футов ниже уровня моря, даже при отливе... Мне кажется, что пустоту в нижней части следовало бы заполнить сплошной каменной кладкой. Она, несомненно, сделала бы все строение гораздо *надежнее*; но что это я говорю? Такое строение достаточно надежно при любых обстоятельствах. В нем я чувствовал бы себя в безопасности во время самого свирепого урагана, какой только возможен, — однако я слышал от моряков, что иногда, при юго-западном ветре, приливы здесь бывают выше, чем где бы то ни было, исключая западного входа в Магелланов пролив. Но перед этой мощной стеной, скрепленной железными скобами, прилив сам по себе бессилен — на 50 футов над высшей приливной отметкой толщина стены никак не меньше четырех футов. Здание построено, по-видимому, на меловой скале².

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Н. НИКОЛЮКИН

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

(1809—1849)

Существует легенда, что в молодости Эдгар По побывал в Петербурге. Гуляя по Невскому проспекту, он мог встретиться с Пушкиным и Гоголем, жившими в то время в северной столице. Что ни говори, а подобные происшествия, по выражению Гоголя, бывают на свете, редко, но бывают.

Автор этой легенды — сам Эдгар По. В автобиографии он утверждает, что, проучившись год в Виргинском университете, «бежал из дома, чтобы принять участие в борьбе греков за свободу. Не добравшись до Греции, я оказался в России, в Петербурге. Из затруднительного положения, в которое я попал там, мне удалось выйти благодаря любезности Г. Миддлтона, американского консула в Петербурге, и в 1829 г. я вернулся домой...»¹

История о посещении России появилась затем в некрологе, опубликованном через день после смерти писателя в газете «Нью-Йорк трибьюн» и не раз рассказывалась позднее, в том числе и в русских журналах прошлого века. Она переходила из книги в книгу, пока американские биографы По не установили с документальной точностью, что в России он никогда не бывал, а служил в это время в армии под именем Эдгара А. Перри.

Не подтвердил версии о посещении писателем России и архив Генри Миддлтона, хранящийся в Москве. Среди многочисленных запросов Миддлтона в русское министерство иностранных дел о выдаче паспортов американцам, оказавшимся в конце 20-х годов прошлого века в Петербурге, имя По не упоминается (если, конечно, и здесь не предположить, что он получил паспорт не под своим именем). В 1830 г. Миддлтон вернулся в США, где и умер в 1846 г. Остается загадкой, зачем По придумал «русский эпизод» своей жизни. И не только придумал, но и сослался на живого тогда еще Миддлтона (автобиография написана в 1839 г.). Сказалась ли здесь свойственная писателю манера «документировать» самые невероятные приключения, чтобы придать им вид реальности, или романтическое увлечение национально-освободительной борьбой греков, за которую незадолго перед тем отдал жизнь Байрон? И По отправился — хотя бы только в мечтах — сражаться за свободу

¹ Edgar Allan Poe. The Complete Works. Ed. by James A. Harrison, vol. I. N. Y., AMS Press, 1965, p. 345.

Греции, но очутился якобы в николаевской России вскоре после восстания декабристов.

Сама эта история, напоминающая своей несообразностью экстравагантцу «Черт на колокольне» (созданную, кстати, в том же году, что и автобиография), может считаться одним из его ненаписанных рассказов о путешествии в Россию.

И хотя легенда о поездке в Петербург остается легендой, история знакомства российского читателя с творчеством великого американского писателя восходит именно к гоголевскому периоду русской литературы. Россия — одна из немногих стран, познакомившихся с творчеством По еще при его жизни. Первые русские переводы его рассказов появились в конце 40-х годов и были замечены В. Г. Белинским². Уже второе столетие стихи и рассказы По читаются и перечитываются со все возрастающим интересом, хотя суждения об их достоинствах до сих пор не отличаются единодушием.

Легенды сопровождали По в течение всей его жизни. О враждебной атмосфере, окружавшей писателя при жизни и после смерти, наиболее выразительно сказал Шарль Бодлер, страстный защитник и первый настоящий переводчик По во Франции.

«Поговорите о По с американцем, — писал Бодлер. — Он, быть может, признает его гений, может быть, даже будет гордиться им, но с язвительным тоном превосходства человека положительного он начнет говорить вам о непристойной жизни поэта, об его алкоголизированном дыхании, которое от приближения свечки могло бы вспыхнуть, о его склонности к бродячей жизни. Он скажет вам, что это было беспорядочное и странное существо, планета, вышедшая из своей орбиты, что он беспрестанно блуждал из Балтимора в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Филадельфию, из Филадельфии в Бостон, из Бостона в Балтимор, из Балтимора в Ричмонд. И если вы, изумившись такому предисловию к этой ужасной истории, дадите понять, что, быть может, не личность только виновата в этом, что трудно мыслить и неудобно писать в стране, где миллионы владык... — то увидите, как широко раскроются глаза вашего собеседника, как они начнут метать молнии; пена оскорбленного патриотизма выступит на его губах»³.

Эдгар По прожил нелегкую жизнь. В двухлетнем возрасте он потерял родителей и был взят на воспитание в дом богатого торговца Джона Аллана в Ричмонде. Его фамилия стала позднее вторым именем писателя. Так Эдгар По стал Эдгаром Алланом По; впрочем, сам он не писал своего второго имени полностью, ограничиваясь инициалом.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в 13-ти томах, т. X, М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 142.

³ Шарль Бодлер. Эдгар По. Жизнь и творчество. Одесса, «Труд», 1910, стр. 9—10.

Предки По были выходцами из Ирландии. В середине XVIII в. прадед писателя переселился из Ирландии в Пенсильванию, дед — генерал Дэвид По — был участником американской революции, другом М. Ж. Лафайета. Отец — Дэвид По младший — был артистом и умер 26-ти лет. Мать — Элизабет Арнолд Хопкинс — происходила из семьи актеров Ковентгарденского театра в Лондоне. В январе 1796 г. вместе с матерью она приехала в Бостон, а уже в апреле состоялось первое выступление девятилетней девочки на сцене Бостонского театра. Вскоре она стала любимицей американской театральной публики, постоянно переезжая из Бостона в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Филадельфию, Вашингтон, Чарлстон, Норфолк, Ричмонд. Познакомившись с актером Дэвидом По, она вышла за него замуж. И снова гастроли. Но теперь вместе с собой по неблагоустроенным еще дорогам Америки семья возила двух детей — Эдгара и его старшего брата Вильяма.

После рождения третьего ребенка — Розали — мать стала чахнуть и через год умерла от туберкулеза. А через две недели после того как мать Эдгара была похоронена на ричмондском кладбище, здание театра в Ричмонде, где она играла до последних дней, было уничтожено огромным пожаром; в огне погибли находившиеся в зале по случаю рождественских праздников многочисленные именитые зрители, среди которых был и губернатор штата. Говорили, будто и родители По сгорели заживо в театре, но это была лишь еще одна романтическая легенда, окружавшая ранние годы жизни писателя.

Маленький Эдгар не раз слышал ужасную историю об этом пожаре и вместе с бесчисленными рассказами своей няни-негритянки о привидениях, кладах, оживших покойниках и иной рождественской чертовщиной она запечатлелась в его сознании как частица ужасного и непонятного, врывающегося в человеческое существование подобно Ворону, стукнувшему в окошко.

Как только окончилась война с Англией, в которой дед Эдгара — генерал Дэвид По — снова принимал участие, все семейство Джона Аллана вместе с приемным сыном погрузилось на корабль и отправилось в Англию, отчасти по торговым делам главы семьи, отчасти ради развлечения. Из тихого, хотя и по-своему аристократического Ричмонда, насчитывавшего в то время менее десяти тысяч жителей, половина которых были негры и слуги, где все знали друг друга и жизнь еще протекала в патриархальной неспешности, семья Аллана попала в Лондон; первой вестью, которую они услышали, сойдя с корабля, было известие о битве при Ватерлоо. Страна праздновала победу над своим старым врагом. Это была Англия, в которой гремела слава Байрона и романтизм господствовал в литературе.

Поездка в Шотландию, где жили родственники приемного отца По, возможно, впервые пробудила интерес к поэзии. Эдгар побывал в бернсовских местах. Говорят, он особенно любил слушать стихотворную повесть великого шотландца «Тэм О'Шентер», которую читал Джон Аллан.

Затем началось учение в лондонских пансионах — сначала в маленькой школе по соседству, а через год в большой школе в Стокньюингтоне, который в те времена был еще пригородом Лондона.

Через двадцать лет в рассказе «Вильям Вильсон» По описал свою жизнь в этой школе: «Самые ранние воспоминания о моей школьной жизни связаны с большим домом елизаветинских времен, стоявшим в окутанной туманами английской деревне, где росло много гигантских корявых деревьев и где все дома были очень стары. Поистине, это почтенное старое селение казалось приснившимся и весьма умиротворяло. Я и теперь как будто чувствую живительную прохладу его аллей, погруженных в глубокую тень, вдыхаю аромат бесчисленных кустов и который раз испытываю невыразимое наслаждение, заслышав гулкий звук церковного колокола, каждый час внезапно и ворчливо вторгавшегося в тишь сумерек, покоивших сон резной готической колокольни».

Затруднения в делах заставили Аллана прекратить свою коммерческую деятельность, забрать Эдгара из школы и пуститься со всем семейством в обратное путешествие в Америку. В августе 1820 г. Эдгар снова в Ричмонде. Вскоре он начинает писать стихи. Многие из них не дошли до нас, но одно, опубликованное впервые в 1831 г., было написано, по утверждению поэта, в эти ранние годы. В нем выражена любовь к женщине, вскоре умершей:

Елена! Красота твоя —
 Никейский челн дней отдаленных,
 Что мчал меж зыбей благовонных
 Бродяг, блужданьем утомленных,
 В родимые края!⁴

Весной 1824 г. недалеко от Ричмонда — в Шарлотсвилле — открылся основанный Томасом Джефферсоном Виргинский университет. Создание в своем родном штате университета восьмидесятилетний демократ считал столь же важным делом своей жизни, как и написанную за полвека до этого Декларацию Независимости.

Через год после открытия университета Эдгар По стал его студентом. С семи до девяти часов утра шесть раз в неделю он слушал лекции по античной и современной (испанской, итальянской и французской) литературе, переводил с греческого и латинского, а все остальное время был предоставлен самому себе. Но университетская жизнь внезапно оборвалась. Проучившись десять месяцев, Эдгар оставил университет и, поссорившись со своим приемным отцом, уехал в Бостон. Так в восемнадцать лет он оказался один без всяких средств в чужом городе, хотя город этот и был местом его рождения.

⁴ Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворные переводы В. Я. Брюсова.

Бостон стал в том же 1827 г. свидетелем рождения поэтического таланта По. В июне анонимно был издан сборник «Тамерлан и другие стихотворения». На титульном листе этой первой книги По вместо фамилии автора было лишь обозначено, что она написана «бостонцем».

Поэма «Тамерлан», открывавшая сборник, — романтическая фантазия в духе «восточных поэм» Байрона. В позднейших переизданиях она была почти вдвое сокращена и заново переработана поэтом. Романтический пафос, близкий ранним стихам В. К. Брайента, получил дальнейшее развитие. Характерна, например, антитеза «свободы вольных прерий» и городской цивилизации. Поэт, однако, не ограничивается традиционным романтическим противопоставлением «естественному человеку» испорченного цивилизацией корыстолюбца. Природа сама по себе не может исправить человека, и его порочные страсти (так же, как и достоинства) лишь полнее раскрываются на «свободе»:

Но там, где люди в толпы сжаты,
Лев честолюбия — в цепях,
Над ним с бичом закон-вожатый;
Иное — между гор, в степях,
Где дикость, мрачность и громадность
В нем только разжигают жадность.

Пока печатался первый сборник стихов, ставший ныне величайшей библиографической редкостью, за которую американские библиофилы готовы платить бешеные деньги, голод и нужда заставили Эдгара записаться солдатом в армию Соединенных Штатов. Гордость и страх перед кредиторами вынудили его назваться Эдгаром А. Перри.

Два года, проведенные в армии, были не самыми тяжелыми в его жизни. Артиллерийская батарея, в которой служил По, была вскоре переведена на Сэлливанов остров, описанный в знаменитом «Золотом жуке», а затем в один из фортов Виргинии. Так, Эдгар вновь попал на Юг, где приемный отец помог ему уволиться из армии. Было решено, что Эдгар поступит в военную академию в Вест-Пойнте.

В это время умирает жена мистера Аллана, всегда заступавшаяся за юношу. Теперь ничто уже не связывало По с мистером Алланом, который после смерти жены стал еще холоднее к своему воспитаннику.

По отправляется в Балтимор, где жили родственники его отца — разбитая параличом вдова генерала По, ее дочь, Мария Клемм, с двумя детьми — одиннадцатилетним Генри и семилетней Виргинией, которая через семь лет стала женой поэта. Здесь же жил его старший брат Вильям Генри, рассказы о морских путешествиях которого живо интересовали Эдгара.

В Балтиморе вышла в свет вторая книга стихов По — «Аль Аараф, Тамерлан и мелкие стихотворения» и завязались первые литературные знакомства. Поэма «Аль Аараф» была объявлена критикой «нечитае-

мой», и прошла так же всеми не замеченной, как и первый опыт с «Тамерланом». Сложная романтическая образность поэмы, ассоциативная символика выделяли ее среди повествовательных и лирических американских стихов 20-х годов. Романтизм еще не утвердился в поэзии, хотя появились уже ранние стихи Брайента и Лонгфелло.

Название «Аль Аарааф», по мысли поэта, должно выражать идею чистилища в мусульманской религии, хотя арабисты расходятся в толковании этого слова. В то же время это название наблюдавшейся датским астрономом Тихо Браге яркой звезды, которая неожиданно появилась на небе и через несколько месяцев столь же внезапно исчезла.

Этот необычайный факт, как все необычное в жизни, приковал к себе воображение поэта. Уже здесь проявилась особенность поэтического склада природы По — его привлекало все необычное, чудесное, что давало возможность научной, логической интерпретации. В дальнейшем эта черта художественного таланта По блестяще проявилась в его прозе.

Поэма «Аль Аарааф» интересна также тем, что здесь впервые возникает образ Лигейи. В отличие от мрачного и мистического гимна любви, созданного через десятилетие в рассказе «Лигейя», здесь — светлая юношеская мечта об идеальной красоте. Поэт сравнивает Лигейю с романтическим альбатросом, который во время сна парит в воздухе:

Знаю! где бы Лигейю
Ни сковала мечта,
Та же музыка с нею
Неразрывно слита.

Ты, Лигейя, смежаешь
Много взоров мечтой,
Но, уснув, ты внимаешь
Песням, сродным с тобой.

В качестве поэтического предисловия к сборнику «Аль Аарааф» По напечатал свой первый сонет, который в позднейших изданиях получил название «Сонет к науке». Это по существу его первый поэтический манифест. И если на основе анализа своего знаменитого «Ворона» По создал в конце жизни эстетический трактат «Философия творчества» (1846), то истоки этой концепции художественного творчества восходят в его поэзии к «Сонету к науке». Здесь противопоставлены фантазия и реальность, природа и «научная истина», сердце поэта и разум ученого, изгнавшего сны из жизни:

Наука! Ты — дитя Седых Времени!
Меняя все вниманьем глаз прозрачных,
Зачем тревожишь ты поэта сон,
О коршун! Крылья чьи — взмах истин мрачных!..

Дианы коней кто остановил?
Кто из леса изгнал Гамадриаду,
Услав искать приюта меж светил?

Кто выхватил из лона вод Наяду?
Из веток Эльфа? Кто бред летних грез,
Меж тамарисов, от меня унес?

Весной 1830 г. По был, наконец, зачислен слушателем военной академии в Вест-Пойнте, где пробыл менее года и был исключен за нарушение дисциплины. Среди правил внутреннего распорядка, которые нарушал курсант По, были такие, как «№ 173. Курсант не должен иметь в своей комнате романов, стихов или иных книг, не относящихся к его учению, без особого на то разрешения начальника академии». Другой параграф правил запрещает игру в шахматы и триктрак.

Военная служба никогда не прельщала поэта. Он поступил в академию, втайне надеясь иметь больше свободного времени для творчества и выполняя условие, при соблюдении которого мистер Аллан соглашался материально его поддерживать.

Однако скоро выяснилось, что занятия в академии не оставляли свободного времени, а финансовая помощь приемного отца была столь же скупа, как и во время пребывания в университете. Оставалось одно — добиться исключения из академии, чтобы отдаться любимой поэзии. По перестал посещать занятия, парады и поверки, был предан военному суду и исключен навсегда из армии Соединенных Штатов за нарушение дисциплины. После этого Аллан окончательно отвернулся от своего воспитанника, а вскоре умер, не упомянув Эдгара в завещании.

В начале 1831 г., вскоре после того как По оставил военную академию, он обратился к военным властям с просьбой послать его сражаться за свободу Польши. Как отмечает американский критик-демократ Ван Вик Брукс, польские революционеры 1831 года были для американских писателей тем же, чем в 1937 г. стали для современников испанские республиканцы, «и, когда По заявил, что отправляется в Париж, чтобы присоединиться к польской армии, он поступал так же, как те американцы, которые столетие спустя вступили в бригаду Линкольна, чтобы сражаться в Испании»⁵. Однако просьба По осталась без ответа, и поездка не состоялась.

Весной 1831 г. в Нью-Йорке издается третий сборник стихов По. Из прежних произведений здесь были напечатаны «Тамерлан», «Аль Аарааф» и «Сонет к науке». Уже в этом проявился строгий авторский отбор и отказ от многих несовершенных стихов сборника 1827 г. Как бы перечеркивая свою первую анонимную книгу, По ставит на титульном листе третьего сборника слова «второе издание». Однако новый том стихов, как и прежние, не обратил на себя внимание критики. Первый этап

⁵ Van Wyck Brooks. The World of Washington Irving. N. Y., Dutton and Co., 1944, p. 261.

борьбы поэта за свое признание кончился поражением. Не добившись успеха в поэзии, он решил обратиться к прозе.

Впрочем, первое прозаическое произведение — критическая статья «Письмо к мистеру Б.» — было опубликовано в качестве предисловия к изданию стихотворений 1831 г. Здесь По обосновывает свой «поэтический принцип» — высказывает взгляды на поэзию. Осуждая В. Вордсворта за «метафизический характер его поэзии», По пытается сформулировать «цели поэзии» как воплощения красоты. Те же мысли развивает он в своих позднейших статьях на эту тему.

Обосновавшись в 1831 г. в Балтиморе, По всецело отдается литературной работе, хотя первые годы она не приносит ему никакого заработка. Он жадно читает все, что попадает под руку, — эдинбургский журнал «Блэквуде мэгезин» и Британскую энциклопедию, книги по науке и философии. И, конечно, своих любимых поэтов — Байрона, Китса, Колриджа, Мура и Шелли. Лихорадочно и упорно, живя впроголодь, готовится По к грядущим литературным битвам. И это время вскоре настает.

Осенью 1831 г. первые пять рассказов были посланы на конкурс в филадельфийский журнал «Сэтерди куриер». И хотя По не получил денежной премии, в течение 1832 г. рассказы были анонимно напечатаны в журнале в виде поощрения.

По работал над сборником новелл, который он хотел назвать «Рассказы Фолио клуба», когда балтиморский журнал «Сэтерди визитер» объявил конкурс на лучшую повесть и стихотворение. По послал шесть новелл из «Рассказов Фолио клуба» и только что написанное стихотворение «Коллизей». Однако его поэзия снова не была признана, и в этом нет ничего удивительного — первую премию получил сам редактор журнала, что вызвало естественное возмущение По. Зато рассказу «Рукопись, найденная в бутылке» без колебаний была присуждена награда. Публикация этого фантастического рассказа в октябре 1833 г. знаменует собой начало литературной известности писателя.

Еще большее значение, чем успех рассказа, имела для судьбы По начавшаяся тогда дружба с Джоном Кеннеди, входившим в состав жюри. Кеннеди был уже известным писателем, хотя еще и не создал своего лучшего романа «Робинзон-Подкова». Он помог По войти в литературу. В каком тяжелом положении находился По, свидетельствует одно из писем той поры. Когда однажды Кеннеди пригласил его на обед, то поэт не мог прийти «из-за самого плачевного состояния своей одежды. Вы можете понять, с каким горьким чувством вынужден я сделать Вам такое признание, но у меня нет иного выхода»⁶, — писал в ответном письме По.

Благодаря поддержке Кеннеди летом 1835 г. По получил место редактора в ричмондском журнале «Сатерн литерери мессенджер».

⁶ E. A. Poe. The Complete Works, vol. XVII, p. 2.

С конца 1835 г., когда По как ведущий редактор стал по существу определять характер журнала, популярность и тираж этого издания резко увеличились. Молодой писатель создал новый тип журнала, лицо которого определяли его собственные критические статьи, рассказы и стихи.

На страницах журнала печатались отрывки из оставшейся неоконченной драмы По, которая позднее получила название «Полициан». Писатель использовал шумевшую в то время «кентуккскую трагедию», придав ей романтическое звучание. Богатый полковник соблазнил девушку и бросил. Через несколько лет она вышла замуж, взяв с мужа обещание отомстить обидчику. Выполняя это условие, муж заколол соблазнителя. В тюрьме женщина покончила с собой, а ее муж был казнен за убийство.

К этой истории обращались многие американские писатели, создавая на ее основе романы и повести. По перенес действие своей драмы в Рим и дал героям итальянские имена. Первый опыт По в области драмы был и последним. В дальнейшем он никогда уже не обращался к драматической форме, которая, в отличие от английских романтиков, так и не была по-настоящему освоена американскими.

«Полициан» был написан как драматическая поэма, и едва ли По предназначал свою пьесу для театра (ее первая постановка была осуществлена в театре Виргинского университета лишь через столетие — в 1933 г.). Однако интерес По к театру, одним из свидетельств чего был «Полициан», сохранился у писателя на всю жизнь.

В журнале впервые появились в печати литературно-критические статьи По. Он рецензирует новые книги Ирвинга, Купера, Брайента, Симмса, Полдинга, романы английских писателей — Диккенса, Бульвера. Полтора года жизни в Ричмонде были насыщены ежедневной литературной работой над сотнями статей и рецензий, своих и чужих.

С нового 1837 г. в журнале начали печататься «Приключения Артура Гордона Пима». Вскоре публикация глав прекратилась — в феврале По оставил журнал и перебрался в Нью-Йорк. Отдельное издание появилось летом 1838 г. Критика восприняла книгу как отчет о подлинном путешествии в Южные моря и с полной серьезностью осудила автора за преувеличения и невероятность описываемого.

По применил здесь свой излюбленный прием — прежде чем описать явления фантастические, он дает вполне реальную картину действительных исторических событий — путешествий в Южные моря, начиная с английского капитана Кука до русского адмирала Крузенштерна. Читатель погружается в достоверный материал, его недоверчивость исчезает и он как-то незаметно выплывает вместе с героями романа к таинственному черному острову Тсалал среди льдов Антарктиды, где живут коварные и кровожадные дикари. После этого доверчивый читатель плывет вместе с рассказчиком за восемьдесятчетвертый градус южной широты и не успевает опомниться, как приближается к самому Южному полюсу, где температура воды поразительно высока и потоки океана вливаются в бездну водопада, из которого вдруг «подымается человеческая фигура

в саване, далеко превосходящая своими размерами обыкновенных людей. Ее кожа была блее снега».

Повествование обрывается. А точнее было бы сказать — оканчивается, ибо все, что было обещано в длинном заглавии на титульном листе книги, уже совершилось, и, как известно из вступительных слов самого Артура Гордона Пима, предпосланных его истории, он благополучно вернулся в Соединенные Штаты «несколько месяцев тому назад после ряда необычайных приключений в Южном океане». Таким образом, круг замкнут, и отсутствует разве что самая невероятная часть путешествия Пима — от отверстия-водопада на Южном полюсе по подземным морям обратно в Америку. Но на такое описание, разрушившее бы всю достоверность повествования, не отважился даже По и объявил в примечании к роману последние две-три главы потерянными, сохранив видимость правдоподобия происходящего до конца. Писатель стремится удержаться на грани вероятного. Уведомив публику о «внезапной и трагической смерти мистера Пима» и о том, что «джентльмен, о котором упомянуто в предисловии» (то есть сам По), наотрез отказался пополнить пробел в конце рассказа, автор в «издательском примечании» оставляет читателю надежду на то, что второй участник невероятной экспедиции к Южному полюсу — Питерс, от которого можно было бы ожидать необходимых сведений, еще жив и находится где-то в Иллинойсе, «однако мы не могли его разыскать»⁷.

Стремясь достигнуть максимальной правдоподобности невероятного, По обращается к испытанному в американской литературе еще Ирвингом приему мистификации. Однако он не просто создает своего мифического Пима, а в предисловии, написанном якобы Пимом, объявляет, что начало рассказа о его приключениях, которые публика сочла бы бессознательной выдумкой, если бы он попытался опубликовать их как истинные, было «под видом вымысла» напечатано в 1837 г. с его согласия в журнале «Сатерн литерери мессенджер» и подписано именем Эдгара По. «Прием, оказанный этой мистификации со стороны публики, — продолжает А. Г. Пим, — побудил меня составить и напечатать подробное описание всех моих приключений. В самом деле, несмотря на фантастический характер, так искусно приданный первой части рассказа, напечатанной в журнале (причем ни один факт не был искажен или изменен), публика отнюдь не оказалась склонной принимать его за сказку... Отсюда я заключил, что факты, изложенные в рассказе, сами по себе представляются вероятными и что, следовательно, мне нечего бояться недоверия публики».

Так По вводит прием двойной мистификации: объявляя мистификацией часть повести и «раскрывая» замысел этой выдумки, он с тем боль-

⁷ Этим намеком воспользовался через полвека Жюль Верн, написавший роман «Ледяной сфинкс» (1897), в котором описана экспедиция по спасению оставшихся в живых участников путешествия на остров Тсалаал.

шим успехом мистифицирует читателей, заставляя их поверить в правдоподобность всего произведения.

Связь реального и фантастического была одной из существенных сторон романтической эстетики По, как и других американских романтиков — Готорна, Мелвилла. Они противопоставляли вымысел факту и в то же время пытались отыскать нити, связующие иллюзорное с реальным. Неверно было бы считать, что они пытались уйти от жизни в романтическую иллюзию, замкнуться в мире фантазии. Крупнейшие американские писатели-романтики, к которым принадлежит и По, были столь же тесно связаны с жизнью своей эпохи, как затем писатели-реалисты, хотя выражение этих связей носило у тех и других различный характер. Поэтому едва ли справедливы попытки разделять романтиков и реалистов по степени остроты социальной критики в их произведениях. Иные исторические и эстетические категории отличают эти направления в американской литературе прошлого века.

Летом 1838 г. По переезжает в Филадельфию, где начинается один из наиболее плодотворных периодов его творчества. Филадельфия того времени была городом с 220 тысячами населения и наряду с Нью-Йорком считалась крупнейшим центром американского книгопечатания. Несмотря на патриархальные квакерские традиции, общественная жизнь города протекала весьма бурно. Всего за два месяца до прибытия По толпа сторонников рабства сожгла редакцию аболиционистской газеты, в которой работал поэт-аболиционист Джон Гринлиф Уитьер. Известный американский критик Ван Вик Брукс писал об этом непримиримом поэт-борце: «Он любил схватиться с толпой один на один. Черная квакерская куртка Уитьера была заляпана тухлыми яйцами, а крыша редакции «Свободного гражданина Пенсильвании», где он работал, рухнула при пожаре чуть ли не над его головой»⁸.

В Филадельфии вышла единственная из книг По, выдержавшая при его жизни несколько изданий. По горькой иронии судьбы эта переиздававшаяся современниками книга писателя ныне настолько забыта, что мимо нее нередко проходят даже исследователи его творчества. Едва ли кто вспомнит, что это была «Первая книга конхиолога» — систематический обзор различного рода раковин с многочисленными рисунками. По начал увлекаться конхиологией — наукой о раковинах моллюсков — еще во время своей армейской службы на острове Сэлливан. И хотя книга По носила во многом компилятивный характер (в третьем издании он даже снял свое имя с титульного листа, поставив свои инициалы в конце текста), она вызвала интерес у его сограждан, к сожалению, даже больший, чем его стихи...

В этом маленьком эпизоде с «Первой книгой конхиолога» отразилось уже возникающее трагическое расхождение между деловой Америкой,

⁸ Ван Вик Брукс. Писатель и американская жизнь, т. I. Расцвет Новой Англии. М., «Прогресс», 1967, стр. 294.

PHANTASY-PIECES

by

Edgar Allan Poe.

[Including all the author's late tales with
a new edition of the "Grotesque and
Arabesque"]

Seltsamen Tochter Jovis,
Seinem schosskinde,
Der Phantasie.

Göthe

Two
~~Three~~ Volumes.

Титульный лист издания «Гротесков и арабесок»,
которое По готовил к печати в 1842 г.
Автограф

Contents

To Printers, in the printing the Tales preserve the order of the Table of Contents

- The Murders in the Rue Morgue.
The Man that was Used Up.
A Descent into the Maelstrom.
Lionizing.
The Colloquy of Monos and Una.
The Business Man.
The Mask of the Red Death.
Never Bet Your Head.
Eleonora.
A Succession of Sundays.
The Man of the Crowd.
~~The Pit and the Pendulum.~~
King Pest.
Shadow - A ~~Tale~~ Parable.
Bon-Bon.
Life in Death.
The Unparalleled Adventure of one Hans Pfaal.
The Homocameleopard.
Manuscript found in a Bottle.
Mystification.
The Horse- Shade.
The Assignation.
Why the Little Frenchman wears his hand
in a sling.
The Teeth.
Silence - A Fable.
Loss of Breath.
The Island of the Fay.
The Devil in the Betfry.
Morella.
A Pig Tale.
~~The Mystery of Marie Rogêt.~~
The Duc de L'Omelette.
Ligeia.
The Fall of the House of Usher.
How to write a Blackwood Article.
A Predicament.
William Wilson.
The Conversation of Eiros and Charmion.

Содержание второго издания «Гротесков и арабесок».
Автограф

которая не желала замечать поэта и художника, но готова была признать своего приемного сына на тех же условиях, что и мистер Аллан, — если тот займется каким-нибудь «делом», будь то хотя бы раковины.

С июля 1839 г. в течение года По редактирует филаделфийский журнал «Бертонс джентлменс мэгезин», где печатаются некоторые из лучших его рассказов: «Падение Дома Ашеров», «Вильям Вильсон», «Человек толпы». Однако главным событием того года для По был выход двухтомного сборника рассказов «Гротески и арабески», в который вошли 25 написанных к тому времени новелл (на титульном листе из коммерческих соображений значился 1840 год).

Двухтомник рассказов не принес его автору ни славы, ни денег. В Америке того времени не существовало еще авторского права; писатель для издателя был всего лишь просителем, молящим о денежном вознаграждении. Издатели предпочитали бесплатно перепечатывать романы Диккенса и поэмы Байрона, чем иметь дело с отечественным писателем, который может оказаться настолько неблагодарным, что потребует гонорар. За стихи не платили, а публикация рассказов была связана с коммерческим риском. Понятно, что издатели, согласившиеся напечатать рассказы По, и не помышляли о том, чтобы заплатить автору.

Прожить писательским трудом было невозможно. Работа редактором в журналах в Ричмонде и Филадельфии не принесла творческого удовлетворения. По все чаще и чаще задумывается над изданием собственного журнала — этой мечте всей его жизни. И вот летом 1840 г. в филаделфийском еженедельнике «Сэтерди куриер», где когда-то были напечатаны первые рассказы начинающего писателя, появилось сообщение о новом журнале, который По будет издавать с января 1841 г. Когда пришел новый год, срок был отложен на несколько месяцев, затем из-за отсутствия средств отложен еще раз, хотя писатель и не оставлял мысли о выпуске своего журнала. В 1843 г. По вновь напечатал проспект предполагаемого журнала «Стилос», который должен был выходить с июля 1843 г. Но и этот замысел не был осуществлен, несмотря на страстное желание писателя.

С начала 1841 г. По пришлось взяться за редактуру третьего журнала — «Грахемс мэгезин», в котором он напечатал первый детективный рассказ «Убийства на улице Морг» (сам писатель называл свои повести об аналитических способностях Дюпена «логическими рассказами»). Самое необыкновенное открытие было сделано По, когда он попытался соединить литературу с наукой. Эта способность аналитического мышления производит на читателя большее впечатление, чем все ужасы, рационально объясненные или сокрытые под мистическим покрывалом готического романа. Здесь человек сталкивается с новой и увлекательной возможностью. «Как атлет радуется своей силе и ловкости и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, — читаем мы в программном рассказе «Убийства на улице Морг», — так и аналитик горд своим умением распутать любую головоломку».

По стал родоначальником жанра детективного рассказа в европейской и американской литературе, воздействие детективно-приключенческой сторони его творчества испытали Конан-Дойль и Стивенсон, Честертон и Уэллс, Амброс Бирс и Жюль Верн.

Ш. Огюст Дюпен, прославленный герой рассказов По, одновременно аналитик и поэт, постиг диалектику человеческого мышления как математическую теорию игры. Для него причина и следствие постоянно меняются местами. В этом состоит один из приемов в рассказах, построенных на логических рассуждениях («Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо», «Ты еси муж, сотворивый сие!», «Золотой жук»).

Многочисленные последователи и эпигоны По в детективном жанре пытались продолжать этот метод до бесконечности. Однако сам По не заводил психологическую «теорию вероятности» в дебри подсознательного. Он был романтиком, а не Кафкой или Беккетом, с которыми его нередко сравнивают американские критики, утратившие исторический подход к романтизму.

В 1841 г. По предпринял попытку выпустить новое собрание своих рассказов. И хотя издатели решительно отклонили предложение писателя, сославшись на то, что еще не распродан весь тираж «Гротесков и арабесок», По не оставил этой идеи. В 1842 г. он подготовил «Фантастические рассказы» в двух томах. Помимо двадцати пяти рассказов из первого сборника, он включил одиннадцать новых, печатавшихся ранее в журналах. Среди них «Убийства на улице Морг», «Низвержение в Мальстрем», «Делец», «Маска Красной Смерти», «Элеонора», «Человек толпы». Но и этот сборник не увидел света. Вместо него в 1843 г. удалось опубликовать тоненькую книжечку в 48 страниц, в которую вошли два рассказа — «Убийства на улице Морг» и «Человек, которого изрубили в куски».

Постоянным гостем По был в эти годы будущий автор знаменитых приключенческих романов Томас Майн Рид, оставивший светлые воспоминания о По.

То были самые счастливые годы в полной трагического отчаяния недолгой жизни писателя. По жил любовью к Виргинии, которой только что исполнилось двадцать лет. Ее образ запечатлен в лучших стихах По, созданных в 40-е годы.

Поэтическим памятником великой любви стало стихотворение «Эннабел Ли», одно из тончайших созданий лирики По:

Это было давно, очень, очень давно,
В королевстве у края земли,
Где любимая мною дева жила —
Назову ее Эннабел Ли;
Я любил ее, а она меня,
Как любить мы только могли.

Я был дитя и она дитя
 В королевстве у края земли,
 Но любовь была больше, чем просто любовь
 Для меня и для Эннабел Ли —
 В любви такой серафимы небес
 Не завидовать нам не могли.

И вот потому много лет назад
 В королевстве у края земли
 Из-за тучи безжалостный ветер дохнул
 И убил мою Эннабел Ли,
 И знатные родичи милой моей
 Ее от меня унесли
 И сокрыли в склепе на бреге морском
 В королевстве у края земли.

Сами ангелы, счастья такого не зная,
 Не завидовать нам не могли —
 Да! — потому (как ведомо всем
 В королевстве у края земли)
 Из-за тучи слетевший ветер ночной
 Застудил и сразил мою Эннабел Ли.

Но любовь наша много сильнее любви
 Тех, что жить дольше нас могли,
 Тех, что знать больше нас могли,
 И ни горние ангелы в высях небес,
 Ни демоны в недрах земли
 Не в силах душу мою разлучить
 С душой моей Эннабел Ли.

Ведь коль светит луна, то приносит она
 Мечтанья об Эннабел Ли;
 Если звезды горят — вижу радостный взгляд
 Прекраснейшей Эннабел Ли;
 Много, много ночей там покоюсь я с ней,
 С дорогой и любимой невестой моей —
 В темном склепе у края земли,
 Где прилив бьется в кромку земли⁹.

Поэзия По носит ярко выраженный автобиографический характер. Его стихи представляют собой лирическую историю жизни поэта. Он не писал эпических или философских поэм, его лирический герой всегда несет в себе очень личное, пережитое и мучительно выстраданное. И хотя подлинно великая поэзия никогда не сводится только к биографическому на-

⁹ Перевод В. В. Рогова.

чалу, лирика Эдгара По прежде всего связана с его собственной трагической судьбой.

Настроение стихов По определяется глубокой внутренней болью, терзающей его душу. Романтическое ощущение невозможности истинного счастья в мире, где живет поэт, доминирует во многих стихотворениях. Тоска по счастью, вечно бегущему поэту, отличает не только его поэзию, но и прозу, становится одной из важнейших тем всего творчества.

Удивительная музыкальность стихов По, богатство их архитектурных форм, постоянно меняющиеся строфика и ритм, лишенные монотонной однообразности заданной схемы — все эти качества поэтики По воплощены в его знаменитых «Колоколах» (1849). В мировой поэзии едва ли сыщется подобный пример поэтически-значимого использования звукоподражания и звукописи, когда звучание поэтического слова так неразрывно связано с образом замыслом всего произведения.

В апреле 1844 г. По переезжает в Нью-Йорк. Сенсация, с которой было связано появление писателя в Нью-Йорке, надолго запомнилась жителям города.

Все началось с того, что 13 апреля 1844 г. нью-йоркская газета «Сан» поместила сообщение о только что полученном поразительном известии: восемь человек перелетело на управляемом воздушном шаре Атлантический океан за три дня! В эпоху По подобное известие было более потрясающим, чем в наши дни заранее намеченная на определенный срок высадка первых людей на Луне.

«Самое удивительное достижение за всю историю человечества» — так характеризовалось это событие в газете «Сан». Оно вызвало необычайное возбуждение в городе. В десять часов утра, как сообщалось в газете, должно было выйти специальное приложение с подробным описанием удивительного перелета. Вот как изображает это утро сам По в одном из своих писем: «Вся площадь перед зданием газеты «Сан» была заполнена народом, стоявшим так тесно, что ни войти, ни выйти из редакции было совершенно невозможно. Люди стояли с восхода солнца до двух часов дня. В утреннем выпуске газеты было сказано, что получено удивительное известие и особое приложение выйдет в 10 часов. Эта листовка появилась только в полдень. Никогда не видел я такого ажиотажа и жажды побыстрей добыть номер газеты. Как только на улице появились первые экземпляры, их миглом раскупили, и мальчишки-газетчики заработали немалые деньги. Я видел, как за номер платили полдоллара... Весь день безуспешно пытался я купить газету. Меня особенно забавляли рассуждения тех, кто уже прочитал экстренный выпуск»¹⁰.

Это был знаменитый рассказ По «История с воздушным шаром». Когда раскрылось, что все это шутка, народ быстро рассеялся. Подобно «черту на колокольне», действующему в одном из его рассказов, По вывел из себя

¹⁰ Arthur Hobson Quinn. Edgar Allan Poe. A Critical Biography. N. Y., Appleton-Century-Crofts, 1963, p. 410.

жителей городка Школькофремена, самозабвенно отдающихся коммерческой деятельности. И долго еще доверчивые жители обсуждали выходку писателя, нарушившую устоявшийся мир мещанско-буржуазной благопристойности.

Последний, нью-йоркский период творчества По — это время создания «Ворона», стихов и рассказов, сделавших имя писателя широко известным.

Стихотворение «Ворон» произвело огромное впечатление на современников, оно распространялось в списках, его перепечатали десятки газет и журналов, пародисты использовали его в своих целях. Начальные строфы «Ворона» стали символом романтической поэзии:

Как-то в полночь, утомленный, я забылся, полусонный,
Над таинственным значеньем фоланта одного;
Я дремал, и все молчало... Что-то тихо прозвучало —
Что-то тихо застучало у порога моего.
Я подумал: «То стучится гость у входа моего —
Гость, и больше ничего».

Помню все, как это было: мрак — декабрь — ненастье выло —
Гас очаг мой — так уныло падал отблеск от него...
Не светало... Что за муки! Не могла мне глубь науки
Дать забвенья о разлуке с девой сердца моего, —
О Леноре, взятой в Небо прочь из дома моего, —
Не оставив ничего...¹¹

Успех «Ворона» был неоспорим. Через год поэт написал статью об истории создания знаменитого стихотворения. Принято считать, что «Философия творчества» посвящена только истории «Ворона». Не меньшее значение имеет она и для понимания того, как создавались рассказы По. «Большинство литераторов, в особенности поэты, предпочитают, чтобы о них думали, будто они сочиняют в некоем порыве безумия, под воздействием экстаической интуиции, и прямо-таки содрогнутся при мысли позволить публике заглянуть за кулисы и увидеть, как путано и грубо работает мысль, бредущая наощупь, увидеть, как сам автор постигает свою цель только в последний момент; как вполне созревшие плоды фантазии с отчаянием отвергаются ввиду невозможности их воплотить; как кропотливо отбирают и отбрасывают; как мучительно делают вымарки и вставки — одним словом, увидеть колеса и шестерни, механизмы для перемены декораций, стремянки и люки, петушьи перья, румяна и мушки, которые в девятости девяти случаях из ста составляют реквизит литературного лицедея».

Сторонники «чистого искусства» нередко апеллируют к «Философии творчества» как манифесту искусства для искусства. При этом забывается требование единства и цельности впечатления, которое По ставил выше

¹¹ «Чтец-декламатор. Художественный сборник стихотворений», т. II. Киев, 1907, стр. 57.

формалистических поисков. Теория единства впечатления, многократно излагавшаяся По в его критических статьях, отрицает самоцельность художественного произведения.

Как известно, По привлекал французских символистов не только своим мастерством, но и теми болезненными тенденциями, изображением душевных извращений, садизма, некрофилии, которые они находили в творчестве американского писателя. Восприятие декадентов во многом определило оценку и отношение к По в XX веке, переосмысление его наследия модернистской критикой, весьма одностороннюю трактовку, восхваляющую кризисные черты мировоззрения и творчества Эдгара По.

В ряде новейших работ делается попытка отождествить эстетику и художественный метод По с приемами и теоретическими принципами модернизма. Так, в книге Эмили Хан «Романтические бунтари» Эдгар По провозглашается духовным отцом литературы «битников». Однако этим критик вовсе не хочет сказать, что великий американский писатель стоит в ряду тех, кто протестует против социальных пороков общества. «Ни в коем случае не был По бунтарем против общества»¹², — заявляет она, стремясь причислить его к родоначальникам литературной богемы, лишенной каких-либо серьезных социально-критических идей.

В противоположность подобным рассуждениям современной американской критики вспоминается великолепная оценка, данная писателю выдающимся критиком-демократом В. Л. Паррингтоном. Обычно принято укорять его за недооценку и пренебрежение к произведениям По. Однако при этом как-то забывают, что в своей краткой главе о По, не вдаваясь в художественный анализ, который он оставляет для литературоведов, Паррингтон сумел отметить главное в наследии По, чего старательно не видит в нем эстетская критика: «более всего удивительно то, что такого рода человек появился в Америке, где господствовали враждебные ему идеалы. По сильно страдал от своей отчужденности, но она сыграла и большую положительную роль. Находясь в самой гуще грубой и безвкусной романтической стихии, По не дал этой стихии поглотить себя, он шел своим путем мятежника и, встав на защиту красоты, открыл благодаря этому романтизм более прекрасный, чем тот, который был до него известен Америке»¹³.

Судьба По — ярчайший пример враждебности американского материального благоденствия таланту художника и искусству. В списке писателей, загубленных американской действительностью, одним из первых значится имя Эдгара По. Современная буржуазная критика нередко вменяет это обстоятельство в вину самому Эдгару По, особенностям его характера.

Однако еще Шарль Бодлер говорил, что «Соединенные Штаты были для По лишь громадной тюрьмой, по которой он лихорадочно метался как

¹² Emily Han n. *Romantic Rebels*. Boston, Houghton Mifflin, 1967, p. 12.

¹³ В. Л. Паррингтон. *Основные течения американской мысли*, т. II, М., Изд-во иностранной литературы, 1962, стр. 79.



Рисунок Эдуарда Мане к «Ворону»

его стихов — первый, принесший ему славу национального поэта. В этом же году известность По перешагнула Атлантику — во Франции появился перевод «Золотого жука», рассказа, в котором аналитический талант писателя раскрылся с особенным блеском. Однако широкая популярность По во Франции и Европе связана с бодлеровскими переводами, появившимися уже после смерти По, в 50-е годы.

Смерть Виргинии в 1847 г. была для поэта величайшей трагедией. Оборвалось то, что связывало его с жизнью. В мировой поэзии немного найдется строк, равных по мрачной силе начальным строфам баллады «Уллаю» (1847), где Виргиния появляется в мире теней:

Листва, засыхая, сквозила;
 Был пепельно сер небосвод —
 Был угрюм и зловещ небосвод;
 В октябре одиноком то было,
 В незапамятный, горестный год,
 Где туманы стелились уныло
 У озерных оборовских вод —
 Кольхались, клубились уныло
 В чащах Уира, где нечисть живет.

(Перевод В. В. Рогова)

¹⁴ Шарль Бодлер. Эдгар По. Жизнь и творчество, стр. 7.

¹⁵ В. Shaw. Pen Portraits and Reviews. London, Constable, 1949, p. 220.

В 1848 г. вышла «Эврика» — последняя из его книг, изданных при жизни. И хотя сам По считал «Эврику» поэмой в прозе, современная поэту критика соглашалась видеть в ней лишь научный трактат. По предвосхитил здесь некоторые идеи, приведшие в XX в. к великим открытиям в области естественных наук.

Математические и астрономические интересы писателя получили отражение не только в «Эврике», но и в ряде его рассказов. Эдгар По любил человеческое знание. Нет ничего более ошибочного, как объявлять его иррациональным поэтом-мистиком, погруженным в мир собственной фантазии. В нем уживались художник и пытливый исследователь, поэт и математик. Прекрасно сказал об этом Юрий Олеша:

«Я знаю два определения неизменности вселенной — художественных, доступных любому воображению: одно принадлежит Паскалю, другое — Эдгару По.

Паскаль сказал, что вселенная — это такой круг, центр которого везде, а окружность нигде. Как это гениально! Стало быть, все вместе — Земля, Солнце, Сириус и те планеты, которых мы не видим, и все гигантское пространство между телами — сливается в одну точку, в которую нужно вонзить ножку циркуля, чтобы описать этот круг. Но ведь мы не видим бесконечных пространств за теми, которых тоже не видим, и еще, и еще мы не видим — и все это сливается в одну вырастающую бесконечную точку для вырастающего бесконечно циркуля... И все он не приходит в действие, этот циркуль, потому что точка все растет и сам он растет — и окружность таким образом не описывается! Ее нет!

Эдгар По предлагает для представления о беспредельности вселенной вообразить себе молнию, летящую по одному из тех математически крошечных отрезков прямой, из которых составляют окружность вселенной — подобно тому, как из отрезков прямой составлена и любая окружность. Эта молния, летящая со скоростью молнии по отрезку прямой, будет лететь по прямой, говорит Эдгар По, будет лететь по прямой вечно!

Великий математик, видим мы, был поэтом; великий поэт — математиком!»¹⁶

История последних дней жизни По рассказывалась много раз, однако его смерть остается загадочной и сегодня. Лето 1849 года он провел в Филадельфии и Ричмонде, часто выступал с чтением стихов и лекцией «Поэтический принцип». Утром 27 сентября он отправился морем из Ричмонда в Балтимор, где 3 октября был подобран на улице в бессознательном состоянии и скончался в госпитале 7 октября 1849 г. Существует немало легенд и предположений о том, что стало причиной гибели поэта, однако все они остаются в области догадок.

Подобно всем американским романтикам, По, отвергая окружающую действительность, искал свое Эльдorado. В четырех строфах стихотворе-

¹⁶ Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., «Советская Россия», 1965, стр. 289—290.

ния с этим названием — одного из лучших, созданных поэтом, — он, казалось, воплотил историю всей своей жизни и приоткрыл завесу, скрывающую причину его неожиданной смерти:

Он на коне,
В стальной броне;
В лучах и в тенях Ада,
Песнь на устах,
В днях и годах
Искал он Эльдorado.

И стал он сед
От долгих лет,
На сердце — тени Ада.
Искал года,
Но нет следа
Страны той — Эльдorado.

И он устал
В степи упал...
Предстала Тень из Ада,
И он без сил,
Ее спросил:
«О Тень, где Эльдorado?»

«На склоны чер-
ных Лунных гор
Пройди, — где тени Ада!»
В ответ Она —
«Во мгле без дна —
Для смелых — Эльдorado!»

И По ушел из жизни, как рыцарь, не нашедший страны Эльдorado. Ушел из той Америки бизнеса и коммерческого расчета, которую он не мог ни понять, ни признать.

* * * * *

Семь десятков рассказов и повестей — таково художественное наследие Эдгара По-прозаика. Он был одним из создателей национального жанра рассказа, вот уже второе столетие успешно развивающегося в Америке и оказавшего воздействие на мировую новеллистику.

В настоящем издании впервые на русском языке печатаются все рассказы великого американского писателя. Существуют большие художники слова, которые проигрывают от издания полного собрания своих сочинений. Слишком много второсортного или юношески-незрелого было ими



*Памятник на могиле Э. А. По
в Балтиморе.*

написано. Иное дело Эдгар По. Большинство его новелл, начиная с самых ранних, таких как «Метценгерштейн», «Без дыхания», «Рукопись, найденная в бутылке» и до последнего, оставшегося незаконченным, рассказа «Маяк», поражают читателя мастерством художественного исполнения.

Писатель как бы прошел период ученичества в первые пять лет своей поэтической деятельности, когда им были опубликованы три книги стихов, и приступил к созданию рассказов уже почти зрелым мастером. Лишь немногие из ранних новелл («Герцог де л'Омлет», «Почему французик носит руку на перевязи») оставляют впечатление пародии-шутки, чего-то поверхностного.

В творчестве По-новеллиста различают обычно два периода. Первый охватывает 30-е годы и завершается выходом двухтомника его рассказов «Гротески и арабески» (1840). Рассказы этого периода носят по преимуществу фантастический, гротескный или пародийный характер. По начи-

нает с пародирования ужасов немецких романтиков. «Метценгерштейн» имел первоначально подзаголовок: «В подражание немецкому»; который затем был снят. Рассказы «Береника», «Морелла» написаны в духе готических историй ужаса. Рассказы «Без дыхания» и «Страницы из жизни знаменитости» — характерные образцы прозы раннего По, еще не обратившегося к трагическим сторонам человеческой жизни.

Второй период творчества писателя — 40-е годы. Это время углубления его романтического метода, время создания нового жанра — детективных рассказов.

В начале прошлого века на страницах крупнейших литературных журналов Англии и США в изобилии появлялись «страшные рассказы», истории с привидениями. По задумывает цикл «Рассказов Фолио клуба», в которых хочет высмеять всеобщее увлечение «страшными историями». Каждый из участников этого клуба должен поведать занимательную историю, рассказать необычайное событие или приключение.

Сборник «Рассказов Фолио клуба» не был издан, но большинство ранних новелл, появившихся до 1838 г., представляет собой части этого неосуществленного замысла. Обычно называют пятнадцать историй, входящих в утраченную рукопись «Рассказов Фолио клуба»: «Метценгерштейн», «Герцог де л'Омлет», «На стенах иерусалимских», «Без дыхания», «Бон-Бон», «Рукопись, найденная в бутылке», «Свидание», «Береника», «Морелла», «Страницы из жизни знаменитости», «Король Чума», «Тень», «Четыре зверя в одном», «Мистификация» и «Молчание».

В одном из писем того времени Эдгар По определяет сущность этих рассказов: «Вы спрашиваете меня, — пишет он, — в чем состоят их характерные особенности. В нелепостях, доведенных до гротеска, в страшном, которому придан оттенок ужасного; остроумие, возведенное в степень бурлеска, необыкновенное, превращенное в странное и таинственное»¹⁷.

Первый цикл новелл поражает разнообразием тем, которые получают развитие в позднейшем творчестве По. Наиболее ранний из сохранившихся рассказов — «Метценгерштейн» уже предвещает «Рукопись, найденную в бутылке» с ее кораблем-привидением, несущимся по волнам Южного океана (как в «Старом моряке» Колриджа), подобно гигантскому огненному коню, на котором мчался Метценгерштейн в охваченный пламенем замок. Даже концовки обоих рассказов, при всем их своеобразии, напоминают друг друга. Изображение барона Метценгерштейна на скачущем дьявольском коне по ритму и тональности близко финальной сцене «Рукописи, найденной в бутылке». Дальнейшее развитие этого мотива мы находим в описании водоворота в «Низвержении в Мальстрем» (1841).

«Рассказы Фолио клуба» несут на себе несомненный отпечаток мистификации. Так в рассказе «Свидание» (1834), по мнению биографов По, он сыграл шутку с читателями и дал пародию на Байрона, графиню

¹⁷ E. A. Poe. The Letters. Ed. by J. W. Ostrom. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1948, vol. I, p. 57—58.

Гвиччиоли и ее старого мужа. В образе рассказчика якобы изображен друг Байрона поэт Томас Мур, который посетил великого английского поэта в его венецианском палаццо. И хотя начальный эпизод с утопающим ребенком и финальная сцена одновременного самоубийства героя и героини — маркизы Ментони — не соответствует истории Байрона и Гвиччиоли, образ выведенного в рассказе аристократического молодого человека с английским прошлым, «имя которого тогда гремело почти по всей Европе», сразу вводит читателя в атмосферу «байронической» легенды. Иронический портрет старого мужа юной маркизы сделан с байроновской выразительностью — недаром в те годы По находился под обаянием творчества великого английского романтика.

В ранних рассказах По пародирование — форма отталкивания от литературных канонов традиционного романтизма. В «Метценгерштейне» это была немецкая литература призраков и привидений, в «Свидании» — английский романтизм с его байроническими аксессуарами, в рассказах «Герцог де л'Омлет» и «Бон-Бон» — французский романтизм, велеречивость и напряженность действия.

Комическое и гротескное постоянно присутствуют в произведениях По. В комических тонах, напоминающих ирвинговскую «Историю Нью-Йорка», выдержано вступление к «Необыкновенному приключению некоего Ганса Пфаала» (1835). В светлый весенний день, весьма похожий на первое апреля, огромная толпа народа собралась на площади Роттердама, когда неожиданно из-за облака на ясную лазурь неба медленно выплыл предмет весьма курьезной формы. Когда же оказалось, что это воздушный шар, склеенный из старых газет, то тем самым было нанесено жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз, к его заостренному концу была подвешена огромная кисть, а вокруг верхнего края — ряд маленьких бубенчиков, которые весело позванивали.

Произведения По, как и сама его жизнь, были протестом против обыденного существования в буржуазной Америке. Своим творчеством он внутренне противопоставит миру купли-продажи, созданному «деловым человеком», опощающим все проявления человеческой жизнедеятельности, даже дыхание.

Новелла «Без дыхания» (1832), в которой у рассказчика «захватило дух» в буквальном смысле этого слова и он вдруг остался без дыхания, как гоголевский герой без носа или герой Шамиссо без своей тени, — это пародия на экстраваганцы, сообщения о необычайных происшествиях, печатавшиеся в популярном английском журнале «Блэквудс Эдинбург мэгзин». Однако в ходе работы над рассказом По превратил его в блестящую сатиру на американское общество, где человека, ставшего вдруг не похожим на всех других, заподозревают в сумасшествии, и он вынужден бежать. Чтобы вернуть себе «перехваченный дух», рассказчик должен заключить с соседом Вовесьдухом, который перехватил его дыхание, коммерческую

сделку и выдать ему расписку в получении обратно своей собственности.

Один из самых ярких рассказов раннего По — «Король Чума» (1835). Принято рассматривать эту новеллу как блестящую пародию на Дворец вина в романе «Вивинан Грей» Дизраэли. Однако сводить сатирические и аллегорические рассказы По к «источникам», значило бы не понять в них главного и подменить анализ художественного мастерства писателя проблемой соответствия или несоответствия «источнику».

Более интересна, хотя и весьма гипотетична, попытка увидеть в этом рассказе политическую сатиру на президента Джексона, изображенного в образе Короля Чумы, и его кабинет¹⁸. Действительно, король Чума Первым имеет некоторые черты внешнего сходства с «королем Эндрью Первым», как изображали Джексона карикатуристы того времени. Однако подобная интерпретация означала бы неоправданное сужение художественного замысла рассказа до отражения внутривнутрипартийных склонов в матрице Хью Брезенте усматривается сходство с Мартином Ван Бюреном, преемником Джексона на посту президента).

В гротескной картине пира в лавке гробовщика под председательством самого короля Чумы Первого сконцентрированы наиболее характерные стилистические приемы По — сплетение ужасного и комического, точность изображения, граничащая с описанием естествоиспытателя, и удивительная фантастика. По наделяет каждого из участников ночной пирушки какой-нибудь чудовищной особенностью в лице, «словно он взял себе монополию на одну часть физиономии». У короля Чумы — это лоб, до того безобразный и неестественно высокий, что казалось, будто поверх головы надето нечто вроде колпака. У королевы рот, протянувшийся зияющей щелью от уха до уха. У молодой особы, с томной улыбкой — необычайно длинный и тонкий нос, подвижный и прыщавый. У подагрического старичка — щеки, лежавшие на плечах, как два бурдюка, полных красного портвейна, а у джентльмена в белых чулках — гигантские уши, тянущиеся вверх и судорожно настораживающиеся всякий раз, когда хлопала пробка.

Деталь в рассказах По выполняет особую художественную функцию: подчеркивая наиболее гротескную черту в персонаже, она превращает нередко весь образ в многозначный романтический символ. И наоборот, какая-либо черта характера или духовного склада вырастает у него в социально значительный образ. Эдгар По был непревзойденным мастером такого приема.

Таковы рассказы «Делец» (1840) и «Надувательство как точная наука» (1843). Романтическое развенчание прозы американской жизни дано здесь с силой социального обличения, не уступающей реалистическому изображению мира стяжательства у европейских писателей того времени. Презириая духовное убожество буржуазной жизни, По создает пародийный

¹⁸ W. Whipple. Poe's Political Satire. — «University of Texas Studies in English», 1956, vol. 35, p. 86—87.

образ делового американца, обладателя особой шишки на голове — «органа порядка», придавшего герою положительную страсть к системе и аккуратности. Америка лавочников, малых и больших бизнесменов, которых он называл «любовниками денег» или просто жуликами, вызывала у писателя чувство презрения.

Деловой человек — это машина буржуазного мира, собранная из «самой лучшей» продукции, какую только производит Америка. В пародийном рассказе «Человек, которого изрубили в куски» (1839) героя в буквальном смысле слова собирают по частям: пробковая нога и рука, грудь и плечо, зубы, глаза и даже небо, — все это брелет-бригадный генерал Джон Смит как настоящий деловой человек получает от лучших американских торговцев.

Один из самых сложных рассказов По — «Лигейя» (1838). Художественное решение темы в этом повествовании неоднозначно, так что критика с одинаковой убедительностью относит его к жанру историй кошмара и ужаса или к пародии на ужасы и кошмары готического романа и его последователей среди английских романтиков. Зная склонность По к пародии (и даже автопародии), можно предположить, что в рассказе присутствуют оба элемента — мистический и пародийный, — настолько органично слитые, что позднее это дало автору право считать «Лигейю» своим лучшим произведением. Американская критика, создавшая вокруг «Лигейи» целую литературу, прежде всего пытается искать в рассказе зашифрованный смысл, создает специальные «ключи» к пониманию символики По.

Первый период творчества По завершается одним из наиболее совершенных его произведений — «Падением Дома Ашеров» (1839). Когда говорят о произведениях По, исполненных непередаваемого ужаса, то называют именно этот рассказ. В нем отчетливо ощущается «ужас души», потрясенной всем виденным. Гибель старого аристократического рода передана с чувством подлинного трагизма.

Вступление к рассказу написано в полном соответствии с принципом цельности впечатления, сформулированным По в его критических статьях 40-х годов. Краткость и точность в подборе слов для нагнетания общего мрачного колорита повествования выдержаны здесь с исключительной даже для По последовательностью, зримо воссоздающей «атмосферу печали», окружающую дом Ашеров.

На протяжении всего вступления По вновь и вновь говорит о мрачном пейзаже и настроении рассказчика, находя для этого все новые и новые эпитеты. Созвучие пейзажа с чувствами рассказчика усиливается тем особым стилем, в котором написан рассказ. Ощущение невыносимой тоски может быть сопоставлено с настроением, пронизывающим строки «Ворона».

Связь прозы По с его поэзией особенно наглядно выступает в тех случаях, когда он вводит в рассказы стихи. Так стихотворение «Червь победитель», входящее в «Лигейю», выражает мысль рассказа о том, что

... трагедия шла — «Человек»,
В ней же Червь-победитель — герой.

В «Падении Дома Ашеров» подобную же роль играет вставное стихотворение о Заколдованном замке, в образе которого, как говорил сам писатель, он изобразил «разум, преследуемый призраками»¹⁹. Чувство ужаса перед грядущим, атмосфера страха за настоящее наполняют всю новеллу. С образом Родерика ассоциируется представление об интеллектуальной изощренности, об отрешенном от жизни искусстве, которому он посвятил себя. Буйный полет его фантазии озарял все каким-то «фосфорическим светом». Его мрачные музыкальные импровизации врезаются в душу. Произведения живописи, создаваемые изысканным воображением Родерика, заставляют трепетать. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. «Если смертный когда-либо живописал мысль, — говорит рассказчик, — то этим смертным был Родерик Ашер».

Родерик не видит в своем искусстве ни смысла, ни цели. Вокруг нет никого, кому оно было бы нужно. Он одинок. И ему становится страшно. Страшно за себя. Страшно за человека. Рассудок его начинает мутиться. «Я погибну, — говорит он, — я должен погибнуть от этого жалкого безумия».

Исследователи склонны видеть в «Падении Дома Ашеров» метафору крушения просветительской идеологии, Дома разума, в котором живет Родерик Ашер²⁰. Однако тема рассказа шире и обращена не только к прошлому, но и к трагедии современного По американского общества, катаклизмы и противоречивый характер развития которого достигли в те годы особой остроты.

Родерик, как и сам По, не борец, не байроновский мятежный гений. Отвергая окружающую действительность, порывая с ней, он не склонен к активному протесту. Он может только уйти из жизни. Это тоже романтический протест, скрытая критика действительности, замыкающаяся в себе и тем самым отвергающая реальное. Здесь По близок эстетике Канта, предвосхитившей в конце XVIII в. романтическую концепцию искусства. В дальнейшем эстетические принципы романтизма По сыграли большую роль в европейской литературе.

Тема одиночества, появляющаяся в «Падении Дома Ашеров», со всей глубиной раскрыта в опубликованном в следующем году рассказе «Человек толпы». Главный герой задыхается в удушливой атмосфере. И оттого, что это уже не покрытая мохом и плесенью старинная усадьба Ашеров, а многолюдный современный город, по которому мечется герой и его «двойник» — старик, — лишь усиливается чувство заброшенности, одино-

¹⁹ E. A. Poe. The Letters, vol. I, p. 161.

²⁰ M. J. Hoffman. «The House of Usher» and Negative Romanticism. — «Studies in Romanticism», 1965, Spring, vol. 4, N 3, p. 163.

чества в самой гуще толпы — тема многих писателей XX века, так блестяще предвосхищенная По.

«Человек толпы» близок по настроению созданному в то же время «Вильяму Вильсону» (1839) — рассказу о том, как двойник преследует героя. «Я убегал напрасно» — эти повторяющиеся слова проходят как лейтмотив через оба рассказа. Человек толпы не находит себе покоя ни в фешенебельном районе, ни в самой отвратительной части Лондона, ни в пригородном храме Пьянства. Так и Вильям Вильсон не может спастись от своего преследователя ни в Оксфорде, ни в Париже, ни в Риме, ни в Вене, ни в Берлине, ни в Москве. Этот бесконечный бег «человека толпы» и его двойника по улицам Лондона, Вильяма Вильсона — по городам мира отражает смятение человека, терзаемого нечистой совестью.

Действие многих рассказов По обычно связано с определенными датами. Времени действия писатель уделял особое внимание. Указанием на точную дату открывается первый рассказ — «Метценгершгейн» и последний — «Маяк». Рассказы «Колодец и маятник», «Король Чума», «Прыг-Скок» приурочены к вполне конкретным историческим событиям — вступлению наполеоновских войск в Толедо в 1808 г., чуме 1348 г. в Лондоне, случаю времен французского короля Карла VI.

Эта особенность новеллистики По связана со стремлением писателя «документировать» самые невероятные события и тем придать им вид реальности. О чем бы ни писал По — о современном Лондоне или о далеком прошлом и еще более далеком будущем, — он всегда думал о той Америке, которую знал.

Добрая половина рассказов По основывается на современных ему событиях. Исследователи, интересовавшиеся связью творчества писателя с его временем (Киллис Кемпбелл, Эдвард Дэвидсон), отмечают, что всякий, читавший американские газеты 30—40-х годов, не может не обратить внимания, как часто встречаются в них истории о полетах на воздушных шарах, путешествиях в дальние страны, эпидемиях чумы, о преждевременных погребениях, месмеризме и различного рода мистификациях. Произведения По естественно вписывались в эту литературную панораму 30—40-х годов и воспринимались тогдашним читателем как «обычные рассказы о необычном». Таковы его истории о воздухоплавании — «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля», «История с воздушным шаром», «Mellonta Tauta»; об удивительных и полных тайн путешествиях в дальние страны — «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», «Дневник Джулиуса Родмена», «Рукопись, найденная в бутылке»; о преждевременном погребении или возвращении из мертвых к живым — «Береника», «Без дыхания», «Лигейя», «Падение Дома Ашеров», «Преждевременные похороны», «Разговор с мумией»; о месмеризме — «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром», «Месмерическое откровение», «Повесть Скалистых гор»; об эпидемии холеры, охватившей Соединенные Штаты в 30-е годы, — «Король Чума», «Тень», «Маска Красной Смерти», в которых в то же время выражен трагический ужас человеческого существования.

В творчестве По постоянно переплетаются юмор и трагическое. В одном и том же году он создает «Черта на колокольне» и «Падение Дома Ащеров» (1839), «Три воскресенья на одной неделе» и «Низвержение в Мальстрем» (1841), «Очки» и «Длинный ларь» (1844).

Часто комическое и трагическое соединяются в одном произведении. Тогда юмор По отличается какой-то внутренней сдержанностью, как будто писатель опасается, не нарушит ли смех впечатления ужаса и страха, создать которое призвано большинство его рассказов. Так, в рассказе «Система доктора Смоля и профессора Перро» (1845) изображено общество сошедших с ума, но считающих себя здоровыми, а всех других — сумасшедшими. Эта гротескная ситуация характерна для эстетики По, стремившегося показать нелепость установленных общественных порядков и устоявшихся мнений.

Вопрос о том, кто же сумасшедший — поэт, не признающий разумным общество, где каждый помешан на фантазии казаться не тем, кто он есть на самом деле, или это общество, отвергнувшее поэта, — давно мучил Эдгара По. Все зависит от того, хочет сказать писатель, кого принимать за здоровых и кого за сумасшедших. В Америке, не устает повторять По, разница между ними весьма условна.

Не принимая американской действительности, По видел все зло в господстве Чистогана. В своих «Заметках на полях» («Маргиналиях»), обыгрывая слово «орел», означающее по-английски также золотую монету в десять долларов, он писал: «Римляне почитали свои знамена; и так случилось, что римское знамя было орлом. Наше знамя лишь десятая доля орла — Доллар — но мы делаем все, чтобы обожать его с удесятеренным почтением»²¹.

Русский революционный демократ Н. В. Шелгунов справедливо подметил, что в Эдгаре По выразился «антипод янки», превратившего время, небо и землю в деньги и аршин. «Эдгар По как бы хотел выскочить из тех условных форм жизни, которые налагает на всякого американца расчетливый, промышленный дух его общества; Эдгару По было тесно и узко в условной, расчетливой Америке, привязывавшей его к земле слишком тонкой веревочкой. Но только потому и рвался он в небо, что хотел такой свободы, какой ему американское общество дать не могло»²².

Конец 30-х и 40-е годы, когда По создает наиболее трагические из своих рассказов, — время обострения противоречий американской общественной жизни. Купер в эти годы обращается к созданию трилогии о земельной ренте, вскрывающей глубочайшие конфликты общественного развития США. Для Купера характерно повествование с широкими эпическими картинами американского прошлого и современности, лишь изредка прерываемое резкими публицистическими выпадами против «демократии бизнеса». Иное у По. Его нервная, мрачная и внушающая страх

²¹ E. A. Poe. The Complete Works, p. 161.

²² «Дело», 1874, № 4, стр. 276—277.

манера рассказа, настроение безысходности, склонность подчеркивать ужасное и трагическое в человеческой жизни накладывают на все его творчество отпечаток какой-то внутренней обреченности. Художник, сложившийся в более поздний, по сравнению с Купером, этап общественного развития США, когда конфликты буржуазной Америки проявились гораздо определеннее, Эдгар По отразил умонастроения страха перед действительностью, всегда грозной и враждебной человеку.

Одной из наиболее острых тем творчества По стало отражение органической враждебности американской демократии бизнесу, которое она всячески попирает и унижает. Именно об этом писал в те годы В. Г. Белинский, подметивший, что в Соединенных Штатах гибнет искусство: «Пусть процветает в Северо-Американских Штатах гражданское благоденствие, пусть цивилизация дошла до последней степени, пусть тюрьмы там пусты, трибуналы праздны: но если там, как уверяют нас, нет искусства, нет любви к изящному, я презираю этим благоденствием, я не уважаю этой цивилизации, я не верю этой нравственности, потому что это благоденствие искусственно, эта цивилизация бесплодна, эта нравственность подозрительна. Где нет владычества искусства, там люди не добродетельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со злом, а избегают его, избегают его не по ненависти ко злу, а из расчета»²³.

В наиболее резкой форме неприятие американской демократии выражено в утопии «Mellonta Tauta» [То в будущем] (1849), начало действия которой отнесено к 1 апреля 2848 г. По высказался здесь против вполне определенного типа демократии — американского буржуазного республиканства. «Первым, что поколебало самодовольство философов, создавших эту «Республику», — пишет По, — явилось ошеломляющее открытие, что всеобщее избирательное право дает возможность для мошенничества, посредством которого любая партия, достаточно подлая, чтобы не стыдиться этих махинаций, всегда может собрать любое число голосов, не опасаясь помех или хотя бы разоблачения». Смысл этого рассказа, как и написанного несколько ранее «Разговора с мумией» (1845), в безоговорочном отрицании деляческого духа американской демократии, который в конце концов губит ее.

«Один из тех романтиков-фантастов, чей разлад с жизнью делает их существование трагическим»²⁴, — это определение А. М. Горьким сущности таланта По выражает общую тенденцию всего творчества великого американского писателя. Оно непосредственно относится и к названным социально-политическим рассказам, где писатель дает свою оценку буржуазного прогресса и демократии.

²³ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 47.

²⁴ А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 26. М., 1953, стр. 92.

В «Разговоре с мумией» американцы пытаются поразить проснувшуюся после пятидесятилетнего сна мумию египетского вельможи величию американской демократии и выгодами, какими граждане США пользуются, живя в стране, где существует система всеобщих выборов и нет короля. Однако египтянин отзывается об американской демократии и прогрессе, которым так гордится Америка, весьма скептически. Параллель американской демократии с древним Египтом, которая проводится в рассказе, имеет не историческое, а условно-аллегорическое значение. Тринадцать египетских провинций, которые решили провозгласить себя свободными и подать пример остальному человечеству, — довольно прозрачная аналогия с первоначальным периодом истории независимости США.

Фантастика По приобретает здесь реальный характер. Это особое свойство воображения писателя уловил еще Ф. М. Достоевский, который увидел в этом специфически американскую черту романтизма Эдгара По: «В Эдгаре Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения. Не то чтобы он превосходил воображением других писателей; но в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей. Попробуйте, например, вообразить сами что-нибудь не совсем обыкновенное или даже не встречающееся в действительности и только возможное; образ, который рисуется перед вами, всегда будет заключать одни более или менее общие черты всей картины или установится на какой-нибудь особенности, частности ее. Но в повестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что, наконец, как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случалось на свете. . . В Поэ если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если бы только можно было так выразиться. Видно, что он вполне американец, даже в самых фантастических своих произведениях»²⁵.

Из всех американских романтиков По, как и Герман Мелвилл, выделяется как писатель, опередивший свой век и потому непонятый современниками. Всем своим мироощущением и, в частности, интересом к сложным сторонам человеческой психики, которые наука стала исследовать лишь в XX веке, он скорее близок людям нашего века. Александр Блок мог с полным правом писать в 1906 году: «Тот факт, что По жил в первой половине XIX века, не менее изумителен, чем тот, что испанский художник Гойя жил в конце XVIII века. Произведения По созданы как будто в наше время, при этом захват его творчества так широк, что едва ли правильно считать его родоначальником так называемого «символизма»²⁶.

²⁵ Ф. М. Достоевский. Полное собр. художественных произведений, т. 13. М.—Л., Госиздат, 1930, стр. 523—524.

²⁶ А. Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 5. М.—Л., 1962, стр. 617.

Человек и современная эпоха — эта тема постоянно привлекала к себе По. В «Тысяча второй сказке Шехерезады», в «Разговоре с мумией» и в «Mellonta Tauta» он вновь и вновь обращается к американской современности, пытаясь осмыслить ее в исторических сопоставлениях. Когда Шехерезада рассказывает царю о новейших достижениях европейской и американской техники, тот с чувством восклицает: «Враки!» Человек старого мира может поверить в тысяча и одну сказку Шехерезады, но его ум не вмещает «несообразностей» мира нового, буржуазного. Тысяча вторая сказка о буржуазной цивилизации становится для него невыносима своими нелепицами — достижениями так называемого технического прогресса и естественных наук.

Особое место в наследии По занимает созданный им жанр детективного рассказа. Мировая детективная литература была порождена аналитическими способностями Ш. Огюста Дюпена, героя трех «логических рассказов» По: «Убийства на улице Морг» (1841), «Тайна Мари Роже» (1843), «Похищенное письмо» (1845). К этому же жанру относятся «Золотой жук» (1843), который По называл своим «наиболее удачным рассказом»²⁷, а также менее известная его новелла «Ты еси муж, сотворивый сие!» (1844).

В своих детективных рассказах По не только завладевает вниманием читателя во время чтения, но и дает толчок мысли после того, когда рассказ прочитан. У Конан Дойля и других мастеров этого жанра конец рассказа заключает разгадку всех тайн. В «логических рассказах» Эдгара По остаются таинственные и неразгаданные человеческие скелеты, подобные тем, что были обнаружены в яме с сокровищами Кидда в «Золотом жуке». Тайна Мари Роже — обстоятельства ее убийства — так и остались нераскрытыми, породив в дальнейшем целую литературу по этому вопросу. В «Похищенном письме» читатель так никогда и не узнает содержания похищенного письма, а в «Убийствах на улице Морг», самом известном из этой серии рассказов, нападение разъяренного орангутанга на мадам Л'Эспане и ее дочь, хотя и предстает перед глазами оцепеневшего от ужаса матроса, все же рассчитано почти целиком на воображение читателя.

Принцип незавершенности, нераскрытости действия, который, кстати, не восприняли многочисленные эпигоны По, составляет существенную часть всей концепции рассказов, построенных на логическом рассуждении. Рассказчик держит читателя в постоянном напряжении, создавая то единство впечатления, которое требовал По-критик. В статье о рассказах Натаниеля Готорна, написанной в период работы над детективными рассказами, По формулирует теорию единства впечатления, которой он постоянно придерживался в творческой практике: «Если уже первая фраза не содействует достижению общего эффекта, то, значит, писатель потерпел неудачу с первого шага. Во всем произведении не должно быть

²⁷ E. A. Poe. The Letters, vol. I, p. 253.

ни одного слова, которое прямо или косвенно не служило бы успеху заранее установленного замысла. Этими средствами создается, наконец, мастерская картина, которая оставляет у того, кто созерцает ее, неизгладимое впечатление, чувство полнейшей удовлетворенности»²⁸.

От начала до конца «логические рассказы» По выдержаны в единой, четко ощущаемой тональности, рассчитанной на целостность впечатления. На другой год после публикации последнего из этого цикла рассказа — «Похищенное письмо» — По изложил теорию единства впечатления в знаменитой статье «Философия творчества», в которой наиболее развернуто дана его эстетическая концепция. Говоря о замысле своего «Ворона», По утверждает эстетический принцип, лежащий в основе его детективных рассказов: «Если какое-либо литературное произведение не может быть из-за своей длины прочитано за один присест, нам надо будет примириться с необходимостью отказа от крайне важного эффекта, рождаемого единством впечатления; ибо если придется читать в два приема, то вмешиваются будничные дела, и всякое единство сразу гибнет».

Писатель владел не только мастерством «общего впечатления» и тональности. Одна из наиболее ярких черт его таланта — ассоциативное мышление, умение улавливать связь вещей, взаимоотношения природы и человека. Как и все его творчество, эта особенность носит романтический характер. Так, в рассказе «Остров феи» (1841) поэзия природы символизирует смену радостей и горестей человеческой жизни.

Мир, в котором живут герои По, остается им непонятен. Очень редко могут они разобраться в его законах или использовать их к своей выгоде, как герой «Низвержения в Мальстрем». Попадая в самые ужасные и страшные водовороты жизни, герои По до конца противостоят дикой и темной стихии. Она поглощает их, как то глубокое и черное озеро, что безмолвно и угрюмо сомкнулось над развалинами Дома Ашерв. Эдгар По мог воплотить ужас существования в художественную форму, но понять, осмыслить эту жизнь он не мог. Ни о каком выходе из трагического тупика действительности не могло быть и речи.

Романтизму свойственен обостренный интерес к трагическому в человеческой жизни. Предсмертной агонии старого мира аристократии посвящен один из лучших рассказов По. Это «Маска Красной Смерти» (1842). Писатель особенно подчеркивает уродливость и фантастичность всего происходящего в мире принца Просперо. «Маска Красной Смерти» с ее неопределенной исторической удаленностью от мира тогдашней Америки своим кроваво-красным светом озаряет не только укрепленный монастырь, куда во время народного бедствия удалился со своими приближенными принц Просперо, но и весь мир, над которым вскоре воцарится Мрак, Гибель и Красная Смерть. Человеку не укрыться от своей судьбы.

²⁸ E. A. Poe. The Complete Works, vol. XIII, p. 153.

Другой знаменитый рассказ По, «Колодец и маятник» (1842), изображает состояние человека, ожидающего приближения пыток и мучительной смерти. Однако рассказ повествует не столько о неизбежности страшной гибели героя, сколько о неиссякаемой духовной силе и находчивости человека в борьбе с, казалось бы, неотвратимой опасностью, когда трус и слабый сдаются или погибают. Характерно, что созданная американским режиссером Р. Корменом экранизация «Колодца и маятника», типичная для модернистской трактовки По, искусственно нагнетает атмосферу кошмара, которая, безусловно, присутствует в рассказе, но к которой этот рассказ, как и все творчество писателя, отнюдь не сводится.

В 40-е годы По-новелиста с особой силой привлекали две темы: аналитические способности человеческого мышления, которым посвящены «логические рассказы» («Золотой жук») и «ужас души», завладевший человеком. Среди обширной группы психологических рассказов — истории о «бесе противоречия» («Ангел Необъяснимого», «Бес противоречия» и близкие им по характеру, но написанные ранее «Сердце-обличитель» и «Черный кот»), рассказы о психологии мести («Бочонок амонтильядо», «Прыг-Скок»).

Еще в предисловии к сборнику своих рассказов 1840 г., отвечая на обвинение в подражании Гофману, По писал, что не из немецкой романтики, а из его собственной души рождается тот ужас, который объемлет его²⁹. Чувство ужаса передано во многих рассказах По. Цель их — не объяснение событий или душевного состояния героя. Главное для По — запечатлеть этот «ужас души». «Я не буду пытаться истолковывать их, — говорит рассказчик о событиях «семейного характера», составляющих суть рассказа «Черный кот». — Для меня они явились не чем иным, как ужасом, — для многих они покажутся не столько страшными, сколько гротескными».

Единственное объяснение, которое выдвигает По, говоря о поступках своих мрачных героев 40-х годов, — это «бес противоречия», захватывающий ум и чувства человека. Возникнув в рассказе «Сердце-обличитель» (1843), где рассказчик убивает старика, которого любил, эта тема впервые во всей своей сложности и противоречивости предстает в «Черном коте» (1843).

В этих рассказах особенно проявляется болезненная сторона художественной натуры По. «Бес противоречия» пытается завладеть душой человека, и он мучительно борется с ним. И вокруг не находится дружеской руки, которая могла бы вовремя удержать его от падения в черную бездну безумия и отчаяния. Трагическое одиночество, которое постоянно ощущал По, передано здесь с исключительной глубиной и силой.

Один из последних рассказов По, напечатанный всего за несколько месяцев до смерти писателя (о времени написания произведений По судить

²⁹ A. H. Quinn. Edgar Allan Poe. A Critical Biography. N. Y., Appleton-Century-Crofts, 1963, p. 289.

всегда довольно трудно и приходится ограничиваться датой первой публикации), — это трагическая новелла «Прыг-Скок». Герой рассказа и его подруга, не в силах снести глумлений, бегут на родину из этого гнусного и враждебного мира, жестоко отомстив обидчикам.

В американской «новой критике» преобладает тенденция рассматривать По как некоего пророка-предшественника, который открыл «великую тему» современной литературы — распад человеческого сознания и личности в современном мире (Аллан Тейт). Эдгара По объявили даже зачинателем «новой критики», невзирая на существенные исторические и эстетические различия между ним и «новой критикой». Модернистская критика сравнивает, например, апокалиптическую фантазию По «Разговор Эйрос и Хармионы», рисующую конец мира в виде огромного «атомного» взрыва, с поэмой Т. С. Элиота «Бесплодная земля» или находит, что По предвосхитил сюрреалистическую литературу XX в. с ее смешением действительного и ирреального³⁰.

Современная буржуазная критика пытается обыграть немотивированность мести Монтезоро в рассказе «Бочонок амонтильядо» или необъясненность того, за что осужден инквизицией мученик «Колодца и маятника». Ссылаясь на подобные неясности, отличающие некоторых героев По, модернистская критика делает все возможное, чтобы по-своему переосмыслить наследие Эдгара По.

Подмечая отдельные черты, сближающие По с литературой XX столетия, эта критика воспринимает творчество писателя лишь в нужном ей ракурсе. Еще французские символисты объявили По своим учителем и наставником. И хотя к тому есть определенные основания, символистом По все же не был.

Познакомившись с новеллистикой По в полном объеме, читатель сам может решить, насколько справедливы суждения тех зарубежных критиков, которые стремятся возвести Эдгара По в одного из мэтров литературы модернизма.

Романтическая стихия творений По делает их притягательными для все новых и новых поколений читателей, каждое из которых находит в его книгах что-то свое, неповторимое, выделяя по преимуществу те или иные стороны его многогранного таланта. Это и есть то эстетически непреходящее, что остается в наследии художника на века.

³⁰ S. L. Mooney. Poe's Gothic Waste Land. — «The Sewanee Review», 1962, Spring, vol. 70, N 2, p. 271—272.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Эдгара По вышло два сборника его рассказов: «Гротески и арабески» (*Tales of the Grotesque and Arabesque*, 1840) и «Рассказы» (*Tales*, 1845). Первый был издан в двух томах и включает в себя 25 рассказов. В первый том вошли «Морелла», «Страницы из жизни знаменитости», «Вильям Вильсон», «Человек, которого изрубили в куски», «Падение Дома Ашеров», «Герцог де л'Омлет», «Рукопись, найденная в бутылке», «Бон-Бон», «Тень», «Черт на колокольне», «Лигейя», «Король Чума», «Синьора Зенобия», «Коса времени» (два последних рассказа позднее печатались под названиями «Как писать рассказ для «Блэквуда» и «Трагическое положение»). Второй том состоит из рассказов «Эпиманес» («Четыре зверя в одном»), «Тишина», «Ганс Пфааль», «На стенах иерусалимских», «Фон Юнг» («Мистификация»), «Потеря дыхания», «Метценгерштейн», «Береника», «Почему французик носит руку на перевязи», «Видение» («Свидание»), «Разговор Эйрос и Хармионы».

Сборник 1845 года состоит из 12 рассказов: «Золотой жук», «Черный кот», «Месмерическое откровение», «Светило», «Падение Дома Ашеров», «Низвержение в Мальстрем», «Беседа Моноса и Уны», «Разговор Эйрос и Хармионы», «Убийства на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Украденное письмо», «Человек толпы».

Большинство рассказов и повестей По было напечатано в периодической прессе США. Первое собрание сочинений издано после смерти По его литературным душеприказчиком Р. Грисволдом, однако тексты многих рассказов в этом издании были искажены (Нью-Йорк, 1850, 3 тома). В 1854 г. то же собрание сочинений было выпущено в четырех томах и затем неоднократно переиздавалось. Последующие издания сочинений По также не дают канонического текста, повторяя искажения, допущенные Р. Грисволдом (собрания сочинений По, редакторами которых были Дж. Инграм, Лондон, 1876; Р. Стоддарт, Нью-Йорк, 1884 и 1894; Э. Стедмен и Дж. Вудберри, Чикаго, 1894—1895; Ч. Ричардсон, Нью-Йорк, 1902).

В настоящем издании переводы сделаны по собранию сочинений: «*The Complete Works of Edgar Allan Poe*». Edited by James A. Harrison with textual notes by R. A. Stewart. New York, AMS Press Inc., 1965, vols. I—XVII (Virginia edition) (в дальнейшем обозначается: «у Дж. Харрисона»). В переводах сохраняется написание иноязычных слов и выражений данного издания. Это издание впервые вышло в 1902 г. и воспроизводит, кроме особо оговоренных случаев, последние прижизненные публикации рассказов По (тома II—VI). Неоконченный рассказ «Маяк» не включался в собрания сочинений.

Рассказы По расположены хронологически по дате первой публикации.

ФОЛИО КЛУБ (FOLIO CLUB)

Впервые опубликовано у Дж. Харрисона, том II, стр. XXXVI—XXXIX. Написано около 1832 г. как предисловие к предполагавшемуся сборнику «Фолио клуб». В рукописи после этого вступления следовал рассказ «Тишина». На русский язык не переводилось.

- ¹ *Батлер*, Самюэл (1612—1680) — английский поэт-сатирик. Цитата взята из его героикомиической поэмы «Гудибрас» (1663—1678), часть I, песнь 1.
- ² *Леди Морган*, урожденная Сидни Оуэнсон (1783—1859) — английская писательница, вокруг имени которой в начале XIX в. возникали горячие литературные споры. Ей принадлежат романы из ирландской жизни.
- ³ *Блэквуд Блэквуд*. — В этом рассказе каждое из имен обыгрывает различные понятия. Например: *Де Рерум Натура* — название поэмы Лукреция «О природе вещей». *Оррибиле Дикту* — латинская фраза: «страшно произнести». *Блэквуд Блэквуд* — название популярного английского журнала того времени «Блэквудс мэгезин».
- ⁴ *Смит*, Хорейс (1779—1849) — английский писатель, автор романов, в которых он подражает Вальтеру Скотту. В своем рассказе «На стенах иерусалимских» По пародирует один из эпизодов романа Х. Смита «Зилла. Повесть о священном граде» (1828).

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН (METZINGERSTEIN)

Впервые опубликовано в еженедельнике «The Saturday Courier» (Филадельфия) 14 января 1832 г. Перепечатано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в январе 1836 г. с подзаголовком «В подражание немецкому». Последнее прижизненное издание в книге рассказов По «Гротески и арабески» (1840) с небольшими изменениями. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в журнале «Приложение романов к газете «Свет»», 1884, кн. 11.

- ¹ «*При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью*» — начало латинского стихотворения Мартина Лютера (1483—1546).
- ² *Лабройер*, Жан (1645—1696) — французский писатель, сатирик-моралист. Цитата взята из его книги «Характеры, или нравы нашего века» (1688), глава XI. О человеке, 99 («Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни»).
- ³ *Мерсье*, Луи Себастьян (1740—1814) — французский писатель. В его утопическом романе «2440 год, сон, каких мало» (1770) нарисован руссоистский идеал общественного и государственного устройства будущего, во многом совпадающий с более поздними представлениями французского утопического социализма. В декабре 1844 г. По вновь возвращается к роману «2440 год» и пишет в «Демократик ревью», что книга Мерсье «будит мысль, заставляет о многом задуматься».
- ⁴ «нет ни одной другой системы...» — слова из главы «Метампсихоз» в книге английского писателя Исаака Дизраэли (1766—1848) «Достопримечательности литературы» (1791—1793; 1823). Метампсихоз — религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма, после его смерти, в другой организм.
- ⁵ *Аллен*, Итен (1738—1789) — участник американской революции, глава отряда повстанцев, известного под именем «Ребята с Зеленой горы». Аллену принадлежит трактат «Разум — единственный оракул человека» (1789), в котором он развивает идеи деизма и перевоспощения.
- ⁶ ... *восемнадцатый год* — в прижизненных изданиях этого рассказа везде «пятнадцатый год». Изменение возраста барона Фредерика, вероятно, было сделано Грисволдом в угоду благопристойности.
- ⁷ ... *переродил... Ирода...* — шекспировское выражение («Гамлет», III, 2), ставшее поговоркой. Ирод — царь Иудеи, излюбленный персонаж средневековых религиозных драм, наделявшийся чертами жестокости и кровожадности.
- ⁸ *Калигула*, Гай (12—41) — римский император (37—41), сумасбродный и развратный деспот, возвел своего коня Резового в звание консула. Очевидно, По не случайно дает своему герою имя Фредерика, ибо английским Калигулой называли принца Уэльского Фредерика (1707—1751).

ГЕРЦОГ ДЕ Л'ОМЛЕТ (THE DUC DE L'OMELETTE)

Впервые опубликовано в журнале «The Saturday Courier» (Филадельфия) 3 марта 1832 г. При жизни По рассказ неоднократно перепечатывался, последний раз в журнале «The Broadway Journal» 11 октября 1845 г. в переработанном виде и с подписью «Литтлтон Бэрри».

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ *И вмиг попал он в климат попрохладней* — строка 337 из первой книги поэмы «Задача» (1785) английского поэта Вильяма Каупера (1731—1800).
- ² Китс, Джон (1795—1821) — английский поэт, умер в Риме от туберкулеза. Считалось, что его смерть была ускорена резкой критикой его стихов в английском журнале «Ежеквартальное обозрение». Байрон писал Шелли 26 апреля 1821 г.: «Я очень огорчен тем, что вы сообщили мне о Китсе — неужели это правда? Я не думал, что критика способна убить».
- ³ «*Андромаха*» — трагедия Жана Расина (1639—1699), поставленная в ноябре 1667 г.
- ⁴ *Монфлери* — псевдоним французского актера Захари Жако (1595—1667), игравшего в первых постановках пьес Корнея. Во время исполнения роли Ореста в «Андромахе» Монфлери заболел и через несколько дней умер.
- ⁵ «*Преображенный Парнас*» (1669) — сочинение французского писателя Габриеля Гере (1641—1688).
- ⁶ *Гадес* — в греческой мифологии бог подземного царства мертвых. Также наименование его царства, мрачной страны, где, согласно Гомеру, скитаются души умерших. Рассуждения, открывающие этот рассказ, были воспроизведены в «Маргиналиях» По, опубликованных в «Годиз ледиз бук» в сентябре 1845 г.
- ⁷ *Ортолан* — птица, известная нежным вкусом своего мяса.
- ⁸ *Апиций*, Марк Габий (I в.) — знаменитый римский гурман, изобрел ряд изысканных кушаний.
- ⁹ *Вельзевул* — библейское название божества филистимлян, защищавшего от укусов ядовитых мух. Позднее одно из имен властителя ада.
- ¹⁰ *Белиал* — в Библии название злого духа. В «Потерянном рае» (I, 490) Дж. Мильтона так назван один из падших ангелов.
- ¹¹ *Гебры* — последователи древнеперсидской религии. Почитание ими огня дало основание называть их огнепоклонниками.
- ¹² *Астарта*, или *Ашторет* — греческое название древнефиникийской богини плодородия и любви.
- ¹³ *Аббат Гуальтье* (1745—1818) — французский писатель.
- ¹⁴ *Лебрен*, Шарль Франсуа (1739—1824) — французский политический деятель и литератор, отец наполеоновского генерала А. Лебрена (1775—1859).
- ¹⁵ *Франциск* и *Карл* — имеется в виду соперничество и вражда французского короля Франциска I (1494—1547) и испанского короля Карла I (1500—1558), претендовавших в 1519 г. на императорскую корону Священной Римской империи. Был избран Карл, ставший императором Карлом V.
- ¹⁶ *Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном* — слова Александра Великого при встрече с философом Диогеном, который попросил его отойти в сторону и не загораживать лучи солнца (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр, XIV).

НА СТЕНАХ ИЕРУСАЛИМСКИХ (A TALE OF JERUSALEM)

Впервые опубликовано в журнале «The Saturday Courier» (Филадельфия) 9 июня 1832 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 20 сентября 1845 г. с некоторыми изменениями.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. М., 1885 под названием «Случай в Иерусалиме».

- ¹ *Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный* — Лука н. «Фарсалия, или О гражданской войне», II, 375—376. У Лукана вместо «поднял» — «спустил».
- ² ... *дикий кабан* — в английском оригинале каламбур, основанный на созвучии слов «кабан» (boar) а «скука» (bore).
- ³ *Таммуз* — в вавилонской и шумерской религии бог растительности, ежегодно умирающий во время жатвы и оживающий весной. Ему поклонялись и иудеи. Именем Таммуза назван десятый месяц еврейского календаря.
- ⁴ ... *в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое* — то есть 63 год до нашей эры.
- ⁵ *Град Давидов* — район Иерусалима, названный по имени полулегендарного царя Давида (конец XI—начало X в. до н. э.), основателя иудейской династии в Иерусалиме.
- ⁶ ... *последний час четвертой стражи* — ночной караул в римском войске делился на четыре стражи (вигилии), продолжительность которых менялась в зависимости от времени года.
- ⁷ *Помпей, Гней (106—48 до н. э.)* — римский полководец и политический деятель. В 63 г. до н. э. вторгся на территорию Палестины и после трехмесячной осады взял Иерусалим.
- ⁸ *Ваал* — языческое божество почв и плодородия у древних семитов.
- ⁹ *Пятикнижие* — первая часть Библии.
- ¹⁰ *Адонач* — древнееврейское обращение к богу, одно из имен бога Ягве в Библии. Народ Адонач — богоизбранный народ.
- ¹¹ *Аммонитяне* — древний народ, живший в восточной части Палестины и считавший себя потомками библейского Лота; постоянно враждовал с иудеями.
- ¹² *Сикл* — мелкая серебряная монета в древней Иудее и Персии.
- ¹³ *Филистимляне* — древний народ, населявший восточное побережье Средиземного моря и давший название Палестине (страна филистимлян).
- ¹⁴ *Храм Бела* — вавилонский храм огромных размеров, отстроенный царем Навуходоносором в VI в. до н. э.
- ¹⁵ ... *от алефа до тау* — первая и последняя буквы еврейского алфавита.
- ¹⁶ *Иод* — одна из букв еврейского алфавита. Здесь По пародирует выражение «больше, чем буква иод» из популярного в те годы романа Хорейса Смита «Зилла. Повесть о священном граде» (1828).
- ¹⁷ *Эдепол* — римское восклицание: «право же!» (буквально: «Клянусь Поллуксом!»).
- ¹⁸ *Эль Элоим* — еврейское восклицание: «Боже!»
- ¹⁹ *Терафим* — так иудеи называли культ языческого идолопоклонства.
- ²⁰ *Нергал* — бог солнца в вавилонской религии.
- ²¹ *Ашима* — один из сирийских богов, изображавшийся в виде оленя.
- ²² *Нибхаз* — упоминаемый в Библии идол племен аввийцев (Четвертая книга Царств, XVII, 31).
- ²³ *Тартак* — согласно Библии (Четвертая книга Царств, XVII, 31), идол аввийцев, имел образ осла и символизировал силы тьмы.

- ²⁴ *Адрамелех* — в Библии имя ассирийского бога, которому приносили в жертву детей.
- ²⁵ *Анамелех* — ассирийское божество, которому, как и Молоху, приносили человеческие жертвы. Изображался в виде лошади.
- ²⁶ *Суккот-Бениф* — в вавилонской религии божество, о котором говорится в Библии (Четвертая книга Царств, XVII, 30).
- ²⁷ *Дагон* — божество, которому поклонялись филистимляне. Культ Дагона близок культу бога Ваала.
- ²⁸ *Белиал* — см. примечание 10 к рассказу «Герцог де л'Омлет».
- ²⁹ *Ваал-Перит* — согласно Библии (Числа, XXV, 1—9) моавитский бог.
- ³⁰ *Ваал-Пеор* — божество, упоминаемое в Библии (буквально: «Господин горы Пеор», священной горы, расположенной к северо-востоку от Мертвого моря).
- ³¹ *Ваал-Зебуб* — Вельзевул.
- ³² *Тук земли* — библейское выражение (Бытие, XLV, 18), означающее плоды земли.
- ³³ *Ракá* — библейское ругательство (Евангелие от Матфея, V, 22).
- ³⁴ *Скиния* — священный храм у иудеев.
- ³⁵ *Энгеди* — местность на берегу Мертвого моря.
- ³⁶ *Долина Иосафата* — долина вблизи Иерусалима, носящая имя иудейского царя IX в. до н. э.
- ³⁷ *Нагрудник* — имеется в виду драгоценная пластинка, которую носили на груди верховные священнослужители Иудеи.
- ³⁸ *Хеврон* — древний город южнее Иерусалима.
- ³⁹ *Васан* — область на юге Сирии.
- ⁴⁰ *Саквебут* — древний духовой музыкальный инструмент.
- ⁴¹ *Трефное мясо* — иудейская религия запрещает употребление в пищу свиного мяса и считает его нечистым.

БЕЗ ДЫХАНИЯ

(Рассказ не для журнала «Блэквуд» и отнюдь не из него) (Loss of Breath.

A Tale Neither in nor Out of «Blackwood»)

Впервые опубликовано в журнале «The Saturday Courier» (Филадельфия) 10 ноября 1832 г. под названием «A Decided Loss» («Бесспорная потеря»). Под названием «Без дыхания» впервые появилось в журнале «The Southern Literary Messenger» в сентябре 1835 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 3 января 1846 г. в значительно сокращенном и переработанном виде, с подписью: «Литтлтон Бэрри».

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896 под названием «Потеря дыхания».

¹ «Блэквуд» («Блэквудс Эдинбург мэгезин») — английский ежемесячный журнал, основанный в 1817 г. В. Блэквудом (1776—1834). В своем письме к Джону Кеннеди 11 февраля 1836 г. По разъясняет, что этот рассказ был написан как сатирическая пародия на рассказы, печатавшиеся в журнале Блэквуда.

² *Мур*, Томас (1779—1852) — английский поэт-романтик, автор «Ирландских мелодий» (1807—1834), воспевающих борьбу и скорьбь народа Ирландии. По цитирует первую строчку стихотворения, обрывая ее таким образом, что получается иной смысл. На русский язык это стихотворение переведено А. Н. Плещеевым («Не называйте его»).

- ³ *Салманассар IV* (VIII в. до н. э.) — ассирийский царь (727—722 до н. э.). Согласно Библии, три года осаждал палестинский город Самарию, который был взят уже после его смерти (Четвертая книга Царств, XVII, 5).
- ⁴ *Сарданапал* (668—625 до н. э.) — последний ассирийский царь. По преданию, его дворец был осажден восставшими жителями Ниневии и после двухгодичной осады он сжег себя вместе со своими женами.
- ⁵ *Диодор Сицилийский* (ок. 80—29 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки», в которой излагается всемирная история от древнейших времен до 60 г. до н. э. О Сарданапале речь идет в части второй, глава 21 и следующие.
- ⁶ *Аристей* (III в. до н. э.) — грек, которому было поручено привезти из Иерусалима священные книги и ученых для перевода Ветхого завета на греческий язык.
- ⁷ *Псамметих I* (665—611 до н. э.) — египетский фараон, освободивший Египет из-под владычества Ассирии. Согласно свидетельству греческого историка Геродота («История», II, 157), двадцать девять лет осаждал город филистимлян Азот.
- ⁸ *Лорд Эдуард* — персонаж из романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1760) Жан-Жака Руссо (1712—1778). Цитата взята из второй части романа, письмо II.
- ⁹ *Годвин в своем «Мандевиле»*... — Годвин, Вильям (1756—1836) — английский писатель. Его поздний роман «Мандевиль. Рассказ о временах Кромвеля» (1817) окрашен мрачным романтическим колоритом. Цитата взята из третьего тома, глава 3.
- ¹⁰ *Анаксагор* (ок. 500—428 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист. До нас дошли фрагменты его сочинений, в которых он утверждает, что «во всем есть часть всего».
- ¹¹ *«Метамора»* — романтическая трагедия из жизни индейцев американского драматурга Джона А. Стоуна (1800—1834). Поставлена 15 декабря 1829 г. в Нью-Йорке и затем с успехом шла в ряде городов США. При жизни По напечатана не была.
- ¹² *Демосфен* (384—322 до н. э.) — древнегреческий оратор и политический деятель. Будучи от рождения косноязычным, он учился ораторскому искусству на пустынном берегу моря, произнося речи, набрав в рот камешки.
- ¹³ *Фаларид* (VI в. до н. э.) — правитель города Агригента (Сицилия), который подвергал своих подданных жестоким пыткам. По преданию, осужденных помещали внутрь медного быка, под животом которого разводили огонь. Стоны несчастных напоминали рев быка. Народ Агригента восстал в 554 г. до н. э. и казнил Фаларида в том же медном быке.
- ¹⁴ ... *гиппократовой патологией*. — Гиппократ (ок. 460—377 до н. э.) — древнегреческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины.
- ¹⁵ *«Вездесущность бога»* — христианский догмат вездесущности бога сформулирован Фомой Аквинским (1225—1274) в его трактате «Сумма теологии» (VIII, 3) и развит немецкими мистиками (Майстер Экхарт, 1260—1328). По высмеивает религиозные трактаты немецких философов; возможно, имеется в виду сочинение Г. В. Лейбница (1646—1716) «Теодицея» (1710), в котором развиваются идеи всемогущества, вездесущности и всеведения бога.
- ¹⁶ *Каталани*, Анжелика (1780—1849) — итальянская певица, колоратурное сопрано, обладавшая гибким голосом огромного диапазона.
- ¹⁷ *Гаумата* (Мигегуш, лже-Смердис, VI в. до н. э.) — персидский маг. После смерти царя Кира (558—529 до н. э.) выдал себя за его сына Смердиса и захватил власть в Персии. Впоследствии был опознан по обрезанным ушам и убит (521 до н. э.).
- ¹⁸ *Зопир* — один из приближенных персидского царя Дария (522—486 до н. э.). Когда Дарий не мог взять восставший Вавилон, Зопир добровольно обрезал себе нос и уши и, выдав себя за жертву жестокости Дария, под видом перебежчика пробрался в осажденный город. Став вавилонским военачальником, он открыл войскам Дария городские ворота (520 до н. э.).

- ¹⁹ *Киник* — представитель древнегреческой философской школы, основанной Антисфеном в IV в. до н. э. Киники отрицательно относились к существующим законам и обычаям, проповедовали возврат к первобытному состоянию.
- ²⁰ *Марк Антоний* (83—30 до н. э.) — римский политический деятель, член второго триумvirата. Провозгласил себя воплощением бога виноделия Диониса.
- ²¹ *Марсий* — в греческой мифологии один из силенов, спутников бога виноделия Диониса. Согласно легенде, вступил в музыкальное состязание с богом Аполлоном, который за это приказал привязать его к дереву и содрать с него кожу. Эта тема была излюбленным сюжетом греческой живописи и скульптуры.
- ²² *Марстон, Джон* (1575—1634) — английский драматург. Его комедия «Недовольный» была поставлена в 1601 г., издана в 1604 г.
- ²³ *Крабб, Джордж* (1754—1832) — английский поэт, изображавший повседневную жизнь сельских приходов и провинциальных местечек, простых и заурядных людей.
- ²⁴ *Пелион, Осса* — горы в Греции. В греческой мифологии рассказывается о борьбе титанов с Зевсом, во время которой титаны, чтобы добраться до неба, взгромодили Пелион на Оссу.
- ²⁵ *Дюпон, Виктор* (1767—1827) — американский фабрикант.
- ²⁶ *Саут, Джон Флинт* (1797—1882) — английский хирург и анатом, автор книги «Описание костей» (1825), выдержавшей ряд переизданий.
- ²⁷ *Капитан Баркли* — Роберт Баркли Аллардайс (1779—1854), популярный скороход, о котором По в 1844 г. опубликовал статью в журнале «Коламбия спай».
- ²⁸ *Физ* — псевдоним английского художника Хэблота Найта Брауна (1815—1882), известного своими иллюстрациями к книгам Диккенса и других английских писателей.
- ²⁹ *Иероним* (ок. 340—420) — римский монах и богослов. Цитата взята из его «Писем» (письмо 85) к христианскому писателю V в. Сальвиану.
- ³⁰ *Эпиктет* (ок. 50—ок. 138) — древнегреческий философ, один из представителей позднего стоицизма. Приводимое замечание Эпиктета содержится в его «Беседах».
- ³¹ ... подобно Бругу, жду ответа... — В. Шекспир. «Юлий Цезарь», III, 2.
- ³² ... пролить новый свет на чрезвычайно любопытный раздел натурфилософии — По высмеивает здесь натурфилософию, или философию природы Ф. Шеллинга («Система трансцендентального идеализма», 1800) и его американских последователей, особенностью которых было преимущественно умозрительное истолкование природы.
- ³³ *Эпименид* (VI в. до н. э.) — критский прорицатель и поэт. Когда в 596 г. до н. э. в Афинах свирепствовала чума, он, по преданию, спас город очистительными жертвоприношениями.
- ³⁴ *Лаэрдий* (Диоген Лаэртский, III в.) — греческий писатель, составитель обзора древнегреческих философских учений «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии», которую имеет в виду По.

БОН-БОН (BON-BON)

Впервые опубликовано в журнале «The Saturday Courier» (Филадельфия) 1 декабря 1832 г. под заглавием «The Bargain Lost» («Проигранная сделка»). Под названием «Бон-Бон» впервые появилось в журнале «The Southern Literary Messenger» в августе 1835 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 19 августа 1845 г. в значительно переработанном виде.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. М., 1885 под названием «Философ Вон-Вон».

- ¹ *Бальзак, Жан Луи Гез де* (1597—1654) — французский писатель. Его трактаты на античные темы были особенно популярны у писателей-классицистов.
- ² *Пибрак, Гюи* (1529—1584) — французский юрист и поэт.
- ³ *Эак* — в греческой мифологии сын Зевса и нимфы Эгины, дед Ахиллеса. Он славился своей справедливостью, так что даже сами боги приглашали его судьей в своих спорах.
- ⁴ *Академия, Ликей*. — Вблизи Афин находилась роща, посвященная аттическому божеству Академу, в которой преподавал свое учение Платон. Ликей получил свое название от сада храма Аполлона Ликейского, где учил Аристотель.
- ⁵ ... *обязан Кант* — эстетика Канта оказала воздействие на формирование романтической концепции искусства Э. По и других романтиков.
- ⁶ ... *не был платоником, не был он, строго говоря, и последователем Аристотеля*. — Э. По скептически относился к идеализму Платона и философии Аристотеля; это, в частности, нашло отражение в его книге «Эврика».
- ⁷ *Георгий Трапезундский* (1395—1484) — греческий философ, живший в Италии, последователь учения Аристотеля, автора трактата «Сравнение Аристотеля и Платона» (1523).
- ⁸ *Бессарион, Базилиус* (ок. 1395—1472) — греческий философ, вселенский патриарх в Константинополе, последователь учения Платона. Выступил против критики идеализма Платона («Против извращения Платона», 1469), которую вел Георгий Трапезундский.
- ⁹ *Сотерн, медок* — французские виноградные вина разного сорта. Медок ценится знаатоками невысоко.
- ¹⁰ *Катулл, Гай Валерий* (ок. 84—54 до н. э.) — римский поэт, прославившейся любовной лирикой.
- ¹¹ *Евсевий* (ок. 260 — ок. 340) — римский историк церкви, автор богословских и исторических сочинений.
- ¹² *Трибун* — высшая выборная должность для плебеев в Древнем Риме, существовавшая с 494 или с 471 г. до н. э. Особенно большое значение народные трибуны приобрели во II в. до н. э. в связи с обострением классовой борьбы (трибунаты Тиберия и Гая Гракхов).
- ¹³ *Кондорсе, Жан Антуан* (1743—1794) — французский просветитель, деятель французской буржуазной революции, автор «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума» (1794), где в главе пятой говорится: «Цицерон, Лукреций и Сенека красноречиво писали на своем языке о философии, но речь шла о греческой философии».
- ¹⁴ *Диоген Лаэртский* — см. примечание 34 к рассказу «Без дыхания». Основные сочинения Эпикура приведены полностью в книге Диогена Лаэртского.
- ¹⁵ *Кратин* (ок. 490—420 до н. э.) — древнегреческий комедиограф, полемизировавший с Аристофаном, который высмеял Кратина в комедии «Всадники».
- ¹⁶ ... *не у вашего Платона, а у того, у комического поэта* — то есть не у известного философа Платона, а афинского комедиографа Платона (428—389 до н. э.), представителя «древней комедии».
- ¹⁷ *Невий* (ок. 264—194 до н. э.) — римский поэт, изгнанный из Рима за выступления против представителей римской знати.
- ¹⁸ *Андроник* (Ливий Андроник, III в. до н. э.) — римский поэт, грек по происхождению.
- ¹⁹ *Луцилий, Гай* (ок. 180—102 до н. э.) — римский поэт, автор сатирических стихов.
- ²⁰ *Назон* (Овидий, Публий Назон, 43 до н. э.—17 н. э.) — римский поэт.

- ²¹ *Квинт Флакк* (Гораций Флакк, Квинт, 65—8 до н. э.) — римский поэт. Его «Юбилейные гимны» написаны по личному желанию императора Августа к годовщине основания Рима.
- ²² *Квириты* — обычное в древнем Риме название полноправных римских граждан.
- ²³ *Ничему не удивляться* — Гораций. «Послания», I, 6, 1.
- ²⁴ *Менандр* (ок. 343—ок. 291 до н. э.) — древнегреческий драматург, представитель новой аттической комедии.
- ²⁵ *Никандр* (II в. до н. э.) — древнегреческий поэт, оказавший воздействие на поэзию Овидия.
- ²⁶ *Вергилий*, Марон Публий (70—19 до н. э.) — в своих пастушеских «Буколиках» он подражал Феокриту (315 до н. э.—?).
- ²⁷ *Марциал*, Марк Валерий (ок. 40—ок. 102) — римский поэт, автор сатирических эпиграмм, высмеивавших упадок нравов античного Рима.
- ²⁸ *Архилох* (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор сатирических стихов.
- ²⁹ *Ливий*, Тит (59 до н. э.—17 н. э.) — автор «Римской истории от основания города».
- ³⁰ *Полибий* (ок. 201—120 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Всеобщей истории».
- ³¹ *Асафетида* — высохший сок растений того же названия; смолистое вещество с резким чесночным запахом, употреблявшееся в медицине.
- ³² *Немерод* — легендарный охотник и основатель Вавилонского царства.
- ³³ *Дионисий* — тиран (правитель) древних Сиракуз (Сицилия) в 406—367 гг. до н. э.
- ³⁴ *Писистрат* (ок. 600—527 до н. э.) — древнегреческий тиран, захвативший власть в Афинах в 560 г. до н. э.
- ³⁵ *Маки...* — имеется в виду Никколо Макиавелли (1469—1527), итальянский политический деятель и писатель.
- ³⁶ *Маза...* — имеется в виду Джулио Мазарини (1602—1661), французский политический деятель, правитель в начале царствования Людовика XIV, жестоко подавлявший народные движения.
- ³⁷ *Робесп.* — имеется в виду Максимилиан Робеспьер (1758—1794), глава революционного правительства якобинской диктатуры во время французской революции.
- ³⁸ *Георг* — английский король Георг III (1738—1820), поддерживавший европейскую реакцию в борьбе против французской революции; вел войну против американских колоний, провозгласивших в 1776 г. свою независимость.
- ³⁹ *Елизавета* (1533—1603) — английская королева, издала ряд кровавых законов против крестьян.
- ⁴⁰ *Аруэ* — настоящая фамилия французского писателя и философа Вольтера.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ (MS FOUND IN A BOTTLE)

Впервые опубликовано в журнале «Baltimore Saturday Visiter» 19 октября 1833 г. Рассказ неоднократно перерабатывался и переиздавался при жизни писателя. Последний раз в журнале «The Broadway Journal» 11 октября 1845 г. с значительными изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Сын отечества» 23 сентября 1856 г.

¹ *Кино*, Филипп (1635—1688) — французский поэт и драматург. «Атис» (1676) — либретто написанной им оперы.

² ...*пирронизм моих суждений...* — то есть скептицизм. Пиррон (ок. 365—275 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма.

³ *Батавия* — голландское название города Джакарта в Индонезии.

- ⁴ *Лаккадивские острова* — группа низменных островов в Аравийском море у западного побережья полуострова Индостан.
- ⁵ *Фадом* — английская мера длины, равная 1 м. 83 см.
- ⁶ *Новая Голландия* — прежнее название Австралии, западное побережье которой было открыто и исследовано голландскими мореплавателями в течение XVII века.
- ⁷ ... *морского дракона* — в английском тексте Кракен — мифический морской дракон, живущий у берегов Норвегии. Описан датским епископом Эриком Понтопидамом (1698—1764) в книге «Естественная история Норвегии» (1755).
- ⁸ *Баальбек* — развалины древнего города в Сирии, где находился храм бога солнца.
- ⁹ *Тадмор* — населенный пункт в центральной части Сирии, где находятся развалины Пальмиры, столицы одноименного государства, взятой и разрушенной римлянами в 273 г.
- ¹⁰ *Персеполь* — столица древней Персии. В 330 г. до н. э. Александр Македонский сжег значительную часть города, разграбив его сокровища; в III веке до н. э. был покинут жителями. Все три древних города — Баальбек, Тадмор и Персеполь — упоминаются в поэме По «Аль Аарааф».
- ¹¹ ... *течение влечет нас прямо к южному полюсу* — По следует здесь за теорией американца Джона Симмса (1742—1814) об «отверстиях на полюсах».
- ¹² *Меркатор*, Гергард Кремер (1512—1594) — фламандский картограф и математик. Главная работа — сборник карт и описаний «Атлас» (1595).

СВИДАНИЕ (THE ASSIGNATION)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Lady's Book» (Филадельфия) в январе 1834 г. под названием «The Visionary» («Видение»). Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 7 июня 1845 г. с изменениями и под новым названием «Свидание».

На русском языке впервые в журнале «Собрание иностранных романов, повестей, рассказов в переводе на русский язык», май 1861 г.

- ¹ *Кинг*, Генри (1592—1669) — английский епископ, автор ряда поэтических произведений, в том числе «Элегии на смерть возлюбленной жены» (1657), заключительную часть которой приводит По.
- ² *Элизиум* — в античной мифологии место, где обитают души умерших. Поэтическое описание Элизиума, или Елисейских полей дано в «Одиссее».
- ³ *Палладио*, Андреа (1508—1580) — итальянский архитектор. В Венеции им построен ряд церквей.
- ⁴ *Мост Вздохов* — находится в Венеции между Дворцом дождей и государственной тюрьмой. Построен в 1597 г. Через него проходили осужденные на заключение или на казнь, откуда и возникло его название.
- ⁵ *Пьяцца* — имеется в виду площадь Святого Марка в Венеции. Часы на часовой башне на Пьяцце представляют собой двух бронзовых мавров, выбивающих на колоколе количество часов. Пьяцетта — примыкающая к Пьяцце со стороны Большого канала маленькая площадь перед Дворцом дождей.
- ⁶ *Кампанिला* — венецианская кампанिला, или колокольня Св. Марка на Пьяцце. Построена в X—XII вв.
- ⁷ *Ниобея* — в греческой мифологии жена фиванского царя Амфиона, мать двенадцати детей. Она отказалась принести жертву богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды, говоря, что у Латоны всего двое детей. В наказание за это Ниобея лишлась всех детей и была превращена богами в камень.

- ⁸ ... молодого человека, имя которого тогда гремело почти по всей Европе — существует мнение, что в этом рассказе По создал шутовскую пародию на Байрона, графиню Терезу Гвиччиоли и ее старого мужа, а в образе рассказчика изобразил друга Байрона английского поэта Томаса Мура, посетившего Байрона в Венеции.
- ⁹ Плиний старший (23—79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории» в 37 книгах.
- ¹⁰ Коммод (161—192) — римский император в 180—192 гг.
- ¹¹ ... над водами Большого канала недалеко от Риаьто — в этом месте Венеции жил в 1816—1819 гг. Байрон. Риаьто — мост через Большой канал Венеции, построен в 1588—1591 гг.
- ¹² Мор, Томас (1478—1535) — английский писатель-гуманист, автор книги «Утопия» (1516). По преданию, поднимаясь на помост перед казнью, он попросил сопровождавшего его офицера: «Помогите мне взойти; вниз я уж как-нибудь сам спущусь».
- ¹³ Текстор, Равизий (ок. 1480—1524) — французский писатель-гуманист, автор книги «Абсурдности» (1519).
- ¹⁴ Чимабуэ, Джiovанни (1240—1302) — итальянский художник.
- ¹⁵ Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский художник.
- ¹⁶ Антиной (ум. 130) — юноша, отличившийся необычайной красотой, любимец римского императора Адриана (117—138). Изображение Антиноя часто встречается среди произведений античного искусства.
- ¹⁷ Разве не Сократ сказал... — очевидно, имеется в виду высказывание Аристотеля, что каждая глыба мрамора заключает в себе статую, которую можно увидеть, если снять лишние части. На это суждение Аристотеля ссылается также А. Поп в «Дунснаде» (IV, 269).
- ¹⁸ И высочайший гений не прибавит Единой мысли к тем, что мрамор сам Таит в избытке — начальные строки сонета 60 Микеланджело, посвященного Виттории Колонне (1490—1547), вдове известного полководца маркиза Пескара.
- ¹⁹ Полициано, Анджеоло (настоящая фамилия — Амброджини, 1454—1494) — итальянский гуманист и поэт, в стихах которого нашли отражение аристократические тенденции в культуре Возрождения. «Сказание об Орфее» написано в 1471 г., поставлено в 1480 г., издано в 1491 г.
- ²⁰ ... Дрожат и плачут ивы — стихотворение По, впервые опубликованное в этом рассказе; в июле 1839 г. было отдельно напечатано под заглавием «К Занте» в журнале «Бертонс джентлменс мэгезин».
- ²¹ Чепмен, Джордж (1559? — 1634) — английский драматург. В трагедии «Отмщение Бюсси д'Амбуа» (1607) обличаются разврат, интриги и преступления, царившие при дворе французского короля Генриха III (1551—1589).
- ²² Иоганнисбергер — знаменитый сорт немецкого вина, получивший название от деревни на правом берегу Рейна.

БЕРЕНИКА (BERENICE)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в марте 1835 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 5 апреля 1845 г. существенным образом переработано, в заключительной части рассказа исключен большой абзац.

На русском языке впервые в журнале «Дело», май 1874 г.

¹ Ибн-Зайат (XI в.) — арабский поэт.

² Арнгейм — город в Голландии, на правом берегу Рейна, прославившийся живописностью окружающего ландшафта. Ср. рассказ «Поместье Арнгейм».

- ⁸ Курион, Целий Секундус (1503—1569) — итальянский гуманист. Его книга «О величии блаженного царства божия» издана в Базеле в 1554 г.
- ⁴ Августин, Аврелий, прозванный «блаженным» (354—430) — христианский богослов и писатель, оказавший влияние на всю догматику католицизма. Его сочинение «О граде божием» написано около 426 г.
- ⁵ Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—ок. 230) — христианский писатель-богослов. Цитата взята из его книги «О пресуществлении Христа», часть II, гл. 5.
- ⁶ Птолемей (I в.) — александрийский математик, астроном и географ.
- ⁷ Асфодель — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В античности считался цветком смерти.
- ⁸ Гальциона, или Альциона — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в птицу зимородка, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солидестояния, когда море две недели совершенно спокойно.
- ⁹ Симонид Кеосский (556 — ок. 469 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.
- ¹⁰ Салле, Мари (1707—1756) — французская балерина, прославившаяся в 20—30-е годы XVIII века в театрах Лондона и Парижа.

МОРЕЛЛА (MORELLA)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в апреле 1835 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 21 июня 1845 г. в переработанном виде. В частности, из текста был исключен гимн Мореллы, который с этих пор печатается отдельно как стихотворение По «Гимн»:

О приснодева! Взор сложи,
 На жертву грешника взгляни:
 С молитвой робкую любовь
 Тебе несет он вновь и вновь!
 Зарю — днем — в вечерний час —
 Марня! пел тебе мой глас!
 В добре и зле — порой любой —
 Будь, мать божия, со мной!
 Когда Часов был скор полет
 И туч не ведал небосвод,
 Моей вожатой ты была,
 Мне душу оградив от зла;
 Но в Настоящем и в Былом
 Вся твердь во мраке грозовом —
 Дай свет в Грядущем увидать
 Молю, яви мне благодать!
 (Перевод В. В. Розова)

На русском языке рассказ впервые появился в журнале «Приложение романов к газете «Свет»», 1884, кн. 11.

- ¹ С собой, только собой, в своем вечном единстве — Платон. «Пир», 211.
- ² Прессбург — университетский город в Словакии, ныне — Братислава.
- ³ ... мистические трактаты, которые обычно считают обыкновенно нагаром на ранней германской литературе — интерес По к немецкой литературе проявляется в ряде его ранних рассказов. Здесь, возможно, имеются в виду сочинения Агриппы фон Неттестейма (1486—1535), известного своей мистической книгой «Оккультная философия» (1531).

- ⁴ Гинному, ставшему Ге-Енной — библейское название ада — геенна — происходит от имени долины Гинном близ Иерусалима («долина плача»).
- ⁵ Необузданный пантеизм Фихте... — имеется в виду этическая философия Фихте, согласно которой противоположность между Я и не-Я (природой) рассматривается как источник всякого познания и действия.
- ⁶ «Переселение души» — имеется в виду мистическое учение пифагорейцев, древнегреческой философской школы, основателем которой был Пифагор (ок. 580—500 до н. э.), о переселении душ.
- ⁷ ... в учении Шеллинга — имеется в виду его учение о том, что природа и сознание, объект и субъект совпадают в своем духовном начале («философия тождества»).
- ⁸ ... Локк справедливо определил... — По имеет в виду его сочинение «Опыт о человеческом разуме» (1690).
- ⁹ ... с небесной тверди упала радуга — после этого абзаца в первоначальном тексте рассказа следовал католический гимн, который пела Морелла.
- ¹⁰ Пестум — город на юге Италии, знаменитый в древности своими цветами. «Дважды цветущие розы Пестума» упоминаются Вергилием («Георгики», IV, 118), Овидием («Метаморфозы», XV, 708), Марциалом (IV, 41, 10) и другими римскими поэтами.
- ¹¹ Теосеу — имеется в виду древнегреческий поэт Анакреон (ок. 570—478 до н. э.), воспевавший любовь и вино. Анакреон родился в городе Теосе на побережье Малой Азии.
- ¹² Цикута и кипарис. — Цикута — ядовитое травянистое растение; также яд, изготовляемый из корней этого растения. Кипарис — эмблема печали и смерти.
- ¹³ ... куда я принес вторую — Мореллу — в одном из рукописных вариантов рассказ оканчивался смертью первой Мореллы.

СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНОТОСТИ (SOME PASSAGES IN THE LIFE OF A LION)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в мае 1835 г. под названием «Lionizing». Последняя прижизненная публикация в журнале «The Broadway Journal» 15 марта 1845 г. в совершенно переработанном виде. Переработанный вариант перепечатан также (под названием «Lionizing») в книге рассказов 1845 г.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896 под названием «Знаменитость».

- ¹ Холл, Джозеф (1574—1656) — английский епископ, автор «Сатир» (1597). Цитата взята из книги II, гл. 3.
- ² «Письма Юниуса» — анонимные сатирические письма, печатавшиеся в лондонском журнале «Паблик адвертайзер» в 1769—1772 гг. и резко критиковавшие английское правительство. Авторство их окончательно не установлено.
- ³ Железная Маска — таинственный узник времен французского короля Людовика XIV, никогда не снимавший маски с лица и умерший в Бастилии в 1703 г. Имя его было неизвестно. Согласно одной из версий, это был брат короля Людовика XIV.
- ⁴ Бели-Берда — в английском тексте Fum-Fudge — одно из сатирических названий Англии.
- ⁵ Бартолин, Томас (1616—1680) — датский анатом.
- ⁶ «Ежеквартальном», «Вестминстерском», «Иностранном», «Эдинбургском», «Дублинском», «Бентли», «Фрейзер», «Блэквуд» — названия крупнейших британских журналов: «Ежеквартальное обозрение» (основано в 1809 г.), «Вестминстерское обозрение» (1824), «Иностранное ежеквартальное обозрение» (1827), «Эдинбургское

- обозрение» (1802), «Дублинское обозрение» (1836), «Бентли миселени» (1837), «Фрейзерс мэгезин» (1830), «Блэквудс мэгезин» (1817). В первом издании этого рассказа упоминались только «Ежеквартальное обозрение», «Эдинбургское обозрение», «Блэквудс мэгезин» и «Нью мансли» (1821).
- ⁷ *Порфирий Финикийский* (233—ок. 304) — древнегреческий философ-неоплатоник, автор более 70 трактатов, из которых до нас дошла только часть.
- ⁸ *Ямвлих* (ок. 280—ок. 330) — сирийский философ-неоплатоник. До нас дошло пять трактатов из его «Свода пифагорейских учений».
- ⁹ *Плотин* (204—270) — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма. Трактаты Плотина известны под общим названием «Эннеады».
- ¹⁰ *Прокл* (410—485) — древнегреческий философ-мистик, представитель позднего неоплатонизма (афинская школа), автор многих трактатов и комментариев к сочинениям Платона.
- ¹¹ *Гиерокл* из Александрии (V в.) — философ-неоплатоник александрийской школы, известный своими комментариями к неопифагорейскому сочинению «Золотые стихи».
- ¹² *Максим Тирский* (II в.) — древнегреческий философ-неоплатоник. Английский перевод его сочинений появился в 1804 г.
- ¹³ *Сириан* из Александрии (ум. ок. 438) — древнегреческий философ-неоплатоник, учитель Прокла. До нас дошел его комментарий к «Метафизике» Аристотеля.
- ¹⁴ *Тюрго, Анн Робер Жак* (1727—1781) — французский политический деятель и экономист. Основное произведение Тюрго «Размышления о создании и распределении богатств» (1769—1770) представляет собой развитие идей физиократов, признававших землю и земледельца единственным источником богатства.
- ¹⁵ *Прайс, Ричард* (1723—1791) — английский философ-моралист и экономист.
- ¹⁶ *Пристли, Джозеф* (1733—1804) — английский естествоиспытатель и философ-материалист.
- ¹⁷ *Кондорсе* — см. примечание 13 к рассказу «Бон-Бон».
- ¹⁸ *де Сталь, Анна Луиза Жермен* (1766—1817) — французская писательница.
- ¹⁹ *Прабитие души* — теологическое учение о том, что душа Иисуса Христа существовала до сотворения мира. В расширительном смысле эта доктрина прилагается к людям вообще.
- ²⁰ *Гомеомерия* — учение древнегреческого философа Анаксагора (ок. 500—428 до н. э.) о том, что тела образуются путем сочетания качественно определенных и бесконечно делимых частиц — геомерий.
- ²¹ *Евсевий* — см. примечание 11 к рассказу «Бон-Бон».
- ²² *Арий* (IV в.) — александрийский историк церкви, имя которого дало название одной из ранних ересей — арианству, отрицавшему догмат о единой сущности троицы.
- ²³ *Никейский собор* — церковный собор, созванный римским императором Константином в г. Никее в 325 г. для борьбы с ересями. Осудил арианство и выработал в целях укрепления единства империи и церкви официальный «символ веры».
- ²⁴ *Пьюезим* — учение английского теолога Эдварда Бувери Пьюзи (1800—1882) и его последователей, известное также под названием Оксфордское движение, или Католическое возрождение в английской церкви и опиравшееся на трактаты английских священников XVII в. Имя Пьюзи приобрело известность уже после 1835 г., когда впервые был опубликован этот рассказ, и в первой его редакции оно отсутствовало.
- ²⁵ *Пресуществление* — учение о триединстве бога. Утверждено официальной церковью на Никейском соборе.
- ²⁶ *Гомузия и гомуйозия* — две точки зрения на Иисуса Христа среди теологов IV в. Согласно первой, Христа отождествляли с богом-отцом, защитники второй считали, что Христос лишь подобен богу-отцу.

- ²⁷ *Латур*. . . *кладвужо* — сорта французских вин.
- ²⁸ *Чимабуэ* — см. примечание 14 к рассказу «Свидание».
- ²⁹ *Арпино* — Джузеппе Чезари (ок. 1568—1640), итальянский художник, прозванный «кавалер д'Арпино».
- ³⁰ *Карпаччо*, Витторио (ок. 1465 — ок. 1522) — итальянский художник.
- ³¹ *Агостино* (XIV в.) — итальянский скульптор.
- ³² *Альбано*, Франческо (1578—1660) — итальянский художник.
- ³³ *Стеен*, Ян (1626—1679) — голландский художник.
- ³⁴ *Бендида* — фракийская богиня войны и охоты, культ которой сходен с культом древнегреческой богини-охотницы Артемиды, позже ставшей богиней луны (у римлян — Диана).
- ³⁵ *Бубастида* — египетская богиня, изображавшаяся с головой кошки. Древние греки отождествляли ее со своей Артемидой.
- ³⁶ . . . *восемьдесят три трагедии Эсхила* — античные ученые насчитывали в наследии Эсхила 90 драматических произведений. До нас дошло семь его пьес.
- ³⁷ *Исей* (ок. 420—ок. 350 до н. э.) — древнегреческий оратор. До нас дошло 12 его речей и известны названия еще 42 речей.
- ³⁸ *Лисий* (459—ок. 380 до н. э.) — древнегреческий оратор. До нас дошло 34 речи. Всего Лисию приписывалось 425 речей.
- ³⁹ *Феофраст* (372—287 до н. э.) — древнегреческий философ и естествоиспытатель. Ему приписывают 227 сочинений.
- ⁴⁰ *Аполлоний Пергамский* (ок. 262—ок. 205 до н. э.) — древнегреческий математик. Его главное сочинение о конических сечениях. До нас дошло семь его книг и восемь считаются утраченными.
- ⁴¹ *Пиндар* (522—ок. 422 до н. э.) — древнегреческий поэт. Из многочисленных произведений Пиндара сохранилось 45 од и более 300 фрагментов разного содержания.
- ⁴² *Гомер Младший* (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт и грамматик, автор большого числа произведений, которые до нас не дошли.
- ⁴³ *Элмак* — лондонский аристократический клуб, существовавший с 1764 г.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ (THE UNPARALLELED ADVENTURES OF ONE HANS PFAALL)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в июне 1835 г. В письме Томасу Уайту 20 июля 1835 г. По отмечает, что рассказ был написан за две недели специально для этого журнала. С изменениями и под названием «Ганс Фааль» напечатан во втором томе «Гротесков и арабесок». У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в журнале «Отечественные записки», ноябрь 1853 г., под названием «Голландский воздухоплаватель».

- ¹ *Песня Тома из Бедлама* — эпиграф взят из главы о странствующем нищем Томе из Бедлама в книге английского писателя Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы» (1791—1793, 1823). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.
- ² . . . я не могу сообщить точной даты. . . — Из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля — день обманов.
- ³ *Энке*, Иоганн Франц (1791—1865) — немецкий астроном, основал Берлинскую обсерваторию, исследовал и определил движение периодической кометы, названной его именем. О комете Энке По пишет в «Эврике».

- ⁴ *Гей-Люссак, Жозеф Луи* (1778—1850) — французский химик и физик. 2 августа 1804 г. (вместе с Ж. Био) и 16 сентября 1804 г. осуществил полеты на воздушном шаре с научной целью. Во время второго полета достиг высоты 7016 м.
- ⁵ *Био, Жан Батист* (1775—1862) — французский физик и астроном. В 1804 г. вместе с Гей-Люссаком совершил полет на аэростате с целью изучения свойств воздуха на различных высотах.
- ⁶ *Вальц, Жан* (1787—1867) — французский астроном, директор обсерватории в Марселе.
- ⁷ *Плиний* — см. примечание 9 к рассказу «Свидание».
- ⁸ *Грин, Чарлз* (1785—1870) — английский воздухоплаватель. 7 ноября 1836 г. совершил перелет на воздушном шаре из Лондона в герцогство Нассау (Германия), после чего его воздушный шар стал известен под именем «шара Нассау».
- ⁹ *Гумбольдт, Александр* (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1829 г. предпринял экспедицию на Урал, Алтай и к Каспийскому морю. Его главный труд — «Космос» (первые два тома вышли в 1845—1847 гг.).
- ¹⁰ *Шретер, Иоганн Иероним* (1745—1816) — немецкий астроном, директор обсерватории в Лиллентале (Бремен). О наблюдениях Шретера над атмосферой малых планет, или астероидов, По пишет в заметках к «Эврике».
- ¹¹ *Гевелий, Ян* (1611—1687) — польский астроном, составил первые карты Луны («Селенография, или Описание Луны», 1647) и каталог 1564 звезд.
- ¹² *Кассини, Джованни Доменико* (1625—1712) — французский астроном, по происхождению итальянец. Основал Парижскую обсерваторию и открыл четыре спутника Сатурна.
- ¹³ *Примечание* — добавлено к рассказу в издании «Гротески и арабески» (1840).
- ¹⁴ *Локк, Ричард Адамс* (1800—1871) — американский журналист, автор мистификации «Великие открытия в астрономии», напечатанной в газете «Нью-Йорк сан» (август 1835 г.), в которой утверждалось, что сын английского астронома Вильяма Гершеля Джон Гершель (1792—1871) обнаружил на Луне многочисленное крылатое население. Э. По упоминает Локка в своей серии статей «Литературы Нью-Йорка», а в письме к Джону Кеннеди 11 сентября 1835 г. По вспоминает, что вначале он тоже хотел построить свой рассказ о Луне на основе открытий, сделанных благодаря телескопу, но затем оставил эту идею и обратился к более широкому изложению событий.
- ¹⁵ *Питер Уилкинс* — герой утопического романа Роберта Пелтока (1697—1767) «Жизнь и приключения Питера Уилкинса из Корнуэлса, о том, как он потерпел кораблекрушение вблизи Южного полюса, через подземную пещеру попал в некий Новый мир, встретился там с летающей женщиной, спас ей жизнь и затем женился на ней», изданного анонимно в 1751 г. и затем многократно переиздававшегося.
- ¹⁶ *Брюстер, Дэвид* (1781—1868) — шотландский физик, член Лондонского королевского общества, изучал явления преломления света.
- ¹⁷ *Лорд Росс — Парсонс, Вильям* (1800—1867), английский астроном, президент Лондонского королевского общества. В 1827 г. начал работу по созданию большого телескопа, которая была завершена в 1845 г.
- ¹⁸ *Доминик Гонзалес* — псевдоним английского писателя-богослова Фрэнсиса Годвина (1562—1633). Его фантастическая книга «Человек на луне», написанная между 1599—1603 гг. и опубликованная посмертно в 1638 г., содержит изложение основных идей Коперника о вселенной. В 1648 г. была издана в Париже по-французски под тем же псевдонимом.
- ¹⁹ *Жиль Блаз* — герой плутовского романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сантльяны» (1715—1735).
- ²⁰ *Сирано де Бержерак, Савиньен* (1619—1655) — французский писатель, сторонник материалистической философии. Имеется в виду его утопия «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1650).

- ²¹ В третьем томе «Американ куотерли ревью»... Журнал, издававшийся в Филадельфии с 1827 по 1837 г. Третий том вышел в 1828 г.
- ²² Бантри Бей — залив на юге Ирландии (графство Корк), на северной стороне которого находится гора Хангри Хилл.

КОРОЛЬ ЧУМА. Рассказ, содержащий аллегорию
(KING PEST. A Tale Containing an Allegory)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в сентябре 1835 г. под названием «Король Чума Первый». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 18 октября 1845 г. с дополнениями и подписью: «Литтлтон Бэрри».

На русском языке впервые в книге Э. По. Необыкновенные рассказы, кн. 2. СПб., 1885 под названием «Царь-чума».

- ¹ Рассказ, содержащий аллегорию — в первой публикации подзаголовок читался: «Рассказ, содержащий аллегорию, написанный...»; вместо точек подразумевалось имя английского писателя и политического деятеля Бенджамина Дизраэли (1804—1881). В этом рассказе пародируется описание Дворца вина в кн. IV, гл. I романа Дизраэли «Вивин Грей» (1826—1827).
- ² «Трагедия о Феррексе и Поррексе», или «Горбодук» (1561) — одна из ранних английских трагедий, первые три действия которой написаны Томасом Нортон (1532—1584), а два последние Томасом Сэквилом, бароном Бакберстом (1536—1608). Цитата из II действия, сцена 1.
- ³ ...третьего из Эдуардов (1312—1377) — английский король (1327—1377).
- ⁴ Бен Невис — гора в Шотландии, самая высокая на Британских островах.
- ⁵ «Мела нет» — жаргонное выражение, означающее: «Здесь в кредит не отпускают».
- ⁶ «Чума!» — во время царствования Эдуарда III в 1348 г. в Англии впервые возникла эпидемия чумы.
- ⁷ Стентор — в «Илиаде» Гомера (V, 785) имя греческого глашатая, славившегося своим громовым голосом.
- ⁸ Синяя погибель — жаргонное название джина.
- ⁹ Деви Джонс — в английском морском жаргоне название духа моря, или дьявола.
- ¹⁰ Черный жгут — жаргонное название португальца.

ТЕНЬ. Притча (SHADOW. A Parable)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в сентябре 1835 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 31 мая 1845 г. с незначительными изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Дело», май 1874.

- ¹ Если я пойду и долиною тени... — Библия. Псалом Давида, XXII, 4. В первом издании рассказа эпиграф отсутствовал.
- ² ...распростерлись черные крыла Чумы. — В этом рассказе, так же как и в предыдущем «Король Чума», получили отражение впечатления писателя от эпидемии холеры в Балтиморе летом 1835 г.
- ³ Птолемиада — древнее название города Акка в Палестине.
- ⁴ ...песни геосца — то есть Анакреона. См. примечание 11 к рассказу «Морелла».

ЧЕТЫРЕ ЗВЕРЯ В ОДНОМ
(FOUR BEASTS IN ONE. THE HOMO-CAMELEOPARD)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в марте 1836 г. под названием «Erimanes». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 6 декабря 1845 г. с некоторыми изменениями.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ У каждого свои добродетели — из трагедии «Ксеркс» (1714), действие IV, сцена 2, французского драматурга Проспера Кребийона (1674—1762).
- ² Антиох Эпифан (Антиох IV) (II в. до н. э.) — один из селевкидских царей, царствовавших в Сирии в 175—163 гг. до н. э. Прозван «Безумным» (Эпиманес), как и озаглавил По первоначально свой рассказ.
- ³ Иезекииль (VI в. до н. э.) — библейский пророк, ставивший в своих проповедях морально-этические вопросы. Согласно его пророчеству, Гог и Магог в отдаленном будущем придут с севера в Израиль войной, но погибнут в огне (Книга Иезекииля, 39, 1—16).
- ⁴ Камбиз (VI в. до н. э.) — древнеперсидский царь (529—523 до н. э.) из династии Ахеменидов, сын Кира, царствовавшего в 558—529 гг. до н. э.
- ⁵ Храм Дианы в Эфесе — выдающееся произведение античного искусства; построен в VI в. до н. э. В 356 г. до н. э. сожжен Геростратом, желавшим прославиться этим деянием. Новый храм Дианы, или Артемиды, считавшейся покровительницей города Эфеса на побережье Малой Азии, был отстроен вскоре после пожара и просуществовал до 262 г., когда его сожгли готы.
- ⁶ ... преследования евреев... — При Антиохе IV произошло восстание евреев под предводительством Маккавеев (165 г. до н. э.).
- ⁷ ... осквернение Святая Святых... — В 170 г. до н. э. Антиох IV разграбил Иерусалимский храм.
- ⁸ ... жалкая кончина в Табе... — Антиох IV умер в Табе (Персия) во время военного похода на восток. Перед смертью у него обнаружилось умственное расстройство.
- ⁹ ... от соговорения мира три тысячи восемьсот тридцатое — то есть 174 г. до н. э.
- ¹⁰ Селевк Никанор (правильно: Никатор) (310—281 до н. э.) — военачальник Александра Македонского, основатель династии Селевкидов.
- ¹¹ Вер, Луций (131—169) — римский император (161—169). Прославился своей расточительностью и разгулом.
- ¹² Валент Флавий (329—378) — римский император (364—378), бывший соправителем своего брата, императора Валентиниана I, в восточной части империи.
- ¹³ ... тысяча восемьсот сорок пятое... — В первом издании рассказа значилось: «в тысяча восемьсот тридцать девятом году».
- ¹⁴ ... Гордится этот город — В. Шекспир. «Двенадцатая ночь», III, 3. Пер. М. Лозинского.
- ¹⁵ Гелиогабал (Элагабал) (204—222) — римский император в 218—222 гг., провозгласивший сирийского бога солнца Элагабала главным богом римлян, приняв имя этого бога.
- ¹⁶ Ашима — см. примечание 21 к рассказу «На стенах иерусалимских».
- ¹⁷ Вописк, Флавий (III—IV вв.) — один из «шести писателей истории императоров». Биография римского императора Аврелиана (270—275) написана им около 304 г. Аврелиан разбил одно из сарматских племен на Дунае, о чем повествует Вописк в его биографии.

МИСТИФИКАЦИЯ (MYSTIFICATION)

Впервые опубликовано в журнале «The American Monthly Magazine» (Нью-Йорк) в июне 1837 г. под названием «Фон Юнг — мистификатор». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 27 декабря 1845 г. в значительно сокращенном и частично переработанном виде с подписью: «Литтлтон Бэрри».

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ *Пассадо и монтаны* — приемы в фехтовании.
- ² *Нед Ноулз* — по-видимому английский писатель Джеймс Шеридан Ноулз (1784—1862), пьесы которого были особенно популярны в США в 30—40-е годы. По резко критикует эпигонство Ноулса в статье «Американская драма», напечатанной в августе 1845 г. в журнале «Американ виг ревью». В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал и появился лишь в тексте 1845 г.
- ³ *Тик*, Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик. В своей рецензии на рассказы Н. Готорна (1847) По сравнивает Тика с Готорном.
- ⁴ *Г—не* — имеется в виду немецкий университетский город Геттинген.
- ⁵ *Гераклит Эфесский* (ок. 544—483 до н. э.) — древнегреческий философ, прозванный «Темным», потому что дошедшее до нас его сочинение «О природе» славилось в древности глубокомыслием и загадочностью.
- ⁶ *Инкуб* — название злого духа, который, согласно средневековым верованиям, вступал в любовную связь с женщинами во время их сна и посещению которого приписывалось рождение ведьм и колдунов.
- ⁷ *Колридж*, Самюэл (1772—1834) — английский поэт-романтик. Наряду с Китсом и Шелли принадлежал к любимым поэтам По, видевшим главное достоинство его стихов в музыкальности (письмо к Дж. Р. Лоуэлу от 2 июля 1844 г.).
- ⁸ *Филипп IV Красивый* (1268—1314) — французский король (1285—1314). Дуэли во Франции регламентировались до революции XVIII в. специальными королевскими указами — ордонансами.
- ⁹ *Фавин*, Андре (р. ок. 1560) — французский юрист, автор книги «Театр чести и рыцарства», изданной в Париже в 1613 г. и переизданной по-английски в Лондоне в 1623 г.
- ¹⁰ *Д'Одигье*, Виталь (1569—1624) — французский писатель, автор «Трактата о дуэлях» (1617).
- ¹¹ *Брантом*, Пьер (ок. 1540—1614) — французский историк. Его «Мемуары», которые он писал в последние годы своей жизни, были изданы в 1665—1666 гг.
- ¹² *Эльзевир* — название книг и типографского шрифта, которым печатались книги в знаменитых голландских типографиях конца XVI—XVII в., принадлежавших семье типографов-издателей Эльзевиров.
- ¹³ *Дером* — семья французских переплетчиков книг XVII—XVIII вв.; особенно прославился Никола Дени Дером (1731—1788), известный под именем Дером-младший.
- ¹⁴ *Эделен*. — Книга о дуэлях и ее автор, очевидно, выдуманы По. Возможно, По использовал для этого псевдоним французского писателя и критика Франсуа Обиньяка (1604—1676).
- ¹⁵ *Дю Баргас*, Гийом де Саллюст (1544—1590) — французский поэт, пользовавшийся в своих стихах удвоением слогов в отдельных словах.

ТИШИНА. Притча (SILENCE. A Fable)

Впервые опубликовано в новогоднем сборнике «The Baltimore Book» (Балтимор), 1838 (издан осенью 1837 г.) под названием «Siope — A Fable (In the Manner of the Psychological Autobiographists)». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 6 сентября 1845 г. с небольшими изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Русское богатство», май 1881 г. под названием «Молчание».

- ¹ Алкман (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. Приводимый в эпиграфе отрывок (опубликован впервые в 1773 г.), рисующий картину ночного сна природы, послужил основой для известных стихотворений И. В. Гете («Über allen Gipfeln ist Ruh...», 1780) и М. Ю. Лермонтова «Горные вершины» (1840). См. статью И. Толстого «Фрагмент Алкмана „Спят вершины гор“» («Ученые записки Ленинградского гос. пединститута им. А. И. Герцена», т. 15, 1938). В первой публикации рассказа вместо эпиграфа из Алкмана были две строки из поэмы По «Аль Аарааф»: «Наш мир — мир слов, и мы зовем „молчаньем“ — Спокойствие, гордясь простым названьем» (пер. В. Брюсова).
- ² Заира — старое португальское название реки Конго.
- ³ Бегемот — имеется в виду мифическое библейское животное (Книга Иова, 40, 10—19)
- ⁴ Додола — древнегреческий город, где находился оракул Зевса, ответы которого слышались сквозь шум листьев священного дуба.

ЛИГЕЙЯ (LIGEIA)

Впервые опубликовано в журнале «The American Museum of Science, Literature, and the Arts» (Балтимор) в сентябре 1838 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 27 сентября 1845 г. подверглось значительной переработке. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора по экземпляру «The Broadway Journal». На русском языке впервые в журнале «Дело», май 1874 г.

- ¹ Гленвилл, Джозеф (1636—1680) — английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики» (1661). Источник цитаты не установлен.
- ² Ашторфег — богиня финикийского города Сидона (II тысячелетие до н. э.), на месте которого ныне находится ливанский город Сайда. В древней Финикии поклонялись также богине плодородия — Ашторет (Астарты), которую почитали и в Египте. Астарты упоминается в стихотворении По «Улялюм» (1847).
- ³ ...дщерей Делоса — согласно греческой мифологии, на острове Делосе родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.
- ⁴ «Нет утонченной красоты без некой необычности в пропорциях» — слова Фрэнсиса Бэкона (1561—1626), получившего в 1618 г. титул барона Верулама, в его эссе «О красоте» (1625). У Бэкона не «утонченная красота», а «совершенная красота».
- ⁵ Клеомен — это имя значится на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств назван здесь как вдохновитель создателя знаменитой скульптуры.
- ⁶ Нурджахад — имеется в виду «восточный» роман «История Нурджахада» (1767) английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724—1766), матери известного драматурга.
- ⁷ Демокритов колодез — имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460—370 до н. э.) высказывание «истина обитает на дне колодез». Встречается также у Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. II, гл. 18) и у Байрона («Дон Жуан», II, 84).
- ⁸ Двойные звезды Леды — две яркие звезды в созвездии Блинецов, носящие имена Кастора и Поллукса — согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой от Зевса.

- ⁹ ... большой звезды в созвездии *Лиры* — имеется в виду звезда Вега в созвездии *Лиры*. Двойная звезда этого созвездия известно под именем эпсилон-*Лиры*.
- ¹⁰ ... трансцендентальные тайны. — Трансцендентализм — в Америке так называлось движение философского идеализма, возникшее в 1836 г. Группа американских писателей-трансценденталистов (Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Б. Олкотт, М. Фуллер и др.) проповедовала демократические взгляды и выступала в 40-е годы XIX века с романтической критикой капитализма и отрицанием буржуазного прогресса. Э. По считал философию трансценденталистов наивной и нередко высмеивал их.
- ¹¹ *Сатурнов свинец* — в алхимии и старой химии свинец назывался сатурном.
- ¹² *Азраил* — в мусульманской мифологии ангел смерти.
- ¹³ ... герой. — Это стихотворение По (вместе с абзацем перед ним и после него) не входило в первую публикацию рассказа в 1838 г. Впервые оно было опубликовано под названием «Червь-победитель» в журнале «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин» в январе 1843 г. В переработанный текст рассказа это стихотворение впервые включено писателем в нью-йоркском журнале «Нью уорлд» 15 февраля 1845 г.
- ¹⁴ *Друиды* — жрецы у древних кельтов.
- ¹⁵ *Луксор* — город в Египте на правом берегу Нила, на месте древних Фив, где находятся руины знаменитого храма бога Аммона (XV в. до н. э.).

КАК ПИСАТЬ РАССКАЗ ДЛЯ «БЛЭКВУДА» (HOW TO WRITE A BLACKWOOD ARTICLE)

Впервые опубликовано в журнале «The American Museum of Science, Literature and the Arts» (Балтимор) в ноябре 1838 г. под названием «The Psyche Zenobia» Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 12 июля 1845 г. в значительно переработанном виде. В двухтомнике 1840 г. напечатано под названием «Синьора Зенобия»

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ Зенобия (III в.) — правительница Пальмиры, прославившаяся своей красотой, умом и энергией. В этом рассказе По сатирически изобразил американскую писательницу Маргарет Фуллер (1810—1850), которую он высоко ценил как критика, но осуждал ее стилистическую небрежность.
- ² ... мой отец был «греком» — жаргонное выражение, означающее «жулик».
- ³ Брум, Генри (1778—1868) — английский политический деятель и журналист, один из основателей «Общества распространения полезных знаний» (1827).
- ⁴ ... жеманством. — В английском оригинале далее следует каламбур со словами *saup* (лицемерие, жеманство) и *Kant* (немецкий философ И. Кант).
- ⁵ ... знаменитого журнала. — Орган шотландских консерваторов журнал «Блэквудс мэгезин» был основан в 1817 г. шотландским издателем Вильямом Блэквудом (1776—1834) и собрал вокруг себя ряд известных в то время писателей: в нем печатался Вальтер Скотт После смерти В. Блэквуда это издание продолжили его сыновья Александр и Роберт, которых, очевидно, и имеет в виду в своем рассказе Э. По.
- ⁶ «Живой мертвец» — анонимный рассказ, опубликованный в журнале «Фрейзерс мэгезин» в апреле 1834 г. Возможно, По также имеет в виду рассказ «Похороненный заживо», напечатанный в «Блэквудс мэгезин» в октябре 1821 г.
- ⁷ «Исповедь курильщика опиума» — имеется в виду автобиографическая книга писателя-романтика Томаса Де Квинси (1785—1859) «Исповедь английского курильщика опиума», печатавшаяся первоначально в журнале «Лондон мэгезин» в сентя-

- бре—октябре 1821 г. Указание на то, что это произведение печаталось в «Блэквудс мэгезин», возможно, вызвано тем, что в этом журнале часто публиковались другие сочинения Де Квинси.
- ⁸ ... автором был Колридж... — одно из известных произведений английского поэта Самюэла Колриджа — неоконченный фрагмент «Кубла Хан» (1798) — представляет собой бредовое видение, вызванное, по свидетельству самого поэта, действием опиума, к которому он пристрастился.
- ⁹ «Экспериментатор поневоле» — напечатан в «Блэквудс мэгезин» за октябрь 1837 г.
- ¹⁰ «Дневник покойного врача» — печатался в «Блэквудс мэгезин» по частям с 1830 по 1837 г.
- ¹¹ «Человек в колоколе» — опубликовано в «Блэквудс мэгезин» за ноябрь 1821 г.
- ¹² «Правда всякой выдумки странней» — Байрон. «Дон Жуан», XIV, 101.
- ¹³ Ионийская школа — самое раннее материалистическое направление в древнегреческой философии (VI в. до н. э.).
- ¹⁴ Элейская школа — группа древнегреческих философов конца VI—начала V века до н. э., развивавшая учение о едином и неизменном бытии и выступавшая против стихийно-диалектических воззрений ионийской школы.
- ¹⁵ Архит (ок. 428—347 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, друг Платона.
- ¹⁶ Горгий (ок. 483—375 до н. э.) — древнегреческий философ и ритор, центральная фигура в диалоге Платона «Горгий».
- ¹⁷ Алкмеон, или Алкман — см. примечание 1 к рассказу «Тишина».
- ¹⁸ «Критика чистого разума» (1781), «Метафизические начальные основания естествознания» (1786) — сочинения немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804).
- ¹⁹ «Дайел» — журнал американских трансценденталистов, выходил с июля 1840 г. до апреля 1844 г., печатал статьи по вопросам литературы, философии и религии. Первые два года редактором журнала была писательница Маргарет Фуллер, затем Р. У. Эмерсон. См. также примечание 10 к рассказу «Лигейя». В первом издании рассказа вместо «Дайел» упоминался роман Гете «Страдания Вертера».
- ²⁰ Чаннинг, Вильям Элери (1818—1901) — американский поэт и публицист, член кружка трансценденталистов; его стихи и очерки печатались в журнале «Дайел». По цитирует строчку из его стихотворения «Мысли», анализ которого содержится в рецензии на сборник стихов Чаннинга, напечатанный По в журнале «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин» в августе 1843 г.
- ²¹ ... три музы — Мелета, Мнема, Аэда... — Древнегреческий писатель Павсаний (II в.) в своем «Описании Эллады» (кн. IX, гл. 29) говорит о трех старших музах (Мелета, Мнема и Аэда). Первоначальное число муз в греческой мифологии было затем увеличено до девяти муз — покровительниц разного рода искусств и наук.
- ²² Алфей — река в Греции, считавшаяся в древности рекой-богом. Согласно легенде, ее воды протекали под морем и выходили источником Арегусы вблизи Сиракуз.
- ²³ Ю-Киао-Ли — имеется в виду китайский роман XVII в. «Юй, Цяо, Ли».
- ²⁴ Чикасо — одно из племен американских индейцев, живших вдоль Миссисипи, а позднее переселенных в Оклахому.
- ²⁵ ... во французской трагедии того же названия — имеется в виду трагедия Вольтера «Заира» (1732).
- ²⁶ ... не возвратила меня к жизни — Сервантес. «Дон Кихот», часть II, гл. 38. Сервантес использовал здесь стихи испанского поэта Эскриба (конец XV—начало XVI в.). В переводе М. Лозинского: «Смерть, повея своим дыханьем, Подойдя неслышным шагом, Чтобы жизнь не счел я благом, Наслаждаюсь умираюем».
- ²⁷ ... из Ариосто — на самом деле это строки из пародийно-героической поэмы «Влюбленный Роланд» (LIII, 60) итальянского поэта Франческо Берни (1490—1536).

- ²⁸ «Пусть это смерть — я смерть вкусил У ног, у ног, у милых ног твоих» — заключительные строки из стихотворения И.-В. Гете «Фиалка» (1775).
- ²⁹ *Тортони* — парижский ресторатор, по имени которого называлось в XIX веке кафе на Итальянском бульваре в Париже.
- ⁸⁰ *Ignoratio elenchi* — логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что оставляется без внимания то, что следует доказать и, таким образом, доказывается совсем не то, что следует.
- ⁸¹ *Слова-анемоны* — это выражение принадлежит не римскому поэту Марку Лукану (39—65), а взято из произведения «Лексифан, или Краснобай» (гл. 23) древнегреческого писателя Луккиана (ок. 117—ок. 190).
- ³² *Сильий Италик*, Тит Катий (26—101) — римский поэт. Цитата взята из его поэмы «Пуническая война».
- ³³ *Демосфен* — см. примечание 12 к рассказу «Без дыхания». Цитируемые слова Демосфен произнес, как о том свидетельствует Тертуллиан (*De Fuga in Persecutione*, X), после своего бегства с поля сражения у Херонеи (338 до н. э.).
- ³⁴ «*Гудибрас*» (1663—1678) — поэма английского поэта-сатирика Самюэла Батлера (1612—1680). Цитируется с изменением множественного числа на единственное из III песни (строка 243) поэмы.

ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Коса времени (A PREDICAMENT. The Scythe of Time)

Впервые опубликовано в журнале «The American Museum of Science, Literature, and Arts» (Балтимор) в ноябре 1838 г. под названием «The Scythe of Time» («Коса времени»). Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 12 июля 1845 г. в значительно переработанном виде.

Этот рассказ является продолжением предыдущего (см. примечания).

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ ... *Прекраснейшая дама* — строки из драматической поэмы «Комус» (1634) Джона Мильтона (1608—1674). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.
- ² *Эдина* — Эдинбург.
- ³ *Оллапод* — псевдоним американского журналиста Виллиса Гейлорда Кларка (1808—1841), которым он подписывал статьи в журнале «Никербокер мэгезин», редактируемом им вместе с братом Люнсом Кларком с 1834 г. Слово «оллапод» означает «всякая всячина», «смесь».
- ⁴ *Ванни Бюрен* — шуточная переделка фамилии восьмого президента США (1837—1841) Мартина Ван-Бюрена (1782—1862).

ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ (THE DEVIL IN THE BELFRY)

Впервые опубликовано в журнале «The Saturday Chronicle and Mirror of the Times» (Филадельфия) 18 мая 1839 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 8 ноября 1845 г. имеет незначительные изменения.

На русском языке впервые в журнале «Время», январь 1861, под названием «Черт в ратуше».

- ¹ ... *комментариями Тшафкенхрюккена* — По продолжает здесь традицию пародирования «ученых трудов» историков, начатую В. Ирвингом в «Истории Нью-Йорка»

(1809). Многие голландские реалии этого рассказа напоминают геронкомическую «эпопею» Ирвинга.

² «Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти» — ирландская народная песня.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗРУБИЛИ В КУСКИ.

Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании

(THE MAN THAT WAS USED UP.

A Tale of the Late Bugaboo and Kickapoo Campaign)

Впервые опубликовано в журнале «Burton's Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в августе 1839 г. Последнее прижизненное издание в «The Broadway Journal» 9 августа 1845 г. в переработанном виде и с некоторыми сокращениями.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

¹ *Кикапу* — племя североамериканских индейцев, отличавшееся воинственностью и сражавшееся на стороне англичан во время войны за независимость США и в англо-американской войне 1812—1814 гг. В 1819 г. остатки этого племени, уничтоженного белыми, были переселены в резервации в Канзасе. Бугабу значит по-английски «пугало», «бука».

² *Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин! Увы! Моей души одна из половинок другую сражена* — слова Химены из трагедии Пьера Корнеля (1606—1684) «Сид» (1637), действие III, сцена 3 В первой публикации рассказа эпиграф отсутствует.

³ *Бревет* — патент на следующий воинский чин с сохранением прежнего оклада.

⁴ *Шар Нассау* — см. примечание 8 к рассказу «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля».

⁵ *Тимбукту* — город на юге пустыни Сахара.

⁶ *В коих сыграл он немалую роль* — Вергилий. «Энеида», II, 6.

⁷ *Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальми. Как цветок, он выходит и опадает* — Библия. Книга Иова, XIV, 1—2.

⁸ *Вы человек иль нет? Где ваше сердце?* — Шекспир. «Отелло», III, 3.

⁹ ... о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили — имеется в виду капитан Даниел Манн, привлеченный к судебной ответственности по обвинению в заговоре. Судебный процесс над ним, начавшийся в марте 1839 г., еще продолжался, когда появился в печати этот рассказ По. Филадельфийская пресса, в которой был напечатан рассказ По, почти ежедневно освещала ход процесса.

¹⁰ ... о какой-то поэме лорда Байрона — имеется в виду поэма Байрона «Бронзовый век» (1823). В английском тексте рассказа обыгрывается заглавие поэмы Байрона «Манфред» (1817).

¹¹ ... с луны... — фольклорный образ человека с луны встречается у В. Шекспира («Буря», II, 2) и у ряда других писателей. Выражение стало поговоркой для обозначения неведения земных дел.

¹² *Тацит*, Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк, повествовательная манера которого отличается краткостью и сжатостью выражения.

¹³ *Монтескье*, Шарль Луи (1689—1755) — французский писатель, публицист, философ, язык произведений которого отличается ясностью, точностью и выразительностью, что сделало его образцом французской прозы XVIII в.

¹⁴ *Томас, Джон Ф.* — известный в то время в Филадельфии торговец протезами.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ
(THE FALL OF THE HOUSE OF USHER)

Впервые опубликовано в журнале «Burton's Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в сентябре 1839 г. Последнее прижизненное издание в книге рассказов По 1845 г. с некоторыми изменениями.

На русском языке впервые в «Литературном журнале», ноябрь 1881 г., под названием «Падение дома Ушеров».

- ¹ *Его сердце — висящая лютя, Коснешься — и она завучит* — заключительные строки песни Пьера-Жана Беранже (1780—1857) «Отказ» (1831), обращенной к генералу Себастьяни, участнику наполеоновских войн. Ту же мысль встречаем мы в стихотворении По «Израфел» (1831). В первой публикации рассказа эпитафия отсутствовала.
- ² ... *последнего вальса фон Вебера* — создатель немецкой романтической оперы Карл Мария Вебер (1786—1826) не писал такого произведения. Имеются в виду «Блестящие танцы» (1824) немецкого композитора Карла Готлиба Рейзигера (1798—1859), один из которых (№ 5) известен под названием «Последний вальс Вебера», или «Последняя дума Вебера».
- ³ *Фювели*, Генри (1741—1825) — швейцарский художник Иоганн Генрих Фюссли, работавший в Англии в 1779—1825 гг., где он получил известность под переделанной фамилией Фювели. Представитель романтического маньеризма, иллюстрировал Шекспира и Мильтона.
- ⁴ «*Заколдованный чертог*» — впервые это стихотворение По опубликовано в журнале «Американ музей» (Балтимор) в апреле 1839 г., за пять месяцев до того, как оно было включено в этот рассказ. В письме к Р. Грисволду от 29 марта 1841 г. По отмечает, что в образе заколдованного замка он изобразил «разум, преследуемый призраками».
- ⁵ *Уотсон*, Ричард (1737—1816) — английский химик, автор пятитомных «Очерков по химии» (1781—1787). Он же был епископом Ландаффским, которого По принял, очевидно, за другое лицо.
- ⁶ *Персиваль*, Томас (1740—1804) — английский врач, автор «Медицинской этики» (1803). Его работа о чувствительности растительных организмов была опубликована в 1785 г. в «Мемуарах Манчестерского литературного и философского общества».
- ⁷ *Спалланцани*, Ладзаро (1729—1799) — итальянский ученый и путешественник. Идея о чувствительности растений развиты им в «Диссертации о природе животных и растений» (1780, английский перевод в 1784 г.). Сведения о Персивале и Спалланцани По почерпнул из предисловия к пятому тому «Очерков по химии» Р. Уотсона, где излагаются их мнения по затронутому вопросу.
- ⁸ ... *все растительное надделено чувствительностью*. — Мысль о том, что чувствительность свойственна всей природе, получила дальнейшее развитие в книге По «Эврика» (1848).
- ⁹ *Грессе*, Жан Батист Луи (1709—1777) — французский поэт-сатирик. За поэму «Вер-Вер» (1734), рассказывающую о похождениях попугая, воспитанного в женском монастыре, Грессе был исключен из ордена иезуитов. Стихотворное послание «Монастырь» (1735) воспекает уединенную жизнь поэта.
- ¹⁰ *Макиавелли*, Никколо (1469—1527) — итальянский писатель, историк и политический деятель. Новелла «Бельфагор-архидьявол» (опубл. 1549) повествует о посещении дьяволом земли.
- ¹¹ *Сведенборг*, Эммануил (1688—1772) — шведский естествоиспытатель и теолог. Его мистический трактат «Небо и ад» издан в 1758 г.
- ¹² *Хольберг*, Людвиг (1684—1754) — датский писатель, положивший начало новой датской литературе. Его сатирико-утопический роман «Подземное путешествие Николааса Климма» вышло в 1741 г.

- ¹³ *Флад, Роберт (1574—1637)* — английский врач, автор мистических и псевдонаучных трактатов по алхимии и хиромантии. Одна из его книг была переведена в 1659 г. с латинского на английский.
- ¹⁴ *Д'Эндажине, Жан (XVI в.)* — французский хиромант, автор книги «Хиромантия» (1522).
- ¹⁵ *Делашамбр, Марен Кюро (1594—1669)* — французский хиромант, автор книги «Принципы хиромантии» (1653).
- ¹⁶ *Тик* — см. примечание 3 к рассказу «Мистификация». По имеет в виду его сказочный роман «Старая книга, или Путешествие в голубую даль» (1835).
- ¹⁷ *Кампанелла, Томмазо (1568—1639)* — итальянский ученый и писатель. Его социальная утопия «Город Солнца» написана в тюрьме в 1602 г. (издана в 1623 г.).
- ¹⁸ *Жиронн, Эймерик де (ок. 1320—1399)* — испанский инквизитор. Его «Руководство по инквизиции» (издано в 1503 г.) посвящено описанию способов изгнания нечистой силы и определению различных видов еретиков.
- ¹⁹ *Мела, Помпоний (I в.)* — римский географ. В его «Географии», изданной в Милане в 1471 г., рассказывается о полусказочных обитателях Африки.
- ²⁰ ... о странных обрядах — как свидетельствуют американские исследователи, эта редкая книга содержит описание обычной католической заупокойной службы в церкви г. Майнца (Германия), мало чем отличающейся от современной. По, очевидно, не видел этой книги и составил впечатление о ней из творческих рук.
- ²¹ *Донжон* — главная сторожевая башня в средневековом замке.
- ²² «*Безрассудное свидание*», сочинение сэра Лонселота Кеннинга — книга с таким названием не установлена. Существует предположение, что приводимые По отрывки принадлежат ему самому. Этельред — имя одного из древних королей Британии, жившего в конце X — начале XI века.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН (WILLIAM WILSON)

Впервые опубликовано в новогоднем сборнике «Подарок» (The Gift). Филадельфия, 1840 (издан в сентябре 1839 г.). В октябре 1839 г. рассказ был перепечатан в журнале «Burton's Gentleman's Magazine». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 30 августа 1845 г. существенным образом переработано. Перепечатано в газете «Spirit of the Times» 5 сентября 1845 г.

На русском языке впервые напечатано отдельным изданием (СПб., А. Смирдин и К^о, 1858. 28 стр.).

- ¹ *Чемберлен, Вильям (1619—1689)* — английский писатель. Его «Фаронида» (1659) — героическая поэма в пяти книгах.
- ² *Элагалал (Гелногалал)* — см. примечание 15 к рассказу «Четыре зверя в одном».
- ³ *Самые ранние воспоминания о моей школьной жизни...* — Описание английской школы в этом рассказе сделано По на основании его собственных детских воспоминаний о жизни в пансионе в Стокньюингтоне (на северной окраине Лондона) в 1818—1820 гг., где он был записан под фамилией приемного отца Аллана.
- ⁴ *Бренсби* — По называет фамилию главы стокньюингтонской школы Джона Бренсби (1783—1847).
- ⁵ *Карфагенские медали* — имеются в виду монеты города-государства Карфагена, выпускавшиеся в IV—II вв. до н. э. и отличавшиеся тщательной чеканкой.
- ⁶ ... *девятнадцатого января 1813 года...* — По указывает дату собственного рождения (19 января 1809 г.). В журнальном варианте 1839 г. стояла дата 19 января 1811 г. (именно этот год назвал По годом своего рождения в «Автобиографии», написанной в 1839 г.). В сборнике рассказов «Гротески и арабески» (1840), куда был включен «Вильям Вильсон», значится уже 19 января 1809 г. Таким образом,

эти изменения года рождения героя отражают либо неуверенность По относительно своего года рождения, либо сознательное желание изменить его.

- ⁷ ... переизродил Ирода — см. примечание 7 к рассказу «Метценгерштейн».
- ⁸ *Ирод Аттик*, Тиберий Клавдий (ок. 101—177) — знаменитый афинянин, прославившийся своим богатством и ораторским искусством. По преданию, нашел в одном из своих домов в Афинах богатейший клад.
- ⁹ *Престон* — По называет своего приятеля по Виргинскому университету Джона Престона. В изображении жизни героя в Итоне и Оксфорде сказались впечатления писателя от его пребывания в Виргинском университете в 1826 г.
- ¹⁰ *В Риме, во время карнавала...* — Римский карнавал, самый древний в Италии, празднуется в течение нескольких дней перед великим постом и сопровождается процессиями колесниц с аллегорическими фигурами, маскарадными переодеваниями и всевозможными шутками веселящейся толпы.

РАЗГОВОР ЭЙРОС И ХАРМИОНЫ (THE CONVERSATION OF EIROS AND CHARMION)

Впервые опубликовано в журнале «Burton's Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в декабре 1839 г. Под названием «Гибель мира» (The Destruction of the World) перепечатано в еженедельнике «Saturday Museum» 1 апреля 1843 г. Последнее прижизненное издание в книге рассказов Э. По 1845 г. с некоторыми изменениями.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ *Эйрос и Хармиона* — в пьесе По «Полициан» эти имена носят служанки египетской царицы Клеопатры. Сравни Ирада и Хармиана в драме Шекспира «Антоний и Клеопатра» и в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.
- ² *Эврипид* (ок. 480—406 до н. э.). — Эпиграф взят из его трагедии «Андромаха», строка 257. В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.
- ³ «*шум от множества вод*» — Библия. Откровение Иоанна Богослова, XIV, 2.
- ⁴ ... о новой комете... — В этом рассказе, по-видимому, отразились наблюдения По над тем, как воспринимали в Балтиморе и Ричмонде метеоритный дождь исключительной силы 13 ноября 1833 г. и комету Галлея, наблюдавшуюся в 1835 г.
- ⁵ *Инкуб* — см. примечание 6 к рассказу «Мистификация».
- ⁶ *Так завершилось все.* — За несколько месяцев до публикации этого рассказа, 4 июня 1839 г., в газете «Филадельфия паблик леджер», в которой позднее печатался По, появилось аналогичное предсказание о конце мира, который должен был произойти в 1843 г.

ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗИК НОСИТ РУКУ НА ПЕРЕВЯЗИ (WHY THE LITTLE FRENCHMAN WEARS HIS HAND IN A SLING)

Впервые опубликовано во втором томе сборника рассказов По «Гротески и арабески» (1840), вышедшем в свет осенью 1839 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 6 сентября 1845 г. с небольшими изменениями.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По, изданном «Вестником иностранной литературы». СПб., 1912 под названием «Почему маленький француз носит руку в повязке».

- ¹ *Коннаут* — одна из четырех исторических провинций Ирландии.

ДНЕВНИК ДЖУЛИУСА РОДМЕНА
(THE JOURNAL OF JULIUS RODMAN)

Впервые опубликовано в журнале «Burton's Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в январе—июне 1840 г. На русский язык переводится впервые.

- ¹ ...нашего журнала — то есть «Бертонс джентлменс мэгезин», где публиковалась настоящая повесть.
- ² Мишо, Андре (1746—1802) — французский ботаник и путешественник. В 1785—1797 гг. путешествовал по Северной Америке, в результате чего появились его книги «Описание дубов Северной Америки» (1801) и «Флора Северной Америки» (1803).
- ³ Джефферсон, Томас (1743—1826) — президент США в 1801—1809 гг., содействовал исследованию западных районов Северной Америки и расширению территории США за счет этих земель. Так, в 1803 г. к США была присоединена Луизиана.
- ⁴ Льюис, Мериветер (1774—1809) — американский путешественник. В 1804—1806 гг. вместе со своим другом Вильямом Кларком совершил путешествие по индейской территории, отчет о котором напечатан в 1814 г.
- ⁵ Эннепел, Луи (1640—1710) — французский миссионер-незульт, первым из европейцев посетивший в конце XVII в. районы Миннесоты и Иллинойса.
- ⁶ «Астория» — книга Вашингтона Ирвинга (1783—1859) «Астория, или Анекдоты одного предприятия по ту сторону Скалистых гор» (1836), оказала определенное воздействие на «Дневник Джулиуса Родмена». В январе 1837 г. в журнале «Сатерн литерери мессенджер» По напечатал рецензию на «Асторию».
- ⁷ Карвер, Джонатан (ок. 1725—1780) — американский путешественник. В 1778 г. в Лондоне под его именем вышла книга «Путешествия по индейской территории Северной Америки в 1766, 1767 и 1768 годах», авторство которой в дальнейшем оспаривалось.
- ⁸ Маккензи, Александр (ок. 1755—1820) — канадский путешественник, автор книги «Путешествия по реке Св. Лаврентия и через Северную Америку к Ледовитому и Тихому Океанам» (1801).
- ⁹ Хирн, Самюэл (1745—1792) — английский путешественник, исследователь Канады.
- ^{9a} Уитворт, Ричард — сведения о путешествии Уитворта с Карвером почерпнуты По из «Астории» Ирвинга (гл. 3).
- ¹⁰ Фробешер, Джозеф (1740—1810) — английский путешественник и купец.
- ¹¹ Ледьярд, Джон (1751—1789) — американский путешественник, принимал участие в 1776 г. в третьей экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука (1728—1779). В 1787 г. совершал путешествие по Сибири, но был арестован и выслан из России.
- ¹² Пайк, Зебулон Монтгомери (1779—1813) — американский путешественник, исследовавший течение Миссисипи и Арканзаса.
- ¹³ Томпсон, Дэвид (1770—1857) — американский путешественник, исследовавший в 1797—1798 гг. район реки Миссури. В 1807 г. пересек Скалистые горы и в 1811 г. исследовал бассейн реки Колумбия.
- ¹⁴ Астор, Джон Джейкоб (1763—1848) — американский купец; в 1811 г. основал город Астория (штат Орегон), что описано в книге В. Ирвинга «Астория».
- ¹⁵ Хант, Уилсон Прайс (1782—1842) — американский путешественник, возглавлявший в 1811—1812 гг. экспедицию в Канаду.
- ¹⁶ Лонг, Стивен Харриман (1784—1864) — американский путешественник, исследовавший районы Канзаса, Колорадо, Северной Дакоты.
- ¹⁷ Бонвилль, Бенджамин (1795—1878) — американский военный инженер и путешественник. Отчет о его путешествии был выпущен В. Ирвингом в 1837 г. под на-

званием «Скалистые горы, или Сцены, происшествия и приключения на Дальнем Западе» (в позднейших переизданиях «Приключения капитана Бонвиля»).

- ¹⁸ *Vatane* — так американские индейцы называют корни некоторых деревьев, которыми они шивают березовую кору для пироги.
- ¹⁹ *Перри*, Вильям Эдвард (1790—1856) — английский контр-адмирал и полярный исследователь, автор «Дневника путешествия в поисках Северо-Западного прохода» (1821 и 1824), «Путешествия к Северному полюсу» (1827).
- ²⁰ *Росс*, Джон (1777—1856) — английский контр-адмирал и полярный исследователь, автор «Путешествия в Баффинов залив» (1819) и «Второго путешествия в поисках Северо-Западного прохода» (1835).
- ²¹ *Бэк*, Джордж (1796—1878) — английский полярный исследователь, автор двух книг о путешествиях в Арктику, опубликованных в 1837 и 1838 гг.
- ²² *Даркоты* — имеется в виду племя американских индейцев дакотов, или сиу. Во время войны за независимость США и англо-американской войны 1812 г. выступали на стороне англичан. В 1837 г. дакоты были изгнаны со своих земель восточнее Миссисипи.

ДЕЛЕЦ (THE BUSINESS MAN)

Впервые опубликовано в журнале «*Burton's Gentleman's Magazine*» (Филадельфия) в феврале 1840 г. под названием «*Peter Pendulum*». Последнее прижизненное издание в журнале «*The Broadway Journal*» 2 августа 1845 г. подверглось существенной переработке. Питер Пендулум (Маятник) заменен Питером Профитом, заново написано окончание рассказа (последние семь абзацев).

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896 под названием «Деловой человек».

- ¹ *Старая пословица* — в первоначальной публикации рассказа эпиграф отсутствует.
- ² *Кикапу* — см. примечание 1 к рассказу «Человек, которого изрубили в куски».
- ³ *Макассарское масло* — растительное масло для волос, применявшееся в начале XIX века и вывозимое из Макассара, на острове Целебес.

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ (THE MAN OF THE CROWD)

Впервые опубликовано одновременно в двух филадельфийских журналах «*The Casket*» и «*Burton's Gentleman's Magazine*» в декабре 1840 г., которые слились в это время и с января 1841 г. выходили под названием «*Graham's Lady's and Gentleman's Magazine*». Оглавление обоих журналов за декабрь 1840 г. было одинаковым. Последнее прижизненное издание в книге рассказов По 1845 г. имеет незначительные изменения. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в журнале «Библиотека для чтения», март 1857 г.

- ¹ «... не умеем быть одни» — см. примечание 2 к рассказу «Метценгерштейн».
- ² *Горгий* — см. примечание 16 к «Как писать рассказ для «Блэквуда»».
- ³ *Евпатриды* — родовая знать в древних Афинах, аристократы.
- ⁴ *Лукиан* (ок. 117—ок. 190) — древнегреческий писатель-сатирик. Имеется в виду диалог Лукиана «Изображения», 11.
- ⁵ *Тертуллиан* — см. примечание 5 к рассказу «Береника».
- ⁶ *Рецц*, Мориц (1779—1857) — немецкий художник, автор иллюстраций к «Фаусту» Гете.
- ⁷ «*Садик души с прибавлением некоторых маленьких речей*» — книга, написанная в 1500 г. страсбургским типографом Иоганном Грюнингером (1450—1530). Книга не содержит ничего «гнусного» и, видимо, была известна По из вторых рук.

УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ (THE MURDERS IN THE RUE MORGUE)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в апреле 1841 г. Последнее прижизненное издание в книге рассказов По 1845 г. существенно переработано. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в журнале «Сын отечества» 17 и 24 марта 1857 г. под названием «Загадочное убийство».

Первый абзац текста был исключен в издании 1845 г.: «Нет ничего невероятного в том, что еще несколько новых шагов в развитии френологии приведут к убеждению в существовании, если не к подлинному открытию и определению местонахождения органа *анализа*. Если эта способность (которую можно скорее описать, чем определить, как возможность рассматривать мысль в ее собственной стихии) не является в действительности неотъемлемой частью того, что позднейшие философы называют идеальностью, то имеются все основания считать ее прирожденным даром. Мы полагаем, она может быть составной частью идеального, что противоречит распространенному утверждению (основанному, однако, на мнении влиятельных авторитетов), будто исчислительные и различительные способности (причинная связь и сопоставление) находятся в разладе с воображением и, таким образом, все три едва ли могут сосуществовать. Хотя эта идея противоречит общепринятому мнению, она не покажется необоснованной, если мы отметим, что процесс воображения или творения весьма близок процессу анализа — первый во многом, если не во всем, обратен второму».

- ¹ Браун, Томас (1605—1682) — английский врач и писатель. Трактат «Захоронения в урнах» (1658), из пятой главы которого взят эпитафия, написан в связи с находкой в Норфолке нескольких древних могильных урн. В первой публикации рассказа эпитафия отсутствует.
- ² Шахматист... — В апреле 1836 г. По напечатал в журнале «Сатерн литерери мессенджер» статью «Шахматный автомат Мельцела», в которой, вскрыв обман с автоматом для игры в шахматы, которым управлял человек, развивает те же мысли о шахматной игре, что и в этом рассказе.
- ³ Хойл, Эдмонд (1672—1769) — автор книги «Краткий трактат об игре в вист» (1742). Правила Хойла при игре в вист применялись до 1864 г.
- ⁴ Френолог — сторонник френологии, антинаучного учения о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа. Основателем френологии был немецкий медик Франц Иосиф Галль (1758—1828). В марте 1836 г. в журнале «Сатерн литерери мессенджер» По рецензировал книгу некой Л. Майлс «Френология».
- ⁵ ...потомок знатного и даже прославленного рода... — В 1840 г. главой палаты депутатов во Франции был избран Андре Мари Жан Жак Дюпен (1783—1865), автор трудов по уголовному праву. Его брат Шарль Дюпен (1784—1873), математик и политический деятель, был морским министром (1833). Третий брат — Филипп Дюпен (1795—1846) был известным адвокатом.
- ⁶ Сен-Жерменское предместье — аристократический район Парижа на южном берегу Сены.
- ⁷ ...старинное учение о двойственности души... — философское учение, считающее началом бытия две субстанции — материальную и идеальную.
- ⁸ Пале-Рояль — дворец с садом в Париже, построенный для кардинала Ришелье в 1629—1634 гг.
- ⁹ Театр «Варьете» — парижский театр водевиля, основанный в 1807 г.
- ¹⁰ Кребийон, Проспер Жюлио (1674—1762) — французский драматург. Его трагедия «Ксеркс» (1714) памятна своим шумным провалом.

- ¹¹ *Никольс, Томас Лоу (1815—1901)* — американский врач, писатель и общественный деятель. В книге «Сорок лет американской жизни, 1821—1861» (1864) рассказывает о своих встречах с По.
- ¹² *Ламаргин, Альфонс де (1791—1869)* — французский поэт-романтик, историк и политический деятель.
- ¹³ *Утратила былое звучание первая буква* — О в и д и й. «Фасты», V, 536.
- ¹⁴ *Дюбур* — По нередко использовал фамилии известных ему лиц в своих рассказах. Так, для первой свидетельницы, прачки Дюбур, он взял фамилию хозяйки лондонского пансиона, в котором учился с 1816 по 1817 г.
- ¹⁵ *Журден* — герой комедии Мольера (1622—1673) «Мещанин во дворянстве» (1670). Журден надевает халат, чтобы удобнее было слушать музыку (I, 2).
- ¹⁶ *Видок, Франсуа Эжен (1775—1857)* — французский сыщик. Его «Мемуары» появились в 1829 г., а в 1838 г. (сентябрь—декабрь) журнал «Бертонс джентлменс мэгэзин», который По редактировал в 1839—1840 гг., напечатал «Неопубликованные отрывки из жизни Видока, начальника парижской полиции».
- ¹⁷ *Истина... обитает на дне колодца* — см. примечание 7 к рассказу «Лигейя».
- ¹⁸ *Кювье, Жорж (1769—1832)* — французский ученый, известный трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, описание которых содержится в его книге «Царство животных» (1817).
- ¹⁹ *Невшатель* — город на севере Франции.
- ²⁰ *Лаверна* — римская богиня прибыли, покровительница воров и мошенников.
- ²¹ *Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует* — Ж.-Ж. Руссо о «Новой Элоиза», второе предисловие (1761).

НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ (A DESCENT INTO THE MAELSTRÖM)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в мае 1841 г 26 мая 1849 г. в журнале «Boston Museum» появилась неавторизованная перепечатка рассказа. Последнее авторское издание в книге рассказов По 1845 г. с некоторыми изменениями. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в журнале «Библиотека для чтения», октябрь 1856 г., под названием «Спуск в Мельстрем».

- ¹ *Мальстрем* — водоворот у северо-западного побережья Норвегии. По использовал сведения из Британской энциклопедии, позднейшие издания которой ссылались уже на По при описании водоворотов.
- ² ... *Демокритова колодца* — см. примечание 7 к рассказу «Лигейя».
- ³ *Гленвилл* — см. примечание 1 к рассказу «Лигейя». Цитата взята из книги Дж. Гленвилла «Эссе о некоторых важных вопросах философии и религии» (Лондон, 1676, стр. 15). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.
- ⁴ ... *в суровом краю Лофодена* — скалистые и безлесные Лофоденские (или Лофотенские) острова расположены у северо-западного побережья Норвегии.
- ⁵ ... *в описании нубийского географа...* — Как поясняет По в своей поэме в прозе «Эврика», имеется в виду александрийский математик, астроном и географ Птолемей (I в.), автор «Географии» в восьми книгах (издана в 1533 г.), представляющей собой свод географических знаний древности. «Морем мрака» на древних картах обозначался Атлантический океан.

- ⁶ *Рамус, Ионас* (1649—1718) — норвежский историк. Его описание водоворота заимствовано По из Британской энциклопедии.
- ⁷ *Норвежская миля* — 11 295 метров.
- ⁸ *Мясопустное воскресенье* — по церковному календарю, за две недели перед великим постом.
- ⁹ *Флегетон* — в греческой мифологии огненная река, окружающая подземное царство.
- ¹⁰ *Кирхер, Афанасий* (1601—1680) — немецкий археолог, согласно теории которого Земля представляет собой твердое тело с пустотами внутри, наполненными огнем, водой и воздухом. В его многочисленных трактатах рядом с точными сведениями сообщаются басни без малейшего критического к ним отношения.
- ¹¹ *Планшир* — деревянный или стальной брус по обводу корпуса корабля для придания жесткости и прочности, а также для укрепления такелажа.
- ¹² *Рым* — металлическое кольцо, вбиваемое на судне для закрепления за него снастей.

ОСТРОВ ФЕИ (THE ISLAND OF THE FAY)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в июне 1841 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 4 октября 1845 г. с некоторыми изменениями.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. М., 1885.

- ¹ *Сервий Гонорат, Мавр* (IV—V вв.) — римский грамматик и комментатор Вергилия. В первом издании вместо настоящего эпитафия напечатан «Сонет к науке» По.
- ² *Мармонтель, Жан Франсуа* (1723—1799) — французский писатель. Его «Нравоучительные сказки» (1761) отличаются чувствительностью в сочетании с фривольностью.
- ³ ... «*глыбы долины*». — Библия. Книга Иова. XXI 33.
- ⁴ *Помпоний Мела* (I в.) — первый римский географ. Его книга «О положении мира» дает общий очерк всего известного тогда света и является ранним произведением по географии древнего мира.
- ⁵ *Циммерман, Иоган Георг* (1728—1795) — швейцарский философ и врач. Имеется в виду его книга «Об одиночестве» (1756), переведенная на многие европейские языки.
- ⁶ *Асфодель* — см. примечание 7 к рассказу «Береника».
- ⁷ *Коммир, Жан* (1625—1702) — французский иезуит, писавший стихи на латинском языке («Собрание латинских стихов», 1678).

БЕСЕДА МОНОСА И УНЫ (THE COLLOQUY OF MONOS AND UNA)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в августе 1841 г. Последнее прижизненное издание в книге рассказов Э. По 1845 г. без существенных изменений, кроме одного предложения, исключенного в конце третьего абзаца от конца рассказа: «Тем временем червь, судорожно корчась, незаметно и безболезненно извивался вокруг меня»

На русском языке впервые в газете «Русское дело» 16 и 21 декабря 1886 г. под названием «Разговор между Моносом и Уной».

- ¹ *То в будущем* — Софокл. «Антигона», 1331.
- ² «*Новое рождение*» — предвосхищая многие идеи, развитые им позднее в книге «Эврика». По обращается здесь к платоновской идее о перевоплощении душ.
- ³ «*Доселе и не дале!*» — слова из пьесы английского драматурга Аарона Хилла (1685—1750) «Этелуолд» (1709), д. V, сцена «Сад».
- ⁴ *Утилитаристы* — последователи буржуазной этической теории, получившей распространение в Англии конца XVIII—начала XIX века. Основатель утилитаризма, И. Бентам определял его основной критерий как «обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей» путем удовлетворения их частных интересов. При этом предполагалось, что нравственность поступка может быть математически исчислена как баланс удовольствий и страданий, полученных в его результате. К. Маркс дал уничтожающую оценку теории Бентама.
- ⁵ *Великое «движение»* — обычно так именовался американский трансцендентализм. См. примечание 10 к рассказу «Лигейя».
- ⁶ «*Государство*» — Платон. «Государство», кн. 2, 376; кн. 3, 403.
- ⁷ *Паскаль*, Блез (1623—1662) — французский философ и ученый. Его основной философский труд «Мысли» был издан посмертно в 1669 г. Приводимые По слова содержатся в главе IX, раздел 4.
- ⁸ *Ретина* — сетчатая оболочка глаза, воспринимающая световые раздражения.

НЕ ЗАКЛАДЫВАЙ ЧЕРТУ СВОЕЙ ГОЛОВЫ. Рассказ с моралью
(NEVER BET THE DEVIL YOUR HEAD. A Tale with a Moral)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в сентябре 1841 г. под названием «Никогда не закладывай своей головы». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 16 августа 1845 г. в переработанном виде.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. М., 1885 под названием «Не закладывай черту своею головою»

- ¹ *Торрес*, Томас де Лас — испанский поэт, автор книги «Рассказы в стихах» (1828).
- ² *Меланхтон*, Филипп (1497—1560) — немецкий богослов-протестант, сподвижник Мартина Лютера.
- ³ «*Война мышей и лягушек*» («Батрахомиомахия») — древнегреческая героикомическая поэма, одно время ошибочно приписывавшаяся Гомеру.
- ⁴ *Ла Сен*, Пьер (1590—1636) — итальянский писатель и филолог.
- ⁵ *Гюго*, Якобус (XVII в.) — французский теолог
- ⁶ *Эней* — царь Лемноса, привозивший, как рассказывает в «Илиаде» Гомер, для греков под Троею вино и припасы и скупавший у них военную добычу
- ⁷ *Кальвин*, Жан (1509—1594) — религиозный деятель Реформации, основатель кальвинизма.
- ⁸ *Антиной* — в «Одиссее» Гомера самый наглый из женихов Пенелопы; убит Одиссеем.
- ⁹ *Лотофаги* — согласно Гомеру, мифический народ, питающийся лотосами.
- ¹⁰ «*Допотопные*» — поэма американского писателя Джеймса Макгенри (1785—1845) «Допотопные, или Погибший мир» (1839), на которую По в феврале 1841 г. опубликовал рецензию в том же журнале, где появился этот рассказ
- ¹¹ *Пухатан* (ок. 1550—1618) — вождь союза индейских племен, известный по имени своего племени. Его собственное имя было Вахунсонакоок.
- ¹² «*Робин-Бобин*» — английская детская песенка.
- ¹³ «*Дайел*» — см. примечание 19 к «Как писать рассказ для «Блэквуда»».

- ¹⁴ «*Даун-Истер*» — в американской литературе прозвище глупого и неуклюжего янки. В 1833 г. американский писатель Джон Нил выпустил роман под таким названием.
- ¹⁵ «*Североамериканское трехмесячное обозрение*» — имеется в виду известный американский журнал консервативного толка «Североамериканское трехмесячное обозрение», издававшийся с 1815 по 1940 г.
- ¹⁶ *Законы двенадцати таблиц* — сборник древнейших римских законов, написанный в 451—450 гг. до н. э. на двенадцати таблицах специально избранными для того законодателями.
- ¹⁷ *О мертвых ничего, кроме хорошего* — Диоген Лаэртский (см. примечание 34 к рассказу «Без дыхания») приписывает эти слова одному из семи древнегреческих мудрецов — Хилону (VI в. до н. э.).
- ¹⁸ ... умер он, как собака... — По обыгрывает строчку из «Элегии на смерть бешеной собаки» в романе О. Голдсмита «Векфилдский священник» (1766), глава 17.
- ¹⁹ ... «росла и крепла вместе с ним...» — слова из философской поэмы английского поэта А. Попа (1688—1744) «Опыт о человеке» (1732—1734), II, 135.
- ²⁰ *Святой Патрик* (ок. 372—ок. 460) — ирландский епископ, считающийся покровителем Ирландии.
- ²¹ *Пексановская бомба* — изобретение французского генерала Анри-Жозефа Пексана (1783—1854), участника русского похода 1812 г., усовершенствовавшего осадную и морскую артиллерию.
- ²² «*Поэты и поэзия Америки*» — антология американской поэзии, выпущенная под редакцией Рифуса Грисволда (1815—1857) в 1842 г. и затем неоднократно переиздававшаяся. В июне 1842 г. в том же журнале, где появился этот рассказ, По опубликовал рецензию на эту антологию. В первой публикации рассказа упоминание об этой книге отсутствовало.
- ²³ *Лорд, Вильям* (1819—1907) — американский поэт, выпустил в 1845 г. сборник своих стихов, вызвавших резкую критическую оценку По в журнале «Бродвей джернал» 24 мая 1845 г. В первом издании рассказа был назван (вместо Лорда) Хью А. Пью, автор книги «Грамматика английского языка», на которую в июле 1841 г. По опубликовал рецензию в «Грэхемс мэгезин».
- ²⁴ ... *диагональную полосу к его фамильному гербу...* — то есть геральдический знак незаконного происхождения.

ЭЛЕОНОРА (ELEONORA)

Впервые опубликовано в новогоднем сборнике «Подарок» (The Gift). Филадельфия, 1842 (издан в первых числах сентября 1841 г.). Только в течение сентября 1841 г. рассказ был перепечатан четырьмя американскими журналами и газетами. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 24 мая 1845 г. с значительными изменениями.

На русском языке впервые в «Литературном журнале», июль 1881 г.

- ¹ *Луллий, Раймунд* (1235—1315) — испанский схоласт, алхимик и поэт.
- ² «*Свет неизреченного*» — слова из 117 строки «Гимна временам года» (1730) английского поэта Джеймса Томсона (1700—1748).
- ³ *Нубийский географ* — см. примечание 5 к рассказу «Низвержение в Мальстрем».
- ⁴ *Асфодель* — см. примечание 7 к рассказу «Береника».
- ⁵ ... *гигантских сирийских змеев* — в мифологии древней Сирии существует несколько легенд об огромных змеях, опустошавших страну. Особенно известны сказания о змеях, охраняющих источники воды.
- ⁶ *Геспер* — то есть запад. Геспер — вечерняя звезда.

- ¹ *Певец Ширавы* — имеется в виду персидский поэт Саади (1184—1291), родившийся и умерший в Шираве, городе на юге Ирана.
- ² *Эливиум* — см. примечание 2 к рассказу «Свидание».

ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ (THREE SUNDAYS IN A WEEK)

Опубликовано в журнале «Saturday Evening Post» (Филадельфия) 27 ноября 1841 г. под названием «A Succession of Sundays». Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 10 мая 1845 г. Перепечатано в журнале «Spirit of the Times» (Филадельфия) 14 мая 1845 г.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений Э. По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ «английский славный джентльмен...» — слова английской народной песни того же названия.
- ² *Перье*, Казимир Пьер (1777—1832) — французский политический деятель. Сборник его речей был издан в 1838 г.
- ³ *Поэтом рождаются, а не становятся.* — Обычно эта пословица приписывается римскому поэту Публию Аннию Флору (II в.), у которого эта мысль развивается в стихотворном цикле «О том, какова жизнь», фрагмент 8. Однако этот афоризм встречается еще в речи Цицерона, произнесенной в 61 г. до н. э. в защиту греческого поэта Архия.
- ⁴ *Хорсли*, Самуэл (1733—1806) — английский богослов, известный резкой полемикой с английским философом-материалистом и естествоиспытателем Джозефом Пристли. Ту же мысль Хорсли По приводит в своих «Пятидесяти предположениях» (№ 45). напечатанных в «Грэхемс мэгезин» в мае—июне 1845 г.
- ⁵ ... «медлительно длину свою влачащих». — А. По п. «Опыт о критике» (1711), часть I, строка 357.
- ⁶ *Юд*, Луи — повар, работавший в Англии и приобретший известность своими сочинениями о кулинарном искусстве («Французский повар», 1813).
- ⁷ *Карем*, Мари Антуан (1784—1833) — французский кулинар, автор книги «Парижский повар, или Искусство кулинарии в XIX веке» (1833).

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (THE OVAL PORTRAIT)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в апреле 1842 г. под названием «Life in Death» («Жизнь в смерти»). Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 26 апреля 1845 г. в сокращенном и переработанном виде. В частности, был снят итальянский эпиграф к рассказу: «Он жив и заговорил бы, если бы не соблюдал обета молчания (Надпись на итальянской картине, изображающей св. Бруно)» и описание действия опиума на героя, которым открывался рассказ:

«Лихорадка моя была сильна и упорна. Я перепробовал все средства, какие только можно было достать в дикой области Апеннин, и все без успеха. Мой слуга и единственный помощник, с которым мы очутились в уединенном замке, был слишком нервен и неловок, чтобы пустить мне кровь, да я и без того немало потерял ее в схватке с бандитами. За помощью я его также не мог послать. Наконец я вспомнил о небольшом запасе опиума, который хранился у меня вместе с табаком: в Константинополе я привык курить табак с этим зельем. Педро подал мне ящик. Я отыскал в нем опиум. Но тут возникло затруднение: я не знал, сколько его полагается брать на один прием. При курении количество опиума не имело значения. Обычно я смешивал пополам

опиум с табаком, набивал трубку и выкуривал ее, не испытывая иной раз никакого особенного действия. Случалось, что, выкурив две трети, я замечал признаки умственного расстройства, которые заставляли меня бросить трубку. Во всяком случае, действие опиума проявлялось так постепенно, что не представляло серьезной опасности. Теперь случай был совсем другой. Я никогда еще не принимал опиума *внутри*. Мне случалось прибегать к лаудануму и морфию, и относительно этих средств я бы не стал колебаться. Но с употреблением опиума я вовсе не был знаком. Педро знал об этом не больше моего, так что приходилось действовать наудачу. Впрочем, я не долго колебался, решившись принимать его *постепенно*. На первый раз, думал я, приму совсем мало. Если это не подействует, буду увеличивать дозу до тех пор, пока не спадет лихорадка или не явится благодетельный сон, который так был мне нужен, но уже неделю бежал от моих смятенных чувств. Без сомнения, состояние, в котором я находился, — а я был уже в преддверии бреда, — помешало мне уразуметь нелепость моего намерения устанавливать большие и малые дозы, не имея никакого масштаба для сравнения. Мне и в голову не приходило, что доза чистого опиума, которая кажется мне ничтожной, на самом деле может быть огромной. Напротив, я хорошо помню, что с полной уверенностью определил количество, необходимое для первого приема, сравнивая его с целым куском опиума, находившимся в моем распоряжении. Порция, которую я проглотил без всяких опасений, представляла очень малую часть *всего куска, находившегося в моих руках*.

¹ Радклиф, Анна (1764—1823) — английская писательница, автор готических романов «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797), действие которых происходит в Италии

² Салли, Томас (1783—1872) — американский художник, создатель ряда женских портретов, исполненных мягкой интимности.

МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ (THE MASQUE OF THE RED DEATH)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в мае 1842 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 19 июля 1845 г. имеет незначительные изменения.

На русском языке впервые в журнале «Отечественные записки», январь 1870 г., под названием «Красная смерть».

¹ «Эрнани» — романтическая драма Виктора Гюго (1802—1885), первое представление которой состоялось 25 февраля 1830 г., в канун революции в Париже, на сцене театра «Комеди франсез». Эта драма завоевала романтическому театру полную победу.

² ...перестали кружиться в вальсе... — Во времена По многие считали вошедший в моду вальс безнравственным танцем; упоминание в рассказе вальсирующих пар усиливает картину изображаемого разгула.

³ ...переродил Ирода... — см. примечание 7 к рассказу «Метценгерштейн».

⁴ ...под зловещными одеяниями и трупобразною личиною, в которые они свирепо и грубо вцепились, нет ничего осязаемого. — Существует предположение, что поводом для сюжета этого рассказа послужила широко известная в конце 30-х годов история, разыгравшаяся на рождественском маскараде в одном из домов Петербурга в 1834 г. (сообщение об этом появилось в американской прессе). Группа молодых людей в масках и китайских костюмах внесла в дом, где происходил маскарад, паланкин с китайским богдыханом, оставила его посередине зала, где происходили танцы, и незаметно удалилась. Когда в конце вечера хозяин дома, желая поблагодарить «китайца», снял с него маску, то под ней оказался труп.

ПОМЕСТЬЕ АРНГЕЙМ
(THE DOMAIN OF ARNHEIM)

Впервые опубликовано в журнале «The Ladies' Companion» (Нью-Йорк) в октябре 1842 г. под названием «The Landscape Garden» («Декоративный сад»). В расширенном и переработанном виде напечатано в журнале «The Columbian Lady's and Gentleman's Magazine» (Нью-Йорк) в марте 1847 г.

На русском языке впервые в журнале «Приложение романов к газете «Свет»», 1886, кн. 4 под названием «Арнгейм».

- ¹ Флетчер, Джэйлс (ок. 1585—1623) — английский поэт. Цитата взята из его поэмы «Христова победа и торжество на небесах и на земле над смертью» (1610), сюжет которой, основанный на евангельском рассказе, предвосхищает «Возвращенный рай» Мильтона.
- ² Тюрго, Прайс, Пристли, Кондорсе — см. примечания 14—17 к рассказу «Страницы из жизни знаменитости».
- ³ Перфекционисты — последователи религиозного учения Джона Хамфри Нойса (1811—1886). Община перфекционистов, или «библейских коммунистов» возникла в США в 1831 г. Они призывали к всеобщему миру и христианскому согласию.
- ⁴ Теллусон, Питер (1737—1797) — английский купец, который завещал, чтобы доход от его собственности накапливался в течение жизни его детей, внуков и правнуков, родившихся до его смерти, а затем передан оставшимся в живых наследникам. В 1798 г. это завещание было признано правомочным, однако уже в 1800 г. британский парламент принял закон, запрещающий накопление собственности по наследству более 21 года после смерти завещателя.
- ⁵ Пюклер-Мускау, Герман Людвиг Генрих (1785—1871) — немецкий писатель, автор ряда книг о путешествиях, из которых наиболее известны «Записки покойника» (1830—1831).
- ⁶ ... первая часть настоящего произведения была обнаружена много лет назад — имеется в виду первый сокращенный вариант этого рассказа, опубликованный под названием «Декоративный сад» в октябре 1842 г. в журнале «Ледиз компенион».
- ⁷ Сю, Эжен (1804—1857) — французский писатель. Его роман «Вечный жид» был опубликован в 1844—1845 гг., через два года после первой публикации этого рассказа, где упоминание о нем отсутствовало.
- ⁸ ... «немый и бесславный...» — слова из «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751) английского поэта Томаса Грея (1716—1771).
- ⁹ Клод — имеется в виду французский живописец Клод Лоррен (1600—1682), создатель возвышенно-прекрасных образов природы, проникнутых элегическим чувством.
- ¹⁰ Аддисон, Джозеф (1672—1719) — английский писатель, создатель нравоописательных очерков. Упомянутая далее его трагедия «Катон» отличается риторичностью.
- ¹¹ «Ад» — первая часть «Божественной комедии» Данте, создававшейся с 1307 по 1321 г.
- ¹² де Сталь — см. примечание 18 к рассказу «Страницы из жизни знаменитости». В первой публикации настоящий рассказ оканчивался на этом абзаце.
- ¹³ Тимон (V в. до н. э.) — афинянин, известный своей мизантропией, упоминается многими античными писателями. Ему посвящена также драма В. Шекспира «Тимон Афинский» (1607).
- ¹⁴ Арнгейм — см. примечание 2 к рассказу «Береника».
- ¹⁵ Фонтхилл — знаменитый замок в юго-западной Англии, построенный английским писателем Вильямом Бекфордом (1760—1844) в 1796—1807 гг. в готическом стиле. Роскошь Фонтхилла вошла в пословицу.
- ¹⁶ Фурлонг — английская мера длины, равна 201 метру.

ТАЙНА МАРИ РОЖЕ. Продолжение «Убийств на улице Морг»
(THE MYSTERY OF MARIE ROGÉT.
A Sequel to «The Murders in the rue Morgue»)

Впервые опубликовано в журнале «The Ladies' Companion» (Нью-Йорк) в ноябре-декабре 1842 г. и феврале 1843 г. Замысел рассказа относится к июню 1842 г. Последнее авторское издание в книге рассказов По 1845 г. было тщательно отредактировано писателем. У Дж. Харрисона учтены позднейшие исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Необыкновенные рассказы, кн. I. СПб., 1885, под названием «Тайнственное убийство».

- ¹ *Новалис* (Фридрих фон Гарденберг, 1772—1801) — немецкий писатель-романтик. «Нравственные воззрения» — название третьей части второго тома «Сочинений» Новалиса, изданного Ф. Шлегелем и Л. Тиком (1802 и ряд последующих переизданий).
- ² *Нассау-стрит* — здесь и далее По дает в сносках реальные имена и названия, связанные с убийством в июле 1841 г. продавщицы одного из нью-йоркских табачных магазинов, Мэри Сесил Роджерс.
- ³ *Уэлл*, Хорацио Хастингс — американский журналист, издавал в Нью-Йорке журнал «Бразер Джонатан» (1842—1843). В своей статье «Автографы», опубликованной в «Грэхемс мэгезин» в декабре 1841 г., По посвятил Уэлду раздел.
- ⁴ *Питерсон*, Чарлз Джекоб (1819—1887) — американский журналист и писатель. Был влиятельной фигурой в литературной жизни Филадельфии, редактировал несколько журналов и газет, в том числе «Сэтерди ивнинг пост». Вместе с По в 1841—1842 гг. входил в редколлегию журнала «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин». Один из разделов статьи По «Автографы» посвящен Питерсону.
- ⁵ *Мирмидоняне* — так называлось племя, жившее во владениях Ахиллеса, во главе которого он отправился на Троянскую войну.
- ⁶ *Стоун*, Вильям Лит (1792—1844) — американский журналист и писатель, с 1821 г. издавал журнал «Нью-Йорк коммершиел эдвертайзер». Известен также судебным процессом с Джеймсом Фенимором Купером, обвинившим Стоуна в клевете. В своей статье «Автографы» один из разделов По отвел Стоуну.
- ⁷ *Лендор*, Уолтер Севедж (1775—1864) — английский писатель, автор книги «Воображаемые разговоры» (1824—1829). Источник цитаты не установлен.
- ⁸ *Лотарио* — неверный любовник в трагедии «Прекрасная грешница» (1703) английского драматурга Николаса Роу (1674—1718).
- ⁹ *Сассифрас* — североамериканское «укропное дерево» из семейства лавровых; из корня добывается эфирное масло.
- ¹⁰ *Пирог и пиво* — В. Шекспир. «Двенадцатая ночь», II, 3.

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК
(THE PIT AND PENDULUM)

Впервые опубликовано в негодном сборнике «Подарок» (The Gift), Филадельфия, 1843 (издан осенью 1842 г.). Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 17 мая 1845 г. имеет незначительные изменения.

На русском языке впервые в журнале «Отечественные записки», январь 1870 г.

- ¹ ... *Якобинского клуба в Париже* — эпитафия взят из книги Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы» (1823).

- ² Ласаль, Антуан (1775—1809) — французский генерал, участвовал в 1808 г. в завоевании Наполеоном Испании. Французские войска вошли в Толедо 6 мая 1808 г. В том же году Наполеон упразднил в Испании инквизицию, одним из центров которой было Толедо, но с падением Наполеона она была вновь введена и просуществовала до 1834 г.

СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ (THE TELL-TALE HEART)

Впервые опубликовано в журнале «The Pioneer» (Бостон) в январе 1843 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 23 августа 1845 г. имеет небольшие изменения. Перепечатано в газете «Spirit of the Time» (Филадельфия) 27 августа 1845 г.

На русском языке впервые в журнале «Время», январь 1861 г.

В ранних изданиях рассказ «Сердце-обличитель» имел эпиграф из «Псалма жизни» Г. Лонгфелло:

Путь далек, а время мчится —
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца —
Погребальный марш его.

(Пер. И. Бунина)

ЗОЛОТОЙ ЖУК (THE GOLD-BUG)

Впервые опубликовано в газете «The Dollar Newspaper» (Филадельфия) 21 и 28 июня 1843 г. Рассказ был написан в начале 1843 г. и предназначался сначала для журнала «The Stylus», который По предполагал издавать с лета 1843 г., однако замысел журнала не был реализован, и По отправил «Золотого жука» на объявленный в «The Dollar Newspaper» конкурс, где он и получил премию в 100 долларов. При жизни По рассказ несколько раз переиздавался. Даже та газета, где он появился впервые, через две недели (12 июля 1843 г.) вновь напечатала «Золотого жука». Последнее прижизненное издание в книге рассказов По 1845 г. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в «Новой библиотеке для воспитания», изд. П. Редкиным, кн. 1. Москва, 1847 (цензурное разрешение 16 ноября 1846 г.).

- ¹ «Все не правы» — комедия английского драматурга Артура Мерфи (1727—1805), премьера которой состоялась в Дрюрилейнском театре (Лондон) 15 июня 1761 г. Согласно старому поверью, укус тарантула вызывает болезнь тарантизм, характеризующуюся непрерывным и безумным танцем. Однако приведенные в эпиграфе слова отсутствуют в печатном тексте комедии А. Мерфи и, вероятно, записаны По по памяти на основе спектакля, который он видел в Нью-Йорке.
- ² Форт Моултри — в этом форте По провел более года во время своей службы в армии США (с 18 ноября 1827 г. до 11 декабря 1828 г.).
- ³ Сваммердам, Ян (1637—1680) — голландский естествоиспытатель, известный своими исследованиями насекомых. Его «Всеобщая история насекомых» (1663) была переведена с латинского на английский язык в 1758 г.
- ⁴ Жук-человеческая голова. — Считается, что По придумал своего золотого жука, похожего на череп, рассматривая один из номеров журнала «Сатерди мэгезин» (25 августа 1832 г.), где был изображен жук, напоминающий череп. Американские энто-

мологи, специально занявшись этим вопросом, полагают, что По соединил в своем описании приметы двух различных видов жуков, обитающих на Юге США.

⁵ *Цафра* — голубой пигмент, используемый для рисунков на стекле и фарфоре.

⁶ *Кидд*, Вильям (ок. 1650—1701) — капитан британского флота, ставший пиратом. Арестован в Бостоне и повешен в Лондоне. По преданию, он зарыл в разных местах американского побережья, особенно в устье Гудзона, награбленные сокровища. Этой теме посвящены рассказы В. Ирвинга о кладовскателях в его книге «Рассказы путешественника» (1824).

⁷ *Голконда* — город в Индии, вблизи Хайдарабада, знаменитый драгоценными камнями.

⁸ *Испанские моря* — район Карибского моря, место наибольшей активности морских пиратов.

ЧЕРНЫЙ КОТ (THE BLACK CAT)

Впервые опубликовано в журнале «Saturday Evening Post» (Филадельфия, в 1843—1845 гг. выходил под названием «The United States Saturday Post») 19 августа 1843 г. Последнее прижизненное издание в книге рассказов По 1845 г. Перепечатано в журнале «The Pictorial National Library» (Бостон) в ноябре 1848 г.

На русском языке впервые в журнале «Время», январь 1861 г.

НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА (DIDDLING CONSIDERED AS ONE OF THE EXACT SCIENCES)

Впервые опубликовано в журнале «The Saturday Courier» (Филадельфия) 14 октября 1843 г. под названием «Raising the Wind; or, Diddling Considered As One of the Exact Sciences» («Как добывать деньги, или Надувательство как одна из точных наук») Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 13 сентября 1845 г.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896, под названием «Жульничество как одна из точных наук».

¹ *Бентам*, Иеремия (1748—1832) — английский философ-моралист, представитель утилитаризма (см. примечание 4 к рассказу «Беседа Моноса и Уны»). По высмеивает бентамовский утилитаризм также в рассказе «Делец» и в своих рецензиях («Питер Снук», 1836). В 1843 г., когда появился этот рассказ, в Англии было завершено издание 11-томного собрания сочинений Бентама. Упомянутая По «иеремиада о ростовщичестве» — это трактат Бентама «Защита ростовщичества» (1787), написанный во время пребывания автора в России

² *Нил*, Джон (1793—1876) — американский писатель. В издававшейся им еженедельной газете «Янки» популяризировалось учение Бентама.

³ *Другой дал имя* — обычная для По шутовская мистификация; он обыгрывает имя Иеремии Бентама и библейского пророка Иеремии.

⁴ ...ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ошипанной курицы. — Платон («Государство», 266) определил человека как «двуногое без перьев». Согласно легенде, Диоген принес на лежницу Платона ошипанного петуха и сказал: «Вот человек Платона» (Диоген Лаэртский. «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии», VI, 2).

⁵ «Человек рожден, чтоб плакать» — название стихотворения Роберта Бернса, написанного в 1784 г.

- ⁶ *Бробдингнез* — страна великанов в книге Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» (1726).
- ⁷ «*Флакк*» — псевдоним американского поэта Томаса Уорда (1807—1873). Первый сборник его стихов («Пассейик, стихи, посвященные этой реке», 1842) вызвал резкую рецензию По в журнале «Грэхемс ледиз энд джитаменс мэгезин» (март 1843 г.), в которой он называет его «второстепенным, или третьестепенным, или вернее девяностодевятистепенным рифмоплетом».
- ⁸ *Ты не отгоняешь ее, как пса от засаленной шкуры* — Гораций. «Сатиры», II, 5, 83.
- ⁹ *Если бы он не был Александром, то желал бы быть Диогеном* — см. примечание 16 к рассказу «Герцог де л'Омлет».
- ¹⁰ *Терпин, Ричард (Дик)* (1706—1739) — знаменитый английский разбойник; был пойман и повешен.
- ¹¹ *О'Коннел, Даниел* (1775—1847) — лидер либерального крыла ирландского освободительного движения.
- ¹² *Бэри, Шарлотта Сьюзен Мария* (1775—1861) — английская писательница, автор многочисленных романов. В молодости славилась красотой.
- ¹³ *Байи* — город вблизи Неаполя, известный в древности как место отдыха знатных римлян. Роскошь и легкость нравов в Байях часто отмечается римскими писателями.
- ¹⁴ ... «*предания старины*», «*примеры наших дней*» — В. Шекспир. «Как вам это понравится», II, 7.

ОЧКИ (THE SPECTACLES)

Впервые опубликовано в газете «The Dollar Newspaper» (Филадельфия) 27 марта 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 22 ноября 1845 г.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ ... автора «*Хроник*» — французский историк и поэт Жан Фруассар (ок. 1337—1410). Его «Хроники» охватывают период 1325—1400 гг. и посвящены истории Франции, Фландрии, Испании, Португалии и Англии. В 1523—1525 гг. они были переведены на английский язык.
- ² *Апулей, Луций* (II в.) — римский писатель и философ. Приводимые слова взяты, однако, из «Сатирикона» Петрония (I в.), фрагмент 55.
- ³ «*Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь*» — перефразировка стиха из «Потерянного рая» (IV, 830) Дж. Мильтона. У Мильтона вместо «ее» — «меня».
- ⁴ *Антарес* — звезда первой величины красного цвета в созвездии Скорпиона.
- ⁵ *Ланкло, Нинон* (1615—1705) — французская куртизанка, сохранившая привлекательность до глубокой старости.
- ⁶ «*Отелло*» — опера итальянского композитора Джоакино Россини (1792—1868), поставленная в Неаполе в 1816 г.
- ⁷ «*Капулетти*» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835), поставленная впервые в Венеции в 1830 г. («Капулетти и Монтекки»).
- ⁸ *Сан Карло* — оперный театр в Неаполе, один из самых крупных в Европе XIX века. Построен в 1737 г. и перестроен после пожара 1816 г. (партер на 1000 мест).
- ⁹ «*Сомнамбула*» — опера В. Беллини, поставленная впервые в Милане в 1831 г.

- ¹⁰ *Малибран, Мария-Фелиция* (1808—1836) — французская певица (контральто), автор ряда вокальных и инструментальных произведений. В мае 1840 г. в журнале «Бертонс дженглменс мэгезин» По напечатал рецензию на «Воспоминания и письма мадам Малибран», изданные в Филадельфии.

ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ (THE BALLOON-HOAX)

Впервые опубликовано в виде листовки-прибавления к нью-йоркской газете «Sun» 13 апреля 1844 г. под названием «Astounding News!» («Поразительная новость!»). У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в 1-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896, под названием «Небывалый аэростат».

- ¹ *Мейсон, Монк* (1803—1889) — английский воздухоплаватель, вместе с Ч. Грином и Р. Холлендом совершил в 1836 г. перелет на воздушном шаре из Лондона в Нассау (Германия), отчет о котором был издан в Лондоне в 1836 г. и в следующем году переиздан в Нью-Йорке.
- ² *Хенсон, Вильям Самюэл* (1812—1888) — английский изобретатель-аэроавт, получивший в 1842 г. патент на «воздушный паровой экипаж». После ряда неудач эмигрировал в 1848 г. в США.
- ³ *Эйнсворт, Вильям Харрисон* (1805—1882) — английский писатель, автор 39 романов, в том числе романа «Джек Шеппард» (1839) о знаменитом разбойнике. На исторические романы Эйнсворта «Лондонский Тауэр» (1840) и «Гай Фокс, или Пороховой заговор» (1841) По написал две рецензии в «Грэхемс мэгезин» в марте и ноябре 1841 г.
- ⁴ *Благодаря энергии одного из наших корреспондентов в Чарлстоне.* — По высмеивает газеты Чарлстона, которые хвастались тем, что благодаря специальному бригу, курсирующему между Нью-Йорком и Чарлстоном, они получают нью-йоркские газеты на три дня раньше, чем по почте.
- ⁵ *Эверард Брингхерст; м-р Осборн* — стремясь придать рассказу правдоподобный вид, По вводит в него якобы реальные персонажи.
- ⁶ *Бентинк, Вильям Джордж Фредерик* (1802—1848) — английский политический деятель.
- ⁷ *Кейли, Джордж* (1773—1857) — английский изобретатель-аэроавт, «отец британской аэронавтики». С 1815 г. занимался проблемами воздушных шаров, в 1837 г. получил патент на свой воздушный шар. В 1840 г. изобрел паровой геликоптер.
- ⁸ *Грин* — см. примечание 8 к рассказу «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля».
- ⁹ *Мыс Клир* — юго-западная оконечность Ирландии.
- ¹⁰ *Котопахи* — действующий вулкан в Южной Америке (Эквадор). Высота 5 896 метров.
- ¹¹ *Все неизвестное кажется грандиозным* — Т а ц и т. «Агрикола», 30.
- ¹² *Форт Моултри* — см. примечание 2 к рассказу «Золотой жук».

ПОВЕСТЬ СКАЛИСТЫХ ГОР (A TALE OF THE RAGGED MOUNTAINS)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» в апреле 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 29 ноября 1845 г. с некоторыми изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Нива» 17 ноября 1884 г. под названием «Август Бедлоэ».

- ¹ Осенью 1827 года... — В этом рассказе отразились впечатления По от кратковременного пребывания в 1826 г. в Виргинском университете (Шарлотсвилл), когда он любил совершать прогулки по окрестностям.
- ² Месмер, Фридрих-Антон (1734—1815) — австрийский врач, по происхождению швейцарец, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи «животного магнетизма», в основе которого было гипнотическое внушение.
- ³ ... в 1845 году — в первом издании рассказа было «в 1843 году».
- ⁴ Новалис — см. примечание 1 к рассказу «Тайна Мари Роже». Здесь цитируется дневник Новалиса.
- ⁵ Крис — изогнутый малайский кинжал.
- ⁶ Гастингс, Уоррен (1732—1818) — британский генерал-губернатор Индии. За хищения и злоупотребления властью был отстранен от должности и в 1788 г. предан суду, однако палата лордов оправдала его. Одним из источников рассказа По была рецензия Т. Б. Маколея на трехтомную биографию Гастингса в «Эдинбургском обозрении» (октябрь 1841), в которой упоминается Вильям Бедлоу (1650—1680), известный лжесвидетель, из-за которого были казнены 35 католиков, обвиненных в государственной измене.
- ⁷ Мятеж Шейт-Синга — имеется в виду восстание раджи Бенареса Шейт-Синга в 1781 г., поднятое в ответ на требование Гастингса о выплате английским колонизаторам большой суммы денег.
- ⁸ Сипаи — солдаты наемной армии, созданной англичанами в XVIII в. в Индии из местного населения.
- ⁹ ... правда всякой выдумки странней... — см. примечание 12 к рассказу «Как писать рассказ для «Блэкуда»».

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ ПОХОРОНЫ (THE PREMATURE BURIAL)

Впервые опубликовано в газете «The Dollar Newspaper» (Филадельфия) 31 июля 1844 г. Написано не позднее мая 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 14 июня 1845 г.

На русском языке впервые в журнале «Собрание иностранных романов, повестей, рассказов в переводах на русский язык», май 1868 г. под названием «Несколько слов по поводу погребения мнимоумерших».

- ¹ Лиссабонское землетрясение — 1 ноября 1755 г. в течение пяти минут была разрушена столица Португалии и многие другие города, погибло около 60 000 человек.
- ² Лондонская чума — имеется в виду большая эпидемия чумы в Лондоне в 1665—1666 гг.
- ³ Черная яма в Калькутте — военная тюрьма в форте Вильям в Калькутте, куда в июне 1756 г. были брошены 146 пленных англичан и за одну ночь 123 из них погибло от удушья.
- ⁴ Викторина Лафуркад — история ее преждевременного погребения была опубликована в журнале «Филадельфия каскет» в сентябре 1827 г.
- ⁵ «об эпитафиях, гробницах и червях» — В. Шекспир. «Король Ричард II», III, 2.
- ⁶ ... привязать мне к руке... — В американской прессе тех лет рекламировались самооткрывающиеся гробы, сохраняющие жизнь погребенным в них мнимоумершим.

- Так, в журнале «Колумбийан леди энд джентламенс мэгезин», в котором в то время сотрудничал По, в январе 1844 г. была опубликована заметка о «жизнеспасительных гробах», открывавшихся при малейшем движении тела, и об открывающихся изнутри семейных склепах, в которых подвешивался колокол, чтобы пробудившийся «покойник» мог дать о себе знать.
- ⁷ Бьюкен, Вильям (1729—1805) — шотландский врач, автор книги «Домашняя медицина, или Домашний врач» (1769) — первой подобной книги, выдержавшей при жизни автора 19 изданий, переведенной на большинство европейских языков, в том числе на русский. В Америке эта книга была особенно популярна.
- ⁸ «Ночные думы» — имеется в виду дидактическая поэма английского поэта Эдварда Юнга (1683—1765) «Жалоба, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии» (1742—1745).
- ⁹ Каратида — злая султанша-колдунья в «Ватеке» В. Бекфорда.
- ¹⁰ Афрасиаб (VI в.) — туранский царь, ведший длительные войны с Персией; один из героев поэмы Фирдоуси (934—ок. 1020) «Шах-намэ».
- ¹¹ Оксус — Аму-Дарья.

МЕСМЕРИЧЕСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ (MESMERIC REVELATION)

Впервые опубликовано в журнале «The Columbian Lady's and Gentleman's Magazine» (Нью-Йорк) в августе 1844 г. Написано не позднее мая 1844 г. Последнее авторское издание в книге рассказов По 1845 г. было заново отредактировано писателем, написано новое окончание рассказа. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в 1-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ Месмеризм — см. примечание 2 к рассказу «Повесть Скалистых гор».
- ² Кузен, Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист, эклектик, автор восьмитомного «Курса истории философии» (1815—1829). Утверждал, что любая философская система может быть создана из «истин», содержащихся в различных учениях.
- ³ Браунсон, Орест (1803—1876) — американский писатель и философ, участник кружка трансценденталистов, автор автобиографической книги «Чарлз Элвуд, или Обращенный вероотступник» (1840). Один из разделов статьи По «Автографы» (1841) посвящен Браунсону.
- ⁴ Тринкуло — шут в «Буре» В. Шекспира (III, 2). Говоря о Тринкуло, По допускает неточность, ибо у Шекспира речь идет о королевстве Стефана.
- ⁵ Авраил — см. примечание 12 к рассказу «Лигейя».

ДЛИННЫЙ ЛАРЬ (THE OBLONG BOX)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» (Филадельфия) в сентябре 1844 г. Написано не позднее мая 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 13 декабря 1845 г. с небольшими изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Библиотека для чтения», март 1857 г., под названием «Длинный ящик».

- ¹ «Независимость» — По упоминает корабль американского флота. Он был спущен на воду в 1834 г. в Нью-Йорке и совершал трансатлантические рейсы.

- ² *Ш-скому* — очевидно, имеется в виду *Виргинский университет* в г. Шарлотсвилле. В 1826 г. в нем учился По.
- ³ *Рубини* — фамилия ряда итальянских художников XVI—XVIII вв.
- ⁴ *Гаттерас* — мыс на атлантическом побережье США (штат Северная Каролина), знаменитый частыми штормами.

АНГЕЛ НЕОБЪЯСНИМОГО. Экстраваганца
(THE ANGEL OF THE ODD. An Extravaganza)

Впервые опубликовано в журнале «The Columbian Lady's and Gentleman's Magazine» (Нью-Йорк) в октябре 1844 г. При жизни По не переиздавалось.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896 под названием «Ангел необычайного».

- ¹ *Гловер*, Ричард (1712—1785) — английский поэт, известный своей балладой «Дух адмирала Ховзера». В 1737 г. опубликовал эпическую поэму «Леонид».
- ² *Уилки*, Вильям (1721—1772) — шотландский писатель, в 1757 г. опубликовал поэму «Эпигониада», основанную на четвертой книге «Илиады» Гомера.
- ³ *Ламартин* — см. примечание 12 к рассказу «Убийства на улице Морг». Здесь имеется в виду его книга «Воспоминания, впечатления и мысли во время поездки на Восток» (1835).
- ⁴ *Барло*, Джоэл (1754—1812) — американский поэт, участник американской революции и похода Наполеона в Россию. Его эпическая поэма «Колумбиада» (1807) вызвала скептическое замечание По в статье «Поэтический принцип»: «Гора через посредство простого чувства физической величины дает нам впечатление возвышенного — но никто не получит этого впечатления таким образом, хотя бы при виде вещественного величия «Колумбиады».
- ⁵ *Такерман*, Генри Теодор (1813—1871) — американский писатель. Имеется в виду его книга «Изабел, или Сицилия» (1839). Один из разделов статьи По «Автографы» посвящен Такерману.
- ⁶ *Грисволд*, Руфус Уилмот (1815—1857) — американский писатель, журналист и составитель ряда антологий американской литературы. Вместе с По редактировал журнал «Грэхемс мэгезин». Здесь имеется в виду его книга «Достопримечательности американской литературы» (1844), изданная под одним переплетом с часто упоминаемой у По книгой Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы».
- ⁷ *Сей фолиант из четырех страниц, Что критики от критиков не знал* — строки из поэмы английского поэта Вильяма Каупера (1731—1809) «Задача» (1785), IV, 50.
- ⁸ «*Жиль Блаз*» — см. примечание 19 к рассказу «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфаала». Цитируемые слова гренадского архиепископа завершают четвертую главу седьмой книги романа.
- ⁹ «*Вездесущность бога*» — см. примечание 15 к рассказу «Без дыхания».

«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СЯ!»
(«THOU ART THE MAN»)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» (Филадельфия) в ноябре 1844 г. Написано не позднее мая 1844 г. При жизни По не переиздавалось.

На русском языке впервые в приложении к книге: Поль де Кок. Осел. Москва, 1874, стр. 239—264, под названием «Груп-обвинитель».

- ¹ Гор, Кэтрин Грейс (1799—1861) — английская писательница. Наиболее известный ее роман «Сесил, или Приключения фата» (1841), как и другие ее книги, стали объектом пародии В. М. Теккерея. Своими сведениями о жизни лондонского аристократического общества, нашедшими отражение в романе «Сесил», она обязана Вильяму Бекфорду.
- ² Чикасо — см. примечание 24 к «Как писать рассказ для «Блэквуда»».
- ³ Бекфорд, Вильям (1760—1844) — английский писатель, обладавший богатейшей коллекцией древностей, автор фантастической повести «Ватек».
- ⁴ ... Булвера и Диккенса... — сравнивая английского писателя Эдуарда Джорджа Булвера-Литтона с Чарлзом Диккенсом, По писал: «Булвер при помощи искусства создал талантливое произведение; Диккенс при помощи таланта усовершенствовал нормы искусства, которые возвысят затем самую сущность искусства». Творчеству Булвера и Диккенса По посвятил несколько критических статей.
- ⁵ Эйнсворт — см. примечание 3 к рассказу «История с воздушным шаром».
- ⁶ «Ты еси муж, сотворивый сие!» — с этими словами обратился к царю Давиду пророк Нафан, рассказавший ему перед тем притчу о богаче, отобравшем у бедняка единственную овечку (Библия. Вторая книга Царств, XII, 7).

ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО (THE PURLOINED LETTER)

Впервые опубликовано в новогоднем сборнике «Подарок» (The Gift). Филадельфия, 1845 (издан осенью 1844 г.). Написано не позднее мая 1844 г. Последнее прижизненное издание в книге рассказов По 1845 г. имеет некоторые изменения. У Дж. Харрисона учтены позднейшие рукописные исправления автора на издании 1845 г.

На русском языке впервые в журнале «Сын отечества» 31 августа 1857 г. под названием «Украденное письмо».

- ¹ Сенека, Луций Анней (6—3 до н. э.—65 н. э.) — римский философ, политический деятель и писатель, автор философско-этических «Писем к Луцилию», откуда и взята приводимая По цитата. В первом издании рассказа эпиграф отсутствовал.
- ² Абернети, Джон (1764—1831) — английский хирург. Был известен необычностью и резкостью в обращении с пациентами.
- ³ Ларошфуко, Франсуа (1613—1680) — французский писатель-моралист.
- ⁴ Лабрюйер — см. примечание 2 к рассказу «Метценгерштейн».
- ⁵ Макиавелли, Кампанелла — см. примечания 10 и 17 к рассказу «Падение Дома Ашеров».
- ⁶ Нерасчленение среднего — в формальной логике одно из правил построения силлогизма.
- ⁷ Шамфор, Себастьян (1741—1794) — французский писатель, секретарь Якобинского клуба, покончил самоубийством во время якобинского террора; автор посмертно опубликованных афоризмов («Максимы и мысли», 1795), откуда и взята цитата (Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М.—Л., изд-во «Наука», 1966, стр. 28).
- ⁸ Брайант, Джейкоб (1715—1804) — английский писатель, автор книги «Новая система, или Анализ античной мифологии» (1774—1776).
- ⁹ Легкость сошествия в преисподнюю — Вергилий. «Энеида», VI, 126.
- ¹⁰ Каталани — см. примечание 16 к рассказу «Без дыхания».
- ¹¹ Страшное чудовище — Вергилий. «Энеида», III, 658. Ср. примечание 3 к рассказу «Система доктора Смоля и профессора Перро».

- ¹² «Атрей и Фиест» (1707) — трагедия французского драматурга П. Кребийона-старшего (1674—1762). Герои пьесы — братья, жестоко мстящие один другому: микенский царь Атрей убивает детей Фиеста, Фиест соблазняет жену Атрея и проклинает его дом.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАКВАС ТАМА, ЭСКВАЙРА

(Бывший редактор журнала «Абракадабра»)

написано им самим

(THE LITERARY LIFE OF THINGUM BOB, ESQ.,

Late Editor of the «Goosetherumfooodle». By Himself)

Впервые опубликовано в журнале «The Southern Literary Messenger» (Ричмонд) в декабре 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 26 июля 1845 г. имеет незначительные изменения.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896, под названием «Литературная жизнь м-ра Какбиш Вас, эскв., издателя «Белиберды», описанная им самим».

- ¹ Эммонс, Натаниел (1745—1840) — американский священник и теолог. Собрание его проповедей, весьма популярных в 30-е годы, было издано в 6 томах в 1842 г.
- ² Уголино. — В XXXIII песни «Ада» Данте рассказывается, как Уголино дела Герардеска, стоявший во главе Лизанской республики, был обвинен в государственной измене и вместе с двумя сыновьями и двумя внуками заточен в башню, где их уморили голодом (май 1289 г.).
- ³ ... старинных театральные пьес какого-то автора... — имеется в виду «Гамлет» В. Шекспира (I, 4).
- ⁴ ... сочинения слепца — речь идет об «Илиаде» Гомера.
- ⁵ Чоктосы — одно из племен американских индейцев, живших в низовьях Миссисипи. В 1820—1837 гг. чоктосы были насильственно переселены в резервации в Арканзасе. В повести Ф. Р. Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801) под именем Шактаса изображен юноша этого племени.
- ⁶ Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом... — имеется в виду поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667).
- ⁷ ... на родине трансценденталистов — то есть в Бостоне, главном городе штата Массачусетс, где родился глава кружка трансценденталистов Р. У. Эмерсон. По считал фразеологию трансценденталистов вычурной. См. примечание 10 к рассказу «Лигейя».
- ⁸ ... римского императора, носившего это имя. — шутка По. Оподельдок — мазь, применяемая для втирания при ревматических болях. Существует предположение, что под именем Оподельдока По высмеял американского журналиста Виллиса Гейлорда Кларка, одного из редакторов «Никербокер мэгезин», подписывавшегося псевдонимом Оллапод. См. примечание 3 к рассказу «Трагическое положение».
- ⁹ Ли, Натаниел (1653?—1692) — английский драматург. Сошел с ума и был посажен в сумасшедший дом, откуда сбежал и кончил жизнь на улице.
- ¹⁰ Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына... — начальные строки из поэмы Гомера «Илиада» в переводе Н. Гнедича.
- ¹¹ «Напевы Магушки-Гусыни» — сборник английских стихов для детей, опубликованных впервые издателем детских книг Джоном Ньюбери (1713—1767).
- ¹² О, свет небес, их отпрыск первородный, Священный град... — начальные строки третьей книги «Потерянного рая» Дж. Мильтона.

- ¹³ «*Эдинбургское обозрение*» — журнал английских вигов, основанный в 1802 г. и выступавший с резкими нападками на молодую американскую литературу. Уже после смерти По «*Эдинбургское обозрение*» выступило со злобной клеветой на писателя (апрель 1858 г.).
- ¹⁴ «*Ежеквартальное обозрение*» — журнал английских тори, основанный в 1809 г. при непосредственном участии Вальтера Скотта.
- ¹⁵ «*Я проснулся и узнал, что я знаменит*» — слова Байрона, сказанные им по поводу небывалого успеха первых двух песен «Паломничества Чайльд Гарольда», появившихся в свет 10 марта 1812 г. (эти слова приводятся в книге Томаса Мура «Письма и дневники лорда Байрона с заметками о его жизни», 1830, гл. 14).
- ¹⁶ *Гиперион* — в греческой мифологии один из титанов, отец Гелиоса-солнца, Эос-зари и Селены-луны. отождествляется также с Аполлоном.
- ¹⁷ «*Боз*» — псевдоним Ч. Дикенса, под которым были опубликованы его ранние произведения («*Очерки Боза*», 1836—1837).
- ¹⁸ *Диатриба* — резкая, придиричивая речь с нападками личного характера.
- ¹⁹ *Брум* — см. примечание 3 к «Как писать рассказ для «Блэквуда»». Брум приобрел известность своими речами в парламенте, которые были изданы в четырех томах в Эдинбурге в 1838 г.
- ²⁰ *Коббет*, Вильям (1762—1835) — английский публицист и политический деятель радикального направления. Его сочинения были изданы в Лондоне в 1835—1836 гг. в шести томах.
- ²¹ *Кларк*, Льюис Гейлорд (1808—1873) — редактор американского журнала «Никербокер мэгезин» в 1834—1861 гг. В 1845 г. вышла его «Никербокерская книга очерков», которую, очевидно, и имеет в виду По. В первой публикации этого рассказа вместо Кларка был назван американский писатель Джон Нил (1793—1876). Упоминание в этом рассказе фамилии Кларка сделало невозможным публикации произведений По в «Никербокер мэгезин», одном из крупнейших литературных журналов США в 40-е годы. Вражда По и Кларка, начавшаяся еще в 1836 г., вновь обострилась после этого рассказа и публицистических выступлений По против Кларка и его журнала в 1845 и 1846 гг.
- ²² «*Набил потуже кошелек*» — перефразировка из «Отелло» (I, 3). У Шекспира Яго говорит: «Набей потуже кошелек».
- ²³ *Бюффон*, Жорж (1707—1788) — французский естествоиспытатель. По свидетельству современников, в частности французского государственного деятеля Эро де Сешеля (1759—1794), Бюффону принадлежат слова: «Гений — это терпение». Это высказывание приведено в книге Сешеля о его посещении Бюффона в Монбаре в 1785 г. (издана в Париже в 1800 г.).
- ²⁴ *Хогарт*, Вильям (1697—1764) — английский художник. «Гений — это усердие» — слова из его книги «Исследование красоты» (1753).
- ²⁵ *Кикапу* — см. примечание 1 к рассказу «Человек, которого изрубили в куски».

ЛОСЬ (Утро на Виссахиконе)

(THE ELK. Morning on the Wissahiccon)

Впервые опубликовано в сборнике «The Opal». Ed. by N. P. Willis. Нью-Йорк, 1844, под названием «Утро на Виссахиконе». В феврале 1845 г. в статье Джеймса Рассела Лоуэлла о творчестве По в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» с согласия По рассказ был назван «Лось».

На русский язык не переводился.

¹ ... где мчится Рона, Лазурная, подобная стреле — Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда», III, 71.

- ² *Кембл, Фрэнсис Эйн* (1809—1893) — английская актриса и писательница. В 1832 г. с отцом приехала в Америку, где вышла замуж за плантатора-южаннина. Имеется в виду ее «Дневник» (1835), в котором описывается жизнь на плантации в штате Джорджия.
- ³ *Мелроуз* — древний шотландский город, известный красотой окружающего ландшафта и развалинами аббатства. Изображен в романах Вальтера Скотта «Аббат» и «Монастырь».
- ⁴ *Сальватор* — имеется в виду итальянский художник Сальватор Роза (1615—1673), известный своими пейзажами.

ТЫСЯЧА ВТОРАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ (THE THOUSAND-AND-SECOND TALE OF SCHEHERAZADE)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» (Филадельфия) в феврале 1845 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 25 октября 1845 г. с некоторыми добавлениями.

На русском языке впервые в газете «Русский инвалид» 31 мая и 1 июня 1856 г. под названием «Тысяча вторая ночь» (без указания авторства Э. По).

- ¹ «*Правда всякой выдумки странней*» — см. примечание 12 к «Как писать рассказ для «Блэквуда»».
- ² *Симон Иохидес* (бен Иохай) (II в.) — палестинский раввин. Ему приписывалась каббалистическая книга «Зохар», созданная, как было позднее установлено, в XIII в.
- ³ «*Достопримечательности американской литературы*» — см. примечание 6 к рассказу «Ангел Необъяснимого».
- ⁴ «*Арабские ночи, или Тысяча и одна ночь*» — сборник арабских сказок, переведенных в 1704—1717 гг. на французский язык Антуаном Галланом (1646—1715). С этого издания было сделано несколько английских переводов. По свидетельству современников, Э. По пользовался первым английским переводом с арабского, выпущенным в 1838—1841 гг. арабистом Эдвардом Вильямом Лейном (1801—1876). Упоминания арабских сказок встречаются во многих рассказах По 40-х годов («История с воздушным шаром», «Повесть Скалистых гор», «Бес противоречия», «Фов Кемпелен и его открытие»).
- ⁵ «*Макиавелли*» — см. примечание 10 к рассказу «Падение Дома Ашероув».
- ⁶ ... с наречием *кок-неев* — имеется в виду кокни, лондонское просторечье.
- ⁷ *Кеннеди, Вильям* (1799—1871) — ирландский писатель, в 1842—1849 гг. британский консул в Техасе, автор двухтомной книги «Подъем, развитие и будущее Техаса» (1841), которую имеет в виду По (том I, стр. 120).
- ⁸ «*Азиатик мэгезин*» — цитата взята из третьей серии журнала, 1844, том III, стр. 359. Журнал издавался в Лондоне с 1816 по 1845 г. и назывался в 1844 г. «Азиатик джернел энд мансли миселени».
- ⁹ *Мамонтова пещера* — самая большая пещера на земле общей длиной около 240 км, в которой обитали еще доисторические люди. Открыта в 1809 г. Пещера имеет подземные реки и озера.
- ¹⁰ *Меррей, Хью* (1779—1846) — английский географ. Цитата взята из выпущенной им в 1834 г. «Географической энциклопедии», том I, стр. 215.
- ¹¹ «*Колонсел мэгезин*» *Симмондса* — издавался в Лондоне с 1844 по 1852 г.
- ¹² *Эпидендрон* — сообщение об этом редком растении появилось в газете «Филадельфия паблик леджер» 22 июля 1839 г. В 1844 г. По печатался в этой газете.
- ¹³ *Шоу, Иоахим Фредерик* (1787—1852) — датский ботаник, автор «Географии растений» (1822).

- ¹⁴ Кейт, Патрик (1769—1840) — английский ботаник. Его книга «Система физиологической ботаники» издана в Лондоне в 1816 г.
- ¹⁵ Холл, Фрэнсис (ум. 1833) — английский путешественник, автор книги «Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам в 1816 и 1817 годах», изданной в Лондоне в 1818 г.
- ¹⁶ Рух — в восточных легендах сказочная птица огромных размеров, которая приносила для корма своих птенцов слонов. В арабских сказках «Тысяча и одна ночь» Рух уносит Синбада, который привязал себя к ее ноге.
- ¹⁷ Сейл, Джордж (ок. 1697—1736) — английский востоковед, осуществивший английский перевод Корана (1734 и позднейшие переиздания).
- ¹⁸ Уайет, Томас — американский естествоиспытатель, совместно с которым По написал «Первую книгу конхиолога» (1839). Здесь имеется в виду его «Естественная история» (1839; раздел «Физиология»), которую По рецензировал в журнале «Бертонс джентлменс мэгезин» в июле 1839 г.
- ¹⁹ Инкубатор — 23 мая 1839 г. в газете «Филадельфия паблик леджер», в котором одно время печатался По, была опубликована статья о выставленном в Лондоне для обозрения инкубаторе. Описание последнего сходно с тем, что мы встречаем в этом рассказе По.
- ²⁰ Мельцель, Иоганн Непомук (1772—1838) — немецкий изобретатель. В апреле 1836 г. По напечатал в журнале «Сатери литерери мессенджер» статью о шахматном автомате Мельцеля, демонстрировавшемся в США.
- ²¹ Бэббидж, Джордж (1792—1871) — английский математик и изобретатель. Посвятил многие годы конструированию счетной машины, однако работа не была завершена, поскольку правительство отказалось от дальнейшего субсидирования работ в этой области.
- ²² Шабер, Джозеф-Бернар (1724—1805) — французский астроном, автор «Путешествия в Северную Америку» (1753).
- ²³ Волластон, Вильям Хайд (1766—1828) — английский химик. В 1813 г. предложил способ получать очень тонкую платиновую проволоку.
- ²⁴ Ретина — см. примечание 8 к рассказу «Беседа Моноса и Уны».
- ²⁵ Лорд Росс — см. примечание 17 к рассказу «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля». Об исследовании Гершелем и Россом звездных туманностей По пишет в «Эврике».

РАЗГОВОР С МУМИЕЙ (SOME WORDS WITH A MUMMY)

Впервые опубликовано в журнале «The American Review» (Нью-Йорк) в апреле 1845 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 1 ноября 1845 г. с небольшими изменениями.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Избранные сочинения. СПб., 1895 под названием «Беседа с мумией».

- ¹ Глиддон. — Чтобы придать рассказу видимость достоверности, По называет среди действующих лиц известного английского египтолога Джорджа Робинса Глиддона (1809—1857), который был американским консулом в Египте, а затем выступал в США с лекциями по египтологии.
- ² Барнес, Джон (1761—1841) — английский актер-комик, с 1816 г. жил в США и был популярным актером нью-йоркского Парк-театра.
- ³ Скарабей — жук, обитающий в Южной Европе и Северной Африке. В Древнем Египте один из видов скарабей (скарабей священный) почитался как одна из форм солнечного божества. Его изображения служили предметами заупокойного культа,

амулетами, которые клали в гробницы или внутрь мумии вместо вынутого при бальзамировании сердца.

- ⁴ *Галль, Франц Иосиф (1758—1828)* — немецкий медик, основатель френологии (см. примечание 4 к рассказу «Убийства на улице Морг»).
- ⁵ *Шпурцгейм, Иоганн Кристоф (1776—1832)* — немецкий френолог. До 1813 г. работал вместе с Галлем, затем выступал с чтением лекций по френологии в Англии, Франции и США, куда переселился незадолго перед смертью.
- ⁶ *Месмер* — см. примечание 2 к рассказу «Повесть Скалистых гор».
- ⁷ *Плутарх (ок. 46—120)* — древнегреческий писатель. Упомянутый диалог «О лике, видимом на луне» характерен для астрономических воззрений греков.
- ⁸ *Диодор Сицилийский* — см. примечание 5 к рассказу «Без дыхания».
- ⁹ *Боулинг-Грин* — парк в центре Нью-Йорка.
- ¹⁰ *Азнак* — вымышленное название.
- ¹¹ *Карнак* — селение в Египте (около столицы Древнего Египта, города Фив), знаменитое развалинами храма, постройка которого восходит к XX в. до н. э.
- ¹² *Большой Оазис (Эль-Харга)* — крупнейший из египетских оазисов, расположен в ливийской пустыне. Древние колодцы этого оазиса достигают глубины 120 м. От римской эпохи сохранились акведуки и руины дворцов.
- ¹³ «*Дайел*» — см. примечание 19 к «Как писать рассказ для «Блэквуда»».
- ¹⁴ ... *деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.* — История с египетскими провинциями, провозгласившими себя свободными и принявшими конституцию, является сатирической аллегорией истории американской буржуазной демократии, выродившейся после американской революции в деспотию доллара и наживы.
- ¹⁵ ... *на изобретении Герона... Соломону де-Ко* — греческий инженер и ученый Герон из Александрии в своей книге «Пневматика» (ок. 130 до н. э.) описал устройство паровой турбины. Влияние сочинений Герона прослеживается в Европе до эпохи Возрождения, когда французский инженер Соломон де-Ко (1576—1626) в 1615 г. предложил идею усовершенствованного парового двигателя.
- ¹⁶ *Брандлет, Джозеф (1746—1815)* — английский врач.

СИЛА СЛОВ (THE POWER OF WORDS)

Впервые опубликовано в журнале «United States Magazine and Democratic Review» (Вашингтон и Нью-Йорк) в июне 1845 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 25 октября 1845 г. с незначительными изменениями.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. Москва, 1885, под названием «Могущество слов».

- ¹ *Ойнос... Агатос* — по-гречески «Ойнос» означает «вино», «Агатос» — идеальный (человек).
- ² *Только вначале оно творило...* — Согласно учению деизма, существование бога признается в качестве первопричины мира; с точки зрения деизма, мир, будучи сотворен, предоставлен действию своих собственных законов.
- ³ ... *небесные Интеллекты* — вероятно, По имеет в виду учение Данте об Интеллектах, которых «в просторечии люди называют Ангелами» («Пир», II, 4). Данте следовал взглядам неоплатоников и полагал, что чисто интеллектуальные субстанции вполне отделимы от материи.

БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ (THE IMP OF PERVERSE)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» (Филадельфия) в июле 1845 г. Перепечатано в ежегоднике «The May Flower for 1846». Ed. by R. Hamilton. Бостон, 1845. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Таинственные рассказы. Пер. К. Д. Бальмонта. Москва, 1895, под названием «Демон извращенности».

- ¹ *Френолог* — см. примечание 4 к рассказу «Убийства на улице Морг».
- ² *Каббала* — средневековое религиозно-мистическое учение, получившее распространение в среде наиболее фанатичных представителей иудаизма.
- ³ *Шпургейм* — см. примечание 5 к рассказу «Разговор с мумией».

СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРРО
(THE SYSTEM OF DR. TARR AND PROFESSOR FETHER)

Впервые опубликовано в журнале «Graham's Lady and Gentleman's Magazine» в ноябре 1845 г. При жизни По не переиздавалось. Написано не позднее мая 1844 г., как о том свидетельствует письмо По к Дж. Лоуэлли от 28 мая 1844 г.

На русском языке впервые в журнале «Московское обозрение» 3 августа 1877 г. под названием «Система доктора Деготя и профессора Пера».

- ¹ ... сынов *Енаковых* — согласно библейской легенде, племя исполинов в Палестине (Библия. Числа, XIII, 34).
- ² *Ничему не удивляться* — см. примечание 23 к рассказу «Бон-Бон».
- ³ *Страшное, нечто огромное, жуткое, детище мрака* — Вергилий. «Энеида», III, 658.
- ⁴ *Брум* — см. примечание 3 к «Как писать рассказ для „Блэквуда“». Сравнивая знаменитых античных ораторов с современными (в феврале 1837 г. По опубликовал в «Сатерн литерери мессенджер» рецензию на «Избранные речи Цицерона», изданные Чарлзом Энтоном), По писал в «Демократик ревью» в декабре 1844 г.: «Эффект, производимый речами Демосфена, был сильнее, чем тот, который достигает современное ораторское искусство. Это однако не противоречит тому, что современное красноречие выше греческого... Лучшие филиппики греков были бы освистаны в палате лордов, в то время как экспромты Шеридана и Брума покорили бы все сердца и умы Афин».
- ⁵ ... медные быки *Фаларида* — см. примечание 13 к рассказу «Без дыхания».
- ⁶ «*Янки Дудл*» — популярная народная американская песенка эпохи войны за независимость (1775—1783).
- ⁷ *Бабуин* — крупная обезьяна рода павианов.

ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МИСТЕРОМ ВАЛЬДЕМАРОМ
(THE FACTS IN THE CASE OF M. VALDEMAR)

Впервые опубликовано в журнале «The American Review» (Нью-Йорк в декабре 1845 г. Последнее прижизненное издание в «The Broadway Journal» 20 декабря 1845 г. с незначительными изменениями. 18 августа 1849 г. в журнале «Boston Museum» появилась неавторизованная перепечатка рассказа.

На русском языке впервые отдельным изданием: *Говорящий мертвец*. СПб., 1859. 51 стр.

- ¹ *Месмеризм* — см. примечание 2 к рассказу «Повесть Скалистых гор».
- ² «*Валленштейн*» — драматургическая трилогия Фридриха Шиллера: «Лагерь Валленштейна» (1798), «Пикколомини» (1799) и «Смерть Валленштейна» (1799).
- ³ *Рандолф, Джон* (1773—1833) — американский политический деятель. Карикатуристы времен По изображали его с тонкими паучьими ногами.

СФИНКС (THE SPHINX)

Впервые опубликовано в журнале «*Arthur's Ladies' Magazine*» (Филадельфия) в январе 1846 г. При жизни По не переиздавалось. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ *Во время страшного владычества холеры в Нью-Йорке...* — имеется в виду эпидемия холеры начала 1830-х годов, распространившаяся из Европы на Северную Америку.

БОЧОНОК АМОНТИЛЬАДО (THE CASK OF AMONTILLADO)

Впервые опубликовано в журнале «*Godey's Magazine and Lady's Book*» (Филадельфия) в ноябре 1846 г. При жизни По не переиздавалось.

На русском языке впервые в журнале «Еженедельное новое время», 22 мая 1880 г., под названием «Бочка Амонтилладо».

- ¹ *Никто не оскорбит меня безнаказанно* — девиз рыцарского ордена Чертополоха, основанного в 1687 г.
- ² *Вольные каменщики*, или масоны — религиозно-мистическое движение, возникшее в странах Европы в XVIII в. и призывавшее к объединению людей на началах братской любви. В Италии масонская ложа была создана в 1763 г. В начале XIX в. к итальянскому масонству примкнули участники тайного революционно-демократического общества карбонариев. Одним из символов масонства служила лопатка.
- ³ ... в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. — Парижские катакомбы были римскими каменоломнями и имеют протяженность свыше 300 км. Со временем в них стали переносить кости с уничтожаемых кладбищ, а также сбрасывать тела убитых и казненных. При осмотре парижских катакомб показывают галерею с костями, что и имеет в виду По.
- ⁴ *Да почит в мире!* — формула католической погребальной службы, а также надписи на могильных камнях.

MELLONTA TAUTA

Впервые опубликовано в журнале «*Godey's Magazine and Lady's Book*» (Филадельфия) в феврале 1849 г. При жизни По не переиздавалось.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ *То в будущем* — см. примечание 1 к рассказу «Беседа Моноса и Уны».
- ² *Мартин Ван Бюрен Мэвис* — обычная для По контаминация имен. Имеется в виду американский шарлатан-спирит Эдмунд Джексон Дэвис (1826—1910), лекции которого о месмеризме По посещал в Нью-Йорке. Поскольку Дэвиса звали именем

- седьмого президента США Эндрью Джексона (1767—1845), По иронически называет его именем восьмого президента США Мартина Ван-Бюрена (1782—1862).
- ⁸ Покипси — город на берегу реки Гудзон в штате Нью-Йорк. Основан голландцами в 1698 г. В этом городе в 1843 г. Эндрью Дэвис слушал лекции о «животном магнетизме» и сам «обрел дар ясновидения».
- ⁹ *Нубийский географ* — см. примечание 5 к рассказу «Низвержение в Мальстрем».
- ⁶ *Фурже* — то есть французский социалист-утопист Шарль Фурье (1772—1837).
- ⁶ *Арис Тоттль* — то есть Аристотель. Отдельные пародийные элементы рассказа заимствованы из поэмы в прозе По «Эврика», где говорится о «турецком философе по имени Арис и фамилии Тоттль».
- ⁷ *Хорве* — то есть американский изобретатель телеграфного аппарата Самуэл Морзе (1791—1872).
- ⁶ *Времена меняются* — начало афоризма уэльского писателя Джона Оуэна (ок. 1560—1622) из первой книги его латинских «Эпиграмм» (1606): «Времена меняются, и мы изменяемся вместе с ними» (эпиграмма 58). Обычно цитируется как латинская пословица, приписываемая римскому императору Лотарию I (ок. 795—855).
- ⁹ *Брин ... Дрин* — имеется в виду Чарлз Грин. См. примечание 8 к рассказу «Необычайное приключение некоего Ганса Пфааля».
- ¹⁰ *Невклид* — то есть древнегреческий математик Эвклид (III в. до н. э.).
- ¹¹ *Кэнт* — то есть немецкий философ И. Кант.
- ¹² *Хогг, Джеймс (1770—1835)* — шотландский писатель, печатавшийся в журнале «Блэквудс мэгезин» под псевдонимом «Эттрикский пастух». У По каламбур, основанный на том, что «хог» по-английски значит «свинья». Таким же образом обыгрывается далее фамилия английского философа Фрэнсиса Бэкона.
- ¹³ *Ничто не происходит из ничего* — древнегреческий афоризм; встречается в «Сатирах» (III, 84) римского поэта Персия (34—62).
- ¹⁴ *Милль, Джон Стюарт (1806—1873)* — английский экономист и философ. В своем главном труде «Система логики» (1843), который имеется в виду в рассказе, Милль разрабатывал индуктивную логику. Взгляды Милля По подвергает критике в «Эврике».
- ¹⁵ *Бентам* — см. примечание 1 к рассказу «Надувательство как точная наука».
- ¹⁶ *Нерон и Геллофагал* — имеются в виду римские императоры Нерон (37—68) и Геллофагал (218—222).
- ¹⁷ *Мадлер* — имеется в виду немецкий астроном Иоганн Генрих Медлер (1794—1874), создатель теории «центрального солнца» (1846), согласно которой центр гравитации Галактики якобы расположен в Плеядах у звезды Альционы. Несостоятельность теории Медлера доказана в 1859 г. русским астрономом М. А. Ковальским, однако По еще в 1848 г. в «Эврике» подверг критике теорию Медлера.
- ¹⁸ *Племя Никербокеров* — обозначение старожиллов Нью-Йорка голландского происхождения (в XVII в. Нью-Йорк был голландской колонией Новый Амстердам). Название происходит от имени вымышленного историка, от лица которого Вашингтон Ирвинг выпустил свою «Историю Нью-Йорка» (1809).
- ¹⁹ *Корнаваллис, Чарлз (1738—1805)* — английский военачальник, сражался против американцев в войне за независимость США. 19 октября 1781 г. капитулировал в Йорктауне перед объединенными американскими и французскими силами, которые возглавлял Джордж Вашингтон.
- ²⁰ *Бенгтон, Томас Харт (1782—1858)* — американский государственный деятель, сенатор от штата Миссури (1821—1851), отстаивавший интересы Запада и выступавший против Южных штатов. В свое время был известен также как писатель-мемуарист.
- ²¹ *Захарий, портной* — каламбур По. Имеется в виду Захарий Тейлор (1784—1850), ставший в результате выборов 1848 г. двенадцатым президентом США.

ПРЫГ-СКОК (HOP-FROG)

Впервые опубликовано в газете «The Flag of Our Union» (Бостон) 17 марта 1849 г. под названием «Прыг-Скок, или Восемь скованных орангутангов». При жизни По не переиздавалось. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в книге: Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли. Москва, 1885, под названием «Гоп-Фрог».

- ¹ ...король. — Поводом для рассказа явился случай при дворе французского короля Карла VI (1380—1422), о котором рассказывается в главе 138 «Хроник» Жана Фруассара (ок. 1337—1410). Этот отрывок из «Хроник», в котором повествуется, как король чуть не сгорел, когда на нем случайно загорелась маскарадная одежда, был в феврале 1845 г. напечатан в журнале «Бродвей джернел», в котором постоянно сотрудничал По.
- ² «Задиг, или Судьба» (1748) — философская восточная повесть Вольтера, полная тонкой язвительной иронии.

ФОН КЕМПЕЛЕН И ЕГО ОТКРЫТИЕ
(VON KEMPELEN AND HIS DISCOVERY)

Впервые опубликовано в газете «The Flag of Our Union» (Бостон) 14 апреля 1849 г. При жизни По не переиздавалось. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в 1-м томе собрания сочинений По в переводах М. А. Энгельгардта. СПб., 1896.

- ¹ Араго, Доминик Франсуа (1786—1853) — французский ученый, блестящий популяризатор науки, отличавшийся широтой своих научных интересов.
- ² «Журнал Простака» — имеется в виду журнал «Америкен джернел ов сайенс энд артс», издававшийся с 1818 г. американским журналистом и писателем Бенджаминном Силлименом (1779—1864). «Силлимен» по-английски означает «простак». Лейтенант Мори — американский ученый Мэтью Ф. Мори (1806—1873), научно-популярные статьи которого пользовались большим успехом в 40-е годы XIX в.
- ³ Кемпелен, Вольфганг (1734—1808) — австрийский механик, венгр по происхождению, изобретатель автоматов. Особую известность приобрел своими «шахматными машинами», однако позднее выяснилось, что внутри автомата, игравшего в шахматы, был спрятан карлик, владевший искусством шахматной игры.
- ⁴ Дэви, Хамфри (1778—1829) — английский химик. Открыл опьяняющее действие окиси азота при вдыхании (веселящий газ). В 1839—1841 гг. было издано собрание его сочинений в девяти томах.
- ⁵ Библиотека Атенеум — основана в Бостоне в 1805 г. Новое здание библиотеки построено в 1845 г.
- ⁶ Дрейпер, Джон Вильям (1811—1882) — американский ученый, с 1837 г. профессор химии в Нью-Йоркском университете.
- ⁷ «Семейный журнал» — американский еженедельник, основанный в 1846 г. Натаниелем Уиллисом (1806—1867) и Джорджем Моррисом (1802—1864).
- ⁸ «Литературный мир» — американский еженедельник, основанный в феврале 1847 г. в Нью-Йорке братьями Эвертом (1816—1878) и Джорджем (1823—1863) Дайкингами и Чарлзом Хоффманом (1806—1884). Выходил до 1853 г.
- ⁹ Мельцель — см. примечание 20 к рассказу «Тысяча вторая сказка Шехерезады».
- ¹⁰ Антимоний — старинное название сурьмы.

- ¹¹ ...последними событиями в Калифорнии. — Настоящий рассказ написан как сатира на «золотую лихорадку» в Калифорнии, где в 1848 г. было открыто золото. В письме к Эверту Дайкингу от 8 марта 1849 г. По писал, что выдумке поверили и «это вызовет хотя бы временную приостановку золотой лихорадки».

КАК БЫЛА НАБРАНА ОДНА ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА (X-ING A PARAGRAB)

Впервые опубликовано в газете «The Flag of Our Union» (Бостон) 12 мая 1849 г. При жизни По не переиздавалось. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые во 2-м томе собрания сочинений По, изданного «Вестником иностранной литературы». СПб., 1912, под названием «Искажение параграба».

- ¹ «Мудрецы пришли с Востока» — популярный в начале XIX в. афоризм («Чем дальше мы движемся на Запад, тем больше убеждаемся, что мудрецы пришли с Востока»), приписываемый обычно английскому юристу Вильяму Дэви (ум. 1780).
- ² Браунсон — см. примечание 3 к рассказу «Месмерическое откровение».
- ³ О tempora! О Мориц! — искаженная латинская цитата: O tempora! O mores! (О времена! О нравы!). Это выражение часто употреблял в своих речах Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.), например в первой речи против Луция Катилины (108—62 до н. э.), заговор которого против республики разоблачил Цицерон.
- ⁴ «И ... покончим с Букингемом!» — цитата из «Ричарда III» (1700), IV, 3 английского драматурга Колли Сиббера (1671—1757), который переделал одноименную пьесу Шекспира.

ДОМИК ЛЭНДОРА. Дополнение к «Поместью Арнгейм» (LANDOR'S COTTAGE. A Pendant to «The domain of Arnheim»)

Впервые опубликовано в газете «The Flag of Our Union» (Бостон) 9 июня 1849 г. При жизни По не переиздавалось. В письмах По рассказ упоминается в январе и марте 1849 г., когда писатель посылал его в журнал «The Metropolitan», где он не был напечатан. У Дж. Харрисона воспроизведен текст издания Р. Грисволда.

На русском языке впервые в журнале «Приложение романов к газете «Свет»», 1886, кн. 4, под названием «Коттедж Лэндор. Антитеза Арнгейма».

- ¹ Сальватор — см. примечание 4 к рассказу «Лось».
- ² Сассифрас — см. примечание 9 к рассказу «Тайна Мари Роже».
- ³ Катальпа — род растений семейства бигноновых. Деревья этих видов распространены в Северной Америке.
- ⁴ ... все арабские благовония — ср. В. Шекспир. «Макбет», V, 1.
- ⁵ Мاستиф — порода собак.
- ⁶ Ватек — герой одноименной фантастической повести В. Бекфорда (см. примечание 3 к рассказу «Ты еси муж, сотворивый сие!»). Издана на французском языке в 1782 г., на английском в 1786 г. Описание адской террасы, увиденной Ватekom, см. в книге: Г. Уолпол, Ж. Кавот, У. Бекфорд. Фантастические повести. Л., изд-во «Наука», 1967, стр. 221.
- ⁷ Трупиал — птица черного цвета отряда воробьиных.
- ⁸ ... сердце сердца — В. Шекспир. «Гамлет», III, 2.
- ⁹ Жюльен, Пьер (1731—1804) — французский художник и скульптор.
- ¹⁰ Астральная лампа — лампа, свет которой падает сверху.

[МАЯК] [LIGHT-HOUSE]

Неоконченный рассказ, написанный незадолго до смерти. Впервые опубликован в журнале «Notes and Queries» (Лондон) 25 апреля 1942 г. Рукопись состоит из четырех страниц, первая из которых была напечатана в каталоге распродажи коллекции Стивена Уэйкмена в 1919 г., а три последние опубликованы еще в 1909 г. во втором томе жизнеописания По, принадлежащего американскому литературоведу Джорджу Вудберри (1855—1930), который и дал название рассказу (в рукописи название отсутствует, но сверху страницы оставлено свободное место).

На русский язык не переводилось.

¹ *Норланд* — историческая область на севере Швеции.

² ...на меловой скале — относительно окончания рассказа существуют различные точки зрения. Знаток творчества По, текстолог Томас Мэббот считает, что героя должна спасти собака.

[ФРАГМЕНТЫ ИЗ СТАТЬИ ШАРЛЯ БОДЛЕРА
«ЭДГАР ПО»]

Жизнь По, его нрав, манеры, внешний облик — все, что составляет его личность, представляется мне одновременно мрачным и блестящим. Внешность его была обольстительна, странна, и на ней, как и на его произведениях, лежала печать безграничной меланхолии. По во всех отношениях был щедро одарен природой. В юности он проявил необычайную склонность ко всяким физическим упражнениям. Несмотря на небольшой рост, женственные руки и ноги и на то, что все его существо было проникнуто чисто женским изяществом, он был очень силен и доказал это в нескольких поразительных случаях. Так, однажды в молодости он выиграл пари, переплыв расстояние, непосильное для человека обыкновенного. Можно сказать, что природа одаряет энергичным характером тех, от кого она ждет великих дел, подобно тому как она наделяет долготлетием деревья, которые должны служить символами печали и горя. Эти люди, иногда невзрачной внешности, обладают силой атлетов, могут предаваться буйному веселью и работе, склонны к излишествам и способны к удивительной воздержанности.

Эдгару По присущи несколько характерных черт, единодушно признаваемых всеми его биографами: высокое природное благородство, красноречие, красота, которой он, судя по рассказам, немного кичился. Его манеры — странное соединение гордости с удивительной нежностью — были полны уверенности. Лицо, походка, движения, посадка головы — все это указывало, особенно в молодости, что он избранник. Весь его облик отличался всепроницающей торжественностью. Он был отмечен природой, как фигуры тех прохожих, которые сразу привлекают внимание наблюдателя и остаются в его памяти. Педантичный и придирчивый Грисволд признается, что, явившись с визитом к По, он нашел его бледным и страдающим после болезни и смерти жены и был чрезвычайно поражен не только изысканностью его манер, но и его благородным лицом, всей атмосферой его комнаты, меблированной, впрочем, довольно скромно. Грисволд не понимает, что поэт больше всех других умеет пользоваться привилегией парижанки и испанки — украшать себя пустяком, и что По, влюбленный во все прекрасное, в чем бы оно ни проявлялось, уж конечно нашел бы новый способ превратить бедную хижину в сказочный дворец. Разве не описывал он в высшей степени оригинально и интересно проекты обмеллировки, планы дач, садов, декоративного пейзажа?

Существует прелестное письмо госпожи Франсис Осгуд, одной из приятельниц По, которая сообщила нам весьма любопытные подробности о характере, личности и семей-

ной жизни поэта. Эта женщина, сама очень интересная писательница, энергично отрицает все пороки и заблуждения, приписываемые поэту. «Может быть с мужчинами, — говорит она Грисволду, — он был таким, каким вы его описываете; как мужчина вы можете быть, правы. Но я утверждаю, что с женщинами он был совершенно иным, и женщина, познакомившись с По, могла питать к нему лишь глубокую симпатию. Я всегда считала его образцом изящества, благородства и великодушия.

Впервые мы встретились в Астор-хаузе. Уиллис передал мне за табльдотом экземпляр «Ворона», о котором, по его словам, автор хотел знать мое мнение. Мистическая, неземная музыка этой поэмы так глубоко поразила меня, что, узнав о его желании познакомиться со мной, я испытала странное чувство, похожее на ужас. Он явился. Его красивая горделивая голова, темные глаза, блиставшие светом избранничества, светом чувства и мысли, его манеры — все это было соединение невыразимого величия и нежности. Он поклонился мне спокойно, важно, почти холодно. Но под этой холодностью так ясно сквозила симпатия, что я невольно была глубоко взволнована. С этого момента до его смерти мы были друзьями, и я знаю, что в своих последних словах он вспомнил и обо мне; пока его царственный разум не был свергнут с трона, он дал мне лучшее доказательство своей преданности и дружбы.

Особенно великим казался мне Эдгар По в глубине своей простой и поэтической души. Он был весел, сердечен, остроумен, то сдержан, то капризен, как избалованный ребенок, но даже среди самой тяжелой литературной работы у него было ласковое слово, добрая улыбка, внимательное и любезное обхождение как для его нежной, молодой и обожаемой жены, так и для всех его гостей. Бесконечные часы проводил он за столом под портретом умершей любимой, всегда усердный, терпеливый, записывая своим великолепным почерком чудные фантазии, беспрестанно рождавшиеся в его блестящем и остром уме. Однажды утром, помнится, я встретила его более радостным и оживленным, чем обыкновенно. Виргиния, его нежная жена, просила меня зайти к ним, и я не могла устоять перед ее просьбами... Я застала По работающим над серией статей, которые он опубликовал под заглавием «Литераторы Нью-Йорка». «Посмотрите, — говорил он мне, разворачивая с победоносным смехом несколько свитков испанской бумаги (он писал на узких полосках, чтобы сообразовать свою рукопись с корректурными оттисками журналов), — я покажу вам различные степени моего уважения к разным членам нашего литературного мира. Они определяются длиной полосы. В каждом из этих свертков укатан и старательно обсужден кто-нибудь из вас. Иди сюда, Виргиния, помоги мне!» И он разворачивал один сверток за другим. Последнему, казалось, не было конца. Виргиния, смеясь, держала один конец полосы и отступала к одному углу комнаты, муж ее — к другому. «Кто же этот счастливец, — спросила я, — которого вы удостоили такой бесконечной приветливости?» — «Слышишь!» — вскричал он, словно ее тщеславное маленькое сердечко не подсказало уже ей, что это — она сама...»

В рассказах По никогда не говорится о любви. «Элеонора» и «Лигейя» собственно говоря вовсе не представляют любовных историй; главная идея, которая пронизывает оба произведения, совершенно иная. Быть может, он думал, что проза — недостаточно высокий язык для передачи этого странного и почти непередаваемого чувства; но зато его стихотворения полны описаний любви. Священная страсть является в них великолепной, блистающей, словно звезда, и всегда слегка отуманенной неизбывной грустью. В своих статьях По несколько раз говорит о любви как о чем-то таком, что заставляет перо трепетать. В «Поместье Арнгейм» он утверждает, что четыре основных условия счастья следующие: жизнь на свежем воздухе, любовь женщины, отрешение от всякого честолюбия и созидание нового Прекрасного. Замечание госпожи Франсис Осгуд относительно рыцарски вежливого отношения По к женщинам подкрепляется еще тем, что несмотря на его великолепный талант в описаниях всего странного и ужасного, во всех его произведениях нет ни одного места похотливого или грубо чувственного. Его портреты женщин окружены, так сказать, ореолом; они сверкают среди неземной дымки, они написаны восторженным обожателем. Что же касается до значительных вливов романтического характера, то можно ли удивляться, если столь нервный человек, характернейшей чертой которого быть может является неудержимое стремление к Прекрасному, и увлекался иногда флиртом, этим вулканическим, опья-

няющим цветком, для которого наиболее благодарной почвой является воспаленный мозг поэтов?

Об удивительной красоте По, о которой говорят несколько биографов, я думаю, можно приблизительно составить себе представление, призвав на помощь все широкое, но характерные понятия, заключенные в слове «романтик» — слове, которое передает разные виды и оттенки духовной красоты. У По был широкий властительный лоб. Некоторые выпуклости его обнаруживали выдающиеся способности — построений, сравнения и установления причинности; в нем царствовал в горделивом спокойствии дух идеальности, в особенности эстетического чувства. И несмотря на эти дары, а может быть именно вследствие избытка их, голова По в профиль не была красива. Ведь во всех случаях, когда что-нибудь в каком-либо смысле находится в чрезмерном количестве, результатом изобилия может стать недостаток, результатом злоупотребления — истощение. Глаза его, неопределенно-темного цвета, близкого к фиолетовому, были одновременно черны и полны блеска. К этому прибавьте благородный и гордый нос, рот тонкий и грустный, хотя и с легкой улыбкой, волосы светло-каштанового цвета, лицо, обыкновенно бледное, с выражением немного рассеянным и подернутым обычной грустью.

Разговор По был всегда замечателен и давал пищу для размышлений. По не был тем, что называют хорошим говоруном — это ужасная вещь, — а к тому же и речь его, и перо боялись всего условного; но обширные познания, великолепный слог, прекрасная подготовка и впечатления, собранные в нескольких странах, делали речь его поучительной. Его речь, в высшей степени поэтичная, строгая по построению и в то же время выходящая за пределы всякого известного метода, богатство образов из мира, столь мало посещаемого толпой обыденных умов, его чудесное искусство выводить новые и таинственные заключения из неоспоримых и необходимых предположений, открывать изумительные перспективы, одним словом, искусство чаровать, заставлять мыслить, мечтать, вырывать душу из грязи рутины — вот его замечательные способности, о которых у многих людей сохранились воспоминания...

По — писатель нервов и даже чего-то большего, — и лучший, какого я только знаю. Каждое его вступление к рассказу увлекает, как вихрь. Его торжественность поражает и заставляет ум быть бдительным. Раньше всего чувствуется, что речь идет о чем-то важном. И медленно, мало-помалу разворачивается история, весь интерес которой основан на незаметном уклонении интеллекта в сторону, на смелой гипотезе, на неосторожном смещении различных способностей на весах природы. Читатель, завороженный, принужден следовать за автором в его увлекательных историях.

Никто другой, повторяю, не изображал увлекательнее исключения из человеческой жизни и природы, страстное любопытство выздоравливающего, смены времен года, полные возбуждающей красоты, жары, сырость и туман, когда южный ветер смягчает и ослабляет нервы, как струны инструмента, а глаза невольно наполняются слезами. Никто не описывал лучше галлюцинаций, вызывающих сначала сомнения, а вслед затем уверенность и рассудительность; абсурд, водворившийся в уме и управляющий им с ужасной логикой; истерию, сметающую волю; противоречие между нервами и умом и человека, дошедшего до того, что боль он выражает хохотом. По анализирует все, что мимолетно, взвешивает невесомое, описывает до мелочей подробно, научным, ужасным образом все воображаемое, что витает вокруг нервного человека и приводит его к гибели.

Даже страсть, с которой он бросается в странное из любви к странному и в ужасном из любви к ужасному, помогает мне поверить в искренность его произведений и в соответствие в нем человека поэту. Я отметил уже, что у некоторых людей эта страсть часто бывает следствием непримененной обильной жизненной энергии, иногда — упорного целомудрия или глубокой, но сдерживаемой чувственности.

В недрах этого творчества, где воздух разрежен, ум может испытывать глубокую тоску, страх до слез, беспокойство души, живущей в большом и странном пространстве. Но восхищение пересиливает: искусство По так велико! Фон и детали там соответствуют чувствам героев. Одиночество на лоне природы или беспокойная городская жизнь — все это изображено нервно и фантастично. Как наш Эжен Делакруа, возвысивший свое искусство до степени высокой поэзии, Эдгар По любит располагать свои

фигуры на зеленоватых и лиловых тонах, откуда распространяется фосфорический блеск гнили и дух бури...

Герои По, или вернее герой его — человек со сверхъестественными способностями, человек с расшатанными нервами, человек, пылкая и страждущая воля которого бросает вызов всем препятствиям; человек со взглядом, острым как меч, обращенным на предметы, значимость которых растет по мере того, как он на них смотрит. Это — сам По. Его женщины, все лучезарные и болезненные, умирают от каких-то странных болезней, говорят голосом, подобным музыке. И это — также он сам. По крайней мере своими странными стремлениями, познаниями, неизлечимой грустью они сильно напоминают личность их творца. Что же касается до его идеальной женщины, его Тиганиды, то она является в различных образах в его слишком немногочисленных стихотворениях, образах или, вернее, манере ощущать красоту, которую душа автора соединяет в обширное, но впечатляющее единство. В нем быть может еще нежнее, чем где-либо, выражается ненасытная любовь к Прекрасному. Она есть великий титул, то есть сумма всех титулов По; пред ней поэты должны преклониться и благоговеть!

[1856]

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

- 1809,
19 января
В Бостоне в семье актеров родился Эдгар Аллан По.
- 1811,
8 декабря
Смерть матери По в Ричмонде (отец оставил семью ранее и умер в 1810 г.). Эдгар взят на воспитание в дом ричмондского купца Джона Аллана.
- 1815,
23 июня—
28 июля
Семья Дж. Аллана вместе с По переезжает в Англию, где он учится в лондонских пансионах (в 1816—1817 гг. в школе Дюбур, затем в Стокньюингтоне, тогда пригороде Лондона).
- 1820,
14 июня—
21 июля
Семья Дж. Аллана вместе с По совершает морской переезд из Ливерпуля в Нью-Йорк. 2 августа они прибыли в Ричмонд.
- 1821,
июнь
Э. По поступает в ричмондскую школу Джозефа Кларка, а с апреля 1823 г. по март 1825 г. учится в школе Вильяма Берка в Ричмонде.
- 1826,
14 февраля
Поступает в Виргинский университет в Шарлотсвилле.
- 1826,
декабрь
Прерывает учение в университете и возвращается в Ричмонд.
- 1827,
24 марта
Уезжает в Бостон.
- 1827,
26 мая
В Бостоне вступает добровольцем в армию под именем Эдгар А. Перри.
- 1827,
июнь
В Бостоне анонимно выходит первая книга По «Тамерлан и другие стихотворения».
- 1827,
18 ноября—
1828,
11 декабря
По в составе артиллерийской батареи находится в форте Моултри на Сэлливановом острове близ Чарлстона, Южная Каролина. Затем батарея переведена в форт Монро. в Виргинии.
- 1829,
28 февраля
Смерть миссис Аллан, приемной матери По.
- 1829,
15 апреля
Увольнение По из армии и возвращение в Ричмонд.
- 1829,
май—декабрь
По в Балтиморе.
- 1829,
декабрь
В Балтиморе издается вторая книга стихов По «Аль Аараф, Тамерлан и мелкие стихотворения».

- 1829,
декабрь—
1830,
май
«Темный период» в жизни По. Его местопребывание не установлено.
- 1830,
май
По в Ричмонде.
- 1830,
25 июня
По прибыл в военную академию в Вест-Пойнте, куда он был зачислен в марте 1830 г.
- 1831,
19 февраля
По покинул Вест-Пойнт (был предан военному суду за нарушение дисциплины и исключен из армии) и на короткое время поселился в Нью-Йорке.
- 1831,
апрель
В Нью-Йорке выходит новое издание его «Стихотворений».
- 1831,
весна—
1835,
июль
По живет в Балтиморе у тетки Марии Клемм.
- 1831,
июнь—ноябрь
По пишет первые рассказы и до 1 декабря 1831 г. представляет их на конкурс филадельфийского журнала «Сэтерди курьер» (опубликованы анонимно в журнале в течение 1832 г.: «Метценгерштейн», «Герцог де л'Омлет», «На стенах иерусалимских», «Без дыхания», «Бон-Бон»).
- 1833,
19 октября
Балтиморский журнал «Сэтерди визитер» публикует получивший премию рассказ «Рукопись, найденная в бутылке». Начало литературной известности По.
- 1834,
27 марта
Смерть Джона Аллана.
- 1835,
август—
1837,
февраль
По в Ричмонде (в октябре 1835 г. к нему присоединяются миссис Клемм с дочерью Виргинией).
- 1835,
декабрь—
1837,
январь
По редактирует журнал «Сатерн литерери мессенджер» (Ричмонд), где были напечатаны многие его произведения.
- 1836,
16 мая
Женитьба на двоюродной сестре Виргинии Элизе Клемм (род. 15 августа 1822 г.).
- 1837,
февраль—
1838,
лето
По с женой и тещей живет в Нью-Йорке.
- 1838,
июль
В Нью-Йорке издается «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».

- 1838,
лето—
1844,
6 апреля
- По с семьей живет в Филадельфии — один из наиболее плодотворных периодов творчества писателя.
- 1839,
апрель
- По издает в Филадельфии «Первую книгу конхиолога».
- 1839,
июль—
1840,
июнь
- По редактирует журнал «Бертонс джентлменс мэгезин» (Филадельфия), где появились многие его критические статьи.
- 1839,
ноябрь
- Выход в свет в Филадельфии двухтомного сборника рассказов «Гротески и арабески», в который вошли 25 написанных к тому времени новелл. На титульном листе обозначен 1840 г.
- 1840,
13 июня
- В филадельфийском журнале «Сэтерди курьер» появился проспект ежемесячного литературного журнала «Пени мэгезин», который По собирался издавать с 1841 г. Замысел не был осуществлен.
- 1841,
февраль—
1842,
май
- По редактирует журнал «Грэхемс мэгезин», где печатались многие его произведения (1 апреля 1842 г. закончена редактура майского номера, после чего По ушел из журнала).
- 1842,
март
- Встреча По с Диккенсом в Филадельфии.
- 1843,
25 февраля
- В филадельфийском журнале «Сэтерди мьюзиум» напечатан проспект ежемесячного литературного журнала «Стилус», который По предполагал издавать с июля 1843 г. Замысел не был осуществлен.
- 1843,
июнь
- По получил премию за рассказ «Золотой жук», напечатанный в газете «Доллар ньюспейпер».
- 1843,
июль
- Выход в Филадельфии отдельным изданием двух рассказов «Убийства на улице Морг» и «Человек, которого изрубили в куски» (Prose Romances).
- 1844,
апрель—
1846,
май
- По с семьей живет в Нью-Йорке.
- 1844,
октябрь—
1845,
февраль
- По работает помощником редактора в газете «Ивнинг миррор».
- 29 января
1845,
- «Ворон» напечатан в газете «Ивнинг миррор».
- 1845,
февраль—
1846,
январь
- По редактирует журнал «Бродвей джернал», в котором публикуются многие его произведения.

- 1845,
июнь Издание в Нью-Йорке «Рассказов» По. Все 12 новелл, вошедшие в том, были заново отредактированы автором.
- 1845,
16 октября Выступление с чтением своих стихов в Бостоне.
- 1845,
19 ноября Издание в Нью-Йорке сборника «Ворон и другие стихотворения», сделавшего имя По широко известным.
- 1846,
апрель В журнале «Грэхемс мэгезин» напечатана статья По «Философия творчества».
- 1846,
май—октябрь В журнале «Годис ледиз бук» печатается серия статей По «Литераторы Нью-Йорка».
- 1846,
май—1849, июнь По живет на ферме Фордхем близ Нью-Йорка, совершая частые поездки в Нью-Йорк, Филадельфию (август 1847 г.), Ричмонд (лето 1848 г.), Провиденс (сентябрь, ноябрь, декабрь 1848 г.), Лоуэлл (Массачусетс, ноябрь 1848 г. и май 1849 г.).
- 1847,
30 января Смерть Virginии, жены По.
- 1848,
июнь Издание «Эврики» — последней книги, вышедшей при жизни писателя.
- 1848,
20 декабря По выступает в Провиденсе с лекцией «Поэтический принцип» (опубликована посмертно 31 августа 1850 г.).
- 1849,
30 июня—
1849,
13 июля По в Филадельфии.
- 1849,
14 июля—
сентябрь По в Ричмонде.
- 1849,
14 и 24 сентября По выступает в Норфолке (Виргиния) и в Ричмонде с лекцией «Поэтический принцип» и чтением последних стихов.
- 1849,
27 сентября Отправляется морем в Балтимор.
- 1849,
3 октября Помещен в госпиталь в Балтиморе.
- 1849,
7 октября Смерть По в госпитале Вашингтонского колледжа в Балтиморе.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Эдгар Аллан По (1848). Даггеротип.

Элизабет Арнольд По. Мать писателя. Миниатюра.

Фрэнсис Валентайн Аллан, приемная мать писателя.

Эльмира Ройстер в возрасте 16 лет (Подруга детства писателя, с которой он был помолвлен).

Джейн Крэг Стенард, которой посвящено стихотворение По «Елене» (1831). Портрет работы Дж. Уоррела.

Мария Клемм, мать Virginии. Рисунок А. Г. Лирнеда.

Virginия, жена писателя. Рисунок А. Г. Лирнеда.

Дом в Филадельфии, где жил По в 1843 г.

Эдгар Аллан По (1849). Портрет работы Ф. Дж. Фишера.

Эдгар Аллан По (1844). Портрет работы С. С. Осгуда.

Автопортрет. 1845 г.

Домик По в Фордхеме (Нью-Йорк), где он жил в 1846—1849 гг.

Титульный лист второго издания «Гротесков и арабесок», которое По готовил к печати в 1842 г. Автограф.

Содержание второго издания «Гротесков и арабесок». Автограф.

Рисунок Э. Мане к «Ворону».

Памятник на могиле Э. А. По в Балтиморе.

СОДЕРЖАНИЕ

ФОЛИО КЛУБ.	5
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН.	7
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
ГЕРЦОГ ДЕ Л'ОМЛЕТ.	14
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
НА СТЕНАХ ИЕРУСАЛИМСКИХ.	18
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
БЕЗ ДЫХАНИЯ (Рассказ не для журнала «Блэквуд» в отнюдь не из него)	21
<i>Перевод М. И. Беккер</i>	
БОН-БОН.	31
<i>Перевод Ф. В. Широкова</i>	
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ.	46
<i>Перевод Ф. В. Широкова</i>	
СВИДАНИЕ.	55
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
БЕРЕНИКА.	65
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
МОРЕЛЛА.	73
<i>Перевод Ф. В. Широкова</i>	
СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТИ.	78
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ.	83
<i>Перевод М. А. Энгельгардта</i>	
КОРОЛЬ ЧУМА. Рассказ, содержащий аллегорию,	118
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
ТЕНЬ. Парабола.	127
<i>Перевод В. В. Розова</i>	

ЧЕТЫРЕ ЗВЕРЯ В ОДНОМ (Человеко-жираф). <i>Перевод В. В. Розова</i>	129
МИСТИФИКАЦИЯ. <i>Перевод В. В. Розова</i>	135
ТИШИНА. Притча. <i>Перевод В. В. Розова</i>	142
ЛИГЕИЯ. <i>Перевод В. В. Розова</i>	145
КАК ПИСАТЬ РАССКАЗ ДЛЯ «БЛЭКВУДА». <i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	157
ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Коса времени. <i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	165
ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ. <i>Перевод В. В. Розова</i>	172
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗРУБИЛИ В КУСКИ. Повесть о последней Бугабуско- кикапуской кампании. <i>Перевод Н. М. Демуровой</i>	178
ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ. <i>Перевод В. В. Розова</i>	186
ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН. <i>Перевод В. В. Розова</i>	200
РАЗГОВОР ЭЙРОС И ХАРМИОНЫ. <i>Перевод В. В. Розова</i>	216
ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗИК НОСИТ РУКУ НА ПЕРЕВЯЗИ. <i>Перевод И. М. Бернштейн</i>	220
ДНЕВНИК ДЖУЛИУСА РОДМЕНА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОВОЙ ОПИСА- НИЕ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. СОВЕРШЕННОГО ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ. <i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	224
ДЕЛЕЦ. <i>Перевод И. М. Бернштейн</i>	270
ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ. <i>Перевод В. В. Розова</i>	278

УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ.	285
<i>Перевод Р. М. Гальпериной</i>	
НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ.	310
<i>Перевод М. П. Бозословской</i>	
ОСТРОВ ФЕИ.	323
<i>Перевод В. В. Рогова</i>	
БЕСЕДА МОНОСА И УНЫ.	327
<i>Перевод В. В. Рогова</i>	
НЕ ЗАКЛАДЫВАЙ ЧЕРТУ СВОЕЙ ГОЛОВЫ. Рассказ с моралью.	334
<i>Перевод Н. М. Демуровой</i>	
ЭЛЕОНОРА.	341
<i>Перевод Н. М. Демуровой</i>	
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ.	346
<i>Перевод И. М. Бернштейн</i>	
ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ.	352
<i>Перевод В. В. Рогова</i>	
МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ.	355
<i>Перевод В. В. Рогова</i>	
ПОМЕСТЬЕ АРНГЕЙМ.	360
<i>Перевод В. В. Рогова</i>	
ТАИНА МАРИ РОЖЕ. Продолжение «Убийств на улице Морг»	372
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК.	409
<i>Перевод С. П. Маркиша</i>	
СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ.	421
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
ЗОЛОТОЙ ЖУК.	426
<i>Перевод А. И. Старцева</i>	
ЧЕРНЫЙ КОТ.	452
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА.	459
<i>Перевод И. М. Бернштейн</i>	

ОЧКИ.	468
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ.	486
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
ПОВЕСТЬ СКАЛИСТЫХ ГОР	496
<i>Перевод Ф. В. Широкова</i>	
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ ПОХОРОНЫ.	504
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
МЕСМЕРИЧЕСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ.	515
<i>Перевод В. А. Неделина</i>	
ДЛИННЫЙ ЛАРЬ.	524
<i>Перевод Н. М. Демуровой</i>	
АНГЕЛ НЕОБЪЯСНИМОГО. Экстраваганца.	533
<i>Перевод И. М. Бернштейн</i>	
«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫИ СИЕ!»	541
<i>Перевод С. П. Маркиша</i>	
ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО.	553
<i>Перевод Н. М. Демуровой</i>	
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАКВАС ТАМА, ЭСКВАЙРА (Бывший редактор жур- нала «Абракадабра»).	567
<i>Перевод М. В. Урнова</i>	
ЛОСЬ (Утро на Виссахиконе).	583
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
ТЫСЯЧА ВТОРАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ.	587
<i>Перевод Э. Е. Александровой</i>	
РАЗГОВОР С МУМИЕЙ.	600
<i>Перевод И. М. Бернштейн</i>	
СИЛА СЛОВ.	613
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ.	616
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРРО.	621
<i>Перевод С. П. Маркиша</i>	

ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МИСТЕРОМ ВАЛЬДЕМАРОМ.....	636
<i>Перевод З. Е. Александровой</i>	
СФИНКС.	643
<i>Перевод З. Е. Александровой</i>	
БОЧОНОК АМОНТИЛЬЯДО.	646
<i>Перевод О. П. Холмской</i>	
MELLONTA TAUTA.....	652
<i>Перевод З. Е. Александровой</i>	
ПРЫГ-СКОК.	663
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
ФОН КЕМПЕЛЕН И ЕГО ОТКРЫТИЕ.	670
<i>Перевод Н. М. Демуровой</i>	
КАК БЫЛА НАБРАНА ОДНА ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА.....	676
<i>Перевод З. Е. Александровой</i>	
ДОМИК ЛЭНДОРА. Дополнение к «Поместью Арнгейм».	680
<i>Перевод В. В. Розова</i>	
[МАЯК].	689
<i>Перевод З. Е. Александровой</i>	
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<i>А. Н. Николюкин.</i>	
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЭДГАРА АЛЛАНА ПО	693
ПРИМЕЧАНИЯ.	729
<i>(Составил А. Н. Николюкин)</i>	
ФРАГМЕНТЫ ИЗ СТАТЬИ ШАРЛЯ БОДЛЕРА «ЭДГАР ПО»	785
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЭДГАРА АЛЛАНА ПО	789
<i>(Составил А. Н. Николюкин)</i>	
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	793

Эдгар Аллан По
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
РАССКАЗОВ

*

Утверждено к печати
редакцией серии
„Литературные памятники“

*

Редактор издательства
О. К. Логинова

Художник
Г. А. Клодт

Художественно-технический редактор
Т. А. Прусакова

Корректоры
А. С. Агапова и В. К. Гарди

*

Сдано в набор 2/XII 1969 г. Подписано к печати 28/VIII
1970 г. Формат 70×90^{1/16}. Усл. печ. л. 58,5 + 0,73 вкл.
Уч.-изд. л. 57,3. Тираж 50000. Тип. зак. 813.

Цена 3 р. 50 к.

Издательство „Наука“
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
1-я тип. издательства „Наука“
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12



*Элизабет Арнольд По. Мать
писателя
Миниатюра*



*Фрэнсис Валентайн Аллан,
приемная мать писателя*



Эльмира Ройстер в возрасте 16 лет (подруга детства писателя, с которой он был помолвлен).



Джейн Крэг Стенард, которой посвящено стихотворение По „Елене“ (1831)

Портрет работы Дж. Уоррела



Мария Клемм, мать Виргини

Рисунок А. Г. Лирнеда



Виргиния, жена писателя

Рисунок А. Г. Лирнеда



Дом в Филадельфии, где жил По в 1843 г.



Эдгар Аллан По (1849)

Портрет работы Ф. Дж. Фишера



Эдгар Аллан По (1844)
Портрет работы С. С. Осуда



Автопортрет. 1845



Домик По в Фордхеме (Нью-Йорк), где он жил в 1846—1849 гг.